

СОВРЕМЕННАЯ ВОРОНЕЖСКАЯ ПРОЗА

*По страницам журнала «Подъём»
2009—2014 годов*

Воронеж
2015

УДК 812.161.1
ББК 84 (2=411.2) 6-4
С 56

*Книга издана при финансовой поддержке
департамента культуры Воронежской области*

Руководитель издательского проекта *И.А. Щёлоков*
Составитель *В.Д. Лютый*
Редактор *В.Е. Новохатский*
Автор послесловия *Т.А. Никонова*

На обложке — репродукция картины
художника *А.А. Ворошилина* «Поздняя осень»

С 56 **Современная воронежская проза. По страницам журнала «Подъём»
2009-2014 годов.** — Воронеж: ГБУК ВО «Журнал «Подъём», 2015. — 704 с.

ISBN 978-5-9906964-5-7

Издательский проект ГБУК ВО «Журнал «Подъём» представляет собой собрание повестей и рассказов воронежских писателей, публиковавшихся на журнальных страницах в последние годы. Лаконичные прозаические формы позволили литераторам создать полифоничный образ времени, в котором отразились и человеческие судьбы, и общественные драмы, и выбор современниками своего исторического пути.

ISBN 978-5-9906964-5-7

УДК 812.161.1
ББК 84 (2=411.2) 6-4
С 56

© ГБУК ВО «Журнал «Подъём», 2015.



Наталья Николаевна Моловцева родилась в селе Константиновка Ромодановского района Мордовской АССР. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета. Работала в газетах Магаданской, Сахалинской, Воронежской областей, Якутской АССР. Публиковалась в газете «Литературная Россия», журналах «Молодая гвардия», «Подъём», «Странник», «Ковчег» и сборниках прозы. Автор книг прозы «Меня оклики», «Тонкий серпик луны». Член Союза писателей России. Живет в городе Новохопёрске Воронежской области.

Наталья Моловцева

БЕРЕГА ВЕЧНОСТИ

Повесть

Долго не могла понять, когда у меня появилось ощущение дороги. Что оно было — можно не сомневаться. Иначе как бы я, житель срединной России, оказалась на Колыме — не по принуждению (слава Богу — эти времена уже миновали), а по доброй волюшке, да еще хвастаясь в письмах самым дорогим адресатам: «Ваш друг уехал в Магадан — снимите шляпу»... Иначе как бы меня с Колымы занесло потом в Якутию, а потом опять на самый Дальний Восток — на Сахалин...

Что удивительно — все эти края я умудрилась полюбить. Хотя поначалу...

Поначалу среди колымских сопок я задышалась. О нет, не недавнее мрачное историческое прошлое края служило тому причиной (об этом тогда я думала — увы — меньше всего); причина была проста: привыкшая к среднерусской природе и ее спокойным ландшафтам, я натыкалась взглядом на сопки и, лишенная возможности скользить взглядом дальше, испытывала чувство несвободы, удушья. Пройдет немного времени, и я начну этими сопками восхищаться: какая непривычная красота, как стремительно — всего за пару недель — происходит здесь переход от зимы к весне, как упоителен запах молодой лиственницы, как сладка презимовавшая под снегом брусника и голубика...

Якутия поначалу покажется еще более холодной, чем Колыма; здесь у меня родится дочка, и когда я буду, завернув в одеяло, вывозить ее на прогулку, сосед по семейному общежитию дядя Ваня каждый раз не преминет произнести вслед: «Хороший хозяин в такой мороз собаку на улицу не выгонит», а я везла коляску по центральной улице поселка алмазодобытчиков — Айхала — и было нам с дочкой хорошо, весело, бодро...

Но все-таки тянуло увидеть еще и новые края! Да и обстоятельства жизни сложились так, что из Якутии пришлось уехать на Сахалин. Первое чувство было: ну уж это я полюбить никак не смогу, сколько можно менять свои привязанности?! Еще одну любовь сердце просто не вместит...

Вместило! Сахалинские сопки оказалось полюбить даже легче. Они были покрыты не только лиственницей, но и привычными, милыми сердцу елочками, тополями, березками. А местная экзотика — гигантские папоротники и лопухи — только добавляли чувству терпкости и шарма.

Мир бесконечен в своей красоте, — стало понятно в результате всех этих перемещений.

Однако красота не спасала от тоски.

Тоски по родине с маленькой буквы.

В каждый отпуск я летела домой как на крыльях. Каждый раз думала: вот доберусь до околицы родного села, Константиновки, упаду на землю, обниму ее и буду дышать и плакать...

Нет, конечно. Не падала — стеснялась. Да и встречающие родные обступали плотно...

А потом мы вернулись на материк (материком на восточном Севере называют все, что западнее Сибири). Но не в мою родную Мордовию, а на родину мужа, в края воронежские. Конечно же, семейная жизнь и работа не позволяли бывать в Константиновке часто, и мои свидания с родиной по-прежнему были редкими. И чувство это: обнять и плакать, по-прежнему не покидало меня...

А потом ни с того, ни с сего стал сниться один и тот же сон: будто иду я берегом речки, небольшой и извилистой, и сердце полнится радостью узнавания. Слово каждый шаг приближает меня к самому дорогому, самому бесценному, что только может быть у человека.

Но ведь ничего дороже и роднее Константиновки для меня нет — расшифровывала я, проснувшись, свое сновидение. Значит, это она и должна быть там, впереди...

И вдруг однажды, когда наши дети стали уже взрослыми, мы с братом приехали — каждый из своего города — в родное село одновременно, и одновременно же и дружно решили: съездим-ка еще и в Верхнюю Ладку!

Верхняя Ладка — родина мамы, бабушкина деревня. Маленькими мы часто туда ездили — мама с собой брала. О, эти поездки...

Чтобы попасть в бабушкину деревню, надо было вставать рано утром, идти на шоссейку (так мама называла большак) и голосовать попутным машинам. Пятнадцать километров — разве одолеть их маленьким ножкам?

Во времена нашего детства дорога — обычная проселочная — пролегла сразу за огородами. Она не была покрыта не только асфальтом, но даже щебенкой, и зимой, ранней весной и поздней осенью передвигаться по ней было сущим мучением. Но мы-то ездили к бабушке летом.

Ах, эта дорога... Две утрамбованных, накатанных колесами машин колеи гладки, как зеркало и, как зеркало же, блестят. Если встать на них босыми ногами — ногам будет тепло и радостно, и захочется идти далеко-далеко...

Но мама с дороги гонит: вдруг машина, стой рядом. Или вон цветы в букет собирай.

Но зачем он мне, целый букет? Мне нужен один-единственный цветок. Я представления не имела о том, как он выглядит, но была уверена, что узнаю его. Почему? Да очень просто: потому, что он не будет похож ни на какой другой! Такой цветок есть, он растет в укромном местечке, куда люди не догадываются заглянуть. Или им просто некогда. А вот я не поленюсь, переберу пальчиками каждую травинку, и — найду его!

Почему я уверена, что он есть? Не знаю. Почему уверена, что найти его должна именно я? Не знаю тоже...

— Машина! Ну, уж эта остановится...

Машина действительно останавливается. Мы забираемся в кузов (легковушки в нашем детстве были в редкость). Какие просторы открываются оттуда, с высоты! В груди возникает блаженное чувство восторга: вот сейчас за поворотом откроется такое... такое...

Хотела ли я каких-то открытий сейчас, в эту вот намечавшуюся с братом и мамой поездку? Отнюдь. Наоборот — если душа чего-то и жаждала, то только одного: пусть все повторится! Пусть все будет как тогда, в детстве — и ничегошеньки больше не надо...

...Но все было не так, как мы того хотели.

Мы не сразу это почувствовали.

Сразу было только предвкушение счастья. Вчера перед сном я вообразила эту минуту, эту картину: вот мы доезжаем по шоссе до развилки дорог; повернешь направо — дорога приведет в Ладу, повернешь налево — попадешь в Верхнюю Ладку.

Верхняя Ладка — потому и Верхняя, что, чтобы увидеть ее, чтобы до нее добраться, надо прежде забраться на горушку. Это — километра три-четыре от большака. Их мы преодолевали уже пешком. Три-четыре километра — это нам уже по силам, это уже можно и своими ножками.

Ах, какие блаженные это были минуты! Ласковое солнышко греет руки и плечи, ветерок шевелит и гладит наши волосы, а небо над головой такое высокое, и белые облака похожи на фей в пышных платьях... А цветы и травы пахнут так, что ты и себя воображаешь феей: дунь ветерок чуть сильнее — и ты улетишь к тем самым белым-белым облакам...

Теперь же, взрослыми, мы добираемся до бабушкиной деревни на машине брата. Жадно смотрим за окно: все ли там так, как было ТОГДА? Кажется — да. Майский день по-летнему тепел, небо распахнуто во всю ширину и глубину, белые облака застыли в сладкой истоме... Вот только ветерка в машине с капиталистическим названием «Форд» мы не чувствуем; жаль, конечно, но вот уже, вот она — верхушка горы, сейчас мы выйдем наружу, и...

Там, внизу, в бабушкиной деревне, все было, на первый взгляд, как прежде: купы деревьев вдоль улиц, крыши домов. Есть среди них и тот, в котором нас всегда ласково и гостеприимно встречали...

Да, все как прежде. Даже трава под ногами — разлитым морем,

и в ней уже можно найти и желтую кашку, и сиреневые часики, и синие васильки, и запах от нее такой, что кружится голова...

Отчего же чувство, что что-то все же не так? Чего все-таки не хватает?

Дороги. Туда, в детство, не было дороги. И не в каком-то там переносном смысле и значении, а в самом прямом, реальном: дорога оборвалась у кладбища.

Поначалу, впрочем, нас это вовсе не опечалило: мы и планировали зайти прежде всего сюда. А как иначе, если бабушка и дедушка давно уже здесь?

Кладбище (оно на самой макушке горушки — чтобы быть ближе к небу?) тоже утопало в траве. Однако огороженные самыми разными оградами могилы были ухожены. Вон, возле одной из них сидит мужчина. Да как хорошо сидит — на крепкой лавочке, за крепким столом. Словно пришел к родителям в гости...

Мы не стали этому гостеванию мешать — поздоровались и прошли мимо.

А вот и дорогие нашему сердцу могилки...

На фотографии, что висит у нас в Константиновке, в родительском доме, бабушка и дед вместе. Здесь — каждый на своем месте. Только сейчас мне приходит в голову мысль: а ведь это, пожалуй, одна и та же фотография. Но там они — вместе, а здесь их разделили. Так сказать, в силу необходимости...

Когда я вернусь домой, я разыщу в одном из альбомов оригинал: небольшую фотографию, которая потом была увеличена — чтобы поместить на стену. И тут окажется, что на маленьком, еще не увеличенном снимке, запечатлены, оказывается, не только бабушка и дед, но и их дети. Сыновей на фотографии нет, зато дочери — налицо: Даша, Анна, Мария.

Про дочерей, а также про то, почему на пожелтевшей карточке нет сыновей, потом. Сейчас — про бабушку с дедом.

Сколько раз я видела эту фотографию, столько раз удивлялась: этот бабушкин взгляд... Она смотрит на мир, как девочка — любопытно-вопросающе. У дедушки взгляд совсем другой — из своего далека он глядит на нас строго, с прищуром, даже оценивающе, а в уголках рта заблудилась даже едва заметная усмешка. Что она означает: то, что фотографирование для него — пустое, зряшное дело, к которому не стоит относиться всерьез, или... пока я еще не знаю, что.

Зато по рассказам мамы мне известно другое: в день, когда бабушку пришли сватать, она... каталась на ледянке с горы. Потому что было ей, как считала мама, всего четырнадцать лет. Наверное, как посмотрела тогда Варенька на своих родителей, на своего жениха — любопытно-вопросающе — так и пронесла этот взгляд через всю жизнь. Получила ли она ответ хоть на один из своих вопросов?.. Не знаю. Вряд ли. Ведь спрашивала она только глазами. А люди и на произносимые вслух вопросы не всегда дают ответ...

Бабушка была смиренница (тоже мамино слово). Родители велели — пошла замуж. Встала к печи. К корыту. Пошла в огород и на колхозное поле. Мама рассказывает, что никогда никого из детей ничего делать бабушка не заставляла — все сама. Я однажды задумалась: горячей или хотя

бы холодной воды из крана в ее доме не было. Посуду она мыла в тазике. Три раза в день: нагрей воды, помой, сполосни, протри... А сначала за водой сходи на родник... Еду готовила или в печи, или на загнетке печи — на таганке. А сначала накопи дров, растопи, потом поддерживай огонь. Это тебе не газ — повернул кран, и все дела.

И так — всю жизнь. А еще стирка, уборка, прополка немаленького огорода... А еще просо, рожь и свекла на колхозных полях. Где она брала на все терпения и сил?!

Кроме трех девочек, бабушка родила еще трех парней (и еще трое ребятшек умерли от болезней в младенчестве). И ни разу супруг не только не отвозил ее в роддом, но и бабу-повитуху в дом не приглашал. Бабушка рожала, как и дела делала — сама. «Уйдет в чулан, постелет соломки, покроет ее ряднинкой. Глядишь — через какое-то время выходит со сверточком в руках. Полежит немного, и опять к печи»...

Дедушка же... о, дедушка... На фотографии супругам уже много лет, однако сколько силы (энергии — говорят сейчас) в дедушкином взгляде! А черты лица? Прямой, чисто славянский, с широкими раскрыльями, нос, высокий лоб, брови — вразлет... Возраст выдает разве что окладистая — лопатой — борода. Но и та ему удивительно к лицу. «Бабы на него липли, как мухи на мед. Он мало того что красивый — грамотный был, умный»...

Вечером дед приходил домой, и смиренница бабушка не спрашивала, где он там задержался. «Варенька, подавай ужинать!» И бабушка спешила к столу.

Теперь дедушка находится при бабушке неотлучно. Ужинать не просит...

«Да как же я по вас соскучилась! Да берите уж меня к себе! И простите, простите меня, дуру неразумную: только сейчас поняла, как больно, когда огорчают дети. А мы вас разве не огорчали?»...

Мама плачет, мы с братом стоим молча. День так хорош, что скорби у нас не получается. Я оправдываю себя тем, что бабушка с дедушкой не обидятся на нас. Разве когда обижались или — обижали? Ну, дед еще мог погрозить: «Где моя большая рукавица?» Рукавица у него была по руке — то есть, как и борода, с лопату, и мы, конечно, побаивались ее. Тем более что знали: все в доме делается по дедушкиному слову. И если он решится пустить рукавицу в ход — бабушка нам не защита. Не помню, однако, чтобы дело доходило до этого. Сама же бабушка... Помню только одно ее досадливое восклицание: если кому случалось намочить штаны, она с горечью произносила: «Озеро глубоко, до каких пор прудить будешь?» Других «ругательств» память не сохранила.

Зато хорошо сохранила другое. Мы приезжали — и она выставляла на стол пироги, лапшевник, печенье в печке, и оттого особенно вкусные, яйца. Попыхивал дымком ведерный самовар — как уютно булькал кипяток в подставленные стаканы! Как хорошо, дружно сидели за столом взрослые — дома, случалось, ругались насмерть, а здесь — смиренные да благостные.

...Вот кресты. Вот могилы. Отчего же чувство, что они и сейчас нас ждут — там, в деревне?

Скорее, скорее в деревню!

Назад мы опять идем мимо сидящего у родительских могил мужчины. По его лицу видно, что он уже утолил первую жажду общения с ними и готов озоботиться нашими делами. «В деревню? Так вы здесь не проедете. Вам лучше бы в объезд и заехать с другого конца».

Как не проедем? Всегда проезжали, всегда заезжали именно с этой стороны: сначала по улице, два порядка которой стоят вдоль оврага, по обеим его сторонам; в конце поворачиваем на свою, вернее, бабушкину улицу. На ней — всего один порядок. На месте другого — сады. В саду у каждого — свой подвал. В его прохладной темноте стоят лари с зерном, с мукой, да мало ли с чем еще, что надо держать именно в прохладе. Как любили мы в детстве забираться в эти подвалы! Зайдешь — тебя обдаст холодом, а заберешься под одеяло (летом в подвале коротали обеденный сон, скрываясь от жары) — сразу тепло и уютно... Нет, мужчина, видно, не знает всего этого, ошибается, что-то путает...

И мы поехали по едва угадываемой в траве колее. Машина петляла, то и дело соскальзывая в замаскированные травой ямины и колдобины, но все-таки продвигалась вперед. Вот и улица с двумя порядками. В детстве сюда мы ходили редко; может быть, потому, что боялись оврага? Мало ли что могло таиться в его таинственной глубине... Этим я поначалу и объяснила возникшее в груди странное чувство. Странность заключалась в том, что дома, мимо которых мы ехали, показались мне... неживыми. Никто не ходил по двору — ни курица, ни собака, ни кошка. Никто не раздавалось ни звука — ни лая, ни петушиного крика, ни человеческого голоса. Глухая, вязкая тишина. Как в фильмах Тарковского. Да и то — там хоть вода иногда прожурчит, капля капнет, подчеркивая глубину безмолвия. Здесь — ничего...

Доехали до конца. Сердце, несмотря ни на что, замерло в предвкушении счастья: сейчас, сейчас будем сворачивать на свою улицу...

Однако там, где она должна начаться, не было уже даже намека на колею. Зато трава стояла глухой стеной. Брат остановил машину и задумчиво произнес:

— Пойду, посмотрю дорогу.

Вернулся он буквально через минуту. И сказал, как нам показалось, чушь:

— Дальше ехать нельзя. Там болото — увязнем.

Болото? Какое может быть болото на бабушкиной улице, если его там никогда не было?!

Мы постояли какое-то время, привыкая к невозможному. Наконец, брат принял решение:

— Придется возвращаться к могилам. И ехать в объезд.

Мужчина по-прежнему сидел на скамейке возле родительских могил, и нам было стыдно встречаться с ним глазами: вот, не поверили, а все оказалось так, как он говорил...

Полевая дорога действительно оказалась проезжей — машина бойко бежала, оставляя позади себя густой шлейф пыли. Мама горевала: «Говорили мне, что только три человека на всю деревню остались: дачник с женой да Дуся. Не верила!» Не верили и мы. Мы так хотели, чтобы бабушкина деревня была обитаемой! А дядя Федя на деревянной ноге? Одна нога у него нормальная, как у всех, а другую он потерял на войне; вместо нее к култышке (она начиналась от колена) привязана не

им ли самим сделанная из дерева нога. Он так и ходил: ступая сначала здоровой, потом подтягивая к ней деревянную ногу. Дядя Федя держал пчел: в его саду стояли ульи с маленькими крылатыми тварями, которых мы страсть как боялись и которые — случилось — жалили нас прямо в физиономию или открытые части рук. И уж какую боль тогда приходилось терпеть! Зато и медком пчеловод нас угощал. Ах, какой неповторимый вкус был у этого меда! Редко видевшие конфетки, мы испытывали блаженство, вкушая в вишневом саду дяди Феди густую янтарную сладость...

А жена дяди Феди — Фрося-большая (в деревне была еще Фрося-маленькая, но я ее почему-то запомнила меньше — наверное, потому, что она жила дальше по улице, куда нам не всегда разрешали ходить), жена дяди Феди Фрося-большая частенько угощала нас пирогами. Она и впрямь была большая: широка в плечах и бедрах, с крепкими руками, ростом только чуть пониже супруга. Другой жены при инвалиде-муже, казалось, и быть не могло...

А бабушкины соседи — тетя Катя и дед Никита? Она — маленькая, сухонькая, со слабым голоском, а он могучий, как наш дед Антон, только борода — белая...

Мы понимали, конечно, что все эти люди уже давно лежат там, где и наши дедушка с бабушкой, но душа жаждала чуда.

И оно, кажется, произошло...

Сколько слов затратила одна из моих продвинутых подруг, чтобы растолковать: время — не в земном, а в космическом значении и измерении — не имеет линейной протяженности; прошлое, настоящее, будущее существуют одновременно, здесь и сейчас. Я ничегошеньки не понимала. Добросовестно напрягала мозги и... ничего не могла сложить. Как это — одновременно?! Все имеет начало и конец. Каждое событие протяженно во времени. Например, люди — рождаются, живут, уходят. В вечность. Насовсем. И тут уж кричи не кричи, зови не зови...

Отчего же в этой поездке мне стало казаться, причем самым обычным, самым прозаическим образом, что мы все — и живущие, и ушедшие — вместе?

Возможно, это чувство появилось у меня еще на кладбище, где нашим глазам предстала такая картина: тополя, посаженные возле могил дедушки и бабушки, вросли в железную плоть загородки, поднялись над ней и ушли макушками в небо, соединив собой две стихии: земную и небесную. Глаза невольно скользили по стволам туда — вверх, ввысь, а вслед за ними ввысь устремлялась и душа. И что-то такое в душе происходило, отчего они, ушедшие, стали вдруг так близки...

Но вот, наконец, мы и на бабушкиной улице. В самом ее начале.

Почему брат опять остановил машину?

— Выгружайся. Приехали.

— Почему? — недоумеваю я. — До бабушкиного дома еще далеко.

— Ты видишь, какая трава? Бампер снесем.

И мы вышли в траву.

Сколько раз я рисовала в воображении и эту картину: приезжаем в бабушкину деревню, и я бегу за огороды — вот где трава так трава! Когда-то я в ней утопала с головой, даже страшно становилось: а вдруг заплутаюсь, и меня не найдут?! Но сейчас-то, сейчас она мне будет просто

по колени. И пойду я по ней уже без страха, а только испытывая радость, а потом упаду и буду смотреть в небо...

И вот оказалось, что трава — это не всегда хорошо. Одно дело, когда она за огородами. Но когда она поглотила собой проселочную дорогу, да что дорогу — всю улицу... когда мешает идти, настойчиво цепляясь за ноги...

Мы шли, преодолевая это сопротивление. Мама недоумевала:

— Господи, да по родной ли улице я иду? Бывало, мы здесь не ходили — летали...

Все было не так, но я говорила себе: подожди, вот сейчас придем к бабушкиному дому. Зайдем во двор... Помнишь, ты бегала там когда-то в розовой кофте?

Ах, эта розовая кофта! Было ли для меня в детстве что-то более красивое, чем она?!..

Кофта принадлежала старшей маминой сестре и бабушкиной дочери — Марии. Тетенька — так называли ее мы, дети. Тетенька была рукодельницей — пожалуй, только она одна из трех сестер умела хорошо шить, и кофту (слова «блузка» мы тогда не знали), как и все другие свои наряды, сшила своими руками. Кофта была ни с чем не сравнимым чудом: из невесомого легкого шелка (все наши платья были ситцевыми, в лучшем случае — штапельными), а главное — празднично яркого — розового — цвета. Как только мы приезжали к бабушке, я шептала маме на ухо: «Скажи ей — пусть даст поносить».

Мама говорила. Тетенька охотно снимала кофту и надевала другую:

— На уж, пофорси.

Я тоже совершала обряд переодевания, по ходу его превращаясь из деревенской девочки в барыню, принцессу, королеву — кто там еще мог носить такой роскошный наряд?!

Взрослые смотрели, улыбаясь...

Тетенька была горбатенькой. В детстве она упала, поскользнувшись на льду. Ну, упала и упала, боль пройдет, — рассудили все. И она прошла, конечно. Только на месте ушиба стал расти горбик.

Бабушка сильно переживала, а тетеньку ее горбик, похоже, никогда не смущал. С детства и сейчас помню: там, где появлялась тетенька, там появлялось солнышко. Что мама, что другая сестра — Даша (Дашенька — звали ее в семье) — были сдержанными и на слова, и на чувства, а тетенька всегда находила повод для шутки и смеха. Помню праздники, когда к нам съезжались гости. На столе — пироги и всякое другое угощение, мужики уже «разговелись», ведут разговор об урожае, погоде и политике, но... чего-то все-таки не хватает в застолье. Но вот открывается дверь, заходит тетенька. И сразу становится понятно, чего: веселого, ласкового, беззаботного голоса ее, без которого праздник — не праздник! Ни единого словечка не помню из того, что она говорила, но вот эту интонацию, эту доброжелательность, эту любовь ко всем сидящим за столом — разве можно забыть?..

Тетенькин горбик, похоже, не смущал не только ее саму. Мама рассказывает, что за няней (старшая дочь в семье для всех остальных детей всегда была няней) ухаживали самые видные деревенские парни. Но за муж она вышла не за своего, деревенского, а по месту работы.

Работать, как и жить, тетенька устроилась в райцентре, где была швейная мастерская.

Я помню, кажется, все домики, в которых она жила. Почему «доми-

ки», а не «домик»? Потому что тетенька время от времени их меняла. Сдается мне, что таким образом она стремилась, как принято теперь говорить, переменить свою жизнь к лучшему. А может быть, так проявлялась неумность ее натуры. Как бы то ни было — только с переменной места в тетенькиной жизни мало что менялось: новый домик оказывался таким же маленьким, чаще всего это была даже половина домика, с двумя крошечными комнатами. Правда, тетенька умела их сделать уютными и красивыми. На окнах у нее всегда красовались выбитые занавески. Переход из одной комнатки в другую совершался через занавесь с непривычными для нашего сельского быта кистями. Кровать была застелена ярким цветастым покрывалом...

Однако я собиралась рассказать о тетенькином замужестве. Замуж она вышла за высокого, красивого парня, работавшего сапожником в комбинате бытового обслуживания, к которому относилась ее швейная мастерская. С началом войны мужа забрали на фронт. Уже без него тетенька родила сына, который со временем тоже стал высоким, красивым парнем. А отец...

С войны он вернулся. Но семейную жизнь начал уже с другой женщиной. Видно, нашептал кто-то: ты вон какой молодец, а она...

Через полтора года кто-то привез в деревню весть: Марусин-то муж, который завел другую семью, того... повесился... Почему? Отчего? Точного ответа не знал никто. Я же была уверена всегда: да потому, что нашу тетеньку не смог забыть!..

Оставшись уже не только на годы войны, но и насовсем одна, тетенька по-прежнему продолжала работать в швейной мастерской. А сын, Вова, все детство прожил у бабушки с дедушкой.

Это он рвал нам черемуху...

Черемуха и малина — сейчас я их увижу! Пусть улица заросла травой, но с черемухой ей не справиться! Черемуховое дерево росло в огороде, и было таким высоким, что никто из взрослых тогда, в нашем детстве, и не помышлял забираться на него. Когда поспевали ягоды, посылали Вову; он срывал пахучие кисти прямо с веткой («буду я вам с ягодами возиться...») и мы ели черемуху, сидя на крыльце, упиваясь ее необычным вкусом (дома у нас черемухи не было) и ароматом.

Неподалеку от черемухи стояла бабушкина баня. Когда мы приезжали в гости, она непременно топилась, и мылись в ней по очереди: сначала женщины, потом мужчины. Помню — мама напарит, набьет тебя веником, станет так жарко, что сил нет терпеть, и ты выбегаешь наружу — остыть. А здесь, на улице, пахнет все той же черемухой, малиной, прямо у тропинки теснится крапива и ты, конечно, непременно заденешь за нее рукой или ногой и принимаешься тереть слюной обожженное место...

После бани бабы (так они называют себя сами) сидят в доме (теперь моются мужики) благостные, разморенные. Мама чешет волосы большим деревянным гребнем (у нас дома такого нет, у бабушки — есть), няня Даша просто сидит, отдыхая и дожидаясь своей очереди расчесать голову бабушкиным гребнем. Неутомимая тетенька собирает на стол. Сестры тихонько переговариваются, в доме всюду звенит сверчок, а бабушка... Бабушка уже пьет чай. Честно сказать, я не понимала, зачем его надо пить — уж очень хотелось спать. Но бабушка сидит за столом, чинно держит блюдечко рукой и шумно прихлебывает чай с малиной...

О, эта малина! Нигде, никогда не ела я больше такой сладкой малины! Мы, дети, приехав к бабушке, забирались в ее заросли и готовы были пропадать там весь день до вечера, отчего взрослые вынуждены были пускаться на хитрости. «А медведь-то... Видали — медведь с той стороны в малинник зашел?» — слышу и посейчас тети Дашин голос.

Тетя Даша, в отличие от сестер Марии и Анны, нашей мамы, вышедшей замуж в другое село, никогда из родной деревни не уезжала. Вернее, так: она тоже вышла замуж в соседнее село, но прожила там недолго, убежала от мужа-пьянчуги назад в родительский дом. Через какое-то время вышла замуж опять — за своего, деревенского. Они с дядей Шурой поставили собственный дом, и стоял он на той же улице, что и родительский, но все им на новом месте казалось не так: и огород не такой, и малина плохо растет, а уж черемуха вовсе приживаться не хочет... Дело кончилось тем, что дом свой они... разобрали и перенесли на место родительского.

Конечно, все было не так просто. К этому привела целая цепь событий: умер дедушка, а старенькая, больная бабушка уже не могла жить одна в старом, обветшавшем доме. Но дочь и зять могли ведь просто забрать бабушку к себе. Однако супругам, и прежде всего тете Даше, захотелось вернуться на место, где она родилась и выросла, и где прошла жизнь ее матери и отца.

...Они и сейчас вместе: отплакав на родительских могилках, мама пошла к Дашеньке — вместе с мужем дядей Шурой они покоятся рядом, по соседству.

...Прошли дом дяди Феди и Фроси-большой. Вот уже дом бабушкиных соседей — слабоголосой тетки Кати и белобородого деда Никиты. Сейчас, сейчас мы зайдем на НАШ двор...

Потрясение было, пожалуй, даже сильнее, чем от преградившего путь болота. Двор был диким. Двор — по колено — тоже зарос травой. Трава «съела» тропки в хлев и на огород, в ней утонули стоящие у загородки старенькие стул и табуретка. А уж как буйно она разрослась в огороде, на некогда возделываемой земле! Какая там малина — трава, кругом одна трава! И я с благоговением вспоминала ее? Мечтала в нее упасть и смотреть в небо? Да она — прожорливая, бесчувственная тварь, способная проглотить и перемолоть все: стулья, дома, малину, черемуху. Память...

Дом был закрыт (мы и знали, что будет закрыт — Дашенькины дети давно живут в городе).

Мы знали, что никто нас не встретит.

Но чтобы все было вот ТАК...

И если уж нам с братом, когда-то приезжающим сюда только в гости, настолько не по себе, то что должна чувствовать сейчас мама?

Мама ходит и ходит по двору, будто что потеряла, и надеется потерянное найти.

...В первый раз она уехала из родной деревни не по своей воле. В первый же год войны ее вместе с подружкой — Феней — увезли в Саров, чтобы обучать слесарному да токарному делу. До сих пор никуда из деревни она не уезжала, разве что в Ладу, на родину своей мамы. Ну, так Лада — дело привычное — там она с братом училась и жила до седьмого класса (в Верхней Ладке была только начальная школа). А тут надо

ехать за тысячу верст (сколько их было на самом деле, она не знала и знать не хотела; если ехать на поезде, да не одни сутки — это, по ее представлениям, было краем света и составляло не менее тысячи верст). Но деться было некуда. Да и понимала она, что мужики на войне, что надо кому-то делать за них их мужскую работу. Только вот поделаться с собой ничего не могла: мужицкие профессии не хотели ей поддаваться. И домой хотелось — неважноту. Родная деревня снилась ей по ночам: вот, приходят они, девчонки, с поля, где пололи просо, и она говорит себе: все, никуда больше сегодня не пойду, отосплюсь. Но заиграла на улице гармонь — и куда девалась усталость: ноги сами бежали на улицу... Феня, подружка, была такой же. И что же они задумали? Когда курсы, с грехом пополам, были закончены и посадили их в поезд, чтобы везти еще дальше, к месту работы, на Урал — решили они с Феней сбежать. Пошли будто бы в туалет, а сами — шмыг из вагона на платформу и — дай Бог ноги...

Домой добирались недели две, не меньше. Шли ночью, крадучись, а днем отсыпались в стогах соломы. Потом еще и дома боялись — а ну как арестуют по военному времени. Вместо ареста их снова увезли — на этот раз валить лес. До осени девчонки пластались на лесоповале — и сбежали опять: домой тянуло, как магнитом, и ничего с этим поделаться они не могли.

В третий раз наша будущая мама уехала из дома уже по своей воле: написала заявление в педучилище. Рассудила так: все одно из деревни куда-нибудь опять заберут, так уж лучше, куда поближе, да выучиться на учительницу, да приехать работать в родную деревню...

И все получилось, как она рассудила: училась не за тридевять земель — в Ичалках, всего-то в полутора десятках километров от Верхней Ладки; окончив училище, стала учительницей начальных классов. Вот только работать ее направили не в родную деревню, а в Константиновку — село в соседнем районе (но опять же — не за тридевять земель!). Здесь она вышла замуж. Здесь мы с братом появились на свет. Отсюда мы и ездили в детстве к бабушке с бабушкой. Мы с мамой. И еще вопрос, кто больше врался в эти поездки — мы или она.

Взять хотя бы и эту нашу поездку: каждое лето мама просила: «Давайте съездим в деревню», а мы ссылались то на усталость, то на то, что отпуск только начался, а потом на то, что уже кончается...

Сегодня утром она встала и решительно сказала: едем. Я, хоть и настроена была на поездку, опять попробовала оттянуть момент: «Да подождите, дайте от поезда отдохнуть». Мама ничего в ответ не сказала, просто села на табуретку и стала ждать. Я подумала-подумала, еще раз посмотрела на нее и стала собираться.

Я тоже хожу по двору, и тоже будто чего-то ищущая... И вдруг явственно вспоминаю свой сон: я иду по берегу неширокой и извилистой речки, иду и чувствую, что скоро, совсем скоро увижу что-то очень дорогое и радостное для меня. То, что согреет душу и сердце. И это будет... нет, не Константиновка. Это будет что-то такое, что я долго помнила и знала, но потом почему-то забыла. А надо, ох как надо вспомнить...

Озеро! Я понимаю вдруг, что именно я должна увидеть: озеро. Это оно маячило во сне, но мне почему-то никак не удавалось до него добраться, а сейчас оно совсем рядом — надо только завернуть за соседний дом и пойти по тропке туда, где кончается соседский огород. Сначала на

пути встретится родник. Вот ведь как: в городе, где я теперь живу, за родниковой водой надо ехать несколько километров, а тут прозрачная, не испорченная железом и ржавчиной, целебная вода — рядом. Пейте, люди!

Некому стало пить...

С родником я, конечно, поздороваюсь. И пойду дальше. К нему, к озеру, куда в детстве мы часто бегали купаться и... надо ли рассказывать, какое неизъяснимое блаженство испытывали при этом?

...А однажды я пришла сюда в предвечернюю пору одна. Если одна — значит, уже ходила в школу. И скорее всего, класс в третий-четвертый. Уже была изношена розовая кофта. Привычно сбросила ситцевое платье, вошла в воду и поплыла. Наверное, поначалу я никуда не смотрела: ни вверх, ни вниз, ни по сторонам. Плыла себе да плыла, наслаждаясь особым вечерним состоянием воды и воздуха — они были одинаково теплыми, одинаково ласковыми. Много позже, будучи уже взрослой и научившейся всему находить причины, в «Розе мира» у Даниила Андреева я найду такое объяснение этому феномену: оказывается, именно в это время суток — вечером, небесные силы (стихиали — называет их Андреев) бывают особенно добрыми к человеку. В чем я не раз убеждалась и сама: если выходить на вечернюю прогулку, когда день уже начинает меркнуть, но до темноты еще далеко — вокруг тебя возникает совершенно необычная аура: воздух становится особенно легким и ласковым, а с неба нисходит благодать — другое слово не способно передать чувство, которое возникает в благодарной душе в эти минуты.

Но тогда, в золотом своем детстве, ничего этого я не знала, плыла себе да плыла, ощущая каждой клеточкой ласку воды и воздуха. И вдруг...

Я посмотрела вниз, в воду перед собой и обмерла от ужаса: внизу я увидела... такое же небо и облака, как и над моей головой. Но страшно было не это. Страшно было то, что до них было так же отчаянно далеко!

Я чувствовала себя плывущей между двумя безднами. Одна бездна — сверху, другая — внизу. И я между ними такая маленькая... такая... да меня почти нет! Еще секунда — и я утону, растворюсь в этих безднах окончательно! Они меня проглотят, как птичка глотает комара...

Нет, нет, не хочу! Я должна скорее найти точку опоры! Я должна скорее плыть к берегу!

И я поплыла, задыхаясь от ужаса, отчаянно взмахивая руками.

И когда вышла, наконец, на твердую, надежную кромку берега, мир в ту же секунду обрел обычные, спокойные очертания: бездна внизу исчезла. А та, что была над головой — она привычна, она не страшна.

Под ногами снова была земля — упругая, теплая, дарящая чувство надежности и защищенности от сквозняка беспредельности.

Наверное, именно тогда — впервые — мир явил мне свою бесконечность.

И я испугалась.

Тогда я еще не знала, что такую же беспредельность может таить в себе человеческая судьба.

Конечно же, о пережитом я никому ничего не сказала. Да и кому я могла сказать? Взрослые были заняты своими взрослыми делами (чем накормить, во что одеть — ах, какие скучные, какие несерьезные это дела!). Бабушка... Бабушка, казалось мне, меньше всего могла развеять

мой страх и разрешить неразрешимые вопросы. На малограмотную бабушку я поглядывала с высоты своего школьного образования и с течением времени только сильнее утверждалась в мысли, что ее понимание жизни безнадежно устарело. Что она читала в этой своей жизни? Только Библию. Чем была занята? Только домашними делами — с утра до вечера.

Впрочем, было у нее еще одно занятие, которое она считала безусловно важным: если нечаянно проснуться рано утром, всегда и непременно увидишь бабушку стоящей на коленях — она молится. И день свой она заканчивала тем же.

Об этом мы постоянно спорили. Вернее, мы не спорили никогда: смиренница-бабушка не вступала в противоречия даже с внуками. Поэтому вернее будет сказать так: мы с бабушкой вели постоянный, нескончаемый диалог. И иногда своим тихим голосом (тихим — вовсе не значит слабым, в голосе бабушки ненавязчиво, но четко звучала явственно твердая нотка), иногда своим тихим голосом она говорила такое, что я почему-то помню до сих пор...

— Бабушка, а ты знаешь, что Гагарин летал в космос? И никакого Бога там не видел.

Бабушка молчит. Я уверена, что возразить ей нечего! Но она неожиданно спрашивает:

— А ты там была с ним, с Гагариным?

— Ну, бабушка...

— Ну вот, не была, а говоришь.

— Но ведь об этом написано во всех газетах!

— А им что — всегда можно верить, твоим газетам?

Моим, конечно, моим... Моей профессией станет как раз газетная работа, и при всей любви к ней жизнь заставит меня не раз и не два убеждаться, что — да, не всегда дорогим моему сердцу газетам можно верить.

Но это сейчас я так думаю, а тогда... Тогда я даже не считала нужным продолжать с бабушкой диалог. «Но ты, ты-то тоже не была, и значит, ничего доказать не можешь!» — мысленно возражала я бабушке. Мы думаем каждая свои мысли — до следующего раза.

Следующий раз был таким: сажу, учу стихотворение:

Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри, не вы!
Плохая им досталась доля,
Не многие вернулись с поля.
Не будь на то Господня воля —
Не отдали б Москвы...

— Ну, вот, а ты говоришь — Бога нет, — раздается за моей спиной тихий бабушкин голос.

— Когда он жил, Лермонтов? — самоуверенно возражаю я бабушке. — Тогда люди имели неправильное представление о мире. Тогда Гагарин еще не летал.

Теперь же я спрашиваю себя: а может, как раз-то бабушка имела более разумное представление не только о газетах, но и о так занимавшем меня вопросе об устройстве мира? О самой вечности?

Мама рассказывает: когда дедушка заболел, и всем стало понятно, что от болезни он уже не оправится, бабушка сказала ему:

— Что же ты про Бога не вспомнишь, ведь тебе скоро представать перед Ним.

Она знала, что смертью человеческая жизнь не заканчивается?..

Похоже, дедушка ее убеждение разделял. Потому что ответил так:

— Знаю: много грешен. Но ведь мы своим детям прощаем все. А мы — Его дети...

Дедушке было что прощать. И пора уже, пора переходить к рассказу об их сыновьях.

Сыновей у бабушки с дедушкой тоже было трое. Николай, Алексей, Василий.

Двух первых я никогда не видала. Их унесла война. А я родилась позже.

Бабушку про них я тоже никогда не спрашивала. О, как прав был мой любимый писатель, когда говорил: «...Нас, стариков, разделяет от молодых завеса прошлого, которая так висит, как бывает кисейная занавеска в комнате. От нас изнутри к ним наружу видно, а от них к нам в комнату ничего видеть нельзя». Тогда я была в возрасте, когда «в комнату ничего видеть нельзя». Потому что своя, начинающаяся жизнь, занимательней и интересней всего остального...

И поэтому все, чем я располагаю — это, опять же, рассказы мамы. «Алексей был как девочка — мыл полы, посуду. Мы пока-то сообразили, что маме надо помогать, а он делал это с малых лет, без всякого с ее стороны принуждения. А потом Лешенька вырос. И пошел однажды в карты играть. Тятя его за этим делом застал, да так отругал! Алексей же так обиделся, что ушел из дома. Мало того — из деревни уехал. Потом уж нам сказали, что видели его в Нижнем. Мама с тятьей поехали туда. Нашли. Только Алексей домой возвращаться не захотел. И на войну его забрали оттуда, из Нижнего...

А Николя у нас был талант. Играл на гармонии. Рисовал — у него получались даже портреты. Обувку умел хорошо чинить. Он бы и новую шил, да где денег на материал возьмешь? Вот, как война началась, его и забрали в Москву — на обувные работы. Домой он писал: «Живу хорошо, кормят нормально». А потом получаем письмо уже не от него, а от неизвестного нам человека: «Ваш сын и брат заболел и умер». Мама забралась на печь и неделю пролежала с температурой под сорок...»

Однажды, в очередной раз рассматривая фотографии (их и в альбомах, и просто в бумажных конвертах в бабушкином доме хранится множество), я увидела на одном из снимков незнакомого молодого мужчину. «Кто это?» «Да это Николя и есть».

Умное, тонкое, интеллигентное лицо с преобладанием бабушкиных черт. Но губы сжаты по-мужски твердо. И лоб высокий, как у отца.

Фотография была прислана из Москвы. На обратной стороне — дата: 26 мая 1943 года. Видимо, Николя уже болел — глаза смотрят печально. Видимо, он все понимал относительно своего ближайшего будущего, осознавал, что эта фотография — прощальная. Потому и обычные на обратной стороне слова — «На долгую и добрую память» — читаются в их прямом смысле, как последнее волеизъявление.

И в то же время в глазах бабушкиного сына и моего дяди горит огонь: огонь молодой, многообещающей жизни! Если бы он вернулся с войны — кем бы он эту жизнь прожил? Художником? Просто хорошим сапожным мастером? Одно можно сказать наверняка — никого, никог-

да он не смог бы обидеть. Люди с такими глазами призваны нести в мир свет и любовь...

Алексей же... Каких разных сыновей нарожала ты, бабушка! Непокорный Алексей после первой ссоры с отцом в деревню, оказывается, все-таки приезжал! Во время войны. На побывку. И умудрился поссориться с отцом опять...

Здесь я должна признаться вот в чем: о некоторых эпизодах из жизни своих навсегда оставшихся молодыми дядьев я рассказала в одном из своих рассказов. В том числе — и о том, как Алексей приезжал с фронта домой. Там, в рассказе, я нашла-придумала его ссоре с отцом объяснение, возможно, очень близкое к истине: страдание (война — разве не страдание?) не только возвышает, но порой и ожесточает человеческую душу. А вот как было на самом деле? Возможно, именно так. А возможно, здесь был извечный конфликт отцов и детей: выросший старший сын захотел жить по своей, а не отцовой воле. А уж воля у бабушки была...

Мама рассказывает: в войну вся деревня жила впроголодь, но бабушка... бабушка-то ведь работал колхозным завхозом! А на складе всегда хранилось что-нибудь из того, что должно было отправляться из деревни под девизом: «Все для фронта, все для победы». «Принес бы хоть горсть гороху — все суп запашистей будет», — просила бабушка. «Цыц», — звучало в ответ. А вот послевоенный эпизод: в колхоз приехала комиссия из района, которой требовалось преподнести деревенский подарок. «Посылает меня тятя со счетоводом на склад: идите, наложите банку меда». Пошли. Наложили. И хоть бы чуть домой взяли! Хоть бы ложечку сами съели! Знали: тятя узнает — голову оторвет»...

И вот приезжает с фронта старший сынок, и в чем-то с отцом у него опять получается разногласие. И вместо того, чтобы уступить, Алексей вынимает из кобуры наган: «Я вам уже не мальчишка! Хватит меня учить, я сам кого хочешь...»

Бабушка, чтобы не усугублять разногласий, вышел из дома и залег в картофельные грядки. И пролежал там до утра. Что он передумал за эту ночь? Что почувствовал?..

Так что было, было ему что прощать своему старшему сыну...

А помириться им так и не пришлось. Потому что сын с войны не вернулся.

Это она, война, причиной тому, что на семейной фотографии нет двух старших бабушкиных и бабушкиных сыновей. Она же причина скорби, застывшей в бабушкиных губах...

А третьего сына, Василия, нет здесь совсем по другой причине. Третий, самый младший бабушкин сын, для войны, для боев оказался недостаточно взрослым. Потому и остался жив. Но на момент фотографирования дома его не оказалось — он уже жил и учился в большом городе, далеко от родной деревни.

«10 сентября 1947 года» — значит на обратной стороне снимка, где запечатлены бабушка и бабушка с дочерьми. Как жаль, что фотограф не появился в деревне раньше, во время летних студенческих каникул — тогда можно было бы посмотреть на крестного (третий сын супругов Мещеряковых — Василий — был дядей и моим крестным отцом) в студенчестве. Но поскольку я его многие годы знала и хорошо помню, то могу утверждать, что с Николой они были очень похожи — оба имеют больше материнских, чем отцовских, черт. И оба, похоже, унаследовали бабушкину доброту.

Плюс — дедушкин твердый характер. Что и явствует из рассказа мамы: «Вася от меня нигде не отставал. Я на поле собирать мерзлую картошку — и он со мной. Я в школу пошла — и он со мной, хотя мне было уже восемь, а ему только шесть лет. Мы и в Ладе учились вместе. Бывало, я, как старшая, делю вечером хлеб, стараюсь дать ему кусочек побольше. А он мне непременно его вернет, и возьмет тот, что поменьше»...

Еще сестра вспоминает, как в войну, когда она уже училась в педучилище, младший брат приносил ей однажды сушеной свеклы — сладкого военного лакомства. Кажется — что тут особенного? Ничего, конечно. Кроме того, что гостинец пришлось нести... полтора десятка километров. Пешком...

Выпытываю у мамы:

— А ты его не спросила — сам-то он поел чего-нибудь перед дорогой?

— Да наверно, голодного мама бы не отпустила. Только ведь какая еда в войну была...

— А в училище, когда пришел к тебе — может, ты его в столовку сводила?

— Не помню уже. Вряд ли. Тогда своих-то нечем было кормить, а тут посторонний... Помню только, как он радовался, что принес мне свеклы — она в войну за конфетки ходила. Да еще с витаминами.

Опять думаю: полтора десятка километров — это ведь не только туда, это еще и назад. Не на машине, не на подводе — на своих двоих...

Сам Василий за образованием, уже за высшим, отправился в неблизкий город Казань. Впрочем, поначалу он высказал желание стать счетоводом. Однако отец сказал твердое «нет» (видно, были у дедушки резоны, до поры до времени мне непонятные, отрезать своих детей от деревни). И тогда младший сын нацелился на профессию, о какой в семье имели самое смутное представление — решил выучиться на юриста. «Мама положила ему в узелок краюху хлеба и кусок сала — с тем и поехал в Казань». И цели своей достиг. Зная своего крестного, могу предположить, что двигало им юношеское желание увеличить количество порядка и справедливости на земле.

Став работником правоохранительной системы, Василий Антонович с должности районного следователя вырос до начальника отдела республиканской прокуратуры. Это — о его деловых качествах. А что касается качеств человеческих... Мама до сей поры вспоминает его слова: «Знаешь, как душа болит, когда приходится выносить приговор. Понимаю — преступник. Но — человек же...» Каждый раз, произнося эту фразу, она вытирает слезы...

Когда его хоронили (умер крестный от болезни желудка рано) сослуживцы признавались, что на долгой службе в подобного рода органах редко кому удастся остаться человеком с незапятнанной репутацией, а, главное, незапятнанной совестью. Василий Антонович — остался. Правда, к концу жизни, устав, видимо, бороться между долгом и нашим российским «телефонным правом», признавался сестре:

— Знаешь, чего больше всего хочу? Вернуться в родную деревню, завести лошадь и работать на земле.

...На озеро я не попала. Кроме одной напасти — травы стеной — нас ожидала в бабушкиной деревне другая — несметные полчища комаров. Никаких средств защиты от подлых тварей мы не взяли, и потому, устав хлестать себя по щекам и икрам ног, малодушно решили возвращаться к

машине. И шли назад куда более резво. Я уже забыла о «вещем» сне и утешала себя тем, что — пусть я не повидала озера, в котором купалась вечность, зато и без того многое увидела, многое вспомнила, и вообще, кажется, знаю теперь о своих верхнеладских родственниках все, что хотела знать. Правда, скребла душу еще одна бабушкина фраза. Однажды, во время нашей очередной беседы о жизни прошлой и нынешней, она произнесла странные слова. Она спросила:

— А кто тебе сказал, что до революции все простые люди жили плохо?

— Как кто? — удивилась я. — Учителя. И учебники истории.

Против учителей бабушка не возникала никогда. Против газет, которые издаются где-то далеко — да, но против учителей, к которым ее внуки каждый день ходят на уроки...

Решив, что бабушке нечего возразить, я и спора, по привычке, не продолжала. А теперь решила спросить у мамы: почему?

— Почему бабушка однажды сказала: «Кто тебе сказал, что до революции все простые люди жили плохо»?

— Так ведь они оба — и мама, и тятя — были из зажиточных семей.

Не скажу, что не слышала об этом от мамы раньше. Слышала — но все скользило мимо сознания, а главное — мимо сердца, ни то, ни другое особенно не задевая. Почему?

Здесь придется сделать лирическое отступление. Я сказала: мимо сознания, мимо сердца. И одна из причин этого «мимо» в том, что и сознание, и сердце до краев были заполнены ЛЮБОВЬЮ. Любовью к Родине с большой буквы. Пусть смеются те, для кого это понятие стало пустым звуком. Пусть иронизируют над наивной, восторженной дурочкой, поверившей учителям и учебникам. Не одна я — миллионы моих ровесников были такими. Мы верили, что строим лучшее в мире государство — такого в человеческой истории не было никогда, и ради этой великой цели стоит жить, как велит песня: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». И потому не стоит жалеть о том, что было раньше, до начала этой великой стройки (впереди ведь сияющие вершины!), а бабушек с дедушками, ностальгирующих по прежней жизни, надо понимать и прощать — им уже не преодолеть своих заблуждений...

От этих своих мыслей (по поводу великой цели) я не отказалась и сейчас. А вот что касается бабушек и дедушек... Что-то в моих суждениях о них — во время этой поездки я поняла это особенно отчетливо — было не так. Не правильно. Не честно. Не объективно. Что именно? Пришла пора ответить на эти вопросы.

Собственно, предпосылки к ответу уже были. Над страной пронеслась, все сокрушая на своем пути, горбачевская перестройка, и, поначалу восприняв ее едва ли не с восторгом, мы бросились узнавать то, что раньше было под запретом. Столько обрушилось на наши бедные головушки... Тут уж было не до родственников — и сознание, и сердце едва вмещали газетную и книжную информацию, касающуюся всей страны.

Видно, теперь пришло время узнать СВОЕ.

— Ну, и чем же они занимались? Чем наживали свое богатство? — вступает в беседу брат.

— Тятин отец гусей в Москву гонял, а у мамино было маслобойка, он конопляное масло делал.

— Держали работников? — продолжает брат.

— А как же. Гусей за семьсот верст один разве погонишь? А у Анд-

рияна (маминого отца звали Андрияном) все девки рождались: сначала Александра, потом Варвара, ваша бабушка. А девки — по себе знаю — какие помощницы на производстве? Вот и нанимали людей — значит, эксплуататоры.

— А почему же ни дедушка, ни бабушка не обмолвились об этом ни разу, ни единым словом?

Это спросила уже я — и поняла, что сморозила глупость. Потому что ответ к тому времени знала и сама:

— И у тятиных, и у маминых родителей все имущество отобрали, а самих сослали то ли в Сибирь, то ли в Казахстан. Вот они и молчали. Боялись, как бы нам, детям, не навредить. Время-то какое было...

Я сидела, оглушенная. Вот тебе и «все вспомнила, все повидала». Все «узнала о своих верхнеладских»...

— А почему... бабушку с дедушкой не тронули?

— Так они уже женаты были. Жили отдельно. И — как все...

Мне ли не знать этого «как все»... Это «как все» я уже и сама хорошо помню.

Их домик был иллюстрацией к есенинской строчке «низкий дом с голубыми ставнями» — только не ставни, а его наличники были выкрашены в голубой цвет. Дом — это, как и у всех деревенских в то время — одна-единственная комната. В переднем углу, конечно же, иконы. Две из них помню особенно явственно. Первая и на икону была, по моему мнению, не очень-то похожа — она состояла из множества небольших картинок, запечатлевших библейские сюжеты и заключенных в одну рамку. На второй была изображена голова Иоанна Крестителя на блюде...

Под иконами — стол, с двух сторон которого — широкие, удобные для сидения, лавки. На стене рамочка с семейными фотографиями. Чуть ниже их — картина, вернее, ее репродукция — «Неравный брак» Пукирева.

Вместо кухни — отделенный от комнаты ситцевой занавеской чулан. Сюда выходит чело печи, у которой бабушка простаивала долгие часы, готовя для большой семьи пищу. На печи же и спали, хотя одна металлическая кровать — с шпешечками — в доме все же была. Кто не умещался на печи или кровати, спал на полу.

У самой двери, у входа, стоял сундук. Все.

Этого дома давно уже нет (его заменил перенесенный с другого конца улицы Дашенькин), но я до сих пор вспоминаю его с тихой нежностью и любовью...

Мама, отвечая на вопросы брата, начинает рассказывать о том, какой хорошей (умелой и экономной) хозяйкой была наша бабушка, но я вдруг перестаю ее слышать.

Вот здесь, здесь... Именно здесь, за деревней, на склоне этого вот оврага когда-то стоял деревянный вагончик, в котором дедушка, после того, как уже перестал быть завхозом, нес свою охранную службу. Наверное, я еще не ходила в школу, но была достаточно большой, если бабушка доверила мне и моим двоюродным братьям, Дашенькиным сыновьям, отнести деду узелок с едой. Мы пришли, дедушка узелок развязал, посунулся угостить нас, но мы, наученные бабушкой, решительно отказались: «Дома уже поели». И пошли на улицу.

Дедушкин вагончик стоял на колесах; мальчишки принялись бегать вокруг, а я полезла туда, под вагончик. Я ведь знала, что он должен рас-

ти в укромном, скрытом от людских глаз месте — цветок, которого никто никогда не видел. И если я не нашла его возле дороги, проходящей мимо Константиновки, так, может быть, здесь? Здесь ему даже лучше — под дедушкиным вагончиком так уютно, так умиротворенно и отстраненно от всякой суеты, что если уже где и расти необыкновенному цветку, так только здесь!

И я искала и искала, опять перебирая руками каждую травинку (ну кто, кто внушил мне, что найти его должна именно я?), но — увы — цветка, не похожего ни на какие другие, не находилось...

— ... Завтра к няне поедем, — вклинился в мои воспоминания мамин голос. — Как хотите, а поедем.

Забыв о цветке, мгновенно хватаюсь за соломинку:

— А она может что-нибудь вспомнить о них — ваших дедушках?

— Конечно! Няне хоть и девяносто третий идет, а голова у нее еще светлая.

Поедем, конечно, поедем...

Утром мы опять трогаемся в путь. Наша неугомонная тетенька уже давно поменяла райцентр на столичный (для нашего края) город. Машина «Форд» резво бежит по асфальту, мелькают за окном поля и березки...

Я смотрю на все это и вспоминаю почему-то... статуэтку. В последнем райцентровском тетенькином доме, украшенном бумажными цветами (она тогда работала «в цветах» — цехе по производству цветов из бумаги) и фотографиями, было еще одно украшение — статуэтка. Ни у кого больше — ни у тети Даши, ни у нас — ничего подобного не было, а у нее была. Что она собой представляла? Девушку с коромыслом. Девушка пришла за водой; одно ведро у нее уже на коромысле, за вторым она нагнулась. Да так и застыла. И простояла так на столе, под зеркалом, многие годы... Почему тетенька выбрала именно ее? Может, потому, что она была картинкой из деревенского детства?

Сдается мне, что тетенька, как и ее брат Василий, достигший в столичном городе немалых должностей, тоже всю жизнь тосковала по родной Верхней Ладке («Верхоладка» — звали они ее для краткости). Я и сама по ней, оказывается, до сих пор тоскую. И вчерашняя поездка не только не утолила этой тоски, но еще больше ее распалила; только если раньше мне хотелось УБЛАЖИТЬ душу воспоминаниями детства, сценами гостевания в бабушкином доме, то теперь к этому добавилось не менее сильное желание УЗНАТЬ. Узнать то, о чем всю жизнь так стойко молчали мои незабвенные бабушка и дедушка... Тетенька, помоги!..

Вот и нужная нам улица. Нужный дом. В лифте вместе с нами поднимается совсем юная стройная девушка.

— Скажите, мы туда попали? Нам нужна Мария Антоновна Мещерякова.

— Так это моя бабушка. Вернее, прабабушка.

Тетеньку мы застали сидящей на диване, на кухне. Собственно, нигде больше ее и нельзя было увидеть, поняли вскоре мы. Потому что ходила теперь наша неутомимая и веселая тетенька, как оказалось, только по маршруту «диван-туалет».

— Нянь, здравствуй!

— Здравствуйте. А вы кто?

Маму, однако, она узнала. Меня — с трудом. Брата, которого не видела много лет, не узнала вовсе.

Мы положили на стол торт. Внучка Лена разлила по чашкам чай. Только пить его душа любой и всякой компании отказалась:

— Руки дрожат, чашку не удержу. Пейте сами.

— Да мы поможем...

— Нет-нет, сами пейте!

Мы с братом молчали. Говорили сестры. Устремив глаза в передний угол, знакомым напевно-ласковым и непривычно печальным голосом тетенька вдруг произнесла:

— Прошу Господа: забирай, пора уж! Нет, никак не хочет!

Я, вслед за тетенькой, тоже посмотрела в передний угол и обомлела: икона была — та, из детства, из бабушкиного дома — множество библейских сюжетов, соединенных воедино под потемневшим от времени окладом...

А тетенька продолжала:

— Если бы ты знала, Нюр, как я соскучилась по тате с мамой!

Смотрю и смотрю на тетеньку, пытаюсь разглядеть в ней прежние черты. Коротко остриженные волосы редки, а раньше... Вон, на портрете, она молодая: волосы, заплетенные в косу, венком уложены вокруг головы — куда тебе Юлии Тимошенко, глаза переполнены радостью начинающейся взрослой жизни, платье с белым воротничком и целым рядом маленьких пуговичек сшито, конечно, собственноручно и так ей к лицу...

Только голос у тетеньки прежний. Пытаюсь ухватиться за ускользающий край, спрашиваю ее о родителях родителей.

— Помню, кто-то меня на печку подсаживает — бородатый, сильный. Видно, это и был дедушка...

Поздно, слишком поздно я собралась заглянуть в комнату...

Едем назад. Мама сидит в уголке заднего сиденья машины и молчит. О чем она думает?..

— Тятя няню больше всех любил, — неожиданно говорит она.

— А почему? — пытаюсь выпутаться из своих мыслей, машинально спрашиваю я.

— Не знаю. Может, потому, что она его из петли вытащила.

— Из... петли? Когда? Почему он...

— Да откуда ж я знаю! Это няня знала...

Потом была зима. Перед отъездом домой я уточнила у мамы: что касается родителей ее отца — о них она не знает ничегошеньки. Тятя умел молчать, как никто. Вот когда меня осенило, что могла означать загадочная дедушкина улыбка, спрятанная в бороде: знаю, да не скажу! Хотя режьте — не скажу! И никогда ничего вы от меня не узнаете!

Не узнаем, дедушка. Правда, сейчас это нам ничем не грозит. И нам так хочется знать, кто и, главное, какими были твои родители — наши прадедушка и прабабушка. Но разве можно винить тебя за твое молчание? Уж теперь-то мы знаем, как ЭТО все было и чем чаще всего заканчивалось...

И в то же время как я благодарю — запоздало благодарю — бабушку, произнесшую за всю свою долгую жизнь несколько фраз, которые я теперь пытаюсь расшифровать, будто они были произнесены на неведомом мне языке.

Мне известно уже, что девичья фамилия бабушки была Губерн-

скова (Мещеряковой она стала, выйдя замуж за дедушку), что родилась и выросла она в селе Лада, в те далекие времена (со временем мы раздобудем справку, что бабушка родилась в 1887 году) входившем в Саранский уезд Пензенской губернии. А ее репрессированного отца, у которого «все отобрали и сослали неизвестно куда», звали Андриян Губернсков. Фамилию помнила мама, имя вычислили, исходя из бабушкиного «Варвара Андрияновна», с отчеством помогла... но об этом чуть позже.

Сначала вот о чем. Прошлой зимой, делая всякую другую бумажную и небумажную работу, время от времени я путешествовала по Интернету. С его помощью узнала, например, что в Ладе в 1918 году было крестьянское восстание: крестьяне не захотели отдавать хлеб приехавшим в село продразверсточникам. Не был ли наш прадед участником этого восстания? Не за это ли пострадал? — задалась я вопросом. Увы — ответа на него краткая информация, конечно же, не давала.

Затем я разыскала сайт «Российская ассоциация жертв незаконных политических репрессий». Все течет, все изменяется... Вот уже и — «незаконных», хотя еще несколько десятилетий назад все это было таким законным, что — ни пикни, ни вякни, ни закричи...

Когда я впервые открыла нужную мне страничку, споткнулась глазами о цифру: банк данных сайта содержал... 1 миллион 429 тысяч 449 персоналий. В первую секунду аж дыханье перехватило: это какая же длинная и скорбная вереница людей! Это сколько же горя, слез, отчаянья и обжигающего душу ужаса оказалось вдруг сконцентрировано в одной стране с именем Россия! К тому времени я не только начиталась (может быть, в этом и заключается единственная положительная сторона безумной горбачевской перестройки) о репрессиях и обо всем, что с этим было связано, но и сама написала не один десяток материалов на ту же тему. В тех очерках были чужие судьбы — и то сердце отзывалось болью. А теперь...

Потом обожгла другая мысль: почти полтора миллиона незаконно репрессированных... и это, конечно, еще далеко не все — знатоки отечественной истории утверждают, что настоящая цифра равняется не одному десятку миллионов... и я хочу среди этого несметного количества людей найти своего прадеда?!

Вспомнилась Колыма, куда я почему-то стала проситься во время распределения после окончания университета. Жила и работала я в поселке Омсукчан. Социалистическое соревнование, партийный контроль, советский образ жизни — мы, журналисты районной газеты, писали обо всем, кроме одного — о том, что долгое время край был местом страданий и непосильной работы политзаключенных. Не писали и не говорили. Словно и никогда этого и не было... Хотя уже давно прошел 22-й съезд КПСС, материалы которого мы добросовестно изучали на семинарах. Хотя тогда, в семидесятых годах прошлого столетия, еще стоял посреди колымского поселка барак, обнесенный колючей проволокой. Однако не возникало даже мысли спросить кого-то из местных: что это за барак? Почему за колючей проволокой? Под ближайшей сопкой теснили друг друга ряды холмиков, очень похожие на могилы; мы ходили туда собирать бруснику и... опять ничего не спрашивали. Но однажды я поехала в Магадан на какое-то мероприятие (их тогда проводилось множество) вместе с работниками райкома комсомола. Дорога то летела стрелой, то петляла по сопкам, на которых рос-

ли северные деревья — стланник да лиственница, и вдруг секретарь райкома, симпатичный жизнерадостный паренек, совсем невесело сказал:

— По костям едем. Эту дорогу строили заключенные — уголовники, политические. В основном политические. Какие здесь морозы, ты уже поняла. Какая у них была еда и одежда — можешь представить. Люди строили и падали, и потом их прикапывали прямо вдоль трассы.

Не могу сказать, что эта фраза меня сильно впечатлила. Или взволновала. Мы же все это «проходили». И в голове (и сердце) накрепко запечатлелось: это были издержки роста большой страны. Это были муки рождения великой державы. К ним надо относиться с пониманием и сочувствием, но надо отдавать себе отчет в том, что — лес рубят, щепки летят...

Но когда «щепка» — твой родной прадед? Твоя родная плоть и кровь? ...Дрожащими руками заполняю графы сайта «Поиск по электронной Книге памяти». Вывожу фамилию, имя прадеда... предположительный год ареста (или восемнадцатый, или тридцатый — какой же еще?)...

«На обработку вашего запроса потрачено 0,11 секунды. По вашему запросу найдено 0 совпадений»...

Сижу, оглушенная. 0,11 секунды... Разве можно за такое время найти целую жизнь?!

Еще и еще раз делаю попытки выведать хоть что-то у электронного всезнайки (всезнайки ли?). Увы — безрезультатно...

Звоню маме:

— Ну, ладно, ты не помнишь отчества своего дедушки. Но самого-то его помнишь? На кого он был похож?

— Помню: один раз он пришел к нам в гости. Мама его угощала за столом, а я лежала на кровати. Так я на него и глядеть-то стеснялась.

— Сколько тебе было лет?

— Еще и в школу не ходила.

— Ты с двадцать шестого года. Еще в школу не ходила... значит, начало тридцатых.

Про себя думаю: тридцатые — самый разгул репрессий. Может быть, он, кем-то предупрежденный, проститься с дочерью — Варварой — приходил? И чего я хочу от мамы — чтобы она знала имя-отчество человека, которого в то время звала «деденькой»? Чтобы она запомнила его черты?

Ей было всего четыре года!

А потом в семье (в стране) началась эпоха молчания...

— Слушай-ка, — вдруг произносит мама. — А позвони-ка ты Наде.

— Кто такая Надя?

— Дочь маминой сестры, Александры. Мама как вышла замуж, так и уехала из Лады, а Александра жила там долго. А потом уехала к Наде и осталась у нее жить. Поди-ка, они разговаривали про деда...

Как я искала Надю — Надежду Павловну, точнее, номер ее телефона — это отдельная история. Слава Богу, она закончилась благополучно. И вот я набираю номер ее мобильного телефона. Слышу несильный («Болею» — сразу же доложила она), но очень приятный и, главное, доброжелательный голос. Едва узнав, кто я такая и почему ей звоню, она на удивление быстро ориентируется в ситуации и четко отвечает на мои вопросы:

— Отчество у Андриана было Иванович. Да, он держал маслобойку. Каким был человеком? Мама говорила: замечательным! Хорошо платил наемным рабочим. Мог купить кому-нибудь из них корову. Мог свадьбу молодым за свой счет сыграть. А еще двадцать лет ухаживал за своим парализованным отцом. Арестовали его в тридцатом. Где отбывал срок? В Котласе Мурманской области. Валил лес. Однажды его придавило упавшим деревом. Он заболел. Мама посылала ему посылку, но вряд ли он ее получил. Потому что скоро нам сообщили о его смерти — товарищи написали.

В одном ошиблась моя добрая собеседница: Котлас — в Архангельской области. Пожелав ей здоровья и поблагодарив за рассказ о прадедушке, я тут же бросаюсь с помощью Интернета разыскивать Книгу памяти жертв политических репрессий, изданную в Архангельской области. Здесь Андриан Иванович Губернсков отбывал срок, здесь умер... Здесь и должны быть сведения о нем!

Увы — оказалось, что в эту Книгу занесены только страдальцы, родившиеся и проживавшие до ареста в Архангельской области.

Не утолив моей жажды, Интернет, тем не менее, подсказал, что делать дальше. Если уж быть совсем точной — подсказали люди, ищущие, как и я, своих предков. Нецелесообразно эксплуатируя Интернет, я была поражена: оказалось, таких поисковиков, как я, великое множество. Что особенно удивительно — много молодых! Такое впечатление, что вся Россия затосковала по своим дедушкам и прадедушкам, бабушкам и прабабушкам. Затосковала — и хочет узнать о них как можно больше или — хотя бы что-то! А узнать, как я и сама уже убедилась, непросто. Одна из сложностей, например, была такая: оказавшись на новом месте жительства, многие из репрессированных стремились поменять свои фамилии, делая попытку спрятаться, скрыться, исчезнуть из поля зрения властей. И некоторым это удавалось. Ну и как после этого найти их следы, их корни?!

Один из виртуальных добровольных помощников поисковиков (есть такие!) подсказал: надо обращаться в информационные центры областей (республик) и Управления ФСБ по месту жительства репрессированных. Значит — опять ждать лета...

Весной сажали огород, потом принимали внуков, — только осенью вырвались с братом в Константиновку.

И сразу — в Саранск, в этот самый информационный центр. Дорогой брат небрежно бросает:

— Котлас... Я в этом Котласе целый месяц работал на судне на воздушной подушке.

— Как? — поражаюсь я (брат в свое время закончил Горьковское речное училище, плавал (пардон, ходил) по Волге, Оке, Каме, сибирским рекам, и вот, оказывается, Двина тоже была его рекой). — Нет, ты представляешь — возможно, ты пролетал на своем судне мимо берега, на котором наш прадед валил лес. Возможно, где-то там теперь и его могила...

— Могила, но не его, а братская. Ты же знаешь, их хоронили десятками. Если не сотнями.

— Знаю. Но все равно это поразительно...

Сижу, смотрю в окно и думаю о том, что прадед наш Андриан Иванович становится нам все ближе, ну, как бабушка и дедушка прошлой весной, когда мы ездили в Верхоладку...

Вот и Саранск, улица Коммунистическая, дом номер 75. Лифт не работает, но что нам стоит подняться на седьмой этаж, если каждый шаг будет приближать нас к заветной цели?

— Заполните, пожалуйста, вот эту анкету.

Заполнили.

— Подождите минуточку.

Через минуточку женщина выходит и сначала нас жестоко разочаровывает: «Никакой информации для вас у нас нет». А потом вдруг дарит такую надежду! Она говорит ни больше, ни меньше как:

— Дело вашего прадеда хранится в республиканском архиве ФСБ. Это через дорогу.

Через дорогу... всего через дорогу...

Надо ли говорить, как летели мы с братом к зданию Управления Федеральной службы безопасности по республике Мордовия, с каким трепетом нажимали звонок у его ворот, как, замирая от предчувствия чуда (разве не чудо — найти, наконец, документы, которые расскажут нам о нашем прадедушке?), входили в само здание...

Дежурный в затемненном окошечке (он нас видит, мы его — с трудом) просит подождать. Эка делов, — соглашаемся беспечно, — когда мы уже у цели!

Вышедшая к нам симпатичная молодая женщина, однако, несколько охладила наш пыл: чтобы получить доступ к документам, касающимся судьбы нашего родственника, необходимо собрать целый ряд документов. Таков порядок, и нарушать его не позволено никому.

Ну, порядок так порядок. Значит, будем добывать. Какие же это документы? Чтобы ничего не упустить и не забыть, записываю на листочек: свидетельство о рождении дочери нашего прадедушки («Зачем?» «Ну, как же — надо доказать, что ваша бабушка была его дочерью. В свидетельстве о рождении родители указаны»);

свидетельство о браке нашей бабушки («это будет доказывать, что свою фамилию она поменяла на другую»);

свидетельство о рождении нашей мамы («это будет доказывать, что она — дочь вашей бабушки»);

свидетельство о браке нашей мамы («она ведь тоже поменяет свою фамилию...»);

копия моего (просительницы) паспорта (моего, потому что там указано, что моя мама — это моя мама).

Вот, если эта цепочка родственных связей будет установлена и подтверждена подписями и печатями, тогда...

Решили начать с Лады. Здесь наш прадедушка жил, отсюда его «замели», сюда прежде всего и поедем.

— Мам, ты тоже с нами?

— А как же!

Поначалу мама говорила, что зря мы все это затеяли, что нечего тревожить память давно ушедших из жизни людей, а теперь не хочет от нас отставать. Машина брата, как и в прошлом году (только тогда был конец весны, а теперь ранняя осень) легко и резво бежит по асфальту. Мы радуемся тому, что наши края — прародина Патриарха Кирилла, и поминаем его добрым словом. Предстоятель Русской Православной церкви приезжал навестить родные могилы (его бабушка похоронена в Саранске, дедушка — в селе Оброчном, что недалеко от Лады);

этот визит, конечно же, был событием для Мордовии, и разве могли местные власти допустить, чтобы такой человек ехал по разбитой дороге?

Теперь тем же путем катим и мы...

Березки обочь дороги начали желтеть, но еще полны жизни и света. Брат включает радио и... кажется, прямо с небес, прямо в душу полились музыка и слова:

Радость моя, наступила пора покаянная,
Вот и опять запожарилась осень вокруг.
Нет ничего на земле постоянного
Радость моя, мой единственный друг...

Мы прослушали песню в полном молчании. И потом говорить не очень-то хотелось. Но мама спросила:

— Песня-то... на молитву похожа; кто же ее сочинил?

Я сказала, кто.

— Тогда понятно, — осталась она довольна ответом.

И вдруг принялась рассказывать:

— В Ладу мы, бывало, на ярмарку ездили. Тятя посадит нас на рыдван и везет. А там накупит всяких ягод, мы сидим и лакомимся. А перед поездкой мама напечет в печке блинов крахмальных, нарежет как лапшу, бульоном зальет, и едим. Я один раз сказала: «Матушки мои, как ящерицы плавают, в лапше-то». Тятя хлесть мне ложкой по лбу — без единого слова, и дальше едим.

Так, за разговорами, приезжаем в Ладу. Находим сельскую администрацию («Сельсовет» — упорно говорит мама). Здесь нас огорчают:

— Никаких нужных вам документов у нас не найдете. Жили-то ваши родственники даже не в прошлом — позапрошлом веке. Все архивы того времени — в Ичалковском районе, в Кемле, езжайте туда.

Туда так туда... По журналистской привычке интересуюсь:

— Скажите, а нет ли у вас в селе краеведа, который, возможно, что-то мог рассказать нам о наших родственниках?

Девушка у компьютера иронично улыбается: иголку в стог сена хотят найти... Но глава неожиданно говорит:

— А вон — Владимир Николаевич Нарваткин. И живет рядом.

И вот мы уже стучимся в дом учителя-пенсионера. Ах, как же хорошо пообщались мы с ним! Перво-наперво знаток местной жизни сказал для нас очень важное: Губернсковы — такая фамилия в Ладе была одна. Но — увы — никого из ее носителей в живых уже не осталось. Брат интересуется корнями Патриарха («дом его родителей и сейчас стоит в Оброчном; мама и бабушка вообще наши, ладские»), а я сворачиваю все-таки на свою дорожку:

— А не мог ли наш прадед быть участником крестьянского восстания в Ладе в 1918 году?

Владимир Николаевич соглашается: теоретически — да, но — увы — такими сведениями он не располагает. Вообще же о восстании рассказывает много интересного, не скрывая своих политических пристрастий: «Я — ярый коммунист». В связи с чем и излагает события под соответствующим углом зрения: «Осенью восемнадцатого в Ладу прибыл продотряд в количестве десяти или четырнадцати человек. Это были владимирские рабочие, которые пошли в отряд добровольно. Они захватили из дома промышленные товары, которые планировали обменять

на продовольствие. Вот почему рано утром пошли на рынок. И здесь началась резня. У продотрядовцев стали отбирать винтовки и тут же, на месте, убивать. Кого только ранили — добивали вилами. Конечно, все это организовали кулаки: «Наш хлеб Ленин отправит за границу». И еще добавили «перчику» в свои речи: мол, продотрядовцы попа задумали убить. Ну, народ и озверел... О начавшейся резне почтарь позвонил в Ромоданово, оттуда сообщили в Саранск. Приехали военные. Начались аресты. Человек 50 было арестовано. Был ли среди них ваш родственник — не знаю. От очевидца мне известно, что задержанных держали в арестантской избе, а на рассвете вывели на возвышенность за село и там расстреляли — примерно человек десять. Остальных увезли в Саранск и потом отпустили».

Рассказчик делает акцент на слове «отпустили»: мол, видите, Советская власть проявила гуманность.

Ах, Владимир Николаевич, Владимир Николаевич... Про Советскую Родину я уже сказала — не было для меня ничего дороже! Государство по имени СССР я и сейчас вспоминаю с большим уважением и нежностью. Это было время, когда мы читали хорошие книги и смотрели хорошее (за редким исключением) кино, когда телевизор не пугал и не вызывал скуку, а то и просто омерзение фильмами-«стрелялками» и голыми задами так называемых певиц. Не страшно было задержаться на улице, спокойно можно было поехать в любую республику... У нас была работа и жилье... А главное — мы так верили в те идеалы, которые провозглашались с высоких трибун! Увы — там, наверху, где производили подобные лозунги для широких народных масс, жили совсем по-другому. Потому и произошло то, что произошло.

Но и когда началась чехарда, называемая перестройкой, мы еще долго верили: это — ради улучшения нашей жизни, — ясно же как день, что улучшать есть что. Мы и представить не могли, что вместе с водой новые власти, новые силы, поддерживающие ее и крепнущие день ото дня, выплескивают и ребенка... Вот тут уж точно мы были наивными...

На прощанье Нина (так представилась нам жена Владимира Николаевича) угостила нас необыкновенной вкусноты блюдом: курицей, приготовленной в гусятнице с кашей (сечкой). М-м-м... Хороша была и еда, и беседа, но... Но надо ехать в Ичалки, точнее — в Кемлю.

Однако и Кемля дала нам не особенно много: всего лишь копию свидетельства о рождении мамы и свидетельство о смерти бабушки.

— Но нам надо свидетельство о бабушкином рождении, — настаиваем мы.

— Все свои архивы мы просмотрели. И — безрезультатно. Теперь вам надо в церковных книгах искать. Рождение, смерть, регистрация брака — до Советской власти все эти сведения заносились в них.

— И где же эти книги теперь хранятся?

— В республиканском Центральном Государственном архиве, в Саранске.

Сказать честно, домой мы возвращались уже не в таком оптимистичном настроении. Но и упадническим настроениям решили не поддаваться.

Вспоминали Владимира Николаевича, обсуждали его рассказ.

— Он говорит: сорок человек отпустили, и только десятерых убили. Вот оно: лес рубят — щепки летят... Надежда Павловна говорила, что

Андре́ян Ива́нович 1872 года рождения. То есть было ему тогда сколько? Да всего-то шестнадцать лет. Пожалуй, молод для восстаний...

— Расстрелянных зарыли всех вместе. И креста не поставили. Но спустя время крест на этом месте появился. И стоял до 60-х годов. К этому времени сгнил, упал. На его месте появился новый. И этот со временем упал. И больше уже никто крестов не ставил... А, мам? А ты говоришь — зачем их тревожить. Но если никто больше не поставит креста... не скажет слова... наше общее прошлое просто истает! Испарится, как дым... Ой, опять поворот на Верхолодку! Прошлым летом, помните?

...Прошлым летом, спасаясь от комаров, мы с облегчением уселись в машину. Тронулись... И тут на дороге появилась старая женщина. «Батюшки, — ахнула мама. — Да это, никак, Дуся. Жень, тормози».

Брат остановил машину. Мама вышла, а мы остались наблюдать встречу подруг детства и юности из приоткрытого окна «Форда»...

— Нюр, это ты? А я гляжу, кто это в тот край проехал? Не цыгане ли, думаю, а то еще чего подождут.

— Я, Дусь, я. Здравствуй, голубушка.

Поцелуй, слезы...

— Как живешь-то, Дусь? — спрашивает мама.

— Живу вот...

— Не боишься тут одна?

— Да я не одна — с сыном. Только он что есть, что нет — пьет без памяти. Зимой волки воют вокруг...

И — с неожиданной силой:

— А, до чего страну довели! Раньше, в колхозе-то, хоть и работали, как батраки, а все равно весело жили! Мы уж привыкли к ним, колхозам. Зачем было эту жизнь ломать?

— Не говори, Дусь. Сколько гармоней было, сколько песен... Мама наша на что скромница была, и то выходила песни послушать. На вот, помяни родителей.

Мама протягивает Дусе кулек с гостинцами. Дуся берет, смотрит...

— Ты куда так много?

Отбирает четыре печенья, четыре конфеты:

— И этого хватит.

— Дусь, кто живой еще есть? Из наших ровесников.

Дуся докладывает: эту как-то видела, а эта который год в земле лежит, а эту прошлый год похоронили — да в богатой домовине, с замками. А зачем они, замки — куда она оттуда убежит?..

— Мы с тобой две, похоже, и остались.

Подруги опять обнимаются. Опять вытирают слезы. Они сидели бы так до вечера, вспоминали и вспоминали, но комары...

— Прощай, Дусь.

— Да что же уж прощай? Может, еще поживем?

Мама садится в машину. Трогаемся. Дуся смотрит нам вслед...

Как там она сейчас — одна, среди недалеких уже осенних дождей, а там уже и зимних холодов?..

— А вы знаете, что Дуся — дочь дяди Феди и Фроси-большой? — говорит мама.

— Откуда же нам знать да помнить? Вот сказала — теперь будем знать...

«Центральный Государственный архив Республики Мордовия».

Заходим. Если уж центральный, если государственный — значит, оснащен технически по всем правилам, от и до. Нам всего-то и надо — изложить свою просьбу...

— ... в письменном виде, — вводят нас в курс существующих в учреждении порядков в одном из кабинетов. — А после того, как директор ее подпишет, пойдете работать в библиотеку — листать книги, которые вам принесет наш сотрудник.

Гмм, гмм... А мы-то рассчитывали, что нам выдадут готовенькое. И быстро. И мы уже сегодня...

— Не теряйте время, идите к директору.

Заявление подписано. Проходим в библиотеку — просторное помещение на первом этаже. Симпатичная и улыбчивая молодая женщина внимательно выслушивает, зачем мы пришли, ненадолго уходит и возвращается с толстенными фолиантами — это, как скоро мы узнаем, и есть те самые метрические книги, которые до революции были в каждой церкви и куда вносились записи о рождении, бракосочетании, смерти всех проживающих в приходе данной церкви людей.

Итак, нам надо найти запись о рождении нашей бабушки Варвары Андриановны Губернсковой. Мама не помнит, не знает, в каком году она родилась. Но в свидетельстве о смерти, выданном в Кемле, эта дата указана — 1887 год.

— Вот метрическая книга Ладской церкви — листайте, ищите, — напутствует нас улыбчивая библиотечка.

С каким трепетом открывали мы с братом толстенный фолиант, вместивший в себя несколько обычных книг, ради экономии места и времени соединенных воедино. Сначала мы разглядывали не просто каждую страничку — от начала до конца, но — каждую букровку, узнавая знакомые верхнеладские фамилии. Потом, поняв, наконец, какая долгая и нелегкая нам предстоит работа, стали фиксировать взгляд на имени Варвара. Имя новорожденного (ной) было записано в первой графе (а перед ним стояла дата рождения и крещения), во второй были записаны имена и фамилии родителей, в третьей — свидетелей события. Каждая запись удостоверялась подписями священника и дьякона. Мария, Лукерья, Параскева, Мокрида... Вот — Варвара! Увы — Варвара, да не наша — в графе «родители» записаны совсем другие люди, а не наши бабушка с дедушкой...

Записей о нашей бабушке в 1887 году вообще не нашлось. Мы просмотрели самым внимательным образом записи и за другие годы — на несколько лет раньше, на несколько лет позже — результат был тот же.

— Так... Давайте плясать от даты бракосочетания. Когда у ваших бабушки и дедушки был рожден первый ребенок?

— В тринадцатом (это непокорный Алексей)... Но еще три их ребенка умерли во младенчестве.

— Давайте начнем смотреть с десятого года.

Уже без прежнего пыла берусь листать пожелтевшие страницы. И вдруг...

— Петр! Родители — крестьянин Антон Дмитриевич Мещеряков и жена его Варвара Андрияновна! Родился 24 июня 1910 года!

Работающие рядом люди отрывают глаза от книг, смотрят на меня с улыбкой. А я не могу сдержать эмоций и ликования: Петр! Значит, одно-

го из умерших во младенчестве и собственноручно принятых бабушкой детей звали Петром... Событие к радостным не отнесешь, но... нашли же! И если это первый сын бабушки и дедушки, значит, надо листать 1909 год — именно тогда они должны были обвенчаться.

И вот... Год 1909. Январь 25 числа. «Бракосочетаются: крестьянин деревни Верхняя Ладка Антоний Дмитриевичъ Мещеряковъ, православного вероисповедания, первым браком и крестьянская девица села Лады Саранского уезда Пензенской епархии Варвара Андриановна Губернскова, православного вероисповедания, первым браком»...

Надо перевести дух... Слава Тебе, Господи! Нашла. Ну, зачем, зачем теперь свидетельство о рождении, если черным по белому, с дореволюционными ятями, написано: замуж за Антона Дмитриевича Мещерякова вышла Губернскова Варвара Андриановна. А Губернсковы в Ладе были одни! Вышла, и, следовательно, поменяла фамилию на «Мещерякова».

Так, смотрим дальше...

А дальше... начался детектив. «Лета жениха — 26. Лета невесты — 19».

А как же «вышла девчонкой»? Как же «каталась на ледянке»?

Делюсь сомнениями с библиотекарем. Она улыбается своей очаровательной улыбкой:

— Знаете, ваша бабушка могла себе лет прибавить. 14 — это все-таки для венчания маловато. Даже для того времени.

— А что — такое в те поры случалось?

Ответом мне опять была улыбка...

Ах, бабушка, бабушка! Вот когда загадала загадку. Ваше с дедушкой бракосочетание во всех смыслах оказалось таинством, которое и заверил своею подписью священник Михаил Юрьев с диаконом Николаем... Беляковым? Подпись — увы — неразборчива...

Итог нашей работы улыбчивая библиотекарша запечатлела в двух документах. Первый назывался «Архивная выписка из метрической книги Нижегородской консистории церкви села Хилкова Лукояновского уезда на 1909 год» и удостоверял факт бракосочетания наших незабвенных бабушки и дедушки. Второй свидетельствовал о том, что «... в просмотренных метрических книгах церкви села Лада Саранского уезда Пензенской губернии за 1886-1891 год сведений о рождении Губернсковой Варвары Андрияновны не обнаружено».

Конечно, это меня озадачило: как могло случиться, что записи о рождении девочки из семьи верующих родителей не оказались в метрической книге церковного прихода? Дома я тот же вопрос задам маме, и она тоже не найдет этому объяснения. Но предположение выскажет:

— Первая жена Андриана умерла рано. Мы про нее совсем ничего не знаем. Может, она была родом из другого села? И рожала Варвару там? Тогда и запись должна быть в книге другого прихода.

Какого? Увы — тут мы не могли высказать даже предположений. Но я отчего-то была спокойна. Я рассудила так: зачем нужно свидетельство о рождении бабушки, если запись о регистрации брака свидетельствует о том, что дедушка взял в жены именно Варвару Андрияновну Губернскову. И место ее жительства указано — село Лада. А Губернсковы в Ладе, — еще раз с радостью вспоминаю слова знатока ладской жизни Владимира Николаевича Нарваткина, — были одни...

Все добытые документы я сложила аккуратно в стопочку, в порядке, подтверждающем мою родственную связь с моим прадедушкой Губернским Андрияном Ивановичем. Еще и еще раз прокручиваю в голове: была у него дочь Варвара? Была. Вышла она замуж за жителя деревни Верхняя Ладка Антона Дмириевича? Вышла. Сменила фамилию на «Мещерякова»? Сменила. Родилась у супругов дочь Анна — моя будущая мама? Родилась — вот копия свидетельства о ее рождении. А вот копия моего свидетельства о рождении, которая подтверждает, что именно Рыжова, а в девичестве — Мещерякова Анна Антоновна — моя мама...

Все, все подтверждено!

Господи, скорее бы утро...

И вот мы опять в республиканском Управлении ФСБ. Та же симпатичная молодая женщина рассматривает добытые нами документы. Кажется, все в порядке. Кажется, скоро произойдет то, о чем я вот уже сколько времени мечтаю и грежу — я получу в руки...

— А копия свидетельства о рождении вашей бабушки?

Уверенная, что моя собеседница очень скоро согласится со мной, с жаром начинаю объяснять:

— Понимаете, записи о рождении нашей бабушки не нашлось. Но ведь запись о бракосочетании бабушки и дедушки неопровержимо свидетельствует: за Мещерякова Антона Дмитриевича вышла замуж Губернскова Варвара Андрияновна, а Губернсковы в Ладе...

Я продолжаю говорить, но уже понимаю: слова говорю бесполезные. В этом здании важны только печати и подписи, но никак не соображения, пусть и представляющиеся мне свехубедительными...

— Нам необходима копия свидетельства о рождении. Таков порядок, и нарушить его я не могу.

И тут меня понесло: я замолела что-то о духовной связи поколений, о том, что меня колотит от одной только мысли, что где-то здесь, рядом, лежат документы, которые помогут мне ВСТРЕТИТЬСЯ с моим прадедушкой, может быть, даже увидеть его фотографию (я почему-то очень хочу знать, похожа ли на него бабушка), и неужели какая-то бумажка может послужить препятствием нашей ВСТРЕЧИ, о которой я столько мечтала... У меня есть и еще одна мечта: съездить в этот самый Котлас, найти дедушкину могилу и положить на нее цветы...

Женщина на минуту выходит. Пошла узнать, можно ли пойти мне навстречу и удовлетворить мою просьбу? Или просто... дает мне возможность успокоиться?

Дверь снова открывается, и я слышу:

— Я не могу нарушить установленного порядка.

Во взгляде служительницы учреждения появляется что-то похожее на сочувствие:

— Но вы... не волнуйтесь так уж сильно. Оставьте свой адрес. Самое главное мы вам сообщим в письменном виде — в течение месяца.

— Сволочи! Убить человека, это — пожалуйста, это легко. А дать возможность с ним ВСТРЕТИТЬСЯ, хотя бы виртуально...

Мы возвращаемся домой и — так безрезультатно! Я, можно сказать, в бешенстве.

Брат управляет машиной и молчит. Потом раздумчиво произносит:

— Ты понимаешь, это — государство. Оно для того и существует, чтобы обеспечивать в своих границах порядок. Иначе — хаос. Хаос и беспорядок.

— Кому будет хуже от того, что я посмотрю эти документы? Какой вред я нанесу этим государству?! Уже нет в живых никого из тех, кто их подписывал. Да меня это и не интересует. Мне на них наплевать! Меня интересует мой прадед! Отец моей бабушки! Я хочу знать, каким он был. Похож ли он на бабушку, вернее, бабушка на него. Если уж невозможна наша реальная встреча, то хотя бы духовная-то...

— Гмм... А разве ты в эти вот дни, пока мы добывали справки, пока ты сидела в архивах, в ФСБ — разве ты эту духовную связь не ощущала? Не чувствовала?

Я замолкаю, пораженная. Брат мой Женька, которого я считала чересчур приземленным, не способным уловить тонкие вибрации души — говорит такое?!

Я думаю. И вспоминаю почему-то бабушкин кисель. Однажды я гостила у нее, и она подала мне на завтрак блинов с киселем. Я отпила глоток и вдруг сказала:

— И почему кисель варят такой жиденький? Вот я, когда вырасту, буду варить его густой-прегустой.

На следующее утро бабушка подала мне густой-прегустой кисель... Ух, как мне стало стыдно! И какой благодарностью переполнилась душа!

Бабушка, ты хотела своим внукам чем-то запомниться... и не просто запомниться — ты хотела, чтобы ниточка между нами с твоим уходом с этого берега жизни не обрывалась... И есть, есть этому еще одно свидетельство: недавно мама вынула из шифоньера полотенце с вышитыми его по краям цветочками, очень похожими на голубые головки льна. Вафельное полотно от времени пожелтело. «Ох, сколько пролежало», — вздохнула она. «Что?» — не сразу поняла я. «Да вот полотенце. Мама вышила его незадолго до ухода. И отдала мне». «А что же ты ни разу его не показала?» «Думала, вам неинтересно».

И в самом деле: зачем оно нужно было? Это полотенце понадобилось нам только сейчас.

Бабушка, бабушка... Эти твои голубые цветочки... И те, что я, казалось, так безрезультатно искала на лугу... Может быть, они называются одинаково? Может быть, имя им — СЛОВО?... И мы с тобой... мы с тобой сумели словами обменяться... сумели еще раз поговорить, когда ты уже на другом берегу вечности, а я еще на этом...

Мне даже кажется, что я теперь знаю, какой вопрос таился в твоих глазах. Ты спрашивала: отчего люди так безжалостны друг к другу? Отчего с такой легкостью друг друга уничтожают? Когда сказано: НЕ УБИЙ...

И еще я знаю теперь, ради кого ты утром и вечером, на коленях стоя перед иконами, возносила свои самые горячие молитвы...

Дедушка никаких СЛОВ не оставил. Он все упрятал в свою бороду. Дедушка не надеялся, что мы окажемся способными открыть и, главное, понять его тайну. И он оказался не так уж не прав. Хотя...

Все-таки пришла мне из Саранска, из грозной организации, бумага, и сообщается там вот что: «В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» сообщаем, что по архивному уголовному делу № 5889-с проходит Губернский Андриан Иванович, 1872 года рождения,

уроженец села Лада Ромодановского района Мордовской АССР, бывший кулак-предприятчик.

Губернский Андриан Иванович осужден 25.04.1930 года тройкой при ПП ОГПУ по Средневолжскому краю по ст. 58-10, 58-11, 58-13 УК РФ к 5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере...

Прокуратурой Мордовской АССР от 07 ноября 1989 г. Губернский Андриан Иванович реабилитирован.

...Для ознакомления с материалами архивного дела Губернского А.И. просим предоставить документы, подтверждающие Ваши родственные связи с ним.

Другими сведениями в отношении указанного лица не располагаем»...

Что касается документов — про это я уже рассказала. Что касается «других сведений в отношении указанного лица» — спасибо Надежде Павловне, она рассказала о нашем прадедущке гораздо больше.

Что же касается всего остального...

Когда наша мама прощалась с тетенькой, сестры договорились встретиться уже ТАМ.

Когда-нибудь ТАМ, на другом берегу вечности, встретимся мы все. И друг друга узнаем. И обнимемся.

И тогда вы расскажете все-все...





Валерий Михайлович Барабашов родился в 1942 году в селе Лесково Калачевского района Воронежской области. Окончил Горьковское речное училище, экономический факультет Пермского государственного университета. Работал крановщиком, инструктором Пермского горкома комсомола, инженером, журналистом и редактором воронежских газет, журналов «Урал», «Подъём». Автор более 30 книг остросюжетной прозы. Лауреат ряда литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Валерий Барабашов

НАСЛЕДНЫЙ КРЕСТ

Повесть

Мнительный, осторожно живущий на белом свете собственник двухкомнатной ухоженной «хрущевки» Семен Петрович Муха — бодрый еще мужичок шестидесяти двух лет, с серебряной головой и прямым, твердым взглядом серых глаз — решил поставить на входную железную дверь второй замок. Непокойно как-то жилось ему с одним замком. К этому решению подвигли его и соседи по лестничной площадке, имеющие на дверях по два, а то и по три замка, и назойливые советы местных ментов, через кухонное радио внушающие гражданам необходимость укреплять жилище и тем самым создавать непреодолимые препятствия для квартирных воров. Тут же предлагались и замки различных конструкций с «хитрыми» ключами.

Этими советами менты как бы снимали с себя ответственность за будущие кражи — мол, мы же предупреждали... С другой стороны, это было разумно: хорошую дверь так просто не возьмешь, над ней надо потрудиться. А нажитое, понятное дело, жалко.

В двери Семена Мухи стоял надежный сейфовый замок, но перед дверью его квартиры мог оказаться бывший вор-медвежатник, или спец, который дает в газетах

объявления: дескать, при нужде открою замок без ключа... Значит, знает свое дело в совершенстве и любой замок открыть ему раз плюнуть.

Муха, обладающий определенной способностью к фантазиям, мысленно нарисовал портрет будущего вора — низкий, в полтора пальца, лоб, нависшая на глубоко запавшие глаза челка, прилипшие к голове уши. Питекантроп, словом. Да, еще нос — расплющенный, с широкими дырками и повышенным нюхом. Он, собака, за квартал чует, в какой квартире можно пожить.

Хотя, что у него, пенсионера, брать? Телевизор старой модели, громоздкий, его одному и тащить запаришься; холодильнику сто лет в субботу; «стенка» ворами ни к чему... Книжки, которые он, Муха, собирал всю жизнь? Плевать домушникам на книжки, зачем им читать?! Что надо знать по своей профессии, они давно уже знают.

Один из квартирных воров, которого полицейские все же подловили и показали потом по телевизору, заявил, что у них сейчас, летом, самый сезон, работы невпроворот. Так и сказал, урка наглая. Как будто он выполняет какое-то важное государственное задание.

Сволочь.

А ведь выглядел вполне прилично, можно сказать, симпатичный парень, никакой не питекантроп. И чем черт не шутит — занесет такого на улицу Ползунова, в квартиру с одним, пусть и сейфовым замком, и будет он шарить в шкафу с бельем, где женщины обычно прячут деньги и драгоценности. Или под матрасом в спальне. Может и сберкнижку в «стенке» найти, где отложены на черный день «гробовые», или прихватит что-нибудь из имущества, тот же проигрыватель DVD с дисками старых советских фильмов, которыми он, Муха, очень дорожил. Проигрыватель небольшой, положил его с дисками в пакет и пошел.

Гад ползучий.

Ты собирал эту фильмотеку? Бегал по ларькам, где продают диски? Просил продавцов оставить тебе нужное кино?!

Да, надо второй замок ставить, надо. Можно, конечно, и звуковую сигнализацию замастырить — дверь открыл, и завыла она, голубушка, всполошила весь подъезд. Тут любому ворюге только бы ноги унести. Но так поступишь — только большее внимание привлечешь, и воров, и соседей. Каждый ведь подумает: разбогател Семен Муха, прячет что-то за железной дверью с двумя замками и сигнализацией.

Да, нынче с этой собственностью одна морока. Как ее сохранить? На государство надежды нет. Воры — те, что посolidнее, наверху — себя, конечно, обезопасили: охрана, собаки, та же сигнализация. Денег у них немеряно, на все хватает. А как ему, Мухе, простому обывателю?..

И вот как хитро они, верховные эти, придумали! Вам, народу попроще, в собственность — свои же квартиры, честно заработанные, какие и так никто не отнимет. Хочешь — продавай, хочешь, подари, завещай, короче, будь хозяином материального счастья. И еще рыжий этот, Чубайс, (ну, лис, ну, изувер!)... Так вот, Чубайс по две «Волги» на каждый ваучер посулил. Мол, не беспокойтесь, граждане, все советское имущество поделим по справедливости. Вам жилье и две «Волги», ну а нам, начальникам, что останется, по «мелочи»: недра, трубопроводы, леса-реки, железные дороги, самолеты-пароходы...

Муха, когда услышал по телику про две «Волги», покой от переживаний потерял. Шутка сказать, такой подарок от правителей. С Полиной, женой, они потом прикидывали что и как: одну машину продать, за дру-

гую можно построить дачу или квартиру сыну купить, или на юга, за границу съездить, отдохнуть. Они же никогда за границей не были. В общем, планов понастроили громадьё, как сказал бы известный советский поэт Владимир Маяковский. И многие ведь поверили в обещания. А все со временем свернулось в мясистую жирную дулю, кукиш по-русски, который Чубайс с подельниками народу и продемонстрировали. Они-то хапнули все, «по мелочи», себя не обидели, на века наследникам сладкую жизнь обеспечили.

Ну, хорошо: он, Муха, квартиру может продать. А жить где?

Более того, «подарок» этот от правителей оказался камнем на шее у всех владельцев жилья. Содержать целый дом на девяносто квартир, ремонтировать его, оказывается, должны теперь сами жильцы, собственники. А это не игрушки, это большие деньги. Крыша потекла — собирайте денежки, трубы в подвале сгнили — то же самое, батареи поменять в подъезде... Что тут рассказывать?!

Тут и десяти пенсий не хватит.

* * *

За газетой с объявлениями о разных бытовых услугах пришлось топтать на соседнюю улицу. Это недалеко, надо только пройти перекресток.

Муха был дисциплинированным человеком, в городе жил давно, правила дорожного движения (ПДД) и сигналы светофора уважал. Красный — стой, зеленый — иди.

Стадо машин, недовольно рыча, столпилось у пешеходного перехода, «зебры». Машин в городе — сотни тысяч, это благо цивилизации и комфорт жизни их владельцев для всех прочих, неимущих, превратились в проблему сосуществования, а для гаишников — в головную боль, ибо то тут, то там возникали пробки, а неумелые водители или просто лихачи бились друг о друга по сто раз на день.

Пока горел красный, Муха терпеливо, вместе с другими гражданами и гражданками, стоял на тротуаре, скользил взглядом по номерам машин. С некоторых пор он нашел для себя забаву: три буквы на номере расшифровывал по-своему, добавлял к ним другие, и получалось некое предложение или слово, совсем как в передаче «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем.

Вот и сейчас катили мимо Мухи машины: АХО (А Хочешь Охмурю); КНР (Кому Нужнее Родина); ХРЯ (ну, тут только одну букву надо добавить, «К»... Смешно, ага). А вот ВДВ (Возьми Деньги Взаимы. Дам без поручителей); А вон ЛОХ (у него и машина под стать номеру — старый, потрепанный «жигуленок»). А вон еще... Ха-ха! ВОР! Явно сторонник нынешних правителей, на дорогой иномарке. Он, кстати, мог и не обратить внимания на сочетание букв, как выдали ему в ГАИ номер В 352 ОР, нацепил и поехал. А этот на потрепанной «Волге» — С 255 ОС... Тоже без фантазии, ездит себе... А СОС — SOS у моряков — означает одно: спасите наши души! Погибаем!

Загорелся желтый, потом зеленый, люди пошли, пошел и Муха. Машины стояли теперь перед красным глазом светофора в три ряда, как вдруг, объезжая ряды, к переходу подлетел черный глазастый джип и стал на «зебре», перегородив дорогу пешеходам. Народ у нас терпеливый с татаро-монгольских времен, скандалить не любит, потому джип обходили молчком. Но Муха, тоже, конечно, народ, простить такой наглости

не захотел, дерзко и вполне справедливо сказал водителю в открытое окно дверцы:

— Ты что? Пэдэдэ не знаешь?! Куда стал?

Чернявый молодой питекантроп, сидящий за рулем и отбивающий пальцами в такт гремящей музыке, повернул голову, бросил насмешливое:

— Чаво тебе, дед?

И — захохотал, мурло эдакое, призывая себе в сохохотальщики другое такое же мурло, сидящее справа.

— Ничаво. — Муха уловил, разумеется, и насмешку, и презрение в словах водилы, нарочито искажившем слово. — Я спрашиваю, чего ты стал на «зebre»? Тебе же красный горит.

— Сам ты зебра, старый козел. Иди, куда шел.

Питекантроп, продолжая смеяться, дал по газам, едва загорелся желтый, и Муха, оставшись один на переходе, едва успел прочитать номер его машины: Х 666 АМ.

«Надо же! ХАМ да еще с дьявольским номером!» — подумал Семен Петрович.

Униженный и оскорбленный ни за что ни про что, в горячке справедливых чувств он решил, что сегодня же напишет заявление в ГАИ, нынешнее ГИБДД. Потом вспомнил, что нужны свидетели его конфликта с водителем джипа, а они ушли... Да и ГИБДД себя скомпрометировало в глазах российских граждан, слово это расшифровывается как Гони Инспектору Бабки и Дуй Дальше...

Гнев Мухи малость остывал, пока он шел к газетному киоску. Найти водителя, конечно, можно, но толку-то? Их в машине было двое, а он, пешеход, — один. Попробуй докажи, что ты не верблюд. И как еще себя гибдэдэшники поведут? Скажут, что вы так завелись, гражданин Муха? Не сбили же... А кто первый из вас начал базарить и оскорблять — это надо разбираться.

Купив газету и положив в память номер черного джипа, Муха продолжил путь в обратном направлении, к дому, решив, что подумает потом как поступить. Можно в одну из местных газет позвонить, они печатают такие вот мелкие жалобы и о дорожных происшествиях, и о протекающих крышах, и покусах собаками... Пусть все знают, какой ХАМ ездит на черном джипе по улицам их города.

...Дома, усевшись поудобнее в потертое кресло, Муха стал читать рекламные объявления.

«Оказываем услуги по выведению из запоя...».

«Ремонт холодильников на дому. Недорого. Пенсионерам скидки».

«Гадаю. Верну мужа...».

«Свадебные фото. Качество высокое».

«Котик, жду тебя. Твоя МЯУ».

«Позвони, не пожалеешь...»

Не то, не то... Шлюхи какие-то, хахалей-котов зазывают. Про двери, замки — где?

А вот. «Врезка замков. Защита от взломов...» «Аккуратно, недорого вставлю замки в железную дверь...».

Муха взялся за телефон.

— Алло! Замок вставьте?

— Да хоть два. — На том конце провода — сытый молодой голос.

— Сколько стоит?

— Полторы тыщи.
— А что так дорого?
— Потому что работы много: просверлить, подогнать замок, закрепить.

— Да я знаю...

— А знаешь, сам и вставляй.

— У меня дрели нет.

— Какой же ты мужик без дрели?! Пальцем сверли.

«Ну что за люди, а? Я же с ним вежливо, культурно... А он... Тьфу!»

Другой звонок:

— Здравствуйте. Мне нужно замок вставить.

— Тыща.

— А если дешевле?

— Ты где живешь, папаша? По голосу чую — не пацан.

— На Ползунова.

— Вот. А я на Левом берегу. К тебе ехать через весь город. А это расходы: бензин, амортизация тачки, пробки... А дороги знаешь какие в городе? Яма на яме. Разобью подвеску... И тыще твоей рад не будешь.

— Понятно.

Муха в расстроенных чувствах стал звонить по другим телефонам. Это что же творится на этом проклятом рынке: за замок он отдал триста рублей, а поставить его — тыща! Совесть у них есть? Работы же максимум на час! И если этот, что запросил полторы тысячи, каждый час будет спи-
гать такую сумму... Ого-го... То-то он от сытости еле языком ворочает. Наверное, каждый день красную икру лопают, Гаргантюа. Чтоб тебе икра в дыхалку попала!..

Муха был начитанным человеком и знал, кому и какую повесить на шею медаль.

Человек, который оказался в самом конце объявлений, устало ответил:

— Шестьсот. Сотню скину, если с дверью проблем не будет.

— Ага. Годится.

— Могу сейчас приехать. Я тут недалеко. Две остановки до вашей улицы... Как зовут? Иваном. А тебя?

— Петрович я, Семен.

— Жди. Домофон какой у тебя, Петрович?

Иван оказался таким же седоголовым, как и Муха, пожилым человеком, с простецким лицом и впалыми щеками (не иначе, мучила его какая-то болезнь), с крупными руками рабочего, знающего металл. Он неторопливо осмотрел дверь, сказал коротко: «Понятно», взялся за инструмент.

В коротких паузах между сверлением, подгонкой замка они разговаривали, Иван охотно отвечал на вопросы Семена Петровича.

— Я за большими деньгами не гонюсь, — говорил Иван. — Знаю, что молодые задирают цены... Ну, есть, конечно, работа посложнее этой, что у тебя, и замок дорогой, и двери разные. Но мне совесть не позволяет брать много. У людей разный достаток. Ты, вот, пенсионер, искал в объявлениях мастера подешевле... Я понимаю.

— Ну, а конкуренты — как реагируют?

— Позванивают, — усмехнулся Иван. — Намекают, мол, цены надо держать одинаковые. А то... — Он сменил сверло, потом примерил замок,

удовлетворенно мотнул головой. — Короче, пугали. Но я не из пугливых. Мне зарабатывать надо. Я, понятное дело, и в полете часто остаюсь: вроде бы недорого беру, а у богатых клиентов своя логика — раз мало просит, значит, халтурщик, качество не то. Но мне претензий пока никто не предъявлял.

— А вот те, что предлагают двери без взлома замков вскрывать...

— Эти ребята у ментов на учете.

— Отмычками действуют?

— И ими, да. Но больше высверливают механизм. Это просто.

— Самому приходилось?

Иван внимательно глянул на Муху. Хмыкнул:

— Приходилось.

«Черт его знает, что еще ему приходилось, — подумал Семен Петрович. — Личность особого доверия не внушает. И наводчиком для воров может быть. Замки ставит, адреса записывает... И внутрь квартиры все поглядывает. Надо было дверь-то прикрыть».

— Не дует? — спросил. — А то сквозняк.

Мастер по замкам дернул плечом, не ответил. Пойми его.

— Тебе сколько лет, Иван? На семьдесят выглядишь... Худой больно.

— Да ну, скажешь! Мне в апреле пятьдесят пять только стукнуло. Желудок, зараза, донимает. Что ни съешь, все не на пользу. К тому же жизнь паскудная настала. С завода пришлось уйти, обанкротили нас. А тут навалилось еще: жена в больнице сейчас лежит, дочка из дому ушла...

— Не позавидуешь тебе.

— Да уж, завидовать нечему.

Иван сделал паузу, закурил, сев на принесенный хозяином табурет. Продолжал рассказывать:

— Я, считай, тридцать лет на заводе проработал, прессы собирал. Думал, что до пенсии дотяну. А тут перестройки, переделки... кх!.. кх!.. Дележ... Кому верхки, кому корешки, как в сказке, помнишь?

Муха кивнул.

— У нас три управляющих сменилось. Один цеха и подсобные помещения продавал, другой заводскую базу отдыха толкнул, чтобы долги покрыть, третий часть заводоуправления под офисы сдал. Мы, рабочие, протестовали — ни зарплаты, ни перспектив. Улицу возле предприятия перекрывали. Вышли и стоим. Движение остановилось, менты прискочили, губернатор... Ну, на пару месяцев порядок навели. А потом все сначала. И заказов не стало, и денег. Народ — кто куда, есть-то надо. Я вот ИП, индивидуальное предприятие завел, лицензию купил. Жену лечить надо. Нервный срыв у нее... А ты давно на пенсии?

— Два года. — Муха и себе принес табурет, сел рядом. — Тоже всю жизнь в одном месте протрубил, в типографии. Мастером в газетном цехе. Работенка не сахар была — ночная, грязная. Но ничего, привык. Хотя не различал уже — когда день, когда ночь...

Иван докурил, глянул в открытую дверь зала.

— Один, что ли, живешь?

— Один.

— Что так? А жена, дети?

— Жена умерла.

Прикрутив замок, пощелкав ключом, Иван сказал ровно:

— Принимай работу, хозяин. Пробуй.

Муха тоже пощелкал.

— Ну что, нормально.

Предложил вдруг неожиданно для самого себя: «Давай, Иван, по сто-пару. Обмоем».

— Ну... давай. Где у тебя руки помыть?

Сидели потом на кухне; разговор шел сам собой, обоим захотелось вот пообщаться — один жил одиноко, у другого, видно, не всегда попадалась словоохотливая клиентура.

После рюмки, пожевав салата, Иван тактично спросил:

— Петрович, извини, про детей ты не стал говорить...

Муха махнул рукой.

— Да что говорить, Иван?! Сын у меня есть. Сидит. За убийство.

— Во как тебя угораздило! Жена умерла, сын... за колючкой.

— Угораздило, ага. Знаешь, а семья у меня хорошая была. Мы дружно жили, в сыне души не чаяли... Да и весело у нас всегда было: жена в хоре пела, я на баяне играл. Не в хоре у них, а так, для себя, дома. Сына старался увлечь. Мы с Полиной все ждали — вот женится, внуки будут... Не дождалась. В одночасье ее не стало — сердечный приступ. Просто мгновенно ушла из жизни. Вот как с тобой, сидели, разговаривали... Упала и все, конец... Налей еще, ты уж похозяйничай, Иван.

Мастер наполнил рюмки.

— Жена солисткой была?

— Нет, рядовой, можно сказать, певицей. Но голос у нее чудный был! Заслушаешься... А на баяне я сам выучился. Самоучка. Нот не знаю, а так, по слуху. Мелодию сначала по одной пуговке подбирал, потом аккорды осваивал, левую руку, басы. Получалось. И Полине моя игра нравилась. Давай, говорит, я с нашим хударюком потолкую, нам еще один баянист нужен. Я отказался. Хор профессиональный, там почти все после музыкальных школ...

Иван согласно кивал.

— Дочка моя тоже в музыкальной школе училась. Супруженица настояла. Очень ей хотелось, чтобы Алена на пианино играла. Прихожу как-то с работы, а инструмент уже дома... Но интереса к музыке дочка не проявила. Хотя голос у нее тоже неплохой, в школьной самодеятельности пела русские народные песни... А с пианино не захотела возиться. Врачом, говорит, хочу стать.

— И что — стала?

— Какое там! Болтовня одна. В медучилище училась; поработала в больнице года два, что ли, ушла. Мало, говорит, платили. А ты стремись, в мединститут поступай... Какой там!.. Замуж выскочила. Тоже не сложилось... Потом вообще из дому ушла, когда мы ее уму-разуму стали наставлять. Не желаю, вопила, жить по-вашему, по-совковски. Сейчас другая жизнь — посмотрите вокруг! Все на дорогих иномарках ездят, квартиры шикарные имеют, дачи... А вы? Советские! Ха-ха! Все время свое вспоминаете, тоскуете, черт знает о чем. Ушло оно, ваше время! Наше пришло — богатое, веселое... Короче, бросила нас. Живет сейчас с каким-то... Не знаю даже, чем они занимаются. Мать вот в больнице, а я принципиально с дочерью не общаюсь. Не хочу, плюнула она мне в душу. Мы же все для нее, только ради нее... Эх!

Муха сидел печальный.

— Иван, ну, ты вот во всем дочку обвиняешь. А не подумал о том, что не она одна во всем виновата. Вспомни, в каком государстве мы сейчас

живем. Все можно продать, купить... И вообще... Сам же только что рассказывал, какой бардак из вашего завода сделали.

— Завод — это одно, а... поведение молодежи — другое, — сейчас же возразил Иван. — Почему-то не все девки проститутками стали, а ребята бандитами. Кто-то и при капитализме себя нашел, устроил жизнь. Это — кто хотел! Понимаешь? А кто легкую дорожку ищет, тот... Да чего тут объяснять? У тебя с сыном все, что ли, гладко было?

Муха помолчал. Лицо его было расстроенным.

— И мы со своим помучились... Вот ведь какая закавыка в жизни, Иван: не знаю, как ты, а я сюда, в Воронеж, с одним чемоданчиком приехал. За спиной — десятилетка и служба на флоте. Я далеко, под Владивостоком, служил, на подлодке. Домой возвращаться не захотел — деревня наша вымирающая, мать сама мне сказала: езжай в город. Я и поехал. Специальности никакой. Устроился поначалу в дортрест, асфальт класть на дорогах. Жил в общежитии, шесть человек в комнате. Удобств, конечно, мало. Но ничего. Потом в типографию устроился — сначала простым печатником, даже учеником.

— Вот видишь! Пробивался в жизни! Потому что не имел ничего. И некогда было о пьянках-гулянках думать. И я так же. — Иван внимательно слушал Муху.

— Ну, и рос помаленьку — бригадир, мастер... — продолжал тот, согласно кивнув. — Пробивался, конечно. Куда было деваться?.. А с Полиной мы в троллейбусе познакомились. Она с концерта ехала, веселая такая, глаза сияют... Нам было интересно друг с другом, родственные души оказались. Она меня, может, за то и выбрала, что я на баяне играл.

— А сейчас — не бросил? Сыграл бы что-нибудь. Я к хорошей музыке тоже равнодушный.

Муха покачал головой.

— Нет, Иван. Не могу себя пересилить. Пальцы как омертвели. Сколько раз брал в руки инструмент — не играет. Какой-то толчок нужен, стимул. Чтоб душа попросила, что ли... Без Полины, без песен ее, голоса — не идет дело.

— Понимаю, понимаю, — вторил гость.

— А знаешь, Иван, я тебе признаюсь: радостно жить с женщиной, которая поет, у которой на душе всегда праздник. Она и по характеру была легкая, мы никогда не ругались, поверь. Птичкой порхала по дому и все «Сенечка, Сенечка...» Возьму ее на руки, в глаза гляжу, смеюсь: «И как же ты уродилась такая? Соловушка, честное слово». Она и на могиле, на портрете, смеется. Перед смертью велела мне: помни меня такую...

Седовласые выпили еще, помолчали. У обоих что-то запершило в горле; пряча друг от друга повлажневшие глаза, покашляли.

— Да, ты, наверное, прав, — сказал Иван. — Моя-то не из артисток, домохозяйка, но душа у нее добрая, материнская. Чисто женская. Уж как она по дочке нашей убивается!.. И слегла-то из-за нее. Мы тоже ладно жили, но в одном вопросе контакта не находили — все из-за Алены. Жена — Марина Алексеевна ее зовут — такой философии держится: дети должны жить лучше нас. Я разве против? Пусть живет. Чем могу — помогу. Но и она должна стремиться к чему-то, правильно ты говоришь. Как иначе?.. А нынешние детки какими-то ущербными растут. Явились на все готовенькое, да еще с претензиями — то купи, это достань. Не нравится им, как мы живем, что богачами не стали. Совки советские, ишь! А по моему разумению, все богачи — воры. Слышишь же по телевизору: каж-

дую неделю кого-нибудь судят или ловят. И генералы, и чиновники, и менты...

— Вот они-то и испортили наших детей, — уронил в стол Муха. — Трудно, конечно, молодым не позавидовать шикарной жизни. Это мы, взрослые, понимаем что к чему, что трудом все достигается, или, наоборот, воровством... А дети... Но что делать, Иван, теперь их из болота тащить надо. Крест наш.

— Нет! — резко вскинулся тот. — Я своей дочке сказал: не собираешься честно трудиться, иди куда хочешь. Вот она и вильнула хвостом, обиделась. Ты, говорит, мне больше не отец... Детки, знаешь ли, мстительные. Чуть что не по их — пилюлю родителям, сюрприз. Алена вот просто ушла; живая, слава Богу, другие с крыши прыгают... И пусть прыгают. Голова у каждого своя. Думать надо, какую дорогу в жизни выбрать, к чему стремиться.

От этих жестоких слов Муха поежился.

— Знаешь, Иван, я вот смотрю на детишек, какие по телевизору в концертах, или там в соревнованиях выступают... Пацаненок с боксерскими перчатками говорит: «Спорт закаляет волю...» Горло перехватывает. Ах, ты, думаю, молодец какой! Понимает что к чему, в девять-десять лет уже добиться чего-то хочет. И добьется! Стремится же ребенок к чему-то — спортом занимается, или танцует, поет, на инструменте играет... Советуешь ему мысленно: давай, давай! Правильно живешь. И задаешь себе вопрос, почему мой сын не стал таким? И мать, к примеру, наша артисткой была, и сам я не дурак...

Иван поднялся.

— Вот-вот, в точку. Но сентиментальный ты, Петрович. А по мне — детей в строгости и послушании надо воспитывать. И требовать с них как можно больше. Ты же для них стараешься, для их блага. Мы тебя кормим, одеваем-обуваем, учим, а ты тоже старайся, плати любовью к родителям и трудом... Ладно, все. У меня нынче еще один заказ... Хотя... лучше к жене в больницу съезжу. На фрукты заработал... Спасибо тебе за угощение.

— И тебе спасибо. Пожелай жене выздоровления от моего имени.

— Ладно, скажу. Мол, хороший человек пожелал...

* * *

Муха допил водку, какая еще оставалась в бутылке, включил было телевизор, потыкал в кнопки пульта.

Смотреть было нечего: на СТС известный певец хвастался любовными приключениями; на НТВ собачились политики, обвиняя друг друга в неискренности по отношению к народу; на Первом канале какой-то бандит бил рожу другому бандиту...

Жуть и беспредел.

Остальные каналы гнали бесконечные сериалы. Какой интерес смотреть сто двадцать седьмую или сорок вторую серию?!

Правда, повеселил его второй канал, «Россия 1» — там шло разудалое «Кривое зеркало». Муха любил эту передачу. Петросян собрал в свой театр талантливых артистов, они у него и пели, и играли на разных инструментах, и смешные сценки классно разыгрывали. Одно удовольствие на них смотреть...

Муха подошел к двери, потолкал ее. Нет, все нормально, два замка

держали дверь крепко. «Сунься теперь, — подумал повеселевший собственник о потенциальном воре. — Хренушки откроешь. А откроешь, так и пожалеешь, что рисковал — брать-то нечего. Ха-ха-ха...»

«Два замка, а сало лучше перепрятать, как сказали бы в моей родной деревне, — размягченно продолжил свои мысли Муха. — Подальше положишь, поближе возьмешь».

О сале он вспомнил на законных основаниях: любил этот питательный калорийный продукт, сам умело солил его, держа в холодильнике небольшой запас.

«Кривое зеркало» и развеселило его, и понудило взять в руки все ту же газету с объявлениями об услугах. Осточертело сидеть одному, бирюком.

«Юная красавица разделит с тобой час отдыха...» Нет, на фига ему «юная красавица»? Ему бы поговорить с дамой в возрасте, расспросить ее о житье-бытье, самому поплакаться на боль в спине. И от массажа бы он не отказался... Эх, нету Полинки рядом, нету!

Еще, что ли, выпить? В холодильнике есть другая бутылка...

Выпил. Пожевал сала. Снова взялся за газету.

Так, это он уже читал: «Котик, жду тебя! Твоя Мяу!»

А ну-ка, ну-ка! Интересно, чего скажет эта «Мяу»?

В трубке заворковал нежный девичий голосок:

— Котик, привет! Хорошо, что ты позвонил. Я так ждала... Погоди, погоди, ничего не говори, послушай меня. Представь нашу встречу. Ты приходишь ко мне — робкий, неуверенный в себе. Может, тебе впервые предстоит быть с женщиной. Это не так страшно, поверь мне. И доверься. Ты, главное, не стесняйся, я тебя всему научу. Давай сначала разденемся... Нет-нет, не так! Сначала я тебя, потом ты меня. Это так романтично, волнительно — раздевать молодую красивую женщину!..

Нежный голос намурлыкал такие интимные подробности, что Муха вспотел, трубка выпала из его рук. Пошел на кухню, выпил из-под крана стакан холодной воды.

Ну и «Мяу»! Кошка драная! Ни стыда, ни совести.

Жди своего котика...

Вот это, пожалуй, годится: «Звони, не пожалеешь». Скромно и без всяких закидонов. Вполне возможно, что это для него — потолковать с одиноким человеком, душу отвести. Есть же такие службы.

Муха позвонил.

— Але-о-о... — отозвался приятный женский голос. — Слушаю.

— Это Муха, — сказал Муха. — Привет.

— А я Паучок, — ответила женщина и рассмеялась. Чувствовалось, что у нее прекрасное настроение.

— Да я не шуткую. У мэнэ фамилия такая — Муха, Семен Петрович я по паспорту.

— Чую ридну мову, — женщина по-прежнему говорила весело, охотно. — Шо у тэбэ стряслося, Семен Петрович? Скучаешь?

— Ага. Один живу. И побалакать не с кем. Ты, Паучиха, дуже занята?

— Дуже. Семен Петрович, давай я до тэбэ дивчину пришлю.

— Да шо я с дивчиной робыть буду?! Я же кажу: побалакать бы...

— И побалакаешь с нею, и поцелуешь, если схочешь. Кажи адрес.

— Ну... улица Ползунова, дом с краю, первый, а квартира на третьем этаже во втором подъезде. Железная дверь, синяя, два замка. Седня тильки и поставылы.

— Ага, все записала. Жди.

— Ты погоди, Паучиха... Может, ты сама приедешь? Чую, шо мы с тобою нашли бы общий язык. А? Ты в яком возрасте?

— Да стара я уже, стара. И на работе я, Семен Петрович. Не могу. Я дивчину гарную пришлю, ты не пожалеешь... Ты меня слышишь, Муха? Или як там тебя по-настоящему — Таракан? Алло!

Но Муха уже ничего не слышал — он крепко спал.

— Ну ладно, — сказала пустая трубка. — Заказ принят, адрес есть. Встречай гостей, Семен Петрович!

* * *

В дверь сначала настойчиво звонили, потом принялись громко барабанить.

Муха с трудом проснулся. Подошел к двери на неверных ногах, стоял сбоку от глазка (в глазок могут выстрелить прямо в лоб); спросил хрипло, недовольно:

— Кого это черти принесли? Ночь на дворе.

— Муха Семен Петрович? — раздался густой мужской голос.

— Ну, я.

— Открывай.

— Зачем?

— Звонил?.. Гости к тебе.

— Я никаких гостей не жду.

— Открывай, не бойся. «Паучиха» нас прислала.

— А-а...

Муха открыл.

На площадке стояли трое: молодая женщина с двумя парнями.

— Я по вызову, — сказала женщина. — Можно войти?

— Да чего ты спрашиваешь, Матильда?! — чернявый парень подтолкнул ее в прихожую, вошел следом. Тряс какой-то бумагой перед лицом Мухи.

— Вот, заказ. Ползунова, дом один, квартира во втором подъезде, синяя железная дверь... Семен Петрович... Звонил нашему диспетчеру?

— Ну... Я просто так, побалакать... Паучиха... Я же ей все объяснил!

Чернявый приблизил гневное свое лицо, смотрел в самые глаза Мухи. Лицо это показалось ему знакомым. Где он его видел?

— Слушай, Муха! Ты не финти. Мы тут игрушками не занимаемся. У нас дело, работа. Ты звонил — мы тебе красавицу доставили. Бабки гони.

Под напором слов, а главное, непримиримого, тяжелого взгляда парня Семен Петрович отступил. Пробормотал:

— Где-то я тебя видел, сынок?

— И мне твоя карточка знакома, папаша, — ухмыльнулся парень. — Серега, узнаешь?

— Узнаю, — скривил тот, второй, нечто подобие улыбки. — На «зебре» встречались. Борец за права пешеходов.

— И я вас узнал, — сказал Муха. — ХАМ шестьсот шестьдесят шесть. Дьявол.

— Чего ты сказал?! — взвился чернявый. — Оскорбляешь?!. Да я тебя, Муха помойная, одной левой раздавлю!

Он растопырил пальцы, пошел на Семена Петровича.

— Володя, не надо! — заволновалась женщина. — Он же номер твоего джипа называет... Володя!

ХАМ держал на лице презрительную гримасу.

— Номер!.. Ишь, запомнил! В ГАИ собрался стукнуть, не иначе. А у меня там все схвачено, запомни, правовед... Бабки гони за визит красавицы, иначе...

Красавица выглядела не очень: небольшого роста, круглолицая и курносая, с ярко накрашенными губами. И в карих ее глазах стояла тоска. Единственно, что обращало на себя внимание, привлекало взгляд — волосы: ухоженные, каштанового сочного цвета, свисавшие до плеч. Матильда, то и дело поправляя прическу, без особого интереса смотрела на Семена Петровича.

А у него дрогнуло сердце, дрогнуло. Пришлась женщина ему по душе и все тут!

— Ну?! — грозно повторил Володя-ХАМ. — Бабки!

«Зачем дурак открыл? — терзался Муха, мечась по комнате. — Пусть бы подумали, что в квартире никого нет, что они ошиблись адресом, или эта самая Паучиха, их диспетчер, не так записала...».

— Ничего я платить не буду, — твердо сказал он, собравшись с духом. — Я просто... пошутил... Выпил, захотелось побалакать. Что тут такого? Можно и простить пожилого человека.

— Ага! Пошутил, значит?! А мы, ночь не ночь, машину били по вашим ямам у дома, бензин тратили, красавицу везли. Она тоже готовилась — духи на себя извела, помаду. А прическа — глянь! Красота! Но она тоже денег стоит. Кто все это будет компенсировать? А?

ХАМ строчил все эти обвинения, как из пулемета. Или язык у него был так хорошо подвешен, или ему эти слова приходилось уже говорить не раз.

Потом вдруг подскочил к Семену Петровичу и схватил его за горло, стал душить. Дикие его глаза, казалось, вылезут сейчас из орбит — столько в них было ненависти и стремления уничтожить этого плюгавенького мужичонку, стереть его с лица земли.

— Прощайся с жизнью, тварь помойная! — шипел он. — Задушу!

Семен Петрович с громадным трудом оторвал от шеи железные пальцы ХАМа.

— Стой... ты, бандит! Что творишь? Тебе это так не сойдет.

— Серега, ты слышал? Он угрожает еще, а?! Вызвал девушку, а теперь в кусты!.. Деньги где? Ну?! Или хана тебе. Никто не узнает! Соседи спят, никто ничего не видел.

Покачиваясь на дрожащих ногах, держась за помятое горло, Муха тыкал другой рукой в сторону прихожей.

— Там... на вешалке, в пиджаке. Бери, бандюга!

ХАМ нашел пиджак, пересчитал деньги.

— Вот, лишнего нам не надо. По таксе берем. Хотя за моральные переживания надо бы еще...

— Володя, остановись, — ровно проговорила Матильда. — Он же отдал. Мы не грабители.

— А оскорбил сколько раз! — крикнул Володя-ХАМ. — «Бандит», «Тебе это так не сойдет»... И там, на «зебре»... Я таких повидал! Таких в бараний рог крутить надо, иначе ни о чем не договоришься... Ладно, Матильда, оставайся. Мы поехали.

Повернулся к Мухе:

— До утра девушку оставляем, понял? И смотри у меня! Звякнешь если в ментовку... Убью!

Муха все еще держался за горло, дышал прерывисто, тяжело. Хмель улетучился, от игривого вечернего настроения не осталось и следа. Было больно и гадко на душе, он не знал, что ему делать и как себя вести. Связываться с бандитами в самом деле не имело смысла — кто его поймет и посочувствует? Вызвал в подпитии проститутку, потом отказался платить...

М-да, влип придурок.

— Больно? — спросила Матильда, сняв уже легкую свою куртку и заботливо глядя на Семена Петровича.

— А ты как думаешь? — раздраженно спросил он. — У него же не руки, а... клещи!

— Да, это верно. Володя спортсмен в прошлом.

— В прошлом спортсмен, в настоящем — бандит. Чем он в жизни до сутенерства занимался?

— Ну... в милиции служил.

— А! Понятно. Выгнали его, не иначе. Так же вот душил людей на допросах. Чувствуется хватка.

Матильда промолчала.

— Ты зачем осталась? — спросил Муха.

— Уходить мне нельзя. Нас бы вы обвинили в грабеже... Утешать вас буду, Семен Петрович. Вы же пострадали.

— Хм. Утешать. Ну, утешай.

Муха прилег на диван, покашливал — горло болело.

Матильда села рядом.

— Мне раздеться, Семен Петрович?

— Зачем?

— Ну... посмотрите на меня. Может, чего захотите.

— Ничего я не захочу. Старый я уже для тех дел, на которые ты намекаешь... Кх!.. Кх!.. Вот собака, все горло измял. Надавил так, что аж хрустнуло.

— Я бы не сказала, что вы старый... Это от женщины зависит.

— Слушай, Матильда, или как там тебя на самом деле... Я слышал, что в таких заведениях, как ваше, девкам прозвища дают, они настоящие имена не называют.

— Матильда я, — сказала она, потупив взгляд. — В детдоме так называли.

— А, ты детдомовская... Слушай, намочи полотенце на кухне, давай приложим к горлу. Думаю, поможет, охладит.

— Давайте.

Матильда по-домашнему просто засуетилась: нашла в «стенке» чистое полотенце, намочила его, приложила к горлу Мухи.

— Сейчас полегчает.

— Подождем, ага, — в тон ей ответил Семен Петрович. — Ты вот что, красавица, разулась бы.

Она улыбнулась:

— А говорили, не надо раздеваться.

— Каблуками своими ковер мне истыкала. Чего непонятно?

Матильда разулась, прошлась босиком по ковру на полу, заглянула в другую комнату.

— А хорошо у вас, Семен Петрович. Чистенько. Диспетчер наша сказала, что вы один живете... Сами, значит, убираетесь?

— Сам, а кто ж еще? Жена, царство ей небесное, порядок в доме любила, да и я тоже... В чистоте жить приятно.

— Да, конечно. Но без женщины... скучно. А? — Матильда положила руку на колено Семена Петровича.

— Убери, — сказал он. Помолчав, спросил: — Тебе сколько годков, Матильда?

— Двадцать семь.

— Угу, понятно. Не такая уж и молодая. А до вертепа чем занималась?

— Много чем. Неинтересно рассказывать.

— А э т и м интересно промышлять?

— Чем этим?

— Ну, проституцией.

Матильда резко поднялась с дивана, подошла к балконной двери, долго стояла у черного, ночного стекла.

— Нет, неинтересно. Но деньги хорошие платят.

— А не противно? Разные мужики, терзают...

— Вы же не терзаете.

— Я — другое дело. Старый уже и жену свою люблю до сих пор. Скоро четыре года, как ее нет, а я не могу с другими женщинами... В ваш вертеп это я так позвонил, по дурости и с пьяных глаз.

— Понятно... Семен Петрович, чаю попьем, а? В горле что-то пересохло.

— Ты сама там сделай, на кухне.

Матильда быстро нашла и чайник, и сахар, и печенье. Минут через пятнадцать они сидели за столом и пили душистый горячий чай.

— Молодец, — похвалил женщину Муха. Но пить чай почему-то не стал.

— Семен Петрович, а за что вы так жену любили? Кстати, как ее звали? На снимке она? — Матильда кивнула в сторону холодильника, на котором в рамке стоял портрет Полины.

— Она, Полюшка моя. А за что любил... Зачем это тебе, девонька?

— Может, пригодится. Вдруг замуж кто позовет. Хочу поучиться чужому женскому опыту.

— А этот... ХАМ-Володя, он тебе кто?

— А что, разве заметно, что у нас какие-то отношения?

— Конечно. Ты у него под каблуком.

Матильда подавила вздох.

— Да вроде как муж... гражданский.

— Сволочь он, а не муж! — не удержался от возгласа Муха. — Чтоб жену да под других мужиков подкладывать... Мерзавец!.. И ты сама не против, выходит?

На глазах Матильды появились слезы.

— Семен Петрович, не надо, а? Не рвите душу. Она и так вся в клочьях. Расскажите лучше о своей жене. Может быть, на пользу мне пойдет. Другой хочу стать, настоящую половину найти...

— Ну ладно. — Муха потянул паузу, размышляя, о чем именно рассказать неожиданной этой ночной гостье.

— Ты вот с чая начинай, — он взял заварной чайник, вылил его содержимое в раковину. — Чай так не заваривают. Сначала чайник кипятком парят (он говорил и показывал), потом засыпают заварку, заваривают и сливают. И снова заливают... Вот, постоит и будем пить... Теперь пробуй.

— Вкусно, ага, — сказала Матильда. — Это жена научила?
— Она. И борщ варить, и котлеты делать, и овощное рагу, и блины печь, и еще многое другое.

— Она что, поваром была?

— Нет, Полина в хоре пела. Певица. А здесь, на кухне, ее сковородки и кастрюли пели. Она все с любовью делала, для меня. Вот за это я ее и любил.

— Как вы все романтично рассказываете, Семен Петрович.

— Ну, романтика в семейной жизни простая: ты стараешься для мужа, а он — для тебя. Совет да любовь, не зря на свадьбах говорят.

— Мужчины вкусную еду ценят.

— Ценим, ага. Приходи, научу вкусно готовить.

— Да когда?.. Ночью работаю, днем сплю. Да и муж не отпустит.

— Какой он тебе муж, девонька?! Неужели ты этого не понимаешь? Брось его!

— А куда деваться, Семен Петрович? У него квартира, у меня ничего нет. Кому я нужна?

— Чем же ты двадцать семь лет занималась?

— Жила.

— Жила она!.. Человек должен в жизни каким-нибудь делом заниматься... Слушай, Матильда, ты петь любишь?

— Ну... помоложе была, пела, да. А что?

— Давай споем? Я на баяне немного играю.

— Сейчас, среди ночи петь?! А соседи?

— А мы потихоньку, никого не потревожим.

— Мы потихоньку, — повторил Муха, обрадованный согласием гостей и доставая из кладовки инструмент. И баян, казалось, обрадовался, что вспомнили о нем, нетерпеливо блеснул перламутровой отделкой, охотно отозвался малость осевшими от простоя голосами, когда Семен Петрович тронул его пуговки.

— «Ивушку» знаешь, Матильда?

— А... «Ивушка зеленая...» — негромко пропела та.

— Она, она самая. Давай!

И в два голоса, на удивление слаженно они запели:

Ивушка зеленая,
Над рекой склоненная,
Ты скажи, скажи, не тая,
Где любовь моя...

— У тебя хороший голос, — сказал Муха, когда они закончили песню. — Не такой, конечно, как у Полины, но все равно... А ты где пела-то?

— Да все там же... в детдоме, — Матильда опустила глаза. — У нас хоровой кружок был... и сама я пробовала, только...

— Тебе бы подрепетировать, да и на сцену!

— Скажете тоже, Семен Петрович! Какая из меня певица... Давайте еще что-нибудь споем. Раззадорили вы меня... Из репертуара Вали Толкуновой... Знаете?

— «Носики-курносики»?

— Нет, лучше «Поговори со мною, мама». Всю жизнь мечтала с мамой по душам поговорить, с отцом... Чтобы мы поняли друг друга...

— Хорошо, сейчас. — Муха шарил по черно-белым пуговкам баяна, искал мелодию. — Ага, вот. Поехали!

Поговори со мною, мама,
О чем-нибудь поговори-и...

И снова у них слаженный дуэт, снова голоса переливаются один в другой, придавая мелодии красоту и душевные откровения. Семен Петрович вел первую, основную партию мелодии, а Матильда украшала ее своим высоким чистым альтом, как бы обволакивая крепкий мужской тенор вольной импровизацией...

В дверь нетерпеливо зазвонили.

— Ну вот, я же говорила! Соседей разбудили. — Матильда расстроено умолкла, точно с таким же чувством свернул баян и Семен Петрович, пошел к двери.

На пороге стояли Володя-ХАМ и Серега.

— Музыка у них, песни... Чудно! Ты что, Матильда, юность вспомнила? И не забыла, как тебя этой музыкой доставали?

— Вспомнила. — Матильда поднялась из-за стола. Она сразу как-то поникла, потускнела. Торопливо надела туфли, куртку. И в глазах ее снова появилась тоска. Прощально-растроганно глянула на Семена Петровича. Володя-ХАМ перехватил ее взгляд.

— Ишь! Глянула, словно рублем одарила... Понравился дед, что ли? Видно, потешил, как следует... Ладно, визит окончен. Поехали.

ХАМ увел женщину.

За окнами квартиры занимался уже другой летний день.

* * *

Предчувствия и опасения, какие отравляли Семену Петровичу жизнь, скоро превратились в реальность — не спас Муху и второй замок.

...Из хозяйственного магазина Семен Петрович возвращался в приподнятом настроении. В его руках, завернутый в хрустящую бумагу, был увесистый разводной ключ, о котором он давно мечтал. Им можно откручивать-закручивать гайки любого размера, начиная, скажем, от «десятки» и кончая «сороковкой». Конечно, кое-что из гаечных ключей у него дома имелось, но когда он попробовал отвернуть на кухне кран, ничего из этого не вышло, ни один из них не подошел.

И вот приобретение: мощная ручка, крепкие захваты-челюсти, регулировочный винт в заводской еще смазке. Теперь любая гайка покорится.

Со временем, может, с двух пенсий, думал Муха, куплю и дрель; она хоть и требуется раз в год, а то и реже, зато будет своя. Он в принципе теперь и замок в дверь может вставить. А что? Вставит. Видел, как Иван работал, ничего сложного там нет, был бы инструмент... Не надо будет кого-то приглашать и тратить на это немалые деньги.

Уже на лестничной площадке третьего, своего этажа Семен Петрович с ужасом вдруг увидел, что железная его дверь приоткрыта. Что за черт?! Неужели он забыл закрыть ее, когда уходил?.. Да нет, не может этого быть. Он же не пьяный и в здравом уме.

Тогда — что он видит?

В животе у Семена Петровича похолодало.

Так и есть — в квартире вор. А, может, и не один. Они дождались, пока он уйдет, и открыли дверь.

Господи, что же делать?!!

Муха вспомнил советы ментов: если вы увидели, что дверь вашей квартиры открыта, не заходите внутрь, это опасно. Понятно, вора свидетели-хозяева не нужны. Придушат или тюкнут по голове молотком, который он... — вот дурак старый!.. — оставил на виду, в прихожей. Собирался полку для телефона прибить, надоело на звонки каждый раз из той же кухни бегать вглубь квартиры.

Вот идиот! Подарил вору оружие. Тюкнут по темечку и — пиши пропало, пенсионер Муха. Только два года и пожил свободной от работы жизнью. Могут, конечно, и не убить до смерти, но все равно, хорошего тут мало: сотрясение мозга, больница, капельницы...

Хотя, говорят, воры больше ножом действуют. Чик в живот или по горлу, и — здравствуй, Полюшка, родная жена. Видишь, ненадолго мы с тобой попрощались.

Надо в полицию позвонить. Ну да, это же просто, как он забыл?!

Муха пошарил по карманам — телефона не было. Ах, да — он оставил его на холодильнике.

«Муха ты безмозглая», — ругал себя Семен Петрович. Как можно из дому без телефона выходить? А если случится что? И машина может сбить (тому же Хаму сделать это раз плюнуть), и сердце может подвести, и... да мало ли чего может произойти с ним в этом человеческом муравейнике!

В этом месте своих напряженных размышлений Семен Петрович вдруг снова ощутил в своей руке тяжелый металл разводного ключа. Если приложить им по наглой башке вора — мало не покажется. Пусть он лежит в больнице под капельницей, да еще и отвечает на вопросы следователя...

А если, правда, их там двое или трое?

М-да, может быть. Все может быть.

В следующее мгновение Муха услышал, как на кухне хлопнула дверца холодильника. Ага, квартиру, значит, уже почистили, теперь взялись за продукты. Ну, жлобье! Ну, мелкота! Ни стыда, ни совести. Метут все подчистую.

Некогда полицию звать, надо действовать!

Муха, зажав в руке ключ, осторожно, медленно стал открывать дверь. Петли он после визита мастера по замкам, Ивана, смазал, дверь открывалась бесшумно.

За кухонным столом сидел тщедушный молодой парень и жрал его, Мухи, *сало!* Финка с наборной ручкой лежала рядом, под рукой.

Почувствовав движение воздуха, парень повернул голову, изобразил на лице улыбку. Сказал ровно:

— Заходи, батя, не бойся.

— А я и не боюсь, к себе в дом иду, — смело парировал Муха, держа наготове орудие возмездия. — Вас сколько здесь?

— Кого «вас»? — не понял парень.

— Воров, кого ж еще!

— Да один я, один. Не переживай. Ты извини, батя, — парень поднялся. На тощем его лице жила вина. — Ждал-ждал тебя... И жрать охота. Сало нашел... вот.

— Ты как сюда попал, герой?

— Да без проблем, батя. Замки у тебя несложные. Один, правда, сейфовый, пришлось повозиться. А тот, что сверху, — этот я в момент открыл. Нынче дорогие замки ставят, на два ключа, хитрые...

— На хитрые замки денег нет. Да и красть у меня особо нечего. Зря ты залез.

— Ты опусти железяку, батя. Я тебе привет от сына твоего, Бориса, привез. — Парень снова уселся за стол. — Сам я только вчера с зоны откинулся. Мы с Борькой в одном отряде парились.

Семен Петрович немного успокоился. Но на всякий случай сказал: «А если я сейчас... по башке тебя, и ментов вызову, а?»

Парень дернул плечом.

— Зачем они здесь нужны, менты? Я ничего у тебя не украл, разве в холодильник залез. Ну, уж больно хавать захотелось. А тут — сало... Сумку мою можешь проверить. Замки я не ломал, отмычки у меня классные, я аккуратно работаю. Не дождался бы тебя, ушел, ты бы и не заметил ничего.

— Заметил бы, заметил! — уверенно сказал Муха. — Я человек наблюдательный.

— А если бы менты и приехали, я бы сказал, что ты сам открыл, батя, что мы с тобой сидим вот и разговариваем. Кстати, свежего «жигулевского» хочешь, а? Садись.

Семен Петрович, положив рядом с собой ключ, сел к столу.

— Меня Штопором зовут, — стал рассказывать парень, разливая по стаканам пиво. — Кликуха такая, «погоняло» еще говорят. Кореша так называли. Мол, хорошо у меня хаты вскрывать получается. Я не против. Штопор так Штопор...

— Борис чего-нибудь передал с тобой? — прервал Муха.

— Да. Он дал твой адрес, велел привет с поклоном довести и чтоб ты приехал к нему на свиданку.

— Я и сам собирался. А что просил?

— Сигарет блока три-четыре, чаю черного, заварки, это пачек десть... И конфет, карамельки долгоиграющие. Они там в ходу.

— Знаю, возил.

— Ну вот. А я, батя, подождал-подождал тебя у двери... Давай еще по стаканчику. Соскучился я по пиву... Думаю, зайду к Семену Петровичу, подожду там, за дверью. А то маячить, сам понимаешь... Народ сейчас напуганный, стукнет кто-нибудь в ментовку, мол, подозрительный малый стоит на лестничной площадке... А мне это надо? Не надо. Опять же отмычки при мне. Опять на зону? Я и вошел. Ты уж прости, батя. А сало у тебя вкусное! Сам, что ли, солил?

— Сам. Ты мне про Бориса расскажи. Как он?

— Да ничего, исправляется. Пять годков за плечами, это, батя, не хухры-мухры. Да еще сидеть. Новую жизнь собирается начать, так всем толкует.

— Это хорошо. А ты?

— Я-то? — Штопор отхлебнул пива. — Я подумаю. У меня уже три ходки было, вроде и небольшие, по году-два, но... Делать в вольной жизни я ничего не умею. Только замки вскрывать. Но это, батя, тоже профессия! Ей учиться надо.

Муха с этим согласился.

— Это конечно. Но знаешь, сынок, я тебе посоветовал бы: брось это дело. Замки можно и без зоны вскрывать. Я недавно вон тот, верхний замок ставил, и в газетке прочитал, что есть ребята, которые помогают двери открывать...

— А, знаю. Это не мое, батя. По шабашкам ходить? На учет вставить? Ха-ха! Шалишь!.. Я подумаю. Осмотрюсь после зоны, отдохну. Я тебе, Семен Петрович, по-свойски скажу, поскольку ты отец Борькин... До

ходки у меня своя территория была: Ползунова, Беговая, Московский проспект... Ну, еще часть Транспортной. До Ротонды, бывшей больницы. Знаешь?

— Знаю.

— Надо сейчас разобраться: если кто из пацанов взял эту территорию, другую надыбаю. Или поменяю. Я же дома свои лучше участкового мента знал — кто и как живет, какие двери у людей, замки. Кто днем дома бывает, у кого собака... у кого сигнализация. Это только дебилы вслепую в квартиру лезут. А я...

Муха сам теперь налил стаканы.

— Ты вот что, парень. Раз судьба нас свела, скажи там хлопцам своим... адрес такой-то, то есть мой... не трогать.

— Скажу, — пообещал Штопор. — Мы стариков обходим. Я глянул твою квартиру, скромно живешь.

— Вот именно!

— У нас, батя, на первом месте богачи. Вот тут, рядом с тобой, целый поселок дворцов, «Долина нищих» называется. Вот кого чистить надо в первую голову! Ты думаешь, они все честно такие дома построили?

— Сомневаюсь.

— И я глубоко и широко сомневаюсь! — Штопор, кажется, запынял, стукнул кулаком по столу. — Хапнули народное, наше с тобой! И должны поделиться.

Муха засмеялся.

— Ты — Робин Гуд, да и только. Молодец!

— Это кто? Робин...

— Это, сынок, народный мститель, заступник обиженных и бедняков.

— Он на какой зоне парился? У нас, в Россоши, я про такого не слышал.

— Да он англичанин, давно жил, несколько веков назад. «Айвенго» Скотта не читал разве?

— Нет.

— Если хочешь, я дам почитать, у меня есть.

— Хм. Подумаю. Пусть мозги немного отдохнут.

— Слушай, Штопор... Тебя, вообще-то, как зовут?

— Ну, Витек.

— Витя, ты все же о другом подумай. Брось ты эту уголовщину. Опять попадешься, опять на зону... Чего хорошего?

— Не понимаешь ты нашей романтики, батя. Я иногда такой богатый делаюсь! На год-другой бабок хватает. Юга, море, рестораны, девки... Ах!

— Да-а, запущено у тебя, запущено. — Муха вздохнул. — И серьезно. Беда, одним словом. А ты еще молодой, жить да жить... А романтика воровская, о которой ты говоришь, она, Витя, убогая, гиблая.

— У нас, батя, полстраны воров. И живут, ничего. Кому, конечно, везет, кому не очень — попадают. А кто с умом делает, тот на Канарах да в Майами виллы имеет, пузо на жарком солнце греет. И я хочу. Ладно, пошел я. Обещал матери, что скоро приду.

Штопор встал.

— Ты не забыл, чего Борису везти надо?

— Не забыл... Слушай, Витек, — Муха подошел к двери. — А замки мои... ты их не поломал?

— А ты проверь.

Семен Петрович пощелкал ключами. Замки работали отменно.

У Штопора была высокая квалификация.

На прощание Муха дал ему шматок сала...

Походил по квартире, почесал репу. Прикинул — на всех городских воров сала, конечно, не напасешься. Придется третий замок ставить... Ладно, сначала дрель, а потом и замок. «Сам поставлю...»

* * *

Пожив без жены, повозившись с готовкой обедов, Муха и правда стал заправским поваром.

Вначале, когда Полины не стало, он взялся было ходить в кафе, недалеко от дома. Готовили там прилично, но и брали ощутимо. Когда Муха подытожил расходы, вышло, что за месяц он потратил на еду почти всю пенсию, а надо еще платить за квартиру и хотя бы раз в квартал ездить к сыну, в колонию.

Тогда он решил готовить сам, как учила его Полина, и это оказалось гораздо дешевле, выгоднее.

Вот и сегодня Семен Петрович отправился на рынок за мясом и овощами. Купил хороший кус свинины, кочан капусты, свеклки и морковки, баночку томатной пасты. Картошка у него дома была, осталась еще с прошлого раза. На картошке он тоже сэкономил, покупал и теперь, в июне, прошлогоднюю, за молодой не утонишься — куда к черту платить за нее по сорок рублей за килограмм!

Борщ-продукт получался на несколько дней, считай, на неделю, и по себестоимости домашняя тарелка выходила гораздо дешевле той, что подавали ему в кафе, да и по вкусовым качествам борщ был лучше, это Семен Петрович сам себе гарантировал.

У одиноко живущего пенсионера, не обремененного ни дачей, ни собакой-кошкой, ни изнуряющими болезнями, свободного времени предостаточно, и его Муха тратил теперь на готовку еды, стирку и поддержание чистоты в квартире. Иногда он отвлекался от привычного уже распорядка жизни, к примеру, на постановку того же замка, чтение классики или просмотр старых фильмов. Но все же основные часы проходили у него на кухне.

Он даже полюбил ее, как любят свои кухни и домашние заботы иные женщины, и соседки, иногда проводывающие Семена Петровича по мелким хозяйственным проблемам (соль кончилась, или там уксус срочно понадобился, а у Мухи всегда все было)... Так вот, соседки удивлялись порядку и чистоте в его доме, ахали и делали комплименты. Но не забывали при этом посоветовать: «Жениться тебе надо, Семен Петрович. Ты, конечно, молодец, вон какой порядок в квартире, но все же с женщиной жить веселее. Может, и опять запоешь, как бывало с Полиной...»

Муха кивал, вроде бы соглашался с тем, что ему говорили. Но со смешком намекал при этом, мол, уже не мальчик, для женитьбы требуется не только желание завести семью, но и... сами понимаете что. Женщины смеялись, убеждали его, дескать, любви все возрасты покорны. Приводили в пример известного артиста Алексея Петренко, который женился в семьдесят четыре года, да еще взял в жены женщину с четырьмя детьми...

— Вот, ему и трудиться не надо, — отбивался Муха. — А моя будущая жена может пожелать детишек...

Но перед соседками он просто лукавил. Не мог себе представить, что

в его квартире появится чужая, именно *чужая*, особа женского пола, будет с ним разговаривать, готовить обеды, спать с ним в одной кровати.

Правда, размышления эти относились к тем, первым, годам, когда Полины не стало, а позже... Звонил же он «кошке Мяс», и даже волновался, слушая ее треп. Да и Матильду вызвал — хотел ли, не хотел, но вон как все вышло!

Болела у него душа и за сына Бориса. Полина умерла без него, сына на похороны матери, разумеется, не отпустили.

Сидеть Борису еще два года.

Много дали, да. И заслужил ли? Водка, пьяная драка, убийство человека.

Полина очень страдала. И смерть свою, наверное, чувствовала, просила мужа:

— Не бросай Борю, Семен. Умоляю тебя! Он бесхарактерный, пропадет. Тюрьма его доконает. А наш ведь ребенок.

«Ребенку» сейчас уже тридцать один год, как на него отсидка повлияет, трудно сказать, одному Богу известно.

Витек этот, Штопор, сказал, мол, Борька исправляется, ведет себя на зоне хорошо, заверяет всех, что попадать за колючку больше не намерен. Ну и ладно.

Бросать свое дитя, конечно, не годится. Родил, дал жизнь — веди его по этой жизни, поддерживай и помогай. Что бы ни случилось.

Их с Полиной в чем можно упрекнуть?

Вспомнился разговор с Иваном, мастером по замкам. Схожая у них семейная история (а сколько их подобных по России?!). Но Иван очень уж жесток, непримирим по отношению к своей дочери. С одной стороны, он прав — детки должны быть ответственны за свое поведение, а с другой...

Чего-то ведь дочери Ивана не хватало? Может, ума, может, ласки родительской, может быть, доброго совета, который она вовремя не получила от взрослых?

Иван просто решил проблему: выгнал дочку из дома, и вся недолга. М-да.

Бориса, сына, Семен Петрович не корил, не отвернулся от него после всего случившегося. Тот был слаб на спиртное, не раз и не два потом, после загулов, страдал и телом, и душой, давал слово, что все, «в последний раз...» И признавался, мол, не помнит, где был вчера и что делал.

Кто именно ударил ножом того, умершего в больнице человека, следствие так и не выяснило, кореша-алкоголики — Чернов да Кострецов — свалили все на Бориса: он бил, у него был нож. А сын клялся и божился, что никакого ножа у него не было, со слезами на глазах говорил им с Полиной:

— Не я это, не я! Ничего у меня в руках не было.

Корешей тоже осудили за групповое убийство, но они отделались малыми сроками, уже на свободе. Бориса защищал назначенный от правосудия адвокат, денег на дорогого защитника у Мухи не нашлось, не собрали они с Полиной нужную сумму, а назначенный разве будет стараться?! Говорил он на суде бесстрастно, как-то отстраненно, хотя и убеждал суд, что «Борис Семенович Муха невиновен, не он нанес смертельное ранение...» Но суд вынес свой вердикт — семь лет. Единственным смягчающим обстоятельством было то, что Борис сотрудничал со следствием, его ни разу следователи не упрекнули во лжи и передергивании фактов события.

На рынке Муха любил торговаться, умел сбить цену даже у самых вредных, цепляющихся за каждую копейку продавщиц, и те под напором его аргументов («И чего тебе до самого вечера стоять...», «На рубле не разбогатеешь, зато я сразу три килограмма возьму...») махали рукой, уступали.

...Борщ у него и в этот раз должен быть вкусным: мясо хорошее, капуста свежая, молодая, ну и морковка-свеколка выглядели вполне аппетитно; потом он добавит лаврового листа и петрушки, посолит, в тарелку положит сметаны... Эх! Понеслась душа в рай!

Между делом Муха слушал кухонное радио. Москва, как всегда в это время, передавала рекламу, заботясь о сексуальном здоровье российских мужиков. Невидимая дама со страстным придыханием рассказывала о каком-то новом приборе под названием «Маэстро»; прибор, оказывается, успешно лечил простатит, выпрямлял поникшую эрекцию и значительно увеличивал мужское достоинство. «От вашей эректильной дисфункции, дорогие мужчины, не останется и следа» — убеждала заботливая дама. А ее собеседник то и дело повторял номер телефона, напоминая, что звонок по нему бесплатный.

Подобную рекламу Муха слышал не однажды, пропускал ее мимо ушей, но в этот раз слово «Маэстро» вызвало у него улыбку и мгновенную параллель с песней Аллы Пугачевой: «... Я в восьмом ряду... тарам-тарам... Святая к музыке любо-о-овь...»

Маэстро — это, вообще-то, крупный музыкант, композитор или руководитель музыкального коллектива, слышать песню с таким названием вполне естественно, но давать ее имя прибору для поднятия эректильного тонуса... Ха-ха-ха...

Семен Петрович засмеялся — фантазия у производителей прибора его позабавила. Хотя, может быть, они в чем-то и правы: если рассматривать отношения мужчины и женщины с точки зрения гармонии чувств, продолжения рода человеческого... А у нас в России с этим, как известно, проблемы, да. Вполне возможно, что эректильный прибор «Маэстро», как и Раймонд Паулс с Пугачевой, поспособствует в этом озабоченным и нуждающимся в помощи гражданам бывшего СССР. Семен Петрович Муха, бывший гражданин страны Советов, в этом не нуждался.

В прихожей зачирикал звонок.

Муха, когда покупал его в хозмаге, просил продавщицу подобрать современный аппарат с какой-нибудь мелодией, таких сейчас полно. Она продемонстрировала ему несколько; Муха выбрал «канарейку» — в этом его убедила продавщица, но дома «канарейка» завела песню охрипшего на морозе воробья. Идти назад, в магазин, и менять звонок Семен Петрович не захотел — пусть будет и воробей, будем считать, тоже певчая птица.

Он подошел к двери, не глядя в глазок (осторожно — могут стрелкнуть!), строго спросил:

— Кто здесь?

— Это я, Матильда.

— А!

В этом «А!» у Семена Петровича прозвучало многое — и удивление, и радость от неожиданного визита женщины, и даже забытое уже волнение: давно он не чувствовал прилива сил. Реклама, пожалуй, приносит и пользу, надо с этим согласиться.

Сегодня Матильда выглядела вполне привлекательно — лучше, свежее, что ли. Проще был на лице ее макияж, не бросались в глаза в меру

подкрашенные губы, и одежда на ней была не сказать чтобы выходная, праздничная, но и не серо-будничная. Простенькое, но со вкусом подобранное платье с глубоким декольте, белая сумка на плече, белые, на высоком каблучке, туфли на ногах. И вершила все это великолепие молодости прическа — пышные, с малиновым отливом волосы женщины.

— Ух ты! — вырвалось у Семена Петровича. — Красавица какая!

— Можно войти? — игриво спросила Матильда, а сама уже шагнула в прихожую, продолжая улыбаться и следя с удовольствием за тем эффектом, который она произвела на лице Семена Петровича.

— Входи, входи, — говорил Муха, отступая на шаг, давая место женщине в тесной прихожей.

— Сразу разуваюсь, — сказала Матильда, нагнувшись, снимая туфли, и Семен Петрович поддержал ее под локоток, окинул невольным взглядом ладный стан гостьи.

— Разувайся, разувайся, — повторял он, припомнив, что сделал Матильде в свое время замечание — ковер, доскаты, имущество надо беречь, вот она с туфлями-то...

Это по-хозяйски. И лишней пыли в доме не будет, и ковер не пострадает.

— Как вкусно пахнет! — Матильда, войдя в зал, потянула носом. — Чего-то варите, Семен Петрович?

— Борщ. Ты вовремя. Присоединяйся. Хотела же поварскому делу подучиться. На вот фартук.

Радийная пропагандистка «Маэстро» продолжала с прежним напором: «... и вы, дорогие мужчины, по достоинству оцените наш прибор, уже после первого его применения почувствуете себя вполне способным на сексуальные подвиги, а мы, женщины, скажем вам спасибо...»

— Вон что вы слушаете, Семен Петрович, — улыбнулась Матильда.

Муха выключил радио, смутился.

— Болтают всякую чепуху...

— Не скажите! — Матильда, по-прежнему улыбаясь, облачилась в фартук Полины (чей же еще?!), стала у плиты. Попробовала бульон, добавила соли, взялась за приправу.

— Поострее сделать, Семен Петрович? Вы как любите?

— Перца красного добавь. Вон на столе. — Муха с интересом наблюдал за женщиной. — А говорила, что не умеешь ничего.

— Ну... кое-что умею. Что ж я двадцать семь лет зря, что ли, на свете жила?

Вдвоем они доварили борщ, потом Семен Петрович сам пожарил картошку (это блюдо он Матильде не доверил, потому что жарил картошку на сильном огне и с большим добавлением репчатого лука), и скоро они сели за стол, обедать.

Выпили, конечно, по рюмашке, не без этого.

— Не работаешь сегодня? — спросил Муха как можно деликатнее. «Работой» проституцию он, понятное дело, не считал — так, баловство и распутство, которое, конечно, можно простить, если человек, женщина, может привести весомое и убедительное оправдание своему занятию. Мало ли как у нее могла сложиться жизнь!..

Матильда кивнула.

— Нет, выходная. Владимир с Серегой в Москву уехали по каким-то делам. Дня на два-три.

— Понятно.

Разговор дальше как-то не шел. Муха не знал, что спросить у Матильды, чтобы не обидеть ее и не тронуть большую струну. А женщина тоже чувствовала себя не совсем уверенно — до конца не понимала еще отношения к себе этого пожилого человека.

— А вы тогда, ночью, немного испугались, Семен Петрович? Когда мы к вам втроем заявились.

— А... — Муха не смог сдержать улыбки. — Да не то, чтобы испугался. Неожиданно как-то все получилось. Я же спал... Вдруг звонок. Владимир этот... «Гони бабки!» Какие бабки, за что?! Я же просто пошутил...

— И мне не до смеха было, — сказала Матильда, прихлебывая чай. — Я же знаю наших парней. Владимир, чуть что — сразу кулаки в ход пускает...

Помолчали. Муха тоже взялся за чай.

— А у вас что — офис есть, селекторная связь?

— Да какой там офис, Семен Петрович! Диспетчер, Анна Васильевна, у себя на квартире сидит, звонки принимает. Потом Владимиру звонит, а тот — девушкам. Ну, я, естественно, всегда у него под рукой.

— Анна Васильевна, значит?.. — Муха снова налил чаю, похвалил: «Видишь, и чай у тебя приятный. Сама-то... добавить?».

— Нет, мне хватит.

— А вы про Анну Васильевну... что-то хотели спросить?

— Я, когда позвонил по номеру, говорю: «Здравствуйте, я — Муха».

А она: «А я Паучок...»

Матильда зашлась в жизнерадостном звонком смехе.

— Она и правда на паучка похожа — маленькая, толстенная, круглая вся. И ручки-ножки... Ха-ха-ха... Бегает по комнате быстро-быстро. Не догонишь...

«Бедная девочка, — думал Муха, глядя на Матильду. — И угораздило же тебя связаться с этим Володей-ХАМом. Конечно, детдомовская, некому было помочь в жизни, руку протянуть...»

— А что это у тебя? — Муха только сейчас увидел на левой руке Матильды внушительного размера синяк.

Хорошее настроение Матильды враз улетучилось, она прикрыла синяк ладонью.

— Да так... Володя...

— Что? Бил?

— Это он умеет.

— За что?

— Можно сказать, ни за что. Не так сказала.

Семен Петрович долго молчал.

— Вот что, Матильда. Приходи ко мне... жить. А?

Она серьезно, испытывающе смотрела на него. Спросила дрогнувшим голосом:

— В качестве кого, Семен Петрович?

— Ну... пока в качестве квартирантки. А там посмотрим. Располагаться вон там будешь, в спальне, я — тут, на диване. Работу тебе помогу найти, человеком станешь, а не этим... судном подкладным. Пропишу временно, если у тебя прописки нет.

— Прописка есть.

— Хорошо, так живи. Расходы, когда работать начнешь, пополам. Содержать я тебя не смогу, пенсия небольшая. Я тебе, Матильдушка, помочь хочу! Вот ответы на все твои вопросы, какие ты мне задать хочешь.

— Семен Петрович, вы меня извините... Скажите, я вам хоть немного нравлюсь? Как женщина?

— Нравишься, нравишься, — Муха сказал это бесстрастно, как бы не придавая особого значения ее словам. — Женщина ты симпатичная, только... не тем делом занимаешься. Ладно, не надо об этом. Давай, отправляйся за вещами, если принимаешь мое предложение. Ты пойми, девонька, пропадешь ты с этим ХАМом. Он тебя выжмет и бросит, прогонит. Неужели ты этого не понимаешь?

— Понимаю. — Голос у Матильды тихий, еле слышен. Она опустила голову, вертела в пальцах чайную ложку.

— Вещей у тебя много? — продолжал Муха. — А то давай, вместе съездим, пока его, Володи твоего, нет дома.

— Да нет, сумка одна. Зимнее я все там, у девчонок, оставила, в общежитии. Потом, думала, заберу. На Левый берег надо ехать, на конец города.

— Ладно, потом так потом. Съездим. Привезем.

Муха сам удивлялся своей решительности. Он готов был сейчас же, сию минуту ехать, везти вещи Матильды, устраивать ее здесь, у себя дома. Пусть и она так же разом и навсегда порвет с прошлым, начнет новую жизнь, в которой есть впереди какой-то свет, надежда. Человек ведь и живет по-настоящему только в том случае, если у него есть перспектива, мечта, или просто надежная, хотя бы по минимуму обеспеченная жизнь. А так... — существование, депрессии, неверие в собственные силы и в то, что жизнь изменится, двинется в лучшую сторону. Отсюда и вечно дурные мысли, и самоубийства, а в масштабах страны, государства — массовые митинги, шествия, революции или даже войны. От внутреннего состояния человека, всех людей, от того, как они живут, многое зависит, очень многое!

Все это только несколько сбивчиво, не так гладко, Семен Петрович изложил Матильде. Она внимательно слушала его, иногда кивала, соглашаясь с тем, что он говорил. Но в глазах женщины жило сомнение: он же, хороший этот человек, видит ее впервые (нет, второй раз), он не знает подробностей прежней ее жизни, почему-то не расспрашивает об этом, верит тому, что она о себе рассказала. Но как тепло от его слов, как греет душу его желание помочь ей...

А новая эта жизнь здесь, в его квартире, какой она может быть? Семен Петрович немолод, разница в возрасте у них более тридцати лет (тридцать пять, если посчитать точно), и что из этого может получиться? Он не проявляет каких-либо сексуальных попыток, хотя сдержанность и объяснима в его возрасте и может характеризовать человека как достойного и воспитанного.

Но главное — его внимание к ней, душевная искренность, с которой Семен Петрович говорит все, что касается ее лично, его предложение о помощи...

— Семен Петрович, дорогой, как мне вас благодарить? — сказала Матильда дрогнувшим голосом. — Хотите, я вас поцелую?

— Нет, не надо, это негигиенично, — то ли в шутку, то ли всерьез отвечал он; на лице Мухи в тот момент не было никаких эмоций. — Не губи свою жизнь, Матильда. Меняй ее. Вот и весь тебе мой сказ. А насчет благодарности... Не спеши, сумеешь еще отблагодарить. Давай, поднимайся. Езжай за вещами.

Матильда поднялась; порывисто вдруг шагнула к Семену Петровичу, обняла.

— Спасибо! Вы мне, как отец родной, честное слово! Спасибо!

Он тоже приобнял Матильду за талию, гладил подрагивающей рукой ее красивые каштановые волосы, вдыхал идущий от них волнующий аромат, чем-то напоминающий запах волос Полины, жены...

* * *

До райцентра, где находилась колония, электричка домчала Семена Петровича за три часа. Дальше он ехал в автобусе, глядя в пыльное окно на знакомые уже улицы, на дома, утонувшие в садах и палисадниках. В автобусе было душно, пахло бензином, Муха хотел сделать замечание водителю, молодому кудрявому парню, который вел машину, нацепив на голову наушники, но... докричишься ли до него?! Ладно, потерпим.

...Контролер — приземистая, средних лет женщина с суровым лицом, в помятой зеленой форме — просмотрела пакет с сигаретами и чаем, какой Муха подал в окно, сказала сухо: «Ждите».

Семен Петрович сел на лавку у стены, стал ждать. Свидание с сыном ему разрешили короткое, всего на полчаса, и Семен Петрович напряженно сейчас обдумывал, что именно сказать Борису в это малое время.

Скоро они сидели друг против друга в небольшой комнате свиданий, с одним зарешеченным окном, столом и парой потертых стульев.

Борис выглядел усталым, говорил мало и неохотно, лицо его, осунувшееся и заметно постаревшее, не выражало эмоций. Он бегло заглянул в пакет, сказал «Спасибо, пап», снова погрузился в какие-то свои невеселые мысли.

Муха спрашивал сына, чем он занимается? Борис уронил скупое: «Прицепы для легковушек варим...» и снова умолк.

— А я дома второй замок на дверь поставил, — стал рассказывать Семен Петрович, стараясь говорить веселее. — Думал: ну, вору теперь шиш проникнут. Прихожу из магазина — дверь открыта, на кухне сидит твой корешок, Штопор, и жрет мое сало. Представляешь?

Семен Петрович даже хохотнул, как бы приглашая и Бориса сделать то же самое, но тот, что называется, и ухом не повел. Через паузу все же изрек — монотонно, глухо, будто молитву читал:

— Штопор — домущник классный. Я ему сам сказал: если отца не будет дома, зайди в квартиру, напиши записку.

— А!.. Ну ладно, понял. Борь, мне он, Штопор, сказал, что ты себя тут правильно ведешь.

— Ага, веду. На волю хочу, домой. Может, повезет, по УДО раньше отпустят.

— Хорошо бы... Пять лет за спиной. Я понимаю, сынок, тяжело тебе.

— Обидно, прежде всего, пап. За другого сiju. Выйду — разберусь с этими подонками, Черновым и Кострецовым.

Муха замахал руками.

— Сынок, прошу тебя! Оставь эту мысль. Ничего теперь не докажешь, а они тебя снова посадят. И вообще... Тебе по-другому жить надо. О водке забыть, работу найти, жену.

Борис молча курил, слушал. Дым от сигареты старался пускать в форточку, даже стал возле нее, помнил, что отец не переносит запаха.

Спросил:

— Ты-то сам как?

— Да я что? Живу, тебя жду. Один ты у меня остался на всем белом свете... Борщи варю, на рынки хожу...

— Жениться не думаешь? Скоро четыре года, как матери не стало. Нашел бы какую... Женщин свободных много.

— Женщин много, конечно. И на примете есть, не буду скрывать. Но я, сынок, хотел бы дождаться твоего возвращения. Чтобы ты свою судьбу устроил, а я... как-нибудь потом. Ты, Борь, как насчет семейной жизни? Мать твоя мечтала о внуках. Да и я тоже. Пока живой, помог бы тебе.

— Ну, подожди. Может, и получится чего.

— Я это к чему, — выбирая слова, продолжал Семен Петрович. — Послушал твоего Штопора, и мне, знаешь, даже нехорошо как-то стало. Не думает он завязывать с воровским делом. Хвастал, что временами очень богатым бывает. И зачем, дескать, бросать такую профессию? И я сразу о тебе подумал...

Борис хмыкнул, выбросил в форточку окурок, снова сел против отца.

— Пусть хвастает. У него своя голова на плечах. А я, пап, насиделся, хватит. На условно-досрочное надеюсь, хозяин намекнул.

— Хорошо, хорошо, — одобрил Семен Петрович. — Старайся.

— А насчет женитьбы... Да кто за меня, за зека, пойдет?

— Ты пока не думай об этом, Борис. Всеу свое время. Главное, в руки себя возьми, завяжи с водкой, я тебе уже говорил. А жена найдется, я тебе помогу.

— Это как?

— Ну, девчат полно в городе, молодых женщин, разведенки. Я одну такую знаю, продавщица в гастрономе, в хлебном отделе. Я у нее всегда хлеб покупаю. Она мне свежий оставляет, не знаю, чем уж так я ей глянулся. Светланой зовут. Беленькая такая, симпатичная. Намекнул ей, мол, сын у меня есть, неженатый. Хотел бы вас познакомить.

— Ну. А она?

— Она вроде не против. Но я сказал, что в командировке ты, за границей.

Борис поморщился.

— Не надо врать, пап. Выкручивайся потом. Выйду — сам найду. Что ж я совсем, что ли...

— Ладно, понял.

Они поговорили еще о том, о сем; Борис спросил, где похоронена мать, какой памятник стоит на ее могиле, изменился ли город за эти минувшие пять лет? Что вообще нового на воле?

Семен Петрович начал было рассказывать, что к чему: теперь, после выборов в марте, у нас новый-старый Президент страны, значит, и политика будет старой, капитализм; с июля повышают квартплату, в основном за газ и свет, да и вода дорожает... пенсионеры, затягивайте пояса; и дома, в которых живете, теперь ремонтируйте сами — вы собственники жилья. Государство свою лавочку помощи прикрывает. А капитальный ремонт их девятистоквартирного дома... ого-го! Во что выльется? Шутка сказать!.. Вот как правители завернули с квартирами-то! Получается, что лет за десять-пятнадцать государство вернет себе денежки, которые еще Советы потратили на строительство жилья. А дому сорок пять лет, он скоро сам по себе развалится...

Борис слушал вполуха — сейчас, в его положении, все эти бытовые проблемы были от него далеко. Свои надо решать, о своих думать. При чем тут капитализм? Его и при социализме могли посадить точно так же,

по оговору, как будто коммунистическое правосудие не допускало ошибок. Папан, конечно, зациклился на прошлом, на советском, все сравнивает, и ту, бывшую, жизнь хвалит... Имеет право, да. Родился при Советской власти, вырос при ней — советский до мозга костей...

В дверь заглянул чин с погонами офицера, сообщил, что время их свидания закончилось — пора.

— Ну, давай! — Муха обнял сына. — Потерпи. Собери волю в кулак...

Борис невнятно что-то обещал, на объятие отца ответил вяло. И ушел с тем самым чином, не обернувшись.

«Да, парень, несладко тебе тут, несладко, — думал Муха, провожая сына взглядом. — Но, может, бросишь ты эту проклятую водку, забудешь и думать о ней... Как бы я этого хотел, сынуля!»

* * *

Прошла неделя, вторая.

Матильда не появлялась.

Значит, решила жить по-старому, забыла о его предложении, грустно думал Семен Петрович.

Он стоял на балконе, меланхолично смотрел на легкий летний дождик. Дождь — это хорошо: и воздух в городе будет чище, и для растений полезно. Вон, вчера по телевизору специалист из департамента сельского хозяйства говорил, что если не будет в ближайшие дни дождя, посевы на полях области могут погибнуть.

Не хотелось бы этого. Урожая не будет — тут же цены взлетят...

Самому, что ли, поискать Матильду? А как? Позвонить Паучихе, Анне Васильевне? Так, мол, и так...

А что — «так»? Соскучился по девушке? Влюбился? Он же не может сказать этой даме, что звал Матильду к себе жить, что решил вырвать ее из той подлой жизни, в которой она оказалась!

Не может. Матильда сама должна решить свою судьбу.

В сердце у Семена Петровича теперь еще одна заноза, третья: смерть Полины, сын на зоне, Матильда.

Но она ведь та самая ч у ж а я женщина. Да еще т а к и м делом занимается!..

Ладно. Не пришла и Бог с ней. Хотя... Ждал он ее, ждал. Надеялся... И сыну обещал помочь. Может, сходить к той продавщице, сказать ей о Борисе правду, а там будь что будет. Есть женщины, которые не прочь познакомиться и с зеком. Мало ли как в жизни бывает! Зачем, действительно, морочить молодой бабе голову?

Схожу, принял решение Семен Петрович.

...В хлебном отделе гастронома, где Муха был постоянным покупателем и где познакомился со Светланой, за прилавком стояла другая продавщица.

— А Светлана... выходная, что ли? — как бы между прочим спросил Муха.

— Она уволилась, — нейтрально ответила женщина. — Замуж вышла. — И добавила с улыбкой: — Вчера.

— Понятно.

«Ну вот, все само собой и разрешилось», — подытожил свой визит Семен Петрович.

...Матильда сидела на ступеньке лестничного марша у его квартиры. Большая кожаная сумка стояла у самой двери, поверх нее лежала гитара.

— Ты? — Муха несколько растерялся.

— Я. — Матильда прятала лицо в легкий газовый платок. — Я пришла. Вы же звали, Семен Петрович?

— Звал. И рад тебя видеть. Идем. С лицом что?

— Да так. Потом, потом.

Под любопытным взглядом соседки, выглянувшей из квартиры напротив, они вошли в прихожую. Теперь Муха мог рассмотреть лицо Матильды — огромный фиолетовый синяк пышно цвел у нее под правым глазом.

— Володя?

— Он самый.

— За что? Опять что-нибудь не так ему сказала?

— Сказала. Что не буду больше по вызовам ездить.

— И правильно сделала. Молодец.

Матильда подошла к зеркалу, поворачивала голову туда-сюда, рассматривала синяк.

— Не прогоните такую «красавицу»?

— Не прогоню. Располагайся. Вещи, вон, в шкаф... Сейчас ужинать будем.

Матильда обрадованно кивнула, засуетилась у сумки с вещами.

— Семен Петрович... можно я душ приму?

— Да, конечно. Иди, купайся... Слушай, а ты что — на гитаре умеешь?

— Умею. Хотела ее не брать, потом вспомнила, что вы баянист... Думаю, может, мы чего вдвоем сбачаем?

— Можно попробовать. Под настроение. Не сейчас.

...Искушавшись, свежая, с мокрыми волосами, заметно повеселевшая, Матильда босиком расхаживала по квартире; полила цветы на балконе, протерла в книжных шкафах пыль.

Взяла томик Пушкина, листала страницы.

Итак, она звалась Татьяной...

.....

Она в семье своей родной

Казалась девочкой чужой.

Она ласкаться не умела

К отцу, ни к матери своей...

Она читала теперь уже наизусть, вполголоса, и в глазах ее стояли слезы.

— Что ты тут бормочешь? — спросил, выйдя из кухни, Семен Петрович.

— Пушкин... Гениальный был человек, на двести лет вперед видел. И людей понимал.

— Это точно. А ты... поэзию любишь?

— У нас дома... в смысле, в детдоме, хорошая библиотека была. Я почти все книги прочтала. И стихи сами собой запоминались. Прочитаю раз — и помню. У меня по русскому и литературе одни пятерки были. Сколько уже лет прошло, а вот это, из «Медного всадника», будто вчера читала:

И не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса...

— О, да ты у нас в самом деле образованная девушка! — похвалил Семен Петрович. — Тебе на филологический надо было поступать.

— Не подсказал никто, — Матильда вздохнула. — И я так... легкомысленно... Думала, что медицина мое призвание. А вышло... Унесло все ветром перемен. Не нашла я себя, Семен Петрович. Меня нашли... Глупостей много наделала.

После ужина Матильда взяла в руки гитару.

— Давайте споем что-нибудь, Семен Петрович?

— А ты сама, я послушаю.

— Ладно.

Запела, задорно сверкая глазами:

Городок наш — ничего.
Населенье таково:
Незамужние ткачихи
Составляют большинство-о...

Муха невольно стал подпевать, постукивал ладонью во столу, любясь Матильдой, поддавшись ее радости и искреннему чувству полноты жизни, а где-то в подсознании зазвучал вдруг голос Полины, жены, и Семен Петрович никак не мог отделаться от этого...

— Спой что-нибудь из репертуара Клавдии Шульженко, — попросил он. — Ну, хотя бы «Платочек...».

Это была одна из любимых песен Полины.

Она молча кивнула, нашла нужные аккорды...

...Ночью Матильда пришла к Семену Петровичу на диван.

Юркнула под одеяло, прижалась к нему всем своим шелковым молодым телом.

Муха лежал смирно. И говорил ровно, четко произнося слова:

— Матильда, не дури. Отцы — нормальные отцы, а не преступники — с дочерьми не спят.

— Не поняла.

— Ты сама мне сказала: «Спасибо... вы мне, как отец». Говорила?

— Ну... говорила. Я же имела в виду... наши отношения... Вашу доброту. Должна же я вас как-то благодарить?!. Вы не стесняйтесь, Семен Петрович. Я понимаю — вы в годах... Я помогу...

Муха убрал ее руки со своего тела, сел в постели. Мягко читал Матильде мораль:

— И я тебя понимаю. Отблагодарить... успеешь еще.

— Но зачем... зачем тянуть, Семен Петрович?

— Будем считать, что сейчас я не хочу.

— Хорошо. Поняла. — Матильда тоже села. Натягивала на голую грудь простыню, посмеивалась: — Вы — как отец Сергей у Льва Толстого. Тот тоже мучился от своего желания быть с женщиной... с этой, как ее...

— С Маковкиной, — подсказал с усмешкой Семен Петрович. — А потом палец себе отрубил, чтобы страсть унять.

— Во, правильно! С Маковкиной...

— ...с барынькой, которая на спор решила переспать с ним.

— Да, именно так. Но я же ни с кем о вас не спорила, Семен Петрович. И вы — не монах.

— Матильда, у меня лишних пальцев нету.

— Ха-ха-ха... — прыснула она в подушку. — Ладно. Поняла. Но вы же помните, чем эта история кончилась?

— Что ты имеешь в виду?

— А то, что отец Сергей все же не выдержал и переспал с другой девицей, Марьей. Всю ночь с ней провел. Мужчина не может без женщины.

Муха встал. Вышел на балкон, постоял там в темноте и раздумье. Вернулся.

— Знаешь, Матильда, я... я жену свою люблю, Полину. Вот ты пела, а я ее голос слышал. Она, хоть и умерла, а здесь она, в квартире, слышит и видит нас.

— Глупости! — встала и Матильда. Пошла в спальню, сердито и разочарованно ворочалась там в кровати. Потом подала виноватый голос: — Вы меня извините, Семен Петрович. Не думайте, что я такая уж... пропащая, без стыда и совести. Просто я...

— Все. Спи! — велел Муха. — Поговорили, все выяснили.

— Хорошо. Сплю.

— Вот и спи.

Матильда и предположить не могла, каких усилий стоило Семену Петровичу поступить так, как он поступил. Он полночи потом сурово шептал сам себе: «Не смей!.. Слышишь? Не смей ее трогать!..»

И с досадой вспоминал московских рекламщиков: «Вот басурмане. Все уши прожужжали с этой «эректильной дисфункцией» и своим аппаратом «Маэстро»! Покупайте да приобретайте по сходной цене! И, главное, скидку сразу предлагают — пятьдесят процентов. Выходит — что? Слабо действует, не помогает?

А если он, аппарат этот, вовсе мужику не нужен?

Хоть не включай «Радио России». Включил, послушал — покой потерял.

Бедный отец Сергей! Как он, бывший советский гражданин Муха Семен Петрович, понимает его, бывшего командира лейб-эскадрона Кирасирского полка Степана Касатского... Ведь до чего бабы довести могут: был человек блестящим офицером, настоящим мужиком, а превратился в затворника, в монаха. А его соблазняют. И даже там, в пещере, где он жил, покоя не дают... Мука!

Правда что — бери и чего-нибудь себе отрубай...».

* * *

Володя-ХАМ явился, словно черт с неба спрыгнул — неожиданно и коварно.

— Так я и знал, шалава, что ты здесь, у старого этого козла! — с порога завопил он. — А ну, собирайся!

В первое мгновение Семен Петрович и Матильда онемели — и от неожиданного этого появления ХАМа, и от его оскорблений.

— И что ты в нем нашла? — продолжал тот кричать. — Старый, седой, челюсти, наверное, вставные...

— А ну, прекрати! — закричал и Семен Петрович. — Ворвался в мой дом, оскорбляет, понимаешь!.. Зубы у меня свои, можешь поглядеть. На, видал?! — он открыл рот. — Вон!

— Я не к тебе пришел, заткнись, обмылок вяленный! — Бывший мент хорошо владел народным фольклором. — Я вот за ней. Это жена моя. Жена, понимаешь? — ХАМ прибавил голоса, сорвался почти до фальцета. — Как ты, старый развратник, смеешь удерживать ее? Ты знаешь, дед, что есть статья в Уголовном кодексе... Насильственное удержание человека... До пяти лет. Сечешь?

— Никто меня насильно здесь не удерживает! — Матильда тоже, кажется, не собиралась выбирать выражений. — Это ты козел и подонок. «Жена»! Какая я тебе жена, если ты под каждого встречного-поперечного старался меня положить! Зарабатывал на мне. Сволочь!

— Кто — я сволочь?! Ах, ты...

ХАМ замахнулся на Матильду, но Муха перехватил его руку.

— Стоять! Женщина перед тобой!

— Не женщина она — шлюха подзаборная! Отойди, дед, не буди во мне зверя! Хребет сломаю!

ХАМ бы и сломал что-нибудь более слабому гражданину Мухе, мент в прошлом знал приемы усмирения задержанных, но в их драку вмешалась Матильда.

Схватив на кухне половник (первое, что подвернулось ей под руку), она стала лупить ХАМа куда попало.

Кричала Мухе:

— Посторонись, Семен Петрович! Дай я ему в глаз... в глаз, собаке! Как он мне... На!.. Мент поганый. Изувер!

ХАМ, несколько сбитый с толку дружным таким отпором, стал отступать в прихожую, лепетал: «Да я... Матильда... Ты же это... Да погоди, чего так... Глаз же выбьешь, паскуда!»

— А, паскуда! — ярилась пуще прежнего Матильда. — Еще получи! Это тебе за издевательства, за унижение... Ты думал, всю жизнь молчать и терпеть буду? Как бы не так!.. Ублюдок!.. По роже вот тебе, по роже!

Муха бил молчком, прицельно, и оттого удары его попадали, куда нужно, из носа ХАМа сочилась уже кровь.

Он выскочил на лестничную площадку.

— Ну, ладно, гниды трухлявые... ладно! Вы меня еще вспомните.

Бывший мент, сутенер и автохам кинулся вниз по лестничному маршу.

Вдруг вернулся, рывком распахнул дверь:

— Ты, Алена, еще пожалеешь, что сотворила. Локти будешь кусать, назад проситься, но — вот тебе! Вот! — он обеими руками, свернув кукиши, издали бросал их в лицо Матильды.

Она, по-прежнему с половником в руках, бросилась на Володю, но тот успел хлопнуть дверью, убежал.

Матильда повернула к Семену Петровичу смеющееся лицо.

— Он, вообще-то, трусливый малый, — сказала она с некоторым даже удивлением. — Думал, наверное, наглостью своей взять... Или рассчитывал, что я испугаюсь.

— Алена? — спросил Муха. — Это... что значит?

— Да просто все, Семен Петрович. Матильда — это мой псевдоним. Теперь бывший. А так я — да, Алена. Головина...

— Не сказала почему?

— Ну... Я собиралась. Сегодня бы и сказала. Зачем мне вас обманывать, Семен Петрович?.. Он вас не ушиб, а?

— Ну... малость попал, не без этого.

— Ну и слава Богу... сбежал. А то разошелся тут, раздухарился. «Пожалеешь... локти будешь кусать...» Как бы не так. Нагулялась я, хватит. Дурочкой была, а теперь... — Алена-Матильда расставляла раскиданную в драке мебель. — Грозит еще. Задумал чего-то. От него всякой пакости ждать можно, Семен Петрович, имейте это в виду. Но вы же не дадите меня в обиду, а?

— Не дам, — твердо произнес тот. — И потер саднящую скулу: ХАМ тоже приложил ему от души.

* * *

То, что задумал ХАМ-Володя, стало понятно этим же вечером.

...Семен Петрович и Алена сидели у телевизора — рядышком, на диване. Выглядели они смешно — и у нее, и у него багровели под глазами синяки.

Оба старались как бы не замечать этих хулиганских приветов судьбы; дед Муха, к примеру, напустил на себя деловой, занятый вид, гордился тем, что вдвоем они успешно отбили нападение неприятеля, а Алена все превращала в шутку, в забаву, каждый раз, едва ее взгляд пересекался со взглядом Семена Петровича, покатывалась со смеху.

— Да ладно тебе, Алена, — несколько смущенно просил он. — Чего ты в самом деле?

— Да так я, так, — она не убирала с губ веселую улыбку. — Пойдемте, глянем в зеркало.

Они пошли в ванную, глянули на свое отражение, и теперь уже вдвоем хохотали до колик в животе.

— Вот это нам обоим наказание за греховные мысли и желания, — сказал Семен Петрович. — Особенно тебе.

— Значит, у вас тоже эти мысли были! — она торжествующе глянула на него.

— Ну, были, не были... Возьми гитару, поиграй.

Но играть Алене не довелось — в дверь позвонили. Звонок был нервный, нетерпеливый, и Муха торопливо пошел в прихожую.

На пороге стоял... Иван, мастер по установке замков.

— Алена здесь? — спросил он резко, больше утвердительно, чем вопросительно; не дожидаясь ответа, оттолкнув Семена Петровича, шагнул в квартиру. Следом за ним вошла заплаканная женщина с седым венчиком на макушке головы.

— Папа?! Мама?! — Алена поднялась с дивана — вид у нее был растерянный. — Вы... как здесь...

— Да, это мы, твои родители! — Иван рвал и метал. — А это ты — наша непутевая дочь? Володя, твой муж, позвонил, сообщил...

— А-а...

— Б-э-э... Потаскуха ты, а не дочь!

— Ваня, не надо, — глухим голосом попросила мать Алены. — Успокойся. Не надо так.

— Как я могу успокоиться? О чем ты говоришь, Марина Алексеевна?! Наша дочь, оказывается, сначала работает... тьфу!.. девкой по вызову, а теперь ушла жить к старику!.. Не знал я, Семен Петрович, что ты — ловелас, в жисть не стал бы тебе замок ставить...

— Я... — открыл было рот Муха.

— Молчи! — оборвал его Иван. — И не стыдно? Она же тебе в дочери

годится. А ведь ты мне показался порядочным человеком. Так хорошо о жене своей говорил...

— Он порядочный человек и есть, — подала голос Алена. Показала рукой: — Сядьте рядом, Семен Петрович.

Муха сел.

Иван тут же стал изгаляться над ними, призывая в зрители жену, Марину:

— Вот, мать, полюбуйся на эту парочку, возможно, на будущего своего зятя, который старше тебя минимум лет на десять: у нее глаз подбит, и у него. Это у вас любовь такая, да? Сначала он тебя мутузит, потом ты его?

— Да! Сначала он меня бил, а сегодня я его! — с вызовом и невольной улыбкой отвечала Алена. — Но все это относится к Володьке, подонку этому, какой... Гад и мерзавец!

— Вот, мамочка, видишь, до чего твоя дочь докатилась! — Иван, кажется, не слышал того, что сказала Алена. — Вот твое воспитание, Марина Алексеевна, твое сюсюканье, уговоры. Вот! Получила результат, полюбуйся. Я же говорил тебе, что в ежовых рукавицах надо эту тварь держать, в ежовых!..

Марина Алексеевна рухнула перед дочерью на колени.

— Алена, доченька, вернись домой, прошу тебя! Я же ночи не сплю, извелась вся, из больниц не вылезая.

Алена стала поднимать мать.

— Встань, мама. Отец из дома выгонял, не ты... И пусть он орать перестанет, пусть он что-нибудь скажет.

— От меня этого коленопреклонения не дождешься! — вне себя кричал Иван. — Даже не думай. Я ни в чем перед тобой не виноват, я тебе всегда желал и желаю добра. Чтобы ты человеком стала, а не шлюхой, чтобы за ум взялась. Высшее образование получила... А ты... Ты просто паразитировала на родительской шее...

Лицо Алены вспыхнуло бурой краской.

— Я давно уже не живу с вами, не надо меня попрекать. Сама на себя зарабатывала, не бездельничала.

— Чем... чем ты зарабатывала, прости господи! — Ивана душила злость, обида, самчаяние — все, что мучило его все эти последние годы. — Позор! И тебе самой, и нам с матерью. Разве такой мы хотели видеть тебя? Разве э т о м у учили?

Марина Алексеевна тихо плакала, закрыв лицо руками.

Иван стал против Семена Петровича.

— Петрович, скажи мне, как она сюда, к тебе, попала?

Алена опередила.

— По вызову. Муженек мой поганый сам сюда привез.

Иван снова взорвался.

— Ага! Значит, по вызову! Значит, дед — тот еще кобель!

— Да я просто пошутил, Иван. Ну, выпили мы с тобой, помнишь?.. Замок обмывали. А я потом сдуру набрал номер...

Муха в сильном возбуждении, в искренних переживаниях вскочил, забегал по комнате.

— Я... даже не думал, что из этого глупого звонка может что-то произойти... Не думал! Позвонил и забыл. Заснул!

Марина Алексеевна повернула к дочери заплаканное лицо.

— Аленушка, дочка, неужели Володя мог так с тобой поступить? Он мне казался надежным человеком...

— А ты, выходит, общалась с ним? — сейчас же спросил Иван.

— Да, общалась. Я тебе просто не говорила. Думаю, пусть поживут, притрутся друг к дружке, может, до свадьбы дело дойдет. Тогда и скажу. А тут вот что вышло — в притоне оказалась.

— Мама, Володька именно так со мной и поступил. Организовал подпольный бизнес, нескольких девок нанял, меня заставил... А на Семена Петровича, ты, Иван Гаврилович, бочку не кати — он мне, как отец. И мы с ним не спим, понятно?

Несколько мгновений Иван молчал, переваривал то, что услышал.

— Ага, «отец»?! «Не спим». Так я тебе и поверил... А ну, собирай манатки и — домой. Домой, я сказал!

Алена подошла к Семену Петровичу, взяла его под руку. Сказала спокойно, уверенно:

— Никуда я не пойду. Мне здесь хорошо. Меня здесь понимают.

Зависла долгая, томительная пауза.

Разрядила ее Марина Алексеевна. Говорила вздрагивающим голосом:

— Доченька, не горячись. Давай забудем, что мы тут друг другу наговорили... И папа тоже... Он же добра тебе желает. Ты же кровинушка наша. Я как узнала, где ты сейчас и что произошло, бегом из больницы. Бросила лечение... Что же мне — опять туда? Хотя меня пожалей.

Алена молчала.

Иван, заметно смягчив свой напор (чувствовал ситуацию), воззрился на Муху.

— Петрович, ты что молчишь? Чего выжидаешь? Скажи, зачем она тебе? Если вы не спите вместе... Ты жениться на ней собираешься? Или как? Она у тебя здесь на каких правах?

Муха глянул на Алену — она смотрела на него выжидающе, с явной надеждой.

— Я ей комнату сдаю. Просто помогаю человеку, попавшему в беду.

— Тьфу ты! — Иван в сердцах рубанул рукой. — От распутства эта «беда», от нежелания нормально жить и работать. Легкой жизни ей захотелось, а ты, старый уже человек, никак этого не поймешь... И, видно, в чем-то потекаешь, как мать ее.

— Ваня, не надо, — заговорила Марина Алексеевна, вытирая платочком опухшие от слез глаза. — Если Алена говорит, что Семен Петрович хороший... ей надо верить. Может быть, это ее судьба, кто знает!

Иван снова завелся: «Да какая судьба, что ты несешь, Марина?», но женщина решительно вдруг поднялась, велела:

— Поехали домой. Они сами разберутся. А ты, Ваня, должен подумать, почему дочь твоя говорит об этом человеке, как об отце. Подумай!

Иван направился к двери.

— Ладно, поехали. Не хочет жить с родителями, не надо.

Не прощаясь, молчком, Головины ушли.

— Теперь вы все про меня знаете, Семен Петрович. — Алена ладоня вытирала слезы. — Вот в такой атмосфере я и жила. Кто прав, кто виноват... Может, и я, конечно, маху дала. Но отец... Вы же видели, как он себя ведет.

— Алена, не надо. Все мне понятно. И понятно теперь, почему ты из «Евгения Онегина» читала именно те строки: «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой...»

— Да, да! Чужой! Родители, они... Ласк с их стороны я не видела, не чувствовала. Они все делали и говорили правильно, но я... Может, я хотела чего-то большего, душевного. Но со мной мало разговаривали, не спрашивали, о чем я думаю и чего хочу в жизни... Меня это всегда обижало, а потом и раздражало. Я стала дерзить родителям, делать все по-своему. Мама уговаривала, если что не так, а отец... он кричал, оскорблял, как сегодня. Я даже стала думать, что они мне не родные, взяли из детского дома. Потому и вам так сказала, про детдом, вы уж простите, Семен Петрович. Очень я на отца обижалась, решила, что...

— Хватит, Алена. Я же сказал: все понятно.

Семен Петрович говорил спокойно, ровно. Понимал, что творится на душе у Алены, не хотел добавлять ей мук.

...Потом, поздно уже ночью, когда они улеглись спать каждый на своем месте, Алена негромко спросила:

— Вы спите, Семен Петрович?

— Нет еще.

— Я хотела сказать... Я люблю вас. Не как отца, а...

— И я тебя люблю, — ответил он.

* * *

Разорять распутное гнездо ХАМа Муха продолжал с присущей ему целеустремленностью и настойчивостью. Взялся Матильду из его лап вырвать — вырвал. Теперь надо браться за Паучиху, коренника его бизнеса, садануть «мужа»-сутенера под самый дых, выбить из-под его ног финансовую опору.

Разумеется, Семен Петрович не забывал о собственной безопасности и действовать решил осторожно, хитро.

...Пока Алена ходила в магазин, он созвонился с Паучихой.

— Алло, Паучок? А цэ — Муха. Здоровеньки булы.

— Чую, чую ридну мову, — забился в телефонной трубке обрадованный голос. — Як ты существуешь, Семен Петрович?

— О! Ты даже имя мое помнишь, Анна Васильевна?

— А як же! Не забула.

— Существую ничего, с божьей помощью. И твоими молитвами. Мы с тобой теперь вроде как родня.

— Да? Интересно. А с какого боку?

— С левого. А, може, с правого, надо подумать... Я чего звоню, Анна Васильевна: хочу тэбэ побачить, побалакать с глазу на глаз.

— Побачить... Не знаю, шо и сказать, Семен Петрович. Я ж занята с утра до ночи. Да и ночью покоя нема. Звонят, трезвонят. Вот опять... Погодь хвылыну¹. Опять хто-сь нетерпеливый...

— Хорошо, хорошо, жду.

В трубке скоро снова заворковал голос Анны Васильевны:

— Семен Петрович, я слушаю.

— Ты называй свий адрес, я подъїду, а то нам не дадут по-людски побалакать.

— А... Ну ладно, запоминай...

¹ Х в ы л ы н а — минута (укр.)

Анна Васильевна выглядела точь-в-точь, как описала ее Матильда-Алена: кругленькая, небольшого роста, с короткими руками и ногами. И большая голова вполне соответствовала всему ее облику — усыпана мелкими, крашеными в желтый какой-то цвет кудряшками.

До приезда Семена Петровича она успела переодеться, подправила губы, брызнула на себя душистой туалетной водой.

Своим отражением в зеркале осталась довольна: не молодая, конечно, дама, но не такая уж и старая; синие глаза, улыбка привлекательная, зубы еще свои, белым металлом рот, как у некоторых, не сияет; талия немного выпуклая, да, но это ничего, кое-кто из мужчин любит мяконецких полных женщин; рост вот подкачал, хорошо бы Семен Петрович оказался пониже, ей не пришлось бы задира́ть голову, а высокие каблукы она не любит, падает с них.

Семен Петрович оказался со всех сторон подходящей парой: выше Анны Васильевны на полголовы, не старый, хоть и седой, прилично одет. И ухажер еще тот — знакомясь, склонился к ее пухленькой ручке, и шутник — надо же! — не поцеловал, а лизнул ее. И еще хотел повторить, но она, развеселившись, деликатно оттолкнула его: «Хватит вам, хватит!.. Проходите, Семен Петрович. Что ж мы у порога?! А это что у вас?» — она взглядом показала на синяк у него под глазом.

— Боевое ранение, — хмыкнул он. — Пострадал в поединке с врагом нашего общества. Мелочь.

Муха сел в кресло у стены, закрытой большим ковром, мельком оглядел жилище Анны Васильевны — типовую однокомнатную квартиру в пятиэтажном панельном доме.

Это и была диспетчерская фирмы «Шанс» — на круглом столе стоял обычный кнопочный телефон, а рядом с ним — записная толстая книжка.

— Значит, тут и живешь, и работаешь, Анна Васильевна? — в прежнем, расположенном духе завел он разговор.

— Ага, все тут. Живу одна, мне много не надо. Кто позвонит — я тут же Владимиру Кирилловичу сообщаю. А дальше — он сам.

Телефон в это время зазвонил, Анна Васильевна подскочила к аппарату:

— Але-о-о... Да, фирма «Шанс»... Я поняла, мужчина, все поняла. И номер ваш записала. Подождите, вам скоро позвонят.

С улыбкой повернулась к Мухе.

— Вот кому-то еще шанс дала, надежду. Бывает, через нас познакомятся, а потом и дружбу заведут. Одна пара даже поженилась.

— И я вот собираюсь. — Муха заинтересованными глазами разглядывал женщину. — Все никак половинку свою не найду.

— А вы что... и женаты не были?

— Нет, почему же — был. Но жена уже несколько лет как ушла в мир иной...

— А...

— Анна Васильевна, а свободное время у тебя бывает?

— Ну, если сходить куда надо, или выходной попросить... Я тогда звоню Владимиру Кирилловичу, он отпускает. А мы что — можем куда-то с вами сходить?

— А почему нет? Надо подумать. — Муха — само обаяние. И улыбка ни на секунду не сходит с его лица. — Анна Васильевна, а фирма ваша зарегистрирована? Лицензия есть?

Женщина махнула рукой.

— Да какая там лицензия, Семен Петрович! Кто ж ее даст?! Владимир Кириллович раньше в милиции служил, у него «крыша». Он меня все время инструктирует: лишнего по телефону не говори, я сам с клиентами разговаривать буду. Вот. Отвечай неопределенно — да, девушки, которые хотят познакомиться с мужчинами, есть, и все они порядочные, не какие-нибудь «прости господи». И хотят познакомиться с порядочными мужчинами, чтобы со временем выйти замуж. Как в передаче «Давай поженимся» у Ларисы... как ее... забыла!

— Гузеева, — подсказал Муха.

— Да, Гузеева. Или у Коли Баскова, на втором канале. Тоже ведь сводят людей. Расспрашивают: кого она хочет в мужья, кого он — в жены.

— Ага, значит, вы сводничеством занимаетесь?

Анна Васильевна насторожилась:

— Но... вы тоже... вызывали девушку...

— Да, вызывали. Но это был контрольный вызов, Анна Васильевна. Мы понимаем разницу между передачей «Давай поженимся» и девушкой по вызову. То, чем занимаются ваши девушки, называется проституцией. И Уголовный кодекс России это рассматривает как преступление. Статья 241 гласит: «...Организация или содержание притона для занятия проституцией... наказывается лишением свободы на срок до пяти лет...»

Лицо Анны Васильевны вытянулось. Она заметно побледнела.

— Простите, Семен Петрович, я вас не понимаю. Вы кто? Из полиции?

— Для вас — хуже. Я секретный сотрудник ФСБ. Сексот. Представляю отдел НБМ.

— Это что за отдел?

— «Наблюдение за Бывшими Ментами». Они все у нас на учете. И ваш Владимир Кириллович... запомнил его фамилию...

— Костенко.

— Да, Костенко. Он тоже на учете. На особом.

— Так. — Тут и Анна Васильевна пошла в наступление. — А где вы видите притон?.. Живу одна, ко мне никто не ходит. Ну, меня попросили: если кто позвонит, — запиши... А удостоверение, кстати, у вас есть? Покажите!

— Нам, совершенно секретным сотрудникам, удостоверение не положено. Нас знает только руководство.

Женщина в нервном возбуждении забегала по комнате, то судорожно хватая вазу с цветами (переставила ее со стола на подоконник), то зачем-то поправила свою фотографию на старинном буфете, то сняла и тут же положила назад трубку телефона.

— Хорошо. ФСБ, секретный сотрудник... Но разве это ваше дело — ходить по точкам, где... люди знакомятся, надеются...

— Мы ведем непримиримую борьбу с заведениями, подобным вашему. — Муха не слушал женщину. — Они... — вы! — ведете разлагающую подпольную работу среди населения, особенно среди молодежи. А это грозит моральным устоям нашего государства, подрывает его оборонительную мощь. Расслабленный извращениями мужчина не может быть достойным защитником Родины, также, как и женщина.

— Семен Петрович, поймите... Я...

— ...и поэтому ФСБ под руководством Президента страны боролась и будет бороться против притонов, скрытых домов разврата и распутных

фирм. В СССР, как вы помните, не было этой гадости, и в России тоже не будет.

— Так, так, — согласно мотала кудряшками Анна Васильевна. — В СССР нэ було проклятого секса, народ жил спокойно.

— Вот именно!.. Спокойно и целомудренно. Нет, секс, конечно, был, но семейный, в ночной тиши, — Мухе пришлось подправить ситуацию. — Со штампом в паспорте. Своди женщину в ЗАГС и трудись потом на здоровье... В общем, пять лет вам и вашему шефу светит, дорогая Анна Васильевна. Но скорее всего, только вам. Костенко может свалить все на вас: вы принимаете звонки, вы координируете действия фирмы...

— Да как же так?! Я просто записываю звонки...

— Телефон в газете чей? — заорал Муха. — Чей, я спрашиваю!

— Ну, мой.

— Вот. С вас и спросят. А Костенко от всего отвертится. Я вам скажу по секрету: его из милиции выгнали, он не прошел аттестацию прошлым летом и его не взяли в полицейские. Но у него связи, поддержка в судебных органах, да. И вас — вас! — он посадит на жесткую скамью суда, и загремите вы, уважаемая, в колонию... А там, даже в женской, из вас сделают... О-о... что там из вас сделают, представить страшно! Я вам так сочувствую!

Анна Васильевна снова бросилась к телефону.

— Я должна позвонить... посоветоваться с Владимиром Кирилловичем...

Муха властно положил руку на аппарат.

— Звонить не надо. Ни в коем случае. Это вас не спасет. Если хотите остаться на свободе, — молчите. С этой минуты никакой информации Костенко. Если он позвонит, а он, разумеется, позвонит, скажете ему, что вы внезапно и тяжело заболели: рак желудка, саркома колена, опухоль в носу... Ну, придумайте, где именно.

Анна Васильевна молча и судорожно кивала.

— И вот еще что: о моем визите — никому ни слова! — Муха испепеляющим, гипнотическим взглядом буравил бедную женщину. — Я представляю интересы закрытой, государственной организации. Называть меня нельзя. Мы, сексоты, гораздо важнее тех сотрудников, которые сидят в управлении. Мы — глаза и уши государства, потому что живем в гуще народа, все видим и знаем, а они, управленцы, без нас — слепые котятка. И я, именно я, могу вас вызволить из колонии...

— Значит, меня все же будут судить? — дрожащим голосом спросила Анна Васильевна.

— Если вы будете вести себя, как я вам говорю, беда может пройти стороной. С этого мгновения вы умерли для господина Костенко... Хотя, какой он «господин»? Несостоявшийся мент да и только, занимающийся мерзким бизнесом. И мы его рано или поздно прищучим, если он снова попытается заняться чем-то подобным... Прищучим, я сказал! Поверьте мне на слово!

— Я поняла... Я все поняла, Семен Петрович. — Паучиха семенила рядом, провожала его до двери. — Неужели я, дура, не понимаю?!

— Вот именно. Прощайте!

Муха важно, начальственно кивнул женщине и был таков.

«Ну, кажется, две души я вырвал из лап этого ХАМа», — радостно думал Семен Петрович, вышагивая скорым шагом по солнечной, запруженной людьми улице...

* * *

Следующей проблемой для Семена Петровича стало устройство Алены на работу.

Это действительно была проблема, потому что ей во многих местах отказывали — в ее трудовой книжке последняя запись была сделана шесть лет назад, когда она работала в больнице. Надо было объяснять кадровикам, отчего она не трудилась столько лет. Для медсестры, специалиста, это была потеря квалификации, рисковать в больницах и поликлиниках из кадровиков никто не хотел.

Но Алена, по совету Семена Петровича, все же выкрутилась — сказала в одной из поликлиник, что находилась это время на содержании мужа, он запрещал ей работать. Да и ребенка они хотели завести... А домашняя работа — это тоже труд, пусть и не записанный в книжку. Что несправедливо.

Словом, ее взяли в поликлинику, но в регистратуру, записывать больных на прием к врачам и разносить карточки больных по кабинетам специалистов.

Кадровичка поликлиники, молодая, приятной наружности женщина, пообещала в разговоре, дескать, поработай, Головина, в регистратуре, а там видно будет. Медсестры часто увольняются, может, кому-то из врачей ты и глянешься, подожди. Как выписывать рецепты и назначения врача, можно вспомнить — училась же! — главное в твоем положении — старательность и примерное поведение.

Кадровичка явно симпатизировала Алене, по всему было видно, хотела взять ее на работу, дала для раздумья время лишь до следующего утра.

— Ты с кем живешь? — уточнила деловито.

— Ну... сейчас с отцом. С мужем мы разбежались.

— Вот, посоветуйся дома. Зарплата, конечно, небольшая, но на первое время хватит. Отец пенсию получает?

— Да, конечно.

— Хорошо. Иди. Жду тебя завтра.

...Семен Петрович, выслушав рассказ Алены, коротко сказал:

— Устраивайся. Проживем.

* * *

В конце лета Борис Муха освободился по УДО.

Приехал домой в середине дня — по-прежнему хмурый, с усталыми глазами, с тощей дорожной сумкой. Да и что он, бывший зек, мог в нее положить?

Но все же привез отцу подарок — самодельную шкатулку. Простенькая такая вещица из липы, обтянутая внутри дешевой материей. Но снаружи шкатулка вполне представляла из себя произведение искусства. Узоры на ней были не такие уж и затейливые, но над ними надо потрудиться, да еще как! Попробуй вырезать каждый листочек, каждую веточку, каждый ромбик...

Покрывать лаком — это завершающее уже действие, тут особых проблем нет. Но лак придает всему изделию нарядный, привлекательный и даже праздничный вид, подарить такую шкатулку никому не стыдно.

...Семен Петрович подарком был растроган.

— Спасибо, сынок, — с чувством сказал он, поворачивая шкатулку так и сяк. — Сам, что ли, резал?

— А то кто ж?! Правда, мастера там, у нас... на зоне, классные есть. Такую тебе штучку могут сварганить!.. Моя-то простенькая... Но на выставку в колонии попала.

— Хорошо. Спасибо, — повторил Семен Петрович. — Мелочишку тут всякую хранить буду. Иной раз думаешь, куда бы ключ положить, или, там, запчасть от телефона, батарейки... Ну что — за стол?

— Давай.

Увидев на кухонном столе водку, Борис решительно произнес:

— Это убери, бать. Все, завязал. В рот больше не возьму.

— Молодец. — Семен Петрович сунул бутылку в холодильник. — Я, честно говоря, и брал водку тебя проверить.

— Чего там проверять... Пять с половиной годков проверялся.

— Пошла отсидка на пользу?

— Пошла, пошла... А пива выпью.

Чокнулись бокалами, пожевали закуски. Семен Петрович нажарил картошки, порезал селедки с лучком, хорошей копченой колбасы, сделал салат из свежих овощей... Борис с видимым удовольствием уминал еду.

— Ну, рассказывай, что да как... — попросил Муха-отец.

— Да чего рассказывать, бать? — махнул вилкой Борис. — Все теперь позади, вспоминать не хочется. Пять с половиной лет вычеркнул из жизни. Теперь поживу...

Особой радости в лице сына Семен Петрович не видел. Почти не улыбается, говорит мало, замкнут. От прежнего Бориса, жизнерадостного веселого парня, мало что осталось — разве что внешний облик, да и тот начал уже стираться, приобретал черты зрелого, повидавшего виды мужика. И все думает о чем-то, размышляет...

— Ты это, сынок, — начал трудный разговор Семен Петрович. — Я помню, ты говорил там, в комнате свиданий на зоне...

— Ну! Не тяни кота за хвост! Что «помню»? — хмуро уронил Борис.

— Мужиков этих, что посадили тебя... простил?

Борис помолчал. Отхлебнул пива, похрустел сухариками.

— Ты считаешь, бать, их можно простить? Они убили человека, на меня свалили... И я им что — руку должен подавать, делать вид, что ничего не случилось? «Спасибо» им говорить? А?

— Зачем «спасибо»? Забыть и все.

— Ха, забыть!.. Будто ничего и не было, да? Оговора, суда, зоны... Ладно, давай кончим этот базар. Мы не пойдем друг друга.

— Боря, сынок, не надо камень за пазухой носить, пойми! Бывает все в жизни, да, — несправедливость, подлость, подстава. Будешь помнить, точить себя изнутри... что толку? По-христиански жить надо. Прощать. Все люди грешны.

— Подлость надо наказывать, — четко сказал Борис.

«Чужой какой-то стал, совсем чужой, — печально размышлял Семен Петрович. — И звать по-другому взялся: то «папа», «папа», а теперь — «батьа». Как тот корешок его, Штопор... Понять сына можно: если не он ножом орудовал, то, конечно, зачем брать вину на себя? А если он? Ведь, не помнит ничего, что было в драке, голова отключилась от этой проклятой водки... Хорошо, хоть теперь кое-что уразумел, отказался от нее...»

— Сынок, если что задумал — брось эти мысли, не надо. Прошу тебя. Борис со всей силы шархнул кулаком по столу.

— Хватит, я сказал! Что ты мне душу рвешь?!

— Ладно, ладно, прости.

Они некоторое время молчали, недовольные друг другом. Потом Семен Петрович, как можно мягче, спросил:

— У тебя какие планы на будущее? Я имею в виду работу.

— Буду работать, буду, не переживай. На шее у тебя сидеть не собираюсь. Деньги у меня пока есть, на зоне выдали, когда провожали. С месячишко погуляю, потом вкалывать пойду. Думаю, снова за баранку сяду. На старое место, в автохозяйство, не пойду. Могут и не взять... Как же — «убийца»!.. Да и возьмут — с черным пятном ходить будешь. На маршрутку устроюсь, или в торговую сеть, на «газель», харчишки возить.

Старший Муха слушал сына, одобрительно кивал.

— Это правильно, правильно. При деле будешь, о постороннем думать некогда. А то я беспокоюсь...

— Не надо переживать, батя. Сын у тебя — другой теперь человек. Во многом разобрался.

Борис поднялся, походил по залу, заглянул в спальню. Увидел женские вещи, удивленно спросил:

— Ты что — женился?

Семен Петрович с дивана поманил сына рукой.

— Поди сюда. Сядь.

Борис, усаживаясь, крутнул головой:

— Ха! Женился дед и молчит. Надо же!

— Борис, это не я женился. Это — твоя жена.

— Моя?!.

— Да, твоя. Она здесь почти три месяца живет.

— Погоди-ка, батя... — Борис сдержанно хохотнул. — Ты серьезно?

— Конечно. Я же обещал подобрать тебе невесту.

— Обещал, помню. Во, дела!.. Я думал, ты шутишь. А если она... если она мне не понравится? И вообще... Я ей окажусь не по душе? Ты хоть фотографию мою ей показывал?

— Нет.

— Почему?

— Ну, сюрприз вам обоим решил преподнести. Я даже не сказал ей, что ты вообще существуешь на белом свете.

— Во как! А это совсем зря.

— Ну, сочтешь нужным — сам все ей расскажешь. А она — тебе.

— А что — тоже какие-то тайны?

— Да какие тайны, сынок?! Спрашивай, тебе ответят.

— Так-так.

Борис заметно оживился. Ходил по квартире, возбужденно размахивая руками, улыбался каким-то своим мыслям, время от времени восклицал: «Ну, батя!.. Ну, ты даешь!»

Семен Петрович с улыбкой наблюдал за сыном. Тревожное его настроение постепенно испарялось: Борис, вообще-то, мог психануть, сказать резко, мол, чего ты лезешь в мою личную жизнь, сам разберусь, сам найду себе невесту...

Не сказал, кажется, даже обрадовался такому неожиданному известию, повеселел. Вон, улыбка с его лица не сходит. И все спрашивает, спрашивает: кто эта женщина, да как сюда попала, да где и кем работает?..

— Она квартирует у меня... у нас, — скупое рассказывал Семен Петрович. — Хорошая молодая женщина, работает в регистратуре, в поликлинике, медсестра по образованию. Там, в спальне, ее фотография есть, на тумбочке у кровати.

— Ну-ка, ну-ка! Интересно. — Борис быстрым шагом пересек зал; вернулся с фотографией Алены, сел рядом с отцом на диван. Смотрел на снимок с жадным любопытством.

— Симпатичная, — сказал наконец. — Даже очень. Только глаза у нее... грустные отчего-то.

— Ну... может, переживания какие, — отозвался Семен Петрович. — Мало ли!..

— Значит, ты ничего ей обо мне не говорил?

— Ничего.

Борис поставил фотографию перед собой на стол, почесал затылок коротко стриженной своей головы, подытожил смешливо:

— Оригинал ты, батя. Не знал тебя таким. Думал, ты просто так, про женитьбу-то. А ты вон как завернул!

— Сын ты мне. Да еще в беду попал. Помогать надо.

— Спасибо, спасибо... Даже, знаешь, батя, на душе как-то веселей стало. А сейчас она... кстати, как эту девушку зовут?

— Алена. Головина.

— Ага, Алена. Елена, значит. Имя хорошее. На работе она?

— Да. Скоро придет. Давай ужин замастырим! Праздничный. Отметим и твоё возвращение, и ваше с Аленой знакомство. — Семен Петрович — сама энергия.

— Давай! — загорелся и Борис. — Только это, батя, я за цветами сбегаю. Где тут поблизости... торговая точка?

— А у депо троллейбусного, не помнишь разве, киоск цветочный?

— А!.. Побежал!

— Вернешься — побрейся, душ прими, приоденься... Твои вещи — в кладовке, где и были. Мы с матерью ничего не трогали.

— Да, конечно. Все будет тип-топ, батя. Не переживай.

«Как не переживать? — волнуясь, думал Семен Петрович. — Что еще ты, Аленушка, скажешь? Ах, как было бы хорошо, если бы вы понравились друг другу!..»

Принаряженные, благоухающие (Семен Петрович тоже побрился и надушился), отец и сын, стоя, встретили Алену у дверей.

Борис тотчас протянул ей букет алых роз.

— Здравствуйте. Это вам.

— Мне?!. Спасибо. А в честь чего?

— Это Борис, мой сын, — сказал Семен Петрович. — Прошу любить и жаловать.

— Гм. Любить и жаловать... — Алена в некотором замешательстве протянула руку Борису.

Он сиял искренней, приветливой улыбкой.

— Рад познакомиться. Живая, вы еще лучше, чем на фотографии.

— Спасибо за комплимент. Семен Петрович, а почему вы никогда не говорили, что у вас... взрослый сын? — Алена, чувствуя себя неловко, старалась все же это скрыть.

— Ну... как-то все откладывал... Не успел, что ли. Сюрприз собирался сделать. Вам обоим.

— У вас это получилось. А стол такой в честь чего?

— В честь вашего знакомства. Хотелось бы, чтобы оно продолжилось. Она внимательно, пристально посмотрела на Семена Петровича. И, кажется, что-то поняла.

И он понял, что она догадалась о его намерениях.

— Я считал и считаю тебя умницей, — Семен Петрович говорил эти слова между делом, раскладывая по тарелкам горячую, парящую еще картошку. — Оставайся ею.

Они сели за стол, говорили что-то соответствующее моменту знакомства, все вели себя сдержанно, культурно; Борис то и дело подливал Алене вина, сам пил только пиво, ссылаясь на данное самому себе слово, а Семен Петрович тоже не злоупотреблял алкоголем, цедил из длинного голенастого бокала красное сухое вино, больше стараясь помалкивать, не мешать застольному, непритязательному разговору, который Борис завел с Аленой.

Потом, когда Борис вышел на балкон покурить, Алена с горькой усмешкой сказала Семену Петровичу:

— Вот, значит, зачем я вам была нужна. Для сына, так?

Муха не сумел сдержать вздоха.

— Алена, милая, я вам обоим желаю добра. И ты стала родной, и он сын мне... Хочу, чтобы вы были счастливы. Я ни на чем не настаиваю, просто прошу тебя вспомнить — ты хотела меня отблагодарить... Но можешь встать и уйти, если тебя обидел мой поступок, если ты считаешь его оскорбительным для себя.

Вернулся Борис, шумно уселся, предложил:

— Ну что, еще по бокальчику? Алена, тебе салата добавить?

— Мы уже на «ты»?

— Ну... как скажете. Я коней не гоню.

За столом возникла некоторая заминка.

— Так, ребята, — Семен Петрович поднялся. — Я, если вы не против, пройдусь. Есть у меня одно небольшое дельце в городе. А вы тут пообщайтесь...

...За полночь вернувшись из кинотеатра (он взял билет на двухсерийный американский боевик), Муха открыл своим ключом дверь, стараясь не шуметь, стал раздеваться в прихожей.

В зале свет был выключен, он и не стал его включать, с улицы, через балконную дверь, уличного освещения было вполне достаточно, чтобы разглядеть свой диван; Семен Петрович потихоньку опустился на скрипучие его пружины, прислушался — из спальни доносились негромкие голоса Алены и Бориса. Потом тренькнула гитара; приглушенный закрытой дверью и, как показалось Семену Петровичу, грустный голос Алены завел знакомую песню Юрия Визбора:

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.
Тих и печален ручей у янтарной сосны.
Пеплом несмелым подернулись угли костра.
Вот и окончилось все — расставаться пора.

Милая моя, солнышко лесное,
Где, в каких краях встретишься со мною?

Борис, надо думать, не знал всей песни, да и в тональность не всегда попадал; основные куплеты пела Алена, а Борис (как и он, Семен Петрович, когда они пели это с Аленой), подхватывал лишь припев:

Милая моя, солнышко лесное,
Где, в каких краях встретишься со мною...

— Милая ты моя, — прошептал Семен Петрович, едва сдерживая слезы. — Прости меня. Прости!

* * *

Несколько последующих дней Алена не поднимала глаз на Семена Петровича. На его вопросы отвечала односложно: «да», «нет», «конечно», «хорошо», «не знаю...». Лицо ее при этом оставалось бесстрастным, не выражало каких-либо эмоций, она умела скрывать свои чувства, но он понимал ее переживания, хотя и делал вид, что ничего такого особенно не замечает.

Раза два-три Семен Петрович поймал взгляд Алены — укоряющий, даже страдающий; взгляд этот кольнул его в самое сердце, он хотел даже объясниться с ней в тот момент, сказать ей что-то ободряющее, успокаивающее, но передумал. Они понимали друг друга, лишние слова были не нужны. Алена поступила так, как поступила, стала жить с Борисом, и что уж они говорили в ту, их первую ночь, в чем признались, а что утаили — Бог знает. Но раз она не ушла, значит, нашли общий язык, о чем-то договорились, что-то каждый для себя решил.

Борис вел себя вполне объяснимо: наслаждался свободой, молодой женщиной, уютом дома. Алена, как и предполагал Семен Петрович, тоже любила чистоту и порядок, квартира у них сияла, уборку они делали вместе, по выходным. А в будни Семен Петрович и сам не ленился взять в руки веник и пройтись им по пыльным углам.

На работу Алена уходила рано, к половине восьмого надо быть в поликлинике в центре города, ехать с полчаса, это при условии, что автобус не попадал в пробки — благо в ранние эти часы (семь утра) машин было не так еще много.

Сын вставал в десять, в одиннадцать. По вечерам подолгу смотрел телевизор, Семен Петрович тоже был вынужден смотреть, так как телевизор стоял в зале. Сказать Борису, мол, давай ложиться пораньше, поздно уже, и Алене в шесть вставать, он как-то не решался: сын пять лет жил другой жизнью, телепередачи на зоне смотрели в определенное время, всем отрядом, в основном детективные сериалы. Зеки, разумеется, интересовались этой тематикой, каждый из них находил в уголовных историях что-нибудь важное для себя. Потом эти истории, перипетии судеб героев, их поведение бурно обсуждались в спальнях помещений, перед сном.

Семен Петрович ничего не спрашивал у сына об их взаимоотношениях с Аленой — живут и живут. Они ладили, Борис заметно повеселел. Звал Алену Еленой, и на недоуменный вопрос отца — что, дескать это означает, почему «Елена»? — отвечал: «Елена ей больше подходит».

Алена в принципе не возражала против такого вольного обращения с ее именем, имена были схожими, произошли одно от другого. Пусть. Борис был с нею ласков и внимателен, старался угодить, опередить ее желания...

Елена так Елена.

И все же Алена не поленилась отыскать в библиотеке Семена Петровича книгу с толкованием имен и фамилий. «Елена» означала «светлая,

сияющая»; и еще «... очень влюбчивая... не щадит себя в своей жертвенной любви». Это правда.

Удовлетворившись прочитанным, Алена поразмышляла еще о характере Елены; нашла, что у них немало совпадений, но все же та, книжная, преподносилась как «ленивая и фантазерка», а таких черт Алена в себе не обнаружила.

Она (внешне) смирилась с ситуацией, в которой оказалась, что-либо менять в ней не стала; желание Семена Петровича — видеть ее с сыном — стало для нее необходимостью, хотя и стоило ощутимого насилия над собственным «я». Но Семен Петрович — не надо об этом забывать — заменил ей родителей, вытащил из болота, в которое затащил ее Костенко, где она уверенно опускалась на дно и где рано или поздно погибла бы. А сейчас она вполне нормальная женщина, работает, живет с женщиной и может надеяться на создание семьи.

Да, может надеяться. Борис намекнул ей на это еще в первую их ночь, но предупредил, что надо подождать, когда он устроится на работу и тоже будет чувствовать себя полноценным человеком.

Семену Петровичу об этом разговоре ни она, ни Борис ничего не сказали, договорились так. Они взрослые люди, сами решат, что делать и как, пусть все идет своим чередом.

Алена, опытная уже женщина, конечно, понимала, что наскучавшийся без женской ласки мужчина готов был говорить и о создании семьи, о женитьбе, и в то же время отчетливо видела, понимала, что Борис настроен по отношению к ней серьезно, и постепенно успокаивалась. Разве только время от времени вспоминала и ту ночь, когда она в порыве чувств ринулась в постель Семена Петровича...

Ей не было стыдно за тот поступок и искреннее желание отблагодарить Семена Петровича — что в этом стыдного? Женщина благодарит, как умеет. Ею руководило и другое чувство, слова «Я люблю вас» были сказаны искренне, и его ответ «Я тоже тебя люблю» она хорошо помнила, чувствовала, что Семен Петрович не просто так произнес их. Она им поверила.

Значит, это правда? Он любит ее?

Но тогда зачем он так поступил — отдал ее сыну, Борису?

Значит, сын ему дороже. Если мужчина отказывается от *своей* женщины...

Своя женщина? Но она же не была с ним в интимной близости, он по-отечески просто, необидно прогнал ее из постели...

Что ж, пусть будет так, как он хочет.

Она покорила ему. Она приняла его решение, его волю.

...Спустя месяц (в природе уже заходило — облетели с деревьев листья, невысоко стало подниматься солнце, по ночам опускались на город несильные еще морозы) Борис объявил отцу и Алене, что нашел работу — с завтрашнего утра будет ездить на «газели», развозить по магазинам хлебобулочные изделия.

Все были рады этой новости: у Семена Петровича душа окончательно становилась на место; Алена, заметно пополневшая и похорошевшая, одобрительно поглядывала на Бориса; и сам он чувствовал себя увереннее и сильнее.

Теперь режим их семейной жизни изменился: Борис и Алена вставали рано, уходили на работу, а Семен Петрович, что называется, оставался на хозяйстве.

Домашние заботы его нисколько не тяготили, наоборот. Какая тут тягость? Старался для своих детей, помогал им. Конечно, заботы его были большей частью как бы женскими: готовка еды, уборка квартиры, хождение по магазинам и рынкам — но чего теперь считаться? Была бы на его месте Полина, она поступала бы точно так же.

Сейчас семейной ситуацией Семен Петрович был вполне доволен. Дети работали, он был при деле — что еще? Никаких настораживающих его внимание слов в доме не говорилось, Алена и Борис вели себя ровно, уважительно по отношению к нему, отцу; иногда, правда, Муха-старший замечал в лице сына сосредоточенность на какой-то не дающей ему покоя мысли. Бывало, Борис приходил домой поздно, был угрюм, неразговорчив, молча ужинал и ложился спать.

Алена и Семен Петрович понимающе переглядывались — знали уже характер Бориса, не тревожили его лишними разговорами, старались не раздражать. Пять с лишним лет зоны сказались, конечно, на человеке, чего тут непонятного.

Потом, раза два-три, в квартире появлялся Витек-Штопор; с Борисом они подолгу бубнили о чем-то на кухне, спорили. Или уходили из дома. В такие вечера Борис и выглядел несколько не в себе.

Семена Петровича очень тревожили эти визиты Штопора, он чувствовал в них некую опасность, угрозу благополучию семьи, и прежде всего Борису; он думал, что сын навсегда порвал с тюремным прошлым и корешами, но оказалось, что это не так.

Понимала это и Алена, в глазах ее тоже появилась тревога и знакомая Семену Петровичу тоска.

Он пожелал поговорить с сыном — с глазу на глаз, откровенно.

...Борис слушал отца, во время разговора оставаясь невозмутимым, замкнутым. Смотрел в окно, казалось, он и не слышал того, что ему говорили.

Сказал:

— Бать, я понял тебя. Витек тут ни при чем. Заходит и заходит. Мы с ним, как-никак, на зоне парились. Это же из черепашки просто так не выбросишь. — Он постучал пальцем по лбу. — Нам есть о чем побазарить. А на Алене я женюсь, не переживай. Вот подзаработаю денюжат, надо же на свадьбу бабок собрать.

— Боря, сынок, скажи честно, прошу тебя: ты ничего такого не задумал?

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, мало ли. Я прошлое твое имею в виду.

— Ничего я не задумал. Живи спокойно.

* * *

Сын сдержал слово, данное отцу: уже через неделю после этого, последнего разговора, Борис объявил Семену Петровичу, что сделал предложение Алене и что завтра, в субботу, они идут к ее родителям, знакомиться.

Семена Петровича это сообщение несколько озадачило, встревожило. Выбрав момент, когда сына не было дома, он спросил Алену:

— Ты все Борису рассказала?

— Нет.

— Правильно делала. Что было, то прошло. А родители твои, как думаешь, чего скажут?

- Не знаю.
- Хочешь, я с вами пойду?
- Не надо.
- Смотри, а то...
- Не надо, — твердо повторила Алена.

Их поход к Головиным окончился полным провалом, даже позором. ...Марина Алексеевна, увидев на пороге дочь с молодым человеком, радостно всплеснула руками.

— Аленка! Доченька!.. Проходите, проходите.

Мать и дочь расцеловались. Алена вручила ей торт, представила Бориса:

— Познакомьтесь. Это мой жених, Боря.

Борис и Марина Алексеевна обменялись приветливыми улыбочивыми взглядами, подали друг другу руки.

Вышел из спальни Иван; тоже подал руку, сдержанно улыбался, вежливо говорил:

— Раздевайтесь... Как там, на улице? Я сегодня еще не выходил.

— Мороз. Но небольшой, — в тон ему отвечал Борис. Протянул коробку с коньяком. — Вот, к столу.

Иван вынул бутылку, повертел ее перед глазами.

— Ишь, не наш какой-то, хрен прочитаешь. Дорого стоит?

— Не дороже денег.

— Понятно. Ну, мать, хлопочи.

Женщины засуетились у кухонного стола, мужчины чинно сели чуть поодаль друг от друга, в зале. Иван в упор рассматривал — именно рассматривал! — гостя.

— Где работаешь, Борис. Кем?

— На «газели», в торговой сети.

— Это дело хорошее. При харчах. Чего возишь?

— Хлеб.

— Тоже неплохо. Иной раз буханочку свеженького и домой можно принести.

— Иногда и ночью. Не без этого. Свежий хлеб полезный.

— То-то, я вижу, Алена раздобрела...

Борис улыбнулся, комментировать ничего не стал.

Иван продолжал допрос (именно так со стороны их разговор и выглядел):

— «Газель»-то новая у тебя?

— Новая. Я с базы пригнал.

— Это нормально. А на старой какая работа? То одно летит, то другое...

— Нет, новая. В теплом гараже стоит, проблем нету.

— Хозяин магазина кто?

— Катков. У него целая сеть, семь или восемь точек, я точно не знаю.

Один магазин даже в пригороде, езжу и туда.

— Богатый, видно, мужик.

— Надо думать.

Помолчали. Иван все еще вертел в руках бутылку.

— С Аленой давно познакомились?

— В конце лета. Отец нас свел.

— Отец? Интересно. Как его зовут?

— Семен Петрович.

— Так-так... Знал я одного Семена Петровича... Погоди-ка... Фамилия у него какая?

— Муха.

Ивана подбросила на стуле неведомая сила.

— А твоя фамилия, парень?

— Муха тоже... как иначе?!

Иван в одно мгновение преобразился — глаза его метали молнии, руки выделывали в воздухе замысловатые кренделя, изо рта брызгала слюна. Он орал что было сил:

— А ну — вон отсюда! Муха, сын Мухи! Тюремщик, убийца!.. Марина, ты слышала... ты поняла, кого эта тварь привела в наш дом?! Вон!

Женщины в полной растерянности и испуге выскочили из кухни; Марина Алексеевна что-то пыталась сказать, лепетала невразумительное, бесполое, а Алена, сообразив, конечно, что к чему, направилась к двери.

Изменился в лице и Борис. Но держал себя с достоинством.

— Я никого не убивал, понятно? Моя совесть чиста. Меня оговорили.

— Оговорили его, как бы не так. Все вы, зеки, это говорите, видел я по телевизору. Кого корреспондент ни спросит там, на зоне, все в один голос: «Не винова-ат я... Меня оклеветали».

Иван совал в руки Бориса бутылку с коньяком:

— На, забери свое пойло. И мотай отсюда, чтобы я больше никогда тебя не видел... А ты, доченька дорогая, ты-то куда глядела? Значит, жила-спала с этим старым хреном, Семеном, а теперь он тебя под сына подложил, так?

— Замолчи, что ты мелешь? — закричала Алена. — Ничего у нас с Семеном Петровичем не было и быть не могло! Ты... ты — подонок, папаша! Подлец! Как ты смеешь говорить такое?!

— Могу! — кричал и Иван, весь красный от натуги, от злобы, душившей его. — Говорю, что знаю... Старый этот кобель... Разве пропустит он молодую юбку?.. Защитница нашлась!.. Пошли вон. Оба!!!

— Ваня! Ваня! — Марина Алексеевна, задыхаясь от волнения, хватала мужа за руки. — Остановись! Замолчи. Тут надо разобраться. Может, и правда Боря не виноват. Бывает же...

— Чего тут разбираться?! — Иван сбросил руки жены. — Все ясно, как божий день. Мне этот Муха, старший, сам рассказывал про сынка. Роба у него — видишь, бандитская. И на руки посмотри — они все у него в наколках... Ты думаешь, урка, — снова напал он на Бориса, — я не знаю, что вот этот кинжальчик обозначает? Да ты не прячь руку, не прячь! Пусть все посмотрят. Это, Марина Алексеевна, будет тебе известно, клятва мстить. Вот. Жди нового убийства... А ты *такого* ухаля привела, дура! — теперь гнев Ивана был обрушен на дочь.

— Алена, идем. — Борис нервно всовывал руки в рукава куртки.

Алена, блее мела, тоже никак не могла справиться со своим пальто, и Борис рывком накинул его ей на плечи.

— Катитесь! Ишь!.. Заявились... молодожены!.. — громовой голос Ивана Головина преследовал их до самой двери подъезда.

— Боря, это правда... насчет кинжала? — спросила Алена уже на улице, на автобусной остановке, отдышавшись и придя в себя.

— Правда! — резко ответил он. — Но это так, по дурости наколол. В первый год отсидки. Когда кровь во мне кипела, когда обида на этих подонков, что меня посадили, и судей глаза застилала...

После длинной мрачной паузы, в автобусе, он тоже спросил:

— А теперь ты говори: спала с батей?

— Да ты что?! — в отчаянии воскликнула Алена, и горло ее враз, острыми когтями, схватил спазм. — Твой отец — святой человек. Как можно?! Ты с ума, что ли, сошел, Боря? Кому ты поверил? Папаше моему? Ты же видел, что это за человек! Он только себя и любит. Не понимаю, как мать с ним живет.

— Хорошо, допустим. — Борис искоса поглядывал на Алену. — А в нашем доме ты как оказалась?

— Я ушла от своих... — невыносимо уже было жить с этим... родителем. Орет, оскорбляет... Собрала сумку, ушла. Куда глаза глядели. А тут ливень начался, некуда деться. Зашла в первый подвернувшийся подъезд, села на ступеньки лестничного марша. Думаю, пережду дождь, пойду потом... в гостиницу, что ли? Или к подруге, хоть на ночь попрошусь.

— Ну? А дальше что?

— А дальше... Семен Петрович, твой отец, идет. Я, оказывается, у вашей двери сидела. Ну, стал спрашивать... Потом в квартиру позвал. Предложил остаться... на работу пообещал устроить... Все. Остальное ты знаешь.

Борис, хмуря лоб, посоображал.

— Погоди, допустим, так и было... Но отец твой... чего он так на тебя бочку катит?

— Не любит он меня. Даже ненавидит. Не так живу, не такую работу нашла... Замуж не за того выходила. Оскорблял, с дерьмом мешал... Вот я и ушла.

— Все могу тебе простить, — Борис не поднимал на Алену глаз, смотрел прямо перед собой. — Но если ты спала с батей...

Она рывком повернула его к себе.

— Убей меня, если не веришь! Убей! Все, что я тебе рассказала, — правда. До единого слова.

...Простим Алене смущающую нас ложь.

Каждой женщине хочется в этой запутанной, сложной жизни хоть немного счастья.

* * *

...На третий день, когда Борис не вернулся домой, и на работе о нем тоже ничего не знали, Семен Петрович и Алена написали в полицию совместное заявление о пропавшем без вести. Он подписался «С. Муха, отец», она — «А. Головина, гражданская жена».

— Ты не переживай так, Аленушка, — ласково говорил Семен Петрович, поглядывая на посеревшее лицо несостоявшейся пока невестки, и сам отчего-то не верил в свои слова. — Найдется Борька... Неужели сорвался, загулял?!

— Вы о чем это, Семен Петрович? — Алена готовила ужин, слезы сами собой текли из ее глаз — то ли от лука, который она резала для жарки, то ли от тех горьких мыслей, какие преследовали ее все эти последние дни.

— Да понимаешь... пил он здорово в свое время, до тюрьмы. И сидел из-за водки этой треклятой. Но когда вернулся — клялся мне, что в рот не возьмет больше. Да ты и сама видела...

— Видела, да, — кивнула она. — И радовалась.

— Вот. Ты бы знала, как я радовался!.. — Семен Петрович помолчал,

сдерживая целый поток боровшихся в нем чувств. — Ну, думаю, слава тебе, Всевышний, услышал ты наши с Полиной мольбы... Неужели снова за стакан взялся? Или кто совратил его, подбил... Ах, сынок-сынок! Как же ты так? Это же пьет где-то... Но где? Куда бежать? Кого спрашивать? Ведь он последнее время только с этим... со Штопором и общался... Дай-ка я записную книжку Бориса гляну.

Телефона Штопора Семен Петрович не нашел, фамилии его не знал, у кого и как о нем можно было навести справки, не ведал.

Но в этот же вечер Витек сам появился в их квартире.

Плотно затворив за собой дверь в прихожей, сказал с ходу:

— Бать. И ты, Алена. Борьку не ждите. Убили его.

Алена пошатнулась, схватилась за сердце.

Семен Петрович, едва владея собой, потащил Штопора в комнату.

— Что?.. Что ты сказал? Кто убил? Когда? Чего несешь?

— Да не несу я ничего, правду базарю. Он же этим, Чернову и Кострецову, пригрозил — все равно я с вами рассчитаюсь. Ни за что посадили... Я его отговаривал: Боря, не связывайся с ними, для них ничего святого нет, они и тебя замочат. Им убить человека — что... тьфу! — сплюнуть.

— Да ты по порядку, Витя, по порядку! — просил, стараясь унять дрожь во всем теле, Семен Петрович. — Что конкретно-то было? Как?

— Конкретного я ничего не знаю, бать. Но через корешей дознался — замочили вашего Борьку. Куда-то его выманили, там и... это. В общем, через них труп его искать надо. Спрятали где-то, на машине вывезли.

— О, господи! — Алена еле дышала. — В полицию же надо заявлять... Что мы сами?

Штопор встал с дивана, пошел к двери. Обернувшись, предупредил:

— Только это, без меня. Я вам ничего не сливал. Скажете в полиции, что догадываетесь, кто Бориса пришить мог. Чернов и Кострецов. У них мотив был, да. Борис, мол, намекал о мести... А следователям только уцепиться за ниточку, они распутают. Исчез я, все.

И уже взявшись за дверную ручку, сказал Семену Петровичу:

— Бать, мне жить еще не надоело. Сечешь?

— Понимаю. Чего не понять?!

Стальная тяжелая дверь захлопнулась; в квартире Семена Петровича Мухи надолго поселилась новая беда.

* * *

Штопор оказался прав: полицейский угрозыск взял за жабры Чернова, потом Кострецова, тряс из них души, и скоро они признались — к смерти Бориса Мухи имеют отношение, но косвенное. Дружно утверждали, что тот явился с ножом в гараж Чернова, угрожал убийством, если они не признаются в той пьяной драке и убийстве, совершенном более пяти лет назад. Трудно сказать, чем бы кончилась эта нынешняя разборка в гараже Чернова, если бы не приехал Кострецов (обещал помочь Чернову с ремонтом его авто) — но вышло, что он спас ему жизнь. Вдвоем они отбились от Мухи, но в начавшейся свалке он сам напоролся на зажатую в руке финку.

Поскольку драку никто из соседей не видел (было уже довольно поздно), Чернов с Кострецовым, недолго думая, погрузили труп Бориса в машину и увезли в лес, за город. Там и закопали в снегу.

Следователи выехали на место, труп обнаружили. Потом провели ряд следственных экспериментов и экспертиз, убедились в том, что гражданин Муха Б.С. сам себя зарезать не мог, никак это не получалось ни по логике событий, ни по выводам экспертиз. Словом, Чернову и Кострецову предстояло во всем сознаваться и рассказывать, как было дело в действительности...

Штопор, снова появившись в доме Мухи, передавал эту историю сбивчиво, перескакивал с одного на другое, чувствовалось, что он знает обо всем случившемся понаслышке, из третьих, а то и четвертых уст, но картина теперь более или менее прояснилась.

Впрочем, Семену Петровичу подробности были сейчас ни к чему: он понял, что Борис действительно пошел выяснять отношения со своими обидчиками, а как там повернулись события... теперь можно и не узнать, потому что Чернов и Кострецов, опытные уже урки, вполне могут запустить следствие. Но от тюрьмы им, конечно, не отвертеться...

* * *

Бориса похоронили рядом с матерью, в одной ограде. Землю пришлось отогреть костром, ударили в ту неделю крепкие морозы, ломы могильщиков звенели, отскакивая от грунта, неохотно шли вглубь, и Семену Петровичу, наблюдавшему за работой молчаливых недовольных мужиков, пришлось пообещать прибавить им в оплате.

Алена все время была рядом с Семеном Петровичем, отпросилась на работе; вместе они ездили на кладбище, заказали все, что необходимо для погребения... Семен Петрович часто находился в прострации, порой не понимал того, что у него спрашивали кладбищенские люди, и его выручала Алена.

Потом они всю ночь, дома, просидели у гроба Бориса. Он лежал строгий, с вытянувшимся бескровным лицом; в сведенных на груди пальцах горела, потрескивая, церковная тоненькая свечка, лоб опоясывала тоже церковная бумажная лента с изображенными на ней святыми. Священника на отпевание Семен Петрович приглашать не стал, Борис был далек от веры в Бога, а лента и свечки... ну, это мелочь.

— Что ж ты наделал, сынок? — глотая слезы, убито говорил Семен Петрович. — Зачем ты пошел к этим извергам? Знал же, что это за люди... Я тебя предупреждал, просил — не ходи, не связывайся, ничего теперь не докажешь и не вернешь... Не мог простить, понимаю... Но не такой же ценой...

Плечи Семена Петровича затряслись от глухих, безутешных рыданий, он ничего больше не мог говорить, душа его опустошилась окончательно, там зияла дыра. Утешительные слова, которые негромко, также сквозь слезы, произносила время от времени Алена, легким ветерком скользили мимо ушей Семена Петровича, не достигали разума. Его восприятие мира сосредоточилось теперь только на этом желто-восковым, мертвом лице сына, на его неподвижных, налитых синюшным цветом веках, навечно закрывших глаза, на пробившейся на заострившихся скулах щетинке. Он потрогал эту щетинку, ощутив пальцами ее колкость, непокорность — она как бы напоминала и непокорный характер сына, не подчинившегося несправедливости, наглости и подлости других людей, с которыми он вступил в смертельную схватку...

— Семен Петрович, — тронула его за руку Алена. — Поешьте, там,

на столе, я приготовила... Вы же двое суток маковой росинки в рот не брали. Нельзя так.

Эти слова дошли до него, он поднял на нее измученные болью глаза.

— Какая еда, Аленушка? Что ты говоришь?! Сына — сына! — нет больше. Ни Полины теперь, ни Бориса... за что мне такое наказание? Может, ты мне ответишь?

— Нет. — Она покачала головой. — Судьба наша такая...

Они долго молчали. За балконным окном стало сереть, пробовал себя новый зимний день; дворник, поднявшийся раньше всех, греб повизгивающей лопатой снег...

— Выпейте хотя бы чаю, — Алена подала ему горячий стакан. — Вам силы нужны.

Он выпил.

— Как дальше жить будем, Аленка? И ты меня оставишь? — вопрос Семена Петровича больше обращен к самому себе, нежели к несостоявшейся невестке, но она поняла его напрямую, честно и ответила.

Губы ее тронула несмелая улыбка:

— Мы вас не оставим, Семен Петрович.

Он повернул к ней голову.

— Кто это — «мы»?

— Беременная я, Семен Петрович. Скоро три месяца, двенадцать недель. Внук у вас будет.

— Да?! — он вскинул на нее вполне сейчас осмысленный, радостный взгляд. — Не может быть.

— Ну, почему же? — она продолжала улыбаться. — Женщины, случается, беременеют.

— Ах ты, господи! — Семен Петрович, всплеснув руками, встал. — Как же это хорошо... Ну, хоть в чем-то боженька меня пощадил. И ты, Аленка, радость моя, — молодчина!

Она смущенно опустила глаза.

— Это сын ваш молодец...

Семен Петрович снова сел рядом с Аленой.

— Скажи: ты любила его?

— Я любила и люблю вас, Семен Петрович. Простите за откровенность. Может, не время сейчас и не место... признаваться у гроба.

Он поправил в пальцах Бориса оплывшую свечку. Сказал:

— Пусть он слышит. Любишь его отца... Это нормально. Нам же дальше с тобой жить. Ты не против?

— Ну... если не прогоните.

— Глупая. — Семен Петрович обнял Алену за плечи. — Как ты могла такое подумать?

Так они и просидели до самого утра, до первых лучей солнца, когда за дверью раздались шаги и позвонили.

— Катафалк, — сообщил парень в дверном проеме. — На десять заказывали. Ехать надо.

Четверо крепких безмолвных парней, одетых одинаково, в серое, привычно подняли гроб, понесли.

...На кладбище, когда простенькую, обтянутую красным домовину с телом Бориса опустили, и над мерзлой заснеженной землей возник рыжий холмик, Семен Петрович попросил всех оставить его наедине с могилой.

Стал перед нею на колени, говорил:

— Боря, сынок, и ты, Полина. Простите меня — не сберег я вас. Как ни старался, не смог. Есть на этом свете силы выше меня. Спите спокойно. А я еще повоюю. Есть за кого. Малыш у нас будет. Только сегодня ночью узнал... Алена хорошая женщина. И матерью будет хорошей. Мы малыша подыдем, не беспокойтесь. Аленку жизнь тоже потрепала, но она выстояла. Я ей помог, конечно, но она и сама за себя боролась. Нас, несчастных, теперь трое. Благословите на совместную жизнь!

Одобрительное молчание было Семену Петровичу ответом. Только верхушки сосен шумели над его головой, да озабоченно и громко, вещая *недобрую* весть, кричала где-то поблизости белобокая сорока.

* * *

Ровно через полгода на крыльце роддома улыбчивая акушерка вручила Семену Петровичу сверток с попискивающим в нем ребенком.

— Держи, папаша. Ишь, молодец какой!

К кому относились эти слова — то ли к малышу мужеского пола, родившемуся при хороших весе и росте, то ли к седому, но бодрому гражданину Мухе — было не понять. Но это сейчас и не важно.

Семен Петрович, отдав акушерке конфеты и цветы, взял сверток на руки, заглянул в личико ребенка. Мальчик смотрел на него голубыми ясными глазами, чмокал мокрыми розовыми губами.

— Привет! — сказал ему Семен Петрович. — С белым светом тебя.

— Вылитый папаша, — заметила акушерка с прежней улыбкой. — Нравится?

— А ты думала! — в тон ей отвечал Семен Петрович. — Родное дитя да чтоб не нравилось?! Скажешь тоже!

— В таком разе приходите еще. Старайся, папаша. А мы поможем белый свет твоим детишкам увидеть.

— Спасибо, буду стараться.

— Спасибо, Настя, — сказала и Алена. — До свидания.

— Счастья вам! — акушерка отдала букет роз Алене. И на прощание помахала им с крыльца белой рукой.

...За празднично накрытым столом, когда гости уже разошлись (соседей было несколько человек, с бывшей работы Семена Петровича друзья явились, мать Алены, Марина Алексеевна, приходила, Иван наотрез отказался)... Оставшись одни, Алена и Семен Петрович как-то по-новому глянули друг на друга. Оба чувствовали, что подошел момент для откровенного и важного разговора.

— Семен Петрович, я... Вы обещали прописать меня. Мне пособие надо получать, вдруг что по почте придет...

Он взял ее руки в свои.

— А замуж... за меня пойдешь?

— Вы предложение мне делаете?

— Да, делаю. Мухой будешь. А сына... тоже Семеном назовем, Сенькой. Я его на себя запишу.

— Ну, Мухой так Мухой. — Алена прижалась к его щеке. Засмеялась: — Только не паучком...

— Кстати, напомнила: как там эта... Анна Васильевна? Слышала что-нибудь о ней?

— Слышала. — Алена подошла к кровати малыша, поправила одеяльце. — Одна из знакомых встретила, рассказала, что Паучиха броси-

ла все эти занятия... Намекнула, что приходили к ней из ФСБ, трое или четверо, с наручниками, и хотели забрать ее в тюрьму. Но она дала подписку, что завязала с растлением молодежи и будет сотрудничать с органами... Она какое-то слово произнесла... я забыла... Сек...

— Сексот, — подсказал, усмехаясь, Муха.

— Ага, сексот. И добавила, что ей и орден обещали дать. За оборону государственной безопасности.

— Все может быть, — пожал плечами Семен Петрович, сдерживая смех. — За особые заслуги... как не дать? Вдруг шпиона поймает... А я ХАМом, Костенко, тоже интересовался.

— Ну, и?..

— Условный срок ему назначили. Два года. За сутенерство. Стукнул кто-то из добрых людей, — Муха увел взгляд в сторону.

— Так ему и надо, — беззлобно, негромко проговорила Алена. — Поиздевался над людьми... А вы откуда про него знаете?

— Да так, сорока на хвосте принесла.

Она вдруг изменилась в лице.

— Ой, Семен Петрович... Зря вы это... сделали.

— Что? — он понял, что Алена догадалась о его поступке.

— Ну... так я, просто... Они, ведь, тоже поймут.

Муха подумал. Сказал решительно:

— Вот и хорошо, что поймут. Будут знать, что люди борются с ними, что не все им дозволено. А я до конца своих дней с такой мразью биться буду. Понимаешь меня?

Алена неуверенно кивнула, соглашаясь с его словами, но в глазах ее по-прежнему жила тревога.

Переменила тему.

— Семен Петрович, скажите откровенно: вы не пожалели, что тогда, летом, позвонили Анне Васильевне? — Алена смотрела на него испытывающим взглядом, и в этом взгляде-вопросе было все, на что она хотела получить ответ.

— Я же тебя встретил, Алена! Как об этом можно жалеть?! И ты такое чудо в мой дом принесла — Сеньку! Внука! Да и сама — хорошеешь с каждым днем, цветешь! Смотрю и люблюсь.

Она поцеловала его каким-то особенным, чувственным поцелуем. И ответ был не менее чувственным и откровенным.

— Ты вот что, Алена, — сказал Муха после небольшой паузы. — Я намного старше тебя, из жизни уйду раньше...

— Зачем вы об этом, Семен Петрович?

— Не перебивай, слушай... С человеком может все, что угодно случиться: машина собьет, лед с крыши на голову упадет... Мало ли! Дай мне слово, что жить ради Сеньки нашего будешь. Я тебе руку помощи протянул, а ты сына не бросай. Род наш не должен на мне кончиться.

— Да что вы говорите, Семен Петрович? Как можно ребенка бросить?!

— В нынешней жизни все возможно, посмотрелся я... Дай слово!

— Хорошо — я буду все делать, чтобы сына вырастить достойным человеком. Никогда его не оставлю.

— Вот, молодец. Я тебе верю, Аленка. Сама ты серьезные испытания в жизни прошла, думаю, разобралась что к чему.

— Да, конечно...

Алена осторожно спросила:

— В ЗАГС завтра... пойдём, Семен Петрович?

Муха, пожевав губами, говорил с загадочной улыбкой:
— Знаешь что... давай я тебе народной песней отвечу. А ты подпоешь.
Попадешь в точку — значит, пойдем...
— А не попаду? — встревожилась Алена.
— А ты старайся. Ума тут много не надо.
Семен Петрович взял из кладовки баян, накинул на плечо ремень;
пел, игриво поглядывая на Алену:

Задумался старый дед — другой раз жениться.
Сидел, думал, думал, думал, — другой раз жениться?
Если стару жену взять — работать не станет...
Сидел, думал, думал, думал — работать не станет.
Молодую жену взять — его не полюбит...
Сидел, думал, думал, думал — его не полюбит.
А коли полюбит — то не поцелует...
Сидел, думал, думал, думал — то не поцелует.
А коль поцелует — отвернется, сплюнет...
Сидел, думал, думал, думал — отвернется, сплюнет.

Хочущая Алена, которая знала, оказывается, эту песню, ловко вступила в самом конце:

Другой раз жениться — любовь и сгодится.
Сидел, думал, думал, думал — любовь и сгодится.

И враз помолодевший седой жених Семен Муха тоже засмеялся, прибавил баяну энергии и голоса. И тот прямо-таки из мехов лез, чтобы угодить хозяину и его невесте, чтобы вместе, дружно, они допели:

Сидел, думал, думал, думал —
Любовь и сгодится...

* * *

Месяца два спустя, когда в город пришла буйная ранняя весна, Муха, спавший по привычке на диване в зале, проснулся от довольно громкого клацанья ключа в одном из замков на входной двери.

«Что за черт?! Кого это нанесло в столь неурочный час?»

Семен Петрович, мягко ступая босыми ногами, закрыл дверь в спальню, чтобы не тревожить Алену и Сеньку, пошел в прихожую.

Постоял, послушал.

Шарили в замке отмычкой, не ключом.

«Неужели опять Штопор? Но что ему надо? Он же прекрасно знает, что в такое время все дома... Пьяный, не иначе».

Муха наклонился к глазку и тут же отпрянул — могут стрельнуть, помни об этом, сказал он себе.

— Витек, ты? — подал негромкий голос Семен Петрович, проверив перед этим задвижку — она была в нужном положении, с той стороны двери ее не откроешь, умно придумано.

Молчание.

Потом раздался виноватый голос:

— Петрович, прости... Этаж перепутал.

Голос вроде знакомый. Но чей? Кажется, Игорь с четвертого этажа...
Надо будет потом мораль ему прочитать.

Тот, кто стоял у двери, потоптался, что-то бормоча себе под нос, и

пошел наверх — Семен Петрович на секунду припал к глазку (чего теперь бояться?), увидел чью-то спину, обтянутую черной кожаной курткой, и в то же мгновение глазок закрыло увеличенное стеклом круглое дуло пистолета — раздался выстрел...

«...Зря вы это... сделали...» — успел подумать Семен Петрович об Алене и упал замертво.

А она уже была рядом — в короткой ночнушке, насмерть перепуганная, схватив, чтобы не закричать, рот дрожащими пальцами. Опустилась на колени, увидела страшную кровоточащую рану вместо глаза, с ужасом отпрянула. Захлебывалась словами: «Я же говорила... Не надо было Володю трогать... Они не прощают...»

Постояла, рыдая, над телом Семена Петровича, потом взяла себя в руки, кинулась к телефону.

— Полиция?.. Алло, полиция?.. Приезжайте! У меня мужа убили... Сейчас, через дверь стреляли, в глазок... Записывайте: Ползунова, дом один, квартира двадцать три. Да, домофон тот же, что и квартира...

Оделась; лихорадочно, но твердо внушала себе: «Ничего лишнего следователям не говори... Спала, ничего не видела. Кто мог это сделать, не знаю... Хулиганье, наверное. Враги? Да какие у Семена Петровича могли быть враги?! Пенсионер, никого не трогал, никому не мешал... Теперь самой бы остаться в живых. Держи язык за зубами, Алена, держи! Сына надо растить, Сенечку. Ты слово дала... Да и мать ты теперь, мать!..»





Александр Владиславович Бунеев родился в 1961 году в Воронеже. После окончания факультета журналистики Воронежского государственного университета работал в редакциях газет, в сфере общественных связей. В настоящее время шеф-редактор журнала «Воронежский телеграф». Публиковался в журнале «Подъём», в альманахах «День поэзии — 2012», «Ямская слобода». Автор поэтического сборника «Стихи разных лет», повестей «Perfect'um mobile», «Что ты думаешь по этому поводу, брат?». Лауреат различных журналистских премий. Живет в Воронеже.

Александр Бунеев

ЗАВТРА, ВЧЕРА, ВСЕГДА

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Обстоятельства ухода Федора Иннокентьевича Стасова породили много слухов и явились, наверное, первым звеном в цепи произошедшего дальше. Не знаю, как история просочилась в прессу, но помню, что по этому поводу в газетах было опубликовано несколько глупых заметок с ироническим посылом: чрезмерное зависание на сайтах знакомств приводит пожилых людей к нервному истощению. Но стоит ли обвинять журналистов? Ведь они не знали об истинных целях его скитаний. Да и что взять с наших газет?

Более осведомленные люди слишком поспешно стали проводить аналогии между уходом Федора Иннокентьевича и уходом Льва Николаевича из Ясной Поляны. Эти аналогии неуместны. И причины, и цели, и возможности этих столь непохожих друг на друга людей совершенно разные. Одинаковой была разве что болезнь, настигшая их в процессе странствий. Все остальное — не более чем совпадения. Начать хотя бы с того, что Федор Иннокентьевич физически из дома не уходил. Он

ушел виртуально. Ну и в отличие от Льва Николаевича, Федор Иннокентьевич все-таки вернулся.

Мое знакомство с ним не имеет особого отношения к делу. Оно состоялось в давние времена, в другой стране, в тишине и пустоте летнего дня. Как это ни странно, но тогда в российских, а вернее, советских городах было действительно пусто и тихо.

Событие это, я имею в виду уход, раз уж мы решили употреблять именно это слово, могло бы показаться ничего не значащим, одним из анекдотов нашей богатой на странные происшествия действительности, если бы не заставило меня заняться довольно странными поисками, ставшими постепенно образом жизни.

Свой рассказ я начну, пожалуй, с того самого телефонного звонка Аглаи Петровны, супруги Федора Иннокентьевича. Она плакала в телефонную трубку и из ее бессвязных восклицаний я не смог разобрать ничего, кроме слов «ушел», «не вернуть» и «умирает». Я немедленно вызвал такси и через двадцать минут нажимал кнопку домофона на железной двери подъезда, косо перечерченной трафаретной надписью «Хватит бухать!».

В этом доме и в этом подъезде вряд ли кто-нибудь даже просто пил, а не то, что бухал. Жили здесь люди в основном пожилые, и дом был старый, каких уже больше не строят, и лестницы старые, и перила, и дверь на втором этаже, обитая коричневой кожей с желтыми шляпками гвоздей, которую открыла передо мной Аглая Петровна, тоже была старая.

За последние тридцать лет мало что изменилось и в квартире. По крайней мере, я помнил ее такой всегда: с вытертым до деревянного узора паркетом, хрустальными пыльными люстрами, широкими подоконниками, нелепым роялем, на котором никто не играл, в углу просторной комнаты, наполненной солнцем и зеленой тенью от росших под окном лип.

Изменился разве что Федор Иннокентьевич. Нет, он еще оставался тем же орлом, с лицом внезапно поседевшего и постаревшего фарцовщика начала семидесятых годов прошлого века, перенесенного неведомой силой из валютного бара на кожаный диван и укрытого пестрым индийским пледом поверх махровой простыни. Но черты его лица заострились, на щеках пылал лихорадочный румянец, дыхание было тяжелым и хриплым, и веяло от него сухим горячим жаром.

— Лучше мне, Алешенька, лучше, — прошептал он, предваряя мой вопрос. — Глаша эскулапов вызвала, они мне такую дозу вкололи, что... Но видишь, какое дело, в больницу надо. Я паузу взял. С тобой поговорю и поеду, благословясь... Глашенька, друг любезный, принеси чайку...

Аглая Петровна вышла, а Федор Иннокентьевич, откинувшись на подушки и уставившись в потолок, начал рассказ.

Полтора месяца назад, прекрасным весенним вечером он, по его словам, приняв ванну, побрился (была у него такая старая привычка — бриться на ночь) и, накинув домашний халат, осуществил давно задуманное — ушел в Интернет. К тому времени он уже зарегистрировался во всех возможных социальных сетях, на сайтах знакомств, засветился в различных блогах и ждал только определенного настроения, чтобы захлопнуть за собой дверь. В этот вечер долгожданное настроение его посетило, и он отправился в дальнюю дорогу. За полтора месяца он познакомился с сотнями людей, ответил на тысячи вопросов и на столько же получил ответы, нашел четыреста взаимных симпатий, предложил три десятка различ-

ных тем и проектов, вызвавших живейшее обсуждение, приобрел необыкновенную популярность в Интернет-сообществе под именем Феликс (кстати, именно так звали Федора Иннокентьевича в годы его бурной молодости). Некоторые его диалоги являли собой шедевры эпистолярного жанра, а то, как он вытягивал нужные ему сведения из ничего не подозревавших собеседников, напоминало работу следователя-виртуоза во время проведения допросов. Иногда он одновременно вел разговоры с пятнадцатью-двадцатью людьми.

— Видишь ли, Алешенька, пытался понять, зачем это им нужно. Молодые, красивые, успешные люди не могут найти себе спутника жизни. Что за ерунда! Не может такого быть. Вот и пришлось кого-то успокаивать, кому-то советы давать... Это же надо, общаются, не ощущая собеседника.

— И что же тут за секрет?

— Да никакого секрета. Меньше энергетических затрат при общении, никакой ответственности, а побуждения все те же, тысячелетней давности. Ну, и уверенности у людей стало меньше. Надоело им собственное несовершенство. Вот и ищут они вроде бы реального человека, а находят идеал, кумира или химеру. И предстают в том облике, в котором хотели бы видеть себя в реальной жизни. Такая вот иллюзия. Может быть, для них это подсознательная модель рая? Ты как думаешь?.. Хотя, конечно, эффективно. Если правильно беседу выстроишь, узнаешь все, что нужно...

— Что именно-то нужно, Федор Иннокентьевич?

— Ну, как же... Мне ведь ездить по городам и весям несподручно, восьмой десяток разменял, здоровье не то уже. А тут любой город под рукой, человек любого пола, возраста и социального статуса. Мне же надо знать, как люди живут, о чем думают, мечтают, что у нас в Сибири происходит, в Москве, в Питере, в Перми, на Дальнем Востоке, в городишках всяких разных. Да что там в городишках — в поселках! Ты чувствуешь, что связь потеряна не только с отдаленными местами, а с соседними городами? Их как бы и нет. А эвенки, ханты, аварцы? С ними ты связь чувствуешь? Вот то-то. А Москва существует в реальности? Ты уверен? А я нет. Может, эта связь вообще исчезла? Одни миражи на гладких просторах остались. Поэтому главное — знать, что и как думают люди, чего хотят, чем счастливы, чем недовольны...

— Да зачем?

— Зачем? Чтобы знать, как искать...

— Что искать?

— Россию. Я же в свое время по стране помотался, сам знаешь. Думал тогда, что она на месте. Оказалось, нет ее с нами. Давно уже. Ушла. Вот и попытался узнать, как ее искать. А это можно сделать, только общаясь с людьми, с разными, на разные темы, подолгу...

— Узнали, Федор Иннокентьевич?

— Узнал.

— Выходит, не зря ходили?

— Ничего зря не бывает. Теперь знаю, как искать.

— Так как или где?

— Где сейчас Россия, этого тебе никто не скажет, пока сам не найдешь. Где угодно может оказаться. Может занять большое пустое пространство, может спрятаться и поместиться вот в такой вот комнате, может вообще двухмерной стать. Так что гораздо важнее, как именно ее искать.

— Федор Иннокентьевич, да вот же она, за окном. Ее не искать впо-ру, а самому куда-нибудь бежать.

— Бог с тобой, Алешенька! Нет ее. Ушла.

— А почему ушла?

— Ну, подумай сам. Надоело, наверное, ей. Сколько можно. То вой-ны, то революции, то преобразования всякие. А к стране надо относиться, как к человеку. Не обязательно любимому, но родному. Уважать, быть снисходительным к слабостям, помогать, подарки дарить...

— Значит, власть виновата?

— Люди виноваты. Власть — это тоже люди, не забывай об этом. Все разговоры о сакральности — чушь собачья. Все мы из одного лукошка. Только у тех, кто у власти, поступки масштабнее. Вот недавно в новостях сообщили: один папаша в пьяном виде взял и вырвал у своей шестилет-ней дочери восемь зубов плоскогубцами. В качестве наказания. Плохо она себя вела. А другой — уничтожил десять миллионов своих сограждан. Ну, а в совокупности... Вот она и сделала нам ручкой. А народ чувствует нутром, что страна ушла, вот и звереет, опустошается...

— И как же ее теперь найдешь?

— Очень просто...

Речь его становилась сбивчивой и местами невнятной. Несмотря на укол, было ему, видимо, плохо...

Надо сказать, что Аглая Петровна, сразу не заметившая уход Федо-ра Иннокентьевича, спустя полтора месяца, присмотревшись, внезапно увидела за компьютером человека, мало походившего на ее мужа, поху-дешего, с полубезумным взглядом, явными признаками аутизма и с сильным жаром. Где-то на виртуальных сквознях легко одетый Федор Иннокентьевич умудрился заработать двустороннее воспаление легких. Когда она вызывала «скорую», он еще пытался шутить и хрипло шептал, что ему повезло, мол, там не только воспаление легких, а и триппер под-хватить не сложно...

— Потерял я ко многим вещам интерес. Да что там ко многим, почти ко всем. Жизнь моя стала скучна, как телемагазин. Разве что о малень-ких детях думаю, люблю на них смотреть, когда они играют... И еще — о квартирах, окна которых выходят в арку. Есть такие архитектурные при-чуды в старых домах. Никогда в подобных квартирах не был, представ-ляешь себе? Тоже какая-то тайна в этом... Ты понимаешь, я видеть пло-хо стал, вон очков сколько, четыре пары.

Он кивнул на стол, где в беспорядке лежали несколько стильных и, по всей видимости, дорогих оправ.

— Оглох на одно ухо. Вкусовые ощущения уже не те. Икру ешь, как будто вату жуешь. Впрочем, может, икра сейчас такая, не знаю... Даже пальцы потеряли чувствительность. Уже не разбираю, что под руками: кожа, бархат, бумага. Видишь, кусок наждака у меня лежит. Подержу его в руке, помну, вроде фактуру ощущаю... На память, правда, пока не жалуюсь. И еще запахи остались, хотя и не все. Запаха хлеба исчез, чая, ветчины. Помнишь, как пахла? А последнее время другие запахи стали мерещиться. Сильные такие, свежие, давние. Из детства, наверное. Ка-кие-то я определяю, какие-то — нет. Знаю, что обонял когда-то, помню. А что это, — понять не могу. Но не в этом дело...

— Федор Иннокентьевич, отдохнуть бы вам...

— Подожди, Алешенька, отдохну. Вот только самое главное расска-жу. Понял я, как Россию искать.

— Как?

— По запаху, Алешенька, по запаху.

— Это что же, метафора какая-то?

— Нет, в прямом смысле. Буквально. Ты что же думаешь, Пушкин зря писал «здесь русский дух, здесь Русью пахнет»? Для красного словца? Знаю я, что это за дух.

Я подумал, что Федор Иннокентьевич шутит. Потом мне показалось, или, как говорили продвинутые советские писатели, «помстилось», что он бредит. Но взгляд его приобрел трезвую решительность, а негромкий голос — твердость.

— Что ж тут знать-то, Федор Иннокентьевич. Каждый день нюхаем.

— Ты эти шутки брось. Это все запахи чужеродные. Или советские. Или нынешнее амбре. А тут, друг мой, дело особенное. Я только сегодня утром почувствовал, что к чему, и сразу велел Глаше тебе звонить.

— Зачем? Сообщить?

— Завещать!

— Что именно, Федор Иннокентьевич?

— Поиски, Алешенька. Завещаю тебе ее искать. У тебя нюх хороший, собачий. След возьмешь и найдешь.

— Зачем?

— Не знаю. Может, извиниться надо за нас за всех. Может, вернешься и расскажешь, что и как. Может, умрешь там, на родине. Мне вот не доведется, в неизвестную землю лягу.

— А что за запах-то, Федор Иннокентьевич?

— Наклонись ко мне, я тебе на ухо скажу.

Щекоча мне ухо горячим дыханием, Федор Иннокентьевич прошептал несколько слов и откинулся на подушки.

— А Интернет-то здесь при чем?

— Очень даже при чем. Он мне помог все ложные варианты отбросить. Их много было. Я о них даже говорить не хочу. Ну, к примеру, я подумал, что она могла в виртуальном пространстве затеряться. Однако, чтобы понять несостоятельность всех этих вариантов, мне пришлось мозги серьезно напрячь. А это для меня сейчас трудно. Я своих мыслей последнее время бояться стал. Они у меня скачут, одна на другую лезут и продолжения не имеют. Не мысли, а картинки. Помнишь, когда мы познакомились, я тебе объяснял, что кино — это просто картинки, проецируемые на стену. Или на экран. Вот и мысли у меня такие — картинки. Только я их никак смонтировать не могу... Ну вот, теперь и в больницу можно. Зови Глашу, пусть опять «скорую» вызывает. Поеду... Чай-то ведь нам так и не принесла... Ты как думаешь, ноутбук мне с собой брать?

Я не знал, как отнестись к тому, что сказал мне Федор Иннокентьевич. Сопроводив его в больницу и уже возвращаясь обратно, я понял, какой именно вопрос забыл ему задать: если Россия куда-то ушла, то как, по его мнению, называется то, что пришло на ее место? И еще. По какой причине он решил, что Россия ушла? Когда именно ушла? И почему искать ее надо именно по запаху?

Но ведь главное — поверить, не правда ли? Если поверишь во что-то, то и вопросы не хочется задавать. Вдруг на них нет ответа. Или есть, но такой, который тебя не устроит.

Глава вторая

Часов в восемь утра меня разбудил телефонный звонок. В этой квартире не было радиотелефона и поэтому мне пришлось вставать, тащиться в прихожую и поднимать тяжелую эбонитовую трубку черного телефонного аппарата, купленного по случаю в комиссионном магазине.

Вообще-то у меня две квартиры. Одна в новом доме, удобная и скучная, несущая на себе следы тупого евроремонта и паллиативной перепланировки, вторая, купленная про запас, на всякий случай, в доме старом, неудобная и веселая, сделанная в хороших стандартах начала семидесятых. Надо сказать, что ее обустройство обошлось мне гораздо дороже: современный катушечный магнитофон, румынский гарнитур, немецкие сервизы, олени рога, прочие винтажные аксессуары изрядно опустошили мой карман. Однако восторг тех, кто понимал замысел, с лихвой окупал все затраты.

При покупке этой квартиры учитывался еще один принципиальный момент: и дом, и подъезд были угловыми. Я бы и новую квартиру с удовольствием купил бы в таком доме, но современные строители не возводят угловые дома, поскольку архитекторы не проектируют улиц, а государство не создает городов.

Я вырос в угловом доме и до поры не понимал всей прелести, таинственности и непредсказуемости таких зданий. Но чем дальше, тем больше я проникался двойственностью подобных сооружений, возможностью выхода со двора на совершенно разные улицы, адресной сложностью и прихотливостью угловой судьбы. Таким образом, окно моей гостиной выходило на Столичный проспект, окно кухни — на проспект Энтузиастов, а окно спальни — в тихий двор, заслуживающий самого пристального внимания, как чудом сохранившаяся этнографическая территория. Ночные вылазки во двор требуют отдельного разговора, но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз.

В эту квартиру я приходил в дни тяжелых раздумий, встречался здесь с друзьями и женщинами, коротал тоскливые длинные летние вечера. Просыпаясь утром после какой-нибудь шумной попойки, поставив на «Юпитер» диск «Скоморохов», я, не глядя в зеркало, без труда мог предсказать и даже почувствовать себя где-то в конце семидесятых. И даже ощутить рядом чье-то присутствие, словно кто-то стоит у меня за спиной. Я видел боковым зрением намек на фигуру, не поворачивал головы и ловил себя на том, что жду вопроса или просто ничего не значащего замечания о погоде. Однако взгляд за окно разрушал эту иллюзию и приметы времени возвращали меня в мои дни... Итак, я снял трубку и сказал в нее:

— Я слушаю!

— Опять спрятался? Мобильник отключил...

Мне звонил мой товарищ по детским играм из своей сыроватой и темной квартиры, расположенной в доме, построенном в 1816 году, вот уже почти два века утопающем в зарослях цветущей сирени. Дом стоял на крутой, сбегавшей вниз улице, в цепочке таких же старых зданий, намертво склеенных брандмауэрами, заборами, подпорными стенами, корнями старых лип и кленов. Я заметил в последнее время, что люди, живущие там, все с большей неохотой, с большим трудом выходили из своих домов, словно срастались с ними, и, покидая жилища по самым необходимым делам, теряли уверенность, внимание и жизненную силу среди новостроек, суеты и тесноты городского пространства...

— Я спал, между прочим...
— Да? Ну, извини. Срочное дело у меня.
— Излагай свое дело.
— У тебя нет, случайно, темного пиджака?
— Есть.
— А ты не мог бы мне его одолжить часа на два.
— Похороны, что ли?
— Нет, на паспорт мне сфотографироваться надо.
— Сфотографируйся в рубашке.
— В рубашке не положено, надо в пиджаке.
— Это кто тебе сказал? Я, например, в рубашке сфотографировался.
— Тебе можно, а мне нельзя. У тебя пиджак есть, а у меня нету.
— Странная логика. Ну ладно, приезжай. Только он на тебя вряд ли налезет.

— Я застегивать не буду... А ты не мог бы мне его привезти? А то я ногу растер, идти тяжело, а на такси денег нет.

— Ладно, привезу.

— Вот спасибо! Только, знаешь, ты его надень.

— Зачем? Жара на улице.

— Если ты его в сумке повезешь, он помяться может. А у меня утюг поломался. Как я в мятом пиджаке фотографироваться буду?

— Хорошо, надену.

— Ну, я тебя жду! Посидим немного и пойдем... Да, захвати и галстук, красный у тебя есть, кажется. Захватишь?

— Тоже надеть?

— Не, галстук можешь не надевать. В карман положи. Только сверни аккуратно...

Я сунул пиджак в большой пакет и вызвал такси. Дождался, доехал, расплатился, вышел и долго стоял в длинной сумрачной и холодной арке, рассматривая плотный буро-зеленый мох на темно-красных чуть выпуклых кирпичках, держащих ее свод. На стене виднелась нарисованная мелом полустертая пятиконечная звезда. Она была начертана очень давно детской рукой. Кое-где линии перекрещивались, а где-то не сходились. Мох рос и здесь, закрывая левый луч. Это могла быть пентаграмма, красная звезда или звезда Полярная...

Мой товарищ открыл дверь и, пропуская меня в тесную прихожую, мрачно сказал:

— Извини, что побеспокоил. Зря ты ехал. Никуда я не пойду.

— Почему?

— Подошва у сандалия отлетела. А другой обуви у меня нет, только зимние ботинки, да и на них «молния» порвалась.

— Сказал бы сразу, я бы и обувь тебе привез.

— Неудобно.

— Ну, а что тут идти? Десять минут. Подвяжи чем-нибудь, скотчем перемотай и все.

— Верно, я как-то не подумал. Сейчас выпьем и займемся.

Вышли мы через час, в очень хорошем настроении. Мой товарищ надел клетчатую ковбойку, красный галстук, натянул темно-серый итальянский пиджак, а сандалию перевязал куском зеленого пояса от старого ситцевого халата и, за неимением скотча, синей изолентой. Кроме того, он намеревался совместить приятное с полезным и поэтому, вытащив пиджак из пакета, загрузил туда полиэтиленовую бутылку со спир-

том, два граненых стакана, вилки, нарезанный хлеб, несколько вареных яиц, поллитровую банку с каким-то подозрительным салатом и жареную рыбу в кулечке. Первый привал мы устроили, пройдя метров сто пятьдесят вверх по улице, на груде сосновых бревен, сложенных между двумя домами. Разложив кульки и банки, мы разлили спирт, выпили, закурили. Милицейский патруль, следивший за нами, по всей видимости, от начальной точки нашего маршрута, застал нас, что называется, *en flagranti delict*.

Двое ребят были молодыми, и договориться с ними ничего не стоило, но третий походил бы на американского полицейского даже в старой милицейской форме. Агрессия и вежливость сочетались в нем в нужной пропорции, он был уверен в себе и собран, словно коп, патрулирующий Гарлем. На него не произвели никакого впечатления невнятные ссылки моего приятеля на жареную рыбу и овощной салат и предложение разделить с нами трапезу, а также мои удостоверения, которые я предъявил ему одно за другим. Он представился, причем мне послышалось что-то вроде «сержант Пеппер», зачитал наши права и произнес:

— Меня не интересует ваша профессия и ваш статус. Вы нарушаете общественный порядок и обязаны проехать с нами в отделение.

— В участок, — тихо поправил его один из коллег.

— В участок, — согласился сержант Пеппер.

Нам ничего не оставалось делать, кроме как сесть в машину, припаркованную за углом. Утешало лишь то, что отделение, или участок, располагалось рядом с фотоателье, и, таким образом, конечная цель все-таки приближалась, несмотря на непредвиденное изменение нашего маршрута.

В участке, куда мы доехали быстро и без приключений, меня поразило не количество людей, а скорее, их разнообразие. Здесь находилось несколько явных бомжей, клерки в деловых костюмах, женщины в костюмах вечерних (одна из них с маленькой собачкой на руках), юноши и девушки студенческого вида, пожилой человек в смокинге, группа лиц в украинских шароварах и вышитых косоворотках, трое мужчин, видимо, актеров, в гриме и одеждах девятнадцатого века явно из театрального гардероба. Остальные особые приметы не имели. Объединяла всех различная степень опынения и возмущения, которое они выражали несвязными, но эмоциональными возгласами.

Дежурный, на столе у которого грудой были свалены мобильные телефоны, пачки сигарет, музыкальные инструменты и другие неопределенного вида предметы, перекрывая гул голосов, спокойно говорил:

— Господа! Товарищи! Мы проведем с каждым из вас беседу, запишем ваши данные, вернем вам ваши вещи, после чего вы спокойно выйдете отсюда и сможете звонить Ивану Ивановичу, Петру Петровичу, в прокуратуру, в следственный комитет, представителю Президента или самому Президенту, в комитет по правам человека, в ЕСПЧ, в НАТО и куда угодно еще. Все номера телефонов — на доске объявлений во дворе...

Через два часа вызвали моего товарища. Он отсутствовал минут пятнадцать. Появившись у стола дежурного, он забрал пакет со снедью, отыскал свои сигареты и, сделав мне знак рукой, означающий, что он будет ждать меня на улице, вышел. Меня позвали вслед за ним. Я протиснулся между дамой с собачкой и господином из Сан-Франциско, споткнулся о ногу сидящего на полу бомжа. Молодая девчушка с огромными синими глазами поцеловала меня в щеку и подняла вверх решительно сжатый

кулак, прошептал «но пассаран», а человек в красных украинских шароварах схватил за руку и продекламировал:

І все мине, що чирко було,
Настанут дивні роки.
Чого ж ви стали, мої діти?
Пора настала! Гей, бики!

Меня провели в кабинет, где за столом сидел усталый майор. Он что-то писал, макая деревянную перьевую ручку в чернильницу-непроливайку, и ел банан с белым хлебом. Майор жестом предложил мне сесть и, положив ручку на специальную подставку, поднял на меня глаза.

— Ну что, Алексей Петрович, — спросил он, — нарушаем?

— Нарушаем, — согласился я.

— А что именно нарушаем?

— Общественный порядок, надо полагать.

— Если бы, Алексей Петрович, если бы... Если бы все было так просто... Вот ваш товарищ сразу понял, за что его задержали. Кстати, что вас связывает? Вы же совершенно разные люди?

— Почему же мы разные?

— А по всему! По положению в обществе, по социальному статусу, по месту жительства, по взглядам на жизнь.

— В каком порядке отвечать?

— Да в каком хотите.

— Связывает нас, — начал я и задумался. — Не знаю, что связывает. А на счет того, что мы разные люди... Да, разные. И что?

— Как что? Задержали-то вас вместе! Но за разные нарушения.

— За какие же?

— Ваш товарищ нарушил закон пространства, а вы — закон времени. Понимаете?

— Нет.

— Ну, как же? Он не имеет права выходить за пределы своего пространства, а вы — за пределы своего времени. Да еще распивать там спиртные напитки.

— А остальные, которых задержали, они что нарушили?

— Закон причинно-следственных связей, некоторые — второй закон термодинамики, кое-кто закон аббераций национального поведения.

— Это что же за закон такой?

— Вас он не касается. У вас есть национальная принадлежность, в отличие от вашего товарища, кстати.

— То есть?

— У него национальности нет. Стерлась. Или растворилась... Ладно. Кто из композиторов вам нравится?

— Брамс.

— А из русских?

— Мусоргский.

Майор нажал что-то на клавиатуре компьютера и одним глазом заглянул в монитор.

— Мусоргский... Из «могучей кучки», стало быть. Ну что ж, не смею больше задерживать. Советую вам, Алексей Петрович, не покидать без нужды своего времени, быть разборчивее в связях и не употреблять спиртные напитки в общественных местах. Подпишите протокол, придет квитанция — заплатите штраф, за себя и за своего товарища. Всего доброго.

— А что это вы перьевой ручкой пишете? — спросил я, поднимаясь со стула.

— Дочка у меня в частной школе учится, в первом классе, так их заставляют чернилами прописи писать, красивый почерк вырабатывают. А у нее не получается. Приходится мне отдуваться. Так что приобретаю навыки...

Мой друг ждал на улице и, увидев меня, готов был разбить бивуак в близлежащем парке. Но я твердо отказался и проводил его до спуска.

— О чем там тебя майор спрашивал?

— О детстве, — усмехнувшись, ответил он. — О том, что мне больше нравится: Москва или Ленинград, в смысле, Санкт-Петербург. Часто ли хожу в церковь...

— И что ты ему сказал?

— Правду.

Мы попросились и он медленно, слегка покачиваясь и прихрамывая, пошел вниз, туда, где уже сгущались сумерки. Пиджак, который он забыл снять и отдать мне, разошелся на спине по шву и сверкал белой подкладкой. Зеленый поясok на его сандалии развязался, подошва еще держалась, но при каждом шаге громко шлепала по асфальту, поднимая фонтанчики пыли. Он уже скрылся среди деревьев, но эти хлопки еще долго доносились до моего слуха...

Глава третья

Провести полдня в участке — это не проблема. Убить вечер — вот штука. Если тебе осточертел телевизор и Интернет, если ты не знаешь, что хотел бы перечитать, если к музыке не лежит у тебя сегодня душа, с женщиной проводить время не хочешь и выпивать не собираешься, кто тебе позавидует? Остается только, подперев голову руками, а локти приклеив к цветной клеенке обеденного стола, слушать радио, следя в окно за движением Большой Медведицы по небесному своду... Пока я медленно шел и размышлял о случившемся, стемнело по-настоящему. Я, собственно, успел забыть странный диалог. Время нынче такое, что удивляться не приходится. Людские поступки либо полностью лишены мотивации, либо замотивированы настолько, что напоминают симптомы душевного недуга. Так что полицейский с абберациями поведения, знакомый с биографией Модеста Мусоргского, меня не удивил, хотя и озадачил. Может, это какое-нибудь очередное модернизационное новшество в рамках очередной же реформы. Если так, то к этому стоило относиться как к капризам погоды. Единственное, что смущало, это слова майора о наличии и отсутствии национальности. Мысли об этом поневоле вернули меня к последней встрече с Федором Иннокентьевичем и завещанным мне поискам, а поиски, в свою очередь, — к потерям.

Мысли, особенно отвлеченные (ведь мысли о России и ее поисках действительно являются отвлеченными), могут завести куда угодно. Вот они меня и завели туда, где в вечернее время появляться не рекомендуется. Я не заметил, как миновал оживленный центр города и, пройдя мимо мрачного забора кондитерской фабрики, попал в район, где прошло мое детство. Это место было интересно тем, что почти полвека назад всю его непередаваемую ауру формировали остатки старинного кладбища с заброшенной церковью, полуразрушенными склепами, изъеденными временем пилонами и огромными деревьями. Территория постепенно застраи-

валась культурными и административными зданиями, место теряло очарование, но по вечерам оставалось тихим и пустынным. Сейчас здесь было также тесно, как и тогда, а в воздухе также властвовали запахи патоки и корицы, источаемые кондитерской фабрикой, и острый аромат креозота от проходящей в полукилометре к северу железной дороги.

Дом, в котором я когда-то жил, стоял покоем. Двор, сарай, заборы, нагромождение каких-то флигелей, трансформаторных будок, заваренных железных ворот, ведущих неизвестно куда, остатки голубятни — все это по-прежнему не жило и не умирало. Разбитая дорога уползала под старый виадук. А справа темнела аллея не аллея, а посаженные когда-то в ряд вязы, которые теперь разрослись и представляли собой запущенную донельзя маленькую городскую рожицу, протянувшуюся метров на пятьдесят. Именно сюда, жарким летним днем, я вышел шестилетним мальчишкой из второго подъезда, в новых шортах, легкой панамке, имея висящий на груди игрушечный пластмассовый автомат, купленный вчера родителями. Он был большим, тяжелым, с лампочкой, мигающей красным огнем при нажатии на курок, издающим громкий сухой треск... Я стоял в одиночестве, постепенно растворяясь в мареве жаркого июльского дня, пока не ощутил за спиной чье-то присутствие. Обернувшись, я увидел большого парня лет, может быть, пятнадцати, который с улыбкой смотрел на меня. Его лицо выражало самые дружеские чувства, он мне сразу понравился и я подумал, что хорошо бы мне стать его товарищем.

— А можешь ли ты быстро бегать? — не переставая улыбаться, спросил он.

— Могу.

— Очень быстро?

— Очень.

— Я тоже так думаю. Покажи. Если у тебя получится, будем потом бегать наперегонки.

Я несколько раз кивнул.

— Добеги вон до тех кустов и сразу обратно. Только беги что есть силы. А я тебя здесь подожду. Готов?

— Готов! — сказал я и принял высокий старт.

— Возьми низкий, — посоветовал он. — Дистанция-то короткая, спринтерская. Знаешь, как брать низкий старт? Видел по телевизору?

— Видел. Знаю, конечно.

— Только оставь автомат, он же тебе мешать будет. Давай я его на ветку повешу... Вот так. Ну... На старт, внимание, марш!

Я что есть духу бросился вперед. Добежал до кустов и, развернувшись, помчался обратно, время от времени закрывая глаза и хватая ртом горячий летний воздух... Парня, с которым я хотел подружиться, на месте старта не оказалось. Я, все еще тяжело дыша, огляделся вокруг. Нет, никого. Об автомате я не думал. И не плакал, поскольку удивление было новее, свежее и сильнее слез. Никто не оценил быстроту моего бега, а солнечный день смеялся над несостоявшейся дружбой, искрясь в осколках разбитой бутылки... Так случилось, что родители не ругали меня за утраченные игрушки, а об утраченных иллюзиях знать не могли, потому что я еще сам не в состоянии был рассказать о том, что произошло...

Пытаясь отыскать дерево, возле которого когда-то мной был взят старт в будущее, я сделал несколько шагов в заросли и, посмотрев вверх, в ярком свете полной луны увидел автомат, висящий дулом вверх и как бы спрятавшийся за толстым скрученным стволом. Это был, несомненно,

он, сделанный из прочной советской пластмассы, от времени чуть белесой на углах, на синем, не потерявшем цвет ремешке, вросшем в основание ветки. Висел он, правда, гораздо выше, чем я мог ожидать, метрах в двух с небольшим от земли. Я дотянулся и нажал на курок. Палец не ощутил сопротивления, курок провалился, и я не услышал сухого треска, имитирующего звук выстрела. Не загорелась и лампочка; никакая батарейка не могла работать сорок лет.

Я хотел снять свой автомат с ветки, но потом подумал, что он не нужен мне, что он уже не мой, он ничей, и, скорее всего, принадлежит этому дереву и этому двору. Месту, где живы запахи прошлого, где витает настроение горести, где начиналась жизнь. Месту, хранящему тот случай и подтверждающему правоту памяти.

В ту самую секунду, пока я размышлял, забирать мне детскую игрушку или оставить на ветке, где-то во дворе завели автомобиль, у меня в кармане зазвенел мобильник, а тихий вкрадчивый голос за моей спиной произнес:

— Откуда же ты здесь такой взялся?

Я посмотрел на телефон. Номер был мне не знаком, поэтому и отвечать я не стал. Скосил глаза и увидел вдалеке у подъезда «Москвич-412» с включенными габаритами. А неясной фигуре с тихим голосом, за которой маячили еще две личности, ответил:

— С Луны. Слышал о таком небесном теле?

— Лунатик, значит? Ну, и как там, на Луне? — повысил голос человек, чтобы перекрыть треск «Москвича», который, стоя на месте, пытался, видимо, преодолеть звуковой барьер. Но эффект от вкрадчивой приклатности уже пропал.

— На Луне отлично.

— А чего ж ты сюда прилетел?

— На тебя посмотреть...

Пришла пора представиться. Зовут меня Алексей Петрович. То, чем я занимаюсь сейчас, особой роли не играет. А до этого я долгое время работал экспертом по поведению людей в водных средах. Да, именно так, в средах. Я очень люблю воду, хорошо понимаю ее и знаю ее законы. Определенные воинские подразделения частенько попадали в ситуации, связанные с водными объектами. Вот я и учил людей, как вести себя в озерах, прудах, плавнях. В болотах, южных и северных. В различных реках. В горных, быстрых, холодных. В реках, где не видно берегов, где вода густа от ила, как суп. В морях, штормовых и штилевых, с берегами песчаными, скалистыми, ледяными, в океанском прибое. А также в совсем экзотических местах, вроде фиордов, водопадов и озер в оазисах, что тоже не так безопасно, как может показаться на первый взгляд. Я хорошо знал и обитателей различных водных стихий, в лучшем случае равнодушных, но всегда удивлялся отсутствию у них агрессии по отношению друг к другу.

Любая страна, где мне пришлось побывать, была связана, прежде всего, с водой, а иногда только с ней, от Меконга до Укаяли, от Байкала до Желтого моря. Форсируя болото, выбираясь из полосы приобья, ориентируясь по звуку в мутной речной взвеси, я не думал о том, в каком государстве нахожусь. Все государственные границы казались мне условными. Я сталкивался с природой, иногда с такой же первобытной, как и природа, культурой, но не с цивилизацией, поэтому не видел различий,

разве что в моей стране вода чаще оказывалась пригодной для питья, реки — прозрачнее и укусы змей не были смертельными.

Федор Иннокентьевич прав: нюх у меня оставался собачьим. По крайней мере, воду я мог найти и в песках, и в джунглях и в степи. И запахов я знал гораздо больше, чем обычный человек. Но вода — это не страна. Попробуй, найди ее среди запахов известки, аммиака, гудрона и дегтя. И одеколону «Гуччи», которым сверх меры благоухал мой неожиданный собеседник. То, о чем мне говорил Федор Иннокентьевич, было сумасбродной редкостью, метафизикой, умозрительным или умобонятельным построением. Тем более, я сомневался, что сам Федор Иннокентьевич когда-либо чуял это. Но должны же существовать и другие запахи. Хоть бы что-нибудь дали мне обнюхать: оброненный платок, перчатку с российской руки, кусок замши, которым она протирала стекла очков...

— Ну, посмотрел? — уже миролюбиво спросил мой собеседник.

— Посмотрел.

— И как?

— Бывало хуже.

— Ладно, пойдем. Поговорить с тобой хотят.

— Если хотят, пусть идут сюда.

— Я же тебя по-хорошему прошу.

— А ты попробуй по-плохому, может, что и получится.

— Да не пожалеешь, чудак-рыбак! Пойдем! Что ж, пожилому человеку к тебе сюда тащиться? — весело сказал он и вдруг заорал по направлению «Москвича»: — Глуши свою вошебойку, козел!.. Никакого понятия. Люди отдыхают давно.

Последние слова он произнес явно для меня и сделал шутливый приглашающий жест.

— Наш с тобой разговор напоминает сюиту Бетховена фа-мажор для скрипки и рояля. Не находишь?

Он озадаченно промолчал, а меня разобрало любопытство и я, правда, не выпуская его из виду, двинулся вслед за ним в глубину двора.

Шли мы совсем недолго. Двор замыкала высокая чугунная ограда с низкой калиткой. За ней виднелись зады небольшого, но густого сада, еще дальше угадывался двухэтажный дом красного кирпича, а перед оградой на замощенном плиткой пятачке стояла красивая скамейка, на которой сидел, покуривая, небольшой старичок в белых льняных штанах и такой же рубашке с отложным воротником.

— Присаживайся, — сказал он и похлопал ладонью по скамейке рядом с собой.

Я присел и вопросительно посмотрел на него.

— Я тут перед сном воздухом дышу. Скучно стало, поговорить с кем-нибудь захотелось. А тут вижу — ты бродишь, смотришь чего-то, вынюхиваешь. Ночью. Один. Вот меня любопытство разобрало. Попросил ребят тебя пригласить. Не возражаешь?

Чем-то он напоминал экранных героев — авторитетов криминального мира, и особенно артиста Панина, так что было непонятно, то ли артист Панин копирует их, то ли они — артиста Панина. Но как бы то ни было, двор его особняка никоим образом не мешал внешнему двору, и детская площадка была выполнена из тех же материалов, что и скамейка, на которой мы сидели.

— Он умник, Федор Михайлович, — сказал мой провожатый. — Про Бетховена мне вкручивал. Говорит, наш разговор похож на симфонию.

— Что умник, это не страшно. А чего от тебя ментовкой пахнет? — вдруг спросил меня Федор Михайлович.

— В участке полдня просидел.

— За что взяли-то?

— За нарушение закона времени.

— А-а-а! Вопросы непонятные задавали? Про художников, про императоров?

— Про музыкантов.

— Ага... Что про национальность сказали?

— Сказали, что есть.

— Вот как... А мне маляву прислали, мол, отсутствует у вас национальность, Федор Михайлович, о чем мы спешим вас уведомить... Ну, у меня ее и раньше-то не было. А ты чего, друг ситный, здесь искал?

Я подумал и рассказал Федору Михайловичу достаточно подробно, что я ищу и каким именно образом, не называя, впрочем, главного. Что-то мне подсказывало, что он отнесется к этому серьезно. Так и произошло. Он затянулся сигаретой, подумал, погримасничал в стиле Панина губами и произнес:

— Большое дело. Непростое. Нужное. Есть у меня два соображения. Во-первых, Россия могла вся на консервы пойти.

— На какие консервы?

— На духовные.

— Это что же за консервы такие?

— Книжки умные. Это и есть духовные консервы с неограниченным сроком хранения. При надлежащих условиях, конечно. Я до этого как дошел? В юности, после первой ходки, пришла мне в голову мысль. Прочитать все, что есть в мировой литературе о нашей злосчастной тюремной доле. И начал я со своего тезки, с Достоевского. Увлекся. Прочитал «Братьев Карамазовых». Все у него по делу. Но книжку эту с тех пор перечитываю. И что понял. Первый раз я ее открыл, когда был одного возраста с Алешей Карамазовым. Потом сравнялся со старшими братьями. А потом смотрю, я уже в возрасте Федора Павловича. Сейчас героев моего возраста в книге нет. Старец Зосима и то моложе. Я старше, а они остаются. Но книжка-то о России написана, как и многие другие. Вот там, в этих книжках, она и осталась, на века. А в жизни на нет сошла... И второе. Могли Россию взять за милую душу и — на цугундер.

— За что?

— Дерьмо вопрос. Чтобы в ней, в России, разговоры с симфониями не сравнивали. Так что, вероятно, в камере она, на шконке. Или в предварилровке парится... Эти-то запахи я знаю. Найти легче легкого. Вот так. Ладно. Спасибо за беседу, отдыхать пора. Ты домой-то поаккуратней добирайся. Тут такая гопота, что самому страшно выходить бывает.

Он неторопливо, в сопровождении вежливо попрощавшихся со мной людей, прошел в сад. Калитка звонко щелкнула замком, и я остался один.

Закурив, я вспомнил актерские манеры Федора Михайловича, и подумал, что беглянка вполне могла задержаться в каком-нибудь провинциальном театре и служить там на вторых ролях. Но, вспомнив театральные представления последних лет, отказался от этой вздорной мысли.

Решив сократить путь и пройти под мостом, я направился к концу аллеи и, уже сворачивая в полный звезд проем между домами, услышал

в зарослях какое-то бормотание. Осторожно раздвинув ветки, я увидел как бы комнату с зелеными стенами: старый диван, на котором лежала подушка без наволочки и рваное ватное одеяло, трехногое с красной обивкой кресло, криво стоящий торшер с продырявленным, словно пулями, абажуром. На диване сидела маленькая пожилая женщина. Обращаясь к земляному могильному холмику с воткнутым в него самодельным крестом, сделанным из трех веток, она негромко и быстро говорила:

— Ты уж лежи тут, никуда не выходи. А завтра я оградку поставлю. Будем с тобой здесь жить вместе, рядом, пока злые холода не наступят...

«Может быть, она в могиле?», — машинально подумал я, входя под черную арку виадук, подпираемую квадратными столбами. «Похоронена кем-то, кем-то отпета, кем-то исповедана... Но кто же отважится исповедовать и хоронить? Кто и какие ритуалы будет исполнять? Какие гимны петь? Что за поминки устроят и где? И каким образом сохранят все это в тайне?»...

Я пошел по неровно лежащим шпалам, делая то короткие, то длинные шаги. Рельсы блестели под луной. Вдали раздался тревожный паровозный гудок...

Глава четвертая

С утра я засел за компьютер и под именем Федора Иннокентьевича заскочил в виртуальное пространство. Сделал я это по его настоятельной просьбе. «Мало ли что со мной приключится», — сказал он мне по телефону. — «А все дела надо закончить. Так что ты, друг мой, закрой там все диалоги, по возможности. Помягче, потоньше, не обижай людей. Ну, сам что-нибудь придумаешь».

Легко сказать. Познакомившись с беседами и собеседницами Федора Иннокентьевича, я пришел в ужас. Наследил он в интернете, нашалил и нагрешил, по доброте своего сердца вселяя в сердца надежду. Сколько там было скрытых признаний, приглашений на шашлыки в Сочи, обещаний заняться с Федором Иннокентьевичем сольфеджио, бессмысленных, наводящих тоску, вопросов и ответов, беспардонного вранья, изящных эвфемизмов, горького человеческого одиночества.

Кое-что я просто удалил, кое-кому сообщил, что уезжаю в длительную командировку, в страну, где Интернет запрещен законом. Ссылался на болезнь, на отсутствие ноги, упоминал о семерых детях, опускался до бестактностей и неприличных откровенностей. Но примерно с шестнадцатью *vis-a-vis* Федора Иннокентьевича мне пришлось повозиться серьезно. Тут он выстроил все прочно и надолго.

Надо сказать, меня сильно удивило, что все мои, вернее, его собеседницы оказались дома и, по всей видимости, никуда не спешили. Я просмотрел их фотографии и сделал вывод, что все они сделаны в дальних жарких и холодных странах, на океанских пляжах, на площадях средневековых городов, среди пальм и бамбуковых рощ. Женщины сидели в очень неплохих автомобилях, на лошадях и слонах, примеряли экзотические костюмы, пели со сцены. Почему они при своих немалых доходах и недурных внешних данных не могли найти себе спутника жизни, оставалось загадкой. Однако, познакомившись с их профилями, послушав в их исполнении их же любимые песни и внимательно прочитав вопросы и ответы, я понял одну простую вещь. Их успешная жизнь, к которой они

так стремились, и была главной причиной их одиночества. Они искали то, чего не существует в природе. Не надо было седлать непокорных слонов и умываться в римских фонтанах и уж, по крайней мере, выкладывать все это на сайтах знакомств. Для этого имеется обычный стул и водопроводный кран. Хотя, наверное, я несправедлив...

После обеда я выполнил просьбу Федора Иннокентьевича, подчистил хвосты и захлопнул за собой дверь. Последняя беседа была поистине виртуозной, где-то даже мистической, заставившей меня усомниться в некоторых очевидных вещах. Дело в том, что я начал угадывать, а скорее, видеть то, что видеть мне никак не полагалось.

— Над чем вы сейчас размышляете, Федечка? — спросила блондинка Алевтина.

— Над тайной угловых домов, — ответил Федор Иннокентьевич, доводя разговор до абсурда, и вдруг увидел моими глазами угловой дом Алевтины в далеком Сыктывкаре. — Ведь вы живете в угловом доме.

— Как вы узнали?

— Я просто вижу. Вы сидите в угловой комнате, в самом углу.

— Вы наблюдаете за мной? Что на мне надето?

— Красная шаль накинута на плечи. На столе стакан с недопитым соком.

— Вы где-то рядом? Вы подглядываете в окно?

— Как я могу это сделать, если вы живете на четвертом этаже? Кстати, из вашего окна открывается чудесный вид на городской парк.

— О, Господи! Где вы?

— Обернитесь и вы увидите меня.

— Я не могу обернуться, мне страшно. Где вы?!

— Я стою у вас за спиной...

На этом диалог оборвался, но перед моими глазами еще некоторое время стояла картина: большая комната, солнце, бьющее в окно и съежившаяся за столом женщина... Несомненно, Федор Иннокентьевич был прав, когда утверждал, что эти люди создавали свое виртуальное государство, населяли его виртуальными людьми и со временем забывали об истинных целях своего присутствия на просторах этой страны. Они подсознательно искали новое Отечество, взамен ушедшего от них. То, что оно было утопическим, мало волновало население. Они могли создать себя заново, спрятать все, что мешало их жизни, усовершенствовать отношения, изменить возраст и внешность. Недалек был тот день, когда в этом государстве пройдут свои парламентские выборы, возникнут органы власти, ее необходимые атрибуты, своя социальная иерархия и своя валюта...

Собравшись, я отправился навестить Федора Иннокентьевича, доложить о выполненном задании и купить ему редьки, которую он настоятельно просил меня привезти.

Я обошел все базарные ряды, но редьки не было.

— Не сезон, — сказала торговка. — Нигде не найдете.

Зато базар был завален манго. Продавцы резали их ножами, как яблоки, и с криками «Это мед, а не фрукт!» совали под нос покупателям. Те смущенно отмахивались от недозревших плодов, пахнущих аптекой. Внимание привлек подвыпивший мужик с толстой золотой цепью на шее, купивший сразу шесть килограммов и молча удалившийся нетвердой походкой под уважительные взгляды толпы.

— Говорят, манго от язвы помогает, — вещала женщина в старой со-

ломенной шляпе. — Косточки трое суток на спирту надо настаивать и принимать настой перед едой по столовой ложке.

Веселый старик ходил между рядами и продавал бинокль.

— Господа! — кричал он. — Товарищи! Покупайте бинокль! Последний остался! Незаменимый товар! Вы же не видите ни хрена! Посмотрите на нашу жизнь вооруженным глазом!

Бинокль я приобрел для Федора Иннокентьевича, памятуя о том, что из окон больницы, в которой он сейчас находился, открывался чудесный вид на сосновый лес и пригородные села. Эта больница прославилась тем, что в 90-е годы некоторые пациенты, войдя в сговор с персоналом, умудрились приватизировать не только койки и кое-что из медицинского оборудования, но и отдельные палаты. В течение шести лет они лечились, жили, прописывали родственников и сдавали помещения в аренду. Эта история получила широкую огласку в отличие от других событий, оставшихся в тени. Я вдруг не к месту вспомнил малоизвестную широкому кругу общественности историю, связанную с проектом «Кров-2». Случилось так, что в суете известных событий канал перепрофилировали и об участниках проекта просто забыли. Юноши и девушки не сразу поняли, что съемки прекращены, а когда поняли, сочли это условиями эксперимента. В результате, спустя полгода, возникшие проблемы решали не только врачи и психологи, но и этнографы с историками. В коллективе «Крова-2» сложилась социальная модель жизни племени Уату-Кула с островов Папуа. Налицо был матриархат, натуральный обмен, обобщественная собственность и признаки зарождающегося каннибализма. Некоторые ученые, впрочем, нашли в отношениях проектантов сходство с вертикалью, выстроенной в банде Патриции О'Брайен, державшей в страхе восточные районы Нью-Йорка 30-х годов прошлого века. Тем не менее, врачи привели всех в полный порядок и вернули обществу полноценных членов, страдающих, правда, латентным вуайеризмом, причины которого медики объяснить не смогли...

Федор Иннокентьевич лежал в палате для ветеранов войны. От остальных она отличалась тем, что больных в ней было поменьше да стоял на подоконнике небольшой телевизор. Видимо, не так давно в палате сделали ремонт, и поэтому ножки нескольких старых кроватей с выпуклыми надписями на металлических рамах «Первый кроватный завод, 1961 год», были помещены в пластмассовые крышки, которыми закрывают стеклянные банки, во избежание порчи нового линолеума.

— Ну, что? — спросил Федор Иннокентьевич. — Все разговоры закончил?

— Вроде все.

— Третий глаз открылся? Видел моих собеседниц в домашней обстановке?

— Видел... Я вам тут бинокль принес...

— Да подожди с биноклем, — перешел он на шепот. — Ищешь?

Я замаялся. Надо сказать, что в последние дни меня стали посещать сомнения относительно предположений Федора Иннокентьевича и в связи с этим относительно моих поступков. Да, эта мысль постоянно присутствовала в голове, заставляла меня действовать, но, как мне однажды показалось, она носила характер навязчивой мелодии, от которой сложно избавиться и которую постоянно напеваешь вслух в самых неподходящих для этого местах. Справедливости ради стоит заметить, что люди, которым я рассказал о цели поисков, а их было человек десять, отнеслись

к этой идее серьезно, с сочувствием и пониманием. Они не смеялись надо мной, не крутили пальцем у виска, не смотрели мне в глаза с преувеличенным вниманием. Они даже давали советы, где, по их мнению, может находиться искомый объект. И все же...

— Ищу потихоньку. Но времени мало, проблемы всякие. Сосредоточиться не могу.

— Эх! — махнул рукой Федор Иннокентьевич. — Ты пойми, это сейчас для тебя самое важное. Остальное — так, ерунда. Чем ты там занят? Все, что кажется нам важным, давно потеряло смысл. Неужели не видишь?.. Ладно, включи телевизор, там инструкция на столике.

Я подошел к окну и взял листок, вырванный из тетради в клеточку. На нем химическим карандашом с орфографическими ошибками и с трогательной черточкой над прописной буквой «т» было написано следующее. «Инструкция. 1. Вставь штепсель в розетку. Загорится красная лампочка. 2. Возьми изогнутый гвоздь (лежит рядом с телевизором), вставь его в крайнее левое гнездо на панели и нажми до щелчка. Удерживай в этом положении несколько секунд. Загорится зеленая лампочка. 3. Направь антенну строго на восток. Поймай первый канал. 4. Смотри».

Я совершил все вышеуказанные действия и, к моему удивлению, экран засветился. Транслировали какое-то правительственное заседание. По крайней мере, я узнал многих людей, в том числе нескольких депутатов, хотя их лица были искажены то ли некачественным изображением, то ли гримасами гнева и раздражения. Речь шла о поисках национальной идеи.

— Ты слышишь, что они говорят? — указал длинным сухим пальцем на экран Федор Иннокентьевич. — Мол, раньше была идея, но ложная. А сейчас никакой нет. Они же не могут прямо излагать суть проблемы, сказать, что Россия ушла. Конспирологи! А я могу. Но национальная идея, это и есть Россия. Вот что они ищут. Дошло до тебя? Скоро предложат большое вознаграждение тому, кто найдет. Но они растеряны. Они не знают, где ее искать. И они не знают о запахе. А ты знаешь! Вот и ищи!

Больные с соседних коек смотрели на Федора Иннокентьевича и внимательно слушали. Слушала его и медсестра, неслышно подошедшая к кровати с капельницей, и двое посетителей, пришедших навестить родных, и раздатчица, стоящая в проеме двери с тарелкой в руках.

Телевизор внезапно отключился. В тишине послышался какой-то странный звук. Это забарабанила клювом в стекло севшая на подоконник синица.

— Где же ее искать-то, — сказала толстая раздатчица. — У каждого она своя. Для кого, вон, — синичка. А для кого и тарелка каши — Россия... Мужчины! Подходи! Сегодня суп с фрикадельками и перловка...

Глава пятая

Русский человек жив наследством. Я не о том европейском наследстве, заключенном в ценных бумагах, тысячах акров земли и вилле в Бретани. Наши наследники ценные бумаги не могут найти по несколько лет. А они лежат себе в качестве закладки в «Книге о вкусной и здоровой пище», на 286-й странице, там, где рецепт макового рулета.

Я о том наследстве, о котором мы и думать не думаем, поскольку им пользуемся, а когда приходит срок, не знаем, что с ним делать. Наше наследство, оно с обременением. Вот шесть соток густого сада с микро-

скопическим дачным домиком, который строил еще дед, обремененные старыми покосившимися сараями со всяким хламом.

Здесь в детстве я ел зеленый крыжовник, сидел с дедом у ночного костра и смотрел на него в половинку перевернутого цейссовского бинокля. Костер казался маленьким и далеким, но его жар я ощущал голыми ногами. Недалеко от правления садоводческого товарищества стояла длинная крытая беседка. Туда по вечерам выносили телевизор и я вместе с другими смотрел чемпионат мира по футболу 1970 года. На пыльных дачных улицах мы играли с пацанами. И чем-то нам не нравился один парень, дразнили мы его жестоко, как могут только дети. А он отбегал в сторону, вытирал слезы и, протерев заплаканные очки черными длинными сатиновыми трусами, кричал нам издали: «Русские гады!». Мы не понимали и смеялись. А парень-то был совсем даже ничего, песни смешные пел. Посмотреть бы на него сейчас. Чуть позже я сидел на крыше сарая, в густой яблонево́й листве, и думал о своей первой любви. А еще позже проводил здесь веселые дни и ночи, в отсутствие деда, конечно. А деда уже давно нет...

Не успеешь оглянуться, а все это уже наследство. Участок с садом, я имею в виду. Хотя важнее, конечно, то, что я вспомнил сейчас. В этом суть русского наследства. Стоит себе, разрушается, не принося никакой пользы, и только будит воспоминания, от которых подступает светлая летняя печаль с привкусом горечи, словно у яблок сорта «Фарфоровое», давно уже превратившихся в дички.

И перестроить дом руки не доходят, и продать ни в коем случае нельзя. Хотя председатель товарищества уже предлагал, поскольку, якобы, будут скоро сносить под застройку, ведь это уже городская черта, и деньги хорошие предлагал. Что-то он, подлец, хочет, а что — непонятно. Нет, не продам. А всей пользы — приехать осенью, подышать горьковатым воздухом, посмотреть в пустое небо. И так обстоят дела с любимым наследством, в том числе и большим, получаемым страной: византийским, татаро-монгольским, советским...

Дождливым ноябрьским вечером тебе вдруг привидится, что в старом сарае, где свалены ненужные и несуразные садовые артефакты, лежит застекленная картинка, которую ты помнил с детства. Висела она, в числе других, в дачном домике. На одной были котята с клубком шерсти, на двух других — незамысловатые пейзажи, правда, написанные маслом, а вот на этой... Вроде бы изображен там младенец со взрослым осмысленным взглядом, лежащий на большой шахматной доске, а вокруг него игрушки в виде стеклянных шахмат. И смотрит он на тебя, не отрывая глаз...

Ну, подумай сам, могли ли в советское время отпечатать такую странную олеографию! А вдруг? А если это сделано еще раньше? Хватит у тебя смелости повесить ее на стену в кабинете? Еще бы! Но надо же вызывать такси и ехать сквозь дождливую ночь Бог знает куда. А потом искать ее в темном, пропахшем мышами сарае. Почему бы и нет? А почему не завтра, белым днем? А просто хочется сейчас. Терпения нет...

Я прошелся по квартире, выпил водки, посмотрел в окно. Оделся и вызвал такси. Поехали... Приехали...

Дом и сад под светом фар выглядели странно. И жутковато было идти туда, вглубь голого черного сада, где в самом углу стоял старый, с провалившейся крышей сарай. По грязи, по лужам, закрываясь от холодного со снегом дождя, я добрал до сарая, с трудом открыл разбухшую переко-

сившуюся дверь. Подсветил фонариком. Подшивки журналов, огромный моток колючей проволоки, старинное удобрение в банке с диким и прекрасным названием «Парижская зелень», за десятилетия, вероятно, превратившееся в яд. А вот и она, в узкой дубовой рамке, блестит пыльным треснувшим стеклом. Теперь добраться бы до нее, не сломав ног. Есть!

Такси я отпустил, решив заночевать здесь. Печка грела исправно, запаса сухих дров в доме хватит на всю ночь, бутылку я захватит на всякий случай с собой.

Машина отъехала, и вскоре шум мотора затих. Стали слышны звуки дождя. И все, больше никаких звуков. Легкий запах первого снега щеко-тал ноздри. Из рта вырывался пар...

В доме, уже при свете огня, я рассматривал картинку и улыбался. Обычный пухлый младенец с весьма симпатичными детскими глазками. Никаких шахматных досок и стеклянных игрушек — лежит на коврике в окружении плюшевой собаки, барабана и чего-то еще.

Я подбросил дров, завернулся в старое ватное одеяло и стал смотреть на огонь, потягивая водку из старого, не очень чистого граненого стакана. А что еще мне оставалось делать?..

Произошло все это год или два назад, но какую-то связь этого случая с сегодняшними событиями я уловил, правда, никак не мог понять, какую именно.

Может быть, патологическая тяга к прошлому, — это не желание вновь почувствовать себя молодым, а поиски ощущения страны? Хотя, когда она ушла, в какую эпоху, в каком году? Какое событие послужило последней причиной этого ухода?

А могла ли она поселиться в одном конкретном человеке? Нет, вряд ли. Нет такого человека, чтобы Россия выбрала его для тихого и тайного проживания. Хотя пути ее неисповедимы. Мало ли кого она захочет выбрать...

Однако любой человек смертен. Значит ли это, что Россия будет переходить из души в душу? И главное, знает ли человек об этом или находится в счастливом неведении, оставаясь невольным хранителем?

К этому времени идея поиска и размышления на эту тему овладели мной достаточно сильно. Я вспоминал и освежал в памяти слова князя Мышкина о русских либералах, которые не есть русские либералы и в основе либерализма которых живет ненависть к России. Я видел гоголевскую Русь, которая несется неведомо куда, и думал: уносится эта тройка в неведомое с седоками или пустая. И Лермонтова, и Блока, и Бунина цитировал и вслух и про себя. Каждый ведь прощался с ней рано или поздно, говорил о ней разные слова, часто обидные, а иногда даже неприличные. Понятно, что слова — это реакция на что-то, но все-таки...

А ведь Россия, как и любая другая страна, это народ, люди. Выходит, они сами себе признавались в любви и сами себя ненавидели?

Дальше идем. География: горы, реки, леса... Это все как бы на месте. Крым вот только Украине достался. Белая Россия — другое государство. Финляндия сама по себе. Курилы — спорная территория. Ладно, до каких пор страна может географически уменьшаться, чтобы остаться страной? Сложный вопрос. Андорра или Лихтенштейн — тоже страны.

Культура наша великая. Ушла? Мягко говоря, уходит. Где-то уже в дверях. Сейчас шарф свой в прихожей найдет и неслышно закроет за собой дверь. Но она уходит не тайно. Никакой тайны тут нет. Без бинокля видно.

Государственное устройство. Каждый правитель любит Россию и делает все для того, чтобы она стала великой, хотя она, по его же утверждению, и так достаточно великая. И ведь всегда в России кому-то чего-то не хватает. То свободы, то диктатуры. Одному хорошо, другому плохо. Да так плохо, что он дабы не сходиться с Россией даже во сне, готов отказаться от снов, обескровить себя, искалечить, не касаться любимых книг и променять родной язык на любое наречье... Может, России стыдно стало? Видит, что люди совесть потеряли, никакие увещания, превентивные меры и конкретные предупреждения на них не действуют, ну, и ушла, посыпав голову пеплом...

Или она маленькая была? А все остальное — утопия? Имя было, место, город, где ты родился. Дома и люди, которые тебя окружали с детства. Лес, река. Парк, в котором ты впервые поцеловал девушку. Система отношений. Язык. А? И все. А за этими пределами ничего нет. Ни гор, ни морей. А только история, ограниченная возрастом самых старых городских зданий, культура, которую мы зачерпываем горстью из прошлого и никак не можем донести до рта, опосредованное государственное устройство и телевидение, еще больше убеждающее нас в нереальности происходящего...

Что же я тогда ищу? Какую тайну? И каким образом у тайны может появиться запах?

Обо всем этом я размышлял, сидя на заднем сиденье маршрутного «пазика», шустро, грязного и нервного, как бродячая собака. Путь был неблизким. Я добирался из украинного района в центр и, заскочив в «маршрутку», даже не посмотрел на номер, полагая, что так или иначе попаду туда, куда мне надо. Итак, я размышлял, поглядывал время от времени в окно и незаметно наблюдал за пассажирами. Они были нелюбопытны и погружены в себя, кроме одной симпатичной девчушки, с которой я пару раз обменялся взглядами. Ехал мужчина с усами, словно приваренный к своему месту. Он вез с собой лист фанеры и обрезок ржавой водопроводной трубы. Наверняка этот обрезок надо было куда-то подставить, подложить, определить, например, сделать в туалете полку. В руках он держал дырявый пакет с надписью «Shambala. Madgik world. Прямые поставки». На лице его тенью залегла особенная усталость, которая ясно говорила, что ему уже не хочется ни пить, ни есть, ни молиться, а только молчать. Две женщины, закрыв глаза, вращали головами под песню «Горная лаванда», доносящуюся из кабины водителя. Одна вращала головой по часовой стрелке, другая — против. Худенькая девушка, сидящая впереди, передавала шоферу деньги за проезд, полученные от входящих людей. Она делала это, предупреждая действия пассажиров и не дожидаясь просьбы, просто молча с испуганной улыбкой протягивая руку. В углу сидел маленький задумчивый негр. Сбоку спал пьяный молодой парень, а рядом с ним бодрствовал бравый кавказец в спортивном костюме, с массивным золотым перстнем на пальце. Напротив меня грузная старуха держала за руку мужчину в толстых штанах, высоких шнурованных ботинках и детской вельветовой курточке.

— Сейчас приедем, — громко, на весь салон, сказала старуха. — Купим пирожков в киоске и домой пойдем.

— Пончиков, — отвечал ей мужчина неожиданно тонким женским голосом. Он высвободил руку, и на пальце сверкнуло красным стеклом колечко.

— Ну, пончиков, — согласилась старуха. — У меня тридцать рублей есть.

— Чего-то мало, — обратился к ней проснувшийся парень. — У меня сто рублей. Может, сложимся?

Старуха не ответила.

— А вы вместе, что ли? — не отставал парень.

— Вместе.

— Это сын ваш?

— Дочь.

— А чего она в мужской одежде?

— Так уж пришлось...

— В профком вызвали меня, — рассказывала женщина, сидящая сзади, своей соседке. — Говорят, информируем вас, национальности у вас нет.

— Кто говорит?

— Да хрен его знает кто. Мужик какой-то.

— А ты что?

— Да ничего. В паспорте-то национальность не пишут. А если подумать, куда ее еще сунуть-то? Деньги за нее не платят...

Я посмотрел в окно и понял, что не узнаю улицу, по которой мы едем. Возможно, автобус поехал по другому, неизвестному мне маршруту, возможно, он привез меня в соседний город, а, может быть, я просто заснул. Но могу поклясться, что ни в родном городе, который я знал как свои пять пальцев, ни в ближайших городах, ни в любых населенных пунктах, посещаемых мной в течение жизни, не могло быть такой архитектуры, такого небольшого количества машин и людей в разгар рабочего дня. Люди деловито и в то же время спокойно шли по тротуарам, отделенным от проезжей части высокими гранитными бордюрами. Здесь часто попадался на глаза натуральный шлифованный камень в отделке зданий, проплывали мимо окон автобуса высокие и странно знакомые деревянные дома, кирпичная кладка была плотной и прочной.

Я оглядел салон. Все пассажиры спали. Я не помнил, доводилось ли мне раньше во сне видеть спящих людей. Почему-то на цыпочках, словно боясь их разбудить, я прошел к переднему выходу и остановился там, держась за поручень, в ожидании остановки. «Пазик» затормозил, двери открылись, и я легко сбежал по ступенькам на мостовую.

Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Я огляделся и начал узнавать некоторые старые здания. Несомненно, это был мой город, и в этом я еще раз убедился, прочитав его название на небольшом рекламном щите, не обратив внимания ни на фразу в целом, ни на странную орфографию. Собственно, я уже сориентировался и знал, в какую сторону надо идти, чтобы найти свой дом. Но что-то подсказывало мне, что вряд ли он стоит там, на привычном для меня месте.

Воздух был свеж. Небо затянуло тучами, видно, собирался дождь. Сквозь зелень деревьев, в предгрозовом сумраке резко белели гипсовые барельефы в нишах зданий. Исчезла постоянно преследующая меня тревога, исчезло раздражение. И я понимал причины этого. Город утопал в зелени. Не было видно ни одного квадратного метра голой земли: только брусчатка, разноцветная тротуарная плитка, трава газонов и цветочные клумбы. Ни горсти песка или пыли; видимо поливальные машины проехали здесь с утра. Станные чувства овладели мной. Я одновременно ощущал себя безгранично свободным и в то же время чужим в родном городе, который увидел впервые.

Я шел и старался, по крайней мере, пока не читать, что написано на мемориальных досках и вывесках, висящих на фасадах зданий, не смотреть на памятники и не особо пристально вглядываться в лица прохожих, интуитивно сохраняя в целости свое мироощущение и сознание... Правда, в одно лицо вглядеться мне все-таки пришлось: на перекрестке я столкнулся с каким-то человеком, явно с нездешним обликом, размахивающим в такт шагам свернутой в трубку газетой. Я извинился и в ответ от него услышал несколько слов. Судя по выговору и по ощутимому акценту, это был британец. Он отвесил мне легкий поклон, сухо улыбнулся и проследовал дальше. Я посмотрел ему вслед и тут мне в голову резко, как нашатырь, ударил запах.

Глава шестая

Это был свежий, сложный, давний будоражащий аромат. Он вызывал воспоминания, он делал реальными дни и ночи юности, он воскрешал в памяти картины, которые, казалось, давно стерлись из памяти. Мне хватило пяти секунд, чтобы разложить его на составные части: листва, духи, сигареты, асфальт, девичьи волосы, молодость. Сугубо городской аромат, имеющий бесконечное количество вариантов. Я учуял свой индивидуальный вариант и пошел на него, приподняв голову и ловя его изменчивые извивы среди других запахов этого города.

Миновав два перекрестка и перейдя на противоположный тротуар, я свернул налево и оказался на небольшой площади. В моем городе это место служило перекрестком. Здесь же из площади вытекали или, если угодно, впадали в нее пять разных улиц. У каждой из них было свое название. На волне запаха я, как по течению, подплыл к старинному трехэтажному дому. По форме он представлял собой латинскую букву *v*, рожки которой давали начало двум, расходящимся под углом улицам. Третья улочка была не видна с площади и брала начало от задней части красивого каменного забора, огораживающего внутренний треугольный двор дома. Таким образом, дом походил на наконечник стрелы. Я вошел во двор через арку, поскольку парадный вход — высокая деревянная дверь с тремя ступенями, врезанная в узкий, не более двух метров, фасад — был заперт на замок.

Двор, вымощенный серыми квадратными плитками, оказался пустым, плотно засаженным старыми густыми липами. Из открытых окон первого этажа доносилась музыка. Встав на высокий цоколь и придерживаясь за металлический карниз, я заглянул внутрь. В просторной комнате находились двое: старик в стеганом халате и белой рубашке с отложным воротником, наигрывающий что-то на фортепиано, и девушка лет девятнадцати, с ногами сидящая в большом кресле и читающая книгу. Я не берусь рассказать о ее лице, о больших серых глазах, волосах цвета меда, совершенной формы носе, маленьких ушах. Никому из писателей, великих и не очень, не удалось зримо описать женскую красоту. Здесь нужен талант живописца. Таких лиц в своей жизни я не встречал. В нем чувствовалась порода, а в неподвижной фигуре грация и сила. Такое сочетание изредка встречается и у нас, но почти всегда его портит налет какой-то вульгарности, проскальзывающий то в походке, то во взгляде, то в голосе. Однако еще больше, чем ее лицо, меня в первую минуту заинтересовало, что именно она читает и что именно наигрывает на фортепиано ее дед. То, что это дед и внучка, становилось понятно с первого

взгляда. Название книги я разглядеть не мог, как ни вертел головой, а в музыке начал узнавать что-то знакомое. Тем временем начался дождь. Первые крупные капли упали мне за воротник и потекли по спине. Правая рука, которой я держался за карниз, затекла. Зачесалось ухо. В довершении всего на карнизе неизвестно откуда появился пушистый серый кот. Скосив глаза, я увидел, что он смотрит на меня, чуть подрагивая усами. Очевидно, здесь он решил спрятаться от дождя...

— Это «Караван» Дюка Эллингтона, молодой человек, — сказал вдруг старик высоким, чуть с хрипотцой голосом. — А внучка читает сочинение господина Гоголя «Мертвые души»... Олюшка, пригласи гостя в дом. Кота не пускай.

Справа от старика, в нише, стоял небольшой туалетный столик с узким зеркалом, в котором он, не отрываясь от клавиш, прекрасно видел меня и совершаемые мной манипуляции.

Олюшка подняла на меня удивленный взгляд и, отложив книгу, произнесла с явной иронией:

— Прошу вас.

Мне ничего не оставалось делать, как перелезть через подоконник, оказаться в комнате и сесть на предложенный стул. Надо сказать, что я не испытывал ни малейшего смущения. Такое бывает, когда между незнакомыми людьми существует какая-то внутренняя связь. Это понимается мгновенно и возникающая взаимная симпатия не требует никаких объяснений.

— Это китайская работа, — сказал я, указывая на туалетный столик. — Начало прошлого века.

— Верно. Великолепная кустарная работа. Эту штуку привез из Китая мой отец в конце сороковых.

— Что-то подобное было и у моего деда. Он вернулся домой в начале пятидесятых.

— Они могли знать друг друга, состав экспедиционного корпуса был невелик. Звание вашего деда?

— Полковник.

— О! Наверняка знали. Да, молодой человек, наши предки сделали великое дело, но это, к сожалению, было и величайшей ошибкой.

— Что именно?

— Присоединение Китая к России, что же еще! Не может государство постоянно увеличиваться, поглощая новые и новые территории. «Великий русский крест!» — передразнил он кого-то. — С севера на юг и с запада на восток! Сколько можно? Государство раздавит само себя собственным весом. «Россия — это пространство!» — опять просюсюкал он. — Россия заблудилась на этом пространстве! Она ищет нас, а мы ее! Хотя, кто там ее ищет... И не верьте этой розовой жвачке сторонников единого престола! Это демагогия! Э... Простите. Меня зовут Андрей Витольдович Венедиктов. А это создание — моя внучка Ольга. С кем имею честь?

— Алексей.

— А по батюшке?

— Петрович.

— Прекрасно! Если бы поменять имя и отчество местами — было бы совсем хорошо. Вас бы, молодой человек, в парламент с таким именем без всяких выборов взяли. Фамилия ваша как, осмелюсь спросить?

— Вы будете смеяться.

— С удовольствием посмеюсь.

- Нарышкин.
- Ха-ха-ха! — откинулся он на стуле. — Если не врете, это превосходно.
- Алексей — Божий человек! — произнесла вдруг Ольга.
- Не знаю, — обернулся я к ней. — Все мы дети Божьи. А вы, очевидно, филолог.
- Почему вы так думаете?
- Только филологов заставляют штудировать этот апокриф.
- Житие. Это житийная литература. Но вы правы. Я студентка четвертого курса историко-филологического факультета университета его императорского величества.
- Самая замечательная специальность, — сказал Андрей Витольдович. — За ней, я уверен, будущее. Хоть в истинном смысле слов найдем когда-нибудь успокоение. А то ведь наплодили юристов, теперь не знаем, куда деваться от этих законов. Вся жизнь регламентирована. Скоро, извините, пукнуть нельзя будет без соответствующего норматива. Законы, как при Павле, а воруют, как при Николае. И порядка, как не было, так и нет. Да и как можно навести порядок на такой территории, скажите мне? И кто его наведет? Парламент? Не смешите меня! Государь император? Он стар, болен и дышит на ладан. Он уже не может играть свою роль даже среди этих пыльных декораций! Господи! Десяносто лет спокойной жизни, ни одной войны, ни одного переворота, даже приличного бунта за это время не случилось...
- А Закавказье?
- А что Закавказье? Протекторат как протекторат. А все эти надуманные волнения не более чем талантливая театральная постановка. Так вот, я продолжаю. История выдала России такой кредит доверия, что просто не верится. И так бездарно использовать его... Иногда меня посещает крамольная мысль: если бы в 1917 году у большевиков получилось то, что они планировали, было бы лучше. Возможно, интереснее. Вы не задумывались над этим?
- Я молча покачал головой, не зная, что ответить.
- А зря. Тут есть над чем пофантазировать.
- Боюсь, что фантазии не дадут представления о том, что могло быть в реальности. Порядок и комфорт, это не так уж плохо. Воровства, наверное, нигде и никогда не избежать, дело в его объемах и степени. Но чисто в городе, тихо, спокойно, вроде бы... Разве нет?
- Чисто? — недоуменно спросил старик. — А как еще должно быть? Еще и за чистоту прикажете благодарить? Но чисто и спокойно почему? Потому что наказания строгие введены за оскорбление общественной нравственности. Какой-нибудь подлец и мусорил бы, и сквернословил, и голым по городу ходил бы с удовольствием, но знает, что поймают и пошлют на общественные работы. А так, чтобы сам, без принуждения, увы. Но я не об этом...
- Да и я, собственно, не об этом. Главное, что сохранен генофонд, лучшие представители нации не покидают ни Россию, ни этот мир.
- Генофонд? — озадаченно посмотрел на меня Андрей Витольдович. — А куда же он денется? На него вроде никто не покушался. Мало того, он оберегается. Смешанные браки, как вы знаете, не то, что запрещены, но регламентируются. Однако, если вы имеете в виду генофонд наших древних родов или общественных классов, то не забывайте о таком понятии, как вырождение. Кроме того, мы закупорили генофонд рус-

ского крестьянства. Мы не извлекаем оттуда никакого богатства, а оно там имеется, поверьте мне.

— Крестьяне кормят Россию.

— О да! И не только Россию! Хватает всем, а риса даже переизбыток. Но расширение государства подразумевает ассимиляцию. Браки с китайцами, поляками, угоро-финнами, американцами и алеутами...

— Дед, — вмешалась Ольга, — хватит тебе ворчать. — Сам рассказывал, что случилось полвека назад, когда крестьянам разрешили переселиться. Во что города превратились.

— Но это же была глупейшая и вреднейшая затея. Особенно когда они стали просачиваться в органы государственной власти и на руководящие посты, а также в гимназии и высшие учебные заведения. Мы с огромным трудом вернули ситуацию в нормальное русло, избежав национальной катастрофы. Каждый должен заниматься своим делом, не спорю. Но когда я говорю о генофонде, то имею в виду совершенно другое...

— Ну и ладно. Лучше спроси у Алексея — Божьего человека, зачем он полез к нам в окно.

— Действительно, Алексей Петрович, дайте, так сказать, отчет в своих действиях. У нас свободная страна и нравы далеки от идеальных, но все-таки подсматривать в чужие окна, это как-то...

— Идти мне некуда, Андрей Витольдович, — произнес я вдруг.

— А что случилось? Дома неприятности? Или попали под действие закона о праздношатающихся лицах?

— Заблудился. Искал Россию, пока сам не заблудился.

— Что ж, хорошо, что вас выбросило не в северо-западных провинциях Китая, не где-нибудь в Лапландии и не на Аляске. Или вы внутри себя заблудились?

— Это одно и то же, Андрей Витольдович. Что внутри, что снаружи. Нет никакой разницы. И границ нет.

— Вот как? Может быть. Но вот что я вам скажу: вряд ли вы здесь Россию найдете.

— Почему?

— Видите ли, Алексей Петрович, по моему глубокому убеждению, Россия — это не изначальное понятие, не конечная цель, а процесс. Причем, не спокойное размеренное течение жизни, что тоже можно назвать процессом, а катаклизм, разлом. Когда что-то свершается — там и ищите Россию. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые... Именно о присутствии России в роковые минуты Тютчев и писал, сам того не подозревая. Итак, процесс завершен, пошли последствия — Россия исчезает.

— Куда же?

— Кто знает? Если покопаться поосновательнее в русской, да и не только в русской поэзии, может, узнаете...

— А в поэзии последнего столетия?

— Это вам лучше с Ольгой поговорить. Я же считаю, что как минимум полвека у нас ни прозы, ни поэзии не было.

— А я считаю, — подала голос Ольга, — что давно пора обедать.

— Да, действительно, — спохватился Андрей Витольдович, — пора. Вы, надеюсь, отобедаете с нами? Олюшка, накрывай на стол!

— Отпустил Дашу на неделю, а мне теперь приходится на стол накрывать!

— Ну, как же не отпустить, Оля? Надо же человеку домой съездить! Даша, это наша домработница, — пояснил мне Андрей Витольдович.

— Домой? Как бы не так. Амуры у нее, вот она и отпросилась.

— Ну, ничего, ничего...

Пока хозяйка накрывали на стол, я думал о том, что неплохо бы пожить здесь год или два. Но каким образом? Эмигрировать из одной несуществующей страны в другую не представлялось возможным. Устроиться на работу без документов здесь, наверное, было сложнее, чем у нас. Да и хорош я был бы здесь со своими документами и резюме... Но смогу ли я здесь жить, вот в чем вопрос? Меня уже начинало преследовать ощущение какого-то раздвоения. В этом я решил разобраться чуть позже, а пока полностью переключился на сложившуюся ситуацию. Я, как человек мнительный, подозревал подвох. Ну, действительно, меня, непонятную, но явно подозрительную личность, подглядывающую и подслушивающую у открытого окна, пригласили в дом, после короткого знакомства оставили обедать, и я не сомневался, что если попрошу, то найду здесь пристанище и кров...

Меж тем последовало приглашение к столу, который был накрыт в соседней комнате, заставленной старой, натурального дерева мебелью. Буфет, горка с посудой, потемневший от времени натюрморт на стене, массивные стулья, овальный стол, накрытый белой скатертью — такова была обстановка. На столе стояли фарфоровые приборы, лежали серебряные ложки и вилки, салфетки в серебряных же кольцах. Было видно, что люди, живущие здесь, пользуются этими предметами ежедневно. Ольга ловко разлила суп по тарелкам. Я никак не мог побороть в себе чувство, что попал в девятнадцатый век, хотя экран плазменного телевизора, Ольга в темно-синих джинсах, и зажигалка «Ронсон», лежащая на столе, убеждали меня, что я нахожусь в своем родном времени. Только время осталось родным, только на него мне и приходилось уповать...

За обедом разговор опять зашел о литературе.

— Кстати, Алексей Петрович, — промолвил Андрей Витольдович, промокнув губы салфеткой. — К слову о поэтах. Я вспомнил:

И чему я по-прежнему внемлю,
Грустный путник с огрызками крыл?
Что я бросил в бездонную землю?
Что я в мокрое небо зарыл?

Ну, дальше вы помните, конечно. Присутствие России здесь явно заметно. Не находите?

— Возможно. Я что-то не припомню, к стыду своему, чье это...

— Ну, как же. Гумилев. Эти стихи он написал за месяц до смерти, в 1986 году... Слава Богу, он прожил долгую жизнь и оставил огромное наследие... Ну-с, а вам пришло что-нибудь на память?

Щедроты сердца не разменяны
И Русь — все те же пять хлебов.
Россия Разина и Ленина,
Россия огненных столбов.

— Разина и Ленина? Очень интересно! Это чьи же стихи, позвольте спросить?

— Это Нарбут.

— Не помню я что-то такого у Нарбута, — сказала Ольга. — С чего это акмеисту о Ленине писать?

— Не обязательно брать поэзию. В прозе тоже можно найти, как вы говорите, присутствие России. У Платонова, например.

— Вы загадками говорите, — усмехнулась Ольга, отложив нож. — Кто это — Платонов. Когда он жил?

— В первой половине прошлого века.

— Где?

— В... России.

— Странно. Мне ничего о нем не известно. Как-нибудь расскажете мне подробнее.

Мы засиделись за столом, поскольку Андрей Витольдович поднимал все новые и новые темы, спрашивал мое мнение по вопросам, о которых я не имел ни малейшего понятия, зачитывал какие-то статьи из газет, стопкой лежащих на маленьком столике-маркетри.

Я поблагодарил хозяев за угощение, думая о том, что делать дальше, и тут Ольга, накрыв своей рукой мою, сказала:

— Дед, мы поговорим с Божьим человеком у меня в комнате, не возражаешь?

— Конечно, Олюшка, а я пока отдохну.

Он уселся в глубокое кресло, щелкнул пультом телевизора, и я, выходя вслед за Ольгой из столовой, увидел на засветившемся экране милостивую ведущую, которая с улыбкой сказала:

— Здравствуйте! В эфире программа новостей на телевизионном канале «Россия»...

Глава седьмая

Комната Ольги разительно отличалась от остальных, увиденных мною в этой квартире. Какие-то постеры на стенах, музыкальная аппаратура, книги в массивном шкафу, на подоконнике, на туалетном столике.

— Вы так и живете вдвоем? — спросил я.

— Нет, я живу с родителями в Москве, учусь. А к деду приезжаю отдыхать от столичной суеты.

— Разве столица — не Петербург? — забывшись, пробормотал я.

— В какой-то степени Петербург. И лучше бы так и было.

— Столичная жизнь трудна?

— Последнее время выезды кортежа государя сопровождаются пущенной пальбой и колокольным трезвонном. А поскольку он, несмотря на пошатнувшееся здоровье, выезжает часто, москвичи уже наполовину оглохли.

— Ему надо мигалками обзавестись, — усмехнулся я.

— Что же вы думаете, у него мигалки нет? Не видели, что ли? Как и положено, трехцветная.

— Вы извините меня за то, что я влез к вам в окно.

— Ничего страшного, многие мои друзья попадают ко мне таким образом.

— Но я же не друг. Я совершенно незнакомый человек. Что подумает ваш дед?

— Дед... Дед не так прост, как вам может показаться. Он бывший контрразведчик и сможет сделать с вами все, что угодно. Если захочет, конечно. Но вы его заинтересовали.

— Бывших контрразведчиков не бывает.

— Это как?

— Ну, в смысле, человек этой профессии всегда в строю...

— В каком строю?

— В строю бойцов невидимого фронта, очевидно...

— Я не понимаю вас... Ладно. Но, кроме того, что вы явно заинтересовали деда, вы еще заинтересовали меня.

— Да чем же?

...Я поймал себя на мысли, что меня тянет изъясняться какими-то архаизмами, знакомыми мне по книгам и фильмам. Еще я понял, что здесь лучше не злоупотреблять фразеологизмами и идиомами. Иначе меня неправильно поймут или не поймут вообще...

— Чем? — переспросила Ольга. — Вы очень странный. На вас странная одежда, вы странно говорите, у вас странный взгляд. В нем словно спрессованы годы человеческой скорби. Такое ощущение, что вы долгое время провели где-то далеко, вне нормального общества. Это так?

...Ответить на такой вопрос не составляло труда, но сейчас я не мог придумать ровным счетом ничего, поскольку не знал, где здесь прячутся, где проводят долгие годы, скрываясь от общества. В горах, в курильнях опиума, в Ницце?..

— Я уже говорил Андрею Витольдовичу, что потратил много времени на поиски России. А это занятие зачастую требует уединения, а порой заносит очень далеко, в безлюдные и не совсем приятные места. Так что не обращайтесь внимания на некоторые aberrации моего поведения.

...Фраза получилась красивая, законченная и, я надеялся, что прозвучала она не фальшиво. Станный разговор между тем продолжался. Естественно, я ни о чем не спрашивал Ольгу по двум причинам. Во-первых, мне не хотелось, чтобы меня приняли за сумасшедшего. Во-вторых, я боялся. Да, я боялся что-то узнать. Я боялся местных газет, телевидения, я под страхом смерти не стал бы заходить в интернет этого мира...

— Да какие там aberrации, Алексей! Все, о чем я говорю, заметно, если пристально за вами наблюдать. Как я сейчас. А так все в порядке. Вы прилично воспитаны. Только перестаньте изъясняться, как герой водевилей. Будьте проще. И откройте коньяк, пожалуйста.

Ольга протянула мне бутылку, которую извлекла из ящика бюро, и пробочник.

— У меня здесь свой винный погреб. Но дед не знает, учтите.

— Это э... нехорошо, — сказал я, вынимая длинную пробку из тонкогорлой бутылки и рассматривая этикетку.

— Финь-шампань, можете не смотреть. И что тут нехорошего?

Я не нашелся, что ответить и разлил коньяк в фужеры. Потом подошел к книжному шкафу и осторожно посмотрел на корешки книг. Не знаю, что я искал: географический атлас, учебники, знакомые имена. Но золотые слова на кожаных переплетах расплывались и в глаза назойливо лезли только буквы «i» и «ъ», похожие на тайные нерасшифрованные знаки. Я перевел взгляд на портрет, висевший на стене. Это была хорошая старая выцветшая акварель, изображавшая строгую женщину лет сорока с высокой прической и лорнетом в правой руке...

— Это моя прапрабабушка, — сказала Ольга. — Ксения Андреевна Лихачева. Красивая, правда? Она прожила девяносто шесть лет.

— Она жила в нашем городе?

— Всю жизнь, до самой смерти.

— А ее муж?

— Митрофаней Сергеевич? Он умер десятью годами раньше. Ректор нашей духовной семинарии. У меня и фотографии есть. Если хотите, покажу.

Я покачал головой. Ксения Андреевна Лихачева была двоюродной сестрой моей прабабки. У меня не осталось ни фотографий, ни портретов, но я совершенно точно знал, что она умерла от тифа в 1919 году, а пятью годами позже был арестован и расстрелян ее муж, Митрофаний Сергеевич...

Я залпом допил коньяк и поставил фужер на письменный стол. Раздался стук в дверь и на пороге появился Андрей Витольдович.

— Друзья мои, — произнес он, мельком посмотрев на высокие напольные часы в углу комнаты. — Что-то мне не спится. Так что, пожалуй, я отправлюсь в клуб. Олюшка, у вас все в порядке?

— Все замечательно, дед! Когда тебя ждать?

— Думаю, поздно. Я чувствую, что мне не избежать сегодня визита к Анастасу Васильевичу. Алексей Петрович, очень приятно было познакомиться. Надеюсь, мы еще увидимся. Приятного вам вечера.

С этими словами Андрей Витольдович коротко поклонился и вышел. Через минуту мягко хлопнула входная дверь.

Внезапно я почувствовал какое-то замешательство и, подойдя к окну, стал смотреть во двор. Дождь закончился, и сквозь листву лип пробивались яркие солнечные лучи.

— Алексей, — послышался голос Ольги. — Прикажите, чтобы дождь пошел снова. С ним было так уютно.

— Я не могу приказать дождю...

— Ну, как же? Кто там у вас бог дождя, бог грома?

— У кого у нас, Ольга?

— У вас — это значит, у вас. У язычников. Вы же язычник, Алексей.

— Какой же я язычник? Я православный христианин...

— Конечно, а как же иначе! Язычник не может не быть православным христианином. Но вы не бойтесь, никто не собирается вас выдавать. Дед, наверное, раскусил вас сразу, а вот я только сейчас. Не подумайте ничего плохого, мне просто вас жалко. Все эти поиски России... Что вы ищете? Раскрашенную деревянную статую Перуна, которую Владимир сбросил в Днепр? Ее давно нет. Бедный вы, бедный...

— На счет того, что христианин вполне может быть язычником, я, пожалуй, с вами соглашусь. Примеров предостаточно, хотя эти люди не осознают свою истинную природу. Есть целые страны, живущие по приметам и суевериям. Но языческий идол не обязательно воплощен в конкретную статую. Он иногда и нематериален вовсе, я думаю.

— Господи, Алексей! Вы бедный и несчастный, но вы еще и упрямый! Сколько вам было лет в 1964 по старому летоисчислению?

— В шестьдесят четвертом? Три года. А что?

— Это же произошло при вашей жизни! Вас это коснулось. Как же можно упрямиться после этого? Как можно опровергать очевидное?!

— Вы о чем, Ольга? Я вас не понимаю...

— Это просто глупо...

Я оторвал взгляд от лип за окном, обернулся и посмотрел на Ольгу. Она стояла, прижав сжатые в кулаки руки к груди, подавшись вперед, широко расставив ноги, уставившись мне прямо в глаза. Я невольно отвел взгляд и посмотрел на большой глянцевый календарь, висящий на стене. Почти всю страницу большого формата занимала репродукция иконы. Кажется, это было «Огненное вознесение Ильи». Сверху краснело название месяца и число, ниже — черная надпись «47 год со светлого и святого дня...», а еще ниже золотились три буквы в сложном красно-зеленом орнаменте: «В», «П» и «Х».

Смысл слов, начинающихся с этих букв, дошел до меня сразу, но я не поверил. Моя жизнь приучила меня не верить тому, что написано в календарях, газетах и книгах, изображено на плакатах, листовках и баннерах. Разве что на заборах и стенах встречались правдивые слова, эмоции и честные первобытные детские рисунки.

Меня охватил калейдоскоп ощущений: вслед за неверием пришел страх, потом недоумение, затем глухое раздражение, смешанное с непонятной радостью. Я вдруг почувствовал страшную усталость, присел на низкий широкий диван и закрыл лицо руками. Я не был свидетелем этого события, а жизнь заставляла не верить и в то, что я не видел собственными глазами. Хотел ли я забыть о том, что узнал или жадно расспросить о подробностях? Я не мог ответить.

— Почему Он пришел сюда? — спросил я у самого себя, но Ольга ответила, почти не раздумывая.

— А куда же еще, кроме России. Наша жизнь была трудна, неверие стало внутренним убеждением многих людей. А, может быть, другие были недостойны...

— Да-да, конечно, трудна, — машинально ответил я. — Давайте вспомним, Ольга, что у нас происходило в 17-м, 21-м, 37-м, 41-м, 91-м?

— Это что, урок истории? Ничего особенного у нас не происходило. В 91-м, по старому стилю, я родилась. А обо всем остальном вам лучше спросить у деда. Вы о чем, Алексей?

— Да собственно ни о чем...

Действительно, говорить было не о чем. Ольга не подозревала, о чем надо спрашивать меня, а я не хотел и не мог ничего рассказывать ей о том, что второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа, случившееся в ее России 47 лет назад, для меня произошло во сне, в параллельном мире или в отуманенном болезнью рассудке.

Внезапно Ольга схватила меня сзади за плечи и опрокинула на диван. Совсем рядом я увидел ее глаза, потом ощутил вкус коньяка на мягких губах. Мы не сказали друг другу ни слова, одинаково дыша легким воздухом, пахнувшим летним дождем...

Я открыл глаза. Ольга еще спала, слегка приоткрыв рот. Я накрыл ее простыней и подошел к раскрытому окну. В темноте двора в кронах лип шелестел дождь. Что мне делать, я не знал. Ни слов, ни мыслей, ни желаний не осталось. Только пустота, легкость, почти невесомость. Я понял, что здесь находиться уже не могу.

Я осторожно оделся, посмотрел еще раз на ее строгий профиль и, стараясь не шуметь, вылез в окно. Миновал пустой двор, вышел на улицу, освещенную туманным светом фонарей. Дождь усилился, мимо высоких бордюров по брусчатке бежали потоки воды. Я медленно шел, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих, прячущихся под зонтами, ощущая непонятную гордость, боковым зрением замечая яркие витрины, горящие окна домов, людей, идущих поодиночке, парами, группами. На тротуаре я заметил небольшую щепку, поднял ее и бросил в поток, вдоль которого шел. Вода подхватила ее, закружила и медленно повлекла вперед. Она застревала на неожиданных отмелях, снималась с них и снова, кружась, плыла вперед: мимо оброненной кем-то монеты, лежащей орлом вверх, потерянного ключа, божьей коровки с мокрыми тяжелыми крыльями, тонкого и длинного розового земляного червяка, изнемогшего от попыток пробуровать камень, обгоревшей спички и сорванного ветром свежего березового листа...

Фонари потускнели. Чтобы не потерять из виду свою случайную лодку, я опустил на четвереньки и пополз вдоль бордюра. Полз я также гордо, как и шел до этого, все ниже и ниже опуская голову. Автомобили осторожно объезжали меня, тормозили. «Вам плохо?» — доносились до меня вопросы с тротуара и из салонов машин. Я, не поднимая глаз, качал головой, иногда громко говорил: «Мне хорошо, мне очень хорошо, мне гораздо лучше, чем вам», — и двигался дальше. Поток свернул вправо, вместе с ним повернула улица. Вдали раздавался шум падающей воды. Поток, набирая скорость, устремился сквозь чугунную решетку в темный бурлящий сток. Лодку завертело в водовороте и она, суживая круги, на мгновение застыв над бездной, почти вертикально ушла вниз. Я упал перед решеткой, протянул руки, пытаюсь просунуть их сквозь частое плетение, и закрыл глаза...

Вода мелодично журчала и, судя по звуку, постепенно наполняла стакан. Голоса, сначала неясные, стали отчетливее.

— «Скорую» что ли вызвать? — спрашивала женщина.

— погоди, — отвечал мужчина. — Сейчас мы его в чувство приведем. Эй, очнись, братан! Хлебни водички.

Я открыл глаза. Надо мной склонился шофер маршрутки и кондуктор. Водитель держал в руках пластиковую бутылку воды «Архыз» и пластиковый стакан, а женщина не выпускала из рук пластмассовую ванночку, где разделенные перегородками, лежали монеты разного достоинства.

— Не надо воды. Я просто заснул.

— Крепко спишь, брат! Видать, совесть чистая!

— Чистая...

— Ну, ладно. Точно помощь не нужна?

— Нет, спасибо. Счастливо!

— Бывай!

Я выскочил из «пазика». Позади хлопнула дверь, шум мотора стал удаляться. Сон еще жил во мне, тревожил, тормозил пробуждение. Собственно, ничего не случилось. Автобус, строго следуя своему маршруту, от одной конечной остановки до другой, привез меня из одного неблагополучного района в еще более неблагополучный. Я огляделся. Пожалуй, это место было постарше, поприметнее, поуютнее, чем то, откуда я начал свое путешествие. Вниз, к водохранилищу, уходил утопающий в зелени частный сектор, желтели здания уже забытых очертаний. Справа стояла трансформаторная будка, построенная лет пятьдесят назад, с толстыми как у крепости стенами из красного кирпича. Время, непогода, морозы и зной стесали углы, а поскольку стены были метровой ширины, будка превратилась в почти правильный шар. Ну, если быть точнее, в лежащий на боку овал. То, что раньше было крышей, поросло зеленым ежиком травы и мелких кустов. С железной двери удивленно смотрел выцветший череп, очень похожий на те черепа, которые рисуют под распятием.

Из-за кирпичной ограды какой-то старой фабрики выглядывала гипсовая голова и поднятая рука белого свежепокрашенного Ленина. Во дворе фабрики густо рос кустарник и низкие деревья и, казалось, что Владимир Ильич тонет в этой зелени, тщетно взывая о помощи.

Чуть дальше строился высотный дом. Сверху, с голубой недоступной высоты, доносились гортанные крики строителей Бухары, Самарканда и Хив. Они долго шли сюда, от оазиса к оазису, и из складок их одежды на мостовую все еще сыпался песок великих пустынь.

Вдоль проезжей части, на равном расстоянии друг от друга, были укреплены три больших баннера. С одного из них криво улыбался Брюс Уиллис. Ниже шли название российского банка и прямая речь: «Если мне нужны деньги, я просто беру их». Второй сообщал о том, что коммунистической партии Китая исполнилось 90 лет, и за это время Китай превратился в мощную развитую державу. Наконец, третий баннер предлагал всем желающим участки под застройку на берегу реки Дон. Название реки почему-то было взято в кавычки.

Прямо на тротуаре, невдалеке от меня, лежал использованный шприц. Женщина, которая медленно приближалась ко мне слегка ныряющей походкой, наступила на него. Раздался характерный хруст хитиновой оболочки. Женщина подмигнула мне правым глазом, под которым желтел небольшой заживающий синяк, и вошла в двери кафе. Несмотря на синяк и неверную походку, она была определенно хороша. В ее лице сквозили едва уловимые восточные черты. Мне захотелось услышать ее голос. Я выкурил сигарету и, пройдя несколько шагов по заштопанному свежим асфальтом тротуару, вошел в те же двери.

Полутемный зал был пуст. Справа виднелся проход на летнюю веранду. Женщина сидела там за одним из столиков, тянула из горлышка пиво и разговаривала по мобильному телефону. Собственно, никакой веранды не существовало; пластмассовые столики стояли на асфальте. Справа сидел пожилой человек. Перед ним стояло и лежало несколько одноразовых стаканов. На краю стола белела тарелка с едой, слепо обшаренная кем-то. Красную лужу на столешнице прикрывали промокшие бумажные салфетки. Старик, прищурившись, посмотрел на меня и, приглашая, похлопал ладонью по сиденью пустого стула.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Стояла чудесная тихая осень. С тех пор, как я увидел странный сон, который словно бы разделил мою жизнь надвое, прошло больше года. За это время произошли разные события — горестные, радостные и обычные.

Зимой умер Федор Иннокентьевич. На похороны съехалось неожиданно много разных людей. Кто-то, как мне помнится, прилетел даже из Соединенных Штатов: человек небольшого роста, краснощекий, очень деловитый. Мы похоронили Федора Иннокентьевича, а после похорон сидели в его большой квартире. Все на удивление быстро перезнакомились, нашли общие темы и разговаривали негромко и долго, вспоминая прежние дни и строя планы на будущее. Человек из США сообщил мне, что в один день с Федором Иннокентьевичем умер Джером Селлинджер, и мы помянули старика Джерри, глядя в окно на зимний двор и разыгравшуюся метель.

Федор Иннокентьевич оставил мне небольшой этюд Саврасова, несколько старых книг и перстень с крупным сапфиром. Я смотрел на эти вещи со смешанным чувством тоски и раздражения. Они принадлежали уходящей эпохе, а со смертью моего друга оборвались последние нити, связывающие меня с теми годами, где картина Саврасова имела не только денежный эквивалент.

Назад пути не было, а вперед идти не хотелось, тем более, что я не мог различить некоторые приметы нового времени, не находил себе места в нем,

а в будущее заглядывать не то чтобы боялся, но делал это с некоторым опасением. Я замечал, что становлюсь сентиментальным и в пьяном виде могу расчувствоваться над какой-нибудь глупой фразой или стихотворной строчкой, написанной лет сто назад поэтом, таким же пьяным и потерянным, как и я. Однако физической формы не терял, в чем лишний раз смог убедиться, когда спас молодую женщину, тонувшую в реке.

Это случилось в сентябре. Я лежал на узкой песчаной полоске пляжа и наблюдал, как женщина тихо поплыла к другому — дикому — берегу за кувшинками. Поплыла против течения, чуть наискосок, и не рассчитала сил. У нее сбилось дыхание, и она стала молча тонуть метрах в пятидесяти от песчаного пляжа. Я бросился в воду, а, подплыв к ней — нырнул, потому что она уже опускалась на дно, увидел ее глаза и широко открытый рот: она покорно глотала речную воду. Ее спутники опомнились и бросились в реку, неумело гребя и поднимая тучи брызг, но я уже вытаскивал ее на противоположный берег.

Женщина пришла в себя и прижалась ко мне, вздрагивая и всхлипывая. Я знал, что сейчас к ней возвращаются цвета этого мира, его запахи, что она начинает ощущать тепло моего тела. После этого случая мы познакомились, подружились и часто встречались. Нам было хорошо и легко вместе. Я дорожил дружбой с ней, как чем-то родным, неожиданно найденном в чужом мире...

Другие события и происшествия последнего времени были незначительны. Они приходили и уходили, не оставляя в моей душе ни малейшего следа.

Жил я все это время словно сопровождаемый какой-то тихой привычной печалью, когда-то ушедшей, но вернувшейся вновь. Не то, чтобы под знаком беды (мне казалось, что все беды я уже знаю наизусть и наперед), но в предчувствии большой долгой скуки. Кое-кто говорил, что это предвестие наступающей старости, но я не верил словам.

Я постоянно, честно и искренне, делал то, что завещал мне Федор Иннокентьевич. И хотя поиски мои были безуспешными, я не унывал, веря, что удача рано или поздно улыбнется мне, но иногда переставал понимать, в чем же заключается эта удача. Сомнение то и дело подкрадывалось сзади, заставляя все чаще оборачиваться и пристально вглядываться в мир, оставшийся за спиной. Даже не сомнение, а какое-то другое чувство или мысль. Пожалуй, это была боязнь найти искомое. Однако процесс поиска я остановить не мог, он становился важнее цели. И это уже не зависело от меня.

В один прекрасный день я поймал себя на мысли, что мне хочется посмотреть на все, что происходило со мной, со стороны. На то, как я встречался с самыми разными людьми, как эти люди слушали меня, как говорили глупости и высказывали гениальные мысли, сами о том не подозревая. Посмотреть, куда приводило меня чутье, как я шел по ложному следу, как по моему следу шли за мной. Как куда-то в неведомые дали, бросали меня то гнев, то печаль, то жалость.

Желание, в конце концов, стало настолько сильным, что после недолгих, но мучительных раздумий, я сел за сочинение пьесы. Конечно, это событие было для меня удивительным, тем более, что в своей жизни я не писал не только пьес, но и вообще никаких прозаических или поэтических произведений. Но слова все-таки ближе, чем краски или музыка. Не оперу же мне сочинять, посудите сами. Пьеса, кроме всего прочего, была, как говорил один мой знакомый губернатор, «прельстительна» еще и тем,

что в ней принимали участие живые люди. Совсем как в жизни. А кино, по словам незабвенного Федора Иннокентьевича, представляло собой лишь «картинки, проецируемые на стену». И, наконец, меня пленил своей простотой рецепт написания пьес, предложенный одним умным человеком: «что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует».

Итак, работал я примерно месяц, поставив себе задачу показать неделю своей жизни и тех людей, которые повстречались мне за это недолгое время. Всего лишь неделю, причем, наверное, не самую радостную, не самую яркую, не самую удачную. В день выходило по одной — две страницы, пока я не понял, что пьеса, как сказал все тот же умный человек, вырастает из картинки, которую вдруг вспоминаешь. Допустим, ночной южный сад, где в темном жарком воздухе трещат цикады, а на скамье за столиком сидят двое и смотрят вниз на огни порта. Или узкая, мощеная булыжником улица старого города, по которой медленно, касаясь рукою стен, движется молодая прекрасная девушка. А больше ничего и не нужно, все остальное придет само.

Поставив точку, я, конечно, перелистал пьесы известных драматургов, со всеми их действиями, явлениями и картинками, и поразился тому, насколько похожими на мои оказались описания героев полуторавековой давности: «женщина средних лет, одетая изящно, но смело и не по летам», «молодой человек, порядочно образованный». Как, в сущности, мало надо, чтобы оживить людей и заставить нас поверить в то, что они действительно живы.

Пьеса была написана. Пришло время выбирать театр, что оказалось проблемой более сложной по двум причинам. Во-первых, я понимал, что не всякий режиссер возьмется за мою пьесу, поскольку режиссеры бывают разные. Иные ведь и без декораций обходятся. А тут надо незаметно взять кусочек моей жизни, аккуратнейшим образом перенести его на сцену, на полтора часа заставить забыть человека, что это его жизнь, дать ему возможность оценить все происходящее и также незаметно вернуть этот кусочек обратно, чтобы не нарушать естественного хода событий. И актеры нужны соответствующие, чтобы смогли прожить за полтора часа неделю чужой жизни, независимо от того, нравится она им или нет.

Во-вторых, с театром у меня складывались очень непростые отношения. Я не фанатичный поклонник этого благороднейшего искусства, театры посещаю время от времени, но самое удивительное это то, что ни один спектакль я не смог досмотреть до конца по независящим от меня причинам.

Началось все это в самом нежном возрасте на спектакле «Семафор открыт» в Центральном детском театре. Когда главный герой, Шура Тычинкин, сказал, что покрасил петуха зеленой краской, я очень сильно расстроился и, покинув зал, вышел в фойе, где меня ждали родители.

Лет в тринадцать, слушая вместе с одноклассниками оперу «Олеко Дундич», я, наоборот, рассмеялся, услышав, как белогвардейский генерал, выхватив из ножен шашку, зашел: «Арестовать его-о-о!». Остановиться я не мог, и классная руководительница вывела меня под смех зрителей.

После первого действия спектакля «Телевизионные помехи» я направился в буфет и не нашел в себе сил вернуться обратно.

В театре на Таганке женщина, сидевшая рядом со мной, сделала мне предложение, от которого я не смог отказаться, и мы ушли, не досмотрев спектакль «Послушайте!».

По ходу действия «Дяди Вани» я предпринял попытку выйти на сцену и принять участие в пьесе. Этого сделать мне не дали и полутемными коридорами вывели на улицу, под мелкий и холодный осенний дождь.

С дипломного спектакля «Плутни Скапена» в Щукинском училище, куда я пришел по приглашению студентки-выпускницы, меня попросил уйти пожилой профессор, заявив, что я мешаю актерам, передавая им свое нервное напряжение.

Зал МХАТа, где давали «Свои люди — сочтемся», я покинул внезапно, сам не понимая почему, без всяких видимых причин, после слов Фоминишны «Дура я, дура! Холодный-то поросенок совсем из ума выскочил!».

В Ялте, на какой-то антрепризе, известная актриса потеряла сознание и непременно упала бы со сцены, если бы я не успел буквально поймать ее, вскочив с кресла в первом ряду. Спектакль прекратили, а я до утра отпаивал актрису коллекционным хересом в ее номере, в «Ореанде».

В Ленкоме, на спектакле «Вор» с Евгением Леоновым меня ошибочно арестовали в первом действии, приняв за опасного преступника, надели наручники и при гробовом молчании и зрителей, и Евгения Павловича вывели из зала под стражей.

В Большом, перед началом «Аиды», я встретил своего бывшего однокурсника, который на тот момент являлся заместителем министра безопасности одной из латиноамериканских стран. Мы долго разговаривали, прислушиваясь к арии Радамеса, доносящейся из зала, улыбаясь друг другу и вспоминая канувших в небытие товарищей юности...

Одним словом, присутствовали некоторые опасения и складывались определенные сложности с выбором театра. Процесс грозил превратиться в извечную русскую историю с рукописью, запертой в ящике письменного стола, и спасительной мыслью о ноосфере, где, как известно каждому россиянину, знающему имя автора «Степного волка», хранятся все гениальные мысли, опубликованные, набранные на компьютере, написанные от руки и пришедшие в голову утром с похмелья. Причем ноосфера представляется при этом чем-то вроде хорошо посещаемой публичной библиотеки для представителей элиты духа.

Понимая, что ситуация не имеет рационального решения, я поступил проще, а именно пошел в тот театр, который находился ближе всех остальных к моему дому.

Я отдал рукопись заведующему литературной частью и через неделю телефонным звонком был извещен о том, что со мной хочет встретиться главный режиссер театра «Глобус» Юрий Петрович Донов-Доненко.

В назначенный день и час я сидел в кабинете, и пока его хозяин, извинившись, заканчивал телефонный разговор, незаметно рассматривал окружающий меня интерьер и самого Юрия Петровича. Стены кабинета были увешаны афишами, страницами газет и картинами, из которых мне запомнились две: репродукция «Крика» Мунка в богатой золотой раме и в узком черном багете олеография с картины художника Гау с крупно пропечатанным названием: «Великие князья Александр Александрович (будущий император Александр III) и Алексей Александрович (в платье девочки) детьми в саду, с козой в упряжке».

Режиссер — человек с мягкой темной бородкой и неожиданно светлыми волосами — мне понравился. Кроме того, меня всегда удивляло, как мужчины и женщины со столь схожими фамилиями нахо-

дят друг друга в этом мире и почему их не удовлетворяет одна из них. Я раздумывал, как бы поделикатнее спросить об этом Юрия Петровича, но в это время он закончил разговор и с улыбкой посмотрел на меня.

— Ваша пьеса заинтересовала меня, хотя я сразу понял, что вы впервые беретесь за перо, — сказал он. — Моя задача — с помощью различных драматургических приемов сделать образы героев ярче и колоритнее. На репетициях присутствовать я бы вам не советовал, приходите ближе к концу работы. И, Алексей Петрович... Измените имена героев произведения. Категорически требую! Я понимаю, что, давая им эти имена, вы никого конкретно не имели в виду. Но сходство с фамилиями известных всей стране людей может вызвать нездоровый ажиотаж. Так что, подумайте. А что касается главного героя, мой вам совет — дайте ему свое имя и фамилию. Тогда ваше желание посмотреть на все происходящее с вами со стороны, будет исполнено с потрясающим эффектом, уверяю вас.

Я согласился с этими предложениями. Ни к чему больше у Юрия Петровича претензий не было, а мое желание использовать в пьесе музыку Стравинского, Равеля и Led Zeppeлин, он считал даже интересным.

Изменив имена героев в кабинете режиссера и оставив свой опус господину Донову-Доненко, я пошел домой, размышляя по дороге о разных пустяках, а через несколько дней взял билет на самолет и отправился к благословенным берегам Фороса, где меня ждал запах мидий, водорослей и кожи, пропитанной мягким сентябрьским солнцем...

Глава вторая

В конце октября я сидел в буфете театра «Глобус» и пил кофе с коньяком. Начало генеральной репетиции по каким-то причинам задерживалось. Недалеко от меня за столиками расположились актеры театра и в ожидании репетиции вели оживленную беседу.

Они сидели в костюмах и гриме, и было ясно, кому досталась та или другая роль. Осеннее солнце сквозь широкие окна безжалостно освещало лица, пластиковые столешницы, не очень чисто подметенный пол. Актеры и актрисы обсуждали мою пьесу.

— Нету там никакой интриги, — говорила средних лет женщина в черном. — А без нее скучно играть. Дон-Дон, конечно, сделал все, что мог, но я так и не поняла, о чем пьеса.

— Дело не интриге, — махнула рукой ее белокурая соседка в короткой юбке. — Фамилия автора и героя одна и та же. С ума сойти! Я не верю, что все это было в действительности. Не может с человеком такого случиться! Аллегории какие-то. Символы! А Дон-Дон нам говорил, что это реальные события в жизни автора. Надо же, Россию по запаху ищет!

Она рассмеялась, и кофе из чашечки выплеснулся на стол.

— А кто он, кстати? Автор-то? — спросил импозантный мужчина в бархатном пиджаке.

— Не знаю, кто-то с улицы. Мне эта фамилия неизвестна, — ответила молодая женщина. — А тебе, между прочим, не мешало бы знать. Ты же его играешь.

— Я спрашивал у Дона, он не сказал. Говорит, на премьере познакомишься... А ты знаешь, шутки шутками, а я последнее время привыкаться ко всему стал.

— Ну, и что?

— Да ничего. Много незнакомых запахов. Чем-то пахнет, а чем — не пойму. Раздражает.

— По запахам, наверное, можно ориентироваться лучше, чем по зрению. Глаза обманут, а запах нет. В жару в маршрутку сядешь, когда после работы домой едешь, — не ошибешься, в каком ты государстве Мельпомене служишь. Опять же парфюмерный магазин или общественный сортир с закрытыми глазами найдешь.

— По логике вещей герой должен сойти с ума, — промолвил пожилой запущенный мужчина с бородкой. — Как парфюмер у Зюскинда. Или вот еще есть рассказ у Шекли. Называется «Запах мысли». Там на одной планете, как представишь себе запах дыма, например, так сразу начинается лесной пожар. А когда этого астронавта нашли...

— Так, может, он представил себе запах России, она и возникла? — перебил его атлетически сложенный молодой человек в камуфляже.

— А какой у России запах?

— Для каждого свой, наверное.

— Так Россия у него не возникла, а ушла.

— Чушь все это! — решительно заявила блондинка. — Увижу автора, сама ему скажу, чем пахнет его пьеса!

— Думаю, его пьеса пахнет деньгами. Сборы будут хорошие. Нюхом чую, — сказал пожилой оборванец под общий негромкий смех.

— Кстати, по поводу чутья и нюха, — обратилась к присутствующим женщина в черном. — Я в Интернете прочитала, что Матюшенко нюхала кокаин.

— Чепуха!

— Точно вам говорю. Перед публичными выступлениями. Так что сейчас ей трудно приходится.

— Жалко ее. Пропадет она в заключении.

— Не пропадет. Выпустят, куда они денутся. А с другой стороны, каждый человек должен отвечать за то, что сделал. Как говорят испанцы, бери, что хочешь, но плати за это.

— Ага! Что же это она одна за всех отвечает? А у нас многие ответили? Тоже один сидит, за всех заплатил!

— А все-таки, как же она там, без кокаина?

Этого я выдержать не мог и, допив кофе, произнес:

— Ничего она не нюхает.

— А вы откуда знаете? — спросила блондинка.

— Знаю.

— А вы что же, знакомы?

— Знаком.

— И давно?

— Года три.

— И как же вы познакомились?

— Как вам сказать... Довольно странно.

— Расскажите. Все равно нам делать пока нечего.

— Вы не поверите.

— Может, и поверим. Почему вы решили, что мы такие неверующие? Мне, например, режиссер говорит: поверь, Серафима, твое появление на сцене в голом виде, вытекает из логики пьесы. Я верю.

— Вы будете ходить по сцене голой?

— Ну, не совсем. Сначала он решил, что совсем. Есть там один мо-

мент, когда героиня подбегает к окну. Но я отказалась. Сошлись на топ-лес. Приглашаю вас на репетицию.

— Спасибо. А это что же за пьеса такая? «Гроза», что ли?

— Нет, не «Гроза». Ставим мы сейчас одного современного драматурга. Некто Нарышкин. Называется пьеса «По собственным следам».

— Это дефиле к окну — реминисценция из «Земли» Довженко. Помоему, гениальная находка. Но Бог с ней, с пьесой, вы про Тимошенко расскажите, — попросил пожилой мужчина.

— Извольте, — сказал я, взял стаканчик с коньяком, стул и переместился за столик актеров.

— Причиной знакомства послужила моя любовь к морю.

— Чем же оно вам так нравится? — спросила блондинка.

— Это самое безопасное место на земле.

— Вот как? А какое море?

— Любое. В нашем случае — Понт Эвксинский.

— Черное, что ли? А на других морях вы бывали?

— Бывал. И на Средиземном, и на Тирренском, и на Андаманском, и на море Лаптевых. И на многих других. Ну, так вот. Я люблю подолгу плавать.

— Подолгу — это как?

— По несколько часов. Иногда целый день. Иногда целую ночь.

— А-а-а... А вы, собственно, кто?

— Я эксперт по поведению человека в водных средах.

— Серафима, не перебивай, — сказал пожилой оборванец.

— И в этот раз, будучи в Форосе, я надел непромокаемый рюкзак с необходимой одеждой, термосом с кофе и бутербродами, и после обеда не спеша отплыл с городского пляжа. Место было для меня незнакомым, и поэтому я старался запомнить особенности побережья.

— А одежда зачем?

— Затем, что обратно, как правило, приходится добираться пешком... Я удалился от берега метров на триста и поплыл вдоль неповторимых крымских скал.

— Очень одиноко, наверное, одному?

— Почему же одному... Меня приветствовали туристы с прогулочных теплоходов. С рыбаками пообщался, у дайверов на плоту отдохнул... Когда я спрыгнул с плота, уже стемнело. Плыву мимо скалистого берега, ориентируюсь на огни слева. Миновал ограждения, которые ставят на закрытых пляжах. Смотрю — сверху светлое здание, а невдалеке — ступени причала, прямо в воду спускаются. Правда, меня немного удивили военные катера с включенными прожекторами на рейде.

Проплыл я уже двенадцать или тринадцать километров и решил, что пора выбираться. Поднялся по ступеням на пирс, и столкнулся с человеком в строгом черном костюме. Он ни малейшего удивления не проявил, коротко кивнул мне, протянул большое желто-голубое полотенце и говорит: «Опаздываете».

Мы прошли по дорожке, поднялись еще по одной лестнице, миновали дворик и вошли в приоткрытые двери какого-то большого здания. Мой провожатый провел меня по длинному коридору, остановился у закрытой дубовой двери, коротко постучал и жестом пригласил меня войти. Я шагнул через порог. Вижу массажный стол, на нем лицом вниз лежит загорелая белокурая женщина. Простыней по пояс укрыта. Дверь за мной

закрылась, женщина повернула голову, и я узнал в ней премьер-министра.

Вот, собственно, так и произошло знакомство. Все быстро объяснилось. Оказывается, она отдыхала в своей резиденции, и в этот вечер ждала нового массажиста. Охрану предупредили, что этот мастер прибудет морем, так как любит перед сеансом поплавать. Не знаю, что с ним случилось. Очевидно, не смог приехать. И меня приняли за него.

— Как же вы вышли из положения? — спросила пожилая женщина.

— Очень просто: рассказал всю правду. Мы долго беседовали, причем должен сказать, что собеседница она превосходная, и вообще очень милая и приятная женщина.

— А потом?

— Потом мы выпили чаю. Я дня два погостил в резиденции, и уехал в Форос.

— А как же массаж?

Блондинка задала этот вопрос и посмотрела на меня со странным выражением.

— Я, конечно, сделал ей массаж.

— А вы умеете?

— Умею.

— Ей понравилось?

— Насколько я понял, понравилось.

— Она не предложила вам занять должность личного массажиста?

— Нет. Она попросила на другой день дать ей несколько уроков плаванья.

— Вот о чем бы написать пьесу, — мечтательно сказала блондинка, глядя в окно. — Как вы думаете, какова я была бы в этой роли?

— Думаю, вы справились бы с ролью, — ответил я.

— А о чем вы говорили? — обратился ко мне нищий.

— О России и Украине. О геополитике. Об особенностях наших характеров. Об украинской литературе. О запахах.

— О запахах, — повторила Серафима. — О запахах... Значит, вы эксперт... как там... по поведению в воде? А что вы, собственно говоря, делаете в театре?

— Как видите, пью коньяк.

— Я знаю, кто вы! Вы господин Нарышкин! Драматург вы, вот кто! Послушайте, напишите пьесу про вашу встречу! Первое действие разворачивается в форосской резиденции, второе — в Кремле, где подписывается контракт, третье — в тюрьме! В финале герой, преодолев бурное ночное море, устраивает побег! А вас сыграет... Вот, Скрипкин!

— Это уже граф Монте-Кристо. И куда, по-вашему, господин Скрипкин приплывет, преодолев бурное море? В харьковскую колонию? Да и потом, разве нет других героев?

— Таких нет. Во-первых, она женщина. Во-вторых, экс-премьер большой страны. В-третьих, особа авантюрного склада. Это героиня эпохи Ренессанса!

— Так вы поверили в эту историю? Такое, по-вашему, может произойти?

— Конечно! Вы рассказали с такими подробностями, что не поверить невозможно. И потом, всегда видно, врет человек или нет. Если он, конечно, не актер. А вы, по всей видимости, не актер...

— А почему вы думаете, что со мной не могло случиться того, что происходит в моей пьесе, которую вы репетируете? Да и какая вам разница, было это или я все выдумал?

В это время в боковых дверях появился невзрачный мужчина в странной бархатной толстовке и отчетливо произнес:

— Прошу всех в репетиционный зал!

Вслед за ним вошел Юрий Петрович Донов-Доненко и, улыбаясь, обрattился непосредственно ко мне:

— Алексей Петрович! Рад видеть вас! Я смотрю, вы уже познакомились с актерами. Это радует. А вот, кстати, ваша пьеса с моими незначительными изменениями.

Он протянул мне пачку листов с убористо набранным текстом. Мимо меня в зал прошла Серафима и на ходу шепнула:

— Я вам отвечу на ваш вопрос. Позже. Встретимся после репетиции в кафе, за углом...

Уже сидя в бархатном кресле, я начал просматривать рукопись.

«Действующие лица:

Алексей Петрович Нарышкин, человек лет 40-45, в стильных очках, щегольски одетый.

Слабаз Александрович Сапелько, интеллигентный старик лет 70, дужка очков закреплена скотчем, одет бедно, но чисто.

Лада, женщина лет 30, в солнцезащитных очках, одета вызывающе.

Агитатор, человек без имени, студент, в круглых очках, в джинсах и футболке с надписью «Pereat mundus et fiat justitia».

Иван Иванович, старик лет 70, с явным деревенским выговором.

Баба Шура, старушка лет 70-75, в платке, одета во все черное.

Полисмен.

Охранник.

Официантка.

Нищий.

Идиот со второго этажа.

Мальчик лет пяти.

Священник.

Действующие лица остались теми же, если не считать появления охранника, до этого отсутствовавшего. Нищего я не помнил. Может быть, в моем варианте он присутствовал, а может быть, нет. Кроме этого, изменилась надпись на футболке студента. Я поместил там формулу Больцмана, иллюстрирующую процесс возрастания энтропии в замкнутой системе. Латинское же изречение, которое использовал режиссер, показалось мне несколько претенциозным.

Меж тем занавес разошелся, и я увидел на сцене декорации первого действия, которые были явно скуднее, чем у меня. Не было трансформаторной будки с черепом, не было баннеров, не было гипсового, утопающего в зелени, Ленина. Летняя веранда недорогого кафе была. Был нищий, сидящий недалеко от входа, на улице, и что-то мастеривший из палочек и веревочек. Пластиковые столы и стулья. За одним из столиков Лада, разговаривает по телефону и тянет пиво из бутылки. За другим — Слабаз Сапелько. На веранду входит Алексей Нарышкин, оглядывается. Сапелько хлопает ладонью по сиденью пустого стула. Нарышкин кивает и садится.

Глава третья

Сапелько. А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?.. Служить изволите?.. Ну! Это же пароль! Где отзыв?

Нарышкин. Да знаю я этот отзыв: нет, учусь... Довольны? Работаю я, а не служу.

Сапелько. Где же?

Нарышкин. Не где, а кем... Ищейкой..

Сапелько. И что же ищете?

Нарышкин. Россию...

Сапелько. Аллегорически, надо понимать?

Нарышкин. Буквально. По запаху ищу.

Сапелько. И поиски привели вас именно сюда?

Нарышкин. Нет, здесь я случайно. *(Бросает взгляд на женщину за столиком).*

Сапелько: А я, можно сказать, постоянный посетитель. Недалеко живу, внизу. Бывший археолог. Сейчас на пенсии. Нет сил сопротивляться агрессии общества, поэтому я здесь. Сапелько, Слабаз Александрович.

Нарышкин. Нарышкин, Алексей Петрович. Бывших археологов не бывает. Тянет порыться в земле?

Сапелько. Нет. Боюсь что-нибудь не то откопать. С определенного момента стал опасаться прошлого.

На веранде появляется мокрый с головы до ног молодой человек. С него капает. Он озирается, словно не зная, что делать дальше. Наконец, нерешительно подходит к столику.

Агитатор. Извините, можно попросить у вас сигарету?

Нарышкин *(протягивает ему пачку сигарет).* Да вы присаживайтесь, молодой человек... *(Наливает водку в стакан).* Обращаясь к Сапелько: Спросите у него пароль.

Сапелько. Осмелюсь узнать: служить изволите?

Агитатор. Нет, учусь... Ну, и подрабатываю...

Сапелько. Где же, если не секрет?

Агитатор. Да не где, а кем. Агитатором...

Сапелько. Вот как. За кого же изволите агитировать?

Агитатор. За цивилизованную демократию. Меня, правда, за эту агитацию уже хотят из института выгнать...

Сапелько. А где же ваши агитационные материалы?

Агитатор. *(Смотря в сторону).* В водохранилище сбросили. Все листовки, все газеты... Какие-то люди в черном... Политические противники, наверное. Или анархисты.

Сапелько. А вы, стало быть, листовки спасать кинулись?

Агитатор. Да нет. Меня вслед за ними сбросили. Еле выплыл. Хорошо, что очки спас... Я, наверное, вашему разговору помешал? Можно я с вами тихо посижу?

Нарышкин. Сидите, пейте, обсыхайте. Только почему же тихо? Если есть желание, присоединяйтесь к разговору. Полицию вызвать?

Агитатор. Не надо. Может, они правы. А я не прав. Может, они хорошо сделали. *(Торопливо).* Я, правда, не знаю, кто прав, кто нет. И что хорошо, а что плохо — разобрать часто не могу. Послушаю кого-нибудь, — вроде, хорошо. Послушаю еще кого-нибудь, — не очень. А сам не могу

понять. Понимаете, убежденность во мне отсутствует. Ничего определенного не могу выразить по очень многим вопросам. Нет ничего, о чем я могу быть с уверенностью сказать: я в это верю. Я, знаете, даже не могу понять иногда, хорошо я себя чувствую или плохо. Физически, я имею в виду. Меня в воду сбросили, как щенка, а я в своих правах не уверен... А вы говорите, полицию.

Сапелько. Да, тяжелая у вас жизнь... *(Обращаясь к Нарышкину)*. Но, возвращаясь к запаху... Что же это за аромат такой?

Нарышкин. Не могу сказать. Человек, который спустил меня с поводка, умер, к сожалению. Объяснил, что России на том месте, где она должна быть, уже нет. Она ушла. Куда — неизвестно. Рассказал, зачем ее надо искать. А тайну запаха никому выдавать не велел. Так что, угадывайте сами. Есть на этот счет какие-либо соображения?

Агитатор. Круто!

Сапелько. Да, пожалуй, есть. Расскажу одну давнюю историю. Кстати, она ответит на вопрос, почему я не люблю углубляться в прошлое... Вели мы как-то раскопки неподалеку, в пойме реки, лет сорок с лишним назад. Я тогда аспирантом был. Искали следы бабаевской культуры. Была такая во втором тысячелетии до нашей эры. Бронзовый век.

Агитатор. А зачем искали?

Сапелько. Ну, как зачем? Чтобы доказать, что три с половиной тысячи лет назад здесь, в двух шагах от нас, существовала развитая культура, ремесла, дома. Жили люди, которые пришли сюда из современной Сибири... То есть, наш край всегда был обитаем. Ну, вот... Копали быстро, торопились. Потому что буквально через месяц или полтора вся пойма нашей речки должна была превратиться в водохранилище. Ночами копали. И вот роюсь я в земле. Смотрю, явные следы человека. Темные круги. Значит, столбы стояли когда-то. Забор был. Цветная глина — остатки печи. Черепки... Преподаватель, будущий академик, кстати, подошел, спрашивает: «Видишь: забор, печь, остатки утвари?». Отвечаю: «Вижу». Он мне: «Вот они, следы бабаевской культуры». Я ему: «Нет, культуры не вижу. Значит, пришел человек, поставил забор, сложил печь, наколотил черепков — вот тебе и культура?». Он мне: «Смотри внимательно». Тут луна из-за туч вышла. Я представил себе печь, дом, забор, будущую диссертацию. Говорю: «Теперь вижу».

Агитатор. Вот-вот... То вижу, то не вижу. То верю, то нет...

Сапелько. Копаем день, другой, третий... А надо сказать, что туалет мы, как положено, не поставили. Бегали в лесок, неподалеку. И вдруг — неожиданная весть: угроза эпидемии холеры. С юга двинулась в наши края. Комиссия к нам едет с проверкой. А у нас сплошная антисанитария. Что делать? Естественно, уничтожить следы пребывания. И вот мы с утра с лопатами в лес. Прекратили раскопки бабаевской культуры и начали закапывать собственное, извиняюсь, дерьмо. По всему лесу крики: «Это твое! Нет, мое вон там, под сосной! А это — профессора! Пусть он сам идет, закапывает!». Копаю и думаю: через века археологи будущего обнаружат наши экскременты (а они до-о-лго в окаменевшем состоянии сохраняются), определят их возраст и решат, что был в двадцатом веке в России на территории нашей области некий культ продуктов человеческой жизнедеятельности. А лес служил местом ритуала. Если же идеи Фрейда до тех времен доживут, то и базу можно подвести: мол, поклонялись богатству, разбрасывая на большой территории всякое дерьмо в достаточном количестве. С тех пор я стал копаться в земле с осторожностью,

а потом и вовсе перестал. Мы же не знаем, какие были у древних побуждения... Ну, ладно, закопали, поставили новый туалет, которым, кстати, так и не успели воспользоваться. А через неделю и этот сортир, и бабаевскую культуру, и наши захоронения, и несостоявшуюся эпидемию холеры залило водой. Теперь здесь просто акватория, в которую, как видите, сбрасывают агитаторов. Покрытая ряской цветущая гладь... Кстати накрыло водой и мою любовь, тоже несостоявшуюся, как и эпидемия. У нее были губы, как у Анджелины Джоли, хотя ни о каком силиконе и понятия тогда не имели...

Агитатор. А культуру эту, бабаевскую, нашли? Была она здесь?

Сапелько. А вам какая разница?

Агитатор. Если нашли, не так одиноко будет жить.

Сапелько. Тогда уж живите со скифами и сарматами. Эти точно здесь были... Нашли условно бабаевскую культуру.

Нарышкин. Это как понимать?

Сапелько. А вот как наш юный друг. Хотите верьте, что она была, хотите не верьте... Так вот, с той поры Россия у меня ассоциируется с определенным запахом...

Агитатор. Это с каким?

Сапелько. С запахом воды, конечно. Воды, которая скрывает все... А вы что подумали? Нет. Россия — это запах воды. А вот то, что осталось после ее ухода, если верить Алексею Петровичу, — это запах дерьма.

Агитатор. Вы хотите сказать, что это запах цивилизованного демократического общества, которое мы строим?

Сапелько. Строить мы, может, и строим, только что-то очень не похожее на первоначальный проект. В чем заключается ваша демократия? В том, что медперсонал больниц забирает лекарства, которые покупают пациенты, и колет им физраствор. Или в том, что к умершему человеку приезжает не врач, а милиционер, заставляющий обезумевших от горя людей искать среди ночи понятых и допрашивающий их об обстоятельствах смерти?

Агитатор. Это частные случаи. А вы хотели, чтобы демократию построили за десять лет? Америке понадобилось на это два века! А какой у них до этого был беспредел! Сплошной бандитизм!

Сапелько. Как вам, однако, мозги прочистили... У них бандитизм, а у нас семьдесят лет социализма. Это несравнимые вещи, юноша. Что у нас в девяностые было? Не бандитизм? Однако хватило ума справиться. Поняли, что богатеть можно и другим способом. Бандитизм — это инстинкт. Дело в другом. Посудите сами, как могут построить цивилизованное демократическое общество люди, чьи отцы и деды жили в государстве, где душили демократию и свободу с 1917-го года, да еще и уничтожали всех несогласных физически? А все, или почти все, в лучшем случае молчаливо соглашались со всем этим безобразием. Такого гомункула, как советский человек, не знала история. Это искаженная психология и уродливое восприятие мира... Ошибка наших реформаторов заключалась в том, что они судили о народе по себе. А этого в нашей стране делать ни в коем случае нельзя. Поэтому не рынок и демократия перестроили отношения в нашей общности, а общность замечательным образом обустроила и рынок, и демократию под себя. В итоге получился Советский Союз, вывернутый наизнанку. Вот такие подсознательные дела из нас поперли с приходом демократии... Сами говорите, что вас в воду сбросили со всеми вашими листовками.

Агитатор. А что же вы предлагаете?

Сапелько. Восстановить сословия. Каждый должен жить в своей среде и заниматься своим делом. Кто — служить, кто — пахать, кто — думать. А то ведь, обратите внимание, как только студент начинает агитировать, а крестьянин заниматься бизнесом — через время происходит какая-нибудь гадость. Да и властям станет легче. А то они, бедные, растерялись: на кого опираться, от чьего имени говорить? Вы как думаете, молодой человек?

Агитатор. То, что они растерялись, — это их проблемы. Они знали, на что идут. Я, например, во власть не рвусь, потому что не люблю ответственности и не знаю, как решать проблемы. А если идешь — надо знать. Иначе что там делать? Воровать?

Нарышкин. Себя вы к какому сословию причислите, Слабаз Александрович?

Сапелько. Себя, Алексей Петрович, я уже никуда не причислю. Я — балласт. Живу по инерции, проматываю старое советское наследство. На мой век его хватит. Они вот (*кивает на Агитатора*) чем жить будут? Ничего нового ведь не создают...

Агитатор. Проживем как-нибудь. Советское наследство закончится — возьмемся за русское. Оно большое... Подождите! Вы же, Алексей Петрович, сказали, что Россия ушла. Какой же смысл что-то создавать, сословия восстанавливать? Где все это будет происходить? В какой стране?

Сапелько. Так Алексей Петрович нам ее найдет. Возьмет след — и мы за ним по пятам...

Женщина, которая до этого, жестикулируя, разговаривала по мобильному телефону, поднимается и направляется к столику.

Нарышкин. К нам идет дама... Пароль у нее спросите.

Лада. Лада меня зовут...

Сапелько. Э-э-э...

Лада (*предваряя вопрос*). Нигде не служу и не учусь. Вообще не люблю работать. Ровно год, как меня уволили, и с тех пор я счастлива. Самое классное достижение нашей демократии — возможность не работать. Поэтому я отдаюсь инстинктам... А, может, подсознанию.

Нарышкин. Почему вас уволили? Да вы присаживайтесь.

Лада. По политическим мотивам. Депутата укусила.

Нарышкин. А чем же вы зарабатываете на жизнь?

Лада. Телом и воровством... Я тут услышала про запах России. Красиво. Только не верно. У России нет запаха. Вкус есть.

Нарышкин. Это какой же?

Лада. Так я вам и сказала! (*Обращаясь к Агитатору.*) А у вас очки какие круглые... Это под кого закос? Под Джона Леннона или под Гарри Потера?

Агитатор. Это очки моего папы, у него такой же минус, как и у меня. А под кого он косил, я не знаю.

Лада. Вам, значит, близорукость по наследству передалась? А еще что?

В кафе входит полисмен. Озирается, медленно подходит к столику.

Полисмен (*обращаясь к Агитатору*). Вас в воду сбросили?

Агитатор. Меня. А что, нашли этих придурков?

Полисмен. Их искать не надо, это чиновники городской управы, вполне лояльные граждане. К ним вопросов нет, вопросы есть к вам. Вы что кричали, оказавшись в воде?

Агитатор. Не помню.

Полисмен. Зато люди на берегу помнят. Вы задержаны. Прошу следовать за мной.

Нарышкин. А, может, мы как-то решим этот вопрос? (*Кладет в карман Полисмену купюру*).

Полисмен. Может, и решим (*обращаясь к Агитатору*). Ладно, освобождаю вас под залог.

Агитатор. Это сейчас так называется?

Полисмен. Именно так. Не смейте допускать подобного впредь! Хотя... Что с вас взять? Таких, как вы, как сказал писатель Чехов, надо душиить в колыбели.

Сапелько. Писатель Чехов не так сказал, господин полицейский.

Полисмен. Надо уметь читать между строк, господин пенсионер. *Уходит.*

Сапелько. Это они такие образованные стали с тех пор, как начали наличие национальности у нас определять... Кстати, как у вас с национальностью?

Нарышкин. У меня есть.

Агитатор. И у меня нашли.

Сапелько. И у меня реакция положительная.

Лада. А я не отвечала на их idiotские вопросы Им, видите ли, надо знать мое отношение к реформе 1861 года!..

Глава четвертая

Рядом со мной, на бархатном кресле, лежал лист бумаги с распечатанными фамилиями занятых в спектакле актеров. Был там народный артист России Петр Скабичевский, который играл Слабаза Сапелько, была Серафима, как оказалось, Яхонтова, представлявшая Ладу, были другие актеры. Меня играл Василий Скрипкин и, на мой взгляд, играл хорошо. Да и остальные, включая охранника, мне понравились. Для меня основным критерием удачной актерской игры всегда была естественность, которая в данном случае является синонимом искренности. С этой точки зрения все были хороши, несмотря на язвительные замечания артистов по поводу моей пьесы в буфете. Вначале я опасался за госпожу Яхонтову, вспоминая ее эмоции в недавнем разговоре, но и здесь все оказалось благополучно. И режиссер, видимо, поработал, и актеры продумали свои образы, и авторские ремарки сыграли свою роль. Да, собственно, что говорить о естественности на сцене? Даже в жизни мы далеко не всегда естественны, поскольку часто пытаемся изменить собственную природу, характер, предназначение. Да мало ли что еще. Чего же мы хотим от актеров, играющих чужие роли?

Итак, Скрипкина насколько не смущал надетый на него дорогой итальянский костюм, Серафима двигалась по сцене обольстительно, даже синяя изоленга на дужке очков Слабаза Александровича была старой. Я постепенно настроился на нужную волну восприятия и, вдыхая запах пыли и хороших духов, ждал, когда герои пьесы начнут пьянеть.

В зале сидели люди, приглашенные на премьеру: чиновники, журналисты, кто-то еще. Не могу сказать, что они мне мешали, но я был дово-

лен, что сижу один в ложе, и никто, в том числе актеры, не видят меня. Правда, ощущения я испытывал странные, словно бы подглядывал.

Между тем события шли своим чередом, и первое действие подошло к концу...

Нарышкин. Надо посещать места, где, возможно, сохранился запах, и оттуда начинать поиски.

Лада. А как вы найдете эти места?

Нарышкин. Интуитивно. Одно из таких мест я собираюсь посетить сейчас. *(Официантке)*. Такси вызовите, пожалуйста! Кто со мной? Будет интересно. Да и долги кое-какие надо отдать.

Сапелько. Я с вами. Не хочу возвращаться домой. Вернее, не могу уже. Хотя большой вопрос, надо ли отдавать долги. Развитие нашего государства основано на непогашенных долгах. Когда они будут отданы, мы прекратим свое существование. Куда нужно ехать?

Нарышкин. Недалеко.

Агитатор. Я больше здесь не могу! Тошнит меня здесь! Возьмите меня с собой!

Лада *(поет)*.

А мне все равно, куда и зачем,
Лишь бы отправиться в путь!
А мне все равно, куда и зачем,
Лишь бы куда-нибудь!

Выпивку гарантируете?

Нарышкин. Гарантирую.

Официантка. Такси ждет вас у входа.

Все выходят из кафе. Официантка смотрит им вслед. Слышен звук отъезжающей машины.

Официантка. Да что же это такое! Деньги с них забыла взять! Заслушалась! *(Вошедшему Охраннику)*. А ты куда смотрел?

Охранник. Я за порядком смотрел, а не за деньгами. Деньги и порядок — две разные вещи. Понимаешь, Нюша? Там, где начинается порядок, заканчиваются деньги, и наоборот.

Нищий. Не беспокойся, я отдам. Сколько там?

Официантка. Смотри, потом не вернешь.

Нищий. Верну! С процентами верну...

Надевает на руку веревку, двигает пальцами, и деревянная марионетка начинает ходить и размахивать руками...

Сцена потемнела, исчезло пространство и остановилось время. В плавном течении жизни наступил короткий перерыв. В темноте кто-то закашлялся, потом негромко рассмеялся. Потянуло сигаретным дымом. На низком столике стояла открытая бутылка коньяку, несколько рюмок, нарезанный лимон. Я выпил, закурил и стряхнул пепел в большую стеклянную пепельницу, оставленную здесь специально для меня.

Рождался свет. Сначала он был тусклым, словно сумерки, потом очертания предметов стали отчетливее, яснее и, наконец, на сцене засиял летний ленивый полдень. Началось второе действие.

Двор между двумя «хрущевскими» пятиэтажками. Пластиковые окна, тарелки, антенны. Липы и рябины, в палисаднике цветы. На веревке сушится белье. Посреди двора деревянный стол и две скамейки. Рядом вкопанные шины, изображающие клумбы, в них окурки и бутылки из-

под пива. Чуть в стороне кучка пожилых женщин на скамейке у подъезда. За столом сидит **Иван Иванович**.

Нарышкин (*входя во двор, обращается к спутникам*). Вот здесь прошло мое детство, волею судьбы! Невольно к этим берегам... А, может, и не влечет. Все то же и те же...

Все разбредаются по двору, закуривают. Нарышкин и Агитатор садятся за стол, открывают бутылку.

Нарышкин. Здорово, Иван Иванович!

Иван Иванович. Здорово...

Нарышкин. Как жизнь?

Иван Иванович. Живем помаленьку... А ты чего спрашиваешь? Чего приехал?

Нарышкин. На тебя посмотреть. Где жил, вспомнить.

Иван Иванович. А чего тебе на меня смотреть?

Нарышкин. Да так... Постарел ты, Иван Иванович.

Иван Иванович. Да и ты не молодеешь...

Нарышкин. А помнишь, как вы тут на гармошке играли, частушки пели? Помнишь, ты своих детей русскому языку учил? Пьяненький был, а они из школы пришли, начали тебя спрашивать, как слова правильно пишутся. А ты им говоришь: мебель пишется «небель», а кроссовки — «красотки».

Иван Иванович. Не помню...

Нарышкин. А помнишь, как ты мне в детстве уши крутил?

Иван Иванович. Значит, было за что.

Нарышкин. Нет, не поэтому. А знаешь почему?

Иван Иванович настороженно молчит.

Нарышкин. Ненавидел ты меня и моих родителей классовой ненавистью. Ну, они тебе тоже не симпатизировали. Чужие мы были в этом вашем колхозе. Это же надо, вы всей деревней приехали в город, а мы оказались чужими... Я помню, ты тогда двух слов не мог связать. Да и сейчас, я гляжу, не связываешь... Молчишь? Правильно делаешь. Ты зачем вообще жил, Иван Иванович?

Иван Иванович. Не твоё дело... Детей растил.

Нарышкин. И где твои дети? Один в тюрьме, насколько мне известно. Другой, вон, дома торчит. Внуки тоже есть?

Иван Иванович. Правнуки.

Нарышкин. Как же вы тут все помещаетесь?

Иван Иванович. Помещаемся. Да и расползаемся, чтоб ты знал. Сашка, вон, в Москве, Юрка... этот... как его... в Думе. Ванька Куцев в управе. Вовка — бизнесмен... Понял?

Нарышкин. Понял. Бизнесмен. Как и его мамаша. В советское время самогон варила на продажу. А потом, когда демократия пришла, наркотой торговать стала... Нравится тебе демократия, Иван Иванович?

На балконе второго этажа появляется Идиот — толстый, с оплывшим лицом, безволосый, мучнисто-белый. Он начинает раскачиваться из стороны в сторону и кричать высоким горловым голосом.

Нарышкин. Жив еще? Я его с детства помню, не изменился. Сколько же ему лет?

Иван Иванович. Не знаю. Может, семьдесят. А, может, сто. Все такой

же. И орет, орет... Разговаривать научился, вот что. Два слова говорит: «начинается война». По часу может повторять. Сил нет. А вроде привыкли. Вроде как свой...

Нарышкин. А Сережа-дурачок?

Иван Иванович. Этот пропал... Когда ж? В 91-м и пропал. А тут недавно объявился. В шапке зимней, на лыжах, как ране... Им все равно — советская власть или еще что. А мне демократия нравится, раз спросил.

Сапелько. Чем же?

Иван Иванович (*долго, удивленно-тупо смотрит на Сапелько, потом как бы узнает*). Да тем, что она моя, а не твоя. Понял?

Сапелько. Почему же это она ваша?

Иван Иванович. Потому, что мы берем помаленьку. Нам советская власть право дала. Немного, а дала. И демократия тоже немного. А нам много не надо. Что есть, тем пользуемся. Машиной какой-никакой, компьютером этим, в Турцию ездим, по телевизору баб голых смотрим. Окна вон пластиковые. Не требуем мы, чего не положено. Это вам много надо. Сами не поймете чего. Вот вам хрен что и дают, американские пособияки.

Сапелько. При чем здесь Америка?

Иван Иванович. При том. Сейчас кто нас хочет уничтожить? Америка. А в 90-е кто руку приложил? Тоже Америка. А такие, как ты, ей помогали. (*Возвышает голос*). Чайный народ ты не знаешь!

Сапелько. Да я вроде как тоже представитель народа. И у меня они тоже есть. Что же делать, если мои, как вы говорите, чайния, на определенном отрезке времени совпали с чайниями американскими? Отказываться? А вы, что же, обратно в Советский Союз хотите?

Иван Иванович. А я оттуда никуда не уходил. Я в нем до сих пор живу.

К столу подходит мальчик лет пяти, стриженный наголо, серьезный, с игрушечным кнутиком в руках. Иван Иванович кладет руку ему на голову.

Иван Иванович. Верно говорю, Колька?

Мальчик. Пошел в жопу! (*стегает Иван Ивановича кнутиком*).

Нарышкин. Тебя, Иван Иванович, наказать надо. Только вот как? Наверное, так, как городская шпана наказывала деревенских, когда те появлялись не там, где надо.

Иван Иванович. Бить будешь?

Нарышкин. Нет.

Иван Иванович. Высечешь, что ли?

Нарышкин. Ну, зачем же так углубляться в историю. Они их заставляли спичкой мерить улицу. Ну, Бог с ней, с улицей. Меряй периметр этого стола и вычисляй его площадь. Если не знаешь как, я тебе помогу.

Иван Иванович. Не бойсь, знаю. А зачем?

Нарышкин. Потом скажу. (*Встает, протягивает Иван Ивановичу коробок спичек*). Держи!

Иван Иванович меряет спичкой стол. Тридцать на двадцать...

Нарышкин. Ну вот... В спичке четыре сантиметра. Итого?

Сапелько. Сто на восемьдесят!

Лада. Пифагор! Сто двадцать на шестьдесят!

Иван Иванович. Сто двадцать на восемьдесят. Дальше что?

Нарышкин. Ничего. Будешь теперь знать, что стол, за которым ты

полвека играл в домино, имеет площадь девять тысяч шестьсот квадратных сантиметров. Меньше квадратного метра.

Лада. Ну и наказание!

Иван Иванович. (*Багровеет, встает, злобно смотрит на Нарышкина*). Ах, ты!..

Нарышкин. Уймись, старик!

Сапелько. Ничего не почуяли, Алексей Петрович?

Нарышкин. Нет...

Сапелько. И не почуете! Пора ехать отсюда. Мертвое место.

Лада. Гиблое.

Нарышкин. Не мертвое и не гиблое. Скорее законсервированное на всякий случай. Обратите внимание, все эти депутаты, бизнесмены и чиновники — они же нигде не уехали. И их дети, висящие в пустоте нулевых и не имеющие аутентичности, тоже здесь. И внуки. Их словно что-то или кто-то не отпускает отсюда. Почему?

Сапелько. Если направить их развитие по привычному вектору, они распространят эту пустоту, которая окончательно накроет любую территорию, и отгородит ее от всего мира лучше любого железного занавеса. Про запас, выходит. Нельзя их трогать и менять до поры. Помните, Алексей Петрович, к нам вернулись староверы из Боливии, где прожили почти век? Они ведь не отдавали своих детей в российские школы.

Нарышкин. Староверы умные ребята. А вот эти сами до такого не додумаются. И они не бездействуют. Они, как щелочь, разъедали все вокруг, растворяли в себе. Их не взяли никакие реформы, никакие изменения. Они хранят для кого-то безвременье... Иван Иванович! Кстати, а как у тебя дела с национальностью?

Иван Иванович угрюмо молчит.

Нарышкин. Так я и думал. Отсутствует. Действительно, пора ехать. А где наш агитатор?

Агитатор. (*Внезапно появляется, отряхиваясь от голубинового помета*). Я здесь! Алексей Петрович! Я понял, почему Россия могла уйти! Вот смотрите. Ведь в Советском Союзе были разные республики. Но государство-то одно! А Таджикистан, допустим, отличается от Эстонии гораздо больше, чем Австрия от Германии. А Молдавия от Туркмении больше, чем, скажем Швейцария от Исландии. Ну, какая страна такое потерпит? Вот она и ушла. Все и посыпалось, как карточный домик.

Нарышкин. Хорошо, но сейчас бывшие республики стали суверенными государствами. Можно бы и вернуться, вы не находите?

Агитатор. Кубань отличается от Сибири больше, чем Бразилия от Чили, а Казахстан от Сахалина больше, чем Польша от Чехии.

Нарышкин. Спорный вопрос. Так что вы предлагаете? Вернуться к Московскому княжеству?

Агитатор. Почему бы и не вернуться?

Сапелько. А почему вы такой грязный?

Лада. То мокрый, то грязный...

Агитатор. Я вон в том дворе голубятню обнаружил! Интересно! Вот и измазался. Всякое новое место оставляет на мне свой след! Вот какой я уникальный человек!

Лада. А на мне любое место никакого следа не оставляет! Я тоже человек уникальный. Куда дальше, Алексис?..

Глава пятая

Откуда взялся этот «Алексис» и почему героя надо было называть таким странным именем, я не понял. Однако не только это вселило в меня определенные подозрения. Я внезапно осознал, что в пьесе зарождается некая любовная интрига, в сюжете преобладает тема поиска, а финал грозит мне какой-то трагической развязкой. Все это чувствовалось, как приближение грозы. Я с тревогой и некоторым любопытством ожидал появления полулюбленной Лады в третьем действии и никак не мог сосредоточиться на том, что происходит на сцене. К тому же мне мешал какой-то невнятный, но достаточно эмоциональный разговор, доносящийся из комнаты отдыха, расположенной за дверью ложи. Он становился все громче, и я невольно прислушивался к нему, пытаюсь поймать тему.

— У тебя зимой сосульки с крыш падают, а летом балконы! Тогда вешай табличку: «При падении сосулук и балконов эта сторона улицы наиболее опасна!». Ты понимаешь, что нас скоро горожане повесят вот на таких шарфах, как у тебя, и петлю завязывать не надо будет! — почти кричал странно знакомый голос.

Собеседник что-то глухо бубнил в свое оправдание.

— Какие детские площадки?! Какие дворы?! Разве у небоскребов могут быть какие-то дворы?!

Снова глухое бормотание.

— Значит, уходи в себя и там, внутри, устанавливай справедливое устройство, покоряй Эверест и помогай, кому хочешь! Мир, видите ли, сошел с ума! Мир вокруг тебя нормальный! Ты этому миру не соответствуешь!

— Не надо политики, — вмешался еще один голос, обладателя которого, судя по хамской вежливости разговора, можно было определить, как непростого жителя столицы. — В России эффективно не работает ни одна политическая модель. Речь не об этом, а о концептуальном подходе. Лицо города узнаешь сразу, как лицо человека. Лет тридцать назад ваш город как раз был человеком узнаваемым. Сейчас вы ему сделали неумелую пластическую операцию. Исчезли морщины, родимые пятна, шрамы. Мысль во взгляде исчезла. Осталась маска...

Я встал и открыл дверь. В комнате за низким столиком, на котором стояла точно такая же, как и у меня в ложе, и у актеров на сцене, бутылка коньяку, сидели в креслах три человека. В одном из них я с удивлением узнал мэра нашего города. Он пристально смотрел на полноватого, потного человека с повязанным на шее пестрым шарфом. Третий, которого я определил как москвича, с удивлением взирал на меня поверх очков.

Я слегка поклонился всем троим и прижал к губам указательный палец. Мэр протянул руку ладонью вперед в успокаивающем жесте.

— Концепцию обсуждаем, — объяснил он мне, не вдаваясь в подробности, и обратился к своим собеседникам. — Там репетиция идет, а мы тишину нарушаем. Это автор пьесы, по всей видимости. Там у него Россию по запаху ищут.

Потный пестрый шарф посмотрел на меня осуждающе, а москвич, тонко усмехнувшись, промолвил:

— Слышал, слышал. Ну и как? Найдут?

— Нет, не найдут, — сказал я и, еще раз поклонившись, вернулся в ложу. Второе действие подошло к концу...

Нарышкин. (*Говорит по мобильному телефону*). Такси? Девушка, за пределы города поедет?.. Километров двести пятьдесят... Нас четверо... Я оплачу обратную дорогу...

И снова потемнела сцена, исчезли персонажи и декорации. Я следил за спектаклем все с большим трудом, с недоверием, что-то упуская, отвлекаясь на посторонние мысли. Разное вертелось в голове. И сожаление о том, что я все-таки не написал либретто к опере, и слова мэра о несоответствии окружающему миру неизвестного мне человека в пестром шарфе, завязанном скользящей петлей. Настораживало, что посторонние люди слышали о моей пьесе, вспоминался Федор Иннокентьевич. И совсем уже не к месту вставал перед глазами берег Иравади под мутной, плавающей во влажном звенящем ночном воздухе луной Юго-Восточной Азии. Когда я преодолевал порожистую в верховьях реку, моей руки коснулось что-то скользкое. Это был иравадийский дельфин. Странно, что он заплыл так далеко, туда, где уже не чувствовались приливы Индийского океана и речная вода пахла предгорьями Гималаев, местом своего истока...

На сцене меж тем появилась большая комната деревенской избы. Беленая печь. Деревянные стены, лампочка под пожелтевшим от времени абажуром, белые занавески закрывают нижнюю половину трех окон. Мебель накрыта салфетками, углами вниз. На стене в углу икона в окладе — Спас на престоле. На других стенах репродукции из журнала «Огонек» советских времен: «Над вечным покоем» Левитана и «Новый Иерусалим» Лентулова. Отрывной календарь, часы. Вдоль стен — лавки. За круглым столом на венских стульях сидят **Нарышкин, Слабаз, Лада, баба Шура**. На столе сковорода с жареной картошкой, простокваша в глиняных горшочках, крупно нарезанный хлеб, сало. В окнах — солнечное утро.

Баба Шура. Как спали?

Нарышкин. Спасибо, Александра Герасимовна, замечательно спали.

Баба Шура. Зови бабой Шурой. Не привыкла я к Герасимовне. Все Шурой звали, пока молодая была, а потом сразу бабой Шурой. Все так звали, кто ни останавливался. А у меня всегда все останавливались. Почитай, лет пятьдесят уже. И шоферы, и студенты, и ученые, и партийные. Как кто приедет, председатель их ко мне на постой. Почти все потом письма писали. Последние годы, правда, никого не было... Так что бабой Шурой зовите. Ты-то как спала, Ладушка? Ведь на улице!

Лада. Я сама захотела, баба Шура! Ни разу на сеновале не спала. Красота! Воздух свежий, мыши шуршат, звезды сквозь крышу видно! А под утро Федька-пастух пришел, охальник!

Баба Шура (*удивленно*). Какой Федька-пастух?

Лада. Шучу я, баба Шура!

Баба Шура (*смеется*). Вот озорница! Я ночью вставала, проводывала вас. Умаялись, без задних ног спали. Один мальчонка ваш чуть свет вскочил. Горшок простокваши съел и убежал.

Нарышкин. Куда?

Баба Шура. Ох! Могилку обихаживать.

Сапелько. Какую могилку?

Баба Шура. Пока вы спали, он у меня расспрашивал, что тут да как. Я ему все и рассказала. Район-то у нас дальний и село глухое, от центральной усадьбы в стороне. Немцы к нам не дошли. Все нетронуте. Избы уж второй век стоят. Только церковь в двадцатые разорили. Ну вот... А

недалеко могилка. Лет восемьдесят как комсомольца кулаки застрелили, Пашу. Его с почестями и похоронили за садом. Там и митинги проходили, и про войну объявили там, и в праздники собирались. На Первомай, на ноябрьские, на Пасху. В семидесятые уже оградку разорили, венки перестали приносить и место это забыли. Сейчас один холмик остался, неприметный. Ваш мальчонка как услышал про это, говорит: пойду в порядок приводить. Я ему лопату дала, грабли, ведро, показала, где песочку взять, где дерну нарезать. Он и убежал.

Нарышкин. Как вернется, плетень вам поправим. Я вчера видел, совсем завалился. А о чем ваши постояльцы вам писали, баба Шура?

Баба Шура. Да обо всем. *(Достает из комода пачку писем, перебирает)*. Вот от Ивана, шофером работал летом, на уборочной, пятьдесят девятый год. «Здравствуй, баба Шура! Сообщаю тебе, что у меня все нормально, даже больше. Женился я! Жена умная, красивая, готовит хорошо. Правда, до твоих блинов ей далеко...». А это... От кого же? Саша, тетка мой! Студент. Свеклу они здесь в семьдесят восьмом, в ноябре, убрали. «Тетя Шура, добрый день! Сообщаю, что по распределению уезжаю в Ташкент, в редакцию республиканской газеты. Буду в отпуске, обязательно приеду...».

Нарышкин. Приезжал?

Баба Шура. Нет, куда там! Хороший парень был, веселый. А то выйдет в сад, закурит, задумается и стоит целый час, на церковь смотрит. А вот от Вадима, курсант был. Распределили их по избам. Они вдвоем с дружкой своим у меня жили. «Баба Шура, я жив и здоров. А друг мой Вовка погиб, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане. Нет больше Вовки. Помнишь, баба Шура, как он на гитаре играл и пел?...». *(Вытирает уголком платка слезу)*. А это от Модеста Петровича, ученого. За сорок восьмой год. «Шура! Можешь меня поздравить! Та ветка ольхи, порожденная березой, которую я нашел в вашем лесу, и колос ржи, выросший на пшеничном поле, произвели настоящий фурор на кафедре растениеводства нашего института. Приезжали товарищи из ВАСХНИЛ, сказали, что защита кандидатской диссертации — вопрос только времени...». Ох, да что это я! Задерживаю вас. Завтракайте, да бегите по делам. А я вам вечером блинов напеку.

Сапелько. Да у нас, собственно, дел особых нет. Мы, с вашего позволения, баба Шура, пойдем прогуляемся, потом вам по хозяйству поможем.

Баба Шура. Дел нет? А зачем же вы приехали? Вы ничего не подумайте, я вам рада. Просто узнать хотела, что вас сюда привело. Вы и вправду необычные какие-то, не определяю я вас. И имена у вас...

Нарышкин. Баба Шура, все мы вам расскажем со временем. Если не стесним, поживем. Может несколько дней, может неделю. Как получится. И заплатим, сколько надо.

Баба Шура. Живите на здоровье. Да и не в деньгах дело. Только не просто ж так вы приехали.

Нарышкин. Не просто так. А что у нас за имена такие?

Баба Шура. У тебя, Алексей Петрович, имя хорошее. Алексей — Божий человек. Я не знаю пока, правда, Божий ты или еще какой, но имя светлое. У Ладушки — имя древнее, не православное, но красивое, как и она сама. У вас, Слабаз Александрович, имя чудное, я такого не слышывала. После революции по-разному назывались, может, и ваше прозвище оттуда. Но года у вас не те. И позже, когда Хрущев был, тоже имена брали смешные. У нас, помню, Ваня Смыков сына Догнат-Перегнат назвал.

Америку тогда мы догоняли и перегоняли. Но сынок, как вырос, так по-другому записался. Александром. А мальчонку вашего как зовут, я и не поняла. Что ж вы его — то Агитатор, то молодой человек? Его же родители как-то нарекли...

Нарышкин. А, действительно, как нашего Агитатора зовут?

Сапелько. Я не удосужился узнать. А вы, Лада?

Лада (*поедая простоквашу*). И я не удосужилась. Я его называю Котиком, моим другом, ежиком, Ромео, поросенком, Хулио.

Сапелько. Что еще за Хулио?

Лада. Да какой угодно Хулио. Иглесиас, Хуренито, Кортасар... У меня, между прочим, мобильник сел, а зарядки при себе нет.

Нарышкин. Я думаю, у всех сел.

Сапелько. А у меня его и не было никогда...

Баба Шура. Это вы про телефон? (*Извиняясь*). Телефона у меня не имеется. И телевизора нет. В восемьдесят девятом сломался, так я и не купила. Только радио вот. (*Поворачивает регулятор громкости*).

Голос диктора. Уважаемые радиослушатели, сегодня в передаче «Забытые мелодии» я, Дмитрий Бухарский, расскажу вам о легендарной британской группе «Свинцовый цеппелин». Группа была образована в 1968 году в Лондоне. Ее основатели — Роберт Плант, Джимми Пейдж, Джон Пол Джонс и Джон Бонэм — изобрели собственное звучание: утяжеленный гитарный драйв, пронзительный вокал, виртуозная ритм-секция. Общий тираж альбомов составил 300 миллионов экземпляров. В 1995 году «Свинцовый цеппелин» был введен в зал славы рок-н-ролла, а в 2005 — награжден премией Грэмми за выдающийся вклад в мировую музыкальную культуру. Позже я расскажу подробнее об истории группы, а сейчас предлагаю вам послушать одну из самых известных композиций «Кашмир». Надо сказать, что Роберт Плант, сочинивший ее в 1973 году, никогда не был в Кашмире, как и никто другой из группы. Музыка он написал, будучи в Сахаре. Некоторые считают Кашмир индийским штатом, но это, скорее, территория, разделенная между Китаем, Индией и Пакистаном, и, в общем, никому не принадлежащая, а для Роберта Планта, по всей видимости, и не существующая. Вы поймете, что я хочу сказать, из русского перевода текста композиции. Смысл весьма туманен и перевод достаточно волен. Звучит это примерно так: *«И что я вижу, все бурлит, ведь солнце жжет, отнюдь не греет. Теперь глаза мои с песком на дне, когда я побывал в несуществующей стране, пытаюсь найти, куда же идти. О, штурман шторма, что не оставит следов, как мысли среди сна, веди меня дорогой к месту моих снов — пустыни где волна. Мой Шангри-Ла лежит под летнею луной, вернись и я в твой мир, как пыль возносится в июне кутерьмой и пролетает сквозь Кашмир...»*

Звучит музыка. Каждый слушает по-своему: баба Шура улыбаясь, Нарышкин напряженно, Лада, продолжая есть простоквашу, Сапелько, закрыв глаза и уронив голову на грудь, словно заснув. В комнату входит Агитатор.

Агитатор. Баба Шура, я там умывался и часы в колодец уронил. Можно достать?

Баба Шура. Нет, сынок, не достать часов. Глубокий колодец. Там уже лет сто серебряная ложка лежит, сабля и вставная челюсть деда Михея. Она у него в восемьдесят четвертом году вывалилась. Ничего не достать оттуда...

Глава шестая

Я прекрасно помнил этот момент, когда возбужденный, потный и перемазанный в глине мальчишка вбежал в избу с криком: «Я часы в колодец уронил!». За окнами потемнело, небо закрыла серая летняя туча, предвестница затяжных осенних дождей. Тогда я подумал, что нам придется пережить здесь и осень, и долгую зиму, но оказался неправ. Все, кроме одного из нас, ушли оттуда...

Агитатор не жалел о часах. Он, как человек сугубо городской, опасался, что из-за этих оброненных часов в колодец перестанет поступать вода. Об этом он потом рассказывал сам. А баба Шура, действительно, перечислила упавшие в колодец предметы, ничего больше. Здесь же актер вошел в комнату медленно и сказал об утерянных часах с каким-то скрытым смыслом. Актриса же, игравшая бабу Шуру, рассказала о ложке, сабле и челюсти таким образом, что всем стало ясно: в колодце утонуло благополучие, война, сытая жизнь, а теперь еще и Время. Все эти символы, конечно же, были прозрачны, ясны и мне, и режиссеру, и актерам и всем присутствующим в зале. И спектакль мне все еще нравился, но от него веяло уже не тревогой, но явной опасностью, природу которой я пока не понимал...

Баба Шура. Забыли про нас, а оно и лучше — к Богу ближе.

Лада. Баба Шура, а ты в Бога веришь?

Баба Шура. Верю, Ладушка.

Лада. А почему ты думаешь, что он есть?

Баба Шура. Потому, что ад на земле много раз устраивали, а вот рай устроить ни у кого не получилось, как ни обещали.

Лада. Баба Шура, а тебе сколько лет?

Баба Шура. Ой, много.

Нарышкин. Видели много?

Баба Шура. Много, Алексей Петрович, хоть и сижу всю жизнь на одном месте.

Нарышкин. Все помните?

Баба Шура. Все помню.

Нарышкин. Ушла от нас Россия, баба Шура?

Баба Шура. Ушла, сынок.

Нарышкин. Когда?

Баба Шура. Лет шестьдесят тому. В шестьдесят первом году июнь жаркий стоял, не приведи Господь. У нас тогда рабочие церковь под склад перестраивали, так один от жары этой умер... И вот, в один день, к обеду, потемнело все. Туча пришла, черная, страшная, с градом, с ветром. Быстро по небу плыла, как самолет. Я почувяла что-то, под дождь выбежала, вверх смотрю, руки протягиваю, словно удержать хочу. А тучи-то уже и нет, солнышко выглянуло. А мне так пусто, так одиноко. Плакала я долго. Вот, думаю, это она ушла. И ведь если бы одна, так нет. Она же из каждого свою частичку забрала, опустошила людей.

Нарышкин. А почему ушла? Куда?

Баба Шура. Почему — не могу сказать, не знаю. А куда? Да никуда. Дождем пролилась, на людей разной веры, на животных, на леса, на моря. Вот они и стали добрее, на кого попало. Она, туча-то, страшная, грозная, но добрая. Вернула себя благодатным дождем... А мы все про нее песни поем, как тот, про кого по радио говорили, про этот Кошмар. План, или как его?

Агитатор. Баба Шура, ты нам сказку рассказала.

Баба Шура. Может, и сказку. Не слушайте вы меня, глупую.

Нарышкин. Как не слушать? А, может, показалось вам?

Баба Шура. Может, показалось. И жизнь вроде после этого не изменилась, все своим чередом шло. А только как-то не так. Это когда в поле, на солнце, долго работаешь, а потом в горницу войдешь, а она будто чужая, полутемная. Ты ее пустую, без себя, увидел, как бы со стороны, что ли. Или еще откуда.

Нарышкин. Я под эту тучу попал. Мама мне рассказывала. Она меня в коляске везла по городу и вдруг — град, ураган. Она в арку спряталась. Дождь быстро прошел, солнце выглянуло. А по улице река течет, зеленая, всю листву с деревьев посбивало... Слабаз Александрович, а вы где были в июне шестьдесят первого? Не помните?.. Слабаз Александрович?! *(Вскакивает, быстро подходит к Сапелько, ищет пульс, приподнимает веко, пробует разогнуть руку).*

Агитатор. Что случилось?

Нарышкин. Он умер...

Агитатор. Это точно?

Нарышкин. Точно... Баба Шура...

Баба Шура. Ой, Господи... *(Крестится).* Сейчас побегу за врачом, за участковым. Родные-то есть у него?

Нарышкин. Нет, он жил один. Он думал, что есть только прошлое, и был прав. А умер во время разговора, который не начинал. Под музыку, которой не понимал, и в месте, которое не знал. Но, по крайней мере, в процессе поиска... Не ходите никуда, баба Шура. Только за священником. Есть у вас священник?

Баба Шура. Есть, есть. Отец Евмений.

Нарышкин. Вот его и зовите. И... где похоронен этот комсомолец? Мы похороним Слабаза Александровича рядом.

Баба Шура. Да кто же позволит, Алексей Петрович...

Нарышкин. А мы и спрашивать никого не будем. Знаете, ученые долгое время ломали голову над тем, почему в Африке ни одна экспедиция не могла обнаружить останков слонов. Оказалось, что слоны сами хоронят своих умерших товарищей. Выкапывают бивнями могилы и хоронят. Им для этого не нужен никто, даже священник.

Баба Шура. Так ведь то слоны, Алексей Петрович. А мы люди.

Нарышкин. Я не призываю брать пример со слонов. Просто говорю о том, что их побуждения искренни, а действия не имеют ничего лишнего... Где доски взять, баба Шура?

Баба Шура. Доски на чердаке лежат. Хорошие сухие доски. Для себя берегла.

Лада. Правильно! Сами все сделаем! Нам, кроме батюшки, никто не нужен!..

Я никогда не думал, что так тяжело будет смотреть и вспоминать все, что происходило на сцене. Мне приходилось хоронить многих людей, в разных местах и при разных обстоятельствах, но тот день, неподатливые сосновые доски, раскисшая от летнего дождя глина и абсолютная пустота, сокровенность лужайки, где мы похоронили Слабаза Александровича, — все это нельзя было сравнить ни с чем. Батюшка поразил меня своей старостью, серьезностью и внимательностью. Он выслушал меня, спросил, был ли покойный верующим, и приступил к совершению обряда.

Место и вправду казалось каким-то заповедным: трава, заброшенный яблоневый сад, чуть дальше остатки древнего фундамента, красные кирпичи которого не искрошились от времени, а сгладились, приобрели овальную форму, будто их веками обкатывали и полировали морские волны. На ветках яблонь кое-где виднелись маленькие красные плоды. Рядом с могилой, только что приведенной в порядок Агитатором, появилась еще одна, точно также укрытая свежим дерном...

У бабы Шуры нашлись инструменты: пила, молоток, топор. Нашлись большие гвозди. Все это было старым, но надежным и удобным. Нам с Агитатором помогал священник. Он показывал размер, по которому надо было пилить доски, советовал под каким углом их сбивать. Он был спокоен, нетороплив и немногословен. Гроб получился красивый и легкий: доски, действительно, оказались сухими и опилки, падающие на землю, пахли резко и терпко.

Мы поминали Слабаза Александровича уже в сумерках. Мои руки были в свежих мозолях. Время от времени баба Шура тихо и испуганно охала и мелко крестилась, а Лада прижималась ко мне и спрашивала, не ошибся ли я, решив, что Слабаз Александрович умер. Как будто в этом можно было ошибиться. Лада задала еще один вопрос, не самый главный, но который, кстати, не пришел в голову никому из нашей четверки: почему мы ищем Россию на таком ограниченном пространстве? Ведь она могла уйти и за десять тысяч километров. Я постарался объяснить один из парадоксов, раскрывающих истинные размеры нашего мира, но она, по всей видимости, поняла его не до конца. Этот короткий разговор я почему-то не стал вставлять в пьесу...

Лада (*тихо напевает*).

Легкою стопой,
Ты приди, друг мой...

Она одна в комнате. Снимает рубашку и остается в джинсах. Подходит к окну и раскрывает раму. В комнату врывается шум летней грозы. Она ловит руками дождевые капли, проводит мокрыми пальцами по щекам. На лице появляются дорожки, словно от слез. Лада грустно улыбается. Входит Нарышкин. Лада оборачивается, он подходит к ней.

Лада. То кафе, где мы встретились, Слабаз Александрович назвал плацдармом, двор, где ты жил, тылом. А это место он не успел определить. Что это за место? Плен?

Нарышкин. Думаю, что это госпиталь, в котором залечивают раны перед отправкой на фронт. Нам еще предстоит повоювать. Поэтому не рисуй слезы на лице дождевой водой. Надо быть искренней, Лада.

Лада. Как слоны? Куда же больше? Здесь невозможно быть неискренней. Давай останемся, а? Посмотри, какое здесь небо, какая трава, какой яблоневый сад. Тут тихо, сюда не приходит ничего извне.

Нарышкин. Придет. Обязательно придет. И это место перестанет существовать. Ты пойми, его не оставят в покое, если оно не приносит выгоды. У нас ничего не существует просто так, без необходимости.

Лада. На наш век хватит.

Нарышкин. Не хватит. И потом, если ты считаешь, что это плен, как же мы будем жить в плену?..

Пьеса стремилась к какой-то определенной цели, которую я как автор не ставил. Я хотел показать процесс, не более. У меня не было ни начала, ни конца.

В голове тупо сидела фраза «цель ничто, движение все», принадлежавшая Бернштейну, напрочь потерявшему имя. В школе, на уроке истории, учитель рассказывал нам об этом ренегатском высказывании, потому что Эдуарда Бернштейна критиковал Ленин. Он называл его разными обидными словами, и надо было помнить их все. И отличница Света Киаппариди, набирая в грудь как можно больше воздуха, чтобы без запинки и паузы протараторить длинную фразу, уставившись огромными серыми глазами на историка Ивана Ильича, прекрасным, чуть хриловатым контральтовым голосом наговаривала как заклинание: «владимирильичленинназывалнемецкогосоциалдемократабернштейнаревизионистомипортугизомпотомучтоонговорилчтодвижениевсеацельничтоитемсамым»...

«А как еще Владимир Ильич Ленин называл ревизиониста Бернштейна?», спрашивал историк Свету Киаппариди, мою одноклассницу, девочку с греческой фамилией, неуправляемым характером, непростой репутацией, отличной успеваемостью и изумительной, почти африканской фигурой.

«Он называл его реформистомпотомучтоонхотелреформироватьученикакарламарксаизаставлялнемецкихрабочихотказатьсяотпролетарскойреволюцииитемсамым...», отвечала она.

Этим же вечером мы, пользуясь отсутствием ее родителей, лежали на диване у нее дома, и пили легкое вино. Света была умной девочкой. Она говорила, что одно невозможно без другого. *Цель, конечно, главное, но она не может быть достигнута без движения, которое, само по себе, тоже является целью. Каждое в отдельности. Она даже предложила посчитать движения, а мой вопрос, что по этому поводу сказал бы Бернштейн, заставил ее смеяться до слез.*

Конечно, я не проводил никаких аналогий между этим эпизодом и пьесой, просто вдруг вспомнились цель и движение, заснеженный город, заиндевшие окна просторной светлой квартиры...

Гораздо ближе к сути вопроса был разговор, состоявшийся лет двадцать назад в Ташкенте, где я застрял на некоторое время после учений на реке Чирчик. Мы сидели в уютном внутреннем дворике белого дома писателя-сатирика Ивана Саблина, пили водку из маленьких пиал и закусывали узбекской дыней. Писатель был стар, но бодр, хлебосолен и лукав. Не помню, что именно мы обсуждали, но он произнес слово «супинум».

— Это из латыни, — пояснил он. — В гимназии мы ненавидели латынь. Но мертвые языки мудры. Супинум — это особая глагольная форма, используемая для обозначения цели при употреблении глаголов движения. *Мужик гусей гнал в город продавать*. Бежал бастовать. Шел искать. И так далее...

Дальнейший разговор я не удержал в памяти, тем более, уходить из Ташкента пришлось с боем, в самом прямом смысле этого слова. Иван Васильевич наотрез отказался идти со мной, и дальнейшая его судьба осталась не известной. Но супинум засел в голове, и сейчас я опирался на него, поскольку никакой опоры больше не было. Конкретное движение к цели, которой можно и не достичь. А, может быть, достичь невозможно, ввиду ее грандиозности или иллюзорности. Именно так я обозначил бы

задачу, стоящую передо мной в процессе написания пьесы: я шел искать. Действие заканчивалось, а я шел дальше...

Агитатор. Простите, Алексей Петрович, но я остаюсь здесь. Буду у бабы Шуры жить, плетень ей поправлю, крыльцо отремонтирую. Съезжу в город, возьму «академ», а там видно будет. Если институт закончу, вернусь сюда. Я же биолог, буду селекцией заниматься или еще чем-нибудь.

Нарышкин. А как же агитация за цивилизованное демократическое общество?

Агитатор. Вряд ли оно нуждается в моей агитации.

Нарышкин. А ты, Лада?

Лада. Отвези меня в город. Буду жить, как прежде. Буду ждать, когда ты закончишь свои поиски и вернешься. Не обязательно ко мне. Просто вернешься. Знаешь, где я тебя буду ждать? В Павловом Посаде. У меня там тетка живет, на ткацкой фабрике работает. Такие платки красивые делает... Такой, знаешь, русский народный промысел... Им зарплату повысили, соцпакет, льготы всякие... Летом в санаторий... *(Отворачивается, беззвучно плачет, говорит сквозь слезы)*. А Россию не хочу искать! Не хочу! Пусть она меня ищет.

Баба Шура *(гладит Ладу по голове)*. У каждого своя дорога...

Гаснет свет. На авансцену выходит Нарышкин, подбрасывая в руке красное яблоко.

Нарышкин. Вот так, господа, я остался один. Меня можно пожалеть, надо мной можно посмеяться. Можно и задуматься о том, почему я такой. Вы вправе спросить меня: зачем ты затеял все это? Почему ты поверил? Куда же могла уйти Россия, если все, что происходило и происходит в ней остается с нами? Какую метафизическую сущность ты ищешь? Чудак. Россия вечна, это мы уходим. Один за другим. Такие разные, такие одинаковые. Нам на смену приходят другие, они пользуются тем, что оставили им мы. Они что-то делают сами. Плохое, хорошее. Разное... Можно спросить меня: тебе нечем заняться? Тебе чего-то не хватает? Можно прямо в лоб задать вопрос: кто ты такой? Идиот? Враг? Блаженный? Скучающий никчемный человек? Зомби? Какой-то ты неубедительный, Алексей Петрович, господин Нарышкин, Леха, Петрович, братан, товарищ, земляк. Расплывчатый, не цельный, то появляющийся, то пропадающий, рефлектирующий, рассуждающий не по делу, не отвечающий на прямые вопросы. С кем ты и кто с тобой?

Обо всем этом меня можно спросить. Я внимательно выслушаю и отвечу, если смогу и если захочу. Но сейчас я не знаю, что сказать вам. Я должен вернуться к своей жизни, к своим делам и заботам. Разве что... Сказать вам, чем пахнет Россия?..

Происходило что-то непонятное. Не говорил я таких слов и не писал. Я бы мог согласиться с «Алексисом», с дурацкой надписью на футболке Агитатора, с философствующими охранниками, с нищими, которые оплачивают чужую выпивку, с голой по пояс Ладой, даже с повышением зарплаты на павловопосадской ткацкой фабрике. Но я не оставался один, я никогда не спрашивал ни о чем подобном, я под пистолетом не стал бы заставлять бабу Шуру произносить эти слова: «У каждого своя дорога».

Внезапно я почувствовал, что в зрительном зале стоит гнетущая плотная тишина. Я посмотрел вниз, на людей, сидящих в первых рядах. Не-

которые из них подняли глаза вверх и в раздумье разглядывали большую старинную люстру, некоторые, наоборот, уставились в пол, иные понимающе и скорбно кивали головами, мол, да, так мы и думали, этим все и должно было кончиться...

Нарышкин. Это так же точно, как и то, что яблоко, если я выпущу его из рук, упадет на землю, подчиняясь фундаментальному закону.

Он разжимает руку, но яблоко остается висеть в воздухе. Звучит музыка Равеля. Занавес закрывается.

Я налил себе рюмку коньяку и в это время в ложу вошел Юрий Петрович Донов-Доненко. Он глубоко вздохнул, улыбнулся и спросил:

— Ну, как, Алексей Петрович?

— А кто же писал этот финальный текст? — спросил я в свою очередь.

— Текст писали эксперты, Алексей Петрович.

— Зачем?

— Я пытался спасти пьесу, внося в нее некоторые изменения, которые вы, конечно, заметили.

— Спаси от кого, Юрий Петрович?

— Скорее, не от кого, а для чего. Для того чтобы она была жива.

— И вы считаете, что на премьере публика примет все это?

В это время у меня за спиной раздался глуховатый голос:

— Не хочется огорчать вас, Алексей Петрович, но премьеры не будет. Несмотря на то, что господин режиссер пытался, как он сказал, спасти пьесу. Мы благодарны Юрию Петровичу за его усилия, но даже они не в состоянии изменить нашего решения. Это произведение не спас ни финальный монолог героя, ни эта креативная находка с яблоком.

— Это не произведение, это моя жизнь. В нее нельзя вмешиваться и вносить изменения, сколь бы креативными они ни были.

— Вот! Об этом и речь, глубокоуважаемый Алексей Петрович. Не о пьесе мы ведем разговор, а о вашей жизни.

Глава седьмая

— Разрешите представиться. Раскольников, Петр Павлович. Сразу скажу, что к силовым структурам отношения не имею, с государственной безопасностью не связан, в органах власти не служу.

— А где же вы служите?

— Алексей Петрович, вы же сами в своей пьесе писали: не где, а кем. Экспертом. Вы тоже, кстати, эксперт по поведению человека в водных средах. Так, кажется?

— На кого работаете?

— Ждете, что я скажу фразу из голливудских боевиков? Я работаю на правительство? Нет. Работаю на государство.

— Как кто?

— Как интеллектуал, пожалуй. Вектор управления слегка изменился, знаете ли.

— С каких это пор интеллектуалы запрещают премьеры пьес?

— Ну, это не запрет. И не рекомендация даже. Просто я предвосхищаю события. Через некоторое время ваша пьеса просто не будет нужна. Не потому, что она плоха. Она потеряет смысл, как и все или почти все другое, что казалось незыблемым, вечным и истинным.

— Не понимаю.

— Сейчас поймете. Мы узнали о вашей пьесе, как только вы принесли ее в театр. Юрий Петрович попытался исправить некоторые моменты, мы кое-что изменили, чтобы показать ее тем людям, которые присутствовали в зале, в смягченном виде. Это наивно, конечно. Помните: «Я хотел сказать, что это наивные вычеркивания, но промолчал»? Тем не менее экспертные заключения этих людей будут однозначны. Их мнение нам особо не нужно, да и вас вряд ли заинтересует, разве что ради любопытства посмотрите, до какой степени могут вырасти верноподданнические чувства. Их мы пригласили, чтобы они имели представление о том, чего надо опасаться. Они считают, что имеют дело с обычной скрытой политической цензурой и в любом случае сделают то, что им скажут. Карма у них такая тяжелая: всю жизнь делают то, что им говорят.

— А у нас есть те, кто делает, что им хочется.

— Конечно, есть. Я знаю двоих. Один из них вы, другой — наш Президент. Хотя, нет. Президента я, пожалуй, исключу.

— Шутить изволите. А... Юрий Петрович, режиссер?

— Он тоже думал, что мы хотим запретить пьесу из политических соображений и поэтому старался спасти ее, как мог. Талантливый человек, не правда ли?

— Да, несомненно. А вам пьеса нравится?

— Пьеса талантлива. Мы не ожидали от вас такого неожиданного шага, но постарались использовать его в своих интересах.

— Что вы от меня хотите, Петр Павлович?

— Я хочу, чтобы вы на некоторое время прекратили свои поиски.

— Это моя жизнь и я не хочу ее менять. Кроме того, я обещал...

— Эх, Алексей Петрович, вы, наверное, думаете, что мы ни о чем не догадываемся и сидим, сложа руки.

— Не думаю. Федор Иннокентьевич говорил мне об этом.

— Да... Федор Иннокентьевич... Удивительно прозорливый человек, царство ему небесное... В таком случае вы не догадываетесь о масштабах нашей деятельности. То, что Россия ушла, видно невооруженным глазом. Никакая страна не будет терпеть то, что происходит у нас. Это, во-первых. Во-вторых, люди... Вы заметили, как изменились люди? В этой ситуации существует два варианта. Есть страны, покинутые людьми. Вы же видели такие страны?

— Видел.

— А есть люди, покинутые страной. Мы имеем дело со вторым случаем. Есть еще много признаков, но долго рассказывать, да и не нужно. Над этим работает целый научно-исследовательский центр, который как раз и занимается причинами ухода, примерным временем этого события, возможным местом пребывания, формой, которую могла приобрести Россия, ну, и последствиями, конечно. Мы, правда, не знаем то, что знаете вы. Может, поделитесь, а? Алексей Петрович? Ну, что вам стоит? Чем она пахнет?

— Не могу, к сожалению. Связан обещанием. Понимаю, что в другое время вы добились бы от меня ответа на этот вопрос иными средствами...

— Хо! Да мы и сейчас можем добиться ответа любыми средствами. Масштаб цели их оправдывает. Но дело в том, что вы нам нужны живым и здоровым.

— Не вижу логики, Петр Павлович.

— Давайте по порядку. Представьте себе, что через какое-то, не очень

продолжительное время, мы объявляем: дорогие сограждане, Россия ушла от нас. Объясняем причины, следствия, минусы и плюсы. Ну, мы найдем что сказать. А на том месте, где все мы сейчас живем, мы будем строить новую страну, используя колоссальное наследство, оставленное нам, используя огромный опыт, неисчислимы природные богатства, талант народа и многое другое. Подчеркиваю, не государство будем строить, а страну. Во-первых, мы скажем правду. А это не мало, не так ли? Во-вторых, предложим, наконец, национальную идею. Приоритет такого заявления должен принадлежать нам по определению. И вот тут вы, с вашими поисками, абсолютно не нужны.

— Вы преувеличиваете мои возможности и масштаб моей личности.

— Увы, Алексей Петрович! Занимаясь написанием пьес и прочими, не относящимися к делу вещами, вы перестали ориентироваться в ситуации. Не знаю, как получилось, но слухи о вас распространяются в последнее время со страшной скоростью. И это при том, что вы не пользуетесь Интернетом. Удивительно! Вы хоть заходите туда время от времени?

— Нет. Вот уже больше года не захожу.

— Звучит, как больше года не курю. Ну ладно... Вы стали мифологической фигурой. У вас есть последователи в разных городах. Да что там городах — странах! Не могут современные люди жить в одиночестве. Им надо обязательно спланировать вокруг кого-то или чего-то. Так вот, они пока плохо организованы, но это дело времени. Однако в зародыше мы сможем притормозить все движения — мистические, религиозные, творческие. Их очень много и они разнообразны.

— Может быть, эти люди самостоятельны, и я здесь ни при чем?

— Если бы, Алексей Петрович. Все ссылаются на вас, хотя вы фигура, повторяюсь, мифологическая. Многие считают, что вы давно умерли.

— Почему же они не разыскали меня? Это не сложно.

— Разыщут, если вы не прекратите свою деятельность и не скроетесь до поры.

— До какой поры, Петр Павлович?

— Объясню. Итак, представьте, мы объявили о начале созидательной работы. Кое-кто нам не поверит. Кто-то, естественно, поверит...

— Те, у кого тяжелая карма?

— Именно. Поверят и начнут делать то, что необходимо. Кто-то запаникует. А кто-то... Что?

— Что?

— А кто-то отправится искать! Вот тут и появитесь вы. Ведите людей за собой! Ищите!

— Но вы же не выдворите людей за пределы государства. Вы-то понимаете, что поиски эти, как бы сказать, метафизические.

— Да хоть метахимические! Определенная специфическая часть людей займется определенным специфическим делом и не будет мешать остальным.

— А вам не кажется, что специфическая часть, которая мешает, хочет искать не Россию, а нечто другое?

— Понимаете, Алексей Петрович, какая тут хитрая штука... Ряд экспертов считает, что это одна и та же цель: поиски России и поиски, скажем... Ну, чего-нибудь еще. Это сложный вопрос, но вас он волновать не должен, не ломайте голову. Ведите!

— Я не хочу никого вести за собой.

— Придется, Алексей Петрович. Кому-то надо будет взвалить на себя

эту нелегкую ношу. Тем более что люди, которые пойдут за вами, будут вам близки по духу.

— То есть?

— Ну, зачем же мы, по-вашему, делили всех на козлиц и агнцев? Зачем мы несколько лет занимались определением наличия или отсутствия национальности?

— Ах, вот оно что!

— Вы удивлены? Странно. У вас очень развита интуиция. Вы же в своей пьесе расписали весь сценарий так точно, что нам пришлось слегка замазать финал.

— Каков же смысл отбора?

— Не догадываетесь? Должно уйти меньшинство. То самое, которое задумывается о ситуации, которому не нравится то, что происходит, которое все время что-то ищет. А останутся те самые, якобы малообразованные, равнодушные тупые конформисты. Попробуем пожить друг без друга. Нашему государству никогда не хватало смелости или ума отделить одно от другого. Наоборот, все время мы пытались соединить несоединимое, лишали сверчков их, так сказать, шестков. В итоге получилась такая смесь... А национальный вопрос и финансовое расслоение сделали ее взрывоопасной.

— Тяжело вам придется.

— Тяжело. С нами останутся молодые матери, выбрасывающие новорожденных в мусорные контейнеры, молодежь, находящая забвение в водке и наркотиках, рецидивисты, чиновники, тихие отцы семейств и горластые матери-одиночки, те, кто занимает не свои места, кто ценит дешевые продукты выше, чем непонятную свободу, кто понимает свободу, как вседозволенность, кто верит в справедливость, а не в закон, в силу, а не в слова, кто любит смотреть сериалы и «Кривое зеркало», кто берет взятки и сморкается на асфальт при помощи пальца. И много кто еще...

— Не проще ли навести порядок? Вместе с народом. А я бы занимался своими поисками в одиночестве.

— Проще, конечно. Но это, если страна на месте. А если ее нет, то, сами понимаете, сложнее.

— Так что же первично? Страна или люди?

— Люди.

— Значит, люди виноваты?

— Люди виноваты, Алексей Петрович. Наши дорогие, любимые, забитые, искореженные, озлобленные, агрессивные, добрые люди...

— Но это же очередной эксперимент. Я не хочу принимать в нем участия.

— Это, Алексей Петрович, для нас эксперимент. А для вас — образ жизни, который совпал с нашим экспериментом. Так что извините.

— Ясно... А почему вы не пришли раньше? Зачем столько мороки? Попросили бы меня не писать пьесу.

— Но вы ведь хотели посмотреть на все как бы со стороны. Как же мы можем помешать такому естественному желанию? Кроме того, посмотрев, вы, скорее всего, по-другому оцените и наше предложение. К обоюдному удовольствию, так сказать.

— Не вижу обоюдного удовольствия.

— Ну, мы, надеюсь, не будем опошлять наш разговор меркантильными аспектами? Не деньги же вам предлагать! Ведь вам ничего не нужно!

— Ничего...

Наша беседа проходила в небольшом скверике, на скамейке, в тени густых лип. Еще в театре, извинившись перед Юрием Петровичем и уведя меня из ложи, Петр Павлович сказал, что не хочет обсуждать серьезные вопросы в шумных местах, и отказался от моего предложения посидеть в кафе. Он пригласил меня прокатиться на катере по реке, от чего, в свою очередь, отказался я. В итоге мы выбрали полупустой сквер недалеко от театра и, постелив на скамейку газету, осторожно сели; мы оба были в белом: господин Раскольников в полотняных брюках и тонкой рубашке с коротким рукавом, я — в джинсовом костюме. И туфли у нас сияли белизной: у меня замшевые, у Петра Павловича — кожаные, с белой кожаной же подметкой.

— А в каком виде сейчас может пребывать Россия? — спросил я. — Что по этому поводу говорит ваш научно-исследовательский центр?

— Гипотез много, но ничего конкретного. Трудно осознать, что кроме чувств к родным и близким, к любимым городам и селам, к русской природе, к родному пепелищу и отеческим гробам есть что-то еще, что может покинуть нас. Мы не до конца понимаем, что это. Нематериальное образование, неизвестная энергия или некая духовная субстанция. Тут еще вы со своим запахом. Не может духовная субстанция пахнуть.

— А как в мире обстоят дела с этим вопросом? Кто-то еще ушел?

— Трудно сказать. Некоторые эксперты считают, что так называемые цивилизованные страны ушли. Не знаю, как обстоят дела в третьем мире и во вновь возникших государствах. Беда в том, что никто на нашей планете не озабочен этим вопросом кроме нас, поэтому и информации со стороны нет. Приходится нам самим делать выводы.

— Когда же произошло это событие? Хотя бы приблизительно?

Петр Павлович внимательно посмотрел на меня и внезапно в сердцах стукнул кулаком по скамье.

— Хрен его знает, когда! — сорвался он. — Во временном промежутке от 1861 до 2006 года! Целый институт работает! Почти полторы тысячи человек! Деньги тратятся — невообразимые! И хоть бы что-нибудь!.. Ну, чем она пахнет?! Что за запах, Алексей Петрович?!

Мимо нас прошла группа молодых людей. Совершенно пьяная девчушка умопомрачительной красоты, услышав последний вопрос Петра Павловича, остановилась и, глядя на него ярко-синими глазами, продекламировала:

На протяжении многих лет
Я помню ночи до рассвета.
И шум дождя, и блеск планет
И запах бархатного лета...

Она покачнулась, поклонилась и пошла дальше, время от времени оглядываясь и помахивая рукой в прощальном жесте.

— Как вы думаете, — спросил Раскольников. — Останутся они или пойдут с вами?

— Так это в зависимости от наличия или отсутствия национальности.

— Не факт, Алексей Петрович. Если человек, напившись, цитирует Блока, нам есть о чем подумать.

— Не о чем тут думать. Во время хунты в Бирме, один из военных, которого мне довелось знать, перед тем, как расстреливать этнических повстанцев, цитировал Леветоундару. Был такой бирманский поэт в восемнадцатом веке... А вы где живете, Петр Павлович?

— Живу в Казани, работаю в Москве, жена — в Калининграде, сын — в Лондоне, дочь — в Мапуту.

— Это... в Мозамбике, что ли?

— В Мозамбике.

— За негра замуж вышла?

— За негра.

— Понятно... А как же вы на работу добираетесь?

— Самолетом.

— Слишком далеко. Большая территория. Какого размера будет страна, которую вы хотите создавать?

— Что значит, какого размера?

— Ну, в границах какого времени? Не знаю, что вам больше нравится. Московское княжество после присоединения Новгорода, Твери, Смоленска, Пскова и Рязани? Русское царство Ивана Грозного с Казанью, Астраханью, Поволжьем, Сибирью? Петровские времена с Азовским и Балтийским морями? Россия к окончанию русско-кавказской войны, со всем Кавказом? Великая, Белая и Малая Россия с Польшей и Финляндией? Советский Союз с пятнадцатью республиками? Или сегодняшняя Россия?

— Оптимальный вариант — это сегодняшняя территория.

— Тоже неплохо. Жалко, что Крыма не будет.

— Любите Крым?

— Люблю.

— Значит, получите Крым. В качестве компенсации. Будете приезжать в отпуск.

— Кто знает, куда заведут меня поиски. Может быть, к антиподам? А там какой отпуск?

— Ладно, Алексей Петрович. Все, что вы перечисляли — это вопрос не территории, а внутреннего состояния. В какое время сильнее всего был российский дух, ментальность, если хотите. Хорошо, что вы не начали с Рюриковичей и великих княжеств. Шутки в сторону. Вы согласны с моим предложением?

— Да конечно, согласен. Когда надо будет возглавить исход, — звоните. И оставьте мне свои телефоны, мало ли что...

Петр Павлович вынул из нагрудного кармана рубашки визитку и протянул мне.

— Здесь казанские и московские номера.

Я кивнул головой.

— Вы сейчас куда?

— В гостиницу, отсыпаться.

Он отсалютовал двумя пальцами и неторопливо пошел по аллее к выходу. Шагов через десять его атаковала ворона, спикировав с ветки липы. Она хлопала крыльями, хрипло каркала, и, преследуя его, перелетая с дерева на дерево, выгоняла со своей территории. Успокоилась она, когда Петр Павлович, отмахиваясь руками и крича «кыш!», почти бегом покинул сквер.

— Петр Павлович! — крикнул я ему вслед. — А как вы новую страну назовете?

Он обернулся и посмотрел на меня, закрываясь рукой от заходящего солнца.

— Как народ скажет, так и назовем!

— А то, что мы найдем?

— Да решайте сами! Вариантов много!
— А российское наследство как будем делить?
— Оно давно поделено, Алексей Петрович! Люди сами сказали, что им из этого наследства надо! Никаких споров не возникнет, уверяю вас! Каждому свое!

Мы перекликались, как в лесу, не желая покидать своих мест. Я — парковой скамейки, за которой начинался крутой спуск к реке, он — границы сквера и улицы, где на него уже не могла напасть ворона. Люди начали обращать на нас внимание, прислушиваясь к странному разговору. Наконец Петр Павлович развернулся ко мне спиной, не торопясь свернул за угол, и пропал из виду.

Я закурил сигарету и рассмотрел визитную карточку. На матовой плотной бумаге были напечатаны фамилия, телефоны и строка, взятая в кавычки: *«Но во что обратишься — не ведаю, и не знаешь ты, буду ли твой...»*

Глава восьмая

Минут десять я сидел, курил и наблюдал за детьми и воробьями. Они были похожи друг на друга: непредсказуемо просты и сказочно свободны в своих тайных мирах. По аллее прошла черная кошка, брезгливо отряхивая заднюю лапу.

«Страну создать легко, государство — сложнее», говорил Петр Павлович с веселой уверенностью, хорошо знакомой мне по девяностым годам ушедшего века. Тогда многие говорили именно с такой уверенностью, цитируя римских императоров, французских королей и русских философов.

Наш разговор нельзя было воспринимать серьезно по многим причинам. Я часто был свидетелем тому, что поставленная властью цель либо забывалась в процессе ее достижения, либо не достигалась вовсе, либо достигалась другая цель, иногда прямо противоположная поставленной. Нежелание учиться ни на своих ошибках, ни на чужом опыте приводило кроме непредсказуемого результата к возникновению совершенно неожиданных последствий. В общем, власть была похожа на мужчину лет пятидесяти пяти, которого я видел несколько дней назад. Перед входом в казенное учреждение он приложил большой палец к носу и уже хотел высморкаться на свежеуложенную тротуарную плитку, но передумал и высморкался в руку. После чего открыл дверь этой же рукой и, не торопясь, зашел внутрь здания, где оформляли необходимые документы для получения социальных пособий. Вряд ли он думал в этот момент о культуре поведения или о распространении вирусной инфекции. Он просто хотел получить то, что причиталось ему по закону. Так что сценарий Петра Павловича мог развиваться как угодно и сам по себе, а мог вообще лечь на полку. Я подумал, что в этом случае господин Раскольников переживал бы, а может быть даже запил: было в нем что-то трогательное и по-детски беззащитное.

Докурив, я поднялся и неторопливо двинулся к ближайшему кафе. Войдя в небольшой уютный зал, я увидел Серафиму. Она, видимо, сидела здесь давно: на столике у окна стояли две пустые чашки с кофейной гущей на дне, два пустых фужера и высокий стеклянный стакан. В пепельнице лежало несколько смятых окурков. Серафима была необратимо пьяна.

— Вы забыли о назначенной мною встрече, господин Нарышкин, — сказала она, когда я подошел к ее столику.

— Забыл, — честно признался я. — Слишком много всего свалилось на меня сегодня.

— Но вспомнили, в конце концов? Или зашли сюда случайно?

— Случайно. Захотелось пить.

— Хорошо, что вы не врете. Так присаживайтесь и пейте. И мне закажите еще коньяку.

Я сделал заказ официанту и повернулся к Серафиме.

— Извините, что заставил вас ждать.

— Да я и не ждала. То, что вы не пришли сразу, — к лучшему. С вами я не смогла бы выпить. А мне это сейчас необходимо.

— Что случилось?

— В общем, ничего особенного. Дон-Дон сказал, что пьеса не пойдет. Это так?

— Так.

— А почему? Ему она нравилась. И многим из наших — тоже.

— Если я правильно понял — пьеса преждевременна. Есть пьесы современные, а есть преждевременные.

— Это вам сказал ваш собеседник, с которым вы сидели на скамейке в сквере?

— Откуда вы знаете?

Серафима молча кивнула на окно. Из него открывался чудесный вид сбоку на аллею, по которой я шел пять минут назад.

— Вон на той скамейке вы сидели и мило беседовали, как два пришельца в белых одеждах. Так это он вам сказал?

— Он. Но я не расстраиваюсь. Единственное, о чем я жалею, так это о вашей роли.

— Вам понравилось? Я похожа на вашу героиню?

— Похожи.

— Почему вы не пригласили ее на репетицию? Ей было бы интересно.

— Я не знаю, что она могла бы устроить. Да и, кроме того, ее местонахождение мне неизвестно.

— А как же Павловский Посад?

— Это режиссерская вольность.

— Вы были с ней близки?

— Близок? В каком смысле?

— В самом прямом.

— А, вот вы о чем... Нет. И в духовном смысле тоже, наверное, не был.

— Вы извините, что я вас так нахально расспрашиваю, но мне это необходимо. Я хочу понять, что за люди были с вами. Те, кому вы рассказывали о себе, о своей жизни. Почему они пошли с вами.

— Я никому не рассказывал о себе. А почему пошли — я не знаю. Позвал и пошли. А некоторых даже и не звал.

— Вот-вот. Меня вы тоже не звали, но я хочу идти с вами. Искать Россию.

— Зачем, Сима? Я правильно назвал вас? Серафима — это Сима?

— Да, правильно. Сима... Зачем? Я, когда прочитала пьесу, сразу поверила, что это правда. И Дон-Дон говорил, что все это с вами случилось на самом деле, что мы играем реальных людей. Кстати, это интересно — играть реальных людей. Гораздо интереснее, чем воплощать символы. Все стали символами. И Офелия, и Нина, и Катерина и даже Эстелла.

— Кто такая Эстелла?

— Это героиня одной пьесы под названием «Кубок из яйца строфокамила». Играли года два назад. Знаете, кто такой строфокамил?

— Знаю.

— Все-то вы знаете... Но я отвлеклась, простите пьяную женщину. Так вот, я поверила в то, что Россия ушла. Поверила вам не как автору, а как человеку. Понимаете?

— Понимаю.

— Мне надо ее найти, потому что иначе мне нечего любить. Знаю, чему вы улыбаетесь. У нас отечество могут любить только мужчины, это их прерогатива. Любить, спасать, проклинать. А женщины вроде как не могут. По крайней мере, они об этом редко говорят. А я вот сейчас говорю. Так что я, в отличие от вашей Лады, хочу найти Россию. Потому что если ее нет, я не могу любить никого и ничего. Я не могу любить мужчину, город свой любить не могу, людей, природу... Где же все это? В пустоте? Вот о чем вы заставили меня думать.

— Как же тогда объяснить ваши слова в буфете, перед репетицией?

— Это я нарочно говорила, для конспирации. Я думаю, что процесс такого поиска требует тайны, темноты и иносказания. Кто это говорил, не помните?

— Не помню.

— Ну и не важно. Я права?

— Наверное, правы.

— Вы берете меня в попутчики? Я вам пригожусь. Я очень неплохо знаю русскую философию.

— А вы, Сима, разве не театральный институт закончили?

— Нет. Цирковое училище и два курса философского факультета Московского университета.

Надо сказать, что из тех людей, которым я говорил о своих поисках, очень немногие предлагали мне свою помощь. Дело, как правило, ограничивалось советами, мнениями, оценкой ситуации в стране и мире. Кто-то считал меня сумасшедшим, кто-то — бездельником, кто-то — человеком, строящим политическую карьеру. Всего лишь несколько раз люди оказались заинтересованными, а их согласие разделить со мной поиски — искренним. Но в одном случае дело закончилось долгой жестокой дракой, в которой, не смотря на все свои навыки, я едва выжил, в другом — постелью, а в третьем — чрезвычайно выгодным, но крайне нечистоплотным предложением. Это было объяснимо: поиски страны воспринимались людьми либо археологической экспедицией, либо сбором информации, либо, как сегодня, неторопливым путешествием по городам и весям с посохом в руке и работами Ильина или Бердяева в качестве путеводителя.

— Понимаете, Сима, — осторожно сказал я. — Этот поиск нельзя назвать процессом. Это просто такая жизнь, ставшая поиском. Или наоборот, если хотите.

— Но ведь вы ищите? Куда-то едете?

— Не надо никуда ехать. Тут такое дело... Где бы она ни была — на дне морском, в другом полушарии, в граде Китеже — это не важно. Если ты ее найдешь, то найдешь недалеко от себя. Не знаю, как это объяснить. Наверное, ее особенностями, характером, может быть. Или тем, что некоторые люди называют особым путем, не задумываясь о значении этих слов. Если ты ее найдешь, то найдешь рядом, как бы далеко она не находилась.

- Значит, просто живи и смотри под ноги?
- Можно посмотреть и в небо.
- Ну да, образ жизни такой. А я думала, что поиски невозможны без скитаний.
- Ты скитаешься внутри себя. Это самые долгие и трудные скитания. А что, тянет?
- Тянет. Иногда кажется, что это единственное, чего мы не можем испытать в этой жизни. Но коньяк — тоже скитание... Это русская привычка?
- Скитание или коньяк?
- Скитание.
- Наверное, все люди — в душе скитальцы.
- Нет, русская. Может быть, страна ушла, чтобы мы отправились за ней вслед. Сколько можно сидеть на одном месте, перекраивая историю и географию?
- Так почему вы решили, что она ушла?
- Я смотрю на людей, слушаю их, наблюдаю их поступки. Люди забыли о прошлом, стараются не думать о завтрашнем дне. Они сконцентрированы на себе, потому что лишены опоры. Опереться им не на что, Алексей Петрович! Они ищут эту опору, не находят, падают. Кто на дно жизни, кто на асфальт с пятнадцатого этажа. Страна без людей — пустыня. А народ без страны? Гонимая ветром толпа, внутри которой продолжается какое-то злое бессмысленное движение. Внутри пусто, как в ночной зимней степи, жестоко. Там каждый думает о себе, матери бросают жизнь у стариков, калечат новорожденных еще в утробе, врут друг другу и себе, тонут в грехах и пороках.
- Так было всегда.
- Да, так было всегда и везде. Но всегда и везде страны шли вперед и тащили за собой людей. Мы не идем вперед, не пятимся назад и не стоим на месте. Нас гонит ветром. Когда Достоевский мечтал о том, как исцелившаяся Россия сядет у ног Спасителя, ее уже не было с нами. Уже тогда, там, в этой толпе, не понимали друг друга, словно боги смешали их языки. Только они не строят Вавилонскую башню. Они даже не роют яму для Тофета. Они не делают ничего.
- Слишком мрачно, Сима. Ощущение, что вы играете роль. И потом, где это «там» и кто это «они»? А мы разве не там, мы — не они?
- Конечно, нет. Мы — здесь, в кафе. Сидим, разговариваем ни о чем, пьем коньяк... Что, Алексей Петрович, не привыкли спорить с такими женщинами, как я? Привыкли побеждать бедных дурочек, говоря им умные слова и глядя вдаль усталым взглядом?.. Шучу я. Никогда не верьте актрисе, она всегда врет.
- Если не верить актрисе, то нельзя верить никому.
- Вот никому и не верьте, кроме себя самого... Дерьмовый, кстати, здесь коньяк. И скитания от него тоже будут дерьмовыми. Может, пойдём?
- В это время в зал с шумом и смехом вошла большая компания. Я узнал почти всех актеров, игравших в спектакле, Дон-Дона и москвича, который рассказывал мэру о неумелой пластической операции. Сам мэр вошел чуть позже и в дверях отдавал какие-то распоряжения директору заведения.
- Я не хочу их видеть, — шепнула мне Серафима.

Мы сидели в углу, за большим фикусом в керамической кадке. Рядом за стойкой скучал бармен. Я кивнул ему, и он, оценив ситуацию, приподнял крышку. Мы скользнули за стойку, прошли, пригнувшись, и свернули в узкий коридор. Бармен грациозно проскользнул вперед и открыл дверь черного хода. Я сунул ему в руку несколько купюр. Мы с Серафимой, столкнувшись плечами, протиснулись в дверной проем и оказались в небольшом дворике, заросшем кустами сирени.

Мне давно не было так хорошо. Волнующий, уже почти ночной, летний ветер как всегда обещал раскрыть все тайны. Небо мягко темнело над головой, спрятав ненужные надоедливые звезды. Запахи города — подвалов, бензина, пыльной листвы — стали острее. Их постепенно приглушал запах приближающегося летнего дождя, капли которого почти незаметны и неуловимы июльской ночью. Горящие окна домов были слегка размыты легким туманом. Время словно бы остановилось. Можно было идти в любую из четырех сторон: везде у тебя на пути виднелись хорошие знаки, правильные приметы и неожиданные в своих поступках люди.

Мы вышли из дворика и оказались в аллее сквера. Нет ничего красивее, чем кроны лип, подсвеченные горящими фонарями, словно хранящими в своей памяти свечной желтый огонь, и пульсирующим голубым сиротливым рекламным неонов. Ради этого тоже стоило жить. Как и ради многого другого: детей, строящих песочные города, шума серебристых тополей в ночных летних дворах, любимых женщин, домов, обладающих вековой памятью, трещин на асфальте, сквозь которые пробивается трава. Живи спокойно, на твой век хватит. Но если жизнь твоя висит в пустоте, тебе придется нести все это на плечах, изнемогая под тяжелой ношей, защищать, отплевываясь кровью и залечивая раны, и терять, роняя слезы на осеннем безнадежном ветру. Если исчезла внутренняя связь, скрепляющая все воедино, — тебе не поделить, не сохранить, не ощутить и не передать.

Никто не скажет, когда ушло все это, когда ушла страна. Страны умнее людей, населяющих их. Они понимают загодя любую мелочь, и причиной их ухода не обязательно становится война, революция, голод или террор. Достаточно было малой причины, приведшей к этим последствиям: тихой смерти от передоза, слова, брошенного невпопад, оставленного в роддоме ребенка, заданного не вовремя вопроса и молчания вместо ответа.

Обо всем этом я думал молча и совсем забыл, что рядом со мной, повиснув на моей правой руке, идет Серафима. Ее голос оторвал меня от размышлений.

— Алексей, почему ты молчишь? Куда мы идем?

— Да вот, Сима, тоже ищу ответ на этот вопрос. Вы-то как думаете: куда мы идем?

— Откуда я знаю! А почему ты обращаешься ко мне на вы?

— Потому что вас, Серафима, много. Несколько.

— Ты имеешь в виду образы, воплощенные мною на сцене? А?

— Не только. Мы уникальные люди. У нас каждый человек — это несколько личностей. В ком-то две, в ком-то — четыре.

— Шизофрения какая-то.

— Нет, все личности мирно сосуществуют и живут согласно внутренней договоренности, не причиняя никакого вреда рассудку. Этим мы отличаемся от остального мира.

— И у нас все такие?

— Есть, конечно, исключения. Как раз сумасшедшие, гении и абсолютно здоровые душевно люди, настолько здоровые, что им не надо адаптироваться к ситуации. Но их мало: процента два от общего количества населения.

— А остальные? Фантомы, что-ли?

— Нет. У фантомов нет потребностей, а у этих есть, причем достаточно серьезные.

— А личности ложные?

— Самые что ни на есть правдивые... Так что нас минимум раза в три больше, чем по данным переписи: миллионов триста-четыреста.

— А тебя — сколько?

— Хороший вопрос. Чем же я отличаюсь от своих соотечественников? Пока двое, как мне кажется.

— Сегодня я хочу поближе познакомиться с этими двумя, а лучше всего, с тремя. У меня получится?

— У вас, может быть, и получится. У меня — не знаю. Но с одним знакомство точно гарантирую. Большого пока не обещаю...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

Февраль выдался снежным, чистым, метельным. Рано утром, пока снег не посыпали песком и реагентами, можно было зачерпнуть горстью, умыться и идти по своим делам, оставляя на снегу четкие одинокие следы. Чуть позже холодный небесный дар превращался в грязную кашу. К вечеру в такую же кашу превращались новости телеканалов и газет. Из путаницы фактов, сообщений и комментариев невозможно было выделить суть.

Прогнозы Петра Павловича Раскольниковца, как я и ожидал, оправдались примерно на треть. В декабре с программной речью выступил Президент. Он сказал о «возведении нового прекрасного современного здания на прочном вековом фундаменте традиций и бесценного опыта», об «обновлении страны и освобождении ее от всего чуждого нашей культуре, характеру, истории и мечтам о будущем», о «нашей самодостаточности, являющейся гарантией достижения цели». О наличии и отсутствии национальности говорилось вскользь, как о побочном факторе и пока еще не завершеном проекте. Об уходе страны не было сказано ни слова, о ее поисках — тем более.

Выступления и отклики, как позитивные, так и критического характера, продолжались недели две и стали сходить на нет. Запомнились слова какого-то функционера о необходимости «сделать Россию еще более могучей, более великой и более счастливой». Я слушал это выступление со странным чувством. Один из депутатов все время говорил о каких-то сверхпрочных шестиугольных кирпичках, из которых будет сложено новое здание. Создавалось ощущение, что он понял эту метафору буквально. Критика была злая, необидительна и, как это ни странно, придавала проекту достоверность и серьезность.

Петр Павлович не ошибался, говоря о том, что меня найдут, но явно преувеличивал количество моих последователей, и недооценивал, выражаясь по возможности мягко, их своеобразие.

Адептов оказалось девять. Они звонили мне по телефону, дожидались

у подъезда моего дома, встречали на выходе из ресторана. Один из них, помнится, сидел во дворе на детских качелях, смотрел на мои окна и, увидев меня, улыбаясь, поднимал руку в приветственном жесте.

Я был вынужден собрать их всех в кафе, где мы познакомились поближе. На встрече присутствовал жизнерадостный человек из Челябинска, румяный, с круглой седой бородой, по имени Николай Никифорович, бывший военный, подполковник в отставке. Рядом со мной сидела и держала меня за руку красивая женщина из Москвы, которую звали Менгли: наполовину азербайджанка, наполовину туркменка. Угол стола занимал Иван, дюжий мужчина лет сорока пяти из Пскова, в странной одежде, со светлыми глазами и длинными, перехваченными кожаной лентой волосами. Слева от него примостился на краешке стула студент Зиновий, с длинным носом и хохолком на голове, немного похожий на удода, в очках, темном костюме и белой рубашке, застегнутой на все пуговицы. Елена Николаевна из Владивостока, интеллигентного вида женщина, с большой кожаной сумкой, которую она поставила рядом со своим стулом, сидела напротив меня, положив ладони на стол. Задумчивый мужчина с оттопыренными ушами, не назвавший своего имени и места жительства, лепил что-то из хлебного мякиша, сидя в торце стола. Седьмым был Клаус, художник из Дрездена, довольно прилично говоривший по-русски. Восьмым оказался Виталий Сергеевич, представительный, хорошо сохранившийся пожилой человек, седой, в семидесятые годы прошлого века занимавший пост второго секретаря одного из обкомов КПСС. И, наконец, девятой стала Гарпина, полная смешливая украинка из Винницы.

Люди, за исключением любителя лепки, подобрались удивительно общительные, благожелательные и спокойные. Когда знакомства, обмен любезностями и усаживания закончились, я встал и произнес короткую речь.

— Дорогие друзья! Я рад, что здесь собрались люди, объединенные общей благородной идеей. Вы проделали трудный путь. Каждый из вас по-разному пришел к мысли о необходимости поисков России, у каждого есть свои соображения на этот счет, но все мы понимаем одно: наше существование невозможно без поисков, сколь бы долгими и сложными они не были. В чем-то мы разные, но в чем-то, несомненно, одинаковые. По крайней мере, у всех присутствующих жителей нашего государства определено наличие национальности. У граждан иностранных держав, прошедших специальный тест и выдержавших экзамен на принадлежность, эта счастливая особенность также присутствует.

Самое ценное в сегодняшней встрече это то, что мы собрались здесь по своей воле, без принуждения и давления. С одной стороны это замечательно, с другой — несколько проблематично, поскольку никто и ни в чем не будет нам помогать, и мы должны рассчитывать только на свои силы. Однако я не сомневаюсь в наших возможностях, уверенности и настойчивости в достижении цели. Именно поэтому я хочу задать каждому из вас три вопроса, ответы на которые помогут нам определить наши дальнейшие действия. Первое: зачем вам Россия? Второе: где именно вы собираетесь ее искать? Третье: по каким признакам вы определите, что найденное нами именно то, что мы искали? Прошу! Кто начнет?

Первым встал Николай Никифорович, сияя серебряной бородой, поднял рюмку водки и произнес:

— Я нес службу в мирное время, я воевал в горячих точках, я освобождал заложников и уничтожал террористов. Я не умею ничего друго-

го. Работать начальником охраны в супермаркете или в банке я не хочу. Мне скучно, жизнь потеряла смысл. Думаю, что в процессе поисков мои навыки пригодятся. Россия, как сестра милосердия, она там, где идут военные действия, где льется кровь. Это меньше десятка точек, в какой-нибудь из них мы ее найдем. На третий вопрос ответить затрудняюсь.

— Спасибо, Николай Никифорович! Менгли?

Менгли, продолжая держать меня за руку, покачала головой, посмотрела снизу вверх мне в глаза и тихо улыбнулась, опустив длинные ресницы, отказавшись, таким образом, говорить.

— Позвольте мне, — произнес Виталий Сергеевич. — Я должен попросить у России прощения за все, что делал и что делали мои товарищи и однопартийцы за все время существования Советской власти. Конечно, в это время ее, может быть, уже и не было. Но вдруг была? Вдруг именно наши действия послужили причиной ее ухода? Отдельно попрошу прощения за закрытый при моем непосредственном участии храм архангела Михаила в колхозе имени Парижской коммуны. Меня, как оказалось, в этом храме крестили во младенчестве... Где искать? Думаю, что на территории Восточной Европы. Что касается узнавания... Думаю, что узнаем по своему внутреннему состоянию... Благодарю вас, я не пью...

Последние слова относились к Николаю Никифоровичу, протягивающему ему рюмку. Руку поднял Зиновий. Он поправил креативный хохолок и ткнул указательным пальцем в переносицу очков.

— Я хочу проверить некоторые умозаключения мистических учений. Подробнее расскажу об этом в процессе поисков. Искать Россию надо, естественно, в Гималаях. О ее присутствии нам скажут священные признаки, которые мы увидим на своем пути. О них я тоже скажу позже.

— Россия — это язычество, — пробасил Иван. — Она ушла больше двух тысяч лет назад. Все это время мы находились в неведении. Россия в лесах, на горах, у древних озер. Мы узнаем ее по грозам, грому, ветру, по присутствию диких животных и гордых птиц. Я хочу найти и остаться.

Елена Николаевна постучала ножом по бокалу, призывая к тишине.

— Я хочу, прежде всего, поблагодарить Алексея Петровича за то, что он собрал нас здесь, за то, что он оказался реальной, а не вымышленной фигурой, зато, что он жив и здоров...

Я прижал руку к сердцу и поклонился. Менгли крепче сжала мои пальцы и бросила на Елену Николаевну быстрый оценивающий взгляд. Та, не заметив этого, продолжала:

— Может показаться, что нас мало, что мы странные, бедные мечтатели. Но это не так. В этой сумке подписи последователей Алексея Петровича. Их больше трех тысяч только во Владивостоке. Я собирала их лично. Уверена, что и в ваших городах таких людей не меньше. Поэтому я предлагаю собрать съезд наших сторонников там, где решит Алексей Петрович. Нам пойдут навстречу, мы выработаем совместное решение и начнем планомерную организованную работу...

— Мы погрязли в пороках, мы нарушаем Божьи заповеди, мы потеряли веру и стали поклоняться золотому тельцу и содомским грехам. Не надо никаких съездов и резолюций, — перебил ее мужчина с оттопыренными ушами. Он встал и, держа в руках слепленный из мякиша предмет, похожий на чернильницу-непроливайку, продолжил, глядя в потолок:

— Надо идти на Восток. Помните? Божественный свет придет с Востока! Только на Восток, не сворачивая, какие бы испытания не ждали нас! Россия уже там! Она уже образовала разумное гуманное, истинно право-

славное государство, которое ждет нас. И не надо ее узнавать, она сама узнает нас и раскроет нам свои объятия, примет нас в свое лоно. На Восток!

За столом внезапно повисла тишина. Клаус помотал головой налево-направо и, увидев, что все взгляды обращены к нему, поднялся. Он, как и все иностранцы, находящиеся в смешанном русском обществе, представлял собой улыбчивого, кивающего головой, шумно удивляющегося, придуривающегося ребенка.

— Да! Хочу первым нарисовать Россию, которую найдем, что там ни есть и кто там ни будь. Да! Как? Где искать? О! На любой большой пустой территории, Любая пустыня. Так, да? Сахара, Калахари, Такла-Макан. Что еще? Каракум. Еще в Южной Африке, Австралии... Еще в Антарктиде можно... Придем, увидим, сразу узнаем...

— Я осталась? — спросила Гарпина. — Ох! Я так думаю, что, может, и Украина куда ушла, только ее никто не ищет. А найдем Россию, там и Украина рядышком. Где искать, не знаю. Где скажете. Только ж не в пустыне! Жара, воды нету, верблюды, арабы... Кушать нечего, пить нечего. Я бы у нас в Виннице поискала... Ой! Что я несу! Знаю, где! В Шотландии! Я своему начальнику говорю: Петрович, я в отпуск пойду. А он мне: в Турцию поедешь? Я ему: ну ее к ляду, твою Турцию, я Россию искать поеду. А он: ну, езжай, как найдешь, расскажешь. Я его спрашиваю: а ты как думаешь, где ее искать? А он мне: да попробуй в Шотландии. Он мужчина умный. Так что и у нас в Виннице этим вопросом интересуются, вы не подумайте...

Все шло чинно, по порядку. Никто никого не перебивал, никто ни с кем не спорил, хотя мнения были противоречивы. За столом царили несколько улыбок: загадочная и чарующая — восточная, открытая и зазывная — малороссийская, русская — с сумасшедшинкой, европейская — наивная, широкая, с белыми зубами и глубоко спрятанной классической немецкой философией. И, тем не менее, я решительно не знал, что делать дальше. Смутила меня и Менгли, не желавшая отпустить мою руку.

— Алексей Петрович, — спросила вдруг Елена Николаевна. — А какая цель у вас?

— У меня? — переспросил я, вертя в пальцах вилку. — Попробую ответить откровенно. Никакой особой цели у меня нет. Я дал обещание и, как могу, выполняю его. Не знаю, хорошо мне живется здесь или плохо. Не знаю, что будет, когда мы найдем Россию. Мало того, я не знаю, найдем ли мы ее вообще. Но мало найти Россию, надо еще найти себя в ней. Однако я знаю, что не прекращу поиски, даже если пойму, что этого делать не нужно.

Я благодарен вам, но должен сказать: мы должны на некоторое время затаиться, замереть, подумать в тишине, все взвесить еще раз, перед тем как отправиться в путь. Поэтому я предлагаю вам завтра вернуться домой и немного подождать. А сегодня — вы мои гости.

— У меня денег на обратную дорогу нет, — печально сказал Иван.

— И у меня, — весело вторил ему Николай Никифорович.

— Деньги будут, — пообещал я, мысленно вздохнув.

— Мы все понимаем, Алексей Петрович, — кивнула Елена Николаевна. — На вас оказывается давление.

Я красноречиво промолчал.

— В таком случае каждый из нас готов пригласить вас к себе. Мы обеспечим вам крышу над головой, спрячем вас.

— Спасибо вам, друзья мои! Но мне не хочется подвергать никого из вас опасности.

— Тогда мы останемся здесь, с вами, и в случае чего защитим и поддержим, хотя бы пикетами.

В это время Менгли отпустила мою руку, встала, и, опершись о столешницу тонкими крепкими пальцами, чуть подавшись вперед, произнесла гортанно, голосом, исключаяющим всякие возражения:

— С Алексеем Петровичем останусь я. Если нужно, я пойду с ним искать Россию. Ну, и с вами, конечно. Если нужно, я сберегу его здесь. Я буду охранять его тело, сердце и душу.

Она села и снова взяла меня за руку. Все остальные озадаченно промолчали. Только Клаус покивал головой и пробормотал: «О! Да. Я немножко побуду здесь. С месяц. Да, месяц. Буду рисовать. Пленэр...».

— Давайте, наконец, выпьем и поужинаем, — предложил я.

Вечер продолжался. Гарпина пела протяжные украинские песни, Клаус подпевал, время от времени спрашивая: «Рожа — это рожь? Викно — это окно?». Иван спорил о чем-то с Зиновием. Менгли держала меня за руку и наливала водку в мою рюмку.

— Что означает твое имя? — спросил я.

— Имеющая родинку.

— Родину?

— Нет, родинку. Это маленькая родина. Совсем маленькая родина на теле.

— Где?

— Когда-нибудь ты увидишь сам...

Мужчина с оттопыренными ушами незаметно исчез. На краю стола стояла, слепленная из хлебного мякиша скульптурка. Но это была не чернильница, как сначала показалось мне. Это была искусно сделанная кисть руки, сложенная в фигуру из трех пальцев.

В этот же вечер Менгли не удержалась и продемонстрировала мне свою родинку. Она находилась за левым ухом.

Глава вторая

Неодолимое желание перемены места привело меня в один из дальних районов города. Эти районы исчезают и скоро исчезнут совсем, но пока еще они жили своей тихой жизнью, оглохнув от обильного снега, скрывшего до весны убожество и запустение этих мест. Возникали они до и после второй мировой войны, как правило, вокруг заводов. Рядами ставились двухэтажные дома, которые строили сначала советские рабочие, а потом пленные немцы. Были эти дома тесны, имели при себе небольшие, отгороженные друг от друга дворики с сараями, закрытыми на всякие замки, редкими гаражами, голубятнями, скамейками. Во дворах сажали сирень, вязы и тополя, которые весной давали обильный пух. Этот пух лез в глаза и нос, застревал в волосах, толстым слоем лежал на земле и мешал нормально жить и дышать. Мальчишки, а иногда и взрослые, бросали в пуховые сугробы зажженные спички, и сугробы моментально сгорали, оставляя после себя горсть мелких семян. Пух суматошно носился в воздухе, словно где-то одновременно вспороли сотни перин. Однако тополя лучше других деревьев очищали воздух, загрязненный дымом заводских труб.

Здесь не надо было следить за качеством одежды, и люди могли по-

являться во дворах в валенках, телогрейках, а летом — в майках и длинных черных сатиновых трусах. Жены не запирали в квартирах мужей, ушедших в запой (а пили здесь многие), потому что микроскопические балкончики второго этажа находились метра в двух-двух с половиной от земли и, свесившись с них на руках, легко можно было достичь земли и добежать до магазина в домашних тапках.

Дома строились по типовым проектам и лишь иногда встречались некоторые архитектурные изыски: мансарда, треугольный фронтон, необычный оконный переплет или круглое слуховое окно. Почему так случилось, теперь уже не узнать. Возможно, в таких домах жили начальники цехов. Самое ценное, что было в этих строениях: деревянные лестницы и широкие перила в подъездах. Зимой маленькие квартирки хорошо держали тепло, а в подъездах круглый год пахло готовящейся на обед или ужин едой. Во дворах сохло на веревках белье и мужики играли в домино за шатким столиком.

Если зимой шел снег, эти места светлели. Но зиму сменяла долгая грязная весна, слепившая глаза, за ней приходило пыльное душное отравленное лето, на смену которому в свою очередь спешила осенняя слякоть. Поздней осенью здесь было очень нехорошо, и случайно попавший сюда человек спешил уйти. Если уйти не удавалось, он оставался жить тут, постепенно темнел лицом и незаметно для остального города умирал, передавая детям квартиру, которая с его уходом, казалось, становилась еще меньше.

Изначально здесь жили уроженцы сел, приехавшие в город на строительные заводы и фабрики. Постепенно они выработали свой образ жизни, не деревенский и не городской, а, может быть, слободской. От города они брали немного, но, приспособливаясь, активно пытались отдать ему свои привычки и навыки.

Время шло, дома ветшали, деревянные рамы гнили, заборы, отгораживающие дворы друг от друга, исчезали, но для кого-то все это оставалось местом рождения, отсюда он выходил в мир и возвращался обратно.

В один из таких домов, в квартиру на втором этаже, меня занесло в этот чистый и снежный февраль. Естественно, что человек в здравом уме и трезвой памяти не стал бы искать здесь без нужды временного пристанища. Это значит, что занесло меня сюда пьяного, а при каких обстоятельствах, я уже и не помню. Здесь жил мой давнишний приятель, в гости к которому я мог приходиться без приглашения. Был он моих лет, из приличной семьи, жил один, работал, пил, тихо и постоянно, теряя человеческий облик лишь на некоторое время. Но, теряя, сразу засыпал. Время от времени он приходил в себя, и глядя на меня безумными глазами, бормотал:

— Леш, а, Леш. Брось книжку, давай поговорим.

— О чем, Серега?

— Об инопланетянах. Помнишь, ты мне рассказывал, как их видел?

— Не рассказывал и не видел.

— Ну как же, опустился на землю шар... Или пирамида... А гора, как зеркало... Почитай Есенина, а? Что тебе стоит?..

Он снова терял сознание, а я лежал и слушал вьюгу за окном или читал что-нибудь из его случайных книг при свете маленькой, под стать комнате, настольной лампы. Вставал, шел в кухню, выпивал водки, курил и смотрел в окно с треснувшим стеклом. Из окна был виден заснеженный двор и одинокий тусклый фонарь. Иногда двор косо, невесомо и быстро, как призраки, пересекали молчаливые стаи бродячих собак.

Пурга заметала их круглые следы, прежде чем я успевал выкурить сигарету.

Каждую ночь, с приближением весны, в домах напротив светилось все больше и больше окон. К утру они гасли, а снег во дворе голубел с приходом рассвета.

К моему товарищу приходили знакомые женщины, мы сидели в кухне, выпивали и неторопливо разговаривали. С этими женщинами я дела не имел, но они обладали своеобразным юмором и порой смешили меня до слез. Их лица расплывались в тусклом свете, а нерастрченная неуклюжая нежность прорывалась короткими горькими вздохами и неожиданными трогательными всхлипами.

Время от времени меня навещала Менгли. Она осталась в городе, жила то в моей квартире, то у своего старшего брата, обосновавшегося здесь лет двадцать назад и занимавшего серьезное положение в местном землячестве. Менгли знала, где я провожу время, мягко уговаривала меня вернуться, но я просил оставить меня на время в покое, поскольку знал: это настроение скоро пройдет. Такие перемены настроения в моей жизни всегда предшествовали далеким путешествиям, и я думал, куда же мне предстоит ехать через месяц-другой.

Имеющая родинку действительно охраняла меня, и я убедился, что ее слова не пустой звук. Не знаю, кто и когда обучал ее, но обучал хорошо. Однажды мы прогуливались ночью и в одном из дворов попали в небольшую переделку. Я бы справился с этими молодыми людьми и сам, но мне хотелось посмотреть, на что способна она. Все было сделано быстро, жестоко и, что характерно, красиво. Я только немного помог ей в самом конце. Мы быстро покинули двор, оставив ребят лежать у стены...

Просыпался я рано утром, одевался и, не торопясь, закулив первую сигарету, шел в ближайшую распивочную. Там горели неяркие лампы, работал висящий на стене плазменный телевизор и от сквозняка слегка колыхалась марлевая занавеска на дверном проеме, не снятая с лета.

Распивочная работала круглые сутки и никогда не пустовала. Кто-то сидел здесь часами, кто-то дремал за столиком, кто-то торопился, заходил на минуту, резко открывал дверь, впуская в помещение холодный, пахнущий морозом воздух.

Дорогую водку на разлив не продавали, и поначалу приходилось брать целую бутылку, поскольку дешевые сорта внушали мне определенные обоснованные подозрения. Но через несколько дней я познакомился поближе с продавщицей, могучего сложения женщиной лет тридцати по имени Марина, и она наливала мне сто граммов хорошей водки, а бутылку прятала под прилавок до моего следующего прихода.

— Ты не один такой, — говорила Марина. — Есть еще один, тоже водку дорогую берет. Но он бутылку сразу выпивает, а вторую только начинает. А я ее прячу. Он еще раньше тебя приходит, часов в шесть. В Америке он жил, в гандбол, что ли, играл, в американской команде. Здоровый! Так что ему бутылка эта так, мелочь... А ты-то что тут делаешь? Я тебя раньше не видела.

— Так и я тебя раньше не видел, Марина.

— Ха! Шутник!

Я выходил и уже в светлеющих утренних сумерках шел между домами, внимательно вглядываясь в окружающий меня пейзаж, стараясь не выходить на оживленные улицы, где сплошным потоком ехали автомобили и сновали озабоченные люди. Заходил в ближайший магазин, поку-

пал спиртное и продукты. Потом возвращался и, сидя в старом продавленном кресле, смотрел телевизор: спортивные передачи, документальные фильмы о советских актерах, в которых покойники рассказывали о покойниках, и концерты «Ретро FM», прочно поселившиеся в телеэфире. Я вглядывался в лица Криса Нормана и Глории Гейнор, теряющих голос, стареющих, казалось, прямо на сцене «Олимпийского», и думал о том, скольких людей мы пережили и скольких еще переживем до тех пор, пока кто-то не переживет нас...

Пасмурным утром, кажется, это было утро четверга, я возвращался, завершив свой обычный маршрут. В этот раз я задержался по двум причинам. Во-первых, помогал тушить небольшой пожар. Во дворе соседнего дома загорелся сарай, и мужик в накинутах на майку телогрейке, открыв дверь, пытался забросать огонь снегом. Мне пришлось снять с него засаленный ватник и накрыть им горящий ящик с каким-то тряпьем. Таким образом, очаг возгорания мы ликвидировали. Хозяин сарая, не зная, как отблагодарить меня, сунул мне трехлитровую банку. Она была полностью закопченной. Он вытащил майку из спортивных штанов, протер стекло, и в светлое окошечко неожиданно выглянули мелкие желтые сливы. Покачал головой, протер другую: в окошечке возник буро-зеленый пупырчатый огурец. В третьей — литровой — банке жил крепкий светлый маринованный груздь. Так что в распивочную я пришел с отличной закуской. Здесь меня ждала вторая причина задержки: я встретил своего приятеля, занимавшего когда-то крупный пост в обкоме комсомола.

Надо сказать, что отличительной особенностью заведения, где мы встретились, были фотографии экзотических животных в рамках, развешанные по стенам. Возможно, их размещали здесь из лучших побуждений: для повышения интеллектуального уровня посетителей, из любви к фауне африканского континента или реализуя последние дизайнерские разработки. Но такая фантазия могла прийти в голову только человеку непыющему и обладающему изощренным вкусом; опохмеляться темным зимним утром и лицезреть при этом смотрящих на тебя в упор тапира или гиену было не очень приятно и даже страшновато... Мой знакомый сидел под фотографией слона, в окружении местных забулдыг, в белой рубашке и галстуке, видневшемся из-под шарфа, попивал водку, разбавленную бальзамом, и что-то рассказывал, то и дело поднимая вверх указательный палец. В его речи мелькали забытые и полузабытые фамилии комсомольских и партийных функционеров. Но, тем не менее, слушали его крайне внимательно, я бы даже сказал, почтительно, молча, кивая при упоминании той или иной фамилии, забывая даже о выпивке. Он обрадовался и грибам, и мне, и своеобразно представил меня своим слушателям: «Мой старый друг! Номенклатура!». Номенклатурой я никогда не был, но спорить не стал, тем более что посетители распивочной мигом принесли мне стул и освободили место за столиком.

Я провел в рюмочной минут сорок и, по всей видимости, выпил лишнего: шел обратно не очень твердо, распахнул куртку, что-то тихо напевал. На площадке первого этажа я споткнулся, потерял равновесие и влетел плечом в старую дверь с косо висящей металлической цифрой «2», из-под обивки которой торчали клочья ваты. Эта дверь должна была предотвратить мое падение, но оказалась незапертой. Я упал боком на пол крохотного коридорчика, выронил пакет с продуктами и в проеме комнатной двери, в сероватом утреннем свете, просачивающемся из окна, увидел

мальчика лет четырех-пяти. Он смотрел не на меня, а на мандарины, которые раскатились по полу яркими оранжевыми мячиками. Мальчик играл сломанным женским зонтом. Рядом с ним стояла тарелка с куском хлеба, засохшей колбасой и двумя мятыми леденцами в ядовито-зеленых обертках. Я сразу заметил, что запястье его левой руки распухло и посинело. Это был красивый мальчишка, худой, светловолосый, неровно стриженный, в застиранной рубашонке с оторванными пуговицами.

— Привет! — сказал я.

Он вздохнул, попытался улыбнуться и почти шепотом ответил:

— Привет.

— Ты извини, что я к тебе в гости таким образом. Споткнулся. Тебя зовут-то как?

— Меня зовут Николай.

— Рука болит?

Он кивнул.

— Как же это тебя угораздило?

Он промолчал, а я мог и не спрашивать: на внутренней стороне запястья виднелись характерные синяки, оставленные чьими-то сильными пальцами.

— А где родители, Николай?

— Мамы у меня нет, а папа ушел.

— Давно?

— Вчера вечером.

— Ясно. Есть хочешь?

Он кивнул. Я поднялся с пола, собрал продукты, очистил мандарин и протянул его мальчику.

— Ешь пока это. Сейчас что-нибудь приготовим. Показывай, где у тебя кухня.

Он поднялся, опираясь на правую руку, и провел меня в запущенную кухню с невообразимо грязной плитой. В углу стояли пустые бутылки, из помойного ведра нестерпимо воняло.

— Знаешь что, друг мой Николай. Давай-ка пойдём ко мне в гости и там все приготовим. Не возражаешь?

— Не возражаю.

Я взял пакет, подхватил мальчишку на руки и вышел из квартиры, прикрыв дверь. Пока варились сосиски, я позвонил Менгли и попросил купить одежду и обувь для мальчика, описав ей его рост и сложение. Потом накрыл стол, усадил Николая, спустился этажом ниже и позвонил в первую попавшуюся дверь.

Мне открыла грузная пожилая женщина. Она держала в руках полотенце и вопросительно смотрела на меня.

— Вы извините, я ваш сосед сверху

— Знаю вас, видела, у Сергея остановились.

— Да, у Сергея. Я спросить хотел. Кто в этой квартире живет? Иду, смотрю, дверь открыта, пацан сидит. Рука искалечена, не ел дня два.

— Колька тут живет, алкоголик. Жена от него ушла, оставила с ним ребенка, стерва. А его целыми днями дома не бывает. А как пьяный придет, бывает, и бьет сынишку. Это я ему сказала, чтобы дверь не закрывал. Иногда зайду, хоть покормлю его да рубашку постираю. А тут в больницу легла, только сегодня утром выписали. Не заходила еще. Опять один сидит, бедный?

— Один.

— Тут и милиция была, и из опеки приходили, а Колька гонит всех, орет: «Мой сын, как хочу, так и воспитываю!»... А где Коля?

— Наверху. Я ему поесть приготовил. Сейчас одежду привезут. Да и врача надо вызвать, по-моему, у него рука сломана.

— Ох, Колька буяннить начнет, как заявится.

— Ну, ко мне его направляйте.

— А вам-то это зачем? — спросила женщина, подозрительно глядя на меня.

— Не люблю, когда обижают слабых и беспомощных... Ладно, спасибо за информацию. Я к вам сегодня еще зайду...

Николай выглядел лучше. Он сидел на стуле и с интересом рассматривал незнакомую обстановку. Своими светлыми волосами, большими глазами и задумчивым взглядом он напоминал сейчас детей с картин Нестерова: взрослых, погруженных в себя, скрывающих боль.

Через час приехала Менгли. Она привезла одежду, которая пришлась впору. Мы вызвали такси и отправились в травмпункт. Врачи определили перелом лучезапястной кости и наложили гипс. Они долго выясняли, где прописан мальчик, кем я ему прихожусь и откуда у него такая травма. Мои ответы их, видимо, не удовлетворили: они как-то странно смотрели на меня и не ответили, когда я, выходя из кабинета, попрощался с ними.

Мы вернулись и стали ждать. Уже пришел, отработав свою смену, Сергей, уже поднялась в квартиру соседка Нина Афанасьевна, с которой я разговаривал утром, уже заснул спокойным сном Николай. Мы ждали долго, но не дождались. В девять часов вечера в дверь позвонил участковый и сообщил, что Николай Харитонов, проживавший в квартире номер «2» дома номер «8» по переулку Газгольдерному, утром, в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, был сбит машиной и скончался, не приходя в сознание. Тело можно забрать завтра с утра в морге третьей клинической больницы. Участковый кивнул и удалился.

— Родственники есть у него? — спросил я.

— Да нет у него никого, у забулдыги, прости Господи! Ни отца, ни матери! — сказала Нина Афанасьевна. — Кто ж его хоронить-то будет?

— Вы. Все вы, его соседи. Ты как, Сережа, не возражаешь?

— Какие вопросы, Леша! Только вот...

Я достал из кармана пиджака деньги.

— Здесь тридцать тысяч. Этого должно хватить. Завтра сделайте, пожалуйста, все, что нужно.

— Сделаем, — сквозь слезы прошептала Нина Афанасьевна. — Я мужу скажу, Любке, Иван Ивановичу. Все поедом. Как же Коленька теперь?

— Мальчик пока поживет у меня. Если будут какие-то вопросы, звоните...

Мы ехали в такси ко мне домой. Николай спал, положив голову на колени Менгли.

— Что ты собираешься делать дальше, Алексей? — спросила она.

— Не знаю. Пусть живет со мной. Потом посмотрим. Узнаю, что необходимо делать в таких случаях. Ты сможешь мне?

— Я помогу тебе во всем, но это серьезно, Алексей. Это чужая кровь, чужая жизнь.

Я промолчал, поскольку и сам понимал все это. Мне хотелось сесть за стол, выпить, поговорить с Менгли и по возможности спокойно обду-

мать планы на будущее. Тогда я, конечно, не знал, что любимым планам на завтрашний день не суждено осуществиться, потому что со мной произойдет событие еще более странное, более неожиданное и, наверное, более серьезное, чем сегодня.

Глава третья

Это правда, что если ты найдешь Россию, то найдешь ее недалеко от себя, где бы она ни находилась. Но не менее важно, где в этот момент можешь оказаться ты. Так что не посещай без особой нужды подозрительных и неприятных мест.

Но как этого избежать, если таких мест с каждым годом становится все больше? Можно, конечно, чаще находиться в поле или в лесу, но и леса таят неприятные сюрпризы. Когда-то в одном из лесов мне встретилась березовая рощица, от которой остались примерно четырехметровой высоты стволы. Все остальное было косо срезано, словно огромным ножом. Правда, этими лесами безраздельно владело министерство обороны СССР, но нельзя же так с березами. Надо было испытывать новое оружие на других деревьях, не являющихся символами. На тополях, что ли. Береза — дерево красивое, печальное, похожее на молодую вдову. Из них по весне добывают сок, вроде как кленовый сироп в Канаде, соответственно из кленов.

Не надо было разрушать храмы. Не надо использовать образ медведя в политической борьбе. Медведь хорош в сказках.

Символы — опасная вещь. Ливанский кедр, малайский крис, советский серп.

И лицемерить так часто не стоит. Кричать о своей любви к абстрактным вещам. В итоге все оборачивается ложью. Рембо тоже признавался в любви и уважении к своей стране. Каждый житель нашего государства слышал, как он говорил об этом, сжимая в руках свой дымящийся скорострельный М-16. Хорошая, кстати, игрушка, я из нее стрелял: совершенно невероятная отдача и неподдающееся контролю поведение ствола. Эффектно, но неэффективно. Так что лучше нашего «калашников» нет ничего.

Одним словом, конкретизируй свою любовь: государство это, люди, родная природа, наша ментальность, православный дух или что-то еще. Величие и красота — понятия субъективные, индивидуальные. А абстракция обладает гипнотическими свойствами. Вот и думают наши сограждане, что Россию можно встретить где-нибудь на речке Нерль или на лугу, когда солнце пробивается сквозь облака и падает на землю светящимися стройными, как в Казанском соборе колоннами.

Мы разучились говорить правду и научились говорить правильные слова, а это не одно и то же. Наверное, власть время от времени говорила народу правду, но это случалось крайне редко, в случаях, когда иначе было невозможно. Мы же помним: «голосуй сердцем» или «братья и сестры». Но это же сказано под воздействием обстоятельств. Пожалуй, самый яркий случай немотивированной правды произошел в 1984 году, когда больной задыхающийся Константин Черненко, генеральный секретарь ЦК КПСС, на встрече с Франсуа Миттераном произнес короткую речь, посвященную укреплению советско-французских отношений. Он, может быть, неожиданно для себя самого начал не с идеологии, не с проблем разрядки мировой напряженности, а с литературы. С великой

французской литературы, ярчайшими представителями которой, любимыми в СССР, были Гюго и Мопассан. Или Бальзак и Стендаль, точно не помню. Это было так нелепо и странно, что наша страна, сидящая у цветного телевизора «Рубин», как-то по-доброму рассмеялась. Эти слова, конечно, ничего не изменили, но о Константине Устиновиче, кроме того, что он задыхался при разговоре и в детстве работал по найму у кулаков, остались и хорошие воспоминания.

Так что правда — сложная вещь. Как говорил автор «Старика Хоттабыча» устами одного из своих героев, правда — это как кока-кола, но мне до зарезу требуется рыбий жир. Кока-кола вкуснее, но толстеют только от рыбьего жира.

Со временем правда химически трансформировалась то в стрихнин, то в рвотный порошок, то в эликсир бессмертия. Каждому свое.

Обо всем этом я думал вперемешку, сидя на переднем сиденье «Волги 31». Вел ее по трассе мой знакомый Славка Афиногенов, доктор биологических наук, немногословный, умный и озабоченно серьезный. Вел осторожно, не превышая скорости, молчал и не мешал мне предаваться безрадостным мыслям. За окном все тянулись и тянулись ровные снежные поля с редкими голыми лесополосами. Смеркалось, подходил к концу последний день февраля.

«Волга» — машина комфортабельная. Однако в салоне было душно-вато, и я открыл боковое окно. Пахнуло сырým снегом, в салон ворвался плотный ветер и вместе с ним просочился тонкий, ни на что не похожий запах, который я сразу узнал. Ни разу до этого я его не обонял, но это был, несомненно, он, долгожданный, тревожный и слегка страшноватый в своей будущей неизвестности.

— Останови, — попросил я Славку.

— Надолго?

— Не знаю. Если время есть, подожди. Нет — езжай, я сам потом доберусь.

— Ты что? Куда ты доберешься? Ночь скоро. Жду.

Я вышел из машины, перебрался через кювет и пошел на запах вдоль лесополосы. Пройдя метров четыреста, я свернул вправо. Чуть дальше виднелись какие-то непонятные строения, левее темнели и слегка дымили пологие холмы городской свалки. Запах шел с северо-запада и, что интересно, сверху. Его источник находился достаточно далеко, но неотвратимо приближался. Подняв глаза, я искал взглядом самолет, вертолет или еще какой-нибудь летательный аппарат. Я не удивился бы, увидев даже дирижабль или воздушный шар, но темнеющее небо было низким и безлюдным. Путь мне преградила старая колючая проволока. Я снял куртку, набросил ее сверху на ржавые колючки и перебрался на другую сторону, упав в рыхлый влажный снег. Через десяток-другой шагов показались трубы, дальше — сложенный из белого кирпича домик с выбитыми стеклами, и, наконец, большой прямоугольный бассейн, наполненный черной, местами замерзшей жидкостью. Кое-где на ее поверхности лежали желтоватые клочья пены. Место было безжизненным, но не мертвым: здесь ощущалось какое-то скрытое движение.

Я понял, что это поля фильтрации. Сточные воды поступали в бассейн и, просачиваясь сквозь песок, сбрасывались в реку. Запах, который привел меня сюда, исчез и его сменил тяжелый липкий смрад, исходящий от черного гладкого зеркала.

Внезапно я услышал шум. Что-то темное, небольшое с огромной ско-

ростью прочертило серое небо и упало в бассейн метрах в пяти от меня с нежным всплеском, почти не подняв брызг и создав низкую, почти тут же погасшую волну. Этот предмет, еще более темный, чем жидкость, в которую он упал, вынырнув, покачивался на поверхности, отражая своей поверхностью одинокую звезду, возникшую вдруг между облаками. Мне даже показалось, что в его сфере отражаюсь и я: маленький, с поднятыми вверх руками, по щиколотку застрявший в рыхлом снегу. Предмет, а это был шар, покачивался и постепенно погружался в маслянистую черноту. У меня вдруг возникло ощущение, что шар этот не летел, а совершал огромные прыжки, как детский мячик, и, если бы не бассейн, он отскочил от земли и, совершив очередной прыжок, навсегда скрылся бы из глаз.

Раздумывать было некогда. Я перешагнул через полуметровый земляной вал и шагнул в бассейн. Черная жижа доходила мне до колен, дно пружинило, как травяной покров северных болот. Я сделал несколько шагов, наклонился и подставил ладонь под шар, который уже почти не был виден.

Он лежал в моей руке, достаточно тяжелый, монолитный, чуть больше теннисного мяча. Я поднес его к лицу и увидел свое отражение, совершенно четкое и правильное, несмотря на сферическую поверхность. От него исходил запах, но не тот, сильный и тревожный, который я чувствовал вначале, а легкий, едва уловимый, успокаивающий, но чужой, словно от старой иконы, написанной на кипарисовой доске.

Не знаю, сколько времени я простоял таким образом, но когда очнулся, то понял, что погрузился в содержимое бассейна выше пояса. Меня засасывало. С трудом высвобождая ноги из вязкого месива, я побрел к берегу и, уже выбираясь на скользкий бруствер, услышал спокойный хрипловатый голос:

— Ну и что ты там нашел?

Метрах в четырех от берега стоял человек в камуфляже. На его плече висел короткий автомат.

— Тут и охрана есть, оказывается. Что охраняем? Гельминтов?

— Что надо, то и охраняем. Что нашел, я спрашиваю?

— Да ничего особенного.

— Если ничего особенного, положи на место.

— Понимаешь, не место ему там.

— Ну-ка, покажи!

Я показал ему шар.

— Что это такое?

— Как видишь, геометрическое тело.

— Ты из-за него в дерьмо полез?

— Из-за него.

— Ну, бросай сюда это тело, а сам стой на месте.

— Да это не мое. И не твое.

— Бросай, я сказал, — угрожающе произнес он и снял с плеча автомат.

— Неужели стрелять будешь?

— А ты думал!

— А вдруг убьешь?

— Ничего, реинкарнируешь.

— Буддист, что ли?

— Православный христианин, крещеный во младенчестве.

- А чего же в реинкарнацию веришь?
- А я во все верю, что мне бессмертие обещает.
- А в древних богов Египта веришь?
- Верю. Бросай!

Я покачал головой и пошел прямо на него. Меня мало волновал автомат, поскольку я видел, что стрелять он не будет. Сделав шаг, я запутался в скрученной проволоке, поскользнулся, упал и получил прикладом по голове. Однако сознания не потерял, поднялся и успел засечь удар ногой в грудь. Этого было достаточно, чтобы свалить его...

Я нащупал пульс на его горле и, убедившись, что все нормально, вытер кровь со лба. Оказывается, все это время я держал шар в левой руке. Сунув его за пазуху, я уже собирался идти к колючей проволоке, но задержался и проверил автомат. Он оказался незаряженным.

«Колючку» я преодолел с трудом, сорвал с проволоки свою куртку, и минуты две стоял, тяжело дыша и определяя направление. Когда мне показалось, что я теряю ориентацию, слева, вдалеке, между голыми деревьями лесополосы мелькнули огоньки фар. Там была трасса.

Вдалеке шевелилось на снегу темное бесформенное пятно. Это ковылял ко мне на помощь, обеспокоенный моим долгим отсутствием, Славка. Я пошел ему навстречу.

- Где тебя носит? — заорал он, приблизившись.
- Да я заблудился, Слав. Извини.
- Заблудился? А почему у тебя физиономия в крови? И несет от тебя... Ты где был?
- Там, — махнул я рукой. — Искал кое-что.
- Нашел?

На этот вопрос я не ответил.

— А я сижу в машине, жду. Задумался о разных мировых проблемах, потом смотрю — тебя уже больше часа нет. Думаю: за это время даже слон любую нужду справит. Позвонил тебе на мобильник — не отвечаешь. Ну, я и пошел тебя искать. С тобой все в порядке? Может, в больницу?

— Нет, Слав, спасибо. Домой меня отвези. Только вот салон я тебе запачкаю.

— Да это ладно, у меня в багажнике пленка лежит. Я тебе постелю...

Почти всю дорогу мы молчали, а когда подъезжали к городу, он спросил, напряженно следя за оживленной дорогой:

- Что это ты за пазухой держишь?
- Что держу... Слав, скажи, ты свою родину любишь?
- Большую или малую?
- Большую.

Славка долго молчал, потом съехал на обочину и затормозил.

— Знаешь, — сказал он. — Мне всегда, и в Советском Союзе и сейчас, если я делал что-то не так, говорили, что я не люблю свою родину. А я всегда отвечал, что люблю, мол, но не так, как вы. По-другому. Люблю Отчизну я, но странно любовью, хе-хе... Так вот, теперь я уже и не знаю, люблю я ее или нет. Была ли эта любовь? Все всегда мне не нравилось. Ну, то, что на моей родине происходит. Я с детства в хоккее болел за финнов, а в футболе — за аргентинцев. Красиво они играют. А боксеров уважаю американских. Джо Фрезера, к примеру, царство ему небесное... Но это все ерунда, конечно. Я вот, понимаешь, людей стал активно не любить. Соотечественников своих. Думал, что к старости мизантропом стал. Нет. Посидел, повспоминал, пока лаборанты лягушек резали. Оказывается, и

раньше, по молодости, еще сильнее не любил. Просто раньше я не испытывал симпатии к меньшему количеству сограждан, а сейчас — к большему. Знаешь, почему так? Разные они слишком, непреодолимо разные. Они ненавидят то, чем живу я. Ну и наоборот, разумеется. И я их не просто не люблю или не верю им. Я их не понимаю. Мы говорим словно на разных языках. Теперь представь, сколько веков эта нелюбовь искусственно сдерживается, то плеткой, то ложью, то кровью, то нефтью... Когда происходит что-то противоестественное, мы все чаще говорим с многозначительной усмешкой: мол, что вы хотите, это Россия... Так о какой любви ты спрашиваешь? Где моя родина? Кто бы мне ее показал.

Я достал из-за пазухи шар и понес на ладони к его лицу.

— Вот она. Смотри.

— Что это? — спросил он и дико посмотрел на меня.

— Твоя родина. Россия.

Он сидел молча, скосив глаза на шар, перевел взгляд на меня, потом мышцы его лица слегка расслабились, и он облегченно рассмеялся.

— Она, что же, приобрела свернутую форму? Под воздействием чего, интересно?

— Значит, приобрела. Свернулась. Под воздействием чего — не знаю.

— Легковата, ты не находишь. Свернутое пространство — тяжелая вещь.

— Я не знаю, что там. Может быть, утраченные иллюзии и нереализованные возможности. Творческие порывы и несовершенные подвиги. Убитые судьбы, не рожденные души и энергия заблуждений.

— Это ты нашел там?

— Там.

— Значит, найдя Россию, ты вернулся в крови и в дерьме?

— Значит, так.

— Знаешь, Леша, тебе надо отдохнуть и подлечиться. Плохо ты выглядишь. И слухи о тебе странные ходят. У меня есть один знакомый доктор, — чудеса творит. У него весь бомонд от депрессии лечится. К нему, правда, попасть сложно, но я позвоню, он тебя как родного примет. Хочешь — в отдельную палату, хочешь — на общих основаниях. Но это он сам тебе скажет. Профессор Плетнев. Иван Иванович. Запомнишь? Я ему завтра утром позвоню, и ты поедешь. Можем даже вместе. Недешево все это, но здоровье дороже.

— Куда ехать-то, Слава?

— В нашу областную психиатрическую больницу имени Корсакова.

— Кто это?

— Психиатр.

— Слышал что-то вроде.

— Конечно, слышал. Он смиренные рубашки хотел отменить.

Глава четвертая

Профессор Плетнев определил меня в обычную палату. Сказал, что так будет лучше. Но это произошло не сразу.

Утром позвонил Слава и сказал, что с Иваном Ивановичем он договорился, и я могу ехать. Но, очевидно, они то ли не поняли друг друга, то ли не расслышали, и профессор, ожидая меня на другой день, отбыл в неизвестном направлении, никого обо мне не предупредив. Я же, собрав спортивную сумку и препоручив Менгли заботу о Николае, вызвав так-

си, не спеша отправился в дом скорби, где представители бомонда, а также истеблишмента, лечились от благоприобретенной депрессии. Душевного смятения я не ощущал, но находилась как бы в состоянии нерешительности и тревоги. Кроме того я ощущал накопившуюся усталость. И, наконец, мне хотелось на время отрешиться от своих своеобразных забот и проблем.

Вот почему в десять часов утра я постучал в высокие белые двери кабинета, на которых висела черная табличка с выполненными золотыми буквами фамилией и должностью профессора Плетнева. В кабинете, однако, находилась средних лет женщина.

— Здравствуйте! — жизнерадостно сказал я. — Я к профессору. От Афиногенова.

— А зачем вам Иван Иванович, простите? — спросила женщина приятным голосом, в котором, впрочем, профессиональное начало напрочь убивало всякую возможную доброжелательность.

— Так, собственно... Ложиться к вам собираюсь.

— Неужели? Прямо вот так и ложиться?

— Ну да! Согласно рекомендации.

— А что с вами случилось? Отчего вы решили обратиться к нам?

— Это долгий разговор. Но если говорить коротко, я сильно устал, потерял решимость и не могу отделаться от постоянного чувства тревоги.

— А фамилия ваша, извините?

— Нарышкин Алексей Петрович.

— Алексей Петрович, откуда у вас кровоподтек на голове?

— Вы знаете, совершенно случайно получил вчера прикладом автомата по голове. Реакция подвела.

— Где же это случилось, если не секрет?

— Да какой секрет! На полях фильтрации.

— Вот как? А что вы там делали?

— Я...

Тут до меня, наконец, дошло, что разговор наш поворачивает не туда, и я счел за благо вернуть его в конструктивное, с моей точки зрения, русло:

— Мне бы с Иваном Ивановичем поговорить.

— Дело в том, что Иван Иванович будет только завтра, а сегодня он просил его не беспокоить. Категорически просил. У вас какие-нибудь документы, бумаги имеются?

Я достал из кармана сумки пачку бумаг и протянул ей.

— Благодарю вас. Вы кем работаете, Алексей Петрович?

— Я сейчас в свободном поиске. А вообще — экспертом по поведению человека в водных средах.

— Почему в средах? Водная среда — одна. Состояний у нее — три. Значит, вы работаете в воде, в пару и во льду?

— При чем здесь пар?

— Да, собственно, ни при чем.

Она нажала кнопку на столе.

— Сейчас вас отведут в отделение, а я позвоню и предупрежу о вашем приходе.

Двери открылись, и в кабинет вошли двое массивных мужчин в белых халатах поверх пальто. Один из них взял мою сумку, а другой сделал приглашающий жест рукой...

Мы неторопливо шли по старому заснеженному парку в сторону ста-

ринного же, приятных очертаний желтого здания. В голых ветвях оглушительно кричали вороны, да хлюпал под ногами подтаявший снег. Вот и все звуки, которые нарушали тишину парка.

Войдя в здание, санитары подвели меня к кабинету заведующего отделением и удалились, поставив сумку у моих ног. Я постучал и вошел.

— Нарышкин? — обратилась ко мне маленькая полная улыбчивая женщина. — Мне сейчас Виктория Львовна звонила. В палатах у нас мест пока нет. Так что сегодня мы вас в коридоре положим, а завтра Иван Иванович приедет и...

В это время дверь с треском распахнулась, и в кабинет быстрым шагом вошел мужчина с благообразным лицом, в меховой куртке, спортивных штанах и остроносых зимних сапогах.

— Анна Владимировна! — начал он торжественно. — Я выписываюсь. Я обязан вас отблагодарить. Вот деньги и конфеты.

— Петренко! — повысила голос Анна Владимировна. — Немедленно спрячьте свои деньги и, ради Бога, уберите конфеты! Как же вам не стыдно? Вы же юрист!

— Ну и что, что юрист? — резонно возразил Петренко. — Вы что, сомневаетесь, что здесь деньги?

— Не сомневаюсь.

— Тогда возьмите!

— Не возьму!

Анна Владимировна встала из-за стола.

— Я заставлю вас взять! — шутливо, но с оттенком угрозы произнес Петренко и двинулся к ней, огибая стол справа. Анна Владимировна пошла налево. Убыстряя темп, они обошли вокруг стола два раза по часовой стрелке и два раза — против. Наконец, Анна Владимировна хлопнула ладонью по столешнице и строго произнесла:

— Петренко, прекратите! А не то я позвоню, сами знаете куда!

Петренко остановился и ненадолго задумался.

— Ладно, — сказал он. — Примите тогда подарок, сделанный моими собственными руками.

Он вернулся к дверям, поднял с пола большой пластиковый пакет и достал из него сделанный из проволоки, слегка погнутый макет Эйфелевой башни с картонной красной звездой на макушке.

— Вот! Украсьте этим свой кабинет.

— Спасибо, Петренко. Непременно украсшу.

Петренко попрощался и удалился, а мы продолжили разговор. Уже выходя из кабинета, я не удержался и спросил, куда хотела звонить Анна Владимировна, чтобы утихомирить непослушного Петренко.

— Вы понимаете, — замялась она. — Это как игра, не более. Он опасается, что я позвоню в одну международную организацию по поводу ареста одного политического деятеля одной из стран бывшего социалистического лагеря.

— Понятно. А Петренко, действительно, юрист?

— Адвокат.

— Бывший?

— Практикующий.

Все это мне понравилось. Люди вокруг ходили доброжелательные, и по их виду нельзя было предположить, что у них проблемы с рассудком. Возможно, впрочем, что совершали променады как раз представители бомонда. Широкий коридор походил на холл, высокие сводчатые потолки

терялись в неярком свете, а диван, на котором мне предстояло спать, успокаивал глаза приятным зеленым цветом обивки. Суэта с оформлением, беседы с медперсоналом, сдача анализов, обед, а вслед за ним и ужин, — все это протянулось до вечера и, едва стемнело, я лег и заснул спокойным крепким сном, уверенный, что нахожусь в полной безопасности, причем чувство тревоги, прочно поселившееся во мне в последнее время, исчезло без следа.

Сплю я чутко, можно сказать, профессионально, поэтому чье-то присутствие рядом почувствовал сразу и незаметно приоткрыл веки. У моего дивана на полу сидела женщина лет тридцати в шелковом халате и внимательно рассматривала шар, который изящно держала длинными тонкими пальцами. Оставалось неясным, каким образом она залезла в мою сумку, не разбудив при этом меня.

Женщина рассматривала его на просвет, подносила к глазам, и нюхала, как нюхают опасные жидкости, отведя подальше от лица и слегка помахивая ладонью, словно приманивая запах. На меня она не смотрела, но обмануть ее мне не удалось.

— Вы не спите, — сказала она громким шепотом. — Не прикидывайтесь.

— А что, — таким же шепотом спросил я. — Здесь можно ходить по ночам?

— Конечно, можно, если хочется.

— Как же вы нашли эту вещь в моей сумке?

— По запаху. Он так хорошо и необычно пахнет. Что это?

— Шар.

— Нет, — тихо засмеялась она. — Это не просто шар. Подарите мне его. И я вам что-нибудь подарю.

— Извините, не могу. Он не мой.

— Тогда обменяйте.

— Что же вы предложите мне взамен?

— О! Много чего интересного. Все, что у меня есть: дом, сад, озеро. Могу подарить себя...

— Иванова! — раздался рядом такой же громкий и негодующий шепот нянечки, возникшей словно ниоткуда. — Немедленно в палату! Ты что полуночищаешь?!

Женщина вздрогнула и уронила шар. Я успел поймать его у самого пола. Она воскликнула «Ах!», и упорхнула балетным шагом. Полы ее пестрого халата развевались, как крылья. Я сунул шар под подушку.

— Вы спите спокойно, — сказала нянечка. — Это они ходят по ночам, дурака валяют. Вы новенький, вот им и интересно.

Мне понравились и этот неожиданный разговор, и нянечка. Я снова заснул и снова был разбужен, на этот раз мужчиной. Он легонько тряс меня за плечо. Я посмотрел на его озабоченное лицо, потом на часы. Стрелки показывали шесть утра.

— Здравствуйте! — произнес мужчина. — Вы извините, но мы сегодня утром в футбол собираемся играть. Так вот я заранее у вас интересуюсь: вы, как, будете с нами? Кеды вам какого размера подобрать?

Это мне понравилось меньше, но я вежливо ответил, что сегодня играть вряд ли буду.

— Вы кто по профессии?

— Конструктор, — сказал я первое, что мне пришло в голову.

— А что конструируете?

— Стиральные машины.

— Это хорошо, — сказал мужчина. — Ладно, значит — завтра я вас в команду определю.

В одиннадцать часов я встретился, наконец, с профессором Плетневым, интеллигентным мужчиной с усталым лицом и белоснежной эспаньолкой. Он извинился за недоразумение и провел со мной двухчасовую беседу, в завершении которой сказал:

— Завтра мы посмотрим анализы, но многое ясно уже сейчас. Специальный терапевтический комплекс, общеукрепляющие и витаминные уколы, капельницы, прогулки на свежем воздухе, режим — и все будет отлично. Теперь вот что... Я могу поместить вас в палату-люкс, но рекомендую остаться в этом отделении, пожить среди этих людей. Таковы особенности новой методики. Это интересные, доброжелательные и совершенно безопасные люди. Достаточно сказать, что именно здесь проходят курс реабилитации и абсолютно здоровые личности. Так вот, вы не отличите одних от других ни по поведению, ни по разговору, ни по каким-либо еще признакам. Отличие находится глубже... Я, конечно, переведу вас из коридора в двухместную палату. Там лежит крайне интересный старик. Рассказывает потрясающие истории. Минус один: иногда среди ночи он просыпается и играет на аккордеоне. Но играет хорошо, так что это, скорее, не минус, а плюс... Один вопрос, Алексей Петрович. Поля фильтрации, о которых вы говорили Виктории Львовне, это — метафора?

— Нет, это реально существующее место.

Он успокаивающе покивал головой и приподнял руки ладонями вперед в извиняющемся жесте.

Пациенты клиники, действительно, производили впечатление совершенно нормальных людей. Мелкие нюансы, вроде свиста по ночам или получасовых рассуждений о необходимости общественно полезных работ, таких, как очистка импровизированного футбольного поля от снега, разумеется, были не в счет. Такое в огромном количестве можно наблюдать и за стенами этого заведения, например, на телевидении или в органах законодательной власти.

Мой сосед по палате хоть и рассказывал различные истории, но на аккордеоне по ночам пока не играл. Он спал, в отличие от тех, кто считал ночь временем романтических свиданий и интеллектуальных бесед.

Те, кто отличался от душевно здоровых людей, находились в других корпусах с прочными решетками на окнах. Оттуда иногда доносились крики, то печальные, то радостные, да мелькали в окнах равнодушные лица. Природное любопытство заставляло меня во время прогулок заглядывать в разные места, но и там я не видел ничего странного. Один раз я забрел на кухню в хозблоке и увидел, как два человека, в куртках поверх больничных пижам, взяли огромную кастрюлю с супом, предназначенным, видимо, для целого отделения, понесли ее, а в коридоре вылили содержимое на пол. Сделали они это сознательно и такое, может быть, не часто встретишь в нашем мире, но если представить историю метафорически, то подобные акты происходят у нас сплошь и рядом. Просто здесь это выглядело честно. С огромным интересом созерцая дымящуюся массу вермишели и фрикаделек, растекающуюся по кафельной плитке, они принялись искренне, от души хохотать, а уж подобная реакция на загубленный суп или, скажем, национальный проект, встречается у нас достаточно часто.

Как-то я попал в мастерскую, где мрачные сосредоточенные люди

собирали головные щетки, вставляя в резиновые основания тупые металлические шпешки. В помещении стояла абсолютная тишина и только один из работников, подняв темные, полные ненависти глаза, спросил меня с неприкрытой угрозой: «Где комплектующие, твою мать?!». Ну и что здесь удивительного?

В нашем же отделении сложилась теплая тесная компания. В нее, кроме меня, входил архитектор с гитарой. Он ходил с ней на обед и на завтрак, курил, повесив ее на плечо, но играл редко. Я не верил, что он архитектор, а он, в свою очередь, сомневался в том, что я являюсь конструктором. Любимой темой его разговоров была Италия времен гвельфов и гибеллинов. Священная римская империя, ограничение влияния папы, дом Гогенштауфенов, политические страсти эпохи Возрождения — все это было на удивление свежо, интересно и современно и заставляло нас спорить в куртке до рассвета, при появлении которого нам казалось, что за окном, в сизом весеннем сумраке, расстилается Италия XIV века, и в ворота клиники, как в ворота замка, въезжает не телега, запряженная по-пурой старой лошадью, а карета папского нунция. Еще один человек из нашей группы носил совершенно невозможное имя: Мартин Иванович Борман. Он был нервен, молчалив, редко улыбался, всей душой поддерживал гвельфов. К нему почти каждый день приезжала пожилая мама и привозила ему огромное количество еды: супы в судках, котлеты, жареных кур, кроличью печенку, овощи и прочее. Причем вареная картошка с укропом к моменту ее приезда каким-то образом была еще горячей. Эти блюда с успехом заменяли нам казенные обеды и ужины. Иногда мы распивали бутылку коньяку, которую по нашей просьбе покупали нам санитарки в близлежащем магазине. К нам примкнул молодой парень по имени Андрей, впитывающий информацию, как греческая губка, и стоящий на стороне гибеллинов. Он был патологически любознательным и при этом удивительно невежественным, так что на его многочисленные и разнообразные вопросы мы отвечали с удовольствием. Наконец, женщина в пестром халате, представлявшаяся как Саломея, разнообразила наше существование неожиданными и экстравагантными поступками и рассуждениями.

Жизнь в нашем заведении, вопреки ожиданиям, была наполнена различными интересными событиями. В один из вечеров в отделении поднялся переполох, поскольку группа людей, отпущенная в город, не вернулась к назначенному сроку. Заведующая пошла им навстречу, потому что причина их просьбы представлялась достаточно серьезной. Накануне из клиники выписался их сосед по палате, человек, вроде бы, совершенно нормальный. Однако, как выяснилось на другой день после его отъезда, он самым бесовестным образом выкрал из аквариума, стоящего в холле, самую красивую золотую с красным рыбку. Его решили найти, сказать ему, что он представляет собой на самом деле, и вернуть рыбку в аквариум. Идти вызвались четверо. Анна Владимировна отпустила их под водительством сурового и справедливого человека, которого все звали Капитаном, взяв с него клятвенное обещание к шести часам вечера вернуться. Однако ни в шесть, ни в девять, ни в двенадцать никто не постучал в двери пятого отделения. Пропавшие явились только утром. Оказалось, что адрес, который оставил им сосед по палате, был ложным. Тем не менее, затратив определенные усилия, они разыскали его, но тот сообщил, что никакой рыбки не существует: она зажарена и съедена еще вчера...

Наступил вечер, рейсовые автобусы уже не ходили, а частники везти отказывались, так как странно одетые и не менее странно ведущие себя люди совершили серьезную ошибку: они подробно рассказывали водителям, откуда прибыли и с какой целью посетили город.

Наконец, было принято решение идти пешком и только под утро, уже на подходе, они встретили на дороге телегу Петровича, который направлялся в клинику за ежедневной порцией пищевых отходов. На этой телеге они и проделали небольшой остаток пути...

Но легкие и спокойные дни продолжались не долго. В один из вечеров за какую-то мелкую провинность Анна Владимировна отобрала у второй палаты мяч и заперла его в шкафу в своем кабинете, лишив, таким образом, пациентов утреннего футбола, который занимал первое место в иерархии местных ценностей. Бывали случаи, когда человек, которого выписывали в понедельник, оставался в клинике еще на один день, чтобы утром сыграть прощальный матч. Тишина и уныние воцарились во второй палате. Нехорошими были взгляды, недобрым молчание. На Анну Владимировну не действовали никакие просьбы и уговоры, не помогло и мое вмешательство.

Проснувшись, я не ощутил знакомого запаха, который каждое утро легким облаком окружал изголовье моей кровати. Я полез в сумку и увидел, что шар исчез. С улицы через открытую форточку доносились возбужденные возгласы и крики. Я выглянул в окно. Во внутреннем дворе, очищенном от снега и уже абсолютно сухом, пациенты клиники имени Корсакова играли в футбол шаром, вытащенным из моей сумки. Не иначе как Саломея достала его оттуда и передала страждущим, совершив очередной акт милосердия.

Шар был меньше футбольного мяча, но на ногу ложился легко, удары получались плотными и точными. Играли они от души, с удовольствием, как, впрочем, и всегда, жадно глотая голубой мартовский воздух. Дыхание и крики вырывались из их ртов вместе с легким, едва видимым парком. Эмоции перехлестывали через край, а решение спорных вопросов, как всегда, превращалось в длительные подробные и корректные дискуссии, уходящие далеко в сторону от основной проблемы. В результате счет еще не был открыт.

Каждый играл по-своему. Одни напористо, жестко, почти профессионально, с одним желанием — вбить в ворота что угодно, что бы там ни было у них под ногами. У других, увы, было неважно с координацией движений: они промахивались, бестолково поднимали ноги, но сами долго и искренне смеялись своим промахам. Третьи оказались случайно вовлеченными в игру и мечтали поскорее закончить и пойти на завтрак, но это не зависело от них, и они продолжали бегать, суетиться, кричать, не понимая, что это навсегда, что они получают утреннее молоко и печенье вместе со всеми, когда завершится матч. Кто-то любовался собой, ловя взгляды случайных зрителей и покуривая на бровке поля. А один бегал, забыв в руках куриное яйцо. Во время удара он импульсивно сжал руку и яйцо, оказавшееся сваренным всмятку, потекло по пальцам, окрашивая их в ярко-желтый солнечный цвет...

Я дал им доиграть, потом спустился во двор и подобрал шар, устало лежащий в сером от весенней влаги сугробе. Он нисколько не пострадал и оставался таким же чистым и блестящим. Я поднес его к лицу и, закрыв глаза, ощутил запах, который был еще свежее и тревожнее запаха просыпающейся природы.

Через два дня я покинул клинику, не дождавшись окончания терапевтического курса. Перед этим я принял участие в праздничном концерте, организованном силами пациентов отделения. Мне не хотелось, но я внял просьбам заведующей и честно прочитал: «*А — черно, бело — Е, У — зелено, И — красно, О — сине... Я хочу открыть рождение гласных...*». Выслушав бурные продолжительные аплодисменты, я занял свое место в холле, превращенном на время в зрительный зал.

Глава пятая

Шар я носил с собой и не оставлял его дома, даже если выходил в магазин. Он имел неудобный размер: в карман не помещался, а для портфеля был маловат. Пришлось приобрести небольшую кожаную сумку. Я боялся, что его украдут, боялся потерять, боялся забыть, и поэтому носил сумку не на плече, а накинув ремень на шею, как трамвайные кондукторы семидесятых годов прошлого века. Кроме того, я заворачивал шар в папиросную бумагу, как фрукты в магазинах времен нэпа, и помещал его в специальную холщовую торбу, которую сшила по моей просьбе Менгли. Она тихомолком посмеивалась, сохраняя, однако, в моем присутствии серьезный вид. Все это доставляло массу неудобств, но я ничего не мог с собой поделаться, с раздражением ощущая поселившуюся во мне иррациональную ответственность.

Шар, естественно, не являлся имуществом, ни движимым, ни тем более, недвижимым. Он не принадлежал мне, не был найденным кладом, за который я мог бы получить двадцать пять процентов его стоимости, да и определить саму эту стоимость не представлялось возможным. Приобретая самую оптимальную форму, он скрывал свое содержание, и я до поры не задавался вопросом, что и как в свое время свернулось, какой плотностью обладало это «что-то» и какой объем занимало ранее. Знакомый доктор физико-математических наук, у которого я спросил, может ли некая нематериальная субстанция свернуться под воздействием социально-духовных и иных факторов и приобрести при этом материальную форму, долго думал, ковырял в ухе шариковой ручкой, разговаривал сам с собой, и из его рассуждений я с трудом, но сделал вывод: теоретически может. А может ли она развернуться под воздействием факторов прямо противоположных? Этот вопрос вызвал у доктора скептически-сочувственную улыбку и придал его лицу столь многозначительное выражение, что я счел за благо не расспрашивать дальше.

Шар не мог храниться у меня, как экспонат коллекции, как артефакт или даже как найденная ценная вещь, тем более что к найденным вещам, что бы это ни было, последние пятнадцать лет я относился с подозрением.

Носить в сумке найденную страну и одновременно жить в том месте, которое она покинула, становилось все сложнее.

Меня не удивляло то, что я выполнил обещание, данное Федору Иннокентьевичу, а вернее, что кто-то или что-то позволило мне выполнить это обещание. Честно говоря, иногда, в утренние часы, мне думалось: жизнь так и пройдет в вечном поиске и придется завещать его кому-то другому. Однако вышло не совсем так. Теперь надо было жить как-то иначе, а как, я и сам не знал. Ну и, наконец, я просто не представлял, что мне делать с шаром или, если кому-то не нравится это слово, со сферой...

Однажды днем в моей квартире раздался телефонный звонок. Еще до того, как человек представился Джоном Аткинсоном, юристом, и попро-

сил о встрече, я понял, что это иностранец: правильный русский язык не ввел меня в заблуждение. На мой вопрос о цели встречи господин Аткинсон ответил, что целью является моя основная специальность. Я удивился и спросил, имеет ли он намерение брать уроки поведения в воде. Нет-нет, последовал ответ, он имеет в виду специальность искателя. Стало быть, вы хотите помочь мне в поисках? В какой-то мере.

Несомненно, это был очередной адепт. Они появлялись и исчезали время от времени, и я считал своим долгом встретиться с каждым. Поэтому через два часа мы сидели в баре гостиницы, где остановился мистер Аткинсон, и с улыбкой смотрели друг на друга. У него была хорошая улыбка, может быть, чуть более жизнерадостная, чем надо, но это не испортило общего благоприятного впечатления.

— Я сразу перейду к делу, — начал господин Аткинсон. — Я передаю вам просьбу сэра Клифтона Уистлера, крупного бизнесмена и мецената. Он хотел бы встретиться с вами. И поговорить.

— О чем?

— О ваших поисках.

— А конкретнее?

— Увы, я не знаю.

— Нет никаких проблем. Я провел, наверное, сотни две бесед на эту тему и чувствую, что буду беседовать и в дальнейшем, так что отказывать господину Уистлеру не вижу никаких оснований. Как только он прибудет к нам, я готов с ним встретиться.

— Сэр Уистлер, к сожалению, не сможет прибыть к вам.

— Почему же?

— Сэр Уистлер не может посетить вашу страну по причинам, о которых я не уполномочен говорить. Если он захочет, он расскажет вам об этом сам.

— Как же быть?

— Очень просто. Сэр Уистлер готов принять вас в своей резиденции в Нью-Йорке или в любом филиале в Токио, Мельбурне, Каире, Лондоне, Буэнос-Айресе. Если вас по какой-то причине не устраивают эти города, вы можете выбрать любую другую страну мира. Естественно, все ваши расходы будут оплачены.

— Когда может состояться наша встреча?

— В любое удобное для вас время, начиная со следующего понедельника.

— В таком случае, Бирма.

— Вы имеете в виду Мьянму?

— Если угодно.

— Город?

— Мандалай.

— Могу я узнать, почему именно там?

— Причин несколько. Я хочу переплыть Иравади, узнать о судьбе некоторых людей и посетить праздник полнолуния.

Все это, конечно, были только слова. Я скучал по Бирме, но сейчас просто хотел резкой смены обстановки, хотел опять увидеть розовые акварельные краски закатов, лотосы в стоячей коричневой воде и безучастный лик Будды Шакьямуни, который, обратив свой взор на землю и не теряя достоинства, веками ищет в траве потерянную иголку...

Через десять дней, утром, мы с Джоном Аткинсоном вылетели в Москву. Самолет, чуть опустив левое крыло, описывал полукруг. Я давно не

видел свой город сверху. В центре, в стройных рядах улиц, кое-где виднелись черные пропелшины: на месте снесенных старинных домов затевалось новое строительство. Пригородные леса были вырублены, остались только неширокие полоски голых пока деревьев, напоминающие скандинавские руны, между зубцами которых зияли свежевыкопанные котлованы.

Ледоход уже начался, и на огромной льдине, быстро плывущей в сторону моря, виднелись черные фигурки рыбаков, отбивающихся бурами и коловоротами от пытающихся спасти их работников МЧС.

Вдалеке из высокой кирпичной трубы атомной станции поднимался вверх столб серебристого дыма.

Наш лайнер, чуть подрезав его, обогнало звено истребителей с разрисованными граффити фюзеляжами: не так давно законодательные власти объявили, что область является приграничной и военная авиабаза, расположенная на окраине города, рядом с жилыми кварталами, не знала покоя ни днем, ни ночью, поднимая «сушки», барражирующие вдоль стокилометровой границы с Украиной...

Раньше самолеты летели в Бирму через Бангкок, позже — приземлялись в Рангуне. Сейчас существовал прямой рейс Москва — Мандалай.

Город, расположенный в самом центре страны так геометрически точно, что приходилось только удивляться, встретил меня все той же выщербленной тротуарной плиткой, плотными грунтовыми дорогами, деревянным километровым мостом У-Байн, проложенным над озером Таунгтаман. Курортный сезон еще не начинался, и туристы были редки и ленивы. Над городом царил жара и на щеках детей и молодых женщин уже красовались концентрические окружности, выполненные из кашицы танаки, защищающей кожу от зноя.

Мы остановились в отеле Седона. Встреча с Уистлером была назначена на завтра, и Аткинсон остался отдыхать, а я, приняв душ, переодевшись и заперев черный шар в сейф гостиничного номера, отправился на прогулку.

На китайском базаре я раздал несколько кятов шумным ребятишкам, обменялся долгим взглядом со старой женщиной с татуированным лицом, а со стариком перебрисился несколькими словами на местном наречии карен, с трудом вспоминая забытую речь.

С вершины холма на город смотрел невидимый отсюда Будда, смотрел с холодной благосклонностью на древние царства, на британскую колонию, на Бирманский союз, на нынешний военный режим, приостановивший действие конституции. Его взгляд проникал под воду озера, воспетую Кипплингом, под землю, в которой всего полтора века назад под тронном дворца, под городскими воротами и угловыми башнями города, было замуровано пятьдесят преступников, осужденных на смерть, и сто ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей...

Я не помнил номер улицы, на которой жила Май Вэй, но ориентируясь по все тем же домам, вывескам, низким ступеням, водопроводным колонкам, застывшим на четверть века взрывам зелени в маленьких дворах вышел к желтоватому дому и зашел внутрь, в прохладное помещение, с легкими бамбуковыми перегородками. На стене висела знакомая мне лаковая миниатюра, не потерявшая яркости и свежести.

Я поклонился старику и молодой женщине и спросил, могу ли я видеть Май Вэй. Старик сощурил глаза и склонил голову набок, словно вслушивался в эхо моего вопроса. Потом покачал головой.

— Нет, — ответил он на английском. — Ушла. Давно.

— Куда?

— Туда, — махнул он рукой в направлении озера. — Совсем.

— Она умерла?

— Нет, она в одном из монастырей. В лесу. Далеко. Говорят, что ее увела туда кошка. Кошка выбрала монастырь.

— Какой именно?

— Как я могу знать, что выбрала кошка?

Он улыбнулся и пожал плечами. Женщина тем временем подала мне чашку чая. Я поблагодарил, сел на предложенный мне стул и выпил. Чай горчил...

Я пошел к Садамани Пайя, вспоминая трогательную, чуть виноватую улыбку и гибкую тонкую фигуру Май Вэй.

У храма петляли вытопанные в траве тропинки, совсем как у нас около старой деревенской церквушки, где властвуют забытие, тишина и ласкающий запах скромных полевых цветов. Но Бирма жила ярко, дышала жарко и страстно, пахла сильно ипряно...

Когда я опустил руку в Иравади, то не ощутил воды. Она прогрелась у берега до температуры человеческого тела...

Ужинали мы с Джоном в «Зеленом слоне». Он не доверял местной кухне, да и я недолюбливал ее. Мы ели ростбиф и пили виски. Джон закусывал орешками, а я фруктами.

Наутро мы встретились с сэром Клифтоном Уистлером. Это был седой, худой, хорошо сохранившийся, со впалыми щеками человек, лет семидесяти, похожий на капиталистов, которых рисовали художники-карикатуристы в советских сатирических журналах. Он понравился мне своей обстоятельностью, серьезностью и располагающей неторопливостью в жестах и разговоре.

Мы поехали в Амарapura, и там, на зеленой пустой веранде ресторана, начали разговор. Сэр Уистлер говорил по-русски, правда, с довольно сильным акцентом. Он извинился за причиненные мне неудобства и перешел к делу.

— Я знаю о ваших поисках, Алексей. Они меня заинтересовали. Я хотел спросить: есть ли результат?

— Клифтон, могу вас заверить, что результата в этих поисках быть не может, по крайней мере, в том смысле, как мы привыкли понимать.

— То есть? — высоко поднял брови сэр Уистлер.

— Видите ли, в чем дело... Тот, кто ищет Россию, как правило, теряет себя. А потом начинаются совсем другие поиски.

— Кто ищет или кто находит?

— Кто ищет. Кстати, извините, но почему вы не смогли приехать к нам?

— Если я приеду к вам, я умру в вашей стране. Не спрашивайте почему. Это предсказание, а я верю в предсказания. Так вы потеряли себя?

— Несомненно.

— В процессе поиска или после того, как нашли?

— Послушайте, Клифтон, зачем вам все это. Какое вам дело до России? У вас там экономические интересы?

— Вряд ли экономические интересы и ушедшая страна имеют что-то общее... В общем, я ничего не знаю. Мне остается только верить вам. И я верю. Вы спрашиваете: зачем? Я отвечаю. Если вы нашли Россию, я хочу

купить ее у вас. Или, если право обладания по каким-то причинам, невозможно будет оформить, то хотя бы место возле нее.

— Вы думаете, я буду оформлять право собственности в случае, если найду ее.

— Думаю, да.

— Вот как! — рассмеялся я. — Сколько же вы хотите предложить?

— О! Много. Я богатый человек. Вы не догадываетесь, как много.

— А зачем вам Россия? Тем более что вы не представляете, в каком виде она может быть найдена.

— Это не важно. В каком угодно. Будет это просто какое-то место, некая сущность, сгусток энергии, фундаментальный закон или любой материальный предмет.

— Вы готовы отдать огромные деньги за сущность или фундаментальный закон? А если я скажу, что Россия — это второй закон термодинамики?

— Я же сказал, что верю вам.

— Хорошо, а что вы собираетесь с ней делать?

— Вы размышляли о причинах ее ухода, Алексей?

— Когда-то размышлял. Теперь мне это безразлично.

— Я могу себе вообразить ваши варианты. Теперь послушайте мой. Россия ушла намеренно, чтобы в самый трудный для человечества час превратиться в Ноев ковчег и спасти избранных. В этом ее миссия и особый путь, о котором вы так любите говорить. Наверное, это жестоко, взять и уйти, обрекая людей на сиротство. Но что мы можем знать о резонах страны, да еще такой, как Россия.

— Вы говорите о стране, как о живом существе.

— Страны на самом деле живые организмы высшего порядка.

— Для кого же предназначен этот ковчег?

— Для того, кто ее найдет. Или кому она будет принадлежать. Спасется в этот момент, а он ближе, чем вы думаете, тот, кто будет с ней рядом. Или тот, с кем будет рядом она. Вот причина ее ухода. Вы думали об этом?

— Признаться, нет. А час апокалипсиса скоро наступит?

— Я не могу сказать точно. Если к тому времени я уйду, спасутся мои дети и внуки. А также талантливые, гуманные, энергичные люди. Лучшие люди.

— Кто же будет выбирать этих людей?

— Вы. Или я. Или тот, кто будет рядом. Я не верю в эту демагогию о том, имеет или не имеет право выбора отдельный человек. Всегда выбирает кто-то один. И этот выбор, как правило, верный...

Наша беседа продолжалась около трех часов. Я уже не помню нюансов, в памяти осталась только легкость слов среди трепещущей на ветру зелени деревьев. Я пообещал Уистлеру вернуться к нашему разговору, как только обстоятельства позволят это. Мне не хотелось его огорчать. Старый чудак обнял меня и на его выцветших голубых глазах показались слезы. Вечер мы закончили в «Золотом павлине», а утром следующего дня он улетел, забрав с собой Джона Аткинсона.

В течение недели я объехал все монастыри в окрестностях Мандалая, но Мэй Вай не нашел. В один из дней, поднявшись выше по течению, переплыл Иравади. Дождался праздника полнолуния Табаунга. А перед отъездом посмотрел неплохой бой между двумя местными боксерами. Он проходил в спортивном зале, расположенном в районе тридцатой улицы.

Бой был захватывающим. В десятом раунде боец, уже два раза побывавший на полу, неожиданным прямым ударом отправил своего противника в тяжелейший нокаут. Перед боем я поставил, как оказалось, на победителя и выиграл триста долларов. Выйдя из зала в жаркую темноту, я долго смотрел на городские огни. Мне захотелось остаться здесь. Такое чувство я испытывал всегда, в преддверии ночи, в любом городе и в любой стране, где мне приходилось бывать. Не важно, что я видел: уходящий куда-то в ночь по мостовой, покрытой брусчаткой, ярко освещенный изнутри, последний трамвай или маленького осла, запряженного в повозку, бесшумно ступающего по мягкой белой дороге, ведущей к печальному минарету. Утром, как правило, желание остаться пропадало. Но сегодня я понял, что любая земля может стать моей, и испугался этой мысли.

На другой день я купил билет на самолет и вернулся домой.

Глава шестая

При выходе из здания аэропорта меня окликнул какой-то человек. Я узнал его. Это был таможенник, дежуривший на терминале в тот день, когда я улетал в Бирму. Он, помнится, очень заинтересовался шаром и задал вопрос, на некоторое время поставивший меня в тупик, а именно: «Что это?»

— Здравствуйте! — сказал он, улыбаясь. — Как слетали?

— Спасибо, неплохо.

— Вы меня извините, хотел спросить: шарик-то этот при вас? Ну, про который вы объясняли, что это гимнастический снаряд для упражнений.

— При мне.

— А можно посмотреть? Вы сказали, что он из дерева. А я все время думаю: из какого?

Я достал шар из сумки и протянул ему. Таможенник взвесил его в руке и поднес к лицу.

— Вес странный. И запах...

— Многие деревья пахнут. Кипарис, можжевельник...

— Да, но у него запах не древесный. Из чего он все-таки?

— Из бальсы, по моему.

— Бальса? Из которой Хейердал построил Кон-Тики... Непохоже. Тяжелый он для бальсы.

— Ну, тогда из палисандра.

— Палисандр? Вы знаете, какая у него плотность? Слишком легкий. И запах у палисандра цветочный. Кстати, его ошибочно причисляют к жакаранде. На самом деле это дальбергия. Вы в курсе?

— Дальбергия?

— Ну, да. В честь Дальберга.

Я не хотел спрашивать, но все же спросил:

— Дальберг — это натуралист?

— Нет, врач... Я, кажется, догадываюсь, из чего он. Шальмугра. Редкое дерево. На нем растут золотые плоды, вроде яблок.

— А вы, простите, ботаник?

— Нет, деревья — это мое хобби. Я сотрудник таможенной службы, интересующийся деревьями. Ладно, спасибо. И удачи вам.

— И вам тоже. Всем нам необходима удача...

До Москвы я добирался на электричке. По вагону шла старуха и собирала деньги на храм. Вернее, как она говорила, на протекающую кры-

шу храма, находящегося в каком-то дальнем подмосковном, а, может быть, тульском, калужском или тверском селе. Старушка была искренняя, бодрая, добротна и тепло одетая. На шее у нее висела картонка с любовно выведенным шариковой ручкой названием храма и села. Пахло от нее обжитой и намоленной церковью: свечным духом, ладаном, уютом и спокойствием. Коробочка, которую старушка держала в руках, представляла собой точную копию избирательной урны и к тому же была прозрачной. Пассажиры опускали в щель купюры десяти — и пятидесятирублевого достоинства. Монеты бросали редко. Смятые деньги распрямлялись внутри, шевелились, как живые, стараясь улечься поудобнее и поплотнее...

Недалеко от вокзала я нашел такси и рассказал водителю о маршруте.

— Нет, — сказал он. — Не поеду. Я таких мест не знаю. Тебя вон тот чудака повезет. Он москвич, каждый закоулок найдет.

Сговорившись с чудаком за сумму ни с чем не сообразную, я сел в теплый салон «Форда».

— С чего начнем? — спросил водитель.

— С Красной площади.

Погода не баловала москвичей. Мартовская метель была в центре столицы разноцветной, в отличие от белой метели в других городах. Она мелькала в воздухе то темно-красными, то фиолетовыми, то зеленоватыми сполохами, и только на земле превращалась в серую студенистую массу...

— Красная площадь большая.

— Как можно ближе к Покровскому собору.

— А... К Васе пойдете?

— Что это вы так неуважительно?

— Наоборот, любя. Знаете, как москвичи этот собор называли в шестидесятые?

— Знаю.

— Москвич, что ли?

— Нет. А вы?

— Коренной.

— По родному городу, значит, меня катаете?

— Он-то мне, может, и родной, а вот я ему — сомневаюсь.

— Почему же?

— Потому что не может человек в родном городе родиться и провести безмятежное детство на Солянке, а к сорока годам, помимо своей воли, очутиться в Бирюлево.

— Так это не город виноват, а страна.

— Страна? Да нет никакой страны. Вот что от нее осталось: столица, город-государство, Империя. Расширяется и расширяется, как видите. А для меня все, что за пределами кольцевой, — заграница. Я ведь отсюда никуда не выезжал. В детстве в Загорске отдыхал у бабки и все... После Красной площади куда поедем?

— Китай-город, Варварка, Замоскворечье, Таганка, Даниловский вал, потом Донская площадь... Дальше как получится.

— Если именно в таком порядке, не успеем за день.

— Значит, завтра продолжим. Не возражаете?

— Не возражаю. Вам денег не жалко?

— Нет.

— Почему?

— Легко достались.

Да, хотелось именно в таком порядке, который соответствовал хронологии моего знакомства с разными местами этого города. Сначала, в раннем детстве, запомнилось какое-то здание в центре, кажется на Лубянке, потом посольство, не помню какой страны. Потом Василий Блаженный. Странно, что я тогда, ребенком, не обратил внимания ни на Спасскую башню, ни на исторический музей, ни на манеж. Смотрел на собор. Мне хотелось попасть туда, но внутрь не пускали, собор был закрыт. Я знаю, что я мечтал увидеть там: то время. Дышать им, прикасаться к стенам, смотреть из окон на неведомый город. Каждый раз, возвращаясь сюда, я ходил вокруг него, насколько это было возможно, смотрел на фундамент и погружался в тишину, которая окружала собор примерно метровым слоем. Дальше начинался обычный шум Красной площади. Мне казалось, что собор необходимо поливать, как дерево.

Потом собор открыли и тайна исчезла. Я поднимался по его странным, совершенно советским лестницам, и чувствовал, что он стал стерильным. Может быть, я ошибался, но место это не позволяло мне совершить задуманное.

Так же бродил я вокруг зданий Зарядья, не понимая их предназначения. А сейчас попадал в них, входя в низкие двери. Мартовская метель капала с моей куртки и сворачивалась в шарики на пыльном неровном каменном полу. Вот и все.

Мест было много: дома, дворы, переулки, поставившие на мне свою отметину в детстве и юности. Но сейчас я выбирал лишь те, которые еще могли хранить тайну, что бы в ней не заключалось, и хотя бы частицу той давней чистоты и святости. Где искать святость, как не в Вавилоне?..

— Ну, как там, у Василия Блаженного? — спросил водитель.

— Да как всегда, наверное.

— А как всегда? Я почему спрашиваю: я там не был ни разу. Да и из всех адресов, которые вы назвали, нигде не был. И в Третьяковке не был, и в Пушкинском музее. Я вообще нигде не был, даже в театрах. В планетарии только, в детстве.

— Почему?

— Не знаю, — пожал плечами водитель. — Сначала не водили, потом недосуг было. А сейчас боюсь. Посещу что-нибудь, а оно осуществит в меня вторжение и нарушит равновесие в моем дерьмовом существовании.

— А все остальное не вторгается?

— Все остальное безобразие я в себя не пускаю.

— И каким же образом это получается?

— Стараюсь ничего не замечать.

— Если не замечать, то ничего не поймешь.

— А я и не хочу ничего понимать. В нашем государстве понимание опасно для душевного здоровья.

— Ну и как вам живется?

— Хреново, честно говоря. Если бы все, о чем я говорил, происходило естественно, как у большей части моих счастливых сограждан, — другое дело. А то ведь я осознаю, что не понимаю, не пускаю и не замечаю... Ладно, поехали дальше.

Когда-то, еще в прошлом веке, я шел с многословным неопрятным стариком по дорожкам лавры Даниловского монастыря, наглухо закры-

того и вроде бы несуществующего. Старик — случайный знакомый — казался мне полусумасшедшим. Он настойчиво вел меня по этим пустынным кладбищенским улицам, по усыпанной опавшей листвой земле, к какому-то месту. Привел, показал, и со стены на нас посмотрело маленькое изображение Богородицы.

— Это Одигитрия, работа Васнецова, — говорил он, показывая на икону, освещенную скудным уже солнцем.

Старик так и умер, не узнав, что эта тайна раскрыта, что она стала достоянием многих. Как и тайна фрагментов барельефов взорванного храма Христа Спасителя, с которыми он знакомил меня, полуброшенных, полуспрятанных под высокой стеной, в густой траве. Он не представлял себе судьбы многострадального храма. Он многого не узнал, этот старик. Не узнал, что в Андронниковом монастыре обнаружат захоронение Андрея Рублева, а в церкви Троицы под несколькими слоями живописи найдут иконостас Симона Ушакова. Он ушел, не дождавшись смутного времени раскрытия тайн. Ушел безмерно богатым, оставив меня в мире, где нечего хранить.

В стекляшке на Таганской площади, за шатким столиком, я угощал его пивом с горьковатым осенним привкусом. Он пил, капли скатывались по его седой бороде и падали на пластиковую столешницу. Наверное, он смог бы тогда посоветовать мне, куда, в какую вечную щель, в какой святой закуток спрятать то, что сейчас лежало в моей сумке, и ушел бы, уверенный в том, что еще одна тайна похоронена навечно...

Я петлял по тропинкам, по плиткам, останавливался, курил, смотрел на мягкую оттаявшую землю, на погнутые ограды и покосившиеся надгробия...

На другой день мы продолжили поиски.

— С чего сегодня начнем? — спросил водитель, забравший меня рано утром из Плотникова переулка.

— С Гончарной улицы.

— Где такая?

— Швивая горка.

— А, Таганка. Улица Володарского. Поехали...

За ночь ушла метель, стало теплее, на город опустился туман. Сквозь запотевшие боковые стекла было видно, как здания то стремительно проносились мимо, то медленно и размеренно двигались навстречу. Они приобретали геометрические очертания и казались сложенными из треугольников, кругов, соцветий, кристаллов. Эти фигуры сливались с желто-серым небом, поднимались, опускались, будто стараясь найти оптимальную для себя форму успокоения.

Мы свернули в относительно тихий переулок. Я попросил подождать меня и дальше пошел пешком, не узнавая ни забор, ни огромный двор, ни лестницу, ни калитку, ориентируясь только на светлые купола нарышкинского барокко. Кроме асфальта и тротуарной плитки здесь сохранилась земля, пружинящая под ногами, как татами. Древний Таганский холм еще жил, ему надо было дышать.

Церковный двор опустел, служба закончилась. Внутри храма царил плотная тяжелая тишина. Внезапно я услышал мягкий гитарный аккорд, потом еще один, остановился и прислушался. Музыка доносилась, как мне показалось, из галереи. *«А вы знаете, что тает лед на Марсе и на нашей обустроенной Земле...»*, негромко пропел чуть хрипловатый тенор. Строй гитары, аккорды, размер строк напоминали бардов-

ские напевы, но несколько другой была интонация, определения которой я пока придумать не мог. Я осторожно прошел вперед и заглянул в дверной проем.

Когда-то, лет семьдесят назад, из этих окон открывался вид на Кремль. Потом двадцатишестиэтажное творение Чечулина закрыло кремлевские купола и стены от смиренных взоров.

В галерее сидел на стуле священник, дородностью, черным одеянием, гитарой, длинными волосами и очками в большой роговой оправе, напоминающий певца Александра Градского. Он трогал струны и тихонько наговаривал себе под нос что-то о «*безрассудной дерзости правоты*». По крайней мере, мне показалось, что я услышал именно это.

— Проходите, проходите, — произнес он. — Вид из окна вас заинтересовал?

— Я видел это и раньше.

— Гениальная догадка Сталина: спрятать от нас Кремль. Как будто его и нет на свете. Но хочу вам сказать, что вид из этой высотки значительно хуже, чем из наших окон.

— Да, я смотрел оттуда, кажется с двадцать первого этажа.

— И как?

— На Москву нельзя смотреть сверху.

— Почему же?

— Начинаешь верить в закономерность хаоса.

— Опять же он хотел упорядочить этот хаос семью доминантами. Одна из них — напротив. Верил он все-таки... А вы, стало быть, Москву не очень уважаете?

— Нет, отчего же, люблю. Просто она изменилась, не узнаю.

— И на что же она, по-вашему, похожа?

— На живопись Врубеля. Помните, фон на его «Демоне»?

— Вот-вот... Не на живопись Поленова, Серова, Левитана, а на Врубеля, гениального в своем безумстве...

Его речь своей четкой скороговоркой, чуть небрежным складом, напоминала речь талантливого преподавателя советского вуза, любимого студентами и тайно порицаемого завистливыми коллегами. Он тронул струны и пропел:

Ты попал в окруженье,
и теперь отовсюду следят за тобой...

А вы к нам зачем?

— Ищу место, где сохранилась святость.

— Судя потому, что вы здесь, такого места вы пока не нашли... А зачем вам оно?

— Понимаете, тайну с собой ношу.

— Раскрыть хотите?

— Наоборот, спрятать.

Он опять пробежал пальцами по струнам и нараспев произнес:

За семью печатями — тайна...
За семью печатями — реки.
Там неведомая глубина,
Там никто не достанет до дна...

Значит, пришло время прятать тайны...

— Экклезиаста будете цитировать?
 — Нет, что вы. Вам не буду. Просто хочу понять, для чего, по-вашему, нынешнее время. Какое оно сейчас?
 — Какое угодно, только не настоящее. Прошлое... Будущее... Безвременье...
 — Ну как же так? А говорят, что прошлого и будущего нет. Есть только миг настоящего. Этим мигом сейчас все и живут.
 — Есть только вчера и завтра. Они есть всегда. Никакого мига в настоящем нет, отсутствует настоящее. А значит, и связи прошлого и будущего не существует. И пропасть между ними все шире.
 — Да... Похоже, что тайну свою вы вряд ли где-то спрячете. Вы же избавитесь от нее хотите. Так?
 — Она не моя, она принадлежит всем.
 — Да нет, ваша. Вам с ней жить, мучиться, радоваться. Время хранить, извините за цитату. А там Господь подскажет.
 — Что же мне делать дальше?
 — Я могу, конечно, сказать, но для вас это будет слишком просто. Делайте то, что делали. Ищите.
 — А вы?
 — А я уже нашел, мне легче.
 — Как нашли?
 — Я, видите ли, в свое время умер и лежал в морге, разрезанный патологоанатомом. А потом Господь вернул меня к жизни и сказал при этом, что мне необходимо делать.
 — И вы поверили?
 — Как же я, доктор физико-математических наук, мог не поверить, если эта ситуация опровергла основополагающие законы?
 — А что это вы поете?
 — Сочиняю духовные канты. В следующий раз встретимся — подарю вам диск... К исповеди пойдете?
 — Повременю пока.
 Уже стоя в дверях, я спросил:
 — А может ли православная вера обойтись без России?
 — Может, — ответил он.
 — А Россия без веры?
 Мой вопрос остался без ответа. Я поклонился и вышел. И тотчас до моего слуха донесся мягкий перебор струн и слова:

Здравствуй, добрый друг по вечности,
 Не дивись моей беспечности.
 Неустойчивость движения
 Может быть, от небрежения...

На улице меня ждал теплый крупный дождь. Я поднял воротник.
 — Ну, что? — спросил меня водитель, когда я уселся на переднее сиденье. — В Лаврушинский?
 — Зачем?
 — В Третьяковку! Куда же без нее? Кстати, знаете, как москвичи называли Третьяковку в шестидесятых?
 — Знаю. Так и называли: Государственная Третьяковская галерея.
 — Нет, вы точно москвич.
 — Все мы по-своему москвичи.

Глава седьмая

В мае, когда воздух стал зеленым и дымчатым от трепещущей на ветру молодой листвы, позвонил Петр Павлович, господин Раскольников. Мы договорились о встрече в кафе. Когда я пришел, он уже ждал меня за столиком. Мы выпили чаю, разговаривая при этом о погоде. Потом он долго вел меня вниз, к реке, крутыми извилистыми улочками, пока мы не оказались в старом саду, огороженным высоким забором. В стороне стоял полуразрушенный приземистый дом с печной трубой, сложенной из кирпича. Неподалеку от него выстроились садовые скамейки, а рядом с ними находилась скульптурная группа. На гипсовой скамье сидели четверо гипсовых детей, два мальчика и две девочки. Одного из мальчиков обнимал левой рукой, сидящий гипсовый же Ленин. Он слегка наклонился и внимательно слушал, что говорят ему дети, на удивление хорошо сохранившиеся и лишь почерневшие от времени. Владимира Ильича время не пощадило. От него осталась голова в кепке, жилетка и ботинки, к одному из которых неизвестно в каком году и в какой стране прилип желтый кленовый лист. Остальной гипс отвалился и на месте рук, ног и туловища осталась арматура из толстой проволоки. Казалось, что детей обнимает скелет. Все вместе производило зловещее впечатление, тем более что у одной из девочек отсутствовал нос и ухо, а пустая глазница зияла чернотой.

— Это я тут недалеко обнаружил, в зарослях. Сквер там был когда-то, — сказал Петр Павлович. — Интересная... композиция, правда?

— Правда. А зачем мы сюда пришли?

— Мой участок. Недавно купил. Буду дом строить. Я ведь теперь в вашем городе работаю.

— Экспертом?

— А кем же еще!

— По созданию новой страны?

— Да нет, по обустройству старой. Нашли мы ее, Алексей Петрович.

— Вот как? И где же?

— В Лондоне, естественно.

— Что же она, в Гайд-парке прогуливалась?

— Снимала квартиру в Сохо. Чердак, по существу. Странную жизнь вела.

— Так она в каком виде была найдена?

— В человеческом. Женщина, средних лет, красивая. Но, как бы это сказать, юродивая. В широком смысле слова. В первоначальном. Ну, из тех юродивых, которые не боятся царей. Ходила, проповедовала, держала себя в небрежении. Довольно популярна в определенных лондонских кругах. На Пикадилли-Серкус к ней прямо-таки паломничество.

— Почему же о ней ничего у нас не известно?

— Именно по тем причинам, которые я перечислил.

— А по каким же признакам вы определили, что это она? Сама вам сказала?

— От нее, Алексей Петрович, толком ничего не добьешься. Выражается туманно, иносказательно. Однако по всем параметрам нашего научно-исследовательского центра — она. Она, Алексей Петрович!

— И где же она сейчас? Здесь?

— Сначала наотрез отказалась возвращаться. Хотя просили такие люди, что не согласиться, казалось бы, невозможно. Потом вроде бы дала согласие, но поставила невыполнимые условия.

— Неужели невыполнимые?
— Ну, не то чтобы совсем невыполнимые, но, скажем так, несвоевременные. Так что мы подумали и решили: а пусть пока остается там. На всякий случай. Как-то проще это, не находите? И безопаснее.
— А вы не ошиблись, Петр Павлович? Может, вы очередной символ создали?
— Ну и что же? Пусть символ. Какая, в принципе, разница. Главное, — виден путь дальнейшего развития. Вектор ясен.
— Возрождение?
— Ну! А что касается символа... Все у нас построено на символах. Как растворимый кофе. С одной стороны символ, с другой...
— Кофе.
— Точно.
— Так вы символист, Петр Павлович?
— Всегда им был и останусь. Партийную принадлежность не меняю. Мы посмеялись. Внезапно в церкви, расположенной неподалеку, зазвонили колокола. Их звон был странным.
— Вот какофония-то, — сказал Петр Павлович, прислушавшись. — Это они разрешили всем желающим позвонить в колокол. Вот верующие и стараются... А вот настоящий звонарь за дело взялся. Слышите? Вот она, гармония... А как ваши поиски, Алексей Петрович? Продолжаются?
— Нет, закончились.
— Ну, и правильно. Пора приступать к серьезным делам. Может, к нам? Вы будете полезны с вашим богатым опытом и... Как вы там говорили? С энергией заблуждения? А? Департамент возглавите.
— Какой именно?
— Да какой хотите! Сами назовете, сами сформируете. Вот что вы считаете самым важным для себя?
— Не знаю.
— А вы подумайте.
— Вряд ли я буду полезен. Вы что собираетесь дальше делать?
— Кормить бедный забитый великий народ оставленным нам наследством. Если потребуется, с ложечки, как детей.
— А если не захотят?
— Захотят. Для их же пользы. Ну а если откажутся, ха-ха! Игрушки отнимем. Во всем должен быть разумный баланс. Тут недалеко два магазина, один книжный, другой — винный. В одном каждая третья книга в подарок, в другом — каждая третья бутылка. Так что народ сам знает, что такое равновесие.
— Может быть, Петр Павлович. Единственное, что я считаю своим долгом вам сказать: вы ошибаетесь в главном. Никакая это не Россия. Больше ничем не могу вам помочь.
— Еще не вечер, Алексей Петрович. Еще только утро вечера. Поможете! Причем, сами не заметите, как поможете. Но мы вас, конечно, в известность поставим... Кстати, как вы слетали в Мьянму?
— В Бирму? Хорошо слетал. А вы откуда знаете?
— Слухами земля полнится. Вернее, теперь так: слухами русская земля полнится. Вы уж, пожалуйста, если все-таки что-то интересное найдете, или мысль какая-нибудь вас посетит или сомнение, не дай Бог, — позвоните. Не хочется вас терять. Вот вам моя визитка с новыми телефонами... Позвольте, я вас провожу, а то заплутаєте в этих переулках.

— Не заплутаю. Здесь, как-никак, юность моя прошла. Я ведь и в этом доме бывал, который вы купили вместе с участком. Знаете, кто здесь жил?

— Кто же?

— Братья Сазоновы по прозвищу братья Карамазовы.

— Интересно. Почему же их так звали?

— Потому что Ваня, Дима и Леша. Кстати, а зачем вам эта гипсовая композиция? Жутковато как-то.

— А мне она понравилась. Знаете почему? Дает понять, что прошлое было. А то у меня постоянно такое ощущение, что все вокруг сделал я, а до меня ничего не существовало. С этим иногда жить тяжело. А тут посмотришь и подумаешь: нет, такого я сотворить не мог.

— Ничего себе!

— Да. У вас такого чувства не бывает?

— У меня ощущение обратное. Кажется, что все сделали до меня, а мне делать уже нечего...

Господин Раскольников оказался прав: я заплутал. Знакомые переулочки поменяли свое направление, а некоторые так и вовсе исчезли. Зато появились новые подпорные стены, тупики, высокие заборы, заслоняющие привычные ориентиры.

Кое-где доживали свой век кособокие, ушедшие в землю по окнам, дома. Возле одного из них стоял старый 412-й «Москвич». На его капоте спал, пригревшись на солнышке, большой серый кот. Скрипнула калитка, вышел дряхлый старик, кряхтя, уселся на водительское сиденье. Точно с таким же кряхтением зачихал двигатель, потом дал оглушительную очередь, и «Москвич» тронулся с места вместе со спящим животным. На повороте кот проснулся, спрыгнул на землю и неторопливо отправился по своим делам. Я достал визитку Петра Павловича. На плотной белой бумаге чернели два телефона и строчка без кавычек: О, Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий путь...

Дорогу мне преградил котлован, вырытый у подножия склона. В земле ярко белели перерубленные корни деревьев. Ковш экскаватора потревожил древнюю кирпичную кладку сводчатых подвалов. На краю котлована накренился, словно собираясь спрыгнуть в него, ветхий дом с резными серыми от времени наличниками. Скромный стенд сообщал, что здесь будет возведен жилой комплекс «Акрополь»...

Обойдя котлован и свернув в переулок, ведущий наверх, я увидел тихие немногочисленные похороны. Все происходило как-то быстро и суетливо.

— Кого хоронят? — спросил я опрятного сухого старичка, от которого явственно пахло спиртным.

— Ивана Венедиктовича Берсеньева, бывшего архивариуса.

— Торопятся...

— Дом идет под снос. Срочно. Дали время до вечера. Похоронить. Да и сам покойный говорил неоднократно: не задерживайтесь. Хороните быстрее. Я, мол, уже здесь лишний. Последние двадцать лет, говорит, живу как ввиду миража.

— Чем же он жил? Воспоминаниями?

— Вряд ли. Опять же его слова: от советского времени осталась нам только злоба и проза. Он литературу имел в виду.

— Нелегко ему было.

— Тяжело. Он себя считал последней крепежной деталью старого мира. Говорит, вынут меня, и все окончательно рухнет...

Когда я, наконец, поднялся наверх и закурил, то понял, чем был так странен этот день. Недосказанностью, недоговоренностью, незавершенностью каждого разговора, каждой встречи, каждого маршрута. Собственно, в таких ситуациях надо просто дожидаться следующего утра, что я и собирался сделать. Но день не хотел заканчиваться спокойно. Сумка соскользнула с моего плеча, я предпринял неудачную попытку ее поймать, она раскрылась, шар как-то нехотя выполз из холщовой торбы и, набирая скорость, покатился вниз по улице, словно слаломист, плавно взяв первый поворот. Мне пришлось броситься за ним вслед. Я бежал, тормозя подошвами на спуске, иногда даже скользил боком на особенно крутых участках. Стараясь не выпускать его из вида, пытался гасить свою скорость, хватаясь за металлические, отполированные тысячами ладоней, перила. Я несся вниз, сначала провожаемый удивленными взглядами, потом в пустоте, и, как мне показалось, даже в темноте. Внезапно склон кончился, шар выскочил на проезжую часть, идущую вдоль набережной, подпрыгнул и упал в изумрудно-зеленую траву. Я по инерции вылетел на асфальт, услышал визг тормозов, едва успел вернуться от горячего, мощного черного «Мерседеса» и оказался рядом с Россией на мягком газоне.

«Ты не пострадал?» — спросил «Мерседес». — «Нет» — ответил я. — «Тебе нужна помощь?» — «Нет, не нужна». — «Ты знаешь, кто ты?» — «Конечно, знаю». — «Рожу бы тебе набить за такие вещи!» — «У тебя пока не получится».

На этом наш разговор завершился. «Мерседес», резво взяв с места, уехал, а я полежал несколько минут на траве, потом поднялся, положил шар в сумку и отправился домой.

Дверь мне открыла Менгли. По выражению ее лица я понял: что-то случилось.

— Почему ты в зеленых пятнах? — спросила она.

— Лежал на траве. Что произошло?

— Приходила мать Николая. Пьяная. С мужем или сожителем, я не поняла.

— Забрать его хочет?

— Если бы! Она даже не зашла посмотреть на него, спящего. Денег она хочет. Много. Тогда разрешит усыновление.

— Дадим денег.

— Извини, я сказала, что никаких денег она не получит.

— Вот как? И что?

— Тогда она попыталась прорваться в комнату. Я не пустила.

— Ты не переусердствовала?

— Нет. Хотя она заслужила большего после того, как сказала, что в России русские люди в состоянии решить свои проблемы сами, без помощи всяких приезжих узкоглазых. Я попыталась объяснить ей, что не вмешиваюсь в вопросы веры, государственного устройства и русской ментальности, хотя являюсь гражданином именно этой страны. Но если дело касается детей и матерей, государственные границы и национальная принадлежность не играют роли. Она не поняла и посоветовала мне для начала научиться разговаривать по-русски. Я сказала, что закончила Кембридж и знаю четыре языка, а культура моего народа не менее древняя, чем российская. Она же посоветовала мне убраться домой.

— Потом?

— Потом она долго плакала, когда я сделала ей больно. И ей, и ее

спутнику. Сказала, что я могла бы пригласить ее в дом и угостить чаем. Я ответила, что могу угостить ее молоком из-под бешеной ослицы. После этого она пообещала подключить к этому делу братву и милицию и ушла. Ее слова я передаю в мягкой форме: она активно использовала ненормативную лексику... Алексей, решай этот вопрос. Николаю нельзя жить с ней.

— Решу.

— Ладно. Я пойду в магазин, Николаю надо купить игрушку. У него ничего нет. Что купить, как ты думаешь?

— Подожди, есть у него игрушка. Ни у кого такой нет, а у него есть.

Я достал из сумки шар и вошел в комнату. Мальчик сидел на полу и рассматривал какую-то книгу. Увидев меня, он слабо улыбнулся. Я улыбнулся ему в ответ, присел на корточки и легонько толкнул шар. Он покатился по паркету с глухим звуком, смолк, пересекая ковер, опять загудел на паркете и остановился, пойманный маленькой рукой.

Николай поднял шар, посмотрел в него и счастливо засмеялся. Он подбросил его вверх, не смог поймать и уронил на пол. Потом бережно поднял, погладил, словно любимую ласковую кошку и прижал к груди...

ЭПИЛОГ

Я пишу эти строки, сидя за столом и глядя в окно на старый двор. Он сильно изменился, но я не замечаю этих изменений. Я уже с трудом вспоминаю, каким он был тридцать лет назад, когда со мной произошли описываемые мною события. Они поместились в полтора или два года моей долгой жизни. Были и другие, не менее интересные и странные. Но я решил вспомнить именно эти.

Дом все еще стоит. «Хрущевка», которая была рассчитана на двадцать пять лет, продержалась без малого век. А тот новый дом, в котором у меня когда-то была квартира, шестнадцать лет назад дал трещину и начал сползать по склону. Здание разобрали и сейчас там пустое место, на котором почему-то не растет даже трава.

Мне восемьдесят три года. Я еще бодр, рассудителен и, как мне кажется, не суетлив.

Тридцать с лишним лет назад Менгли вышла за меня замуж. У нас родилась дочь, живущая сейчас далеко, в другом полушарии. А моя жена в свое время решила посетить с миротворческой миссией этническую родину. Я отговаривал ее, но она не послушала меня, наверное, первый раз в жизни и в результате известных событий задержалась на этой странной территории. Вот уже десять лет она находится там, откуда нельзя выехать и куда невозможно въехать. Она может звонить мне по телефону не чаще, чем раз в полгода, и я в течение полутора минут слышу ее молодой гортанный голос. Она не сообщает никаких подробностей, эти звонки — просто возможность услышать друг друга и убедиться, что каждый из нас еще жив. Никакой другой связи с местом, где она находится, не существует. Я знаю, если она поймет, что мне вдруг стало необратимо плохо, она найдет возможность и вырвется оттуда. Если я почувствую, что плохо ей, я попробую проникнуть в это Богом проклятое место. Не знаю, как это у меня получится и будет ли это путешествие последним в моей жизни, но попробую...

Мой приемный сын уже пожилой человек. Он доктор наук. Его семья живет в новом доме, неподалеку. Мой внук — успешный актер одного из

московских театров. Моему правнуку шесть лет. Его часто привозят ко мне в гости, на несколько дней. Бывает — даже на месяц. Со мной еще вполне можно оставить мальчишку его возраста.

И сыну, и дочери, и внуку и правнуку я дал все, что смог, научил всему, что знал. Надеюсь, я ничего не забыл.

Вся семья собирается у меня раза четыре в год, и тогда дом оживает, чтобы через несколько дней затихнуть и погрузиться в странное полусонное состояние. И я остаюсь один, в своей старой квартире, набитой книгами, с этюдом Саврасова на стене и воспоминаниями, прячущимися по углам.

Жизнь моя протекает спокойно и неторопливо. Утром я хожу в магазин, а, возвращаясь, выкуриваю сигарету на старой скамейке в глубине двора. Это я делаю в любое время года, зимой — сметая перчаткой снег, а в дождь — подстилая специально взятый с собой пластиковый пакет. Забавно, но я стараюсь, чтобы на нем не были изображены люди.

Если бы кто-то спросил меня, изменилась ли жизнь, я ответил бы, что нет, не изменилась. Хотя и улица, и город стали другими. Но улица и город — это не жизнь. Вернее, не совсем жизнь. И люди мало изменились. Все также некоторые, говорят «эта страна», надеясь, что не совсем удачный эвфемизм позволит им хоть как-то соответствовать существующему положению вещей. А некоторые, верящие в заклинания, точно так же, как и тридцать лет назад, говорят «Россия» по привычке добавляя к этому слову «наша любимая, родная и великая», надеясь неизвестно на что. Это странно, так как на смену одному поколению давно уже пришло другое, а на пороге стоит следующее. Тем не менее, государство и люди государства, действительно, не изменились. И уж совсем не изменилось небо и вода.

Несколько раз в год я вызываю такси и еду в город, в те чудом сохранившиеся места, которые остались прежними, моими. Хожу по переулкам, сижу во дворах, иногда захожу в подъезды и на минуту замираю у той или иной двери, в надежде услышать знакомый голос или торопливые шаги. Но напрасно: тех людей, которых я знал когда-то, с кем делил кров, ужин, постель, уже давно нет. Я смотрю на знакомые силуэты домов и вспоминаю. Эти воспоминания горьки, но они помогают мне жить.

С правнуком я хожу в театр, в кафе, неторопливо гуляю в парках. Долго ходить мне уже тяжело и недавно я приобрел удобную самшитовую трость. Наверное, я выгляжу достаточно странно с тростью и крупным сапфиром на пальце, но это меня уже не волнует.

Зато мне гораздо легче плавать, чем ходить. Иногда, летом или ранней осенью, я еду на реку, сижу на берегу, потом раздеваюсь и иду к воде. Река принимает меня, я отдаюсь течению и плыву, слегка подгребая руками, чтобы не терять нужного мне направления; вверх продвигаться сложнее. Но кажется, что вниз по течению я смогу плыть долго, до впадения реки в море. Я плыву и представляю себе, как на рассвете пресная вода вынесет меня в серый соленый простор, и я растворюсь в морской воде, там, где уже не видно берегов...

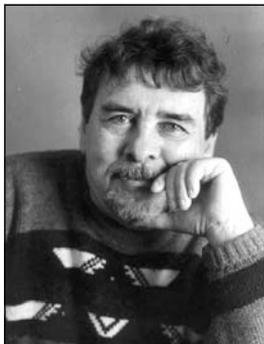
В одной из комнат моей квартиры, в книжном шкафу, лежит на полке небольшой шар, не потерявший за эти годы ни блеска, ни глянца, ни глубоких насыщенных цветов, ни запаха. Я так и не сказал никому, что это за шар. Он, словно зеркало, отражает письменный стол, часть окна, фонарь на улице и меня, когда я сажусь в кресло напро-

тив. Отражает правильно, несмотря на сферическую поверхность. Если посмотреть на шар вблизи, увидишь свое истинное лицо. Но я почти не делаю этого. Он не мой. Он служил игрушкой моему сыну, дочери, потом внуку.

Все они играли им по-разному. Сын подбрасывал и ловил, а когда ронял — бережно поднимал и гладил, как кошку. Дочь почему-то боялась его, прикасалась осторожно, указательным пальцем, а, выходя из комнаты, опасливо оглядывалась. Внук катал его по полу, закатывал под стол, шкаф или диван и долго искал, стучаясь затылком обо все подряд.

Сейчас им играет правнук, но это уже совсем другая игра. Я незаметно наблюдаю за ним: он держит шар в руках и что-то шепчет ему, а потом прижимает к уху, будто прислушиваясь к чему-то. Наверняка они разговаривают, но я не знаю о содержании этого разговора. Да, честно говоря, и не хочу знать. Не потому, что мне не интересно. Просто я уверен, что не пойму, о чем идет речь.





Аркадий Васильевич Макаров родился в 1940 году в селе Бондари Тамбовской области. Служил в группе Советских войск в Германии. Работал слесарем, монтажником, инженером, мастером на стройках. Поэт, прозаик. Автор многочисленных публикаций в центральных и региональных журналах, книг «Птица-радость», «На той стороне», «Догони свое время» и других. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Аркадий Макаров

ПАВЛИНА СЕРГЕЕВНА

Повесть

*Может быть, одному русскому
суждено почувствовать ближе
значение жизни.*

Н.В. Гоголь из письма
к А.М. Виельгеровской

1

Разве думалось сегодняшнее одиночество молодой выпускнице педагогического техникума, летящей с руками нараспах навстречу своей любви жарким июньским полднем ровного (ах, война, ты, война! Что ты, подлая, сделала?..) тысяча девятьсот сорок первого года? Душе ее смеялось и пелось, и жесткие стебли трав, хлещущие по обнаженному, тугим девичьим икрам, подгоняли ее — быстрее, быстрее, быстрее, — когда она увидела на пустынной проселочной дороге одинокого путника, своего суженого, своего ряженого Павлушу.

Она ждала его приезда и боялась этого. Ей, девочке, молодой учительнице, только что направленной после окончания учебного заведения в сельскую школу, неприличной в глазах местных жителей была бы эта, такая желанная встреча с ее Павлушей — не жена ведь! Да и она только что устроилась на квартиру, еще не обжилась совсем. Ее хозяйка, женщина строгих нравов, какие тогда существовали в селе, вряд

ли разрешила бы оставаться на ночь невесть откуда взявшемуся парню, когда ее квартирантке всего семнадцать лет, а до замужества надо блюсти себя, честь девичью защищать, да к тому же молоденькая учительница здесь у всех на виду. Мало ли что языки длинные намолотят!

Там, в Лебедяни, где она жила и училась, они с Павлушей решили пожениться, когда ей исполнится восемнадцать лет, а это будет только осенью, далеко-то как!

— Подожди, родненький, — шептала она в прощальный выпускной вечер. — Через три с половиной месяца мы будем вместе. Устроюсь на квартире, начну работать, вот тогда и распишемся. И все будет, как у людей. Какой ты нетерпеливый! Агрономы тоже в колхозе не валяются на дороге. У тебя диплом с отличием. Председатель, если ты его уговоришь, может и квартиру нам построить. Все будет хорошо. Все уладится. Не торопись! Ишь, какой пряткий! Я тебе напишу, как устроюсь.

По-женски права и мудра была недавняя выпускница учительского техникума. Рассудительна. Действительно, нехорошо будет загодя честь девичью рушить. Нехорошо...

Не выдержал ее Павлуша! После первого письма — вот он. Объявился. Что же ей теперь делать?

Павлуша, порывистый и безоглядный, подхватил ее на руки, окунулся в ее волосы и задохнулся ими:

— Ах ты, моя Павочка! Птичка небесная! Невеличка ты моя!

И целовал, целовал, целовал...

Высока трава. Широкий луг. Скроешься — как в омут нырнешь. Не достанут глаза чужие, любопытные!

Девичья любовь податлива, сговорчива. Ласковое слово, как вино крепкое, с ног валит. Высоко кружит коршун, все видит, да никому не расскажет...

И захлестнула удушливая волна молоденькую девочку, выпускницу-педагога из старинного города Лебедяни. Отец-мать далеко, а милый — вот он! И закружилась в водовороте, опускаясь на самое дно, отпустив на все четыре стороны волю и разум.

Павлуша лежал, грыз травинку, посмеивался:

— Ну, теперь все! Никуда от меня не убежишь, не денешься. Закапканил я тебя, птичку, навечно! Пойду в колхоз ваш на работу проситься. Документы — вот они, — Павел похлопал по карману своего пиджака. — И жить вместе будем. Я к твоей хозяйке, как молодой специалист, попрошусь. А срок подойдет, так и распишемся. Домик свой построим. Детей разведем. Я знаю, ты детей любишь. Ну, а если меня агрономом не возьмут, я и скотником могу поработать. Я — человек не гордый!

Высоко кружит коршун, все видит. Она стыдливо прикрылась ладошкой, мысленно отгоняя распростертую над ними птицу. Коршун покружил, покружил, покрутил укоризненно головой и заскользил на воздушных лыжах в сторону батюшки Дона, туда, где в хлебном поле весело посвистывали расторопные суслики в надежде не попасться на обед в когтистые лапы крылатого разбойника.

Ах, война, ты, война! Что ты, подлая, сделала?..

У председателя колхоза, куда она, стесняясь неимоверно, привела своего Павлушу, особых вопросов к дипломированному агроному, только что окончившему Воронежский сельхозинститут, не возникло. Радостно, как после мороза или хорошей выпивки, потеряв руки, он встал из-за стола и, ласково обнимая гостя, усадил его на свое место:

— Ну, хоть один грамотный человек наконец-то в нашем хозяйстве объявился! Ты сиди, сиди, — попридержал он Павла за плечо, когда тот, смутясь от неожиданной готовности председателя освободить свое место, попытался выйти из-за стола. — Я тебе это место не враз уступаю. Не бойсь! Мы, может быть, с тобой еще повоюем. Ты моим политруком будешь... Как Фурманов у Чапая. Ты не думай, я ведь тоже книжки читаю. А вот диплома такого у меня нет, — председатель нежно погладил плотный складень документа о высшем образовании. — Если до весны ты не сломаешься здесь, — он хитро посмотрел в сторону молодой учительницы, с которой он уже успел познакомиться, и было по-всему видно, что он ее выбор одобрял, — если поладишь с народом, я тебе к будущему Первомаю новоселье обещаю. А теперь пойдем ко мне домой обедать, пошли, пошли!

— Петр Филимонович, вы бы его сперва на квартиру устроили. Ему почевать негде, — покраснелась молодая учительница.

— Вот-те раз! Как негде? Пускай сперва у твоей хозяйки обживется. Места у нее, я знаю, на вас двоих хватит. За это мы ей трудодни отпишем. А поженитесь — так и свадьбу сыграем. Правда, сынок? — с начинающим агрономом председатель сразу перешел на «ты», видя, что тому такое предложение страсть, как понравилось.

Отец у Павлуши погиб в Донбассе, на шахте, стахановским методом добывая уголек стране, когда тому было всего десять лет от роду. Его мать, тоже потомственная горнячка, поднимала сына одна, опускаясь каждый день в забой, где деньги немалые по тем временам платили не только за страх, но и за работу там, в грохочущем чреве земли.

Мать Павла изо всех сил старалась огородить сына от, казалось бы, неминуемой и опасной потомственной судьбы шахтера. Учила в школе. Дотянула до десятилетки, что по тем меркам уже считалось большим делом. Потом отвезла повзрослевшего сына в город Воронеж к дальней родственнице, которая работала техничкой в институте, что и определило судьбу нынешнего Павлуши.

Не сказать, чтобы у Павла было призвание к агрономическим наукам, травопольной системе. Но во время учебы он втянулся и сумел полюбить эту, далеко не героическую, но такую необходимую, в прямом смысле земную профессию.

2

С Павлиной, или Павочкой, как ее называли все в донецком поселке, они жили по соседству, и Павел на правах старшего брата опекал ее от чересчур ухажористых парней. Как-то само собой, незаметно он привык к Павлине и полюбил эту начинающую расцветать девочку. Хотя они учились в разных городах и в разное время, но на студенческих каникулах встречались дома. Будущей учительнице нравилось и льстило внимание такого заступника, как ее Павел: мужественного, крепкого, надежного. Обязательные провожания после танцев в клубе светлыми летними вечерами сами собой перешли в короткие поцелуи и только потом-потом — в молчаливый разговор рук, вызывающий трепет и смятение молодого, здорового тела, раскрепощенного взаимностью чувств и желаний.

Теперь все устраивалось, как нельзя лучше. Уставший и задерганный отчетами и сводками в район, председатель колхоза был рад свалить ненавистную бумажную работу на молодого специалиста с высшим образо-

ванием. «Ну, слава Богу! — думал про себя председатель Петр Филимонович. — Теперь есть кому цифры подсчитывать, а то до настоящей работы руки не доходят: с покосом еще не управились, а уже по уборке озимых отчет строгий. А там и под зиму сей... Беда, да и только!»

Ученому-агроному было куда приложить свои знания на этой отзывчивой к заботливым рукам земле. Павел сам не ожидал такого быстрого поворота в своей судьбе, только слушал да поглядывал. Он прибыл к невесте налегке, без необходимых вещей и одежды, подгоняемый единственным желанием — скорее обнять свою ненаглядную и такую беспомощную в житейских делах Павочку. Неожиданная легкость, с которой он устроился на работу, окрылила его — теперь они будут вместе навсегда и навечно!

...Ах, война ты война! Что ж ты подлая сделала?!

3

Отсутствие всего необходимого не расстроило молодого специалиста. «Авось, как-нибудь обойдусь, — думал он. — Спешить некуда! Съезжу домой, заберу шмотки и вернусь. Главное — вот она, любовь и радость! Рука в руке. И жизнь молодая, яростная раздувает парусом рубаху и дышит в лицо угаром, как захмелевший друг».

Хозяйка, где квартировала молодая учительница, поначалу никак не хотела слушать доводов своего председателя колхоза:

— Нет, нет и нет! Куда я его положу? У меня и кровати-то нет лишней! Да и девочка у меня на постое. Училка молодая. Разве можно такой грех на душу брать? Случится еще что?

— А что может случиться, Марья? — притворился председатель протачком непонимающим. — Агроном — человек умный, городской. По всему видать, аккуратный, непьющий, пакостить не будет. А работой я его загружу, как мерина нашего. У него, не у мерина, конечно, а у студента этого, не то что баловство какое, а и рука подниматься не будет. Трудодни тебе, вроде, не лишние, как я думаю. Свеклу пропальывать баб собираю, так что — смотри, может, лучше постояльца взять? А?

— Филимоныч, я не про то говорю! Девка-то у меня живет, уж очень молодая! А за молодыми, сам знаешь, глаз да глаз нужен...

— А-а! Ты вон про что! Свою вольную молодость, наверное, вспомнила. Греха боишься? Иди-ка сюда!

Председатель отвел в сторону Марью и что-то весело прошептал ей на ухо, отчего она вся расплылась в улыбке и хлопнула Филимоныча шутейно по объемистому животу:

— Дурак ты старый! Это сколько времени-то прошло! Ну, ладно, уговорил. Пущай, пока я к нему присматриваться буду, он на сеновале у меня поспит. Сена-то ты мне с гулькин нос выписал, козе не хватит. Вон полчердака пустует! Пусть там твой агроном и спит! Чтобы по ночам нас, женщин, в краску не вводил. А на зиму ты ему ищи другое место, у меня от мужского духа голова кружится. Заноси, сынок, вещи в горницу, — обернулась она к смущенному парню. — Как вещей нет? Ты что, так вот и на работу устраиваться приехал? Сирота что ль?

Агроном, почесывая затылок, переминался с ноги на ногу.

— Его вещи багажом идут, — выручил председатель, подмигнув улыбчивому парню. — Пусть пока налегке побегаёт! Ему и так в одних

сандалиях жарко будет. Ну, я пошел! Да, Марья, приходи за продуктами новому постояльцу. Мы сегодня бычка завалим, так что не зевай, а то тебе одни рога достанутся! Бодаться будешь. Ну, давай, — пожал он руку Павлу, — устраивайся. Теперь уж завтра ровно в шесть жду в правлении на развод. Попробуй, проспи у меня!

Тетка Марья подозрительно посмотрела на свою зардевшуюся постоялицу, потом на парня и, неизвестно чему усмехнувшись, пошла в дом, показав новому гостю на чердак:

— Лезь, устраивайся! Ночи стоят теплые. Я тебе сейчас кое-какую постелю подам. Отдыхай с дороги! Или нет, пошли в дом, я тебе на скорую руку яишенку пожарю. Да и молочком попою. Парное. Только от коровы принесла. Не цедила еще.

Молодой агроном от яичницы отказался, а молока попил, к большому удовольствию своей хозяйки.

Забравшись через слуховое окно на чердак, он, радостно ухнув, нырнул головою в источающую луговые запахи, еще не очерстевшую, недавнего покоса траву: «Ах, как хорошо все устраивается! Напишу домой письмо, чтобы мать за меня не переживала. Обрадую ее. Мол, на работу агрономом, как она мечтала, принят. Председатель, по всему видать, ничего дядька! Толковый!..

— Вот так завсегда! Марья, устрой! Марья, накорми! А как сказала про сено, так и закосоротился хрен старый! Опять по буеракам да оврагам траву обкашивать придется, — ворчала внизу хозяйка, — Ну-ка, подай парню постилку, — обернулась она к Павлине, сунув ей в руки лоскутное стеганое одеяло и такую же, сшитую из ситцевых обрезок подушку. — Ты молодая, на крыльях, на крыльях туда взлетишь, а то мне, старухе, туда не вскарабкаться, — потом, немного подумав, сказала, — нет, дай-ка я сама поднимусь. Греха еще с тобой наживешь! Разве можно, парень бугай-бугаем, а девка рядом молоденькая, неразумная. Я Филимоничу обязательно скажу, чтобы он новому агроному другую фатеру подыскивал, — тетка Марья, продолжая ворчать, молодо поднялась по лестнице, придерживая под мышкой «постелю».

4

Молодая учительница пушинкой бы взлетела туда, на чердак, под крышу, в жаркую полутьму. Сама бы расстелила, ладошками разгладила постель. Эх, да что там говорить! Ни один глаз не увидит, ни одно ухо не услышит, что бы они там ни говорили, ни нашептывали друг другу. Сработала чистая женская хитрость — она вроде бы и не понимала, о чем говорит ее бдительная хозяйка. Только, густо зардевшись, поддержала свою заступницу:

— Конечно, тетя Маша, как можно на себя такую нагрузку брать? Пусть до осени на чердаке перебьется. Если мыши его не съедят, — хихикнула в кулачок, обрадовавшись, что ее хозяйка ни о чем не догадывается и принимает постояльца за неизвестного и незнакомого Павлине человека...

— Ты там не озоруй только! Не кури! А то избу спалишь, не приведи Господи! А сенца под голову поболее нагребь, помягче будет. Да ты молодой, небось и так спать здоров! А председателю своему скажи, чтобы тебе другую квартиру подыскивал. А то я знаю вас, кобелей! Насмотрелась за свою жизнь. У меня девка на руках, училка. Я ее блюсти должна, по-

нял? — втолковывала тетка Марья высунувшемуся по пояс из слухового окна веселому парню.

— Да я смиренный! Я девок боюсь, — отшучивался он, принимая из рук хозяйки «постелю». — А курить меня мать давно отучила, уши до сих пор болят. Да и спичек у меня нет. Не бойтесь, тетя Маша, не запалю я ваши хоромы. Может, мне еще в них жить да поживать придется. А Петру Филимоновичу скажите, чтобы он место для покоса выделил. Я вам на две коровы сена напластаю. Успевай сушить. А с этой квартиры я не съеду! Больно хорошо здесь!

— Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего! — услышав о сене, которое обещал накосить новый постоялец, раздобрела тетка Марья. — Ну, пожалуй, конечно, не без того. Я тебя не гоню, коль ты такой смиренный. А там, как Бог пошлет! Может, Демьянову избу тебе отдадут, когда женишься. Он, Демьян-то, раскулаченный, а изба у него еще свежая, перед самыми Соловками ее рубил, да жить не пришлось. Ни слуха, ни весточки. Сгинул, поди, он с детками на северах. Говорили ему: «Вступай в колхоз, может, простят тебя комбедовцы, что хорошо живешь: избу вот срубил, наличники выкрасил суриком». К нему и подступились. А он — кошки в дыбошки! За топор схватился. Но куда там! Обратали, как миленького! А изба осталась. Кладовая теперь там. А на что она, кладовая, когда туда класть нечего. Одни господавки только...

5

Тетка Марья, следуя вековой деревенской привычке, ложилась спать рано, с «курями», еще засветло. «А чего попусту глазами хлопать? Солнце — на бок, и человеку в постелю надоть. Солнце встало, и ты давай, шевелись, управляйся с делами. За день так нахряпаешься, что, дай Бог, до перины доберешься. А ты говоришь — бессонница! У кого бессонница? У лентяев да лежебок она, бессонница. А трудовому человеку сам сон в ладонь идет. Положишь голову в горсть — и как провалилась! А утром разломаешься — и ничего, жить можно.

Любила она втолковывать своей неразумной постоялице, которая все сидит и сидит за книжками. Керосин, хоть и казенный (председатель, Филимоныч этот самый, слава Богу, отпускает его без меры), а все жалко! Чего его зря жечь-то? Горючка все-таки...

Нового агронома постепенно затягивали колхозные будни, да и молодой учительнице начальных классов приходилось днем пропадать в школе, в бывшем доме еще одного кулака-миroeда, расстрелянного в коллективизацию прямо у себя во дворе за непонимание линии партии, которая опустошала у таких вот сундучников закрома на пользу «общества». В «обществе» прошлогоднее зерно погнило, сгорело с недогляду, а у этих «паразитов» семена отборные, чистые. Как говорится, сей в грязь, будешь князь.

Бывший пятистенок рачительного хозяина, рубленый из сосновых бревен, да таких, из которых смолу не доили, — простоит еще, ой-ей сколько, — был поделен на классы, где и занималась многочисленная детвора, постигая премудрости орфографии и арифметики.

Обязательным в то время было только начальное образование, так что русская изба «мужика-захребетника» еще долго послужит верой и правдой народному делу.

Школу надо было готовить к новому учебному году: завезти дрова для прожорливых печей, сделать небольшой ремонт классов, изготовить на-

глядные пособия (в магазинах их не отыщешь), да и методички разработать, как учили в техникуме. На все требовалось время и желание.

Чем хлопотнее были дни, тем слаще вечера, а летний день велик — ждешь, не дождешься!

Убедившись, что хозяйка, потеряв бдительность, крепко спит под неизменным стеганым одеялом на широкой русской печи, отгороженная ситцевой занавеской, молодые ее квартиранты, пользуясь предоставленной свободой и безрассудными влечениями друг к другу, ныряли на чердак и, забыв обо всем на свете, проваливались во власть хаоса, из которого рождается, живет и пульсирует всемирная гармония. Сено на чердаке путалось в волосах, травинки покалывали спину, руки, обнаженные бедра, мешали каждому движению, но молодость неприхотлива и упоительна в своих желаниях.

6

Ах, война, ты, война! Что ты, подлая, сделала?..

Павлина Сергеевна, взмахнув от лица рукой, как отгоняют мух, сморгнула неожиданные воспоминания. Одинокая и затерянная, как сухая веточка ромашки в ворохе сена, она осталась на этом свете терпеливо доживать сиротскую старость.

«Вот и наседка куда-то запропастилась с выводком», — она прислушалась, стараясь уловить сквозь шум деревьев характерное квохтанье, но, кроме далекого ворчания грозы да тревожного лепета деревьев, ничего не услышала. Заглянула в сарай, где, выпятив генеральскую грудь, ходил гоголем петух да несколько кур жались к насесту, посмотрела туда-сюда, нет наседки! С тем и ушла снова в дом, когда упали на землю редкие, но крупные и тяжелые первые капли дождя.

В доме сразу стало темно и сыро, как будто тучи, влезая в окна, развешивали по всем углам свои серые лохмотья. Пришлось включить свет, который в одно мгновение разогнал все навязчивые видения. «Куда-то Кирюша запропастился, голова бедовая», — впервые назвав своего постояльца не Кириллом, как его называла до этого, а Кирюшей. Она неожиданно поразилась тому, что неожиданно сравнивает его, сегодняшнего гостя, с тем, теперь таким далеким и негасимым образом...

Война смахнула, скомкала и растоптала ее, только начинающуюся жизнь в бутоне, в самом первоцвете...

Как же, как же писал когда-то Кирилл Назаров, будучи еще молодым монтажником, на обшарпанном столе рабочего общежития, ломая карандаши, строки о войне, проклятой и великой: «... Покоя нет на белом свете, // как много лет назад: // — Огонь! — кричат в испуге дети. // — Огонь! — кричит солдат... // Оборван крик. Солдат и воин // лежит, к земле припав. // Коровкой Божьей капля крови // на молодых губах. // Большой знаток огня и боя, // ему сам черт — не брат, // устал от крови и разбоя... // Ты отдохни, солдат! // Пока из мрака преисподней // тебя на суд зовут, // свинец и сталь на свет Господний // травую прорастут».

Того Павлушу, агронома ученого, ненаглядного и такого желанного, под широкой ладонью которого там, в пахучем пространстве деревенского

чердака, сладостно томились ее наливные девичьи груди, сразу же всосала жадная и черная воронка всеобщей мобилизации, бездонную прорву которой каждый день старались наполнить до краев районные военкоматы.

В селе сразу же стало тихо и скорбно. Даже тетка Марья, у которой не было ни мужа, ни сыновей, чтобы бояться за их жизни, и та, повязав черным платком голову, подолгу длинными вечерами простаивала на коленях перед забытыми до срока в повальном атеизме иконами, вымаливая у Бога милосердие к русской земле и ее шлемоносцам, которые, несмотря на все усилия, все пятились и пятились назад, накапливая ярость для решающего удара. Да, наверное, такова уж природа русского человека — надо долго колотить его по пяткам, чтобы основательно разозлить.

До боли в глазах смотрела молодая учительница Павочка в спину входящего Павлуши, до первой слезы. Она тогда уже знала, почувствовала, что видит его в последний раз. Женское сердце — вещун.

Голубая даль, в которой скрылся еще один солдат Отечества, растворил в себе душу еще одной русской женщины, не оставив никакой надежды на будущую встречу.

7

Потухшая и поблекшая, загребая босоножками придорожную пыль, она шла назад в село, и черная стена печали, стена плача заслонила ее от окружающего мира. Были только она и ее печаль.

Не заметив поворота дороги, она переступила ее и теперь уже шла по обкошенному лугу, где грядками лежали поваленные навзничь свистящей равнодушной косой неисчислимые травы, обрызганные росой и светлой синевой июньского рассвета, — растительное воинство земли, еще вчера встречавшее солнце в полный рост.

Ближе к Дону, там, где одним своим концом село упирается в берег, трава в валках уже созрела, подсушилась, превратившись в добротное сено, а кое-где даже была собрана в копны. На такую копну и повалилась молодая женщина, еще девочка, печальница, сжавшись в комочек, как сжимается зеленый листок на огне перед тем, как превратиться в золу, в пепел.

Девочка еще до конца не сознавала, что с ней случилось, но чувствовала всем существом своим, еще и не совсем женщины, что пыльная дорога, бегущая к горизонту, пересекла ее, начавшуюся так хорошо складываться, жизнь.

Короткие вечера, проведенные под уютной крышей сеновала, привадили ее к напористой мужской ласке, когда, раскрываясь, как набухшая почка под упругими струями парного весеннего дождя, вся ее женская сущность тянулась к ней, к этой ласке, вбирая ее в себя с пугающим и сладостным трепетом.

Теперь была она, как веточка, отсеченная от дерева, еще зеленая, еще обрызганная дождевой влагой, но уже обреченная, не распутившись своим первоцветом, сохнуть и вянуть под равнодушным к ее участи небом.

Она очнулась от вечерней зябкости, тянувшей со стороны Дона вместе с белесым стелющимся по жесткой стерне туманом. Отряхнув ситцевое платье от налипших травинки, она огляделась по сторонам. Молчащая, пустеющая даль немного успокоила ее, и, тяжело вздохнув, она пошла в сторону села, где востроносой безвесельной лодочкой по тихой небесной заводи уже заскользил молодой месяц.

Тетка Марья сидела на приступочке у своего дома, обняв колени большими жилистыми руками. Увидев свою незадачливую постоялицу, она встала, обняла ее за плечи и по-матерински ласково погладила ее по голове:

— Ничего, детка, твое дело молодое, легкое, и печаль твоя легкая, как осенняя паутинка в воздухе. Ветер подует — и нет ее, паутинки этой. Улетела! А я почти всю жизнь не мужниной женой жила, хоть и замуж вышла в шестнадцать лет, да за какого мужика! Бывало, когда еще мы своим хозяйством жили, до колхозов этих, пойдём с ним в поле по делам каким, а он посадит меня на плечо и несет так, посмеиваясь, до первой копны. А потом — в коню, да и зацелует до беспамьяства. Очнешься, а уж день-то к закату клонится. Семьи тогда были большие. Свекор мой, ну, как нынешний председатель, строгий, страсть какой! Зачнет ругаться да кулаки перед носом сучить, что день задарма прошел. Жуть берет! А мой — все папаня да папаня! Лицо руками загородит и оправдываться зачнет, как дите малое. Такой смирный был. Ну, а потом — эта самая революция. Разруха. Люди беднее стали. Он, муженек мой, хоть и телок нелизанный, а все туда же — пошел в Совет комиссарить. Откуда только такая прыть взялась, богатых шерстить, хотя при старой власти и мы жили ничего себе. А он, как заразился! Бывало, приедут верховые с продразверсткой — на поясе бомбы, в руках наганы, при саблях... Ну, и к нашему двору. Свекор, Царствие ему Небесное, к тому времени уже упокоился. Мой за хозяина остался. Не лезь он в активисты да в комбеды — и посеячас жил бы... Здоровый бугай был, что ему сделается? Прости, Господи! — тетка Марья, вздохнув, перекрестилась. — Приедут эти, верховые, да с обозами, сунут плетки за голенища, а ты, Марья, стол накрывай, гостечков дорогих встречай, чтоб им пусто было! Самогонки выставь. И что он в них нашел, в комиссарах энтых? Они — такие же люди, только, может быть, пьют поболее, да и побессовестней, чем наши, деревенские. Выпьют — материться зачнут: «Зажали, говорят, твою мать, кулаки гребаные, хлебушек народный. Скопидомничают. Сами сожрут, не подавятся! Ну, мы у них закрома-то повыворачиваем наизнанку. Пойдем, Миколай, — это они уже к нему, муженьку моему, Царствие ему Небесное, — пойдём, говорят, Миколай, интерцанал велит все делить поровну. Богатых быть не должно! Весь мир насилья мы разрушим до основанья! Пойдем, Миколай! Ты, как представитель комбеда, бумагу изъятия подписывать будешь!». Ну, Миколай мой тоже пристегнет бомбы к поясу — и шасть со двора! Я его не пускать. А эти, верховые, ржать зачинают: «Ты, говорят, Миколай, пролетарскую совесть на бабу не меняй. Айда, по суекам пошебуршим!». Ну, и увезут с собой подводы две-три хлеба. А после них по селу разговор нехороший шелестит, что мой Миколай счеты с недругами сводит. Говорила я ему, — тетка Марья опять перекрестилась, — сними ты этот шишак с головы! Ну, буденовку со звездой. И бомбы свои в уборную забрось. Зачем связался? Вот он крайним и оказался. Раз уехали эти верховые, а Миколай мой в Совете какие-то бумаги подшивал, еще нитки из дома брал. Ну и задержался допоздна. Я жду — нет его. Ну, думаю, в комбедке излишки кулацкие обмывают, засиделся маленько. Я уже засыпать стала. Слышу, скребется кто-то за дверь. И тихо так, как котенок, голос подает. Я думала сначала, что это наш Васятка во сне постанывает. Дите, Господи, жалко. Не досмотрела я дитя своего,

Васеньку. Грех на мне. Не отходила его. От дифтерии он в тот проклятый год и преставился. Посинел весь. Впился ногтями детскими мне в шею, да так и застыл, — тетка Марья вытерла кончиком платка глаза и вздохнула тяжело-тяжело, продолжая дальше горестные воспоминания. — Ну, это... Смерть сыночка потом была. А тогда слышу, скребется кто-то за дверь, — она снова глубоко вздохнула. — Ну, скребется и скребется. Котенок, думала. Уснула кое-как, а утром отворила дверь: батюшки! Вот он, Николай мой! Ноги по-нехорошему раскинуты и лежит ничком, головой в мою сторону. Я еще выругалась в сердцах: как можно так пить, чтобы через порог не переползти! Запрокинула его навзничь, а у него с губ кровавые пузыри пенятся. Я — в голос! К соседям. Втащили его кое-как на постелю, положили под иконы, если что случится. Запрягаю лошадь, колхозов-то еще не было, слава Богу, своя скотина. И в район за фельдшером. Доктор приехал. Посмотрел. Покачал головой и велел не трогать его. «Крепись, — говорит, — Марья! У него позвоночник перебит. Он теперь, как дите малое. Сам и ширинку, чтобы сходить по-малому, не расстегнет. Так что — крепись, Марья, и жди его часа, как пробьет колокол. Может, с недельку и поживет». А Николай-то, слышь ты, еще ровно десять годков жил. Да, как жил, — тетка Марья горестно махнула рукой, — мучился только, а не жил. И по-малому, и по-большому сам опростаться не мог. Лежит бревном, да и только. А что сделаешь, коль Господь такую кару послал? Николая-то кто-то из-за угла оглоблей перешиб. Из-за этих, верховых, что ли? А ведь я ему говорила — не комиссарь, Коля, не бери грех на душу! А он меня все за темную считал. Неграмотная, мол, ты, Маша, поэтому дальше своего корыта и не видишь. А вот оно, какое корыто получилось! Полное слез, мойся — не хочу! Эх, жизнь, — она прижала за плечи к себе заплаканную, горестную постоялицу. — Что поде-лаешь, коль такая оказия получается? Теперь вот германца держать надо. Без нашего воинства покромсает он, немец этот, землю нашу православную, где жить-то станем? Беда! Пошли в избу, там и горевать будем. Нам, бабам, только горевать и остается. Зябко тут...

Тетка Марья, звякнув щеколдой, повела девушку в мягкую, податливую темноту жилища.

9

Там, не зажигая огня, они и уснули, обнявшись, как близкие люди...

А там, куда закатывалось солнце, гремела и рвала в жестокой ярости воздух, железо и землю война. Отечественная, самая праведная и самая страшная. На Москву катился, подминая все под себя, перевертень фашистской свастики — чудище о ногах, обутое в кованые солдатские сапоги из продубленной бычьей кожи. И не было этому перевертню удержу. Быстрота, с которой напирала фашисты, была ошеломляющей, порождая в тылу панику и всяческие разговоры. Страна оделась в траур. Не было дня, чтобы то в одном, то в другом конце села не голосили бабы, получая похоронки — последнюю весть с фронта...

Павлина Сергеевна, молодая учительница Павочка, и ждала, и боялась местной почтальонши, невысокой, но громоздкой бабы с каменным, суровым лицом, обутой в любую погоду в жесткие рубчатые калоши с узкими, загнутыми кверху носами — «шахтерки».

Только кому-кому, а молодой девушке, учительнице, недавно освоившей село, бояться суровой почтальонши не было никакого резона. При-

слать ей весточку с фронта мог только живой Павлуша. Мертвые не пишут. Не до того им. Вон сколько их с набитыми землей, распахнутыми в крике ртами лежат в раскидку на черном мраморе русского поля, считая широко раскрытыми глазами в дымном небе отяжелевшее воронье.

Получить похоронку Павлина Сергеевна ну никак не могла! Не мать ведь и не сестра! А то, что она была дороже всех советскому солдату Павлу Петровичу Ковалеву, штабные писари догадаться не могли, и за это на них нет никакой вины. Поэтому жила Павлина Сергеевна, постоянщица тетки Марьи, в полном неведении о судьбе своего Павлуши. Ни одной весточки, ни одного словца, ни одной строчки с того берега, где кончаются все надежды.

Но несмотря ни на что, государственная машина работала исправно. Каждое утро по радио читались боевые сводки за прошедшие сутки и отчеты трудовых коллективов о принятии сверхплановых обязательств и безвозмездных взносов в копилку оборонного фонда. Люди отдавали последние силы и скудные сбережения государству, лишь бы это помогло фронту.

Уборочная компания в этом году даже при почти полном отсутствии мужских рук прошла на несколько дней раньше обычного. В школе начались занятия.

Как говорится, война войной, а жить надо!

Немец уже вплотную подступал к Москве, да и Воронеж становился прифронтовым городом. Началась мобилизация на трудовой фронт — рытье окопов и противотанковых рвов по периметру предполагаемого фронта врага. Готовились к худшему.

Первый урок, который с таким нетерпением и страхом ждала молодая учительница Павлина Сергеевна, прошел до обидного буднично и скомканно. Не получилось урока, как мечталось. Дети, первоклашки, одетые кое-как, с пугливыми лицами, ни в какую не желали сосредоточиться на словах своей учительницы.

Рождение сынов и дочерей, слава Богу, в то время еще не научились ограничивать. Поэтому класс Павлины Сергеевны был большой, целых тридцать пять маленьких человечков со своими, как теперь говорят, индивидуальностями, каждый по-своему ждал от первой в жизни учительницы чего-то важного и необычного, досель неслыханного, а не нудных повторов каких-то букв и цифр. Ребята никак не хотели входить, нет, не в океан знаний, а в маленький, журчащий ручеечек: не то, чтобы выкрикнуть букву алфавита или досчитать хотя бы до десяти — они с трудом, и то в конце учебного дня смогли запомнить и правильно выговорить имя и отчество своей учительницы.

Расстроенная и подавленная Павлина Сергеевна пришла домой и стала горько жаловаться на свое, как ей казалось, неумение вести уроки.

— Какие уроки, голубь мой? Немец вон почти на задах, на самых огородах стоит, а ты, девка, — уроки! Мужики головы кладут, а мы, бабы, одни нужду мыкать остались. А твои ребятенки, даст Бог, подрастут, выпростаются из коротких штанишек, и не то, что твое имя правильно выговаривать будут, а и другие слова, которые похлеще. А ты им все про маму да про раму. Жизнь, она сама кого хошь выучит. Как матюгаться зачнут, так и к работе готовы. Не тужи! Давай лучше я тебя обедом накормлю. Я сегодня петушка порешила к твоему приходу. Вон он на загнетке парится! Упрел, небось. Садись, лапша ох и наваристая!

Так и пошли, закрутились гайкой по резьбе бесконечные дни, полные тревоги и ожидания чего-то совсем невыносимого, все плотнее стягивая жизнь Павлины Сергеевны с жизнью всей страны.

В один из дней, ближе к первым морозцам, всю сельскую интеллигенцию района собрали в здании райвоенкомата и объявили, что посильную помощь фронту они могут оказать только безвозмездным трудом на заградительных работах. Надо во что бы то ни стало остановить коварного врага. С лопатой и ломом небось все знают, как обращаться. Пока мороз не прихватил землю, будем рыть окопы для наших красноармейцев, а для ползучего гада возведем такие рвы, чтобы ни один немецкий танк не переступил нашу священную черту. Поняли? С завтрашнего дня вы будете по законам военного времени мобилизованы на трудовой фронт в свободное от основной работы время. Доставку к месту земляных работ осуществим механизированным или тягловым способом. Вопросы есть? Нет вопросов? Разойдись!

Хоть и привыкла молодая учительница с детства в шахтерском поселке к разным хозяйственным работам, но копать рвы и котлованы в зачерствевшей к зиме почве было невмочь. А куда денешься? Обязаловка и чувство своей причастности к защите Отечества помогали ей не выпускать лопату из рук. Земля тяжелая, глинистая, неподъемная. К вечеру шатало и валило с ног. Руки, как плети, становились. Пота, смешанного со слезой, не утрешь, а назавтра после занятий в школе на телеге вместе с бабами снова на «передний край», чтобы нашим защитникам оборону держать. Им, солдатикам родимым, и того горше под пулями прогибаться. А, может, какая и в сердце впилась, ужалила, освободила от позора свою землю захватчикам оставлять. Где-то и Павлуша ее там, не дай Бог, лежит родненький, распластав руки. Родину многострадальную своим телом закрывает. Ни одной весточки не пришло. Ни словца приветного...

Остановится молодая работница трудового фронта, положит руки на черенок лопаты и вдаль заглядится. А тут бабы шикают, мол, чего размечталась? Работать давай!

Однажды закружило, завертело ее, поплыла-поехала земля под ногами, и очнулась она только в телеге — телогрейка под головой и высокое небо над головой. Скрипит тележная ось противно и нудно. А тошнота в горле лягушонком торкается, да холод под сердцем застуженным.

В районной больнице старый доктор, оставленный мобилизационной комиссией по возрасту (надо и в тылу кому-то людей выхаживать), только качал головой и цокал языком: «Эх, девка, девка, как же тебя угрозило в это время затяжелеть? И не замужем еще? А жених на фронте? Ну, ничего, дело наживное! Крепись, дочка, может, это и к лучшему. Война вон сколько народа пожирает! Кому-то надо потери восполнять. Ты не плачь, не сокрушайся, может быть, мы что-нибудь и сделаем. Глядишь, и сохраним твоего ребеночка. Это от непосильной работы у тебя нутро разошлось. Ты потерпи, потерпи!».

Боли и отчаянью молодой учительницы начальных классов сельской школы не было границ. Что делать? Куда прислониться? С тех краев, где дом родительский, люди бегут. Говорят, немец жмет, бомбы швыряет. Почта туда давно уже ходить перестала — не пожалуешься и прощенья у родителей не выпросишь. Одна на белом свете, как соринка в глазу...

Доктор ничего сделать не мог, и лежала она так, пустая и горькая, в слезах и мокроте на узкой железной кровати в уголке больничной палаты, зажмурившись от пугающего мира. Ей казалось, что вся ее внутренность лежит здесь, на виду у всех. И кровоточит. И кровоточит...

11

В больницу за ней приехала тетка Марья с узелком чистого белья, закутанной в шаль кастрюлькой куриного бульона и парой сваренных вкрутую яиц. Села подле нее, подержала за руку, погладила, как маленькую, по голове и стала отпаивать ее из большой алюминиевой кружки еще не остывшим, крепким и душистым бульоном: «Пей, голубь мой, пей! Силы тебе еще пригодятся. И Павлуша твой возвратится живой и здоровый. Не убивайся загодя. Чего в жизни не бывает? Яичко вот съешь!».

Уговоры и ласковый, заботливый голос тетки Марьи подняли Павлину Сергеевну с опостылевшей, пропахшей хлоркой и креозотом постели, и маленькое незадачливое существо, прислонившись головой к плечу своей хозяйки, закусив губу, тихо постанывало, возвращаясь к жизни.

На улице их ждала терпеливая колхозная лошадь, запряженная в широкую дощатую телегу. В телеге золотилась на закатном солнце большая охапка соломы, на которую заботливо и усадила свою постоялицу добрая тетка Марья. Накрыв своей страдалице ноги старым, со свалывшейся шерстью полушубком, она легонько, для порядка, стеганула хвостом зазевавшуюся лошадь, круто по-мужски развернула телегу, и они поехали домой, молчаливо думая каждая о своем.

Молодая учительница под однообразное, ненадоедливое покачивание громоздкой телеги успокоилась настолько, что даже успела незаметно уснуть. Открыв глаза, она уже не чувствовала себя обреченной и брошенной. Вот уже холодным, широким, иссиня-черным рукавом выпростался из-за поворота Дон. Водная гладь его, готовясь к неминуемым первым морозам, была пустынной и отрешенной от всего сущего, что творилось в это время на русской земле. Война и людские беды были безразличны равнодушной реке, видевшей за свои тысячелетия столько слез, что их вполне хватило бы, чтобы в них утопить всех обидчиков на всей земле...

Еще не успели как следует спуститься сумерки, переходя в длинную осеннюю ночь, а женщины, молодая и старая, были уже дома.

Тетка Марья распрягла лошадь, старую, со спутанной гривой понурю кобылу, и оставила ее до утра в своем дворе.

Нетопленная с утра печь простыла, и в избе стояли холодные потемки. Хозяйка, не раздеваясь, зажгла керосиновую лампу под стеклянным щербатым пузырем, опустила ее перед собой на пол и, стоя на коленях, стала возиться с топкой. Вскоре заранее приготовленные дрова занялись нетерпеливым переменчивым огнем, и по дому забегали, заметались испуганные тени. А вроде это и не тени вовсе, а черные крылатые существа, слетевшиеся сюда из другого мира, — оттуда, откуда, погромыхивая железом, разрывая сердце, накатывается гроза. И эти мятущиеся тени вселили еще большую тревогу и смятение в горемычные души двух одиноких женщин.

— Ну что, дочка, раздевайся, не в гости пришла, — оглядываясь на стоящую в нерешительности девушку, сказала нарочито строго хозяйка. — В ногах правды нет. Сейчас чай пить будем. Я тебе тут пирог с яб-

локами испекла, и медку баночку соседи принесли, как узнали, что ты в больнице с аппендицитом лежишь. Ты только меня, старую, не подводи. Правда, она кому нужна? Никому! А тебе еще здесь жить да жить надо.

Вот так и рассудила умудренная житейским опытом деревенская женщина положение сельской учительницы, которая в деревне, конечно, всегда на языке.

Еще долго в стылой ночной темноте порывистый ветер раздувал горящий уголек окна, высвечивая два женских силуэта, беседующих за столом на своем женском, непонятном ветру языке, доверительном и сокровенном...

Больше на рытье окопов хрупкую учительницу уже не посылали, и она, втянувшись в ежедневную работу, все свое время отдавала испуганным войной детям, занимаясь с ними и после уроков, до самого вечера, пока их, будущую безотцовщину, не забирали домой измученные за день и обычно всегда простуженные бабы — негибаемые солдаты тыла.

А Воронеж уже бомбили немцы, и по ночам в морозном воздухе в красных зловещих сполохах были видны с той стороны белые, беспокойно шарящие по небу лучи прожекторов. Стояло страшное время. И детское сердце сжималось в тоске.

Что было потом? Да мало ли, что было потом! Потом было всякое.

Долго, долго еще будут беречь душу эти дни, отражаясь в глазах тех мальчиков черной, несмываемой тенью.

...Ах, Павлина Сергеевна, Павлина Сергеевна, учительница детства моего!





Виктор Николаевич Никитин родился в 1960 году в Москве. Окончил Воронежский инженерно-строительный институт. Прозаик, драматург, критик. Печатался в журналах «Подъём», «Москва», «Звезда», «Наши современники», «Октябрь», «Сибирские огни», «Русское эхо», «Врата Сибири», «Дон», газетах «Литературная Россия», «Русский писатель», «Литературная газета». Лауреат премии «Русская речь» журнала «Подъём» (2003, 2012), двух премий портала «Русский переплет». Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Виктор Никитин

ЖИЗНЬ В ДРУГУЮ СТОРОНУ

Повесть

I

Ближе к вечеру, часам к шести, когда солнце, утомившееся от своей безжалостной работы, уже явно начало отступать на запад, я позвонил, как и просила Наташа, чтобы уже точно ей знать, приеду я или нет. Сомневаться в том, что я хочу с ними встретиться, не приходилось — почти год не виделись, — но им нужно было подтверждение, как я предполагал, что приду в их квартиру именно я, а не кто-то другой.

Это был одновременно вопрос беспокойства и радости. Радость от общения со знакомым, проверенным человеком, беспокойство — от возможного появления посторонних, как людей, так и мыслей. Степа не любил случайностей, хотя и верил в случай. Возможно, он чего-то опасался. Во всяком случае, он был весьма осторожен в отношениях с людьми, а в иных ситуациях так даже и необычайно щепетилен. Я хорошо помнил фразу, вычитанную им у Достоевского, которую он однажды привел мне с ироничной улыбкой: «Вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одалживаешь». Однако так было не всегда, и последняя наша встреча не состоялась как раз по причине легкой замены

деликатности на необъяснимое молчание: он просто неожиданно исчез, уехав, как потом оказалось (выяснилось это уже зимой), вместе с Наташей в Крым; привычная для него поездка, традиция, некий обряд, к которому он относился весьма серьезно, совершаемый два раза в год, — весной и осенью, никогда летом, потому что летом в Крыму много народу, а он не любил толпы, но любил хоккей и футбол, виды спорта, без толпы не существующие, и именно на футбольный матч мы собирались пойти в выходной, он же и сам мне предложил: давай сходим? И я ждал его звонка, думал о билетах, потом думал, что что-то случилось, и звонил сам в пустую уже квартиру, в то время как он, наверное, подъезжал на поезде к Симферополю, или уже садился там в такси; далее дорога с ветерком до побережья, и вот наконец-то оно, желанное море. В достаточном раздражении мне легко было сообразить, что когда я думал о билетах на футбол, он естественным образом приобретал совсем другие билеты.

Но все это выяснялось потом, под Новый год, когда я обзванивал знакомых с поздравлениями, совершенно расчетливо пропуская в этом списке Степу, потому как справедливо полагал себя обманутым, и от Кости Барометрова, прозванного Степой «меся Барометровым», узнавал, что он встретил нашего любителя Крыма на днях в магазине с искусственной елкой в руках, и тот сам о Крыме только и говорил, главным же было: «хорошо отдохнули». «От чего? — неожиданно спрашивал меня «меся Барометров». — От чего отдохнули?» Я только усмехался в ответ: принято было считать, что Степа нигде не работает.

Он жил так, как ему было удобно, как хотелось. Стало удобно в одно августовское утро позвонить мне, и он позвонил. Не он, разумеется, потому как я не мог за двадцать почти лет нашего общения припомнить более двух-трех раз, когда он сам это делал, — всегда звонила Наташа, направляемая им, и только потом, если все оказывалось нормально, к разговору подключался он. Возможно, для него это было еще одним проявлением деликатности, мне же в этом виделась осторожность, стремление обезопасить себя от малейшей неловкости, какого-либо недопонимания, даже неудачи. Я хорошо себе представлял, как он это делает: говорит Наташе и раз, и два, толкает ее в бок, уже и щиплет... Она сама мне об этом рассказывала при нем же: «Как заладил одно и то же: «Позвони да позвони! Позвони да позвони!» Ему оставалось только смущенно улыбаться: ну да, такое дело, у него бы не получилось.

Иногда и подключаться не удавалось, и тогда все заканчивалось обычным немногословным приглашением, озвученным Наташей, с обязательным добавлением про «него», потому что если даже я не спрашивал: как «он», она все равно сообщала, что «его нет сейчас дома», чтобы я не сомневался и не думал, что он на самом деле сидит напротив нее в удобном кресле или на обширном диване, потирая ладони от непонятного мне напряжения.

Но все же чаще случалось иначе, и после нескольких вступительных слов Наташи, достаточных для того, чтобы понять, что я нахожусь в добром расположении духа, я слышал, как она неожиданно говорила: «Ну вот, он у меня уже трубку из рук рвет».

Его голос был еще оживленнее, чем у нее, даже до неправдоподобия; он уже не примеривался ко мне, понимая по ее тону, что можно вполне расслабиться. Он подхватывал этот заданный тон, входил в разговор подготовленным, продолжал, бодро принимая эстафету. Несколько ничего не значащих фраз — о чем? разумеется, о погоде! — вольные упражнения на

тему Наташи: «да вот сидит, смеется, а что ей делается», отводили в удобную сторону, создавали приятственный фон, на который не ложилось никакое, самое мельчайшее пятно неудовольствия; настроение удваивалось и утраивалось, захватывая и меня своей беззаботностью; наконец, поражая меня своей беззаботностью.

Прошедшего времени словно не существовало, неполный год зачеркивался всего лишь одной фразой, сказанной Наташей в самом начале разговора: «Куда вы пропали?» Эта внезапная естественность обезоруживала, отменяла всякие сомнения, развеивала недоумения, и всякий раз, когда подобная ситуация повторялась, и я соглашался с тем, что мне одинаково верно предлагалось, только потом вспоминал, что же оставалось для меня непроясненным, — время, срок, даты; днем позже, днем раньше, да хотя бы и неделей, но день отъезда в Крым оставался почему-то тайной. Можно было, конечно, понять и так: Степа до самого последнего момента не знал, как обстоят дела со снимаемым жильем у их привычных хозяев, и это ожидание сигнала к выезду делало недействительными любые договоренности с кем-то еще, но я не соглашался лишь с одним — с билетами на поезд; как же с ними-то быть, вспоминал я, сидя в маршрутке; возможному оправданию мешали Оленька и Павлик, в другие, более спокойные и светлые времена придуманные Степой для того, чтобы ему с Наташей занять все купе и ехать без попутчиков; поезд шел через Харьков, переименованный Степой в призрачный город Хрюков, — несколько часов запланированного расписанием простоя, возможность празднично пошататься по улицам, заглянуть в кафе; где-то там, рассказывал Степа, варили замечательный кофе; вагона СВ в составе не было, иначе бы они просто обошлись двумя билетами. Да, я уже ехал к ним, потому что в ответ на Наташино: «Ну как?», бодро ответил: «Нормально»; на Оленьку и Павлика, своих несуществующих детей, они запасали необходимые справки, но в вагон мнимая семья садилась неполной: дети неожиданно заболели и оставались дома, счастливые родители могли спокойно отправляться к Черному морю, их никто не стеснял. «На следующей остановке», — просил я водителя; Оленька и Павлик скрашивали дорогу, придавали ей почти домашний уют, следующая остановка была Куцыгина, я выходил, дом стоял напротив, второй этаж, поднятые жалюзи на выдвинутых вперед окнах, свет на кухне. Оленька и Павлик, бормотал я, как же теперь Степа обходится без них, с новыми правилами покупки билетов, не может быть, чтобы ничего не придумал, не поверю.

После пристанища художников, сразу под арку вход во двор; запустение укореняется битым кирпичом под ногами, выщербленным асфальтом и какой-то сквозной пустотой умирающей хоккейной коробки. Жизнь теплится только на лавочках, в редких фигурках пенсионеров. Когда-то этот дом считался элитным.

Степа, в красной спортивной майке, загорелый, стоит на балконе второго этажа — в зоне перехода от лестницы к квартирам. Щурится, выматривая меня. Я знаю, что домофон не работает, Степа предупредил по телефону. Все тот же настороженный взгляд, переходящий в улыбку. Увидев меня, он спускается, чтобы встретить, иначе мне не попасть в подъезд. Он это неудобство называет счастьем, свое удовлетворение вкладывая в рукопожатие: «И очень хорошо». Вход на лестницу, таким образом, оказывается заблокированным, можно воспользоваться другой дверью, к лифту, но лифт работает только с третьего этажа, а значит, в такой ситуации, надо подниматься на лифте, потом переходить на лестни-

цу и спускаться на второй этаж. «Не самая сложная комбинация», — замечая я, на что Степа с улыбкой отвечает: «Но может и не получиться». Я так и не спрашиваю его, почему; главное мне понятно: случайному человеку на лестницу попасть невозможно.

«Осторожно, здесь ступенька», — предупреждает Степа. Я уже и сам вижу. Холодный и заброшенный пролет лестницы, словно обкусанный порог за порогом неизвестным животным, резко контрастирует с теплым и благоустроенным, хотя бы за домом, на улице, летним вечером.

Вот и балкон второго этажа, переход к квартирам, но сначала одна дверь, потом тут же другая, за ней, через два метра, еще одна, уже от жильцов, общая, с четырьмя кнопками звонков; все двери пока что деревянные, замок простой, улучшение бросается в глаза, сразу же появляется ощущение какого-то домашнего тепла. По концам просторного коридора еще две двери, на этот раз железные, но не самих квартир все же, не надо так спешить; проходим направо мимо старой стиральной машины и ящика от кофе с пустыми бутылками из-под пива, рядом кучка окурков, шелуха от семечек. Степа перехватывает мой взгляд и поясняет с улыбкой: «Нечисть подрастает». У соседей слева есть сын лет двадцати, не учится и не работает, иногда приводит компании, тогда случаются выяснения отношений; шума, впрочем, от них немного, да и за массивной железной дверью Степиной квартиры ничего не слышно.

Но и эта дверь еще не окончательная, Степа возится с ключами, замок сложный, тянет ее на себя, открывая доступ в ухоженный тамбур, молча показывает мне рукой «прошу»; внутри свежие обои на стенах, глянцевый японский календарь с видом на Фудзияму, прямо передо мной дверь соседской квартиры, налево дверь квартиры Степы и Наташи; без перемен тут тоже не обошлось. Степа с довольным вздохом рассказывает, во сколько ему встала эта чудо-дверь — самое последнее слово техники против взлома. Ему доставляет удовольствие перечислять реальные преимущества этой двери: у нее нет наружных петель, она запирается на несколько засовов-ригелей, ее нельзя разжать домкратом... Ну а больше всего ему нравится выражение «дополнительный ригель». Он употребляет его несколько раз во множественном числе, как окончательное доказательство безопасности.

Далее следует неожиданная просьба: «Ты не мог бы выйти?» Обратное, разумеется. Больше некуда. Наверное, потому, что тесно вдвоем? Но зачем? У него смущенный вид. Странно, конечно, но я выхожу. Снова возня с ключами. Я вижу только широкую спину. Спина обозначает какие-то сложные движения руками. Кажется, один засов, теперь другой. Облегчение наступает, когда Степа оборачивается и говорит: «Можно входить». Его лицо как будто освободилось от чего-то, посветлело. Строгая, внушительная дверь выехала мне навстречу, словно открылась страница толстой и редкой книги, тяжелого фолианта, видеть который прежде доводилось немногим счастливицам. Все выглядело очень основательно, функционально; весомая зримость предметного мира, организованного в крепостные ворота, подавляла. Дверь была явно значительнее меня во всех отношениях. С ней придется подружиться, подумал я, чтобы не вляпаться в какую-нибудь историю. Такая дверь не предаст своего хозяина. Она как собака, сторожевой, цепной пес по кличке Верный. Но что это? Я вижу перед собой решетку, слышу запоздалый голос Степы: «Не удивляйся», за однообразными ромбами стального рисунка меня ждет улыбка. Сразу широкая улыбка Наташи, ее раскрытые мне навстречу объ-

тия, — готовность удивительная, как-то согласованная с моментом и опущенной вниз головой Степы; его взгляд что-то изучает на половике перед дверью. Впрочем, створки решетки легко распахиваются толчком Наташиной руки; на одной из створок понуро блестит маленький навесной замок.

Заходить надо быстро. «Наконец-то! — восклицает Наташа и обнимает меня. — Совсем нас забыл!» Степа продолжает что-то делать за моей спиной, он говорит Наташе: «Я сейчас»; звук плотно закрываемой двери обеспечивает нашу встречу необходимой для этого места герметичностью. Я оборачиваюсь: секундное замешательство на лице Степы отражается его редким по удаленности отсутствием. Да, он сейчас далеко отсюда и думает о чем-то постороннем. Тень какой-то тайны промелькнула лишь на миг и исчезла бесследно; он уже очнулся, он здесь, с нами; две поперечные складки у переносицы разгладились и освободили простор загорелого лба, белесый ежик коротких волос дернулся вслед за мускулами тщательно выделанного природой лица. Степа улыбнулся, вслед за ним и я, мы все втроем чему-то улыбнулись. Кажется, тайны закончились. Я наклонился, чтобы снять обувь, и вдруг понял, что становлюсь весьма осторожным, стараясь не делать лишнего шага вперед, — в лакированный паркет передо мной впечатаны в длину три рейки, выдающиеся над полом на полпальца и расположенные друг к другу под небольшим углом. Урок прошлого визита не прошел для меня даром. Оказывается, за эти несколько месяцев я не забыл, как меня остановили сразу же у двери перед этими рейками, не дав мне их перешагнуть в обуви. Я их даже сперва и не заметил. Мягко, но настойчиво, как необученному ребенку, Наташа сказала мне, указывая рукой: «Вот здесь и разувайся».

Рейки эти явно что-то значили, для чего-то они были тут прикреплены. Даже по цвету они отличались от пола, были светлее. Их приклеивали или прибивали, но не для того же, чтобы об них спотыкаться?

Степа находился уже рядом с Наташей и терпеливо наблюдал за тем, как я пытаюсь справиться со шнурками; мои туфли почти упирались в крепостную стену, которая ограничивала мои передвижения как гостя. Мне даже показалось, что Степа стоял с Наташей рядом на тот случай, если бы я вдруг послушавшись, проявив невнимание и неуважение, перешагнул эту преграду. Скорее всего, это нелепая мысль: о применении силы. Помню, что я еще в прошлый раз хотел спросить их, для чего эти рейки нужны, но как-то не решился. Не спросил и теперь. На мой неискушенный взгляд пол, что до этой великой загадочной стены, что после нее, был совершенно одинаков.

Тайны оборачивались правилами, оказывались неразрывно связанными друг с другом. Надо было следовать этим правилам, постоянно помнить о них, если уж ты каким-то образом оказывался в этой квартире.

Нашему общему знакомому Петру Недорогину и его жене довелось побывать в гостях у Степы с Наташей, судя по всему, по какой-то душевной слабости или даже глупости хозяев, которую иногда еще называют расслабленностью, — просто случайно встретились на улице, посидели в кафе, увлеклись разговором и при обязательной в таких случаях поддержке спиртного, переместились на дом. Возможно, надо было показать достижения, какие имелись на то время. Почему бы нет? Петр несколько раз приглашал их к себе — и на квартиру, и на дачу, — демонстрировал жизненный достаток, вполне естественно ожидая ответного приглашения, и вот случай представился, а то ведь можно было уже и задуматься, что

это за люди такие, которые сами в гости ходят охотно, но к себе не приглашают. По этому поводу у Степы если и возникало какое-то чувство неловкости, то за внешнее оформление почти всех отношений, кроме, разумеется, деловых, ответ держала Наташа, и делала она это с неподражаемой искренностью, постоянно уверяя, что она-де «готова в любую минуту», «всем сердцем открыта», да только, к сожалению, не от нее это зависит: «Как хозяин скажет».

Это самое слово «хозяин» произносилось ею уже на выдохе с легкой грустинкой, с такой уважительной и вместе с тем ироничной интонацией, что любые намеки на необщительность или, того хуже, какую-то неясную выгоду, даже скупость, просто отпадали, становились невозможными.

Подробностей того вечера известно мало. Вернее, известна всего одна подробность, зато самая главная: по всей видимости, найдась уже в изрядном подпитии, сидя за небольшим столом на кухне, заставленном тарелками и стаканами (в продолжение хватило всего лишь бутылки шампанского), Петр в подтверждение какой-то своей объединительной мысли, воодушевленный приятным общением, как взмахнул рукой, так и разбил вдребезги один хрустальный фужер из имевшихся шести.

Ему этой добросердечной жестикуляции не простили. И хотя Наташа и Степа, каждый по-своему рассказывая мне об этом случае с одинаковым смехом, приглашали меня больше поудивляться: «Ка-ак размахнулся!..», тем не менее, для Петра Недорогина это посещение их квартиры оказалось первым и последним. Единственная оплошность решила все: больше его уже никогда не приглашали. Сам Петр про разбитый фужер мне ничего не говорил, очевидно, считая этот эпизод совершенно обыденным, — у себя дома ему случалось разбивать рюмку или бокал, за ним даже знали такую особенность. Я лично помню одно застолье, когда он с грохотом рассадил большое блюдо, предназначенное для рождественского гуся. И никто ему за это не попенял, даже жена. Естественным образом предполагалось, что ни Степа, ни Наташа ни при каких обстоятельствах ничего разбить не могут.

Как бы там ни было, Петр в разговоре со мной иной раз жаловался: к нему в гости Соболевы ходят, а к себе не приглашают. Раз в год, не больше, Степа с Наташей продолжали посещать его, — наверное, чтобы оставаться в курсе событий, узнавать какие-то новости из жизни общих знакомых; наконец, было просто удобно увидеть всех сразу, собранных вместе, вживую, не по слухам, чтобы подвести некоторые предварительные итоги, убедиться, кто в каком направлении развивается, — для них это было важно.

Моя жена считала, что им эти редкие встречи («вылазки», как она выражалась) нужны лишь для того, чтобы убедиться в собственной состоятельности; я же, так как виделся со всеми чаще, будучи потом приглашенным к Соболевым домой, невольно оказывался в роли поставщика сплетен. «Ты им только для того и нужен, чтобы восполнить пробелы в знаниях между их выходами в люди».

Я так не думал, искренне полагая, что нас связывает нечто большее, — как-никак, со Степой вместе мы учились в университете, и спустя годы продолжали тесно общаться. Правда, последнее время реже встречались, но так на это существовали естественные причины. «Какие?» — спрашивала меня жена. Обыкновенные, жизненные, отвечал я, каждый занят своим делом. «Вот именно, — замечала она, — делом». Возможно, сравнения напрашивались, однако я считал ее иронию неуместной.

Стена с помощью предупредительных хозяев благополучно преодолена. Я выпрямляюсь. Можно перевести дух. Но не тут-то было. Наташа продолжает подсказывать мне, что делать дальше: «Туфельки ставим сюда, теперь моем ручки...»

Забота о ребенке, которому идет уже четвертый десяток, а он никак не научится себя вести. Кажется, что она не говорит, а поет. Это ее обычная манера. В самый первый раз, когда она оказалась у нас дома, наша шестилетняя дочь Алина простодушно спросила у жены: «Мам, а тетя Наташа цыганка?» Жена засмеялась и покачала головой, изображая щедрую на слова гостью: «Ай, ла-лы, ла-лы, ла-лы!»

Я послушен. Не будем капризничать и надувать губки. Мне выдают тапки — двух мягких и пушистых белоснежных котят, скользнувших прямо под ноги.

— Опять один? — с недоумением и даже досадой спрашивает Наташа. — Почему же Лена к нам не приходит? — И добавляет с притворной сердитой гримаской: — Передай ей: я обижусь!

Они не виделись уже два года, только слышали иногда друг друга по телефону; причем Лена никогда ей не звонила сама. Выходило как обычно: я брал трубку и слышал приподнятый, вдруг выскочивший из-за угла голос Наташи: «Привет! Куда вы пропали?» Темнота одного и того же вопроса, повторяющегося каждый раз, была заполнена еще какими-то звуками, воспроизводящими дыхание жизни: форточкой на кухне, открытой в уличный шум, пущенной из крана струей воды, деловито сдвинутой на плите кастрюлей, и оборачивалось так, что это совсем не они, а мы какие-то нелепые затворники, которых можно и нужно потревожить хотя бы раз в год. Поначалу мы этому удивлялись, а потом перестали. И всегда мне приходилось отвечать как бы спросонья, несколько устало, вполне равнодушно, подыгрывая ей по привычной слабости: «Да никуда мы не пропали...» Фраза растягивалась мною в подтверждение ее, Наташи, невероятной общительности и жизнерадостности, и соответственно выдавала во мне угрюмого нелюдима с пасмурным характером. Меня это забавляло. Но, кажется, только меня одного. Наташа либо действительно не замечала моей мнимой оправдательной интонации, либо не хотела вникать в подобные тонкости. Она торопилась поведать мне, что готовит ужин, «дружочку твоему ненаглядному» — прибавляла она таким не допускающим никаких сомнений солнечным голосом, что только оставалось соглашаться на дальнейшее: «он уже придет скоро, а вы к нам случайно не собираетесь? я и пирогов напекла...» Покуда я соображал, как на все это отвечать, она освобождала меня от бессвязного лепета, делая выбор в пользу нормального женского участия: «Лена там далеко?»

Лена там была и тут. Долго звать ее не приходилось, она еще охотно брала трубку и подключалась к привычному занятию двух кумушек, роющих ходы навстречу друг другу в огромном и сладком яблоке сплетен.

Ай, ла-лы, ла-лы, ла-лы!

Где-то через час я начинал беспокоиться, что так они действительно доберутся до сердцевины и всем нам останется ни на что не пригодный огрызок. К тому же там появлялся наконец-то Степа и уже интересовался у Наташи, где тут Валера, то есть я. «Ну задергал меня совсем», — признавалась она Лене и временно отступалась от сладкого, совсем не запретного плода. Мне хватало всего двух слов, чтобы привести разговор в соответствие: «Сейчас приедем». Тогда мы еще не вросли по уши в ту непроходимую чащу, которая потом стала называться повседневной чере-

дой обязанностей. Еще сохранялась какая-то бесшабашная радость жизни, которой можно было легко поделиться. Не было усталости отношений, их неожиданно всплывающей заурядной и унылой повторяемости. Мы продолжали жить без возраста — словно договорились однажды об удачном продлении пожизненного кредита. Мы не замечали его, по-прежнему оставаясь в том равном для всех состоянии счастливой одинаковости чувств и положений. Мы все еще продолжали приобретать, но не терять. Мы развивались внутри по одному и тому же принципу, не предполагая, что сначала окажемся разделены внешне, а потом — и по всем остальным показателям.

С Леной случилась совсем простая история — женская, бытовая. В гости мы пришли вдвоем. Замков было меньше, дверей тоже. Непонятного происхождения реек, образующих загадочную фигуру, тогда еще не наблюдалось, а потому никаких сложных ритуалов в коридоре не проводилось.

Стояло нормальное в своих претензиях на погоду лето — сухое, не жаркое. С одеждой заминок не состоялось: «давайте-ка сюда шубу, пальто, шапку, сапоги, вот еще шапка», — ничего этого не было, а потому сразу же прошли на кухню, именно туда пригласила нас Наташа. Она заканчивала тушить овощи — по ее словам, любимое блюдо Степы. Дальше наши пути странным образом разошлись. Лена так и застряла там, но не на кухне, а вернувшись на два шага назад, у туалета, — в приоткрытую дверь довольно узкого заведения с кухни проникал шланг, который уверенно тянулся к закрепленной на стене стиральной машине — весьма внушительных размеров агрегату, отнявшему пространство у человека.

Наташа «некстати» затеяла стирку, она сама так сказала, и, конечно же, извинилась за это, но, добавила она, «не я в этом виновата, вы же знаете, как у нас с водой обстоит дело». Да, конечно, согласилась Лена. Ничего страшного, решила за нее Наташа и, широко улыбаясь, обратилась ко мне: вы с «хозяином» пока в зале посидите, а мы тут наши дела обсудим.

На том и разошлись в ожидании скорой встречи. Лена даже помахала мне рукой.

Каждый на своей стороне, мы вольготно сидели на диване, составленном уголкем, неспешно пили чай и поглядывали в телевизор, перебрасываясь словами. Пела Анита Цой. Я вдруг подумал, что десять лет назад точно так же сидел в гостях у Степы, но тогда на экране был Виктор Цой. Остальное, кажется, не изменилось. Все тот же небольшой стеклянный столик, заставленный изящной чайной посудой, конфеты в вазочке, обычно «Белочка» или «Красная шапочка», зефир; специальным предложением от Наташи — в розетке немного варенья; на самом деле, от соседки, «хорошей женщины», которое непременно надо было отведать, клубничное или вишневое, а для Степы — отдельно, как знатоку и любителю, еще и мед. Впрочем, мед иногда предлагался и мне, но мне и так было сладко, а знатым любителем я себя не считал.

Степа же отменно разбирался в чае — как в черном, так и в зеленом. Обычной картонной упаковке из стандартного торгового ряда, набитой мелкой трухой непонятного происхождения, он не признавал, а тем более безликих, ограниченных рабскими веревочками пакетиков, — все это он считал заурядным мусором. Кухню украшала специальная полка, предназначенная исключительно для достойных, по версии Степы, сортов чая. Все они были заключены в железные банки или деревянные лар-

цы, расписанные по-восточному ярко, как ковры, и даже могли принимать форму слона, дракона или Будды.

Вся эта экзотика выглядела впечатляюще. Так и слышались крики обезьян, трубный глас слонов, удивленный ропот попугаев — тысячи тысяч различных организмов, составляющих непрерывный гул джунглей. Однако шуршание и посвист с поскрипыванием исходили от щегла в клетке по соседству — как прообраз вечного двигателя, насыщающего воздух какими-то беспорядочными звуками. Казалось, что птичка обеспокоена опасным соседством.

Все, что теснилось на полке драгоценным весом, уже только одними названиями уведомляло о серьезности предстоящей церемонии. Один сорт чая прозрачно именовался «Лунной ночью душевного равновесия», что уже подразумевало обещание и исполнение какой-то невиданной прежде безмятежности. Другой энергично потрясал «Восточным ветром, подувшим с моря». Третий мог одарить пересохшее горло густым, душливым ароматом «Прощального взгляда тысячерукой обезьяны».

В тот раз Степа остановил свой выбор на «Волшебном полете воина над долиной лотоса». Понятное дело: у прикоснувшегося к чашке с таким чаем должно было захватывать дух. Так и происходило: вкус непомерно тяжелой роскоши на моем языке мешался с поиском ускользающей утонченности. Степа спросил меня:

— Ну как впечатление?

Он зажмурился на длительную паузу, словно набирая воображаемую высоту, закрывая глаза, чтобы остаться наедине с обретенным наслаждением. Доверяя его ощущениям, я соглашался разделить его удовольствие, хотя дома, экономии времени ради, пользовался исключительно чайными пакетиками, в чем, разумеется, Степе никогда бы не признался.

— Любопытный вкус.

Пауза у Степы затягивалась. Он сидел спиной к окну, забранному решеткой, за которым тянулся выступ крыши нижнего магазина, своего рода козырек для жильцов от одного подъезда до другого, заваленный всяким ненужным хламом. Телевизор уже показывал испанский футбол. Степа продолжал внутри себя разбираться в оттенках чая, сзади него топорились отвергнутая кем-то телогрейка, стояла пустая банка из-под краски с присохшей к ней газетой и кистью, валялись половинки красного кирпича, сбитый ботинок, офицерская фуражка, выношенная до неузнаваемости, пустые бутылки и сопутствующие им окурки, а справа от меня, на стадионе «Ноу Камп», болельщики радостно отмечали второй гол «Барселоны», забитый в ворота мадридского «Реала». Все это выглядело как-то странно. Но Степу, похоже, такое соседство нисколько не смущало. Я вдруг вспомнил сказанные им однажды слова: «Мы еще застанем то время, когда будем жить на свалке. Все без исключения. Поскольку деться будет некуда». Он, конечно, тогда имел в виду нечто другое. Я же, с удивлением отметив, что это время наступило так скоро, решил поинтересоваться:

— Как там Лена с Наташей? А то мы про них что-то забыли...

Степа, сделав очередной драгоценный глоток, выдохнул:

— Пусть поболтают...

Сказано это мне было как бы в утешение, чтобы я понапрасну не беспокоился. Он даже успел поморщиться с некоторой иронией, но, возможно, дело еще тут было в продленных свойствах чая.

— Женщины от разговоров глупеют.

Наверное, он все же хотел сказать, что в результате они становятся добрыми. Так это или нет, мне пришлось узнать довольно скоро, когда другие свойства чая заставили меня подняться с дивана и направиться в туалет.

Глаза Лены — вот на что я сразу обратил внимание. В них влажно отражалась просьба о помощи. Прошло уже больше часа, а она так и не сдвинулась с того места, которое ей определила Наташа, — между кухней и туалетом. Вид у нее был растерянный. Я понимал, что она мучается, но не понимал из-за чего. Объяснение пришло позже, уже дома, когда мы вернулись. Заметить то же самое Наташе мешала ее увлеченность сразу двумя делами: разговором, на который Лене оставалось только согласно кивать головой, и затянувшейся стиркой, каким-то образом связанной еще и с головкой на кухне.

Я что-то такое спросил пустое, вроде «стоите?», чтобы самому же потесниться. Ответа не требовалось. Лена слабо мне улыбнулась; она выглядела бледнее обычного. Дверь в туалет закрыть до конца не удалось, — мешал злополучный шланг. Справиться с возникшей неловкостью помог равномерный шум стиральной машины: она непрерывно вращала белье прямо перед моим носом. Сзади слышался уверенный голос Наташи, говорящей все об одном и том же: «а она», «а он», «а они», да «почему они не могут».

Последняя фраза звучала вопросом и относилась уже не к нашим общим знакомым, а к устройству жизни вообще.

Это была такая имитация озабоченности, обращенная куда-то наверх, к тем, кто должен отвечать за горячую воду и свет в квартирах, за отопление и нормальные дороги в городе, и одновременно к нам, как к союзникам, товарищам по несчастью, понимающим предмет разговора. Иной раз выходило с большим чувством, тревожно, но все равно касалось исключительно бытовой неустроенности, только на ней и замыкалось, хотя мы никак не могли себе представить, — чего бы ей так волноваться при ее обеспеченности и возможностях Степы. Это скорее всего нам подошло бы поднимать глаза кверху и восклицать: «Почему они не могут?», но у нас таких вопросов даже не возникало, потому что мы были твердо убеждены в том, что «они не могут».

Наташа как раз заканчивала свою очередную тираду: «Ну почему они не могут обеспечить?» Лена только успевала промямлить «да-да» в ответ, соглашаясь с тем, что мы наравне с Соболевыми терпим неудобства — хотя бы в одном этом наравне.

Внезапно резко зазвонил телефон: в два звонка — обычным и музыкальным. Послышался голос Степы: «Наташа, возьми трубку!» Она успевала многое: сказать Лене — «подожди секундочку», напомнить мне — «ручки помой обязательно, сейчас заразы разной знаешь сколько!», взята музыкальную трубку с кухонного стола, пустить воду в мойку и, начав разговор с какой-то подружкой, еще раз весело кивнуть мне в направлении ванной.

Мы с Леной не успели даже словом перемолвиться. Все те же белоснежные котята на ногах приветливо пискнули и потащили меня мыть руки; иного было не дано: не отнимая трубки от уха, Наташа провожала меня внимательным взглядом.

Лена потом сказала мне, что она прождала не одну тысячу секунд, прежде чем Наташа закончила свою болтовню по телефону. Дальше ее

ждало еще одно испытание: стоять рядом с Наташей и смотреть за тем, как она моет посуду. Наташа сама предложила: «Ничего, если я тут немного...» Разумеется, ничего, согласилась Лена, ничего хорошего, в итоге. Если только не внушить себе, что был свидетелем захватывающего зрелища.

— Весь вечер простояла у двери туалета! — никак не могла успокоиться моя жена. — Вот это называется «сходить в гости»!

Я попытался ей возразить:

— Ты явно преувеличиваешь.

— Ну понятно!.. — не сдавалась она. — Ты так увлекся беседой со Степой, что даже не заметил моего отсутствия. Я-то ведь, между прочим, в комнату к вам так и не попала!

— Разве? — удивился я. Действительно, я помнил только, как отправился мыть руки, потом, как вернулся в комнату, сел на диван... мы разговаривали со Степой, смотрели телевизор... чая я уже больше не пил... и все на этом, дальше — только прощание в коридоре... Она права. Вот как!

— Ну подожди... — спохватился я. — Я же слышал ваш смех... Я слышал, как ты смеялась!

— Да уж пришлось изображать... Знаешь, так было весело!

— Я подумал, что вам друг с другом так интересно, что вы про нас со Степой забыли.

— Bravo! — Лена захлопала в ладоши. — Ты-то хоть в туалет ходил, а у меня вот не получилось.

— Что за ерунда... — поморщился я.

— Наташа мне как раз поведала историю про мастера, который на прошлой неделе к ним ремонт приходил делать, — он часа два работал, на кухне возился, а когда закончил и попросил разрешение посетить туалет, то Степа ему отказал. Представляешь?

— Ну-у, не знаю даже... Мне Степа то же самое рассказал.

— Она с какой-то непонятной мне гордостью об этом рассказывала, — продолжила Лена, — мол, какой Степа у нее молодец, с характером...

— Да, глаза у него блестели. С воодушевлением говорил, даже с напором, — заметил я. — Странно все это...

— Грязь не разрешил разводить. Туалет — это ведь такое личное, интимное место. Как же туда человека с улицы так запросто можно пустить?

— Подожди, а руки этому мастеру разрешили помыть?

— Не знаю... Мне это все так противно...

— Я все же думаю, что к тебе ее слова не относились.

— Знаешь, после таких откровений я уже не осмелилась бы... Это мне ведь как предупреждение прозвучало.

Ее уже нельзя было остановить. Она вспомнила еще один случай, уже в «настоящих», как она выразилась, гостях, когда мы были у Петра Недорогина; снова был туалет, который не закрывался, но совсем по другой причине, — сломана задвижка. Хозяина дома, по всей видимости, это нисколько не занимало. Всякий раз, когда нам выпадало бывать у Недорогиных, нам приходилось убеждаться в том, что положение с дверью не меняется. Им это было просто не нужно. Скорее всего, они не замечали такой мелочи. Недорогины вообще слыли людьми свободных нравов, не обремененными условностями.

Тем не менее, чтобы не вышло какого казуса, Лена с Наташей дого-

ворились так: сначала Наташа зайдет, а Лена снаружи подежурит, затем они поменяются местами. Лена добросовестно отстояла свое в коридоре; ей, впрочем, не пришлось никого останавливать на пороге. Когда же пришел черед Наташи, тут-то и случилась самая большая неловкость, какую только можно было придумать. Лена оказалась оставленной без присмотра, беззащитной перед вторжением пьяненького «месье Барометрова», — как-никак три часа уже вплотную веселились, нужда заставила. Он открыл дверь и увидел ее всю, как не надо, чем ввел в смущение. Сам очень удивился, сказал: «Пардон!» и тут же отпрянул. Очень галантно вышло, рассказывала мне жена. Раньше я слышал от нее эту историю в более забавном ключе, теперь она обрастала новыми подробностями, — оплошность оборачивалась драмой.

— Ну да, он такой, — нектати усмехнулся я; мое замечание не осталось без внимания и чуть позже получило свою оценку.

Когда Лена вышла в коридор, Наташу там она не обнаружила. Настроение было безнадежно испорчено. Она нашла ее за углом, у зеркала. Лена спросила: «Куда ты подевалась?» — и рассказала о том, что с ней приключилось. Ее потерянный вид что-то внушил Наташе. Отражение в зеркале дрогнуло, показало непритворный ужас, дополненный словами: «Да ты что?!» Переживания по поводу случившегося усилили причитания: «Надо же! Я ведь только на минуточку одну отлучилась, — губы подкрасить! И вот что вышло, а? Ну извини, дружочек ты мой милый! Как же это?..»

Ай, ла-лы, ла-лы, ла-лы!..

— У нее вечно, то секундочка, то минуточка. Как ей можно довериться? — спрашивала уже не меня, а кого-то еще жена.

— Вы же подруги, — сказал я, пытаюсь все обратить в более благожелательное русло.

— Подруги? — удивилась она. — Какие же мы подруги? Что у нас общего?

Я попытался набором случайных слов вывести какую-то формулу общения, пригодную для использования, но потерпел неудачу. Мне тоже досталось — как еще одному «месье».

Лена вдруг заявила мне:

— А ведь Степа тебя, наверное, тоже «месье» называет, когда говорит о тебе с кем-то. — Она усмехнулась: — «Месье Кириллов».

Я понимал, что она меня дразнит, и потому старался отвечать как можно более непринужденно.

— Даже если это и так, то что тут обидного? Я никакой насмешки в этом не вижу. Да и вряд ли. Какой я месье? Скорее уж сам Степа является «месье». А я на «месье» никак не заработал.

— Да нет, все верно, — поправила меня она. — Ты как раз и есть «месье», потому что у тебя ничего нет.

Честно говоря, я не обиделся, — все равно обиженной выглядела Лена. Для нее я был просто мишенью, которая подходит для успокоения нервов. Про Наташу еще многое было сказано, главным же было то, что на нее никак нельзя положиться, и завершал ее сложившийся образ последний штрих, объясняющий уже все до конца даже и самому непонятливому.

Туфли, в которых Лена пришла к Соболевым, чтобы так бездарно простоять у туалета, ее старые туфли, которые неизвестно сколько лет тому назад были куплены, привлекли вдруг внимание Наташи, когда мы

собрались уходить; впрочем, и не вдруг, потому что в каждый наш приход к ним, когда Лене случалось надеть эти туфли, Наташа непременно замечала: «А что-то я у тебя этих тифлек раньше не видела? Какие замечательные! Купила недавно?» — как бы простодушно спрашивала она, восхищалась так непомерно, так фальшиво, что уже и не по себе становилось, и непонятно было, как ко всему этому относиться.

Лена словно проваливалась в безвозвратную пустоту, которую никакими отношениями нельзя было отменить. Проходил год, и два, и три, а туфли никак не становились новыми, в этом отчасти был виноват и я; новыми их каждый раз делала Наташа по одной ей ведомой причине. Немыслимо было даже предположить, что никакой причины нет. Лена могла это объяснить либо самым изощренным коварством, либо полным безразличием. На что-то другое ее уже не хватало. Ее подозрительность грозила увеличиться до размеров земного шара. Словно ее хотели заставить постоянно оглядываться. Она уже ни в чем и ни в ком не была уверена: и все, все, все, все — больше она к Наташе ни ногой!

Так я стал бывать у Соболевых один. Лена, в ответ на их приглашения, продолжала успешно отнекиваться по телефону, ссылаясь то на недомогание, то на занятость с дочкой, — все возможные встречи она уверенно переносила на неопределенное будущее, пользуясь Наташиной же фразой, которую та частенько употребляла, — «не будем загадывать». Похоже на то, что Наташу на какое-то время это успокаивало, и иронии Лены она вовсе не замечала.

Менее года прошло, как среди и так немногочисленных гостей Соболевых случилась еще одна потеря. На этот раз пострадала чета Барометровых, оставшись, правда, в полном неведении относительно того, почему их перестали приглашать.

А произошло вот что: Катя, жена Кости Барометрова, неудачно села на диван. Разумеется, в самом этом факте не содержалось бы никакого преступления, если бы не одно обстоятельство; по существу, мелочь, как ни посмотреть, но только не для Наташи.

Она и села-то на самый краешек дивана, боком, старательно натягивая на свои длинные ноги короткую юбку, но села не в том месте, в каком следовало бы, не к уже накрытому столику, а почти в углу, совсем близко к экрану телевизора, потянувшись еще, случайно должно быть, к маленькой подушке, из-под которой и вытянула старую тряпичную игрушку — злополучного слоненка без хобота с грустными глазами. Взяв его за ухо, отчего слоненок стал выглядеть совсем уж беспомощным, Катя спросила с улыбкой: «А это что такое?»

Все это вдруг оказалось необычайно важным. Подоспевшая Наташа ничего ей не ответила и вообще повела себя странно: неожиданно выхватила игрушку из рук Кати и вышла из комнаты. Это произошло так стремительно, что я толком ничего не успел сообразить. Катя, впрочем, в замешательстве пребывала недолго, она только изобразила игриво надутыми губами мне, как единственному свидетелю, что-то на тему «вот еще как бывает» и подоavinулась к столику, взявшись за недопитый бокал вина с таким беспечным выражением лица, что мне все это должно было показаться сном.

Степа и Костя Барометров, кажется, так и вовсе ничего не заметили, потому как стояли у книжной полки и были поглощены изучением какого-то альбома по искусству. Выручил и работавший телевизор: его звук отвлекал и помог рассеять неловкость.

Наташа вернулась, как ни в чем не бывало, уже с коробкой конфет и еще одной чашкой для чая. Тоже взялась за бокал и даже произнесла тост: «Давайте выпьем за...» За что-то мы, конечно же, выпили и даже пожелали друг другу самого хорошего, но Костя и Катя Барометровы больше не переступали порог квартиры Соболевых. Вполне возможно, что причиной тут было что-то другое или даже совсем никакой причины не было, однако результаты этого вечера говорили сами за себя. Тем не менее, Степа и Наташа в гостях у «месье Барометрова» хотя бы раз в год, на день его рождения, обязательно бывали. Во многих отношениях Костя казался человеком снисходительным, большого значения пустякам он не придавал.

И вот я сижу на том самом диване, сижу как обычно, как всегда сиделся, когда приходил к Соболевым в гости. Вероятно, на одном и том же месте, выделенном для меня привычкой садиться к столу, ни насколько-нибудь левее или правее, — никогда об этом не задумывался.

Передо мной стоят Степа и Наташа. В комнате больше света, чем в коридоре, — теперь я могу их лучше разглядеть.

Несмыываемый загар их лиц выглядит слишком радостным, словно они основательно подготовились к какому-то смотру, где будут выставляться оценки. Этот загар с весны, крымский, на него удачным продолжением ляжет осенний, в «бархатный сезон», — так будет и в следующем году, а потом еще и еще. Уже в коридоре Степа успел мне сообщить: «Собираемся ехать». Не загадывая, конечно. Я и вижу их теперь либо до отъезда в Крым, либо после их возвращения оттуда. Эта пара, несомненно, заслужила самых высоких баллов.

Несмотря на свой загар, он все же светлее, просто краснее, она совсем темная; вместе они — ян и инь. У меня жена бледная, ей загорать нельзя, кожа такая. Мне можно, но как-то не получается. Мы — бледнолицые. Краснота кожи у Степы какая-то бархатная, словно его усиленно растирали махровым полотенцем. Я вижу, как ему нравится себя демонстрировать. Я тоже почему-то доволен, словно мне довелось воочию лицезреть олимпийских чемпионов по отдыху — новой дисциплине, включенной в программу состязаний. Парад прерывается неожиданным сигналом с кухни: вскипевший чайник выдает пронзительное соло на скрипке, и Наташа поспешно выходит.

Мы молчим некоторое время, глядя в телевизор, где какой-то музыкальный канал показывает клипы. Потом Степа берет за пульт и переключает картинку.

— Нет, вся эта музыка — всего лишь обслуживание гениталий.

Степа кривится. Он почти всегда начинает разговор с отрицания. Это у него такая форма общения. Как некоторые люди начинают с «да, а вот еще был случай», он непременно выступает с «нет», словно возвращаясь к прерванному разговору или продолжая спор, но только с самим собой.

Я молчу, а если бы мне захотелось что-то заметить по этому поводу, то я бы не успел. Новая картинка — реклама: «Это средство эффективно помогает от разных паразитов». Степа вздыхает с улыбкой:

— Как от вас, паразитов, избавиться.

Следующий канал — спортивный. Это примиряет нас с беспощадной политикой телевидения.

Степа интересуется, как у меня обстоят дела на работе. Я как раз недавно устроился в одну компьютерную фирму, а прежде был учителем математики в школе.

Любое проявление социальности у Степы вызывало стойкое непри-

тие, он ее отвергал начисто, как разлагающее индивидуальность явление: «Как это я кому-то должен отдать себя в пользование? Чтобы мною распоряжались?» Наверное, поэтому ему было интересно, как существуют в социуме другие. Раньше мы с ним по этому поводу частенько спорили: я никак не мог понять, как я буду жить, если не буду работать, — где я возьму деньги? Надо просто быть умным человеком, отвечал он. Да, это очень просто, соглашался я. Моя ирония касалась действительного положения вещей, которое позволяло ему поучать других. Если мне на богатое наследство рассчитывать не приходилось, то он его, по сути дела, уже имел в виде сдаваемых в аренду помещений, оставшихся после развала той самой организации, где мы, будучи молодыми специалистами, прежде вместе работали. Новые времена позволили ему в полной мере воспользоваться должностью своего отца, бывшего начальника всего этого безобразия, вовремя передавшего сыну права на солидные доходы и ушедшего на заслуженный отдых от греха подальше. Конечно, они были умными людьми. Другими умными людьми являлись так называемые «люди из Москвы», о которых иногда заходила речь в доме Соболевых. В большинстве случаев вспоминала о них по разным поводам Наташа. Она не скрывала своего безграничного восхищения перед ними. Они были умными уже хотя бы потому, что жили в Москве. Два брата, которые никогда, — новое восхищение, теперь еще и Степы, — никогда в жизни не работали! С младшим из них Степа был знаком с детства, а старший однажды прославился тем, что целых сорок дней не выходил из квартиры. Это деяние, предпринятое им в день своего сорокалетия, в восторженных глазах Степы приравнялось к подвигу. В общем, если мне что-то и доводилось о них иной раз услышать, то лишь в самых превосходных степенях.

Таким образом, Степа умудрялся никем не быть, и вместе с тем он был всем. Разумеется, я не мог у него спросить: как дела «на работе». Этим вопросом я бы поставил его в неловкое положение, — у него было «дело», но никак не «работа». К тому же он мне толком ничего бы не рассказал; все было и так достаточно покрыто туманом, — я как бы не дорос до того, чтобы узнать больше, чем я не знал. Возможно, в наших отношениях знаком особого расположения, самой тесной дружбы как раз и была такая моя роль, согласно которой я был бы единственным в окружении Степы, кто не был посвящен в его денежные тайны. Станным образом, и Петр Недорогин, и Костя Барометров, общавшиеся со Степой от случая к случаю и, собственно, узнавшие его исключительно потому, что я их с ним познакомил, были осведомлены в этом вопросе куда более тщательно. Петр Недорогин, например, утверждал, что Степа основной свой доход получает от торговли бензином, — чуть ли не железнодорожные цистерны отгоняют в его хозяйство по тупиковой ветке. От Кости Барометрова я слышал о торговле сахаром — и тоже целыми составами. Как бы там ни было на самом деле, я мог бы себе признаться в том, что и не хотел бы знать такой правды, которая нас непременно бы разъединила. Мне так было спокойнее, — общаться вне денег, я думаю, тоже.

— А как там «месье Барометров» поживает? — спрашивает меня Степа. Он, конечно же, не может знать, что с каких-то пор у меня стали спрашивать: «Как там Степы поживают?» — объединяя пару патриотов отдыха в Крыму в нечто совсем уже неразделимое.

Я рассказываю про то, как Костя занимается ремонтом кухни, с ванной он вроде бы уже закончил возиться, коридор еще в прошлом году сделал, в планах на будущий — перейти к комнатам; словом, работы предос-

таточно. Степа довольно улыбается. Из того, что он затем говорит, можно понять следующее: есть такие люди, для них главное — это стены, в которых они обитают. Они будут заниматься ремонтом всю жизнь, потому что ни на что другое не годны и даже подумать ни о чем другом не могут. Им всегда найдется, что подправить и обновить. Собственно, жизнь для них из этого и состоит: закончить один ремонт и следом начать другой. Живут в натуральных кладовках, из которых пытаются соорудить дворцы, — ну разве это не идиотизм? В бесконечном улучшении быта проходят годы...

Его прерывает возвращение Наташи. В одной руке у нее чайник, в другой — небольшой поднос с двумя расписными ларцами; все немедленно ставится на столик. Она извиняется перед нами:

— Вы меня тут заждались, наверное... Галя позвонила, — объясняет она Степе, — пришлось с ней поговорить.

— Какая Галя?

— Галя Зубак.

— А-а, Зубак... — тянет Степа.

Неожиданно Наташа обращается ко мне:

— Ты же знаешь Галю Зубак?

— Я?

— Ну да, Галя Зубак, черненькая такая...

— Да откуда он ее знает, — вмешивается Степа.

Я не знаю никакой Гали Зубак, но на всякий случай неопределенно развожу руками: «а как же», — меня можно понять и так, что это имя мне, несомненно, знакомо.

Наташа мне почему-то не верит:

— Не помнишь? Черненькая. Такая...

— С усиками, — встревает Степа.

— Какими усиками? — удивляется Наташа.

— Ну, небольшие усики.

— С чего это ты взял?

— У всех черненьких полных женщин есть усики.

— Дурь какая... Вот уж ты разглядел, — замечает Наташа, внимательно разглядывая Степу, впрочем, не забывая и обо мне: — Никак? Еще на старой квартире, на Минской, летом это было. Пиво пили...

Вот-вот, теперь проясняется, а как же... Начали со старого, выжившего из ума «мельника», а закончили чем-то «свойским» — уже значительно крепче, принесенном от соседей. Да, в гостях у Соболевых были еще какие-то люди, но сколько лет с тех пор прошло?.. Нет, на роль Гали Зубак никто не годился.

— Помню-помню.

— Ну вот! — искренне радуется Наташа. — Она медсестрой так и работает. Они с Сережей вместе, ты его знаешь...

— Мы чай будем? — подает свой голос Степа.

— Будем. — Наташа берется за ларцы. — А какой: черный или зеленый?

— Зеленый. Завари «лотос».

— Может быть, «поцелуй» попробуем?

— Лучше «лотос». «Поцелуй» на «беседку» похож, — энергии много.

— Разве? А я и не знала...

Это разговор посвященных. Обговариваются различные детали. Несомненно, в этих приготовлениях есть какой-то смысл. Все заканчивается в пользу «беседки».

— Ну давай, рассказывай... — Наташе не терпится услышать от меня какие-нибудь новости о наших общих знакомых.

— Да я уже, собственно, все рассказал.

Я киваю в сторону Степы, втайне надеясь на его пересказ — потом, когда уйду, — но Наташа непреклонна:

— Так не годится, Валера. — Она улыбается, начиная все больше играть голосом в строгую, но справедливую учительницу. — Уж будь любезен, пожалуйста, рассказать все как есть, ничего не утаивая.

— «Месяе Барометров» ремонт затеял, — невпопад сообщает Степа, потирая ладони от непонятого мне удовлетворения, за что немедленно получает от нее внушение:

— Человек-то, наверное, побольше тебя знает. Ты лучше телевизор потише сделай.

Я вздыхаю, как приговоренный, и снова принимаюсь за пустое дело: комкаю предложения, проглатываю связи между ними, запинаюсь. Наташа, кажется, довольна услышанным. Продолжение разговора неожиданно воодушевляет ее и озадачивает меня.

— А какой ремонт себе Алик отгрохал? — говорит она уже с нездешней мечтой в глазах, ища подтверждения у Степы в каком-нибудь жесте, а чтобы я не посетовал на свою непонятливость, тут же объясняет мне: — Это «люди из Москвы». Ну ты знаешь...

Я ничего не знаю на самом деле, потому что никогда их не видел, но это неважно: моего согласия в этом случае не требуется, — между Наташей и Степой начинается обмен мнениями по поводу «грандиозной» перестройки старого дома, купленного двумя легендарными братьями где-то в Подмоскowie за «смешные деньги». Ко мне обращаются в самую последнюю очередь, когда все доводы иссякают, сравнения утрачивают силу, чтобы сообщить размер окон, высоту забора, длину бассейна, ширину кровати, цвет балдахина, запах свежеекрашенной веранды, а главное, что «денег в это дело вбухано немерено».

Я стараюсь как-то вырваться из-под тяжести строительных лесов, мне надо срочно улизнуть от завалов щебня, штукатурки, обоев, и совершенно случайно мне это удается.

Слоненок — тот самый, запретный. Как это я его сразу не заметил? Серый и невзрачный для меня, он теперь лежит на подушке. Ему, как ветерану, предоставили почетное место; возможно, его просто забыли спрятать; веселее он, однако, не стал. У меня возникает только одно сожаление на его счет: этот слоненок был любимой игрушкой детства для Наташи или Степы, та самая памятная вещь, которой нельзя касаться чужими руками. Так иногда бывает, я слышал об этом.

Внезапно у меня появляется острое желание проверить свою догадку: надо всего-то протянуть руку и дотронуться до него. Испытать хозяев, испытать себя — мне-то позволено это сделать? А что случится: меня остановят окриком или все же не решатся, промолчат, но после этого я навечно буду отлучен от их дома? Я почему-то всегда считал, что обладаю особыми правами в наших отношениях, если уж мы столько лет знаем друг друга, — так это или нет, на самом деле? В конце концов, я никогда не предпринимал попыток сесть как-то иначе на этом диване, сдвинуться в сторону — даже в голову не приходило! Это острый соблазн... Меня останавливает вопрос Наташи:

— А вы с Леной ремонтом заняться не думаете?

II

Память нельзя обозначить каким-то одним словом, понятием, она переменчива и избегает любых более-менее точных определений. Вот она как точка — и тогда кажется, что все ясно; вот она как зыбкая, прерывистая линия, тень от колышущихся веток, — разобрать что-либо сложно; чаще — безбрежная пустыня, заполненная миражами. Мы вспоминаем не то, что было. Мы вспоминаем свои ощущения, сны.

Самое начало мая 1990 года, Восточный Берлин. Солнечно и тепло — по-нашему уже лето. По просторным берлинским улицам гуляет ветер, он слегка подталкивает нас в спины, указывая дорогу. Знаменитые круглые часы на Александерплац скоро покажут полдень.

Утром, сразу после завтрака, мы поднялись на лифте на свой четырнадцатый этаж, а может быть и на другой, вошли в номер, потоптались там для приличия немного и снова вышли, чтобы основательно потрепать запасы минеральной воды, в очередной раз заботливо выставленной администрацией отеля «Штадт Берлин» в холле. Мы уже не могли ее просто пить, она нам в горло не лезла и не только нам; через какое-то время выражению «бесплатно» нашлась цена, ее совершенно случайно обнаружил (так нас уверял) тот, кого удобства ради все в группе после Киева стали называть Тарасом. Можно сказать, что он прославился на весь вагон. В наше купе потом приходили послушать из любопытства, как он снова и снова, с непонятной настойчивостью, если не брать во внимание почти опорожненную бутылку горилки, стоявшую перед ним, читает стихи.

Выглядело все это как бы серьезно и вместе с тем несуразно. Это была такая тихая и строгая мужская декламация: непроницаемое лицо, подходящие к теме складки думы на лбу, неспешность и взвешенность речи. Начинал он с объявления: «Тарас Григорьевич Шевченко», произнося фамилию поэта с ударением на первом слоге, и после небольшой паузы продолжал, безбожно коверкая не только выговор: «Как умру, похоронят на Украине мылой...» Никакого вызова, излишней аффектации чувств, однако глаза у него увлажнились и даже слеза в конце концов стекала по щеке. Возникал неожиданный комический эффект, на который он и рассчитывал. Мы со Степой сидели напротив, наблюдая еще и за тем, как Лида, женщина лет на десять старше нас, работавшая в Воронеже на каком-то заводе, тщетно пыталась удержаться от смеха. Удавалось ей это с трудом, если вообще удавалось. Она махала на себя руками, кончиками пальцев осторожно касалась ресниц, — боялась, что потечет тушь.

Тушь и правда текла, — два неудержимых следа медленно сползали вниз по щекам. Смуглое, словно умножающее печаль, лицо новоявленного Тараса наоборот было сдержанно и вместе с тем внушительно. Всем своим видом он уверял, что его оригинальное исполнение лучше самого оригинала. Покачивался на ходу вагон, и вместе с ним покачивалась его голова, упрямо твердившая все одно и то же: «Как умру...»

Лиду уже безнадежно трясло, — было похоже на истерику. После некоторого замешательства начинали смеяться и мы. Непонятное веселье охватывало и остальных зрителей, заглянувших на это шоу из соседних купе.

На границе наш туристический вагон цепляли к другому составу, подгоняли под европейскую колею, — веселье продолжалось. Теперь Тарас рассказывал анекдот про «селедку», достоверно изображая пьяного, который ночью, при неверном свете фонаря, у покосившегося забора ни-

как не мог справиться малую нужду; перепутал, полез не туда, куда следовало, вытащил из кармана брюк оставшуюся на закуску селедку и тупо понукал ее глазастую морду: «Ну, давай... что вылупилась?» Исполнять анекдот пришлось «на бис», потому что в первый раз женщины ничего не поняли.

Так, с легким настроением, добрались до Польши. В Варшаве остановка. Заплаканную от смеха Лиду выводили из вагона под руки, — чтобы подышать свежим воздухом.

Топтались на перроне, оглядываясь по сторонам; благожелательно курили. Вдоль вагонов, выполняя свою нехитрую работу, брели два обходчика с лейкой и молотками. Они методично постукивали по колесам, проверяли буксы. Поравнявшись с нами, остановились. Спросили оба, по очереди, с видимой осторожностью: «Сигареты есть?» Мы сперва и не поняли, чего они хотят от нас. От предложенной сигареты они отказались, коротко посоветовались о чем-то между собой, — тут только до нас стало доходить, — наконец тот, кто постарше, показывая двумя и тремя пальцами нужное ему количество, произнес: «Блок». Кого-то этот спрос заинтересовал, — предложение пряталось в чемодане. Стали договариваться о цене; прервались, когда старший вдруг знаком показал обождать, словно услышал что-то важное для себя, — он наклонился к вагону, постучал по колесу и только после этого продолжил переговоры.

Не договорились, потому что вмешался бдительный Тарас: «А куда ты эти злотые денешь?» Парень наконец сообразил, что мы едем в ГДР, но поляки не отступались. Тот, что младше, распахнул куртку, обнаруживая целый прилавок: наручные часы в три ряда слева, справа — опять же сигареты. Советское все. Значит, предлагали у них купить. Разумеется, безуспешно. И пошли дальше — как два брата, в форме, при исполнении, сочетая работу с торговлей, не забывая постукивать...

Видя наше со Степой недоумение, тот же Тарас охотно пояснил: «Обычное тут дело: либо купи, либо продай. Я в прошлом году в Польше был. Помню, в какой-то маленький городок приехали, и нас в ратуше принимали. Так во время этого приема сам мэр городка у меня спрашивал, не продам ли я ему несколько блоков «Мальборо».

В этой поездке мы каким-то образом повсюду оказывались вместе с Тарасом: в экскурсионном автобусе, за одним столом в ресторане; в берлинской гостинице номера у нас оказались по соседству, а уже потом, на Балтике, в Кюленсборне, нас и вовсе троих поселили в один номер.

Это он нам рассказал про минеральную воду, вернее, про то, как с ней можно поступить, чтобы увеличить свой скромный туристический бюджет. Конечно, нам со Степой подобное соображение в голову не пришло бы, но кому бы, скажем, будь он в Германии, не захотелось выпить на одну-две кружки пива больше, кроме тех обязательных, что подавались в обед и на ужин, — выпить уже от себя, поверх положенного, замечательного немецкого пива, чтобы почувствовать себя свободным, не стесненным в средствах, человеком. Денег, как водится, было мало. Не надо еще забывать и про то, что всех без исключения в группе не оставляли мысли купить себе что-нибудь из вещей по укорененной в те годы привычке «оправдывать поездку», а значит, любая впустую потраченная марка могла нанести серьезный ущерб подобным планам. Вот и придумал Тарас выливать минеральную воду из небольших стеклянных пузатеньких бутылочек в раковину, а освобожденную таким оригинальным образом посуду сдавать.

Одна пустая бутылка стоила сколько-то там пфеннигов, но если их оказывалось двадцать или, скажем, тридцать, то выручить можно было уже несколько марок, что значительно подогревало интерес к этому небезопасному занятию.

Занятие это представлялось нам еще и небезопасным: а ну как схватят за руку? Стыда потом не оберешься... А потому надо быть осторожнее. Надо все делать спокойно, не суетясь, однако медлить тоже негоже. Действуем по выверенной схеме, главное — не привлекать к себе внимания.

Из гостиничного холла минералку переносим к себе в номер, в несколько заходов, сколько руки возьмут, сначала я, потом Степа. Разумеется, без свидетелей. При благоприятном раскладе это занимает несколько минут. За закрытой дверью происходит следующее: выверенными движениями, в умеренном темпе, мы освобождаем стеклянную тару от ее содержимого; нет-нет, мы не варвары и не дикари, — сначала каждый добросовестно выпивает по бутылке, даже по две, это обязательный ритуал, Степе по силам третья, я его поддержать не могу, и только потом мы приступаем к делу. Происходит это в ванной.

Работы много. Наш номер заставлен бутылками, они везде: на столе, на кроватях, на тумбочках, на полу у окна... Мы молчим и не глядим друг на друга. Мы думаем об одном и том же: вот как нас угораздило — нам скоро тридцать исполнится, а мы занимаемся такими вещами! Нет, это просто бред какой-то! А в то же время риск — благородное дело, и кто не рискует, тот не пьет... тьфу ты! В конце концов, это преступление — не выпить такого пива! А мы еще «темного» не пробовали. Вернемся обратно — что расскажем? Нет, нам не стыдно, пускай будет стыдно тем, кто меняет так мало денег туристам, это же совершенно смехотворная сумма! Мы ведь не капиталисты!.. Но и не какие-нибудь там обороты, к порядку приучены с детства. Мы же пустые бутылки не бьем, мы их сдаем, все культурно, пробки под ноги не бросаем, не загромождаем номер пустой тарой, аккуратно ее складываем в два больших и прочных полиэтиленовых пакета... Нет, и все же в голове не укладывается: сдаем бутылки не где-нибудь дома, в зачуханном ларьке у гастронома, а за границей!

На выходе из номера Степа оглядывается по сторонам и смешно округляет глаза, преувеличивая возможную опасность. Кажется, все спокойно. Длинным шагом, почти на цыпочках, с заполненным пакетом в руке, со всей силы морща лицо, отчаянно превращаясь в ежа, он достигает лифта. Следом выбираюсь я.

Едем вдвоем, но недолго. Лифт останавливается и выпускает пожилую пару. На нас не смотрят. Мы смотрим прямо перед собой, на дверь; нам очень хочется, чтобы она поскорее открылась на первом этаже.

Так и происходит, спуск заканчивается. Мы выходим из кабины с решительными и вместе с тем беззаботными лицами. Нам не стоит привлекать к себе внимание. Главное условие — не звякнуть пустой посудой; мало ли что мы там несем, кому это интересно? Выполнить это несложно: мы не делаем резких движений, нас никто не задевает, тут это даже сложно себе представить, а мы тем более никого не собираемся задевать. Проходим по холлу мимо постояльцев и обслуживающего персонала с разумной беспечностью — нам это вполне удается. Магазин совсем рядом, большой супермаркет, — теперь можно облегченно вздохнуть.

Направляемся сразу к кассе: сначала я, потом Степа. Мы это делаем уже не первый раз, а потому все происходит без сучка и задоринки. Сда-

ем бутылки деловито и сосредоточенно. Считаю выреченные монеты, радуемся, как дети. Благодаря Тарасу эта невинная забава превращается почти что в состязание: кто больше сдаст. Все равно побеждает он, да и аппетиты у нас оказались умеренными — свыше литра пива уже в тягость, — так что больше разговоров.

На часах уже больше двенадцати. Тарас где-то задерживается, хотя мы догадываемся где. Кажется, что и между солнцем и ветром происходит некое соревнование: они словно играют на поднятие настроения и выходит это у них весьма удачно. Настроение у нас какое-то беспшабашное, такое, что хочется куда-то бежать на радостях или, по крайней мере, непременно двигаться в наугад выбранном направлении с той же степенью воодушевления. Все дело в нашем возрасте и в нашем местонахождении.

Появляется Тарас — лидер неофициального зачета, нам его уже никак не обогнать; официального признания его результатов, конечно же, не будет.

Очередной порыв ветра помогает нам сделать правильный выбор. За завтраком гид нашей группы объявила, что именно сегодня откроют границу с Западным Берлином и те, кому это интересно, могут туда беспрепятственно прогуляться — как бы на экскурсию. Нам это очень интересно.

Выходим с Александерплац и сразу же упираемся в уличную торговлю: плееры с наушниками, батарейки к ним, кассеты — все громоздится коробками; торговля идет бойко, потому что дешево. Это как-то связано с другим ветром — ветром перемен. Дальше — ковры. Целое царство ковров. Они похожи на большие и причудливые географические карты неведомых планет, развешанные и разложенные, где только можно и нельзя. В продавцах этого богатства люди восточного вида. Их много повсюду. Откуда они здесь взялись? Говорят, что это турки-месхетинцы, беженцы. По крайней мере, так говорит Тарас. Они бросаются в глаза: мужчины, женщины, дети — в длинных халатах, платках, шапках. Нигде они не появляются поодиночке, а непременно бредут гурьбой, всей многочисленной семьей от мала до велика. Кажется, что попал на съемки какого-то эпического фильма про переселение народов, одна из уличных сцен которого происходит на восточном базаре, — съемки, правда, распознались по всему Берлину.

Вот к одному такому персонажу подходит полицейский: что-то спокойно и терпеливо объясняет ему, вернее, пытается это делать и раз и два, да все без особого толку; кажется, что слова его безнадежно вязнут в распахнутых полах халата чужестранца. Тот и вовсе выглядит потерявшимся инопланетянином или изумленным героем эксцентрической комедии, сюжет которой основан на курьезах со временем и пространством, — в его лице так и читается добродушно неизбежное «твоя моя не понимай».

На другой стороне улицы останавливается белый «Мерседес», из него долго выбирается многочисленное и пестро одетое семейство с детьми — его соплеменники. У них халаты явно побогаче. Последним из-за руля вылезает сам хозяин — большим животом вперед, перстнями на пальцах, золотой цепью-ошейником, представительной бородой. Неужели это тоже беженцы?

Мы спускаемся в метро, чтобы посмотреть — и только — как тут у них, и находим, что у нас, в Москве, все же лучше.

На Унтер-ден-Линден веселая немецкая молодежь играет в футбол пустой пивной банкой: дурачась, ее просто пинают друг другу в движе-

нии. Кто-то решает прекратить игру и давит банку ногой. У светловолового парня в джинсовой куртке на ногах внушительного размера кроссовки; расплюснутая банка застревает в плавных изгибах экспериментальной подошвы. Он трясет ногой, пытаясь избавиться от жестянки, но у него ничего не выходит. Его дружки хохочут. Тогда он с гордым видом принимается хромать, усердно чиркая дополнительной подошвой по асфальту. С этим почетным эскортом мы добираемся до Бранденбургских ворот. Еще прежде, на зеленом газоне у одной из автобусных остановок мы замечаем какие-то сероватые комочки, — вернее, мы боковым зрением чувствуем шевеление рядом, в траве. Доходит до нас не сразу. Покуда я молча удивляюсь, Степа наконец произносит: «Кролики», а Тарас, отнимая сигарету ото рта, замечает: «Они тут у них вместо голубей». Сероватые комочки прячут уши и неловко, почти безноги, почти безногая, время от времени передвигаются по траве. Тарас добавляет, выпуская дым: «Смотри, как разъелись... Голуби вы мои!»

У Бранденбургских ворот картина еще радужнее: тут этих голубей, то есть кроликов, уже значительно больше. Они резвятся на лужайках или, уткнувшись мордочками в траву, неподвижно сидят — и дальше, вдоль стены, на тех участках, которые в данной ситуации легче всего было бы обозначить нейтральной полосой.

За стену пускают, проход действительно открыт. Столпотворения, впрочем, не наблюдалось. Все было как вчера, только теперь стало возможным продолжить свой путь.

Но куда? Мы ведь ничего тут толком не знали, разве что про кинофестиваль в Западном Берлине слышали, — просто брели вперед по парку Тиргартен. Кино нам и аукнулось: позже, знаменитым фильмом «Небо над Берлином», где наконец-то мы смогли разглядеть Колонну победы с «Золотой Эльзой» в лавровом венке, до которой мы так и не дошли, оказавшись вполне земными ангелами, привязанными к расписанию дня, помня о том, что нам дано не очень много времени, — и значительно раньше, буквально через день, когда уже наша группа переехала на Балтику, в городок Кюленсборн, где вечером, сидя в гостиничном номере перед телевизором, мы вдруг узнали улицу, оказавшуюся на пути нашего прямого отступления в Берлин Восточный; на ней обстреляли полицейскую машину в каком-то боевике, а мы там оказались потому, что очень все же хотели увидеть что-то еще кроме парковых аллей и деревьев. Мы даже старательно втягивали воздух, пытаясь выяснить, существует ли какая-то разница между двумя Берлинами или она исключительно в головах находит себе место.

Кюленсборн — городок маленький, скромный и не тесный. То общее, что связывает подобные места, располагайся они хоть на севере, хоть на юге, называется морем, и из-за этого кажется, что ты уже бывал тут прежде.

Море все окрашивает по погоде — дома, улицы, предметы в комнате, настроение, расчеты на будущее; как если бы над хмурыми скалами вдруг сверкнул спасительный луч солнца из-за туч или, безо всякой внезапности, устойчивый головокружительный свет заливал всю округу, но ты все равно стоял оглушенный от этой всепильной беспредельности, не испытывая ни в том, ни в другом случае равновесия, а только какую-то необъяснимую незащитность.

Равновесие и спокойствие у моря нам только мнится. Накатывающиеся на берег волны гребенкой прочесывают наши мысли, — от них не ос-

тается ничего. Это воронка, в которую затягивает наше оцепенелое сознание, и нам вдруг начинает казаться, что мы чего-то подобного то ли ожидали, потеряв в мутном остатке сна, то ли просто вернулись из какого-то затянувшегося и безнадежного путешествия по подъездам, кухням и магазинам большого города — и даже так: совсем без сил наконец-то вернулись домой.

Ребенок прильнул к груди матери.

У Степы была закоренелая еще привязанность к Крыму, воспитанная с детства путевкой в Артек, — ни у меня, ни у Тараса, как выяснилось, ничего подобного не было. Взгляд Степы в каждой мелочи упирался в родное, мы же вспоминали свои сны. Втроем мы скоро прониклись особым спокойствием. Это было спокойствие на краю — потому что дальше уже только вода.

Впрочем, берег при внимательном изучении линии горизонта отыскался. Кто-то уверенно нам объяснил, что этот берег датский. Нам бы и самим, без подсказок, так хотелось думать. В согласном на всякие чудеса настроении мы выходим на балкон, чтобы по праву новых хозяев обозреть отданные в наше пользование на несколько дней окрестности. Двухэтажная гостиница, в которой мы остановились, стоит у моря — до него рукой подать. Номер нам достался замечательный во всех отношениях, хотя выяснилось это не сразу. Мы-то поначалу решили, что ничего особенного, у всех такие же, и даже получше кому-то «апартаменты» достались. Но оказалось, что апартаменты — это у нас, и безо всякой иронии: две комнаты на троих на втором этаже, балкон с видом на море, телевизор, ванная комната.

Распределение номеров носило случайный характер: очевидно, старшая группы решила, что если номер рассчитан на троих, то ничего хорошего это обстоятельство не сулит, и что это обязательно должно быть чем-то вроде тесного зала ожидания на заброшенной железнодорожной станции. Так же, как нам, повезло еще одной троице: Лиде, умело мешавшей смех со слезами в поезде, и двум девятнадцатилетним подружкам — Юле и Ире. Остальным, после некоторого ропота недовольства и едва ли не настоящих слез, — конечно же, у обойденных удобствами женщин, — пришлось довольствоваться малым. Мы так и не узнали, чего в их номерах не хватало для нормальной жизни, потому что опасались одного: а вдруг нас, едва мы переступим порог, чтобы посочувствовать и исследовать состав «малого», запрут в неудачном номере, и наши апартаменты захватят обманом.

Нам несколько раз постучали в дверь, чтобы вежливо убедиться в нашем благополучии (простодушную Лиду с девочками, видно, уже посетили) и воззвать к мужской обязанности уступать дамам место, но мы так умело маскировали свое присутствие, не помышляя о долговременной обороне, что через час, другой, все стихло: перестали возбужденно стучать каблучки по лестнице, высохли слезы; надо было наконец-то начинать радоваться тому месту, где находишься.

Легкий бриз овеял наши лица. Свежесть морского воздуха убеждала двигаться и обещала вечную молодость; по крайней мере, о том, что эти дни уже будут насыщены воспоминаниями, мы смутно догадывались.

Солнцем заполнено все вокруг, соблазн искупаться велик, но море в мае холодное. Осмотрительные немцы в воду не идут, по песчаному пляжу разбросаны одиночные и парные фигурки лениво отдыхающих.

Нас не трое, а значительно больше: две веселые подружки из номе-

ра-близнеца, с ними Лида в роли мудрой наставницы, атлетического сложения парень по имени Антон, его друг в темных очках и еще одна молчаливая девушка с книгой — непонятно, кому из них подруга.

Жарко, а потому мы за активный отдых. Мы не можем просто так лежать на песке. Первым поднимается Антон. Он прикладывает ладонь к глазам, щурясь от солнечного света, и открывает на всеобщее обозрение сложный рельеф мышц. Античная роспись, лепка. «Бог» величаво поводит вокруг себя взглядом и решает окунуться.

Мы следим за тем, как скульптурный Антон укрощает водную стихию. Выходит это у него дерзко и размашисто. Немцы поворачивают головы в его сторону, они явно увлечены происходящим. Схватка с морем продолжается не больше минуты; спокойная гладь мелководья не дает Антону показать свое подлинное величие, — просто холодно очень. Его друг в очках замечает, куда-то неопределенно кивая:

— Я тут смотрел на стенде — температура воды сегодня +12.

Антон с достоинством выходит из моря. Встряхивается, красиво поводя плечами. Капельки воды поблескивают на его коже.

Степа вдруг выдает:

— Когда ты в воде, ты не мокрый. Мокрым ты становишься на суше.

Его слова ободряют.

Антон похож на вывинченный шуруп нестандартной резьбы. Он приближается к нам пружинистой походкой вышедшего из повиновения робота, вытягивает полотенце из-под книги читающей девушки и начинает энергично обтираться.

— Как вода? — интересуется его друг.

— Нормально, — скромно отвечает богатырь.

Приходится и нам присоединиться к живописному проекту «Русские на Балтике». Меня хватает на то, чтобы сделать шагов десять, — глубже не стало, а вот холодно — сразу. Ноги просто сковало с непривычки. С удивлением вдруг открываю, что я не герой, однако изображаю осмотрительность: наклоняюсь и кончиками пальцев судорожно провожу по воде. Юле и Ире все нипочем: маленькие и ладные, они и резвятся, как дети, — плещутся друг на друга, хохочут и визжат; кажется, что шуму от них на все побережье.

Лида находит в себе силы, чтобы степенно присесть, на секунду задерживаясь под водой до подбородка, — бережет свою монументальную прическу. Оно и понятно: она находится уже в таком возрасте, когда ее единственным достоинством может оставаться только прическа. Другое дело, что подобные головы вышли из употребления где-то в конце 70-х. Тарас напряженно курит, стоя по колено в воде; отвлекается, говоря как-то вскользь — то ли Лиде, то ли подружкам, — с ироничной назидательностью: «Такие шалости в воде и неразумны, и опасны». Друг Антона держится несколько в стороне; он неуверенно идет по направлению к Дании, только бы не видеть этого безобразия, а может быть, ему просто голову напекло. Степа стоит на берегу и подыскивает всем нам определения. Он потом скажет, что глухой, почти армейский купальник Лиды, больше черный, чем какого-либо другого цвета, по всей видимости, достался ей еще по «ленд-лизу».

Наш пример оказался заразительным: немцы тоже потянулись в воде. Не все, конечно, но трое смельчаков все же нашлось. Двое парней помогли ноги и руки, а девушка так даже и попыталась проплыть, — ее акkuratно выдворили на берег.

Другим нашим невинным развлечением, но уже в обычном составе, было посещение нудистского пляжа. Он оказался совсем рядом, надо было только перейти через дюны, поросшие редкими усиками травы.

Пространство другого солнечного дня поделено на две части разницей в деталях: с одной стороны те, кто для выхода на пляж подыскивает себе удовлетворительные плавки и купальники, с другой — те, кто полностью освободился от подобных забот. Мы словно чайки, захваченные в небо ветром, парим надо всеми, или выгнутые безответным вопросом лебеди, которых мы заметили у причала, мирно скрываем свои достоинства. На деле же мы держимся как в меру любопытные исследователи чужих обычаев и нравов, относящиеся к ним, если не с пониманием, то скорее уж с чем-то, отдаленно напоминающим вынужденное уважение.

Картинка в головах такая: вот тростниковые хижины, туземцы разводят огонь, вкусные и питательные плоды сами падают с пальм, а жирная и не менее питательная рыба выбрасывается на берег. Это рай, и поэтому тут все ходят голыми. Мы — тоже.

Наше уважение похоже на ожидание — но чего? На этот вопрос никто из нас не сумел бы ответить. Вот мать с ребенком от нас неподалеку. Она увлеченно читает журнал, поправляя очки. Сыну лет шесть, он возится в песке. Вот пожилая пара старательно приманивает к себе солнце, — откровенными буквами раскинулись по плакату с майским призывом. Вот кто-то стоя демонстрирует себя холодному морю. Проходят две разговаривающие о чем-то девушки...

Нас ничто не унижает и не оскорбляет, но Степа вдруг вспоминает про свое достоинство. Он переворачивается со спины на живот, то одной, то другой щекой прилаживается к сложенным рукам, наконец закрывает глаза и затихает. Тарас выглядит более опытным бойцом. Он закуривает и медленно уходит вдоль берега, как раз по линии вечного спора с морем. Сигарета в его пальцах выглядит весьма значительной деталью утраченного костюма. Мне вдруг начинает казаться, что он одет с головы до самых пяток. Я не знаю, как я выгляжу; чтобы не оставаться в неопределенности, иду следом.

Наша экскурсия по пляжу длится недолго. Везде одно и то же. Разнообразие тел оборачивается одинаковостью восприятия. Мы вернулись к природе, но оказались беззащитны перед ее проявлением из-за утраты смысла. У Тараса хоть сигарета в руке, подумал я, он за нее крепко держится, она его и спасет в итоге. Под ноги к нему скатывается волейбольный мяч. Тарас ловко цепляет его ногой, втыкает сигарету в рот и, подбросив мяч, с излишней серьезностью в лице отправляет его обратно к парням и девушкам, беззаботно проводящим время в игре.

Что дальше? Вряд ли что-то новое или необычное ждет нас. Мы достаточно себя проверили, — разведчики возвращаются.

Степа лежит в том же положении; он даже и заснул как бы. Шумно присаживаемся рядом. Он очнулся, спрашивает случайно:

— Ну что там?

Я пытаюсь рассказывать, но о главном говорит Тарас:

— Было на что посмотреть.

Мы видели сон наяву, а Степа прятался от возбуждения в темной прохладе забытья. Ему не стоило напрягать свой ум и чувства по одной веской причине: он отдыхал от ночи, и ночь звали Юлей...

Делать нам тут больше нечего, потому что нам кажется, что делать что-то надо. И мы оставляем пляж.

Эта ночь была уже не первой; все началось еще в Киеве и теперь вот продолжалось, наводя меня на противоречивые мысли.

Я смотрел на то, как Степа поднимается, стирая налипшие на лоб песчинки, проводя с той же целью ладонями по груди, и пытался совместить его с Юлей, поставить их рядом; уже и смотрел на него *ее* глазами: крепкое тело, мускулистая фигура — такой не может не нравиться девушкам, женщинам, да кому угодно. Он занимался спортом: летом играл в футбол, зимой — в хоккей, и все с одинаковым успехом. Бегал по утрам, подтягивался на перекладине, сделав это чуть ли не ежедневной привычкой. Он выращивал свое тело, следил за ним, чтобы оно не обрастало лишним весом. Своей спортивной подтянутостью он явно выделялся в группе, и привлекал внимание еще и тем, как одевался, — в этом он, несомненно, знал толк и никогда не пренебрегал возможностью приобрести какую-нибудь новую тряпку.

Надо заметить, что в то время модные вещи по большей части приходилось доставать, а не просто покупать в магазине. Степе в этом хлопотном деле регулярно помогали так называемые «люди из Москвы». От них ему доставались штаны, рубашки, майки, куртки, обувь, часы... Могу ошибаться, но мне почему-то казалось, что все, ну или почти все, что было надето на Степе, сначала какое-то время носилось младшим из легендарных братьев, — носилось, скорее всего, недолго и очень бережно, так что никакого ущерба внешнему виду не причинялось и видимых телесных отметок принадлежности старому хозяину на одежде не оставалось, — а затем отправлялось в провинцию за ту же цену, как новое. В итоге оба оказывались довольны: Вадик, так звали столичного благодетеля, тем, что поносил и не выбросил, а Степа тем, что обновлял таким образом свой гардероб. Им это удобно было делать: Степа как-то обмолвился, что они одного примерно роста и размеры у них совпадают. Где-то в мире шилась одежда «от кутюр», подразумевая качество и разнообразие торговых марок, а Степе, если что и перепадало с этого призрачного конвейера, то исключительно под одним проверенным знаком — «от Вадика».

Выходило все равно неплохо и даже замечательно.

Во всяком случае, Степа доверял своему «торговому дому» и все свое уважение к нему вкладывал в понятие «люди из Москвы», даже если речь шла (а чаще всего именно так и обстояло дело) об одном только Вадике; понятие оказывалось чрезвычайно емким, для посвященных в нем находилось место и тайне, и силе, и намеку.

Теперь Степа в Германии, и никакие посредники, даже в виде «людей из Москвы», ему не нужны; выбирай себе, что хочешь, тем более, что возможности для этого есть, — восточную марку как раз приравняли к западной, все идет к объединению, а потому денег у наших туристов вдруг становится больше, и Степе даже приходится занимать очередь в магазине одежды вместе с немцами — это в маленьком-то Кюленсборне!

На нем легкая оранжевая безрукавка с капюшоном, голубые линялые джинсы; на босых ногах мягкие светло-коричневые мокасины, «маслята», как он их с любовью называет. Рядом Юля: каштановые волосы собраны кверху в пучок, темные внимательные глаза напрашиваются на сравнение со спелой вишней, и если это правда, то в этом нет никакой пошлости. На ней розовая кофточка и шорты в черно-белую полоску. Сзади — ну да, похожа на зебру, которая одновременно и пони, — такая она ладная и маленькая, ростом ему до плеча, очень трогательно выглядит.

Тарасу нашлось, что сказать и по этому поводу: «Маленькая женщина для любви, а большая для работы».

Эти слова он произнес в Киеве (обычно он не говорил, а именно произносил), почти сразу же, едва мы познакомились: два определившихся трио сошлись в номере невзрачной киевской гостиницы, чтобы выпить и поболтать. Самое начало отдыха и общения. Еще днем на Крещатике мы взяли две бутылки чего-то местного — сладкого, раскрашенного, в меру крепкого, как раз для лиц обоего пола. Вечером намечался хоккей: наши на чемпионате мира встречались со шведами. Но мы о хоккее на время забыли, — увлеклись. Сидели в нашем номере-копии будущего немецкого, — заметно ухудшенной, надо сказать, и какой-то недоделанной, — и беспричинно невпопад веселились.

Впрочем, благоразумная Лида держалась по возрасту: выпила немного, только для того, чтобы раскраснеться и поднять настроение. Без слез со смехом все же не обошлось, — но раза два только легким приступом накатило. Спасительно махала руками; то часто моргала, то боялась моргать. Степа увлеченно молол какую-то чепуху, Тарас его равномерно поддерживал. Я скорее был похож на бывшего официанта, который никак не может выдать из себя прежние привычки. Мне оставалось изучать предметы на столе и лица.

Юля возбужденно вертела головой, чаще поворачиваясь к Степе. Уже тогда я обратил внимание на то, как она произносила его имя: Степ-па — с легким удвоением буквы «п», неожиданным акцентом непонятого происхождения, делающим Степу мягче, чем он есть на самом деле. Услышишь так несколько раз «Степ-па» и вдруг увидишь: все верно, подходит. И голова за него отвечала: тогда еще нежесткий ежик волос — поверхность прирученной домашней щетки.

Подружка Юли Ира более сдержанна и осмотрительна. У нее светлые волосы, круглые остановившиеся глаза. Кажется, что она ко всему прикладывает готовое мнение, — это пугает. Посмотрев на нее внимательно, уже можно узнать, какой она будет лет через двадцать, а это не очень приятное открытие. Что-то ее смущает в нашем общении. Она здесь явно за компанию с Юлей. И покидает нас сразу после Лиды, успев на что-то надуться. Лида должна зайти к какой-то женщине, она обещала. Помня о добровольно взятой на себя обязанности быть строгой наставницей молодежи, она не преминула заметить девочкам, чтобы те не засиживались. И мы с Тарасом вдруг вспоминаем, что битва под Полтавой уже идет, в самом разгаре, наверное, и нам тоже надо спешно выдвигаться в холл, где несколькими часами раньше мы заметили массивный сумрачный ящик, очень похожий на телевизор, который, если его включить, возможно, и заработает. Профессиональный спортсмен и болельщик Степа с нами не идет, — Степ-пе сейчас как-то не до хоккея. Он говорит: подойду попозже. У нас нет причины ему не верить, ведь этот человек в детстве, чтобы посмотреть хоккей, усаживался перед телевизором в шлеме и с клюшкой в руках, коньки ему родители не разрешали надеть, справедливо беспокоясь о сохранности паркетного пола. Разве можно, будучи таким одержимым, пропустить хоть одну игру?

Ящик, хотя и работает с надрывом, но картинку показывает нужную: наши побеждают. Зрителей несколько человек, есть свободные места. Странное дело: в полутьме среди мужиков мы замечаем старушку в очках; она неподвижно сидит позади всех, в ее толстых линзах происходит драка. Нам кажется, что она просто терпеливо ждет, когда эта глупость

закончится, чтобы посмотреть что-то другое. Но пока что творится форменное безобразие и конца ему не видно...

Довольные итоговым счетом, мы возвращаемся. Шведы разбиты, но мы вдруг словно натыкаемся на поражение. Несомненно, это поражение наше. Веселье в номере заметно потяжелело. По Юле видно: она не понимает, что происходит. Какое-то подобие вопроса в выражении ее лица мешается с отчаянием. Так сразу мы понимаем и того меньше: то ли Степа перед нами, то ли Степа — сообразить трудно.

— Ну как, выиграли? — спрашивает он не нас, а дверь за нами.

Только теперь мы вспоминаем, что он пропустил игру и какую игру!

Мы и оставили-то их всего на один период и вот не узнаем, — глаза у обоих пьяненькие и возбужденные, странно блестящие (и когда успели-то?), так что мы весьма удивились (а я еще и потому, что до этого случая никогда не видел Степу таким пьяным; после тоже уже не доводилось) и тогда же подумали сразу: что-то из всего этого несомненно получится.

Так оно и вышло: на ночь Степа удалился с Юлей в смежную комнату.

Я находился в каком-то странном состоянии: с одной стороны радовался, почти ликовал, словно продолжалась игра, а с другой — переживал, даже не знаю, за что. Наверное, оставляя небольшой зазор для будущего, где бы могло уместиться мое сожаление. И прислушивался. Тарас широко и спокойно спал. А я не мог вот так просто. У нас была разная кожа. Звуки меня окружали всегда, часто теснили; я не из тех, кто засыпает под радио. А в таком вздернутом состоянии я мог бы услышать, о чем молчит шкаф и какой тоской оправдана тишина настольной лампы. Я вслушивался в возможность быть другим — в данном случае, быть таким, как он, быть Степ-пой. И это состояние снова повторилось в Кюленсборне. Оно накрыло меня с головой в номере-оригинале. Тарас спал как работага, честно отпахавший смену на заводе, а меня ночь определила в мечтатели с чуткими оттопыренными ушами.

Ночь здесь, на Балтике, для меня больше, чем дома, — у нее неохватные размеры из-за близости моря, его сдержанного дыхания, из-за крыши гостиницы, в которой мы находимся, развернутой в темное небо, к слабым звездам.

Мы так сразу и отделились, не мешая продолжению: нам с Тарасом вторую и большую комнату с балконом и телевизором, Степе — первую, где есть дверь в коридор, чтобы можно было без помех войти и выйти.

Вот они входят. Вначале ничего не слышно, но, кажется, что Юля высказала какое-то сомнение. Степа тихо отвечает: «Ничего страшного». Ее шепот укрощен его спокойствием, но говорит она пока что очень тихо. «... никогда бы не подумала», — удастся мне расслышать. Он усмехается и на положении хозяина включает радио. Разумеется, так, чтобы оно звучало только для них двоих. Степа аккуратен, — «вдвое надо быть деликатнее...» Я улыбаюсь темноте в этой комнате и приглушенному свету в соседней. Тарас на кровати рядом переворачивается, не прерывая своего движения в темном туннеле сна; своим легким храпом он настойчиво роет нору. Веселую музыку сменяет еще более оживленная реклама. В быстрой немецкой речи я разбираю только одно слово «цванцих». Оно звучит часто: «цванцих» да «цванцих» — каждый день набрасывается на нас, в любом месте, где только есть радио, становясь для нас главным словом в немецком языке. Мы им пользуемся для обозначения конца чего-нибудь и вообще для всего, что нам непонятно.

Неожиданно Юля спрашивает:

— Степ-па, а как правильно говорить: катáлог или каталóг?

— Конечно, каталóг.

— А надо мной девчонки в магазине смеялись, когда я сказала «каталóг».

— Ну и что? Пускай смеются, если неграмотные, — рассуждает Степа. — Но правильно все равно будет «каталóг».

Внутренне я сжимаюсь в комок, — я не готов к такой доверительности, интимной теплоте. Мне неловко, но я невольный свидетель, мне некуда спрятаться. Я и так вжался в ночь насколько мог, чтобы раствориться в ней.

— Я вообще хочу уйти из магазина... Мне там работать не нравится.

— Ну и правильно. Разве это дело?

— Я учиться хочу. Только вот не знаю, куда поступать...

Степа не отвечает. Он чем-то занят; донышко стакана два раза встречается с поверхностью стола. Звук наливаемой жидкости — но не плотный, как у пива, другой. Нет, ночью он больше выпивать не будет. Скорее всего, «кола» или «спрайт».

— Степ-па.

Голос Юли прячется в улыбку.

— Ну сама посмотри.

— И что?

— Я просто.

Пауза.

Снова Юля — осторожно:

— Как ты думаешь, у меня получится?

— Что?

— Поступить.

— Почему бы нет.

— А я как-то неуверенна...

— Это не сложно.

Потом ничего не слышно. Реклама. В тихую музыку несколько раз настойчивой командой прорывается «цванцих».

— Завтра? — переспрашивает Юля.

— Да, завтра, — поясняет Степа и выключает приемник.

Опять пауза.

— Ну вот... — тянет Степа.

— А ты как думал? — усмехается Юля.

Мое сердце открыто всему, что происходит вокруг, — открыто жизни. Темнота сгущается до неожиданного признания: все это, чему все же нет точного определения, будет двигаться только вперед, но состоявшись, насовсем не исчезнет, — оно останется здесь, в этих стенах, и везде со мной. То, что происходит, можно измерить: сумрак волн, крадущихся к берегу; и как Тарас затихает, а потом снова начинает закапываться еще глубже в сон; свет уличного фонаря за стеной, прямо в окно комнаты, где меня нет и где я все равно есть, — он отражает слабые атаки мошек; комнату, которая надежно скрывает Степу и Юлю, и их дыхание, настолько совпадающее с настроенной тишиной всего здания, что его совсем не слышно. Это похоже на вспышку озарения — и радостного, и грустного одновременно. С легким холодком, почти страхом, я вдруг понимаю, что буду потом вспоминать эту минуту, — уже заранее зная, что она ко мне вернется.

Утро все меняет: глаза упираются в стену, вздох и выдох моря выби-

рают другое направление взгляда — к небу. Оно серое, раннее. В такие часы хорошо принимать решения. Надо что-то делать, пора. В небе нет ничего для чувств, волнений и оценок, оно еще не поднялось к солнцу, нависая над водой и сушей. Мне надо срочно до него дорасти. Тарас и Степа спят; мне кажется, что они путаются в своих снах как в показаниях. Я тихо выбираюсь в коридор, закрываю за собой дверь; спускаюсь по лестнице первооткрывателем-одиночкой, мне начинает представляться, что на Земле бодрствую только я один, — вокруг ни души. На улице очень свежо; я в майке, шортах и кроссовках, мне немного зябко.

Я зеваю и протираю глаза, втягиваю ноздрями воздух; даже запахи едва просыпаются, они еще не нагреты солнцем.

Обойдя здание гостиницы, смотрю налево и направо. На пляже мы уже были. Значит, налево. Бегу вдоль моря, поглядывая на улицу с аккуратными домиками, — сразу становится легко и просто. Впереди замечаю двух рабочих, склонившихся у придорожного столба, потом ящик с инструментами у их ног, кабель... Занятые своим делом, они не обращают на меня никакого внимания. Моя пробежка длится минут двадцать, мне этого вполне достаточно. До преобразования, конечно, далеко, но бодрит несомненно.

Возвращаюсь, словно открыв что-то новое в себе, с ощущением какой-то вдруг приобретенной значительности: как же — пока все спали, я занимался если не самым важным делом на свете, то, по крайней мере, необходимым для меня при данных обстоятельствах, это уж точно. Но вечером выясняется, что спали не все. На сообщении Тараса о моей неожиданной прыти, Лида, внезапно обернувшись дородной и рассудительной фрау, отмахнулась как от некоей нелепости: «да видела я, как ты бегаешь» — в том смысле, что я трачу попусту время.

Оказывается, меня видели из окна. Не наблюдали за мной, а так, мельком углядели, то ли открывая, то ли задергивая штору. То, что мне представилось значительным, из окна выглядело довольно заурядным. Возможно, я бы согласился с мнением Лиды, если, конечно, только правильно понял, что она хотела сказать. В то время мне ближе была сторона Тараса, чем Степы, — Тараса, заявившего мне еще в Киеве: «Я в этой поездке от женщин отдыхаю», хотя я ничем подобным тогда похвастаться не мог. Тарас, совпадая со мной, тоже куда-то случайно или наоборот, повинуюсь природному зову, продвинулся, но еще более невероятным образом.

Он и прежде, как только мы оказались в Кюленсборне, сделался как-то по особому задумчив в иные минуты: мог так просто стоять на берегу и смотреть в море, разминая сигарету. Он словно бы и ждал такого момента, чтобы ему наконец выдохнуть из себя какую-то тяжесть и освежить под балтийским ветром лицом. И в тот же день, когда я совершил свою первую олимпийскую пробежку, Тарас сочинил стихотворение. И, немного смущаясь, прочитал его мне, держа в руке лист бумаги, аккуратно заполненный неторопливым и округлым почерком.

КЮЛЕНСБОРН

Белый песок, цвет заката — надежда увидеть.
Лебеди белые, люди голые,
Море и небо, душа и тело —
Границы размыты,
размякли, растаяли в полуденной дреме.

Все забывать, ни о чем не думать,
Ничего не знать совершенно.
Только солнце одно, поворот плеча,
лоб горячий, линия бедер...
Безглазие, безмолвие.
Иногда всхлипы чайчи и чей-то голос,
ладонью зовущей к лебедям повернутой:
«Шипа! Шипа!»

Я, конечно, удивился, однако не спросил его ни о чем. Все же и знал я его мало для того, чтобы спросить. У меня промелькнула только одна мысль: когда он успел? Стоял на берегу, шевелил губами, а сегодня взял и незаметно записал?.. Для него все это было правильным и закономерным, но доверился он только мне одному, никак не Степе, увлеченному половыми играми, — ему стало просто некогда, он был занят, как оказалось, от и до; вроде бы Степа находился рядом с нами и в то же время его с нами не было.

Да, я видел только одно, и, к сожалению, совсем не видел другого, не заметил, в отличие от Тараса, тех значимых деталей, которые должны были меня насторожить.

Случилось это еще в Берлине, просвещал меня Тарас, когда у Степы разболелся зуб. Странно, но последнее обстоятельство у меня почему-то напрочь вылетело из головы. Возможно, еще и потому, что я уже привык, что Степа самостоятельно решал эту проблему, когда она возникала, не прибегая к помощи врачей, — он их боялся больше собственной боли, вообще отвергая чужое прикосновение, воспринимая его как грубое вторжение, даже если оно несло вслед за собой скорейшее облегчение, а потому сам же себе делал разрез лезвием для бритвы на верхней десне, спуская образовавшийся флюс, разумеется, предварительно обработав инструмент спиртом; эту операцию он проделывал уже неоднократно.

Однако на его раздутую и приподнятую губу вместе с поплывшим глазом в гостиничном коридоре случайно обратила внимание старшая нашей группы. И еще бы не обратить внимание на такую тягостную картину! Женщина вполне разумно заинтересовалась у Степы, закрывшегося рукой от излишнего внимания, что случилось и не нужна ли ему медицинская помощь, на что он, прошамкав и промычав одновременно: «Не надо», тут же скрылся в своем номере. Старшая не отступилась и, чтобы избежать не вполне ясных ей, но все же возможных в дальнейшем осложнений или неприятностей, вызвала-таки дежурного немецкого врача.

Где я был в это время, вспомнить не могу. Скорее всего, по этажам слонялся. Во всяком случае, вся эта история в тот день почти миновала меня.

Дежурный немец несколько раз постучал в дверь к больному русскому, но безуспешно. Тарас уверял меня, что следом для оказания экстренной медицинской помощи прибыла уже бригада врачей. Стучали порозному, дергали за ручку, — дверь хранила молчание. Старшая видела, что Степа вошел к себе в номер, а как он выходил обратно, она уже не видела, хотя... она ведь не стояла у его двери на карауле, и он вполне мог выйти, но куда, разговаривала она со стеной в коридоре, куда он мог пойти в таком виде и с такой болью? Мысли в ее голове возникали уже совсем нехорошие...

Я сказал «почти», потому что Тарас успел выдернуть меня из лифта, когда я собирался спуститься вниз. Может быть, надо было стучать на разные лады, чтобы случайно попасть в нужный тон, тогда бы и дверь сама волшебным образом открылась, но мы в этом занятии не преуспели. Так, несколько раз только скупо отметились для участия; еще вызывали больного, надеясь на знакомые ему голоса, — с тем и отступились. Мне вообще-то не хотелось решать эту дилемму: там он или нет. Я знал про его заветную палочку-выручалочку, хранимую как лезвие, и потому в любом случае думал, что лучше ему не мешать, он себя лучше всех доброжелателей знает. Сделает или уже сделал спасительный разрез, создавая отток. Сидит, должно быть, в ванной, промывая рану. То, что при этом он терпел боль, как-то даже и не обсуждалось. Эту боль он терпел от себя, а не от посторонних. Так ему было удобнее, как бы дико это ни звучало. К примеру, Тарас, при всей своей иронии, как потом оказалось, вообще против всех болезней признавал единственное проверенное средство, вьетнамскую «звездочку», и готов был ее втирать в кожу по любому поводу.

Тарас оказался проникательнее меня, он знал все эти, ставшие обычными, манипуляции с лезвием и причину исчезновения Степы вывел из поговорки, казалось бы, не имеющей никакого отношения к делу, — ищите женщину. В данном случае, другую женщину.

«Цванцих» — и больше ничего. Тарас почувствовал то, на что у меня, увы, никакого нюха не было. И убедительно разъяснил мне уже в Кюленсборне, и даже указал.

Я и правда, мог не замечать самых очевидных вещей, за мной такое водилось, вплоть до того, что все уже все понимают, а я продолжаю не верить. Но на этот раз мне пришлось поверить.

Вечером, после ужина, мы сидели, по обыкновению, в гостях у Лиды, Юли и Иры. Номер у них, как мне показалось, был даже просторнее нашего, может быть еще и потому, что мебели в нем было меньше, так что места хватало многим. Традиционный чай в продолжение с тем, что у кого осталось после пересечения границы домашнего или просто отечественного — печенья или конфет; музыка из радио с неизменным, как припев, «цванцих»; от нас веселые разговоры и смех. Среди прочих фигур я замечаю ту, на которую как-то не обращал прежде внимания, но не потому, что «я в этой поездке от женщин отдыхаю», а потому, что я так поступал и до поездки. Мой взгляд совпал со взглядом Тараса. Я увидел готовую картину в рамке, а он, пользуясь случаем, предоставил мне причину закрытой двери в берлинском номере.

— А вот и она, — сказал он просто.

Пауза была, хотя длилась недолго. Я не выдержал:

— Да ладно, не валяй дурака.

— А тебя никто не валяет, — со вздохом парировал Тарас.

Она сидела на подоконнике, — окно было распахнуто, впуская свежесть морского воздуха, — свесив ноги в комнату, повернув голову в сторону водной и небесной стихии; погода начинала портиться, отраженный перелом падающего, ускользающего солнца давал всему проему законченное и даже вечное выражение, которое невозможно было оспорить: мир на самом деле это то, как мы его воспринимаем, как на него отзываемся.

Она обернулась на миг, обведя комнату рассеянным и несколько скушающим взглядом, и снова спрятала лицо.

Желтые, средней длины волосы, серые глаза, упрямый лоб; в пухлых губах то же свойство. Выдающийся размер груди под черной обтянутой майкой, белые штаники, заканчивающиеся ниже колен.

Я вспомнил, что ее зовут Света.

Но как — как это все могло произойти? Как они вообще нашли друг друга? Когда сговорились?

Я посмотрел на Степу; сидя на диване, он выглядел вполне беспечным, я бы даже сказал, нейтральным по отношению ко всем собравшимся в номере, никак не выказывая своего отношения к Юле. Наверное, из-за этой Светы, решил я.

Они оба никак себя не выдавали.

Да нет же, никак не соглашался я, у него же болел зуб, это же ни на что не похоже!

«Вот именно», — как бы издевался молчаливый взгляд Тараса. Кое-что он успел мне о ней рассказать, потому как слышал от своих друзей еще раньше. По словам Тараса выходило, что особа она известная, прославленная своими способностями, мастерица в этом деле знатная, даже прозвище себе заработала: «швейная машинка».

— Это как? — не понял я.

— Долбится как швейная машинка.

Это просто «цванцих» какой-то! С оттопыренной губой, заплывшим глазом... Ну как не захотеть такого красавчика! Любовь зла, полюбишь и... В голове никак не укладывается. Это было до лезвия или после?.. Хотя бы догадаться не взламывать дверь, — кто-то сказал, что видел его внизу, в магазине, с раздутой щекой. Хорошо еще, что Юля при этом не присутствовала, — как бы это выглядело тогда, а? Тоже стучала бы в дверь, кричала: «Шипа! Шипа!», а ей не открывали... Безобразие. Мрак.

Есть, наверное, какое-то свойство в мужском организме, которое привлекает женщин, на уровне запаха, осанки, движений, жестов, тембра голоса, когда все вдруг совпадает и ничего с этим поделать нельзя, — неосвязаемый контур приобретает физические очертания, в достоинствах которых хочется убедиться.

Я вспомнил Берлин, нашу вечернюю прогулку по Унтер-ден-Линден; мы выходили с какой-то площади, преобразованной в Луна-парк, — сочными гроздьями свисали разноцветные гирлянды лампочек, вертелась карусель, шары сбивали кегли, дымилась сосиски с горчицей; без пива не обошлось, без музыки тоже, она гремела повсюду заводным ритмом, группа «Депеш Мод», песня «Enjoy the Silence»... Степа задержался у крайнего лотка, разглядывая витрину, даже наклонился из-за своей природной близорукости. И вдруг принял на себя седока, — сзади, из людского потока, с радостным криком: «Дитер!» на него запрыгнула девушка; она обхватила Степу руками, повисла, потом спрыгнула; ошарашенный, он обернулся; она смущенно прыснула в подставленные ладони и быстро исчезла в толпе. Наши, кто стали свидетелями этому случаю, рассмеялись. Сам Дитер-Степа так, кажется, до конца ничего не понял. Я тогда естественно подумал, что немка просто-напросто обозналась, но теперь рассудил иначе: нет, она в нем что-то почувствовала и не смогла устоять перед мимолетным порывом.

На следующий день Степа попал в историю с зубом. Мимо нашего номера проходила Лида; она вспомнила, что Степу вчера вечером звали иначе, и спросила у Тараса: «Как там наш Дитер?» — «Дитер болен», — ответил находчивый Тарас.

Степе зуб не мешал. Он ему обострял чувства. Ему мешали мы — своим назойливым желанием спасти. Он потом подтвердил мне, что почти так все и было, как рассказывал Тарас. Подробности меня уже не интересовали. Мне было неловко. Это не мое приключение, я даже не уверен в том, приключение ли это, но я о нем знаю и, значит, тоже участвую.

Ночью мне приснилась одинокая швейная машинка. Настоящая. Кажется, у бабушки такая была. Фирмы «Зингер». Она стояла у открытого окна; занавески шевелились от уличного ветерка. И все — больше ничего не происходило. Я проснулся с ощущением пережитого кошмара.

Простодушная Юля не догадывалась о том, что кроме нее у Степы в этой поездке был кто-то еще.

Мы вернулись домой. «Швейная машинка» растворилась в толпе встречающих на перроне вокзала, а Степа с Юлей продолжили свои отношения.

Я снова в этом участвовал, — не знаю, почему. Возможно, Степа таким образом уже подготавливал свое расставание с ней, и я ему был нужен для того, чтобы все выглядело таким же поверхностным, как и в Германии. Он договаривался с ней о встрече, потом звонил мне, предлагая подъехать, — мы ходили на каких-то трех товарищей, совершенно равных друг с другом, беспечных, свободных. Встречались у него дома, еще в родительской квартире, когда они отбывали на дачу; с остатками еще немецкого веселья пили чай, но уже не под «цванцих», а под импортные кассеты и пластинки, доставшиеся ему от «людей из Москвы»; ездили за город, в Боровое, чтобы искупаться в реке, ведь и лето уже началось, на «Жигулях», взятых Степой у тех же незаменимых людей на условиях аренды еще прошлой осенью. Он даже Новый год умудрился встретить со своей машиной; рассказывал мне с гордостью, как вышел на заснеженную улицу с бутылкой шампанского и чокнулся с капотом: «Поздравляю! Мы с тобой прекрасно поработали. Будем надеяться, что в наступающем году будет еще лучше!..»

Час-два в день, обычно вечером, он теперь отдавал частному извозу, какой-то процент заработанного возвращая братьям-благодетелям. На ту жизнь, которую он себе затевал, денег ему вполне хватало, а потому он без сожаления расстался со своей прежней работой, из-за чего у него вышел конфликт с отцом. Тот подобное предпринимательство считал унижительным ловкачеством, но никак не настоящим делом, достойным его, руководящего работника, сына, — пусть той же службой в общепринятом учреждении, — да так бы тогда многие посчитали. Он был скуп на чувства, но тут не выдержал и дал им волю, — Степе пришлось уйти из дома. Все равно вышло кстати, — пора было становиться самостоятельным. Он безусловно к этому стремился, желая быть свободным, кажется, ото всего — семьи, общества, государства. Все совершалось быстро и одновременно, как бы стихийно, в соответствии со временем перемен.

«Люди из Москвы» Степу и тут не бросили: они устроили ему комнату в квартире своей знакомой; тогда же в его жизни появилась Наташа. Ее положение в чем-то было сходно с положением Степы: она жила на квартире у своей подруги, известной как Галя Зубак, которая работала медсестрой у неизвестного мне врача-стоматолога Сережи. Собственно, через зубы они и познакомились друг с другом: Галю Зубак

хорошо знали родители Степы, именно они, а точнее, его мать каким-то образом сумела уговорить своего очень чувствительного к боли сына посетить зубной кабинет. Ее уверения в том, что «больно не будет», оказались правдой. Самое верное объяснение тут было такое: и до нашего города наконец-то добрался прогресс. Современное оборудование кабинета, конечно, имело значение, но спасенный Степа верил еще и в умелые руки специалиста.

Спасать Наташу не было никакой необходимости; если бы и надо было ее спасать, то совсем по другой причине: она приходила к концу рабочего дня к своей школьной подруге Гале просто так, от нечего делать, — живя в ее квартире, она ничем не была занята, нигде не работала, то ли ожидая какой-то весомой поддержки от жизни, то ли просто пережидая неудачную полосу. И вот вдруг сошлось и двинулось — в хорошую, нужную сторону... Эта версия истории знакомства Степы и Наташи долгое время оставалась единственной, по другой версии, все на самом деле обстояло совершенно иначе, но мы об этом узнали значительно позже, *уже после всего*, а тогда даже слова такого, «версия», ни у кого в голове возникнуть не могло.

Раздвоенность Степы длилась недолго. Он стал тяготиться отношениями с Юлей, стараясь пореже оставаться с ней наедине, — это не поездка, где все внове и есть куда двигаться, а дом; дома тесно — другие расстояния, сразу вылезают привычки, возникают обязанности; обязанности и теснят, а Степа не любил обязанностей.

Юля тоже что-то почувствовала; она стала понимать, что продолжения не будет, что ни к чему все это не приведет. Я все больше начинал ощущать себя дураком — всякий раз, когда ее видел. До звания идиота мне оставалось совсем немного.

В конце августа Галя Зубак собралась замуж. Степа улучшил свой быт, съехав на новую съемную квартиру. Наташе тоже надо было куда-то собираться, хотя собираться ей, судя по всему, было некуда. Степа позвонил мне и сказал про Юлю: «Понимаешь, она все же не для меня... Нет, она хорошая девчонка, но ей нужен другой... Мне Наташа больше подходит, она нужна мне в делах...» Последняя фраза прозвучала для меня странно и непонятно. Я хотел спросить «в каких делах?», но не смог или не захотел. Он мне уже почти диктовал так же сбивчиво свою просьбу: «В общем, ты позвони ей и как-то объясни, но по-другому... Я не знаю даже... Она сама тебе позвонит...»

Я понял одно: она его ищет, а он не отзывается. Она обратится ко мне, чтобы выяснить, что происходит.

К осени все закончилось — самым неловким и неприятным образом. Ее голос в телефонной трубке был пронизан обидой, уже готовой злостью ко всему; при других обстоятельствах я бы его не узнал. Я сразу же за чем-то начал извиняться, пытаюсь что-то объяснить. Она, кажется, не понимала ни слова. Мне вдруг показалось, что более убедительным я буду, если увижусь с ней. Непонятно с чего, но мне показалось, что все еще можно исправить или хотя бы на какое-то время продлить. К тому же мне непременно хотелось доказать свою невиновность. Даже не знаю, чего я еще себе тогда насочинял.

Договорились встретиться вечером, на Московском проспекте, у галантерейного магазина за мостом, где она работала. Я вышел из троллейбуса и перешел дорогу. Уже начинало темнеть. Среди лиц многих прохожих я сразу разобрал лицо Юли. Она стояла на углу дома, перед аркой,

совершенно обособленно. Я узнал ее глаза, — это были глаза человека, оказавшегося в печальном положении. Мне вдруг представилось, что я не иду к ней, а ползу.

Дул холодный ветер, тут еще пошел мелкий надоедливый дождик. Взгляд схватил основное: короткая куртка, длинная юбка в складку, сапоги, зонтик в побелевшей руке, раскрытый над головой, — Юля мерзла; ей было холодно еще и от моих слов — нелепых, случайных, прощительных разве что ребенку, только ребенок таких слов не говорил бы. Она прервала меня: «Да что ты оправдываешься?» И мне уже не надо было к ней наклоняться, — она вдруг сразу выросла, превратившись в оскорбленную женщину; все вперед отразилось в мокром блеске ее темных глаз, и уже я, сжавшись, вынужден был смотреть наверх, не зная, куда глаза девать. «Да пошел он...» — расстроено, с презрением добавила она, но не договорила, застучав каблучками по асфальту.

Я тоже был разочарован. Нет, я был зол на себя; словно опомнился: чего это я себе выдумал, с какой стати? Куда полез? Чего хотел? Прикрыть друга? Идиот — самый настоящий!

Вот я попал... Да это не попал, а попанул! Я думал, что чему-то научусь, но ничего подобного: все это мне что-то напоминало.

Мне стало неприятно, что он меня использовал. Такое уже случилось, но, разумеется, в несопоставимых величинах, по незначительным все же поводам, относящимся к нам двоим и только. Он всегда поступал так, как ему было нужно. Помню, еще в студенческую пору, мы договорились пойти на вечер с дискотекой, устраиваемый в цирке к 8 Марта. Я, как дурак, просидел дома у телефона, ожидая его звонка, но так и не дождался — ни на другой день, ни на следующий за ним... Тем же неудавшимся вечером, когда прошел назначенный для встречи час, звонил ему сам, но к телефону никто не подходил. Я уже было решил, что могло что-то случиться (он же еще утром мне звонил), но потом сообразил, что ничего плохого с ним не приключилось. Никакой тайны в его исчезновении не было, всего лишь отсутствовала информация несколько дней. И вот он объявился, и стало ясно, что с ним случилось только хорошее.

Неожиданно приехал Вадик, младший из братьев, тех самых «людей из Москвы», и Степа забыл все на свете. Они просидели на какой-то квартире весь вечер и даже всю ночь играли в карты, а на следующий день отправились в Москву, там Степа и провел превосходно все это время: никуда не выходил, ничего не видел, опять же резался в карты, даже оставшись в выигрыше. О том, что ему надо было меня обо всей этой замечательной истории как-то предупредить, так об этом ни слова (если только чуть-чуть секундного смущения во взгляде), не только по забывчивости, а возможно, еще и потому, что «вдвое надо быть деликатнее с человеком, которого одалживаешь».

Ну ладно, я обижался на него недолго, хотя заметка в памяти осталась.

В другой раз, уже значительно позже, в совершенно новом государстве, когда в моду вошли внешние признаки значительности, чтобы не казаться обреченным ничтожеством, словом, в обновленное время, Степа снова исчез, пропустив на этот раз мой день рождения.

Он, конечно же, знал и был приглашен, потому как за неделю до даты уже звонил и справлялся у меня, как я намерен отмечать. День рождения в тот год у меня выпал на среду, гости созывались в субботу; вечером

в среду я и удостоился того самого удивительного звонка. Справедливо ожидая поздравлений, я взял трубку и получил их от кого-то. Незнакомый голос деловито осведомился: «Господин Кириллов?» Голос был такой официальный, что мне пришлось сознаться в том, что это я и есть. Тогда тот же откровенно секретарский голос сообщил мне, что по поручению депутата государственной думы... дальше шла все же какая-то знакомая фамилия... и от партии, возглавляемой этим же депутатом, партии, состоящей, кажется, исключительно из одной его внушительной фигуры, всегда громким голосом обещающей немедленные перемены к лучшему, если только он станет у власти, — так вот, от этой самой демократической партии и еще от господина Соболева лично меня поздравляют с днем рождения и желают всего самого наилучшего.

Я смог только вымолвить придавленно «спасибо», на большее меня не хватало: никаких вопросов, почему же сам «господин Соболев лично» не смог поздравить меня лично и вообще, где он, куда подевался... Если он этим хотел произвести на меня впечатление, то он явно ошибался, да и на кого бы это могло произвести впечатление? Неумно и дешево. Не в его духе, я его просто не узнавал. И потом голос: какое-то ревностное чувство подсказывало мне, что позвонил младший из таинственных братьев, которых я никогда не видел, Вадик, — только для «людей из Москвы» такие странные знаки внимания могли иметь какое-то значение. Если только это все же не было глупой шуткой, подумал я, но для чего это Степе? Куда он снова сорвался?

Объявившись месяца через два, он никак об этом случае не обмолвился, может быть, потому еще, что, как мне показалось, должен был все же испытывать чувство неловкости. Однако сколь неожиданно он позвонил, столь же неожиданно был весел и как-то очень уж подготовленно непринужден — так обычно бывает, когда хотят забыть прошлое и помириться. Но нам-то что делить? Я даже не знал, как ему напомнить о тех обстоятельствах, при которых мы не увиделись в последний раз, да и уместно ли это будет теперь?

Примеров подобных случаев хватало, и всегда они заканчивались ничем. Никаких объяснений, хотя бы намека, а уж тем более чего-то большего. Понятно, что про Юлю он у меня ничего не спросил. Его занимали совсем другие дела.

Степа снова переехал: квартира на этот раз была не съемная; маленькая, однокомнатная, на левом берегу, а все же своя, приобретенная при деятельном участии матери, не забывающей поддерживать сына. В эту квартиру на Минской к Степе перебралась Наташа. Галя Зубак удачно вышла замуж за какого-то делового человека. Все развивалось таким образом, что и Степе с Наташей надо как-то оформить свои отношения. Его отец к тому времени неожиданно понял, что к прежнему порядку жизни ничего вернуть уже не получится, и надо просто смириться с тем, что происходит, а лучше всего приспособиться. Так и быть, согласился он, делайте, что хотите, говорил он своей жене, матери Степы, но у меня только одно условие: мне нужен штамп в паспорте, чтобы все было законно, чтобы никакого сожительства без обязательств, я такого уродства терпеть не могу, так им и передай; на том и порешили, и пришли к согласию, и стали снова видеться друг с другом, а не ссориться и бунтовать.

Пожениться — выражение слишком ответственное, больше интимное, немое, чем общественное и громогласное. Свадьба — это уже поня-

тие вселенского размаха, пир на весь мир, какая-то нелепая потеха для чужих глаз. А потому никаких «пожениться» и тем более «свадьба». Таких выражений в словаре Степы и Наташи не существовало. «Пожениться» заменили на «расписаться», потому что больше нечем было заменить, а совсем выбросить никто бы не дал, и то, эту уступку сделали исключительно для сурового и непреклонного отца Степы, ожидавшего вождя в паспорте. «Свадьба» уступила место скромному «вечеру». Да, Наташа так и сказала, приглашая нас с Леной: «Приходите, у нас будет вечер».

«Вечер» состоялся вечером на родительской квартире. Еще днем, на пороге, Степу и Наташу встретил отец: «Давайте показывайте». Втроем прошли из коридора на кухню; достали паспорта и показали, чтобы можно было убедиться. Николай Иванович вышел и, не меняя своего озабоченного лица, возвестил: «Ну, теперь можно отмечать».

Мы ничего этого не видели, потому что пришли позже, к «вечеру». Нам об этом рассказала мать Степы, Татьяна Михайловна, хотя и она сама ничего толком не видела, больше слышала; паспорта Наташи вообще никто никогда не видел — ни со штампом, ни без штампа — и не потому, что ставил себе это какой-то целью, специально интересовался, а потому что тут действовал некий запрет, нам совершенно непонятный. Мы и узнали о том, что на паспорт Наташи наложено табу несколько месяцев спустя, совершенно случайно, будучи у Соболевых в гостях, когда легкомысленная Катя, жена Кости Барометрова, взяла его с журнального столика. Она только и успела спросить с улыбкой: «Кто паспорт потерял?», но раскрыть ради любопытства уже не смогла. Наташа просто выхватила документ у нее из рук; паспорт, судя по всему, был опрометчиво оставлен ею без присмотра. Катя так и застыла со своей странной улыбкой, словно наткнулась на внезапный барьер. Впрочем, все обратили в шутку и тогда этому случаю никто большого значения не придал.

«Вечер» был действительно скромным, без излишеств и обрядов, и не только потому, что в стране начались сногшибательные реформы. Из гостей немного родственников, внушительная Галя Зубак с хромым мужем и мы. Снег за окном, легкий морозец — прекрасное начало для новой жизни. Всякий раз потом, возвращаясь в этот знаменательный день, Наташа говорила примерно так: «Помните, вечер у нас был?» или «Тогда на вечере у нас...», и мы понимали, что это не просто какой-то рядовой вечер, а именно *тот самый вечер*, который состоялся февральским вечером не помню какого дня.

К лету молодожены снова переехали, перебравшись в результате сложной комбинации обмена-купли-продажи с левого берега на правый, теперь в центр, на улицу Кирова, поближе к родителям Степы.

Степа принялся рассуждать о том, сколько денег надо молодой семье, чтобы стать на ноги. По его расчетам выходило много, нам столько не заработать. Правда, не совсем было понятно, о чьей семье идет речь. Никогда в разговоре Степа не называл Наташу «жена», а она его «мужем» — таких слов у них не принято было говорить о себе, так можно было говорить о других. В понятия «твой» или «твоя», которыми они пользовались, вкладывалось достаточно иронии; они использовали их применительно к себе для характеристики третьих лиц. Например, Наташа могла сказать: «Я сегодня пошла в магазин, а меня соседка у подъезда останавливает и спрашивает: «Что-то твоего давно не видеть?»

А я ей: «Да как же его днем увидеть? Рано встает и сразу на работу, возвращается поздно...»

Что-то изменилось и «дело» Степа каким-то образом превратилось в «работу», он теперь на нее ездил. Наташа оставалась дома, хлопотала по хозяйству, звонила нам и на час, а то и два, могла занять Лену разговором: «Вот сижу, малышку своему ужин готовлю, скоро уже приедет...» Внешне Степа на малышка, конечно же, никак не походил.

Детей молодая семья, как выяснилось, заводить не собиралась — ни сейчас, ни когда-нибудь потом. Степа твердо стоял на своем: никаких детей, покуда он не будет уверен в том, что его окружает, покуда не будет соответствующих условий, соответствующего капитала... Наташа только разводила руками. С другой стороны его подход мог показаться очень ответственным, если бы не время, которое равнодушно отсчитывало годы. Наташа уже рассказывала и такое: «Нет, у нас все нормально. Ну что вы? Мы даже справки можем показать, что совершенно здоровы!»

В чем нас убеждать? Лена вздыхала, я брал трубку, спасая ее от бесконечного монолога, и говорил что-то такое стойкое и правильное, должное, наконец, расставить все по местам, чтобы уже никогда не беспокоиться, и заодно представить меня в выгодном свете, за что и получал в ответ просветленное: «Да дорогой ты мой человек!» Так она блажила и блажила...

Есть девушки, в которых очаровательно их молчание, — уже готовый портрет в галерею, им и не надо говорить никаких слов. Наташа не знала, что молчание может быть очаровательным, она постоянно что-то рассказывала и даже слушая, умудрялась говорить. Если же вдруг ей приходилось в течение продолжительного времени не произнести хотя бы слова, она расстраивалась. Ее лицо зримо пропадало: смуглая кожа бледнела, появлялись щеки, подбородок укрупнялся и круглел от скуки.

Она принадлежала к тем людям, которые утром обязательно скажут: «Доброе утро!», перед сном пожелают «спокойной ночи!», если чихнешь, то обязательно от них услышишь: «Будьте здоровы!» — в общем, никогда не оставят в покое. Она будет всем интересоваться, сочувственно вникать в детали, кивать и покачивать головой; она, то наморщит лоб, то просияет, но что там у нее внутри на самом деле, зачем ей все это нужно — один бог ведает.

Наташа была на пять лет моложе Степы, родители ее умерли, и где-то у нее оставалась только ветхая бабушка.

Через год после поездки в Германию мы в прежнем составе, имея в виду еще и Тараса, которого, как оказалось, на самом деле звали Игорем, снова отправились за границу, на этот раз в Венгрию; я потом уже нигде больше не выезжал. Степа показал мне листок из блокнота, заполненный неровным почерком Наташи. Это был список вещей, которые она заказывала ему привезти. В перечне обыкновенной женской дребедени (белье, косметика и прочее) последним пунктом значились абстрактные «приятные мелочи» — как бы на выбор, доверяя вкусу Степы. Именно так и было написано: «приятные». Это обезоруживало.

Дня через два после того, как мы вернулись обратно, Степу у подъезда остановил его сильно пьющий сосед; он где-то прознал, что Степа был за границей, а потому поинтересовался с мутной развязностью алкогольного утопленника: «Ну как там, за бугром?»

— За бугром в отеле за дверь номера выставляют обувь, а у нас в

подъезде оставляют пустые бутылки, — с серьезным видом сообщил Степа; все это он проговорил как-то очень уж победоносно, словно ожидал подходящего случая.

Всякий человек по возможности старается избегать ненужного ему общения, но у Степы это выходило слишком болезненно: он брал через край и сторонился с тщательностью, не забывая о том, что надо постоянно быть настороже. Чужие или даже просто плохо знакомые люди делали его беспокойным, заставляли на всякий случай напрягаться, быть кем-то еще, кроме себя самого. Нерешительность в нем сочеталась с внезапной отвагой, впрочем, комичного свойства.

Еще в студенческие годы он запросто мог сдать деньги для участия в какой-нибудь вечеринке и потом на нее не явиться, но не потому, что не смог и что-то ему помешало, а потому что он и не собирався приходить. Точно так же он сдавал деньги на билеты в кино или на концерт, иной раз даже уверяя всех, что идти надо непременно — фильм потрясающий, певица великолепная, — но сам снова нигде не присутствовал. А то вдруг обыкновенная покупка носков у него превращалась в головокружительное приключение, и надо было за ними куда-то далеко ехать, на окраину города, чуть ли не прорываться, и рассказывалось об этом с таким восторгом, что поневоле я начинал соперничать, забывая о ничтожности повода: «Смотрю — есть, не обманули, — и сразу в кассу. Пробейте, говорю, пять, нет, шесть пар... Кассирша на меня смотрит, как на больного. Думает, нашелся дурак, они же такие дорогие, кто их брать будет?» Это непонимание ему доставляло совершенное удовольствие, — только он один по-настоящему понимал, что такого замечательного в этих импортных носках.

Теперь его страсть к хорошим вещам могла разделить Наташа. Меня, как и прежде, подобные радости не занимали, а вот Лене в какой-то степени, по-женски, это было интересно.

Как-то осенью в одном из больших центральных магазинов она столкнулась с Наташей. Доверчиво улыбнувшись, Лена едва только успела сказать: «Привет!», чтобы в ответ услышать: «Подожди, я сейчас занята». С этими словами Наташа исчезла, чтобы уже больше не появиться. Вид у нее был странный: строгая черная куртка, такого же цвета джинсы, на ногах крепкие ботинки армейского фасона, надо ли говорить, что тоже черные; странность более всего заключалась в широком поясе поперек ее туловища, поясе с толстым кошельком на животе. Лену тут именно кошелек на животе почему-то поразил, он заслонил все: и то, что лицо у Наташи было озабоченное, и голос совершенно другой, не приподнятый, без переполнявшей ее радости, а сухой, деловой, словно где-то во дворе разгружались грузовики с товаром, и она ждала, когда ей отдадут накладные. Помня все ее долгие разговоры по телефону, радушные встречи и восклицания: «Да человек же ты мой золотой!», Лена рассчитывала на привычную теплоту и внимание и вдруг обманулась. «Она на полицейского была похожа, — рассказывала мне Лена, — или воеводу... Прямо малышок-полицейский какой-то!»

Стало понятно, для каких дел она нужна Степе; то есть дел их мы, конечно же, не знали, но убедились, что она ему действительно нужна. Степа и Наташа нам представились двумя искушенными бойцами: один отдает приказы, другой их исполняет, вместе же делают одно большое дело. Это — команда.

Разумеется, потом, спустя какое-то удобное для всех время, она что-то пыталась объяснить Лене: «Ситуация была такая... Ну ты понимаешь...» Голос в телефонной трубке слегка запинаясь как бы в поисках душевной поддержки, и дальше ничего уже не надо было объяснять, таким Наташа оказывалась дорогим и золотым человечком.

Жизнь для Степы выстраивалась настолько хорошо, таким естественным и легким образом, что он почувствовал в себе способности к чему-то большему. Его возможности теперь носили нематериальный характер. Он рассказывал, просветленно улыбаясь, что когда идет по улице, то словно дергает за ниточки проходящих мимо него девушек, легко управляя их настроением и вниманием. И выходит это у него как-то само собой, между прочим.

Казалось, что в таком особом, посвященном состоянии он теперь пребывал постоянно. Обо всем имел свое суждение, сомнений не испытывал вовсе и даже если чего-то не знал прямо, то полностью доверялся своей беспроегрышной интуиции.

Весной памятного 98-го года Степа настойчиво советовал Косте Барометрову положить деньги в какой-то Первый туземный банк (ПТБ), проводивший тогда широкую рекламную кампанию по телевидению. Высокие проценты, такие же гарантии, уверял Степа, контора солидная, вложение надежное и, несомненно, выгодное. Со стороны можно было решить, что он сам имеет какое-то заинтересованное отношение к этому банку, потому так старается. И особенно напирал он на какой-то «привилегированный депозит». «Я уже так и сделал», — заключил он, доволь-но потирая руки.

Осталось неизвестным, хотел ли Костя выгодно вложиться, следуя подсказке Степы, и всего лишь счастливо замешкался на все лето, да только в августе Первый туземный банк рассыпался, как карточный домик. Когда мы напомнили Степе про его совет, он очень удивился: «Я? Депозит?» Для наглядности он даже пожал плечами: «Да я таких слов не знаю!» Вот что называлось «сменить свои показания». И Наташа подхватила, рассмеявшись: «Какой же нормальный человек деньги в банк понесет! Да вы что?» Мы словно оказались не в своем уме. Нам даже и удивиться, в свою очередь, нельзя было.

Между тем, внешние признаки значительности побеждали. Он обзавелся массивным перстнем с рубином и, будучи у кого-нибудь в гостях, сидел за столом, старательно оттопыривая мизинец, чтобы все присутствующие могли хорошенько рассмотреть оправу, оценить чистоту красного камня и осознать его богатство. Он так и проводил весь вечер в приподнятом настроении, наслаждаясь произведенным, как ему казалось, эффектом.

Еще в начале девяностых Степа завел себе собаку, пепельно-серого пуделя, бесхитростно названного Дружком. Завел собаку он, а занималась ею бабушка, и кличку неподобающую пудель получил именно от нее. Других кличек для собак она просто не знала; исправно выгуливала Дружка каждый день около подъезда, двумя руками держа его на охранительном поводке, — очень уж горяч и порывист был кудрявый Дружок, норовя свалить бабушку.

Дружка стригли по собачьему канону, чтобы он выглядел модным красавчиком; мыли особым шампунем, кормили неслучайно, продуманно, а он, едва очутившись на улице, все равно рвался куда-то навстречу неведомому; бабушке, порядком уставшей в борьбе с собачьей любозна-

тельностью, только и оставалось, что слабым голосом напрасно увещевать непоседу: «Дружок! Дружок!»

И жил Дружок, естественным образом, не у Степы, а в родительской квартире, в соседнем подъезде. Степа только приходил в гости; стиснув зубы от полноты чувств, трепал бабушкиного питомца по загривку и, на всякий случай, пробуя его вразумить, разговаривал с ним как с подающим надежды и способным к быстрому обучению ребенком: «Дружок! Дружок!». Оба выглядели довольными.

Пуделек был довольно забавный: усиленно вилял, как положено, хвостом или, вернее, тем, что должно было его напоминать; за наличием его в усеченном виде, Дружку, от переизбытка собачьих чувств, приходилось буквально дрожать всем телом — так хотелось ему выказать свой восторг, и свою чуткость, и признательность хозяевам, и готовность непонятно к чему.

В этой неумемной дрожи он был всегда начеку. Это-то и умиляло, и больше всего трогало в Дружке любого, кто хоть однажды его видел. Даже и выражение такое появилось, чтобы обозначить эту чуткость, и это прилежание, и мгновенную готовность: «дрожать как Дружок». Так что Степа, к примеру, вполне мог обозначить чей-то заискивающий взгляд в подчиненной ситуации одного человека перед другим подходящим случаем сравнением: «Стоял передо мной и как Дружок дрожал». И сразу же все становилось понятно.

Другое выражение, получившее в то время хождение в нашем кругу, касалось Степы; оно умножало его, возводило в степень, превращало в символ. В этом выражении было еще немного Наташи, она выглядывала из-за спины «хозяина» необходимой деталью. Кажется, первой его пустила в ход Катя, жена Кости Барометрова.

Однажды мы столкнулись на улице: конец лета, не видели и не слышали друг друга уже месяца два, если не больше. Обыденный разговор коснулся знакомых — у кого что нового, — и тут Катя спросила, просто-душно прячась за улыбкой: «Как там Степы поживают?»

Так бывает: возможно, она забыла фамилию и только в последний миг успела вывернуться.

Вышло лучше, чем можно было ожидать. Вышло случайно, но забавно. Забавно оказалось еще и милым, а милое всегда приживается.

Семья получила определение. С тех пор так и повелось спрашивать у меня о Соболевых: «Как там Степы поживают?», ведь я же виделся с ними чаще, чем другие. А Степы звонили мне после очередного отдыха в Крыму и Наташиным голосом приглашали в гости. Я послушно приходил, Наташа удивлялась: «А где же Лена?», но головой качала недолго, — оба были просто без ума от этого Крыма и потому наперебой принимались рассказывать.

В их Крыму было все замечательно: и море, и природа, и воздух. Я вспоминал ироническое напутствие Лены: «Лети, голубок, тебя там ждут» и убеждался в ее правоте.

Всякий раз меня убеждали в том, что Крым — это земля обетованная. А я словно бы не вполне верил и в чем-то сомневался, хотя бы еще и потому, что ни разу там не был.

Меня теснили с двух сторон, подталкивая в гору; я карабкался по скалам, — осыпались камни, солнце слепило глаза. Я задыхался от головокружительного подъема, а мне снизу кричали Степы: «Ну как? Правда, здорово?!..» «Ага», — отвечал я, затравленно озираясь, и думал: за чем мне все это?

Меня продолжали уговаривать, но я словно не соглашался подписать какие-то важные бумаги, выдавить, наконец, из себя признание... «Напрасно ты в Крым не едешь», — вздыхала Наташа. «Погоди еще», — вступался Степа; он в меня верил.

Степы любили Крым, Крыму очень нравился Степа. Наташа рассказывала про какого-то Толика, местного парня лет восемнадцати, сына хозяйки, в доме которой они останавливались, — так вот, этот самый парень чуть ли не с восторгом выслушивал все, что говорил Степа. Каждое слово вызывало у Толика чувство, близкое к изумлению: «А откуда ты это знаешь?» Создавалось впечатление, что Степа, будучи в Крыму, уже не говорил, а вещал. Судя по всему, тем, кто за ним не записывал, потом горько пришлось пожалеть за свою оплошность.

Наташа еще раз мне повторила, изображая немую сцену: «Вот так вот рот раскрыл и спрашивает у Степы: «А откуда ты все это знаешь?» Она замирала, а Степа протягивал мне фотографию: на ней между ними широко стоял высокий парень в белой футболке и черных шортах; я отмечал наивное детское лицо и отчетливо выдающееся брюшко. Если это было доказательство, то — чего? «Не поверишь», — добавляла Наташа, прикладывая руку к груди, а я добавлял про себя: «как Дружок дрожал».

В ней самой было не меньше благоговения и почтительности перед недюжинным умом, оказавшимся на отдыхе, чем у неизвестного мне крымчанина.

Слушая Наташу, Степа прикрывал глаза и покровительственно улыбался. С другой стороны это можно было просто принять за довольную расслабленность после очередной чашки выпитого чая, который имел, вне всякого сомнения, какое-нибудь мудреное и обязывающее название.

Чашка с небольшим остатком на доньшке покоилась у Степы на коленях: он умиротворенно придерживал ее кончиками пальцев. Крупный загорелый лоб жил своей жизнью: у переносицы на непродолжительную летучку собирались складки, затем разглаживались, обнажая бесконечный и ясный простор; губы были более снисходительны — они подрагивали в предательской иронии.

Немного поерзав на диване, с видимым усилием в разговор вступал Степа. Он говорил о высоком, не доступном пониманию большинству. Предметом его, если не восторга, то явной заинтересованности и уважения, был некий аскет, как он его называл, мужчина за пятьдесят из Ленинграда, а теперь и Петербурга, приезжавший, как и Степа, каждый год в Крым.

Слово «отдых» не прозвучало. Он там, в Крыму, жил все лето. Ни у кого не снимал жилье, а просто жил на природе в палатке. Поджарый, загоревший, во сто крат сильнее Степ вместе взятых, уже обменявший своим ежегодным упорством прежнюю кожу на постоянный загар, с выгоревшими волосами, спутанной бородой заслуженного аборигена, в одних только шортах, всем крепким обветренным телом он подходил каким-то стихийным представлением о вольном существовании. Он идеально вписывался в рельеф местности кустарником или камнем, века пролежавшим на дороге в пыли.

«Понимаешь, — рассказывал Степа, — он никому ничего не должен».

Кажется, это было его главной заслугой. Свободного человека звали Геней. Отрешенный от всех мирских забот, он сидел на скале и слушал море. Почти безмятежная водная гладь нежилась на солнце и, как бы понимая, что за человек наблюдает за ней, даже немного смущалась. Тело

Гены, доверившееся природным инстинктам, непринужденно дышало. Он весь был открыт миру.

«Понимаешь, — начинал увлекаться Степа, — ему ничего не надо! Ни денег... ничего!»

Первые два-три года Степа к нему только приглядывался. Случайному знакомству был рад несказанно. Никаких бесед или совместного времяпрепровождения не случалось. Гена был не болтлив, даже и вовсе скуп на слова: говорил исключительно о погоде, основное хранил в себе. Степа толком ничего о нем не знал, только видел, и этого было достаточно.

Вдруг мне показалось: еще немного и я увижу Дружка. Но нет, Степа, по-видимому, уже сам сообразил, что взял чересчур восхищенный тон, и неожиданно обрывал себя, переводя разговор на наших общих знакомых: «Ну ладно, а что нового у Петра?» «Да-да, — еще более оживлялась Наташа, отдавшая должное цельной натуре крымского аскета, — как там Недорогины, не расскажешь?»

Я рассказывал, что знал. Недорогины недавно вернулись из круиза по Средиземному морю. Среди прочих стран посетили они и настоящую обетованную землю. Израиль Петру не понравился. Еще бы: всех туристов, которые решились сойти на берег, обманули на таможне. Обязали каждого сдать по сто долларов в качестве залога, а вернули доллары фальшивые. Выяснилось это уже потом, в море, когда несколько человек этими ничего не стоящими бумажками попытались расплатиться в баре корабля. Кинулись проверять остальные — и с тем же результатом. Никто из побывавших на земле обетованной не избежал этой участи. «Ты только подумай, — возмущался Петр, — это же таможня! Можно сказать, государственные ворота!»

Эти «государственные ворота» Степу и Наташу очень позабавили. Они словно только укреплялись в своей уверенности насчет обязательности и ценности Крыма. Казалось, Крым прописан им на все годы вперед, и сложно найти брешь в их устойчивом предпочтении. Уже никто и не говорил про Крым, и уж тем более туда не ездил, — открылись другие возможности, маршруты, — но Соболевы стояли на своем. Исключения, естественно, делались, горизонты расширялись, и за границу они выезжали. Нам же было не до Крыма и загранич, теперь уже и Крым обернулся заграницей, — мы плотно сидели дома. После 91-го года я стал невыездным: половина зарплаты уходила на еду, половина — на оплату квартиры, проезд и прочие неприятности.

Однажды Степа прислал мне открытку из Испании: на обратной стороне привлекательных видов Майорки можно было разобрать несколько слов, написанных неровным почерком: «вот... тут мы находимся...» Умеющий складно и интересно говорить, по мнению многих (звучало это как «хорошо говорить»), на бумаге Степа отличился удивительным лаконизмом. Кто-то, менее расположенный к нему, обозвал бы его почерк каракулями. Какой-нибудь специалист отметил бы сбивчивость мысли. Я же увидел его несомненную иронию по отношению к самому себе; мне даже показалось, что слова на открытке не написаны — это было бы уже слишком, — а нацарапаны на выдохе.

Внешне выглядело так, что Степа уже всего достиг. Пить чай в теплой благоустроенной квартире, смотреть футбол по телевизору, а летом выезжать на море — и больше ничего ему не надо в этой жизни. Оставалось только совершенствовать себя.

Спортивный по своей натуре, он занялся бегом по утрам. Довольно

скоро это занятие перестало быть просто увлечением, оно стало системой, превратилось в ритуал. Он поднимался ровно в шесть утра и ехал на трамвае несколько остановок до небольшого стадиона «Чайка», на котором мы занимались физкультурой еще в студенческие годы. Всячески разминался там в одиночестве, приседал, махал руками, подтягивался на перекладине — главным же было пробежать несколько кругов по дорожке вокруг футбольного поля.

Все это чрезвычайно поднимало ему настроение, «заряжало энергией», как он выражался. Ранний подъем утром делал ему весь день. Он испытывал радость еще и по другому поводу: люди в это время спешили на работу; о том, что они не свободны в своих желаниях, лучше всего говорили их лица, — его же переполняло чувство свободы и ему хотелось им поделиться. С кем? Со мной, разумеется. «Они все утром на работу, — увлеченно рассказывал он, — и только я один на стадион!» Это словно подчеркивало его некую избранность — он выступал против общего потока.

Дело шло к сорока. Выражение «соответствовать возрасту» для Степы означало быть физически совершенным, не распускаться, превращаясь в тюфяк, набитый соломой. Бег не прекращался ни в дождь, ни в снег — погода его не сильно смущала. Степа знал главное для себя: надо быть последовательным, нельзя сбиваться с заданного ритма.

Его упорство приносило свои плоды. «Смотри, живота нет», — говорил он, задирая футболку, и поднимал руку, приглашая не только посмотреть, но и пощупать. «Попробуй ухватить! — подначивал меня с некоторым торжеством. — А то ходят, бока нависают!» И так было видно, что никаких складок у Степы нет. Но я все же пробовал, чтобы порадовать его лишний раз, и убеждался: тщетно, ухватиться совершенно не за что. О том, что его замечание про «бока» может хоть как-то касаться меня, речи не шло, — из-за своей природной худобы я еще как-то держался в форме, не прилагая к этому особых усилий.

В борьбу за физическое совершенство с неизбежностью подключилась голова: у Степы появились новые мысли, поменялся круг чтения. Место художественной литературы заняла литература эзотерическая. За неизменной чашкой чая, после демонстрации очередного усиления двери, Степа пространно толковал мне что-то о скрытых возможностях человека, умственной силе, посвященных людях, сосредоточенности и покое. Одну из книжных полок облюбовали книги Ошо, Гурджиева и других проводников в тайны человеческой психики и духа.

Осторожно слушая его, я вспоминал иного Степу, того, кто когда-то открывал мне имена писателей, которыми я потом зачитывался. Он не скрывал своего мнения, говорил горячо, убежденно, не забывая об иронии. Так, например, он высказал предположение, что «Лолита» это ответ Набокова Томасу Манну на его «Смерть в Венеции», — Набоков полагал эту вещь Томаса Манна невразумительной и слабой, явно не заслуживающей того внимания, которое она получила, вот и ответил — очень многословно, настолько его задела незаслуженная слава. В другой раз он заявил, что «Доктор Живаго» был написан под финальные стихи, — читаешь этот роман и мучаешься, пытаешься зацепиться за прозу поэта, за один-единственный путеводный образ горящей свечи, и вдруг как награда за все перенесенные муки, неожиданное оправдание сотен страниц, словно жемчужное ожерелье в подарок, стихи.

С ним интересно было спорить, а теперь спорить стало не о чем. Я

пытался ему рассказать о романе нового писателя, который прежде вызвал бы у него интерес, но он скептически отмахнулся: «Ну что роман?.. Сейчас быть писателем — это всего лишь знать, как заработать деньги». Наташа, желая принять участие в разговоре, как бы возражала, одновременно высказывая две противоположные точки зрения: «Неправда. Разве это плохо?» и уже обращалась ко мне, мечтательным взглядом выражая поддержку: «Вчера писателя одного показывали... забыла как зовут... так интересно говорил!» Однако Степа был неумолим: «Хорошего писателя по телевизору не покажут!»

Они заговорили про известного художника К., в прошлом году вернувшегося из эмиграции, и стало ясно, что у них появился кумир. Как раз вчера он выступал по телевизору, я тоже видел эту передачу. Показывали, как К. подъехал к телецентру на навороченном джипе с клыками, все как положено у преуспевающих людей. Как стремительной спортивной походкой этот 60-летний покоритель многих женских сердец поднимается под аплодисменты на сцену, чтобы ответить на вопросы собравшихся в студии. И как потом дружно зашикали на него, когда на вопрос «как выжить?» в наше сложное время, он посоветовал заняться лечебным голоданием, а еще... пить воду, взявшись разъяснять опешившим зрителям, насколько полезна и целебна самая обыкновенная вода из-под крана, — люди просто по лени своей не хотят знать всех ее свойств.

Неделей раньше телевидение, кажется, следившее за каждым шагом удачливого К. и дома, и на Западе, уже на другом канале показало в виде репортажа, как он питается: завтрак в загородном доме, обед в ресторане в центре, ужин — в другом ресторане.

К. оказался гастрономически изыскан, он разбирался в кухнях мира. Сквозь очки он изучал меню и, словно делая важный выбор в жизни, собирал складки у переносицы. Важно было не ошибиться. Кажется, передача называлась так: «Культура еды».

Омлет с беконом, жареная свинина, говядина, пицца с тунцом, форесть, запеченная в фольге, черепаховый суп, солянка, баранья нога, плов, разнообразные фрукты, какие-то невероятные пирожные на десерт, красное и белое вино, дорогой коньяк — воды на столе у К. замечено не было. И при всем при том он всегда оставался подтянутым и молодежавым. С его загорелого лица не сходила белозубая улыбка.

Степа не мог скрыть своего восхищения: «Как здорово выглядит!» Наташа добавляла: «А как замечательно говорит!»

Я вдруг увидел, что Степа точно так же, как К., надевает очки и морщит лоб. И улыбается, как он, здоровой широкой улыбкой. И еще я подумал, что писатель, которого видела Наташа, наверное, был толстым или, по крайней мере, совсем не выглядел спортсменом. И тот, про книгу которого я рассказывал Степе, тоже отличался лишним весом и выдающимся брюшком. Ну да, припоминаю, был портрет на задней обложке — лицо круглое, кажется, двойной подбородок... Об остальном можно только догадываться. Ну как же, в самом деле, такие люди могли понравиться Степе? Чему они могут учить, если выглядят так плохо?

Несомненно, К. для Степы являлся авторитетом. Он старше и вполне годится на роль гуру, к каждому слову которого надо прислушиваться. Вот уже Степа приобщился к его житейской мудрости и принялся цитировать, выдавая готовые афоризмы. Однажды я услышал от него: «Кто ничего не делает, тот ставит цели в жизни». В другой раз, в гостях у Барометровых, он заявил: «Человек отравлен своим собственным существо-

ванием». И уже непонятно было, цитирует он кого-то или говорит от себя. Можно было поговорить на эту интересную тему, но разговора не получилось. Говорил один Степа и, кажется, обо всем сразу: о мужестве одиночества и унижительном давлении толпы, о социальной обезличке и скромном индивидуальном счастье, о медитации и восточных техниках расширения сознания, о добровольном отшельничестве и величии духа. Это был монолог человека, который долго собирался сказать что-то важное — скорее для себя все же, чем для кого-то еще. Его слушали. Во всем этом было что-то неуловимо знакомое для меня, оно крепко сидело в каких-то образах, маячивших перед глазами, и только на следующий день я сообразил, что слова Степы воспроизводили одну из его книжных полок, где наверху стояла икона, а ниже лежали друг на друге объемистая библия с гравюрами Доре, новый завет и Иоанн Кронштадтский. Удивительно, но в проповеди Степы можно было обнаружить странную смесь православия и дзен-буддизма. Впрочем, на это не обратили внимания.

Чтобы я мог улыбаться, как он и К., Степа решил направить меня к Гале Зубак, а точнее, к стоматологу Сереже. Долго уговаривать меня ему не пришлось. Я уже понимал, что с определенного возраста надо как-то поддерживать себя в мало-мальски приемлемом состоянии. Иначе говоря, чтобы жить дальше, нужны подпорки. Зубы как раз и можно было отнести к таким подпоркам. Я решил сходить даже любопытства ради, может быть, еще и для того, чтобы просто увидеть Галю Зубак с Сережей.

Однако Гали Зубак у Сережи я не обнаружил. В приемной меня встретила стройная миловидная девушка в белом халате с серьезными серыми глазами и закрытым для вопросов светлым лицом. Собственно, вопросы задавала она. Ее сухие, потрескавшиеся губы с методичной скукой заполняли анкету: мой возраст, место работы, номер телефона, наличие хронических заболеваний... Потом она вышла из-за стойки, сказала: «Подождите минутку» и в самом конце коридора исчезла за дверью. И коридор, и дверь — все было белого цвета. Тишина стояла такая, что было слышно, как желтые лампочки в потолке ведут безуспешную борьбу с этой неестественной белизной. Через минуту дверь и открылась.

— Сергей Александрович ждет вас.

Окна просторного кабинета с двух сторон закрывали от зимнего солнца жалюзи. Сергей Александрович, он же просто стоматолог Сережа, сидел за небольшим стеклянным столиком и рассеянно перелистывал автомобильный журнал. Увидев меня, он отложил его в сторону и жестом пригласил садиться, но не туда, куда я собрался, а в кресло напротив.

Сережа оказался невысокого роста, у него была небольшая, коротко остриженная голова. Он принадлежал к неприметному белесому типу — таких врачей можно встретить в больничных коридорах; полностью сливаясь со своими белыми халатами, они становятся неотличимы друг от друга и либо спешат куда-то, сунув руки в карманы, либо напряженно курят на лестничной площадке между этажами.

Глядя далеко мимо меня, Сережа заговорил:

— Наша жизнь складывается так, что за бытовыми проблемами мы, к сожалению, забываем о собственном здоровье...

Вот оно что, решил я, он мне сначала лекцию прочитает.

Сережа поморщился и продолжил:

— Мы покупаем квартиры, дачи, машины, ездим отдыхать за границу, а о зубах забываем. Но наступает момент, и они напоминают нам о себе...

Я слушал его и понимал, что он говорит со мной как россиянин с россиянином. Признавая за мной гражданина, он в очередной раз пытался напомнить мне азбучные истины. Мне стыдно было ему признаться в том, что я не покупаю квартир, дач, машин и не езжу на отдых за границу. Я не хотел его разочаровывать, — ведь он в меня верил! — и потому терпеливо слушал.

Сереза продолжал агитировать, но делал он это слишком уж буднично, затверженным каким-то тоном. Кончилось тем, что он вызвал медсестру (ту стройную и миловидную) и попросил принести «прайс» для ознакомления. Простых «ценников» или «прейскурантов» в этих стенах уже не существовало. Красивое слово «прайс» Сереза произносил еще более красивым образом. Он безбожно картавил, и у него выходило «п'айс» — с некоторым даже шармом и несомненной значительностью.

Я пробежал глазами заламинированный список расценок на зуборачебные работы. Квартиру или дачу, согласно этому «п'айсу», купить, конечно, нельзя было, но вот на отдых в Турции или, скажем, на старый битый «жигуленок» на ходу вполне хватило бы.

— Ну что же, хорошо, — сказал я, вставая. — Главное, что я наконец-то к вам попал, и теперь знаю, что мне делать.

— Вот и замечательно, — протянул Сереза.

— Я обязательно позвоню.

— Да, надо предварительно записаться.

— Разумеется.

— Вы не затягивайте с этим...

— Да куда уж тут затягивать! — воскликнул я, пятась к двери, и даже поднял руку ко рту, изображая нечто неопределенное.

С тем мы расстались. Собственно, до осмотра так и не дошло. Мне показалось, что дела у Серези идут неважно.

О своем посещении мне пришлось отчитаться перед Степой и Наташей, — почему-то они с любопытством ждали моего рассказа. Я мялся, как мог, и обещал им, что, конечно же, на следующей неделе возьмусь за лечение. Неважно, что зубы не болят, вот когда заболят, тогда может быть поздно. И тут я вспомнил про Галю Зубак: куда она подевалась?

— А ей Юра запретил работать, — сообщила мне Наташа.

— Ее муж, — уточнил Степа.

Я вспомнил хромого мужа Гали: чернявый, глаза опущены вниз, осторожные и в то же время лишние движения рук за столом, — мне он представился несколько сумрачным, неразговорчивым; я всего-то и слышал несколько слов, сказанных низким голосом.

— А кто он?

— Биз-нес-мен, — отдельно и с улыбкой произнес Степа.

— Ой, ну какой там бизнесмен? — запротестовала Наташа. — Просто разными делами человек занимается.

— Товар возит: книги, бензин, косметику, свечи, — пояснил Степа.

— Ну и что? — не понял я.

— Он сказал Гале: да бросай ты эту работу! Что ты там зарабатываешь? Копейки! — рассказывала Наташа. — Сиди дома, занимайся хозяйством и ребенком, — я вам все обеспечу... Вот такой человек Юра.

— Кто у них — мальчик, девочка?

— Девочка. В третий класс ходит.

Надо же... Сколько лет прошло, а я их не заметил.

— Забавная такая девчонка — все спрашивает, всем интересуется. Я

прихожу к Гале в гости, а она ко мне бежит, руки в стороны раскинула: «Тетя Наташа! Тетя Наташа!» Я ей: «Лизонька, милая, какая я тебе тетя Наташа? Зови меня просто Наташей, а не то я обижусь!»

— Нет, это правильно... — Степа заворочался на диване. — Правильно, что она перестала ходить на эту дурацкую работу. Только негатив домой приносить, — зачем? Это же отрицательная аура... Нет, Юра прав.

— Да, а ты знаешь, что он еще придумал? — Наташа взглянула сначала на меня, потом на Степу. Степа кивнул ей:

— Расскажи, это интересно.

— Он вообще хочет Лизоньку из школы домой забрать, — сказала Наташа. — Чтобы она дома училась.

— А как же аттестат? — спросил я. — И потом?

— Он говорит, я ей все куплю, любой аттестат и диплом...

— Вот-вот, слушай! — Степа потирал руки от удовольствия.

— А то приходит ребенок домой весь в слезах, — тройку поставили по какому-то предмету. Он говорит: моей Лизоньке? Какие-то там дешевые учителя, которые кое-как перебиваются от зарплаты до зарплаты?

— Да я их всех, говорит, с потрохами куплю! — не сдерживается Степа. — Приду в эту поганую школу и спрошу: тебе сколько денег надо? Швырну им пачку прямо в морду, но чтобы у ребенка моего пятерка была!

— Ну потише ты, разошелся! — пожурила его Наташа.

— Нет, ну он же так говорит! — пожал плечами Степа. — Нечего, говорит, в школе время терять — ничему хорошему эти дешевки не научат!

Он вроде бы и смеялся, и говорил серьезно — с каким-то непонятным восторгом к этому случаю относился.

— Вот такой человек Юра, — вздохнула Наташа с улыбкой и мечтой.

— Интересный случай, — согласился я.

Зачем они все это пересказывали мне? Не знаю. Наверное, хотели поделиться любопытным персонажем. Степа словно вцепился в него и уже не отпускал, вспоминая через раз. Наташа тоже нашла себе занятие по нраву, перешедшее в привязанность: Юра построил дом за городом, и покуда он днем работал, она приезжала к Гале Зубак в гости. Теперь бывало и так: я приходил вечером к Степе, а Наташа отсутствовала. «Задерживается», — пояснил он.

Мы сидели за неизменным чаем, спокойное молчание разбавляя телевизором и односложными замечаниями. Но вот, наконец, появлялась Наташа, и все вдруг менялось самым волшебным образом. Они сходились при мне и переключались на Галю Зубак и ее мужа. Наташа принималась тараторить про то, какая чудная у них девочка Лизонька и снова упиралась в ее упрямство: «Какая тетя? Я просто Наташа, договорились?» Ребенок никак не мог взять в толк, с чего это взрослая тетя набивается ей в подружки.

Степа подхватывал тему, но не дети его привлекали, к ним он был равнодушен и всячески сторонился их, — он возвращался к Юре, к его житейской философии. Он уже не изображал его, а наладилась исполнять непримиримым низким голосом как суровую песню: «Мужик должен!.. Баба должна!..» Обрывочное бормотание выглядело директивой — речь шла о некоем принуждении населения к порядку. Уже Степа брал на тон выше и резче, выступая в поддержку какой-то неясной идеи, и даже срывался голосом, как если бы он переусердствовал в качестве актера на кинопробах, и что бы он ни говорил, а слышно было одно и то же: «Баба должна!.. Мужик должен!..»

Непонятную комедию закрывала Наташа. Ей надоедали убогие заклинания про «бабу» и «мужика», а выражение «должен» она вообще терпеть не могла.

— Хватит гудеть. Никто никому ничего не должен, — напоминала она покрасневшему от напряжения Степе.

— Ну да, конечно, — миролюбиво соглашался он и успокаивался.

Впрочем, все это походило на домашнюю забаву — своего рода необязательные упражнения после ужина. Однако подобные случаи повторялись все чаще и уже не выглядели просто шуткой.

Уже не только я, но и другие стали замечать, насколько изменился Степа. Он начал голодать по определенным дням, совсем отказался от мяса. Значительно похудел, хотя никогда не выглядел толстым или хотя бы расположенным к полноте. Окончательно превратился в своеобразного эзотерика, любителя ни к чему не обязывающих разговоров. К себе в гости теперь, кажется, не звал никого, на один-два случая в году делая исключения только для меня. Если же сам к кому-нибудь выбирался, показываясь с той же установленной им периодичностью, то разворачивал целый диспут на тему. Тем было всего две: проституция и наркотики. Шло время, но темы не менялись: то «проституция» выходила на первое место, то «наркотики» брали верх. Говорил убежденно, даже страстно. Не обличал вовсе, а напротив, с упоением говорил, если не о пользе и необходимости первого и второго, то как об интересном явлении, несомненно заслуживающем внимания всех собравшихся. Ему как-то вяло возражали или не возражали совсем — никто, кажется, не верил в серьезность его слов. Впрочем, споры иногда возникали. В это безнадежное дело вдруг ввязывался Костя Барометров, при поддержке своей жены отвечая Степе по всем пунктам. Подвыпивший Петр Недорогин наоборот брал его сторону, заявляя: «А я поддерживаю», и добавлял в каком-то одном ему понятном признании: «Он единственный честный человек среди нас». Степа уже и горячиться начинал, словно ему впустую приходилось доказывать совершенно очевидные вещи. Уже слышались знакомые выражения «мужик», «баба», по которым можно было определить степень его взволнованности; Степа особенно напирал на «бабу»: «баба должна», «баба своего не упустит». Он так часто все это повторял, с таким обличительным пафосом, что в голове поневоле возникали сбивчивые мысли: «А кто же ему тогда Наташа, сидящая рядом с ним? Кем приходится? Бабой? Женщиной? Женой? Еще кем-то? Или к ней его слова не имеют никакого отношения? И вообще, кто тут кому мужик и баба, и есть ли таковые среди нас?»

Отвечая на все вопросы сразу, Лена (а она в тот раз решила-таки прийти к Недорогиным) мне потом в некоем обобщении, как бы уже не по одному этому поводу, заметила: «Скоро и семьи никакой не будет... Будут только бойцы и команды». Но это было потом, когда мы возвращались домой, а пока что возникшую неловкость исправляла Наташа. Молча, но внимательно следившая за накалом страстей в этом непонятном поединке Степы с самим собой, она, как заинтересованная болельщица своего мужа, вдруг говорила ему: «Ты потише, потише...» И он затихал, словно опомнившись и сообразив, что, пожалуй, слишком разошелся. Его покрасневшее лицо постепенно приходило в комнатную норму. Тут влезал Петр Недорогин: «Все правда, каждое слово верно». Он пожимал Степе руку. Косте Барометрову оставалось только развести руками. Степа довольно потирал руки: он получил удовольствие от игры, закончив-

шейся с нужным ему счетом. От его резкости не оставалось и следа; он свободно откидывался на спинку дивана и переключался на каких-то маргинальных персонажей, знакомых его знакомых, которых он, скорее всего, никогда не видел, но зато слышал столько интересного, что рассказывать ему о них непременно надо было с набиравшей силу восторженностью. Опасность спора, таким образом, возобновлялась, но теперь возможные разногласия сглаживались спасительной иронией.

В гостях Степа практически ничего не ел, довольствуясь двумя-тремя ломтиками сыра и половиной бокала красного вина. Сыр он в течение вечера изредка пощипывал, а бокал держал в руке, — он ему служил своеобразной точкой опоры. Закрадывалось подозрение, что прежде чем пойти в гости, Степа просто-напросто плотно отобедал у себя дома и теперь расслаблялся. Ему был важен разговор; если же разговора, переходящего в спор, не случалось, он откровенно скучал. Оживлялся лишь при появлении чая, то есть ближе к концу вечера, — пил и вторую чашку, и третью, в паузах между мелкими глотками замирая на несколько секунд с закрытыми глазами. Не отказывался от конфет и шоколада. Если на столе вдруг оказывались орехи или бананы, то со всей определенностью можно было утверждать, что вечер для него удался совершенно.

Наташа, в отличие о Степы, ела, что и все, но водку тоже не пила, предпочитая вино. Она высказалась однажды, что в известном смысле водка — это слишком русский напиток. Понять ее можно было так, что ей нет нужды повторять чужие ошибки, — ей хотелось благородства.

Я как-то поинтересовался у Наташи, именно у нее, а не у Степы, — что это он так выступает, для чего говорит на эти темы, неужели это действительно его так заботит? Она рассмеялась и сказала: «Ну вот еще, он же так просто, *всего лишь заводит* людей, а ты и поверил?»

Нет, я только усомнился. Ответил мне потом сам Степа: «Я их провоцирую, чтобы они высказались, раскрылись, чтобы не сидели, как сонные мухи!»

Теперь у него появилось новое заклинание, которое он повторял от случая к случаю, адресуясь к невидимому противнику — но чего? — его взглядов и образа жизни, наверное. «Не спать! Не спать!» — убеждал он кого-то, словно искал оправдание своему мировоззрению.

Он как-то потяжелел в словах, стал грубее; много было говорить о его одержимости. Все указывало на некоторые особенности характера Степы, к которым прежде я относился снисходительно.

Ушла присущая ему легкость. Давняя, еще юношеская округлость лица, даже его припухлость, в которой пряталось неведение будущих открытий — чистый лист, начало пути, — сменилась заостренностью, резко очерченным контуром и вылезшим на первое место упрямым лбом, прогнавшим волосы к затылку. Да, мы все потихоньку расставались с волосами, но не с воспоминаниями. Мы еще слишком хорошо помнили прежнего Степу, его иронию, точность замечаний, которые он делал.

Один из шумных, бесшабашных и веселых вечеров, каких было много в короткую эпоху равенства положений, чувств и ожиданий. Кажется, самое начало 90-х. Разумеется, лето. Мы в гостях у Кости Барометрова. Плотная компания в полном составе, скромное застолье, возбужденные голоса, череда шуток, нанизываемых на бесконечную ось разговора, переходящего в какой-то сладкий гвалт, и вдруг тишина — редкие секунды, в которых обнаруживает себя работающий телевизор. Концертный зал, рукоплескания, чествование модной в то время поп-группы, совсем

уж простоватой четверки ребят, знающих как всего лишь тремя аккордами вызвать восторг у созревших старшеклассниц. Ребята пели в демократичном стиле «я пришел, а ты ушла — вот и все дела».

Представительная женщина у микрофона, в которой строго и официально все: прическа, очки, ее синий костюм и особенно красная папка. В этой папке хранится самое главное: когда она торжественно открывается и женщина приподнятым голосом начинает читать: «От министерства культуры...», вынося тем самым какую-то благодарность, заявляя о государственной поддержке, признании, о всеобщем почете и уважении, каковые не преминули выразиться в нарастающих аплодисментах возбужденного зала, тогда-то и подал свой негромкий голос Степа: «Вот даже до чего дошло...»

С ленивым удивлением проговорил, словно очнулся от дремоты и выдохнул всю фразу ровно, как приговор: «Вот даже до чего дошло...»

Вышло смешно; вышло так смешно, что эти слова потом долго вспоминали, они вдруг стали пригодными на всякий другой случай — подобный и созвучный — и уже использовались как присказка, как ироничный комментарий к небольшому бытовому разочарованию: «Вот даже до чего дошло...» С годами эта фраза выросла и применялась нами в любой ситуации; менялись смысловые ударения, интонации, верным оставалось признание свершившегося факта и невольное с ним примирение: ну что тут теперь поделаешь, если сделать все равно ничего нельзя...

Дошло уже до многого. Про одного замечательного актера, интеллигентного человека, памятного по ролям таких же людей, в новостях как-то сказали, что его «даже воры в законе уважали». Слова эти обращали на себя внимание; о времени, в котором мы живем, они говорили гораздо больше, чем любые другие свидетельства. «Самое высшее уважение, какое только может быть, — подытожил Степа. — Никакие награды с ним не сравнятся. Подумаешь там, какие-то коллеги по цеху или простые зрители, а то, страшно подумать, «воры в законе»! Это же самые уважаемые люди! Зуб даю, падлой буду!»

Мы заходили в магазин, чтобы купить чего-нибудь к ужину, и Степа застывал в проходе между длинными рядами, заставленными бутылками, банками, пакетами и коробками. «Человек — это вместилище потребленных и еще не потребленных товаров, — размышлял он вслух. — Интересно, что останется от этого времени? Выражение «на кассе» и бандиты — больше ничего, по-моему».

До этого мы побывали в магазине электроники, где Степа приглядывал себе новый телевизор с большим экраном. Ему хотелось уточнить некоторые характеристики, но продавца на месте не оказалось. Наконец остановили какого-то шустрого малого, но он сказал: «Обращайтесь к любому свободному менеджеру» и исчез. Пошли бродить по залу в поисках. Нашли парня, стоящего у компьютера и сосредоточенно тыкающего пальцами в клавиатуру.

— Вы продавец? — спросил Степа.

— Я менеджер, — с некоторым вызовом в голосе, ответил парень, не отвлекаясь от своего занятия.

— Про телевизор нам расскажете?

— Нет, я по компьютерам.

— А кто про телевизор расскажет? — не отступался Степа. — Есть такой продавец?

— На кассе спросите, там свободные менеджеры могут быть.

Отправились «на кассу», но «на кассе» ни свободных менеджеров, ни хотя бы просто продавцов не оказалось. «Как распался Советский Союз, так и люди сразу куда-то подевались!» — удивился Степа. Смутно надеясь на удачу, поплелись обратно, и наконец-то встретили человека, скромно стоящего как раз у приглянувшегося Степе телевизора.

— Вы продавец? — спросил Степа.

— Да, менеджер. Хотите что-то узнать?

— Да, хотим... вот про эту модель...

Однако ничего нового про телевизор этот менеджер в желтой майке с застекленной подписью-лоджией рассказать не смог, ни на один вопрос Степы не ответил, только соглашался с ним или осторожно говорил: «Надо будет в паспорте посмотреть». Зато спросил: «Будете покупать?», не забыв несколько раз добавить: «У нас их очень хорошо берут».

Миновав пресловутую кассу, мы выходили на улицу. Начинался дождь. Я прятался под раскрытый зонтик, предусмотрительно захваченный из дома. Степа зонтов терпеть не мог, у него их никогда не было. Зонт сковывал ему руки, мешал, принуждал и обязывал. Я только раз в жизни видел его с зонтом: он держал его как потухший олимпийский факел, от которого ему надо было срочно избавиться, передав хоть кому-нибудь, — смотрелось это достаточно нелепо.

Я принаравливался к его быстрому шагу и старался прикрыть от дождя. Он был рядом и рассказывал мне и себе: «Менеджеры они... Менеджерами их называют разве что в утешение, чтобы они не признавали своего безнадежного положения. Настоящие менеджеры выше», — он улыбался и поднимал глаза кверху.

Новое время породило смешные выражения: «лазерное шоу», «силовики», «креативный», «харизма», «возможные риски» — всех не перечислить... Тогда Степа говорил так: «Кому риски, а кому ириски». Это было время, когда слова или меняли свое значение, или просто ничего не значили, иные и вовсе бесследно исчезали. «Понимаешь, — объяснял мне Степа, — искренность, доброта — все продается. Только когда их можно продать, они имеют смысл».

Однажды он сказал: «Мы сейчас живем для того, чтобы не жили те, кто будут после нас». И я поразился его словам: откуда он это узнал? Как догадался?

Степа никогда не интересовался политикой, он на нее лишь отзывался — исключительно в ироническом преломлении. Как-то мы его позвали на выборы, нам представилось, что решается многое в нашей жизни. «Ну нет, — сказал он, — я в это лото не играю. Тут голосить надо, а не голосовать!» Все же уговорили, несмело рассказывая что-то такое про гражданское общество и его возможности. Так он потом спустя годы подначивал нас: «Ну как, выиграли? С каким счетом?»

Я бы мог сказать о нем еще больше. Я и знал его больше, чем остальные. За него говорила университетская пора — тот самый чистый лист, начало пути, округлость и мягкость во всем — в лице, в словах, в движениях. «Лучше пирог с друзьями, чем говно одному», — говорит мне Степа и достает из своего портфеля пластмассовый угольник, — ножа у нас нет. Сцена в раздевалке главного корпуса, где мы дежурируем. У нас это называлось «дежурить на вешалке». Слойки с повидлом и томатный сок из буфета, а еще докторская колбаса и хлеб. Нас четверо — четыре фигуры застыли в темных глубинах нависающих пальто и курток. Зима, скоро Новый год. Сегодня утром была лекция по философии и теперь перед нами

стоит настоящая дилемма, за решение которой берется Степа, — его прозрачный ученический угольник с делениями, незаменимый помощник в черчении, в данном случае вполне может сойти за нож, чтобы хоть как-то порезать докторскую колбасу. У Степы это получается не очень ловко. За дело берется Рустам, он живет в общежитии, у него большой опыт, есть навык, ему приходилось решать и не такие задачи.

Один из нас постоянно отвлекается на зов студентов, нетерпеливо стучащих номерками по барьеру. Вот и я выношу пальто, а принимаю куртку. Скоро закончится пара, наступит большой перерыв и народу заметно прибавится.

Отмеренная делениями колбаса ждет. Есть время для передышки. Тогда Степа был неприхотлив в еде. А однажды прямо на моих глазах, сядя у себя на кухне, за один присест уничтожил палку копченой колбасы — всего-то десяти минут ему хватило! Предлагал и мне поучаствовать, но я отказался, ограничившись чаем. Он так был увлечен разговором, вернее, тем, что я ему рассказывал, что не заметил, как добрался до самого конца — уже ножом веревку резать начал, держась за сморщенный остаток оболочки, только тогда опомнился! Выглядел растерянным, сам не мог поверить в то, что сделал, а когда сообразил, то расхохотался. Мне тоже, правда, было смешно: все нарезал и нарезал кружочками, подбрасывал в рот, головой кивал, переспрашивал меня: «да ну?» и вот как получилось.

Звонит звонок, и из коридора высыпает народ. Шумно, весело. Теперь только успевай принимать и подавать верхнюю одежду. Подходит Шипулин, знакомый Степы, его товарищ по хоккейной секции. Он с интересом смотрит, как мы трудимся. Нет, даже так: его забавляет Степа в неловой роли гардеробщика. Его в нем веселит буквально все — то, как он берет номерок, как идет к вешалке, как снимает пальто, отдает его, а потом принимает и снова несет... «Глядите, как Соболев работает!» — восклицает Шипулин. Степе и самому смешно, но он держится, неоправданно хмурясь, — такое внимание ему не очень приятно. Вряд ли кто-то на него смотрит. Однако дело совсем не в этом.

Образуется длинная очередь: Степа явно не справляется с потоком, он просто не успевает. Он выглядит одновременно рассеянным и потревоженным. Начинает путаться: принес девушке мужское пальто, а парню женскую шубу... Шипулин, комментируя, веселится вволю: «Смотрите, что Соболев делает!» Степа пытается разобраться и исправить ситуацию, ему подсказывают: «Нет, не то, — другое!» Слышится голос из очереди: «А побыстрее там нельзя?»

Уже у него свалилось на пол чье-то пальто, покатила шапка, посыпались номерки — так бывает, когда задержают с разных сторон. Уже Степа топчется по этому пальто, подслеповато оглядываясь, а потом — никуда не глядя... Мне тоже особо некогда разглядывать, что там у него происходит, — я пока что успеваю. И вот пауза, и неожиданная развязка.

Устав от напряжения, не понимая, чего от него хотят, Степа вдруг становится безразличным; я бы сказал, странно безразличным и даже отрешенным. Наверное, так он защищался. Он наклоняется, поднимает это темное пальто с оторванным хлястиком и следами от своих подошв на нем. Он выносит его, чтобы отдать — но кому? Непонятно. Он выносит его как какое-то больное животное, завернутое в плотную тряпку, неизвестное науке и оттого неприятное, — брезгливо, на вытянутой руке. Шипу-

лин еще успевает весело прокричать: «Давай пошевеливайся!» и вдруг разом меняется в лице. Степа стоит у барьера и поводит рукой, предлагая животное пальто очереди. Помрачневший Шипулин расталкивает всех и выхватывает его у Степы. «Ну вы, ребята, и дежурите...» — цедит он сквозь зубы и быстро уходит. Степа не сразу понимает, в чем дело, а когда до него доходит, то начинает смеяться.

Шипулин недолго обижался, и вскоре они помирились, а я спросил у Степы, неужели он не видел, чье пальто вынес? «Нет, — честно признался он. — Я тогда вообще ничего не видел в этой сутолоке. Да и откуда мне было знать, что это именно его пальто? Я вообще не замечал, в чем он ходит. Мы же на катке встречались, уже в хоккейной форме».

Вот таким беспечным был Степа раньше. И казалось, что таким он будет оставаться всегда. Во всяком случае, менее всего в нем ожидалась какая-то обостренность. С кем он боролся и за что — эти вопросы оставались без ответа. Не было у нас угольника с делениями, чтобы верно нас разметить и привести к общему знаменателю.

Он уже не просто говорил, а учил и даже обвинял. Создавалось впечатление, что он может все предугадать и знает точную формулу, по которой следует жить — не только ему, но и всем. В его выступлениях, несмотря на кажущуюся уверенность, ощущались внутренние противоречия. Степа словно для чего-то созрел, ему не хватало воздуха. Непреклонно обособляясь, он выпадал из круга привычных связей и настоящего понимания. Все это, конечно же, совершалось постепенно, не сразу, пока однажды не прорвалось.

Это произошло осенью, в середине октября, в ничем не выдающемся году привычных надежд и стабильных обещаний уже нового века. Месяц выдался ясным и сухим. Затянувшееся расставание с летом радовало солнечными бликами в окнах домов, сквозной синевой неба, бодрым холодком, ворохом опавших листьев и уходящими, а потому особенно острыми, немного грустными, запахами. Период равновесия, подведения итогов, существования между — и даже не поймешь, между чем, — настолько хорошо и спокойно на душе, что самому себе представляешься как никогда правильным и достаточным без всяких оговорок.

И потому закономерна встреча: мы собираемся у Недорогиных. Петр звонил и пригласил. С ним я виделся в начале лета, тогда же с Костей Барометровым, у Степы был в гостях ранней весной, а вот они не видели Соболевых и того больше.

По укоренившейся привычке я прихожу в гости один. У Петра новая просторная квартира, у Кости новая, хорошо оплачиваемая работа, только у меня все по-старому, хотя нет, позже у меня обнаружится новый взгляд на происходящее.

Ждем Соболевых. И вот они появляются. У Степы новая кожаная куртка: светло-коричневая, с рыжинкой под осень, она пахнет аккуратной работой, качественными швами, скользко блестит, словно чем-то намазана, и скрипит при каждом движении. Кажется, что Степа наслаждается этим скрипом. Подходит к большому зеркалу, поднимает руку, проводит ладонью по короткому ежику волос, опускает руку, тянет вниз молнию — будто показывает купленный товар. Удивительно, но с годами Степа нисколько не изменил своей любви к вещам. Он снимает куртку и смотрит на меня: ну как я, оценил? Я поощрительно улыбаюсь.

На Степе ярко-красная трикотажная рубашка с коротким рукавом —

это поло у него тоже новое. Цвет лица под стать рубашке, различие в оттенках — в лице прячется влажная темнота, свидетельствуя о полученном загаре. В глазах появился какой-то лихорадочный блеск. Степа был наполнен внутренним ликованием и выглядел хуже своего идеала, самого К., которого на днях показывали по телевизору, — у того вдруг оказалась дряблая, старческая шея, выглядел он далеко не образцово.

В Наташе новое — самое главное: она заметно поправилась, у нее круглое лицо, солидарное с полной луной. Загар не шел ей на пользу, а старил и упрощал ее до маленькой железнодорожной станции, где она вполне могла бы зазывно торговать крымскими яблоками перед составом, сделавшим остановку на три минуты.

Они вчера только вернулись с отдыха в Крыму. На стол ставится вино с этикеткой «Массандра». Наташа принимается рассказывать мне о Толике, — каком Толике? — том самом, который благоговейно внимал каждому Степиному слову, и перед которым за это в свою очередь едва не преклонялась сама Наташа: «Какой парень! Ты бы его видел... Какой парень!»

Ее восклицания прерывает рассказ Степы об очередном необычном персонаже, — если верить его словам, человеку-легенде, живущем в одном с нами городе. Вся его необычность состояла в том, что ему было пятьдесят восемь лет и раз в год, на свой день рождения, он собирал у себя гостей, для чего специально снимал одну из комнатных дверей, клал на пол и накрывал на нее, как на стол, — такой вот радушный хозяин.

— Только на таких условиях к нему можно в гости попасть, — утверждал Степа.

— Вот еще, — хмыкала Катя, жена Кости Барометрова. — Я что, например, должна на полу сидеть?

— Только так!

— Это же так неудобно. А если я не хочу?

— Тогда «до свидания»!

— И в чем же тут смысл? — не понимала Катя.

— В том-то и дело, что нет никакого смысла! — хохотал Степа. — Вот такая у него традиция! Если хотите, причуда...

— Может быть, он больной? — не отступалась она.

— Ну что ты, Катя, — подавала голос Наташа. — Александр Аркадьевич очень интересный человек, он — врач...

— Уже не работает, — поправлял ее Степа.

— Не важно... В общем, что напрасно говорить, если человека совсем не знаешь...

— Я не пойму, — волновалась Катя, — у него что, стола дома нет?

— Конечно же, есть! — смеялся Степа.

— Зачем же тогда дверь снимать?

— А у него столик маленький, — предположил Петр Недорогин. — Всех за него не усадишь.

— Просто такой оригинальный человек, — замечала его жена Ира. — Вот хочется ему так и все тут!

— Подождите, — встречал Костя, — мы спорим неизвестно из-за чего — как будто в гости к нему собрались...

— Да мы не спорим, — говорил Степа, — мы просто разговариваем.

— Ну да — любопытный экземпляр. И где ты таких находишь?

— Я их не нахожу, Костя. Ты вроде как пронизируешь...

— Какая уж тут ирония!

— А напрасно. — Степа вдруг серьезнел. — Я только хотел рассказать о человеке, у которого есть свои правила в жизни... который живет по-своему и ни от кого не зависит.

— Мы про таких уже слышали, — вздыхал Костя, но Степу уже было не остановить.

— А ты знаешь, как он проводит свой день? Он встает ровно в десять, принимает душ, обязательно бреется, не спеша завтракает, потом выходит на улицу, покупает в киоске свежую газету, поднимается обратно в квартиру, выпивает чашечку кофе и читает газету — от корки до корки. Потом надевает свежую рубашку, повязывает галстук, облачается в костюм, роскошный светлый плащ, на голове широкополая шляпа...

— Выглядит он просто великолепно! — не сдерживается Наташа.

— ...и в таком виде снова выходит на улицу — наносит визиты знакомым женщинам. Приходит с букетом цветов, коробкой конфет или бутылкой хорошего вина.

— У него жена есть? — спрашивает Катя. — А дети?

— С женой он давно в разводе, сын уже вырос и живет в другом городе...

— Ты послушай, Катя, — говорит Наташа.

— Совершив свой обязательный обход, — продолжает Степа уже чуть ли не нараспев, — в хорошем настроении, он вечером возвращается к себе домой и обзванивает по телефону других знакомых женщин, беседует с ними и договаривается о визитах на следующий день...

— Прямо какой-то старый Дон Жуан, — улыбается Костя.

— Только хотела сказать, — прибавляет Катя.

— Ну нет, — морщится Степа, — не так примитивно.

— Вы только подумайте, — восклицает Ира, — ведь это у него самая настоящая церемония!

— Образ жизни, — отзывается Петр.

— Ну да, — вступаю в разговор и я, — старой закалки еще человек.

— Уникальный человек! — ставит жирную точку Наташа.

Неведомый нам Александр Аркадьевич определенно выросал в значительную фигуру. Возникал облик какого-то цельного индивидуума, неординарной личности, редких свойств человека, про которого мы, к стыду своему, ничего не знали — не знали просто по своей природной лени и нежеланию знать. Он жил среди нас, мог попадаться нам где-то на улице, а мы его не замечали! Нам всем стыдно должно было быть за то, что мы не знаем такого замечательного человека!

Наступила пауза. После такого волнующего рассказа надо было передохнуть, приводя свои мысли в порядок. Ира вытащила мясо из духовки, и тут меня вдруг осенило: они его прежние пациентки, он — гинеколог. Почему бы нет? Он же врач, так что все может быть. Но я не стал делиться своими догадками — зачем? К тому же мне это было совсем не интересно.

Поговорили еще немного о новой квартире Петра и новой работе Кости. Выпили водки. Степа по обыкновению в одной руке держал бокал с вином, а другой отщипывал сыр. Несколько общих слов о хорошей погоде — как символ умиротворения, устойчивого состояния, подведения некоторых итогов, и сразу же про еще далекий и уже близкий Новый год. Ну да, как встречать будем и где?

Степа заметно оживился. Стал что-то рассказывать про елку, но не

простую, а кремлевскую, про игрушки и подарки, запах мандаринов и бумажные снежинки на окнах.

Что-то мне не нравилось в нем, даже не знаю что... Какая-то отдаленная от меня восторженность. Почему-то близость к так называемым «людям из Москвы», на которых он равнялся. Вот так мне вдруг показалось.

— Да ерунда все это, — сказал я. — В красном встречать Новый год или в желтом. Главное совсем в другом...

— В чем? — спросила Катя.

— В соблюдении определенного ритуала.

— Это какого же?

— А вот такого: в год свиньи надо обязательно убить свинью, в год собаки — собаку.

— Зачем? — спросил Костя.

Он готовился к шутке. Шуткой все и выглядело. Я был уверен в том, что говорил.

— Как зачем? — удивился я и, широко улыбаясь, сказал: — На счастье, конечно!

Степа повел губами, изображая слабую улыбку.

— А собачку-то за что? — поинтересовалась Ира. — Жалко собачку.

— Так ведь ее год, — пояснил я. — Ничего не поделаешь.

— И породистую, и дворняжку?

— Да любую — какая разница?

— А по-моему, наоборот, — возразил Петр. Он встал, наклонился к газовой плите и закурил от конфорки. — В тот год, который соответствует животному, этому животному поклоняются, чтобы его задобрить.

— Правильно! — поддержала его Наташа.

— Полная ерунда! — скривился я. — Это распространенное заблуждение. Как раз все иначе! Надо обязательно убить, чтобы забрать себе силу животного, только тогда проведешь год в благополучии.

— Что за глупость! — не выдержала Катя.

— Подожди, — сказал Костя, — ты хочешь сказать, что без убийства невозможно счастье?

Улыбки еще были, хотя не у всех. Мне пришлось согласиться:

— Ну да, примерно это я и хотел сказать.

— А вот обезьяну убить? — вдруг спросил Петр. — Как это сделать? Где мы ее возьмем?

— И правда, интересно! — засмеялась Ира.

— Крысу не жалко, — заметил Костя. — Крысу можно.

— А вот петух, к примеру, — встрепелась Катя. — Или курица, если хотите... Ну вот едим мы их, а что толку — где счастье?

— Где мне дракона отыскать — вот вопрос, — задумчиво произнес Петр.

— Уж и правда вопрос! — веселилась Ира.

— Змею раздавить, — сказал Костя.

— А с тигром как быть? — спросила Катя.

— Не всякую змею ногами раздавишь...

— Ребята, ну хватит! — взмолилась Наташа, ей эта игра не нравилась.

Степа не проронил ни слова. Я мог быть доволен. Теперь надо было остыть.

Прошло какое-то время, заполненное перестановкой приборов на столе и возникновением новых блюд. Степа зашевелился; некоторое напряжение в лице его выдавало. Потирая руки, он словно готовился к чему-то

чрезвычайно важному для себя и всех, и все, что было прежде этим вечером, оказывалось всего лишь прелюдией к его выступлению. Когда он заговорил — вначале ровным голосом, отмеряя слова в нужном ему порядке, а потом все более и более увлекаясь, переходя к восклицаниям, — я понял, что слышу обновленную версию старых разговоров.

Он обращался к своим постоянным, так уж сложилось, оппонентам Косте и Кате. Снова говорил о проституции и наркотиках. Убеждал, доказывал. Проститутки в его изложении были красивыми и стройными молодыми блондинками, весьма прилично зарабатывающими за одну только ночь. Они оказывали мужчине незабываемые услуги, творили в постели чудеса и поражали совершенством своего тела. Наркотики в этом деле являлись нелишней деталью, тонкой прослойкой между одним состоянием и другим; они продлевали удовольствие и подводили к новому порогу наслаждения.

Чета Барометровых была вынуждена обороняться и все отрицать — но зачем и почему? С какой стороны ни посмотреть, было непонятно. Непонятно было, причем тут они и как вообще оказались в такой дурацкой роли? Я вдруг почувствовал: что-то такое нарастает и будет не так, как всегда.

Степа был восторжен и строг. Говорил с таким напором, словно сам все испробовал и проверил. Если для него это было забавой, то для всех остальных чем-то весьма серьезным и уже не верилось, что это просто такой прикол.

Я взглянул на Наташу. Она была утомлена загаром и безнадежным спором. Нет, ее это совсем не унижало. Тут было что-то другое. В ее надутым лице открывалось некоторое сожаление — но в чей адрес? Петр брал сторону Степы, делая односложные замечания: «это точно» или «да так и есть». Костя и Катя продолжали сопротивление, они и не думали сдаваться. Все это давно уже вышло за разумные пределы и приобрело болезненный оттенок — из-за яростного характера спора что ли... И тут вдруг высказался я — что-то меня толкнуло. Вот после этого восклицания Кати:

— Степа, ну ты же умный человек, разве можно говорить такую ерунду?

Не удержался, сказал, что думаю:

— Каждый год мы слышим одно и то же. То про каких-то маргиналов, которые должны на что-то воодушевлять, — вот только непонятно, на что. То про проституток... Надоело уже... Слово ты остановился в развитии...

Я запнулся; ни разу еще мне не приходилось выступать против него. Степа выглядел так, словно его бесцеремонно оборвали в самый важный момент спора, нанесли неожиданный удар. Да я и сам не ожидал. Момент и правда оказался важным. Теперь он был вынужден обороняться.

— А ты!.. — вскрикнул он в раздражении. — Чего ты добился в жизни?

И все разом изменилось. И никакие слова уже нельзя было вернуть. И я вдруг задумался: действительно, чего я добился в этой жизни? Кем стал? Что у меня есть?

Конец вечера помню плохо. Как-то все скомкалось. Внешне выглядело как обычно, а по сути, стало совершенно иным. Взаимный осадок остался. Мы уже не говорили друг с другом. Говорили Петр, Ира, Катя и Костя. Они шутили, словно ничего не произошло, — обыкновенный бой на ринге, и теперь недавние соперники снимают перчатки, пожимают

друг другу руки и даже похлопывают по плечу, — мы вымученно улыбались им в ответ. Нас пустячной фразой пытались как-то соединить, но мы, отводя глаза, отвечали таким образом, чтобы ни одно слово нас не коснулось.

Вечер переходил в ночь, ночь оборачивалась сном. Кажется, мы возвращались в одном такси. И это тоже было похоже на сон: зачем ему было ехать, если он жил неподалеку от Петра и вполне мог бы дойти до дома пешком? Поддерживая случайный разговор с таксистом, через него же скованно попрощались. Я поехал дальше. Тогда я еще не знал, что больше никогда не увижу Степу.

Сон оборачивался неожиданным испытанием, проверкой. Я пробовал. Меня пробуют. Нас пробуют. Больше ничего не помню. Я думал, что сон закончится и все станет как прежде. Это сон, убеждал я себя, ничего не было на самом деле, время спасает, возвращает, лечит... Но тут сон заканчивается и наступает действительность.

III

Я включил свет и посмотрел на часы. Телефонный звонок рано утром, еще нет семи. Голос был знакомый, но какой-то странный. Наташа. Слово ее было не понять, не передать. Заторможенный, не проснувшийся, я запоздало выдохнул в трубку: «Как? Когда?» Короткие гудки били в голову — я был ошарашен.

Проснулась Лена:

— Кто?

— Наташа. Степа умер.

— Как это?

Никаких объяснений. Мы растеряны, мы в замешательстве. Надо что-то делать, надо узнать... Я точно слышал голос Наташи, она сказала это.

— Ты не ошибся?

Дурацкий вопрос. Если и ошибся, то только не я. Я повторяю слова Наташи про себя, ведь я их правда слышал.

— Господи, какой ужас! А что случилось?

— Да откуда я знаю?!

Я раздражен. Сейчас меня лучше не трогать. Я не верю. Я ничего не знаю. Мы не виделись целый год. За все это время только моей жене однажды довелось увидеть Наташу. Они встретились случайно на улице. Это было весной, в начале марта. Наташа выглядела какой-то грустной. Лене показалось, что она была чем-то озабочена. В разговоре Наташа между делом посетовала: как же это, мол, Валера поступил со Степой, Степа ведь тогда обиделся.

Я, наверное, тоже. Мы не созванивались. Через несколько месяцев я все же предпринял попытку, но тщетно: в квартире Соболевых не отвечали. Еще раз я решил позвонить в день его рождения, в мае, и снова молчание. Тут же перезвонил родителям, и его мать, Татьяна Михайловна, сообщила, что Степа с Наташей отдыхают в Крыму. А потом я уже не звонил. Они отдыхают, меня не ищут, значит все у них нормально — и чего мне надо?

Неожиданно сообразил, что надо сделать. Набираю знакомый номер, еще не забыл. Наташа не отвечает. Еще сохраняется какая-то возможность.

— А если Татьяне Михайловне?

— Так рано?

Снова дурацкий вопрос. Все вопросы дурацкие. Надо помучаться, побыть в неизвестности. Я рассказал тогда Лене о том, что повздорил со Степой. Она убеждала меня в том, что я был не прав, — мало ли какую чушь он нес, ну и что? И Барометровы, и Недорогины Соболевых с тех пор тоже не видели и не слышали, и лишь иногда интересовались у меня: «Как там Степы поживают? Надо бы собраться...»

Звоню в девять часов и получаю сокрушительное подтверждение. У Татьяны Михайловны глухой голос, я проглатываю комок в горле: «Сейчас мы приедем».

Ноябрь. Мы выходим на улицу. Нам зябко. Мимо проходит женщина в облезлой детской зимней шапке с ушками: глаза заполнены тоской, из приоткрытого рта торчат два зуба — этакая старая белочка. Проезжает автобус с рекламой на боку: «Теплые полы с интеллектом». Я вспоминаю, что сегодня день рождения Достоевского. Прямо напротив дома мы останавливаем маршрутку и садимся. Хочется понять, что происходит, но ничего не получается. Уже знаешь и веришь только вот в это: прошлое обязательно состоится, настоящее — неуловимо, будущего не бывает никогда.

Вот так вдруг понимаешь, что вокруг медленно и неуклонно смыкается мрак, который в итоге поглотит тебя. Жизнь состоит из мелочей, на мелочи и разменивается. Совсем скоро придет зима.

Раньше я падал зимой, поскользнувшись на льду, три раза в году, я это хорошо запомнил, потом два, а потом, став постарше, стал падать один раз, и, наконец, совсем недавно я вдруг заметил, что не падаю уже несколько лет.

«Его внезапная страстность сделала свое дело». Откуда взялась эта фраза? Что она должна значить?

Остановка. Угол дома украшает номер 13. В этом доме и квартира 13 есть. Кто там живет? Наверное, счастливые люди? Вот и радио у водителя веселится.

Если ты не занимаешься временем, оно начинает усиленно заниматься тобой.

Мир прост, говорил он, трава должна быть зеленой, небо голубым, юбки у девушек — короткими.

Однажды Лена пожаловалась мне, что ничего не чувствует, не воспринимает запахи. Запах кофе не чувствую, сказала она, апельсина. Пришлось обучаться. Она снимала с апельсина кожуру, разламывала его на дольки и старательно ела, чтобы понять, что это такое, поверить в то, что это и есть настоящий апельсин. Потом все прошло.

Первое время, после того как мы поженились, было так: она хлеб резала как арбуз, а арбуз как хлеб. Кашу варила, словно трамвай вела. Поначалу меня это забавляло, а потом стало раздражать.

Как на самом деле живем мы? Я этого никогда не узнаю.

«Его внезапная страстность...»

Всякий человек своей жизнью выращивает в себе смерть, — он ее заслуживает. Но ничего не заканчивается и получает продолжение.

Нам пора выходить.

У нас еще оставалась какая-то надежда.

Дверь квартиры открыла Татьяна Михайловна. У нее осунувшееся лицо, она говорит тихо. Мы входим в комнату, и все умственные построения сразу же рушатся. Мы подавлены. Это тяжело. Слезы сдержать невозможно.

Что было неправильного в жизни? Неправильным вдруг оказалось все. Степа, одетый в серый в полоску костюм, лежал на столе. Отчаяние, мука, распад, успокоение — вот что читалось в его лице. Из-за того, что я не видел его год, все происходящее кажется нереальным или уже случившимся как раз в то время. Он принадлежал уже прошедшему времени. А где я находился, я не вполне понимал. Пришлось себя уговаривать: все это происходит только сейчас, но не в настоящем.

Неуместные и обидные подробности его лица опровергали в том, что это именно он. Словно кто-то наскоро делал его неудачную копию, рука постоянно срывалась, и вышло то, что вышло. Это было высохшее воспоминание о человеке.

Почему-то подумалось о несправедливости жизни. А когда она бывает справедливой? Несправедливость — закон. Это только потом начинаешь думать о закономерности.

Я уже успокоился и отвожу глаза в сторону. Лена вытирает платком слезы и что-то спрашивает у Татьяны Михайловны. Я не слышу. Это неправда, думаю я. Недаром я его целый год не видел — это не он; он где-то прячется, так нужно для чего-то, чтобы отвлечь внимание, вот и соорудили этот макет. Мы еще потом вместе пошутим по этому поводу, когда он вернется. И вот еще какая глупая мысль пришла мне в голову: у него было тревожное лицо, в том смысле, что не он волновался, конечно, а другие, глядя на него, должны были испытывать беспокойство. Так специально придумали...

Рак, объясняет Татьяна Михайловна, рак прямой кишки. Прошлой зимой это выяснилось. Вот почему такой озабоченной выглядела Наташа, когда ее видела Лена. И не в Крыму они были, когда я звонил в день рождения.

Почему он не сообщил мне? Не хотел делиться своей бедой? И что бы могло измениться? Или все же могло?

Ничего не получилось. От операции он отказался, как его ни уговаривали. Он не терпел никакого вмешательства, не верил врачам, боялся боли. Ну да, это понятно... Искал исцеления каким-то другим путем. Кончилось все поездкой в Америку, для которой пришлось продать дачу и машину. Туда он отправился в сопровождении Наташи и Гали Зубак. Что там они делали и как, какую операцию, Татьяна Михайловна не знает, а только когда он вернулся домой, было это в конце сентября, она поняла, что последняя надежда на чудо исчезла. «Таким измученным он выглядел, — рассказывала она. — Он еле в квартиру вошел, а ведь уезжал еще нормальным».

Случилось еще вот что: сначала умер Дружок, тот самый забавный пудель, любимец бабушки, потом бабушка, а теперь вот... Татьяна Михайловна вздыхала и качала головой. И все в течение одного только года. Понять это было невозможно.

Я вдруг вспомнил слова Степы, которые он сказал за два года до своей смерти. Был летний вечер, мы стояли во дворе его дома — только что вышли из подъезда. Говорили, прощаясь, о разном. О возрасте, о родителях. «Как бабушка?» — спросил я. Она тогда болела, все же девяносто лет ей уже было. Степа что-то такое общее мне ответил, употребив выражение «неизбежность» и добавив «ничего не поделаешь», а потом прозвучала вот эта фраза: «Поскорее бы все это закончилось». Возможно, я что-то пропустил, напутал или не так его понял. Иногда такое случается, когда чужим словам придаешь совсем другой смысл, нежели в них содержится

на самом деле. Его слова могли относиться совсем к другим вещам. Но что он имел в виду?

Наташу в тот день мы так и не увидели; она занималась организацией похорон, которые состоялись через день.

Я был один. Лена со мной не пошла и, наверное, правильно сделала, ей было бы тяжело за всем этим наблюдать. Пришли Костя с Катей и Ира, Петр находился в отъезде. Было много цветов, венков и незнакомых мне людей, которые были как-то связаны со Степой. Были даже знаменитые ребята-гребцы, про которых последнее время восторженно рассказывала мне Наташа, — что-то вроде компаньонов Степы по его делам со складскими помещениями, по сахару и бензину, группа спортсменов, то ли байдарочников, то ли каноистов, сумевших своим умом преуспеть в жизни. Вот только «людей из Москвы» не было, и существовали ли они на самом деле?

На кладбище, когда опускали гроб, пошел мелкий противный дождь. Наташа запричитала у края могилы: «Что же это делают? Как же это? Его же закапывают!» Это было похоже на истерику. Показалось, вот-вот и она спрыгнет вниз. Я стоял в стороне, под соснами, рядом с заплаканной Татьяной Михайловной и понурым Николаем Ивановичем, отцом Степы. Меня окликнул чей-то голос сзади. Я обернулся и узнал Галю Зубак, Наташину подругу. Стоя боком ко мне, в широком и длинном вишневом плаще, еще более монументальная, чем прежде, она словно скомандовала: «Иди, успокой ее». По выражению ее лица можно было понять, как невыносимо ей это слышать.

Я послушно прошагал к Наташе, обнял ее и, кажется, вовремя: она уже пошатнулась. Меня вдруг охватила дрожь, наверное, из-за холода и дождя. Я стоял с непокрытой головой и крепко держал фигурку в черном пальто, — упираясь, Наташа тоже дрожала и пыталась вырваться.

Со стороны эта борьба должна была выглядеть странной. Нас двое в центре небольшой поляны, все остальные зрители небольшими группами расположились на неровностях земли под соснами. Самая многочисленная из них — ребята-гребцы, укрытые зонтами. Они молча смотрели на нас. Что они думали, люди, которые имели со Степой какие-то важные дела и виделись с ним каждый день «на работе»? Что вообще все подумали? Кто я такой? Откуда взялся? Мне и самому уже было неловко. Но вот посыпались первые комья земли на крышку гроба — заработали лопаты; люди стали подходить, и все закончилось.

Степе было сорок пять лет. Почему это случилось именно с ним — с человеком, который правильно питался, был здоров, никогда не лежал в больнице, старался все предугадать в жизни?

Мир — это хаос; нам кажется, что мы его упорядочиваем, а потом вдруг все рушится. И только еще раз задумаешься: как это со временем человек превращается в нечто другое, чем предполагалось? Смотришь на себя в зеркало и недоумеваешь, неужели это я? Что со мной произошло? Я же обещал себе тогда, в детстве, глядя на тех, кто старше, что не буду таким, как они, что у меня будет все лучше, вернее, безошибочнее... Ну да, я просто не буду повторять их ошибок, ведь это так просто!

Через несколько дней Степа мне приснился, и вышло во сне так, как я и предполагал: все это было подстроено, придумано для того, чтобы ему скрыться. Я вошел в какую-то столовую, взял поднос на раздаче и вдруг заметил через несколько человек впереди *его*. Он тоже двигал поднос к кассе, ставил на него тарелки, о чем-то переговаривался с соседом. Я смот-

рел на него и не верил своим глазам. Он, как ни в чем не бывало, садился за стол вместе со своими напарниками, отламывал хлеб, зачерпывал ложкой суп. Сев в отдалении, я не обнаруживал своего присутствия, почему-то сообразив, что так надо. Зато он, как бы продолжая разговор со своими новыми товарищами, неожиданно нашел меня взглядом и, улыбаясь, громко сказал: «Все нормально». Проснувшись, я тоже улыбнулся: ну конечно он вернется, надо только подождать.

Через два месяца Наташа совсем исчезла из нашей жизни. Каким-то образом быстро умудрилась продать квартиру, в которой она жила вместе со Степой, так что закономерно возникал вопрос, как ей это удалось, ведь есть же какие-то сроки оформления? Иначе говоря, когда мы виделись на девять и сорок дней, уже шел какой-то процесс, готовились документы, ставились печати, а Наташа продолжала выгладеть убитой горем и отвечать скорби Татьяны Михайловны. Номер мобильного телефона, который она дала мне на похоронах, не отвечал. И только тогда мы вспомнили еще кое-что странное, что засело в нас сразу, но отступило на задний план из-за трагичности свалившихся событий. И Татьяна Михайловна про это вспомнила, едва мы осмелились спросить: как Степа, умерев в своей квартире, оказался в родительской? А вот как: едва это случилось, Наташа наняла каких-то людей и они на одеяле перенесли его в соседний подъезд. Вопрос только один: зачем? Возможно, потому что родительская квартира была просторнее? «Я тогда была не в себе, — рассказывала Татьяна Михайловна, — ничего не соображала, да и можно ли было что сообразить, когда сын умер?»

По ее словам, это Галя Зубак с Наташей внушили Степе, что излечиться можно только в Америке, что только там есть настоящие специалисты, и именно после этой злосчастной поездки Степа сказал: «Почему они меня обманули?» Но кто это «они» и почему он так сказал, Татьяна Михайловна не знала. Теперь вообще очень многое представлялось странным. Выяснялись и другие любопытные подробности.

«А ты с Вадиком знаком?» — неожиданно спрашивает она у меня. Удивленный, я отвечаю «нет» и тут же соображаю, что «люди из Москвы» действительно существуют, но она-то каким образом о них осведомлена? «Это через Вадика Степа с Наташей познакомился, — рассказывает Татьяна Михайловна. — Она ведь его бывшая... Мне бы раньше про это проведать, а не сейчас, разогнала бы я их! Эх, Степа, Степа...» Если мы чего-то не понимали или заблуждались, то оставалось только сожалеть, что так вышло. Как бы там ни было, оказалось, что Наташу мы знали плохо. Татьяна Михайловна назвала ее «аферисткой», тем и закончилось.

Продолжение есть у истории с Шипулиным, хоккеистом из команды Степы, который едва не потерял свое пальто в незабываемой толчее в раздевалке. Дежурство подходило к концу, народ схлынул, и стало намного спокойнее и тише. Ребята заговорили о будущем: кто кем станет, и как будет жить. В пустом вестибюле показался Дедушка — ну да, мы так его называли между собой — преподаватель с кафедры физвоспитания, достаточно пожилой уже человек, худой, седой, высокий, с щетиной на лице и волосами в ушах. Он был одет в самый затрапезный спортивный костюм с вытянутыми коленками, ноги обуты в длинные черные лыжные ботинки. Дедушка, не доходя до раздевалки, вдруг присел у противоположной стены на корточки. Нет, ему не стало плохо. Может быть, он устал или была на то еще какая-то причина. Но вот присел, свесив руки к полу,

и уставился перед собой тяжелым и темным взглядом. Спустя минуту, в вестибюле появился парень, с виду студент-первокурсник. Его интересовало расписание лекций, которое висело над сидящим на корточках Дедушкой. Парень, не обращая на него никакого внимания, уткнулся в доску с расписанием, и Дедушка с такой же отрешенностью не менял своего положения.

Он вдруг стал иллюстрацией к разгоревшемуся спору. Степа кивнул в его сторону и сказал: «Жить — чтобы в его возрасте сидеть перед кем-то на корточках? Жить надо в другую сторону!»

Я теперь никогда не узнаю, что значили те три рейки, приклеенные к полу, в квартире Степы. И какова судьба слоненка без хобота с грустными глазами, который прятался под подушкой на диване. Эту игрушку Наташа, конечно же, забрала с собой — ей найдется где-то место. Но где место во всей этой истории человеку? Зачем все это было? Для чего?

Если человека нет в мире, то миру нет определения.

Куда он вернулся? Не знаю. Я вижу море, луч солнца из-за туч, когда вся поверхность разглаживается и мерцает. На песчаном берегу можно найти его следы.

Чувства сильнее слов, а потому говорить мне больше не о чем.





Иван Иванович Евсеенко (1943—2014). Родился в селе Займище Щорского района Черниговской области в Украине. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор многих книг повестей и рассказов. Лауреат литературных премий, среди которых — премии им. И.А. Бунина, им. В.М. Шукшина, «Родная речь» журнала «Подъём». Член Союза писателей России.

Иван Евсеенко

ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ...

Повесть

Всем, кто любил и любит...

Он приехал в родной свой город ранним апрельским утром. Стояла та благословенная пора, когда в природе все оживает, обновляется, приходит в движение; на тополях и кленах набухли и уже готовы были вот-вот распуститься почки; в палисадниках старых бревенчатых домов пробились из-под земли первые весенние цветы — петушки и мята; вернувшиеся из дальних стран птицы обустривали гнезда, неугомонно щебетали и волновались, радуясь этому своему возвращению.

Он не был на родине более двадцати лет, с того самого дня, как забрал к себе в Москву заметно уже постаревшую и начавшую прибалывать мать. А кроме матери в маленьком их железнодорожном городке и в селе, где прошли его детство и юность, у него никого и не осталось.

Конечно, навестить родные свои места ему хотелось и раньше: пройтись по узеньким, почти что деревенским улочкам городка, в летнюю пору всегда пламенеющего в палисадниках цветами, а в зимнюю — заваленного высокими снежными сугробами. Хотелось сходить пешком в родное село, постоять на том месте, где когда-то возвышался их с матерью дом, а теперь, говорят, лишь простирается заросший полынью пустырь.

Но приехать все никак не удавалось. То задерживали всякие писательские дела, всегда неотложные и срочные, то совсем тяжело заболела и вскоре умерла мать.

Но теперь откладывать поездку было уже нельзя. К нему самому незаметно подкралась старость, а вместе с ней и болезни. Вначале вроде бы еще и неопасные, преодолимые, а на исходе нынешней зимы, похоже, настигла уже последняя — неотвратимая... Врачи отмеряли ему всего три месяца (самое большое — полгода) жизни. И он все бросил — и поехал. Надо было попрощаться и с родным городом, и с селом, с детством и юностью и, главное, с ней — с Ириной Александровной, с Ирой, которая, по дошедшим до него слухам, после долгих лет жизни в других краях, вернулась назад в городок, поселилась в родительском доме и работает в районной библиотеке имени Короленко.

И вот он приехал. Сходя с поезда, он перешел через высокий железнодорожный мост в центр города, за годы его отсутствия заметно перестроенный и обновленный. Дальше дорога лежала через скверик, когда-то слившийся главным городским парком с дощатой танцплощадкой посередине. В нем росли громадные раскидистые осокори, липы и клены, под которыми стояли садовые скамейки на литых чугунных опорах. Здесь, в парке, любили в жаркую летнюю пору отдыхать старые городские жители, в основном ушедшие на пенсию паровозные машинисты, рабочие депо и служащие Дистанции пути — все люди степенные, уважаемые в городе, много чего повидавшие и много чего пережившие на своем веку. Вдоволь наговорившись, истомив себя воспоминаниями о давно прошедших временах и событиях, о войнах: и последней, Отечественной, и Гражданской, и еще Первой мировой, когда им доводилось снаряжать и водить поезда в дальние опасные поездки, в Галицию, в Польшу и Крым, они расходились по домам лишь в поздних сумерках. И тут же места стариков-машинистов занимала молодежь, уже начинавшая собираться на танцы под духовой оркестр железнодорожного депо. На уютных чугунно-деревянных скамейках назначались свидания, встречи, вспыхивали жаркие споры о только что увиденном кинофильме в Железнодорожном клубе, здесь признавались в любви, давались обещания и клятвы.

Но сейчас он парка не узнал. Он действительно превратился всего лишь в маленький скверик, тесный со всех сторон новыми кирпичными домами-коттеджами. Вековые осокори, клены и липы были давно спилены, на их месте строго выверенными рядками росли молодые, неокрепшие еще пирамидальные тополя. Даже летом, при самой густой листве, они, наверное, не давали ни тени, ни прохлады, а нынче, в конце апреля, и вовсе выглядели какими-то опасно-тоненькими и случайными на пустынно-голом пространстве.

Бесследно исчезли из парка чугунные скамейки. Их заменили новыми, намеренно простенькими: четыре ножки, сваренные из металлических труб, а к ним прикреплены-привинчены болтами вразрядку неширокие, выкрашенные зеленой краской, рейки. И ни на одной из скамеек он не заметил спинки, хотя бы самых маленьких, всего в одну-две доски. А ведь без спинки садовая скамейка вовсе и не скамейка, а всего лишь деревенская лавочка. Старым людям на ней не откинуться в отдохновении изработавшимся своим согбенным телом, а молодым не сойтись в жарком объятии и порыве...

Единственное, что порадовало его в обновляемом сквере, так это строящаяся на месте танцплощадки церквушка. Но она стояла еще вся в ле-

сах, без купола и креста, и была пока собственно не церковью, а обыкновенно, мало чем отличающейся от любых иных, стройкой.

В огорчении и даже какой-то старииковской обиде он постоял несколько минут возле ворот сквера и все-таки не вступил на его асфальтированные дорожки (в прежние, очень далекие времена они были выложены красно-сиреневыми, поставленными на ребро, кирпичами, наподобие того, как сейчас выкладывают в больших городах плитками тротуары), а мимо кинотеатра «Космос», построенного тоже уже не в его времена, пошел окольными улочками, надеясь, что там живет еще старой своей привычной жизнью его родной город.

И он не ошибся. Как только он свернул за кинотеатр и оказался возле районной поликлиники и инфекционного отделения больницы, где когда-то, давным-давно, в начале пятидесятих годов, опасно болея скарлатиной, лежал целых сорок дней, так сразу все переменялось. Город здесь был весь прежний, во всем знакомый ему, легко узнаваемый. Здесь сохранились и осокори, и клены, и липы, и древние бревенчатые дома с резными наличниками, ставнями и коробками-фартуками, сплавившими крытую железом крышу со срубом. Сохранились кое-где даже кирпично-красные тротуары, чего он, признаться, никак не ожидал.

Несколько раз он останавливался возле того или иного дома, припоминал, кто из машинистов или других путейцев в нем жил прежде, и почти был уверен, что сейчас из калитки выйдет хозяин в черной железно-дорожной форме и надо будет с ним обязательно поздороваться, как здоровался когда-то мальчишкой.

Но было пока слишком раннее утро, и из калиток никто не выходил. Город еще только-только просыпался, дремотно-сонный, тихий, весь в окружении хвойных лесов, песчаных полей и низовых пойменных лугов. Таким он всегда и представлял его себе в далекой своей и долгой разлуке.

За каждым домом скрывался, пусть и совсем маленький, но все-таки огород; оттуда доносился запах недавно освободившейся от снега земли, запах вишен, яблонь и слив, вернее, вишневого, яблоневого и сливового сока, который пришел в движение в стволах и ветках, наполнил силой и упругостью клейкие почки и все торопил их и торопил поскорее распускаться — объявлять весну.

Пройдя совсем коротенькую улочку больничного городка, он свернул налево в один из многочисленных Железнодорожных переулков, потом еще раз налево — и оказался на улице имени Короленко — на той улице, куда он и шел и куда бы мог прийти с закрытыми глазами, если бы даже весь город перестроился до основания.

Но, к счастью, тут тоже ничего не перестроилось. Обновилось — это да, это было сразу заметно по новым штакетникам и заборам, по пластиковой обивке некоторых домов (а раньше они все были либо оштукатуренными и белеными мелом, либо ошелеванными неширокими дощечками «в елочку»); в двух или трех местах он увидел заново возведенные крылечки. Но все эти незначительные и какие-то случайные перемены не портили улицу, не отчуждали ее, — она была все той же, прежней, улицей, на ней жила (и живет сейчас) Ира Белозерова, Ирина Александровна Белозерова. Впрочем, давно, конечно, не Белозерова, но это не имеет никакого значения...

Дом ее четвертый от угла, по правой стороне. Вначале будет заросший вишневым садом громадный дом (настоящий особняк-усадебка), под четырехскатной, крытой оцинкованным железом, крышей начальника желез-

подорожного депо Коновалова; потом районная библиотека имени Короленко, где и работает сейчас Ирина Александровна; потом островерхий, чем-то похожий на польский костел, домишко начальника Дистанции пути Корчевского и, наконец, — ее дом, именно ее, Ирин, а не дом ее отца, в те послевоенные годы несменяемого третьего секретаря райкома партии по идеологии Александра Савельевича Белозерова. Ирины родители, отец и мать, здесь ни при чем, они в стороне, в отчуждении — и дом Ирин, и только Ирин...

От угла улицы и до ее дома по кирпично-каменному тротуару ровно триста двадцать четыре шага.

К его великому удивлению и радости (уж чего не ожидал, того не ожидал!), кирпично-каменный этот, почти сиреневый тротуарчик и здесь сохранился. Его не закатали гудроном, что было, наверное, так соблазнительно сделать, когда покрывали асфальтом песчаную и труднопроходимую улицу Короленко, а оставили как память (может, жильцы отстояли?) о прежнем довоенном и послевоенном городе. В это раннее утро тротуар был покрыт мелкими капельками росы, теснившимися в ложбинках и расщелинках, был живым и первозданным — и еще был брошен под ноги неожиданному заезжему гостю.

Сердце зашло у него в щемящей тревоге и тоске ожидания, вспыхнуло острой, отдающей под лопатку, болью. Он вынужден был остановиться и достать таблетку валидола. Когда же боль ушла, стала терпимой, а дыхание выровнялось, он переменял в руке портфель и лишь после этого встал на первый торцевой кирпичик, точно помня, что посередине его (ближе к правому краю) есть неглубокая выбоинка, образовавшаяся еще во время войны от срикошетившей пули.

По старой, навсегда, оказывается, укоренившейся в нем привычке, он начал считать шаги, ничуть этому не удивляясь. Он считал их с самого первого свидания с Ирой, безошибочно зная, что на триста двадцать четвертом шаге высокая двустворчатая дверь в доме откроется, и на крылечке предстанет Ира, в чуточку укороченном по тогдашней моде пальто и в неизменном своем ярко-голубом берете, который очень любила и который еще больше любил он.

Он и сейчас хотел надеяться на подобную встречу (пусть бы даже и случайную, непредвиденную) и начал убыстрять шаги, глядя только на кирпичики под ногами и совершенно не глядя на дома Коновалова и Корчевского и даже на библиотеку имени Короленко, сейчас еще закрытую, безлюдную — что ему до них!

Но каково же было его удивление, когда, дойдя до крылечка Ирины Александровны, он насчитал не триста двадцать четыре шага, а все триста пятьдесят. Старость, с грустью подумал он, — шаги стали короткими, неуверенными и зыбкими. Но потом он решительно отогнал от себя эти грустные мысли: дело не в старости и зыбкости, а в том, что, волнуясь, он, наверное, просто сбился со счета, вот и получилось триста пятьдесят шагов. Надо будет пройтись еще раз, и ошибка легко обнаружится.

Но это — потом, после, а сейчас он поставил портфель на тротуар и затих перед домом, как, может быть, даже не затих бы перед своим родным домом, сохранись он только и уцелей (как он мог уцелеть без матери: разрушился, превратился в прах и пепел, зарос непроходимой серой полынью).

Дом Ирины Александровны, Иры, предстал перед ним точно таким

же, каким он увидел его впервые полвека тому назад. Он стоял (будто парил) на высоком кирпичном фундаменте, заметно выделяясь постройкой от остальных, соседних домов, может быть, более богатых, но каких-то приземленных, несмотря на островерхие крыши. Он выходил на улицу сразу четырьмя громадными окнами (а у соседних — по два, не более), и от этого казался вольно распахнутым, открытым и неудержимо рвущимся навстречу каждому прохожему и проезжему человеку.

Окна в доме были забраны резными (но строгими, не вычурными) наличниками и такими же ставнями, со смотровыми прорезями в форме сердечек. Особенно впечатляла дверь. Казалось, она была сделана не столько для запираения дома, сколько для красоты. На каждой из створок в углублении филенок безвестный столяр, большой мастер своего дела, вырезал узоры-очертания обыкновенного лугового камыша, очерта, но так, что своими широкими продолговато-острыми листьями эти узоры переплетались, когда дверь была закрыта на обе створки, и жили по отдельности, ничуть не нарушая рисунка, когда одна створка оказывалась распахнутой. Крылечко тоже было высоким, на шесть ступенек, с двумя лавочками по сторонам.

Но, главное, в конце дома, возле ворот, рос уже и тогда, наверное, столетний осокорь-тополь, укрывавший своими ветвями всю крышу, летом от знойного жаркого солнца, а зимой от снега и метели. Под тополем, в его тени и прохладе, всегда стояла садовая скамейка, точь-в-точь такая, как в городском парке. На ней уютно и укромно было сидеть, никем не замеченным и неопознанным — и они с Ирой не раз тайлись там — двое, всего только двое во всем мире.

Дом всегда белили, не поддаваясь соблазну ошелевать его, забрать под «елочку». Может быть, именно поэтому и казалось, что он парит над всеми остальными домами, взлетает и вот-вот взлетит из-под темно-зеленого шатра осокоря.

Дом и сейчас к недавно только прошедшим пасхальным дням был побелен (надо же!) и от этого тоже парил, летел и взлетал. Ставни на нем были открыты, распахнуты и прикреплены коваными крючками к стене. Значит, хозяйва, вернее, хозяйка уже на ногах, уже бодрствует. Так у них в городе было заведено с незапамятных времен: хозяйва, просыпаясь, прежде всего открывали в домах ставни. С этого начинался новый день, новая беспокойная жизнь, продолжение жизни.

Он тщательно поправил галстук, кожаную кепку и хотел было подниматься на крылечко, чтоб надавить на кнопку электрического звонка, раз Ирина Александровна, Ира, сегодня не догадалась, что он уже прошел все триста двадцать четыре шага (и даже чуть больше) и теперь стоит напротив ее дома, а она все никак не выходит, но потом задержал руку. Все-таки для визита, для гостевания слишком рано, надо подождать хотя бы до девяти часов (а еще бы лучше до половины десятого или даже до десяти). Ирина Александровна ставни открыла, начала день, но к приему ранних гостей вряд ли готова.

Он осторожно, стараясь быть незамеченным из окна, прошел вдоль дома к осокорю и опять счастливо затих душой и сердцем — скамейка была на месте. Та самая, с чугунными литыми опорами и дощатыми сидением и спинкой. Сидение это и спинка за полвека, наверное, не раз менялись, красились и перекрашивались, но ничем не отличались от прежних, и скамейка, ничуть не ветшая и не старея, легко узнавалась, звала и манила к себе.

Он поддался ее зову, сел с правого края, уступая остальное место Ире, потому что она часто любила взбираться на скамейку с ногами.

Иру он помнил лет с восьми-девяти, когда мать уже начала позволять ему вместе со стайкой других более взрослых деревенских ребят ходить в город на праздники Первого мая и Седьмого ноября. Она давала ему целых пять рублей денег (настоящее богатство для мальчишки его возраста), на которые во время городских гуляний можно было купить бутылку вишневого, черносмородинного или клубничного сидро, закупоренного резиновой тугой пробкой (ее могла открыть только продавщица специальным штопором-змейкой), печенья, пряников, но, главное, мороженого — диковинного для больших и малых деревенских жителей лакомства.

Праздник всегда начинался демонстрацией. Со всего города стекались к парку, где в те годы стоял памятник Ленину, а в подножье его чем-то похожая на мавзолей трибуна, колонны демонстрантов со знаменами, транспарантами, портретами Ленина, Сталина и других тогдашних вождей: Ворошилова, Молотова, Маленкова. Самой главной и самой многолюдной была, конечно, колонна деповская. Впереди нее кто-нибудь из особо заслуженных рабочих-орденоносцев нес тяжелое бархатное знамя с золототкаными, будто наложенными друг на друга портретами Ленина-Сталина с одной стороны и гербом Советского Союза — с другой. Вслед за этим основным знаменем развевались на ветру знамена поменьше (их можно было насчитать до десятка), наградные, завоеванные в социалистическом соревновании с другими депо Дороги. За ним, блестя на солнце ярко начищенными трубами, не шел, а шествовал, единственный на всю округу деповской оркестр духовых инструментов. Следом стройными рядами маршировали деповские спортсмены во главе с футбольной непобедимой командой «Локомотив», потом несчетно (может, даже не одна тысяча) празднично принаряженных людей, со всевозможными, вызывающими у деревенских мальчишек неподдельное восхищение, транспарантами: макетами паровозов, колесных пар, семафоров и стрелок; и тоже несчетно с лозунгами, на которых извещалось о достижениях в труде, о выполнении и перевыполнении планов, давались обещания и клятвы на будущее.

Не успевала деповская колонна занять почетное место точно напротив памятника Ленину, как тут же к ней примыкали колонны школьные, тоже многолюдные и тоже с транспарантами, портретами вождей, с самодельными из древесной разноцветной стружки цветами и со своими пионерско-комсомольскими лозунгами, среди которых главным был ленинский: «Учиться, учиться и учиться...».

Школ-десятилеток тогда в городе было две: железнодорожная № 2, считавшаяся основной, где учились все городские ребята (Ира тоже училась в ней), и как бы вспомогательная, № 1 имени Ленина, куда ходили после окончания сельских семилеток деревенские мальчишки и девочки и куда довелось ходить три года и ему. Школы эти постоянно соревновались и соперничали между собой: и в учебе, и в спорте, и в разных пионерско-комсомольских делах. Чаще всего, конечно, побеждала железнодорожная. Городские ребята были не то чтобы поспособней в учебе, спорте и пионерско-комсомольской работе, но пособразительней, более развитые, шустрые и напористые. Деревенские же, если когда и побеждали, так только трудом и упорством.

Праздничный митинг всегда открывал первый секретарь райкома партии Иван Егорович Пондыхнев, недавний фронтовик, носивший еще

офицерскую гимнастерку под широкий ремень. Потом выступали один за другим председатель райисполкома, начальник депо, секретарь райкома комсомола, председатель какого-нибудь колхоза, передовая доярка, птичница или звеньевая полевого звена. И в самом конце от имени школьников маленькая бойкая девчонка с заплетенными в две косички (ах, какие в них были ярко-красные, кумачовые бантики!) чуть волнистыми светлорусыми волосами. Говорила она всегда очень громко и задорно о счастливом детстве советских мальчишек и девчонок, высоко и непокорно запрокинув вверх голову. Это и была Ира.

Она казалась ему тогда какой-то необыкновенной, особой девчонкой, как будто сошла с экрана кино, которое изредка показывали в их деревенском клубе. Из подобных девчонок вырастают потом зои космодемьянские и любви шевцовы и ульяны громовы. Она была такая недосыгаемая и такая далекая, что он даже помыслить не мог, что когда-нибудь будет знаком с ней, будет держать за руку, возить на раме велосипеда, будет сидеть рядом вот здесь, на этой чугунной скамейке.

А вот же, все это и случилось, и произошло: и держал за руку, и вез на велосипеде, и сидел на садовой чугунной скамейке...

С самого маленького возраста Ира действительно была необыкновенной девчонкой-девочкой. Выступала она на всех праздничных митингах вовсе не потому, что была дочерью секретаря райкома партии, а потому, что добилась этого права отличной учебой и примерным поведением. Все десять лет, с первого и до последнего, выпускного класса Ира училась только на «отлично» и единственная на весь район окончила школу с Золотой медалью, что по тем временам случалось очень редко.

До четырнадцати лет он видел ее лишь на праздничных митингах-демонстрациях, да еще на школьных олимпиадах художественной самодеятельности в Железнодорожном клубе, где Ира всегда вела концерт своей родной школы. Но вот он поступил в восьмой класс школы № 1 и стал ездить в город на велосипеде. И тут вдруг обнаружилось, что они каждое утро ровно в восемь часов (самое позднее в восемь часов десять минут) встречаются на переходном железнодорожном мосту. Встречаются по той причине, что школы их находились по разные стороны железнодорожных линий: Ирина, № 2, сразу за вокзалом и водокачкой, почти на выходе из города, а его, № 1, в центре, рядом с райкомом партии. Занятия в обеих школах начинались в половине девятого; и вот, торопясь не опоздать к первому звонку, они с Ирой и встречались на самой середине перекинутого через железнодорожные линии моста, потому что расстояние оттуда к их школам было одинаковым.

В восьмом и девятом классах он лишь узнавал Иру и старался пройти мимо нее как можно скорее, боясь задеть рулем или педалью велосипеда. А она, разумеется, его не узнавала: мальчишка да и мальчишка, деревенский парень на велосипеде, ничем не отличимый от десятков других, которые перебираются в это раннее утро на ту сторону моста, в центр города.

Но в десятом классе, в самые первые, начальные дни занятий, он вдруг стал замечать за собой что-то странное и необъяснимое. Как только Ира появлялась на мосту в школьной, тщательно отглаженной форме, в белоснежном, похожем на ангельские крылья (так ему казалось) фартуке, его сразу охватывал болезненно-острый озноб, смятение; он начинал стесняться и своей деревенской кепки-восьмиклинки, и застегнутых, как у всех тогдашних велосипедистов, бельевыми прищепками брюк, и дерматиновой полувоенной сумки с книгами на багажнике (а у нее аккурат-

ный коричневый портфельчик с двумя застежками на широких резинках); лицо и особенно уши начинали у него гореть настоящим пламенем — но уходить с моста ему теперь никак не хотелось, а наоборот хотелось бесконечно долго смотреть, как она стремительно проходит мимо, высоко и гордо запрокинув голову, и как трепещет на ветру ее белоснежный фартук. Если же Ира вдруг не появлялась (может, заболела или пошла в школу окружным путем, через переезд), он не находил себе места, и на следующий день мчался в город спозаранку, занимал свой пост на мосту и, проглядывая все глаза, ждал и никак не мог дожидаться, когда же наконец мелькнет в толпе ее ярко-голубой берет.

А потом он начал ждать ее на мосту и после занятий (иногда даже сбегал с последнего урока), чтоб увидеть, как Ира будет возвращаться домой. Ему ничего от нее не надо было, а только видеть, только ощущать ее дыхание, когда она будет проходить мимо...

Он даже радовался, что Ира не обращает на него никакого внимания, весело и широко помахивает портфельчиком да изредка поправляет светло-русые свои волосы, которые от быстрого озорного движения выбиваются у нее из-под берета.

Но вскоре он почувствовал, что обращает, проходя по узенькой дощечке возле самых перил, с удивлением успеваешь посмотреть на него: отчего и почему этот парень всегда стоит на мосту, прислонившись к раме велосипеда, когда она идет в школу или возвращается домой — ждет кого? И если ждет, то почему никто и никогда к нему не подходит?..

Чем бы закончилось это их противостояние, эти их взаимно любопытные и настороженные взгляды, неизвестно. Но однажды они вынуждены были соприкоснуться и даже взяться за руки. Внизу, под мостом, почти непрерывно проходили поезда дальнего и ближнего следования, пассажирские и товарные, сновал юркий маневровый паровозик «Кукушка», из широко распахнутых ворот депо выползали только что отремонтированные тяжелые паровозы «Иосиф Сталин» и «Серго Орджоникидзе»; и все они время от времени выбрасывали из труб резкими хлопками-взрывами клубы сизо-темного угольного дыма, а из-под колес точно такие же клубы-облака густого белого пара. Мост тогда окутывался, тонул в этом дымно-паровом тумане. В нем было трудно и почти невозможно дышать, ничего не было видно и даже не слышно, потому что паровозы, будто намеренно (может, им так полагалось по железнодорожным правилам) начинали гудеть то отрывисто и кратко, то, наоборот, протяжно и длинно, о чем-то переговариваясь и перекликаясь между собой.

В тот памятный для них с Ирой день под мостом оказалось сразу два паровоза «Иосиф Сталин». Они шли навстречу друг другу по смежным линиям, как шли навстречу друг другу по шаткому настилу моста Ира и он, и вдруг в одно спаренное дыхание паровозы выбросили из труб густо-непроглядное облако дыма, а из-под колес сизое шипящее облако пара, оба вскрикнули гудками вначале кратко, словно пробуя голос, а потом протяжно и пронзительно. Ира исчезла, растаяла в этом дыму и тумане, он потерял ее из виду, не слышал постукивания ее каблучков, легкого шелеста ее крылатого фартука. И тут она, стараясь перекричать несмолкаемые паровозные гудки, позвала, потребовала его на помощь:

— Ну, что же ты?! Я задохнусь здесь!

И он, забыв обо всем на свете, бросился на этот ее призыв и требование, на ощупь схватил за руку и стал торопливо выводить из дымной завесы вниз по ступенькам.

Опомнились они лишь на тротуаре, у подножья моста.

— А велосипед?! — испуганно воскликнула Ира.

Он невольно разжал ее руку и, перескакивая сразу через несколько ступенек, побежал наверх, где одинокий и ненужный, весь еще в дыму и водяном тумане стоял велосипед, вскинул его под раму на плечо и, рискуя упасть, помчался назад к Ире.

И как же оказался им нужен в эти минуты его старенький, разбитый на песчаных дорогах, велосипед.

— Садись! — как-то совсем просто и обыкновенно, словно они были знакомы давным-давно, сказал он. — Я отвезу тебя домой.

— Но я боюсь, — отшатнулась она в первые мгновения от велосипеда.

— Почему? — удивился он.

— Я никогда еще не ездила на раме, — честно призналась она. — Вдруг упадем.

— Не бойся! — впервые в ее присутствии засмеялся он. — Я тебя не уроню!

И она доверилась ему. Сама повесила почти игрушечный свой портфельчик на руль, сама, легонько оттолкнувшись тужелькой от тротуара, взобралась на раму и повернула к нему голову, не то спрашивая, хорошо ли она, правильно ли села, не то приказывая и поторапливая его:

— Ну?!

Он решил, что поторапливает. С двух шагов разогнал велосипед, вскочил в седло и помчал Иру вначале по кирпичному тротуару, а потом по песчаной торной тропинке через центральную площадь, через весь город на улицу Короленко.

По тем временам, по неписанным, но непреложным правилам тех времен такая поездка с девчонкой на раме, да еще через весь город или через все село, значила очень многое. Раз девчонка согласилась поехать с парнем на велосипедной раме, почти в обнимку, в одно дыхание, то из этого выходило, что не совсем она уже равнодушна к нему, не совсем посторонняя. Это был верный и неопровержимый знак, что они дружат или, по крайней мере, собираются подружиться в ближайшее время.

Он довез Иру до улицы Короленко в считанные минуты, бережно и осторожно, минуя на тротуарах и тропинках самые мелкие выбоинки и бугорки. Ее развевающиеся на встречном ветру волосы касались его лица — и оно вспыхивало и горело, словно от самого жаркого и нестерпимого огня; крылья фартука касались его рук и тоже обжигали и на запястьях, и выше, казалось, испепеляя сквозь толстую грубую ткань темно-синей вельветки. Возле дома им попались навстречу Ирины родители, Александр Алексеевич и Вера Николаевна, которые, судя по всему, возвращались с обеденного перерыва на работу: Александр Алексеевич в райком партии, а Вера Николаевна в поликлинику, где заведовала терапевтическим отделением.

Александр Алексеевич, увидев их, лишь усмехнулся, а Вера Николаевна, женщина строгая и властная, позвала к себе Иру и, совершенно не обращая никакого внимания на ее кавалера, начала выговаривать:

— Что это значит?!

— Это значит, — гордо и независимо запрокинув голову, ответила Ира, — что я катаюсь с мальчиком на велосипеде!

— Ладно, вечером поговорим, — тоном, не обещающим ничего хорошего, произнесла Вера Николаевна и увела Александра Алексеевича в

первый попавшийся переулок, хотя тот, кажется, и готов был защитить дочь.

...Как и о чем говорила Вера Николаевна с Ирой вечером, он не знает до сих пор. Но Ира не прекратила кататься на велосипеде, иногда даже чуточку демонстративно требуя, чтобы он непременно провез ее мимо поликлиники. Такая вот она была тогда неуступчивая и отчаянная...

Встречаться они теперь стали дважды в день: утром на мосту, для того лишь, чтоб увидеть друг друга и постоять несколько минут у перил, глядя на убегающие далеко к переезду и Железнодорожному клубу рельсы; и после занятий у подножья моста, чтоб ехать оттуда на велосипеде по всему городу на зависть другим своим ровесникам и ровесницам.

В воскресные дни Ира бесстрашно назначала ему свидания возле дома, и они либо сидели на скамейке под осокорем, либо ехали на велосипеде за город в дубовую рощу, которая начиналась сразу за железнодорожной насыпью. И никогда больше в жизни у него не было счастливей и отрадней дней.

* * *

А потом... Что ж потом?.. Потом все случилось, как часто и случается в молодости. Окончив школу, они уехали поступать в институты. Ира, с золотой медалью, — в МГУ на факультет романо-германских языков, а он — в ближайший от их городка пединститут на истфак.

Ира как медалистка, пройдя всего лишь собеседование, поступила. Он же, увы, нет, не добрал целых два балла.

И вот с отчаяния и обиды (а еще больше от стыда перед Ирой) он вдруг взял и завербовался в Казахстан на целину.

Переписывались они с Ирой вначале очень часто, почти еженедельно. Она восхищалась его поступком и даже завидовала, что он работает в степи на тракторе, живет в палатке, а она ходит каждый день на занятия, зубрит английский и испанский языки, и никакой романтики в ее жизни нет.

Но вскоре он стал замечать, что письма ее становятся все короче и короче и приходят все реже и реже. Пока, наконец, не пришло и последнее, совсем уже коротенькое, всего в одну строчку: «Я выхожу замуж. Не сердись!»

Ему бы, наверное, надо было бросить и работу, и трактор, и палатки, и весь опостылевший Казахстан и немедленно улететь в Москву. Может, все еще и наладилось бы, может, все еще и остановилось бы, спаслось. Но он не полетел, как-то сразу, в одно мгновение поняв, что лететь не надо, что ничего уже не остановишь и не вернешь...

Перенес он все случившееся молча и одиноко, ни с кем не делаясь своими юношескими переживаниями, никому не открывая их.

На следующий год, осенью, его призвали в армию. Попал он служить на Северный флот, на самый конец света — Новую Землю. Тогда там проходили ядерные испытания, и он был причастен к ним. Врачи говорят, что его нынешняя болезнь — это следствие того причастия.

С Ирой они больше никогда не виделись. В Москве, где он после армии стал учиться, а потом и жить постоянно, ему, конечно, можно было ее отыскать. Но, во-первых, он не знал ее новой фамилии, во-вторых, по слухам, которые его все-таки настигли, Ира вышла замуж за выпускника Института международных отношений и жила теперь где-то в север-

ной Африке, не то в Египте, не то в Марокко, а в-третьих, он просто не стал ее искать, решив, что все так же напрасно, как и было когда-то в Казахстане.

И вот ищет лишь сейчас, в последний, похоже, свой приезд в родной город...

Солнце уже поднялось высоко над горизонтом, заглянуло под осонок, пробежало несколько раз длинными острыми лучами по скамейке, добралось и до него, ласково защекотало полуприкрытые глаза, словно напоминая, что пора уже, что можно уже звонить в дверь, вызывать хозяйку пробудившегося дома на свидание, тоже, скорее всего, последнее.

Но он все не пробуждался, не хотел пробуждаться, еще сильнее смежал веки, слушал, как волнуются и о чем-то спорят на осокоре синички и воробьи, и все оттягивал и оттягивал минуты этого последнего свидания.

Полвека, прожитые без Иры, без Ирины Александровны, ему не давала покоя одна, может, и странная мысль: почему тогда, в их юные школьные годы Ира выбрала именно его, деревенского мальчишку в кепке-восьмиклинке и вельветке, нескладного, стесняющегося сказать при ней лишнее слово, а не какого-нибудь городского парня из своих ровесников или даже много старше ее по возрасту, которые (он знал и видел это) заглядывались на нее, предлагали свою дружбу. Не могли не заглядываться и не предлагать: очень уж заметной девчонкой-невестой была она в городе и очень красивой. Но она всем отказала, а выбрала именно его. Когда же эти отчаянные городские ребята попробовали несколько раз перехватить своего более удачливого соперника на выезде из города и поговорить с ним так, чтоб он навсегда забыл дорогу на улицу Короленко, она с какой-то не девчоночьей, а уже женской, зрелой силою бросилась защищать его и сказала ребятам с нешуточной угрозой:

— Только посмейте!..

И они не посмели...

Но что же тогда случилось с ней в Москве, в университете?! Почему она так быстро забыла его, бросила, вышла замуж за выпускника Института международных отношений и вскоре оказалась в северной Африке, в Египте или Марокко?

Впрочем, теперь это уже не имеет никакого значения. Жизнь прошла, истаяла, как один день, и пусть мучающие его и терзающие вопросы так и останутся без ответа, что в них?! Главное, не эта длинная, прошедшая в разлуке с Ирой жизнь, а те коротеньких полгода, что они были вместе.

Воробьи и синички, радуясь восходу солнца, наступающему дню и наступающей весне, затеяли свой спор и дознание уже прямо над его головой. Он слушал их щебетанье и цвеньканье и готов был вмешаться в птичий спор и разногласия, чтоб разрешить их по справедливости.

И вдруг по кирпичному тротуару несколько раз ударили, цокнули женские легкие каблочки, а через мгновение в двух шагах от него раздался женский взволнованный и встревоженный голос:

— Сережа?!

Он открыл глаза и замер. Перед ним стояла пожилая, но одетая как-то совсем по-молодому, с вызовом и даже с риском женщина. На ней был чуть удлиненный свободный плащ, повязанный по плечам и шее ярким шарфом, на ногах туфли-туфельки на высоком, будто летящем каблукке, на голове чуть наискосок (тоже с вызовом и риском) почти что легкомысленный голубой берет, едва-едва прикрывающий ее густые с двумя серебряно-седыми прядями волосы.

Она была царственно величественна и красива этим величием, какими только и бывают и могут быть женщины в ее возрасте.

В руках женщина держала тяжелую хозяйственную сумку, переполненную продуктами.

Он вскочил со скамейки, чтоб прежде всего перехватить эту сумку, а потом уже ответить на ее встревоженный и даже испуганный возглас. Но женщина безоглядно бросила сумку на тротуар, нисколько не заботясь о том, что все продукты вывалятся из нее, и, обняв его за плечи, упала головой на грудь.

— Ира! — только и мог он сказать одно-единственное слово, но обнять ответно почему-то не посмел, не решился, а лишь пожалел, что в руках у него нет сейчас цветов.

Перед самым отъездом, в Москве, на Киевском вокзале он хотел было купить для нее громадный букет южных алоцветущих роз. В поезде, наверное, можно было бы договориться с проводницей, поставить их в ведро с водой, чтоб они сохранились до утра свежими и благоуханными. Сейчас бы он вручил этот южный, покрытый капельками утренней весенней росы букет Ире, Ирине Александровне, и никаких слов, одинаково трудных для обоих, им говорить в первые минуты встречи не пришлось бы...

Но цветы на Киевском вокзале он так и не купил, вдруг вспомнив, что Ира срезанных, сорванных цветов не любила. Ей нравились цветы живые, растущие на клумбе, в палисаднике, в лесу, в поле на обочине дороги, на лугу. Он узнал об этом случайно. Однажды, уже поздней осенью, собираясь к Ире на свидание, он нарвал у себя в саду букет разноцветных астр: белых, фиолетово-синих, красных, дымчато-розовых, любимых цветов его матери (а теперь и его самых любимых, неутомимо цветущих до конца осени, до первых заморозков и морозов) и повез их Ире. Она цветы взяла, но не обрадовалась им, а наоборот погрустнела и честно призналась ему:

— Я люблю цветы живыми. А сорванные завтра завянут и умрут... И он, помня о том, никогда ей больше цветов не дарил, разве что в дубовой роще, где на опушке росли лесные колокольчики, шутя говорил:

— Дарю тебе все! Слышишь, как звенят?

— Слышу, — тихо с придыханием отвечала Ира и роняла ему на грудь голову точно так же, как обронила сегодня.

И все же зря он поддался вчера вечером воспоминаниям и цветы не купил. Это полвека тому назад Ира, шестнадцатилетняя девчонка, сорванные и собранные в букет цветы не любила (вернее, любила, но очень жалела, что их сорвали, заставили умереть ради нее раньше времени), а теперь, наверное, относится к ним совсем по-иному, потому что букет цветов, подаренный женщине ее возраста, совсем не то, что подаренный шестнадцатилетней школьнице...

Осторожное их объятие-испытание длилось несколько бесконечно-длинных минут. Ирина Александровна никак не могла оторвать голову от его груди, а Сергей Николаевич никак не мог, не решался прижать ее к себе, словно боялся, что сил для такого объятия у него не хватит.

Но вот Ирина Александровна наконец оторвалась, погладила его по щеке длинной хрупкой ладонью, а потом начала поспешно собирать оброненную сумку и так же поспешно говорить и, кажется, совсем не то, что обычно говорят после такой неожиданной встречи и после такой долгой разлуки:

— Я ходила на рынок. Ты же знаешь, у нас рынок очень ранний.

— Знаю, — тоже совсем не то и не так сказал он, стал помогать ей складывать в сумку пучки зеленого лука, петрушки, редиса и щавеля.

Ирина Александровна не отстраняла его, не противилась, а наоборот, пошире и с готовностью раскрыла сумку. Когда же все было собрано и уложено, она распрямилась и лишь теперь сказала так, как, наверное, и должна была сказать в первые мгновения их встречи:

— Ну что же, пошли в дом...

Никогда прежде в доме у Иры он не был. В их времена девчонкам считалось запретным, некрасивым и нескромным приглашать к себе в дом мальчиков, которые заглядывались на них и пробовали ухаживать. Тем более в такой дом, как у Иры, где все по воле Веры Николаевны было строгим, где правила приличия выполнялись неукоснительно. Но в подобных домах Сергеем Николаевичу бывать доводилось. После войны, бомбежек, обстрелов и пожаров несколько примерно такой же постройки домов в городе уцелело. Сережа лет с десяти носил в один из таких домов, где жил заведующий железнодорожным промтоварным магазином, по договору молоко и хорошо знал внутреннее его устройство.

Отворив высокую дверь с резной филенкой, ты вначале попадаешь в просторный, напоминающий веранду коридор. По всей правой стенке, от парадного входа до дворового, черного, он застеклен. В летнюю пору коридор превращен в кухню: в уголке, поближе к черной двери, на специальной тумбочке стоит примус или керосинка-корогаз, посередине обеденный стол, окруженный гнутыми венскими стульями; оконные хитроумного плетения и вязки рамы широко распахнуты в сад — от этого в коридоре пахнет яблоками, грушами, сливами и вишнями, а еще жасмином и сиренью, которые в их городе все жители очень любят.

На левой, бревенчатой, стене расположена дверь, ведущая собственно в дом. Она тоже двустворчатая, тоже высокая и тоже резная. Проникнув в эту дверь, ты попадаешь в большую комнату-горницу. Она о четырех окнах: три выходят на улицу, в палисадник, а одно — во двор с топливным (дровяным и угольным) сараем под железной крышей, глубоким каменным погребом и часто еще с голубятней на крыше сарая. У Иры, помнится, на крыше топливного сарая тоже возвышалась голубятня.

Александр Алексеевич, несмотря на свою высокую должность в райкоме партии, был заедлым и неисправимым голубятником, о чем у них с Верой Николаевной, кажется, даже случались размолвки.

На широких подоконниках в горнице стоят цветы, особое пристрастие и гордость хозяек: герани, огоньки, фиалки, всевозможных сортов кактусы и столетники, «елочки», чайные розы, а у многих и широколистные фикусы, для которых место особое, почетное — в уголке прямо на полу в большущей кадке-вазоне. От изобилия цветов летом в горнице всегда свежо и прохладно, а зимой по-семейному уютно и покойно.

Горница, как правило, проходная. В конце ее дощатой оштукатуренной стеной отделены две маленькие комнаты (каждая всего об едином окошке). Одна из них отдавалась в полное распоряжение детям, школьникам и дошкольникам; она так и называлась — детская. Для деревенских ребят и девчонок это считалось непозволительной роскошью и даже невидалью; они привыкли жить всей семьей в хате, которая сразу была и горницей, и спальней, и детской.

В другой комнате оборудовалась родительская спальня и одновременно кабинет хозяина.

В Ирином доме все было устроено точно так же: широкий коридор-ве-

ранда (без примуса, правда, или керосинки, а с современной газовой плитой и АГВ); просторная горница, вся уставленная на подоконниках цветами (фиалки и огонек уже цвели); две притаившиеся в отдалении комнаты — детская и спальня-кабинет. Разница, пожалуй, была лишь в том, что все простенки между окнами занимали шкафы и стеллажи с книгами.

— Ты раздевайся, раздевайся! — поторопила его Ирина Александровна, как только они вошли в комнату, — у меня тепло.

Но Сергей Николаевич, прежде чем снять куртку и кожаную кепку-восьмишпильку (к шляпам он за всю жизнь так и не привык), помог раздеться Ирине Александровне, повесил ее плащ на старинную деревянную вешалку. Она легко и непринужденно позволила ему это сделать, потом сняла берет, незаметным скорым движением поправила перед зеркалом-трюмо волосы, а когда опять повернулась к Сергею Николаевичу лицом, то оглядела его с ног до головы заново, уже более пристально и внимательно, чем на улице, и вдруг сказала:

— А ты чего такой бледный? Не болеешь ли?

— Ну, чтоб совсем не болел, — улыбнулся он ей в ответ, — так нет. В нашем возрасте не болеть нельзя. Но пока терпимо. Это с дороги, наверное, бледен. Я в поезде не сплю.

— Сейчас мы все поправим! — загорелась она, надевая фартук-передник с двумя затейливыми кармашками по сторонам. — Сна, я, конечно, тебе не обещаю, потом отоспишься, а пир горой мы устроим, и все как рукой снимет.

Она достала из платяного шкафа белоснежную скатерть, в одно движение набросила ее на овальной формы стол, который по старинному обычаю стоял посреди комнаты, потом начала все так же быстро, легко и изящно расставлять на нем тарелки, фужеры, рюмки, раскладывать ножи и вилки.

Сергей Николаевич вызвался было помочь ей, но Ирина Александровна самым решительным образом отстранила его:

— Я не люблю, когда мужики околачиваются на кухне. Садись вот в кресло, жди. Разговаривай со мной.

Сергей Николаевич невольно улыбнулся этому ее почти деревенскому словечку «околачиваются», которое в устах Ирины Александровны звучало ничуть не обидно, а лишь весело и задорно. Настаивать на помощи после такой отповеди было никак невозможно, и Сергей Николаевич послушно пошел к глубокому кожаному креслу, которое стояло возле стеллажа с книгами. Но прежде чем сесть в него, он выглянул в окошко, выходящее во двор, и с изумлением увидел, как над голубятней вьются и воркуют голуби самой разной окраски и породы, очень много голубей, целая стая.

— Ты что, разводишь голубей? — не смог он сдержать этого своего изумления.

— Развожу! — с гордостью и даже с каким-то девчоночьим вызовом откликнулась Ирина Александровна, уже хлопотавшая возле холодильника. — Это у меня от папы. Ты помнишь моего папу?

— Конечно, помню, — чуть поспешно, словно боясь, что она не поверит ему, ответил Сергей Николаевич.

Но она поверила, тоже выглянула в окошко, тоже залюбовалась голубями, стала пояснять Сергею Николаевичу, указывая на двух отбившихся от стаи и сидящих отдельно на коньке сарая белых турманов, голубя и голубку:

— Это мои любимые. Они всегда вместе, как люди. Папа их тоже очень любил. Кстати, он умер всего четыре года тому назад,

— А мама? — осторожно спросил Сергей Николаевич.

— Мама давно, но и она прожила за восемьдесят.

Ирина Александровна отошла в уголок к холодильнику и почти крошечному кухонному столику, застучала там ножом, что-то нарезая на разделочной доске и раскладывая по тарелкам, а потом вдруг опять вернулась к разговору о родителях, и в первую очередь об отце:

— Ты знаешь, Сережа, я тоже буду жить, как папа, девяносто пять лет, не меньше. Я когда бросила все свои Европы и Африки, Москву и приехала сюда, так сразу поздоровела. Кругом живая земля, сады, леса, речка. А какой воздух! Ты чувствуешь?!

— Чувствую, — поддался ее восторгам Сергей Николаевич, исподтишка наблюдая за Ириной Александровной, за ее быстрыми, ловкими движениями, прислушиваясь к ее по-молодому чистому, с придыханием голосу — и все больше находил, что ничего или почти ничего в ней не переменилось, что она все та же Ира, школьница-десятиклассница, с которой он впервые познакомился на железнодорожном переходном мосту, выводя ее из дымной пелены и завесы...

А Ирина Александровна, как будто намеренно заговаривая его и убаюкивая своим придыханием, не умолкала ни на минуту:

— Я все лето и осень катаюсь на велосипеде, а зимой бегаю на лыжах (она так и сказала, опять по-деревенски и по-охотничьи «бегаю», а не «хожу»).

Сергей Николаевич снова улыбнулся про себя этому ее точному подбору слов, ее чистой русской речи, незамутненной никакими иностранными заимствованиями, чего вполне можно было ожидать — ведь Ирина Александровна столько лет прожила за границей. Он хотел вслух восхититься этим своим наблюдением и открытием, сказать ей: «Как ты чисто, по-живому говоришь!». Но Ирина Александровна опередила его, ушла от обольстительных речей и спросила всего после минутной паузы:

— А ты не едешь?

— Нет, не езжу, — чистосердечно признался он. — Какой из меня теперь велосипедист?!

— Это потому, что один, — с потаенной усмешкой сказала она. — А если кого посадить на раму...

— Ну, разве что так, — не смог сдержаться и тоже рассмеялся Сергей Николаевич.

И так им хорошо стало от этого случайного далекого воспоминания, что оба они вдруг на несколько мгновений замолчали (про такие мгновения как раз и говорят: «Ангел пролетел»), и старались ничем, даже дыханием, не нарушить их.

Но вот Ирина Александровна снова застучала ножом, зашуршала какими-то бумагами и кульками, загремела тарелками. Сергей Николаевич, чтоб не мешать ей, сел в кресло и неожиданно почувствовал во всем теле безмерную усталость и слабость. Нигде и ничего вроде бы у него и не болело: ни сердце, ни грудь, ни голова, но слабость была почти непереносимой. Может, действительно, от бессонной ночи...

— Садись за стол! — через минуту-другую вернула его к жизни Ирина Александровна.

Сергей Николаевич с трудом преодолел свое недомогание, поднялся и послушно занял место на гнущем венском стуле.

— Ты что будешь пить? — еще больше укрепила в нем силы Ирина Александровна. — Водку, вино, коньяк?

— Водку, — бесстрашно ответил Сергей Николаевич.

— Я тоже так думаю, — легко, с задором согласилась она. — Нам с тобой сейчас ничего, кроме как водку, пить нельзя, не ко времени.

Он бережно разлил в крошечные с серебряными ободками рюмки хрустально-прозрачную водку. Ирина Александровна зажала свою рюмку в ладонях, в горсти, будто согревая ее, о чем-то задумалась, а потом вскинула на Сергея Николаевича глаза:

— И за что же мы будем пить?!!

— За встречу, наверное, — почему-то ушел от ее взгляда Сергей Николаевич.

— Нет, — решительно отвергла она его предложение. — Мы с тобой, Сережа, будем пить за возвращение, — и не давая ему произнести ни единого слова, легонько прикоснулась к холодной, дымчато-запотевшей рюмке Сергея Николаевича своей, искристо-серебряной, согретой в ладонях.

Когда они выпили и поставили опустошенные рюмки на стол, Ирина Александровна опять вскинула на Сергея Николаевича глаза — и теперь уйти от ее взгляда он не посмел.

Ирина Александровна тут же принялась усиленно кормить его: подкладывала на тарелку закуски, салаты, темно-зеленые веточки петрушки, перышки лука и все время по-женски, по-матерински, словно кормила малого ребенка, приговаривала:

— Ты ешь, ешь!

Сама же она почти ни к чему не притронулась. Подперев ладонями подбородок, неотрывно смотрела, как он, во всем подчиняясь ей, ест и салат, и тоненько нарезанные ломтики сыра, и петрушку с луком. Наконец отняла от подбородка руки, скрестила тонкие без единого колечка или перстня пальцы и спросила его, ничуть не скрывая своего волнения:

— Как живешь, Сережа? Женат? Холост? Много ли нарожал детей, внуков?

— Был и женат, — ничего не утаил он. — Детей нарожал мало. Сын у меня есть, Николай. Капитан второго ранга, служит на Дальнем Востоке. Внуков двое — оба парня. Жаль, вижу с ними редко.

Ирина Александровна не стала допытываться, что значит — «был», и где сейчас его жена, и почему не с ним. Она попросила налить еще по рюмке водки, и когда Сергей Николаевич налил (и они выпили теперь уже за встречу), ответно призналась о себе:

— А у меня детей трое — все дочери. Внуков — пятеро, и тоже одни девочки, — и усмехнулась: — Не везет мне с мужиками.

О муже (где он и что с ним) Ирина Александровна не сказала ни слова. Может, и правильно сделала. К сегодняшнему дню, к сегодняшнему возвращению и встрече жены их и мужья не имели никакого отношения. Они были далеко и сами по себе, и пусть побудут пока в этом отдалении.

— Ты надолго приехал? — уходя еще дальше от опасного разговора, спросила Ирина Александровна.

— Дня на три, — не посмел скрыть он своих намерений.

— Почему так мало? — удивилась и погрустнела она. — Столько лет не был — и всего на три дня.

— Так получилось, — склонил Сергей Николаевич низко над столом голову. — Вот съезжу в село, посмотрю на родину — и назад, в Москву.

— Я свожу тебя! — вдруг вызвалась ему в попутчики Ирина Александровна. — У меня машина есть — «Форд». Дочери подарили.

— И ты, что же, водишь машину? — поразился Сергей Николаевич, вспоминая ту, прежнюю Иру, которая и на велосипеде-то по-настоящему ездить не умела — только на раме.

— О, Господи! — всплеснула руками Ирина Александровна. — Я сорок лет за рулем. — Не бойся, не уроню...

— Я не боюсь, — улыбнулся он ее обидам, хотя все равно не мог представить Ирину Александровну за рулем.

А она вдруг посмотрела в дворовое окошко и предложила:

— Вот что, Сережа, мы сейчас покормим голубей, и я покажу тебе наш город. Ты не против?

— Не против? — с готовностью отозвался Сергей Николаевич.

— Жаль только, — вздохнула и даже разволновалась Ирина Александровна, — он совсем не такой, каким был раньше. Ты заметил?

— Конечно, заметил, — тоже вздохнул Сергей Николаевич. — Много в нем стало другим.

— Мост — другой!

— Другой, — понял ее огорчения Сергей Николаевич.

Прежний переходной мост был возведен на чугунных, специально (и как искусно!) отлитых опорах, чем-то напоминающих опоры фонарей в Москве и Санкт-Петербурге. Они, несмотря на чугунную свою тяжесть, казались удивительно легкими, будто воздушными. От этого и весь мост казался воздушно-легким, висящим над железнодорожными линиями, словно летняя послегрозовая радуга. А какая на нем была ограда! Кованая в виде листьев и цветов, она тоже напоминала знаменитые ограды Санкт-Петербурга (Летнего сада, набережной Невы), Москвы, а то и самого Парижа. Сверху ограда венчалась дубовыми, с глубокой, удобной для руки ложбинкой, перилами, а снизу по всем пролетам и переходным площадкам металлической, но будто сплетенной из паутинно-тонких шелковых нитей занавесью.

Ничего этого на новом мосту не было. Его построили по типовому проекту из железобетона. Все в нем было неподъемно-тяжелым, угрюмым и серым: упрощенные четырехугольные опоры-сваи; точно такие же массивные железобетонные перекрытия и каменные скользкие ступеньки с провально зияющими между ними пустотами. А на старом мосту и ступеньки, и длинный верхний пролет были деревянными, легкими для ноги и шага. По нынешним же подниматься и тяжело, и неудобно, и даже опасно — нога сама норовила соскользнуть в междурядье и пустоту. Сергей Николаевич это утром сразу ощутил, но не придал им особого значения: он готов был идти и не по таким терниям, лишь бы поскорее добраться до улицы Короленко. А Ирина Александровна, вишь, как обо всем переживает...

— Но все равно мы тудаходим, — оборвала она грустные его воспоминания.

— Обязательноходим, — повеселел от ее твердых и уверенных слов Сергей Николаевич.

Не давая гостю ни к чему прикоснуться, Ирина Александровна быстро собрала со стола посуду, в две-три минуты перемыла ее и расставила по настенным шкафчикам и уже приготовилась надевать плащ и берет, но вдруг как бы спохватилась?

— Послушай, а ты гдеостановился?!

— Пока нигде, — не предвидя ничего неожиданного, ответил Сергей Николаевич.

— Тогда остановишься у меня.

— А может, все-таки лучше в гостинице, — попробовал сопротивляться Сергей Николаевич. — Зачем я буду тебя стеснять.

— Вот еще чего — стеснять, — легко сломила его сопротивление Ирина Александровна. — Приехал раз в пятьдесят лет — и к чужим людям, в гостиницу!

— Ладно, остановлюсь у тебя, — не решился больше спорить с ней Сергей Николаевич.

Хотя ему, действительно, в гостинице было бы удобней. Вдруг случится ночью приступ (а они чаще всего и случаются ночью), так с чужими людьми, с какой-нибудь дежурной-консьержкой ему будет гораздо легче: вызовет она «скорую помощь», и тем Сергей Николаевич, глядишь, спасется, не беспокоя и не пугая Ирину Александровну.

В коридоре Ирина Александровна набрала из холщового мешочка-торбочки деревянным, похожим на лодочку, совочком золотисто-огненного проса и распахнула дворовую, призывно скрипнувшую дверь. Голуби сразу отозвались на этот скрип и призыв, и едва только Ирина Александровна и Сергей Николаевич оказались во дворе, как они всей своей стайкой спорхнули с голубятни и крыши сарая, закружились, завились у ног хозяйки, радостно воркуя и переговариваясь друг с другом и с Ириной Александровной почти что на человеческом языке. А те двое белых турманов безбоязненно сели ей на плечи: голубка на левое, голубь — на правое.

Ирина Александровна с широким размахом посыпала из совочка просо на твердо-земляную площадочку у крыльца (сами же голуби, поди, и вытоптали ее, утрамбовали во время бурных свиданий с хозяйкой). Голуби чуть угомонились, отпрянули от Ирины Александровны и принялись клевать просо, часто-часто постукивая клювиками о землю, будто молоточками о наковаленку. И лишь турманы остались сидеть на плечах у Ирины Александровны, невозмутимо спокойные и тихие. Ирина Александровна отсыпала из совочка проса в ладошку, в горсть, тоже удивительно похожую на удлиненную лодочку-ладью, и протянула ее турманам. Те начали клевать, поочередно склоняя к ладошке-горсти свои игрушечные белоснежные головы.

— Хочешь подержать? — неожиданно спросила Сергея Николаевича Ирина Александровна, указывая на турманов.

— Хочу, — торопливо, но чуть-чуть робко ответил он: никогда прежде Сергей Николаевич голубей в руках не держал, а только видел их летящими высоко в небе или воркующими на крыше голубятни. Ирина Александровна осторожно сняла с левого плеча голубку и передала Сергею Николаевичу. Он принял ее тоже осторожно и бережно, еще осторожнее прижал трепещущее тельце голубки к груди. И вдруг услышал, как внутри этого тельца учащенно-быстро бьется сердечко. Удары были такими сильными и тревожными, что Сергей Николаевич едва не обронил голубку на землю.

Голубь на правом плече Ирины Александровны, как только голубка оказалась в руках у Сергея Николаевича, сразу перестал клевать зерно, тоже затревожился, заволновался и готов уже был взлететь с плеча хозяйки, чтоб выручить голубку из плена.

— Ревнует, — улыбнулась его тревогам Ирина Александровна.

Сергей Николаевич тут же вернул голубку на место, на левое ближнее к нему плечо Ирины Александровны и стал следить за голубем. Тот еще несколько минут поволновался, топорща на шее перья, а потом успокоился и потянулся из-за плеча Ирины Александровны к голубке клювиком. Голубка потянулась к нему ответно. Они должны были уже вот-вот встретиться, помириться и простить друг другу невольную эту разлуку, но Ирина Александровна вдруг громко, изо всей силы хлопнула в ладоши — и вся голубиная стайка (и те, что клевали зерно на земле, и двое разлученных турманов на плечах у Ирины Александровны) взмыла вверх и стремительно, в два-три взмаха крыльев, набирая скорость, начала уходить все выше и выше в небо...

— Люблю! — запрокинув голову, неотрывно следила за их полетом Ирина Александровна и еще раз повторила: — Люблю!

* * *

Они гуляли по городу почти целый день. Вначале прошлись по окраинным его полудеревенским улочкам, где за каждым бревенчатым рубленым домом виднелся сад и огород, а потом перебрались в центр, к кирпично-дачным коттеджам, окруженным металлическими коваными оградками. Ирина Александровна держала Сергея Николаевича под руку и, время от времени останавливаясь возле этих коттеджей и оград, говорила ему:

— А помнишь, вот здесь стоял дом мельника Мирона?

— Помню, — мгновенно откликнулся Сергей Николаевич и принимался рассказывать Ирине Александровне, как они с матерью каждый год поздно осенью ездили на мельницу к старому Мирону молотить рожь-жито, как иногда, отпустив стреноженного вола на мельничный пустырь, стояли там в очереди, в завозе по несколько суток.

Ирина Александровна внимательно и сочувственно слушала его, сильнее сжимала локоть и вела дальше.

— А вот здесь, — указывала она на укромный закуток между двумя коттеджами, — была галантерейная лавочка Зямы. Помнишь?

— Конечно, помню, — воочию представлял себе Сергей Николаевич и галантерейную лавочку-будочку, и самого Зяму, низкорослого, заросшего кустистой бородкой, старика-еврея и его жену Сару, немного пугливую, но очень внимательную к покупателям женщину. С галантерейной этой лавочкой у Сергея Николаевича тоже было многое связано. Каждый год в канун Пасхи мать приводила его сюда, чтоб выбрать и купить новую кепку-восьмиклинку. И каждый год получалось, что нужного размера кепки у Зямы нет: то слишком маленькая, то слишком большая. Но Зяма с Сарой ни разу не отпустили их без покупки. Они выкладывали на прилавок весь свой товар, высокие стопки сложенных друг на друга кепок. Зяма малые кепки растягивал на колене, а в большие вставлял дополнительные картонные обручки. Сара собственноручно примеряла Сереже кепки на голову, давала поглядеться в зеркало и восторженно говорила:

— Как на тебя шито! Носи на здоровье!

Ирина Александровна весело, заливисто смеялась над рассказом Сергея Николаевича, понарошку упрекала и изворотливого Зяму, и самого Сергея Николаевича:

— Вот видишь, какой ты головастый и несговорчивый! — и даже да-

вала советы: — Надо было на заказ шить у Шахловича. Помнишь, на той стороне моста жил такой кравец-портной?!

— Да ходили мы и к Шахловичу, — отбивался от Ирины Александровны Сергей Николаевич. — Но он мог пошить кепку только к Первому Мая, а мне нужно было к Пасхе.

Они мирились, и теперь уже сам Сергей Николаевич указывал Ирине Александровне на какое-нибудь памятное для них обоих место и тоже спрашивал: — Помнишь?

Она все помнила. И единственный тогда в городе спортивный магазин на углу сквера, где Сергей с матерью купили летом пятьдесят седьмого года велосипед; и столбяную коновязь на излете центральной площади, с утра занятую, заставленную впритык лошадиными и воловьими подводами, а к вечеру пустую, пустынную, заполоненную лишь шумливыми стаями воробьев, ищущих в остатках сена и овса поживу; поименно многих знаменитых в городе людей: старого одинокого учителя математики Бидулина, потерявшего в годы войны всю семью, вечно молодящуюся буфетчицу из железнодорожной столовой — Розу, безногих, безруких, слепых инвалидов войны, просящих милостыню возле магазинов и у подножья моста.

Потом они сходили в самый конец города на базар (Большой базар, как его все звали, в отличие от Малого, который ютился сразу за железнодорожными линиями, где после построили два кирпичных неотличимых друг от друга домика-близнеца), долго бродили между прилавками, вспоминали, где и что раньше продавалось: вот здесь были молочные ряды, вот здесь — табачные, вон там, на песчаном бугорке, торговали бондари, кошелочники, гончары и жестянщики. Но дольше всего они задержались возле недлинного по весне медового ряда и, не сговариваясь, вспомнили, как в самом его начале каждый день торговала медовыми, украшенными разноцветной глазурью, пряниками опрятная грузная старушка, заметно пожилого (или им, детям, тогда так только казалось) возраста. Было видно, что она не простого, не мещанского звания, а из какого-то высшего, наверное, дворянского, отмененного советской властью, сословия. Все родные и близкие у старушки, как и у Бидулина, погибли, потерялись в годы Первой мировой, Гражданской и Отечественной войн. Сама она уцелела каким-то чудом и теперь, вдобавок к мизерной пенсии (скорее всего — по потере кормильца), зарабатывала себе на жизнь тем, что пекла и продавала на базаре медовые пряники, к которым были большими охотниками дети. Никто во всем городе печь таких пряников не умел, а она сохранила старинные рецепты и навыки. Пряники старушка пекла разных сортов и форм: в виде лошадок, рыбок, барышень в глазированных передниках-фартуках, кавалеров с такими же глазированными гармошками на груди, в виде корабликов и лодочек, посыпанных в лечебных целях тминными зернышками, и от этого чуточку отдававшими горчинкой.

Пряники старушка раскладывала на чистой холщовой скатерке, и редко какой мальчишка или девчонка, оказавшиеся с родителями на базаре, могли устоять перед ними. Со слезами на глазах требовали они купить медовый этот темно-коричневый, с отливающейся на солнце глазурью, пряник.

— Ты какие любил? — словно отыскивая взглядом старушку, спросила Ирина Александровна.

— Лошадок, — не посмел он утаить детское свое пристрастие.

— А я — барышень, — созналась и она. — Только я их не ела, а наряжала в бумажные или тряпичные платья и сарафаны, и барышни были мне вместо кукол.

Оба они посмеялись этим детским воспоминаниям и увлечениям, пожалели, что таких старушек, как та из далекого послевоенного времени, уже нет — и быть не может...

Возвращаясь с базара в центр города, они постояли несколько минут, опершись на ограду, возле школы №1, где учился когда-то Сергей Николаевич, теперь, правда, потерявшей имя Ленина, понаблюдали, как ребята играют на школьном дворе (была как раз переменка), кто во что горазд: в догонялки, в классики, в прыгалки-резиночки, в футбол и волейбол и еще Бог знает во что. Точно так же было и в их с Ириной Александровны время. Истомившись за зиму сидеть в душных, закупоренных классах, ученики с наступлением весны, первого тепла, едва прозвенит звонок на перемену, опрометью выбегали во двор, на спортивную площадку, и не было им никакого удержу в играх и забавах. В них словно вселялся какой-то чертенок, которого после, на следующем уроке, ни за что нельзя было унять. Даже самого прилежного ученика-отличника он тормозил изо всей силы, не давал сосредоточиться, отвлекал от занятий, звал и манил на улицу, где горела и возгоралась апрельским щедрым солнцем весна.

Оторвавшись от штaketника, они долго еще бродили по городу, и не столько по новому, обновляющемуся вместе с весной, сколько по старому, давно исчезнувшему, ушедшему в прошлое (их городу!), всюду узнавая только им одним известные его приметы. И, наконец, держась все так же под руку, поднялись на мост и встали точно посередине верхнего пролета, где когда-то и встретились впервые. Не сговариваясь, они склонились с перил и начали наблюдать за размеренно-налаженной железнодорожной жизнью внизу. Она была теперь совсем иной: бесследно исчезли дымные, угольные паровозы, и большие — «Иосиф Сталин» и «Серго Орджоникидзе» и маленькие, маневровые — «Кукушка», юркие и действительно по-кукушечьи крикливые; исчезли высокие, похожие на журавлей и аистов семафоры, механические стрелки, а вместе со стрелками и сами стрелочники и стрелочницы, всегда вооруженные флажками (желтым — разрешающим и красным — запретительным) и сигнальными дудками, которые кричали, будто луговая, гнездящаяся в болотах сразу за железнодорожной линией, птица-коростель. Все теперь управлялось автоматически, невидимо и неслышимо, и от этого как бы даже немного скучно. Вместо маневого паровозика «Кукушки», из конца в конец разъездных путей сновал его собрат и сменщик — маневровый, выкрашенный в зеленый цвет, тепловозик. Он тоже был и проворным, и юрким, так же послушно подчинялся командам диспетчера и составителей поездов, но не фыркал из трубы угольным едким дымом, не шипел паром и напрочь потерял кукушечий свой голос-пересчет.

Несколько раз под мостом проносились тяжелые грузовые составы с двойной тепловозной тягой, но как-то глухо и совершенно, казалось, равнодушно к окружавшей их жизни — лишь бы скорее вперед и вперед, скорее мимо этой скучной и однообразной жизни. Сергей Николаевич и Ирина Александровна даже толком не успели заметить, что они везут (лес, уголь, щебенку?), таким стремительным и недоступным глазу было их движение. А вот пассажирский многолюдный поезд, пока они стояли на мосту, не прибыл к станции ни разу. Наверное, Сергей

Николаевич и Ирина Александровна попали в какое-то «мертвое» время, в «окно», как его называют железнодорожники. А ведь им обоим хотелось увидеть именно пассажирский поезд, увидеть и вообразить, что они не просто так, не праздно стоят здесь, на мосту, а кого-то встречают, близкого и родного, или, наоборот, провожают в дальнюю счастливую дорогу.

Но пассажирский поезд так и не появился...

Заметили они под мостом и еще одну потерю. Возле железнодорожного депо исчез за ненадобностью поворотный круг (тепловозы и электровозы ходят теперь хоть вперед, хоть назад, а паровозы непременно надо было разворачивать на поворотном кругу в нужную сторону трубой и глазо-яркой фарой под ней), и этому Сергей Николаевич и Ирина Александровна огорчились больше всего. Какое было величественное и торжественное зрелище, когда многотонный и молчаливо-присмиривший паровоз медленно поворачивался на кругу!

Не изменились под мостом только рельсы. Они, как и прежде, змеились, блестели на солнце, перебежали, переливались одна в другую, пока далеко за переездом не сливались наконец в единую колею, уходящую в уже затопленные разливом реки луга, в хвойные зелено-яркие и лиственные, еще темные, леса, в готовое к весенней пахоте поле и просто в далекое неведомое пространство...

Им пора было уходить: апрельское горячее солнце уже клонилось за высокие окраинные осокори и сады; предвечерний ветер резкими частыми порывами налетал на город из-за реки, потерявшей в широком разливе берега, доносил оттуда водяные и первые цветочные запахи кувшинок-латаття, луговых ирисов и мяты.

Ирина Александровна оттолкнулась от перил, сделала шаг в сторону ступенек и вдруг повернулась к Сергею Николаевичу и сказала:

— А я тогда, действительно, едва не задохнулась в дыму.

— Я — тоже, — вспомнил и он тот, может быть, самый счастливый в своей жизни день, когда от ее шагов и вскрика: «Ну, что же ты?! Я задохнусь здесь!» у него перехватило дыхание, и он боялся лишь одного, что в чадном, никак не рассеивающемся дыму, не отыщет Иру.

Сергей Николаевич догнал Ирину Александровну, легко и свободно взял за руку, не за локоть, а за ладонь, горячую и чуточку влажную, как и в тот день, и, как и тогда, начал поспешно уводить ее с верхнего пролета к ступенькам, а потом и ниже, к подножью моста, жалея лишь об одном, что у него нет сейчас с собой велосипеда. А то бы он непременно посадил Ирину Александровну на раму (и она бы ни за что не отказалась) и повез через весь город на улицу Короленко. Пусть бы все встречные, знакомые и незнакомые люди завидовали им и восхищались ими...

С моста они сходили осторожно и медленно. Вернее, осторожно и медленно сходил Сергей Николаевич, все время придерживаясь одной рукой за перила. Сердце его часто давало сбой, куда-то опасно и глубоко проваливалось; в груди возникала острая, режущая боль и, наверное, нужно было бы остановиться на переходной площадке, принять лекарства, но Сергей Николаевич не останавливался, зная, как сейчас обеспокоится и встревожится Ирина Александровна. А ему этого не хотелось. Ничего — и так все как-нибудь затихнет.

Ирина Александровна шла по ступенькам бодро и молодо, озорно постукивая по каменным плитам каблучками, не шла, а, казалось, сбегала, широко размахивая крохотным своим портфельчиком, с двумя тугими за-

щелками, который несколько раз почудился Сергею Николаевичу в ее руке.

Когда же они оказались на тротуаре, Ирина Александровна вдруг сказала:

— Ты знаешь, а я дружу здесь с одной твоей одноклассницей.

— С кем же это? — удивился Сергей Николаевич, хорошо помня, что в школьные их годы Ира ни с кем из его одноклассниц не дружила, они были для нее слишком далекими, из другой школы, деревенскими девчонками, приходящими в город лишь на занятия.

— С Полиной Селезневой, — призналась Ирина Александровна.

Сергей Николаевич стал вспоминать весь свой класс, собранный из близлежащих деревень. И чтоб не ошибиться, не пропустить кого-нибудь, представил его воочию: где, кто и за какой партией сидел. Он всегда так делал, когда ему надо было по какому-либо случаю вспомнить одноклассников. Сергей Николаевич и сейчас пересмотрел их всех, пересчитал даже по партам и никакой Полины Селезневой не обнаружил.

— Не было у меня такой одноклассницы, — невольно разочаровал он Ирину Александровну.

— Как это — не было?! — вначале возмутилась она, уличая его в обмане, но потом повинилась: — Ой, это же мужняя ее фамилия — Селезнева, а какая девичья — я и не знаю.

И только теперь Сергей Николаевич вспомнил, что в параллельном, «А» классе (а он учился в «Б»), действительно, была девчонка по имени Поля.

— Артеменко ее фамилия! — безошибочно назвал Сергей Николаевич девичью Полину фамилию.

— Она говорит, что была влюблена в тебя в десятом классе, — немного с вызовом сказала Ирина Александровна.

— Да никто в меня не был влюблен, — по-мальчишески вспыхнул Сергей Николаевич.

— Ладно тебе, — не поверила его отпирательству Ирина Александровна. — Вот сходим к Полине — она все расскажет...

— Может, лучше в другой раз, — после недолгого молчания попросил Сергей Николаевич.

Ирина Александровна тоже замолчала на несколько минут, а потом покрепче взяла его за локоть и, словно боясь, что он передумает, быстро согласилась:

— Хорошо — в другой.

* * *

Дома они первым делом снова покормили голубей. И теперь голуби уже не дичились, не боялись Сергея Николаевича, а, признав его своим, знакомым человеком, спокойно клевали с его руки и просо, и хлебные крошки, и он по-детски радовался этому их доверию.

Потом они с Ириной Александровной обедали-ужинали, и обед этот прошел у них совсем не так, как завтрак. Привыкнув и кое-что узнав друг о друге за день, они уже не осторожничали, не боялись за каждое произнесенное слово (вдруг оно неверное и неверно сказанное), а разговаривали свободно и легко, и часто о совершенно незначительных, случайных вещах. Минутами Сергею Николаевичу казалось, что так вот по-семейному, по-домашнему они проводят с Ириной Александровной всякий вечер,

вспоминают прожитый день (все ли в нем сложилось хорошо и ладно?), загадывают, как прожить день завтрашний, чтоб он тоже получился удачливым и счастливым...

Когда же обед-ужин был завершен, со стола все убрано, посуда вся перемыта и расставлена по шкафчикам и полочкам, Ирина Александровна вдруг предложила:

— Давай выйдем на улицу, посидим на скамейке. Вечер такой теплый.

— Давай выйдем, — без промедления согласился Сергей Николаевич, укоряя себя, почему он сам не додумался до этого.

По настоянию Ирины Александровны они на всякий случай оделись поплотнее (вечер, конечно, теплый, весенний, но к ночи вдруг похолодает, и можно замерзнуть и простыть). При выходе Ирина Александровна, придирчиво оглядев Сергея Николаевича, поправила у него на груди шарф, поинтересовалась, взял ли он перчатки, и лишь после этого распахнула дверь.

На скамейке под осокорем они сидели долго, до первой, второй и до третьей звезды, до почти что уже и глубокой ночи. И сидели молча, как будто боясь неосторожным и громко сказанным словом нарушить тишину и покой этой ночи.

Ирина Александровна забралась на скамейку с ногами, взяла Сергея Николаевича под руку, прижалась к нему, а потом и вовсе положила голову на плечо. И он сидел, не смея пошевелиться, как сидел здесь точно так же полвека тому назад, слушал ее ровное горячее дыхание, и оно казалось ему таким молодым и юным...

* * *

На ночлег Ирина Александровна определила Сергея Николаевича в комнату-кабинет Александра Алексеевича, постелила на широком раскладном диване белоснежную постель, потом указала, как включать-выключать настольную лампу и на прощанье нежно-ласково прикоснулась к плечу ладонью:

— Спи!

Он ответно пожелал Ирине Александровне спокойной ночи, подождал, пока стихнут за дверью ее легкие шаги и тут же погасил свет, который почему-то показался ему слишком ярким и резким.

Но уснул Сергей Николаевич не сразу. Он долго лежал с открытыми глазами, думал, как привык это делать дома, в Москве. В последние перед расставанием с прожитым днем минуты, в полной тишине и почти отрешенности от мира у него всегда рождались самые сокровенные замыслы и сюжеты будущих рассказов, повестей и романов. Но сегодня он думал совсем об ином. Все-таки надо было ему отыскать Ирину Александровну лет десять, а то и пятнадцать тому назад, когда впереди ожидалось вон еще сколько жизни (и кто знает, может, непредсказуемой, совместной), а теперь остается лишь прощание. Тоже, конечно, немало: увидеть ее и провести с ней рядом несколько дней перед неизбежным и уже безвозвратным расставанием. И все же жаль...

Ирина Александровна бесшумно, стараясь не вспугнуть его, не потревожить перед засыпанием, ходила в большой комнате, в горнице, что-то доделывала по хозяйству. Сергей Николаевич несколько раз порывался окликнуть ее: «Ира!».

Пусть бы Ирина Александровна вошла, посидела вон там на кресле, у стола, еще раз, совсем уже тихо и с придыханием сказала ему: «Спи!» — и прощание их отдалилось бы, затерялось в ночи и темени...

Но Сергей Николаевич так и не окликнул ее, не решился. Глухая, апрельская ночь окутала все вокруг непроглядной пеленой и завесой, погасила все огни, скрала все звезды и даже весенние живительные запахи наливающихся соком деревьев, влажной песчаной земли, первых цветов в палисадниках и на клумбах. А вот прощания не скрала и не утаила...

* * *

Разбудили Сергея Николаевича голуби. Вначале они просто ходили по подоконнику, ворковали (как будто сердясь за что-то и обижаясь друг на друга), а потом принялись настойчиво постукивать клювиками в раму и стекло. Наверное, они делали так прежде, при жизни их заботливого хозяина, Александра Алексеевича. Птиц и зверей никогда не обманешь. Сегодня голуби безошибочно почуяли, что комната не пуста, что там кто-то есть, безмятежно и крепко спит в апрельской темно-синей ночи, и решили, что это вернулся Александр Алексеевич. А раз так, то его надо непременно разбудить, постучать в окошко клювиками: он тут же широко распахнет раму и щедро покормит их с ладони зерном и хлебом.

Заменить голубям Александра Алексеевича Сергей Николаевич, конечно, не мог, но он все равно подошел к окну и сколько можно широко распахнул раму. Голуби в первые мгновения испугались его, отпрянули, но потом вернулись назад и стали вопросительно смотреть на Сергея Николаевича, ожидая положенного им утром зерна и хлеба. А он, такой недогадливый, не знающий повадок и привычек птиц, не запасся ни кормом, ни водой и теперь беспомощно выбросил навстречу им пустые ладони. И голуби (надо же!) принялись торкаться в них клювиками, делая вид, что в ладонях, в горстях у Сергея Николаевича есть и хлебные крошки, и золотисто-спелое просо, и даже плещется там озерцо ключевой прохладной воды.

— Сейчас завтракаем и едем! — заговорила с Сергеем Николаевичем, прокричала со двора Ирина Александровна.

Оказывается, она давно уже была на ногах (как и когда проснулась он не слышал) и теперь готовила в гараже-сараяе в дорогу машину. Сергей Николаевич устыдился своего долгого сна, быстро оделся и вышел в горницу.

Завтрак уже стоял на столе, прикрытый легкой бумажной скатертью. Сергей Николаевич еще больше засовестился своей сонливости и хотел было как можно скорее поспешить на помощь Ирине Александровне (завтрак подождет, успеется): все-таки он мужчина и шофер еще со времен целинного своего побега.

Но она опередила его. Вошла в дом в спортивном (голубое с белым) костюме и в такой же спортивной, застегнутой на молнию курточке, вся по-утреннему свежая и вдохновенная.

Допрашивать его с пристрастием о проведенной ночи (как спалось, как отдыхалось на новом, непривычном месте?) она не стала. Зачем допрашивать, когда и так все видно: он бодр, полон жизни и здоровья и готов в дорогу, хоть в ближнюю, хоть в самую дальнюю, на край света. Главное, чтоб вдвоем с Ириной Александровной...

Сергей Николаевич ожидал, что завтрак будет по-городскому быст-

рым и легким: кофе, чай, бутерброды. Но он ошибся. Ирина Александровна поставила перед ним полную тарелку картофельного, исходящего густым паром супа. На робкую попытку Сергея Николаевича отказаться от него, она строго и назидательно сказала:

— Мужчина с утра должен хорошо поесть!

И он послушно подчинился ей, как когда-то в юные свои, школьные и студенческие годы подчинялся матери, простой деревенской женщине, которая по утрам говорила ему точно такие же слова, зная, что предстоящий день у Сергея (каникулы не каникулы, отпуск не отпуск) будет трудным, требующим много силы и здоровья. За недолгие каникулы Сергею надо было заготовить матери на зиму дров, накосить сена, подремонтировать сараи, клетушки и заборы.

Сегодня, правда, никакой особо тяжелой работы вроде бы не предвиделось: съездят они в село, постоят на пустыре возле бывшего его родительского дома — и назад. Еще в Москве Сергей Николаевич решил, что долгого прощания в селе он постарается избежать во что бы то ни стало. И пусть земляки, односельчане, которые еще помнят и знают Сергея Николаевича, простят его. Нет уже у Сергея Николаевича на долгое прощание ни сил, ни времени...

Но Ирина Александровна рассудила все по-своему (и тут почуяла и догадалась), что день ему предстоит тяжелый и трудный, и кормила Сергея Николаевича, мужчину, работника, основательно, сытно, как кормят деревенские женщины своих мужей, собирая их с утра пораньше в поле — на пахоту или убorkу, в луга — на косьбу и метание стогов, в леса — на заготовку дров.

Откуда только и переняла, откуда только и разведала Ирина Александровна — женщина по рождению своему городская, проведшая полжизни в Москве или в заграничных странах, в посольствах и представительствах — этот давний сельский обычай?! А вот же разведала и не выпустила Сергея Николаевича из-за стола до тех пор, пока он не съел все, что она ему подала-приготовила, поднявшись тоже, как истинная деревенская женщина, ни свет ни заря. При такой женщине, жене, любой мужчина должен и обязан чувствовать себя сильным и здоровым, надежной ее опорой и защитником...

* * *

Машину из гаража Ирина Александровна вывела сама, Сергей Николаевич лишь помог ей открыть и закрыть дворные тяжелые ворота. Но потом он не выдержал и предложил ей:

— Может быть, я поведу?

— Еще чего! — возмутилась она его предложением. — Ты у меня гость. Садись — смотри в окошко!

Сергей Николаевич скрытно улыбнулся этой новой ее строгости, опять подчинился и занял место на переднем сидении рядом с Ириной Александровной, но смотреть стал не в окошко, а на нее, восхищаться, как она уверенно справляется с машиной.

Ирина Александровна заметила эти его восхищенные взгляды, почти в открытую загордилась собой и уязвила мужское шоферское самолюбие Сергея Николаевича:

— Да ты и не умеешь так водить, как я.

— Это почему же? — запротестовал Сергей Николаевич.

— Потому, что я чувствую, — все еще продолжая разыгрывать его, сказала она, а потом, немного помедлив, вдруг произнесла как-то уже совсем по-иному, с иной интонацией: — Я все, Сережа, чувствую и все понимаю...

Он сразу не нашелся, что ответить ей, замолчал и действительно стал смотреть в окошко. Ирина Александровна тоже ничем не тревожила его, и так, в молчании, они проехали всю улицу Короленко, пересекли центральную площадь, удачно, всего за несколько мгновений до закрытия шлагбаума, проскочили через переезд. И лишь после, когда миновали Железнодорожный, похожий на китайскую пагоду, клуб (так причудливо построили его еще в первые послереволюционные годы), мельницу, ту самую, где мельником когда-то был старый Мирон и где Сергей с матерью по несколько дней проводил в заводе, деповскую электростанцию, опять разговорились о разных, совсем вроде бы незначительных мелочах.

Они вдруг вспомнили, что вот здесь, возле электростанции, в годы их детства и юности росли три громадных тополя-осокоря, и на каждом было гнездо аиста. Но пока Сергей Николаевич и Ирина Александровна странствовали по свету, тополя спилили, и аисты вынуждены были свить себе гнезда где-то совсем в ином месте.

А здесь, рядом с электростанцией, стало голо и пустынно...

Чуть дальше, за поворотом улицы, исчез знаменитый городской колодец. Он был очень глубокий, вырытый в незапамятные времена какими-то заезжими мастерами-умельцами (так гласили предания и легенды), искателями воды. И они не ошиблись в выборе места: вышли на родниковый подземный ключ, забрали его в каменный искусно выложенный сруб, а сверху поставили на неодолимо крепкой дубовой подсохе журавель. Вода в этом родниковом колодце была прозрачно-чистой, по-ледяному холодной даже в самую жаркую летнюю пору. На Крещение возле колодца всегда свершался крестный ход, воду освящали при большом стечении народа — и она была святее святых. Унесенная по домам в ведерках, кувшинах и бидонах вода после годами стояла свежей и целебной.

Сергей Николаевич и Ирина Александровна помнили этот колодец тоже с самого раннего детства. Сергей по дороге в школу или из школы часто останавливался возле него, чтоб утолить жажду после долгой дороги или после свидания с Ирой, когда в горле и груди у него все пересыхало и испепелялось. А Ирина Александровна, оказывается, по выходным и праздничным дням ходила к этому колодцу вдвоем с Александром Алексеевичем, чтоб набрать в специально заведенное ведро воды для особого, праздничного чая.

Пока были живы старые люди, они за колодцем строго следили, чистили всем окрестным миром два раза в год, обновляли на журавле кряк и ведро. Но вот год за годом старые люди вымерли, ушли, а молодым стало следить за колодцем недосуг да и незачем. В городе провели водопровод: вода появилась в каждом доме, только отверни краник, и — вот она — течет, рвется наружу тугой напористой струйкой. О колодце постепенно забыли, родничок в нем, будто обидевшись за это забвение, иссяк. Колодец, ненужный и опасный (особенно для детей), вначале забросали всяким мусором, а потом и вовсе зарыли, сравняли с землей. Теперь на его месте возвышается какой-то хлипкий торговый павильончик-будочка.

Сергей Николаевич и Ирина Александровна посокрушались и о колодце, таком памятном им в детстве и юности.

Заметили они здесь, на городской окраине, и много других потерь: в

старых домах новые оцинкованные крыши (а раньше все были крашенные ярко-красным, горящим на солнце суриком); новые железные ворота и калитки (а тогда были деревянные, резные, с перекинутыми с ушулы на ушулу двускатными, тоже резными сводами-коньками).

Возле маслозавода на месте котлована, где в послевоенные годы всегда делались заготовки льда (мужики из близлежащих деревень возили его в середине марта на санных обозах), теперь стоял богатый коттедж.

Но вот промелькнули последние городские дома; ленточка асфальта перескочила через мосточек-кладку, под которым, заключенный в железобетонную трубу, по-весеннему клокотал безымянный ручеек, и словно кто-то невидимый широко распахнул дверь в свободное и чистое пространство: в поля, в луговой, подступающий к самому городу, ольшаник, в бегуший навстречу машине сосновый бор.

Душа у Сергея Николаевича вздрогнула и зашлась в щемящей радости и тревоге — родина!

Ирина Александровна почувствовала эту особую для него минуту (не зря же она сказала: «Я все, Сережа, чувствую и все понимаю...») и тоже замолчала.

Сосновый, нависающий над дорогой бор больше всех иных перемен удивил Сергея Николаевича. Когда-то, в начале пятидесятых годов, они всей их деревенской школой сажали здесь на песчаном пустыре колюче-острые сосенки. Потом несколько раз пропалывали их, окучивали, стараясь на всю жизнь запомнить свой ряд, который тянулся от дороги до лугового болотистого пастбища-выгона. Но, конечно, не запомнили. Через год-другой сосенки, чуть окрепнув и вытянувшись, перемешались, стали похожими, будто сестры-близнецы, и сколько ни старайся, не отличишь свой ряд от соседнего. Пока Сергей жил дома, в селе, он не замечал, как сосны растут. Временами ему даже казалось, что они не растут вовсе, что в этом году точно такие же, какими были в прошлом и позапрошлом. Впервые Сергей увидел, что сосны уже не просто выстроенный рядками в затылок друг другу подлесок, а настоящий густой и труднопроходимый лес, когда вернулся домой после четырехлетней службы на флоте. Темно-зеленой высокой стеной лес застил весь горизонт, скрывал торфяное болотное-выгон. Сергей изумился этому, но быстро привык, до конца еще не осознавая ни своего возраста, ни возраста посаженного им когда-то леса. Они оба были такими молодыми, юными и все у них было еще впереди...

И вот лишь сейчас, после двадцатилетней разлуки, Сергей Николаевич остро ощутил всю разницу их возраста и их жизни. Лес, хотя и превратился в могучий сосновый бор, оставался по-прежнему молодым и впереди у него еще многие и многие десятилетия жизни, а у Сергея Николаевича она на излете...

Сосны теперь стали корабельно-высокими, стройными; под напором лугового вольного ветра они росли с заметным наклоном к западу, к закату солнца, затеняли и будто хотели увести куда-то в сторону, в свои темно-густые дщри такую узенькую и беззащитную ленточку асфальта.

Ирина Александровна разгадала эту их хитрость и коварство, прибавила скорость и успела выскользнуть из утренней боровой темени на простор. И, кажется, сделала все это не зря. Когда Сергей Николаевич оглянулся назад, то никакой дороги там не увидел: сосны склонились над ней еще ниже, сомкнулись многоствольными своими рядами и навсегда скрыли в темноте и холоде.

Впереди, за обсаженной вербами плотинной-гатью, в глубокой луговой низине простиралось село.

Сердце у Сергея Николаевича опять защемило и забилося с неостановимой силой. Обманывать он себя не хотел: поездка эта в родное село, свидание с ним были последними. Никогда прежде Сергей Николаевич не думал о том, что такое мгновение однажды наступит, и надо будет прощаться с каждым деревенским домом, с каждой улочкой и переулком, с каждым деревом, с рекой, теперь, в весеннем разливе, такой широкой и неоглядной.

Сколько раз в прежние, далекие годы, возвращаясь домой из школы на велосипеде, смотрел он отсюда с песчаного холма на село и думал лишь о том, как бы поскорее проскочить плотину по узенькой, всегда чуть влажной тропинке, которая бежала-вилась под вербами, а потом мчатся вдоль заборов и жердяных изгородей уже по иной, деревенской песчано-твердой тропинке, позванивая звоночком пешеходам, чтоб они уступали ему дорогу, почти что летящему на крыльях после свидания с Ирой. Спроси его кто-нибудь в те минуты, красивое его село или не очень, обыкновенное, каких десятки и сотни, он, наверное, не смог бы ответить.

А вот сегодня, когда едет в последний раз, отвечает: необыкновенное, одно-единственное на свете, как была и есть необыкновенная и одна-единственная на свете Ира, Ирина Александровна. И вот теперь она, ничего не зная о том, везет Сергея Николаевича на последнее свидание с родным селом, с родиной, с заросшим полынью пустырем, где когда-то стоял его родительский дом. И Сергей Николаевич должен благодарить судьбу, что случилось именно так, что едут они, мчатся по затененной вербами плотине, по окраинной сельской улице вдвоем с Ириной Александровной. А доведись ему пробираться сюда одному — то последней этой дороги он мог бы и не выдержать.

Дом Сергея Николаевича стоял когда-то в центре села, за школой и церковью, на берегу реки. В такую вот весеннюю пору, во время разлива вода заливала огороды, подбиралась к подворью, и Сергей, опробуя только что обновленную, заново проконопаченную и засмоленную лодку-плоскодонку, подплывал иногда на ней к самому крыльечку. Ехать к дому можно было вдоль села до церкви и школы, но можно было и, свернув в маленький переулочек (он у них звался Улочкой), проникнуть к нему и вдоль огородов, по низам. Все-таки уже конец апреля, и первая талая вода, поди, отступила, ушла в луга, освободив всегда наторенную низовую дорогу.

Сергей Николаевич попросил Ирину Александровну свернуть в переулочек-улочку. Сейчас, оказавшись в селе, он еще больше укрепился в мысли, что ни с кем из деревенских жителей ему встречаться не надо. Старых, помнящих Сергея Николаевича, сверстников, почти не осталось, а молодые его не знают, он для них чужой, посторонний человек.

Низовая дорога, действительно, уже освободилась, вынырнула из-под воды, отвердела, и Ирина Александровна мчалась по ней, словно по асфальту, не сбавляя скорость.

Ни в селе, ни возле реки, в низах, им почти никто не встретился. На окраине, при спуске с плотины, на новенький, сверкающий лакированной крышей и боками, «Форд», который вела пожилая женщина, с удивлением и завистью посмотрели два молодых парня, ладившихся куда-то ехать на мотоцикле. А в лугах распрямилась во весь рост и проводила машину долгим, тоже удивленным взглядом из-под руки какая-то стару-

ха, рвавшая, судя по всему, первый весенний щавель, который у них называют «воробьиным» — такой он маленький и неприметный. Вот и все встречи-расставания. Оно, может, и к лучшему...

— Здесь! — наконец попросил остановиться Ирину Александровну Сергей Николаевич, когда мелькнули за деревьями железная крыша школы и купол церкви.

Ирина Александровна затормозила машину и вопросительно посмотрела на Сергея Николаевича.

— Теперь пешком, — первым выбрался он из «Форда» и указал, куда им надо идти. — Вон туда, на бугорок.

В годы детства и юности Сергея Николаевича от высоко стоящего на речном берегу дома до низовой дороги простирался у них с матерью огород, всегда разделенный канавкою-разорою на две продольные полоски. Одну они засеивали рожью, другую отводили под картошку. А в самом низу, у дороги, когда сходила полая вода, вскапывали грядки: четыре — под редиску, морковь, свеклу, фасоль и лук и две — под огурцы и капусту. За этими они ухаживали с особым бережением. Ведь если не уродится морковь или свекла, то можно как-нибудь пережить, перебиться зиму и с малым их урожаем, а если не заладятся огурцы и капуста — тогда беда. В те тяжкие послевоенные времена Сергей с матерью только спасались картошкой, солеными огурцами и квашеной капустой, изредка подкупая в сельпо хамсу.

В конце апреля, к первому теплу рожь густо зеленела, кустилась, шла в рост, по ней часто бродили длинноногие аисты, охотились за лягушками, которые легкомысленно выбирались на сушу из речной болотистой отмели.

Но теперь от бывших грядок, от разделенного на две ленточки огорода не осталось и следа: все сравнялось, потеряло прежние очертания, и по всему склону сплошной стеной стояла потемневшая за зиму полынь.

Сергей Николаевич с трудом различал в ней остатки межи, которая когда-то разделяла их огород с соседским. Он встал на эту межу и, притапывая на ней уже начавший подниматься пырей, повел Ирину Александровну вверх, к холмику-бугорку, почти могильному кургану.

— Вот здесь стоял наш с матерью дом, — указал на него Сергей Николаевич.

Ирина Александровна подошла к бугорку поближе, словно хотела удостовериться, так ли это, и мог ли на самом деле стоять здесь, среди почерневшей полыни и репейника, высокий бревенчатый дом с русской печкой и лежанкой, от которых остался нынче лишь глиняный наплыв, с темными плохладными сенями, каморой и погребом, с многочисленными сараями, поветью и клунею, о которых она столько слышала в городской своей жизни и еще больше вычитала в умных достоверных книгах?

Сергей Николаевич ожидал, что Ирина Александровна сейчас спросит у него что-нибудь о доме: куда он стоял окнами и крылечком — на реку и луг или на церковь и школу, или что-нибудь про сад: был ли у них сад, и какие росли в нем деревья, и был ли колодец? Но она ничего не спросила, а лишь сложила на груди уставшие, наверное, от долгой езды руки и грустно сказала:

— Как жаль, что я не знала твоей матери.

— Мне тоже жаль, — подождав мгновение, пока затихнет порыв лугового влажного ветра, ответил Сергей Николаевич.

Много раз в своей жизни думал он о том, как хорошо бы они жили с Ириной Александровной под опекой и заботой его матери, случись им стать мужем и женой. Ирина Александровна с матерью быстро нашли бы общий язык, сдружились. Они очень похожие по характерам: обе жадные до работы, легкие на подъем и какие веселые и неунывающие при любых обстоятельствах жизни. Сергею Николаевичу в окружении Ирины Александровны, его жены, и матери тоже жилось бы легко и покойно.

А как хорошо было бы в материнском, родительском доме детям Ирины Александровны и Сергея Николаевича, трем девочкам и троим мальчикам! Все детство прошло бы у них здесь, на берегу реки, в лугах, ольшаниках и ельниках, в дальних борových лесах, куда бы бабушка, большая любительница собирать грибы, ягоду и лекарственные травы, водила их. Дети выросли бы здоровыми телом и духом и уж ни за что бы не позволили, чтобы их дедовский наследственный дом разрушился и исчез с лица земли...

Но не судьба! Все прошло мимо, все прошло стороной... Сергей Николаевич сорвал веточку полыни, черную по стебельку, но с сизовато-белыми, сохранившими прежний свой летний цвет лохматыми шариками на вершинке. Он долго смотрел на эту ничем вроде бы неприметную веточку и удивлялся совершенству природы: веточка умерла еще прошлой осенью, но сохранила все свои очертания, соразмерность и, главное, запах — горький, и в этой горечи какой-то по-особому притягательный.

Сергей Николаевич достал из кармана записную книжку, вложил туда веточку и плотно прижал странички. Пусть лежит там, пусть хранится! Дома, в Москве, горький ее запах будет так желанен ему и так необходим...

Ирина Александровна тоже сорвала веточку полыни, поднесла ее к лицу, будто какое опухольце, веер, глубоко вдохнула запах, по-женски твердо прикрыв глаза, чтоб пережить минутное головокружение. Когда же пережила и открыла чуть заслезившиеся глаза, то вдруг повернулась в сторону Сергея Николаевича и с нежной улыбкой и придыханием сказала:

— Люблю полынь!

— За что же ты ее любишь? — опять переждав порыв ветра, спросил Сергей Николаевич, хотя ничуть и не удивился признанию Ирины Александровны.

— Не знаю, — пожалала та вначале плечами, а потом, словно догадавшись о мыслях Сергея Николаевича, добавила: — За память, наверное. Вот состарилась, умерла, а запах какой живой — голова от него кружится и млеет...

Так и сказала, немного смешно и непривычно, по местному наречию — «млеет», — но как точно и верно.

Голова у Ирины Александровны, похоже, действительно кружилась и мледа, потому что она вдруг начала как-то неистово и без разбора срывать один стебелек полыни за другим и складывать их в подобие черно-сизого, позванивающего на ветру букета.

— Нам пора! — сам не зная почему, остановил ее Сергей Николаевич.

Ирина Александровна резко разогнулась, пришла в себя, но букетик не выбросила, а связала его попавшейся под руку былинкой и первой вступила на межу, чтоб идти в понизовье огородов к машине, которая уже явно заждалась их...

* * *

Третий, прощальный день Сергей Николаевич и Ирина Александровна опять провели неразлучно. Взявшись за руки, поддерживая друг друга, они целый день бродили по городу. Побывали на всех его самых дальних окраинах, в самых маленьких его улочках и переулках, где когда-то с Ирой и Сергеем что-нибудь случалось, памятное до сих пор и не забытое. Они даже забрели в дубовую рощу за околицу, еще по-зимнему голую, без единого листочка (дубы ведь распускаются позже всех иных деревьев — в мае и июне) и от этого ярко и насквозь пронзенную апрельским неутомимым солнцем. И уж, конечно же, обнаружили там велосипедную тропинку (она точно такая же, как и прежде), бегущую, извивающуюся между столетними дубами вдоль железнодорожной насыпи. И посокрушались, что нет у них с собой велосипеда, а то бы они, старые не старые, а все равно прокатились бы до выезда из рощи, до первого железнодорожного полустанка Радвино. Сергей Николаевич бросил бы на раму свою кожаную куртку, и Ирина Александровна не устояла бы перед его предложением и зазывом, легко оттолкнулась бы туфелькой от земли и уселась на раме в полуоборот к нему, крепко держась руками за руль. Они бы поехали вначале медленно, тяжело и шатко (Сергею Николаевичу пришлось бы даже привставать из седла), а потом разогнались бы все сильней и сильней, так, что встречный ветер свистел бы у них в ушах. Волосы Ирины Александровна выбились бы из-под берета и, подхваченные, гонимые ветром, касались бы лица Сергея Николаевича. От этого прикосновения лицо его вспыхивало бы горячим юношеским ознобом, который потом предательски катился бы по всему телу, овладевал им, заставляя громко и сильно биться сердца. Ирина Александровна, Ира, даже встревоженно поворачивала бы к Сергею Николаевичу голову и с неповторимым своим придыханием спрашивала:

— Тебе не тяжело?

— Нет, не тяжело, — отвечал бы он, как всегда и отвечал прежде, полвека тому назад, и еще сильнее нажимал бы на педали, стараясь справиться со странным этим, похожим на болезнь ознобом.

Но велосипеда не было. И они все шли себе и шли пешком по узенькой песчаной тропинке между деревьев и так дошли до самого Радвино. Обнаружили они это лишь в те мгновения, когда прямо перед ними вдруг возник крошечный станционный домик, а железнодорожная колея раздвоилась и побежала двумя параллельными несмыкающимися линиями. Они удивились, что зашли так далеко, а еще больше удивились тому, что ничуть не устали от этой долгой и, наверное, уже небезопасной в их возрасте прогулки...

* * *

А вечером Сергей Николаевич уезжал. Они снова как-то совсем уже по-семейному, когда не надо друг друга стесняться и осторожничать, поужинали, выпили по рюмке водки. И ничего — она им ничуть не повредила, а, наоборот, от прощальной этой рюмки им стало только лучше и даже совсем хорошо — и скорое расставание показалось обоим не столь уж и тяжелым.

Потом они вышли во двор, чтоб Сергей Николаевич смог в последний раз покормить и тоже попрощаться с голубями. И тут Ирина Александровна

ровна немало удивила его и озадачила. Разбрасывая зерно голубям, которые, только увидя Сергея Николаевича и Ирину Александровну, всей стайкой бросились к их ногам, а два турмана привычно уселись Ирине Александровне на плечи, она вдруг сказала:

— Я хочу тебе сделать подарок!

— Какой? — не придал он вначале особого значения ее словам.

— Я подарю тебе голубей! — сказала Ирина Александровна после недолгой паузы. — Вот этих двух — турманов.

При этом она поочередно сняла голубей с плеч, прижала их к груди и начала осторожно и нежно гладить по белым упругим головкам. Голуби ответно заворковали, принялись с такой же осторожностью клевать ее в ладошки и запястья.

Сергей Николаевич, наблюдая за всей этой, почти ритуальной сценой, не знал, что ответить. Конечно, он готов принять от Ирины Александровны любой подарок, в том числе и столь необычный — двух голубей-турманов, так любимых ею. И пусть он по-настоящему не умеет обращаться с голубями, не знает, куда их поселить в Москве (разве что на даче в Переделкино), все это неважно, не имеет никакого значения. Но что будет, что случится и станет с голубями потом, после него?.. Куда они денутся, кто их приютит, кто будет кормить по утрам с ладошки, вести с ними долгие разговоры, вспоминать Ирину Александровну, ее дом на улице Короленко и высокую голубятню над сараем?! На опустевшей переделкинской даче голуби постепенно одичают, а потом, скорее всего, и погибнут.

— Да ты не бойся, — улыбнулась Ирина Александровна, похоже, догадываясь обо всех его опасениях и страхах (увы, не обо всех), и отпустила голубей на волю. — Я не сейчас их тебе подарю. Вот управлюсь с огородом, с садом, потом приеду к тебе в гости, на Троицу, например, и привезу голубей. Ты приглашаешь меня на Троицу?

— Приглашаю! — ни минуты не медля, ответил Сергей Николаевич, сосчитав в уме, что до Троицы еще более двух месяцев, и что случится за эти месяцы — одному Богу известно...

* * *

На вокзал они пришли за полчаса до прибытия поезда. Посидели плечом к плечу (на дорожку) в тени багажного отделения на скамейке (она тут всегда стояла), помолчали. А когда вздумали заговорить, оказалось уже поздно: поезд, надрывно шипя и постанывая, поднырнул под железнодорожный мост и застыл на перроне.

Настала недолгая минута прощания. Ирина Александровна держалась молодцом, стойко и бодро, жалобной женской слезы не обронила, а лишь, припав к груди Сергея Николаевича головой, почти неслышимо вздохнула:

— Ох, Сережа, Сережа!..

Он обнял ее, поцеловал в щеку только ей одной понятным бережным поцелуем. И тогда Ирина Александровна, уже отпуская его на ступеньки вагона, во всеуслышание крикнула:

— Я напишу тебе!

— Хорошо! — ответно крикнул Сергей Николаевич через плечо проводницы и в последний раз увидел Ирину Александровну.

Она стояла чуть в стороне от многолюдной толпы провожающих, ближе к начавшему набирать скорость поезду. Рукой вдогонку Сергею Ни-

колаевичу Ирина Александровна не махала, а зачем-то сняла берет и, встряхнув головой, рассыпала по плечам пышные свои золотистые волосы. И в прощальное это мгновение показалась Ирина Александровна Сергею Николаевичу такой одинокой, такой незащищенной и такой брошенной всеми на свете, что ему впору было сорвать стоп-кран, спрыгнуть с поезда и, сколько осталось у него сил, побежать ей навстречу...

* * *

Письмо от Ирины Александровны пришло на пятый день по приезде Сергея Николаевича в Москву. Судя по всему, она написала его сразу, как только вернулась с вокзала.

Сергей Николаевич, вынув письмо из почтового ящичка, тут же хотел было его и прочитать, но потом сдержался, унес в квартиру, положил на письменный стол и вдруг испугался продолговатого этого белоснежного конвертика. Ведь не пять и не шесть дней он был в дороге, а целых полвека, целую вечность — и Бог знает, что в нем. Может, вообще лучше конверт не распечатывать и письмо не читать. Главное, оно пришло, а что в нем — пусть останется тайной...

И все-таки конверт он открыл (не хватило у него силы воли и мужества не открыть его).

Было по-апрельски чистое, светлое утро. Солнце ярко освещало кабинет Сергея Николаевича, книжные полки, рабочий его, заваленный бумагами стол, картины, фотографии на стенах, но Сергею Николаевичу почему-то показалось, что света недопустимо мало, что в кабинете темно и сумрачно. Он включил в помощь потускневшему этому солнцу настольную лампу, потом долго протирал и прилаживал очки, зачем-то взял в руки карандаш, как будто собирался править рукопись, и лишь после столь долгого приготовления решился письмо прочитать.

Сереза, здравствуй! —

писала Ирина Александровна старательным своим, по-школьному аккуратным почерком, который Сергей Николаевич различил бы среди тысячи других.

Ты только что уехал, а мне кажется, что с этой минуты прошла уже целая вечность. Почему так — не знаю! Но вечность!

Ты не спросил меня, а я сама не рассказала (и хорошо, что не спросил, и хорошо, что не рассказала), что же со мной произошло тогда, в Москве. Помнишь, у Бунина есть рассказ «Солнечный удар»? Там случайно встречаются на пароходе и проводят ночь в уездной гостинице поручик и женщина, так и не назвавшая своего имени. Примерно то же произошло и со мной — солнечный удар. Ты был далеко, в Казахстане, а тут вдруг появляется этот самый поручик, без двух минут дипломат, красавец и умница, и намного старше меня — и я не устояла. Опомнилась я лишь через три года, уже в Египте с первой дочерью на руках. У Бунина поручик, проводив женщину на пароход, расставшись с нею, почувствовал, что постарел на десять лет. А я, когда опаматовалась, когда поняла, что сломала судьбу и тебе, и своему, ни в чем перед нами с тобой не повинному мужу, и самой себе — ужаснулась и сразу постарела на целую жизнь. И так и прожила всю эту жизнь до нашей нынешней встречи, будто затаив дыхание, будто в паровозном дыму и угаре.

Скоро (очень скоро, я посчитала — всего через сорок пять дней, на Троицу) я к тебе приеду, и мы больше никогда не разлучимся. Сережа, я любила тебя всю жизнь, начиная с той нашей, первой, встречи на мосту, когда ты вывел меня из дыма (я, действительно, едва не задохнулась там), и люблю сейчас.

Да хранит тебя Бог в радостные эти весенние дни! Целую тебя повинным своим поцелуем! Целую и люблю!

Ира.

Подобного письма ожидал Сергей Николаевич от Ирины Александровны или какого-либо иного, он ответить не мог. Никогда Сергей Николаевич Ирину Александровну ни в чем не обвинял и никогда не требовал от нее оправдания. Наоборот, он считал во всем повинным себя. Раз женщина уходит к другому мужчине, значит, первого (прежнего) она по-настоящему не любила. Не за что было его любить...

Повторно читать письмо Сергей Николаевич не стал, почему-то почувствовав, что причинит этим Ирине Александровне боль и страдание. В любви и измене признаются лишь один раз, а потом (в другой и третий) — только взаимная боль и страдание...

Сергей Николаевич отложил письмо в сторону, достал чистый лист бумаги и решил сейчас же, немедленно написать Ирине Александровне ответ. Ведь она там, в родном их далеком городе, ожидает этого ответа, может, во сто крат сильнее, чем ожидал от нее письма Сергей Николаевич.

Дрожащей, не очень твердой рукой он написал первые три слова:

Здравствуй, Ирина Александровна!

И вдруг растерялся над предательски чистой страничкой. Что писать дальше, он не знал. Слова любви и прощения?! Так Ирина Александровна, Ира, и так знает, что он любит ее всю жизнь и что давно простил мнимые ее вины. Иначе не приехал бы к ней: и к нынешней, уставшей и измучившейся в одиночестве, и к той, юной, счастливо-восторженной девочке Ире.

Наверное, легче и проще всего было бы написать одну-единственную фразу и строчку: «Приезжай! И приезжай как можно скорее!» Но и этого Сергей Николаевич написать не мог. Во-первых, они договорились, что Ирина Александровна приедет на Троицу, когда управится с огородом и садом, и зачем же нарушать их взаимное обещание и срывать ее в дорогу раньше времени. А во-вторых, может быть, ей и вовсе приезжать не надо. Приедет потом, после, когда с ним уже все случится, а пока пусть проживет эти сорок пять дней в радости ожидания. Для нее это ожидание сейчас гораздо лучше, чем сама встреча, которая неизвестно еще какой будет. Хорошо, если Ирина Александровна застанет его на ногах, а если нет...

Сидел Сергей Николаевич над чистой страничкой долго, так долго, как никогда не сидел ни над одной рукописью. И наконец пришел к здоровой и разумной мысли, что не стоит ему торопиться с ответом Ирине Александровне, надо отложить его на завтра, все хорошенько обдумать и, главное, остыть. Ведь сегодня в горячечно-возбужденном состоянии он действительно сможет написать Ирине Александровне совсем не то (и не так)...

Сергей Николаевич оделся, взял в руки палку и пошел гулять в небольшой сквер, который начинался сразу за его домом. Палку эту он смастерил, согнул в удобный для руки захват в Переделкино из случайно найденной гибкой дубовой ветки. Поначалу Сергей Николаевич брал с собой ее лишь на прогулки ради игры и забавы, да немного для хвастовства перед другими переделкинскими писателями — постояльцами, которые сами подобного изделия смастерить не могли (особенно согнуть в четверть круга рукоятку), но с середины зимы вдруг почувствовал, что ходить без палки ему тяжело, что при каждом шаге требуется опора и поддержка. Собираясь на родину, к Ирине Александровне, Сергей Николаевич долго сомневался — брать ее или не брать. И все-таки не взял, решив, что как-нибудь обойдется и без палки, а то Ирина Александровна совсем огорчится его стариковского немощного вида. И слава Богу, все обошлось, и Сергей Николаевич, путешествуя с Ириной Александровной по родному городу, не раз хвалил себя, что удержался и оставил палку дома. Рядом с Ириной Александровной чувствовать себя старым и немощным было бы совсем уж зазорным.

Гулял Сергей Николаевич часа два. Вернее, не гулял, а просто сидел на старенькой заброшенной скамейке в дальнем спускающемся обрывом вниз к шумной дороге углу сквера. Думал. Во время прогулок он часто занимал именно эту заброшенную скамейку, на которую больше никто не претендовал, столь она была старенькой, расшатанной и давно некрашеной. А Сергею Николаевичу очень хорошо на ней думалось. Он и сейчас надеялся, что в тиши и отстраненности от всего остального прогулочного-праздного люда непременно придумает письмо Ирине Александровне.

И действительно придумал, и так легко и удачно, что хоть сейчас возвращайся назад к столу и вдохновенно записывай. Но Сергей Николаевич, опершись на палку, продолжал сидеть на скамейке и никуда не торопился. Раз сегодня выходной, праздничный день, то и надо праздновать его по-настоящему, с фейерверками и салютами, памятуя о том, что работать в праздник грешно, запретительно, нельзя брать в руки колющие и режущие предметы (по крайней мере, так Сергея Николаевича в детстве учила мать), а перо все-таки предмет острый, колющий. Думать можно и нужно, а писать — не надо. Вновь обретенные и найденные фразы письма Ирине Александровне залегли в его памяти прочно и основательно, слово к слову, буква к букве, и завтра Сергею Николаевичу ничего не будет стоить вспомнить их и перенести на бумагу...

* * *

В этом радостном, возбужденном состоянии Сергей Николаевич провел остаток дня и всю быстротечную весеннюю ночь. Оно не покинуло его и утром, когда он, выпив чашку кофе, сел за письменный стол.

И вдруг все в одно мгновение переменялось. Стоило только Сергею Николаевичу достать письмо Ирины Александровны и листочек с начатым ей ответом, как память ему изменила: счастливо придуманные вчера на скамейке фразы ускользнули, не дались ему, словно за ночь напрочь стерлись в воспаленной этой памяти, оставив лишь какие-то смутные неувлимые обрывки.

Сергей Николаевич опять вооружился палкой и пошел в сквер. К его удивлению и досаде, угловая заброшенная скамейка оказалась занятой.

На ней сидел совсем уже древний старик с палкой-клюкой в руках. Одет он был еще в зимнюю теплую одежду: старомодное драповое пальто с цигейковым воротником, шапку-ушанку и меховые ботинки. Похоже, старик вышел сюда не сам по себе, а его вывели родственники подышать свежим воздухом. Кто знает, может, уже и в последний раз. Тревожить старика, товарища по несчастью, Сергей Николаевич не стал, пусть посидит, подумает. Хотя думы у них обоих теперь известно какие...

Не доходя до скамейки, он свернул направо к тропинке, которая вилась-бежала вдоль обрыва в тени деревьев и зарослей молодой сирени. Тяжело опираясь на палку, Сергей Николаевич принялся вышагивать по ней, лишь бы отвлечься от утренней своей неудачи, забыться, пробовал даже считать шаги, вспомнив, как совсем недавно считал их возле дома Ирины Александровны, на улице Короленко. Но каждый раз сбивался со счета, начинал заново — и снова сбивался. И, наконец, оставил трудное это занятие и, оглянувшись на старика, донельзя уставший и обессиленный, отправился домой...

* * *

Неудача преследовала Сергея Николаевича и на второй, и на третий, и на четвертый день. С утра он терпеливо садился за стол, доставал листочек с ответом Ирине Александровне, но так и не смог его продолжить. А на пятый, возвращаясь с прогулки, Сергей Николаевич неожиданно обнаружил в почтовом ящике письмо. Он немало удивился этому. В последние годы Сергей Николаевич письма получал редко, вернее, почти совсем не получал. Не от кого ему было их получать: друзья растерялись, замолчали, а многие, увы, уже и умерли, товарищеские связи разорвались, иссякли.

Вынимать письмо из ящика Сергей Николаевич не спешил и несколько мгновений предугадывал, кто бы это и зачем вспомнил о нем. И вдруг Сергея Николаевича осенило — письмо это от Ирины Александровны и ни от кого иного. Не дождавшись от него ответа (истомившись ожидать), она написала Сергею Николаевичу письмо повторное и, возможно, на этот раз с обидами и упреками, вполне им заслуженными.

Теперь уже, ни минуты не медля (и повинно), Сергей Николаевич извлек письмо из почтовой ячейки, поднес к глазам, но тут же и успокоился. Даже без очков он различил, что оно не от Ирины Александровны — почерк был не ее. Он небрежно засунул конверт в карман и решил не отвлекаться сейчас на него (прочитает вечером перед сном).

Но в комнате, надев очки, Сергей Николаевич все-таки взглянул, от кого же это ему пришло послание, кто же это еще не забыл его — помнит. Прежде всего, Сергей Николаевич прочитал обратный адрес и не смог сдержать в общем-то доброй, хорошей улыбки. Письмо было от Полины. Никогда раньше они с Полиной не переписывались. Судьбы у них сложились разные, отдельные, и ничего, кроме давней совместной учебы в школе, Сергей Николаевича и Полину не связывало. Впрочем, Полину, может, что-то и связывало, если верить ее запоздалым признаниям, и вот, узнав, что Сергей Николаевич был в городе (был и не зашел, не навестил), она решила написать ему письмо, вспомнить что-нибудь особенно дорогое и важное из школьной их жизни.

Аккуратно, чтоб не повредить обратного адреса, Сергей Николаевич обрезал ножницами кромку конверта, достал сложенный вчетверо листочек

чек и начал медленно, с долгими остановками на каждом, не всегда разборчиво написанном слове, читать:

Здравствуй, дорогой Сережа!

Тяжело и трудно писать мне тебе это письмо. Но писать надо. Больше никому. Два дня тому назад похоронили мы Иру. Никто не ожидал и не думал о такой ранней ее и неожиданной смерти. И, прежде всего, сама Ира. Много раз она говорила мне (да, может, и тебе сказала), что будет жить до девяноста лет, не меньше. Но вот же, на следующий день после твоего отъезда вышла покормить голубей и умерла в одно мгновение от разрыва сердца.

На похороны приезжали все три дочери Иры и муж. Они хотели увезти ее в Москву, но я упросила похоронить Иру здесь, рядом с отцом и матерью.

Родительский, материнский дом дочери, скорее всего, продадут, зачем он им в таком отдалении от Москвы — пропадет, разрушится без живого человека.

Голубей я пробовала забрать к себе. Но они не хотят у меня жить, очень тоскуют по Ире и каждое утро улетают назад в свою голубятню. Что с ними будет при новом хозяине, просто ума не приложу.

Ты поплачь по Ире, поплачь и живи долго, очень долго, чтоб было кому помнить о ней. Она так любила тебя, Сережа, так любила. Я-то все знаю...

Полина.

Письмо выпало из рук Сергея Николаевича и поминальной церковной грамоткой легло на краю стола рядом с листочком-ответом Ирине Александровне, на котором в самом его начале стояли еще такие живые слова, написанные Сергеем Николаевичем в порыве и стремлении к ней: «Здравствуй, Ирина Александровна!».

А дальше все было белым и теперь уже тоже, словно поминальным. Уронив голову на стол, Сергей Николаевич сидел неподвижно и почти что мертво, ничего не видя перед собой и ничего не слыша. Перед глазами плыла лишь тяжелая, могильная темнота, сквозь которую не пробивался ни единый луч солнца. Как хорошо было бы Сергеем Николаевичу сейчас, действительно, заплакать, а может, и разрыдаться в голос и крик, и тем хоть как-то унять сжавшееся в комок сердце. Но слез не было, они не подступали к нему, не рвались из глаз, предательски сухих и будто запорошенных песком африканской пустыни. В человеческой судьбе случается (может случиться) такое горе, которое выше любых, самых горьких слез, рыданий и криков. Сердце от такого горя каменеет и, хотя продолжает биться и жить, но на самом деле оно давно уже умерло. И вот это горе, эта судьба выпали Сергею Николаевичу. И что же ему теперь с этим умершим сердцем и с собой делать, как быть?! Все бросить и как можно скорее уехать туда, в родной свой город, к Ире, и умереть там, рядом с ней? Хорошо бы поступить именно так: лучшей смерти Сергею Николаевичу и не надо. Но кто будет в последние и неизбежно тяжелые, уже не зависящие от воли и памяти больного, дни опекать там Сергея Николаевича? Полина? Или какая-нибудь иная подруга Ирины Александровны, знающая о его существовании?! Но Сергей Николаевич не может себе позволить (не смеет позволить) хоть на самую малую долю осложнить их участь.

А если не ехать и остаться здесь, то как и зачем ему жить дальше?!

Сергей Николаевич спрятал письмо Полины и свой недописанный листочек, а взамен взял в руки письмо Ирины Александровны, тихо перечитал его и раз, и в другой, и в третий — и каждый раз, словно заново, словно впервые. И чем больше читал, тем сильнее оно обжигало его. Обжигало и словами признания Ирины Александровны, и еще больше совсем иными, прежде Сергеем Николаевичем почти не замеченными, о том, что всю свою жизнь она прожила, затаив дыхание. Как это, наверное, страшно и невыносимо...

* * *

В тот же день, к вечеру Сергей Николаевич дал телеграмму Полине. Слова для телеграммы у него нашлись быстро. Трудные, тяжелые, а нашлись поразительно быстро и даже легко, чему Сергей Николаевич немало удивился. Уже подавая бланк в окошечко, он хотел было дописать еще два слова: «Скоро приеду», но потом помедлил и не написал. Действительно, зачем зря обнадеживать Полину, простодушную, хорошую женщину. Если Бог даст ему силы, то Сергей Николаевич придет и без всякого предупреждения, а если не даст, то пусть она понапрасну не ждет его, не ходит встречать к поезду и не теряется в догадках: почему обещал и не приехал.

* * *

С этого дня Сергей Николаевич ничего ни писать, ни читать не мог. С утра пораньше он брал в руки палку и шел гулять в сквер. Там он занимал уединенную свою лавочку, надолго опережая болезненного, тяжело дышащего старика, которого приводили (похоже, внук с женой) лишь часам к одиннадцати. Сергей Николаевич и старик даже стали участливо здороваться, но в разговоры не вступали, молча сидели на разных концах лавочки-скамейки, словно выжидая, кто же из них первым перестанет приходить сюда. Сергей Николаевич готов был уступить старику и оставить лавочку в полное его, единоличное распоряжение.

Старик, ладно, что тяжело, со стоном и грудным клочкотанием дышит, а, по всему видно, болезни поддаваться не хочет, борется за жизнь и, даст Бог, победит.

А у Сергея Николаевича совсем иное настроение. Он ни за что не боролся, ни о чем даже не думал, а просто сидел на скамейке и смотрел впереди себя на зазеленевшую уже на газонах молодую траву, на распутившиеся первыми листочками деревья, слушал щебетание высоко в ветвях черноголовой счастливо пережившей холодную долгую зиму синички. От недалекой реки долетал к нему влажный и тоже какой-то молодой ветер. Он приносил запахи росших на самом берегу черемухи, сирени и жасмина, а еще горький и терпкий запах полыни, неведомо откуда взявшейся в городском ухоженном сквере. Сергей Николаевич глубоко вдыхал его, пробуждался и вдруг принимал твердое решение, что сегодня же в ночь во что бы то ни стало уедет в родной свой город, к Ирине Александровне, к Ире, на ее еще свежую могилу. Но потом мгновенно остывал, хорошо понимая, что никуда он и никогда не поедет, что не хочет он видеть ни родного своего города, ни родного села, ни Полину и совсем уж не хочет (не может!) видеть в последние эти его быстротечные, короткие дни могилу Ирины Александровны. А запах полыни ему просто причудился...

* * *

Жизнь Сергея Николаевича потекла однообразно, в непривычном для него равнодушии ко всему, и в первую очередь к самому себе. Кое-как переборов ночь, он с палкою в руках шел в сквер, но скамейку больше никогда не занимал, предоставляя ее в безраздельное владение старика, чему тот, кажется, нескрываемо радовался. Он располагался на ней широко и свободно, клал рядом газету, очки, но дышал все тяжелее и тяжелее, и, судя по всему, дни его были сочтены.

Сергей же Николаевич, наоборот, с удивлением обнаружил, что чувствует себя все лучше и лучше, что палка во время прогулок ему уже совершенно не нужна: шаг его становится легким и упругим, дыхание — чистым и ничем не стесненным, как было прежде, а сердце не дает о себе знать ни остро-колющими, уходящими под лопатку болями, ни перепадами ритма — словно его нет и вовсе. Исчез куда-то и запах полыни...

И вдруг Сергею Николаевичу стали сниться голуби, два снежно-белых турмана. Как будто они прилетают к его окну, садятся на подоконнике и начинают стучать клювиками по стеклу, требуя немедленно отворить окно и впустить их к себе. А Сергей Николаевич никак не в силах проснуться, не в силах отворить; он засыпает еще сильнее и лишь, затаив дыхание, слушает, слушает и слушает их требовательные и бессчетные удары...





Александр Анатольевич Ягодкин родился в 1952 году в рабочем поселке Рамонь Рамонского района Воронежской области. Окончил Воронежский политехнический институт. С 1992 года — профессиональный журналист. Автор книг «Про одного мальчишку», «Обратная сторона Луны», «Осторожно, люди», «Бег с бабочками» и др. Лауреат Всероссийского конкурса «Новая детская книга» за 2011-2012 годы. Член Союза российских писателей. Живет в Воронеже.

Александр Ягодкин

БЕГ С БАБОЧКАМИ

Повесть

1. ЗАСЫПАННЫЙ

Дни мои — будто кто-то спичку зажигал. Спичка сгорала, и наступала ночь. Я не помню, как проходили эти дни. Но однажды проснулся и увидел, что весь пол в моем жилище засыпан обгоревшими черенками дней и пустыми коробками. Это было невыносимо, и я понял: пора...

Каждую ночь передо мной возникали навязчивые картинки, и не было от них спасения. Чаще всего это был последний день нашей семьи. Он вырезан во мне, как иероглифы в египетских пирамидах.

Мы стояли тогда вчетвером у входа в аэропорт, и нехорошее молчание накрыло нас. Багаж сдан, и только что объявили посадку. У жены были закрыты глаза и слегка подрагивали губы. Она очень боялась самолетов, но я не знал, о чем она молится. То ли, чтобы не упал их Боинг и не загорелся, и чтоб все было у них хорошо, то ли — Господи, за что нас так...

Неожиданный и незнакомый, новенький до блеска муж нашей дочери Робин был подчеркнута спокоен и вежлив и рядом с Оксанкой казался огромным. А меня мучила непоправимость того, к чему пришла наша семья, внешне совершенно благополучная: дочь едва дождалась восемнадцати и скоропостижно обручилась с

черным Робинот, своим однокурсником, — просто расписалась без всякой свадьбы с первым встречным и улетает за океан, и это навсегда. Она так наказывала нас за все свои беды.

Славик не пришел проститься с сестрой, и ей это было совершенно безразлично. «По барабану», — как обрезала она в последние годы все наши попытки навести с ней мосты. Да и не мог ее брат прийти: больше года он значился в розыске, как пропавший без вести, и мы уже получили официальную бумагу из милиции: нет, не нашли.

— Ну, пока, — сказала дочь. — Будьте вы... здоровы! Не кашляйте. Без меня вам тут сразу полегчает. Мечтали избавиться — сбылась мечта всей вашей жизни!

Жена испуганно открыла глаза, и руки ее шевельнулись — наверное, она хотела обнять Оксанку, но та уже взяла своего жениха под ручку, сказала: бай, бай, предки! — и потянула его ко входу.

Робин пожал мне руку, широко улыбнувшись, тронул обвисшую кисть жены и сказал:

— Не надо ни о чем беспокоиваться, Юлия Сергеевна, все будет очень короцо. Я обязательно писать и звонить Москва. Все обмелеет и мука будет.

Они пошли ко входу, и Оксанка больше ни разу не обернулась.

— Рыбка моя, — прошептала Юля.

Ноги ее подкосились, и я едва успел поддержать ее. Она прижалась ко мне, но не заплакала, а я будто чувствовал, как по рукам моим, пульсируя, плещет что-то, как из резаной раны.

Я успел еще увидеть, как закрывается автоматическая дверь за нашей лапушкой-дочкой и ее женихом. Он обернулся и помахал нам рукой, широко улыбаясь белыми зубами.

Оксанка не обернулась.

Через три дня Юля умерла. Утром она лежала рядом на постели, от-вернувшись; я и раньше иногда пугался: как-то уж очень неподвижно ее тело, к тому же у нее сердце было не в порядке... Но теперь супружеское наше ложе наполнилось аурой кладбища.

Я трогал ее холодную щеку и искал пульс, и было ясно: она ушла.

Что-то зашуршало и посыпалось на меня со стен и потолка, и я оглох. Звуки с улиц слышал, но они стали бессвязными.

Я вызвал «скорую», пошел на кухню и машинально заварил себе кофе. Пальцы не дрожали — я специально проверил, вытянув их, и не удивился. Вот, значит, как: первой перешагнула эту пропасть она. И руки мои не дрожат, лицо спокойное (посмотрел в зеркало в ванной), даже безразличное.

А ведь мы договорились с Юлей, что умрем в один день. Мы много раз об этом договаривались. По-другому невозможно.

И вот наша мечта сбылась наполовину: Юля умерла во сне, без мучений, как и мечталось, а я остался. Мне бы сегодня тоже... Но самоубийство исключается: мы запланировали встретиться *там*; как же я ее брошу?

Я помню: наш вчерашний вечер был обычным. Смотрели перед сном телевизионную жвачку, потом я отвернулся и сказал:

— Ну, я пошел.

— Куда? — встрепенулась она.

— Охотиться. В лесах предков.

— А, — сказала она тихо, — ну, доброй охоты тебе в лесах тех.

— Доброй охоты всем нам, Багира, — ответил я.

И вот я вернулся с этой охоты, а Юля — нет. Она очень устала здесь. Хотя мы ведь договаривались... И теперь мятный холодок слова «навсегда» поселился во мне.

Наши с нею оба отца и обе мамы умерли быстро и не загружали близких тяжелой агонией.

Вот с бабушками было хуже. Они умирали долго и мучительно. И главный вопрос был: тропинка какого поколения станет нашей — матерей или бабок?

Сидя на кухне, я почему-то вспомнил: надо же, всю жизнь мы с Юлей заблуждались о строчках в песнях. Я слышал так: «Любимый город, синий дым Китая» — и удивлялся, при чем здесь Китай, но думал, что это для поэтической красоты. А жена, оказывается, считала про «Вдруг вдали у реки засверкали штыки — это белогвардейские цепи», что «цепи» — это украшение на мундирах. Типа золотых цепочек у наших крутых.

Юля иногда была удивительной занудой и упрямницей. Но только наедине. А если что-то внешнее надвигалось, она была за меня и детей, как тигрица. Нет, без скандалов. Но и без малейших сомнений. О чем бы ни шла речь, жена была сиамской частью меня. А теперь у меня удалили и закопают в землю пол-организма.

Иногда мы ссорились, но как интеллигентные люди — без воплей и битья посуды. Главное было — не сделать и не сказать чего-то необратимого. Поэтому я предпочитал заткнуть все свои пузыри и молчать, как бы ни распирала личная несправедливость.

Юля знала один разговор от ссор, но применяла его очень редко, чтоб он не потерял единственность. Заговор этот возник давно, еще после свадьбы. Не помню, по какому поводу, но в тот вечер ссора вдруг заполыхала, грозя снести к чертовой матери наше семейное гнездышко. А в самом ее эпицентре Юля, отвернувшись к окну, вдруг сказала влажным голосом: — Я тебя очень люблю. И боюсь потерять сегодня...

Шторм мой немедленно стих и улегся у ее ног.

Через пару лет она повторила этот фокус, и он произвел на меня такой же эффект.

Невестой она была фантастически хороша. Юная мадонна. И была полностью моей, до ноготка или волоса, готовой к исполнению любых моих желаний.

А вот отношения мои с тещей резко испортились после мальчишника перед свадьбой. Надрался я с друзьями тогда основательно. И даже больше. И наворочал... А теща и без того была очень не рада мне, так что чаша ее терпения легко переполнилась.

Свадьбе — не бывать! Только через мой труп! — так она заявила.

Глупости алкогольные случались со мной и до этого, но тогда я вдруг остро понял, что рискую навсегда потерять случайно выпавший мне главный приз в жизни. По сравнению с любовью мадонны удовольствие от выпивки или курения представилось мне таким вздором, — и тогда я разом бросил пить и курить. И навсегда заблокировал даже мысль об измене; больше двадцати лет с тех пор я держал этот зарок.

Но вот и все. Я еще жив зачем-то здесь, в пустой квартире. Логово, в котором годами смешивали свои запахи мужчина и женщина. Эта смесь в каждом жилище своя, ее не перебить никакими дезодорантами. Узнать запах логова можно и через много лет, он иногда снится, и ты вспоминаешь забытый запах из детства, который давно уже завален множеством других, но сохранился в снах, — будто под грудой старых вещей в сарае

ты обнаруживаешь нечто давно потерянное и ходишь потом весь день со смещенным смыслом жизни.

Я бы сжег тело моей жены. Плот, хворост, белое полотно рубахи. Чтоб оттолкнуть плот от берега, и он в ночном тумане плыл куда-то по реке и горел. Как в ночь накануне Ивана Купала.

Я же знаю: тебя в этом теле нет. Оно — прах, и возвращается туда, откуда пришло.

Много раз мы обсуждали неизбежную нашу смерть; удивительно, как дружно были мы безразличны к судьбе наших тел и полны неуважения к нашим могилам. Абсолютно неважно, как тела эти вернутся в прах! Лишь бы никого не напрягать похоронами и ритуалами. А лучше всего было бы так: пришла пора, сказал — ну, я пошел. И исчез. В лесах своих предков, да. Ни агонии с болезнями, ни хлопот, ни поминок, ни слез... Иногда лишь приходишь во сне к оставшимся: ну, как вы тут без меня?.. И можешь каким советом. Или знак подашь.

Помню, как давно еще я попал под осенний ливень. Машину тогда я оставил в сервисе и решил пройтись до работы пешком. И тут хлынул дождь, ветер хлестал меня мокрой листвой по чему ни попадя, весь я наполнился влажным холодом, в туфлях чавкала вода... Вечером Юля лечила меня от простуды, как младенца, — термометром под мышкой, пледом, горячим чаем с медом, какими-то травами... Уютна была мне роль ребенка, и я не сомневался, что если кто-то и может спасти от воспаления легких человека, пропитавшегося холодной водой, то это — моя жена. А следующий день был сухой, весь в светлой печали акварельного октября, и ливень тот уже казался сном; одежда и башмаки мои высохли, и никаких доказательств, что вчера был ливень, и я болел, на свете не осталось.

Может, ливень тот мне тоже приснился.

Вот о каких глупостях я тогда думал там, на кухне.

Кажется, думал. Потому что с момента смерти Юли меня будто накрыло чем-то. Иногда казалось, что это бабочки, их очень много насыпалось тогда в комнату со стен и потолка, они ползают по мне и летают вокруг, непрерывно шурша крыльями. Или это сны — прошлые и будущие. Они шевелятся, в них кто-то бормочет спросонок, и они накрывают меня толстым слоем шелухи своих крыльев.

2. СОКРОВИЩА ЛЮБИМОЙ ТЕЩИ

Теща моя, пусть земля ей будет пухом, была когда-то известной балериной и меня возненавидела с первого взгляда. Она внушала дочке, что я ей совершенно не пара, и называла простолюдином. Потом, когда у нас родился Славик, стала именовать более уважительно, хотя и с ноткой презрения, прорабом.

А порой ей она хотела дипломата и даже предлагала похлопотать, — Юлька мне рассказывала. Я в ответ ерничал над тещиной манерой ярко красить губы, выщипывать брови и наносить румяна на обвисающие щеки. А еще — носить какую-то хрень, которая представлялась ей верхом изыска, сразу отличавшего ее в толпе от всякого сброда. Хотя по-своему она была красивой женщиной. И можно было понять великую трагедию ее жизни — сбежавшего больше двадцати лет назад за границу отца Юли, известного в прошлом танцора, затерявшегося на планете нашей.

Я старуху пытался простить — мало ли злобных старух на свете! — но от общения с ней отказался. И жена никогда меня в этом не упрекала. Я мог бы иногда навещать ее из вежливости, но старуха была гордой, и простить мое низкое происхождение не смогла до самой смерти. Только со Славиком они удивительным образом нашли общий язык и понимание.

Теща не пришла на свадьбу нашу. Юлька тогда очень огорчилась.

— Много званных, да всем по фигу, — сказала она.

— Не пожалеешь? — спросила она, когда я надевал ей кольцо на палец, вздохнула глубоко и нежно мне улыбнулась. — А то смотри, будешь локти кусать.

— Не буду.

— Ну, тогда я тебе их искупаю.

Жена моя пошла совершенно не в мать. Может, в того танцора. Она была мягкой, женственной и внешне очень робкой.

А теща... Агрессивная старуха: «понаехали тут», «чернь». Ко мне это тоже могло относиться: не из артистов мы, не из богемы. Это дед мой сделал нашу семью москвичами. Он после гражданской приехал по зову сердца и партии строить Москву. Прадед тоже, можно сказать, строителем был: раньше в деревнях под Воронежем дома всей общиной строили, и прадед был среди них, как отец рассказывал, большим специалистом.

Отец мой тоже строил — метро, да и я пошел по стопам предков, закончив архитектурный. А теперь вот «коренная» наша семья на мне и закончится.

Нет, удивительно вздорной бабой была моя теща. И я порой очень сомневался, что сбежавший танцор был таким уж подлецом. Скорее, он просто не выдержал аристократического напора своей возлюбленной и ломанулся за границу.

Юля иногда навещала мать, ездила к ней в «артистический» дом на Таганке или на дачу в Подмоскowie, и та проявляла к ней материнские чувства, предлагала чем-то помочь: денег дать или посидеть со Славиком. Нужды, однако, в нашей семье почти никогда не было, я хорошо зарабатывал, но даже если б нужда возникла, я сомневаюсь, что Юля хоть у кого-нибудь взяла бы деньги.

Я знаю, теща регулярно спрашивала: а чем же вы питаетесь со своим прорабом? Видимо, имея в виду — свежи ли были устрицы? Хорошо ли приготовил повар трюфели?

А Юля отшучивалась:

— Ой, мама, сало есть — ума не надо!

Еще мать постоянно допекала Юлю, что она не работает. Мол, именно так наивные интеллигентные дурочки попадают в кабалу к мужьям, и те вытворяют с ними, что хотят, а потом и вовсе сбегают с любовницами. Юля объясняла, что никакой кабалы нет, и что так уж про ее работу мы решили на семейном совете. Потому что Славик — ребенок очень проблемный. С ним и болезни, и всякие ЧП регулярно происходят, ведь он же — шило, ни минутки покоя! Но еще важнее, что сын — самое главное в нашей жизни, и менять это на дополнительную зарплату жены мы не станем.

А мать ее огорченно качала головой: муж от сохи, жена от плиты... Юля никогда с ней не спорила и говорила, что из двух своих высших образований — музыкальное и житейское — ей важнее второе.

А умерла теща от внука, я уверен. Она сильно сдала за те полтора

года, когда Славик переехал к ней. Случилось это просто; однажды Юля сказала:

— Звонила мама. Славик у нее.

И больше в тот вечер мы не произнесли ни слова. Ад законсервирован. Ключи у Славика есть, и он в любой момент может вернуться, и ждать от него можно чего угодно.

Менять замок? Это все равно, что проклятие сыну.

На похоронах тещи я с трудом узнал ее меловое изможденное лицо. Она наверняка уже знала, что Славик бросил институт, и деньги за обучение, которые мы начинали копить, когда он еще в школе учился, пошли коту под хвост. Как и вся его жизнь — под хвост наркотикам.

На что он жил у тещи, чем занимался, мы не знали, но я догадывался: в той квартире было много старинных вещей, и Славик мог потихоньку выносить их из дому и продавать.

После того, как милиция долго маялась с розыском нашего сына, мне пришлось заняться признанием его без вести пропавшим и как бы официально неживым. Юля сопротивлялась этому, но после решения суда с ней приключилось вот что: она стала страшно сонливой и могла заснуть когда угодно, будто пыталась во сне вернуться в те времена, когда болезни сына и беспокойство за него смешивались в ней со счастьем материнства.

И вот вещество мироздания совершило очередное превращение, и вместо густой ветки генеалогического древа нашей семьи остался я один. Сучок. Всего-то за два года жена, дочь, сын, теща, отчий дом, бабушкина квартира и дача — все превратилось в правешество. И непонятно, смотрят ли на меня с небес с сожалением или с насмешкой.

В коконе своем я все еще ходил на работу, но стал неповоротлив и туп, и только старый друг Никита, замдиректора нашей строительной компании, постоянно меня вырuchал.

А в один из дней, когда шелест бабочек вокруг стал потише, я вдруг осознал, что вместо исчезнувшей семьи у меня оказалось много денег. Я стал богачом.

У нас оставалась семейная заначка — на учебу сына (первый, второй и третий курс мы оплатили, но он бросил архитектурный). Копили и Оксанке на учебу, и за первый курс ее уплатили. Она тоже институт бросила. А деньги остались.

Еще было на всякие нужды и планы, которые теперь закрылись навсегда, и деньги эти можно было потратить в свое удовольствие. Главное — определить, в чем оно.

Машину свою я продал — уже ставший членом семьи БМВ, успевший за свою трудовую биографию многое в этой жизни повидать. Но мне он больше не был нужен. Эта рабочая лошадка служила мне верой и правдой, и я отдал ее за пятнадцать тысяч евро. Копейки, конечно, по сравнению с рухнувшим на меня богатством.

Квартира наша — трехкомнатная сталинка на проспекте Мира, мой отчий дом. Я в этом районе с детства знал все дворы, лавочки, заборы, укромные места, некоторые подвалы и крыши. Я никогда не задумывался прежде о цене этой сталинки, а теперь оказалось, что квартира эта очень даже дорогая. А на фиг мне эти хоромы, если даже место на кладбище мне не требуется?

Вот оно как — я стал миллионером. Долларовым миллионером, черт возьми! Раньше я никогда не приценивался к тещиной квартире на Та-

ганке — теща казалась мне бессмертной, как Змей Горыныч. Теперь от нее осталась не только эта квартира, но и дача в «артистическом» поселке, на которой я никогда не был и даже толком не знал, где она находится. Юля там изредка навещала мать, и я ей в этом не препятствовал. Даже наоборот, поощрял. Причем из корыстных побуждений: если вести себя прилично, то небеса непременно наградят тебя за благородство чем-нибудь вкусеньким. А для Славика дача со временем стала почти родной: школьником он каждое лето уезжал на все каникулы к бабушке. Теща же, как и положено благородной даме «из коренных», в городской квартире жила только зимой, а с первым потеплением уезжала на природу. До поздней осени. Возможно, местные аристократы принимали ее с соответствующими почестями, и там сбывался смысл ее жизни.

Я сидел в тещиной квартире и пытался прикинуть, что здесь почем, в элитной этой пещере, которая вдруг досталась презренному зятю и особой цены в его глазах не имеет.

Старуха жила на несметных богатствах, как скупой рыцарь. Или как собака на сене. Какие-то картины, редкие книги, странная утварь, непонятная дилетанту мебель... Наверное, она надеялась, что Юля все-таки бросит меня и выйдет за дипломата, и они продолжат здесь свой старинный дворянский род. А может, и не дворянский.

И вот вам результат: зять этот (я) убил Юлю и сжег. А кто ж убил, как не я?.. Женщин убивают именно мужья, сколь замечательными они бы не были. Помешать этому теща не могла и теперь лишь бессильно ненавидела меня с небес. А может, и не бессильно.

Обстановка в квартире — пустоватая. Славик, наверное, многое вынес. Но — не будем о гнусном, как выражался Никита. С тех пор, как сын стал студентом, он переехал к бабушке, чему она была чрезвычайно рада, и чему мы с Юлей тоже не могли помешать. Сын уехал так же, как и Оксанка потом, — в досаде и ненависти к нам. Полная противоположность тем временам, когда я встречал Юлю из роддома сначала с новеньким беззащитным мальчиком, потом — с нежно-розовой девочкой...

Я сидел и ждал антиквара. Нашел я его в тетрадках тещи, которая по старинке записывала узорным почерком в дневник манерные размышления о жизни и судьбе. В дневнике Петр Венедиктович значился добрым приятелем тещи. Там же, в дневниках, встречались, как у дворян во времена Пушкина и Лермонтова, стишки-экспромты доморощенных поэтов. Впрочем, наверняка не только доморощенных; от балерины этой можно было ждать любых сюрпризов.

Антиквар пришел точно в назначенное время и долго ходил по квартире, осматривал экспонаты и некоторые из них трогал, а некоторые — не решался. Он потратил больше часа на изучение тещиных дневников и что-то иногда бормотал удивленно и с загоревшимся взглядом.

Петр Венедиктович — антиквар и коллекционер; нынешние времена ему не интересны. Я представлял, как открывает он потайную дверцу в свой мирок с сокровищами, из которого в комнату стекают запахи и звуки из тех времен, когда Земля еще не вращалась вокруг Солнца, а покоилась на трех китах.

На даче у тещи он тоже бывал и мог хотя бы примерно знать ее цену.

Часа четыре мой простой вопрос: сколько может стоить эта квартира со всем ее содержимым? — не находил ответа. Антиквар шевелил губами, складывал встречно пальцы рук и пожимал плечами, не уставая при этом перебирать взглядом тещины артефакты.

— Вы же были здесь не раз и со многими вещами знакомы, — пробовал я навести какую-то ясность. — Хоть примерно-то можно сказать?

А он бормотал слова «раритет», «автограф», «экспертиза» и некоторые другие, мне совсем не знакомые.

Потом он долго рассуждал о цене квартиры и повторял, что не специалист, и надо бы привести знакомого риэлтора, очень опытного и порядочного. А то ж можно налететь на каких-нибудь... Всякое бывает. Среди молодежи нынче много лихого люда.

— Ну, хоть примерно, — настаивал я.

В конце концов, он взял бумажку и написал на ней цифру. Она меня потрясла. А Петр Венедиктович бумажку зажег, прикурил от нее трубку и заложил руки за спину.

На следующий день мы еще раз встретились в этой квартире, и антиквар привел эксперта, тоже знакомого тещи. Он оказался худым, лысым и очень смешливым, а потому на авторитетного антиквара или риэлтора никак не тянул. Не говоря уж об искусствоведе. Разве что череп его был похож на яйца Фаберже.

За первые полчаса в моей квартире он трижды пошутил, причем остроумно, и оставался веселым до легкой развязности, пока не увидел китайскую вазу в углу, между диваном и окном. Тут лицо его изменилось, и даже пальцы, кажется, слегка задрожали.

К вазе он подходил, издали округлив глаза и ладони. Как экстрасенс, облучающий клиента биополем.

Осмотрев вазу, он обнаружил на дне ее окурки и пепел, и глаза его потемнели от ужаса.

Наверное, это Славик, лежа на диване перед телевизором, курил и стряхивал пепел.

— Настоящий? — спросил Петр Венедиктович.

— Цин, — ответил эксперт и бессильно опустился на диван. После этого улыбку стерло с его лица.

Они бродили по квартире и шептались часов пять, не меньше. Я листал старые книги, варил на кухне кофе, шлялся вместе с ними по комнатам. Потом эксперт, угодливо заглядывая мне в глаза, пытался выяснить, зачем я продаю то, что со временем будет гарантированно расти в цене. Я в ответ показал ему паспорт.

— Что вы, что вы, я не сомневаюсь! — всплеснул он руками, но паспорт посмотрел. И полчаса еще изучал документы о праве собственности. Потом на бумажке, как и Петр Венедиктович, молча написал цифру — она была на четверть больше прежней.

— Я согласен, — сказал я. — По рукам. Коньяк, виски, джин, ром?

— Охотно. Виски с содовой, — откликнулся эксперт.

Мы пожали друг другу руки, и антиквар впервые после вазы улыбнулся мне. Причем очень ласково. То ли он простил мне кошунственный пепел, то ли забыл о нем.

В этом доме всегда было спиртное. Как, впрочем, и в нашей квартире. Меня эти красивые яды совершенно не прельщали, а Юля за компанию выпивала с гостями рюмку-другую, а потом обычно жаловалась на печень.

Я взял из серванта хрустальные бокалы, налил в них виски, содовой не нашел и плеснул туда минералки на глазок. Не специалист я по этому делу.

— А что же вы, Пал Андреич? — спросил эксперт, сделав глоток.

— Я, к сожалению, не пью. Уже лет двадцать. Из алкоголиков мы.

— А я таки выпью, — отозвался Петр Венедиктович. — Хотя для приема рюмашки всегда считал необходимым наличие собеседника. Но по столь серьезному поводу, как продажа чудесной квартиры в центре Москвы вместе со всем ее содержимым, а также приличной дачи с добрым участком... Продажи серьезной, но с непонятными, на мой взгляд, целями.

— А что, у любого продавца непонятны цели, или только мои?

— Ну, да не нашего ума дела, в какие такие края отправляетесь вы, уважаемый Павел Андреевич, и зачем. Хотя, честно говоря, завидую. Кто воевал, имеет право у тихой речки посидеть.

— Еще рюмочку, Петр Венедиктович? — предложил я ему. — Вам виски к лицу.

— Пара рюмочек, дорогой мой, любому к лицу.

На выходные мы с антикваром и экспертом, имени которого я так и не запомнил, побывали на даче, и они все тщательно осмотрели, включая документы.

— Старенькая, конечно, — морщился эксперт. — Дворянское гнездо. Ремонт нужен серьезный.

— Дача — ничто, — отвечал я ему. — Земля — все. Она здесь бриллиантовая. Спросите хоть у Лопахина.

Мы расстались еще на три дня, и оба гостя настоятельно просили меня никому о нашей сделке пока не говорить. А мне, собственно, не с кем было делиться, кроме Никиты, но даже ему я ничего говорить не собирался. Хотя бы потому, что мы были с ним друзьями не один десяток лет, и планы мои ему очень бы не понравились.

А через три дня вместо антиквара или риэлтора мне позвонил неизвестный человек.

— Эт ты, что ль, Паш? — спросил он развязно.

— Я.

— Ага, — сказал он и бросил трубку.

Нехорошие предчувствия заставили меня немедленно проведать тещину квартиру. И сразу за дверью я увидел: в квартире кто-то побывал. Маленький хаос наступил в дорогой недвижимости; здесь явно что-то искали, и неизвестно, нашли ли.

— Не беспокойтесь, — сказал кто-то за спиной. Я вздрогнул и обернулся. Передо мной стоял Петр Венедиктович, антиквар.

— Не беспокойтесь, — повторил он, — я вас не виню.

— Это я вас не виню, — резко ответил я. — Что тут происходит?..

Дальше произошел странный разговор. Антиквар был уверен, что я кому-то проговорился о продаже квартиры, а я горячо убеждал его: ничего подобного!

— Что вообще все это значит? — спросил я.

А он ответил, что это надо у меня спрашивать. И голос его был весьма нелюбезным. Скомкав разговор и не наведя ни малейшей ясности, Петр Венедиктович откланялся, и я понял, что сделка не состоится.

Очень неприятное возникло чувство: за мной могут следить, чтоб выпотрошить. Уж больно хорошие цифры рисовали на бумажке эксперты. За них можно отправить на тот свет с десяток человек, а то и больше. А уж такого одиночку, как я...

Впрочем, такой исход меня вполне бы устроил.

3. ДУЭЛЬ С НЕБЕСАМИ. ВЫБОР ОРУЖИЯ

Бабочка принесла меня в убогую квартирку и оставила там в прихожей, полной драных вещей. Напротив я увидел человека, подошел к нему и что-то спросил, а он пошевелил губами, но ответа я не услышал. Сморщенное лицо его было очень худым, сквозь редкие седые волосы на голове видна была бледная кожа и пятна на ней. Я заметил родинку возле его носа, и страх вдруг наполнил меня, я отшатнулся и упал.

То был не человек, а зеркало. Я пытался встать, но не мог, и осмотрелся, чтоб на что-то опереться. Я не звал никого, потому что знал: в этой квартире я один. Неподалеку на полу я увидел пластинку с таблетками и потянулся к ней — таблетки помогли бы мне хоть немного унять боль и слабость. Но руки сильно дрожали; я потрогал больную ногу и почувствовал, какая она тонкая, и ее тоже трясет. Будто со стороны я слышал свой хриплый стон и боялся, что не дотянусь до таблеток и умру здесь, на полу в коридоре.

Ворона вдруг подлетела и схватила пластинку своим обугленным клювом.

Ветка дерева, чей-то шепот.

Когда я очнулся на том же полу, то увидел, как мрачные люди в белом подняли мое тело за руки и за ноги, и оно висело безжизненно, как белье на заборе, — я увидел его со стороны, и мне вдруг стало смешно: они думают, что потащили меня, а я вот он, сбежал, невидимый, и теперь полностью свободен — впервые так легко и невесомо, и переполнен жаждой ко всему, что оставляю в этой жизни.

Очнувшись в своей постели, я понял: мне действительно пора. Я готов в дорогу, вдогонку за Юлей. Главное, чтоб не мучаться. Нет, я знаю, что невыносимых мук не бывает, но лучше без них. Во сне, например, как жена. Вот бы подсмотреть ее последний сон... Наверное, она уже знала, что уходит. Тоннель, свет, и добрейшие сущности принимают душу ее под белы ручки...

Ладно. Наверняка и сам еще увижу. Только б дверь найти.

Например, изобразить собой бандита и напасть на милиционеров, и чтоб они изрешетили грудь мою. Купить пистолет и напасть. Но самому убивать нельзя, а то кранты душе моей бессмертной. Вступить в неравный бой, ага. С обоймой холостых патронов устроить громкую пальбу напоследок — как прощальный залп над могилой. Но где взять холостые? Они ж наверняка дефицит по нынешним временам: всем боевых надо. Ладно, были б деньги.

А может, травматический пистолет купить? Хотя нет, травматического милиция может и не испугаться. Выбьют приемом самбо, а потом будут долго отводить душу на моих ребрах и почках... Электричеством пытаться. Нет, не хочу.

Можно стать бомжем, чтоб коллеги убили. Или современные детишки. Ой, нет, это совсем худо. Хотя бомжем интересно было б побывать напоследок. Неведомый и таинственный смысл — манящий, как взгляд змеи.

Заманчиво умереть от героина. Заодно полетать напоследок в мирах виртуальных. Хоть узнаешь, чего уж в нем такого хорошего, в героине этом, что многих от него за уши не оттянешь. Это ж, наверное, ласковая песня — умереть в героиновом тумане. Одно плохо: с детства я боюсь укулов. Да и высоты боюсь; не будет мне комфорта в полетах. И добывать этот

самый герой не так-то просто. А я же хочу покинуть наше логово навсегда; здесь знакомых много, соседей, с работы кто-нибудь увидит. Ну их. Смерть — дело интимное.

Алкоголь, конечно, удобней. Но ждать от него смерти можно долго. Да и был я уже алкашом. Давно, правда, зато привыкать легче будет. И уколы не надо делать. Да и мучаются наркоманы сильнее.

Значит, алкоголь. Можно ускорить процесс и элементарно замерзнуть пьяным. В тайге, чтоб за тысячи верст — ни одной живой души, и, стало быть, не дать себе шансов вернуться. Таинственно и с продолжением истории моих костей, как в сказках Андерсена. Тело мое будет долго еще жить в том месте — мхом, ягодами, травой, корнями деревьев... Это эстетично. И без боли. Да, замерзнуть пьяным — это выход.

Однако двадцать лет воздержания — большой срок; я боялся, что струшу и вернусь в свое логово, засыпанное обгоревшими спичками и пустыми коробками, и это будет худшая из мук.

Я по-прежнему ходил на работу и ничего не говорил Никите, все пытался укрепить свою решимость, сжечь мосты и броситься в омут последнего путешествия. А потом мелкая гирька легла на весы, и муки сомнений закончились. Это случилось так.

Сотни раз я ходил на работу мимо павильончика недалеко от дома, и там всегда стояла кучка утренних страдальцев. И вдруг меня поразило: у них счастливые лица! Без дураков — счастливые!

В этом кругу они, даже самые никудышные и неудачливые, впервые, может быть, в своей жизни — уважаемые люди. Вот стоит человек с опухшим лицом, улыбается, говорит что-то — его слушают. Равный среди равных и — достойный. Даже фингал и трясущиеся руки не делают его изгоем. Фингал пройдет через неделю, а руки перестанут трястись совсем скоро, это дело поправимое.

«Ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы оба — уважаемые люди!». Все просто.

И я окончательно избрал способ перехода. Он оптимален: без боли и долгих мучений. И как бы без самоубийства. За сотни верст от человеческого жилья напиться до полной отключки и уснуть под толстой-претолстой сосной. Или под каким-нибудь другим деревом. А из сна плавно перейти в другой мир. Чтоб даже могилой своей никому не докучать. Тем более, что мы с женой об этом так давно и крепко договорились. Да и некому посещать мою могилу.

И вот, когда я это решил окончательно, мне странный сон приснился. Будто шел я ранним утром по незнакомому двору. Иду, красивый, двадцатидвухлетний... Пружиня телом кенгуру или антилопы из прошлой жизни.

И там, на лавочке у подъезда, сидел сгорбленный старик с бледным лицом в некрасивой седой щетине. Старик кренился набок и мог упасть. Я подошел и спросил:

— Вам плохо? Что случилось?

Он недовольно пожевал губами и сказал:

— Сын у нас умер. Вот вы подошли, теплее стало. А он бросил нас.

— Когда?

— Давно.

Зачем-то фортуна подставила мне этого старика. Ты чего хотела-то? В чем нарек?

— А почему «у нас»? Вы ж один...

Тут он отклонился, и я увидел, что рядом с ним сидит маленькая женщина, низко опустив голову, так что лица ее не видно.

Холодок пробежал по моей коже: они врут! Они не те, за кого себя выдают!

Старик этот был чем-то знаком мне, и очень хорошо знаком, и женщина тоже, но ей притворяться было труднее — не зря она так низко опустила голову.

И подъезд, и лавочка тоже вдруг стали казаться мне болезненно знакомыми, и они тоже притворялись.

Тут я заметил, что старик как-то странно молчит. Недвижимо. И женщины рядом с ним уже нет. Я подумал, что он заснул, а потом ледяной волной пахнуло мне в лицо: он умер. И я закричал:

— Папа!!!

Я услышал эхо своего голоса и понял, что все это во сне, но мне надо было как-то догнать отца, сказать ему и маме что-то важное, ради чего и была вся эта притворная сцена. Упасть, рухнуть на колени и обнять их ноги. Не бросал я, не бросал, простите меня! И совсем уж глупая мысль: у меня самого дети, и я запутался с ними в любви и ненависти хуже, чем в паутине! Или просто остановить их и заплакать. Чтоб пожалели. Тогда мир изменится — не тот, что во сне, а здесь, в логове моем, и станет ясно, ради чего я здесь еще торчу.

Но никого больше не было на лавочке. Будто где-то рядом открылась невидимая дверь, и они туда ускользнули.

Я стал озираться в этом тихом дворе со старыми деревьями и палисадниками, иссохшими лавочками для морщинистых старушек с их скорбными лицами, покрытыми плесенью никому не нужных забот и смирения, — двор этот будто отлетал астероидом от нашей планеты, забытый взрослыми детьми старушек и горластыми внуками их, которые только эхом и существовали здесь, и я совершенно не представлял, где может быть та дверь.

И тут вдруг кто-то ясно сказал:

— Не срок. Прогуляйся еще.

Мне вдруг стало легко и спокойно, и я проснулся. Вот, значит, как охотятся в лесах предков.

Матушка моя была женщиной тихой и интеллигентной, и со стороны могла казаться подкаблучницей, потому что полностью и почти во всем доверяла моему отцу. Но мне кажется, у них была гармония. Отец умер от обширного инфаркта, он был заслуженным строителем и слишком переживал о своей работе, а мама умерла через полгода после него — тихо, во сне; лицо ее после смерти было спокойным и умиротворенным. И я, студент архитектурного, остался один в большой квартире. Тогда мы с друзьями хорошо гуляли на этой «хате».

Отец всегда учил меня, чтоб я никогда не брал чужого и того, чего не заработал. У него были какие-то льготы, но он ими не пользовался. Считал, что для здорового мужика это стыдно. И отец его, дед мой, тоже никогда льготами не пользовался. Стыдно ему было перед друзьями, погибшими на войне. Что ж я, мол, — будто их жизнью спекулирую... Как Васька Талдыкин оттуда на меня посмотрит? Ты что?

Почему-то запомнил я этого Ваську Талдыкина, которого даже на фотографиях не видел... И детей своих дед воспитывал, чтоб никогда не брали того, чего сами не заработали. Он даже удостоверение участника войны не стал оформлять. Стоял в очередях вместе с молодыми, даже когда ему предлагали пройти без очереди.

Что ж, спасибо мужикам у забегаловки. И отцу с матерью. Знак их я понял и утвердился в своем намерении перейти границу где-нибудь далеко в тайге, под огромным разлапистым деревом, в одиночестве.

Нет, в компании большого количества коньяка.

Ненавижу обгоревшие спички!

4. ДЯДЯ КОЛЯ МИШАКОВ

Петр Венедиктович исчез. Домашний телефон его молчал, а мобильник рассказывал механическую глупость про абонента, который находится вне зоны действия сети.

А взамен антиквара однажды появился другой человек. В дверь позвонили, я открыл и увидел высокого худого типа без возраста. Он сухо спросил:

— Павел Андреевич?

— Да, — ответил я.

Тип исчез, а в квартиру тещи ввалился здоровенный бугай.

— Здорово, Паш, — сказал он, и протянул руку. Моя ладонь в ней утонула и смялась, но болезненной гримасы моей он не заметил. — Мишаков я.

— Вы к кому? — спросил я, догадываясь, что тот странный звонок был — от этого громилы.

— К тебе, — ответил он, — к тебе, дорогой. Я теперь вместо Петра Венедиктовича буду. Покупатель я. Квартиру твою и дачу вместе со всеми причандалами. Ну — давай, показывай.

Я растерялся и повел его в комнату, не предложив тапок. Впрочем, тапок его размера здесь и не нашлось бы. В потертых джинсах этого Мишакова я бы уместился два раза. Пуговицы на простенькой его рубашке расходились, обнажая могучий живот в светлых волосах, похожий на утопленника за пазухой. Он регулярно эти пуговицы застегивал, но они вскоре опять облегченно расстегивались.

Сопя, как бегемот, он дважды обошел квартиру, потом остановился рядом и пристально на меня посмотрел. Взгляд у него был пронизывающий.

— Паш, — проговорил он, морщась брезгливо, — не пидай бензином, это крутой товар, а я — хороший покупатель, поверь. Денег у меня — как грязи. Останешься довольным. Хотя и варезку раскрывать особо не стоит. Лишних денег, милый мой, ни у кого не бывает! Просто сейчас мне их на фиг не надо. А надо другое. Ну, давай — наливай, покупку обмоем.

Несмотря на могильную прохладу в квартире, он часто протирал платком лицо и шею.

— Да не дрейфь, Паш, все будет нормалек! Витек, сюда иди! Ну-ка быстренько сервируй нам. Да не как в прошлый раз, а то велю плетей дать!

Беззвучный Витек все это время будто отсутствовал в квартире; я даже забыл о нем.

— Да не дрейфь ты, Паш, — повторил Мишаков. — Ни кидать тебя, ни убивать никто не собирается. Жизнь удалась, и теперь пора старые грехи замаливать, а не новые копить. У тебя нету знакомого монастыря?.. Такого намоленного, чтоб раз — и как рукой? Жалко.

Мишаков предложил мне за квартиру со всем ее содержимым и дачу на треть больше, чем Петр Венедиктович. Причем не на бумажке, как эксперты, а вслух. Я на радостях пытался объяснить Мишакову про фар-

форовую вазу и вообще, что в квартире может обнаружиться еще нечто очень ценное, но он хлопнул меня по плечу своей ручищей и близко заглянул в глаза:

— Паш, ну что ж ты думаешь, я — лох? Я все знаю. Может, даже больше тебя вместе с твоим Венедиктычем. И вещи некоторые в этой квартире мне уже известны больше, чем тебе. Или чем знала прежняя хозяйка. И почему все это оценили твои эти... Архивариусы. Или как их там. Мне просто это надо, и я покупаю, не торгуюсь. А мое слово железно, спроси хоть у кого.

— Я спокоен, — ответил я, — как рыба об лед. Как сыр об масло.

— Я же говорю, — снова заглянул он в меня цепкими глазами, которые никак не вязались с расстегнутыми пуговицами на животе, — ты меня сейчас не бойся. Расслабься уже.

Ну откуда, подумал я, у начальника производства крупной строительной фирмы могут оказаться такие знакомства? И откуда они у антиквара?

Между тем, Витек уже распорядился в моей квартире: достал коньячные рюмки, принес из кухни блюда с нарезанными дольками лимона, наломанным шоколадом, налил коньяку.

— Эта, — сказал ему Мишаков, — ты чего так наливаешь? Только коньяк хороший переводить. Ты по-человечески наливавай, чтоб боженька босиком по душе прошелся! Исправь быстренько.

Витек молча добыл из серванта пузатые бокалы и исправил.

— Ну, — сказал Мишаков, — со свиданьем!

Мы чокнулись. Большая порция коньяку вошла в меня, будто и не было двадцатилетнего перерыва. Я лизнул лимон, откинулся в кресле и стал ждать. Эффект был довольно скорым. Внутри тихо загорелись отсыревшие дрова души моей... Красиво, да? — отсыревшие дрова души моей. Как в стихах.

Удивительно, но коньяк мне понравился. Двадцать лет я мудро и презрительно считал его ядом, а он вдруг вошел в организм мой ласково, как родной, и стал зажигать в нем свечи, создавая интим. Хотя душа еще прислушивалась: не задохнусь ли? Не потянет ли тошнотой изнутри?

Ничего подобного! Душа расположилась, как и тело, в мягком кожаном кресле, и ей было хорошо.

— Сигаретку, Паш? — Мишаков положил на столик пачку «Парламента».

— Конечно, — сказал я. Как-то я раньше не подумал — воздержание касалось ведь не только спиртного, но и табака. А теперь все можно. И даже нужно. Поплыл я. В дальние страны.

Я был уверен, что курить заново будет непросто. Легкие ж удивятся; кашель возникнет, горечь.

— Молодец, — сказал Мишаков, качая головой. — Я ж знаю, что ты не пьешь. И не куришь. Это мы — прожженные, пропитые и прокуренные, а вам голубые кровя не позволяют...

— Какие, на хрен, кровя! — ответил я, выдыхая уютный дым.

— Ну, ты чего, Паш, не веришь мне, что ль?! А?! Паш, блин, тебе повезло, как утопленнику — в хорошее время ты на моей дорожке оказался! А то б попал. А так я тебя уже люблю, как родного! По глазам вижу, что человек ты хороший, без понтов. С таким и дело приятно иметь.

Вскоре и вторая рюмка скользнула в меня, как по маслу, и опасаться коньяка я перестал совершенно. Простая мысль пришла мне: а чего я боюсь-то? Разве сам не хотел умереть? Ну и вперед! Совершенно неважно,

грохнет меня Мишаков или одарит по-царски. Даже наоборот: если грохнет, то и хорошо. Так, значит, и нарисовано в облаках.

— Это старая аристократическая квартира, — сказал я ему. — Здесь бывали Маяковский и Северянин.

— С телохранителями бывали? — усмехнулся Мишаков.

— Кто? — не понял я.

— Ну, северяне твои. Нефтяные, что ль?

— Нет, это давно. Поэты они. Знаменитые.

— А, — сказал Мишаков.

— А про квартиру легенда в семье у нас ходила, что в ней что-то спрятано. Тайники какие-то. Клад или что-то еще...

— Ты, Паш, цену не набивай. Типа, значит, штукатурка отвалилась, а там это... пиратские сокровища! Ты лоха, что ль, нашел?

— Да не, я и сам в эту легенду не верю. Так, к слову пришлось...

Мне и в самом деле было незачем торговаться. А цифрам сделки нашей радоваться бессмысленно: там, куда я хочу попасть, презренный металл не нужен, доллары — тем более; для суворовского перехода через Стикс мне хватит намного меньше.

Я расслабился, и разговор у нас с Мишаковым пошел такой, будто знали мы друг друга лет триста.

Мы выпили и по третьей, причем я сохранял полную ясность мышления и пил вдвое меньшими порциями. А Мишакову объяснил, что порция такая точно соответствует телесным. Разве охота ему, чтоб я упал вместо душевного разговора? Нет, он этого не хотел и больше не настаивал на равенстве.

Я, было, оглянулся пригласить Витьку, но тот опять исчез. Очень любопытное свойство было у этого парня: он где-то здесь, но увидеть его трудно.

Огонек внутри расползлся, я плескал ему горячее, и полумрак окутывал меня уютным гнездышком, в котором волен я был отдаваться любым чувствам. Даже тем, которым ни за что бы не отдался, будучи трезвым. Я знал, что коньяк — обманщик и убийца, но мне хорошо было с ним здесь и сейчас; он лукав, но ведь и я с ним нечестен. Потому что именно и хочу, чтоб он стал для меня убийцей. Так что притворяемся оба.

— Это поганец полгода в Англии не прожил, а уже познакомился с полицией, — интимно толковал мне Мишаков. — Уголовник какой-то. В кого он такой?.. Я его здесь еле отмазал, думал — ну уж в Лондоне-то... Хрен там!

С сыном у него проблемы — ты еще проблем настоящих не видел! И я стал рассказывать новому приятелю про детей и про Юлю. Как умерла она, и как на самом деле умерли для нас золотые наши рыбки — Славик и Оксанка. Всю душу им, понимаешь, а они — вон чего в ответ... И как Юля бросила меня одного. Черт меня побери. Нет, я детей не проклинаю, что ты. Проклятие, оно необратимо, как самоубийство. Даже в самые горестные минуты отчаянья ни я, ни Юля не сказали слов проклятья. Пусть меня небеса молнией вдарят, если только мысль такая во мне появится! Хотя нет, появлялась она, и не раз, чего уж тут... Будь я сам проклят!

— Знаю! — вскрикнул Мишаков, зачем-то занюхивая очередную рюмку кусочком хлеба. — Чего ж врать-то, что не знал? В седьмом классе сын мне говорил: я этой химичке еще устрою! Знаю, мол, в какой детсад она свою дочку водит! Тогда б еще мне, дураку, задуматься, а я — нет, решил, что ерунда все это. А оно видишь как вылезит...

Я рассказывал Коляну, как мы с женой были для детей мебелью. Это была образованная мебель, она читала умные книги и обсуждала их с друзьями и между собой, у нас была моя хорошая работа, приличные друзья и знакомые, мы посещали театр. С самого рождения сына мы регулярно ездили на море, чтоб он плескался в целебной воде, — сначала в Лазаревском и Адлере, потом бывали в Турции, Египте и Испании.

Мишаков часто качал головой — ну да, ну да, а еще придет домой, сказал он невпопад, и сожрет, сволочь, большую часть обеда, приготовленного на всю семью...

— Чужие они, — сказал он, — совсем чужие.

— Да, — ответил я, — много стен между поколениями. Даже запахи другие. Не хочется дожить до такого возраста, когда ты даже после бани будешь пахнуть протухшей улиткой. Так что пошел я...

— Причем здесь запахи? И почему улиткой? — удивился Мишаков. — Что, мало парфюмерии?

А я в ответ на парфюмерию рассказал, что за два десятка лет в браке мы с Юлей ни разу не проводили отпуск порознь. Ни разу. И всегда с детьми. Сначала с сыном, потом и с дочерью. Так всем табором и ездили. Совесть потому что: как же это мы одни поедим, — а дети? Им же тоже хочется!

Говорить о жертве не приходится: меня до сих пор умиляет, как Оксанка впервые бултыхалась в прибое, и ее ничем невозможно было из моря выманить — так ей пришлось оно по душе. Или как она старательно училась нырять рыбкой с сочинского волнореза. Зажимала нос, наклоняла голову вперед, а потом все равно прыгала ногами вперед. Раз сто, как какой-то вечный двигатель, но ни разу — головой. Ей важен был процесс, а не результат.

Но живыми людьми мы никогда для них не были. Так, часть родительского дома. Скатерть-самобранка. Которая зарабатывает деньги, приносит и готовит еду, набивает холодильник, покупает необходимые вещи, обеспечивает уют и комфорт. Все в порядке — это норма. Есть проблемы — виноваты мы. А то, что добывали отец и мать кровью и соплями и несли потом в клюве птенцам своим, для них — ничто. Ну, упало с неба; а что упало, то пропало. И не жалко. Нет цены у дармовщины. А процесс добывания им неведом. И бесполезно звать к совести.

— Да, Паш, да, — горестно кивал Мишаков и тоже рассказывал о величайшей в мире неблагодарности — сыновей перед своими отцами. Ну, или там дочерей перед матерями. Как же устал он, блин, разруливать за сыном — не успеешь поворачиваться!.. Может, надо было просто грохнуть этого подонка?..

Ни дочь, ни сын не помогали нам с Юлей по дому. Магазин там, ведро вынести — ни в какую. Как будто они дали страшную клятву не прикасаться к домашним делам. Поел — бросил там же, где ел. Мыть посуду — пусть моет, кто хочет. А нам в суеете житейской легче было самим убраться, чем добиваться мытьем и катаньем хотя бы мелкой помощи.

Мы пытались удержать их от наступания на наши грабли, боялись дурных друзей, алкоголя, табака, наркотиков, тинэйджерских тусовок, а они воспринимали это вмешательством в их растущую личную жизнь. И чем дальше, тем отношения наши становились хуже. Любые попытки поговорить с ними, как в детстве, воспринимались со все большим раздражением: это мое дело! Я сам решу свои проблемы! Оставьте меня в покое, блин! Не лезьте в мою жизнь, понятно?!

Сын увлекся гитарой и мечтал стать рок-музыкантом — мы виноваты, что не можем купить ему дорогую гитару. Козлы какие — шубку матери купили, а ему так нужна гитара!

Потом купили ему компьютер; куда же нынче без компьютера? Пусть поначалу он сутками сидел за игрушками, но мало ли, зато освоит заодно; потом наверняка пригодится в жизни. К его совершеннолетию пообещали ему машину — если выправит учебу в институте, и ради нее Славик довольно быстро стал прилежным хорошистом — разве не польза? А что от машины этой мы с Юлей потом имели одни неприятности и расходы — это второй вопрос.

— И я! И я! — воскликнул Мишаков. — Из-за компьютера этого поганого мне потом пришлось в казино долги платить! Игрушки, блин! Мать иху!..

Ага, компьютер, автомобиль. И постоянно — дайте денег. На ремонт, на бензин, на апгрейд. А тебе же потом за эти деньги — мордой по столу. Обычный развод лохов.

Распалившись и расслабившись, я наклепал на сына: это человек высокой безнравственности! Отцу грех так говорить, он вообще-то хороший, конечно, ага... Жаль, подтвердить некому. Но свидетелем на Страшном суде против него я бы стал! Всю правду бы рассказал о том, сколько горя принес он нам с Юлей. А когда уже не осталось сомнений, что Славик принимает наркотики, жизнь наша стала сплошным Страшным судом. Кому рассказать — не поверят: с виду такая благополучная семья...

А Оксанка! Врала нам обо всем просто фантастически. И тоже — с полным пофигизмом к отцу и матери. В трудный для нас период стащила половину семейных сбережений и уехала в Сочи с подружкой. Им погулять приспичило. И бесполезно объяснять что-то; только сдерживаешь желание дать ей по мозгам так, чтоб навсегда запомнила. Мы ждали ее и тешили свой гнев и моральное право на слова: что ж ты, сволочь, делаешь с нами? За что?

А как Славик говорил матери: я знаю, куда тебя бить надо. Туда, где почка твоя больная. Знаю.

Но физически справиться с ним я уже не мог. Попытаться поговорить бесполезно: все наши попытки разговора «за жизнь» заканчивались истерикой и угрозами убить себя или нас. Или всех.

Однажды я увидел за шкафом в его комнате бейсбольную битку, взял ее в руки, и все во мне замерзло. Это кому — Юле?.. Нам обоим?

Мишаков на это закричал:

— Да я своего тут же убил бы на хрен! Вот этой самой рукой!

И потряс перед моим лицом огромным кулаком.

— Что делать, Паш? Что с ними делать?

— Не знаю, — честно ответил я. — Мы с женой так и не нашли рецепта. По всякому лечить пытались, но не нашли. Вот Достоевский был такой, он сказал, что надо прощать. Это главное. Все, мол, надо прощать. Крест такой на нас: они тебя по морде, а ты должен им любовью отвечать и тут же забывать все плохое. Другого нет. Но у меня на такое сил душевных не хватает.

Я рассказал, как бессонными ночами мы с Юлей садились на кухне и принимались считать грехи наши — чтоб понять, за что такая кара. И не могли понять! По нашим подсчетам выходило, что мы за все уже расплатились с лихвой. Но через какое-то время опять — бац! — и сидим, считаем и взвешиваем...

Наверное, неправильные у нас весы были.

Про ожидание ночного звонка — будто за тобой пришли. Шевеля кандалами цепочек дверных. А это сын пришел. Пьяный или наколотый, обычно один, иногда с кем-то — это мое жильё, кого хочу, того приглашаю! Заткнись, понял?! И до утра потом руки дрожат.

А потом я снова рассказал Колян у в подробностях, как умерла Юля, и он даже прослезился. Оказалось, что у Коляна жена тоже умерла. Мы с ним встали и долго стояли, обнявшись по этому поводу. Только она не сама умерла, а ее убили. Хотели Мишакова убить, но его Витек уберег. Грудью своей закрыл. Правда, в бронезилете она была, грудь-то. А вот Аллочке две пули достались. Успели они, пока Витек их не положил обоих. Они две пули, и Витек им две, в расчете они.

А жену свою Колян любил, настоящая была она. Хотя и изменял, да. Но как тут не изменишь, когда их вон, на каждом шагу, и любая готова? А жена, конечно, уже не девочка и не так хороша и упруга. В рассказе о грехах своих Мишаков вместо имени своей жены почтительно называл ее «жена моя во Христе».

Это первая жена. Не, вторая жива. Из моделей она. Хрен ее знает, где она сейчас. Но из-за нее и с сыном возникла ненависть. Просто на голом месте, сразу, как смерч.

— А на хрена она мне? — удивился Колян. — Я могу хоть каждый день моделей этих покупать. Идиот! Сына мне сделала врагом, а теперь еще и раздела потребует...

— А кто ж первую-то заказал? — спросил я.

— Неважно, — ответил он. — Ему уже хватит. А о покойниках господь запрещает говорить плохо. Я смирился. Пусть земля ему будет пухом.

А сына его зовут Гришкой. В честь Григория Мелехова, настоящего мужика. Это Колян в детстве читал и на всю жизнь запомнил книжку. Охрентельный мужик был Гришка Мелехов. А вот с Гришкой — беда. Не хуже, чем у тебя. Был нормальный и нормальный, а лет с тринадцати начал в форменного уроды превращаться. Сейчас в Англии учится; думал, может, там из него человека воспитают. Все ж приличное общество. Скоро уже вернется, ему вот и квартиру мою Мишаков купил. Но если б ты знал, Паш, какой он бывал иногда сволочью, сынок мой, — сам бы своими руками придушил подонка!

— А ведь пока маленький был он, Паш, это ж столько удовольствия! И жить ради чего было, и вообще...

Удивительно, как сходились наши мысли: я в этот момент как раз вспоминал и маленького Славика — он был удивительно забавным, страшным непоседой, и сколько всего с ним случилось; и как Оксанка первый раз на море побывала, и эти вешки теперь становились, пожалуй, главными в жизни. А как мы четвером на озера ездили и шли по лугу, накрытому для нас полевыми цветами; как цапли гуляли по берегу и на мелководье, а в небе захлебывались невидимые жаворонки, и огромный карась, которого я поймал с первого же заброса... Ох, и день был! — спрятаться бы в нем и не вылезать...

Мы хорошо сидели с Коляном и долго — благодаря мудрости моей о том, что наливать мне надо половину дозы.

— А теперь я и не знаю, — журчал Колян. — Модель эта — на фиг только я женился? Но это ладно, ничего она не получит, все сыну достанется. Только б все сложилось у нас с ним...

Мне было тепло и влажно на душе от наших разговоров, и я все-все рассказал ему про Славика и Оксанку. О золотых наших рыбках, ставших пираньями.

Не рассказал я ему только о том, что на кладбище еду. Вернее, душой — к Юле, а телом — в Сибирь, во тьму и безлюдье, под дерево, где косточки мои белые покроет зеленым мхом...

А Мишаков в какой-то момент вдруг сказал, что задумал я недоброе — чуёт он. И это зря. Грехи надо снимать, а не накапливать. Но если попаду я в какую историю, надо дать знать ему, и он постарается меня вытащить.

— Ты человек, Паш, — сказал он. — Мы с тобой одной крови. А людей сейчас мало. Их надо беречь.

— Денег — как грязи, — повторил он в который раз, — а счастья, блин, нету. Они и есть грязь, запомни это. Слава тому, кто это понимает. Тебе — не слава, ты этого пока не знаешь. Может, поймешь еще, мужик ты умный, сразу видно. Тем более, изобретатель. Ну, или конструктор, какая разница. Уважаю.

Кажется, мы пришли к общему мнению: будь проклят возраст тинэйджеров! Такая бездна между младенцем и детьми, которые выходят из детства в мир взрослых, как на большую дорогу. Личности без всяких на то оснований и со слепой тягой доказать всему миру самостоятельность свою. Крутизну. А нечем.

Сволочи.

А может, и не так все было. Коньяк же.

5. АПГРЕЙД

А поутру мы проснулись... Голова болела. Мишаков огромным тюком спал на диване. Умывшись, я сунулся к холодильнику на кухню и обнаружил его битком набитым снедью и напитками всех родов войск. В морозилке лежал неизвестный мне пакет с крупными кусками льда. Я приложил его к лицу, и это было приятно. А еще от головной боли, я помню, хорошо помогает пиво. Хотя желания пить его не было ни малейшего.

Я пытался вспомнить, откуда снедь и напитки. Вчера я был, конечно, пьян, но наверняка вспомнил бы, если б ходил в универсам. Или это было позавчера?..

— Витек! Пашка! — заорал Мишаков за дверью. — Есть кто живой? Я вернулся в комнату.

— Ох, — сказал Мишаков, сбрасывая одеяло. — Хорошо посидели. Так. Пить и писать.

Он вздохнул глубоко, ткнул в меня пальцем и очертил им круг:

— Давай, Вить, эта... сервируй быстренько. Надо подлатать действительность после пьянки.

Только теперь я почувствовал дыхание за спиной, но откуда появился этот черный человек, так и не понял. Да ладно.

Мишаков фыркал и кряхтел в ванной.

— Вам бы одеться, Павел Андреич, — тихо сказал Витек, накрывая стол. — Скоро Николаев придет с нотариусом, бумаги подписывать.

— Что, бриться надо? — глупо спросил я, но он уже исчез, а в дверях стоял жалкий в своем голом безобразии Мишаков, вытираясь баннным текстильным полотенцем с оленями.

Колян был не в духе. Пожалеть его было нетрудно: он пил вчера вдвое против моего, а мне сейчас было очень худо. Очень. Мишаков сел за столик и сказал:

— Ну, вот — как пишут в милицейских протоколах: угрожая предметом, похожим на бутылку водки... Но мы угрозу поняли и надираться не станем. И вообще, я тебя полюбил — я тебя научу. Если трубы горят, то самое первое — это холодное шампанское. Просто не сказать словами, какое удовольствие может оно принести похмельному человеку.

Шампанское он открыл сам, не дожидаясь Витька, и всю бутылку выплеснул в два огромных фужера из тещиноного серванта. Признаться, первым глотком я слегка поперхнулся, но потом организм мой вино распробовал и принял, и пил я его с наслаждением. Хоть и в несколько приемов. А Мишаков свой фужер выпил разом и сказал:

— Кстати — научу. Доведется если с кем поспорить, смело ставь на то, что он не сможет выпить пузырь шампани в один присест. Такое могу только я, да и то с трудом. Изнурительными тренировками. А потому и выигрывал уже пари на крупную сумму. Крутым пацанам кажется, что они шампань одолеют запросто, — а вот хрен там!

Стол был уже очень яств, и чего только на нем не было! Шампанское уменьшило утреннюю тяжесть моего тела, и дальше было уже проще. Меня несло легким течением, и я этому ничуть не огорчился. Наоборот, я стал дерзким, и мы с Коляном могли позволить себе, например, хамски заедать коньяк селедкой, шокируя разных там аристократов. Если б они нас увидели. Ну, не научены мы с детства, что к рыбе — белое вино, а к мясу — красное. Или наоборот, неважно. Пусть это аристократов заботит, а нам по фигу понты.

После легкой утренней беседы под шампанское — детей мы сейчас не вспоминали — Колян опять призвал Витька:

— Давай, пора. Борщ, бриться и, через полчаса, — нотариуса. Выпить хорошую стопку и захлебать ее борщом — высший смысл этой гребаной жизни! Налей Паше тоже борща, Витек. Пусть почувствует, каково это — хорошая стопка с бодуна и кусок разваренного мяса, чтоб изжевать его до неузнаваемости!

Через пять минут Витек внес тарелку ядреного борща и вопросительно глянул на меня.

— Ой, нет, — сказал я, чувствуя, как подкатывает к горлу тошнота. Есть я не мог. А уж на горячий борщ просто не было сил смотреть.

— Это напрасно, — сказал Колян, шумно прихлебывая из большой тарелки. — Ничто так не возвращает к жизни, как хороший борщ.

После второй рюмашки он вспотел и покраснелся.

— Я тебя полюбил, — сказал Мишаков, — я тебя научу. В пьянстве самое главное — похмелье. Переход из страдания к блаженству и покою. Все гадости и боли осыпаются с тебя, и ты сидишь среди них, чистый и красивый. Апгрейд по научному. И самый крутой апгрейд, известный человечеству, — похмелье. Ну, будь здоров!

— Всегда здоров! — ответил я, как пионер, чокающийся с вожатым.

— Ты закусывай, а то нотариус скоро придет.

— Что, сам? Сюда придет?

— А что, я за ним, что ль, буду ходить? — удивился Мишаков.

Что-то изменилось во мне, и я долго не мог понять, что именно. Потом вдруг понял: бабочки больше не шуршат. Туман отступил, и я видел ясно каждую минуту своего бытия. Вот уж и вправду апгрейд! Даже по-

мню наши вчерашние разговоры с Мишаковым. И совершенно не помню, что снилось мне в эту ночь. Просто спал без задних ног. Так бы вот и перевалиться мешком за ту дверь...

Я послушался Мишакова, мы пропустили с ним еще по рюмашке, и водка уже не вызывала отторжения.

А потом все размыло. Приходил ли нотариус, и что мы с ним делали, — совершенно не помню. Кажется, черно-желтой ночью мы с Мишаковым посещали какое-то роскошное заведение, и там посетители почтительно жали нам руки, и кланялись лакеи в экзотических костюмах. Мы сидели за столиком, нам принесли огромное блюдо со стерлядью, и во мне вдруг проснулся зверский аппетит; я ел и ел эту царскую рыбу, и никак не мог наестся. Вот, далась мне эта стерлядь — за всю жизнь ею налопался. Или это мне бабочки напуршали?..

Помню, к Мишакову подошел некий лысый тип, и у них состоялся странный разговор, из которого я ничего не мог понять, но который чрезвычайно обеспокоил Витька, — я видел это по обычно невозмутимому его лицу. Как будто он приготовился падать на пол, выхватывая пистолет, и стрелять.

Но мне было спокойно и приятно, что Мишаков стал моим другом; я жрал стерлядь и даже улыбался, уверенный в Витьке, и благодаря моему спокойствию ничего не произошло.

Помню, что Витек вел меня в ванную, и это было не в тещиной квартире и не в моей, а где-то еще. Он поливал меня из душа холодной водой, трепал волосы, а потом больно тер полотенцем. Еще он меня брил, хотя я протестовал, потому что и сам мог бы это сделать, и обильно напшикал одеколоном, от которого я чуть не задохнулся. После чего мы ехали на джипе, и я не помню, был ли с нами Мишаков.

Потом вдруг наступила ясность, будто в комнате, где горел лишь ночник, включили прожектор, и я обнаружил себя за столом с авторучкой в руке перед документами. Совершенно трезвым и оттого грустным. Еще и читать надо было — долго и мелко, а этого мне совершенно не хотелось. Я и не читал почти.

Помню лишь, что договор был оформлен на Мишакова Григория Николаевича. Я-то думал, естественно, что Колян — покупатель, но он где-то рядом буркнул:

— Сынок это мой. Тот самый. Из Англии. Вернется скоро. Вот, подабочек папа приготовил. Родитель долбаный.

А потом опять было кресло, желтый свет и бесконечный разговор наш с Мишаковым о чем-то самом главном. И бессмысленном. Потому что раньше надо было. А теперь поздно. Все равно, что рану расчесывать.

Еще было о Витьке, который, как джин, в квартире вроде бы отсутствовал, но возникал немедленно по зову Мишакова.

— Витек, он мой пес цепной. Он мне жизнь спас — я рассказывал, да? Жену двумя пулями из калаша пробили, а меня он закрыл. И положил гадов. Вот велю ему тебя охранять — он и за тебя умрет.

— Ага, — сказал я, — а велишь грохнуть, и — кирдык Паше.

— Ну! — удивленно посмотрел он на меня. — Правильно! Я ж и говорю!..

— Не надо, — сказал я, — не надо за меня умирать. Я сам готовый...

Тут я даже сквозь туман понял, что главной тайной делиться нельзя — должно же у человека сохраняться что-то святое в душе. Вот и пусть сохранится. Все скажу, а это — нет.

Мишаков не обратил внимания на заминку. Он о своем думал. И продолжал:

— Витек, он непростой... Хотя и выглядит таким... Скомканным. Его и десяток даже таких, как я, не возьмут. Даже с перьями не возьмут. Поверь, я видел — почище боевиков голливудских. Он раньше в этой служил, в президентской охране. Как ее — ФСО, ФСБ, ФСУ... Не важно. А я б за жену и сам умер. Если б знал. Паш, давай — за любовь! Это единственное, за что стоит умереть. Клевый тост. Грех не выпить.

Видимо, я даже успел где-то сфотографироваться. А может, у меня нашлись фото для документов. Потому что на следующее утро в кармане своем я вдруг обнаружил удостоверение капитана ФСБ. В костюме и галстук, но в ксиве написано было черным по белому: капитан какого-то там отдела управления федеральной службы безопасности.

— А чего капитан-то? — обиделся я. — Мне уже по возрасту положено быть старшим офицером. Пусть не генералом, но хоть полковником. Или, на худой конец, майором.

— Паш, — поморщился Колян. — Чувство меры — это зрелость. Можно и полковника сделать, но это перебор. Поверь, тебе и капитана за глаза хватит, чтоб любые проблемы решить. Ну, давай — со звездочками тебя! Настоящие, не сомневайся!

— Не-не, Колян! — сказал я громко, жестко и окончательно. — Я больше не буду пить. Не могу, все! Да и вообще — дела есть, надо там еще кое-что утрясти...

— Бросаешь, да? — прищурился он. — Думал, ты человек, а ты — свинья неблагодарный! Ну и хрен с тобой. Вали!

Я вошел в эту квартиру бодрым и молодежавым, а из зеркала в прихожей на меня посмотрел глазами спившегося трагика старый, опухший, унылый клоун.

Трагикомедик.

6. ВСЕ СВОЕ УНЕС С СОБОЙ

Напоследок я переоделся во все чистое и прошелся по квартире, которая стала семейным нашим склепом. Такая прорва здесь вещей, казавшихся важными мне, Юле, Славику или Оксанке. Незнакомые люди будут трогать эти вещи, наполненные нашим прошлым, но для них они пусты.

Сколько бумаг у меня на столе! Отныне все, что годами системно раскладывалось раритетами по полкам и ящичкам, — макулатура. Вот после смерти отца я перебирал его бумаги — для него они были надеждой, скорбью и будущим, а для меня в них никакого смысла. Теперь и я пришел к переправе, и стопы бумажек и документов, которые при жизни моей притворялись остро необходимыми, вдруг обрели исходный смысл: ими удобно разжигать костер. Буквы и изображения на них потеряли всякое значение и никому больше не интересны. Как чужие сны, которые всегда скучны. А свои обязательно значат что-то важное. Вот только понять эту важность не удается.

Новые хозяева квартиры наверняка выбросят все наши артефакты, с помощью которых проходили мы какие-то уровни в этой игрушке — жизни.

Спите спокойно, дорогие вещи. Пусть вам мусорка будет пухом.

Ниточки обрывались, и прошлое уходило от меня навсегда.

На столике в зале я оставил два обручальных кольца. Вот, мы жили

здесь. Может, у вас лучше получится. Живите долго и счастливо и умрите в один день.

Когда я в последний раз открыл дверь остывающего своего логова, вдруг сердито и властно зазвонил телефон. Тело мое дернулось к прошлому, но я удержал его.

Я умер, братцы. Никогда больше не звоните сюда. Никому. Умерли все, кто жил здесь долгие годы и ждал ваших звонков. Жили завтрашним днем, но он так и не наступил, и никто из нас не исполнил своего предназначенья. А теперь все связи этих людей между собой и с предметами выключены, будто на небесах опустили рубильник. И невидимые обрывки связей валяются теперь по всей квартире.

Ваши души наполнены будущим, а моя — дохлыми бабочками.

Глупый телефон продолжал требовать меня к ответу. Ничего, оставшиеся вещи, стены, пол, окна и двери привыкнут к новым хозяевам. Даже телефон — он научится чужому голосу, который станет для него родным. Как брошенные собаки, печально заглядывающие в глаза прохожим... Он привыкнет, но до скончания века будет прислушиваться — вдруг это кто-то из нас вернется...

Вот об этот угол в прихожей Славик рассек себе лоб, перепугав нас обилием крови, и шрам у него на лбу остался на всю жизнь. Много было с сыном хлопот и проблем. Но и счастливого было много. Вот здесь он создал нашу семейную притчу. Славик засовывал совок в щель, старательно так, аж язык высунул. Пихал-пихал и — запихнул. И тут понял, что совка лишился. Как дал реву!

Разве не притча? Все мы добиваемся чего-то, высунув язык от усердия, а добившись, вдруг прозреваем: цель была дурной, она лишила нас чего-то гораздо более важного. Воспитали мы своих рыбок золотых? Сколько сил душевных потрачено! И?.. А что б вам не быть просто счастливыми — здесь и сейчас, сию секунду? Нет никакого воспитания, блин! Только любовь есть — простая, как картошка, и либо ты живешь с ней, либо меняешь это золото на стеклянные бусы.

Сын ушел наркоманом — а помнишь его детские ручонки, обнимающие тебя наивно и цепко? Ты на что променял их, урод?

А как вы с женой таяли над новорожденной Оксанкой? Ну и что? Воспитали лапушку-дочку? Да будь проклято такое воспитание! И эту казнь над своей семьей устроили вы, два придурка с высшим образованием, считавшие себя вполне достойными людьми.

Напоследок я прошелся по дворам своего района и долго стоял под окнами одного из домов. Тридцать лет тому назад я проводил здесь целые вечера, потому что был отчаянно влюблен в девочку из 8-го «А» моей школы. Безответно, конечно. А жила она в этом доме на четвертом этаже. Звали ее Лиза. Я ловил тени в окнах ее квартиры, шептал ее имя... Блаженный, я часов не наблюдал.

Прощай, Лизонька, моя первая любовь. То была доисторическая эпоха — за миллионы лет до появления в моей жизни Юли. Кайнозойская эра. Я эту Лизу уже четверть века не видел, и она вряд ли бы даже узнала меня при встрече, но возможность такая до сих пор сохранялась, а теперь мы уже точно никогда не увидимся. Я обрываю эту ниточку, как и все остальные.

Рядом со словом «навсегда» многое приобретает новый смысл. Да все приобретает новый смысл!

Вот, ты стал свободен — лети-лети, лепесток, через запад на восток,

хоть на север, хоть на юг... Разве не мечталось об этом раньше — ну, хоть изредка?

Иди, езжай, лети, куда угодно, — никто не спросит ни о чем. Хоть на велосипеде можешь уехать — с билетом в один конец. Любой каприз за ваши бабки, и денег — как грязи: банковские карточки, сберкнижка, дорожные чеки, даже вексель Сбербанка. В ремне джинсов спрятана золотая Visa, в подкладке куртки — набитая валютой MasterCard. Не считая долларов и рублей по карманам.

Я был вооружен и очень опасен.

Возможностей — бездна, были б еще желания. Это раньше я был частью механизма. Все в нем было смазано и отлажено, и механизм казался вечным двигателем. Я ходил на работу, ездил в отпуск с женой, воспитывал (ох, господи!) детей, чем-то был постоянно занят. А теперь вдруг шестеренкой вылетел из сломавшегося механизма и стал сам по себе. Вместо семьи я получил пространство и время. Раньше с утра была работа, а ночью — сон, теперь же я могу колобродить ночами и отсыпаться днем в гостинице, на свежих простынях. В шикарном номере — хоть с бассейном! Проснулся утром — и в бассейн; красота! Такого в моей жизни еще не было.

Но вдруг оказывалось, что прошлое не желает выпускать меня из своих лап. Я б хотел отодрать все эти веревки-нервы, а они будто вросли в мое тело.

На улице вдруг звонок на мобильный:

— Павел Андрейч, поставки цемента срываются!

— Какой еще цемент?..

— Ну как же! А вы что, не в курсе?

— Меня нет. Звоните генеральному.

Через пять минут опять звонок:

— Павел Андрейч, это крандец! Надо срочно что-то делать с поставщиком!

— Да нет меня! Я умер!

Через минуту:

— Пал Андрейч, вы все шутите, а у нас проект накрывается!

Я выключил мобильник.

Всякие обязанности и долги слетели с меня, как иголки с засохшей ели, по которой рубанули чем-то очень тяжелым. Могу поехать на такси во Владивосток. А могу и пешком. Мир посмотреть, огромный и загадочный. Спать в мотелях, гулять, где хочу. На сопки подниматься, нанять вертолет и летать над тайгой, выбирая место для своего перехода в мир иной. Ловить тайменя, о котором я премного наслышан. Поймать, загадать ему желание, как золотой рыбке, и выпустить. Может, я сам стану в будущей жизни тайменем, и кто-то поймает меня и не сожрет свеженьким у костра под водочку, а пошепчет заветное желанье и выпустит на простор хрустальной сибирской речки.

Надо еще обязательно сходить на стадион в каком-нибудь далеком сибирском городе.

Мертвый я, мне все теперь можно.

Я позвонил Мишакову и повез ему ключи от своей квартиры.

Дверь открыл Витек, но я его, кажется, даже не увидел. Колян в роскошном халате с драконами сидел, разумеется, за накрытым столиком. От приглашения выпить я категорически отказался и завел разговор о своем удивлении, что и квартиру на проспекте Мира я тоже Мишакову

продал, причем за те же деньги. Так хорошо посидели с ним, так душевно поговорили, а вот поди ж ты — надул!

— Кто надул? — заорал Мишаков. — Базар фильтруй, баклан! Я тебе сразу говорил: вся сумма — за три объекта. Эта хата, земля дачная и хата на проспекте Мира. И риэлторы твои за все про все больше не давали. Ты вообще понимаешь, что должен мне в ножки кланяться? Пошел вон, урод! И благодари бога...

Он помолчал, потом протянул мне руку.

— Да ладно, Паш, чего нам ссориться. Хорош, ладно? Не обижайся. И это, Паш... Я тебя предупредить хотел. В деньгах смысла нет. Ты не сомневайся, я все в этой жизни видел. Проблемы у всех одни и те же. Хоть сколько у тебя денег. Привыкаешь быстро, а потом все по новой, из тех же запчастей. Никуда не деться. Правда, отказываться от удобства денег трудновато, но можно. Это как бросить курить.

Он достал сто долларов, поджег купюру, прикурил от нее и держал, пока она не сгорела дотла.

— Вишь, кому-то счастьем показалась бы, а я знаю — обманка. Не ходи туда, Паш, снег башка попадет — совсем мертвый будешь!

— Ага, — вспомнил я классику, — в фантастических романах главное — это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет. Спасибо, Колян, я это уже понял. Иллюзий особых не питаю.

— Да ни хрена ты не понял! — рявкнул он. — Откуда тебе понять, если ты еще и не пробовал? Ты ж не знаешь власти денег? Когда все — твое? Не знаешь! И это надо пережить, чтоб понять: дальше некуда — тупик!.. Хоть в дерьме ты, хоть в шоколаде, а от написанного тебе на небесах никуда не денешься.

Я догадался: разговаривать о квартире на проспекте Мира бесполезно. Никакой прибавки не получится. Хотя — а зачем она мне?

Помолчали.

— Ну, и куда ты теперь, бродяга? — спросил он. — Имущество скинул, а билет-то купил? Может, Витька пошлем? А виза есть? С визой помочь? Вить!..

— Не, Коля, спасибо. В Сочи, куда ж еще. В Сочи! Черные ночи... Прибой... Я уже купил билет на воскресенье, — соврал я.

— Смотри, кума, тебе жить. Вчера ты не врал. Тебе похмелиться надо, снова человеком станешь. Огорчаешь, брат. Кому ты врешь-то, хрен моржовый? Мне?! Еще раз облажаешься — и никуда уже не доедешь, понял?! Садись, блин, будем человеческое в тебе восстанавливать.

Я с тоской оглянулся, но никого больше в квартире не было, и я махнул на все рукой и сел в кресло напротив Мишакова.

— Уважаю, — сказал он тихо, даже поиграл желваками в знак уважения и направил в мою сторону запотевшую бутылку виски.

Мы посидели с ним два или три часа, но о главном опять ни слова не сказали. Будто боялись чего-то. Так, треп ни о чем.

Напоследок я вспомнил антиквара и спросил Коляна:

— Слушай, а куда ж Петр Венедиктович-то делся?

— Не дави на шею, Паш. На шею — не дави! — набычившись и щуря глаза, ответил Мишаков. — Жлоб он, не жалею о нем. Таких учить надо. Еще и пеплом ему голову посыпать на дорожку. Хотя можно было бы и в перьях вывалять.

Он удивленно посмотрел на меня и ухмыльнулся.

— Ты чего помрачнел-то? Да жив он! Жив и здоров. Просто внезапно потерял всякий интерес к твоим сокровищам.

Не получилось у нас душевной пьянки. Всего одну бутылку и уговорили, и вышел я из дома совершенно трезвым.

Я все-таки решил обмануть Мишакова насчет отъезда. Сказал, что поеду в Сочи завтра, а сам в этот же день, крадучись и озираясь, удрал в аэропорт. И там, в огромном зале, постоянно чувствовал за спиной дыхание Витька. Я понимал, что хуже смерти ничего не будет, и позиция у меня неубиенная: сама смерть — хорошо; стало быть, все остальное — просто отлично. Но так и не смог унять холодок в душе.

Ну, поиграем в шпионы. Ленивой походкой я гулял по людным местам, в менее людных нырял во всякие закоулки, а однажды и вовсе прошел через комнату для техперсонала на летное поле и в зал аэропорта вошел с другой стороны. И вдруг встретился с Витьком лицом к лицу. Он очень огорчился.

— Чего ты хочешь? — спросил я. И добавил совсем уж глупое: — Смотри, а то боссу твоему нажалуюсь, он тебе шею свернет.

Витек ухмыльнулся, и я понял, что за шею свою он совершенно спокоен, и что именно по указанию босса он и следит за мной, а не по собственному разумению. Хотя кто их разберет. Да и деньгами я набит, как подушка перьями.

— Я ничего, Павел Андреевич, — ответил он вполне доброжелательно. — Шеф велел проводить. Чтоб эксцессов каких не случилось. А на глаза вам решил не показываться, чтоб зря не беспокоить.

— Все, Вить, спасибо, — сказал я. — Ты уже проводил. Эксцессов нет. Дай мне спокойно уехать из этого чертова города. Понимаешь?

Диктор объявил об очередной посадке, я обернулся — и за секунду эту Витек успел раствориться в толпе, будто его здесь и не было.

Тогда я еще раз попытался запутать следы. Не сдавая билет и напряженно высматривая Витька, я дождался объявления на посадку, стал в очередь, а в самом конце ее вместо регистрации быстренько выскользнул из очереди в толпу и, сутулясь по-шпионски, выбрался на улицу, тихо взяв участника и уехал в город.

В центре я пересел на другого участника и добрался на речной вокзал, где купил билет на ближайший «корабль» на юг.

Вечером того же дня я сидел в кресле на палубе, прикрывшись пледом, и мыслям моим была открыта небывалая бездна. Это мы Юлей загадывали, что когда-нибудь поплывем на океанском лайнере в круиз и будем сидеть на палубе, смотреть на дымку морскую, говорить, молчать и думать, плавая в небесах, как жаворонки. Теперь я один сбываю эту мечту.

Помню, как однажды поразила меня карта на железнодорожном вокзале. Инженером я бывал во многих городах: Питер, Самара, Краснодар, Волгоград, Челябинск, Воронеж, Ростов, Харьков, даже в Иркутск приходилось летать. Но та карта вдруг потрясла меня бездонным пространством нашей страны. Ладно Волгоград, но Иркутск-то уж можно было принять краем земли; однако и после Иркутска на восток простирались просторы колоссальные, и с карты они стекали в мою душу, наполняя ее безграничностью. И ста жизнью Ариэля не хватит, чтоб облететь всю эту землю, потрогать веточки придорожных деревьев, посмотреть на людей с крыши какого-нибудь дома, и весь мир вокруг, чужой и незнакомый мне, им привычен, они все в нем знают и не думают, что такие же колеи, в которых барахтается жизнь, есть всюду.

В незнакомом и далеком сибирском городе я схожу посмотреть футбол на центральном стадионе. Поплаваю в ауре единокровия, молодой упругости мяча и запаха скошенной травы, вскриков и стонов сильных тел.

Буду гулять по набережной; наверняка ж у них там есть набережные... В парке гулять буду и разглядывать юные парочки, молодых мамаш с колясками, впитывать их запахи и смыслы чужих жизней. Тысячи километров, вдоль которых чьи-то отчие дома и родные кому-то дворы, лавочки, заборы — как родны для меня дворы проспекта Мира. Я, песчинка, предчувствовал холодок вечности от этих встреч глазами и ощущений великой и ужасной человеческой жизни.

Потом — на Байкал! Омуля хочу напоследок. А от Байкала — на север. За тайменем из какой-нибудь великой сибирской реки, до середины которой редкая лодка доплывет. На север, к черту, в глушь, к таймену.

В детстве я ловил в подмосковных прудах окуньков и плотвичек, и таймень представлялся мне существом легендарным и почти мифическим, наподобие Ильи Муромца. Вот, хочу тайменя. Поймаю, а тогда и помирать не стыдно. Как-то так.

И непременно буду делать добро на этом последнем пути, подавать милостыни, приносить кому-то хотя бы короткое ощущение сбывшихся несбыточных надежд.

Но сначала в Сочи. Или в Лазаревское. Туда мы впервые привезли Оксанку, когда ей было пять лет, и море ее потрясло. Она плескалась в прибое радостная, как щеночек. Вообще-то, она послушная была девочка, но вытащить ее из прибой было невозможно. Ей угрожали карами родительскими и небесными, если она немедленно не вылезет, и она хотела быть послушной, кричала нам: иду, все! Последний разочек! — и плюхалась в воду, прибой катил ее по гальке, а она опять зажимала пальцами нос и прыгала в пену, крича: сейчас! Последний разочек!..

Никак душа ее не могла оторваться от морского блаженства, и она снова и снова плюхалась в прибой.

Я давно уже не ребенок, я старый и дряхлый, но тоже хочу плюхаться в бирюзовую воду. И буду! Можете не смотреть на меня с укоризной, смущая близких этого лысеющего чудака; близкие мои к вашей укоризне равнодушны. Если они что и увидят оттуда, с небес, то с улыбкой. Им и самим, может, хочется в прибой щеночками плюхаться.

И тайная мысль: может, меня случайно грохнут на этом пути. Двух зайцев порешить, ага. На лепестке осеннем склюют вороны какие-нибудь. Или шпана зарежет. И не будет знать, бедолажка, что я именно того и хотел; переживать начнет, мучаться...

Я вспомнил, как утром, шляясь по дворам своей округи, подал стольник нищенке. Хотя и знал, что он ей не пригодится. Спрячет или доложит в «гробовые», которые на самом деле ей совершенно не нужны: ну зачем тебе официальное место на кладбище и право спокойно провести под этим крестом 30 лет, если впереди у тебя — Вечность?

Но ничего с этими старушками не поделаешь. Хоть миллион я ей дам. Поэтому пусть радуется стольнику; это и есть самое главное — радость этой секунды. Важен процесс, а не результат. Вот и весь смысл жизни, и важнее его ничего нет. А мы с женой его профукали и потратили на вздор, который называется — воспитание.

Из блаженного созерцания воды, неба и берегов, из тишины и покоя мыслей выбросил меня знакомый голос за спиной:

— Слышь, капитан, давай-ка повара сюда, пусть покажет все, что умеет! Гуляем мы с Пашкой! Хочу, понимаешь, ренессансу советского, из детства: картошечки жареной да с лучком зелененьким и салцем запорожским — мы ее, подрумяненную, будем прямо со сковородки ложками хавать, как в детстве! Огурчиков малосольных. И это, салце свежее с горчичкой. И квасу настоящего, хренком чтоб попыривал...

— Этого я не могу, уважаемый... — начал было капитан, но Мишаков рывкнул:

— Ты чего, волк речной, ондатра хренова, не понял, с кем разговариваешь?! Я ведь прямо сейчас эту посудину по телефону куплю, и будешь ты на ней не капитан, а моржовый хрен!

Тот с сомнением мрачно сказал:

— Да, я понял, — и ушел, а Мишаков навис надо мной своими огромными штанами и расстегнутой на животе рубахой.

— Ты чего, Пашуль, опять меня кинул? Ты разве не слышал от Библии, что на небесах любое вранье — как на ладони? А я вот тоже смотрю на тебя и думаю: да что ж ты никак человеком не станешь?

Я промолчал.

— На, — сказал он, принял от кого-то сбоку почти полный стакан и протянул мне, — штрафная!

Все, что мог я подумать и сказать, заглушил я этой порцией, выдохнул, принял из рук Мишакова кусочек хлеба, вдохнул его аромат и молча затаился протянутой мне сигареткой.

— Ладно, расслабься, Паш, — сказал он, улыбаясь. — Время такое у меня наступило в жизни — прощать всяких раздолбаев. В прежние времена тебе б надо за вранье морду разбить, а теперь у меня эра милосердия, поэтому мы с тобой расслабляться будем. Спасибо скажи своей жене. Я люблю ее, покойницу, как родную. Даже глаза ее вижу, хотя ни разу не встречал. И только пикни что-нибудь поперек! Великая тебе женщина досталась, а ты прошляпил! Богиня — земному червю. Чего скривился? Да шучу я, Паш!.. Ну, что ты? Какой же ты червь, когда я к тебе, наоборот, со всем уважением...

— Колян, — сказал я ему, — Колян... И скучно, и грустно, и некому руку подать... Тебе только, друг мой последний. Скажи: а отчего ты до сих пор ублюдка своего не застрелил?

— И застрелю, — покорно ответил он вместо того, чтоб озвереть. — Вот приедет, и если человеком ни на грамм не стал — точно пристрелю. А куда мне тогда деваться?

Ночь прошла в загуле. Помню яркие, крупные звезды на небе, какие бывают только в глухой деревне, тишину оглушительную и шелест воды о борт. И возник сам собою опять разговор о детях, и я горестно рассказывал про бессонницу, которая периодически пыталась нас с Юлей; мы сидели на кухне, взвешивая грехи свои за всю прежнюю жизнь, и пытались понять, за что нам кара такая. Но всю ночь на кухне не просидишь, и мы включали телевизор, пытались дремать под его бормотанье, просто сидели на диване или лежали в постели глазами к потолку.

Задача была нерешаемой, и Юля иногда плакала. Наверное, женщине это нужно, чтоб облегчить тяжкий груз, но я всегда чувствовал себя виноватым.

В какой-то момент Мишаков потребовал от капитана доставить на борт девочек, и тот заспанно объяснял ему, что это невозможно, а Мишаков наседавал и даже добился остановки у какой-то сельской пристани. Я

запомнил на ней сломанную доску, о которую больно споткнулся, а потом была чернота захолустной ночи, и то, как удалось нам вернуться на борт, осталось для меня тайной. Наверное, это Витек, но я не помню его присутствия.

Утром я не отозвался на стук в дверь и зов Мишакова. Не стал выходить из каюты и молча пролежал до обеда. Потом долго плескался в душе, он смывал ошметки снов, и я мылился так тщательно, будто весь был покрыт какой-то слизью.

Выйдя на палубу к накрытому столу, я отказался и от водки, и от сигареты. Долго и печально сидел я за столиком напротив Мишакова, пытаюсь внушить ему своим видом, чтоб оставил он меня в покое. Но тот внимания на мою печаль не обращал, выпивал и закусывал. Окружающий мир в его глазах отражался, но уже не весь.

Выпив очередной стопарик, он вдруг сказал:

— Паш... Возьми меня с собой. Оказывается, так просто... Я тоже хочу под деревом. Очень мудро! Давай втроем и побродим. Ну, куда ты один, да еще и весь набитый баблом, — тебя ж грохнут на первом полустанке!

Я усмехнулся, Мишаков этой усмешке удивился, задумался и помолчал.

— Нет, — сказал он, — ну все равно — втроем веселее. Да и Витек удобства создает. Мы потом когда до пихты твоей доберемся, то Витька отпустим. И все ценное, что останется, отдадим ему — пусть человек порадуется жизни, да? Чего ты опять лыбишься-то?.. Ну, хорошо, я просто прошу тебя: возьми меня с собой. И поверь, я еще никогда и никого о таком не просил. Сами прибежали и готовы были исполнять, что пожелаю. Тебя — первого. Будь человеком, Паш.

— Колян, прости, — сказал я. — Ты понимаешь, я на самом деле не гулять еду, а на кладбище. И мне одному туда надо. Интимное это дело, понимаешь? А если не интимное, то никакого в нем смысла нету! Извини. Отпусти ты меня, а? Ничего умного я тебе сказать больше не могу, а желания квасить сутками у меня нет. Надо мне, понимаешь?

— Витек, слышь? Уйди отсюда на хрен! — крикнул Мишаков и наклонился, тяжело дыша мне в лицо. — Я, Паш, жутко боюсь старости. Тебе только, как родному... А мы б с тобой так душевно еще поговорили. Про детей наших... Я как представляю, что кто-то будет мою тушу кантовать, задницу мне мыть, простыни выдергивать — лучше б Витек пристрелил. Друг, возьми меня с собой, я все для тебя сделаю.

Колючими глазами Мишаков сверлил мое лицо, но я скорбного взгляда так и не отвел. И он сдался.

— Пошел на фиг отсюда, урод. Чтоб на ближайшей пристани!..

7. СПАСЕНИЕ МЕДУЗЫ

На пристани я поймал частника и отправился на вокзал, поскольку аэропорта здесь явно не было. Однако брать билет на ближайший поезд не стал: скорые здесь не останавливались, и что-то еще мешало мне сразу уехать. Я бродил по платформе, пытаюсь понять, что именно. И решил, что это из-за Мишакова: опять он меня достанет! В поезде, в самолете, в Сочи... Появится и потребует жареной картошки.

Вокзал, плацкартный вагон. Я подслушал: студенты на практику едут. Двое: она за мутным стеклом вагона, он — на платформе. Молча

смотрят друг на друга и прикладывают пальцы с двух сторон к стеклу. Красивая; взгляд печальный... Она не общается с подружками, которые на воле, без родителей, хохочут, дурачатся; только смотрит неотрывно на своего парня. Все полчаса, пока вагон стоял, смотрела. И ни разу не улыбнулась.

И я чувствовал, как в моей груди бьется ее сердечко.

Когда-то давно я уже видел почти то же самое: осенний парк, на аллее парочка стоит. Она — маленькая, прижалась к нему и замерла, вцепившись в его рукава, как белка на дереве. А у него глаза такие грустные, что сразу видно, что девушка очень любит его.

После сорока я стал забывать, сколько мне лет, и окончательно разочаровался в днях рождения. Юля по этому поводу однажды сказала: это и есть настоящее бессмертие. А я спросил: по латыни бессмертие как будет? Не склероз, случаем?

Нет, я легко запоминаю телефоны, коды подъездов, цифровые характеристики строительных материалов; не склероз это. И не бессмертие. Просто равнодушие.

Хотя по привычке все кажется, что молодой. Не тинэйджер, конечно, но и не старик же! Однажды пришли в спортзал с Никитой в футбол играть — как обычно, в субботу: кроссовки, трико, курточка, сумка спортивная; иду — пружиню... Как кенгуру в прошлой жизни. В зале мы остановились возле площадки, а мимо шла компания молодых и взмокших, и один сказал мне: отец, дай пройти!

И у меня все упало. Мышцы перестали пружинить, и стал я не антилопой или кенгуру, а старую мудрой черепахой Тортиллой.

Или: как-то пошел на почту, стою в очереди. Сзади женщина с ребенком, который ноет: мам, ну пошли, ну когда мы пойдем! Она ему: вот дедушка сейчас получит, и потом наша очередь.

Блин, какой я тебе дедушка! Я еще в футбол хожу играть по субботам! Потом, правда, дня три кряхтю. Но ведь хожу же! И еще некоторым молодым фору дам. По технике, конечно, а не по здоровью. Но ведь бегаю! И живот даже могу втянуть. А некоторые помоложе не могут! А я могу!

По утрам, правда, все тяжелее встается... Но душа-то совершенно молода!

Ладно, чего уж там. Старый хрен моржовый. Кому за сорок. Помню, в юности был у меня флирт с незнакомкой по телефону, и она сказала про свою подругу: ой, она с таким старым встречается — ему уже двадцать восемь!..

Но это неправда, что старики смотрят на юных нимф не так, как они. Еще хуже смотрят; ведь для них эти нимфы практически недоступны. И с каждым годом они становятся все моложе.

Каждый день рождения лишает меня очередных доспехов прежнего бессмертия, и позади у меня почти пятьдесят лет. Ну, сорок пять, все равно с ярмарки. А точнее — на кладбище. А еще точнее — в мировой склеп, ибо ни на какое кладбище я свое тело отправлять не собираюсь. Оно, тело, стало свободным от былых табу. Юле теперь безразличны его обязательства, она просто ждет, когда душа моя, как бабочка, сбросит кокон и встретится с ней там, за дверью.

Теперь лента с красными флажками сорвана, и доступ ко всем женщинам мира открыт. Все просто: я могу купить ту, которая понравится. Прежде я считал это позорным, но теперь, видимо, пора пришла. Все течет.

И я вспомнил притчу.

Шторм выбросил на берег множество медуз, они умирали и плавались на жарком песке. А по берегу ходил старик, собирал их и бросал обратно в море. Его спросили:

— Зачем ты это делаешь? Их слишком много, все равно всех не спасешь.

— Тем, кому я помог, не все равно, — ответил старик.

Так и я — решил последовать традиции русской интеллигенции Серебряного века: найти красивую падшую девушку и спасти ее. Так поступали настоящие офицеры с аксельбантами, дуэлянты-поручики и гусары.

С вокзала я взял частника и велел ему везти меня в лучшую гостиницу города. Чтоб с бассейном. Насчет бассейна частник сомневался, он привез меня к гостинице и сказал, что она точно — лучшая. Но не признался, что она же, как я потом узнал, — единственная.

Я решил дожидаться Мишакова. Объяснимся же, сударь, окончательно и навсегда-с!

Между тем, Мишаков нигде не появлялся. И Витька не видать. Наверное, они все-таки уплыли. Я даже пожалел Коляна: не выбраться ему из петли; дождется он сынка своего, уголовника и лудомана, и не будет ему спасения. Прими мои соболезнования, Колян.

Вечером я спустился в ресторан и заказал себе невиданных заморских блюд дорогих.

А пока я ждал эти блюда, несколько раз озирался, но в конце концов уверился, что Мишаков закончен. И тут вместо радости я вдруг остро ощутил, что возвращаться мне некуда. Меня накрыло волной отчаянья, и я увидел ясно, что вся жизнь моя была отравленной и разъеденной гневом, досадой и завистью, и даже сам этот конец ее, придуманный мной и упрямо реализуемый, — фальшив и глуп до рвоты; о-о-о, господи, да что ж это такое я учинил!..

Я позвал официанта, и у нас с ним состоялся такой разговор.

— У меня к тебе дело есть, дружок. Важное. Вот тебе для начала...

— Премного благодарен, — отозвался он, пряча стодолларовую купюру.

— ... а пятьсот получишь потом. Если все будет хорошо. Я собираюсь погулять тут денек-другой и сегодня собираюсь нажраться свиньей. Горе у меня. Или радость — точно еще не знаю. Так вот, мне нужно, чтоб после оргии ты отвел меня в номер и спать уложил, и чтоб все было в порядке. А на завтрак столик мне сервируешь в номере. Шампанское, пиво, закуски... Может, я и не захочу ничего, но чтоб все было.

— Простите, как прикажете называть Вас?

— Павел Андреич.

— Слушаю-с. А меня можно звать, как угодно: эй, любезный, слышь, иди сюда. Я серьезного клиента уважаю.

— А имя у тебя есть?

— Да зачем? Что его трепать-то зря?

— Да уж скажи, будь ласков.

— Ну, Федор.

— Ага. Так вот, Федор. Я не купец, не крутой и не браток, а к незнакомцам априори отношусь уважительно. Пока не докажут обратного. И есть у меня к тебе еще одно дело, на пару тысяч. Присядь.

— Нам запрещено садиться с клиентами.

— А ты потихоньку. Поговорить надо.

Но тут его позвали, он дико извинился и улетел. Однако водку доставил мне незамедлительно. В ней и начал я топить свою растерянность.

...Я таки заставил Федора выпить со мной. И он даже рассказал, что жены у него нет, а дочь есть, и он за нее готов на пытки и муки, лишь бы она была счастлива.

Мы стали даже друзьями.

После лангуста я вышел в фойе прогуляться и увидел девушку — маленькую и изящную, как фарфоровая статуэтка. Точеная фигурка, лицо с легкой тенью печали. Ей было больше двух тысяч лет, как и греческой богине Артемиде, но была она по-прежнему юной и прекрасной. И невероятно соблазнительной.

Богиня и медуза. Артеми-за.

Я вернулся за столик, но девушка не выходила у меня из головы. По вечерам над ресторанами. Всегда без спутников, одна. И вижу берег зачарованный. Хотя вуали у нее не было.

Мы пошептались с Федором, и вскоре девушка присела за мой столик.

— Вы желали меня видеть?

— Не только видеть. Не желать такой восхитительной женщины — грех для любого мужчины. Даже для такого старика, как я.

— Разве вы старик? Я не заметила.

— А кого же ты заметила?

— Ну, солидный, серьезный, симпатичный мужчина.

— Как тебя зовут?

— Анжелика.

Тут мне окончательно все стало ясно.

— И ты согласна провести со мной время?

— Возможно. А сколько? Сколько времени?

— День, два, три. Дни и ночи.

— Это много, — улыбнулась она, и в глазах ее я прочитал согласие, но осталась цена вопроса.

— Во сколько ты оцениваешь свое общество? — задал я хамский вопрос. Никогда прежде я не позволял себе таких предложений даме. Из-за презумпции невинности.

— Пятьсот, — сняв улыбку, вздохнула она.

— Я буду называть тебя Миза, хорошо? Богиня была такая.

Она кивнула.

— В юности я был бы счастлив любить такую девушку, как ты. Но теперь я еду с ярмарки. Поэтому я просто дам тебе две тысячи баксов за три дня. Нет, три тысячи. А ты сумеешь сделать вид, что я молод и красив, и ты меня страстно любишь.

Я никогда прежде не диктовал женщинам свою волю. Наверное, я стал другим. Тихо превращаюсь в свою противоположность, не замечая этого.

— Я б и так могла бы полюбить вас, — сказала она, и улыбка ее была очаровательной. Робкая и наивная.

— Смешная ты, — сказал я и положил руку на ее запястье. Кожа у нее была нежная, и я почувствовал, как внутри у меня шевельнулась забытая уже юность. Она еще жива, просто надо снять с нее паутину, вытереть плесень...

— Мне за сорок, Миза, и я, быть может, уже стал импотентом. Не знаю. Давно уже не было у меня женщины. Лет триста.

— Ох, я не думаю, — шепнула она. — Вот и проверим...

Мы выпили шампанского и пошли танцевать. Она прижалась ко мне, и я пьянел от нее сильнее, чем от алкоголя. И запах у нее был волшебный, пьянящий... Зачем-то я стал рассказывать ей, что всегда жалел прекрасных незнакомок, влюбленных в кого-то, и в которых сам мог бы влюбиться, да вот беда — занят уже. Так жаль их, наивных и трепетных, — столько разочарований ждет их впереди. Разве могут эти мужланы быть такими понимающими и нежными, как я!

К тому же у меня есть бесценное качество: я не могу оставлять на тарелке то, что приготовила для меня Женщина, и всегда стараюсь все доесть. Нечего тут улыбаться — это настоящая жертва, которая грозит ожирением и прочим нездоровьем. И все ради Ее душевного комфорта. Разве это не высшее уважение к хранительнице очага?

Жалко; не дождавшись меня, они влюбляются в кого попало. Но не могу ж я разорваться! А теперь еще и возраст...

В номере я сразу отдал ей тысячу, а потом, как юнец, учился целоваться. Юность, как выяснилось, ушла не слишком далеко; нежный тайфун закрутил меня, я плыл в нем, задыхаясь, но полет этот кончился довольно быстро. Слишком уж отвык я от телячьих нежностей.

И ко мне вдруг пришло раздражение. Наверняка жена видела сверху эту дурь. Поручик хренов. Я налил в два фужера шампанского, залпом выпил свой и предложил ей:

— Давай, рассказывай мне про несчастную судьбу свою. Или про твою подружку по имени Анжелика.

И она послушно стала рассказывать. Обычное дело: мать давно умерла, отец — алкаш, все пропивает и даже заставил ее пойти на панель, потому что дома есть нечего, а у нее есть еще брат, инвалид с детства, и она ничего с этим не может поделать, потому что денег на операцию, которая необходима брату, ей не скопить за всю жизнь. И профессии нет — какая уж тут учеба. Однажды она увидела объявление: «требуются привлекательные энергичные девушки, заработок — от тысячи в день, жилье, безопасность и транспорт обеспечиваются». Ну и что было делать?..

— Скажи что-нибудь умное. Ты ведь теперь гейша, да? Почитай стихи, спой...

Она взглянула на меня с внезапной яростью, но тут же потушила ее и произнесла:

— Клара у Карла украла кораллы. А Карл у Клары украл кларнет.

— Ух, ты! А еще какие-нибудь умные слова знаешь?

— Много. Синхрофазотрон знаю. Или вот: дезоксирибонуклеиновая кислота. Основа всего живого на земле. Меня и вас... Она, кислота эта, все-все в нашей жизни определяет. Даже то, возьмете ли вы меня в свои жены, любовницы и рабыни. И кислоты во мне столько, что иногда хочется из окна прыгнуть.

...Вдруг она призналась, что была замужем, и у нее есть ребенок, дочь, но она очень больна, и Миза так больше не может. Возьмите меня к себе, сказала она.

— А как же ребенок? — спросил я. — И кто у тебя инвалид — ребенок или брат?

— Я ненавижу его! Ненавижу! Заберите меня, Павел Андреевич! Вы даже представить себе не можете, какой я буду вам любовницей и женой!.. Какой рабыней!

— Мне за сорок, Мизочка, и я давно уже не самец. Да и не носил я

даже в юности значок «инструктор по сексу». Мне много не надо — так, снять напряжение. Чистая физиология. Причем слабеющая. А у тебя вся жизнь впереди. Все радости. В том числе, и секс с любимым человеком. Это совсем другое, поверь. Я б счастлив был в молодости любить такую красавицу, как ты, но наши с тобой параллельные плоскости не сошлись. И сойтись не могут. Это медицинский факт.

— Павел Андреевич, вы очень добрый и умный, вас нетрудно полюбить...

— Ну-ну, слишком уж врать не надо. Перебор, Миза.

— Я ведь молодая и красивая, но ничего не видела в жизни. И не увижу. Почему одним — все, а другим — ничего?.. Возьмите меня с собой, — прошептала она и вдруг заплакала. — Не хочу, не хочу, не хочу... Пожалуйста-пжалуйста-пжалуйста... Я вам служанкой буду, любовницей, рабыней, я все сделаю, только увезите меня отсюда!

— Так. Сегодня я ночую один. Иди домой, к ребенку. Или к брату.

— Павел Андреевич, не бросайте меня! Павел Андреевич!..

Она закрыла лицо руками и была близка к истерике. Верить ей было не обязательно, но истерика была настоящей, в этом я не сомневался.

— Миза, все будет хорошо. Иди. Пока еще наши с тобой жизни не разошлись. Все, я сказал, иди!

Она поднялась и, склонив голову, покорно пошла к двери.

— Эй!

Она обернулась.

— Скажи что-нибудь умное.

Она помолчала. И вдруг низким голосом Фауста произнесла:

— Мне скучно, бес.

Дверь хлопнула. Чуть отодвинув шторку, я видел, как вышла она из отеля, постояла, осматриваясь по сторонам, глянула на часы, подняла голову, отыскивая мое окно, и закурила. Я раньше никогда и сигарет-то у нее не видел. И ни разу не чувствовал запаха табака от ее нежных губ.

Миза еще раз оглянулась и решительно пошла прочь.

Все, что привез утром Федор на столике, осталось нетронутым. Ни есть, ни пить я не хотел. Пошел гулять по городку и никак не мог избавиться от мыслей о Мизе. Но поручика я уже изгнал из души своей. Какой, на хрен, поручик.

Утро было свежим и ласковым, и я успокоился обо всем; путь мой ясен, и я просто вышел на полустанке из поезда.

Долго смотрел, как мальчишки гоняют мяч на школьном поле. Их воробьиный гвалт и стук мяча — как огонь и вода; я мог бы смотреть на это вечно.

Вечером я послал Мизе эсэмэску. Она пришла быстро, и мы поужинали с ней, чем бог послал еще с утра, и почти не разговаривали; я лишь любовался ею украдкой. Красота ее была — как огонь, вода и мальчишки, играющие в футбол. А потом она вдруг села мне на колени и стала что-то делать со мной, так что я и опомниться не успел, как понесло меня все тем же тайфуном, и теперь это продолжалось долго.

Она знала тайны человеческого тела, неведомые простым смертным. Я в свои сорок пять о них не догадывался и даже не подозревал, что способен на такие подвиги...

Какая там сауна или футбол!..

Потом мы сидели в кресле, тихо говорили о каких-то пустяках и пили шампанское, журчал телевизор, и я понимал, что больше в моей жизни

ничего подобного уже не произойдет. И мне очень хотелось сделать Мизу счастливой.

Уже после дурацкого моего намека на покупку жилья для нее, чтоб могла она начать новую жизнь, я был в ванной и вдруг, выключив воду и приоткрыв дверь, услышал очень странный разговор Мизы по мобильнику.

— Нет, нельзя! — сдавленным шепотом говорила она. — Так у нас ничего не выйдет. Он сам должен, понимаешь? Сам!

Разговор этот был слишком непонятным, чтоб портить вечер мыслями о нем. Поэтому я его просто вычеркнул из памяти, а из душа вышел невесомым, как ангел. Я был чист снаружи и внутри, и никакой измены Юле не совершил. Именно в таком состоянии души, наверное, предстают на небеса — свободными от всех земных хлопот и беспокойств...

В этот раз она осталась на ночь. Обняв ее, я заснул, как младенец.

...И выплыл из какого-то кошмарного сна. В нем я был в незнакомом подвале, и там сильно хлестала вода, а я не мог найти выход. Начал метаться, натываясь на бетонные стены в грязных разводах паутины, но спасения не было, и вода уже подбиралась к моей груди. Когда вода поднялась к носу, я глотнул отчаянно, и задохнулся; умирая, рванулся всем телом — и выплыл в реальность.

Голова гудела. Я будто со стороны увидел себя сидящим в кресле. Связанным так, что не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Рот был склеен.

Небольшая убогая комната. В щелях штор видна глубокая ночь. Закрытая дверь на кухню, и за ней слышны голоса. Я узнал их: это Федор и Миза что-то яростно обсуждали.

Из разговора их я понял, что она замужем, и у нее действительно есть ребенок. Причем муж знает, чем она занимается. Федор вспомнил о нем, упрекнув Мизу, что она против воли отца вышла замуж за беспросветного тюфяка, а она вдруг вскрикнула:

— Это ты сделал Юру таким, ты! А он муж мой, и я люблю его, понимаешь?

— Юленька! — вскрикнул Федор. — Я же только ради тебя!

— Идиот! — закричала она в ответ. — Тупорылый ты — все испортил! Просили тебя, да?

— Бежать надо! Бежать! Новую жизнь начнешь! Юленька, солнышко мое, все ж для тебя...

Он быстро и невнятно забормотал что-то. А Миза периодически его перебивала, ругая кем ни попадя.

Их ссора: она считала, что сможет женить на себе «клиента», а Федор уверен был, что шансов на это нет. А случай упускать никак нельзя, больше такого не будет. Такое бывает раз в триста лет. Поэтому хоть тушкой, хоть чучелом, но надо добраться до денег и бежать отсюда. Он готов взять грех на душу, тем более, что гусь этот (я, то есть) — одиночка, он это выяснил, и никто его (меня) искать не будет. Концы в воду, а Миза останется безгрешной и сможет строить себе совсем другую жизнь, но только не в этом чертовом городишке, из которого она просто обязана уехать туда, где тепло и спокойно. И без своего тюфяка, а найти в какой-нибудь Франции приличного мужа и жить с ним долго и счастливо. А Федор готов и к худшему, но даже в тюрьме жить ему будет легче, чем сейчас, — рабом и быдлом. Потому что он знает будет, что у дочурки все в порядке. И когда-нибудь он за примерное поведение откинется с кичи по условно-досрочному и уедет к ней в маленький и тихий французский

городок. Пусть даже старым и дряхлым, но нянчиться с внуками и сидеть во дворе их дома в кресле, укрывшись пледом, станет ему большим утешением за все. И единственной целью существования.

Надо сказать, что упоминание пледа меня покорило: это я мечтал плыть с женой на океанском лайнере и сидеть рядом с ней на палубе, укрывшись пледом.

— Юленька, Юленька, да ты пойми, — уговаривал Федор.

Спорили они долго. Но она ничего не сказала отцу про обещанную мной квартиру. Она, значит, и его обманывала. Мебель ты, Федор. Папаша. Лох, как и все мы перед своими детьми.

Дверь в кухню открылась, и Федор осмотрел меня, как повар, примеряющийся, с какого края начинать разделку дичи.

— Да, Федор, — сказал я, чувствуя, как затекают ладони, ноги и поясница. — Вяпался ты, друг мой...

— Ну, хуже твоего-то не вяпаешься! — сказал он.

— Это ж не мои деньги, — сказал я. — Ты позвони по номеру напарника моего — в мобильнике, на букву «М». Он тебе все объяснит. Лучше бы тебе все исправить, пока не поздно.

— Поздно? — удивился он. — Чего ты гонишь, баклан? Какой еще напарник, на хрен?

— А ты позвони Мише Толстому, и узнаешь. Есть еще у тебя шанс выбраться.

— С какого это бодуна я звонить стану? Сейчас вот вытряхну из тебя бабло, и — поминай меня, как звали. А коды карточек ты сдашь, это я тебе гарантирую. Вот прямо сейчас и начнешь сдавать.

Он коротко размахнулся, и в глазах у меня померкло.

Не знаю, сколько времени был я в отключке, но услышал, как в дверь позвонили. Из прихожей послышалось бормотанье, и Федор заорал вдруг:

— Пошел ты на хрен, слесарь, мы никого не вызывали! Не течет у нас ничего, я ж тебе сказал. Хоть всех соседей собирай, урод!

За дверью вновь забормотали глухо, и Федор закричал:

— Ну, козел, я ж тебя сейчас с лестницы спущу!

Он прошел мимо меня, сунулся за шкаф, и я успел увидеть, как вышел он из комнаты с бейсбольной битой.

Щелкнул замок, послышались странные шлепающие звуки, и наступила тишина.

— Папа! — вскрикнула Миза.

Хлопнула дверь в ванную, и босые ноги ее прошлепали в прихожую, оттуда послышался еще один мягкий шлепок, и что-то плюхнулось на пол.

Через секунду в комнату вошел Витек. Он быстро вспорол чем-то скотч на моем лице и теле и сказал:

— Павел Андреич, поторопитесь. Не стоит нам здесь задерживаться.

Федор и его дочь неловко валялись на полу в прихожей. Витек аккуратно обошел их, вытащил из пиджака и брюк официанта все мои деньги, карточки и бумаги, передал мне. Потом ошупал и перевернул лицом вверх Мизу.

Прекрасное лицо моей возлюбленной было обращено к потолку, и на нем отпечатался детский испуг.

— Они... умерли? — спросил я, перешагивая через Федора.

— Да ни боже мой, — ухмыльнулся Витек. — Плохого ж вы мнения... Я не мясник, Павел Андреич. Ну, отключились. Отдохнут полчаса и дальше будут жить долго и счастливо. А вот нам стоит побеспокоиться.

— А если б не открыли? — спросил я. — На слесаря-то? Я б на их месте не стал открывать.

— Ну, навернул бы глушитель, да и отстрелил замок. Он хлипкий, я смотрел.

— Спасибо тебе, Виктор, — сказал я, пожимая его руку. — Как же ты меня нашел?

— Да ничего, — ответил он. — Все нормально.

— Видишь, как. Клара у Карла хотела украсть кораллы... Слушай, — предложил я, — возьми эти деньги, а? На фига мне столько?

— Ни боже мой, — ответил он. — Денег никаких не надо, а вот отсюда стоит быстрее убираться. Миша Толстый погиб вчера. Мало ли...

— Как погиб?!

— Утонул. Даже не знаю, как это произошло. Булькнул, и все. А выплыть он никак не мог — пьян уже был смертельно. И я не мог ничего — он послал меня в номер найти какую-то записную книжку в его вещах. А какая там записная книжка? Сроду у него никаких книжек не было! Возьмите меня к себе, Павел Андреич, а? Вам ведь охранник просто необходим с такими-то деньгами. Тут вокруг одни волки. А я б вас уберег.

— Витек, извини. Это невозможно. Правда, извини. Ты мне очень симпатичен, но это невозможно. Вот денег могу тебе дать.

— Да ладно, — махнул он рукой. — Давай тогда разбежаться. Причем лучше порознь. Предлагаю так: вы берете мотор и рвете, куда хотели. А я — в Москву. Залягу пока где-нибудь. Вам бы, Павел Андреич, впредь надо поаккуратней. Один остаетесь. Тем более, с такими деньгами.

Мы вышли из подъезда пятиэтажной хрущовки. В какой стороне гостиница, я понятия не имел. Да и зачем мне гостиница — зубную щетку забрать?..

Я вытащил банковскую пачку с долларами и ткнул Витьку в карман. Он поймал меня за руку и покачал головой: нет.

— Слушай, возьми хотя бы это, — мне жизнь моя гораздо более дорогой кажется. А тебе понадобится. Хоть не самому, а для детей. У тебя есть дети?

— Есть, — улыбнулся он. Но тут же улыбка его стала скорбной. — Сын. Но он еще маленький.

— Ну? Вот!

— Нет, — ответил он, стирая и улыбку, и скорбь. — Ради него как раз и не возьму. Мне чужого нельзя. В Германии он вместе с матерью, в клинике. Младенец совсем, а его уже резали — почку пересадили. Не дай бог вам такое пережить. Спасибо хозяину. Не, не будем спорить, Павел Андреич, это бессмысленно. Торопитесь. Удачи вам. Хотя, если честно, я в нее не верю. Уж больно вы какой-то... расхристанный.

Он опять улыбнулся.

— Счастливо тебе, друг, — сказал я.

— Желаю вам добраться без приключений туда, куда вы так ломитесь. Все, прощайте.

Он повернулся и быстро пропал в пространстве. Я не успел сказать ему ничего душевного. Опять все одно и то же — бабки, бабки... Идиот!

В такси я привел свою одежду в порядок и, пока мы ехали, аккуратно разложил свои богатства по карманам и тайникам. Федор, впрочем, не все нашел, и это меня порадовало.

Мы ехали на юг, до ближайшего большого города, и я несколько раз

высматривал, нет ли за нами хвоста. Потом успокоился и даже задремал, но снов не видел.

Таксист был счастлив заработком и предлагал довезти меня до самого Сочи, но я отказался.

Из аэропорта я все же позвонил Мизе. Она долго не брала трубку, потом спросила хрипло:

— Что тебе?..

— Это. Знаешь... Ты все-таки чудесная девушка. Я прощаю тебя. Со всем прощаю. Помнишь, мы как-то говорили об однокомнатной квартире? Вот, я готов обещание выполнить и прислать тебе денег. Просто за то, что ты такая волшебная.

— Дурой считаешь, да?

— Нет. Любимой. С которой мы просто не пересеклись во времени. Но в другой жизни пересечемся обязательно. И там нам эта однушка пригодится. Мы будем жить с тобой долго и счастливо и умрем в один день... Да-с, статуэточка моя, Артемиза, прощаю. Потому что я научился всем и все прощать. Это главное, чего достиг я в этой жизни.

— Паш... — произнесла она тихо.

Голос ее был искренним и напомнил мне о ласковом тайфуне, совсем недавно уносившим меня в другие измерения. Эхо тайфуна не могло врать. А она сказала:

— Я люблю тебя. Если б ты знал, как я несчастна. Отец, идиот, все поломал, а я теперь места себя не нахожу.

Я не знал, что ответить ей.

— Пашенька, милый, оставайся. Я тебе рожу мальчика и девочку — таких пухленьких, нежных. Будут обнимать тебя за шею своими щекотными пальчиками... И первое слово они скажут: па-па...

Ага, брачные музы.

Тайфун вдруг стих, будто и не было его. И жалко было эту дуру, которая не догадывается, что нежные и пухленькие потом вырастут и будут бить ее по самым болезненным ранам, которые на службе детям наживет она к старости.

— Мизочка, — сказал я и не узнал своего голоса. — Не надо так сорить важными словами. А то боженька язык отхреначит. Как ты потом без языка будешь?

Я вытащил из мобильного сим-карту и сломал ее. А сам мобильник разбил об стену. В мелкие дребезги.

Все, хватит! Этот уровень я прошел и еще жив.

Пора на следующий.

8. ЛЕХА, ДРУГ СЛАВИКА

Сочи. Море, ресторан. Пить не хотелось. К черту план! Одно воспоминание о коньяке вызывало отвращение. Это неправильно, конечно, но мне надо хотя бы просто собраться с силами.

Я долго гулял по набережной, пил в кафешках кофе со сливками и смотрел на море. Пытался соединить детские свои ощущения с сегодняшними — через розы, листья платана, волнорезы, корабли в порту и особый сочинский запах. Но волнорез вызвал другие воспоминания: как Оксанка, когда ей было еще лет пять, пыталась научиться нырять головой вперед. Загорелый мальчишка показывал ей, как надо, и она слушала, потом зажимала нос пальцами — и прыгала с волнореза ногами вперед. Пер-

вый раз, когда мы привезли детей на море, Оксанка просто захлебывалась счастьем, плескаясь в прибое. Юля звала ее и сердилась, боясь, что она простудится, грозила, что больше не позволит ей купаться, а дочь никак не могла выйти из воды, кричала: все, мамочка, я иду, последний разочек только! — и опять плюхалась. Просто пир какой-то... Не только для нее.

Я смотрел, как рыбаки ловят с причала бычков и зеленух; подумал, было, самому снасти купить и посидеть, почувствовать на леске в пальцах царапающие поклевки... Но не стал. Потому что детство не возвращалось, а невод мой вытаскивал из синего моря лишь траву морскую и утопленников: Славика, Оксанку, Юлю. Меня.

Вечером, когда в домах стали уютно зажигаться семейные очаги, мне стало совсем неуютно. Одну ночь я еще как-то перекаптался в гостинице, но решил больше не оставаться в Сочи. Утром взял билет в Москву и улетел.

Дело у меня там возникло. Совершенно необходимое.

Я прилетел днем, добрался в город и машинально отправился к метро, чтоб ехать домой, а потом вспомнил, что теперь я — «понаехали тут». Бомж.

Приехал на кольцевую проспекта Мира и зашел в ближайший ресторан пообедать и встретиться с Лехой. Плана своего по пьянству я в Сочи не выполнил и употреблял только кофе и один раз пепси. Даже вин знаменитых пить не стал. И это плохо. Но и возле родного проспекта обед заказал без спиртного.

Стройный, атлетичный красавец вышел из кухни ресторанички в зал с огромным блюдом салата. На нем джинсовая рубашка без рукавов, но с капюшоном. Он сел за свободный столик, будто закрывая от кого-то блюдо мощными своими руками и сосредоточенно, с аппетитом начал поедать салат — без хлеба, не отрывая от него глаз, аккуратно и непрерывно перемешивая его вилкой. Съев половину, он обильно посыпал салат перцем и с прежней методичностью доел его.

Потом он вышел на улицу и долго говорил с кем-то по мобильнику, покачиваясь на носках. Хорошо быть молодым и красивым и с печальными глазами перчить гору салата на блюде.

Хорошо быть упругим, и, остановившись среди беззаботных дел своих в уличном потоке, впиваться зубами в горячий, пахучий чебурек, не опасаясь язвы желудка.

Если б только могли эти юнцы и юницы догадываться, что душа и тело едут по разным рельсам, — это удивительное открытие могло бы потрясти их еще в юности. А потом им придется бессильно смотреть в зеркалах, как прорезаются морщины, как выпадают волосы, а оставшиеся седеют, демонстрируя неотвратимость похорон. Уже не поскачешь козлом, и кожа все чаще требует дезодоранта, а дыхание — жвачки.

Как нахально молоды и эротичны те, кому за тридцать, кого совсем недавно в нашей дворовой компании считали старичьем, а вечера их и клубы — почти домами престарелых, последним приютом!

Леха прийти не мог, только вечером. Работает он. Где? А грузчиком в универсаме. Нет, институт не бросил, просто перевелся на заочный; так надо было. Мы договорились с ним на вечер. Он попытался от ресторана уклониться, но я настоял: Леш, я тебя приглашаю, о деньгах не беспокойся.

Потом я шел по проспекту, подняв воротник, и чувствовал себя шпи-

оном, который приехал тайком осмотреть запретные места. К дому своему подходить не стал — теперь там, наверное, Гришка заправляет; зачем мне агония отчего дома?

Постоял у гостиницы: брать номер? Не брать? Я же сегодня вечерней лошастью отправлюсь в Сибирь, в последний свой поход. Нажрусь в ресторане, как свинья, и отправлюсь.

Потом я все же номер взял. Не буду спешить с Лехой, это важное дело. Может, самое важное из оставшихся.

Раздевшись в гостинице, я почувствовал запах той самой дохлой улитки и принял душ. Отдавать в стирку одежду не стал, а просто отправился в ближайший бутик и предложил девушкам-красавицам одеть меня так, как им самим бы понравилось. Сменить все догола. Сделать из меня мужчину, с которым незасорно пройтись вечером по проспекту. Или даже в ночной клуб сходить. Цена значения не имеет.

Девушкам игра понравилась, и часа два они примеряли на меня одежды, как на мужа Барби, предложив в перерывах пить кофе. Я на кофе согласился, но только с коньяком, и чтоб одна из них непременно составляла мне компанию. Нашелся у них и коньяк, а одна из девушек приняла мой флирт слишком всерьез, предложив свою компанию и на вечер — как бы в доказательство качества моей одежды и своего вкуса.

Новый образ мне поначалу не понравился совсем, но потом мы все же пришли к консенсусу. В зеркале я стал, можно сказать, другим человеком. Новым. Хотя и со старыми дырками. Как денди лондонский одет, хоть и не собирался в свет.

Я расплатился, оставив хорошие чаевые, и ушел, не ответив на призывные взгляды той симпатичной барышни. Хватит с меня Серебряного века и чужих скелетов.

Вечер свой в ресторане я начал в память о Мише Толстом с виски, жареной картошки, хлеба и соленых огурцов. Самогон ирландский запивал русским квасом. Нормально получилось. Когда пришел Леха, я был уже в легкой кондиции. Предложил ему заказать все, что душа пожелает. Он долго листал меню и выбрал, несмотря на мои уговоры, недорогие салат и второе, а от спиртного отказался напрочь.

Выпив стопку, я сообщил ему, что Славика больше нет. Леха раскрыл рот, и я долго рассказывал ему, каким боком вышла наша жизнь. Что никого у меня не осталось.

— Павел Андреевич, — спросил он, — а может, Славик жив?

— Славик мертв. Знаю я... Видел его там. Во сне. Не ухмыляйся, я ж тебе не лох какой. Я образованный человек, и если говорю тебе, дружок, что видел сына там — значит, так и есть. Молод ты еще понимать такие вещи; постареешь — поймешь.

— А чего вы от меня-то хотите?

— Знать хочу: какого вам надо хрена? Почему отца с матерью, самых близких людей, вы называете поганым словом «предки»? Почему так ненавидите нас?

— У меня нет отца.

— Извини. Но суть та же. Значит, в два раза меньше от тебя требуется. Тебе хоть раз приходила в голову мысль о том, чтоб подарить маме цветы? Что?.. Я сказал что-то невероятное, да? Нормальные люди дарят женщинам цветы. А ведь не приходила, да? Скажи, ты девушке своей цветы даришь?

— Ну.

— А маме? Разве мама не женщина? Или меньше отдала тебе? Ты хотя бы раз в жизни маме своей цветы дарил?..

— Да, блин... Действительно, кому такое может прийти в голову?

— Мы, Леш, предки ваши, — живые люди. Не мебель, нет. И мама твоя. Я вот живой, понимаешь? И грехи, и достоинства, свои скелеты в шкафу — у каждого их полно, скелетов, и все это должен хоть кто-то уважить. Кому ж, как не сыну?.. А вы за всю свою жизнь вряд ли хоть однажды догадывались: чего эти предки хотят? И будет вам счастье. И нам. И вообще... Леш, если твоя матушка сляжет, ухаживать будешь?

— Ну, буду.

— А слова ласковые найдешь? Ну, что-нибудь утешающее?..

— Ну.

— Так что, надо довести ее до смертного ложа, да? Чтоб простить за все, любить ее, утешать... А может, хоть немножко заранее побеспокоиться, Леш? Это же проще, согласись. Да и матушка твоя наверняка с твоей помощью дольше проживет.

— Дядь Паш, я так и не понимаю, чего вы от меня хотите.

— Понять хочу парадокс этот дикий. Когда самые близкие люди протые и ясные смыслы обращают в ненависть; какой-то философский камень наоборот.

И я рассказал ему, как еще в школе мы купили Славику компьютер, а к совершеннолетию — автомобиль, а он обещал исправить учебу. И исправил. Но счастья это нашей семье не принесло. Наоборот. Если его просили помочь и свозить мать на рынок, в магазин какой-нибудь, сын злился и начинал ссылаться на совершенно неотложные дела. А если и приходилось им куда поехать вместе, дело обычно заканчивалось ссорой, он начинал лихачить, а жена этого очень боялась, и несколько раз она возвращалась домой на маршрутке; ездить с ним было невыносимо...

Как безобразно вел себя Славик и дома; например, никогда не мыл за собой тарелки, и ни спасибо матери, ни вообще доброго слова. Поел, поднос с остатками — в раковину на кухне. Как прислуге. Мусор попросишь вынести — непременно получишь в ответ какую-нибудь гадость. Если не сразу, но отомстит. Потому что все мы были чем-то ему обязаны. И виноваты в любых его неудачах.

Леха задумался, и я не мешал ему. Выпивал и закусывал. Может, откроется ему что-то, тогда он и мне этот секрет раскроет.

— Ну... — сказал он после долгого молчания. — Я думаю, так: у вас уже рефлекс нажит, и вы нам ни жить, ни дышать не даете. Понятно, что вы детей своих любите и желаете добра. Но мы уже взрослые, а вы нас на веревочках держите. Опыт у вас, ага. Но нам-то нужен — свой собственный! А главное — свобода. Дали б вы нам жить своим умом — может, все бы и в порядке было. А вы не даете. Вот и получаете восстание рабов. Огнем и мечом. И сами потом плачете. Тупость какая-то: любите — ну и любите на здоровье, но лезть не надо во все дырки, а надо доверять. Подавливать свой инстинкт. Любите просто так! Птицы вон выкормили птенцов и отпускают на все четыре стороны. А вы просто так не желаете, вам надо и взрослых детей сиськой кормить и водить за ручку. Мы-то вас тоже любим с детства, но потом вы становитесь совершенно невыносимыми.

— А скажи тогда, — перебил я его, — почему у разных народов есть культ уважения к старшим. Может, это мудрость? Умный ведь учится на своих ошибках, а дурак — на чужих. Чего б не попользоваться чужим-то опытом?

— Да пожалуйста! Только чтоб мы сами этого попросили. Но вы-то нам его силой запикиваете! А мудрость — это хорошо. Только вот же и ваша мудрость не позволяет вам меня услышать, а только себя.

— Леш, проехали. Я понял, — сказал я. — Второй вопрос. Хочу я грехи замолить перед небесами. Исправить что-нибудь. Например, в жизни друга моего сына. В смысле, в твоей. Школьная дружба — большое дело. У меня теперь нет никого, зато полно денег. Все мои близкие люди обратились в денежный прах. И если могут эти бумажки хоть что-то полезное приносить, я хочу дать им такую возможность. Вам же наверняка тяжело с матерью живется?

— Это мои проблемы, — ответил он сухо. — Я их решаю.

— Давай я расплачусь перед тобой за твоего отца — ну, хоть немного. Сбуду мечту какую-нибудь. Контракт, Леш: я плачу тебе за то, что ты возьмешь некоторые обязательства перед своей матушкой. Простые. Никогда не повышать на нее голос. Раз хотя бы в месяц дарить ей цветы. Признать за ней презумпцию невиновности перед тобой. И вообще, перед всем миром. Просто помогать, когда она устает. Даже если не просит. Какие-то мелочи, Леш... Что-то приятное сделать ей — без всякого повода; слова даже теплые. То, что тебе не так уж трудно, а для нее бесценно. Скажи, на сколько, по-твоему, потянут такие обязательства в рублях или в долларах?

Он задумался.

— О чем ты сильней всего мечтал в последние годы? Я тебе это куплю, а ты за это маму свою простишь. Навсегда и за все. Может, хоть раз в жизни цветы подаришь. Ты согласен? Я ведь помню, как и сам в молодости обсуждал с друзьями в дворовой нашей компании, — что деньги молодым нужны, а в старости они мне и не приснились.

Он усмехнулся:

— Ну, да. Было такое. Что надо б вообще пенсию давать молодежи, а потом бы человек ее отработывал. Когда ему от жизни уже не нужно ничего. На хрена мне потом, старику, деньги? С девочками зажигать?.. Сейчас надо!

— Вот я сейчас тебе их и предлагаю.

— Не, дядь Паш. Мы пока милостыню не просим, и чужого нам не надо.

— Я и не предлагаю милостыню, что ж ты такой непонятливый. Я контракт предлагаю. Ты берешь обязательства, а я помогаю тебе; уверен, это на пользу пойдет. Тем более, от чистого сердца. Да и не чужой ты мне, а друг моего сына. Скажи: вот если б ты грант получил, на что б ты его потратил?

— Большой грант?

— Посмотрим. Сначала скажи, на что.

— Я б купил комп профессиональный. Но это дорого. У меня есть, но дряхлый совсем. Я ж на прикладной математике учусь и вообще это дело люблю. Тогда б у меня своя студия была, и я б сам все проблемы наши решил. Разрабатывал бы сайты, муви, ролики там всякие и вообще можно много чего с хорошим компом...

— Сколько он стоит?

Леха неуверенно начал рассуждать, бормоча: ну... монитор эппловский двадцать три дюйма, хотя можно и подешевле, системный блок восьмиядерный, ну... струйник если еще цветной... В конце концов подсчитал: тысяч сто!

— Фигня какая, — сказал я.

Тут вдруг плечи его опали.

— А что я матери скажу? Нет, так нельзя.

— Хорошо. Давай считать, что я тебе в долг даю. Просто у меня скоро конечная, и я выхожу, а ты станешь суперспецом, поднимешь семью, станешь хорошо зарабатывать и однажды долг этот вернешь: поможешь ближнему своему встать на ноги. Или дальнему. А с мамой давай попробуем сразу эту проблему решить.

Я позвонил его матери. Она меня помнила — мы иногда встречались на родительских собраниях, а однажды нам пришлось обсуждать неприятную историю, в которую наши сыновья попали.

Я рассказал ей, что Юля умерла. И что Славик тоже умер, а Оксанка уехала навсегда, так что я остался один. Что волею случая внезапно разбогател, и деньги мне особо некуда тратить. И что в память о сыне своем я хотел бы Леше вашему подарить компьютер. Так что пусть не беспокоится и Лешку ни за что не ругает.

Она отнекивалась и говорила, что не могут они принять такой подарок. Но я ее все-таки уговорил, и она вдруг расплакалась и долго расспрашивала о Юле и Славике, бормотала благодарности, а в конце сказала: пусть земля им будет пухом. Держитесь, Павел.

Я твердо пообещал ей держаться, хотя и не знал, за что.

Но потом она стала намекать, что лучше б деньгами, а не компьютером. Жизнь, мол, такая сейчас — одной квартплатой со свету сживают, а надо ж столько всего... Она сбивалась на Юлю и детей наших, а потом опять возвращалась к тому, как же трудно сейчас жить. Больше того, в голосе ее появилось легкое кокетство: мол, одиночество — о, как я вас понимаю, хотя иногда бывают такие случаи, когда одинокие люди находят друг друга... Вот соседка вдруг вышла замуж — они много лет жили в соседних домах, оба вдовцы, встретились случайно и теперь живут вместе, так хорошо. Зашли б как-нибудь в гости, чайку попить. Потом опять говорила о детях, и вдруг — люблю ли я блины? А то она большой специалист по этому делу и могла бы накормить меня. Я ж давно, наверное, не ел настоящих домашних блинов. Вы с чем их любите?.. Да и вообще — мужчины без женской ласки быстро дичают и приходят в негодность.

Признаться, меня этот разговор стал раздражать, и я хотел послать ее, но при Лехе это было невозможно. Она была мать-одиночка, а жизнь, действительно, к таким неласкова, и я смирился, признав ее право не только на лукавство, но даже и на подлость, если она ради благополучия сына. Издали, по телефону, я постарался увидеть в ней женщину — несбывшуюся и печальную, как рыба-луна. И простил ее ради Юли, которую бог миловал от такой участи.

Все на свете достойно жалости и прощения. Это и есть главная божественная заповедь. Которую мы, увы, в детстве не выучили.

Но этого я не сказал ей и от приглашения на блины уклонился.

Настроение было испорчено, я выпил за это хорошую стопку и Лехе сказал:

— Она согласна. Давай завтра с утра встречаемся и идем твой комп покупать. А сейчас просто посидим. Не хочешь выпить? Ну и как хочешь. Тогда о чем-нибудь приятном. Нравится тебе вон та лапочка?

— Кто?

— Да ладно. Я ж видел, как ты на нее смотрел. Мне она тоже нравится. Ты можешь представить себе, какое блаженство увидеть это робкое,

нежное существо рядом без ничего? Как темнеют ее и без того карие глаза, приоткрываются губы... Она, Леш, волшебная. И не так важно, что женщина была уже близка с мужчиной, как то, как она наклоняется к нему, как поднимает голову и шепчет что-то, почти касаясь губами его уха, касаясь пальцами его рукава. А я вот уже перешел в иное поколение, и теперь ей придется любить чужого мужика, который будет целовать ее нежные, пухлые губки своим табачно-алкогольным ртом, хватать за грудь своими лапами. А потом прекрасная незнакомка выйдет замуж за кого-то и будет тоскливо исполнять супружеский долг... А что делать? Меня ведь уже унесло, и некому спрятать ее на своей груди.

— Это вы к чему, дядь Паш?

— А к тому! К маме твоей. Тела наши разного возраста, а души одного. И видим мы одно и то же. И можешь не сомневаться, что и дряхлый старикан видит эту лапушку теми же глазами.

— Сто долларов, — усмехнулся Леха.

— Что «сто долларов»?

— Сто долларов — час, сто пятьдесят — два. Это проститутка. Так что зря бисер мечете.

— Если и мечу, то перед тобой, — сказал я. — Чтоб ты понял одну из главных тайн бытия, которая мучает всех людей на свете, от Аляски наискось до мыса Горн. Понимаешь? Я эту тайну тебе раскрою, и ты станешь намного мудрей. На всю жизнь. Предупрежден — вооружен. Не в этой девушке дело. Хотя и жаль ее необыкновенно. Надо ж было природе создать такое божественное существо. Дело в нас с тобой, Леш.

— Ага, я понял, понял. Девушка, приходите в полночь к амбару. На кастинг.

— Ни хрена ты не понял, дружок! А если считаешь, что нам не о чем говорить, то я тебя не держу.

Он привстал, но задумался и медленно опустился на стул.

— Ладно. Извините, дядь Паш. Я не прав.

Потом, уже изрядно пьяным, я подошел к банкомату и получил стопку стодолларовых бумажек.

— На. Да ладно, бери. Это помимо компьютера. Денег — как грязи.

Тут же рычажок какой-то соскочил в моей голове, и давать деньги Лехе я раздумал.

— Ты прав: не надо, — сказал я ему, хотя Леха ничего такого не говорил, а взгляд его был сердитым. — Ты прав: мы тебе удочку купим, а рыбу ты сам наловишь. Это просто искушение лишнее, Леш. Видел ты по телевизору лица нищих племен в какой-нибудь Океании или в Африке? Они — радостные! Улыбаются. А денег у них нету! Они мне надо, а им — нет.

Утром я долго вспоминал, много ли глупостей наговорил невинному парню. Вот ему повезло — ниоткуда вдруг вылез пьяный отец школьного друга, искушая долларами...

Потом мы встретились с ним на улице, и я спросил:

— Ну и как?

— Чего «как»?

— Цветы подарил?

— А-а... Да!

— И что она?..

— Она... заплакала.

Вдруг мне вспомнилась почему-то моя мама, и в горле запершило. Она

умерла рано, я еще не был взрослым, и цветов ей не дарил. Ни разу. Ни одного цветка.

После тягостного молчания Леха сказал:

— Я понял, дядь Паш. Блин...

И мы пошли за покупкой.

Потом уже, ожидая в аэропорту рейса в Волгоград (сначала хотел полететь сразу в Иркутск или вообще в Хабаровск, но решил растянуть свой уход), я вспоминал глаза Лехи в компьютерном салоне, и мне было приятно.

Прав был друг моего мертвого сына: если изнасилование неизбежно, надо расслабиться и получить удовольствие. Иначе никак. Доверять надо.

Рейс отложили, и я вернулся к плану по самоуничтожению: пошел и выпил водки в кафе. И она тепло легла мне на душу, амнистируя сначала вчерашний день, а потом, после второй сотки, и всю мою жизнь. Я даже угостил какого-то мужика и стал объяснять ему, что они остались теми же, кем создал их Бог, — наши рыбки золотые, сын и дочь. И мы с Юлей были те же. А мир вывернулся наизнанку на наших глазах, но мы этого не заметили. От любви до ненависти оказался один шаг. А вот обратно — бездна. И преодолеть ее — все равно, что красить небоскреб акварельной кисточкой. Как брести навстречу урагану. Легче поддаться ему и улететь.

Не ведали мы, что творим.

Взрослый человек вообще не меняется. Как и дети. Даже постулат о том, что детей можно воспитывать лишь до двух лет — это неправда. Нет никакого воспитания. Вообще нет!

— Прав был Леха: научить жизни можно только любовью, — сообщил я мужику, и он слушал меня со всем уважением. — Да-с! Только любовью, а никакими принципами, мудростями там, образованием, чем угодно-с! Только щеку подставлять и подставлять. А может, и все равно б толку не было. Но надо, старея, учиться этому, тренироваться каждый день. Иногда сорвешься, да. Слаб человек. Впадешь в отчаянье и соскользнешь в крик и ярость. А потом опять сцеплять руки и, держась с женой друг за дружку, брести по этой смиренной дорожке. Не судите, да не судимы будете. Вот оно как.

— Ты что, — сказал мужик, скривив нехорошую улыбочку, — исповедуешься передо мной? Вместо сына?

— Умер сын, — сказал я, и в горле у меня что-то пикнуло. — Умер. Некому исповедаться. Да ладно, не обращай внимания. Обыкновенное нытье-бытье. Проехали. А почему ты со мной на «ты»? Я тебя водкой угощаю... Кто ты такой, хрен моржовый?

— Да пошел ты на!.. — заорал вдруг мужик и смахнул водку на пол.

На крик его и звон посуды к нам немедленно подошли два милиционера. Один козырнул, представился и потребовал документы. Мужик мой встал и косо попытался удрать, но второй милиционер поймал его за руку.

— Я... мне на самолет надо, лейтенант, — сказал я. — Рейс жду.

— Какой тебе самолет, голубок, — удивился лейтенант. — Тебе прямая дорога в отделение.

— Позвольте, — забормотал я, и тут вспомнил про заветную ксиву. — У меня важное дело в Иркутске. То есть, в этом...

Вдруг я забыл название города.

— Ничего, в отделении вспомнишь, — утешил милиционер, помогая мне подняться.

— Вот. Вот мое удостоверение, лейтенант. Мне в Волгоград надо.

Он удивленно почитал ксиву, потом вернул ее мне и козырнул.

— Всего хорошего, капитан. Будьте поосторожней. Может, помочь вам?

— Спасибо, все нормально, я сам, — ответил я, чувствуя, как наваливается на меня печальная трезвость.

9. РЫБКИ ЗОЛОТЫЕ

Самолет в Волгоград не раз трясло в воздушных ямах, и в лицах пассажиров прятался испуг. Даже в их разговорах он прятался, и тень катастрофы витала в салоне. К горлу подкатывал мятный холодок, и я один предвкушал восторг чудесной смерти — мгновенной и безболезненной. Еще напоследок посмотрю сверху на горящие обломки и мрачную суету спасателей.

В гостинице меня снова настигло слово «никогда». Вдруг ясно стало, что это действительно последний путь. Никогда я больше не вернусь назад, никогда не появлюсь в Москве, вдыхая неповторимый ее запах, и не увижу родного дома. Никого не увижу. На запад — ни шагу; только на восток!..

Надо же: всего год прошел, и будто война произошла и блокада, и вот из пяти человек нашей семьи — теща, я, Юля, Славик и Оксанка, — все умерли.

Ох, господи, какой невыносимой нежностью я был переполнен к ним! К Юле, Славику и Оксанке... Я перебирал эпизоды, которые остались во мне, и страшное открытие мешалось с нежностью: да зачем же ты держал все это внутри? Зачем жил глупыми мелочами, а не главным? Вот мир опустел, и на хрена ж тебе все эти запасы?! Ты напрасно прожил свою жизнь, которая казалась тебе благополучной и вполне достойной, но ни достойной, ни благополучной она не была. Потому что запасы свои, которые должен был истратить в этой жизни, тратить не стал, а как последний жлоб или идиот припрятал в никому не нужные теперь закрома.

Мертвая петля поймала меня, дерево в глухой тайге стало бессмысленным, и мне некуда было двигаться. Не хочу я быть алкоголиком, я отвяз! Бред какой-то! — но забрать меня из этого бреда некому.

Дня три я не выходил из гостиницы. Пиво, рыбу, икру, сигареты мне принесли в номер, телевизор не выключался, непрерывно снабжая меня поводами не думать о главном, и я плывал по Стиксу без лодочника и без руля, зато с красивой кружкой пива в руке — ее принес мне угодливый официант из бара. Он же привел как-то развязную девицу, лица которой я совершенно не запомнил. Позже, когда у меня ничего с ней не вышло, девица сказала мне какую-то гадость, и я не заплатил ей, после чего она стала угрожать мне, и вызванному официанту стоило немалых трудов вытолкать ее из номера и увести в недра гостиничного лабиринта.

Потом он зашел с извинениями, долго бормотал что-то, а уходя, сказал удивительную фразу, которую я запомнил до буквочки:

— Женщины — они ж инопланетяне. У них даже физиология другая. Удивительно, как мы вообще находим с ними общий язык...

Для человека, ставшего импотентом, это было высокой мудростью.

И снова пыткой накрывало меня прошлое. Как пел я болящему сыну песни Окуджавы — до сих пор помню: отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта, пулями пробито днище котелка, маркитантка юная убита. И еще много. Про Ваше величество Женщину, потом: когда

метель ревет, как зверь, протяжно и сердито, не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. Про виноградную косточку — как я ее в теплую землю зарюю... Лет триста уже я Окуджаву не слушал, но слова оказались вырубленными во мне топором. Наверное, они в нас обоих с сыном были вырублены. Он унес их в свою бездну и, быть может, слышал перед смертью.

А потом опять возникал адлерский пляж, и дочка располагалась у меня на груди и что-то рассказывала, щекоча мою щеку нежным своим дыханием. И тут же — глаза Оксанки в аэропорту... Мечтали избавиться — сбылась мечта вашей жизни.

Или как еще маленькая Оксанка ушла от нашей ссоры в кухне, легла на свою постель и затихла. Ушла демонстративно, но мы этого не заметили. Я потом подошел, смотрю — дочка лежит неподвижно и скорбно смотрит в потолок, а из-под мышки у нее термометр торчит. Но не медицинский, а комнатный и сувенирный, в форме Эйфелевой башни, и никакую температуру он, конечно, измерить не мог. Смех и грех!

Теперь я писал ей вслух письмо: не передать словами, дочушка моя, какой нежностью к тебе переполнена моя душа.

Может, в безумном этом бормотании виновато было пиво.

Нет никакого воспитания! Только любовью. Это крест такой: дитя тебя в рыло, а ты ему: родной, не ушиб ли ты фаланги? Не запачкался ли кровью моей?

У Юли было много запоминающихся снов, и она часто о них переживала. Я даже злился иногда: что ты веришь всяким снам, как лохушка! Но иногда они были удивительными. Такой, например, сон ее: пришла я в поликлинику со Славиком. Он у меня на руках, совсем еще маленький. Держится за шею. Вдруг в регистратуре говорят: что вы, женщина, с ума сошли? Его надо во взрослую! Двадцать лет уже! Смотрю, а у Славика лицо взрослое и усы. В глаза мне смотрит, я вижу — ему больно, он и вправду взрослый уже, но сидит у меня на руках и маленькими ручками за шею держится, и глаза такие печальные, будто мы с ним навсегда расстаемся. А он хотел обмануть всех и остаться со мной.

Вот, говорила Юля, рыбка моя золотая из школы пришла... Но мы с ней провалили главный экзамен. И с детьми вели себя по принципу «Не будет пощады тем, кто помешает нам делать им добро!». Хотя вот же и Мишаков — мы с ним совершенно разные люди, а все то же, один в один. И в шкафу его — лишь обломки скелетов.

Нельзя пихать добро силой. Пусть все идет так, как угодно небесам.

А для меня отец и мать были живыми людьми? Ох, нет... Все то же.

Это как стучаться в зеркала.

Вдруг я вспомнил тещу и внес ее в свои святцы. Я простил ее и пожалел. В конце концов, она ведь просто беспокоилась за свою единственную дочь, искренне желая ей счастья. Каким оно ей представлялось.

Теща легко нашла общий язык со Славиком. Тем более, что он должен был стать архитектором, — то есть, занять именно ту нишу в жизни, которая представлялась ей достойной для продолжателя ее рода.

Но ведь найти общий язык с весьма сложным внуком значило простить и пожалеть.

Она смогла. И заслуживала взаимности от кого-то. Искренняя жалость к ней не сразу удалась мне — легко ли сорокапятилетнему детине выбраться из привычной колеи? Хотя все наследство ее фортуна переадресовала мне.

Я вдруг ясно понял: она — мама Юли. Это она, только сильно помолодевшая, взмывала к горным высям, когда держала на руках мою жену-младенца, и тогда у Юли были смешные и пухленькие ручки и ножки, и душа тещи вместе с молоком так сладко протекала из груди, что все внутри у нее сжималось от щекотного счастья.

К тому же она гораздо большей застряла в капкане постоянной души и меняющегося тела, и так наивно пыталась залатать дыру, становясь смешной для ближних и дальних.

— Дипломат, архитектор или, на худой конец, поэт... Ой, нет, поэта нам с Юленькой не надо! Знаем мы этих поэтов.

Еще ей не надо было танцоров. Вместе с поэтами они создавали пример для поговорки «Все мужчины — свиньи».

А потом я и вовсе понял: она мне — то же, что и моя матушка. Близнец ей. Потому что я и Юля — одно. И мы все чем-то смешные.

Она не простила дочери несбывшихся своих мечт о красивой любви. Пыталась воплотить в ней свой диссонанс между телом и душой, чтоб в теле Юленьки прожить богемную жизнь. А тут инженер... Род ее почти дворянский на Юле только и мог продлиться. Наверное, поэтому у них со Славиком такое понимание сложилось.

В большом и пустом номере волгоградской гостиницы я сказал теще:

— Простите меня за все. Пожалуйста.

И она меня услышала и тоже простила. Я знаю.

В тот вечер я все-таки вышел в свет и в кафе на набережной Волги благодетельствовал каких-то крутых парней. Была ведь еще одна тайная мысль: что на длинной этой дорожке к последнему пристанищу я случайно погибну в пьяном угаре, и смерть эта будет незаметной, безболезненной и легкой.

Я купил им два пузыря водки и, стоя над их столиком, сказал тост:

— Выпейте, господа, за упокой души неизвестных вам Славика, Юли, Оксанки и Павла. За то, что нет на самом деле никакого воспитания. Что научить жизни можно только любовью, и никакое насилие ничего доброго не даст. Никакое. И нет такого зла на земле, от которого нельзя было бы повернуть к добру. Остановиться и с муками менять в себе запчасты, вычеркивая самоубийственный гнев, досаду, зависть. Блевать ими, очищая душу. Мне пятый десяток — я знаю. В этом и есть смысл жизни — не пункт, а направление. Если идешь от черного к белому, то ты и светел.

Они сочувственно предложили мне присесть, и я присел. И после очередного тоста рассказал вдруг, что когда жене моей однажды делали операцию, она очень боялась, что умрет, но не за себя, а как мы тут останемся одни. Рассказывала мне, как быть после ее смерти, как вести себя с детьми, к чему стремиться по жизни. Что к следующей женщине не ревнует, это ж такое дело — физиология и вообще, но чтоб я не приводил ее в дом, я тебя очень прошу. Лучше пусть я сниму ей квартиру.

— У кого-нибудь есть такая жена, господа? — спросил я.

— Ой, моя овчарка... — сказал один, озираясь с глупой улыбкой, и умолк.

— Честь имею, господа! — сказал я, поднимаясь, салютуя им рукой и наклонив голову в знак уважения. — Честь имею.

Я снова был светел и безгрешен, и всех любил, но все любимые мной умерли. А я никого не спас.

После этого я однажды проснулся — просто кто-то позвал меня, но я не шевелился, и даже глаза открывать не хотелось. Видел сквозь щелоч-

ку сизый ответ и долго пытался понять, ночь это так бледна, или рассвет накатывает.

Оказалось, ночь, но сна больше не было, и я до самого утра наматывал километры и годы холостого пробега мыслей, и ночь казалась вечной, как и комната, и бледная застывшая бессонница. Иногда в снах я оказывался в тех местах, где наяву ни разу не был, зато бывал раньше во сне, и не раз. Я сознавал, что сплю, а сон иногда бывал таким жутким, что если не проснуться немедленно, можно никогда уже не вернуться. Я пытался вырваться оттуда и начинал звать Юлю, которая спала рядом; главное было — проснуться от своего же крика, но кошмар подавлял его и пытался утащить меня навсегда. Из последних сил крик мой вырывался, и я уже наяву слышал реальные звуки, похожие на предсмертный хрип: Ю-ла-а... Ю-ла-а... Жена обнимала меня, и я окончательно сбегал от кошмара.

Странно: я звал не маму, а жену. Она спасала меня своим прикосновением, гладила по руке и груди, и жуть отступала. А потом, в минуты ссоры, когда она в очередной раз упрекала меня стандартным: ты меня не любишь и никогда не любил! — мне было, что вспомнить: ну как же «не любишь», если даже в кошмаре я не маму зову, а жену...

Теперь бы вытащил меня кто-нибудь, наоборот, из реальности в сон... Бормотание телевизора вызывало тошноту, и я его впервые выключил — не знаю, за три дня или за неделю. Во мне все болело. В зеркале я не узнал себя и подумал: хорошо, что Юля не видит издыхающее это тело. Я вдруг понял, что это и есть конечная станция, я умираю в далеком чужом городе, и дальше меня, наверное, просто сожгут в здешнем крематории, как бомжа. Или в общей могиле закопают. Без роду, племени и без единого человека, которому я нужен или интересен на этом свете.

А тут еще резко заныла печень, и я испугался, что умру, так и не поняв, утро сейчас или вечер, а потом вспомнил, что пугаться нечего, и надо принять действительность спокойно и с достоинством — я ведь сам ее создал.

Но я не умер. Я бродил по городу, потом по набережной, и волжская вода долго плескалась во мне — даже потом, во сне. И успокаивала вечностью своего шелеста.

— Слышь, крендель! — позвали меня из пустой прохлады.

Один заломил мне руку, другой начал шарить в карманах и радостно охнул, найдя стопку долларов, а потом он вытащил ксиву, посмотрел в нее и хрипло сказал напарнику:

— Уходим, это фээсбэшник!

Они исчезли с деньгами, а рука еще некоторое время болела, и я сказал воде: спасибо, Колян.

Деньги могут быстро надоесть, если у тебя в списке смыслов жизни не хватает понтов и удовольствия от унижения других. Вот я на этом пути говорил: эй, любезный! — и они прибежали с угодливостью на лицах. А мне трудно было не видеть в слуге человека. Даже стыдно иногда. Перед собой. Ну что ты, блин, из себя строишь?

В ресторане на катере я продолжил умирать и пил водку, запивая ее квасом и заедая, в память о Мишакове, картошкой-фри; жареной у них не было.

Официанту предлагал: выпей со мной, дружище. Не могу я видеть в тебе одного официанта, когда по глазам ясно, что ты — живой и добрый человек. Я тебе про скелеты расскажу, вдруг по жизни пригодится. И

рассказал — как еще в восьмом классе Славик начал заниматься в секции модного каратэ, какой-то каюк-шинкуй-до. Что-то в этом роде.

А однажды, когда сын был уже взрослым и сильно пьяным, он в ответ на наши с Юлей горестные упрёки сказал, глядя поверх нас невидящими глазами:

— Человек, я убиваю двумя пальцами!..

И потом я еще не раз слышал от него эту фразу — буква в букву, и говорил он это, будучи непригодным для общения.

Мы боялись сына.

— Ты, с-с-сука! — кричал Славик матери в лютой наркотической ненависти. — Я знаю, куда тебя бить, чтоб ты сохла!

А я думал, дрожа: этого молодого, крепкого парня надо убить. Ночью, когда он заснет. Взять нож и разом удалить эту опухоль, перерезав жизнь нашу на две части.

Куда втыкать нож?.. В шею или в сердце? Сердце-то еще найти надо; сдвинешь одеяло, а он проснется. Значит, под подбородок, где сонная артерия. Или под ухо — там тоже вроде бы смертельное место. Или, наоборот, сзади, чтоб перебить ножом позвоночник?..

Главное, чтоб у него не было шансов выжить. А то станет инвалидом, и мы провалимся в еще худший ад.

Крови, конечно, будет... Но я обязан спасти Юлю от этого ужаса.

Сволочь какая. Жуткая сволочь.

А еще, дружок, сообщил я официанту, который все-таки выпил со мной хорошую стопку и признался, что у него есть сын-школьник, даже самая последняя сволочь нуждается в любви. Причем гораздо больше нуждается, чем человек хороший, у которого она и так есть. А у сволочи в этой жизни мало шансов без чьей-то любви.

Сын твой вырастет и будет сидеть в своей комнате, будто в могиле, и отчаянное, жуткое одиночество болотом будет топить его, засасывая все глубже с каждым днем, каждым годом, и ничего нельзя будет поделать. Потому что он рано стал мужчиной, который сам решает свои проблемы, любви. И не пустит тебя не то, что в шкафы со скелетами, но даже и на порог своей жизни. Вот зачем мне теперь нерастраченные запасы нежности к детям? Скажи — зачем? Они умерли. И твои запасы тоже сгниют, дружок. Этот чирей на месте любви надуется и лопнет, забрызгивая окружающих — вон, как у старушек, которые, сходя с ума от одиночества, собирают в логове своих квартир окрестных собак или кошек, отравляя жизнь соседям.

Вовремя надо отдавать, понял?

А еще он будет кричать по ночам. И вы с женой будете просыпаться от его крика и бежать в его комнату, а он там орет громко и матерно, ходит по комнате с пустыми глазами, в которых не отражается внешний мир, что-то роняет и опрокидывает... Или вдруг рыдает громко и отчаянно, воя там, за закрытой дверью, не стесняясь уже, что вы его слышите, и ясно, что у него есть своя правда, но вы никогда не догадывались о ней.

Он, может, и рад был бы поплакать на груди отца или матери, и чтоб родная рука погладила его спину, но детство кончилось, и назад пути нет, можно только держаться изо всех сил, а когда не удержишься, зарыдать в своей комнате и выть в ней с отчаяньем волка.

Из трезвяка я вышел утром грязным и полумертвым.

На удивление, все деньги и карточки остались целы. Выпив пива, я смутно вспомнил, что в трезвяке передо мной извинились и называли

капитаном — мол, вам опасно было в ресторане оставаться, поэтому сюда привезли... Вот, здесь проспались, и хорошо; а сообщать мы никуда не станем.

В честь этого я у вокзала подарил старушке, торгующей носками, пятитысячную купюру; она ее спрятала, даже не разглядев и не сказав мне спасибо.

Неподалеку я зашел в ближайший бутик: девушки, мне нужен душ, новый костюм, белье, сорочка, трусы, носки, туфли — все самое лучшее и дорогое, две бутылки пива и какая-нибудь закуска — икра там, осетринка...

И почти все опять сложилось: я вышел новеньким с головы до ног. Но со старой памятью.

Этот жесткий диск в голове моей должен быть убит! В номере я залил его коньяком, освежая дыхание лимоном. Надо падать дальше и глубже на восток, не оставляя себе шансов. И завтра же лететь в Иркутск. Или еще дальше. Где там искать потом дерево мое, я не представлял. Ничего, разберемся.

Может, там, под раскидистым деревом за тысячи верст от человеческого жилья, мы с сыном и встретимся. И спокойно поговорим с ним о любви и ненависти.

Нам некуда будет торопиться — это последний привал перед дверью в другой мир, и, может, сложив ладони вместе, прикоснемся мы к истине и узнаем, зачем приходили сюда.

— Сынок... — бормотал я, шагая по номеру. — Потерпи. Прости.

А потом что-то мохнатое и теплое унесло меня в темноту.

На следующий день я улетел в Иркутск — все то же самое. Запомнилось:

— В самолете было все, как и до Волгограда: трясло регулярно, и страх заполнял лица пассажиров. Всех, кроме меня.

— Свежайшее мясо, запеченное в клеточку на гриле, сочное и упругое. Его принесли мне в номер, и я заедал его листьями салата, укропом и зеленым луком, запивая минералкой и радуясь, что бабочки на время забыли обо мне.

— Байкал. Странное ощущение возникло: страх. Как будто бездна воды вот-вот вздыбится, опрокинется и утопит и меня, и город.

Пьянствовать у меня не было сил. Хотя надо. Но я очень устал. Я не пил в Иркутске вообще, чтоб дать себе передышку перед финишным рывком.

Помнится, как искал по телефону, кто сможет отвезти меня на вертолете к моему дереву. И размышлял, чем набить напоследок два огромных рюкзака. Коньяку взял с собой много. Очень много. И про тайменя я больше не вспоминал — слишком хлопотно.

10. ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

— Пашуль!.. — вдруг сказала за моей спиной Юля, и ясно было, что она улыбается. Я обернулся — никого рядом не было.

«Там он оставил свою душу...». А ее нашли. И продали дьяволу.

Я был уверен, что замерзая с коньяком буду долго и успею увидеть самые лучшие свои сны. Миражи уходящей жизни.

Но сны оказались иными.

Вдруг шорох неподалеку; смотрю — Юля везет к моему логову коляску с ребенком, и она вязнет в снегу. А жена такая юная и красивая, что я

застонал. Смотрит на меня и улыбается спокойно и ласково, будто зная будущее. И вдруг она сказала:

— Ты не простынешь, сынок? — но голос был не ее, а мамы.

Это мама была юной и красивой, и это я был в коляске.

И тогда я понял: вот оно. Пришел, наконец, мой сон в зимнюю ночь. Я добрался к двери в стене.

Был я теперь не на снегу, а в лодке. Никакой тайги и моего последнего логова под громадной елью; озеро, и лодка плавно скользила по воде, причем без весел, будто зная, куда меня нужно доставить.

Потом из тумана возникла еще одна лодка, и в ней неподвижно сидел человек в капюшоне, низко опустив голову.

— Мама — позвал я, но никто не ответил мне.

Я не видел ее лица, но знал, что она спокойно и благословляет меня: иди, сынок. Теперь уже ничего плохого с тобой не случится.

Тут вдруг зашуршали крыльями бабочки и посыпались на меня, и наступило что-то необычайное. Ясно увидел я, что жизнь моя — совсем иная, чем казалось мне раньше, и те эпизоды ее или дни, которые прежде расставлял я на память, как вешки, стали просто эпизодами странных снов. А на самом деле все не так. Вот же один из самых главных дней нашей жизни — я будто прямо сейчас живу в нем.

Я вижу: в полумраке — продолговатая деревянная бочка, в ней жена моя с голыми плечами, влажные волосы лежат на плечах, и вода колыхается у ее груди.

Ангелы насыпали звезд по всему небу и до самых верхушек деревьев, окружили нас туманом распаренных листьев и травы. Я не помню ее имени — это совершенно неважно, — и время потеряло свой смысл, а смыслом стали лицо, тело, волосы моей жены, ее глаза без тени улыбки...

Я мог бы задохнуться от нежности к мадонне моей.

Она выбралась из деревянной той ванны, стряхивая капли с кончиков пальцев, накинула что-то белое и тонкое, в облаке запахов и пара подошла ко мне, прижалась и подняла глаза.

Мы будто впервые прикоснулись друг к другу, и пьянели от бездны, частью которой стали. Хотя на самом деле у нас уже был сын, и он спал сейчас в своей постели. И мы много раз уже были близки — по-разному, но взгляд ее вновь был робок и полон светлой печали, как у души, раз и навсегда покидающей кокон для того, чтобы стать бабочкой. И в эпицентре нашего блаженства ангелы дохнули, через содрогнувшиеся наши тела пробежала волна и дала жизнь крошечному человечку внутри моей жены.

Лапушке-дочке. Нашей рыбке золотой.

Это и был день ее рождения, а не тот, когда она выкарабкалась на свет божий из тела матери, и один из ангелов дал мне в руки божественного младенца, заставляя меня дрожать от нежности и страха о своей неумелости.

— Еще, — сказал я сну, налил в хрустальный стакан коньяку и сделал большой глоток, желая ускорить переход.

Коньяк согрел меня, и дрожать я перестал. И старался не шевелиться, чтоб не спугнуть видения.

Наш сын там не раз удивлял меня. Однажды он очень простудился, плавая в реке, и у него был жар. Жена поила его отварами трав и корешков, но сыну не становилось лучше. Мы почти всю ночь не спали и умирали над ним, пытаюсь хоть чем-то помочь, и видели, что толку от наших переживаний и помощи мало; его явно хотели забрать у нас.

Жена плакала, я — нет.

Под утром нас обоих сморило, а когда я проснулся, то обнаружил, что малыша нет. Будить жену я не стал, выбрался наружу и вскоре нашел сына на поляне: он ползал в траве, и рубаха его была мокрой от росы. Я тихо подошел поближе и увидел: он нюхает травы, закрывая глаза — будто в задумчивости, хотя какая уж там задумчивость может быть у такого маленького... Он будто с кем-то молча общался, чуть улыбался иногда, а в другой раз на лице его появился детский испуг и сменился совершенно взрослой покорностью...

Малыш жевал какие-то травинки, обнюхивая их, как животное, и перепачкал обе ручонки, ковыряя непонятный мне корешок. Кажется, он ловил муравьев и тоже отправлял их в рот. Я не мешал ему, потому что видел: глаза его перестали быть большими. Позже, когда он увидел меня и протянул ко мне руки, я бросился к нему, схватил и понес домой; лоб его был еще горячим, но болезнь уже отступала, это было ясно...

А следующей весной сын вообще пропал. Он еще не умел говорить и был слишком мал, чтоб мы могли на что-то надеяться. Мы пытались найти его и оплакивали — и вдвоем, и порознь. А через день он вернулся, как ни в чем не бывало, и не понимал, почему подняли мы такую суету, обнимали его и всего зацеловали.

Мы так и не узнали, чем он питался, где спал и как нашел дорогу домой.

Наше логово было заполнено связками трав, листьев, корешков, ягод. Не знаю, как жена их находила — наверное, по запаху, бессознательно. Сушила их, варила — чистая ведьма. Ведунья.

А сын был и вовсе частью леса. Белки прыгали на него, как на дерево. Или вот: однажды мы куда-то шли с ним по краю поляны, и я вдруг ощутил, что по другой стороне, за деревьями, бежит параллельным курсом молодой волк. Испуг был секундным, потому что тут же я почувствовал, что это совсем не опасно: он просто гуляет так вдвоем с моим сыном. А прячется — чтоб не смущать меня, не очень посвященного в тайны жизни.

Потом уже я видел однажды, как они сидели рядом на краю поляны. Молча. И я понимал, что они общаются, хотя и не смотрят друг на друга.

Однажды я вернулся с реки и услышал, как жена, готовя пищу, мурлычет какую-то мелодию; это поразило меня. Ладно, я — мне иногда снилась другая жизнь, и я понимал в тех снах, что и раньше бывал здесь, и знал, что это тоже было во сне. Иногда те сны казались мне родной и настоящей жизнью — я был инженером, строителем. Московские улицы, очень много людей, дворы проспекта Мира. Сопромат, цемент, металл, гравий, цех обработки древесины, проекты зданий — сны были очень яркими, и я чувствовал, что знаю об этих вещах намного больше, чем толпа людей на улице.

Я спросил жену, откуда она взяла свою мелодию, но она не смогла толком объяснить. И не очень-то беспокоилась об этом — ну, возникла мелодия; чего б ей не возникнуть?

Потом уже, когда сын заметно подрос, он рассказал нам, какой невероятный сон ему приснился: в нем было много-много людей, и они жили в огромных таких муравейниках...

И тут же он вдруг сказал, глядя мне в душу своими ясными глазами: — Ты сам эти муравейники строил. В этом сне. А потом ты нас всех убил.

Голос его дрогнул, и я увидел, что он еле сдерживает слезы.

— Ты нас всех зачем-то убил, — повторил он. — А мы с сестрой вас ненавидели.

— А за что? — спросил я почему-то шепотом. — Ты не видел — за что? — Нет, — покачал он головой. — Нет, не знаю.

Не помню, как мы с женой там называли друг друга и детей; какие еще имена! Ну, пусть будут Адам и Ева.

Еще было: радость физической силы, упругости шагов по земле, осенним листьям и мягкому мху, легкого парного дыхания ранним утром, когда иней на листве и траве, ощущение бездонности облаков, звезд, реки и добродушия их к нам.

И печальная реальность в этом воплощении, из которого пытаюсь я с помощью алкоголя, табака и риска вернуться в то, прежнее.

Нет, никого нам не нужно было в том мире.

Но вдруг я очнулся — в боли и смятении, и не мог понять, где я. Ясно лишь было, что это какая-то комната.

Что было сном?

Бабочка эта приснилась мне, или я ей приснился?

Сон тот был спокоен и величественен, как огромная морская черепаха, которой я был в одном из недавних воплощений, и в нем я знал смысл всего сущего, но, проснувшись в незнакомом помещении, забыл этот смысл. Пытался вспомнить и не мог. Он не был предназначен для этой жизни.

Что-то случилось с моими глазами — я видел окружающее смутно, будто сквозь ткань. А потом появилось в комнате какое-то пятно, и я услышал осторожный голос:

— Доброе утро, Павел Андреич. Вы спите?..

Голос этот я тут же узнал: это была медсестра, и я уже слышал его раньше, но никак не мог вспомнить, что случилось, где я и почему, и причем здесь медсестра. Я ничего не смог ей ответить, лишь пошевелил рукой и тут же ощутил в ней резкую боль, а пятно приблизилось, и я услышал подавленную до шепота радость в голосе медсестры. Она сказала:

— Павел Андреич, за вами пришли!





Сергей Николаевич Васильев родился в 1955 году в Воронеже. Окончил Воронежский политехнический институт. Работал инженером-наладчиком на заводе, занимался предпринимательской деятельностью. Один из создателей и председатель Воронежского городского литературного объединения «Орион» в середине 1970-х годов. Автор многих книг прозы. Публиковался в журналах «Подъём», «Север», «Странник», «Сура». Живет в Воронеже.

Сергей Васильев

МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННОЕ К БОЕВОМУ

Повесть

Они шли с самого утра, ступая почти след в след, словно прижимаясь друг к другу, стараясь создать нечто единое в огромном и чужом море зелени. Лес угнетал, подавляя своим однообразием, отупляя, делая безразличным ко всему. Даже взгляд остановить не на чем. Березки посветлее, дубы потемнее, а трава совсем темная в тени деревьев. И все это стоит неподвижной бесконечной стеной. Вдоль нее можно идти вечно и не встретить ничего, радующего глаз.

Андрей поглубже надвинул фуражку. Опустил взгляд на свои пыльные сапоги и грязно-серый песок. За спиной он слышал частое сбивчивое дыхание, но не оборачивался.

Одним из самых значительных изменений в восприятии мира с тех пор, как Андрей после беззаботной студенческой жизни оказался в этом забытом богом и людьми месте, стало отношение к зеленому цвету. Шелестящие листья в отсветах фонарей над парковыми скамейками; шелковистая трава, на которую совсем не страшно падать, принимая мяч; соблазнительные платья, сверкающие автомобили и пивные бутылки, вечно занимавшие весь

подоконник... Все это была какая-то другая, далекая и ласковая зелень, которая бесследно растворилась в окружавшем его теперь глухом зеленом лабиринте. Этот цвет казался всеобъемлющим, затмевающим даже голубой цвет неба.

Может быть, попавший сюда случайно различил бы шорохи и птичьи крики, даже нашел бы красивым какой-нибудь кривой изуродованный природой сук, но Андрей жил здесь уже целых два месяца и лес стал для него немым и безликим. Он уже не раздражал, а являлся той неотъемлемой частью гнусного бытия, от которой невозможно избавиться и бороться с которой бесполезно. Зеленая слепота...

Неохотно напозлали сумерки. Это был пока не вечер, а просто скрылось солнце, сделав окружающий мир менее приветливым. С другой стороны, это говорило о том, что еще один день тупого бессмысленного существования прошел. Ощущение этого радовало...

— Подожди, я портянку перемотаю, — услышал Андрей сзади.

Остановился. Оперся спиной о толстую сосну с теплой шелушащейся корой и закурил. Напарник его сел и начал пыхтя стягивать сапог. Наконец он освободил ногу и вопросительно посмотрел на Андрея, ожидая объяснений происходящего.

— По-моему, мы отмахали уже километров сорок, — сказал он.

— Ну, сорок — не сорок, но явно больше двенадцати.

— И где же этот чертов тригопункт?

— Ты у меня спрашиваешь? — Андрей отвечал так равнодушно, будто этот вопрос его совершенно не интересовал.

— Я вообще спрашиваю, — второй, которого звали Виктором, вздохнул и начал наматывать портянку заново, аккуратно и вдумчиво, словно делал это первый раз в жизни.

— Спрашивать «вообще», бессмысленно, — заметил Андрей философски.

— А что теперь делать?

— Идти.

— Куда?

— Вперед.

— Ты что, не понимаешь?.. — Виктор наконец засунул ногу в сапог, топнул ею, проверяя, удобно ли получилось, и встал, — мы же идем не по той дороге.

— Понимаю, но и она должна куда-нибудь привести, — голос Андрея звучал монотонно и слова выползали лениво. Казалось, разговаривая, он делает собеседнику великое одолжение. Такая интонация могла вывести из себя кого угодно.

— Как это, куда-нибудь?! — истерично выкрикнул Виктор, — ты что, дурак?!.. Мы даже не знаем, сколько идти до... — тут он запнулся, — ...туда, куда она ведет. Еды у нас нет и полфляжки воды. Ты псих, да?! Робинзон Крузо!..

На этом запал иссяк, потому что Андрей никак не реагировал на его эскапады, задумчиво разглядывая огромный ярко-красный мухомор, выделявшийся среди всеобщего однообразия, как окуроч, валяющийся посреди комнаты. В голосе Виктора послышались примирительные нотки:

— Слышь, Андрюх, не может быть, чтоб тут не было людей, ведь ездит же кто-то по этим дорогам. Нам лучше вернуться к мотоциклу и ждать. Может, даже удастся починить его.

— Вернуться? А ты найдешь обратную дорогу? — Андрей усмехнулся, — Дерсу Узала... если я Робинзон Крузо.

Виктор закрыл глаза и поднял лицо к небу. Видимо, аргументы у него закончились.

— Но мы же не в джунглях, правда? — спросил он таким голосом, отвечать на который отрицательно явилось бы величайшей жестокостью, — здесь же кругом люди. Волино должно быть километрах в тридцати...

— Да, — согласился Андрей, — километрах в тридцати от тригопункта, которого нет.

Виктор открыл глаза, полные самого неподдельного ужаса. Красно-речивее всяких слов они говорили, что лишь сейчас он наконец полностью осознал суть сложившейся ситуации. Это не занятия по топографии или тактике и не простая поломка старенького мотоцикла. Они заблудились. По-настоящему. Забрели в гиблое место, усеянное квакающими и чавкающими болотами, утыканное белыми грибами, размером с суповую тарелку, перепаханное старыми и новыми воронками, неправильно расчерченное заросшими травой дорогами, по которым давно никто не ездил... И название этому месту — полигон.

— Пошли, — сказал Андрей, пытаюсь вывести товарища из состояния ступора, — надо двигаться на восток.

— Почему на восток?..

— Потому что на запад двигаться хуже, — пояснил Андрей.

Несмотря на нелогичность и неопределенность этого довода, ответ удовлетворил Виктора. Он больше ни о чем не спрашивал, а только покорно кивнул. Скорее всего, исчерпав запас собственной воли и не имея в душе Бога, он готов был довериться кому угодно, пообещавшему спасение, причем, за любую цену. Покрутил головой, пытаюсь определить, где же находится тот спасительный восток.

Андрей решил, что с задачей справился. Больше всего он опасался истерики с катанием по земле и призыванием на помощь мамы. Тогда они потеряли бы еще несколько часов драгоценного времени. Теперь все встало на свои места и продолжать дальнейший разговор не имело смысла. Ведь двигаться на восток — являлось его собственной догадкой, в аргументацию которой он боялся поверить до конца, потому что тогда... Андрей молча повернулся, глубоко вздохнул, как спортсмен перед стартом, и зашагал вперед, безжалостно топча высокую траву.

Виктор шел сзади. Перед его глазами, словно ориентир, маячила спина. Из-под ремня разбегались темные лучики пота, образовывавшие в конце концов большое влажное пятно. Зрелище утомляло не меньше, чем близость леса, зато пока эта спина не исчезла из вида, можно самому ни о чем не думать и не принимать никаких решений. Раз человек так уверенно идет на восток, значит, он имеет для этого вескую причину. Все, точка. Дальше надо просто следовать за ним, а в голове пусть роятся какие-нибудь посторонние мысли, не связанные с его «военным» настоящим. Он так хотел вспомнить что-то хорошее, но никак не получалось...

Уезжая из лагеря на мотоцикле, который одолжил им по такому случаю командир роты, Виктор мечтал увидеть пуск настоящей боевой ракеты. Это такая редкость даже для настоящих солдат, а уж им, так называемым «курсантам», подобное и не снилось. Разве можно упускать такой случай? Ведь через месяц, получив звание «лейтенант запаса», все они устроятся на завод или разбредутся по каким-нибудь конторам, а вспомнить-то будет и не о чем...

И в принципе все складывалось нормально, пока не заглох этот старый драндулет. Полчаса они бились, пытаясь оживить его, но похоже, тот сдох навсегда. Пусть ротный сам с ним потом разбирается. Пришлось замаскировать бесполезную грудку железа возле трех приметных дубов на обочине и идти пешком. Тогда казалось, что до тригопункта «111», принятого в качестве места встречи с офицером дивизиона, который должен сопроводить их на позиции, гораздо ближе, чем до лагеря. Видимо, они все-таки ошиблись, когда искали нужный поворот (это и не мудрено для двух людей, выросших в городе и привыкших читать названия улиц на стенах домов).

Через три часа бесполезных поисков, полностью потеряв ориентацию, Виктор уже не думал о ракете. Он мечтал добраться обратно до лагеря, чтоб закончилась неизвестность и утром можно было спокойно лежать на койке и ждать, когда ровно в шесть ноль-ноль голос дневального поднимет тебя на зарядку и далее жизнь снова покатится по расписанию.

Потом прошло и это. Хотелось просто увидеть живого человека, который бы знал, куда и зачем идет. Но если они действительно углубились в полигон, то даже этот шанс становился призрачным. Виктор монотонно переставлял отяжелевшие ноги и в очередной раз пытался переключить сознание на приятные, но далекие воспоминания.

* * *

— Колька! Ты где, оболтус?! Мне на работу пора! — молодая женщина в немодных туфлях и мешковатом цветастом платье, сшитом совсем не по ее фигуре, заглянула по очереди во все комнаты и наконец вышла на крыльцо.

Внимательно оглядела просторный двор. Серый самодовольный кот сидел в тени сарая и лениво вылизывал лапу. В нескольких шагах от него, вытянувшись на земле, дремала большая дворняга. Ее лапы чуть подрагивали, будто во сне она гналась за кем-то. У забора мирно бродили куры, не обращая внимания ни на того, ни на другого хищника.

— Колька! — снова крикнула женщина, — я ж из-за тебя опоздаю! Вот отец вечером придет, он тебе врежет...

Из узкого закутка между стеной сарая и забором появился мальчуган лет двенадцати. Загорелый и босой, в одних штанах, подвернутых до колен.

— Ну, чо ты орешь? — спросил он совсем не по-детски, — знаю я, что с Аленкой надо сидеть. Я ж здесь. Я ж никуда не уйду.

— Здесь он... — мать сразу успокоилась, — нечего слоняться. Иди в дом и читай книжку. На лето-то их сколько задали, помнишь? А ты хоть одну прочел до конца?

— Ну, не прочел, так что с того? — спросил Колька с вызовом глядя на мать, — а кто отцу на тракторе помогал? Кто картошку окучивал? Кто скотину целый месяц пас?

— Вот когда пас, мог бы брать с собой книжки и читать, — назидательно сказала мать.

— Еще чего!..

— Договорись ты у меня... — но в ее голосе больше не слышалось угрозы, — Аленка проснется, дашь ей молоко и картохи помнешь, понял? Сам поешь заодно. И чтоб из дома ни ногой. Если узнаю, что опять с Сашкой в лес бегал, отцу скажу, так он тебе...

— Знаю-знаю, — перебил Колька, — врежет он мне.

По его тону и интонации чувствовалось, что это являлось стандартной, но никогда не выполнявшейся угрозой.

— Я серьезно говорю, — мать уже спустилась с крыльца и подошла к сыну, — ступай в дом и никуда не смей отлучаться. Предчувствие у меня дурное. То ли про тебя, то ли про Аленку... Сердце чего-то не на месте.

Колька удивленно поднял на мать глаза.

— Ты чо, ма? Ты ж знаешь, все нормально будет... Хоть во дворе-то можно играть, когда книжку читаю?

— Во дворе можно, только играй здесь. За сарай не ходи, а то там ничего не видно и не слышно, — она погладила сына по голове, — помощник ты мой, — и пошла к калитке.

Колька не стал дожидаться, пока яркое пятно платья исчезнет за поворотом. Вернулся в дом. Осторожно заглянул в комнату. Аленка спала, раскинув по кровати пухлые ручки. Длинные светлые волосики тонкой паутиной накрыли подушку. Она улыбалась во сне и смешно шевелила губами.

«Вот подрастет она, никому не отдам, — подумал он ревниво, глядя на сестренку, — ох, и погоняю я ее женихов! Красивее девчонки не будет у нас в селе. Нечего ей коров доить, пусть в город едет. Замуж выйдет за богатого, а там, глядишь, и меня заберет. Буду у ее мужика телохранителем. Я ж ничего не боюсь и драться умею. Только не скоро это будет... — он поднял глаза к потолку, производя несложные вычисления, — когда ей будет восемнадцать, мне уже стукнет двадцать шесть. А что? Нормально. Только ждать еще долго...»

Он вздохнул, тихонько прикрыл дверь и, уйдя в другую комнату, взял со стола книгу. Пролистал ее, ища загнутый уголок страницы, но в это время в окно неуверенно постучали. Его дружок Сашка красноречиво показывал пальцем на дверь. Колька радостно вскочил. Конечно, жизнь у старателей Аляски интересная и пишет про нее этот... (он взглянул на обложку) Джек Лондон классно, но все равно это ж его фантазии, а здесь все настоящее, все руками можно потрогать.

Когда Колька выглянул на улицу, Сашка уже стоял на крыльце.

— Привет. Я видел, как мать твоя на работу шла. В лес пойдешь? — спросил он с ходу.

— Не, — Колька вздохнул, — мать Аленку дома оставила. У нее вчера температура была. Сегодня с утра упала, но она все равно ее в садик не повела.

— Жалко...

«И что он находит в этой сопливой мелкоте?» — подумал Сашка с детским недоумением, хотя понимал, что уговаривать друга бесполезно. Младшую сестренку он ни на что не променяет. Даже на «клад», который они нашли вчера возле старого блиндажа.

— А ты куда дел *все это*? — спросил он, мгновенно смирившись с тем, что раскопки на сегодня отменяются.

— В «штабе» оставил.

— Пошли, еще поглазем.

— Пошли, — Колька прислушался, не проснулась ли Аленка, и только после этого осторожно спустился с крыльца.

— А мне сон сегодня снился, — сказал Сашка, — будто голос с небес со мной разговаривал.

— Ты чо?.. — Колька прыснул со смеха.

— Нет, правда. С бабушкой Мотей же он все время разговаривает и предсказывает ей всякие события. Я у нее сегодня спросил, какой он, тот голос? Она говорит — «благостный». А у меня какой-то злой был и сказал, что все в нашем доме перевернется, а у тебя тоже какая-то беда будет.

— А я-то здесь при чем? — испугался Колька.

— Не знаю. Но, думаю, все это враки. Я ж не баба Мотя. Мне знаешь, как часто мотоцикл снится? Блестящий весь. Прямо, зверь. Но никто мне его до сих пор не подарил...

Они оба засмеялись, тем не менее Колька боязливо оглянулся. Хотя нет, ерунда все это. На фоне ясного голубого неба поднимающийся из зелени домик казался совсем сказочным, если, конечно, отбросить залатанную свежими кусками шифера крышу, облупившуюся краску на когда-то белых окнах и стены с похожими на крохотные молнии трещинками.

Пацаны свернули за сарай, где в дальнем углу возвышалась странная конструкция из жердей, накрытая сверху серыми пожухлыми ветками. Это был «штаб». Здесь хранились деревянные мечи и ружья (использовались те или иные, в зависимости от настроения и последнего фильма, показанного по телевизору). Еще там имелся старый компас, часы-ходики, стрелки на которых приходилось переводить вручную, и много всякой ерунды, которая не шла ни в какое сравнение со вчерашними находками. Пригнувшись, оба проскользнули внутрь и уселись на травяных матах, сплетенных под руководством Сашкиной матери.

— Где? — спросил Сашка с нетерпением.

— Вот, — Колька приподнял тряпку. На земле, оскалась беззубым ртом, лежал коричнево-желтый человеческий череп, изъеденный ржавчиной пистолет и полевой бинокль без линз.

— Класс!.. — Сашка первым делом схватил пистолет и направил его во двор, — бах! Бах!.. Интересно, а починить его можно?

— Вряд ли, — Колька со знанием дела взял оружие. На маленькой ладони пистолет казался огромным, — смотри, он весь уже... — ковырнул ногтем ствол, и от него отвалился крохотный кусочек.

— Хорош! Ты чо?! — воскликнул Сашка, хватая драгоценную находку, — это мой. Это я нашел! Найди себе и делай с ним, что хочешь!

Кольке стало обидно, ведь это он, а не Сашка случайно обнаружил тот блиндаж и раскапывать холмик около него придумал тоже он.

— Слушай, а интересно, чья это черепушка? Нашего или немца? — спросил Сашка, чтоб отвлечь внимание друга от пистолета.

— Не знаю. Надо еще там покопать. Он же, наверное, был одетый. Если на пуговицах звезды, значит, наш. Если свастика, то немец.

— Голова... — Сашка с уважением посмотрел на Кольку, — тогда лопату надо взять, а то палками много не накопаешь... Слушай, может, ничего с Аленкой не случится? Пойдем сейчас, а?

— Не, сейчас не пойду, — ответил Колька твердо, — мать говорила, какое-то у нее предчувствие было плохое. А она у меня бешеная, уж если чего в голову влезет... Она ж может и с работы сорваться, проверить «предчувствие». А меня нет. Я так не могу.

Сашка вздохнул.

— А завтра она выздоровеет, как думаешь? — в Сашкином голосе прозвучала такая надежда, что Колька даже улыбнулся.

«Никуда он без меня не пойдет, малявка. Это он тут горазд хвастаться, кто что нашел, а сам-то жидок на расправу», — эта мысль настолько возвысила Колькино самомнение, что он ответил с достоинством:

— Не знаю. Как выздоровеет, так я скажу. Сразу и пойдем.

— Я пистоль возьму пацанам показать, ладно? — попросил Сашка, осознав наконец, кто здесь главный.

— Бери, — милостиво разрешил Колька, подумав, что одному играть в него неинтересно, а сегодня у него вряд ли появится время выйти со двора. Вечером вернется отец и надо будет помогать ему заниматься с трактором.

— А вдруг мы найдем что-нибудь не ржавое, а настоящее?.. — перебил его мысли Сашка заговорщическим шепотом.

— Может, и найдем. Там же не только с войны все осталось. Мать почему не разрешает в лес ходить? Там же и сейчас учения всякие проводят. Там полигон.

— Я знаю. Но думаешь, настоящие солдаты тоже могут потерять какое-нибудь оружие?

— Потерять все могут.

— Класс!.. — мечтательный Сашкин взгляд переместился в угол и остановился на черепе, — а эту штуку ты зачем притащил?

— Я по телеку видел, — разъяснил Колька, — что «новые русские», особенно бандиты всякие, любят в своих домах черепа старые ставить. Почистят, лаком покроют, и они у них, вроде украшений.

— Чо, правда?!

— Говорю ж, сам видел. Даже специальные люди есть. Они на кладбищах могилы раскапывают и черепа воруют, а потом продают. За это их в тюрьму сажают, но здесь-то не кладбище. Здесь он просто в лесу валяется. Вот и пусть до поры до времени лежит. А когда мы с Аленкой в город переберемся, я его кому-нибудь продам за дорого.

— Классно ты придумал, — Сашка вздохнул, видимо, сожалея, что такая замечательная идея пришла не ему, — это даже лучше, чем настоящий пистолет.

— Конечно. С пистолетом тебя сразу в милицию загребут, а это в лесу нашел, и никто ничего не сделает. Он же ничейный, а деньги будут, наверное, хорошие...

Поскольку поход в лес откладывался, Сашке стало скучно просто сидеть в шалаше. Пистолет будоражил воображение, поэтому так не терпелось показать его остальным.

— Ну что, я пошел? А то тебе за сестрой надо смотреть, наверное, — сделав этот хитрый ход, Сашка поднялся.

Расстались они посреди двора. Сашка побежал на улицу, а Колька повернул к дому. Солнечные зайчики играли на стеклах, словно подмигивая ему желтоватыми зрачками. Часов у него не было, но ведь отсутствовал он совсем недолго...

Довольный запрыгнул на крыльцо, распахнул дверь и почувствовал характерный запах дыма. Заглянул на кухню, думая, что мать могла забыть что-то на плите, но там дыма оказалось гораздо меньше, чем в коридоре. Он бросился в Аленкину комнату. Оказалось, что в окнах отражались вовсе не солнечные зайчики...

Языки пламени поднимались по сухим деревянным стенам. От постели, на которой лежала девочка, полз удушливый голубоватый дым. Пол под кроватью уже выгорел, а Аленка продолжала спокойно лежать, словно не чувствуя опасности. Правда, теперь она свернулась калачиком, закрыв лицо ручками, и что самое страшное, не шевелилась.

Колька рванулся вперед, но жаркая волна выбросила его обратно.

Схватив с вешалки отцовскую майку, он навернул ее себе на голову и вновь шагнул через пламя, поднимавшееся над порогом. Если б он намочил ее, дышать стало бы легче, но для этого надо бежать к колодцу, а как же Аленька?..

Задержав дыхание, он за несколько шагов добрался до кровати. Буквально под его руками неожиданно вспыхнула простынь, но он успел схватить жаркое, вялое тельце. Выскочил из комнаты, пронесся по коридору и, оказавшись на крыльце, сначала несколько раз вдохнул такой же горячий, но бездымный воздух, а потом закричал, что было сил:

— Пожар!!!

Громким лаем ему вторил лохматый Рекс, давно тоже убравшийся в тень сарая и теперь бдительно вскинувший морду. Откликнулся петух, живший на другой стороне улицы, да стайка воробьев сорвалась с яблони и, истерично чирикая, понесла новость по деревне.

— Пожар!!! — снова крикнул Колька, слыша, как за его спиной что-то грохнулось на пол. В испуге оглянулся. Пулей слетел с крыльца и лишь сейчас сообразил, какая бесценная ноша находится у него на руках. Только почему Аленька не плачет и не цепляется за него, как обычно?.. В растерянности он опустил взгляд и увидел безжизненно свесившиеся ручки, коротюсенькие остатки замечательных шелковистых волос, которые каким-то чудом не успели сгореть, и сморщенное личико с закрытыми глазами. Нет, этого не могло быть...

Он оторвался от ужасного зрелища и бессмысленно заорал. Наверное, этот вопль оказался страшнее, чем крики о пожаре, потому что мгновенно появились люди. Но все они были мужчинами и выполняли свою мужскую работу. Загромыхали ведра, послышался звон выбиваемых стекол. А Колька стоял посреди двора, судорожно пытаясь придумать, как заставить Аленьку вновь двигаться и весело смеяться.

Наконец прибежала соседка. Колька с трудом узнал ее сквозь пелену слез, застилавшую глаза. Он безропотно отдал ей свою самую большую драгоценность и, словно обессилив, опустился на землю. Лег, мешая разматывать шланги подъехавшей пожарной машины и в отчаянии начал скрести ногтями траву.

Потом прибежала мать. Она уже знала и то, что произошло, и то, что спасти Аленьку не удалось. Девочка задохнулась почти мгновенно, потому что очагов возгорания, по мнению пожарных, было несколько, и все в районе кровати. Это очень походило на поджог, только кто мог такое сделать? Может, она сама стащила спички и уронила одну из них? Но тогда почему она мирно лежала в постели и в ее разжатых ладонках ничего не было?..

Мать опустилась рядом с сыном и осторожно коснулась его волос. Колька не поднял головы, но знал, что это могла быть только мать.

— Не убивайте меня, — пробормотал он сквозь слезы, — я не виноват. Я же так любил ее...

— Я знаю, сынок. Это я виновата, а ты сделал все, что мог...

На другом конце села, куда Сашка увел компанию показывать пистолет, всего этого шума не было слышно, и только, когда вздымая пыль, по улице пронеслась пожарная машина, пацаны поняли, что происходит что-то интересное. Ржавая железка сразу потеряла привлекательность. Выбравшись из громадных, как тропические лотосы лопухов, вся ватага сорвалась с места.

Деревня опустела. Только у Колькиного дома толпился народ и стояла красивая красная машина, блестя сложенной лестницей и никелированными бамперами. Сашка вдруг вспомнил странный «голос с небес» и, не задумываясь, зачем это делает, стал отставать и наконец, переведя дыхание, повернул к своему дому.

Дверь оказалась подперта лопатой, а кто-то с силой барабанил в нее изнутри. Сашка отбросил лопату. Дверь распахнулась. В проеме стоял разъяренный отец, всегда в это время приходивший обедать.

— Ах ты, шпанюга! — крикнул он, хватая Сашку за ухо, — я тебе сейчас покажу, как над отцом шутки шутить!

— Это не я, папка! — завизжал Сашка, пытаясь вырваться, — честное слово, не я!..

— Саша, зачем ты врешь? — слышался невозмутимый голос матери. Она работала в школе учительницей и давно привыкла к всевозможным шалостям, — за свои поступки надо отвечать.

— Сейчас он и ответит!.. — громыхнул отец.

Сашка почувствовал, что его голова уже находится между отцовскими коленями.

— Но честное слово, папочка... — он судорожно рыскал руками, пытаясь удержать штаны, хотя из опыта знал, что это бесполезно. Против отцовской силы никто в деревне ничего не мог сделать.

Противно звякнула пряжка ремня. Сашка зажмурил глаза, весь сжался... Но вдруг колени ослабли, и он от неожиданности упал, завалившись на бок. Над ним возвышалась огромная фигура отца с ремнем в руках, только рот его приоткрылся и глаза сделались круглыми, как у рака. Сашка опасно скосил взгляд и увидел, как из кухни медленно выплывает табурет. Плавно вращаясь вокруг оси, он остановился посреди веранды и потом, подскочив в воздух, ударился об пол с такой силой, что рассыпался на части.

— Господи, спаси и сохрани, — пробормотала мать, которая никогда не верила в Бога.

— Что за черт?! — отец выпрямился, не расставаясь с ремнем, но Сашка был уже забыт. На коленях он отполз подальше от грозного отцовского орудия воспитания и встал, неловко натягивая штаны.

В это время за спиной раздался звон разбитого стекла. Большой кусок угля упал посреди веранды вместе с осколками.

— Ну, держитесь!!... — отец бросился к двери, но она вновь оказалась заперта.

Новый камень точно угодил в другое окно.

— Всех поубиваю, сволочи!!... — взревел отец всей массой обрушившись на дверь, но она не поддалась. Все в их доме было сделано на совесть.

Готовясь к новому «штурму», отец пристально осмотрел веранду. Его грудь тяжело вздымалась, лицо покрылось потом, а глаза стали безумными, как у разъяренного быка.

— Папка, я могу вылезти в окно, — робко предложил Сашка.

— Да?.. — отец перевел на него бессмысленный взгляд. Наконец, видимо, сообразил, о чем идет речь, — давай, сынок, — сказал он совсем другим, почти ласковым голосом, — ты только глянь, кто это хулиганит. Я всем им ноги повыдергиваю, ты ж меня знаешь.

Сашка действительно знал, что перед отцом, много лет ворочавшим в кузне тяжелые раскаленные болванки, расступались все мужики, когда он выпивал лишнего и шел «гулять» по деревне. Он гордился им... конечно, когда тот не бил его.

Сашка выскользнул из объятий матери, которая тут же сложила руки на груди и зашептала что-то невнятное. В это время вылетело стекло в комнате. Не мешкая, Сашка подбежал к одному из разбитых окон и, легко вскочив на подоконник, спрыгнул вниз.

— Сынок, осторожно, — услышал он отцовский голос, — только глянь, кто это...

Пригибаясь, Сашка миновал двор, выскочил за калитку, где лежал привезенный две недели назад уголь, и... никого не увидел. Улица, насколько хватало глаз, тоже была пуста.

— Здесь никого нет! — крикнул он.

— Дверь открой! — глухо отозвался отец.

Сашка вернулся во двор и увидел, что на этот раз она подперта бревном. Одним из тех, что отец сложил у забора, собираясь строить новую баню. С трудом оттащил бревно в сторону.

— Папка, готово.

Отец шагнул за порог и остановился. Вокруг стояла тишина, нарушаемая только разноголосыми петушиными криками. Неожиданно в воздухе засвистело, и очередной «снаряд» врезался в очередное окно. Оба бросились к калитке. У кучи по-прежнему никого не было, но следующий кусок угля сам собой вдруг поднялся в воздух, перевернулся, словно подбрасываемый чьей-то невидимой ладонью, и с невероятной скоростью полетел в сторону дома. Отец сделал два шага назад и выпучил глаза. Раздавшийся звон стекла уже не производил впечатления после увиденного.

— Господи, прости меня грешного...

Он трижды перекрестился, но и это не помогло. Куски угля подскакивали один за другим и устремлялись в цель.

— Мать! Слышь, мать!!.. — заорал отец, — тащи сюда икону!

— Нет у нас иконы. Где ж я ее возьму? — послышалось из дома.

— Так найди!! К бабе Моте сбегай! Тут бесы!

— Ты что, Толя? Какие бесы?..

— Делай, что тебе говорят, дура! Училка хренова!! Не тому детей учишь!!...

Бледная мать, не привыкшая к такому обращению, осторожно выскользнула во двор, но когда увидела, что происходит с углем, сама, снова причитая и крестясь, бросилась вдоль по улице туда, где на отшибе жила баба Мотя.

Стекла больше не сыпались. Вернее, их уже не осталось и уголь сам собой угомонился. Отец даже решился взять один из кусков, подбросил его... Нет, самый обычный уголь, каким они каждую зиму топили печь. Швырнул его обратно.

— Сын, что же это делается на свете? — растерянно спросил он, не надеясь получить вразумительный ответ, а просто обратиться ему больше было не к кому.

— Папка, — Сашка прижался к нему, — я сон сегодня видел, что все у нас в доме перевернется. Мне голос с небес так сказал.

— Тут во что хочешь, поверишь, — он потрепал сына по плечу, — кто б мог подумать, что не брешут все про нечистую силу. Только к нам-то она чего привязалась? Мы ж чего?.. Работаем исправно, не пьяницы какие-нибудь. И грешим не больше других...

Он говорил так серьезно, что Сашка даже от удивления поднял голову. Из прошлых уроков жизни он усвоил, что прав всегда сильный, а все

остальное придумали слабаки, ища себе оправдание. Замолчал, не зная, как вести себя дальше с таким «новым» отцом.

В доме что-то упало, но никто не решился посмотреть, что именно. Отец только пробормотал раздраженно:

— Где она таскается столько времени? Тут весь дом разгромят, пока эта старая карга доплетется...

Но баба Мотя не пришла вовсе. Мать вернулась одна.

— Почему одна?! — крикнул отец, увидев ее еще издали.

Мать не стала также орать на всю улицу, а, подойдя совсем близко, сказала виновато:

— Не пошла она. Говорит, это мы сами потревожили мертвых, нам самим с ними и разбираться.

— Каких-таких мертвых?.. Ты что-нибудь понимаешь, мать?

— Нет. Мы и на кладбище-то были аж на Пасху.

Сашкино сердце екнуло. Неужели все дело в них с Колькой? Около него ведь тоже пожарка стоит почему-то. Он прикусил губу, чтоб сдуру не ляпнуть что-нибудь.

— Икону-то хоть дала?

— Дала.

Отец уставился на строгий лик Богородицы.

— Ну, мать, — он провел по лику рукой, — ты уж придумай что-нибудь. Обещаю, в церковь потом съезжу, — и неся доску на вытянутых руках, направился к дому.

«Хоть бы помогло... Хоть бы помогло...» — шептал про себя Сашка.

Процессия беспрепятственно вошла в дом. За время их отсутствия большая кастрюля слетела с плиты, и свежесваренный борщ аппетитно дымился на полу, разлившись по всей кухне.

— Сволочь, — констатировал отец.

Они обошли комнаты, задерживаясь в каждой на несколько минут и демонстрируя лик всем четырем стенам по очереди. Завершив этот странный безмолвный обряд, все уселись на диван в гостиной. Мать уже облегченно перевела дыхание, когда в спальне что-то заскрежетало. Бросив икону, отец вскочил, но кровать сама въехала в гостиную и остановилась в самом ее центре. Потом она запрыгала, весело взбрыкивая ножками, как молодая коза.

— Не помогает, — произнесла мать так спокойно, словно уже привыкла к новому видению мира, включавшему в себя и бога и дьявола. Наверное, учителя и сами быстро учатся всему новому, — мы ж, дураки, молитв не знаем.

— Я всем тут сейчас покажу молитвы!.. — отец схватился за грядущку и сильно потряхнул кровать.

На секунду та успокоилась, но вдруг, будто собравшись с силами, начала медленно и уверенно теснить отца, в конце концов припечатав его к стене.

— Да сделайте вы что-нибудь! — крикнул он, пытаясь освободиться, но грядущка уже вдавилась в живот, затрудняя дыхание.

Лицо его напыжилось, став пунцово-красным. Пальцы побелели, но он не мог даже сдвинуть кровать с места. Мать встала и робко попыталась тащить за другую грядущку, но ее сил и давно не хватало. Сашка видел, как отец начинает задыхаться и уже открыл рот, собираясь крикнуть: «Это я! Я потревожил покой мертвых, а не он!», но страх, что вся эта непобедимая сила вмиг обрушится на него, лишил

его голоса. Он издал звук, будто его тошнило, но не смог произнести ни слова.

Вдруг кровать сама собой отъехала в сторону. Отец схватил ртом воздух, еще раз и тяжело сполз на пол. Мать тут же кинулась к нему.

— Толечка, ты жив?..

— Жив, — отец с трудом поднялся, опираясь спиной о стену, — бешеное отродье... — он с ненавистью поглядел на кровать, — и что теперь прикажешь делать?

— Надо позвать батюшку, — предложила мать.

— Какой, к черту, батюшка?! Вон, икона твоя валяется и ни хрена не может сделать. И этот придет такой же, только ему еще надо деньги платить.

Ярким пятном, привлекающим внимание, мимо окон проехала пожарная машина.

— А это еще у кого? — спросил отец, глядя сквозь остатки стекла.

— Около Самохинского дома стояла, — робко вставил Сашка.

— Так у них же дома нет никого, — встрепенулся отец, — Алексей в поле, Дашка в магазине, небось. Ежели пожар, так там все...

— У них Аленка болеет и Колька с ней сидит, — пояснил Сашка также тихо.

— Господи, да они ж совсем дети!.. — мать всплеснула руками и прикрыла ладонью рот.

— Пошли, посмотрим, что там делается, — сказал отец решительно, но Сашке почему-то показалось, что он не столько желает помочь соседям, сколько покинуть разгромленное жилище, успокоиться, может быть, посоветоваться, как быть дальше.

Сашка побежал следом, стараясь догнать отца, а мать замыкала шествие, постоянно оглядываясь, словно ожидая удара в спину. Но ничего не произошло. Неведомая сила затаилась. В то, что она исчезла совсем, верилось с большим трудом.

Самохинский двор был залит водой, а ворота, не предназначенные для такой громоздкой техники, просто сломаны. Однако сам дом с первого взгляда казался невредимым. Лишь разбиты окна в спальне. Но если присмотреться, то через них виднелись черные обугленные стены и сгоревшие куски штор. На пороге одиноко сидел Колька, закрыв лицо руками. Его плечи вздрагивали, а из горла доносился уже не плач, а скорее, рычание.

Сашкина мать бросилась к нему, присела рядом, глядя его по голове.

— Коленька, что случилось, детка?

— Уйдите вы все!.. — огрызнулся он.

Женщина отдернула руку.

— Аленка!.. Сестричка!.. — заголосил Колька, убирая руки. Глаза его были красными и опухшими, а на белках ярко проступали алые русла лопнувших капилляров.

— Что с ней, милый?..

От этого слащаво-участливого голоса Колька снова закрылся ладонями и замолчал.

— Пошли отсюда, — сказал отец, — завтра все узнаем.

Они пошли обратно, а Сашка остался. Его никто не позвал, и он решил, что они обойдутся и без него.

— Что с ней? — спросил Сашка, присаживаясь рядом.

— Угорела, — срывающимся голосом выдохнул Колька.

— Насмерть, что ли?

Колька молча кивнул и только потом снова открыл лицо.

— Но я ж не виноват. Сколько нас с тобой не было? Совсем чуть-чуть. А она спала...

— Может, и виноват, — сказал Сашка неуверенно, — помнишь, я тебе про «голос с небес» говорил? Так у нас весь дом разгромило. А мать бежала к бабке Моте, и та сказала, что кто-то нарушил покой мертвых.

— Врешь!.. — Колька уставился на него немигающим, но уже достаточно осмысленным взглядом.

— Мать так сказала.

Колькины слезы как-то сразу высохли, даже всхлипывать он стал реже.

— И что теперь?

— Почему я знаю? Мать даже икону притащила, но не помогла она ни фиги. Может, надо отнести череп обратно?

— Только не сейчас, — испуганно выпалил Колька, — представляешь, если мать с отцом вернутся, а меня нет? Они совсем с ума сойдут... Может, ты один отнесешь?

— Ты что?! Нет уж. Нашел дурака. Ты знаешь, что *они* с нашим домом сделали?

— Кто *они*?

— Не знаю. Ну, *они* — и все тут. А ты хочешь, чтоб я один в лес пошел? Это ты придумал череп принести, вот ты и относи.

— Может, дело не в черепе?.. — с надеждой спросил Колька.

— Может, — Сашка смилостивился, — это бабка Мотя про мертвых сказала, а может, дело и не в них. Она тоже иногда такое загнет...

— Давай подождем немного. Мои вернутся, тогда и решим, что делать, — Колька, вроде, даже успокоился. Новые проблемы захватили его внимание, а Аленку ведь все равно уже не вернешь. А какие надежды он возлагал на сестру!.. Теперь все, прощай, город, прощай, веселая жизнь...

* * *

Постепенно создавалось впечатление, что воздух становится гуще, вроде кто-то мыл в нем кисточку с серой акварельной краской. Под широкими кронами кусты начинали превращаться в темные бесформенные бугры, ограничивая и без того скудную зону обзора. Хотелось есть. Это был не тот острый голод, который возникает внезапно, болью сжигая желудок, но и потушить его можно простым глотком воды. Этот голод высасывал силы, заставляя судорожно сглатывать пустую слюну. От него дрожали руки и ноги подкашивались, отказываясь повиноваться.

— Надо поесть, пока еще светло, — Андрей остановился, — ты в грибах разбираешься?

Виктор отрицательно покачал головой.

— Ладно собирай, авось, не отравимся.

Они сошли с дороги, углубившись в лес всего на несколько метров и сразу потеряли друг друга из вида. Приходилось прислушиваться к хрусту веток и шороху травы, иногда нарушая тишину ничего не значащими возгласами. Это помогало хоть частично победить страх перед возможным одиночеством и надвигающейся ночью.

Когда они вернулись на дорогу, темнота стала почти осязаемой. Высыпали из фуражек грибы, развели костер прямо посередине старой ко-

леи и наконец-то сели. В ушах противным не прерывающимся фоном стоял комариный писк. Днем эти мерзкие твари скрывались среди влажной прохлады деревьев, а теперь у них, видимо, тоже наступило время ужина. Можно было ежесекундно проводить по лицу, шее и каждый раз смахивать пять-шесть раздавленных комариных трупиков. Но сознание притупилось, чтоб бороться еще и с такими мелкими проблемами. Тело ныло от непривычной усталости и ужасно не хотелось шевелиться вообще.

Виктор все-таки достал из кармана носовой платок и надел его под фуражку. Теперь незащищенным осталось лишь лицо, а с него можно сдувать комаров, не прилагая никаких усилий. Просто надо дышать ртом, нижней губой направляя воздушный поток...

— Поспим немного? — предложил Виктор.

Андрей не ответил. Он сидел на земле, ловко орудуя перочинным ножиком и будто сортировочный автомат складывал в кучку одни грибы, а другие равнодушно выбрасывал в темноту. Виктору показалось, что он делает это наугад, даже не рассматривая добычу их «тихой охоты».

Молодой месяц еле заметно проглядывал над верхушками сосен, и на первый взгляд казалось, что его нет вовсе. Одни звезды. Много-много звезд на любой вкус — голубые, розовые, белые... Было начало августа, и они периодически срывались со своих мест, расчеркивая небо огненными хвостами.

— Да брось ты их, — сказал Виктор, — смотри, как падают. Давай лучше загадаем желание.

Страх, который все это время подавлял его, внезапно притих. Может быть, дело было в этом огромном небе, не знавшем границ. Оно простиралось и над ними, и над потерянным лагерем, и над городом, отстоящим отсюда на сотни километров, где их обоих ждали и, наверное, любили. А может, просто он устал бояться. Состояние опасности сделалось таким же атрибутом бытия, как дыхание. Мы ведь не задумываемся над тем, как дышим. Мы ко всему можем привыкнуть...

— А есть-то ты хочешь, звездочет? — пробурчал Андрей.

— Уже нет. И вообще, перестань строить из себя заботливого папу при малолетней дочке!..

Андрей промолчал, нанизывая грибы на неизвестно откуда взявшийся кусок проволоки. Казалось, ничто не могло сбить его с мыслительного круга, который он сам себе обозначил.

— Андрюх, — Виктор повернулся к нему лицом, — а знаешь, что мне Ленка пишет?

— Не знаю.

— Что любит меня. В конце сентября мы, наверное, поженимся. Она даже кольца уже купила.

— Тебе, конечно, самое большое. В нос.

— Пошел ты... — Виктор отвернулся. Огонь костра выхватывал из темноты светло-желтые сосновые стволы, а по ветвям проносились бесформенные тени.

— Значит, говоришь, купила? — возобновил разговор Андрей, — и это хорошо. Деньги периодически обесцениваются, а драгметаллы... Пока я не припомню такого случая.

— Андрюх, ты действительно такой злой или прикидываешься?

— Ну какой же я злой? Я грибы тебе жарю, — он сделал из палочки подобие щипцов и аккуратно вращал над огнем проволочный вертел.

— Хорошо, не злой. В таком случае, похренист. У тебя вообще какие-

нибудь чувства есть, кроме голода и холода? Например, ты любишь кого-нибудь?

— Наверное...

— Вот. О чем я и говорю. Разве это бывает «наверное»? Это же, раз и навсегда.

При последних словах Андрей презрительно скривился, а может, просто так упал свет костра...

— Как думаешь, грибы готовы? — Андрей не собирался продолжать дискуссию.

— Не знаю. Дай закурить.

— После ужина покурим, как все нормальные люди, а то сигарет мало осталось. Зато на десерт, извольте землянику. Вон там, в кустиках, — он показал на край дороги, — не думал, что она в августе еще бывает.

— Ты много, чего не думал, — пробормотал Виктор, совершенно не стремясь быть услышанным.

Грибы оказались чуть обуглившимися, но в целом, вполне съедобными.

— Хорошо, да мало, — Андрей довольно потянулся, — но кто ж знал, что они так ужарятся.

Покурили, сняв сапоги и активно шевеля при этом пальцами, чтоб отогнать комаров. Месяц выполз по верхушкам сосен на самую верхотуру и воцарился в небе. Звезды сразу потускнели, вроде обиделись, и даже падать стали реже...

— Подъем! — неожиданно скомандовал Андрей.

— Ты что, с ума сошел? Какой подъем?! Время, без четверти час. Темно, хоть глаз выколи. Куда мы пойдём?

— Все туда же, на восток.

— А ты сейчас определишь, где он, восток? С тех пор, как солнышко село, мы уже столько кругов нарезали.

Андрей долго и пристально смотрел в угасающий костер, потом поднял голову, отважившись наконец сказать то, о чем думал все это время:

— Ты хорошо помнишь дорогу, по которой мы шли?

— Ну, допустим... — неуверенно ответил Виктор, не понимая к чему он клонит.

— Это мертвая дорога. Здесь людей не бывает.

Виктор растерялся, но вдруг вспомнил.

— Почему же не бывает, а котлован помнишь? У березовой роци проходили. Наверное, какой-то военный объект строить собираются, хотя он и странный какой-то...

— Это не котлован, — перебил Андрей, — это воронка от такой же ракеты, как наша. Свежая воронка, понимаешь?

— Нет... Ну, воронка...

— Откуда появляются воронки, знаешь? — Андрей начал злиться на беспросветную тупость напарника, — скорей всего, мы оказались не в районе батареи, а в районе целей. Чувствуешь разницу?

— Этого не должно быть. Мы не могли забраться так далеко, — Виктор попытался улыбнуться, но получилось нечто вымученное и неуклюжее. В сознании мгновенно возникла огромная хищная тень, закрывающая половину неба. Она двигалась с противным воем, от которого закладывало уши, а потом вдруг раскрывалась зловецим цветком на множество отдельных боеголовок... Что произойдет дальше, Виктор представить не мог. На это у него не хватало ни фантазии, ни здравого смысла.

— Я ничего не утверждаю, но лучше все-таки поскорее уходить на восток, потому что пуски будут вестись оттуда. Не знаю, куда мы выйдем, но по крайней мере туда, где не взрываются ракеты.

— Так ты знал все с самого начала, — обиженно сказал Виктор, — на восток, на восток... и молчал.

— Ничего я не знал, да и сейчас не знаю! Что ты панику разводишь?! Вставай и пошли!

Андрей по-солдатски быстро сунул ноги в сапоги и теперь с интересом наблюдал, как Виктор наматывает портянки. Наконец поняв, что процесс близится к завершению, затоптал остатки костра. Искры гасли, едва успев подняться, а лунный свет, ярко разливавшийся по черному небу, добравшись до земли, делался настолько призрачным, что в нескольких шагах уже с трудом различались очертания предметов.

— И как мы пойдем? — спросил Виктор.

— Ножками. Или ты предлагаешь остаться здесь и ждать?

После того, как Андрей озвучил свои предположения, последний вопрос казался риторическим. Виктор промолчал, хотя и не представлял способа, при помощи которого они бы могли сориентироваться в кромешной тьме. Таким образом, их дальнейший марш, скорее всего, не даст никаких результатов, кроме иллюзии, что они все-таки борются и поэтому в конце концов им должен быть предоставлен шанс победить. Хотя в сложившейся ситуации это тоже не мало.

Глаза постепенно привыкали к темноте. Уже различалась не только сама дорога, но даже угадывались отдельные стоящие поблизости стволы.

Не говоря ни слова, Андрей медленно двинулся в темноту. Виктор видел, как его фигура мгновенно превратилась в частицу ночи и чуть не бегом устремился в погоню. Он не представлял, как можно остаться здесь одному. Наверное, сразу сходишь с ума...

Вокруг не слышалось ни звука. Лес, то ли спал, то ли умер. Лишь торопливые шаги за спиной подсказывали Андрею, что не все в природе потеряло свои естественные свойства. И в то же время шаги пугали. Хотелось обернуться и удостовериться, что это действительно Витька идет сзади. Но если обернуться раз, то страх заставит оборачиваться постоянно. Поэтому Андрей отрешенно шел вперед, безрезультатно пытаясь рассмотреть свои сапоги. Мысли в голове блуждали самые разные. Одна из них, которую Андрей холил и лелеял, как очень дорогое, но хрупкое растение, заключалась в том, что все это не более, чем приключение. На данном этапе самое большое приключение в его жизни. Все образуется. Они непременно спасутся, как бывает в девяносто девяти процентах подобных случаев. Вернувшись в родной Воронеж он будет с гордостью и легкой бравадой рассказывать, как почти сутки блуждал по действующему полигону, ожидая пуска ракеты, и даже не испугался, не потерял самообладания, а твердо шел к намеченной цели. Это будет здорово, потому что такого не переживал ни один из его приятелей. Это почти, как на настоящей войне...

Остальные мысли были менее красивыми и привлекательными. Их исходной точкой являлся тот один процент, который по значимости с лихвой перекрывал остальные девяносто девять. Но подобный исход Андрей просто запретил себе анализировать.

«Этого не может быть, потому что не может быть никогда», — убеждал он себя, и подобный аргумент, вроде, пока действовал. По крайней мере, не возникало ни отчаяния, ни истеричной жалости к себе, когда

кажется, что жизнь кончена, а ты еще не получил от нее столько удовольствий. Удовольствия будут. После таких приключений все вернется в тройном размере, надо только идти. Все время идти на восток.

Незаметно начал подниматься ветер. Пока еще слабый, но лес уже качался, наполняя воздух какими-то зловещими звуками. Гигантская система стволов, ветвей и листьев стала со скрипом приходить в движение. Вспорхнула птица и, тяжело взмахивая крыльями, пролетела над самой дорогой, едва не коснувшись волос. Андрей поднял голову, глядя ей вслед и увидел, что небо заволкло. Месяц превратился в мутное бледное пятно, которое, то исчезало совсем, то неожиданно возникало вновь на какое-то мгновение. Ветер поспешно гнал тучи, собирая их где-то за невидимым горизонтом в одно огромное стадо.

«Интересно б еще знать, правильно ли мы идем?» — подумал Андрей, однако вопрос так и остался без ответа. Дорога наверняка уже сделала не один поворот, который он даже не заметил. Оставалось полагаться на везение и интуицию.

Виктор ткнулся в него, чуть не сбив с ног.

— У, черт! Ты чего остановился?

— Решаю, что делать, если пойдет дождь, — сказал Андрей, хотя в действительности подумал совсем о другом. Именно от *той* неожиданной мысли он и остановился. А дождь?.. От него все равно не скроешься, разве только забиться под дерево, надеясь на плотную крону? И вообще, зачем ломать голову над неизбежным?

А *та* мысль была очень коварной, переводящая «приключение» совсем в другую, более трагическую категорию. Оказывается, он чувствовал себя гораздо спокойнее, пока не высказал вслух своей догадки относительно их местонахождения. Тогда казалось, скажи он подобную ересь, и Витька сразу поднимет его на смех и убедит в обратном. А он испугался. Андрей не собирался осуждать или обвинять его в трусости, но, значит, догадка очень похожа на правду. Он сам не решался думать — «была правдой», потому что тогда... (он посмотрел на светящийся циферблат) до пуска осталось восемь с половиной часов. Фактически всего лишь один рабочий день. Даже если дорога ведет в нужном направлении, успеют ли они?.. Нет, и об этом думать тоже категорически запрещено...

— Пошли дальше, — сказал Андрей, — будем надеяться, что дождя не будет.

Виктор вздохнул и двинулся следом, пока Андрей не успел снова раствориться в темноте. Он видел, как минуту назад Андрей взглянул на часы и, зачем-то сделав то же самое, вдруг осознал, сколько еще им осталось пребывать в этом спокойном знакомом мире. Ощущение утекающего времени было так не кстати, ведь перед этим он все-таки сумел настроиться на самое прекрасное, что существовало в его памяти и стремлениях. На Лену. В ней его единственная жизнь, которую нельзя оборвать так глупо и бессмысленно. Впервые он почувствовал само понятие «жизнь» настолько остро. До этого момента она катилась сама собой к невидимому, даже в обозримом будущем, концу — старости. А оказывается через жалкие восемь часов можно просто исчезнуть с лица земли. Неважно по чьей вине это произойдет. Он просто не хотел умирать...

Тем временем силуэт являвшийся для него ориентиром, незаметно исчез.

«Или я устал, или он пошел быстрее», — подумал Виктор, прибавляя шаг. Новый темп сбил прежние мысли. Он никак не мог вновь сосредоточиться, поэтому образ Лены, до этого незримо следовавший рядом, исчез.

А ветер усиливался. Огромные сосны стонали оттого, что им пришлось размять свои застарелые ветви. Березки вдоль дороги низко склонялись друг к другу. Наверное, они шептались о чем-то неприличном, потому что ветер нещадно драл их за косы. Пропитанная потом гимнастка прилипала к телу, и от этого становилось холодно.

«... А Ленка сейчас спит. У нее, наверное, как всегда, открыто окно...»

Виктор вновь попытался представить ее, в короткой ночной сорочке, разметавшуюся по постели. Такую теплую и податливую, что хотелось схватить, прижать ее к себе, вдыхая возбуждающий аромат чистого тела...

Видимо, он вработался в ритм. Прежние мысли вернулись, но над самым ухом противно ухнула глупая сова — и снова остался только шумящий лес и неясная тень впереди.

«Как же мы могли ошибиться, ведь все проще простого. Седьмой поворот от Красных Двориков...»

— Андрюх, слышь!

— Что? — прилетело вместе с порывом ветра.

— Ты считал ту дорожку, где мы курили под старой липой?

— Что ты там говоришь?!..

Виктор замолчал. Разговаривать на таком ветру оказалось достаточно сложно. Слова уносились вместе с облаками, оставляя, словно эхо, лишь короткие обрывки фраз.

В это время раздался треск, совсем не похожий на ставшие привычными лесные звуки. Огромный зигзаг молнии разрубил пополам тучу и зарылся своим концом в гущу деревьев, обретших на мгновение неестественный голубоватый цвет. Все произошло так неожиданно, что Виктор вздрогнул и остановился, как вкопанный. В нескольких шагах он увидел Андрея, инстинктивно закрывшего руками голову.

Невольно возникла мысль, что этот выброс необузданной природной энергии гораздо страшнее пуска гипотетической ракеты, созданной руками человека и находящейся полностью в его подчинении. Ракету можно и не запускать, и упасть она может совсем в другом конце полигона, но это разверзшееся над головой небо... Насколько здесь все понятно и просто, настолько же и неотвратимо. Он представил даже не огонь, пожирающий деревья, а низвергающуюся с небес массу воды, от которой невозможно скрыться. И что будет дальше — без костра, около которого можно обсохнуть и приготовить пищу, без возможности элементарно прилечь и отдохнуть?.. Они просто умрут в этом болоте...

— Дальше не пойдем, — сказал Андрей, — давай искать укрытие.

— Где его искать? — Виктор обвел взглядом вновь подступившую вплотную темноту. Как в ней можно выбрать какое-то конкретное место?

— Не знаю. Давай костер разводить.

— При таком ветре? Мы сгорим тут вместе с лесом.

— Не сгорим. Черт с ним, с лесом! Если это полигон, то сам бог велел ему гореть. Идем!..

Они свернули с дороги и углубились в заросли. Здесь оказалось гораздо тише. Ветер в бессильной истерике рвал верхушки деревьев, но забраться внутрь ему не удавалось. От этого он, наверное, злился еще больше.

— Далеко не пойдем, — сказал Андрей, — а то еще и дорогу потеряем.

Сделав несколько осторожных шагов Виктор все-таки споткнулся и упал, с хрустом ломая невидимые сучья.

— Ты в порядке? — раздался впереди голос Андрея.

— Все нормально. Кстати, слушай, здесь столько сушняка. Может, остановимся?

Вслепую наломав веток потоньше, они сгребли их в кучку, и через минуту крохотный костер, неуверенный и клонящийся из стороны в сторону, показал свой жадный язычок.

Дров поблизости оказалось предостаточно (об этом позаботился ветер). Их даже не надо было собирать, требовалось всего лишь протянуть руку. Желтое трепещущее пятнышко постепенно крепло, создавая иллюзию замкнутого обжитого пространства. Пусть у него пока не хватало сил отвоевать у тьмы значительный кусок территории, но ситуация как бы становилась подконтрольной. Начинало казаться, что все опасности носят где-то там, над вершинами бушующего моря деревьев.

Андрей молча опустил на землю, привалившись спиной к стволу, снял сапоги и вытянул ноги к самому огню. Едва поднялся ветер, комары разом исчезли, и теперь никто не мешал расслабиться, прикрыть глаза, чувствуя, что в этом мире осталось хоть что-то хорошее.

— Андрюх, а ведь по идее, нас должны искать, — высказал Виктор трезвую мысль.

В самом деле, до этого они оба так увлеклись безвыходностью своего положения, что забыли о существовании остального цивилизованного мира. А в нем тоже есть свои законы и понятия. Никто не бросит в лесу двух живых людей. Ради их спасения и пуски ракет могут отменить. Не так это важно: сегодня запускать или завтра. Противник-то «условный», он может и подождать...

Но Андрей оказался настроен более пессимистически.

— Ты думаешь это кому-то надо? — спросил он, не открывая глаз, — если б все было организовано официально, с разрешения командования, тогда другое дело, а так... Наш капитан договорился с их капитаном... Это ж сплошная «партизанщина». Он нам одолжение сделал, как самым любознательным. Думаешь, им охота брать на себя ответственность, если все откроется? Ну, покинули мы расположение лагеря и ушли в «самолет», прихватив чужой мотоцикл, только и всего. Может, в деревню по девкам, а может, пуски смотреть...

— Ты так думаешь?.. — в голове Виктора подобная перспектива укладывалась с трудом, — но не могут же они скрыть наше отсутствие?

— Они все могут. Это армия. Ты что, газет не читаешь?

Газеты Виктор читал, но всегда старался считать, что после многочисленных публикаций случаи армейского беспредела, если не остались в прошлом целиком, то сделались единичными и его самого никак не могли коснуться.

Вторая молния полоснула по небу. Из-за плотной листвы ее не было видно так хорошо, как первую, только вспышка окрасила дорогу в мистические тона. Впрочем, они тут же исчезли, утонув в громовых раскатах. Земля вздрогнула под ногами и даже две горящие ветки вывалились из костра.

— Ни хрена себе, если такая ухнет где-нибудь поблизости, то похлеще ракеты будет, — констатировал Андрей и вдруг подумал, что нет никакой принципиальной разницы, от чего умирать. При этом жалость,

поднимавшая изнутри предательские слезы, заполняла все существо. Он сильнее сжал веки, чтоб Виктор не заметил его состояния.

«...Я сильнее. Если я раскисну, то нам вообще хана... Мы дойдем. У других бывало и хуже...»

Словно отматывая время назад, перед глазами вновь засияло горячее и радостное солнце. Сосны лениво шевелили своими короткими стрижками. В траве мелькали грибы, а голоса невидимых кузнечиков будто слышались из непривычно огромных темно-фиолетовых колокольчиков.

«Они звонят по нам... А может, и по ящерке высунувшей мордочку из кустов, и по большому блестящему жуку медленно ворочавшему лапами, подгребая под себя песчинки...»

Все вернулось к исходной точке, только восприятие стало ярче и пронзительнее. Наверное, просто сначала оставалось двадцать пять часов, потом четырнадцать, потом восемь с половиной... Но и это было уже давно... А сейчас?..

«Нет, на часы лучше не смотреть. Об этом думать запрещено. Табу... Вето... Ведь потом обязательно наступит десять ноль-одна, десять ноль-две и так до бесконечности. А мы будем все идти и идти, живые и невидимые...»

Не вмещалась в его голове такая дьявольская логика, по которой их вдруг не станет. Причем, не станет просто так, совершенно необоснованно и незаслуженно.

«... Хотя кто оценивает заслуги и выдвигает обоснования? Сколько гибнет молодых и здоровых?.. Но это они, а это я. Я сильнее всех богов и дьяволов, потому что я хочу жить. У тех других, может быть, не получалось...»

— Андрюх, — Виктор прервал затянувшееся молчание. Видимо, мысли у них двигались в одинаковом направлении, потому что он сказал, — знаешь, а вообще-то говорят, умирать не страшно.

— Да?.. — Андрей открыл глаза. Страхнул со щеки хвоинку, — кто говорит? Я тоже чужие гробы помогал таскать, но мне почему-то оттуда ничего не сообщали.

— Оттуда мне тоже не сообщали...

— Там, может, и хорошо, — продолжал Андрей задумчиво, — а представляешь, как *все это* будет уходить?.. Раз — и осталось на один вздох меньше... Представляешь, каким будет последний?..

Такого ужаса, как после этих простых слов, Виктор не испытывал никогда в жизни, даже когда однажды после дискотеки сдуру лез на нож один против троих отморозков. Хотя, может, тогда он не понимал всей ценности жизни, и Лены в ней тогда еще не было...

Он отвернулся, часто-часто задышал ртом, стараясь сдержать слезы. Потом выдавил из себя:

— Конверт бы, хоть написать...

— Ты что, совсем идиот? — Андрей удивленно повернул голову.

Этот спокойный голос привел Виктора в чувства.

— Знаешь, — сказал он, — я понимаю, что если нас не будет, то в мире ничего не изменится. Нас забудут и жизнь у всех в конце концов нормализуется, только жалко... Всего жалко... Что у нас с Ленкой не будет детей, что мать наварила варенья, а я его так и не попробую, что диплома своего не увижу. Интересно, его в архив сдадут или просто сожгут за ненадобностью? — воспоминания о *той* жизни отодвинули на второй план

даже завывания ветра и очередной раскат грома. Или это только показалось, что он стал чуть тише, будто гроза проходила стороной?..

Андрей подумал, что в его жизни нет таких «эпохальных» вех, поэтому ему уходить, наверное, должно быть проще, но все равно ужасно не хотелось этого делать.

— Дай закурить, — Виктор протянул руку.

— Четыре штуки осталось, — Андрей вытащил смятую пачку, — по две на брата.

— А что их экономить? Часом раньше, часом позже...

Оба одновременно затянулись. От никотинового голода в голове сразу зашумело, а на душе сделалось светло и пусто, словно они совсем — совсем не любили жизнь, и больше им от нее не хотелось абсолютно ничего, кроме этого легкого головокружения и апатичной вялости. Андрей уже хотел сказать: «Ну и хрен с ним. Да будет так, если по-другому не выходит...», когда вновь полыхнула молния.

В ее моментальном свете Виктору, сидевшему лицом к дороге показалось, что всего в нескольких шагах от костра движутся люди. Его рот приоткрылся, а рука с сигаретой опустилась сама собой.

— Ты что? — удивился Андрей.

— Смотри, там кто-то есть. Прошел кто-то...

Андрей резко обернулся, но небесный огонь уже снова ушел в землю, оставив после себя лишь грохот терзаемого неба. Воздух упругой волной всколыхнул природу, ударил в уши... Нет, гроза никуда не уходила. Она висела над ними, словно пристреливаясь к цели. На этот раз она опять, слава богу, промахнулась.

— Кто там прошел? — спросил Андрей, когда многократное эхо укатилось за горизонт.

— Люди. Я видел их достаточно четко. Человек шесть. С какими-то круглыми головами. Они молча шли друг за другом...

Еще минуту назад оба думали, что готовы все отдать, лишь бы увидеть людей, но вдруг оказалось, что вовсе не хотели этого. Гораздо спокойнее сидеть в свете костра и ожидать своей участи. А эти люди?.. Кто они? Что здесь делают? Куда идут в такое время и в такую погоду?..

— Может, тебе показалось? — с надеждой спросил Андрей.

Однако по выражению лица Виктора сразу понял, что он тоже бы очень хотел, чтоб ему показалось.

— А может, нас действительно ищут? — в сознании Андрея не было такого смятения, потому что сам он не видел эти безмолвные мрачные фигуры. Предполагать и строить догадки всегда легче, чем убедиться воочию.

Виктор покачал головой.

— Вряд ли. Тогда они должны бы идти цепью. Должны звать нас... И почему у них не было фонарей? — он задумчиво смотрел в вернувшуюся всепоглощающую темноту.

— И костер наш они должны бы заметить, — согласился Андрей, но мозг его уже включился в работу. От минутной апатии не осталось и следа, — а вдруг это диверсанты?

— Кто? — в первый момент Виктор не понял, но потом сообразил, ведь завтра в десять пуск боевой ракеты, — та-ак... — он склонил голову, обхватив ее руками, будто мысли разбегались, а он пытался удержать их, — интересный вариант. Только я не понимаю, зачем? Откуда им тут взяться, да и ракета, не ахти какая. Ее уж сто раз показывали во всех те-

лепрограммах, даже кажется, продавали в третьи страны. Зачем ночью лазить по этой глухомани? Нелогично все это.

— Но ты точно их видел? Тебе не померещилось?

— Точно. На них какие-то широкие накидки. А лица... Это ж был один момент, пока молния сверкнула. Лиц не успел разглядеть.

— Надо идти за ними, — заключил Андрей, — они должны знать местность. Уж к какой-нибудь деревне они нас выведут, — взглянул на часы, — сейчас четыре. Скоро начнет светать. Главное, не упустить их.

— Они наверное, уже далеко ушли.

— Сомневаюсь. По такой темени с дороги они вряд ли свернут, а тут мы их сможем догнать. Собственно, нам надо только увидеть, в какую сторону они направляются, а сами по себе они нам на фиг не нужны, так?

— Так, — Виктор представил, что им предстоит встретиться с этой шестеркой и внутренне содрогнулся. Было в них что-то такое, чего он не мог описать словами, поэтому и решил не говорить Андрею ни об их лицах, ни о своих впечатлениях. Как ни крути, в любом случае это единственный шанс выбраться отсюда.

Больше всего оба жалели о костре. Он являлся их главной радостью за прошедший день, но и оставлять его не имело смысла. Они твердо знали, что никогда к нему не вернуться. К тому же, если огонь перекинется по сухим веткам и поползет дальше... По телевизору не раз показывали, что происходит от брошенного окурка, а здесь целый костер. Но постепенно дрова прогорели сами и пламя сникло, оставив лишь переливающиеся угли в ажурной пепельной оправе. При их свете даже рассмотреть лица стало уже практически невозможно.

— Поесть бы, — мечтательно произнес Виктор.

— Придется подождать. Ночью, если только сосновых шишек наберем...

— Знаешь, — Виктор вздохнул, — может, все-таки это были тени... Действительно, откуда людям тут взяться?

— Поздно, батенька. Костра уже нет. Идти, значит идти.

Они выбрались на дорогу и с удивлением обнаружили, что еле-еле, пока чуть заметно, но начинало светать. Сидя под густым пологом леса, они не заметили, как ночь перестала быть черной. Внезапно, также как и поднялся, стих ветер, оставив над головой мрачный тучевой свод. Но гроза ушла, так и не излившись дождем. Громовые раскаты теперь слышались далеко за лесом и больше не сотрясали землю, а молнии из могучей разрушительной силы превратились в яркие фейерверки, периодически оживлявшие небо. Только воздух еще был влажным и тяжелым, поэтому деревья замерли, сдавленные его густой серой массой. Пейзаж напоминал кадр из мистического триллера, но настроение сделалось совсем иным.

— Удача с нами! — провозгласил Андрей, — грозу пронесло, а в отношении пусков, наверное, я был не прав. Раз местный народ здесь бродит, значит ничего страшного. Важно теперь побыстрее выбраться к жилию.

Виктор слушал его бодрый голос, глядя на причудливые нагромождения неподвижных деревьев и пытался понять, почему все положительные факторы, перечисленные Андреем, не вызывают в нем радостных эмоций. Неужели дело в «ночных прохожих»? Их лица показались ему какими-то нечеловеческими. Причем, в чем конкретно заключалась эта «нечеловеческость», он объяснить не мог. Вроде, ни рогов, ни дьявольского

огня в глазах. Наоборот, глаза как глаза. Нос на месте и все остальное тоже. Но что-то было не так, и это внутреннее ощущение встречи с неизвестным рождало не меньший страх, чем реальная угроза лесного пожара, наводнения или падающей ракеты.

— Витя, ты идешь? Komm zu mir, — произнес Андрей весело.

Виктор знал, что переход на немецкий являлся хорошим симптомом. Значит к Андрею вернулась уверенность. Наверное, эти присказки пришли к нему из военных кинофильмов, где героические победители всегда объяснялись с побежденными врагами подобными легко запоминающимися штампами, типа «schnell, schnell» или «Hande hoch».

— Иду я, — Виктор поправил гимнастерку и они двинулись вперед в том же порядке, что и раньше. Первым Андрей, а Виктор немного позади.

Трава медленно обретавшая цвет, тускло поблескивавшая, то ли от росы, то ли от пропитанного влагой воздуха мгновенно стерла пыль с сапог. По странной ассоциации, глядя на них, Виктор подумал, что не хватает только удочки и банки с червями. А еще того по-детски счастливого состояния, когда уже заранее чувствуешь, как упрямый окунь натягивает лесу и по своей рыбьей глупости пытается бороться с превосходящим его во всех отношениях противником. Почему-то сейчас он ощущал себя, скорее окунем приближающимся к наживке...

Шли они уже около получаса, когда Андрей вдруг остановился.

— Странно, трава совершенно не примята, — сказал он, — если б тут протоптали шесть человек... Обернись. Это мы только вдвоем прошли.

Виктор оглянулся и увидел сломанные былинки и следы сапог, четко отпечатавшиеся на песке. А вперед уходила заросшая, давно не торенная дорога.

— Что бы это могло значить?

— Не знаю, — Виктор пожал плечами. Отсутствие следов конечно не соответствовало известным физическим законам, но он, как сейчас, видел перед собой молчаливые, идущие быстрым шагом фигуры и этого ему было вполне достаточно.

— А я знаю. Померещилось тебе все.

— Может быть, — покорно согласился Виктор. Какой смысл спорить, если все равно не сможешь объяснить, что же такое он видел?

— Следовательно, — продолжал Андрей, — все наши предположения, за исключением, разве что, грозы, ничего не стоят и радовались мы совершенно напрасно.

— Что это меняет? — спросил Виктор, — мы никуда не идем и остаемся здесь?

Он вдруг почувствовал, что страх перед ракетой улетучился окончательно. Его затмило нечто другое, несоизмеримое с творением человеческих рук. Но что именно?..

Если принять прописную истину, что ни привидений, ни всевозможных лесных див не существует, то задача вообще не имела решения. С другой стороны, эти странные субстанции просто прошли мимо, не причинив никому вреда. Значит, двое заблудившихся людей им неинтересны. Значит, у них свои цели и не стоит их бояться. Тем не менее, несмотря на всю логику, страх перед ними почему-то не исчезал.

— Здесь мы оставаться не будем, — сказал Андрей совершенно безапелляционно. Впрочем, Виктор и не собирался ему возражать, — но раз теперь нам не надо никого догонять, мы можем спокойно позавтракать, а то у меня скоро все поплывет перед глазами.

Стоило заговорить о еде, как Виктор тоже почувствовал голод. Наверное, он просто забыл о нем, занятый своими мыслями.

— Пошли за грибами, — Андрей достал из кармана вчерашнюю проволоку, — видишь, какой я запасливый? — он засмеялся, — даже шампур не забыл прихватить.

— Молодец, — а что еще мог ответить Виктор? Он-то даже не вспомнил об этом.

Ребята свернули с дороги и внимательно глядя под ноги, углубились в заросли. Сосновый лес еще вчера вечером плавно и почти незаметно сменился лиственным. Здесь росли совсем другие грибы, в основном, с волнистыми бледными шляпками. Они словно выставляли себя напоказ и это настораживало.

— Поганки не трогай, — предупредил Андрей, видя, как Виктор наклонился и протянул руку к грибу, — вон смотри, какие чудные подберезовики.

Виктор поднял голову. Впереди, всего в нескольких шагах поднималось над травой целое семейство стройных красавцев. Чуть дальше еще одно, точно такое же. Он уже наполнил фуражку до верха, но увлеченный «охотой» раздвинул ветки густого кустарника с мелкими круглыми листочками и остолбенел.

В поднимавшемся от земли утреннем тумане перед ним открылась небольшая поляна.

На ее противоположной стороне, не более, чем в двадцати шагах стояли «ночные прохожие». Они, видимо, не ждали появления Виктора и быстро, будто выполняя неслышную команду, построились и скрылись в лесу, мгновенно растворившись среди стволов. Правда, теперь Виктор четко разглядел на их головах каски. Причем, у одного из солдат в ней зияла рваная дыра от осколка. Одежда, которую он не разглядел ночью, оказалась старыми армейскими плащ-палатками. За плечом у каждого висел автомат.

Потрясение от встречи оказалось настолько сильным, что Виктор даже не успел испугаться. Он просто лишился возможности мыслить и чувствовать, а когда все-таки осознал реальность происходящего, бояться было уже нечего. Видение исчезло. Он сделал осторожный шаг назад и кусты перед ним сомкнулись. Ощутил свою влажную и липкую руку. Опустив голову увидел, что сжимает в кулаке раздавленный гриб. Вытер пальцы об одежду и вновь внимательно посмотрел на кусты. Ни один листочек ни шелохнулся. Солдаты, если они существовали в действительности, ушли.

— Ты скоро? Мы ж столько не съедим!.. — услышал он веселый голос Андрея.

Нашел в себе силы повернуться к кустам спиной и несколько раз быстро оглянувшись, словно пытаясь застать кого-то врасплох, побежал обратно к дороге.

— Что с тобой? — Андрей уже сложил костер и замер с поднятой зажигалкой, — ты бледный, как смерть.

Виктор молчал, не зная, как пересказать увиденное. Казалось, никакие слова не смогут истинно отразить эту пробитую каску и висящую на грязной перевязи руку другого солдата. Застывшие глаза Виктора, будто стеклянные бусины усталились на Андрея. Тот убрал зажигалку в карман и подошел, разглядывая напарника со всех сторон, как куклу в музее восковых фигур.

— Мы в «замри» играем, да? — спросил он с интересом.

— Я снова их видел, — звук собственного голоса вернул Виктора к жизни. Он аккуратно подал Андрею фуражку с грибами, — они стояли на краю поляны, а потом ушли в лес.

Андрей осмысливал эту информацию не меньше минуты, то сворачивая губы трубочкой, то растягивая их в странную улыбку. Может, он ждал продолжения рассказа, но не дождавшись, положил руку Виктору на плечо.

— Вить, по-моему это от голода. Галлюцинации. Сейчас поедим и все будет нормально.

— Нет, — Виктор покачал головой, — я их видел, как сейчас тебя. Это солдаты. В касках и плащ-палатках, с автоматами.

— Да?.. — впервые в голосе Андрея послышалось сомнение. Видимо, слова «полигон» и «солдаты» соединились в его сознании в нечто единое, — тогда я не понимаю, почему они ночью так пронеслись мимо нашего костра. Его нельзя было не увидеть.

— А может, у них спецзадание? Может, учения заключаются не только в пуске ракеты, но и в отражении нападения неприятельской разведгруппы, например? — Виктор почувствовал, что попытка мыслить, искать естественное объяснение снимает напряжение и на его место приходит усталость.

Он опустил на землю и чтоб скрыть дрожь в коленях, поджал ноги. Андрей развел костер, достал ножик с прилипшими к лезвию остатками вчерашних грибов и занялся привычным делом. Уже вращая над огнем первую порцию, он наконец вынес свое резюме:

— Неважно, кого они изображают, диверсантов или еще кого-нибудь, но это наши ребята, согласись. Значит надо каким-то образом связаться с ними, чтоб они помогли нам выбраться. До пуска четыре часа. По лесу больше десяти километров они вряд ли пройдут. Значит совсем недалеко стоит, если не сам дивизион, то есть какое-то укрытие, где мы и сможем их найти.

Виктор продолжал молчать, мысленно соглашаясь с логичностью доводов. Одного он только никак не мог объяснить даже самому себе, почему ему так не хочется близко встречаться с этими солдатами. Андрей безусловно прав — брести по дороге, которая плутает по полигону совершенно невообразимыми петлями, можно до бесконечности. Все они здесь вспомогательные и не ставят целью кратчайшее попадание из пункта А в пункт Б. Но если б Андрей видел эти странные фигуры, их лица, видел, как они практически растаяли в воздухе...

«...Нет, они не могли раствориться. Исчезают только призраки. Наверное, и правда у меня помутилось в глазах, то ли от голода, то ли от страха...»

— Вить, что ты молчишь?

Виктор резко повернул голову, очнувшись от своих мыслей и решил, что разумно объяснить так ничего и не сможет. Оставалось только согласиться с Андреем. На данном этапе предложенный им вариант являлся наиболее логичным.

— Я?.. Нет... Все нормально, — пробормотал он.

— Странный ты какой-то. Ешь, — Андрей снял на большой лист лопуха еще дымящиеся кусочки грибов, — мне кажется, что ты не хочешь, чтоб мы встретили этих людей. Почему?

— Не знаю.

— Нет, ты все-таки поясни, что тебя настораживает. Они похожи на дезертиров, на бандитов или беглых уголовников? Может, это шпионы и говорили они на иностранном языке?..

— Я не могу этого объяснить, но мне кажется, что они не люди... — Виктор прикрыл глаза, чтоб не видеть ответной реакции, но он услышал ее. Андрей громко расхохотался.

— Ну, брат, я понимаю, что у страха глаза велики, но не до такой же степени. Может, тебе вечером гриб попался галлюциногенный? Слушай, кстати это тоже возможный вариант...

Виктор вновь не ответил, и Андрей тоже замолчал. Какой смысл обсуждать то, чего не понимаешь, притом, что решение, вроде, уже принято? Оба занялись едой, ломая пальцами обугленную корку и жадно набирая рот несоленой безвкусной массой.

Внутри грибы были упругими и почти сырыми, но другой еды ребята все равно изобрести не могли. Земляничных полей больше не попадалось, лесные орехи еще не вызрели. Их вяжущая рот светло-зеленая сердцевина очень отдаленно напоминала твердые сытные ядра. К тому же сами кусты орешника попадались не так уж часто. Оставались, правда, черви и улитки, но поглощать их никто пока не решался.

Когда на лопухе осталось лишь несколько угольков, Андрей довольно вытер о траву черные руки и достал оставшиеся сигареты.

— Давай покурим по последней и пойдем.

— Я не буду, — ответил Виктор, вспомнив головокружение и слабость, возникшие вчера. Сегодня он хотел мыслить трезво и иметь четкую координацию движений. Кто знает, с чем им придется столкнуться в следующую минуту?

— Значит, мне больше достанется, — Андрей щелкнул зажигалкой и сладко затаился. — Вить, главное, не сдаваться. Как только мы раскиснем, все. Мы тут же и подохнем. Всегда надо биться до конца. Люди к Северному полюсу пешком шли, а у нас тут лето. Красотища какая... Зато если мы выйдем отсюда, значит мы можем все. Значит мы непобедимы, понимаешь?

— Понимаю.

Костер догорел сам собой, оставив лишь легкий дымок, поднимавшийся над кучкой пепла.

— Пойдем, посмотрим, куда направились твои новые друзья, — Андрей докурил и поднялся.

«Грибной маршрут» привел их к знакомым кустам. Они пересекли поляну и с удивлением обнаружили, что с того места, где стояли солдаты, в лес уходила еле приметная тропка. Не свежие следы группы людей, а именно тропка, по которой пусть довольно давно, но часто ходили люди. Это открытие подняло настроение обоим.

— А ты говоришь, привидения, — радостно воскликнул Андрей, — их просто не бывает, я сам в газете читал, — он неожиданно обнял Виктора с грубоватой лаской.

«Значит, я просто трус, — подумал тот, чувствуя на плече сильную уверенную руку, — я просто испугался, а остальное накрутило мое воображение. Хотя что-то в них все равно не так. Та же форма, автоматы, эти странные ранения... На фиг. Не рассмотрел я их толком, вот и все...»

Сделав над собой усилие, он улыбнулся. Освободился от объятий. Обдернул гимнастерку.

— Ну что, пошли?

— Пошли.

Теперь впереди шел Виктор. Вроде, он был ближе к тем солдатам и Андрей уступал ему право встретиться с ними первым.

Стало уже совсем светло, но все равно как-то нерадостно. Тучи сменились серыми облаками не пропускавшими в мир ни одного солнечного лучика. Они ползли друг за другом, как бесконечная транспортерная лента. Но когда ребята углубились в лес, пропало даже это неприветливое небо. Показалось, что вновь вернулся вчерашний вечер. Густые кроны создавали свое небо, темно-зеленое. Могучие стволы корявыми Атлантами держали его на своих вытянутых руках-сучьях. Стояла какая-то неживая тишина, лишь хруст случайно попадавших под ноги веток периодически подтверждал естественную реальность мира.

* * *

Слух, видимо, обострился, пытаюсь уловить знакомые звуки и, словно в награду, эхо наконец принесло издалека глухую дробь дятла. Работал он на совесть. Стук клюва был настолько частым и монотонным, что задавал ходьбе определенный ритм, несовместимый с выступавшими из земли корнями и извивами тропинки, огибавшей деревья. Иногда она совсем пропадала и только через несколько метров обнаруживалась вновь отброшенными в сторону сучьями и прелой прошлогодней листвой грубо втопанной в прошлогоднюю грязь.

Виктор остановился, прислонившись к дереву.

— Ты что? — спросил Андрей, догоняя его.

— Устал. Не привык я не спать по ночам и при этом совершать подобные марш-броски. К тому же от этих грибов сытости никакой, а в животе черте что делается.

— А как же на войне? Здесь хоть не стреляют.

Виктор посмотрел на часы.

— Это мы узнаем через пару часов, — сказал он совершенно спокойно. Вчерашние рассуждения о расставании с жизнью показались ему смешным фарсом. Собственно говоря, все мы когда-нибудь умрем. Какая разница, раньше это произойдет или позже? Если бы имелась возможность жить вечно, а мы, вот, лишаемся ее, тогда другое дело. И Ленка... Она тоже когда-нибудь умрет. Это все минутная блажь — любовь, слава, деньги, а в сущности-то не остается ничего...

Виктор усмехнулся собственным мыслям. Наверное, в критических ситуациях философия человека резко меняется, переходя на какой-то более высокий, неличностный уровень.

— Чего смеешься? — спросил Андрей подозрительно.

— Это я так, о бренности бытия.

— Знаешь, а я уже почему-то не верю, что они запустят ракету...

— Да фиг с ней, с ракетой. Она ж не ядерная, поэтому учитывая площадь полигона, вероятность попадания конкретно в нас, может чуть больше, чем попасть под машину. Разве не так? Это мы сами хотим, чтоб было страшно, а на самом деле...

Вдруг тишину пронзил крик, похожий, то ли на мартовский кошачий ор, то ли на истошный плач младенца. Также неожиданно он стих, продолжая звучать в сознании.

— Кто это? — Виктор вжался в ствол, словно стараясь навсегда срастись с ним.

— По-моему, птица, — ответил Андрей неуверенно.

— Какая, на хрен, птица? Какой-то нечеловеческий крик...

— Так он и есть нечеловеческий, а птичий. Кажется, это сойка. Она так противно кричит.

— Пойдем отсюда, — Виктор оттолкнулся спиной от дерева, — надо выбираться из этого чертова леса.

Дальше они пошли быстрее. Виктор даже как на плацу стал отсчитывать ритм. Ать, два!.. Ать, два!.. Это помогало. Заодно и мысли исчезли, оставив лишь картинку квадратной, поросшей травой площадки, по которой маршируют тридцать человек в солдатской форме, но без погон и знаков различия, а чуть в стороне стоит капитан Панасенко и зычно командует «Ать, два!.. Ать, два!..»

* * *

Едва позавтракав, Сашка сбежал. А чем можно заниматься в чужом доме, где даже нет нормальных игрушек? Угрюмый отец сидел на крыльце и курил. Мать с ним не разговаривала после вчерашнего и помогала тете Полине прибираться на кухне. Дядя Витя ушел «на минутку за лекарством», да так до сих пор и не вернулся. Сашка догадывался, какое «лекарство» он пошел искать. Скорее всего, нашел, да там и остался пробовать его, еще горячее, наполняющее комнату тяжелым сивушным духом. Куда ушла Катька, Сашка не знал, да это его и не интересовало. Она уж очень задирала нос, желая казаться взрослой, поэтому все равно б никогда не согласилась играть с ним в «дурацкие мальчишечьи игры».

Со вчерашнего дня жизнь изменилась, но и к ней в конце концов можно привыкнуть. Жаль только, что своего дома у них теперь практически не было. Вернее, он был. Неведомая сила не смогла или не захотела рушить стены и срывать крышу, но жить в нем сделалось невозможно.

Вчера отец даже вызывал милицию. «Как же без милиции, — сказал он, — если налицо факт злостного хулиганства? Пусть разберутся, кто это сделал. У них работа такая». Но участковый разбираться не стал. Покурил, составил протокол, но когда в него сами собой полетели сначала части мясорубки, а потом ножи с вилками, быстро убрался, обзавев проходящее «неизвестным разрушителем». Сашка запомнил это смешное словосочетание, потому что потом отец повторил его раз десять, пересыпая отборным матом. Ночевать в такой обстановке они не решились и ушли к тете Полине, сестре матери.

Из-за отсутствия места спать Сашку положили в одной комнате с Катькой. Вечером он притворился спящим и подглядывал, как та раздевалась. Видел ее крохотные сиськи. Жаль только, трусики она снимала уже напялив ночную рубашку. Будто знала... Тем не менее, это было самое веселое, что случилось за весь вечер. А до этого отец с дядей Витей долго пили водку и даже ночью собирались идти «гонять нечистую силу», но дядя Витя уснул прямо за столом. А мать с тетей Полиной в это время читали Библию, заучивая молитвы. Сашку они тоже заставили заниматься этим, и Катьку, хотя ей уже исполнилось четырнадцать. У нее в комнате даже стояла фотка незнакомого парня... а может, какого-то артиста.

Скучное и непонятное обучение закончилось резко, потому что ввалился отец. Когда мать заикнулась, что и ему неплохо бы к ним присое-

диниться, он просто съездил ей по уху. Тетя Полина пришла от этого в ужас, спрятала Библию и пошла раскладывать всех спать. Потом были Катькины сиськи. А потом пришли солдаты...

О них Сашка не мог рассказать никому, кроме Кольки, поэтому пробегая по улице, остановился напротив его дома. Через сломанные вчера ворота беспрепятственно вошел во двор. Понурый Рекс повернул голову и лениво вильнув хвостом, снова принялся что-то рассматривать в траве. Сашка осторожно поднялся на крыльцо, заглянул в дом. У самой двери стоял прислоненный к стене сколоченный из досок ящик. По прибитым сверху в виде креста планкам Сашка догадался, что это крышка маленького самодельного гробика. На кухне гремела посуда, шипела плита, слышались женские голоса, а по дому разносилась смесь разных вкусных запахов. Войти он не отважился, но словно почувствовав его присутствие, Колька сам высунулся из двери.

— Ты чо?

Сашка молча поманил его рукой.

— Ма, я во двор выйду!

— Иди, сынок, — донеслось из кухни, — только не уходи далеко. Может, отцу надо будет отнести что-нибудь.

Наверное, сегодня Колька еще не выходил из дому, потому что первым делом огляделся. Унеся неизвестно куда огромную массу запасенной воды, гроза, явившаяся вчера веской причиной, чтоб не ходить в лес, миновала. Ее даже не было слышно, зато по небу нескончаемым потоком плыли серые печальные облака. Иногда они напоззали друг на друга и в этих местах образовывались темные, почти черные фигуры. Ветер тоже стих. Будто природа затаилась в преддверии какого-то таинства.

Сашке конечно хотелось в первую очередь поделиться своими новостями, но видя осунувшееся лицо друга и его красные глаза, счел нужным сначала спросить:

— Ты как?

— Нормально, — Колька пожал плечами. Видимо, в детском сознании чувство утраты, как впрочем и остальные чувства, не приживаются надолго. Это потом, по прошествии многих лет оказывается, что детские впечатления отложились не только во всех подробностях, но и нанесли свой отпечаток на всю последующую жизнь.

— Родители тебе ничего?.. В смысле, ругали не сильно? — спросил Сашка наивно, словно речь шла о поломке дорогой игрушки.

Колька посмотрел на него с удивлением. Наверное, за эту ночь он стал взрослее и игры стали у него совсем другими. Но как объяснить не испытывшему этого человеку, что за *такое* не ругают. За такое, либо убивают сразу, либо так же сразу и абсолютно прощают, чтоб потом вместе бороться с болью утраты и строить новую, мгновенно изменившуюся жизнь.

Внимательно посмотрев на Сашку, он не стал отвечать на дурацкий вопрос. К тому же у него была гораздо более важная информация, которой стоило поделиться. Для этого Колька спустился с крыльца, чтоб мать ненароком ничего не услышала и присел на столб поваленных ворот.

— Они сегодня ночью приходили ко мне, — сказал он.

— Кто? — спросил Сашка с глупой надеждой, что Колька ответит «Кощей с Бабой Ягой» или «страсти-мордасти».

— Солдаты. Их было шестеро. Они стояли посреди комнаты и смотрели на меня. Все грязные, перебинтованные, а у одного прямо в голове

дырка. Они сказали, что скоро я тоже умру, а потом ты. Через день от меня. Только произойдет это не сегодня и не завтра.

— Врешь! — Сашка схватил его за руку, — слышь, ты все врешь! — глаза его наполнились ужасом, — они ко мне тоже приходили, но ничего не сказали. Они просто посмотрели на меня и молча ушли. Я тоже видел дырку в его голове, но они ничего не говорили, слышишь?!.. Это тебе приснилось!!.. Ты просто обос... ся со страха, да?!..

— Маленький ты еще и ничего не понимаешь, — Колька усмехнулся, — какой мне смысл пугать тебя?

— Это я маленький?! — взвился Сашка, — я всего на полтора года тебя младше!..

Колька подумал, что дело вовсе не в годах. Еще вчера они совсем не отличались друг от друга. Если б Аленка каким-то чудом осталась жива, то и сейчас бы они, наверно, также гоняли по деревне с ржавым пистолетом, весело крича: «Бах! Бах!» и падали понарошку замертво в густую траву. Он молчал, понимая, что вряд ли удастся вернуть это время и умирать понарошку также глупо, как и жить понарошку...

— Коль, но ведь мы не умрем, правда? — спросил Сашка жалобно. Видимо то, что друг не спорил, не доказывал своей правоты, а равнодушно сидел, глядя под ноги, подразумевало, что он ничего не придумал. Все произойдет само собой вне зависимости от их желания, поэтому и обсуждать это не имеет смысла.

— Не знаю, Сашок, — сказал он, не поднимая головы, — но мы должны что-то сделать.

— Идти в лес, да?!.. — при одной этой мысли у Сашки все внутри опустилось, а душа, вообще, скатилась пятки, — если они тут такое творят, то, что с нами там сделают?!..

— Не знаю. Но я все равно пойду. Аленку похоронят... — он глубоко и прерывисто вздохнул, но ни одной слезинки не выкатилось из глаз, — а потом все сядут поминать. Тогда и можно улизнуть.

— Может, не надо?.. — захныкал Сашка, — может, все само образуется?

— Еще они обещали, что потом умрет папка, а за ним мамка, — неожиданно сказал Колька.

— И мои тоже?! — Сашка выпучил глаза.

— Про твоих они ничего не говорили. Наверное, потом скажут.

— Это все ты со своим черепом, — Сашка заревел в голос, не стесняясь больше казаться маленьким и слабым, — а я не виноват, я только пистоль взял поиграть... Что им жалко? Он все равно ржавый и не стреляет...

— ... Коль, иди, помоги мне! — раздалось из дома.

— Сейчас!.. Приходи часа в три, — сказал он строго, поворачиваясь к Сашке, — все уже будут за столом и никто ничего не заметит, понял?

Сашка кивнул, размазывая по щекам слезы. Ступая грузно, как большой человек, Колька поднялся на крыльцо. Оно даже чуть скрипнуло, такими неестественно тяжелыми казались его шаги. Виляя хвостом, подошел Рекс. Словно пытаясь утешить, он лизнул Сашку в лицо, но тот отвел дышащую жаром и воняющую тухлятиной собачью морду.

— Уйди, Рекс. Тебе хорошо... — он вдруг представил деревянный ящик с крестом и заревел еще громче.

— Кто это там плачет? — спросила мать, когда Колька появился на кухне.

— Сашка. Тоже Аленку жалеет...
— У них самих-то, слышал, что вчера творилось? Весь дом разнесло. Видать, и Аленку нашу прибрала та же бесовщина. Не иначе, конец света скоро, — она прижала к себе сына, словно ища в нем опору и спасение.

* * *

Постепенно лес стал редеть. Почва сделалась более влажной. Появилась трава. Сначала редкими пучками, похожими на кочки, потом они стали образовывать целые зеленые островки и, наконец, с правой стороны открылась подернутая ряской заводь, очень похожая на болото. Тропинка бежала совсем близко от берега, и в некоторых местах на ней даже стояли лужи, начавшие зарастать остролистой травой. Отдельные деревья, стоявшие в воде, наклонились так низко, что Виктору приходилось пригибаться и отводить рукой ветки. Сапоги противно чавкали, взметая грязные брызги.

«Ать, два!.. Ать, два!..»

Он споткнулся и упал на колено. Уперся в ногу руками, перевел дыхание. Хорошо бы сейчас поесть, выпить пива и уснуть прямо здесь, поднявшись на склон неглубокой балки, там посуше. Несколько таких балок выходило практически к самому берегу и напоминали они старые заброшенные окопы. А может, это и были окопы, оставшиеся с прошлой войны.

Подхватив Виктора под мышки, Андрей поставил его на ноги.

— Ты что, совсем обессилил?

— Нет еще. Не волнуйся, я дойду. Только давай посидим, отдохнем немного.

— Давай.

Они сошли с тропы и поднявшись на бугорок, уселись под деревом. От земли тянуло сыростью и прохладой, но это не имело никакого значения. Не успевшие за два прошедших месяца сродниться с сапогами ноги гудели и не хотели идти дальше.

Совсем рядом проснулась кукушка, отсчитывая, то ли годы, то ли минуты, оставшиеся им в этой жизни. А над заводью роились комары. Их черный клубок будто перетекал с одного места на другое, но были они какие-то мирные, занятые своими внутренними делами и не обращали внимания на сидящую поблизости пищу. В заволаживающих своим покоем просветах темной гладкой воды сновали такие огромные водомерки, что их удлинённые тельца хорошо просматривались с берега.

Удивительный покой вновь возвращал к мысли, что все-таки жизнь прекрасна и уходить из нее желательно, как можно позже. Виктор с удовольствием поговорил бы о Лене, о ее искрящихся глазах и нежных руках, но зная Андрея, молчал и лишь улыбался своим воспоминаниям. Он не видел, как Андрей сидит сутулившись и внимательно смотрит на часы.

— Осталось двадцать минут, — наконец сказал он, — давай подождем здесь. Здесь так спокойно и красиво, как там, наверное...

Виктор повернул голову и огляделся.

«Действительно, красиво... Скорее бы прошли эти минуты, чтоб либо остаться *здесь*, либо окончательно перебраться *туда*...»

Он остановил взгляд на комарином рое. Счастливые... Наверное, мысли утряслись, оставив на поверхности лишь простой, но неизбежный вывод: «чему быть, того не миновать...»

В идиллический покой ворвался нарастающий свист, становившийся все тоньше, подбираясь, наверное, к границе ультразвука. Оба резко вскинули головы, но в сером небе ничего не изменилось. Хотя... Вот она... Блестящий, похожий на коробочку от сигары предмет поднялся над лесом и через семь секунд, как и положено по баллистическому расчету, распался на десяток отдельных частей, устремившихся в разные стороны. Оставшаяся «недокурная сигара» клюнула носом и повернула к земле. Вслед за этим раздался взрыв, докатившийся до них гулким эхом. Вода в заводи вздрогнула, всколыхнувшись мелкой рябью. Заметались не привыкшие к «штормам» водомерки. Комары поднялись к вершине небольшого деревца, да невидимая птица сорвалась с места, хлопая крыльями.

— Вот и все, — Андрей засмеялся и от избытка эмоций принялся кататься и колотить по земле, словно пытаясь достучаться до кого-то.

Виктор прикрыл глаза. Безумного восторга почему-то не возникало. Все произошло так, как и должно было произойти. Они не могли умереть так по-дурацки. Он предчувствовал это, только боялся озвучить, чтоб не спугнуть судьбу.

— Теперь можно спокойно двигаться дальше, — чумазый, перепачканный травяными пятнами Андрей наконец прекратил свои буйства и поднял голову, — все идет по плану. Даже пуск мы видели гораздо лучше, чем с позиции. Там что? Ушла с направляющих и скрылась. Осталась только обгоревшая установка. А тут... Все, как на ладони.

Он встал, тщетно пытаясь отряхнуться.

— Слушай, на кого мы похожи?.. От нас люди шарахаться будут.

— Этих людей еще найти надо, — заметил Виктор.

— Теперь точно найдем. Теперь-то куда они денутся? Не сегодня, так завтра. Пошли?

Виктор нехотя поднялся, подумав, что если полежать еще хотя бы полчаса, то ему вообще никуда не захочется идти, а расслабляться нельзя. Самое страшное таится в нас самих, в наших слабостях и желаниях, а не в каких-то летающих по небу железяках.

— *Stehen auf und los... Los!* — скомандовал Андрей.

Виктор улыбнулся. Жизнь вернулась в нормальную колею. Даже солдаты больше не донимали его. Наверное, когда дни и ночи соединяются в единую бессонную вечность, действительность смешивается со снами и фантазиями усталого сознания, являя некую ирреальность. Вычленив из нее рациональное зерно уже просто невозможно...

Заводь окончательно превратившаяся в болото постепенно начала зарастать обычной луговой травой, тянувшейся к свету сквозь клочья высушенной ряски и сухие перья осоки. А еще через полкилометра появились ярко зеленые сосенки. Совсем маленькие, не больше метра, но такие пушистые и пахучие... Между ними вспыхивали крошечные белые звездочки неизвестных цветов на паутинках стебельков. Несмотря на суровое небо, это был уже совсем другой радостный пейзаж.

Если б не голод, усталость, желание спать и натертые ноги, идти было бы даже приятно. Все внешние угрозы, результаты борьбы с которыми зависели только от везения, миновали. Теперь оставалось всего лишь упорно идти и идти вперед. Однако тропика снова старалась увести в лес. Андрей с сожалением посмотрел на дальний горизонт. С ним так не хотелось расставаться.

— Кажется, чем шире поле обзора, тем быстрее все это должно закончиться, — сказал он, — почему так?

— Наверное, потому что подсознательно мы ищем человеческое жилище на равнине, а не в лесу.

— Возможно. Ну что, опять заглубляемся?

Не зная не только дороги, но даже нужного направления, Виктору было совершенно все равно, куда идти. С таким же успехом они могли продолжать двигаться и по старой дороге. Чем эта тропа лучше? Тем, что по ней прошли некие существа, напоминающие людей?..

Мысль о «неких существах» понравилась ему гораздо больше, чем наивная гипотеза, относительно призраков. Конечно, как же он сразу не догадался?! Это инопланетяне, маскирующиеся под землян и поэтому принявшие облик солдат. Кого еще они могли увидеть на полигоне? Правда, перевоплощение прошло у них не совсем удачно. А если это действительно так...

— Знаешь, куда мы сейчас придем? — спросил он весело. Все вселявшие ужас вчерашние впечатления вдруг сделались не просто объяснимыми, но и достаточно правдоподобными (конечно, с точки зрения науки уфологии).

— Куда? — Андрей повернул голову.

— К летающей тарелке.

Сначала он скептически хмыкнул. Потом, видимо, мысленно пробежав ту же логическую цепочку, снял фуражку и задумчиво почесал затылок.

— Возможно. Если принять в качестве гипотезы само существование инопланетян, — сказал наконец Андрей.

— У тебя есть другая гипотеза? Я почему-то уверен, что те, кого мы встретили, все-таки не люди.

— Гипотезы у меня нет и по большому счету я не хочу ее придумывать. Я просто хочу обратно в лагерь, вот и все. Пошли. К «тарелке», значит, к «тарелке».

Лес поглотил их почти мгновенно. Уже через несколько минут от широкого «соснового поля» не осталось следа и даже если оглянуться, сразу же за спиной пространство замыкалось привычной зеленой стеной. Идти стало скучно, но поскольку страх больше не давил на психику, обрадованное сознание во всех красках рисовало сцены возвращения. Причем, не в лагерь, где их вряд ли ждало что-нибудь, кроме нескольких нарядов вне очереди, а домой в Воронеж. До него и остался-то всего месяц...

Перед Виктором на фоне бесконечных деревьев вновь замаячила стройная девичья фигурка. Казалось, он даже слышал смех и отдельные неясные слова, произносимые очень ласковым голосом. Он настойчиво убеждал себя, что это вовсе не галлюцинации, а прекрасный плод воображения, поэтому периодически вскидывал голову, широко распахивал глаза, изучая абсолютно не меняющийся пейзаж. Тогда голос пропадал, сменяясь далекими криками птиц. Конечно, это воображение, раз он способен управлять им... Снова опускал глаза на тропу и шел дальше, отдаваясь тут же возвращающемуся ласковому голосу.

Андрей снова шел вторым и ему даже не требовалось высматривать тропинку. Голова освободилась от ответственности и он пытался заполнить ее, как собственно, и всю свою жизнь, какой-нибудь ерундой. Он стал думать о том, чем будет заниматься после получения диплома. Может,

пойти к брату в уже состоявшуюся солидную фирму, которая и финансировала его учебу? Но братец мужик требовательный и правильный. Руководящую должность сразу не даст, а заставит пахать, начиная с самых низов, да и зарплату положит, как остальным. Конечно со временем можно дорасти до кого-нибудь важного, но зачем ждать так долго, если можно, например, открыть собственный бизнес и начать загребать деньги сразу? Вот только, какой бизнес?

Получаемых от брата «карманных» денег хватало и на оплату мобильного телефона, и на ночные клубы, и даже на то, чтоб иногда занимать друзьям, поэтому на глобальные проблемы почему-то всегда не оставалось ни времени, ни желания. Зато сейчас этого времени столько! Кто знает, может им придется идти еще целые сутки... Он начал перебирать все известные варианты от заведомо нереального создания собственной нефтяной компании до торговой точки на Центральном рынке...

Виктор остановился, озираясь по сторонам. Андрей сначала решил, что он опять ищет место для привала, но подойдя ближе увидел котлован похожий на огромную старую воронку. Он вырвал из земли десятки, а может и сотни кубометров грунта, съев и без того неприметную тропу. Склоны котлована уже поросли кустарником и мелкими кривыми березками, однако по краям кое-где продолжали чернеть полусгнившие остатки обгоревших стволов. После пуска ракеты это зрелище больше не вызывало ужаса. Вот если б они набрели на воронку вчера, наверное, шок был бы у обоих. Сейчас же Андрей весело сказал:

— Оказывается и сюда долетали наши ласточки, — с интересом заглянул вниз, — глубоко. Ну что, полезли?

— Честно говоря, чтоб лазить по горам, сил у меня уже мало осталось. Такая слабость во всем теле, аж ноги дрожат. Может, проще обойти? — предложил Виктор.

— Рафинированный ты мой, — Андрей покровительственно похлопал его по плечу, — сразу видно, спортом никогда не занимался. А у меня между прочим, был первый разряд по гимнастике. Я могу еще столько же пройти.

— Может и пройдешь, — согласился Виктор. Во-первых, в нем продолжал жить вечный стереотип, что количество мышц всегда обратно пропорционально количеству мозгов, а во-вторых, он ведь жил своей жизнью, к которой чувствовал себя достаточно приспособленным и не собирался ни с кем соревноваться, а тем более, ничего менять.

— Ладно, — Андрей еще раз оглядел окрестности, хотя кроме беспорядочно растущих деревьев и ярких кустов папоротника, сменивших чахлую траву, вокруг все равно ничего не просматривалось, — пойдём в обход.

Они свернули в сторону, с хрустом ломая попадавшие под ноги мелкие сучья. Лес затягивал, замыкая пространство и отрезая пути к отступлению. Хотя чуть правее он делался реже... А еще подальше, вроде, даже вновь обнаруживается тропа... Что это там впереди?.. Нет, опять показалось...

Через полчаса они поняли, что не только не нашли тропу, но потеряли из вида и саму воронку. Вокруг стоял девственный лес и только старые окопы, превратившиеся в поросшие травой лоцины, слегка горбатили ландшафт.

— Пришли, — сказал Андрей мрачно, — без какой — никакой, пусть самой хреновой дороги здесь можно блудить до второго пришествия.

— Вернемся обратно?

— Давай попробуем.

Однако попытка успеха не принесла. Ничего знакомого в пейзаже так и не появилось. Виктор молча опустил на поваленный трухлявый ствол.

— И что дальше? — спросил он, поднимая на Андрея усталые глаза.

— Пока не знаю, — он присел рядом, — курить будешь? Последняя. Давай напополам.

Сигарета вновь вызвала расслабленность и определенную эйфорию.

— Ни фига это ни инопланетяне, — сказал неожиданно Андрей, вспоминая недавний разговор.

— Почему?

— Потому что инопланетяне... ну, насколько я читал в книжках... всегда приходят на помощь в трудную минуту. Либо если они плохие, увозят на свой корабль для опытов, но в любом случае не бросают на произвол судьбы.

— А может, это инопланетяне — садисты? — Виктор слабо улыбнулся.

Наверное, у каждого из них уже оформилась мысль, что лес не всегда заключен между Задонским шоссе, аэропортом и деревней Подгорное, как в окрестностях родного Воронежа, а иногда простирается на сотни километров. Чтоб выбраться из него могут потребоваться не часы или дни, а годы. Раньше казалось, что непроходимые джунгли только в Африке и еще где-то на острове Ява. В них до сих пор бродят японские солдаты, не знающие, что Вторая мировая война давно закончилась. Стоп!.. Эта идея приглянулась Виктору уже тем, что в ней не фигурировали никакие необъяснимые силы и явления. О подобных фактах даже однажды писали в газете.

— Андрюх, слушай, — он затаился в очередной раз и не глядя протянул оставшийся совсем короткий «бычок», — а если те солдаты...

— Да оставь ты их в покое! — перебил Андрей раздраженно, — нам надо думать, как выбраться отсюда, а про ночные кошмары будем рассказывать дома, когда вернемся.

— А я не знаю, как нам выбраться отсюда. Должен же я о чем-то думать, тебе это понятно?

Андрей почувствовал, что для разрядки ситуации должен, либо предложить что-то конкретное (но в голову тоже ничего не приходило), либо просто поднять настроение, иначе действительно, останется лишь сидеть и дожидаться смерти.

Мысль возникла совершенно ниоткуда. Он даже не успел понять, хорошая ли это мысль, но тихонько, словно стесняясь, Андрей запел:

— Там вдали за рекой загорались огни...

— А нельзя что-нибудь повеселее? — оборвал Виктор, — а то знаешь «...капли крови густой из груди молодой...» Навевает.

Андрей решил, что хоть и ошибся с репертуаром, но движется в правильном направлении. Нужен марш, от которого ногам самим захотелось маршировать бодро и уверенно, но «Прощание славянки» (единственное известное ему отечественное произведение в данном жанре) почему-то не вызывало этого желания. Оно скорее ассоциировалось с разлукой, с уходящим эшеломом и окопами, где безвестные бойцы, погибая, совершают свой великий подвиг. Мелодия должна быть браваурной и совершенно «безбашенной»...

Deutschen Soldaten und der Offizieren
Mit russischen Madchen... куда-то там spazieren...
Хайдарунг, хайдарунг... да шим барассе,
Бум барассе, бум барассе, бум...

Он победно посмотрел на Виктора, готовый в случае нужного эффекта повторить куплет заново и вдруг боковым зрением всего в нескольких шагах увидел человека в длинном плаще. Еще через секунду разглядел остальных пятерых, хотя их силуэты практически сливались с деревьями. Андрей удивленно раскрыл рот. Мотнул головой, пытаясь прогнать наваждение, но вместо этого услышал голос, хриплый, лишь отдаленно напоминавший человеческий:

— Гитлер капут. Ганс, сдавайся. Хэнде хох!

Казалось, голос исходил из недр земли. Даже почва под ногами всколыхнулась. Виктор растерянно поднял голову и тут же, чтоб не упасть, схватился руками за бревно.

— Опять они... — прошептал он еле слышно.

— Просто мы сходим с ума, — также тихо ответил Андрей.

— Ганс, хэнде хох, — повторил голос и солдат вскинул автомат.

— Брось, Лешка, — ни тембр, ни интонации не менялись, поэтому казалось, что тот же голос разговаривал сам с собой, — не забывай, *кто* мы...

Солдат повел плечами, словно пытаясь сбросить плащ-палатку. От этого движения одно из деревьев вздрогнуло, затрещало и рухнуло едва не придавив Андрея. Он вскочил, уклоняясь от рушившихся сучьев.

— Бежим!!.. — схватил за руку остолебеневшего Виктора и потащил за собой. Следующее дерево упало точно на то место, где они оба только что сидели.

По непонятной причине солдаты не преследовали беглецов, только за их спиной слышался шелест листьев и гулкий треск стволов. Что там происходило в действительности ни Андрей, ни Виктор не видели, потому что неслись зажмурив глаза от хлеставших по лицу веток, не осознавая, куда они бегут, зачем и можно ли вообще убежать от *всего этого*. Откуда вдруг появились силы, никто из них не знал, но страх и преддверие смерти открывают в людях такие возможности, на которые не способен и самый тренированный организм, даже накачанный допингом.

Но у любых возможностей существует предел. Виктор все-таки споткнулся и упал, вытянувшись в полный рост. Ноги пронесли Андрея еще несколько шагов, но потом он нашел в себе мужество остановиться. Открыв глаза, обернулся. Напрягся, готовый в любой момент отпрыгнуть в сторону, но, похоже, охота на них временно прекратилась. Виктор неловко копошился в кустах, безуспешно пытаясь встать. Опираясь на руки, он елозил коленями по земле, но ничего не получалось. Даже голова, словно приклеенная клонилась вниз и лишь методично вздрагивала. Глядя на него и ощущая минутную, а может, даже секундную передышку Андрей тоже почувствовал, насколько устал. Он опустил на колени, прекрасно понимая, что больше подняться не сможет. Не опустил руку, а скорее, оперся о плечо Виктора.

— Лежи, — выдавил он хрипло, — надо отлежаться. Может, они потеряют нас.

Виктор будто только и ждал этой команды. Он затих. Голова его повернулась набок, открывая огромную царапину, пересекавшую щеку.

Андрей плюхнулся рядом, зарывшись лицом в траву. Прохладная земля освежала лоб, но ему почему-то чудился запах могильной сырости. Перед глазами вспыхивали и гасли разноцветные зарницы, а в ушах стоял страшный, сотрясающий землю и вырывающий с корнем деревья, глас. Андрей не знал, чудится ему это или происходит на самом деле, но бороться, сил все равно уже не хватало...

Сколько они пребывали в таком беспомощном состоянии, неизвестно. Серое небо, к тому же скрытое кронами деревьев, не позволяло ориентироваться во времени. Но никто о нем и не думал. Главное, что жизнь постепенно начала возвращаться. Может быть, она дала о себе знать муравьем, укусившим Андрея в щеку, а может, травинкой щекотавшей нос, но он открыл глаза.

Мгновенно вспомнились последние события. В испуге он перевернулся на спину. Замершие листья над головой и тишина... Одна из веток чуть шелохнулась, потом другая... Среди листвы метнулась рыжая белка с облезлым хвостом. Андрей вздохнул полной грудью. Почувствовал, как ноют мышцы. Потом засвербело в носу. Сырая земля оказывала свое действие. Он громко чихнул и снова ничего не произошло. Лес не содрогнулся и не обрушился на них всей своей мощью. Не глядя потянул руку. Нащупал голову Виктора. Взъерошил ему волосы и ощутил под рукой легкое движение. Значит, он тоже пришел в себя.

— Ты жив? — спросил Андрей на всякий случай.

— Кажется, да. И что это было?

— Не знаю. Может, галлюцинации такими и бывают? Ведь чтобы люди боялись всяких чертей, они должны быть почти реальны, да?..

— Почти? — Виктор усмехнулся, — ты считаешь, то что мы видели, это «почти»?

— А вдруг никаких поваленных деревьев там нет и мы просто так, сдуру и со страха летели, сломя голову?..

— Я проверять не пойду, — заметил Виктор.

— Я тоже. Чем черт не шутит?.. — Андрей с трудом поднялся на колени, — интересно, где мы находимся? — спросил он у самого себя.

— Там же, где и находились. В лесу, — ответил Виктор, не открывая глаз.

И тут Андрей схватил его за руку так, что Виктор вскрикнул.

— Смотри, — прошептал Андрей, — люди...

— Где? — Виктор быстро повернулся на бок и поднял голову.

Всего в нескольких сотнях метров лес заканчивался. За нешироким, заросшим бурьяном полем начиналось небольшое кладбище с торчавшими из земли почерневшими крестами. Отсутствие оградок создавало впечатление, что натыканы они в полном беспорядке и от этого крестов казалось гораздо больше, чем было на самом деле. Со стороны деревни, проступавшей квадратами шиферных крыш среди яблоневых садов, медленно двигалась процессия. Впереди несли совсем крохотный ящик, вовсе не похожий на гроб, но тем не менее, люди шедшие за ним рыдали и их голоса отчетливо доносились до леса.

— Теперь и я понимаю, что мы сошли с ума, — мрачно заключил Виктор.

Андрей обескуражено посмотрел на него. Несмотря на то, что он сам так часто бравировал понятием «сумасшествие», соглашаться с этим ему, видимо, не хотелось.

— Как зовут начальника наших сборов? — подозрительно спросил он.
— Подполковник Стрыгин.
— А как звучит теорема Пифагора?
— Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.
— А что такое тогда «Пифагоровы штаны во все стороны равны»?
— Это то же самое, — Виктор отвечал абсолютно бесстрастно, но определенной логика, присутствовавшая в вопросах и ответах все же вселила и в него надежду.

— Андрюх, что происходит вокруг? — спросил он.

— Вот на этот вопрос я не могу ответить, но согласись, все-таки мы не совсем психи.

— Может, все остальные сошли с ума? Пока мы блудили по лесу, американцы сбросили какую-нибудь психотропную гадость...

— Витя, — произнес Андрей особенно ласково, — не говори глупости, и без тебя тошно.

— Тогда объясни мне, что происходит.

— Не знаю я!.. — Андрей сжал ладонями виски, а может, просто закрыл уши, чтоб не слышать больше вопросов, не имеющих ответа, — но призраков не бывает, инопланетян тоже, а с НАТО мы теперь друзья навеки...

Процессия остановилась. Странный ящик опустили в подготовленную яму. Потом под непрекращающийся плач и стоны ее засыпали землей, водрузив деревянный крест. Женщины клали на могилу букетики цветов и отходили, спрятав лица. Мужчины стояли в стороне, опершись о лопаты.

— Смотри, — сказал Андрей, — все нормально, все по-христиански. Может, просто это гробик ребенка?

— Странный какой-то гробик...

— А откуда в этой дыре деньги, что обшивать его бархатом? Мы вышли, слышь, Витек! Это люди, обыкновенные люди!..

— Да?.. Давай все-таки подождем. Пусть они уйдут. Мы пройдемся по кладбищу, посмотрим, что написано на крестах, а потом решим, настоящие они или нет.

— Ладно, — согласился Андрей, — пить хочешь?

— У нас разве осталось?

— Чуть-чуть, — он отстегнул от пояса фляжку, — фуражки мы потеряли, форма вся... — он сунул сразу три пальца в дыру на гимнастерке.

— Форма... Ты на рожу свою посмотри, — беззлобно ответил Виктор, устраиваясь так, чтоб было удобнее наблюдать за кладбищем.

— Твоя не лучше.

— Знаю. Вся щека саднит. Царапина, наверное.

— Царапина, не то слово. Боевой шрам, — он улыбнулся.

Церемония прощания закончилась. Никто не произнес речей, славящих земные деяния и душевные качества усопшего. Видимо, он еще не успел совершить ничего примечательного. Молчаливой гурьбой люди двинулись обратно и исчезли за поворотом дороги. Среди засеянного крестами поля остались лишь двое — мужчина и женщина. Женщина рыдала, опустившись на колени, а мужчина стоял рядом, прижимаясь бедром к ее плечу и скорбно склонив голову. Потом он помог женщине подняться и они побрели к деревне, поддерживая друг друга.

Кладбище опустело, лишь воробьи, весело чирикавая и резко меняя

курсы, носились среди крестов. Каждый старался единолично занять удобную жердочку и при появлении конкурента тут же срывался с места, перелетая дальше. Благо крестов тут было не меньше сотни. На фоне шумных воробьиных «разборок» из деревни слышались звонкие голоса невидимых петухов, да корова изредка вставляла свое веское слово.

Какое удовольствие после чужих и непонятных звуков леса слушать эту естественную симфонию нехитрого человеческого быта, зная, что это не мираж и не подлая игра больного воображения, а реальность, до которой осталось пройти всего несколько сотен шагов. Натянутые до предела нервы вмиг расслабились, перестав держать организм в напряжении. От этого казалось, что тело расплылось, как подтаявшее желе и вообще потеряло способность двигаться. Осталось одно желание — лежать на земле, наблюдая самую прекрасную в мире картину, гораздо более впечатляющую, чем любимый народом фейерверк, устраиваемый на площади в день города.

Однако через десять минут блаженного созерцания оказалось, что пустой желудок продолжает тупо ныть, исцарапанное лицо и руки противно пощипывают, а пальцы ног, стиснутые сапогами, затекли. К тому же свежие мозоли, о которых в движении почти забываешь, теперь отдавались резкой болью при каждом неловком повороте ноги. Чтоб вновь почувствовать себя полноценным человеком, а не изгоем цивилизации, от всех этих малоприятных ощущений хотелось избавиться немедленно.

— Пойдем, что ли? — спросил Андрей.

— Пойдем, — ответил Виктор, не двигаясь с места. В его воображении возникли ровные ряды палаток, плац, «грибки» часовых и настоящие офицеры со звездами на погонах. Подумалось, что несмотря на все невзгоды, на свободе не так уж плохо и жалеть собственно не о чем. Если только о том, что приключение уже заканчивается...

Собрав волю в кулак, он все-таки поднялся, решив, что напоминает Железного Дровосека, простоявшего под дождем несколько суток.

Пробираясь сквозь бурьян отделявший кладбище от леса, оба чувствовали себя контрабандистами, переходившими КСП. За спиной остался мир животных инстинктов и безумной игры воображения, мир неизученного и непонятного. Он уже никогда больше не сможет вторгнуться в размеренную жизнь, построенную на жестком распорядке и командах, не допускавших никакого проявления собственной воли. Хотя можно и позволить этим прямолинейным «золотопогонным» людям еще чуть-чуть покомандовать собой. Главное, что они теперь знают себе цену...

«Контрольно-следовая полоса» закончилась. Андрей обошел вокруг первого, самого крайнего креста, но не смог обнаружить на нем никакой информации. Тот оказался слишком старым и облезлым. Даже краска, покрывавшая его изначально, смылась многолетними дождями. Виктор шел чуть левее, тщетно вглядываясь в такие же безликие символы смерти давно позабытых людей. Видимо, кладбище начиналось от леса и двигалось к деревне, намереваясь, в конце концов, поглотить ее всю.

Жутковатое чувство безвестности, когда ты будто бы и не присутствовал на этой земле, наводило тоску. Сразу становилось неважно, чем ты занимаешься и какие бури эмоций клокочат в тебе. Тебя просто нет и никому даже не интересно знать, что ты когда-то существовал. Будучи живым, преисполненным сил и желаний, ужасно приходится к осознанию этого.

Хотя подобные мысли для Виктора уже не являлись откровением. Они посещали его и вчера за несколько часов до пуска, являясь некоей философской абстракцией, своего рода защитной реакцией на возможное уничтожение, а сейчас он видел конкретную иллюстрацию, как все происходит в действительности. От этого становилось жаль не только себя, но и весь огромный мир, который кто-то создал и перестраивает только затем, чтоб потом исчезнуть из него, не оставив даже имени.

К счастью, дальше могилы стали более ухоженными. Кое-где даже виднелись завядшие и вбитые в землю дождевыми каплями букетики цветов. (Венки здесь не использовали, так же как не было и привычных гранитных памятников). Фамилии, читаемые на крестах ни Андрею, ни Виктору ни о чем не говорили и они перестали обращать на них внимание. Достаточно того, что они существуют, как факт.

К последней могиле оба подошли одновременно. На свежеструганном, еще приятно пахнущем смолой кресте двумя гвоздиками была прибита картонная бирка с чернильной надписью. От дождя ее закрывал аккуратно подвернутый обычный полиэтиленовый пакет. Андрей осторожно разгладил пленку и прочитал «Самохина Аленка. 12. 05. 99 — 8. 08. 02».

— Вот и пожила. Три года. Зачем все это?.. — сказал Виктор, озвучивая свои новые, появившиеся в последние дни представления о жизни и смерти.

Андрей вздохнул, почесал затылок, не зная, что ответить и молча пошел дальше. Оглянувшись. Видя, что Виктор продолжает стоять у могилы, сказал негромко:

— Пошли. Ну, что теперь делать? Не забивай себе голову. Понимаешь, я где-то читал, что если постоянно думать о смерти, то и жить будет некогда.

— Наверное... хотя все равно непонятно...

Виктор догнал Андрея, и они зашагали к деревне, до которой оставалось не более километра. Кладбище исчезло из поля зрения и «мысли о вечном» тут же сменились чисто практическими проблемами. Например, куда им лучше обратиться, чтоб побыстрее добраться до лагеря — в милицию, к директору колхоза (или что тут у них есть?) или к обычным гражданам? Виктор настаивал на гражданах, а Андрей предпочитал представителей власти.

Из-за поворота дороги показались фигурки двух пацанов, таких классически деревенских, что Андрей даже усмехнулся:

— Маленькие пастушки. Как на картине. У них сейчас и узнаем, куда это мы попали.

* * *

— Коль, я боюсь, — сказал Сашка, когда они стояли у околицы.

Возле Колькиного дома, где они встретились, просматривалась улица со стоящим возле крайнего дома фыркающим трактором. Анька, которая для всех оставалась просто «Анькой» уже почти сорок лет, копалась в своем огороде. И если забыть о кусках угля, летевших в окна (а детская память легко переходит из прошлого в настоящее), то жизнь казалась самой обычной. Даже завернутый в тряпицу череп в Колькиных руках никак не ассоциировался со смертью, а являлся всего лишь не совсем уместной игрушкой. Но когда впереди открылась панорама кладбища и темная стена леса, все снова сплелось воедино, внушая чув-

ство непреодолимого страха и желание куда-нибудь забиться, может даже исчезнуть на время... Но куда? Даже отец, которого боялась и уважала вся деревня, ничего не смог с *этим* поделать и продолжал глушить водку, не подпуская к себе никого, кроме дяди Вити, исправно пополнявшего запасы.

— Я тоже боюсь, — ответил Колька и замолчал.

Он не мог объяснить механизм происходящего; не знал, какая связь существует между черепом, смертью Аленки, событиями в Сашкином доме, а главное, не представлял, что именно он собирается делать. Если вернуть череп, то кому и каким образом? Но он старался пока не забивать этим голову, просто зная, что надо туда пойти и как говорит отец: «... решить все вопросы, чтоб комар носа не подточил».

Сашка вздохнул и совсем поник. Моральной поддержки он не получил, а какова его роль во всем этом походе тоже не понимал. Так он и шел теперь, преодолевая волны страха простым детским заклинанием: «Я еще маленький и мне за это ничего не будет». Это ведь с взрослых может спросить милиция и даже посадить их в тюрьму, а что взять с него? Ему известны всего два рода наказаний — запертая дверь, когда остальные ребята весело гоняют на улице мяч и отцовский ремень. Но за что его убивать, ведь он еще такой маленький и всего лишь взял поиграть дрянной ржавый пистолет?..

Молча они повернули к кладбищу. Дошли до знакомого поворота. Отсюда до леса уже рукой подать.

«Я ни в чем не виноват, но я пойду, чтоб потом Колька не говорил, будто я трус...» — и вдруг мысли улетучились через открывшийся рот, выпученные от ужаса глаза, вытекли вместе с теплой струйкой, предательски бегущей по ногам...

Навстречу со стороны опушки двигались два солдата. На них не было широких защитного цвета накидок, как во сне, но разорванная и перепачканная землей форма и кровь на лицах говорили о том, что это *те самые* солдаты. Они, видимо, не дождались и теперь сами идут за ними.

Сашка попятился назад, оставив после себя лужу, тут же подернувшуюся тонкой пленкой пыли. Колька зажмурился и выронив череп, закрыл лицо руками. Однако от появления солдат земля не разверзлась, не ударила молния и кресты не пришли в движение, выпускающая на волю новых мертвецов. Сквозь щелочку между пальцами Колька смотрел на оставшийся незыблемым белый свет. Солдаты приближались, но ничего не происходило. Значит они, как и обещали, не станут убивать их сегодня. А может, просто эти двое лучше оставшихся четверых и собираются объяснить им, как избавиться от напасти?..

Колька убрал руки. Увидел, что Сашка медленно отступает, увидел лужу. Невольно глянул себе под ноги и с внутренним превосходством обнаружил вокруг сухую пыль. В это время Сашка, видимо понимая, что пятясь задом далеко не уйдешь, развернулся и побежал, петляя, словно уклоняясь от пули. Колька с удовольствием бы последовал его примеру, но вдруг почувствовал, что не в состоянии этого сделать. И дело не в каком-то его особом героизме, а в том, что ноги перестали повиноваться приказам перепуганного сознания. Он опустил взгляд. Тряпка при падении развернулась и череп зловецки взирал на него пустыми глазницами. Нет, уж лучше смотреть на приближающиеся фигуры, пытаюсь прочитать в их движениях свою будущую судьбу...

Солдаты о чем-то тихонько заговорили между собой. Потом один из них усмехнулся. Кольке показалось, что это напоминает усмешку черепа...

— Что это он так рванул? — спросил Андрей удивленно.

— А ты представь, две такие рожи выходят из леса. Я думаю, тут и половина взрослых разбежится, — Виктор усмехнулся, — вот так и появляются легенды о привидениях.

До стоящего посреди дороги маленького испуганного человечка оставалось уже метров десять и Андрей крикнул:

— Мальчик! Слышь, пацан, мы ничего тебе не сделаем! Мы просто заблудились!

Это был совсем не тот хриплый, нечеловеческий голос, который пророчествовал ему ночью. Колька мысленно пытался развести *тех* солдат и *этих*, но страх оказался слишком велик, чтоб просто исчезнуть от столь наивных предположений. Поэтому когда солдаты подошли, он продолжал стоять, как затаившийся суслик и ожидал, пока к нему прикоснутся ледяные пальцы.

Но они оказались вовсе не ледяными. Один из солдат легонько потрепал его за плечо.

— Пацан, ты что, испугался? Да мы совсем не страшные, — он засмеялся и в глазах мелькнули задорные искорки, вовсе не предвещавшие скорую смерть.

Второй наклонился к черепу и поднял его.

— Глянь, Витек, какие у них тут знатные игрушки. Как говорится, он настолько беден, что если б был девочкой, а не мальчиком, то ему было бы совсем не с чем играть.

Оба весело рассмеялись и только тогда Колька окончательно осознал, что перед ним обычные люди. Эта мысль радостно лезла в голову, расталкивая остальные, но тем не менее, ответить на многие вопросы она тоже не помогала. Например, как и зачем обычные люди могли незаметно поджечь дом и убить Аленку? Как летал уголь и двигалась мебель? Как солдаты сумели пробраться в его сон? Зачем им череп и если он им так уж нужен, то почему они не радуются его возвращению, а с удивлением вертят в руках, как некую диковинку?..

Но даже если это другие солдаты, с *теми* их должно что-то связывать, не зря же они направлялись в деревню. Обычные солдаты к ним еще никогда не навывались. Колька пошевелился. Почувствовал, что напряжение приближающегося конца спало и обессилено опустился на землю. Один из солдат неожиданно присел рядом на обочину дороги.

— Пацан, тебя как зовут? — спросил он.

— Колька Самохин.

— А скажи-ка нам, Колька Самохин, — продолжал второй, нависая, как колодезный «журавль», — как называется твоя деревня?

— Грушино.

— Красивое название. А до Тарасовки далеко? Там, может, знаешь, военные лагеря есть.

— До Тарасовки через лес километров тридцать. По дороге дальше.

— Ну что? — обратился стоявший солдат к тому, что сидел рядом с Колькой, — пошли, поищем транспорт?

Тот встал, протянул Кольке череп.

— Держи свою игрушку.

Колька понял, что «добрые солдаты» уходят. Еще минута и он останется совсем один против тех «злых», которых гораздо больше, чем этих.

— Дяденьки... — он схватил Андрея за руку, — не уходите, пожалуйста...

Солдаты переглянулись.

— А что случилось?

Клубок, в который спутались Колькины мысли, не имел той ниточки, за которую его можно было бы размотать, поэтому он начал говорить сбивчиво и бестолково:

— У меня сестренка угорела, а у Сашки дома выбили все стекла... и еще у него мебель двигалась... А я, вот этот череп... Они обещали, что мы тоже умрем...

— Стоп! — Андрей выставил вперед ладонь, словно отгораживаясь от всего этого бреда, — милиция у вас есть на такие случаи?

— Есть участковый, но он ничего не смог с *ними* сделать.

— С кем?

— С солдатами... — Колька даже зажмурился, ожидая реакции, но слушатели только переглянулись.

— А теперь все еще раз, помедленнее и с самого начала, — сказал Андрей.

Оказывается, приключение не заканчивалось. Оно продолжалось, лишь немного изменив плоскость восприятия. Им самим больше не угрожала опасность. Деревня Грушино была вполне реальной и значилась на всех их топографических картах. Зато теперь они попали в какую-то другую историю, не менее интересную и захватывающую, чем бесконечное блуждание по лесу. Он посмотрел на Виктора, который тоже ждал продолжения, молча разглядывая Кольку.

Казалось, даже голод уже не так беспокоил, а родной лагерь... Он никуда не денется. Теперь, когда добраться до него стало делом чисто техническим, им обоим ужасно расхотелось расставаться со своей свободой. Кто может проверить, сколько времени они проплутали в лесу, двое суток или чуть больше? Никто. Если б еще сигареточку раздобыть для полного кайфа...

Пока Колька рассказывал о раскопках вблизи блиндажа, о странных движущихся предметах, которых сам, правда, не видел, о пожаре и об Аленке — это было весьма интересно, но никак не могло касаться их, поэтому Виктор понимающе кивал, вдохновляя рассказчика, а Андрей жевал травинку, следя за воробьями, продолжавшими свою игру в салочки на могильных крестах. Но стоило Кольке дойти до ночного визита, как оба встрепенулись.

— Сколько их было говоришь? — спросил Виктор.

— Шестеро. В длинных плащах, касках и с автоматами.

— У одного каска пробита, у другого рука на перевязи?.. — продолжал Виктор задумчиво, повернувшись лицом к лесу.

— Да... — Колька растерялся. Может, они притворяются добрыми, а на самом деле, одни из *них*? Он растерянно замолчал, не зная, как вести себя дальше.

— Значит, они обещали тебя убить? — уточнил Андрей и взглянул на череп, который еще продолжал держать в руках. Возникло желание тут же бросить его, но не мог же он показать себя трусом перед этим пацаном?

— Обещали. И еще Сашку, потом моих папку и мамку... — он жалоб-

но переводил взгляд с одного на другого и наконец решился, — дяденьки, пойдемте со мной, ведь вы тоже солдаты...

Виктор тут же вспомнил треск падающих стволов и ужас, гнавший их прочь напролом, не разбирая дороги. Хотя, может, в этом и был определенный смысл, ведь иначе бы они до сих пор бродили по лесу и вряд ли вышли бы к Грушино. Если б те солдаты хотели их уничтожить, то могли б это сделать еще ночью, когда проходили мимо костра. Он вопросительно посмотрел на Андрея. Глаза того сощурились. Видимо, он тоже пытался оценить ситуацию.

...Никто не знал, каким путем Андрей шел к своим выводам, но озвучил он их вполне конкретно:

— Конечно, все это не наше дело, но жить и знать, что жизнь устроена совсем по-другому, не так, как ее представляешь, весьма противно. Поэтому я, например, хочу понять, что за явление это такое.

Колька пропустил мимо ушей психологическую подоплеку и понял только, что один из солдат согласен идти с ним. Перевел взгляд на другого.

— Дяденька, пожалуйста...

Виктор наклонился к Андрею и произнес шепотом:

— Ты хоть понимаешь, во что мы ввязываемся?

— Пока нет, но хочу понять. Если это столь мощная неизвестная человеку сила, то мы просто обязаны с ней познакомиться. Тем более, мы не сделали этим существам ничего плохого, кроме того, что пели не те песни, которые им нравятся.

— А ты не боишься? Помнишь, что эта твоя «сила» способна натворить?

— Помню и боюсь, но мы же выжили, значит нам не суждено от нее погибнуть. Ты представляешь, этот пацан идет с ней биться, а мы поедем трескать перловку, заниматься тактикой и учить матчасть «пукалки», которая оказывается не страшнее детского пугача.

Пока они беседовали, Колька вновь «упаковал» череп и встал, терпеливо ожидая, когда «добрые солдаты» окончательно договорятся.

— Хорошо, — сказал наконец Виктор, хотя сама затея ему совсем не нравилась. Неужели нельзя спокойно дожить тут свой месяц и вернуться к привычной жизни, к любимой Ленке, в конце концов?..

Дорога сворачивала к кладбищу, но Колька повел их напрямик. Лес, из которого ребята только что благополучно выбрались, встречал их недобрительным шелестом листьев, вроде, поступали они не по правилам. Но Колька шел уверенно. Не единожды проделанный маршрут хорошо отложился в памяти. Андрей же постоянно озирался, на всякий случай запоминая ориентиры. Куст с покрасневшими до времени листьями... Кривая береза, а правее три осины, росшие из одного корня... Таких примечательных объектов набиралось слишком много и он уже боялся запутаться, в каком порядке они следуют друг за другом, когда Колька наконец остановился.

— Вон, — он указал пальцем на пригорок меж двух толстых стволов.

— И что? — не понял Виктор.

— Блиндаж.

Они обошли холм и обнаружили с другой стороны наполовину обвалившийся ход в темноту. Рядом перекопанная куча темно-серого песка, из которого торчала большая кость.

— Я нашел его здесь, — сказал Колька, кивая на свои раскопки.

И тут все трое поняли, что даже не представляют, как поступить дальше. Достаточно ли просто положить череп на место и уйти или необходимо совершить ритуал? Например, произнести молитву? А может, какое заклинание? Они не знали ни того, ни другого. А может, надо дождаться *этих...* (как их назвать?..) и вернуть вещь лично? Это было бы самое неприятное.

Виктор растерянно огляделся, но никаких признаков сверхъестественного не обнаружил. Обычный лес. Он даже показался почему-то более прозрачным и веселым, чем тот где они проходили вчера. Колька положил череп рядом с торчащей костью и наклонившись, аккуратно присыпал его песком.

— Все? — спросил Виктор, с одной стороны испытывая облегчение от окончания миссии, с другой, разочарование, потому что падающие деревья и голоса, содрогавшие землю, вновь отошли в область фантазий и галлюцинаций. Оказывается, ничего особенного с ними и не происходило, кроме страха перед собственным одиночеством.

Виктору никто не ответил. Ни лес, продолжавший лишь шептать что-то невнятное миллионами листьев, ни Колька испуганно водивший глазами в ожидании, то ли обещанной кары, то ли прощения, ни тем более Андрей, который подошел к входу в блиндаж и осторожно раздвинул гигантские листья папоротника. Достал зажигалку. Сунув руку в темноту, чиркнул кремнем.

В следующее мгновение будто какая-то сила втащила его внутрь. Виктор даже не успел опомниться, как ажурный папоротниковый занавес снова закрылся. Ни ужасных звуков, ни каких-либо других внешних проявлений не последовало. Могло показаться, что Андрей вошел сам, подгоняемый любопытством, но внутренне Виктор ощутил, что *там* что-то происходит, что-то противостоящее человеческой природе. Не сам и не просто так Андрей резко, чуть не падая, прыгнул в темноту.

Несмотря на вернувшийся страх, Виктор вдруг понял, что ему тоже придется войти *туда*. Он всегда считал, что чувство самопожертвования, определяемое принципом «сам погибай, а товарища выручай», если и существовало, то сейчас, со сменой моральных и идеологических ценностей, ушло в небытие, сменившись более естественным лозунгом «каждый за себя». Оно сохранялось лишь неким стереотипом для пишущих и снимающих о войне или «трудовом героизме советского народа». А оказывается, нет. Оказывается, чувство стаи, в которой ценен каждый зуб и каждый коготь, заложено в человеке генетически еще с животных времен. Только ситуация для его проявления должна оказаться соответствующей...

Эти мысли концентрировались в его голове, пытаясь оправдать совершенно абсурдное, но непреодолимое желание все-таки войти в блиндаж. А противостоял ему всего лишь один идиотский постулат, на котором почему-то воспитывают детей всех поколений: «... А если он прыгнет с седьмого этажа? Ты тоже будешь прыгать?...» А ведь еще можно успеть помочь, если вовремя прыгнуть следом...

Заметив первое неуверенное движение Виктора, Колька вцепился в его руку.

— Дяденька солдат, не надо, пожалуйста! Я боюсь... А вдруг...

— Не бойся.

Виктор высвободил руку и огляделся. Здесь ничего страшного произойти не может. Все неизведанное, если оно действительно существует, сосредоточено в «черной дыре» и надо постараться сделать так, чтоб больше оно никогда не вылезло наружу. Шагнул к блиндажу и осторожно раздвинул листья. Колька больше ни о чем не просил, поняв, что отговорить солдата все равно не удастся. Он исчезнет, как и тот, первый, вновь оставив его одного со страхами и висящей на волоске жизнью. А Виктор в этот момент жалел о потерянной еще в лагере зажигалке. Хотя может и лучше не видеть заранее того, что тебя ожидает.

Непроглядная тьма показалась ему входом в иной мир. Здесь не должно быть ни пола, ни потолка. Делаешь шаг и проваливаешься в другое измерение... Прислушался. Ни звука, будто Андрей уже исчез и только ждал, пока Виктор последует за ним. Правда, еще можно сделать шаг назад. Тогда листья скроют навсегда бездонную потустороннюю вечность...

Если б Виктор оглянулся на такой знакомый до боли мир, то может быть, так и поступил, но он заставил себя не оборачиваться. Сделал шаг, потом второй. Тьма и тишина, словно укутали его в кокон. Вытянул руки, пытаюсь нащупать стены, но помещение оказалось для этого слишком просторным. Присел на корточки, пробуя пол. Обычная сухая, хорошо утоптанная земля. Ощупывая ладонями ее поверхность, он двинулся вперед тем странным шагом, который в школе на уроках физкультуры почему-то называли «гусиным». Делать это в сапогах было крайне неудобно, но должен же он чувствовать хоть какую-то грань.

Прошел семь шагов, но не наткнулся ни на стену, ни на Андрея. Остановился. Сквозь густую листву тусклым пятном обозначился выход. Он все-таки существовал и никакого другого измерения нет. Это все его собственные страхи и остается самое элементарное — отыскать Андрея в незначительном замкнутом пространстве.

Ноги затекли и Виктор выпрямился. Расставив руки в стороны, волчком повернулся на триста шестьдесят градусов.

«Господи, да какой же он огромный, этот блиндаж! Целый бункер...» — подумал он и тихо позвал:

— Андрюха, ты где?

Никто не ответил, но неискраженный собственный голос настолько успокаивал, что он позвал громче. Близкое эхо повторило последний звук и угасло. От наличия этого естественного физического явления Виктор совсем осмелел. Вновь вытянув руки, он уверенно пошел вперед и через несколько метров наткнулся на холодную шершавую стену. Осторожно двинулся вдоль нее и вдруг споткнулся обо что-то мягкое.

«...Нет, он не мог умереть. С чего? От страха? От страха скорее умру я, чем Андрюха, а больше здесь никого нет. Никого нет...»

Он резко повернулся в одну сторону, потом в другую, и хотя глаза стали привыкать к темноте, кроме показавшегося далеким и призрачным выхода, не увидел ничего. Однако кто бы это ни был, его надо вытаскивать отсюда. Выяснить, что случилось можно и потом. Сам расскажет, в конце концов...

Виктор наклонился. Приложив руку, почувствовал живое тепло. Усадил вялое тело. Нащупал поникшую голову, безвольно опущенные руки. Попытался поставить на ноги, но они подгибались, как у веревочной куклы. Тогда Виктор подхватил тело под мышки и волоком потащил к свету. В таком положении он чувствовал себя абсолютно незащищенным.

Сердце сжималось при каждом шаге, но пальцы так вцепились в одежду, словно приросли к материи.

Шаг. Еще шаг. Совсем чуть-чуть... Обернулся. Вот он, свет... Виктор почувствовал, как листья коснулись спины и в следующее мгновение стало так светло, что он даже зажмурился. Сырой лесной воздух ворвался в легкие, опьяняя и перехватывая дыхание. И тут он понял, что израсходовал все свои силы, и физические, и духовные. Упал на землю у самого входа, а тяжкая ноша так и осталась лежать на границе двух миров. Ноги в блиндаже, зато бледное лицо, искаженное странной гримасой, широко распахнутые глаза... Это безусловно Андрей. Впрочем, там и быть больше никого не могло. Только волосы... По короткой стрижке нельзя сказать, что в них появились «седые пряди», но они сделались гораздо светлее, будто припорошенные пеплом.

Подбежал Колька. Заплакал, уткнувшись лицом в грудь Виктора.

— Дяденька солдат, дяденька солдат... — причитал он и вдруг растегнув рубашку, вытащил висевший на груди крестик и принял его.

Это неожиданное проявление веры привело Виктора в чувство. Отстранившись, он внимательно посмотрел на мальчика. Тот смутился.

— Это от бабушки остался. Я у мамки из шкатулки стащил на всякий случай.

— Ты молодец, — Виктор снова прижал к себе его голову, с удовольствием глядя на кроны деревьев, зеленевший под ними папоротниковый ковер, на клочки серого неба, словно именно Колька сохранил все это для человечества.

Андрей шевельнулся, глубоко вздохнул. Цепляясь руками за землю, попытался самостоятельно выползти из блиндажа. Виктор с Колькой бросились на помощь, и через минуту он уже сидел, привалившись спиной к дереву и удивленно озирая окрестности, словно соображая, где находится. Виктор стоял рядом, придирчиво наблюдая процесс возвращения к жизни. Все молчали, но ощущение того, что кошмар наконец-то закончился было совершенно явственным.

— Так что с тобой случилось? — спросил Виктор.

Вместо ответа Андрей перевел взгляд на Кольку.

— Пацан, войну ты конечно не помнишь, — сказал он задумчиво, — но хоть знаешь, какая тут была мясорубка?

— В школе рассказывали... — опешил Колька, — «наши» попали тут в окружение и бились, пока все не погибли.

— Молодец. А как звали их командира, знаешь?

— Нет...

Андрей повернулся к Виктору.

— Все о нас забыли. Как тогда, так и сейчас. Капитан Калюжный, его звали. Командир разведроты 452 стрелкового полка 24 гвардейской дивизии. С ним оставалось шестеро бойцов, когда на деревню пошли танки. Сначала погиб Серега Вязов. Он долбил их из ПТРа, пока танк не раздавил его. Потом Сашка Савченко и Мишка Погорельцев бросились вперед, обвязавшись гранатами и остановили колонну. Тогда пошла пехота. Ванька Прохоров не выдержал и попер в полный рост. Красивый был малый... — Андрей вздохнул, будто лично знал этого Ваньку, — остались Калюжный, да Лешка Самохин. Отошли в лес к бывшему штабу полка. Он как раз в этом блиндаже находился. Держались сутки, пока фрицы их не окружили. Но в плен не сдались... Пацан, ты слышал об этом?

— Нет, — обалдело произнес Колька, — училка нам этого не рассказывала.

— Ты потревожил всех, понимаешь, пацан? Это череп Лешки Самохина. Хорошая у тебя фамилия, иначе б он не простил тебя. Лешка хоть и с Урала родом, но решил, что, может, ты какой-нибудь его дальний родственник. В жизни всякое бывает...

— Постой, — Виктор присел рядом и положил руку Андрею на колено, — ты хочешь сказать, что все это правда? Ну, не о войне, а... ты считаешь, что действительно общался с ними?

— В это трудно поверить, — Андрей посмотрел каким-то чужим, потусторонним взглядом, — но мертвые продолжают обитать там, где их настигла смерть. Люди не замечают их присутствия, пока не нарушится равновесия... когда, например, раскапывают могилы... Тогда они возвращаются, и колоссальная энергия того мира выплескивается в мир этот. Здесь ее называют полтергейстом и прочими непонятными словами.

— Но это невозможно...

— Да?.. Впрочем, лучше считай, что невозможно.

— Нет, ты объясни. Я просто не понимаю, — не унимался Виктор, — ты лежал в блиндаже без сознания. Больше там никого не было...

— Что ты ко мне привязался?! — огрызнулся Андрей, но тут же успокоился, — нас там семеро было, я ж говорил.

— И номер полка они тебе сказали, да? И фамилии свои назвали? — спросил Виктор подозрительно, но Андрей не посчитал нужным ответить. Он внимательно разглядывал лес, словно не видел его давным-давно.

— А со мной, правда, ничего не будет? — уточнил Колька, видя, что разговор уходит в сторону от главной для него темы.

— С тобой все нормально, — ответил Андрей, как бы между прочим, — тебя простили благодаря твоей фамилии. Хотя обычно такого не бывает. В том мире свои законы. Только наивные славяне полагали, что предки могут чем-то помочь в этой жизни, а мудрые египтяне не зря старались снабдить своих покойников всем необходимым и замуровать в гробницы. Они уже понимали, что от соприкосновения миров ничего хорошего живым ждать не приходится, ибо тот мир гораздо могущественнее этого.

Виктор поймал себя на мысли, что сравнение славян с египтянами просто не могло прийти в голову тому Андрею, которого он знал пять лет, сидя с ним в одной аудитории. Он попытался найти, как пишут в детских книжках-загадках, «десять отличий», но кроме поседевших волос, чуть изменившегося голоса и тяжелого взгляда визуально ничего не мог обнаружить. Хотя и знания у него стали какими-то другими, не соотносящиеся с прежними взглядами, а это гораздо важнее внешних перемен.

— Значит, я не умру? — не унимался Колька, — и у Сашки больше не будет летать мебель и биться стекла?

— Я ж тебе сказал, пацан, — ответил Андрей раздраженно, — больше ничего не будет. Живи, только по могилам больше не шастай. Второй раз тебе этого не простят.

— Клянусь! Честное слово! — воскликнул Колька радостно.

Андрей встал. Расправил плечи, словно проверяя, все ли на месте.

— Пойдем, — сказал он, — в лагере нас, наверное, уже обыскались. «Губы» нам, точно, не миновать, а знаешь, какая это противная штука?

— Не знаю, — ответил Виктор растерянно и подумал: «А откуда сам Андрей мог знать об этом, если гауптвахтой их только пугали, но никогда еще ни одного курсанта со сборов не отправляли туда?..»

* * *

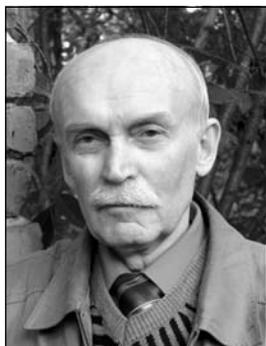
Когда наевшись борща у Колькиной матери и помянув Аленку рюмкой самогона, они выезжали из деревни, трясясь в грязном кузове «Белоруся», Андрей вдруг постучал по кабине водителя. Трактор остановился.

Виктор с удивлением наблюдал, как Андрей спрыгнул на землю и подошел к обелиску, притаившемуся среди старых лип. Потом опустился на одно колено. Склонив голову, прижал руку к сердцу. Но он не мог слышать его слов. А даже если бы и слышал, то вряд ли бы что-нибудь понял.

— Товарищ капитан, спите спокойно. Вы были моим другом и командиром. Я не допущу, чтоб о вас забыли. Я выполню приказ.

На обелиске тусклыми бронзовыми буквами было написано: «На этом рубеже шесть безымянных бойцов 452 стрелкового полка 24 гвардейской дивизии пали смертью храбрых в неравном бою с гитлеровскими захватчиками. Вечная память героям!»





Леонид Федорович Южанинов родился в 1941 году в селе Редикор Чердынского района Пермской области. Окончил Березниковский строительный техникум. Автор десяти книг прозы. Публиковался в журналах «Наш современник», «Слово», «Воин России», «Подъём», «Огни Кузбасса», «Роман-газета», еженедельнике «Литературная Россия». Лауреат литературного конкурса «Мой XX век». Член Союза писателей России. Живет в городе Россошь Воронежской области.

Леонид Южанинов

ЛЕБЕДЬ БЕЛАЯ

Повесть

Сидит Павел, думает. Где бы крюк найти — удавиться! Но нет в квартире ничего, за что веревку можно закрепить: ни в стене, ни на потолке. Люстра — не выдержит. Вот судьба: и жить невозможно и удавиться не на чем!

Жена и дочь, в очередной раз оскорбив его всякими непотребными словами, ушли на рынок. Пора бы уж привыкнуть к скандалам, но не мог, его эти ежедневные, регулярные нападки «достали», он их сравнивал с провокациями на острове Даманском, где ему довелось служить, где низкорослые злобные солдаты сопредельной страны плевали ему в лицо, бросали грязью, а то и кулаком заезжали, и все это приходилось терпеть, нести унижение, сдерживать злость, не бросаться на обидчиков — был строжайший приказ командования не отвечать на действия супротивной стороны. Здесь ситуация почти не отличается от той.

Жена с дочерью преследуют ту же цель: он не выдержит, ударит кого-нибудь из них, они вызовут милицию, затем — суд, ему дадут срок, упрячут в тюрьму. И квартира полностью достанется им. Квартира хорошая, четырехкомнатная, на престижном этаже — третьем, они ее продадут и «отчалиют» на родину жены, в большой промышленный город недалеко от

Москвы. Там на вырученные от продажи деньги купят квартиру поменьше и будут жить-поживать припеваючи.

А он, Павел Евстратов, не нужен, он пенсионер, балласт, он выработал свой ресурс и пусть идет на все четыре стороны, хоть в бомжи, хоть в Дом престарелых. Он теперь враг номер один. Так решила дочь. Жена, к удивлению Павла, полностью поддерживает ее и по злобности ничуть не уступает ей. Отец плохой: квартиру дочери не купил, машину не приобрел, деньгами не снабжает. Она единственная, избалованная матерью, хочет жить хорошо, с большим достатком, ходить в дорогие рестораны и кафе, ездить на иномарках, купаться в теплом южном море, одеваться в фешенебельных магазинах. Ей уже под тридцать, но она до сих пор нигде не работала, хотя окончила институт, химик по образованию, таблицу Менделеева и ту забыла. Да и работать не хочется. Пусть негры пашут! Долго думала, разобрала ситуацию, пришла к выводу — отец виноват! Раз родил, должен до смерти кормить. А то ишь выдумал: легкие у него болят, ноги плохо ходят. Езжай в деревню, корми свиней, сиди возле них — ходить далеко не надо, а денежки высылай мне, дорогой доченьке. И началась для Павла не жизнь, а пытка. Врагу не пожелаешь!

Он встал, вышел на балкон. Напротив, метрах в пяти от балкона, росли три дерева: ветла, пирамидальный тополь и береза. Ветла распушила густую крону, отливала листьями блестящий зеленый цвет, дышала красотой и молодостью. Пирамидальный тополь, словно витязь, вознесся ввысь, могучий и стройный. А между ними немощно изогнулась березка, худая, низкорослая. Внизу ствол ее был голым, многочисленные трещины распорили ее кожу-бересту. Ветви у нее были лишь на верхинке, и то какие-то чахлые, и росли не вверх, а изогнулись книзу, как растрепанные лохмы у бабы-пьянчужки. Видно было, ей здесь не по климату, и удел ее нелегок. «Точно моя судьба... Ишь, покорежена, изогнулась бедная и жизнь ей не в радость», — вздохнул Павел, глядя на березку.

После службы в армии жил он в общежитии металлургического завода, отливал магниевые чушки в электролизном цехе. Платили неплохо, но работа была тяжелая, уставал, да и газ хлор разъедал легкие. Может, поэтому к пенсии стал задыхаться.

А тогда молодость пересиливала любые преграды, о будущем не гадал, что все это скажется в старости не думал. Поступил в институт на вечерний радио-технический факультет, нравилось ему копаться в мелких деталях, настраивать приемники, выходить на связь в далекие города, с такими же, как сам, любителями, в народе их тогда называли «радиохулиганами». «Альбатрос» — звучали его позывные в эфире.

Характером Павел тихий, малообщительный, внешность неброская, обыкновенный парень: среднего роста, среднего телосложения, каких большинство. Но что-то притягивало к нему девушек, наверное, глаза большие черные, в опущке густых, загнутых кверху ресниц, взгляд их был мечтательный с поволокой, этот взгляд очаровывал, притягивал к себе, звал куда-то в неизведанное, в прекрасные дали.

Подружка нашлась быстро. В их же цехе заведовала буфетом, в котором раздавалось рабочим бесплатное, положенное на горячем производстве, молоко да продавались сопутствующие товары: сметана, масло, творог, Галя Свиридова, розовощекая полная блондинка. Немного и повстречались — пришлось жениться, она забеременела. Свадьбы не было, да и не в чести они были тогда, организовали в общежитии вечерок и распились. После рождения дочери Галя жить в общежитии, где им дали от-

дельную комнату, отказалась, ушла к матери, в квартире которой было битком набито, там уже жила ее старшая сестра с мужем, да брат меньший. Попытался и Павел туда поселиться, но через месяц ушел снова в общежитие, не перенес этот бедлам, да и в отношениях с Галей появилась трещина — после рождения ребенка она стала какой-то холодной, сварливой, во всем подчинялась маме, которая почему-то невзлюбила второго зятя. Павел разрывался на две части, между дочерью с женой и общежитием, переживал, но исправить ничего не мог, получить квартиру на заводе было невозможно, — огромная очередь на жилье.

Так и остался Павел в подвешенном состоянии, не холостой, не женатый.

Время летело. Вот он уже и институт окончил, защитил диплом. На выпускном вечере его пригласила на дамский танец девушка с дневного факультета.

— Валерия! — представилась она.

— Павел.

Он с интересом смотрел на ее улыбочное лицо, отмечал его белую нежную кожу, родинку на правой щеке, лукавый взгляд ее чуть раскосых карих глаз. Была она невысока, но хорошо сложена, какой-то теплотой веяло от ее цветущего молодостью тела. Незримые лучи нежности проникли в его сердце, окрылили радостью, заставили его биться сильнее.

— А я вас знаю, — весело продолжала она говорить, будто они давно знакомы.

— Отку-уда?!

— Я была на васей свадьбе, в общежитии. Меня туда девчонка из насей комнаты пригласила, она с васей женой дружила.

Павел напряг память, но никак не мог вспомнить ее — там много находилось девчонок.

— Конечно, вы не помните, я в самом конце стола сидела, да есе подросток была.

В разговоре буква «ша» у нее получалась как «эс», но это никак не шокировало, наоборот, было приятно, звучало как-то мелодично, мило — вместо шипящего «ш» серебром звенело «с».

Когда вышли на улицу, Павел с удовлетворением еще раз отметил ее фигуру. Драповое пальто, в талии перехваченное поясом, красиво сидело на ней, подол его колоколом спускался вниз, обнажая стройные ноги, обтянутые черным трико. Дополняли наряд аккуратные белые ботинки, на голове — цветной мохеровый шарф.

Стоял конец весны, но погода была холодной, какая всегда бывает во время цветения черемухи. Им же вместе было тепло. Они гуляли в сквере общежитского городка. Оказалось, Лера жила рядом, в корпусе «Азотчик».

— Надо же, я и не знал, что мы соседи, — искренне удивлялся Павел.

— Конечно. Вы такой зазнайка, никого вокруг не видите, — смеялась она, крепко сжимая его локоть. — А я про вас все знаю: куда вы ходите, когда возвращаетесь. И в столовую обедать всегда ходила вслед за вами — чтобы увидеть...

Павел повернулся, обнял Леру, прижал к себе. Она не сопротивлялась. Хотел поцеловать, она уклонилась: «Не надо-о!» После нескольких попыток он поймал ее губы, они раскрылись и устремились навстречу желанному поцелую. Она вся напряглась, обхватила его за шею, повис-

ла на плечах. У него сладко закружилась голова, он будто в жаркое небытие провалился. После смущенные они долго стояли, прижавшись друг к другу.

Встречи стали постоянными, Павел воспрял духом, повеселел, но жена, с которой он уже и не жил, стояла между ним и Лерой. Он, как запряженный конь, хотел бы взбрыкнуть, резво поскакать на зеленый луг, на волю, да оглобли не давали. С этим и жил, с одной стороны любовь к Лере, со второй — долг к дочери и жене. Лера на десять лет была моложе его, он не хотел портить ей жизнь, жалел, но она не чаяла в нем души и с присущей женщинам настойчивостью ненавязчиво давала ему понять — она согласна выйти за него замуж. Пора было определяться, дальше тянуть невозможно. Он с болью в сердце решил — перестал встречаться с ней. «Так будет лучше для нее: найдет себе парня, выйдет замуж, создаст семью. А я понесу свой крест дальше...»

Прошло несколько месяцев. Боль сердечная стала утихать. В одну из суббот, свободный от работы, он позволил себе поспать подольше, затем, позавтракав, начал чинить принесенный комендантом общежития телевизор.

Неожиданно раздался стук в дверь.

— Откры-ыто, — не поднимая головы от телевизора, крикнул Павел, думая, что пришел кто-то из ребят соседних комнат.

Дверь со скрипом открылась. На пороге стояла Лера.

— У меня завтра свадьба. А сегодня я хочу быть твоей! — нервно заявила она.

Павел ошалело помотал головой, еще не поняв смысл сказанного.

— Ты должен быть первым! — голос ее звенел, она дрожащими пальцами сжимала и разжимала снятую с головы шерстяную шапочку.

— Лерочка-Валерия, успокойся, — до Павла дошел смысл сказанного. — Проходи, садись.

Он усадил ее на стул. Она машинально начала расстегивать пуговицы пальто. Лицо ее возбужденно горело, все ее существо было где-то там, далеко. Он помог ей снять пальто, она трепетно прижалась к нему, уронила голову на его грудь и всхлипнула:

— Не хочу-у с этим сусликом...

— Ну и... — «не ходи» хотел сказать Павел, но вовремя спохватился.

— Ты ведь не берешь меня, — поняла она его мысль.

— Я женат, потом дочь...

— Жена, с которой не живешь, и дочь, которую не видишь, тебе ведь не разресят общаться с ней.

Павел промолчал, да и что мог сказать он в ответ, если все это было правдой. Жениха Леры он знал, он был с ней одноклассник, работал, как и она, учителем в школе. Парень, вроде, неплохой, но сердцу не прикажешь.

Сейчас будет плакать, проклинать судьбу, винить меня за слабование, что бросаю любовь свою на растерзание, думал Павел, но когда глянул на нее — удивился. Глаза ее решительно смотрели на него, бесовской огонь плясал в них, грудь ее бурно вздымалась и опускалась, губы наполнились кровью, блуждали в поисках поцелуя, вся она подалась к нему, вытянулась в ожидании таинственного, неизведанного ею соединения с женщиной. Он понял — не выполнить этого ее страстного желания он не может, это будет подлостью с его стороны.

— Не спешит, — он ладонями ласково сжал ее плечи. — Это бывает

раз в жизни, надо по-человечески, — с придыхом прошептал он, сердце его дрогнуло, забилося сильнее.

— Сади-ись, я стол организую.

Он достал из шкафа купленную по случаю бутылку «Мадеры», залезавшуюся потому, что он предпочитал водку, распечатал шпроты, нарезал хлеба. Нашлась даже шоколадка. Повернул ключ в замке двери, опустил шторы. В комнате стало темно. Щелкнул выключателем, мягкий электрический свет из торшера волшебным сиянием разлился вокруг них.

Налил в бокалы вина.

— За любовь! — одновременно провозгласили они тост и засмеялись.

Зазвенели бокалы. Терпкое, пахнущее солодом, вино приятно покапало внутрь, закружило головы хмелем. Они, как жених и невеста, сидели рядом. Павел бедром ощущал жар ее тела. Все напряглось в нем, желание обладать этим молодым чувственным телом затмило окружающее. Для него никого и ничего, кроме Леры, не существовало.

Она не выдержала первой. Встала, через голову сбросила кофточку, с треском открылся и полетел на пол бюстгальтер, тугие юные груди ослепили Павла своей белизной, затуманили глаз. Он неистово стал рвать на себе одежду, кидать ее в разные стороны. Обнаженные слились они в страстном объятии. Затем он бережно взял ее на руки и опустил на постель...

А за окном злилась поздняя осень. Свирепый ветер порывами бил в стекла комнаты, бросал охапки снега, гнул деревья, ломал ветки и гнал по земле прелые листья, мусор, обрывки бумаг, накрывал поверхность холодным белым саваном. Хлопал и бил по карнизу оторванный лист железа, скрипел на окне наличник, высекали искры налетавшие друг на друга электрические провода. Павел и Лера ничего не слышали, они были в другом волшебном мире, в другом измерении жизни, какое бывает лишь в безоглядной молодости.

Жены будто видят измену мужей, какое-то шестое чувство, какой-то непонятный разуму инстинкт подсказывает им, что в такое-то время и в таком-то месте они обязательно должны быть. И они там обязательно появляются, пусть даже по логике вещей никаких прав на это у них нет, пусть даже годами не видели своих бывших суженых. Но они обязательно там будут, муж, даже бывший, является собственностью, они могут мысленно понимать, что никаких прав на него не имеют, но все их дьявольское существо, до сих пор не разгаданное ни одним философом, непоколебимо уверено, что муж — это вещь, и если он когда-то принадлежал ей, наподобие велосипеда, на котором она скакала по буеракам жизни, то и должен принадлежать всегда, не должен никому достаться: «И сам не ам и другим не дам!»

На следующий день после встречи с Лерой в общежитие к Павлу заявила Галина. Ни слова не говоря, будто они расстались только что, а не несколько лет назад, она произвела в комнате шум. И под кроватью обнаружил губную помаду Леры. Закатила скандал. Павлу было смешно и грустно смотреть на этот дешевый спектакль, исполненный его бывшей женой.

Он физически ощутил — здесь ему больше делать нечего. Подал заявление в суд на расторжение брака. Развели. Решил уехать далеко-далеко, в другой город. Это единственный выход для всех троих: расстояние приглушит сердечную боль, залечит душевные раны, думал он.

Устроился в Черноземье, на недавно построенном заводе. Как и рань-

ше, ремонтировал приемники, телевизоры, директор выдвигал его на руководящую должность, но он отказался, не мог он по своему складу характера быть начальником, командовать людьми — слишком мягкая у него натура. Четыре года жил в общежитии, затем женился, появилась дочь, получил квартиру. А лучше б не женился, тридцать лет — как собаке под хвост, ни тепла, ни ласки не видел в семье, а под старость вообще не нужен стал.

Вскоре, как обосновался на новом месте, Павел получил письмо. Удивился и обрадовался одновременно. Письмо было от Леры. И откуда адрес узнала? Видимо, от друзей его. «Милый, дорогой Павлу-ша! (Ему так и почудилось серебряное — Павлуса!) Как ты мог уехать, не простившись, как ты мог оставить свою любовь?! Я не нахожу себе места и когда подумую, что тебя уже нет в нашем городе, что я никогда не увижу тебя — меня разрывает тоска, не хочется жить. Сейчас в разлуке я поняла, как ты мне дорог, как я люблю тебя, ненаглядный мой, и как я буду жить без тебя — не знаю. Мне ничего не мило, а рядом — нелюбимый, человек, с которым я должна сосуществовать в одной квартире, дышать одним воздухом, делить супружеское ложе... Когда становится совсем невоготу, я иду к нашему общежитию, гуляю по нашему скверу, гляжу на окно твоей комнаты, где засияло солнце нашей любви, где я стала женщиной — и плачу слезами радости и печали...

Единственный мой, целую тебя крепко-крепко, много-много раз. Знай, мое сердце с тобой, и никакие расстояния не помешают мне любить тебя, лучшего в этом мире.

До свидания, радость моя, счастье мое! Пиши. С нетерпением жду. Целую, целую, обнимаю. Твоя Лера».

Только здесь, в разлуке, Павел до сердечной боли понял, что он потерял. Судьба дарил ему счастье, а он отказался от него, из-за каких-то лживых принципов морали изуродовал жизнь себе да и ей тоже.

Павел сразу же ответил. Завязалась бурная переписка. Он, как награду, ждал ее светлых, полных тепла и нежности к нему писем и ликовал, как мальчишка, когда их получал. Ему даже не верилось, что его так могут любить. За что, что во мне такого особенного? — размышлял он. Ее письма поддерживали его в тяжелые минуты. Но как и все в этом мире заканчивается, прекратилась и переписка. Павел тщательно хранил эти дорогие для него листы бумаги из школьной тетради, расчерченные в полоску, исписанные округлым женским почерком, время от времени перечитывал их, и в него словно свежая кровь молодости вливалась. Они были для него бесценны.

И вот настало время расстаться с ними — хранить их небезопасно. Павел чувствует, что жена что-то подозревает и в любой момент может произвести шмон в квартире, найти эти письма, особенно опасна дочь — ищейка еще та. И тогда крах! Павел боялся не столько скандала, сколько того, что эти чистые, полные страсти и верности, письма будут терзать чужие холодные руки. Нужно что-то делать? Рвать жалко, хранить негде... И тут в голову Павла пришла счастливая мысль — бросить их в реку. Они поплывут по воде вниз по течению, словно белые лебеди — символ любви. Так как реки в их городе нет, то осуществить задуманное можно лишь при поездке в областной центр.

Случай скоро представился. Местные врачи направили его в областной тубдиспансер на обследование легких. Поехал на самом дешевом транспорте — электричке. Перед станцией Лиски Павел достал из сумки

увесистую пачку писем, разорвал шпагат, начал вытаскивать их из конвертов. Решил — так будет лучше, поэтичней: листы развернутся, встопорчатся и будут действительно походить на благородных птиц — поплывут по водной глади, будто маленькие лебеди. Пока доставал письма, не утерпевал, прочитывал отдельные строки, дрожащими руками складывал их в стопку на сидение. Жалко расставаться с дорогими посланиями Леры, сердце тоскливо ныло, чувствовал — обрывается последняя нить, связывающая их.

Электричка приближалась к Дону. Павел напрягся, наступала торжественная минута. Слева показался затон: кучи песка и гравия, башенные краны, вместительные баржи, белые катера. Вот уже набегают металлические фермы моста. Вот и Дон. Поверхность его отликает синевой, точно отражает июльское небо. Солнце щедро льет тепло и свет. Противоположный берег высится меловыми утесами, сверху укрытыми зелеными шапками из кустарника и травы. На реке ни суденышка. «Благодать! Поплывут письма по чистой воде, мимо живописных берегов...»

Павел встал, огляделся, вагон — полупустой, немногочисленные пассажиры дремали или читали газеты. «Никто не помешает». Открыл фрамугу окна, ветер ворвался внутрь, обдал его свежестью, запахом воды. Вагон застучал по железным конструкциям моста. Павел напряженно уставился в окно. Он с ужасом увидел, что не сможет бросить письма, они не попадут в Дон: рядом с окном — сплошная металлическая площадка. Он перебежал на другую сторону вагона — там то же самое! Холодный пот прошиб все тело, выступил на лбу. «Может на середине реки площадок не будет?!» Но сплошной железный панцирь тянулся от берега до берега, он похоронил и эту надежду Павла.

До областного центра Павел не доехал, слез на маленькой пригородной станции. Сразу за перроном тянулся ряд — комков» — маленьких дощатых магазинчиков. Подошел к одному, остановился возле большой четырехугольной урны. Расстегнул сумку, вытащил письмо, с остервенением разорвал на кусочки, бросил в ржаво-железную помойку, затем еще вытащил, разорвал, бросил... Сошедшие с электрички пассажиры, спешащие на автобусную остановку, толкали его, цепляли баулами — он ничего не замечал. Он с обидой и злостью рвал чистые дорогие ему строки и кидал их в грязную заплеванную урну. Опустошенный, долго не мог сдвинуться с места. Подошедший мент хлопнул его по плечу:

— Вы что, пьяны?!...

Павел очнулся, посмотрел на мента, различил на погонах две лычки — младший сержант.

— Я любовь схоронил, — молча пошел на автобус.

Мент согнутым пальцем крутнул у виска: «Крыша поехала», задерживать не стал.

Павел на автобусе добрался до города. В гастрономе купил бутылку водки на гостинцы, подошел к серой высотке, открыл замок массивной железной двери подъезда — код он знал, на обшарпанном, исписанном нецензурными словами лифте поднялся на седьмой этаж, позвонил в квартиру. Открыл шурин Ваньчок. Был он уже навеселе, Павел разделся, прошел на кухню. На столе стояла початая бутылка водки, в беспорядке валялись кусочки вареной колбасы, хлеба, резаные огурцы. «Один лакает!» — Павел никак не мог понять, какой интерес пить одному — с тоски удавиться можно.

— Зина где? — спросил Павел.

— Во вторую смену пашет. Садись, выпей с устатку, чай, намаялся, пока доехал. — Ваньчок взбодрился, повеселел, чувствовалось, что рад повившемуся собутыльнику.

Жили они с женой вдвоем в двухкомнатной квартире. Дети разлетелись по стране. Зина работала фрезеровщицей на заводе, Ваньчок же перебивался случайными заработками, хотя раньше ценился, как знающий автомеханик, но выпивка сделала свое черное дело.

Павел достал из сумки свою поллитру, поставил на стол. Ваньчок разлил водку по стаканам. Выпили. Павел почувствовал, как охлаждающая влага покатила по пищеводу, как буквально через несколько секунд благодатная успокаивающая нервы волна накрыла тело, достигла головы, затуманила сознание, приглушила боль и досаду, мучившие его после неудачной попытки бросить в Дон письма, красиво проститься с милым сердцу прошлым.

После третьей рюмки Павел повеселел, ему захотелось поговорить душевно, о чем-то возвышенном — отзвуки строк уничтоженных писем продолжали жить в нем, беречь.

— Скажи, Иван, ты веришь в мечту? — напрямую рубанул он.

Ваньчок непонимающе помотал головой, спросил:

— Какую еще мечту-у?..

— Ну, что есть еще на свете достойная жизнь, не то что у нас — нищета, — он ткнул рукой на скудную закуску, — что между людьми блажелательные отношения, наконец, женщины — ореол добра и красоты, а не современный манекен в штанах.

— Насчет жизни и всего остального не знаю... А вот бабы — стервы, это то-очно! Это крапивное семя настолько вредоносное, что никаким химикатом его не вытравишь.

— Ну, не все же?! — горячо возразил Павел. — Есть и хорошие женщины.

— Нет, нету-у! Они хорошие, когда спят, а во все остальное время — сплошная головная боль. Возьми мою Зинку — исчадие ада! Она уснуть не может, если не поругается, а как поскандалит, наорется — сразу в храп, храпит, как лошадь, да что там лошадь — грохочет аки трактор, спать невозможно.

— Что и твоя сестра плохая? — неожиданно выпалил Павел, его будто бес под ребро толкнул.

— То-онька, твоя жена, а моя сестрица... ну это исключение из правил.

— Поч-чему это исключение, почему все плохие, а твоя сестра эталон?!»

— А, ты, что недоволен ей? — насупил брови Ваньчок.

Павел внимательно посмотрел на него. — До чего же похожи с Тонькой! То же круглое лицо, нос бульбочкой и, совершенно не гармонирующие со всем остальным, большие лупатые глаза, как у совы, только у нее — темные, а у них — светло-синие. Харя, как сквородка! И куда мои глаза глядели, когда женился...» Обида и злость захлестнули его, взрыв враждебности, какого с ним раньше не случалось, поднял его со стула.

— Сквалы-ыга твоя сестра. Зла-ая! У нее вместо крови моча-а. Жаба холодная!! Де-ерьмо, как и ты!

Ваньчок вскочил, замахнулся скалкой на Павла, но тот опередил его, ударил кулаком в лицо. Ваньчок, как подкошенный, свалился под стол, замычал что-то нечленораздельное. Павел оделся, вышел на улицу.

Никакого сожаления о случившемся он не испытал. Этим ударом в шурину он будто точку в своей судьбе поставил: теперь он стопроцентно знал, что порвет с этой жизнью, с ненавистными женой и дочерью и уедет на родину, к Лере. «Хоть издали на нее посмотрю, все легче будет».

Павел сошел с поезда, внимательно стал разглядывать встречающих: «Где Лера?» От соседнего вагона в его сторону коломбом катилась женщина. Вот она подбежала, тревожно посмотрела на него, затем прильнула всем телом, обхватила его, навзрыд заплакала.

— Успокойся, Лера, успокойся! — гладил он ее по голове, прижимал к себе.

— И где-е ты раньше бы-ыл?! — разрывал его сердце горький плач.

Наконец она успокоилась, как-то виновато, снизу вверх поглядела на него:

— Пойдем, Павлу-уса.

Павел смотрел на Леру и не узнавал ее. Она стала ниже ростом, усохла телом, лицо наоборот округлилось, щеки будто опухли, белели двумя отдельными половинками, и только карие глаза остались прежними: лучились теплом и лукавством. И даже буква «эс», произносимая ею вместо «ша» не звенела мелодично, как раньше, а глухо шелестела. Да и одета она была более чем скромно, в простом, сереньком джинсовом костюме.

— Что-о, не понравилась? Измени-илась? — не остался незамеченным его пристальный взгляд.

— Смотрю-ю, давно не видел. Конечно, изменилась, оно и я, как старый пень, весь в трещинах. Годы не красят... Пошли, — он, как в молодости, нежно поцеловал ее в беленький островок кожи за ухом. Жила она одна в двухкомнатной квартире.

— Муж умер. Сын живет на Кубани, не ездит — на кой мать нужна?! Вырастила, выучила — теперь мать лишняя, все доброе, что делала, забыл, — жаловалась она.

— Да, теперь дети жестокие, ничего святого у них нет. Мать, отец для них работники, которые до гроба должны на них вкалывать. Страшные времена, паскудные! И самое обидное — пришлось они на нашу старость, — подержал ее Павел.

Лера начала собирать на стол. Павел в это время осмотрел квартиру, мрачные мысли лезли в его голову: уж очень бедной была обстановка, вернее, никакой обстановки не было, так, старые столы, стулья, поцарапанный шифоньер, койка, даже телевизора не было. «Тут что-то не так, или она пьет, или ее недавно обокрали...»

— Павлуса, иди обедать.

Стол был сервирован скромно: жареная картошка, капуста, вареная колбаса под названием «собачья радость», хлеб. Посерединке высилась бутылка водки.

— Извини, — обвела она рукой вокруг стола. — Живу бедно, — и потупила взор.

— Ничего-о, — махнул рукой Павел. — Мы пролетарии, к излишествам не приучены.

Выпили, закусили. Стало веселей, и обстановка и стол для Павла не стали такими уж важными.

— Где работаешь? — спросил он, зная, что Лере еще несколько лет до выхода на пенсию.

Она как-то устало хмыкнула и, глядя в сторону, ответила:

— Безработная. В школе было сокращение. Так, иногда подрабатываю на рынке, кавказцам товар продаю.

Отвечала она скупно, чувствовалось, что не хочет рассказывать о своей жизни, и Павел перестал задавать вопросы.

Подозрения Павла оправдались. На следующее утро Лера встала рано, сказала — должна идти на рынок, привезли партию товара, нужно продать. Вечером явилась пьяная. В последующие дни повторилось то же самое, Павел молчал, думал — буду бороться, поставлю ее на путь трезвости, осилю и эту беду.

Однажды Лера домой не пришла. Начало смеркаться. Павел отправился искать ее. На рынке уже никого не было, лишь дворник, пожилая женщина, подметала асфальт. Рядом с ней играл с кошкой малыш, судя по всему, ее внук.

— Вы Леру не видели? — спросил Павел.

Рынок был маленький, поэтому все друг друга знали. Женщина поманила его к себе, когда он приблизился, шепнула на ухо: «Она в складе» и чекалдыкнула указательным пальцем по кадыку, что обозначало — пьяная. У каждого продавца был свой, маленький склад, сваренный из листов железа, Павел подошел к Лерину, громыхнул ручкой. Никто не ответил. Громыхнул снова — молчание. Тогда он зло пнул ногой дверь, железо оглушительно «запело». Внутри кто-то зашевелился. Вторично ударил ногой, кто-то недовольно заматерился, щелкнул запор, дверь со скрежетом открылась, и перед ним предстал лохматый заспанный мужик с красным испитым лицом, Павел схватил его за отворот мягкого пиджака и швырнул в сторону. Тот упал, поднялся, как-то по-собачьи посмотрел на разъяренного, с побелевшим от гнева лицом Павла, молча побрел на выход.

На тюках с товаром лежала Лера. Юбка ее задралась, в полумраке склада бесстыдно белели ноги. Он схватил ее, рывком поставил вертикально. Она была до того пьяна, что ничего не понимала, трясла головой, мычала. Он несколько раз ударил ее по щекам, она открыла глаза, стала приходить в себя: «Павлу-уса, родненький мой...» На такси он доставил ее домой.

Назавтра она поднялась лишь к обеду. В ночной рубашке добрела до ванной, открыла кран, напилась холодной воды. Вернулась, села на койку, обхватила голову руками, закачалась из стороны в сторону.

— Ты, уходи отсю-юда! Нечего смотреть, как я барахтаюсь в грязи... — с раздражением бросила она в лицо Павлу.

— Заче-ем ты пьешь?

— Не твое дело!

— Ка-ак это не мое-е, ведь мы любили друг друга.

— Все это было давно и неправда. Былое быльем поросло, крапивой, репейником — сорняк он живуч, его теперь до смерти не выкорчуешь.

— Бро-ось ты этот пессимизм, возьмишь за ум, и наладится все, будет и достаток, и жизнь в радость. А то пьешь что попало, где попало, спишь с какими-то подонками...

Она не дала договорить ему, вскинулась всем телом, глаза ее засверкали, заметали молнии:

— Ах ты, воспита-атель! А не ты ли довел меня до такого состояния?! Все думал, примерялся: жениться, не жениться, хотел чистеньким быть, жизнь эту подлюю принципами коммунизма мерил. Где он этот комму-

низм? Где эти принципы морали, чести, порядочности? Все сброшено с пьедестала, все затоптано, все превратилось в грязь. Доллар, золото — вот основа бытия. А вас блаженнейший, картавенский вождь обесял золотуборные построить и свалить туда все деньги и драгоценности мира, создать рай на земле. Создал-ал?! Вот он русский рай — любуйся!! Бывший преподаватель, дама с высшим образованием, вот она, — ткнула себя кулаком в грудь, — пьяница, бомжиха.

— Но ведь основная часть населения живет нормально, в трезвости и порядке, — не согласился он с ее доводами.

— Не основная-ая, — замотала она головой, встала с койки, нервно заходила по комнате. — Далеко не основная. Основная часть населения живет в дерьме, просто никто не подсчитывал — властям это невыгодно. Лись крепкие семейные пары, а их очень маленький процент в обществе, живут, как ты выразился, в трезвости и порядке — вдвоем легче семейный воз тасить, а остальные лись сводят концы с концами. Я тут в одиночестве много размышляла, философствовала и, поверь, — народа у нас нет. Пол-страны воруют: олигархи, криминал, чиновники, пол-страны их охраняют: милиция, ОМОН, расплодился, как грибы-поганки, службы охраны.

— А рабочий класс, крестьянство, пенсионеры — где?! Ты что, их не считаешь?

Он тоже разволновался, зашагал по комнате, они так и ходили параллельными курсами от двери к окну навстречу друг другу.

Это не я, это власть их за народ не считает, как в древние времена не считали рабов. Люди сейчас, как зайцы, слабые, трусливые.

— Во всем виновата любовь...

— Ка-ак это? — вскинулась Лера, и даже ходить перестала, остановилась.

— А так. Раньше жениху невесту выбирали отец и мать, родня, и, поверь, уж за какую-то дурочку или лентяйку свататься не шли. Выбирали невесту, чтобы по всем статьям соответствовала: и здоровая, и работающая, и на личико баская. Соответственно, от такой пары и потомство было богатырское! А сейчас: встретил какую-нибудь задрыгу — любовь, и никакие доводы отца, матери не слушает, женится, а через полгода — развод. Дети от таких браков хилые, нервные — что от них ждать? И потом, разумные девки свое достоинство чтут, на первого попавшегося не кидаются, а шалавые сразу обкрутят парня, подсунут ему оню — он и растаял, рассопливился: люблю и точка, сразу в ЗАГС. Потом хватается за голову, да поздно, «поезд ушел», с горя клепают детей, и растут они, как при дороге трава, без догляда и ласки, и в будущем мало кто из них вершин достигает, обыкновенно, ни богу свечка, ни черту кочерга.

— А, сам-то ты каких народил?! Не таких что ли? Там дочь тебя со свету сживала, и здесь не лучше — мужиков меняет, как перчатки. Ты ей и сто лет не нужен!

— Давай не будем переходить на личности. Я себя не оправдываю. Я тоже порченый — дитя любви, ровесник социализма недоразвитого, помнишь, в семидесятых годах его уже назвали развитым. Но и тебя сын не очень-то балует.

— Ты моего сына не тро-ожь... — она вдруг зарыдала, нервно заколотила руками по груди, рухнула на постель, забила в истерике.

Он склонился над ней, взял за плечи, стал успокаивать.

— Иди-и отсюда!! Ви-идеть тебя не могу. Преда-атель...

Точно ушат ледяной воды обрушился на Павла. Обада захлестнула его. Он молча собрал свои вещи в большую спортивную сумку и ушел.

Судьба нанесла ему тяжелый удар, очередной. Он в нокауте! Если в молодости он отражал эти удары, поднимался, то теперь сделать это очень трудно, почти невозможно. Кому он теперь нужен, больной и старый, без денег, без жилья!

Жизнь делится на три фазы: молодость, зрелая пора, старость. И в каждой из них человек бывает разным. В молодости — идеалист, в зрелую пору — оптимист, в старости — пессимист. У каждого своя судьба: один проживет только первую фазу, второй — две, третий — три. И, пожалуй, счастливее всех тот, который, прожив две фазы, умирает. Он не видит всех мерзостей старости — болезней, страданий, издевательств молодых, презрение общества и подлость государства, бросившего пожилых граждан на произвол судьбы, силы и здоровье свое отдавших на его же построение и процветание.

Приютил его Гурий Овчинников, бывший сосед по общежитию, живущий все в той же комнате, что и тридцать лет назад. Он так и не женился, остался бобылем.

— Живи-и. Койка у меня лишняя есть. Мне все веселей будет, — просто сказал он, выслушав горькую исповедь Павла. — Всяко на свете бывает, гладкой дорогой идешь и то споткнешься.

И зажили они вдвоем. Устраиваться на работу Павел не стал, он не мог без отдыха высидеть восемь часов кряду за аппаратурой, уставал, ему необходимо было хоть полчаса полежать, а приработок к пенсии нашелся прямо в общежитии. Люди узнали, что он хороший радиотелемастер, и понесли ему в ремонт телевизоры, различные приемники. Цены он установил низкие, поэтому от клиентов не было отбоя. Гурий тоже трудился, хотя вышел на пенсию. По вечерам они смотрели телевизор или вели беседы.

— Ну, и что ты заслужил у Родины, что вырастил для нее детей? Пенсии что у тебя, что у меня одинаковые... Вместо благодарности от детей получил проклятия, вместо уважения от общества — презрение: «детей настрогал, а ума не дал — выгнали папашу...» А у меня — никого, и никому ничего я не должен, и похоронят меня так же, как и тебя, в сыру землю! — нежиданно обидчиво ответил Гурий на вопрос Павла: есть ли у него дети.

— А как же власть, государство? Они ведь исчезнут, если не будет молодого поколения? — возразил Павел.

— Всякая власть от дьявола, а государство — машина для закабаления людей.

— Если не будет государства, то нас тотчас поработят соседние страны?!

— Государства должны исчезнуть по всему миру, только тогда люди будут вольными, будут жить по законам природы. И все это произойдет по воле Бога. Это трудно понять: ибо смотрим мы на видимое, а видимое временно. Нужно смотреть на невидимое, оно вечно.

Был Гурий невысок, кричит, густая седая борода закрывала почти все его лицо, лишь маленькие стального цвета глаза, взгляд которых был пристален и колюч, да прямой породистый нос оставались открытыми. Обширная, от самой макушки плешь сливалась с покатым лбом. «Дед-лесовик!» — молча окрестил его Павел. Гурий придерживался старой веры, и хотя об этом никому не рассказывал, все знали и за глаза звали

его кержаком. В молодости он не хороводился с девками, не ходил на танцы, не пил спиртного, жил замкнуто. Физически был силен, и пару раз дал хорошую трепку парням, пытавшимся посмеяться над ним, после чего его оставили в покое. Кроме того, он оказался классным токарем, на станке мог выточить любую тонкую деталь, чем и снискал всеобщее уважение в общепитии. Время от времени он исчезал из поля зрения, и опять же все знали — ушел на Северный Урал к старообрядцам, живущим отдельными деревнями в глухих, недоступных цивилизации, местах, по соседству с вогулами. На всякий вопрос Павла у него находился ответ из Святого писания, казалось — он знает Библию наизусть.

— Не пережива-ай! — успокаивал он Павла. — Ты думаешь — твоя семейная история — трагедия. Не-ет, не трагедия! Это рядовой и часто встречающийся случай. Просто мы глухи к чужой беде и не слышим вопль страждущего. Еще в Евангелии сказано: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч.

Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.

И враги человеку — домашние его.

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня».

Как видишь, все это предусмотрено на небесах...

— Выходит, всей жизнью на земле руководит Иисус Христос, а мы только подопытные кролики. — Павла покорило услышанное, он нервно заерзал на стуле.

— А вы думали, что вы хозяева на земле, свернете горы, осушите моря. Ан нет, все идет по Божьему писанию... Люди за грехи свои, за отречение от Бога наказаны, барахтаются в тьме иродовой, терпят адовы муки. Ты был коммунистом? — он уставился на Павла, сверлил его пристальным взглядом.

— Был. Ну и что?! — Павлу неприятен был этот вопрос.

— А то, если хочешь праведной жизни, иди к Богу, познавай его, и тебе воздастся сторицей. Все беды, как шелуха, отпадут от твоего тела, и твердый целительный устой будет сопровождать тебя до конца дней твоих.

Вода камень точит. Так и Гурий маленькими шажками вел его к Богу, к познанию истины на земле. Когда Павел завел длинный монолог о несправедливости жизни, о том, что судьба жестоко обошлась с ним, оставив его без семьи, без детей, один на один с болезнями, с жадным и злобным обществом, безжалостной старостью, Гурий сказал, как отрезал:

— Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.

Павел сражен был этим высказыванием из Евангелия от Иоанна, его поразило оно суровой правдой бытия, точностью отображения существующей жизни, какой-то простой, доходчивой мудростью. И откуда от этого не денешься, не убежишь, не спрячешься, надо принимать ее, старость, какая она есть — неприглядная, жестокая, неотвратимая.

Он начал успокаиваться, философски смотреть на мир, открыл Библию и неожиданно увлекся ее содержанием. Она отвечала на многие вопросы бытия, над разгадкой которых он бился давно, еще с ранней молодости. Он, будто воочию, прикоснулся к Вечному...

Настала зима. Студеным утром Лера проснулась, тяжело поднялась с койки, глянула в окно. Легкие воздушные льдинки в виде снежинок, звезд, веточек различной формы изукрасили стекла окна. В комнате прохладно, но воздух был бодрым, точно сплошной кислород вливался в сердце. На душе Леры стало уютно, и, несмотря на вчерашнюю попойку, не захотелось опохмеляться. Какой-то целительный бальзам вливался внутрь, и ей вдруг вспомнилось детство, игры на морозе, катание на санках, лыжах, кувырканье в снегу, молодость, первая любовь, Павел... Ей стало так хорошо, будто вернулось устойчивое, размеренное прошлое, с его радостями и горестями, но всегда такое дорогое, милое. Вместо того, чтобы идти на кухню, налить в стакан «паленой» водки и опохмелиться, как всегда она делала по утрам, она отправилась в ванную, набрала воды и искупалась. Горячая ванна выгнала из ее тела пот, вдохнула силу. Несколькими днями она не выходила на улицу, приводила себя в порядок.

В солнечный морозный день сошла она со ступенек подъезда, под ногами аппетитно захрустел снег. Она улыбнулась чему-то и повернула в сторону общежитского городка, где в молодости обитала она, где жил Павел. На ней была старая, но еще приличная черная шубка в талию, зимние ботинки на «рыбьем» меху, на голове — вязаная шерстяная шапочка, та самая, в которой она еще девушкой пришла к Павлу и которую она хранила, как самую драгоценную вещь, как память о том незабываемом дне.

Она подошла к большому пятиэтажному дому еще той добротной сталинской постройки, с широкими окнами, высокими потолками, элементами художественного орнамента в кладке, и замерла. Робость овладела ею. Затем собралась с силами, вошла внутрь. Вахтера, да и самой вахты уже не было, и она свободно поднялась на третий этаж. У двери комнаты Гурия остановилась, она знала, что Павел живет у него. Постучала, никто не ответил. Постучала еще, снова молчание. Предчувствуя недоброе, изо всех сил затарабанила кулаками по двери.

— Вы че хулига-а-ните?! — на пороге соседней комнаты стояла молодая женщина с ребенком на руках.

У Леры кружилась голова, в глазах стоял серый туман. Чтоб не упасть, она облокотилась о косяк. Женщина с удивлением смотрела на странную посетительницу и тоже молчала. Наконец Лера пришла в себя, спросила:

— Где Павел Евстратов?

— Он с Гурием ушел в скит, к раскольникам.

— Когда они вернуться? — У Леры еще теплилась надежда на лучшее.

— Никогда.

— Они вам об этом сказали?

— Не-ет, — женщине стало жалко посетительницу, она увидела, как та страдает, уже мягче пояснила: — Они сдали ключи и выписались из общежития. На их место уже заселяют новых жильцов.

— Павел ничего не передавал? — зная, что задает бесполезный вопрос, все же спросила она.

Женщина отрицательно помотала головой и, качнув на руках ребенка, начавшего плакать, скрылась в комнате.

Лера спустилась вниз. Внутри ее все оборвалось, холод и безразличие сковали волю, обида волной подкатывала к горлу, и ей казалось — она сейчас задохнется от горя. «Уе-ехал!! Даже не сказал?! Больше его не увижу. Потух последний огонек...» После этого она ушла в запой.

Бьюжным вечером, когда уже начало смеркаться, перед общежити-

ем, со стороны небольшого сквера появилась женщина. Она встала напротив одного из окон на третьем этаже и, схватившись руками за голову, закачалась, как рябина на ветру. Если б кто из редких прохожих подошел к ней поближе, услышал бы: «Павлуса, радость моя, я присла к тебе. Милый мой...» Это была Лера.

Вьюга свирепела. Она прошивала сквер между двумя общежитиями насквозь. Невысокие чахлые березки, осины, тополя гнулись под напором ветра, трепетали голыми ветвями, наиболее слабые из ветвей не выдерживали, ломались и с треском падали на землю. Снег не был густым, но сек лицо ледяной крупой, заставлял отворачиваться, подставлять ему бок или спину.

Лера почувствовала холод, хоть и была пьяна. Сильнее запахла пальто, укуталась в шаль. Зачем сюда пришла — она не могла объяснить, неведомая сила привела ее в этот сквер, под окно комнаты Павла, где она когда-то была счастлива.

Мороз с ветром пробирал до костей. Она окинула взглядом вокруг, взгляд ее задержался на бетонной опоре скамейки, едва выглядывавшей из сугроба. С силой вытягивая ноги в смерзшихся ботинках из снега, она вышла на дорожку, бегущую через сквер и соединяющую два общежития. Присела на опору, вытащила из-за пазухи бутылку. В ней плескалась коричневая жидкость «бормотуха». Она целое утро упрашивала соседку, изготовлявшую эту дурманящую брагу, дать в долг бутылку. Соседка, пожилая толстая баба, ни в какую не соглашалась, требовала денег или что-то взамен. У Леры ничего не было, днем раньше она продала последнюю вещь в доме — кровать — и теперь спала на полу. Все же соседка сжалилась, налила «бормотухи». Чего только не добавляла в эту брагу соседка — ацетон, табак, таблетки разные, смесь получалась «атомная», с ног сшибала, кого и намертво. Но спрос был, был у соседки и доход.

Лера приложила к бутылке, сделала несколько глотков, скривилась, закашлялась. Немного отдышавшись, снова приложила. В голове словно бомба разорвалась, ее закружило, перед глазами поплыли темные круги, но стало теплее, покойнее.

Она с усилием поднялась с бетонной опоры, ее шатнуло в одну, другую сторону, но, качаясь, она упорно шла на старое место, к окну, в котором приветливо светился желтый квадрат. Сделала несколько шагов в сугроб и упала. Идти больше не было мочи. Начала барахтаться, пытаюсь встать, но сил не хватило, смогла лишь повернуться на спину.

Глаза ее были открыты. Ей показалось — на нее летит что-то большое белое, какая-то птица. «Это же лебедь, лебедь белая. Павел рассказывал, как он опустил мои письма в Дон, и как они встопорщились, точно крылья расправили, и поплыли вдоль зеленых берегов к южным палестинам, гордые посланцы любви...» Вдруг лебедь превратилась в черного коршуна, он тяжело упал на нее и мощным клювом стал разрывать ей грудь, когтями резать живот — невыносимая боль пронзила все ее тело. Она закричала или пыталась закричать — сознание на какой-то миг вернулось к ней, и за этот краткий миг вся ее жизнь, все родные лица: сына, матери, отца и завершающим любушки Павла промелькнули перед ней, и темнота вновь опустилась на ее чело.

Мимо прошла молодая парочка, парень без шапки, с заиндевевшими длинными волосами, дама средних лет, мужчина в овчинном полушубке, и никто не подошел к стонущей женщине, не помог.

Дворник, старик-пенсионер, возвращался домой из соседнего общежития. Увидев в снегу лежащую без движения Леру, кисло поморщился: «Только мертвецов на участке мне и не хватало?! Затаскают по судам?!» И тут же вызвал «скорую помощь».

Лера металась в бреду, больничная койка скрипела под ней всеми своими сочленениями. Ей виделось, ее, как бомжиху, хоронят в полиэтиленовом мешке. Она пытается вырваться из тесных объятий мешка, кричит, но ее никто не слышит, могильщики, как истуканы, механически выполняют свою работу. Вот ее опускают в глубокую холодную щель земли, она из последних сил делает рывок, чтоб освободиться... и ночь забытья отступила, глазам открылся мягкий свет палаты.

Первое, что она увидела — лицо Павла, склонившегося над ней.





Юрий Данилович Гончаров (1923—2013). Родился в Воронеже. Автор более тридцати книг, среди которых «Повесть о ровеснике», «Дезертир», «Целую Ваши руки», «Верность и терпение», «В голубом блеске Альтаира». Лауреат премии Союза писателей РСФСР, Государственной премии РСФСР, Воронежской областной премии имени А.П. Платонова. Участник Великой Отечественной войны, кавалер многих правительственных наград. Член Союза писателей России.

Юрий Гончаров

**ПАРИЖ,
ГОСПОДА ПОРУЧИКИ
И БУТЫЛКА РУССКОЙ,
СОРОКАГРАДУСНОЙ
БУТУРЛИНОВСКОЙ
ВОДКИ**

Повесть

1

Было время, кстати, не такое уж далекое, когда я, как большинство подобных мне советских граждан, жил с убеждением в душе, что никогда ни в каких настоящих заграницах мне не побывать. Мир широк и заманчив, во все концы планеты летят самолеты с пассажирами, мчатся комфортабельные поезда, протянулись бетонные и асфальтированные автомагистрали, народы разных стран беспрепятственно ездят друг к другу с различного рода делами, просто из любопытства и развлечения. Только нам, советским людям и жителям других соцстран, никуда нельзя. Сиди в пределах своей страны, очерченных строгими государственными границами, и не рыпайся за проведенную черту. Почему? Ни устно, ни письменно про это нигде не сказано, как будто все ясно само собой и не

требует никаких объяснений и доказательств. В капиталистическом мире — что? Только гниение и разложение, моральный упадок, деградация. Зачем здоровым, крепким морально и физически, воспитанным в правильном идейном духе советским людям туда стремиться, там бывать? Только набираться чуждого, зловредного для нас духа. А если кто мечтает пройтись по бульварам Парижа, поглядеть собственными глазами на дымящий Везувий, небоскребы Нью-Йорка, вознесшиеся на головокружительную высоту — так это явно не вполне наш или совсем не наш человек, и надо хорошенько разобраться, зачем ему это нужно: парижские бульвары, Бродвей и небоскребы, что он на самом деле прячет за такими своими мечтами?

Но время все-таки мало-помалу двигалось вперед, наступали перемены. Умер великий вождь всех времен и народов, оплаканный населением всей страны, которое он не слишком жалел, осуществляя свои планы создания государства, мощного производительными силами, несокрушимого никакой войной. И не слишком сытно кормил, даже многомиллионную красную армию, которой предстояло сразиться с грозной германской военной машиной. По словам маршала Еременко, написанных в его мемуарах, взгляд на продовольственное снабжение советских дивизий у будущего главнокомандующего был таков: «Наш русский солдат — особый солдат, ему много не надо. Пара сухариков с кипятком — вот уже и пища. Солдат сыт и доволен...»

С уходом с исторической сцены, от руля правления величайшего вождя и полководца вскоре стало меняться отношение ко многим важнейшим сторонам прежнего времени, в том числе и к контактам с настоящей границей и тамошними людьми. А дальше стало возможным и попроситься в туристическую поездку за пределы страны. Правда, пока только туда, где такой же, аналогичный нашему, коммунистический режим и всю жизнь руководят партийные, с коммунистической идеологией, люди, тщательно отобранные на свои посты, прошедшие сквозь мелкие проверочные сита, находящиеся под неустанным контролем вождей Советского Союза. Не смеющие шагу шагнуть или что-либо предпринять самостоятельно, по собственному разумению, без согласования с Москвой и ее полного одобрения.

Поездки осуществлялись только группами человек в двадцать, тридцать, попасть в них было непросто, желающие подвергались строгому просеиванию, маршруты поездок были отработаны в мельчайших деталях, предводительствовали туристами и решали в ходе поездок все вопросы строгие начальники с волевыми, жесткими лицами. Себя они представляли как работников профсоюзной системы, но всем было понятно, что они являются штатными сотрудниками совсем иной системы, иного ведомства, в котором все в нем служащие имеют звания, как в армии, и хотя ходят в штатском, но у каждого дома в шкафу висит схожая с воинской форма, украшенная офицерскими погонами. Только окантовка на них не красная, а синяя. Пожалуй, даже не совсем синяя — голубая, заставляющая вспомнить: «И вы, мундиры голубые...»

Не всем нравились происходившие в укладе жизни, правилах и законах перемены, не все их одобряли и приветствовали, но дух наступивших времен действовал неодолимо, происходило нечто подобное тому, что бывает в природе, когда после ледяной стужи и долгого зимнего ненастья начинается на реках повсеместно трескаться лед, пласты его сдвигают-

ся со своих мест, над ними проносятся буйные ветры, несущие в себе уже забытое тепло, еще более увеличивая начавшееся движение. В конце-концов, всем этим процессом начинает открыто и властно командовать долгожданная весна, срок которой пришел, и уже ничто не может остановить ее приход в мир, а тем более повернуть ее вспять, прекратить ту решительную ломку, что она принесла с собою.

Наступление новой эры ощущали все слои общества, и в городе, и в деревне; пока еще не слишком смело, преодолевая привычную рабскую боязливость и откровенный страх, зазвучал голос литературы. Как одно из первых приветствий происходящему в стране появился роман, так прямо и называвшийся: «Оттепель». Наверное, среди грамотных, читающих книги и журналы людей не было ни одного, кто бы тут же не кинулся разузнавать, где он напечатан, и взахлеб, жадно читать его страницы. Читатель удивляла отвага автора, взявшегося печатно, большим тиражом первым сказать про то, о чем большинство других литераторов, хорошо помнивших совсем еще недавние времена «ежовых рукавиц» предпочитало пока выжидательно молчать.

И вот однажды наступил день, когда в квартире моей раздался телефонный звонок и голос одного из сотрудников Правления писательского союза в Москве спросил меня: не хотел бы я поехать с группой писателей из разных городов и областей России на две недели в Париж: ознакомиться с достопримечательностями французской столицы, ее музеями, памятниками старины, концертными залами, побывать в рабочих районах, в которых правят депутаты из самих же рабочих, местных жителей; эти районы окружают Париж сплошным кольцом и носят название «красного пояса» французской столицы.

Париж, как вся Франция, дорогой город, самый дорогой в Европе, полная стоимость путевки для кармана обыкновенного советского человека тяжела, но писательский союз по инициативе его руководителя Сергея Владимировича Михалкова берет на себя значительную долю расходов, участники поездки платят только половину той суммы, что полагалось бы им заплатить.

Хотел бы я поехать в Париж?.. Да я даже мечтать об этом не мог! Во сне мне такое не снилось. Даже если бы за те большие деньги, от которых уберег своим вмешательством будущих туристов Михалков, и то я воспринял бы предложение из Москвы как большую и неожиданную удачу. «Париж стоит мессы», — так, кажется, сказал один из претендентов на французский королевский престол, которому, чтобы стать королем, надлежало поменять религию, сделаться из протестанта католиком. Или наоборот. А тут всего лишь какие-то наши советские бумажные рубли, имеющие чисто условную ценность и хождение только у нас в стране, а во всем остальном мире — просто ничего не значащие бумажки... Эти бумажки приходят и уходят из рук, как вода. Их все равно не удержишь, потратишь на что-нибудь, на какую-нибудь ерунду, потому что хороших, стоящих товаров в продаже нет или совсем мало. А воспоминания остаются с тобой на всю твою дальнейшую жизнь. Если Париж стоит мессы, то что уж говорить о каких-то бумажных рублях!..

Я тут же перестал думать о финансовой стороне заграничной поездки, потому что гораздо важнее была другая сторона, возникшая в душе ощутимой тяжестью: сумею ли я успешно и в надлежащий срок оформить нужные для выезда за рубеж бумаги?

Прежде всего надо было получить так называемую «характеристику-рекомендацию». Ее выдавали в том учреждении, в котором работаешь, где сотрудники и руководство знают тебя несколько лет по совместной работе, все твои положительные и отрицательные качества. Действительна, имеет силу такая бумага только при наличии подписи трех лиц, так называемого «треугольника»: директора предприятия или учреждения, парторга и профорга. Я работал в редакции журнала «Подъём», редактором, то есть главным лицом, был Федор Сергеевич Волохов, — он и должен был первым подписать характеристику. Затем, украшенная еще двумя подписями, подкрепленная печатями, эта бумага передавалась в райком партии на рассмотрение и утверждение. Там ее запросто могли отклонить, потому что, утвердив, тоже несли ответственность за поехавшего за границу, а кому охота поручаться за незнакомого, в сущности, человека? Мало ли с какими целями он стремится выехать за рубеж, мало ли что взбредет там ему в голову и сумеет он там натворить?

В случае утверждения характеристика, несомненно, попадала дальше еще на один контроль — в руки людей с голубым кантом на погонах, висящих в домашнем платяном шкафу. Это был самый главный решающий этап в получении «добро» на выезд. Но о нем открыто не говорилось, многие из туристов даже не знали и не догадывались, что существует такой контроль.

Я-то знал о нем от других, побывавших в турпоездках, но больше беспокоили меня не райкомовские секретари, не незнакомые люди в штатском, но с воинскими званиями, они серьезные и деловитые, вряд ли у них имеются ко мне какие-либо претензии, по которым они вычеркнут меня из списка, а первый начальный этап: получение рекомендации из той среды, в которой я вращаюсь ежедневно. Что такое «коллектив», частью которого являешься, какие порой действуют в нем слухи, мнения, оговоры, прямая клевета, затаенные обиды и жажда, выжидание лишь случая выместить свои недобрые чувства, какая царствует порой неоправданная, безосновательная предвзятость — всем известно. Писатели-юмористы прошлого и настоящего именно из этого источника черпали и черпают свои сюжеты, и еще долго будут черпать, потому что он вечен, неиссякаем, хватит на всех Гоголей, Щедриных и Жванецких будущего, сколько бы их ни родилось во все дальнейшие, предстоящие времена.

Волохов был старше меня на десять лет, стал писать и публиковать рассказы еще до войны, сразу же обратил на себя внимание читателей и литературных критиков. Тогда же издал книжку под названием «Кленовые листья». На войне провел все четыре года, пришел с нее майором. Я его видел в те его первые дни после возвращения «на гражданку»: щегольские хромовые сапоги, галифе из тонкого сукна, сшитые не в обычной военторговской портняжной мастерской, а, несомненно, у частного, отменным специалистом, где-нибудь в Польше или в Австрии, где Волохов побывал. Кожаное пальто с поясом, облитое глянцем, точно по фигуре, по росту. Тоже, видать, сшито на заказ, и тоже большим мастером. Фуражка — не тот мятый блин, как на большинстве фронтовиков, вымоченный множеством дождей, выгоревший почти добела на палящем солнце, обдутый пыльными ветрами, лежавший сотни раз на ночлегах под головой вместо подушки, а совсем свеженькая, новенькая, недавно сшитая, и тоже отменным мастером-умельцем, из такого же

тонкого высокосортного сукна, как и галифе, с пружинным стальным обручем, вставленным внутрь, делающим верх фуражки абсолютно плоским, абсолютно круглым, словно по циркулю. Волохов надевал ее на свою голову с оттенком какой-то показной лихости, опустил козырек ниже обычного на глаза, а всю фуражку слегка скосив на левое ухо. До войны он успел получить высшее образование в нашем воронежском сельскохозяйственном институте, обрел диплом агронома. Большое достижение по тем временам, серьезная, уважаемая, повсеместно требующаяся профессия. Но на войне агрономы не нужны. На войне Волохов служил в Смерше, особом органе контрразведки, страшном для врагов, и в такой же мере, если не больше, страшном для своих, нацеленном на вылавливание шпионов, диверсантов, вражеских лазутчиков, а также всех, чем-либо на них похожих, вызывающих подозрение, желание основательно «разобраться».

Когда человек долго находится в какой-либо среде и она на него непрерывно воздействует — это отражается даже на внешности человека, в ней появляются новые, определенные черты. За четыре года своей осанкой, манерами, выражением глаз Волохов стал похож на своих сотоварищей, почти их точной копией. Даже фуражку привык носить на себе с таким же молодечеством, лихостью, задором, с какими делали это все они. А почему все они делали так — неизвестно. То ли профессия их к этому обязывала, таким образом в них отражалась, то ли такого рода детальки были их клановым признаком, помогали сразу же во всех обстоятельствах узнавать друг друга, принадлежность к определенной категории службистов. А еще, наверное, потому, что все смершисты были молоды, крепки, здоровы, а война уже шла к концу, Германия опускалась на колени, и в каждом из участников войны, в одних видно, в других не слишком, но уже играло торжество победителей.

Волохов даже перчатки из тонкой черной кожи всегда с собою носил. Хотя они были ему совсем не нужны. Летом, в жаркую пору — зачем носить с собою перчатки? Не надетыми на руки, а просто в одной руке, сплюснутыми, скрученными в жгут. Причем — всегда в левой. Такие тонкие, фасонистые, неизвестно для чего носимые с собой перчатки, даже в сухую теплую погоду, можно было увидеть тоже только у смершистов, больше ни у кого.

Мы с ним дружили, я ценил его писательский дар, его рассказы, собранные в книжке «Кленовые листья». Я прочитал ее еще до войны, школьником. Правда, смущало, что рассказы Волохова слишком явно отдают ранним Буниным. И еще в них сквозило что-то чеховское. И от Тургенева. Очень пластичный, музыкальный язык, все, чего касается автор, выписано зримо, кажется — оно прямо перед тобой, можно даже потрогать руками.

Каждый писатель находит для себя каких-то учителей, начинает, как правило, с подражаний. Волохов не подражал, у него были свои темы, образы, человеческие характеры, взятые из жизни, увиденные им среди окружающих людей, но у кого он учился, кто были его литературными наставниками — угадывалось сразу, на первых же его страницах.

Волохову нравилось мое восприятие его рассказов, это сильно сблизало нас. Но все же я был не уверен — подпишет ли он характеристику? Выше я уже кратко упомянул, что подпись под такого рода докумен-

тами — это ручательство за человека, за все, что он совершит, оказавшись за рубежом. И в случае чего — ответ, расплата за него своим партийным билетом, своей должностью, всей своей дальнейшей судьбой, благополучием своим и своей семьей. Ведь все-таки Волохов из Смерша, а бывших чекистов, контрразведчиков не бывает. Даже выйдя в отставку, находясь в запасе. Они готовы к действию в любой момент, как бы продолжают нести свою службу. Эти слова постоянно в ходу, произносятся, как истина, которая не нуждается в подтверждении, в проверке. Особый, специфический взгляд на всех прочих людей, какой имеют смершисты, въедается крепко, неотторжимо, пронизывает сознание и подсознание насквозь, становится второй натурой. Как правило — уже на всю жизнь. С ним не распрощаешься. Если четыре года тебя воспитывали на недоверии и подозрительности, и воспитатели знали свое дело, твои успехи — ты уже никогда не забудешь преподанных тебе наук, твое сознание, а тем более подсознание уже никогда от них не очистятся.

Отдав Волохову напечатанную на плотном листе бумаги характеристику-рекомендацию, я ждал, что Федор заведет со мной какие-нибудь предварительные разговоры, устроит что-нибудь вроде прощупывания. Но на следующий же день, придя в редакцию и встретившись с ним, я от него услышал:

— Подписал я твою подорожную. Вали с богом. Сигареты мне только привези французские. Всякие курил: турецкие, румынские, английские, американские. Эту дрянь несусветную, немецкие, какими они своих солдат в окопах снабжали, просто из бумаги, с какой-то пахучей пропиткой. А французские не доводилось. Но, смотри, — если удерешь, не вернешься, лучше тогда мне не попадайся. Живым тебе не быть.

— Париж — город большой. Не найдешь, заблудишься, — пошутил я.

— Это я-то заблужусь? — вскипел Волохов. Даже без всякой шутовщины в голосе и в лице. — Да ты знаешь, как я по Вене ходил уже на второй день, как мы ее взяли? Как по своему Воронежу!

— Не волнуйся, — сказал я. — Может, еще и не быть мне в Париже. Вот не подпишут парторг и профорг — и хана, накрылся для меня Париж.

— Как это могут они не подписать, если я, главный редактор, подписал!

И Волохов грозно напыжился, принял осанистую позу, как он умел это делать, когда в нем вскипала горделивость. Он любил себя чувствовать и показывать значительным, важным лицом. Родился и вырос он в простом русском селе, на курщине, все его родичи знали лишь одно простое крестьянское дело: пахали землю, сеяли пшеницу и рожь. Деды и отцы управлялись сошками, однолемешными плужками, в тридцатые годы, в колхозную пору, кто помоложе, сноровистей, башковитей, пересели с конных упряжек на трактора. Мальчишкой, школьником, Федор тоже грезил трактором. Держишься за его руль, тянется за железной машиной новая борозда, а трактор рычит, пятнадцать лошадиных сил в нем, сразу пятнадцать лошадей в твоих руках!

Но гордыня в Волохове порой проявлялась совсем барская — не во всяком дворянине-помещике даже в расцвет крепостничества столько умещалось...

Мне и сейчас смешно вспоминать, сколько вещей я собирался потащить с собою в Париж.

У Бориса Цуканова, моего давнего приятеля, артиста драматического театра, с которым мы были одного роста и одного сложения, я выпросил импортный костюм темного цвета. Борис надевал его только на концертные выступления в заводских и районных клубах, когда он и его друзья-артисты ради побочных заработков отправлялись в гастрольные поездки по области. Чтобы обрести такой костюм, совершенно необходимый при актерской профессии, Борис копил деньги чуть ли не год, экономил на самом насущном. Вместо приличных сигарет курил только дешевую усманскую «Приму», не пил пива с друзьями — ни бутылочного, ни даже бочкового. А это была его многолетняя привычка. И не просто привычка, а, можно сказать, страсть. Давать мне этот свой, доставшийся ему такой дорогой ценою, тщательно оберегаемый костюм, успешно помогавший прирабатывать совсем не лишние рубли, Борису очень не хотелось. Но он был добрый, услужливый малый, и в конце-концов под моим напором не устоял. Подействовало то, что костюм поедет не куда-нибудь, не в Рязань, не в Калугу, не в наши районные воронежские Синие Липяги без единой мощеной улицы или тротуара, а в Париж. В Париж, черт возьми! Вытаскивая из шкафа свой драгоценный костюм, Борис все же взял с меня твердое слово, что в рестораны или на какое-либо пиршество, если такое случится, в его костюме я не пойду, ибо там можно залить его вином, подливкой или соусом, заляпать кремом пирожного или торта, и тогда костюм погиб безвозвратно, никто и ничем его уже не отмоеет и не отчистит.

Я охотно заверил Бориса, что исполню его приказание. Костюм нужен мне отнюдь не для ресторанов, не для участия в пирушках, да и вряд ли они ожидают писательскую группу во французской столице. А вот посещение театра наверняка произойдет. Может быть даже знаменитой Гранд-опера. И в чем же идти мне в театр? В своем повседневном пиджачишке, который я таскаю на себе и на службу, и дома? Нас же, людей из Советского Союза, там, в Париже, наверняка будут пристрастно рассматривать. А своим порядком затрепанным пиджачком я буду только позорить страну победившего социализма, наши всемирно известные достижения, наш замечательный, самый лучший в мире образ жизни. Не знаю, как другие участники туристической группы, которых мне предстояло увидеть только уже в московском аэропорту, перед самым отлетом, но я в своем Воронеже, собираясь, полагал, что на случай театра в Париже, даже не Гранд-опера, просто какого-нибудь театра, обязательно надо иметь в запасе свежий, европейского вида, вечерний костюм. Белая сорочка с твердым воротничком, полагающаяся при таком костюме, у меня имелась. Галстук-бабочку одолжил мне тот же Боря Цуканов.

Едва я достал и приготовил для укладки в чемодан сорочку, как мне пришлось в голову, что посещения театра, возможно, будет не одно. Надевать на себя сорочку второй раз — не годится, у нее будет уже несвежий вид, заметный постороннему взгляду, а это на языке Запада — «моветон», признак дурного воспитания, дурного вкуса, опять же бросает тень на репутацию человека из Советского Союза и на сам наш доблестный Союз.

Нет, достоинство и честь должны быть на высоте!

И я к чемоданной поклаже добавил еще две рубашки. Они были тоже белые, но не совсем, одна в легкую крапинку, другая в полоску. К каждой требовался еще галстук, в тон, и я прибавил два полосатых, уже обычных, до пояса, галстука с мельхиоровыми зажимами.

Но сорочка и рубашки обязательно изомнутся в чемодане за время пути. Их необходимо будет прогладить перед тем, как надевать на себя. А для этого нужен электрический утюг. Лучше — небольшой портативный утюжок.

Такой утюжок у меня был. Легкий, весом всего в полкило, в ладонь величиной. Большую вещь им не погладишь, замучаешься, а для рубашек он годится вполне.

Но Борис, увидев мой утюжок, в категорической форме сказал, что брать его не стоит. Группа актеров из его театра ездила недавно с показом чеховского «Вишневого сада» в Чехословакию, брали с собой электрические кипятильники, чтобы по утрам не бегать в ресторанные буфеты, а варить кофе самим, в своих номерах, так ни одной чашки выпить таким способом им не удалось. Оказывается, везде за границей совсем иное устройство электрических розеток и вилок, что в них втыкаются; обращайся к портье, получишь переходное устройство. Разумеется, не за так, за деньги. За границей вообще за бесплатно ни на что не надейся, только за деньги. Извлекают выгоду решительно из всего.

А утюгами вообще самостоятельно пользоваться нельзя. Просто по шее дадут за это. Надо погладить — тоже обращайся к гостиничному портье, он пришлет особую служительницу, она заберет твои вещишки, выгладит, принесет назад в виде аккуратной стопочки. Залюбуешься! Но тоже, конечно, за деньги. И немалые. Так что бери с собой не утюг, а побольше звонкой монеты.

К вечернему костюму и галстуку-бабочке я собирался взять еще новые лакированные полуботинки. Но раз не будет утюга, нельзя погладить сорочку, а денег наверняка туристам дадут мало, в обрез, то не стоит везти с собой вообще это все: костюм, лакированные ботинки, галстуки, рубашки, все прочее.

Постепенно, по зрелому размышлению, высившаяся на диване внушительная куча заготовленных вещей превратилась совсем в маленькую. Короче: намеренный для поездки чемодан так и остался пустым, в кладовой, а уезжал я только с дорожным портфелем, с которым обычно ездил в служебные командировки. Основное содержание его составляли два фотоаппарата, набор объективов, кассеты с цветной и черно-белой фотопленкой. Еще в нем лежали туалетные принадлежности, смена носков и нижнего белья, маленький батарейный радиоприемник — слушать в Париже Москву, последние известия на русском языке. На оставшееся место я всунул две поллитровых бутылки водки. По правилам можно было взять с собою четыре, но влезало только две. Пригодятся. Особого пристрастия к алкоголю у меня нет, но вечером, перед ужином, устав и наломав, намучив ноги в дневных экскурсиях по городу, по музеям и выставкам, только рюмка сорокаградусной поможет быстро скинуть с себя усталость, унять ломоту в ногах, а душе вернуть необходимую ей отраду и живое настроение.

Покупал я водку в спешке, в день отъезда в Москву на самолет, хорошей в магазине не оказалось, в этот день ее уже успели разобрать, была только бутурлиновского производства. Бутурлиновка — родина моей мамы. Все, что относится к Бутурлиновке, имеет на себе ее печать, хоть

какое-то касание — для меня наполнено особыми родственными чувствами, особым содержанием и смыслом. Но, забирая с прилавка бутурлиновскую водку, я подсадовал. Все-таки было бы лучше, если бы я положил в свой дорожный портфель московскую «белоголовую». Или хотя бы нашу воронежскую, но тоже с белой сургучной головкой, того завода, что считается для всей области образцовым, словно старинный замок с давних, еще дореволюционных времен, стоит на одной из окраинных улиц.

Не знал я и не догадывался, даже краешком сознания не предвидел, когда, давая в себе досаду, помещал я в объемистый портфель бутылки со скромными, неброскими, зеленовато-серыми этикетками, какая судьба ожидает одну из этих бутылок, изготовленных на бутурлиновской земле. Какая свяжется с ней необычная история — и останется в моей душе, в моем сердце на долгие, долгие годы. Пройдут десятилетия, а я все буду снова и снова ее вспоминать...

3

Над полем московского аэродрома висело низкое серое небо, моментами сыпал мелкий холодный дождь. Было бы странно, если бы картина была другой. Кончался октябрь, осень делала свое, положенное ей, унылое дело. Казалось, в такую погоду наш самолет не полетит. Они вообще не должны и не могут летать в такую погоду.

Но подошло означенное в расписании время, и внутреннее радио громко объявило на весь колоссальных размеров, гулкий зал: «Начинается регистрация пассажиров на рейс Москва-Париж».

К стойке с названным номером быстро выстроилась довольно длинная очередь.

Состав нашей писательской группы я уже знал. Кто же все остальные, что летят в Париж?

Пять-шесть французов, они легко определялись по чемоданам и сумкам не нашего вида и устройства, пестрым клетчатым курткам, беретам и плоским кепочкам, какие у нас не шьют и не носят. И еще их выдавали прически: спереди волосы ежиком, торчком, сзади лежат на шее — точь-в-точь как у знаменитого киноартиста Жерара Филиппа, чья слава и популярность сверкали на самом пике.

Все другие — наши соотечественники самой обыкновенной наружности, каких можно встретить в любом трамвае или автобусе, в самолете на Ростов, что на Дону, в Казань или в Вологду. Обращал на себя внимание лишь очень пожилой армянин в длинном синем плаще, грузного сложения, с тяжелыми крупными складками на кирпичного цвета лице. Голову его покрывала мятая шляпа, густые патлы серо-седых волос клубились под ее полями, словно дым только что раскуренной сигары или трубки.

Старика армянина провожали две женщины армянки и красивый, высокого роста, слегка на него похожий юноша. Возможно, его сын. В руках старика была небольшая сетчатая сумка, с какими ходят на базар, чтобы купить немного снеди к домашнему обеденному столу. Он-то зачем в Париж, что ему там понадобилось? Сходить с этой сумкой на площадь, где находится так называемое «чрево» — главный пищевой рынок города? Так его стали уже сносить, об этом написано в газетах, известно всему миру и вызывает грусть и сожаление, потому что «чрево

Парижа» — достопримечательность, не меньшая, чем башня Эйфеля, Лувр и плоская вершина горы Монмартр, на которой исстари ютятся художники со своими мольбертами, красками и кистями. Беспощадно ломают ларьки, простоявшие по двести и более лет, мясные лавки с подвалами, набитыми льдом. Лед положен еще во времена Наполеона — и не тает, такова особенность этих подвалов. Для многих парижан уничтожение «чрева» — это трагедия, ломка всей привычной жизни. Исчезнут торговцы, которых знаешь долгие годы, а они также долго знают тысячи парижан как своих постоянных, проверенных покупателей, отпускают им любой товар даже без денег и без письменной записи, под одно лишь словесное обещание рассчитаться на следующей неделе. Придется ездить за покупками куда-то далеко, в совсем другие, незнакомые уголки и районы Парижа, спускаться с тяжелыми сумками в метро и подниматься из него на поверхность земли или трястись в плотно набитых пассажирами тесных автобусах. Общественный транспорт везде одинаково неласков к тем, кто им пользуется, во Франции он точно такой же, как в самых густонаселенных городах Японии или нашем провинциальном Торжке.

Должен отметить, не только регистрация билетов, взвешивание на весах чемоданов и прочих вещей, сдача их в багаж выглядели обыкновенно, как на наших внутренних рейсах, но и все остальное: вхождение по трапу в самолет, размещение по пассажирским креслам. Слово и не за рубеж, в Париж, в сказочный, вождеденный для многих Париж мы направлялись, а куда-нибудь не слишком далеко, на своей территории — в Ростов-на-Дону или в Вологду.

Это сходство увеличилось еще больше, когда минут через тридцать-сорок после взлета и набора высоты бортпроводницы стали разносить по салону и раздавать пассажирам пластмассовые подносики с завтраком, и на них вместе с черным горячим кофе в пластмассовых стаканчиках на таких же белых пластмассовых тарелочках лежали синеватые, тугие куски вареной курицы, которыми наш Аэрофлот неизменно кормит всех своих пассажиров, куда бы они ни летели: на юг или на север, в Магадан, Владивосток или вот как мы — на Запад, в Париж. Мне не раз приходилось летать на внутренних линиях — в Сочи, Симферополь, и я уже отлично знал качество и свойства этих аэрофлотских кур: они всегда напловину недоварены и не посолены; чтобы их жевать — нужны крепкие звериные зубы и челюсти, а обычные человеческие всегда оказываются слабы, маломощны.

Такой же точно оказалась курица, что сопровождала меня в Париж. Но ничем иным бортовая кухня не располагала, ничего другого подать бортпроводницы не могли. А есть хотелось, было самое время утреннего завтрака. Без особого удовольствия пришлось взяться за синюшную, тугую, как резина автомобильных шин, аэрофлотскую курицу, либо кем-то придушенную, либо скончавшуюся собственной голодной смертью.

Самолет, одолевший всю облачную толщу хмурого осеннего неба, летел поверх нее в безмятежно-спокойной густой синеве чистого неба. Движение его, равное почти тысячи километров в час, было неощутимо, казалось, он просто стоит на одном месте и только не слишком сильно и громко, без всякой натуги, шипит своими реактивными турбинами.

— Пролетаем над Варшавой, — сказала бортпроводница, проходя по салону.

Через какое-то время в кресло рядом со мной опустился Владимир

Дягилев, живущий в Ленинграде. Это было его место. Как только взлетели и прозвучало разрешение отстегнуть ремни, желающие могут курить, посещать туалет, он ушел на другой конец фюзеляжа к знакомому литератору из Башкирии, сел там играть с ним в карманные шахматы. Все партии он проиграл, хотя, садясь за доску, был уверен, что все их выиграет. Проигрывать он не любил, и поэтому лицо его было мрачным. Косым взглядом он посмотрел на мой поднос с куриными костями, на мои измазанные руки, которые я вытирал бумажной салфеткой, сказал:

— Ты все еще с курицей возишься? Закругляйся, самолет уже на снижение пошел, скоро Париж.

— Как Париж? Так быстро? Да не может же этого быть!

— Почему не может? От Москвы до Парижа две тысячи семьсот километров, наш «Ту» одолевает почти тысячу километров в час, прошло, как покинули Москву, уже около двух часов...

До чего же мала Европа!

Что же происходило в небесах, когда шла война с фашистской Германией! Немецкие бомбардировщики, поднявшись где-нибудь в средней части своей страны, уже через тридцать-сорок минут достигали английских берегов; найдя цель, сбрасывали бомбы. И так же точно в ответ действовали англичане на своих бомбовозах. А потом американцы на «летающих крепостях», когда включились в войну на европейском континенте и стали базироваться в Англии: взлетев и набрав высоту, почти тут же опорожнялись над Германией свои бомбовые кладовые. Возвращались, наполняли их снова — и снова высыпали десятки и сотни тонн чугунных чушек со взрывчатой начинкой на головы немцев, на корпуса военных заводов, на железнодорожные узлы с паутинным сплетением рельс. И так совершало каждое авиационное соединение по несколько раз в сутки — пока глаза летчиков могли видеть, а руки — держать штурвалы своих гигантских летающих машин.

Теперь скорости всех военных механизмов гораздо выше, разрушительная мощь всех средств гораздо сильнее. Неужели возможна еще одна война на маленьком европейском пятачке? Что же после нее останется от все еще прекрасных городов с тысячелетней историей, целых стран?

Самолет действительно опускался. Делал он это ступеньками, как и поднимался вверх. Мягкий провал на триста, четыреста метров, затем воздух, точно обретая утраченную плотность, снова подпирал крылья, самолет несколько минут идет ровно, как бы по длинной площадке, и снова мягкий нырок вниз...

В прогалах облачного слоя под самолетом показывалась и снова исчезала земля. В одних случаях она была темно-бурая, в других — синевато-зеленая, почему-то неприветливая, словно наш самолет и мы, летящие в нем, были для лежащей внизу земли нежеланные гости. Посверкивали серебристые жилочки рек и речек.

Я ожидал, что на земле нас встретит то же самое, что провожало в Москве: осенняя хмарь, провисшие почти до плоскости аэродромного поля дождевые космы, холодные брызги в лицо, жесткий ветер, рвущий полы плащей и пальто, уносящий с голов шляпы, фуражки и береты. Мысленно я уже хвалил себя за то, что, готовясь к визиту во Францию, помнил про наступившую осень и купил специально для поездки финскую куртку голубого цвета с белым пушистым воротником. Не меховым, но совсем как мех; не всякий догадается, что это подделка, так она

искусно выполнена. Куртка тонка, легка, не промокает, и никакой силы ветер не продувает ее насквозь. Хотя бы разразилась настоящая буря. Ее изготовители финны живут среди северных скал, озер, тепло в их природе редкость, они отлично понимают, какая нужна в их краях одежда, какой ее сделать, если постоянно имеешь дело с холодом, ветром и дождями.

Но в Орли — мы приземлились в самом лучшем парижском аэропорту под названием Орли — все было залито ослепительным солнцем, как будто оно присутствовало здесь всегда и никогда не погасало. Сверкало толстое стекло, прозрачное, как воздух, составлявшее стены громадного здания аэропорта, сверкали лаком сотни автомашин, подъезжавшие, отъезжавшие, стоявшие на специальной площадке, сверкали струи фонтанов, высоко бивших среди цветников, а они ярко, вперебой, играли всеми красками, что только существуют на планете, водятся на палитрах художников и можно себе вообразить.

Пожилого армянина с базарной кошелкой в руках ожидала и встретила кучка молодых и не совсем молодых, но респектабельных, великолепно одетых людей самого интеллигентного вида. Они гортанно заговорили, зашумели, я бы сказал даже так — закричали все сразу, выражая свою безмерную радость по поводу прибытия старика, как только его увидели, их эмоциональность, приветственные возгласы, бурная суетливость сплелись в кольцо, которым они тесно окружили прилетевшего старого армянина. Все было столь горячо в их вспыхнувшем возбуждении, неподдельно, искренне, так рвалось наружу из каждого из них, что не требовалось никаких других свидетельств и доказательств: происходит встреча какой-то весьма значительной, исключительно редкой персоны. Ибо кто же еще мог быть достоин такой бурной встречи, всех этих слившихся в единый хор восклицаний, такого шума, суеты, широких улыбок и радостного блеска глаз, сравнимого только с блеском низкого осеннего солнца, светившего в Орли так ярко, как, казалось, оно не светит больше нигде на планете, даже в самых жарких и солнечных странах.

Базарную кошелку прилетевшего армянина тут же подхватил и понес кто-то из встречающих, как величайшую драгоценность. Еще кто-то, так же точно сияя счастьем, что эта роль досталась именно ему, поволок его ничем не примечательный, исцарапанный, с побитыми уголками, обшмыганный чемодан. Старика под руки, хотя он в этом не нуждался, повлекли из вестибюля наружу. Там, напротив автоматически раскрывающихся дверей, в ожидании прибывшего стоял черный сверкающий «Мерседес» самой новейшей марки. Шофер в каком-то особом мундире, превосходящем своим блеском, красотой, количеством золота и серебра любой генеральский, с витыми шнурами аксельбантов на груди, мгновенно распахнул все дверцы «Мерседеса», лишь только прилетевший старик и встречавшая его компания показали в раскрывшихся дверях аэропорта.

Приняв в себя пассажиров (большая часть встречающих сели в другие машины, стоявшие тут же, возле подъезда), «Мерседес» мягко и плавно тронулся с места и уже через пару секунд понесся с космической скоростью по шоссе, ведущему в город. А впереди него и по бокам понеслись на могучих мотоциклах дорожные полицейские, французские «гаишники», расчищая своими мигающими огнями «Мерседесу» путь и ограждая его с боков от встречных и обгоняемых автомашин.

— Видал? — спросил меня Дягилев.

Он, как и я, наблюдал всю эту сцену с начала и до конца, не в силах оторвать от нее своих глаз, как и я, был ею страшно заинтересован и так же не мог понять, кто же это прилетел с нами в одном самолете, кого так бурно, с безумной радостью и столь же безмерной любовной почтительностью восторженно встречали непростые, супер-интеллигентные парижане и куда унес их всех на космической скорости черный, блестящий «шестисотый» «Мерседес», окруженный десятком парижских гаишников на полыхающих сигнальными огнями мотоциклах.

— Видал, — ответил я Дягилеву. — Но кто это? Ты знаешь?

— Понятия не имею.

Имя загадочного старика, улетевшего в чреве «Мерседеса» под дружный вой полицейских сирен, мы с Дягилевым узнали только на следующий день за обедом в подвальном ресторанчике отеля, в котором нас поселили. Наша московская переводчица принесла на наш столик и развернула одну из парижских газет. Чуть не в половину страницы в ней красовался портрет нашего спутника, а вокруг портрета мелким шрифтом располагался текст большой статьи. Переводчица ознакомила нас с содержанием всего пары абзацев. Оказывается, бурно встреченный в Орли старик был не кто иной, как Арам Хачатурян, всемирно известный армянский композитор и дирижер. Газета перечисляла все его громкие бесчисленные титулы, звания, полученные им за свои произведения премии: Народный артист СССР, Лауреат Государственной премии — и еще множество других званий и наград. В день нашего прилета в Париже должен был состояться грандиозный концерт из произведений Хачатуряна, и дирижировать им должен был он сам. Билеты были проданы еще за месяц до концерта. Огромного размера афиши покрывали рекламные щиты всего города. Но Хачатурян весь этот месяц болел, даже еще накануне, за день до концерта, было неизвестно, сможет ли он прилететь в Париж, взять в свою руку дирижерскую палочку. Двести человек оркестрантов на всякий случай готовились изо всех сил. Как будто нет никакого сомнения, что Хачатурян прилетит. Накануне назначенного дня они провели репетицию даже ночью. А три с половиной тысячи любителей музыки, купившие билеты, жаждавшие увидеть Хачатуряна, услышать его, всеми любимую, музыку, непрерывно звонили организаторам концерта и спрашивали: ну что? Ну как? А те отвечали одно и то же: неизвестно... Ведь ему уже семьдесят, преклонный возраст... Но он очень хочет сам, чтобы концерт состоялся, хочет встретиться с парижской публикой. Кто знает, может, в последний раз...

Нас возле аэропорта тоже ожидал автотранспорт: не «Мерседесы» или что-нибудь похожее, а простой туристический автобус, но чистенький, вымытый накануне внутри. И что тронуло: туристическая фирма, а может, сам шофер прикрепил над ветровым стеклом маленький красный флажок — точную копию нашего государственного флага. Его трепал ветер, он развевался, и поскольку был красным, ярким, привлекал всеобщее внимание, заставлял на себя смотреть.

И мы понеслись в Париж. Без мигающих огней, полицейского эскорта, сирен, но почти так же стремительно, как только что перед нами «Мерседес» марки «600» с Хачатуряном.

Париж тоже был весь в солнце. Оно не просто сверкало — лилось потоками, переполняло его улицы и бульвары. Оно неистово ликovalo

на них, именно ликовало, другого слова не найти, только так можно выразить, как выглядел Париж в то октябрьское утро. Краски пылали. Вспыхивали, смешивались причудливо, необычно. Совсем так, как на палитрах прославивших французское изобразительное искусство мастеров, иные из которых за свою творческую дерзость попадали даже в разряд безумных. Эта игра красок рождала понимание, почему Париж был всегда так привлекателен для художников, почему здесь расцвело так много разнообразных талантов, почему именно в Париж стремились мастера кисти всех стран, что они здесь искали, что могли здесь обрести.

И еще одна мысль сама собой просилась на ум, трогала, волновала сердце: как же верно и точно сказал о Париже Хемингуэй — это праздник, который всегда с тобой!..

4

С этой минуты ровно две недели, за исключением только часов на сон, все мы, участники группы, жили в потоке непрерывных впечатлений. О многом стоило бы написать, буквально до зуда в руке, но я удерживаю себя. Во-первых, получилась бы целая книга, а сейчас не любят длинных повествований. Во-вторых, вышло бы нечто вроде путеводителя по Парижу или комментариев к путеводителю, а кто его только ни описывал, и какие перья. Вступать с ними в состязание — заранее быть в проигрыше.

Хотелось бы, например, описать наш подъем на Эйфелеву башню. Мое удивление от того, что оказалось на самом верху ее железной стрелы. Оказалось много чего, в том числе кафе; выпить в нем чашечку горячего кофе — это же ведь какое событие в жизни, его никогда не забудешь! Рядом с кафе — узел почтовой и телефонной связи; можно позвонить в любую точку мира, послать телеграмму, открытку с каким-нибудь парижским видом или письмо. Конечно, стоит это удовольствие дороже, чем на поверхности земли, в любом обычном парижском почтовом отделении, так ведь экзотика, а за экзотику можно и следует взять и подороже. Я не удержался, купил и послал открытку с видом Парижа и башни своему близкому другу писателю Владимиру Александровичу Кораблинову. К ней приклепнули штамп «экспресс», но пришла она в дом Кораблинова в Воронеже только через полтора месяца. Причина такой длительной задержки состояла, скорее всего, в том, что, ставя под единственной строчкой «Живали и мы в Париже!» свою подпись, я, чтобы заполнить остающееся пустое место, снабдил ее слишком длинным хвостом, и кое-кого из тех, через чьи руки уже на нашей земле проходила моя открытка, слишком заинтересовало: что означает столь длинный хвост, не является ли он каким-либо шифром, условным знаком? Открытка-то ведь из Парижа, самого крупного в мире гнезда контрреволюции...

Впрочем, об этом эпизоде я уже писал, и страницы эти опубликованы.

Еще неудержимо хочется рассказать, как разочаровал меня музей импрессионистов, — в нем не оказалось ничего из того, чем славилась их живопись в те времена, когда она явилась в мир, одних из зрителей она сразу же покорила, других возмутила, третьих довела даже до бешенства, но все же мало-помалу, в шуме, спорах, вихрях газетных статей, привет-

ствующих и хулящих, утвердила себя на арене искусства, а затем даже отодвинула на второй план все, что существовало до импрессионизма и считалось незабываемой классикой, единственной правильной дорогой для художников.

А что в ходе времени произошло с полотнами тех мастеров, что во второй половине девятнадцатого века открыли новые стили, способы в передаче своих впечатлений? Они писали новыми в те времена красками, не на тех стойких природных естественных основах, как все предыдущие живописцы, а созданными химической промышленностью, переживавшей тогда бурное развитие, делавшей одно открытие за другим. Краски эти были невероятно яркие, сочные, создавали эффекты, невозможные для красок старых художников. Но они оказались «живыми». Создавшие их процессы продолжались и на полотнах, на которые их нанесли кисти художников, а в сочетании, смешении друг с другом — с особой интенсивностью. И за сто лет большинство этих красок погасло, превратилось в унылую серость. С картин импрессионистов безвозвратно ушло то впечатление, какое они производили на первых зрителей, пропала главная их ценность: сила и яркость колорита, живой трепет изображенного, игра, совсем музыкальная звучность.

Такое же самое произошло с картинами и тех русских живописцев, что переняли у французов их методику творчества, пользовались теми же материалами. Например, с полотнами Куинджи, Константина Коровина, даже Левитана. Его «Золотая осень» уже не горит так ярко, листва на ее деревьях не трепещет так сочно, так живо, как видел это своими глазами Антон Павлович Чехов, друг художника, на той выставке, где картина впервые предстала перед зрителями.

Просторные же залы музея импрессионистов сейчас только удручают и наводят на посетителей лишь скуку. И еще — сожаление и грусть, что хранители картин не сумели их по-настоящему сохранить, во всей их силе, первозданности, а нынешним зрителям невозможно перенестись в те времена, когда жили и действовали Клод Мане, Ренуар, множество иных, равных или почти равных им мастеров, и каждое новое полотно художников-импрессионистов представляло заметное явление, переполох в мире искусства.

А еще я б хотел написать, как повезли нашу группу в собор при Доме инвалидов с гробницей и прахом Наполеона, но оказалось, что каждый турист должен заплатить за вход три франка. Во все музеи бесплатно, таков закон государства. А если все же надо какие-то деньги платить, то делает это туристическая фирма, что обслуживает приехавших в страну туристов. А здесь, в соборе Дома инвалидов, взглянуть на гробницу — три франка.

Это совсем небольшие деньги, чуть больше стоимости кружки или бокала пива в парижских уличных барах, но все же деньги. А французских монет на наши советские рубли в Москве нам поменяли до обидного мало, и все пожалели свои скудные франки, отказались от визита к Наполеону.

А я не пожалел. Если Париж, власть над ним, над всей Францией стоит мессы, то есть перехода в другую, враждебную религию, измены всем своим прежним принципам, а полет на современном авиалайнере и пребывание на французской земле — почти годовой зарплаты советского служащего или рядового заводского рабочего, то уж что говорить о кружке пива за Наполеона!

В маленькое окошечко кассы я подал три франка, в ответ мне протянули билетик, как на вход в кино или цирк, и я вошел внутрь.

Думаю, в этом месте для читателей стоит объяснить вот что. Дом инвалидов (по-французски Отель инвалидов) — весьма обширный комплекс, включающий в себя не только жилые и служебные помещения, но и прогулочный парк, равный по площади нескольким футбольным полям. Создавался Отель для содержания и дожития в нем до своего естественного конца нуждающихся в уходе, помощи, питании одиноких, а то и совсем бездомных участников войн, что вела Франция в разных частях света. Слово «инвалид» в те времена, когда возник Отель и строились его здания, имело другое значение, равное нынешнему «ветеран». Ветеран мог быть и вполне здоровым, и не вполне здоровым человеком, но, по сути, все жильцы Отеля являлись больными людьми, инвалидами, ибо кто мог не повредить своего здоровья, пройдя в полках хотя бы Наполеона все то, что выпало им на долю: палящую жару и безводье Африки, ледяную стужу в России.

В начале своего существования Отель инвалидов содержал и насчитывал до пяти тысяч постояльцев. В более поздние времена эта цифра значительно сократилась, в Отель стали принимать только действительно инвалидов, серьезно пострадавших на войне бывших солдат и офицеров французской армии.

Самым неожиданным и запомнившимся в соборе с гробницей оказалось то, что огромный гранитный саркофаг, в котором в шести гробах, один внутри другого, покоится прах французского императора, подарен Франции русским правительством. Об этом распорядился еще при своей жизни сам Александр Первый, победитель Наполеона, разгромивший с союзниками его войска и приведший свою армию в Париж, а доставка гранита во Францию была выполнена при Николае Первом. Каменная глыба из глубины Финляндии в необработанном виде была величиной с крестьянскую избу. Везли ее во Францию долго и трудно, морским путем, на специально для этого построенной барже; обычная не выдержала бы ее веса, потонула. В истории этот факт расценивается как рыцарское великодушие главного противника и победителя французов, несмотря на тягчайший урон, причиненный России нашествием наполеоновских войск, как признание неоспоримого величия личности Наполеона.

Может быть это и так, дорогой дар со стороны России на могилу французского завоевателя — акт редкостного великодушия, благородства. Но человек с русским сердцем, попавший в собор с прахом Наполеона, где как бы присутствует его тень, слушая пояснения экскурсовода, думает под его слова не о великодушии, не о благородстве, а о пятидесяти тысячах убитых русских солдат и офицеров на Бородинском поле, где «ядрам пролетать мешали» горы кровавых тел. Столько же, если не больше, погибло в разных других сражениях — у стен Смоленска, Вязмы, при защите множества других больших и малых русских городов. В глазах возникают сожженная дотла, обращенная в летучий прах первопрестольная Москва, расстрелы без суда и следствия сотен так называемых «поджигателей», то есть схваченных на московских улицах случайных людей, на которых французские солдаты и командиры просто вымещали свою злобу.

А сколько еще всякого другого из парижских впечатлений просится на бумагу! Книжный рынок вдоль каменного парапета на берегу

Сены. Я провел на нем, возле ларьков букинистов, рассматривая выставленный ими товар, половину дня. Высокая цена существует на нем только на действительно стоящие запрашиваемых денег книги. А литература, что составляет так называемое «чтиво», продается у букинистов почти что задаром, за копейки. По-французски копейка — сантим. За одну маленькую монетку в пятьдесят сантимов, только ради того, чтобы о букинистах на набережной Сены привезти с собой в Воронеж хотя бы какую-то память, я купил из наваленного грудями «чтива», попадающего к торговцам потрепанными книгами уже в третий или четвертый раз, небольшую книжицу на плохой бумаге, но с портретом Джеймса Бонда на обложке.

В Воронеже эту книжку с Бондом у меня сразу же выпросил почитать один из моих знакомых, сказал, что его подруга учится в университете на инязе, на французском отделении, они прочитают вместе, и всего через неделю он Бонда вернет. И, конечно же, не вернул. Ни через неделю, ни по сию пору. А Бонда, я уверен, продолжают читать, он непрерывно ходит по рукам, и книга уже превратилась в листочки. Но кто ее читает и где — этого я не знаю и вряд ли узнаю когда-нибудь.

Я сказал, что провел возле букинистов половину дня. А в другой день половину его я проторчал на Монмартре, на вершине холма, с которого открывается роскошный вид на весь Париж. Холм увенчан маленькой площадью, заполненной художниками, их продающими картинами, этюдниками с начатыми портретами и пейзажами; витают пьянящие запахи красок, растворителей, лака. На выставленных для продажи полотнах и в начатых набросках можно увидеть все существующие в живописи стили, направления, манеры. Если есть деньги, вы готовы заплатить — любой находящийся на монмартрской площади художник быстро, ловко, мастерски нарисует ваш портрет. Масляными красками, водяной гуашью, цветными мелками или всего лишь угольной палочкой — как ему скажете. Тут же, в любом из магазинчиков, окружающих площадь, подберут для портрета раму, вставят ваше изображение в нее, закрепят, завернут в плотную бумагу, надежно перевяжут шпагатом, а уличный мальчишка — Гаврош — за латунную мелочь отнесет ваше приобретение к вам в отель или в любое другое место, которое вы ему назовете. Таких разбитых, сноровистых мальчишек, готовых на любую услугу, лишь бы немного заработать, в Париже и сейчас еще зовут Гаврошами. Им можно вполне доверять, они не скроются, не сбегут с вашим пакетом, честно выполняют поручение. Если же кто-то из них смошенничает — его сурово накажут его же сотоварищи. Нечестность одного подрывает доверие ко всем другим, всех остальных лишает возможности зарабатывать.

Париж неисчерпаем, неохватен. Это целая вселенная — пестрая, многообразная, сложенная в одно целое и вместе с тем противоречивая, неожиданная во многих своих деталях. Сколько бы ни писать о Париже, всегда найдется что-то еще, достойное изображения.

Но я не собираюсь пускаться в долгие и подробные описания всего того, что довелось в нем увидеть. Начиная эти записки, я собирался рассказать всего лишь один эпизод, мелькнувший в самом конце нашего пребывания во Франции. Эпизод случайный, мелкий, ничем особо не примечательный. Хотя — как знать!

Я уже упомянул, читатель знает, что соседом моим по самолетному креслу был ленинградский писатель Владимир Яковлевич Дягилев. Мы не случайно оказались рядом. Это был единственный человек в туристической группе, с которым я был знаком. Встречались несколько раз и разговаривали на всякого рода совещаниях и конференциях в Москве, однажды зимой провели целый месяц одновременно в Ялтинском творческом доме.

После самолета мы и дальше держались вместе: жили в Париже в отеле в двухместном номере, завтракали и обедали в гостиничном ресторане за одним столом. Вечером, когда все плановые мероприятия заканчивались и туристам предоставлялось так называемое «свободное время», вдвоем отправлялись на прогулки по Парижу: куда-нибудь на берега Сены, к мрачной, унылой громаде Собора Парижской Богоматери. Днем он, оговорюсь, конечно, только на мой непросвещенный взгляд, — лишен всякой красоты и величия, вечером же, в сумерках, когда детали его мягко ступшеваны темнотой, расплываются, скрадываются в ней — собор производит надлежащее впечатление, сливается с тем описанием, что дано этому собору в романах Виктора Гюго.

Дягилев был человеком с богатой биографией. Не вполне, впрочем, ясной в некоторых своих деталях. Но Дягилев сам постарался, чтобы сделать ее такой. Заставили некоторые обстоятельства. В его родичах числился тот знаменитый Дягилев, богатый человек, поклонник многих искусств, что устраивал в дореволюционную пору в Париже выставки русских художников, выступления русских артистических трупп. В Советскую Россию тот Дягилев — звали его Сергей Павлович — возвращаться не захотел, не видел в ней для себя применения. Остался в Париже. Создал там собственный балетный театр, быстро заслуживший громкую славу. Моему знакомцу Владимиру Яковлевичу Дягилеву по вполне понятным причинам долгое время приходилось скрывать свое родство с организатором «русских сезонов» за рубежом, всеми силами от него открещиваться, если вдруг кто-нибудь начинал выяснять, в какой связи они находятся. Да и теперь, во времена, о которых я рассказываю, он упоминал о своей родственной связи весьма скупно, немногословно. Сразу же переходил к другой теме.

По профессии мой знакомый был врач. Хирург. Всю войну провел в тех медсанбатах, что находились и действовали совсем близко от передовых линий, куда в первую очередь поступали раненые, в крови и грязи, солдаты и офицеры. О том, что делал там с ними Дягилев, он сообщал кратко, одним словом: резал. То есть, отрезал у безнадежно покалеченных не годные для лечения руки, ноги. Бывало и так, что все четыре конечности.

— Если бы сложить в одно место все, что я отрезал, получилась бы гора не меньше египетской пирамиды.

Дягилев, безусловно, преувеличивал. Но если даже и преувеличивал, то не намного. Гора действительно ужаснула бы своей величиной.

Помню я эти медсанбаты — всего лишь в версте, в двух верстах от переднего края, мне тоже пришлось в них побывать. Операционная в крестьянской хате, просто в сарае или в брезентовой палатке со слюдяными окошками. Белые халаты хирургов заляпаны кровью так, словно ранены именно они, а не люди, над которыми они хлопочут. Над доставленными

к ним на операционные столы они долго не мудрят: нет на это времени, состояние пострадавших не позволяет. У многих уже развивается заражение, сепсис. Поэтому изо всех хирургических инструментов в ход идут чаще всего пилы и ножи. Пусть лучше пострадавший воин лишится какой-то части своего тела, чем допустить, что сепсис полыхнет, как пожар, и по сути дела еще не живший на белом свете мальчишка в восемнадцать, двадцать лет — да сколько бы вообще ни было раненому! — уйдет в сырую землю под наскоро накиданный бугорок или под фанерную пирамидку со звездочкой из консервной банки...

После войны Дягилеву пришлось не один раз писать отчеты о деятельности тех медсанбатов, госпиталей, в которых он служил, статьи для журналов, анализировать в них положительное и отрицательное, что наблюдалось в работе фронтовых врачей. Перо у Дягилова оказалось живое, глаз зоркий, меткий, текст получался нешаблонные, впечатляющие. Статьи и очерки переросли в рассказы, рассказы сложились в романы. Самый известный, популярный роман Дягилова назывался «Доктор Голубев». В главном персонаже угадывался он сам, скрывшийся под придуманным именем: пытливый, жадно набиравший знания в студенческую пору, активный участник многих кружков, в том числе и драматического (незабываемый Чацкий в «Горе от ума», купец Лопухин в «Вишневом саду»). Доктор Голубев в книге, как и сам автор в своей жизни, так же неутомим и смел в изнурительном труде фронтового хирурга, подчас резок и прям в поведении с коллегами, не робок перед начальством. Таких, как известно, никто из начальства не любит, предпочитают иметь в своем подчинении людей с совсем обратными качествами. А острым на язык, не скрывающим своих мыслей умеют чувствительно отомстить, притормаживая их в продвижении по лестнице должностей и званий. Именно такой род мести испытал на себе Дягилев: совершив под разрывами снарядов тысячи операций, спасши жизни великому множеству людей, он за все свои фронтовые годы прибавил себе на погонах всего лишь одну звездочку: пришел во фронтовые медики старшим лейтенантом медицинской службы, а ушел из армии капитаном. Без половины орденов, что по справедливости должен был получить, да был ими обойден.

Военным медикам в написанной им книге Дягилев придал и такие свои личные черты: они не чураются в минуты отдыха «пропустить» мензурку-другую с разведенным спиртом, шутливо поболтать, пококетничать с молоденькими симпатичными санитарками и медсестрами. Такие «разрядки» происходили в быту фронтового медперсонала сплошь да рядом, без них было не обойтись. Если бы к ним не прибегать, как к лекарственному средству — никто бы просто не выдержал круглосуточную моральную и физическую нагрузку, что несли на себе хирурги и врачи полевых медсанбатов и госпиталей.

В библиотеках на этот роман Дягилова читатели стояли в очередь, записывались в длинные списки. Я его читал, когда он впервые появился в одном из ленинградских журналов. Не скажу, что литературные достоинства его были так уж высоки, но он подкупал правдивостью всех сцен, отсутствием в главном герое привычных, набивших оскомину «положительных черт», — при всей его бесспорной положительности.

Накануне отъезда во Францию у Дягилова возникли сложности в его отношениях с женой. О причине их он сообщал глухо, уклончиво, но не стоило труда догадаться — они состояли в излишнем интересе Дягилова к особам женского пола. Хотя возраст его давно уже был таков, что инте-

рес этот следовало сильно убавить, а то и забыть о нем вовсе. Помочь Дягилеву в создавшемся между ним и женой конфликте мог, как он думал, крупный подарок с его стороны, реальное и впечатляющее доказательство его неиссякаемой любви и преданности.

И в первый же день в Париже он купил для жены зонтик. Не простой и очень даже не дешевый. Из натурального китайского шелка, с хитрым устройством, открывающийся автоматически при нажатии маленькой кнопки. И при этом — с негромкой музыкой. Такого зонтика тогда еще не было ни у одной женщины в моем Воронеже, за это я ручаюсь. А в Ленинграде если кто и обзавелся таким — то совсем немногие, можно было бы, наверное, пересчитать на пальцах.

Но покупка издающего музыку зонтика потребовала от Дягилева почти всех его франков, что привез он с собою. Это было печально, но в то же время и хорошо — Дягилев был свободен от дум, которые одолевали и мучили других: на что потратить свои скудные финансы, чтобы потом не жалеть о тратах, привезти домой что-то действительно ценное, интересное, нужное, радующее домашних. Если почти к каждой витрине с товарами наши туристы прилипали так прочно, как будто она была намазана клеем, то Дягилев шел мимо, не глядя, даже не поворачивая головы. Он не смотрел на товары сознательно, чтобы не испытывать к ним аппетита, не страдать от невозможности что-либо купить. Но видевшим его французам он казался человеком, приехавшим из страны, которая действительно ломится от изобилия, в которой решительно все до капельки есть, каждый обеспечен всем необходимым, и обувью, и одеждой, даже полным набором пляжных трусиков и панамок, не нуждается ни в чем.

Я понимал, что творится у него внутри, какие наполняют его терзания, мне было его жаль, я даже угощал его на свои жалкие французские гроши, что выдали в Москве в обмен на рубли мне столько же, сколько и всем другим.

Однажды вечером довольно поздно мы гуляли с Дягилевым по улице Лафайет, на которой находился наш отель. Ее заливали электрические огни так ярко, что можно было фотографировать без всяких дополнительных вспышек или читать в газете отдел хроники, где самая мелкая печать. Были открыты все уличные кафе, бары, кельнеры на подносах, держа их на пальцах одной руки, разносили по столикам узкие, высокие бокалы с янтарно-желтым пивом. Мне тоже захотелось пива — просто нестерпимо. Казалось, умру, если сейчас же не сделаю глоток. Французские напитки обладают таким волшебным качеством: неудержимо к себе манить, вызывать поистине неодолимую жажду.

Я подошел к стойке с барменом, Дягилев остался в стороне, сделал головой и руками отрицательный жест на мое намерение заказать пиво и для него.

Но как пить пиво одному, без товарища? А он в это время будет глотать слюну и страдать от зависти? Так могут немцы, англичане, но русские люди так не могут, не лезет в таких случаях пиво им в горло.

— Ту, — сказал я бармену по-английски и показал два растопыренных пальца, что означало два бокала. Бармен понимающе кивнул головой. Поскольку в Париже в год ошивается несколько миллионов туристов со всего света, из самых разных стран, то парижские бармены, не умея говорить, запросто понимают на всех языках мира.

Бармен взял два идеально чистых бокала, стоявших на подносе на стойке в опрокинутом положении, кверху дном, поставил их под кран,

наполнил золотистой струйкой. На бокалах образовались два шарика пены. Особой деревянной лопаточкой бармен снял их с бокалов, сбросил пену в специально поставленный для этой цели сосуд, а бокалы по блестящей поверхности стойки подвинул к нам с Дягилевым.

Надо было видеть, как артистически он все это проделал: плавность, мягкость и точность его движений, особую их красоту, изящество, выработанные годами практики, миллионы раз одинаково повторенными за этой стойкой манипуляциями с пивными бокалами. Да одно это стоило особых денег, надлежало их брать с посетителей кафе за такой феноменальный артистизм!

И бармен будто уловил мои размышления и принял их к исполнению. Когда мы с Дягилевым медленно, как настоящие бульвардье, завсегдагаи уличных кафе и ресторанчиков, свободные от всяких серьезных дел, с локтями на стойке, нога за ногу, в сплетенном положении, наслаждаясь каждым глотком, выпили до конца свои бокалы, и я достал деньги, чтобы расплатиться, бармен как будто совсем мельком, как о ничем не стоящем пустяке, сказал, что с меня причитается шесть франков. По три франка за бокал. Я даже подумал сначала, что ослышался. Во всех других кафе, бистро, барах, пивных и прочих подобных заведениях бокал пива, как мы могли убедиться за полторы недели жизни в Париже, стоит два франка. То же самое говорила нам и наш французский гид Ольга Клер, югославка по рождению, с предками из Запорожской сечи, по матери Кулешова, инструктируя нас по приезде во Францию о разных тонкостях французской жизни.

Или она, поскольку женщина, не вполне в курсе напитков для мужчин?

Но пиво было заказано, налито, выпито, — надо платить.

На следующий день, после завтрака, когда все еще находились в нашем подвальном ресторане, я подошел к Ольге Клер.

— Оленька, вы меня жестоко подвели!

— Каким образом? — не на шутку встревожилась она. Французские служащие крайне щепетильны к тому, какое впечатление производят они на тех, кого обслуживают.

Я рассказал о вчерашнем эпизоде.

— А в каком часу это было?

— Где-то в районе одиннадцати. Может быть — в половине двенадцатого.

— Все правильно. Так и должно быть. После десяти вечера в барах, ресторанах, кафе, во всех подобных общественных местах повышаются цены.

— Что же вы нас не предупредили?

— Да кто же знал, что вы захотите пить пиво так поздно. Я уже несколько лет работаю с туристами из Советского Союза, вы первые, кто ночью отправился в бар. Остальные видят сны в своих постелях.

6

Дягилев оказался необыкновенно удачливым человеком. За день до отъезда из Франции он нашел на тротуаре монету в пять франков. Такая монета называется су. В тот же день, спустя какой-то час, вторую монету, тоже в пять франков. Еще одно су. После этого он стал ходить, не поднимая глаз, шаря ими по узорным плиткам тротуаров, по асфальту улиц

с бегущими машинами. Наверное, он решил, что Париж просто усыпан монетами, этими самыми су, надо только внимательно смотреть, и находки будут следовать одна за другой.

Он уже ничего не видел по сторонам, ничего его не интересовало, он даже не поднимал глаз на гигантские портреты полуобнаженных кинозвезд на фасадах кинотеатров. А прежде взгляды его надолго приковывались к каждой из них. Мне даже хотелось незаметно подбросить ему желтую пятифранковую монетку, чтобы он набросился на нее с детской радостью, что подтвердилась его убежденность: парижские улицы действительно полны денег, надо только не зевать, хорошенько смотреть.

Богатство, достаток — вещи относительные. Для того, у кого только что в кармане было пусто, десять франков — это уже что-то, можно даже пуститься в разгул. За пять-шесть франков сходить в кино. За два франка покатайся на уличной карусели. Еще за два франка спросить себе чашечку черного, как вакса, тягучего, густого кофе. За другие два, а то всего и полтора франка — ломящий холодом зубы, тоже густой, тягучий бокал пива, как то, что пили мы с Дягилевым ночью на сверкающей тысячу электрических лампочек улице Лафайет.

Кстати, а почему она так называется, Лафайет это что, имя? Да, имя, так звался один из вождей французской революции, маркиз и генерал. Боролся в Америке за независимость колоний от европейских правительств, за создание и укрепление Соединенных Штатов. Когда он умер, по всей Америке были приспущены государственные флаги, а в армии траур сохранился целых полгода.

Но я отвлекся, продолжу насчет того, как можно шикарно погулять в Париже на десять франков. За один франк можно купить оранжевый апельсин у черного, курчавого, белозубого алжирца, торгующего на улице фруктами с двухколесной тележки. Да мало ли что еще можно купить, предпринять, придумать, когда у тебя вдруг заводятся деньги, ниоткуда, просто из-под ног, из тротуарного сора, и тебе не жалко их потратить, даже горят, чешутся руки — так хочется поскорее насладиться. И при этом как широко, буйно разыгрывается фантазия, просто никакого нет удержу, никакого с ней сладу!

Разыгралась фантазия и у Дягилева. Не знаю, какими вавилонами она в нем кружила и петляла, какие выписывала фортели, но ближе к вечеру он мне сказал:

— Знаешь, что мы сделаем в свой последний вечер в Париже? Давай-ка сходим на Пляс Пигаль. Все остальное мы так или иначе видели, представление имеем, надо и на Пляс Пигале побывать. Тем более, что от нашего отеля совсем близко, шагов триста. Можно сказать — рукой подать.

— С десятью франками на Пляс Пигаль?

Я не удержался, захохотал во все горло.

Дягилев обиделся.

— Дурачок, ты же меня совсем не так понял. Не для чего-нибудь, просто посмотреть, что там, как. Что это за штука — Пляс Пигаль. А то только одни разговоры: Пляс Пигаль, Пляс Пигаль... Ведь я же, черт возьми, писатель, а писатель все должен видеть своими глазами. Понюхать, пощупать, оценить на вкус...

— Я тоже писатель, мне тоже надо все видеть своими глазами.

— Так, значит, идем? А то приеду назад, меня же друзья, приятели обязательно спросят: ну, ладно там — Лувр, башня Эйфеля, Богоматерь Парижская, это и так каждому известно, без Парижа, надоело уже всем,

нафталином пахнет. Ты лучше нам про Пляс Пигаль расскажи. Ты на этой площади был, в это злачное место окунулся? А мне что ответить? Не был, братцы мои, даже одним глазом не глянул. Побоялся, что меня за это накажут дома. Так, что ли? Надо мной же смеяться станут. Это же позор, стыдобщице!

— А если нас с тобою на Пляс Пигале засекут?

— Что значит — засекут?

— Не плетьюми же. Заприметят.

— Да кто засечет? Кто там может нас увидеть?

— Кто-нибудь из нашей туристской группы.

— Они же все партийные, высокоидейные. Никому из них высокая партийная идейность идти на Пляс Пигаль не позволит.

— А вдруг кто-нибудь все-таки пойдет? А потом ляпнет в Москве в Союзе или в мое и твое партбюро «телеги» накатает: не успели в Париж приехать, как Гончаров и Дягилев тут же побежали на Пляс Пигаль!

— А ты сам-то почему там оказался — мы ему скажем. Мы хоть без партийных билетов, малосознательные, идейно недовоспитанные. А ты с партийным билетом в кармане — и на Пляс Пигале!

Короче, наступил вечер, стало слегка темнеть, и мы с Дягилевым — он в своем коричневом короткополом пальтишке, кепочке, делавшей его похожим на молоденького паренька, я — в голубой, с белой оторочкой, белым воротником финской куртке рыбацкого покроя — шагали по темной кривой улочке, ведущей от залитой светом Лафайет к заманчивой и немного страшноватой для нас площади под названием Пигаль, представляющей собою бойкий рынок «жриц любви», а по окружность площади — сплошную вереницу кинотеатров с кинофильмами сексуального содержания. Между ними вперемежку магазины, торгующие порнографической литературой, картинами аналогичного содержания, прочим секстоваром. Его производят во Франции, а в последнее время пальма первенства в этих делах стала принадлежать странам Востока. Открытое употребление такой продукции там строго запрещено, тем не менее, производство ее — одна из самых развитых и доходных отраслей экономики.

А пигалица — в смысле маленькая девочка, шустрая, пронырливая, бойкая — это от Пигаль? — спросил меня Дягилев.

— Не знаю. Приедешь — пошли запрос в Академию Наук, тебе разъяснят.

— Все-таки ты определенно хочешь из меня дурака сделать. Чтобы я у всего Ленинграда притчей во языцех стал. Ты себе это представляешь: вполне серьезным тоном запрос от известного писателя в Академию Наук насчет пигалицы? Кстати — почему площадь называется Пигаль, ты об этом хоть что-то знаешь? Если имя, то — он, она?

— Художник такой когда-то в Париже жил. Или скульптор. Да, скульптор. Вольтера, такого хитрого, с демонической улыбкой, это он изваял.

— А если Пигаль — скульптор, то почему на площади его имени сейчас происходит то, что происходит? Какая связь между ним, его творчеством — и современным сексом?

— Пиши в Академию наук. Я тебе серьезно советую. Больше никто тебе квалифицированно не ответит, только академики. А я не Академия наук. Какая связь? Да хрен его знает, какая связь. Двести лет прошло, как жил Пигаль. Что-то, все-таки, значит, было, раз получилась такая связь. Так просто, беспричинно ничего не бывает.

С такими разговорами мы прошли с Дягилевым мимо церкви Святой Лоретты. То, что она носит такое название, я знал, потому что, прежде чем отправиться в свой поход, мы с Дягилевым внимательно изучили план Парижа, которым заботящаяся о нас туристическая фирма снабдила всех туристов в первый же день нашего пребывания во Франции вместе с кучей всяких других планов, проспектов и рекламных брошюр.

Внутри церкви не светило ни одного огонька. Она высилась мрачным каменным исполином, казалась загадочной, таящей в себе что-то недоброе; всем своим видом словно предупреждала: лучше близко не подходить. Не пытаться проникнуть в ее тайны, нарушить ее безмолвие, глубокий, безжизненный сон, длящийся уже не один век.

Мы прошли еще сотни две шагов, и впереди показалось какое-то светлое пространство. На нем стояли реденькие, подстриженные на один схожий манер, как вся городская растительность в Париже, деревья, под ними были расстелены коврики, на ковриках лежали вырезанные из дерева человеческие и звериные фигурки, и сидели алжирцы, создатели этих фигурок и их продавцы. Курчавые алжирцы были необычайно остроглазы. Мы еще не вышли с Дягилевым на площадь, до алжирцев оставалось метров двадцать, как они все, схватив свои игрушки, подняв их над собою, вскочили на ноги и дружно нам закричали:

— Руски, купи! Купи, купи! Руски, купи!

Сказать, что этот громогласный, даже какой-то истошный, в три десятка голосов крик нас с Дягилевым ошеломил — это и наполовину не выразить, как он на нас подействовал. Тем более, что ровно за минуту до этого, увидев площадь, торговцев на ковриках под деревьями, Дягилев успокоено себе и мне вслух сказал:

— Ну, вот видишь, кто тут может нас узнать? Эти африканцы наверняка даже не поймут, из какой мы страны...

Но их громогласное, пронзительное «Руски, купи!» прозвучало так, как будто они знали даже наши фамилии и вкрик их называли: «Дягилев, купи! Гончаров, купи!»

Рядом с африканцами действовала другая группа торговцев: надувшими ярко раскрашенными куклами из тонкой резины. Куклы представляли женские тела в натуральную величину, в тех позах, в каких совершаются интимные акты. Продавцы кукол в несколько секунд надували их сжатым воздухом из металлических баллонов, наподобие того, как это делают продавцы детских воздушных шариков. Некоторых кукол доводили до чудовищных размеров, очевидно, имелись любители и на таких. Закрепив воздушные пробки, продавцы играли со своими изделиями, словно с живыми: крутили так и этак, танцевали с ними в обнимку, целовали в губы и в другие части тела, подбрасывали в воздух. Кувиркаясь, они медленно опускались назад, в руки своих создателей. Те ловили эти податливые, легкие, словно пушинки, тела, снова их тискали, демонстрируя, что можно с ними проделывать, кружились в их объятиях, совершая нечто похожее на танцы, а больше на движения любовных пар в постелях. Повозившись так с одной партией кукол, они с коротким шипением выпускали из них воздух, обмякшие, сморщенные тела бросали в кучу таких же, а взамен надували другие фигуры: белокожих европейек, симпатичных косиной своих узких глаз китайенок, черных, как смола, негрятенок, неестественно выпучивших белки глаз, с толстыми, красными, как жаркое пламя, губами. Их груди превосходили все человеческие размеры. Впрочем, они надувались отдельно от остального тела, их

можно было сделать какими угодно, в полном соответствии со вкусами и желаниями обладателя.

Иногда новые надутые фигуры оказывались голыми мужчинами, своими позами, положениями рук, ног предназначенными для того же, для чего были предназначены фигуры разноцветных женщин.

Игра с куклами, демонстрация их возможностей походила на цирковое представление. Оно было прекрасно отрепетировано, несомненно, поставлено какими-то режиссерами, шло без пауз, задержек, нестыковок, исполняли его талантливые мастера своего дела. Артисты. Причем — таких надо еще поискать да не сразу найдешь. Рекламуемый товар был красочный, способный приковать к себе внимание, выполненный, сработанный тоже нерядовыми мастерами, настоящими художниками. У товара был только один изъян — он был мертвый. А в других местах площади тоже находился продающийся, привлекающий к себе внимание подобный товар, но — живой, горячий, с пульсирующей в жилах кровью, и поэтому он задевал покупателей сильнее. Доступность и легкость приобретения заставляли учащенно биться сердце. Там, где продавались куклы, брось в ладонь продавца горсть монет — и любая резиновая красавица станет твоей, клади ее в портфель, сумку, уноси домой — и в любую минуту она готова служить твоим прихотям, твоим желаниям. Но вот перед тобой живая, дышащая, двигающаяся плоть, улыбающаяся на твои неуклюжие остроты, пышущая соблазном, но тоже, в общем, та же кукла: передай этой особе в ее ладонь или в ладонь ее продавца, владеющего ею сутенера с набриллантиненной, безукоризненной прической, ниточкой пробора в волосах, несколько смятых, походивших по рукам бумажек, и тоже можешь класть понравившуюся тебе красотку в свой, скажем так, «портфель»: увезти или увести эту живую куклу с собой или в номер одной из гостиниц, расположенных вокруг площади, и она так же послушно и податливо будет служить твоим желаниям.

Если «купец» хочет доставить «товар» домой, то на эти случаи в начале каждой улицы, каждого переулочка, радиусами расходящихся во все стороны от площади, стоят наготове таксомоторы, лишь ждут сигнала: мановения руки, кивка головой, короткого свиста с помощью пальцев. Такси подлетает немедленно, не заставляя ждать ни минуты, привычно ловко, в секунду, забирает пассажиров, и привычно уносится с ними туда, куда приказано шоферу.

Медленно, стараясь все рассмотреть и запомнить, шли мы с Дягилевым по кругу площади вдоль линии разнообразных домов со слабо освещенными подъездами, раскрытыми настежь входными дверями. Должно быть, слабое освещение их было устроено намеренно. Зачем тут яркий свет? Прежде всего он не нужен, губителен для тех, кто продает свои тела, минуты искусно имитируемой страсти. Видеть в этом ярком свете предательски обнаруживающий себя, выступающий грим, преждевременно уводящую кожу, морщинки возле губ, вокруг глаз?

Нам только казалось с Дягилевым, что нас никто не видит, никто не обращает на нас внимания. Нас давно уже «засекли», на свой лад оценили, поняли, что мы не те, кого здесь ждут и приветствуют, что нас привело сюда только любопытство зевак, с каким сюда приходит вечерами большинство иностранных туристов — и больше ничего, поживы от нас не дожидаться.

Тем не менее, в нашу сторону было пущено несколько «пробных камней». Короткий негромкий возглас, два или три слова на французском

языке; в сгущающемся с каждой минутой сумраке в пяти-шести шагах он нас — бледный овал женского лица, блестящие глаза, обведенные чернью, обнаженные плечи и почти полностью обнаженная грудь. Взгляд наполнен вопросом, ожиданием, готовностью тут же отозваться согласием.

— Но... Но... — говорим мы с Дягилевым, и женское лицо отворачивается от нас, исчезает. На Пляс Пигале можно встретить все, в том числе отработанный на сотнях предыдущих жертв ловкий, изощренный обман, коварство, но нет только одного: назойливости, отталкивающего приставания. Их отсутствием как бы говорится: нет — так нет, вопрос исчерпан. Будем искать других клиентов, они обязательно найдутся, для того и существует Пляс Пигаль.

Резкий треск совсем рядом заставляет меня и Дягилева даже вздрогнуть. Как будто возле нас разорвали кусок коленкора. Нет, это сутенер, стоящий в дверях очередной гостиницы с номерами на короткое время, жесток фокусника или картежного шулера развернул перед нами веером свою колоду — но не карт, а фотографий с портретами девиц, которых он предлагает. Все они в своем натуральном виде, молоды, хороши, привлекательны. Но это на фото, это реклама, которая преувеличивает достоинства предлагаемого, а в действительности клиента может ждать совсем другое.

На сутенере длинный темный плащ, только сутенеры одеты в такие длинные, вероятно, это их своеобразная форма одежды, чтобы сразу распознавать, что за человек перед тобой. Под плащом блестят носки лакированных туфель, на голове широкополая шляпа. И то, и другое — тоже детали своеобразной формы, экипировки, как знаки профессии. В воздухе уже почти совсем темно, да еще широкие поля низко надвинутой шляпы — лица почти не разглядеть. На шее белый шелковый шарф, он висит поверх плаща, концы его спускаются ниже колен сутенера.

— Но! — говорим мы с Дягилевым, делая руками отрицательные жесты. Сутенер не произносит больше ни слова. Он бесшумно, в момент складывает свою колоду — и исчезает, растворяется во мраке. Нет — так нет, найдутся другие или другой.

Освещены в полную силу только входы в кинотеатры и их витрины с рекламными демонстрирующихся фильмов. Рекламы состоят из красочных плакатов с названиями и фамилиями участвующих артистов. И еще в витринах десятка два кадров из каждого фильма. Выбраны и выставлены, конечно, «самые-самые». Посмотрев на эти кадры, можно подумать, что весь фильм состоит исключительно из таких сцен. Но такой подбор кадров — это просто коммерческая уловка. Секс в кинофильмах подается весьма дозировано, для этого жанра существует специальная, установленная законом, цензура, количество сексуальных сцен строго ограничено. На весь фильм допускается всего пять эпизодов. Можете даже их считать, когда смотрите фильм; мелькнула пятая сцена — шестую не ждите, не будет. Мало того, что закон следит за количеством секса, он обязывает подавать его без излишней откровенности, больше всем понятными намеками. Превысил режиссер, постановщик дозволенные нормы — непременно следуют серьезные неприятности с властями. Штраф, вырезание ножницами кусков, а то и снятие всего фильма с экранов.

К первой же рекламной витрине Дягилев буквально прилип. Он даже достал и надел очки, чтобы лучше рассмотреть выставленные кадры и прочитывать имена актрис.

От второй витрины его пришлось отрывать тоже чуть ли не силой.

— Да ты уж лучше купи в магазине какой-нибудь журнальчик — и разглядывай в свое удовольствие без помех дома, — вынужден был я ему сказать.

— Дома это где — в Ленинграде?

— Да где хочешь, в Ленинграде, в отеле.

— В Ленинграде не получится. Во-первых, такой журнал не пропустит таможня. Во-вторых, дома жена. Сначала в мусоропровод полетит журнал, а за ним следом — я... Но дело-то не в этом, опять ты понимаешь меня как-то искаженно, ведь что я смотрю, что меня интересует? Ты думаешь — голые бабы? Если ты так думаешь, то жестоко заблуждаешься. Мало я их видел за свою жизнь! Я же врач, ядрена-ворона, последние годы по совместительству хирург-гинеколог. Я имена создателей этих фильмов читаю. Ты только глянь, кто среди них: Рене Клер! Это же мастер высочайшего класса. Сколько у него премий, два Оскара отхватил. Он в Ленинград приезжал, встречался в клубе с киношниками. Я его видел и слушал. И фильмы его смотрел. Это серьезный мастер, вдумчивый, какую-нибудь чепуху, пустяковину ставить не будет.

Дягилеву можно было верить, своими познаниями в киношных делах он поражал. Кино, экранные артисты — это было его хобби, пламенное увлечение чуть ли не с детских лет, когда еще экран был немым и фильмы шли в кинотеатрах под музыку ветхих роялей. Самая большая его мечта состояла в том, чтобы снять собственный фильм: по своему сценарию, снять самому, полным хозяином на съемочной площадке — с режиссерским рупором в руках. В основу сюжета можно положить «Доктора Голубева». Роман широко известен, успех фильму обеспечен заранее, народ не просто пойдет на фильм — повалит валом.

Но он знал, что его мечта неосуществима. Постановка фильма — дело весьма дорогое. Можно подготовить отличный сценарий, найдутся прекрасные актеры, готовые сниматься хоть за даром, ибо появиться на киноэкране — это верный путь к всесоюзной известности, шумной славе, почетным званиям. Но кто даст деньги на производство фильма, их же сколько нужно — миллионы... Дягилев уже забрасывал удочки — обращался на «Мосфильм», писал письма крупным режиссерам с просьбами помочь, посодействовать. Но все эти лица, как объяснял их реакцию сам Дягилев, видели в нем в первую очередь опасного конкурента; одни отвечали пустыми обещаниями, другие вовсе не отвечали.

Мы прошли с Дягилевым в глубину одного переулочка, отходившего от площади, второго. В третьем было то же самое, что в первом и втором. Четвертый оказался специализированный, его наполняли освещенные внутри магазины со стеллажами книг в ярких цветных обложках. Кипами высились журналы большого формата на великолепной глянцевой бумаге, наполненные обнаженными красавицами. Журналы были на разных языках, вплоть до, как мне показалось, эскимосского. Не было только на русском. Да и зачем им появляться на русском языке, если перед печатной продукцией с запада на наших границах плотный заслон, а о положении внутри страны один из важных государственных лиц выразился на весь мир с телеэкрана так: «Пусть не клеветают на нас западные буржуазные писаки: секса в нашей стране не существует, нам он не нужен и никогда появиться мы ему не позволим!»

В каждом из книжно-журнальных магазинов действовал фармацевтический отдел со снабдьями, способствующими эротическому возбуждению. И обязательно продавались такие же надувные резиновые куклы,

какие мы видели на площади в первые минуты своего появления на ней. Надутые, так сказать — уже готовые к применению, и сложенные, плоские, пока что «спящие» в картонных коробках, заклеенных в целлофан. С ручкою, чтобы, купив, удобно было нести.

Магазины чередовались со входами в кафе, уютные ресторанчики, миниатюрные гостиницы. Во мраке и полумраке иных дверей тонули женские фигуры с самым минимальным количеством одежды на своих телах. А ведь прохладно, и весьма. Октябрь. На иных лужах даже тонкий ледок, под ногами слышится его хруст. До слуха доносится призывный шепот, короткие возгласы, непонятные нам с Дягилевым. Но на всем нашем пути — ни разу никакой бестактности. И что совсем странно — ни одного полицейского, как будто в этом районе города они вовсе не нужны, не происходит и не может произойти ничего такого, что потребовало бы их присутствия, вмешательства блюстителей порядка.

Навстречу нам то и дело попадались — в одиночку и маленькими группками — такие же, как мы, зеваки. Как правило — иностранцы, пришедшие на Пляс Пигаль лишь поглазеть. Шумно, во всю ширину тротуара, прошла группа западных немцев, человек двенадцать мужчин и женщин, все с фотоаппаратами, висящими на груди на тонких ремешках, с большими сумками за плечами. Сумки такого размера принято оставлять в гостиницах, но немцы почему-то всегда носят их с собою. Что там у них в этих сумках, почему с ними нельзя расстаться? Загадка! В характере немцев, да еще западных, много непонятных загадок. Прошедшие немцы вели себя так, будто находились на выставке под открытым небом, а все на площади — живое и неживое — это экспонаты, специально собранные для обозрения. Не стесняясь, жестами и возгласами они указывали друг другу на то, что привлекло их внимание, на что стоит посмотреть и другим, в голос обсуждали свои впечатления, громко смеялись, останавливались в иных местах всей своей кучей и без стеснения фотографировали обитательниц площади со вспышками электроламп почти в упор, в самые лица.

Но Пляс Пигаль не возмущало и такое поведение, площадь отвечала тем, что будто не видела, не замечала шумных, бесцеремонных немцев. Бог с ними, все они всегда ведут себя именно так, по-другому, вероятно, не могут и не умеют. Пошумят, погогочат, пощелкают вспышками, пройдут — и все останется так, как было. Будто они и не возникали вовсе.

Знаю, кто-то мне и не поверит, но я говорю честно, именно так со мной и было: еще не истекло полного часа нашего с Дягилевым пребывания на площади, а мною стала овладевать скука. Самая настоящая скука. Потянуло куда-нибудь прочь. Все равно куда, лишь бы в другое место. Еще в какую-либо сторону идти, еще на что-либо смотреть — решительно не хотелось, все ясно, понятно, все главное, основное увидели, теперь везде в пределах, на которые простирается то, что носит название Пляс Пигаль, мы найдем только одни варианты и повторения.

Дягилев, я это видел, тоже устал, был насыщен впечатлениями и не прочь был повернуть домой. Но у него в кармане лежало десять даровых, найденных на тротуаре франков, и их нужно было на что-то потратить.

— Ну, ты как хочешь, — сказал он мне, хочешь — топай в отель или тут броди, насыщай свою писательскую наблюдательность, а я схожу на фильм Рене Клера. В Ленинграде же его не покажут! А в фильме в главной роли еще и Жозефина... забыл, как дальше. Это новая жена Клера, уже четвертая или пятая по счету...

Мы распрощались, и Дягилев трусой в своей мальчишеской кепочке, коротком, тоже сильно молодившем его пальтишке, побежал к тому кинотеатру, в котором шел фильм обожаемого им Рене.

Во французских кинотеатрах такой порядок: в кинозал, естественно, купив билет, можно войти в любую минуту. Служительница, большей частью эту роль выполняют пожилые женщины, с фонариком в руке, проведет нового зрителя к креслу, в каком он пожелает сидеть. Кресла и билеты не имеют нумерации, а свободных мест в зале всегда больше половины. К зрителю сейчас же другая служительница подкатит тележку с напитками, фруктами, сигаретами, мороженым, шоколадом. Возможно, он голоден, хочет пить или закурить сигарету. Во французских кинотеатрах во время сеанса разрешено курить, хотя не всем это приятно. Но сеансы длятся долго, по два часа, курильщики без затяжки сигаретой не могут выдержать до конца. Разрешается даже бросить непотушенную сигарету на пол, покрытый ковром. Пожара не произойдет, все предусмотрено, в зрительном зале все из негорючих материалов. Вошедший среди сеанса зритель смотрит фильм до конца. Следует короткий перерыв, в зале на минуту зажигается свет. Потом снова тьма — и смотри фильм до того места, на котором вошел. Если дальше во второй раз уже не интересно, зритель встает, служительница, светя фонариком ему под ноги, выводит его из зала наружу. А захочет он сидеть дальше — пожалуйста, сиди себе на здоровье, никто его не попросит уйти. Хоть весь день можно сидеть в своем кресле, пить время от времени газировку, жевать бананы, грызть орехи, — что тебе по вкусу. А то и спи в свое удовольствие. Некоторые французы так и делают. Если на улице плохая погода, льет дождь, не хочется выходить под его струи, на ветер, холод. Или просто не хочется идти домой, где сварливая жена, горластые дети. Мало ли еще каких причин бывает у людей...

7

Узкая, как щель, улица, по которой мы с Дягилевым шли на площадь и по которой я пошел, расставшись с ним, чтобы выйти на знакомую Лафайет, была совсем темна. Дома, ее образующие, неразличимые, сливались просто в две длинных высоких стены, окна — без света, зашторены; казалось, за ними никого нет, никто за ними не живет. Церковь во имя Святой Лоретты выглядела еще более мрачно, загадочно, даже пугающе. Ее хотелось поскорее миновать, тем более, что в уличном прогале за нею маянце блестели огни, десятки, сотни огней, слышался шум, шуршание проносящихся автомобилей.

Но возле церкви, точнее, у чугунной ограды на каменном фундаменте, огибающей кусок земли у ее алтарной части с плоскими могильными плитами, стояли два человека и негромко разговаривали между собой — и разговаривали по-русски.

Оба они были уже весьма пожилыми, если не сказать — стариками. С сединой на висках, морщинистыми лицами. На них были фартуки из мешковины и оба держали в руках дворницкие метлы, такие же точно, какими дворники метут дворы и улицы и в России. Стало быть — обычные подметальщики, что выполняют в Париже свою работу по ночам, чтобы не пылить при свете утра, в лица прохожих, когда они, мужчины — свежесбрившие, пахнущие одеколоном, более денежные в крахмальных, менее денежные — в целлулоидных воротничках, женщины — на тонких

каблучках, в просвечивающих блузках, источая нежнейшие запахи модных духов, спешат на работу.

Свет, долетавший до церкви Святой Лоретты от улицы Лафайет, как ни был скуден, все же позволял разглядеть все эти упомянутые мной подробности: морщины на лицах стариков, седину на их висках. Под краем одинаковых беретов, вероятно, форменных. Даже казенные, с номерами, бляхи, что были прикреплены на их груди, поверх фартуков.

Но какова была русская речь, что они вели между собой! Она сразу же заставила в нее вслушаться, лишь только до меня долетели ее первые звуки. Старики произносили те же слова, что в ходу и у нас, так же, как произносим их мы. И все же не совсем так. Звучали они все-таки как-то иначе: мягче, что ли, нежней, душевней. И музыкальней. Вся их речь в целом для нашего современного русского уха была несколько иной. А вот как определить это отличие, эту разницу — сразу не скажешь. Да и подумавши, спустя время, даже значительное, тоже не скажешь, затруднишься в подборе слов. Если разве только так: было в звуках той русской речи, что звучала в России в пору детства и юности нынешних стариков, что увезли они с собою за рубеж со своей родины, не по своей воле покидая ее ради немилой эмиграции на чужбине, больше, пожалуй, какой-то теплоты, чем содержит наша речь сейчас, и больше чего-то непередаваемо-человеческого.

Чему же тут удивляться: да могла ли остаться людская речь в российской стране прежней — после стольких пережитых страданий и бед, стольких бурь и потрясений, такой ломки всего и вся! Старое рушили «до основанья», новое строили, не зная толком, что получится, что следовало бы сберечь, сохранить. Как круто, неудержимо ломали словесный состав во все годы после Октября семнадцатого! Какое множество слов было приказано навсегда забыть под угрозой кары, даже смертной казни — и какое великое множество людей поплатилось своими жизнями не за что-либо, а именно только за произнесенные слова: скажи батюшка-царь — и пуля в твоём затылке. Осени себя крестом и произнеси: слава тебе, господи! — и произойдет то же самое. А еще более великое множество слов неуклюжих, корявых, мерзостно-чужеродных или неприемлемо-дисгармоничных для русского языка, отточенного, слаженного в нечто единое, естественно-природное, шлифованное устно и письменно перьями летописцев, гениальных поэтов и писателей и в народной толще, напрямую взятых из иностранщины или бездарно, уродливо из нее скопированных, без всякого вкуса и любви к своему языку, без его чувствования и знания, было внедрено, вброшено в обращение революционными газетами на скверной бумаге, пачкающими руки непросыхающей краской из печной сажи и керосина или вонючего дегтя, «летучими дождями» брошюр, полотнищами кричащих площадной бранью плакатов, язык которых даже сам их создатель презирал, называя его «шершавым».

Два подметальщика разговаривали между собой совсем негромко, но я шел тихо, мои ботинки на микропористой резине не стучали, не шаркали по тротуарным плиткам, я услышал русскую речь еще издали, шагов за десять, и мимо пройти не смог, остановился напротив говоривших.

Было понятно, что они старые знакомцы, близкие друзья, давно не виделись, а теперь вот встретились и безмерно рады друг другу, обоим пронизывает чувство величайшей приязни, любви, как может это быть только с соотечественниками не где-нибудь, а только на чужбине, и эта их встреча, задушевный разговор на родном языке — самое, может, для

них радостное и в то же время редкое, не часто для них случающееся, изо всего того светлого и дорогого обоим, что у них еще осталось в конце их невеселой жизни в чужих краях.

Мне нестерпимо захотелось заговорить со стариками, хотя я отлично помнил строгую инструкцию, что накануне отъезда вбивали в головы всем отправляющимся за рубеж: ни в какие разговоры со случайными, незнакомыми людьми там не вступать, в каждой западной стране есть и действуют особые, специальные силы, которые ловят советских граждан на всяких промахах, подстраивают им разные козни. Можно легко нарваться на провокацию — и последуют большие неприятности. Встречи у вас с представителями рабочего класса, передовой интеллигенции будут, но они будут организованы проверенными, надежными людьми — французами коммунистами, на них ничего случайного, тем более — враждебного для советских людей не произойдет.

Но с чего начать разговор со стариками?

Перед тем, как услышать русскую речь, я, идя по улице и приближаясь к церкви Святой Лоретты, хотел закурить и поэтому держал во рту сигарету, а в руках спички. Коробку наших отечественных советских спичек, из которых зажигается одна, а две или три, почиркав и искрошив их головки, выбрасываешь вон.

Дальше все происходило спонтанно, как бы само по себе, даже без участия моей воли и разума. Соглашусь — не совсем умно, может быть даже совсем не умно, а просто глупо, но я рассказываю, как было на самом деле.

Я потряс коробкой спичек, спички в ней не затарахтели, их в коробке почти уже не осталось. Старики слышали мои шаги, увидели меня и, прервав свою беседу, на меня смотрели.

Я спросил:

— Хэв ю э мэтчес? (Имеете ли вы спички?)

Спросил почему-то по-английски. Почему по-английски? Так само собой вылетело из меня. Английский в своем далеком уже детстве я учил в школе, учил плохо, как все мы тогда учили, слышать английскую речь мы не могли, читать какие-либо газеты или журналы на английском — тоже, никакого применения в дальнейшем этому языку не виделось. Из выученного с грехом пополам в памяти осталась, наверно, лишь сотая часть. А из других языков я не знал вообще ничего. Только лишь «мерси» по-французски. И еще по-немецки: «Хэндэ хох! Гитлет капут!» Эти слова знал каждый наш солдат на фронте.

— Мэтчес? — переспросил тот, что был ко мне ближе. Он, как и его сотоварищ, был худ, даже слишком, почти костляв, просто скелет, обряженный в одежду, выше своего друга на полголовы. А то и на целую голову. Что я произнес, обращаясь к ним, никто из них не понял. Английский был им неизвестен.

— Мэтчес, — повторил я. — Спички. Есть у вас спички? Мои кончились. Одолжите мне огоньку.

Они даже вздрогнули оба.

— Так вы русский?

— Так точно.

— Из Москвы?

— А почему вы так сразу решили, что из Москвы?

— Но вы же идете с площади Пигаль. Наши русские, парижане, на Пигаль не ходят. А приезжие обязательно бегут туда. Посмотреть. В со-

ветской Москве ведь таких мест нет. А приезжают в основном из Москвы. Прежде не ездили, не разрешалось. У нас это известно. А теперь вот разрешили, стали приезжать.

— А вы, я так полагаю, господа поручики? Я угадал? Бывшие поручики.

Тоже не могу объяснить, почему я задал старикам-подметальщикам этот вопрос. Он тоже как-то сам собою выскочил из меня. Из въевшегося, воспитанного в каждом из нас, советских людей: если эмигрант, да к тому же пожилого возраста — значит, непременно белогвардеец, воевал в гражданскую в армии Деникина, Врангеля или Колчака. Не иначе. Носил на плечах золотые погоны как минимум поручика. А то имел чин и повыше.

— Нет, не поручики, — ответил худой, возвышавшийся над товарищем. В голосе его я уловил даже нотку сожаления — что он не может подтвердить мою догадку. — Но я хотел им быть. Очень даже хотел, — с полной искренностью сказал подметальщик. — Учился в кадетском корпусе. К весне семнадцатого года заканчивал третий класс. А всего было семь. Потом — офицерское училище. Я уже знал, где буду учиться. Дорога мной была выбрана твердо. Безусловно, и корпус, и офицерское училище я бы закончил успешно. Наш род со времен предков военный. Мой отец участвовал в русско-японской войне, два года провел в плену. Японцы после сдачи Порт-Артура офицеров отпускали на родину, в Россию, даже оставляли при них личное оружие. Но мой отец остался в плену добровольно, чтобы не покидать своих солдат. Все настоящие офицеры так поступали, а таких было большинство. Тогда в армии к солдатам существовало такое обращение: «Братцы!» И было принято всегда и во всем показывать, что командный состав и рядовой действительно братья: одной веры, одной крови, за одно общее дело бьются. И в беде, и в удачах вместе...

Даже не видя полностью лица недоучившегося кадета, можно было догадаться, что оно до крайности оживлено, глаза его горят, зажглись — так ему приятно вспомнить прошлое, говорить о нем.

— Таких, как я, детей ветеранов, принимали в кадетские корпуса без экзаменов, на казенный кошт. А своекоштным учение обходилось дорого, полтыщи рублей, даже больше, в год... Офицерские школы отличались строгостью, малейшая провинность — и можно было вылететь за порог. Зато уж офицеры выходили — блеск. Посмотрите на опыт Первой мировой войны. Да и на фронтах в Гражданскую разве плохо они себя показали? Уж чего, а мужества, профессиональной выучки хватало с избытком... А неудачи, крах всего белого движения — тут причины другие, особые...

Старик запнулся, понял — погружаться в тему о белых и красных не стоит. Перед ним человек из нынешней коммунистической России, мало ли как дальше развернется разговор. Приобретет такую остроту, что пожалеешь. Закончил тем, о чем заговорил вначале — собою. С легкой печалью, как о таком, что уже совершилось полностью, ничего теперь не изменить, не поправить, сказал:

— Какие мечты кружили голову, какие планы! Просто наполеоновские. Все рухнуло. Жизнь пошла совсем другим путем. И вот к чему привела, — он слегка приподнял перед собой метлу, на которую, стоя, опирался.

— А я даже кадетом не был, — вступил в разговор собеседник высокого. — Гимназер — так нас, малышню, называли. Точнее сказать —

дразнили. Шинель с металлическими пуговицами чуть не до пят, за спиной ранец. Когда всей семьей попали во Францию, я еще совсем юнцом был. После голода в России, невзгод — а их столько выпало — просто заморыш: шейка тонкая, птичья, все мои косточки гнутся, как лозинки. С трудом, не сразу, но мать и отец все же нашли себе место: на ферме у одного состоятельного крестьянина, в работниках при коровах. Подрос я, окреп, хозяин взял на работу и меня: тоже ходил за скотиной. Весь пропитался навозом, за десять шагов от меня пахло. В двадцать три года сдуру женился. И вскоре — мировая депрессия. Сильней всего ударило по Америке. Но и по Франции тоже. Работу я потерял. Ни гражданства, ни права на какую-либо помощь, никаких перспектив, полный крах. Хоть вешайся. И тогда я решил вступить в иностранный легион. Единственный выход. Можно скопить из солдатского жалованья какие-то деньги, что-то потом на них предпринять. А главное — через три года службы можно просить французское гражданство. Прослужу пять лет — возможность стать полноправным французом еще больше.

— Про службу в легионе и у меня мысли были, — признался первый подметальщик. — Они ко многим русским приходили в голову. Особенно офицерам, профессиональным военным. Помыкаются в нищете, отчаются хоть как-то пристроиться в мирной жизни — хотя бы в лифтерах, швейцарах, шоферах такси, — что делать, куда деваться? В легион. Или пан, или пропал. А кто пропадал — так без следа, без вести, даже не узнать, где бедолага голову сложил.

— Прошел я врачей, всевозможные проверки, главную из них: чтоб не разыскивала международная полиция, — продолжил свою исповедь второй старик, ниже ростом. — Беседы разного рода с вербовщиками тоже благополучно прошел. Осталось только подписать контракт — и через час на мне зеленый берет, красно-зеленый мундир с гербом иностранного легиона на груди: разрывающаяся граната в языках пламени. Эмблема смертника, именно так этот герб смотрится. Дали мне лист бумаги с текстом контракта. А текст такой, что тоже вступающего в легион в смертника превращает: служить обязан в любой точке мира, в любых условиях, куда ни пошлют, приказ командира обязан выполнить без колебаний тоже любой, хотя бы он тебе сказал, вот огонь, железо в нем плавится, прыгай в этот огонь и сгори! Сел я с листком бумаги за столик, он отдаленно стоит, никто не торопит, думай, сколько хочешь, но только назад свое решение уже не бери. Перо в чернильницу обмакнул. И вдруг в меня словно молния: что же это я делаю?! Ведь назад, в Россию, пути мне уже никогда не будет, кто же пустит в нее наемника, что давал клятву и против советов сражаться, если так прикажет начальство! И от самого себя полное отречение. В легионе служат под несуществующими, придуманными именами, вся биография твоя — тоже фикция, выдумка, фальшивка: кто ты по национальности, где родился, имена твоих родителей... Впереди, по существующей в мире обстановке, скорее всего три, пять лет Африки или Индокитая, значит — знойные тропики, лихорадки, мучительная жажда. Ядовитые змеи норвят незаметно заползти в твои ботинки ночью на привалах. Беспощадная война с черным населением: без линии фронта, без всяких правил. Вернее — с одним: полное уничтожение каждой из сторон. Ты для черных все равно, что дикий зверь, проявлять снисхождение нельзя. И такое же отношение к черным. Ты стреляешь в них из автоматического оружия с оптическим прицелом, позволяющим видеть даже в полной темноте,

черные в тебя из тьмы, из кустов, с древесных ветвей первобытными стрелами, но не менее метко и убийственно. А если удар копьём — так насквозь. Наконечники стрел и копий смазаны смертельным ядом, прежде чем умереть, пораженный им корчится в страшных муках, перед которыми все муки ада просто ничего не стоящая ерунда...

Старик на несколько секунд приостановился, как бы для того, чтобы я полнее прочувствовал, что предстояло ему, если бы он вступил в легион.

— А что потом, спросил я себя, если я благополучно отслужу срок, останусь жив? В таком случае вот что: я француз, жена у меня француженка, дети французы тоже. Россия для жены — это снега, дремучие леса, косматые медведи. При одном лишь слове «Россия» она вздрагивает всем телом, не хочет про Россию даже слышать. А вдруг все-таки произойдет невозможное: для эмигрантов из России открываются пути назад, на родину. Семью свою, в первую очередь жену, мне туда никакими соблазнами не заманить, не затащить никакими силами...

Посидел, посидел я над контрактом, ожидавшим моей подписи, и вернул эту бумажку, не стал подписывать... Много потом всякого в моей жизни было. Хорошего мало, в основном такое, что и вспоминать не хочется... А теперь вот девятый год, как я... — он назвал свою должность по-французски и перевел: чистильщик улиц.

— И сколько же зарабатывает такой работник, как вы? На хлеб, молоко хватает?

— Даже на трубочный табак. Я трубку курю, не папиросы. И в уличном кафе за столиком с кружкой пива раз в неделю посидеть. Не думайте, — живо произнес он, как бы угадывая мои мысли и стараясь их опередить, — не думайте, что быть, — он повторил уже произнесенное им французское слово, — это что-то низкое. Это в России так считалось и считается до сих пор, там у вас все инженерами хотят стать. А здесь, во Франции, такая работа ценится совсем по-другому. Во-первых, я муниципальный служащий. Вот как и Митрофан Ильич, — кивнул он на своего приятеля. — А это ряд социальных прав, льгот. Например, пенсия. Достигну указанного в законе возраста — буду получать пенсию. А она равна прожиточному минимуму. У нас далеко не все получают пенсии, только государственные служащие. Определиться на такую работу совсем не просто. Надо обладать здоровьем, пройти конкурс, а перед этим месячное обучение, подготовку. Требуется знать множество правил. И даже если годишься, собрал все нужные справки, — ждешь вакансию. А это может растянуться на долгий срок. Даже на годы. Я, например, ждал два года. А Митрофан Ильич даже больше. Ты сколько ждал, Митрофан? — обратился он к приятелю.

— Почти три. Без малого три. Если точно — два года и девять месяцев.

— Значит, вы — Митрофан Ильич? — спросил я высокого. — А вы? — повернулся я к тому, что рассказывал мне об иностранном легионе и как стать в Париже подметальщиком.

— А я — Тимофей Степанович. А фамилия у меня Репейников. На юге России она очень даже известная была. Дело в том, что дедушка мой по матери, отставной ротмистр кавалерийских войск, возле кубанской станции Куцевской хутор имел с землей. Но занимался не хлебопашением, а пасекой. Держал чуть не двести колод с пчелами. Работников держал, одному с таким обширным хозяйством не управиться. Хлебного зерна по-

чти не сеял, самый чуток, лишь бы до новины с семьей продержаться. А на остальной своей земле сеял исключительно медоносные травы. Зато и меда получал — никто на всей Кубани столько. В Куцевской в году четыре ярмарки собиралось. Самая обильная, людная, шумная — осенью, в канун Покрова. На ней дед мой и разворачивал свою основную торговлю. Мед к той поре уже полностью зрелый, духовитый, в самой цене. Являлись его главные покупатели: купцы из Питера, Москвы, Казани, других больших городов. Закупали в солидных количествах, счет денег на тысячи шел. Чтоб в своих лавках до будущей такой же ярмарки меда хватило. Ну и прочий народ дедов мед шустро разбирал. Дед торговал всяко — и на вес, большими бочками, и в малой таре — в липовых кадочках. Специально такие кадки в лесничествах загодя заказывал. Навезут их, нагромоздят горы — чуть не до небес. На каждой кадке глянцевая наклейка, а на ней: «А.М. Репейников». То есть — Афанасий Михайлович. «Собственная фабрика меда». И крупно, во всю вышину кадки четыре буквы, даже издали их видать: «МЁДЪ». Почему четыре? Так ведь тогда твердый знак в правописании существовал. Так и звалась у покупателей дедова продукция: «Репейников мед». А потом стали короче говорить: «Репейный мед». И прижилось, пошло по народу: «Репейный мед... Репейный мед». Многие, не вникая, думали, что он взаправду с репейников собран... Он целебный был, им от многих болезней лечились. Больные суставы мазали, лысые в плешины свои втирали. Даже плешивым дедов мед помогал. Репейный мед! Это название, я думаю, на Кубани и по сию пору помнят. Разве позабудешь такой мед, нельзя такой мед забыть...

Я назвал старикам свое имя, фамилию, чтобы знакомство наше было полным, а сам подумал об их именах: сколько в них тоже русского! Такого, что ушло, уходит, и скоро, надо полагать, исчезнет полностью, навсегда. Ну кто у нас сейчас назовет сына Митрофаном. Да ни за что! Сразу же вспомнится нарицательный Митрофанушка, которого каждый ученик в школе изучает и сочинения про него пишет — какой он был глупый, нерадывый, неразвитый. И не появится в мире нового Митрофана. Кто сына Степаном назовет? Тимофеем? Нет уж, скажет родитель на такое предложение, спасибо, — чтоб бегал Степка-балбес и все его дразнили? Тишка-обормот? А вот Артуром, Альбертом, Германом или Альфредом — это пожалуйста. Это с удовольствием... Эльвирой, Анжеликой, Эсмеральдой — если девочка... Но уж не Матреной, Евдокией, Прасковьей...

8

Продолжая разговаривать, я и Тимофей Степанович присели на нижнюю часть ограды. Каменная полоска фундамента, державшего на себе чугунную решетку, была узка, но мы все же смогли на ней поместиться. Митрофан Ильич остался в своем прежнем положении: стоять перед нами с метлой в руках, как и стоял.

Когда мы сели, он показался мне еще выше ростом и еще более худым. Настоящий скелет, живые мощи. Но при этом он заключал в себе еще далеко не истраченную силу, она в нем явственно угадывалась. Такое бывает у худых, жилистых, сухих на вид людей довольно часто. И болеют они меньше полнотелых, и живут дольше.

Роль рассказчика перешла к нему, и я узнал, что кадетский корпус после октябрьских событий сначала вывезли на северный Кавказ, а потом, когда стало ясно, что белое движение не удержится и там, осенью де-

вятнадцатого года на корабле из Новороссийска в Турцию — на Галлиполийский полуостров. Там находилось немало белых войск, сражавшихся в Крыму, на юге России, и не желавших сдаваться в плен красным, потому что это означало только одно: поголовное истребление, поголовный расстрел. Несмотря на заверения сохранить жизнь, поступить с пленными милосердно, подписанные красными военачальниками. Клялся, например, даже сам Главковерх Фрунзе, давал слово. Ему поверили, в Крыму сдалось и зарегистрировалось по данным красной и белой печати от 50 до 150 тысяч «белых», и в результате, по сообщениям одних лишь «красных» газет — более 50 тысяч трупов...

В Галлиполии эвакуированные войска довольно долго сохраняли свою организованность, структуру, поддерживали в порядке обмундирование, знаки различия, чистоту и исправность боевого оружия. Бюли дисциплину, статьи воинского устава. Проводились периодически смотры, учения. Даже, как до войны 14 года, занимались время от времени «словесностью», то есть — своего рода политзанятиями. Кадетский корпус, или, вернее, то, что от него еще оставалось, тоже вел свои занятия: общеобразовательные и военные, строевые. Высшее начальство хотело его обязательно сохранить, сохранить действующим, не останавливать учебной программы. Корпус был нужен всей армии: это будущие офицерские кадры, костяк полков, дивизий. Это те, кто в скором будущем — а вера в это жила, не умирала — под знаменами с золотыми орлами вернутся в дорогу им всем Россию и приведут с собой сохранившие боевую силу войска.

Но денежная поддержка слабела, слабел постепенно и моральный дух. Надежды на реставрацию прежнего строя, порядков, на возвращение на родину падали, и все неуклонно разваливалось — пока не развалилось до конца.

И тогда началось самое безрадостное: борьба в одиночку просто за выживание. За гроши, которые нужны, чтобы заплатить за угол в лачуге, чтобы хозяин не выгнал с семьей, с детьми на улицу; за другие гроши — чтоб купить хотя бы кусок хлеба, десяток картошек, ибо совсем нечего есть. Борьба бесславная, изнуряющая своим унылым однообразием, безысходностью, наполненная отчаянием и тоской. Борьба, в которой было гораздо больше жертв, молча и покорно погибавших, чем тех, кому хоть как-то повезло, удавалось держаться наплаву, чьи жизни скрасила удача.

Последние отблески миновавшего дня исчезали в небе над городом. Уличная тьма сгущалась, становилась совсем ночной. В соответствии с этими переменами разгорались уличные фонари. Сначала, с наступлением сумерек, они светились слабо, лишь только обозначая себя, но не проливая вокруг, на тротуары и проезжую часть, света, а теперь пылали ярко, по-настоящему, как и должны они гореть.

Капитализм, как успели заметить мы во Франции, скуповат, а вернее сказать, расчетлив даже в мелочах, крайне экономен. Здесь не трагят даром, неоснованно ничего: ни лишнего кубика газа на варку и подогрев пищи, ни киловатта электричества, ни капли бензина или воды. В гостиничном туалете вода течет ровно столько, сколько ее нужно для умывания или купания под душем. Электрический свет благодаря каким-то хитроумным устройствам зажигается в лифте и горит, пока вы поднимаетесь в нем к своему номеру. На площадке перед ним — пока вы, покинув лифт, вставляете в замочную скважину ключ и отворяете дверь. А

шагнули через порог — свет на лестничной площадке за вашей спиной тут же гаснет.

Нас, россиян, привыкших совсем к другому — что все даром, в избытке и можно ничего не жалеть, не беречь, не считать, горит электрический свет в подъездах, на площадках жилых домов бесцельно, бессмысленно всю ночь, когда все спят и никто не ходит — ну и пусть горит, льется потоком вода из крана, когда ты всего лишь умываешься и для умывания нужен кувшин воды, не больше, а бесцельно, неиспользованной, ее сбегает в канализацию целая бочка — ну и пусть убегает, не жалко, воды у нас много, тысячи рек, озер, хватит на все века, конца краю ей нет и не будет; нас, советских россиян, такая буржуйская скупость поначалу даже возмущала. Не только возмущала, самым настоящим образом злила. Но постепенно в наши советские головы стало проникать, что совсем не глупость и не буржуйская жадность в таких порядках, а трезвая, нужная расчётливость. В них загляд вперед, забота о тех, кто будет жить на земле после нынешних людей. И ясное понимание, что все имеет цену, во все вложен труд, который оплачивается, ничто не достается даром, не падает само собой с неба. Да еще в безмерном количестве. Когда-нибудь, несомненно, начнут считать строго и у нас. И как во всем, что делается впервые, и в этих делах наверняка чрезмерно перегнут палку...

Из глубины улицы со стороны площади Пигаль слышались шаги. Они были торопливые, мелкие, спешащие, с шарканьем подошв. Это шел, вернее, своей характерной побегой двигался Дягилев. Я уже хорошо изучил его походку, сопровождающие ее звуки, мог бы узнать из сотни других человеческих походок.

Я удивился: что-то он рановато, фильм, если он на него попал, должен еще продолжаться.

Человек приблизился, его уже можно было рассмотреть. Дягилевская подростковая кепочка, короткое пальтишко...

— А вот мой друг — Владимир Яковлевич Дягилев, — представил я своего приятеля подметальщикам. — По профессии врач. В военное время — хирург на фронте. Если вам надо что-нибудь отрезать — лучшего мастера для этой цели не найдете. Отрежет в момент, хоть прямо здесь.

Оба старика шутку поняли, но из деликатности сдержали свои улыбки — непозволительно участвовать в шутке, направленной в незнакомо-го им человека, который только что возник перед ними. Тем более — он врач. В Европе это гораздо более почетная профессия, чем у нас в стране, поднимает престиж человека очень высоко. Во Франции врачи на самых высоких ступенях социальной лестницы. Многие имеют свои клиники с десятками сотрудников, доходы таких врачей не приснятся во сне даже самым лучшим нашим специалистам.

— Ну, как ваш любимый Рене Клер, насладились? — не без некоторой порции яда спросил я Дягилева. — Вроде бы рановато вы его покинули. Что-нибудь случилось?

— Ушел, — сказал Дягилев сердито. — Рене Клер, а такая ерунда, смотреть невозможно. Все-таки правду у нас о современном западном кино пишут: деградация. Всех задавил американский стандарт: красотки-гангстеры, обнаженные блондинки типа Мэрилин Монро, и до отвращения примитивный сюжет. По наезженной схеме. Мелко, безмозгло... А все сплошь замечательные мастера: и поют прекрасно, и танцуют. Но даже такой ансамбль ничего путного не может родить...

Отвечая мне, Дягилев при этом пытливо вглядывался в лица стари-

ков. Он быстро, еще даже не услышав от стариков ни слова, понял, что они русские, эмигранты из первой волны, то есть — после революции. Значит — читалось в его лице — белогвардейцы. Возможно, у него мелькнула та же самая мысль, что в первую минуту мелькнула у меня: господа поручики. В хорошую же компанию он попал! Его наполняло внутреннее напряжение, видимое только мне. А если этот факт дойдет до его ленинградского литературного начальства? А над литературным есть еще и партийное! Как вот такая встреча на ночной улице, пусть даже краткая, пустяковая, но все-таки беседа с врагами советской власти будет истолкована, расценена? Да не меньше, как предательство, нечто такое, в чем КГБ должен серьезно разобраться. Ведь из белогвардейского племени эти двое подметальщиков! А о чем до сих пор думают и мечтают белогвардейцы? Они же и сейчас все еще полностью не сложили своего оружия!

И найдется кто-то, обязательно найдется, кто глубокоумно, изображая собою стопроцентного патриота, скажет: а не имела ли место попытка завербовать наших беспечных, потерявших бдительность товарищей? Может, им даже задание какое-то дали? Умело их при этом подпоили. А они, дураки, расслабились, дали себя охмурить, опутать, не сообразили, в какие они руки попали. С какой целью с ними так любезно, ласково разговаривают. В ресторанчик их завлекли, винцо им в бокалах подносят...

И меня вдруг осенило: уходя с Дягилевым из гостиничного номера, я положил в небольшую матерчатую сумку, в которой носил свои фотоаппараты, последнюю, остававшуюся непечатой, бутылку водки. Погуляем, устанем, сядем потом в каком-нибудь уютном баре на плетеные стульчики, за такой же, из тростника, стол, закажем что-нибудь на те крохи, что я приберег для последнего вечера в Париже, и с чашечкой кофе или бокалом пепси-колы, пузырящейся минералки выпьем с Дягилевым эту нашу отечественную водку. Во-первых, в память о том, что оба мы воевали и почему-то остались живы, хотя смерть все время ходила рядом. Потом — за прекрасный город Париж, единственный такой на всем свете, в котором, чтобы по-настоящему его узнать и еще крепче полюбить, надо было бы пожить подольше — и не с такими, конечно, франками, как у нас. И, конечно же, обязательно оставим последние граммы в бутылке на третий тост — за нашу далекую сейчас от нас родину, которая всегда с нами, даже здесь, в прекрасном, но все же не столь близком нам Париже.

И, вспомнив про лежащую в моей сумке бутылку бутурлиновской водки, я сказал подметальщикам, Дягилеву и самому себе тоже — громко и с тем особым чувством, особым подъемом, что всегда возникают в душе русского человека при таких желаниях и предложениях:

— Знаете, а давайте-ка выпьем водочки за наше знакомство. Нашей, российской. Просто за то, что вот здесь нас четверо, и все мы русские. И родина у нас у всех одна, как бы кто на нее ни смотрел и как бы о ней ни думал. Это факт, и никуда от него не денешься...

Я сказал это, адресуясь в основном к Митрофану Ильичу и Тимофею Степановичу.

Предложение мое старикам понравилось. Но, одновременно, и сильно их смутило. Я понял, о чем они подумали. За годы нищенского существования во Франции большинство русских эмигрантов утратило стародавнюю национальную привычку: по каким-либо поводам потчевать, угощать родню, друзей, знакомых. Даже в дни самых больших праздников, крупных семейных событий. Что уж говорить просто о дружеских встречах! Старики не прочь были выпить, тем более — русской водки, но они

решили — я поведу их в кафе, закажу выпивку там, и, согласно правил, существующих во Франции, всеми принятых, для всех непреложных, им придется за свою долю платить. А русская водка — продукт иноземный, привозной, стоит дорого. Мало того, что им придется платить свои деньги, так еще и такие, что им явно не по карману.

Как отмечают личные праздники во Франции, я уже видел в тех ресторанах, в которых турфирма кормила нас обедами и ужинами. За столом — человек пятнадцать. Чествуют молодоженов после регистрации брака в мэрии. По одну сторону стола — родители жениха, теперь молодого мужа, его самые близкие родственники: сестра с мужем, брат с женой, тетка, еще кто-то. По другую — родители молодой жены, ее родственники примерно в таком же составе и количестве. Во главе стола — молодожены. Молодой муж во фрачной паре, молодая жена в кружевном белом платье, похожем на пену взбитых сливок. И еще за столом пять-шесть человек. Это просто близкие знакомые двух семей, которым оказали высокую честь, пригласив их на торжественный обед в ресторанной обстановке: с тостами, выстрелами пробок из бутылок с шампанским, пенящимися бокалами в руках. Официант с подобающими событию манерами принимает у сидящих за столом заказы на блюда и напитки, а мы, россияне, из своего угла исподтишка наблюдающие эту сцену, до крайности удивлены: родители жениха делают свой отдельный ото всех заказ, родители невесты — свой, а приглашенные гости — тоже каждый лично себе. Выбирают в меню тщательно, осматривательно, заглядывая в графу, где проставлена стоимость блюда. У каждого гостя получается что-то незначительное, совсем недорогое, словом, и сыт не будешь, и только лишь, как говорится, по усам потечет, а рот останется сухим. В заключение так же точно все и расплачиваются: каждая сторона только за себя и себе близких, каждый гость тоже только за себя. Один из гостей заказывал и выпил лишь стакан клюквенного сока. Он сидел в компании полтора часа, слушал тосты, говорил сам, горячо поздравлял молодых, а выпил только вот этот сок. Ровно стакан. И это — на свадьбе! То ли поразительная экономия собственных средств, то ли такое же поразительное исполнение требований здоровья. Скорее всего — экономия. Никого из окружающих не удивляющая. Совершенно нормальное поведение на всеобщий взгляд. Так здесь живут люди. Так принято. Деловые, приятельские, дружеские отношения — это одно, а вечеринки, застолья, праздники с едой и питьем — словом, все, связанное с денежными тратами, это совсем другое. Пригласили на свадебное празднество в ресторан — это почет, знак особого уважения, близкой дружбы, и приглашенный полностью доволен. А сколько и что он выпьет и съест — это его личное дело. Он может вообще ничего не пить и не есть, только присутствовать. Или вот как этот господин на торжественном обеде после бракосочетания в мэрии — всего лишь стакан клюквенного сока. Но платить за него, зарабатывающего, как все другие, имеющего собственные деньги, за его аппетит и плотские желания — никто не обязан и не собирается...

Угадывая мысли ночных знакомцев с метлами в руках и доставая из сумки завернутую в бумагу бутылку, я сказал, стараясь согнать с их душ возникшие опасения:

— Вот и водочка, сейчас угостимся. Найдется, во что и налить. Конечно, хорошо бы из холодильника. А на закуску — яблоко. К сожалению — одно. Зато большое. Разделим по кусочку на всех.

Бутурлиновская водка хотя и делается в провинции, но по тем рецеп-

там, что существовали двести лет назад, еще при первом владельце здешних земель и основателе самой Бутурлиновки графе Бутурлине. Сейчас она одна из лучших в стране. Это я говорю серьезно, с полным основанием. Превосходное ее качество всем известно и неоспоримо. Но она и тогда была хороша, в те годы, к каким относится мой рассказ. Я немного фыркнул в начале своего повествования по поводу того, что не удалось купить в магазине перед отъездом московскую, но это просто по привычке ценить только то, что сделано в столице, на чем стоит московская марка. А если говорить объективно, положив руку на сердце, то очень часто то, что произведено в провинции, не только не хуже, но значительно лучше продукции со столичным клеймом. Вологодское масло, например, — кто не согласится с тем, что, если выбирать для стола, желая порадовать и себя, и гостей, то только именно вологодское. Кто откажется от тульских пряников, не предпочтет именно их — если рядом с ними лежат еще и другие? Только займись таким перечнем — и он получился бы бесконечным...

А почему бутурлиновская водка истари завоевала себе добрую славу?

Воду для нее брали, берут и сейчас, с большой глубины, из самых чистых, стерильных слоев. Вода наполнила их еще миллионы лет назад. А мастерам виноделия известно, что для вкуса водки важен не только спирт, но и вода, какой его разбавляют.

Вы только себе это представьте: пьете водку, подносите ко рту рюмку или граненый стаканчик, а в нем миллионы предыдущих лет, целые эры в истории земли, эпохи. Над неостывшими еще полностью, дымящимися горами и долинами летали тогда диковинные ползувери-полуптицы с размахом крыльев как у нынешних самолетов. Они были пострашнее тогда еще не существовавших крокодилов, питались только мясом, проглатывая его огромными кусками, могли в своих когтях унести детеныша динозавра и за десять минут исклевать его до голых костей где-нибудь на горячей, огненно-бурой скале...

Чтобы разлить водку, в моей сумке нашлась стопка белых пластмассовых стаканчиков. Вместе с парой бутылок я захватил их с собой из Воронежа, они были новинкой, только начинали тогда входить в употребление. Выпивохи их презирали, потому что они не издавали звона. А пить без звона, не чокаясь — так на Руси не заведено. Не годится. Так только немцы пьют и другие подобные им народы, не смыслящие настоящего толка в застольях, в дружеских пирушках.

Яблоко разделили складным ножом, который вынул из кармана Митрофан Ильич.

Никогда не забуду, как пили старики из стаканчиков. Ни один, ни другой не опрокинули в себя водку сразу, они держали ее в своих руках, и при этом каждый был наполнен чем-то особым, что-то про себя думал и переживал какие-то чувства. Вряд ли им доводилось пить водку еще когда они жили в России, не покинули ее, тогда для водки они были еще слишком малы, почти дети. Не пили они ее и за всю свою жизнь во Франции, этот напиток был для них слишком дорог, недоступен. Да и что за водка была здесь в продаже? Хотя и делали ее выходцы из России — потомки фабрикантов Смирнова, Горбачева и других, и называлась она русской. Но русской она не была, только лишь по названию. Ее технология была взята с запада, разрабатывали ее западные ученые-химики, западные инженеры, и производили ее бездушные механизмы из железа и стекла. И хотя они действовали безупречно, под контролем десятков точней-

ших приборов, придраться к чему-либо и что-либо забраковать в ней было невозможно, но и настоящей русской ее не назовешь, настоящего русского в ней нет, что-то существенное из нее ушло, что-то в нее не попало, потеряно невосполнимо. Случилось нечто похожее на то, что произошло с нашим русским языком, оставшемся на своей родине, но уже совсем в иных условиях: и тот он, и в то же время не совсем тот...

Мне очень хотелось, чтобы привезенная мною во Францию водка, которой я угощал стариков-подметальщиков, им понравилась. Но я совсем не помню, что, какой вкус, какое действие ощутил я сам, когда выпил свой стаканчик, и как водка отразилась на стариках, — хотя все время на них смотрел и старался угадать их впечатление.

Дело, наверное, в том, что водка, которая была в их стаканчиках, была для них не просто водка, а представляла нечто большее. Она была из России, а что это значило для них и, следовательно, что содержала она в себе — угадать постороннему, такому, как я, человеку было невозможно, рассказать об этом могли только они сами. Но и сами они, наверное, не сумели бы рассказать, если бы даже взялись...

Выпив, пожевав яблоко, в задумчивости помолчал, Митрофан Ильич произнес:

— Значит, водку все-таки делают в России?

— А почему бы ее не делать? — спросил Дягилев, дожевывая свою дольку яблока.

— Так ведь Ленин же сказал: мы водкой в советском государстве торговать не будем. И производить не будем. Водка — это путь назад, в темноту, в мракобесие. В пути капитализма.

— Он водки не пил. Даже вкуса ее не знал. За всю свою жизнь ни одной рюмки не выпил. Потому и сказал. А вот Рыков, глава правительства после Ленина, он и Россию знал лучше, и в водке разбирался. Нужность ее для живых людей понимал. Ленин умер — и сразу на прилавках появилась водка. С белой головкой. Народ ее «рыковкой» окрестил.

Я хотел бросить опустевшую бутылку в стоявший неподалеку мусорный бак, но Тимофей Степанович поспешно меня остановил:

— Ой, не бросайте! Дайте ее мне. На память.

Получив бутылку, он стал ее рассматривать, поворачивая перед собой в пальцах. Остановился на этикетке. Света ближайшего уличного фонаря хватало, чтобы прочесть на ней даже мелкие буквы. Медленно их разбирая, складывая, Тимофей Степанович вслух прочитал: «Бутурлиновский ликеро-водочный завод. Город Бутурлиновка».

— Бутурлиновка... — вразяжку произнес он. — В ней моей мамы подруга жила. Где-то они познакомились, переписывались, словом, вели дружбу. Тогда, в те времена, у молодых барышень было принято — обязательно иметь задушевную подругу, делиться с ней всем самым сокровенным, чего и родителям, родной сестре не скажешь. Годы шли, обе они повыходили замуж, но дружить продолжали. И однажды мама со мной к ней ездила. Меня показать, первенца. Я мало что помню, всего лет четырех-пяти был. Но все-таки в памяти кое-что уцелело. Помню, как на извозчике по всей слободе катались. По-моему, это было на Рождество. Настроение у всех праздничное, веселое. Летим в санках, снег из-под копыт лошади комьями. А меня в меховую полость закутали, одни глаза наружу. И страшно, и задор разбирает, и хочется, чтоб еще быстрее... Помню, как в собор ходили. Огромнейший, гулкий, с голубыми в вышине, под куполом. Хор могучий, человек в сто. И дьякон отдельно, в золотом об-

лечения. Я уже после со слов матери узнал, что на место дьякона конкурс устраивался, из разных городов пробоваться приезжали. А местное купечество, главные жертвователи на постройку собора, в конце-концов из своих, бутурлиновских выбрали. Учителя начальных классов. Голос его издавна славился, он любительствовал, в местных концертах иной раз выступал. И всегда «Дубинушку» пел, под Шаляпина. А потом повторял на «бис». Публика ему овации устраивала. Долго его уговаривали сан принять. А он противился. Все ж таки уговорили. Жалованье ему особое назначили. Согласился только потому, что бедно жил, а семья большая, детей — восемь душ. И не прогадал. Вскоре приобрел себе домик, при домике сад с яблонями, огород в полдесятины. А в конце огорода — река. Можно купаться, рыбу ловить...

До меня не сразу дошло, про кого рассказывает Тимофей Степаныч. А он рассказывал о родном моем деде, отце моей матери, Дмитрие Ивановиче Ягодкине. У мамы хранился его портрет на толстом картоне, единственная вещь, которая у нее от отца осталась. После ее смерти я положил его в главный ящик своего письменного стола. Там он лежит по сию пору.

Действительно, было именно так, как говорил Тимофей Степаныч.

Собор строили с размахом, чтоб и размерами, и отделкой, росписью стен, богатыми окладами икон превосходил все подобные сооружения в уездных городах черноземного края. Бутурлиновское купечество по-крупному торговало зерном, держало мельницы, склады, было богато и не жалело денег на строительство собора. Он должен был украсить слободу. Тогда Бутурлиновка называлась еще не городом, а слободой. Показать, как любят свой город его самые известные, самые именитые люди. А бутурлиновские купцы были ко всему прочему еще и горделивы, тщеславны, великие патриоты своего края, своей Бутурлиновки, заложенной и возникшей еще в допетровские времена. Когда собор построили, на гранитной плите из близ расположенных Павловских гранитных карьеров высекли имена самых главных жертвователей на храм и повесили ее внутри на одной из стен.

Но вскоре выяснилось, что слава и величие храма, его известность и привлекательность зависят не от его размеров, архитектурных форм, богатства внутреннего убранства, резьбы и золота иконостаса, блеска паникадил, а от тех голосов, что звучат в храме во время церковных служб. И прежде всего от того, каков в храме дьякон. Потому что дьякон не просто служитель, не один из служителей, кстати, по церковной иерархии вовсе не главный; дьякон это прежде всего артист. И он должен быть выдающимся. Великим артистом. Это он своим артистизмом, данным ему от Бога талантом, звучанием своего берущего в плен, без остатка, баса заставляет людские души устремляться ввысь, в горние пространства, где витают ангелы и проживает сам Господь. Это в его власти заставить молящихся плакать и возноситься духом и мыслями, очищая от скверны бытия, греховности земной, мирской жизни и обретая ту чистоту, те качества, которые хочет и стремится поселить в людях Господь.

И вот тогда начались поиски достойного бутурлиновского храма певца, поиски долгие и безуспешные. Нашлись среди бутурлиновцев фантазеры и мечтатели, что предлагали звать в Бутурлиновку Шаляпина. Да, да, Федора Ивановича Шаляпина, артиста императорских театров, всероссийскую знаменитость. И даже уже мировую — слава Шаляпина к тому времени шагнула далеко за пределы России. Только его голос может ук-

расить храм, который побил по всем статьям все другие храмы черноземной России.

— Да не поедет он в Бутурлиновку! — остужали скептики ратующих за Шаляпина. — Он деньги любит. Он же барин — да еще какой. Хотя вроде из народа вышел, из самых низов. Вы представляете, сколько ему надо отваливать за каждое его пение в храме?

— Соберем! — уверенно заявляли оптимисты. — Сколько запросит — столько и будем платить. Согласится, поедет! Еще как поедет!

О приглашении Шаляпина в Бутурлиновку мама моя говорила, что это просто сказки, сочинение местных баснописцев. Если такие разговоры и велись, то без настоящей серьезности, не больше, как шутку.

Наверное, она права. Но про Шаляпина, которого хотели заполучить бутурлиновские купцы и считали, что им по силам справиться с гонорами для знаменитого баса России, можно еще и сейчас услышать от старых бутурлиновских жителей.

Препятствие, долго мешавшее Дмитрию Ивановичу Ягодкину сменить сюртук народного учителя на рясу священника, дьякона, состояло в его взглядах, сложившихся в нем с юности. Покидать стезю народного учительства, перейти из школы в церковь он считал предательством. Он ведь и «дубинушку» на концертах в Народном доме пел потому, что целиком и полностью сочувствовал тем мыслям, тому настроению, что несли в себе эта разудалая песня. Но нужда, нужда... Если бы учительского жалования хватало на то, чтобы покупать для детей каждый день молоко. А то ведь даже такой заурядный, доступный сельский продукт, как молоко, был в доме Дмитрия Ивановича редким гостем.

Служению Дмитрия Ивановича в бутурлиновском Преображенском соборе сопутствовала настоящая слава. Я слышал рассказы, что на службы с его участием приезжали знатоки и ценители церковного пения даже из дальних мест.

Но церковная карьера моего деда длилась недолго. Храм был кирпичный, сложен быстро, долго не просыхал. Воздух в нем и летом, и особенно зимой содержал сырость, пропитанную известью. И это быстро сказалось на здоровье главного певца. У Дмитрия Ивановича стала стремительно развиваться «горловая болезнь». Вероятно, под этим названием на языке местных врачей крылась скоротечная чахотка. В 1906 году он умер. Его похоронили на Бутурлиновском кладбище, недалеко от входа. Место это считалось почетным.

Прошло сто лет. Срок большой. Давно не стало тех, кто оберегал могилу, ухаживал за ней. И сейчас даже следа от нее не найти...

9

— А какая у меня радость в Бутурлиновке случилась! — что-то вспомнив, произнес Тимофей Степанович, по-прежнему держа в руках бутылку. — На площади возле собора, на больших улицах возле нее находилось много купеческих лавок, магазинов. Однажды мы с мамой пошли на площадь, зашли в одну из лавок, и она купила мне сафьяновые сапожки. Красные, а по верху голенищ синяя каемочка. Они были мягкие, легкие, сидели на ногах ладненько, топать в них было великое удовольствие. И я бегал, гордился ими и каждый миг наслаждался. В Бутурлиновке выделывали отличные кожи, шили тулупы, полушубки. И сапоги шили отменные. Отличные сапоги, неизносимые. Вот эта из-

вестная присказка оттуда, из Бутурлиновки: «Отец сыну говорит: твой дед, мой отец, в этих сапогах пятнадцать лет ходил, мне отдал — и я в них пятнадцать лет ходил, а тебе, дураку, достались — ты их за десять лет как на огне сжег!»

А из сапожек я скоро вырос. Но мама все равно их хранила. Как память о моем детстве, о моих самых юных годах...

Он замолчал, а я вдруг услышал, как что-то капнуло на бутылку. Следом капнуло еще, и еще... Я посмотрел Тимофею Степановичу в лицо и увидел, что по щекам его текут слезы, он плачет. Сидевший рядом с ним на парапете ограды Митрофан Ильич, горбясь, пряча свое лицо, тоже утирал рукой бегущие по щекам слезы.

Было понятно, о чем они плакали. Их слезы были о родине, которая у них когда-то была, которую они не забыли за долгие годы здесь, на чужбине, и продолжают нежно и преданно любить, даже еще больше, чем любили бы ее, если бы жили дома, в России. Прошла целая жизнь вдаль от нее, а помнится все, и все живо в их глазах, как будто было только вчера: и как ездили там зимой на санках, и как пели в церквях. Что теперь разрушены почти сплошь, и даже сафьяновые сапожки, подаренные в пятилетнем возрасте, и они помнятся: как в них легко бегалось и прыгалось... Где теперь те годы, та резвость, тот ветер беспечности и желаний, что будто подхватывал на своих крыльях и носил над землей?..

Они плакали о том, что им уже не вернуться назад, как бы их ни тянуло, как бы им этого ни хотелось. Даже только ради одного: ощутить под ногами родную землю и лечь в нее на вечный покой... И родине, что у них была, что лежит на прежних своих местах, не столько отсюда уж далеко, так и остаться до скончания отпущенных им свыше дней всего лишь призрачными картинками, рождающими лишь душевные муки, хранимые неизвестно зачем в кладовых негаснущей памяти...

О чем плакали они, два русских старика, два парижских подметальщика с метлами в руках, номерными муниципальными бляхами на своих казенных дворницких фартуках, было понятно. Но мы-то с Дягилевым почему тоже не могли удержаться от слез? Просто заодно со стариками? Потому что чужие искренние слезы заразительны? Да нет, так бы я не ответил тогда, не отвечу и сейчас. Было в наших слезах что-то не вполне осознаваемое нами, и еще более трудно выразимое в словах.

А если бы все же выразить, то получилось бы такое, что было бы даже страшно произнести вслух. Во всяком случае, тогда, тридцать с лишним лет назад. И прозвучало бы не что иное, как горестное сожаление, что так несчастливо сложилась наша отечественная история. Народ позволил ей идти таким путем, и ход этот расколол всю страну на две непримиримые, враждебные части, столкнул их в жгучей ненависти друг с другом. И погибло в развернувшейся во всю мощь кровавой борьбе за недоказуемую правоту, за призрачное счастье, которое так и не наступило, потому что и не могло никогда наступить, в борьбе, где брат убивал брата, сын убивал отца, отец сына, неисчислимое множество россиян, из которых большинство были просто мальчишки, еще только начинавшие жить. Погибла, уничтожилась, истребилась, исчезла гигантская масса того, что было наработано, создано народом в нелегком труде за века своей долгой истории. А те, кто уцелел, но не примирился, не мог принять насильственно утверждаемые перемены, новая, жестоко ломавшая любое сопротивление власть выбросила за рубеж истлевать заживо в непроходящей тоске от слу-

чившегося по своей отнятой родине, которая всегда только одна и ничто не может ее заменить.

И было тогда всем нам четверым полностью неведомо, и не поверил бы, наверное, тогда никто из нас, если бы кто-то вдруг нам сказал, что неумолимое время движется и совершает свое дело, ничто несправедливое не стоит на земле прочно, где-то в скрытых глубинах зреют новые неотвратимые перемены совсем обратного свойства, неотвратимо грядут, и праздник победы над старой Россией и ее полного разрушения, праздник безжалостной расправы с ней, ежегодно отмечаемый пышными демонстрациями, гремющей музыкой, сотнями тысяч красных флагов, превратится в праздник прощения взаимных заблуждений, братского примирения, признания права на жизнь, законное существование на свете вообще всего, что рождено, создано естественным ходом жизни, разумом и волей природы. И не человеку быть в мире высшим судьей, убивать и насиловать себе подобных только потому, только за то, что они не вполне похожи, хотят по-другому жить, для них ценны и значимы другие ценности, другие блага...





Валерий Алексеевич Тихонов родился в 1946 году в городе Лиски Воронежской области. Окончил Воронежский лесотехнический институт. Автор многих книг прозы и поэзии, публикаций в «Литературной газете», журналах «Наш современник», «Подъём», в других центральных и региональных изданиях. Член Союза писателей России. Живет в городе Лиски Воронежской области.

Валерий Тихонов

НЕТ ЗВЕРЯ ОПАСНЕЕ

Рассказ

1

Лыжи скользили по снегу легко, свободно, и, если бы не встречный колючий ветер, обжигающий лицо, Сергей Иванович уже давно был бы на лесной опушке, где поджидала его охотничья братия.

— Ничего, подождут, до ночи еще далеко! Пока костер разведут, кабанятинки отварят — на охоте дичь под стопочку деликатес особый — а там и я поспею. Есть нынче, чему порадоваться, удалась охота: двух кабанчиков добыли, трех лис отстреляли — развелось их в последнее время не в меру. Мало того, что по окрестным селам бедокурят, курятники опустошают, так еще и бешенство разнести могут.

Охотиться Тюнин любил, давно уже увлекается этим заманчивым делом. Только были у него на этот счет свои, отличительные от других охотников понятия. Он никогда и нигде не употреблял слово «убил», заменяя его более мягким «добыл». Стрелял, только имея лицензии, по путевке, и то не в любого попавшегося на глаза зверя, а в подранка, состарившегося секача или в запоздавший приплод, которому явно не выдержать предстоящую зиму. На зайцев вообще не

охотился, жалел безобидных зверюшек... Не признавал и утиную охоту, считая, что стрелять в птицу — большой грех! Друзья иногда ворчали на Иваныча за его, сдерживающие охотничью удаль, ограничения, но подчинялись — бригадир есть бригадир. Да и прав ведь он по большому счету: зверя не так уж и много в округе осталось, без ума можно всю живность перевести.

А отстал охотник от товарищей по одной простой причине — решил заглянуть в ольховник, присмотреть жердины поровнее для своего хозяйства. Уже и в конюшне выгороди пришла пора поменять, и заборы подправить... Пока зима, болото застывшее, можно и заготовить, и на санях на хутор переправить. А весна придет, сразу к делу и приступить.

...Порыв ветра в очередной раз обжег лицо морозной стужей, заставил охотника остановиться, растереть варежкой окоченевшие уши. Не привык прятать их под шапку — леса не услышишь! И только было собрался двинуться дальше, как уловил его обостренный слух какой-то странный, еле различимый звук. Шел он из-под большого заснеженного куста и походил на щенячье поскуливание — тонкое, жалобное.

— Щенок, что ли? Только откуда ему тут взяться? Деревня далеко, собаки сюда не забегают, а если и додумается какая, то не цениться же прибежит в эту промерзшую глушь...

Страхнув снежные шапки с застывших кустов и раздвинув их, Сергей Иванович увидел зарывшийся в снег какой-то шевелящийся серый комок, и впрямь похожий на младенца-щенка. Тот пытался куда-то ползти, сучил лапками, но силенок явно не хватало, чтобы одолеть снежную преграду.

Взяв находку на руки, Тюнин тут же опытным охотничьим глазом определил в ней не что иное, как новорожденного волчонка, коему отроду всего-то два-три дня.

— Как же ты сюда попал? — глядя на дрожащего то ли от холода, то ли от испуга зверька, спросил Иваныч, зная, что тот ничего ему не ответит.

— Мать-то твоя где, чего бросила?

Сергей Иванович огляделся вокруг, на всякий случай снял с предохранителя ружье — волчица коли рядом где, за детеныша на все пойти может! Выждал минуту-другую, тихо кругом, не видно никого.

— Что же с тобой делать-то? Околеешь ведь тут, если мать не найдет. А гарантии такой нет. Ладно, пошли до дому, а там видно будет...

Засунув волчонка за пазуху овчинного полушубка и согреть его своим телом, охотник развернул лыжи на сто восемьдесят градусов и, все еще оглядываясь с опаской по сторонам, заскользил по пробитой только что лыжне.

2

Городская жизнь не то чтобы угнетала Тюнина, но явно давила на него своим многолюдьем, бетонными и кирпичными стенами многоэтажек, непрерывным своим шумом-гамом... Родившийся в деревне и проживший в ней до самого призыва в армию, он так и не смог отвыкнуть от бескрайних сельских просторов, ароматного лугового разнотравья, манящего ягодами да грибами леса по ту сторону речки. Как и забыть ее саму — с бодрящей живительной влагой, бархатными бережками, рыбалкой на облитой туманами зорьке.

В общем, жил Сергей Иванович с семьей в городской коммунальной квартире, исправно нес свою службу в одной из организаций, а душа его продолжала жить той, незабываемой, сельской жизнью. А если точнее — неугасающей мечтой, если уж не перебраться на постоянное место жительства в какую-нибудь деревню, то хотя бы иметь возможность почаще там бывать. Только вот где? От его родной Березовки только с десяток дворов осталось, да и в тех доживающие свой век старики. А главное — далеко вато она, за сотню верст много не наездишь!

Вот и приглядел как-то во время охоты Тюнин полузаброшенный хуторок. Уютный, веселый, видать, когда-то был! Прямо посредине, в ложине, пруд сердце радовал, а вокруг него, по бугру, хатенки с резными ставенками да крышами соломенными. Дворов тридцать, не меньше, было, и в каждом целые семьи жили. В основном в колхозе местном народ трудился, к тому же почти в каждом подворье свою скотинку держали... Потом, когда рухнуло все — и власть Советская, и колхозы, и порядок какой-никакой, — остались люди без работы, без денег. Поначалу живность домашнюю извели: жить-то надо, а потом и сами кто куда поразъехались. Старики остались, да только ненадолго. За какой-то неполный десяток лет вымер хутор, только хаты с заколоченными дверьми да ставнями остались. И еще сплошь заросшая теперь рыжим камышом да заваленная всякой всячиной впадина на месте пруда...

Изо всех бывших хуторян здесь остался только престарелый дед Матвей, пожелавший доживать свой век хотя и в одиночку, но в родном уголке. Несмотря на свои восемьдесят с гаком, старик сохранил еще и кое-какую силенку, и память. Он-то и присоветовал охотнику купить одно из брошенных подворий, даже с наследниками через дочку, что навещала его, помог связаться.

Сергею Ивановичу местечко приглянулось, а безлюдье не то, чтобы испугало, а даже обрадовало — будет где от надоевшего шума городского душу отвести, в спокойствии побыть. Как оказалось, и хатенка еще справная, послужит на первых порах, а там видно будет.

Так и осуществилась тюнинская мечта, появилась у него своя «фазенда». От города недалеко, а потому чуть ли не каждый день после работы, все выходные проводил охотник в этом забытом Богом уголке. Так что уже на другой год появились на подворье разномастные сараи да навесы с клетками, а в них самая что ни на есть разнообразная живность: и четвероногая, и двуногая, и мычащая, и рычащая, и поющая — всякая, за которой и пригляд, и уход нужен. Тяжковато было одному управляться, только где их нынче, помощников, найдешь? Приходилось вкалывать как следует, спасибо, еще на время отсутствия Сергея выручал дед Матвей, хотя какая от него помощь? Посторожит — и то хорошо!

...Зимой смеркается рано, так что прибыл Тюнин на хутор в кромешной темноте. Тот уже спал под снежным пуховым одеялом, не проявляя себя ни привычными желтыми огоньками в подслеповатых окошках, ни лаем собак, ни вообще какими-либо звуками. Будто и впрямь мертвый. И только подойдя к своему подворью и отворив калитку во двор, охотник с радостью ощутил, что здесь, словно на каком чудо-острове, жизнь продолжается. От конуры, виляя хвостом, бежал навстречу пес Мартын, в сараюшках тихо похрюкивали свиньи, «переговаривались» меж собой не уснувшие еще утки...

— Ну, вот мы и дома! — вытаскивая из-за пазухи волчонка, выдохнул хозяин подворья. И, постелив в сенцах старенькую циновку, уложил на нее уже чуточку успокоившегося и согревшегося, а потому сладко подремывающего щенка.

— Давай, спи, а утром будем прописку тебе оформлять.

3

День был воскресный, на работу ехать не нужно, как в будние дни, а значит, можно и дела, накопившиеся за неделю, неспешно подобрать, и с питомцами своими вволю пообщаться. Соскучились, поди, по хозяйской ласке.

И тут Тюнин вспомнил о своей вчерашней находке:

— Как он там, отоспался, не замерз в сенях? Мороз-то ночью хороший стукнул!

Выйдя в коридор, охотник растерялся: циновка была пуста!

— Куда же ты, глупенький, делся? — оглядывая темное помещение, искал он зверька. И наконец увидел его — волчонок забился в угол, в какое-то брошенное там тряпье, и опасливо поглядывал на нарушившего его покой человека.

Сергей Иванович, как и вчера там, в лесу, бережно взял щенка на руки и прислонил к груди.

— Ну что, Серый, мать твоя за ночь не объявилась, иначе бы воем спать не дала. Так что будем зачислять тебя в наш зверинец. Есть в нем и кони, и корова, и свиньи, и птица разная, а вот волка доселе не водилось. Теперь и ты в штате будешь.

А зверек тем временем тыкался мордочкой в теплую человеческую руку, жадно облизывал один из пальцев, явно принимая его за сосок матери.

— Да ты же, дружище, голодный, тебя кормить срочно надо! — засуетился хозяин, думая, как быстренько решить возникшую проблему. Ясно одно — нужно молоко. О волчьем и мечтать не приходится, а вот коровье, слава Богу, имеется.

Подогрев кружку с молоком, налил чуточку в блюдце и пододвинул к нему щенка. Ткнул для начала носом — ешь, мол, давай! Только, как оказалось, все было не так просто — Серый воротил нос от блюдца, начал беспрерывно чихать, вырываться из рук, и стало ясно, что ничего из такой затеи не получится.

— Мал еще, не попьет сам, тут без соски не обойтись! — отозвался наблюдавший эту картину подошедший дед Матвей.

Тюнин и сам уже это понял, а потому начал собираться в дорогу. Хотя и не с руки по зиме лишний раз в город ездить, к тому же и планы на выходной ломать, но другого выхода не было. Оставив на старика скулящего от голода приемыша, Сергей Иванович помчал в город, набрал в аптеке сосок всех видов и размеров и вскоре уже продолжал процесс кормления. Поначалу пришлось силой впихивать соску от пузырька в зажатый рот щенка, потом не давать тому выплевывать ее, заставлять сосать... Уж чего только ни изобретал Сергей Иванович — и соски менял, и молоко кипятил, — нет, ничего не получалось! Промучился безрезультатно битый час.

— Ты вот что! — снова отозвался старик. — Попробуй его под козу подсунуть. Где двое, там и трое, авось выкормит Розка зверя твоего...

— А ведь правда, — улыбнулся Сергей. — Как же я сразу не додумался? Коза-то, будто по заказу козлят принесла на днях!

Подсовывая под козий живот, где уже аппетитно чмокали губами двое черненьких козлят, волчонка, Тюнин «объяснял» своему новоселу:

— Твои сказочные предки у коз всегда детенышей крали да в лес уносили, а ты, выходит, теперь их молочным братом будешь! Такая вот, брат, перспектива намечается.

Но Серый, похоже, уже ничего не слышал, да и слышать не хотел. Втиснувшись меж «собратьями», он с жадностью потягивал спасительную жидкость и млеет от удовольствия...

4

Неустойчивая зима, часто сменяющая холод на тепло, снег на дождь, видимо, устав от своего непостоянства, еле дождалась положенного срока и с радостью передала правление подоспевшей весне. А та неожиданно для всех быстро и решительно отказалась от него в пользу скороспелого лета, так что уже в начале апреля на улице было не просто тепло, а даже непривычно жарко. Потому-то и природа пробудилась раньше положенного срока — все вокруг уже наливалось сочной зеленью, разноцветьем.

Вышли на ближайший лужок и тюнинские питомцы: без малого десятков овец да коза с приплодом. Животные радостно пощипывали молодую травку, наслаждаясь при этом степным чистым воздухом да окружающим раздольем. Вместе с этим овечье-козьим гуртом, с утра до вечера мирно «пасся» теперь уже подросший четырехмесячный волчонок. Он то азартно носился по весеннему лугу, принюхиваясь и раскапывая только ему знакомые бугорки, то с удивлением разглядывал обнаруженную в траве ящерицу и пытался придавить ее лапой, то, лежа на солнышке, сладко подремывал... О пище беспокоиться не приходилось — «мама» Роза была рядом, и при надобности всегда можно было утолить и жажду, и голод. К ее вкусному, питательному молоку Серый так привык, что никак не хотел отказываться, предпочитая его другой пище.

Вечером, возвращаясь на родное подворье, волчонок отправлялся на ночлег в оборудованное им среди камышей на берегу пруда лежбище. Видно, пробуждались в нем с возрастом звериные инстинкты. Здесь он отсыпался, смотрел свои «волчьи» сны, а утром снова вливался в дружную семью своих четвероногих собратьев.

Как долго продолжался бы такой его «санаторный» режим, неизвестно, но однажды, по утренней зорьке, решил хозяин подворья отвести душу с удочками на своем пруду. Небольшой по размерам, но достаточно уютный и ухоженный, он был любимым местом отдыха Тюнина. Не зря затратил столько сил, средств и времени. И с друзьями-товарищами «субботники» устраивал, вытаскивая и вывозя целые горы мусора, и замуленные илом да забитые грязью родники откапывал-расчищал, давая им новую жизнь... А сколько пришлось повозиться с обустройством берегов, зарыбливанием — одному Богу известно! Зато вон какая благодать получилась: любо-дорого посмотреть! Прямо, как в сказке, по водной глади лебеди белые плавают, утки всех мастей — позовешь их, поманишь голосом, — и вот они уже рядом, теснят друг дружку в ожидании лакомства. Особенно красив лебедь Тоша, — скажешь ему:

— Ну-ка, станцуй!

И начнет он тогда выделять свои «па» — то по кругу пойдет, то

крыльями поочередно над водой взмахнет, то головкой своей на длинной шее покрутит. А сам зорким глазом на человека поглядывает, чтобы не прозевать, когда тот заслуженным поощрением его наградит.

...А какая беседка приютилась прямо на воде у одного из берегов! Ажурная, выкрашенная в разные цвета — она, словно волшебный кораблик, день и ночь «плывет» по волнам, маня к себе своей красотой и необыкновенным уютом. Кто бы ни пришел, ни приехал к Тюнину, непременно желает в беседке этой побывать. Тем паче, что хлебосольный хозяин умеет удивить гостя необычной кухней.

Так что, есть, чем полюбоваться, раскинув рыболовные снасти!

Сергей Иванович сел на стульчик и, боясь пропустить поклевку, сосредоточил взгляд на поплавках. И тут же услышал за спиной легкий шорох, а потом и знакомое поскуливание Серого.

— Что, не спишь, тоже решил порыбачить? — тихим шепотом спросил хозяин. — Ладно, сиди, только тихо, а то рыбу распугаешь!

Волчонок примостился рядышком с рыбаком и тоже, будто понимая что-то, уставился на воду. И тут один из поплавок, вздрогнув пару раз, плавно ушел вглубь, а уже через мгновение у ног рыбака трепыхался небольшой карасик. Вообще-то Тюнин мелочь не брал, бросал обратно в воду — пусть растет! А тут, заметив, с каким интересом рассматривает зверь незнакомое ему существо, решил дать возможность поближе с ним познакомиться.

— На, любуйся, изучай природу-матушку! — бросив рыбешку волчонку, снова прошептал он.

Серый, опершись на передние лапы, сначала удивленно разглядывал кувыркающуюся в траве рыбку, потом начал играть с нею, трогая ее то одной, то другой лапой.

Увлеченный ловлей Тюнин не видел, когда его питомец съел добычу, и, только обернувшись через какое-то время, заметил довольную мордашку и облизывающий губы красный волчий язык.

— Ты что, слопал, что ли, карася? — теперь удивился уже рыбак. — Сроду не думал, что волки рыбу едят! Ну да ешь, коли по вкусу.

Клев в то утро был неплохим, а потому карасики в сторону «рыболова-напарника» летали с исключительным постоянством. И главное — все они тут же исчезали в волчьей пасти.

— Ну, что? Хватит, наверное, для первого раза? — сматывая удочки, теперь уже в полный голос спросил хозяин. — А то, не дай Бог, заболешь еще! Да и мне пора! Так что с боевым крещением тебя, рыбак! Хотя точнее будет — рыбоед!

5

Вот с той рыбацкой зорьки и изменил Серый свой распорядок дня. Теперь он выходил утром из своего камышового логова, оглядывал берега и, если замечал рыбака, прямым устремлялся к тому. Подойдет тихонько, уляжется сбоку на травку и наблюдает за процессом. Увидев зверя, человек поначалу пугается, но потом, вспомнив напутствия Тюнина, что волчонок бояться не стоит, успокаивается. Даже не подозревая, что ждет его дальше.

А Серый, дождавшись поклевки, тут же занимает исходную позицию, будто бегун перед стартом. Обрадованный выхваченной из воды рыбешке рыболов не успеет и опомниться, как летящая к его ногам добыча тут

же оказывается в лапах волка. Тот совершал свою «экспроприацию» так ловко и быстро, что противостоять ему было практически невозможно. Да и кто осмелится?

Так и кормил рыбачок «соседа» четвероногого, пока тот, насытившись вволю, не удалялся восвояси.

Если же «рыбалки» не случалось, Серый целый день проводил в одиночестве во дворе, с овечками и козой уже не пасся. То ли надоели ему эти каждодневные однообразные выпасы, то ли потому, что не нуждался теперь в кормилице — «маме» Розе. Разбудили, видать, карасики истинные звериные вкусы. Волк ел уже и другую пищу, но особенно обожал сырое мясо, которым угощал его хозяин, возвращаясь из города. Чужал тюнинскую машину зверь за целый километр! Бежит тогда навстречу, а когда та остановится, завилает хвостом, станет на задние лапы и ждет, когда Сергей Иванович лакомым кусочком побалуует. А потом сопровождает до самого двора.

Гулял по двору волк свободно, как и еще один лесной его собрат — дикий кабанчик Борька. Оставшегося без матери, добытой охотниками, Тюнин принес поросенка уже в конце зимы из лесу — выходил, выкормил, теперь он подрост — вон какой здоровяк стал! И что главное — оба зверя не только ладили, дружили меж собой, но не трогали, и даже не помышляли об этом, ни разгуливающих рядом кур, фазанов, козлят, другую разномастную живность, которой был богат охотничий двор. Такое «мирное сосуществование» удивляло многих, но факт оставался фактом.

Тех же, кто впервые попадал на подворье и не знал о тюнинском «зоопарке», ожидало не просто удивление, а самое что ни на есть «шоковое» испытание. Представьте себе, заходит во двор ничего не подозревающий человек, восхищается увиденной красотой, а на него во весь опор несется, пусть и небольшой, но самый настоящий дикий кабан! От испуга гость хватает ртом воздух, трясется весь, норовя крикнуть во весь голос...

— Да не бойтесь вы его — он же прирученный, домашний! — приходит на выручку стоящий рядом хозяин.

И только, когда зверь промчится мимо, или, похрюкивая, подставит хозяину спину, чтобы тот его почесал, товарищ чуточку успокаивается. Правда, ненадолго. Потому как Тюнин обязательно поведет его потом в свою беседку, что на воде, как не показать чудо-изобретение? И вот когда гость идет по дощатому мостку в этот теремок, оттуда ему навстречу выходит серый волк. И снова шок!

— Проходите, проходите, — смеется Сергей Иванович. — Это же Серый, он у нас хороший, добрый! Да, Серенький? — Погладит волка по шерсти и подтолкнет легонько: иди, мол, гуляй!

Только тот далеко не уходит — знает, что и ему перепадет вкусенькое с «барского» стола. Так и остается лежать на помосте в ожидании удачи.

Такие необычные «картинки» воспринимались гостями по-разному. Кто-то, отведав угощений и вволю пообщавшись с приветливым хозяином, уходя, уже и забудет про свой испуг, сам над собой посмеивается. Некоторые же чуть ли не с обидой выговаривали Тюнину: «Ох, доиграешься ты когда-нибудь! Зверь он и есть зверь, как бы ты его ни приручал. Что кабан, что волк — хищники, одни из самых опасных! А ты их среди людей держишь, да еще вот так — на воле».

Хозяин на такие предупреждения особо не реагировал — улыбнется в ответ, и все. В лучшем случае скажет:

— Да кто его знает, где она опасность, от кого ее нынче ждать?

Так день за днем, месяц за месяцем спокойно и неторопливо текла жизнь в этом необычном земном уголке. Только таковы уж неписанные правила жизни, согласно которым радость когда-то уступает место грусти, светлую полосу сменяет темная... И ничего с этим не попишешь, как ни старайся!

Не миновала эта «пересмена» и хуторскую землю. Началось все с того, что поселились в одном из заброшенных домов какие-то люди не из здешних мест. Купили дом или просто вселились, у кого теперь узнаешь? Да и зачем? Пусть себе живут — места всем хватит. Одно смущало — были они не русской национальности, то ли молдаване, то ли цыгане, поди, разберись! Нелюдимые, замкнутые, ни с кем не общаются, со двора носа не кажут. Поначалу вроде бы спокойно жили, тихо, не бедокурили, но потом, видно, обжились, осмелели. Пришел как-то дед Матвей к Тюнину и жалуется:

— Никогда ничего со двора не пропадало, а тут кинулся — топор на днях исчез, нынче гляжу — яблоню обобрали всю как есть! Не жалко яблочек этих, пусть едят, но зачем чужое брать? Я бы и так дал, коли попросили б. Чует мое сердце — поселенцев этих проказы. Токмо ловить воров я уж не годен, вот что плохо! Да и брать-то у меня особо нечего. А ты, Серега, на всяк случай присматривай за подворьем — мало ли что.

И вот буквально через пару дней после этого разговора остался Тюнин, завозившись допоздна по хозяйству, ночевать на хуторе. Уснул быстро — сказалась, видно, дневная усталость. Но ненадолго, потому как ближе к полуночи услышал во дворе какой-то странный шум. Как никогда громко лаял привязанный у конюшни Мартын, испуганно гоготали гуси на берегу пруда, кричали утки... Тут же послышался чей-то крик, после чего завыл во все свое волчье горло Серый.

Быстро накинув одежду, охотник выскочил во двор и увидел, как в темном углу двора через забор метнулась чья-то фигура. У штaketника метался из стороны в сторону волк, видимо, преследовавший, но не успевший схватить вора.

Осмотрев двор, Сергей Иванович поначалу ничего особенного не заметил — двери на сараях были закрыты, решетки на птичьих клетках целы, в беседке тоже все на месте... И только подойдя к приземистым деревянным домикам в дальнем углу пруда, увидел разбросанные на траве птичьи перья, а потом уже и сорванную дверцу с одного из гусиных жилищ.

— Гусей воровал! — понял Тюнин. — Видно, подкрался незаметно, место-то неосвещенное, поотворачивал головы птицам, а когда остальные гвалт подняли, побежал к забору. Коли была бы подальше изгородь, Серый точно не дал бы уйти! Или Мартын бы не на привязи был, хотя у конюшни пост поважнее будет. И охотничьих не выпустишь — не дай Бог, сбегут или уведет кто. Ладно, утром, может, прояснится что, а сейчас досыпать надо, вряд ли кто осмелится после такого шума опять лезть.

6

Утром, еще по темну, пришел дед Матвей. Чертыхнувшись с порога и поминая недобрым словом «рехармистов», влезших в Божьи дела и устроивших в стране чуть ли не дообеденную ночь, спросил у Сергея:

— Штой-то за шум такой по ночи был? Как вроде в твоём дворе. Я уж было засобирался выйти глянуть, да слышу — стихло все.

— Да я и сам пока не понял до конца, — натягивая сапоги, ответил тот. — Похоже, кого-то на гусятину потянуло. Из одной клетки пару уволокли. Серый погнался, да не догнал, хотя крик чей-то я слышал. Может, таянуть успел на ходу? Только вот кого? Сроду такого не было, чтобы на живность кто позарился...

Старик сел на табуретку, достал неизменный свой кисет, что, по его рассказам, чуть ли не с войны хранит, и только после того, как выпустил первую струю едкого табачного дыма, ответил:

— Оно, конечно, не пойманный — не вор, токмо больно уж сытным духом с цыганского двора нынче тянет. Варевом или жаревом мясным... Откуда бы ему взяться, коли голь перекатная! Они, стало быть, гусаками разговляются, кого еще в эту глухомань принесет воровать? Чего делать-то будешь? В милицию заявлять или сам пугнешь?

— Не знаю пока. Во-первых, пойди докажи, что это они. Запах-то к делу не пришьешь! А во-вторых, скандал затеешь, обозлятся! Еще больше могут натворить пакостей! Подожду пока, Мартына выпущу, этот у любого охотку воровать отобьет!

На том и порешили. А «прогноз» соседа в отношении воров подтвердился в тот же день. Вернувшись после работы на хутор Сергею старик-сосед сообщил, что один из взрослых сыновей цыган-молдаван ездил днем в город. Повстречавшемуся с ним деду прихрамывающий парень объяснил, что колот, мол, дрова и поранил ногу. Вот ездил в больницу. А сам глаза в сторону отводит, все спешит уйти. Знать, и впрямь цапнул его Серый!

Все последующие ночи Тюнин ночевал на своем подворье, опасаясь мести соседей. Но все было тихо, спокойно, а через неделю жизнь вообще стала входить в привычную колею. А тут пришла зима, покрыла все вокруг снегом — каждый след как на ладони! Да и ночи светлее стали, так что для лазанья по чужим дворам время наступило неподходящее.

Сергей Иванович также после работы приезжал вечерами на хутор, занимался разными делами, в выходные ходил с друзьями на охоту. Теперь ему было несколько легче вести свое непростое хозяйство, так как появился у него с некоторых пор помощник, по прозвищу Полторашка.

Подобрал его, закоченевшего от холода, Тюнин по дороге, возвращаясь вечером из города на хутор. Шел тот в полной темноте полевой дороге — в каком-то старом плащике, на голове шапочка, больше на фуражку смахивающая, на ногах ботинки дырявые. Жалко стало бедолагу, остановился, посадил в машину — чего не подвезти? Только оказалось, что подвозить-то некуда. Шел человек этот, сам не зная куда. Вернее цель была — какая-нибудь ближайшая деревушка, но вот какая — вопрос! А сподвигнула его на эту крайность достигшая всяких пределов непутевая городская жизнь. Был когда-то и он, Борис Ефимыч Полторанин, нормальным человеком. Работал наладчиком швейных машин на местной швейной фабрике, получал нормальную зарплату, кормил семью. Потом, в лихие 90-е, фабрику закрыли, выкинули всех за ворота... Искал Ефимыч работу, искал, да только где с такой специальностью устроишься? Одно время грузчиком у барыги подрабатывал. Работа тяжелая, а скупердяй-прижимала копейки платил. Домой от стыда идти не хотелось. Скорешился с такими же неприкаянными, как сам, ну и пошло-поехало! И что интересно, на семью денег найти не смогли, а вот пьянки-гулянки каждый день себе обеспечивали. Ночевали в каком-то подвале, про семью забыл... Однажды, спустя чуть ли не год, зашел к себе домой,

а в квартире чужие люди живут. Жена с дочкой, оказывается, уже с полгода, как к матери ее в Краснодарский край уехали. Квартиру то ли сдали, то ли продали, в общем, узнавать не стал. Так и скитался по чужим углам все эти годы, в настоящего бомжа превратился, в Полторашку. А недавно встретил случайно давнего приятеля, вместе на фабрике работали. Тот, наверное, и не узнал бы его, если бы голос не оказался слишком знакомым. Расспросил товарища по несчастью, как до жизни такой докатился, а потом и посоветовал:

— Пока, говорит, здоровье да разум до конца не пропил, мотай из города куда-нибудь в деревню. Жилья там сейчас заброшенного навалом, люди еще не озверели, как в городе, глядишь, не дадут с голода умереть. А баловать водкой не будешь, и работа найдется... Вот он и идет: люди сказали, где-то недалеко село есть.

— А чего по ночи-то, да по холоду?

— Так днем стыдно в таком обличии идти. Да и милиция ездит, забегут, потом объясняйся. А холод он что днем, что ночью — одинаков.

Понимал Тюнин, что рискует — может, обманывает его бомж этот, может, преступник какой? Но все же одолела жалость охотника к бездомному человеку, предложил пожить у себя. На что тот согласился с великой радостью.

Одним словом, привез Тюнин Полторашку на хутор, отмыл, одел-обул во что было, накормил досыта и заключил с ним такой договор:

— Ты, мил человек, не пьянствуешь, не воруеть, помогаешь мне по хозяйству, а я тебя кормлю-пою, времянку под жилье отдаю. Считаю, что судьба дала тебе шанс снова нормальным человеком стать. Живи, коль согласен, а там, как Бог даст.

Так и прижился мужичок в тюнинском дворе и, надо сказать, оказался исправным помощником, условий договора пока не нарушал. Иногда, правда, Сергей Иванович сам угощал Ефимыча стопкой-другой по случаю какого-нибудь праздника или другого нерядового события. Подвыпивший Полторашка ходил тогда гоголем по двору, отдавал громкие команды своим подопечным, но особенно нравилось ему заигрывать с волком. То за хвост его дернет, подкравшись сзади, то зарычит на зверя, оскалив беззубый рот... тот старался не поддаваться на эти провокации, как правило, убежал от пьяного человека.

Но однажды, во время одной из таких забав Полторашки, Серый решил показать наконец свой волчий нрав. Когда дразнильщик пошел на него с раскинутыми по сторонам руками и громким рыком, волк, оцетинив шерсть и оскалив клыки, двинулся в сторону обидчика, рыча уже настоящему, по-звериному. Не зря, видимо, говорится: не будите в волке зверя и остерегайтесь от забав!

От неожиданности мужик сначала оторопел на секунду-другую, после чего со всех ног рванул к крыльцу, на котором стоял хохочущий до слез Тюнин.

— А я тебя предупреждал — не дразни зверя! Получишь когда-нибудь сдачи! Волк, он и в Африке волк! — уже серьезно отчитал Тюнин помощника.

Еще не отошедший от испуга, тот достал сигарету, прикурил дрожащими руками и с явной обидой пробурчал:

— Ничего, посмотрим еще — кто кого!

— Дурак ты, Ефимыч, и не лечишься! Видать, нельзя тебе выпивать, совсем голову теряешь!

Так потеха и закончилась... Но с той поры Полторашка волка дразнить перестал, даже стороной стал обходить, хотя чувствовалось, что за тайл он на Серого кровную обиду.

7

Вроде бы успокоилась, улеглась жизнь на хуторе, и Сергей Иванович начал было подумывать, что мимолетная темная полоса над его подворьем рассеялась, ушла.

Ан нет, ошибался охотник! Где-то в начале весны, когда уже стаял снег и мерзлая земля начала оттаивать, не стало деда Матвея. Умер он неожиданно, ночью, в своей состарившейся, как и сам, хатенке. Еще вечером возился во дворе, а лег спать — и не проснулся. Обнаружил его Полторашка, понесший старику кое-какой перекус. Последнее время Тюнин, прижалевывая старика, почти полностью взял его под свою опеку — много ли надо пожилому человеку?

Дочь с зятем решили похоронить отца в городе — на хуторе, почитай, и кладбища-то как такового не осталось, да и за могилкой там ухаживать проще будет.

Так лишился Сергей вмиг и присмотрщика за подворьем, и советчика мудрого. Теперь вся надежда на Полторашку — вовремя его Бог послал ко двору.

...Приближались майские праздники, и Сергей Иванович в мечтах жил уже предстоящими «длинными» выходными, строил в голове планы, что и как сделать за эти дни. Последний перед Первомаем рабочий день выдался напряженным, хлопотным, пришлось допоздна решать массу вопросов, и Тюнин остался ночевать в городской квартире.

— Хоть служба тебя домой загнала, а то бы совсем на хуторе своем прописался! — ставя на стол ужин, вздохнула жена. Нет, она не выговаривала, не обижалась на мужа, понимая, что без любимого занятия он не проживет, что это — огромная, важная часть его самого. Ей просто было жалко измотавшегося в беспрестанных поездках, уставшего от решения вечных проблем, любимого человека.

— Как хочешь, а этим летом повезу тебя куда-нибудь в санаторий или на море. Отдохнем, как люди, подлечимся... Сколько можно без отдыха, — продолжала супруга.

— Доживем! — философскиотреагировал Тюнин, уплетая за обе щеки любимые жареные котлеты, по которым уже соскучился.

— Вот всегда ты так! — обиженно заключила жена. — Ладно, доедай да спать, а то завтра опять чуть свет ринешься в свое захолустье.

— Не ринусь, а ринемся, — поправил ее Сергей Иванович. — Поедем вдвоем, чего одной сидеть дома столько дней! А там природа, воздух свежий, травка зеленая... Да и руки женской фазенда наша давно не чувствовала.

— Доживем! — передразнила его жена.

А утром их внедорожник уже мчался по знакомому проселку.

— Сейчас Серый встречать будет, — подъезжая к хутору, заметил Тюнин и, обращаясь к сидевшей рядом жене, добавил:

— Приготовь что-нибудь вкусенькое, любит, когда его угощаю тут.

Но как ни всматривался Сергей в бегущую навстречу дорогу, привычно мчавшегося к машине волка не видел.

— Проспал, что ли, чертенок? Или на «рыбалке» с кем дежурит? — гадал он.

Однако ни во дворе, ни на берегу пруда, ни в камышовом лежбище Серого не было.

— Куда же он запропастился? Не убежал ли разом? — проскочила тревожная мысль.

И тут увидел шагавшего к нему Полторашку. Не дожидаясь, пока тот подойдет ближе, крикнул:

— Серого не видел?

Помощник продолжал идти, молча, насупив скуластое лицо и только подойдя вплотную, тихо ответил:

— Там вон за конюшней лежит. Не поднимается почему-то...

Не слушая дальше, Тюнин бросился за сарай и увидел лежащего на траве зверя.

— Серый! Ну, ты чего? — присев на корточки и поглаживая волка, с тревогой в голосе спросил охотник.

Но зверь молчал, даже не скулил, как обычно, отзываясь на ласку хозяина. Из потухших, полуживых глаз его текли и скатывались на землю самые настоящие, совсем, как человеческие, слезы.

— Ну что с тобой, что случилось, Серенький? Давай, поднимайся, я помогу, — продолжал уговаривать своего питомца Тюнин. Но тело не слушалось ни волка, ни хозяина, пытавшегося поставить того на ноги.

— Парализация! — догадался Сергей Иванович. — Неужели клещ? Их время! Если так, то дела плохи... Есть, правда, одно средство, но лишь бы не поздно.

Он быстро сбежал в дом, разбил в чашку два сырых яйца, залил их водкой и, размешав, вернулся к конюшне.

— Сейчас мы тебя подлечим — лекарство не раз проверенное, хоть и на собаках, но помогает здорово, — подходя к лежащему зверю, успокаивал больше себя хозяин.

Он уже было собрался залить приготовленную смесь в волчью пасть, когда понял, что опоздал. Глаза Серого были закрыты, а безжизненное тело его, вытянувшись, покоилось на зеленом бархате весенней травы.

— Что же ты? — чуть не плача, промолвил Тюнин, понимая, что его приемщик, проживший с трехдневного возраста рядом с ним всю свою жизнь, умер.

— Жалко, слов нет, но нельзя же так убиваться! Значит, судьба его такая, — успокаивала Сергея жена. — Теперь захоронить надо где-то.

Но Сергей Иванович, похоже, не слышал ее. В его голове роились, будто пчелы, самые разные мысли.

Да, по всем признакам, похоже на клеща. Но ведь это лесной зверь, защищенный от таких паразитов природным иммунитетом, который приходит к нему с молоком матери. С молоком... А чье молоко пил Серый? Козье! Так откуда же у него будет волчий иммунитет? Как же я сразу-то не додумался? Можно же было прививку, как собакам, сделать, глядишь, и живой был бы.

Долго еще терзал себя Тюнин, не находя места ни в доме, ни во дворе. Забрел в заброшенный сад, что примыкал к его участку.

— Похороню его завтра под этим вот дубом — решил он. — А сегодня пусть переночует, как положено, ночь с нами.

Не помня, как провел день, чем занимался, лег Сергей Иванович спать. Спал плохо, ворочаясь с одного бока на другой. Снились какие-то

кошмары, от которых он то громко вскрикивал, то просыпался и выходил во двор курить. Уже под утро ему в голову вдруг пришла неожиданная мысль — свозить труп Серого к знакомому ветеринару. Пусть вскроет, узнает точную причину гибели... Все-таки интересно — в самом ли деле иммунитет зависит от молока, которым поят детеныша?

На звонок и просьбу Тюнина ветеринар откликнулся неохотно: праздник, мол, отдохнуть надо. Да и какая теперь разница — сдох и сдох... Но, в конце концов, видимо, почувствовав горестное настроение товарища, согласился.

— Ни при чем тут твоё козье молоко, — складывая инструменты и моя руки, заключил ветврач. — И клещ ни при чем!

— Как так? Что же тогда? — удивился охотник.

— А самое настоящее отравление! Причем, травил преднамеренно, уж больно отравляющая! Так-то вот! Забирай своего зверя да закапывай где-нибудь подальше и поглубже.

Пожалуй, впервые ехал на свой хутор Сергей Иванович, не видя ни дороги, ни окружающей природной красоты, которой он каждый раз любовался. В его глазах немеркнуще стоял Серый — то тыкающийся носом в блюдце с молоком, то хватающий лапами пойманную кем-нибудь рыбку, то бегущий навстречу Сергеевой машине... Всякий, разный, каким видел его Тюнин за все это время, только не мертвый! Не хотел верить охотник, что его серого приемыша больше нет на этом свете. Не хотел!

8

Зарыл волка Тюнин, как и задумал, под старым дубом в конце сада. За обедом выпил рюмку, помянув безвинную волчью душу.

— Ляг, поспи! Всю ночь ведь прокрутился, — видя переживания мужа, посоветовала супруга. — Отдохнешь, гляди, и позабудется маленько, полегче станет.

Послушался. Лег. Только уснуть снова не получалось. Голову опять теснили вопросы без ответа.

— Кому помешало это безобидное земное существо? Ведь и волком-то Серый был только по своему происхождению, а по жизни, поведению — не страшнее обычной собаки! Никого не трогал — ни людей, ни животных, обитающих рядом. Значит, нашлась подлая душонка, прикрывая человеческими одеждами свою звериную сущность, еще более хищную, чем у волка... Кто же это мог быть?

Сергей Иванович начал мысленно листать страницы жизни Серого на хуторе, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, что помогло бы найти ответ.

— Может, все-таки это молдаване так жестоко отомстили за укушенного парня? Так вон сколько времени прошло! А зло, оно безрассудно, затажки не терпит, как правило, сразу требует действий. Да и сам ведь виноват — зачем воровством заниматься? Хотя, если нет у людей совести, от них всегда можно пакостей ожидать... Выждали, видно, подходящий момент, да и сделали свое черное дело. Может, даже Полторашку с вечера угостили, чтобы спал крепче — уж больно утром вид у него был никудышный.

— Погоди! — тут же родилось новое предположение. — А может, это он, бомж этот пригретый, сотворил? Не забыл, как волк ему сдачи дал.

Так опять же — сам нарывался... Да и откуда у него отравы, если с хутора уж столько дней никуда не отлучался? Только гарантии его невиновности тоже нет.

— Из заезжих кто? Охотники? Говорит Полторашка — не было никого за эти сутки. Оно, конечно, можно и тайком отраву бросить, никто и не заметит, только зачем, за что убивать живое существо?

Нет ответа! Одно только ясно — человеческих рук это дело. Неважно теперь, кого именно, главное — человека! Того самого «гомо сапиенс», который отличается от животного не столько внешностью своей, сколько разумом, поведением. Относит себя к беззащитным от зверя существам, считая того безрассудным, опасным для себя. А так ли это на самом деле?

И тут же, будто отвечая на этот вопрос, привиделся Тюнину покойный дед Матвей. Сидит, как когда-то в один из летних дней в беседе, смотрит задумчиво на лежащего неподалеку Серого и рассуждает:

— Всякая живая тварь на земле Богом создана, хоть и разная вся по подобию своему... Стало быть, токмо ему и решать, кому дать жизнь, у кого отнять, и опять же, в какие сроки. Хоть человеку, хоть зверю какому, как вон волку этому. Наше дело — жизнью этой по-умному пользоваться, белым светом наслаждаться, сохранять все, что вокруг тебя в мире этом есть. Для того Господь, видать, и наделил человека разумом, в отличие от животного, чтобы держал это правило на Земле. А мы токмо и знаем, что воюем меж собой, жизни друг у дружки силой отнимаем... А потом еще на зверей пальцем тычем — хищники, мол, проклятые! К делу не по делу истребляем их нещадно, а значит, в дела Божьи лезем. А про свои забываем. Вот и гадай после этого — кто кого страшнее... Не я придумал, — прищутив подслеповатые глаза, смотрит дед Матвей на охотника, — от дедов своих еще слыхивал: «Коли хочешь увидеть самого опасного зверя на Земле — глянь в зеркало»!

Старик исчез так же тихо и незаметно, как и явился. То ли от видения этого, то ли от усталости, провалился Тюнин в глубокий крепкий сон. И только ходики на стене, будто соглашаясь с мудрыми словами старца, выстукивали в наступившей тишине свое извечное: тик-так, тик-так, тик-так!





Валерий Владиславович Бубельник родился в 1964 году в городе Троицке Челябинской области. Окончил Воронежский государственный педагогический институт. Работал учителем, обозревателем районной газеты «Лискинские известия». Публиковался в региональных изданиях, журнале «Подъём». Автор книг художественной и документальной прозы «Чертово колесо», «Мешочек серебра», «Лискинская сторона» и др., соавтор фотоальбома «Лиски и Лискинский район». Лауреат премии Союза журналистов России, администрации Воронежской области. Живет в городе Лиски.

Валерий Бубельник

ПОКРОВСКИЕ РАССКАЗЫ

ДИАЛЕКТИКА

Ф

ильм всему виной. Даже не фильм, а сопутствующая ему погода, которая портилась на дождь. Скверная такая погода, спорная. А фильм был солнечный, романтический. Неземные женщины с волосами цвета старого золота, яхты, далекое море с чайками снежной чистоты и прочие аксессуары роскошной жизни. Женщин то любили, то бросали. Женщины красиво страдали в шезлонгах, а пресловутые чайки кричали о неразделенном чувстве.

Давя ботинками осеннюю слякоть, два кума возвращались из сельского клуба. Один — толстяк-резонер Семен — работал киномехаником, был женат и при детях. Другой, по прозвищу Скульптор, не имел ни веса в теле, ни семьи и предпочитал всем официальным работам ответственную должность клубного художника-оформителя.

Прозвище Скульптор прилепилось к сорокалетнему холостяку Михаилу еще со школы, когда он на уроке вылепил из пластилина Венеру Милосскую. Преподаватель была в педагогическом испуге. И не верила, что анатомические подробности древней красоты почерпнуты исключительно из картинок учебника. С тех пор античные формы не давали юноше покоя.

Он ваял их из глины, резал из мела и дерева, добываясь пленительного совершенства.

В десятом классе Мишка влюбился. И после прогулок под луной, хмельных поцелуев и сумасшедших клятв Миша предложил девушке быть его натурщицей.

Девушкам нравится, когда их запечатлевают в веках. Это льстит их слабости — быть богиней.

Акт творения происходил в сарае, где после уроков запирались влюбленные. Это и вызвало первые подозрения родителей, подумавших по своему культурному невежеству нехорошее.

Родителей разубедили, сказав правду. Хотя главным аргументом оказалось другое: Настя — невеста на выданье, а Мишка парень правильный, трудолюбивый.

Статуэтка получилась как живая. С пленительным поворотом головы, улыбкой, великолепной линией ног и прочими прелестями. Тепло, которое исходило от гипса, а главное — поразительное сходство с оригиналом дали непредвиденный результат.

Мишка с согласия подруги показал скульптуру на школьной выставке. Тут и случилось непоправимое. Школьники ковыряли статуэтку пальцами. Школьницы краснели и завидовали.

Михаил сдерживался. А затем дракой прекратил глумление над дорогой ему копией возлюбленной. Мать вызвали в школу, после чего на сарай-мастерскую навесился бескомпромиссный замок.

Настя с неделю не показывалась от стыда в школе. Вечная любовь кончилась крахом.

Вернувшись из армии, Мишка придал своему таланту практическое применение. Делал на заказ. За заказами приезжали со всей области. Продолжал делать и для себя, непродажное. Специалисты ему благоволили и советовали учиться.

Но вернемся к осеннему вечеру, случившемуся после просмотра фильма о красивой жизни. Спорить кумовья начали еще в клубе. Неженатый идеалист Михаил прекрасно понимал всю наигранность картины. Но неожиданно для себя принялся заступаться за сверхъестественно красивых персонажей. Может, всколыхнулись воспоминания о Насте. Может, еще что, только Скульптор вдруг оцетинился на реплику киномеханика: «Брехня! Такого не бывает!»

— Тебе же только что показали!

— Знаю я этих красавиц! Краска на морде и Менделеев на башке! Выбирает один, а пользуются все! Вон, к примеру, бухгалтер наша. Кто ее только не возил на пашлыки... Из производственной необходимости, — съязвил Семен. — Секс-символ с КЗОТом под мышкой.

— Ты, кум, какой-то ушибленный. Женщина — это мечта прежде всего!

— А мечта женщины — зарплата мужа. Тебе по фигу — не женат, не поймешь. Ты на гипс всю зарплату грохаешь. А мы — люди простые, нам детей кормить надо. А с идеалом пообщаться — если только скалымишь. Винца возьмешь, шоколадки — и хоть к тому же бухгалтеру. Наобщался с прекрасным — и привет!

— Кому привет?! — закипятился Михаил. — Чего ты узлы вяжешь? Бухгалтер! Да у нее глаза — пуговицы нечищены!

— А что тебе до ее зенок? Нормальные зенки, без очков. Между прочим, для бухгалтера — редкое достоинство.

— Ну уж нет. Противно.

— Вот женишься, не на ней, конечно, сразу не противно станет. Хотя, когда тебе жениться, тебе бы только гипс лапать!

Скульптор замолчал. Ботинки идущих противно чавкали по поздней осени.

— Слышь, кум, — остановился Семен у калитки, — давай заскочим к тебе, подсушимся. Дырка у меня, что ли, в башмаке?.. К тому же домой пока не хочется, — продолжал Семен, пока кум открывал дверь. — Вообще-то мы с женой душа в душу живем. Вот сейчас приду — все уже готово, наставлено, постелено. А у тебя, небось, и пожрать нечего.

По правде говоря, ботинок здесь был ни при чем. Просто киномеханику хотелось продолжить разговор. Убедить кума, да и лишний раз себя самого, что он правильно живет, без противоречий.

Уложив носки и ботинки возле печки, Семен прошел в комнату. В углу на табуретке стояло что-то, накрытое простыней.

— Чего это там? — поинтересовался Семен, мимоходом осматриваясь насчет еды.

— Бухгалтер, — хмыкнул кум, — в разрезе. Картошку будешь?

— Сыпь!

Хозяин поставил сковороду, достал банку грибов.

— Эх, под такую-то закусь... — вздохнул киномеханик.

— Ну, утроба! Ты ж скоро шнурки сам завязать не сможешь!

— Вот на это жена и требуется! — заулыбался Семен при виде бутылки.

— Я не буду, — предупредил хозяин.

Семен опрокинул стопку.

— Бухгалтер говоришь? Глянуть можно?

Под простыней оказалась небольшая скульптура девушки. Кум заходил вокруг, придирчиво оглядывая новую работу. Михаил терпеливо ждал суда.

— Ну? — не выдержал наконец.

— Грудь маловата! — задумчиво изрек кум. — Это не грудь, это прыщ какой-то! Вот у бухгалтера — это да! Раздолье!.. А шея, — продолжал он, — шея длинная, как у висельника. Улыбается еще чему-то, идиотка! Я б на ее месте — камень на шею и в воду! Как она называется?

— Купальщица, — мрачно ответил Скульптор.

— Вот-вот! — подхватил Семен. — Она на верном пути... А руки? Чего она их задрала? Жарко, что ли?

— Ну не знал я, куда ее руки деть, — растерялся Михаил. — Не знал!

— Ребеночка подсунул бы. Нехай нянчит. Я где-то уже это видел, так делают.

— При чем тут ребенок? Она же купальщица, девочка! Невинное совершенство!

— Ну не скажи! Моя, например, далеко не невинная, но давно совершенная. Дура. Без единого изъяна.

Вспомнив, что ему тащиться еще черт знает сколько, Семен выпил снова.

— По молодости она была еще ничего. А вчера, прикинь, нашла у меня поллитру и с маху об забор ее. Я ей говорю: «Свои же деньги колотишь!» А она... Эх! Может, ты и прав, что с живыми бабами не связываешься. Эту вон поставил в угол. Пыль только вытирай.

В дверь постучали. Забежала молоденькая соседка спросить спичек. Увидела статуэтку и зашлась в восторге. Михаил порозовел от удовольствия.

— Слушай, сосед, сделай и мне такую. В серванте место пусто, а она там в самый раз! Сделаешь?! — подмигнула игриво.

Семен ткнул кума в бок:

— Лови ситуацию! Твой гипс только глаз может ласкать, а эта все остальное за милую душу!

— Отвяжись! — смутился хозяин, невольно посматривая на брызжущую энергией живую женщину.

— Ну, сосед, сделаешь? Я в долгу не останусь, — прильнула она кудрявой головой к плечу Михаила и тут же, маня, отстранилась. — Так как?!

— Попробую, — буркнул Михаил. — В сервант, значит, в сервант.

— Скромник ты наш! — вошел в раж Семен, ощутив себя свахой. — Попробует он! Только такую доходягу больше не лепи! Создай этакое, настоящее, чтоб душа пела! — В животе киномеханика заурчало. — Я тебе подскажу, как надо!

Семен выпил еще. Угостили и соседку, вмиг запьяневшую. Хозяин, слушая ее рассыпчатый смех, разволновался. Принялся было объяснять соседке про принципы искусства, толковать о халтуре и творчестве, но быстро умолк, сообразив, что здесь это никому не нужно.

Между тем разошедшийся кум взялся за дело всерьез. И предложил ваить непосредственно с соседки. Прямо сейчас.

Не откладывая затею в долгий ящик, он отыскал в столе ком пластилина, сунул его скульптору, а соседку заставил улечься на диване в томной позе. Сам сел рядом, поглаживая те места натурщицы, на которые, по его мнению, Михайлу следовало обратить особое внимание. Поглаживание сопровождалось развеселым потоком прибауток.

За шумом никто не услышал, как отворилась дверь и в комнату вошла жена Семена. Постояла на пороге, созревая до кипения.

— Кажется, у вас ночной сеанс? — наконец зловеще выдавила она. — И почему билетик?

Соседка вылетела пулей, забыв про спички и интерьер для серванта. А ополоумевший от неожиданности Семен успел только приподняться, как на голову ему обрушилось первое, что попало под руку — статуэтка купальщицы.

Свершив акт возмездия, жена киномеханика неторопливо удалилась.

Семен сидел на диване, раскачиваясь и держась за суровую шишку. В наступившей тишине было слышно, как под полом скребется мышь.

— Все они одинаковые! — вымолвил он наконец. — Что живые, что гипсовые. Все одно — камень!

УДАВ НЕБРИТЫЙ

— Сколько нас было? Четверо? Один говорит: «Загонишь эту фальшивую кольцо?» — «Ну, а почему ж нет?»

Пошел я. Подхожу на рынке: «Слышь, купишь?» — «Куплю!» — «Ну, на тебе». Он ее берет. Сколько-то я там отошел, может, метров пятнадцать, он как за мной: «Гэй!»... Ну, короче, ушел я.

Седая листва поздней осени слетелась на песчаные улицы Покровки. Каркает истощенное воронье, и трем мужикам у калитки давно хочется выпить. Пятидесятилетнему Сашке — кряжистому, с грудью навывкате и похмельной щетиной на лице — хочется особенно.

Все трое холосты. Их прежние жены долго ошибались, прежде чем развестись окончательно.

Выпить хочется. Самогон есть. Но такой удушливый, дешевый, что без закуски — грамм не пролезет. И Сашка вновь стучится в дом матери.

— Чего? А? Чего? Сам знаешь, ничего у меня нету!

— Мам...

— Есть нечего!

— Я не есть пришел.

— Ты когда на работу пойдешь?!

— Сегодня... нет, после выходных.

— Сколько выходных прошло! Да ты еще собаку завел. А ей полбуханки в день!

— Полбуханки? Буханку!

— Два кобеля! Так тот хоть брешет, а ты?

— Я? А я тоже скоро гавкать начну. По буханке хлеба мне давай!

— Ты на чего похож, погляди. Ты себя в зеркале угадываешь?

— Бросаю пить, мам. С сегодняшнего.

— Дня три-четыре не пьет — и опять!

— Мам!

— Уже говорила, что матери у тебя, можешь считать, нет.

— Как? А это кто?! — куражливо тычет пальцем Сашка.

— ...и буду умирать — не подходи ко мне прощаться, — отталкивает старушка полезшего обниматься сына. — Не подлазь! Работать поступай!

— Да где она, эта работа? За сто пятьдесят могилы рыть? Я лучше буду поставлять для них!

— Клоун!

— Эх, ма, какой ты тяжелый человек! — восклицает Сашка и делает рывок в сторону чулана, где провизия. Но чулан на замке. Мать неторопливо складывает фигу и подносит к Сашкиному носу:

— Закусил, удав ты небритый?!

— Мама, удав ведь он скользкий! — смеется сын. — Ну дай зажевать.

Ребята ждут.

— Пусть работают, собутыльники! Вон Трынка нашел работу.

— Ага, Трынка...

— А ты не Трынка?

— Его били тут, били, чуть не убили...

— Его не убили, а тебя убьют.

— Меня? А кто-эт меня убьет?

— Убью-ют! — торжествующе протягивает мать. — Сама убью!

— Ого! А потом хоронить! А за что?!

— Пойду в депо, попрошу у начальника машину...

— В какое депо?

— Где я работала!

— Так ведь не тебя хоронить, а меня!

— А мне дадут! Заверну тебя в простыню и на кладбище, к деду под бок. Чуня могилу выкопает.

— Чуня? О! Чуня выкопает!

— Только вот наряжать тебя надо будет. А наряжать не в чего, — озадачивается старушка.

— У меня ж костюм белый!

— Затаскал! У двора сидеть на траве в белых брюках! Людей стыдно...

Помнишь, как письма из тюрьмы писал? — женщина перешла на слезный шепот: «Мама, я приеду, знаешь, как мы заживем!»

— О!!

— Дай сказать!
 — Ты же сейчас кричать начнешь!
 — Год дали тебе сроку...
 — Спокойно! Нормально! Чего ты меня толкаешь?.. Опять толкаешь, опять толкаешь! Я ведь просто с тобой разговариваю.
 — Може, ночью убить?.. — размышляет вслух мать.
 — Кого?
 — Тебя. Допек. Неделю не спала. И мне за это ничего не будет. Сердце лопнуло.
 — Да давай я сам сейчас пойду и...
 — Иди работай, удав! Даже дураки работают. А ты себя считаешь, что ты умный. Вон они и пьют, и работают!
 — Лучше я воровать пойду!
 — Тебя затанут. Ты ж воровать не умеешь. Ты ж отказаться не сможешь! Затанут тебя по самый рубчик. Эти будут в стороне, а ты в бороне. И ездить к тебе больше не стану. Я до Воркуты всю дорогу слезы лила. Все четыре тысячи километров. А ты не пощадил мои слезы. Приехала на свиданку, а его — нет.
 — Лишили меня. Ну, лишили. Провинился, в изоляторе сидел. Но ведь пятнадцать минут мы поговорили через решетку? В Ухте? Мне тогда по ребрам дали, кожа как чешуя слезала.
 — ... а ты меня даже не пощадил! — не слушала мать. — Дед молодец, хоть я им и недовольна, он от тебя отказался. А я... Нехороший ты.
 — Ладно слезить. Завтра шоферить устроюсь.
 — Шоферить?! Шоферил уже! Ну какая тебе машина, ты в голову возьми чуть-чуть. Вспомни: насажал бомжей и поехал пить. Я встала на пути, а ты орешь: «Сейчас перееду!» Тебе ездить нельзя. Бери вон кувалду и намахивай!
 — Мне врачи сказали: тяжелее двухсот грамм не поднимать!
 — Я ж тебе и дом выстроила — пропил! — обреченно вздохнула старушка. — Мотоциклетки покупала — где они?.. Удав ты, удав!.. Яйца в столе возьми, сала отрежь и мне немного оставь.
 ...Упал тонкий иней на ночную Покровку. Стихло село, луна заблестела в окнах. Мать скорчилась на скамейке. Рядом спал перепивший сын. Она не смогла втащить его в дом — слишком тяжел. А будить соседей в такой час — глаза не знаешь куда деть.
 Вынесла из дома тулуп, одеяло, подложила под сына и укрыла его. Села рядом, ожидая, пока проспится, пряча мерзнущие руки в рукава.
 Луна светит на Сашкино лицо. Такое родное во сне. Уверенное и насмешливое, как у мужа.
 Холодная сегодня ночь. Женщина заботливо подтыкает одеяло и ждет. Ждет, оцепенев от одиночества, как в тот день, когда война прислала похоронку.

МЕШОЧЕК СЕРЕБРА

Плоскодонка выгребает от берега к большой воде, почесываясь за скорузлыми боками о щетку камыша. Место это зовется «Ленькина пристань». Дед Ленька упирает весло. Недозрелые лягушки испуганно топятся.

Вдруг — треск. Рыбак обиженно глядит на обломок весла.

Да, это обидно, хоть глаз коли. И тотчас начинает казаться, что в

спелой воде озера, как в столовой, уже выстроился в очередь прикормленный с вечера карась.

— Споймаем! — негромко решает дед Ленька, принимаясь аккуратно работать обломком по обоим бортам. — Тут рядом.

Солнце плеснуло на обветренные кулаки, добавив им внушительности и силы. Полюбовавшись руками покровского рыбака, солнце дохнуло теплом на Белое озеро, пощекотало прибрежный ивняк и выкатилось над всей Покровкой. Июнь. Дед Ленька закинул снасти, и мы в ожидании пасем разноцветные поплавки.

— Споймаем!

Судя по интонации, карась обречен. Дед сладко вытягивает из воды первенца. И вскоре завтрак из компании карасей, играя чешуей, аплодирует хвостами на дне лодки.

Сложное это дело — подыскать ненавязчивый повод, сложное. Рыба здесь, собственно, ни при чем. В каком-то смысле жизни карасей были положены на алтарь искусства. В нашем случае — искусства рассказа. Рыбалка — только осторожный предлог. И мы оба это отлично знаем.

Главная грусть нынешней Покровки — отсутствие слушателей. Кроме скучающего деда Леньки, в селе осталось смотреть телевизоры восемь старушек, которым не надо ничего слушать, поскольку они все узнают раньше других — по наитию. И даже «борщ медовой за святые волоса» (древний покровский эпитет, означающий высокое качество продукта), на который частенько созывает соседок дед Ленька, не способен собрать благодарную публику. Но отдадим должное: все без исключения старушки охотно признавали у Леньки определенные способности, даря приоритет последнему мужчине когда-то большого села.

Единственный упрек, который они себе позволяли, касался только репертуара. Едва дед Ленька, усевшись на манер Бояна, заводил байки из покровской жизни, слушательницы всплескивали руками и подолами:

— Снова здорово!

На что рассказчик обиженно возвращал соседкам чувство реальности:

— Так выходит, я не брешу! Не прибавляю и не убавляю!

Старушки соглашались, поправляя в тугих еще волосах гребни, и шли заниматься своими делами.

Мы встретились в то время, когда дед Ленька из-за несправедливо ущемляемого творческого самолюбия несколько подрастерял напор. И в нашем затянувшемся рыболовном молчании читалось его настойчивое желание проверить былые силы, когда садились за один стол пожарный Петя Ломакин, Моник и политик-любитель Матвей Федорович, а Ефим Холомка, прижав культей бумагу к столу, сыпал табак и принимался вертеть козью ножку. И чесались от дыма глаза и языки, и конца не было вечеру.

— Знаешь, в этих людях зло не помещалось, — начал дед Ленька и облегченно вздохнул, как парашютист под раскрывшимся куполом. — Были среди них и потешные, и умные, и такие, что... Помню, вернулись из эвакуации, я — пацан и кругом не лучше, либо старики. Все разбито, топить нечем. А на голодного холод вдвойне. Топили дровами, валегой, воровать ходили ночью от лесника. Раз поймал меня — и санки изрубил, и дрова забрал. Лес же был тогда отменный, дубы обхватные. Солдаты, когда лес на окопы готовили, пооставляли дубовые пни. За пни лесник не ругался — все равно сгниют.

И вот снегу черт знает куда, топоры на салазках и нас пацанов пять-шесть вместе с дедом Семеном. Одних не пускали: волк и кабан зверее лесника. Дед же Семен рослый, сильный.

Оттопчем пни от снега и на колени. Ползаем, под карандашик их тешем. А дед Семен как сядет с одной стороны, как начнет сечь и пока не свалит. Себе быстро срубит, и к нам. Подойдет, плечом пень надаст — курите, ребята!

Раз подзадержались, по темному из лесу волочимся. Дед Семен всегда последним шел, чтоб никого не оставить. Топор в дровину вбит, и снег такой тяжелый, весенний, неповоротливый, до грудного хрипа доводит.

Оглядываемся — нет старика. Только слышится невдалеке хлюпанье, будто давится кто-то.

— Дед Семен! Дед Семен!

Тихо. Страшно. Ну мы топоры повыдергивали и вперед. И опаздываем: дед задушенного волка уже на санки грузит, сопит:

— Ибен, здоровый, подлюга! Сзади сиганул!

Шкуру он потом продал. А часть денег — серебряную монетку — сложил в свой знаменитый мешочек. Монетки, конечно, были не серебряные. Обычные, белые, гривенники, двугривенники. По привычке так назывались. Дед их собирал. Пенсии у него не было, но из того мешочка он никогда не тратил.

Нечасто, понятно, но наполнялся мешочек. Из холста пошитый, плотный, с завязкой по верху. Хранил он его под матрацем, вместе с документами. И никогда не пересчитывал. Ему не нужно было, и так помнил, как каждая монетка досталась: дочери ли подарят, заработает ли, словом, у каждой монетки — своя история.

Как он их отличал — неизвестно. Но высыплет иногда на стол, разворошит пятерней — слушай. Обычно слова из него не выпросишь, а тут загорался дед, закуривал, и к выловленной наугад денежке прикладывался разговор. Много я тогда о людях узнал из дедова мешочка. И что интересно, дед никогда не ошибался в монетках. Я нарочно помечал несколько, думал, ошибется, рассказывая. Нет, все в точности: кто, когда, за что...

Был там и мой гривенник. Дядька мой из города приезжал — угостил. И собрался я морсу выпить. У нас в прежней церкви был буфет с водкой, пряниками и морсом. Я морсу никогда не пробовал. Иду ж. Рот слюны полный.

Вдруг вижу: возле дедова двора телок пасется. И что меня дернуло — ухватил я того телка за хвост. Телок бегаёт по приколу, орет, я за ним.

Дед Семен, вышедши, увидел это. Увидел и с ходу:

— Ах ты, ибен, гад! — сгреб меня за рубаху, поднял. — Вот тебя, ибен, стукнуть сейчас (у него кроме большего мата не было), тебя, ибен, стукнуть, так за тебя, ибен, будешь отвечать, как за человека, а ты, ибен, — гад!

Рассказчик, забыв про святую тишину рыбалки, захохотал. Лодку закачал.

— Я ногами в воздухе выплясываю, телок одобрительно посматривает, ну вырвался я кое-как. А телок с испугу от меня возьми и шарахнись. Колышек вместе с веревкой по земле скачет, дед окликать скотину, да где! Бычок такую свободу почувял, что задние ноги выше головы забрасывает! Дворов через пятнадцать, вцепившись в веревку и проложив пузом новую тропинку к колодцу, я останавливаю эту корриду. Тут и дед подоспел:

телка на место, меня обмыл, у самого вид такой виноватый, будто виновен. Но хитрый! Усадил меня за стол, покормил, потом достал свой заветный мешочек, перетасовал, выплеснул на стол и начал вспоминать — знал, что меня за уши от его историй не оттянешь.

Вот тут-то я и подсунул незаметно свой гривенник в общую кучу. Очень уж мне хотелось, чтоб и мое серебро в его серебре посверкало! Так хотелось! Ну, пацан! Он после все время удивлялся: откуда, мол, ибен, монетка эта? Мол, не помню, стареть начал!

Стареть! Как косили, бригада у нас была, он — старший, так каждый старался под него не попасть. Потому что он идет сзади, и кажется, что его коса — вью — пятки тебе режет! Сам косишь, а сам стараешься пятки скорее убрать! Куда там старухе с косой за ним угнаться!

Но помню, когда еще при живности своей он всех просил: и Настю, старшую дочь, и младшую Настенку: «Вы по мне не плачьте! Я прожил — все!» А на Василя, на внука, говорил так: «Ты, Василь, ты, ибен, сыграй на моих похоронах. Мою сыграй!»

А его была такая плясовая игра, что он ее не выдерживал! Василь соберет иногда ребят возле двора. Выйдет и дед. Василь обязательно подпойт его немножко — уважал дедушку. Возьмет, например, выпить — обязательно к дедушке, никогда один не выпьет. Я тоже любил его и стриг под горшок, на пол-уха. Дед мне: «Подстриги, а то уже шею точит!» Я и подстригал.

Ну, так вот: соберет Василь, внук, компанию. Деда позовет. Дед садится. Симпатичный, волос черный с проседью, борода. Внук заиграет, а он плечами дергается — заняла его песня. Возгорается, но сидит еще. И тут Василь мне мигнет — пора! Закружусь я, завывляю возле него. И с этого бока, и с той стороны.

Дед терпит-терпит, потом — у-у! — распрямляется и давай топтать ногами. Тяжелый, грузный и всегда круглый год в валенках — такой уж у него был способ. Валенки непременно у печи стоят, никогда на двор босым не выйдет! Чтоб он босым вышел — никогда! И в смысле безопасности, и в смысле холода. Отец мой всегда его валенкам бесплатный ремонт давал. Мы ведь рядом жили. Отец до полночи сапожничает, а дед Семен рядышком, скучно ему, бабка рано померла. Так он все время с нами.

Как-то наладились мы в Бобров, овечек продавать. Не в Острогжск, а в Бобров, там овечки подороже. Тебе остается все нутро, жир и голова, мать все обделаает, холодцу наварит. И деньжонки еще. Пару овечек на базаре продашь — считай, половина овцы твоя. За осень раза по четыре ездили. И дед с нами.

Ехать-то наладились, а денег на билет нет. Махнули: «Ладно, так проедем, чего!»

— Да я, ибен, залезу под лавку! — заговорщицки шепчет дед. Неловко ему, пожилому.

В то время в пригородных поездах скамейки были на ножках и под них свободно можно было лечь.

Ерзал дед, ерзал и нашел себе место. И полез. А ноги не помещаются — длинные. Торчат. Скамейка ходуном, дед шипит.

Раз — ревизор. Ноги, как факт, сразу отмечает:

— Эй, там! Покажись!

Дед выкарабкивается и — никак. Застрял, ну что ты скажешь!

Весь вагон свои дела побросал, наблюдает, как старик с обстоятель-

ствами справится, сочувствует вслух и на кондуктора недобрые взгляды кладет.

Кондуктор заегозился, жизнь понимать начал, не до билетов ему. И тут дед наш наконец вылез, аж покраснел от усердий. Встал, руки свесил.

Покачал головой контролер, но ничего не сказал и ушел.

— Теперь, ибен, задаром только на тот свет поеду! — зарекся дед. — До конечной. Не ссадят!

...Солнце по-начальственному распекает серый песок тропинки, но обуваться мы не стали. Ногам тепло, как в валенках деда Семена, из земли силой тянет, упругой уверенностью.

— Так я о чем хотел сказать, — неожиданно останавливается мой спутник, опускает сумки и опирается на сломанное весло, словно не желая уходить далеко от той давней истории, всплывшей сейчас на озере. — Так я о чем хотел сказать. Тогда на поминках водку пить было не положено — только могильщикам. Остальным обед там какой, где что предусмотрено, квас, борщ, лапша. А могильщикам-копарям — этим водочки по стакану. Мы ж ему могилку копали. Он уважаемый был, никогда никого не обидел, никогда.

И вот Настя выносит дедов мешочек с серебром:

— Ребятушки, нате. Вы его друзья, вы его хоронили, нате, поминайте!

Принесли водки, кто не помню, я как-то не заострял. Сколько — тоже не помню. Во всяком случае, водка была, и мы помянули.

Смотрю, Василь, внук, подпил и заплакал. Сильно он привязался к дедушке. Потом поднялся и ушел куда-то. С баяном возвращается.

Уж мать его так просила, так просила, а он плачет, но говорит:

— Я обещал, значит, я исполню дедушкину плясовую. На прощание.

И все равно: сам плачет, а сам так играет его эту, последнюю, любимую, так играет!

И никто его не упрекнул. Никто не упрекнул. Потому что дед Семен так приказывал. Стариковские же песни он не любил.

НЕПОГОДА

— А я думала, сын сегодня пораньше вернулся! — выглянула из черной от грозовых сумерек двери немолодая женщина. — Вам кого?

Парень с девушкой на крыльце замялись.

— Заблудились, что ли? — переспросила хозяйка. И заворчала, как бабушка из доброй сказки: — Мой непутевый тоже где-то блудит. По неделям дома не живет. И ведь не говорит, где шляется, зараза! Всех соседок оббегу, обспрошу...

— От поезда мы отстали! — улыбнулся Сергей. — Недавно поженились, путешествуем и от поезда отстали на вашем полустанке. А тут вечер, тучи! Пустите переночевать! У нас документы. И заплатим!

Лицо женщины приняло деловой вид. Она почти вслух обдумывала, какой ценой ей обойдутся неизвестно откуда взявшиеся молодожены. Но тут напряженный ход ее мыслей прервался цокотом дождя.

— Ну чего жметесь?! Быстро в дом!

Мелькнула молния, и баба Таня, как она назвалась, испуганно задвинула заслонку печи и выдернула антенну телевизора.

— Где ж его, непутевого, в такую тьму носит?! Не зайвится — на диван ляжете, — кивнула баба Таня в сторону оленей. — А и зайвится, так на полу устроится. Не в первый раз, — прибавила она. — Будет знать как!

Над диваном висел коврик, где паслись три застиранных оленя. Под диваном уткнулась носами пара детских ботинок архивной модели. Нынешние дети такие не носят.

Туристы развязали рюкзаки. О стол стукнула банка тушенки, зашестели скорлупой вареные яйца, развернулась из платка картошка с тонко нарезанным розовым салом.

— Угощайтесь, баб Тань!

Не забывая про угощение, хозяйка между тем не забывала и всматриваться в окно. В свете набирающих злость молний был хорошо виден край улицы, неподалеку от железнодорожного полотна. Улица начиналась от дома бабы Тани и густо поросла упрямой вербой.

— А где сын-то работает? — отчего-то вполголоса спросила Наташа.

Баба Таня повернулась к ней и с минуту странно глядела.

— Какой сын?

— Ну, ваш, — глотнул Сергей, — непутевый.

— А-а, — просветлели глаза женщины. — В пожарных он, окаянный. На днях бензовоз тушили. Так никто не сунулся, боялись, взорвется. А он взял и потушил. Грамоту ему дали. И премию. У него вообще очень много грамот. Хороший он. Только вот редко заходит... Так вы сами издалека? Не слышали разве?!

Налетел порыв ветра. Лампочка замигала. В окно громко стукнуло. Наверняка это была яблоня в палисаднике, но баба Таня вскочила к двери. Молодые переглянулись в ожидании таинственного ночного гостя.

— Не. Никого. Скорее всего, на работе заночевал, чтоб не простудиться.

Разливая чай, хозяйка продолжала:

— Он у меня с пеленок неусидчивый. Иду я на работу, а я на путях работала, он за мной увяжется и всю дорогу: мам, а это что? мам, а это зачем? Потом на бухгалтера выучиться пошел. Грамот у него — вешать некуда!

— Так вы ж говорили — пожарный?

— А что? И пожарный. Он на все руки. Только вот приходит нечасто. А под утро, глядь — уже исчез. — К законной гордости женщины примешалась горечь. — Девки его любят! Красивый! Баян возьмет — праздник!.. Чай давайте пить. Да ложитесь. Вам же вставать рано.

Молодые расположились на пружинном диване. Шепотом (да за грозой и не было слышно) обсуждали непутевое дитя приютившей их женщины.

— И откуда такие берутся? — прижималась Наташа.

— Оттуда, откуда и все. Мало ли их, красивых? С баяном?!

Наутро хозяйка проводила гостей до крыльца. Денег не взяла:

— Детям, когда будут, гостинцев от меня купите!

По пути молодожены переиграли маршрут. Решили для разнообразия исключить из туристического меню поезд и путешествовать автостопом.

Вскоре показался попутный грузовик. И вовремя. Ливень, поднакопивший за ночь силы, наотмашь хлестнул по кабине.

Дорогой Сергей спросил пожилого шофера: не знаком ли ему знаменитый пожарный, у матери которого они сегодня ночевали?

— Непутевый? — уточнил водитель. — Знаком. Он тут всему поселку знаком. Отзывчивый? Добрый, смелый? Только домой не ходит? А почему не ходит? — крутанул руль мужчина, обочиной объезжая боль-

шую лужу. — Потому что нет его! Ни в пожарных, ни в бухгалтерах! Нигде! Утоп он. Еще маленьким. Вот с тех пор на непогоду баба Танька в сказки ударяется.

— Она сумасшедшая?!

— Наверное...

Машину снова остановили.

— Ну куда я вас всех дену? — заворчал шофер. — Ладно, устраивайся живее. Если б не дождь...

— Ты здешний? — обратился к водителю новый пассажир. — Вот удача! А я корреспондент. Из райцентра. Прослышали мы про вашего геройского мужика, который бензовоз потушил. Прозвище у него еще странное — «Непутевый». Весь день вчера искал — не нашел. Как в воду канул! А мы ведь ему и место на передовице оставили!

— Да-а, беспокойная у вас работа...

А Наташа, всматриваясь в дорогу сквозь струи дождя, вдруг вспомнила про детские ботиночки у дивана. Ботиночки, которые смогли дошагать так далеко, аж до райцентра! В самую непогоду.





Сергей Валентинович Чернов родился в 1988 году в селе Хреновое Бобровского района Воронежской области. Публиковался в журналах «Проталина», «Подъём». Участник областных совещаний молодых литераторов в 2010, 2013 годах в городе Воронеже. Живет в селе Хреновое Воронежской области.

Сергей Чернов

ЖИВАЯ КРОВЬ

Рассказы

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Бывают моменты — осенью — когда все замирает. Замирают стрелки часов, перевалившись за цифру «шесть». Замирает солнце, попав в прутья тополей у дороги. И даже сильнее, теплое еще небо будто стекленеет, подпираемое у горизонта серыми тучами, что каждый вечер являются, пугая: «Уже не лето! Будут вам и дожди, и грозы!»

Ехали за цементом. Дома по сторонам дороги пропадали, как фотографии в слайдах. Пахло потом. И было сегодня как-то особенно глухо — то ли от вечера этого, то ли от усталости, набухшей в мышцах. Хотелось только смотреть и смотреть сквозь стекло, как за побеленными стволами мелькают дома. Мелькают, а какие-то — самые серые, самые старые и кривые — цепляются в памяти, возникая снова и снова, хотя на самом деле оставаясь далеко позади...

Перебрались через «железку» — машина порывивала, давя на рельсы. Спустились, и направо — к «Сахзаводу»... Здесь был другой мир, врезанный в тело села. Бетонные коробки, состарившиеся раньше срока, хотели склониться — великаны, измученные дождями и временем... Но жизнь не знала усталости. Гулливеры-пятиэтажки были обмотаны бельевыми

нитками, приколоты иголками антенн. В их нутрах пахло табачным дымом. Другая жизнь — толкливая, резкая — бурлила, выбивая подчас окна и двери. Все шевелилось, не знало покоя даже в этот замерший вечер. Шумели люди у синего ларька. Что-то кричали дети, и их визгливый крик пробивался через все и вся, когда они неслись через дорогу. Здесь были обычные люди — как и везде, они смотрели телевизор, жарили картошку. Торговались у «ЗИЛа» с арбузами, держали кошек. Так же мыли они свои авто и так же ругались, когда не могли разъехаться... Здесь было счастье и горе, смех и радость — ни больше, ни меньше, чем всюду. Однако что-то постоянно пружинило и пружинило, какое-то движение — на воздухе, в квартирках и комнатах общежития — то ослабевающая до незаметности, то вздрагивающая, как пляска на свадьбе.

Лишь одно оставалось бесстрастным — недостроенный дом. С мудрым безразличием смотрел он пустыми глазницами на своих соседей, таких же громад. Весь он был чудовищно серым и холодным, как сумерки мира... Здесь же рядом и школа — двухэтажное зданье с розовыми стенами, теплыми, как детские щеки; и площадка для игр — с футбольными воротами, баскетбольным кольцом. Но тень от пустого дома ложилась на них большой серой ладонью... покровительственно и — одновременно — не выражая ничего.

Мы ехали сейчас в этой тени. По левую руку — школа; по правую — пустая, будто брошенная площадка...

А на площадке мальчик играл в мяч...

Он чем-то сразу врзался в память. Возможно, тем, что был один. Он был один, и серовато-желтая трава выделяла его как нечто жизненно важное. Я видел отчетливо, ярко: темную курточку, спортивные штанишки и всю его какую-то ухоженность, зализанность — в куртке, одетой, казалось, впервые, в зачесанных прямых волосах, светлом, точно только что умытом лице. От него тянуло свежестью, увлеченным детским азартом. Ему было лет девять. Но из-за пустоты вокруг он казался особенно маленьким, брошенным. И если бы не лицо — сосредоточенное и напряженное игрой — сердце бы съежилось, как от вида ребенка, заблудившегося в лесу... Он гнал и гнал мяч. Он глядел на него так (я знал по себе), как глядят те, у кого его никогда не было... Весь мир — мяч. Вселенная вертелась и подпрыгивала, белые и черные пятиугольники превращались в сплошные полосы. Был только мяч... А мальчик мчался и мчался. Нагнав, пинал дальше. И снова мчался, и снова — не останавливаясь ни на секунду. И так — дальше, наперерез, по кругу, не замечая, что есть она, та площадка. В груди уже жгло, а все чудилось: не поспевает! Но, нагнав, бил сильнее, сильнее бежал на коротких ногах, которые казались легкими и тяжелыми одновременно. А мяч все летел и подпрыгивал, летел и подпрыгивал, все вперед и вперед. А мальчик за ним — не поспевая и нагоняя, не поспевая и нагоняя. Что-то от птицы, бесстрашного полета, шпарило сердце, и ничего уже не слышал он, кроме грохота пульса в ушах. И ничего не видел, кроме мяча... Вот откуда было его лицо — из иного мира, горящего ветром, вжатого в один кожаный шар. Лицо светило чем-то естественным и далеким. Должно быть... Должно быть, счастьем — наивным и простым — тем самым, которое ощущаешь не сейчас, а через долгие-долгие годы. По памяти... и всегда — лишь в прошлом...

Нет, не упрямый куст он огибал, не мимо вкопанных покрышек пробрасывал мяч — противник пластался в ноги, и кто-то падал, купившись на финт... Но все зыбко — в голове; на отдалении, как утренний сон. Един-

ственно реальным был мяч. И мальчик мчался, заколдованный вечным вращением. Самому себе давал пас через все поле, ловил на лету, обрабатывал, лупил в дальний угол, а на самом деле — лишь нагонял, пинал и мчался; выдыхаясь, но с какой-то щиплющей легкостью в груди. Вселенная все кружилась, подпрыгивала, все убегала и убегала — пятиугольники превращались в сплошные полосы...

Мы уже ехали дальше, а мальчик цеплялся перед внутренним взглядом, как репей на белую простынь.

И лишь потом, подъезжая к магазину, я вспомнил — а ведь он был не один! Там, в голубой раме ворот...

Что-то екнуло. Что-то больно кольнуло сердце...

Заглушили двигатель — тишина придавила уши. Стены пятиэтажек пригревали водянистый вечерний свет. Маленький пруд — а на том берегу серебрились бока элеватора, точно обшивка космических кораблей. Но чей-то призрак напоминал о здешних подъездах — скупых и холодных, как после войны; пропахших псиной.

Сердце никак не могло успокоиться. Сжалось и ныло, точно проткнутое иголкой. Я старался не думать, старался не вспоминать. Но что-то тянуло — вернуться! Вернуться и увидеть: *это было неправдой! Лишь воображенье!*.. Хотя уже знал — все было так, как я это видел... И оттого болело надсадно и тоскливо от груди до самого горла...

Когда расплачивались с продавцом в магазинчике, все мерещился тусклый лиловый платок... Тащили вдвоем тяжелый мешок из грубой бумаги — а перед глазами: старое осеннее пальто до колен — слишком теплое для этих пор, синее, как дождевая туча... Там, в рамке ворот... Мешок цемента грузно лег в кузов. Глухо скрипнули рессоры... Там, в синей раме ворот, стояла женщина... Стояла, склонив повязанную платком голову набок. Опустив руки, будто в тяжелом полусне...

Футболка неприятно прилипла к спине. Машина завелась. Мы развернулись, поехали назад тем же путем... А это видение все пульсировало и пульсировало перед взглядом. Я закрывал глаза — но оно было и там... Женщина в лиловом платке и синем пальто, стянутом у пояса. Женщина, склонившая голову набок, ссутулившаяся, опустившая руки... Ныло в груди. Какой-то шершавый ком подкатывал к горлу. Хотелось отвернуться... Но так тянуло увидеть, неотвратимо тянуло, как нечто страшное и все же — пропустив которое невозможно себя простить... Ведь я не видел лица...

Они появились впереди, за утесом пустого дома — две маленькие фигурки в квадрате игровой площадки...

И я отвернулся...

Казалось, это будет продолжаться долго: рокот движка, синий заборчик у школы, луг с пасущейся коровой — не будет им конца. Не будет конца чему-то внутри, сворачивающемуся до удушья. Шея каменела в неясном напряжении...

И все же не выдержал — обернулся, надеясь, что мы уже проехали...

Но бывают моменты — осенью — когда все замирает...

Они уходили с площадки, пробираясь через бурьян у асфальта. Они шли, держась за руки, — мальчик в новенькой курточке (лицо его было красным, волосы на лбу взмокли от пота, он часто дышал — и все же был счастлив, да так, что глаза буквально сверкали) и женщина в пальто — теперь видно: болоньевом, с краской, потрескавшейся, как весенний лед. Они оказались так неожиданно близко. И наконец я увидел... Темную,

постаревшую раньше времени кожу. Морщины. А в морщинах — залегшие, будто в окопах, тусклые вечера, дни, пропитанные тяжелым кухонным дымом, ночи беспоконных снов, лишенных сновидений, — из-за усталости... Седой волос выбивался из-под платка... А глаза глядели в тебя и — в полузабытье — куда-то мимо...

Где-то у школы ребятня визжала, швыряясь друг в друга черными ягодками кизильника. А через бурьян к асфальту шли, взявшись за руки, мама и сын. Мяча при них уже не было...

ЖИВАЯ КРОВЬ

Кровь, надо знать, совсем особый сок...

Гете. «Фауст»

В ту зиму один день был похож на другой. Ватные облака ложились на крыши меховыми шапками. Шел снег — день за днем.

После сухого лета, сухой осени зима возмещала ущерб, засыпая дворы, заноса дорожки, облапливая провода. Так и было: утро с пепельно-серым небом; люди, прорубающие пути к расчищенной трактором дороге; и снег — бесшумно падающий редкий снег...

Я вставал ровно в восемь. Выпивал полкружки молока, бросал в пакет капельницу, физраствор в уродливой медицинской бутылке. Отправлялся в местный стационар. Пути было — минут пятнадцать по диким от снега улицам. Люди шли на работу, на рынок. Дети бежали в школу. Снег скрипел — сладко, как арбузная мякоть... Пятнадцать минут... Всегда что-то странное творилось в эти пятнадцать минут — они будто были, и в то же время их не было. И вроде бы я кого-то встречал, кивал головой. Взлетал на снежный отвал, когда машины проносились мимо. Падал. Что-то терял, забывал, возвращался. Но что, где? Все таяло, расплывалось, как сон: яркий — пока не проснешься; а там — одни клочья... не слепленные, пустые...

Но вот... Бутыль физраствора бьет по колену. Грохочет трактор. Тополя, согнувшись под снегом, сторожат стезю к кособокому крыльцу с голой перилой. Вот он — некогда баня, теперь стационар — большой белый кирпич, с окнами, ртутными из-за белизны вокруг. Дверь — ручка обмотана тряпкой — открывается наполовину, и то если поднажать. Коридорчик в два шага. Измочаленный веник. Еще одна дверь... Не стоит, думаю, описывать все... Не стоит, да потому что ВСЕ — маленькое помещенье угловатой буквой «С» на дюжину комнат-палат; окошко напротив входа, в котором лишь краешек стола и спинка стула; желтые пятна на потолке; деревянная лавка, чтоб удобней натягивать бахилы (а они обязательно рвались, и приходилось волочить ноги, дабы они не срывались на полпути); это стены — белые больничные стены, и желтеющие санбюлетени, написанные от руки...

Да, из этого можно сделать вывод, представить, как выглядело, но все будет пластмассовым, пустотелым без двух вещей. Хлорка. Нигде в мире так сильно не пахло хлоркой. Запах источали стены, полы, ребристые батареи. Хлорка была воздухом и богом, требующим ежеминутного поклонения. И вот сейчас, поутру, переступишь порог — он ударит вам в ноздри, а в пустом коридоре вы увидите женщину-адепта непременно шкрябающую линолеум куском старой рубахи на шваберном древке. И голоса. Старческие голоса сливались в ноту, что замирала и загоралась

вновь, подобно далекой волне. Толстые стены сдирали душу, превращая в эхо — неразборчивое и глухое. Казалось, люди эти где-то необычайно далеко. Или глубоко. Да-да, в толще пород, из которых уже не вылезти. Внутри холодило от звуков. Даже от смеха. Нутром чуешь — смех; а до сердца доходит — сухой горох о глухую стену — никчемность какая-то. И обида... Невидимая, связующая тоненькой ниточкой все слова, каждый вдох и выдох. Внутренний вакуум. Бессилие... Может, казалось, а может, и вправду была — еле ощутимая эта обида за то, что тут они, старики в пуховых платках и серых заштопанных кофтах, а там, за стеной — рукой подать! — морозец и снег, и воздух, которым дышать не передышать... А они замурованы. На веки вечные.

Вот он, тот стационар: звук и запах — более ощутимые, более реальные, чем стены и бугристые полы.

Но все же была тут одна палата... Внешние звуки в нее почти не проникали. Запах — невыносимый запах хлорки — ослабевал, делался сносным, разбиваясь о белую дверь. Шесть коек. Шесть тумбочек с раскрытыми дверками-ртами. Большие окна, чтоб заглянуть в них, приходилось вставать на цыпочки. А раковина с гусиной шеей стока казалась подвешенной в воздухе на фоне белых стен.

Здесь было много пространства — из-за потолка или этих стен. Пустота давила. Казалось, как ни забивай ее людскими телами, она не исчезнет, архимедовым законом ее не выдавить.

Палата номер пять, дневной стационар, тот самый, к которому я был привязан росписью в медкарте.

Люди здесь были особые — не молодые, но и не старые (казалось, возраст их подходил к пенсионному, но только подходил, до черты еще далеко). Одеты по среднему достатку — не так, чтобы хорошо, но и не бедно. Но главная их особенность в том, что все они друг друга знали — не по работе, не по соседству — знали по тем местам, где виделись чаще всего. «Ну что, ВТЭК прошли?» — «На год?.. Ой-ей-ей, сколько ж можно!» — «И что колют?.. А мне вот прописали...» — «Посыльной? Перед ВТЭКом?..» И все с жаром, с каким-то огнем в глазах, будто единственное, что стоит внимания, и в этой теме они, как рыбы в воде — среди своих, таких же спецов по лекарствам, врачам, по просиживанию в коридорах ВТЭКа...

Нет, были и такие, кто появлялся единожды — откапываясь после пьянки. Друг на друга похожие — так же смотрели в потолок, так же вздыхали, фальшиво постанывали. А вокруг всегда вился какой-нибудь друг, приговаривая: «Терпи-терпи. Я Санычу поставил — как огурчик выйдешь...» Но появлялись они нечасто, а когда появлялись, разговоры о лекарствах тут же снижались до полупшепота, точно в одутловатых от спирта лицах чувствовалась для них угроза.

По утрам всегда здесь царил чесоточное оживление. Распаренные от дороги постояльцы скидывали куртки. «Что ж вы меня бросили-то, а? — говорил низенький мужчина со стариковскими морщинами и гладко зачесанными волосами. — Я смотрю — елки зеленые! — один! У меня кончается. Я уж хотел иголку сам выкручивать!» Он примерял свою простыню к голому матрацу. Обветренные губы складывались в улыбку, сквозящую тонкой гордостью. Когда он встряхивал простыню, по палате разносился резкий запах дезодоранта. «Ой, ерунда-то! — фыркала женщина в очках; полноты она была такой, что казалось, не переворачивается с боку на бок, а перекатывается, как шар. — Тут был один... Да ты его знаешь!

Федька Смакин! Так он ее вытащит, повесит, и домой...» — «Говорят, пожизненную дали», — вставляла женщина с черной родинкой на шее. «Чего ж он по больницам шляется, раз ему дали?!» — женщина в очках брезгливо сжимала губы. И все в том же духе.

А еще обязательно кто-нибудь вваливался, бешеными глазами метал молнии, швыряя перчатки на свою койку: «Обмануть хотела! Ага... Сует мне. А я ей: «Ты чего даешь? Да я всю жизнь по больницам, я лучше тебя знаю. Милдронат мне прописали, а ты...» А она: «Ой-ей-ей, извините-извините, а мы не пойдем, чего написано»... Надают, чего попало, а потом машины себе покупают дорогушие!..» И все в палате подхватывали, точно слова эти резали сердце, сдирая кожу с засохших ран, извлекая больное, забытое — с ними то же, с ними так же. И лечили не от того, и вену порвали, и цены подскочили, и дешевое прописали... И многое, и многое. С негодованием, с горячкой, переходя чуть ли не в гвалт. И тут вдруг — обрываясь, будто воздух кончился. Интерес пропал. Наступала глупая тишина, накрывая все и вся большим тяжелым одеялом. Они стелили свои простыни, закатывали рукава — уже с каким-то смущением, стараясь друг на друга не смотреть. Тишина давила. Делалось от нее тяжело, будто дыханье перехватывало. Хотелось ее порвать, но слов не находилось. Кончились. Дальше — пустота и какое-то ватное непонимание. Наконец, кто-нибудь с негодованием замечал: «Вчера в ЦРБ с «больничным» ехала. Народу — как селедок в бочке. Старики! Чего прутся? Ноги не ходят — а они «в Бобров, в больницу!» Народу тьма... Я вчера к невропатологу сидела. Так там старух, как на базаре... Еле успела. С посыльным...» И мир, маленький мир дневного стационара, оживал, почувствовав родное: «Да-да!.. Старики!.. Сидели бы дома — одной ногой в могиле, а все куда-то лезут!.. Молодежь обнаглела! Место никто не уступит!.. Народу в «больничном» — битком!..» И так — пока и эта тема не умирала. Вновь наступала тишина — мучительная, неловкая.

Людей в палате всегда было под завязку. Шесть коек; лежащими занято только пять. На шестой сидели по трое-четверо (а еще обязательно кто-нибудь стоял) те, кто «докальвались» или просто ходили на уколы. Люди менялись. То лежала на соседней койке женщина — почти старуха, покрашенная так, что казалась страшной. То — на следующий день — уже опухшие ноги торчат сквозь прутья, а дородный их обладатель храпит, как утопающий, глотнув морской холодной воды. Кто-то пропадал, кто-то появлялся. Перетекал из одного состояния в другое. Но кто бы ни появлялся, в большинстве своем, был из тех, «своих», принося новое... о врачах, больницах, посыльных...

Моя койка у окна, почти на отшибе. Ложиться на нее никто не хотел, предпочитая стелиться «поближе к народу». Да и дуло здесь. Сквозняк гулял от окна к двери, иногда распахивая ее, как ударом ногой. Но я не жаловался. Позиция тем удобна, что находился я ВНЕ этого маленького круга. Меня не замечали. Не боялись. И говорили так, будто не равня, мира не знаю, а потому и вниманье обращать — дело пустое. Заинтересовались, только когда поступал. Но ответить, что колю, зачем, толком не смог. На том и закончилось. Пропал ко мне весь интерес.

Когда поступал... Дни стерлись, превратившись в расплывчатое «вчера». Однообразные дни, однообразные лица. Люди лежат, задрав рукава. Физрастворы и ампулы — на тумбочках. Входит медсестра с желтой стойкой в руках. Медсестра молчалива, как сфинкс, снисходит до односложного: «Пойдемте. Готовьтесь. Работайте». И уходит, не спрашивая, щип-

лет ли под иглой. И вот все привязаны к желтым стойкам. Теперь — да, теперь начинается самое тяжкое. Будто плита гробовая падает на каждую койку. Душит. Ребра вдавливают внутрь. Тишина. Молчание. Нерушимые, вечные, иссушающие. С крана срываются капли, разбиваясь о казенную раковину. Шуршат занавески от сквозняка и тепла, идущего от батарей. Но все так слабо, так ничтожно, что делает тишину еще тверже. А молчание душит. Горит от него в груди, в голове что-то бухает. Хочется, хочется что-то сказать, но на ум ничего не приходит, а если приходит, растворяется сахаром прямо на языке.

Они ворочаются, считают капли, глядят в потолок. Всем тяжело. Всем душно и нечего друг другу сказать.

Не выдержав, женщина с родинкой заявила надрывистым голосом:

— Кровь сдать... Из вены, говорят, в ЦРБ. Я поехала... В новый корпус... Там черт ногу сломит... Еле нашла. В очереди отсидела, захожу, а мне прямо с порога: «На сколько записаны?» Теперь, оказывается, и кровь сдать — по талону!..

Она замолчала, ожидая поддержки — но ее, как назло, все не было. Должно быть, собственный голос показался теперь диким, испуганным.

— Звоню... Следующим днем... Не записали. Чтоб врач... Нужно... — Она будто сжималась, ее и без того худое тело, казалось, усыхает на глазах. Говорила все тише. — Вот... А тут... Пришла к ней. Нет... Направление... С направлением в регистратуру. Записали еле-еле... А это ж кровь! Ее ж каждый месяц... То одно, то другое...

Она вновь умолкла. Но нечто стало пробуждаться. Уловили, наконец, что слова о близком.

— Ага! А если вот надо? Если вот срочно надо?..

— Ой, одни бумажки...

— Тут договоришься — так возьмут. А там... Халаты белые, морды красные...

— Во-во! Мои. У брата двое. Дети...

Тут при слове «дети» оборвалось, точно в узкое общество вонзилось что-то чужое.

Они умолкли, отвели взгляд. Считали капли, глядели в потолок. Молчание давило еще сильнее.

От физраствора было холодно, клонило в дрему. Но напряжение висело — гнетущее, непонятное — мешало. И все же кто-нибудь обязательно засыпал. Поглядывали на него всегда с завистью. С завистью слушали сопенье, бульканье. Сон был оправданием, но как же трудно его заработать!

Дверь время от времени распахивалась. Появлялась медсестра (сегодня высокая, худая с застывшим совиным лицом), тут же пропадала — поневоле подумает, а не привиделось ли? В коридоре изредка что-то гремело, хлопала далекая дверь; повариха — молодая на вид девушка — боцманским голосом кричала: «Еду брали?! А чего расселись?!»

Вдохновенная шумом полная женщина заявила:

— Сапоги бракованные сунули...

— Да? — вяло откликнулся кто-то.

— Каблук отвалился. Вон. — Она кивнула в сторону пакета вафельного цвета. — Третий раз ношу, а их все нету. Ни в эту субботу, ни в ту... А ведь дороже, чем у наших. Приезжие какие-то, как цыгане. Теперь до следующей субботы ждать. Может, будут...

— А у наших чего ж не взяли? — Женщину с родинкой все еще трясло.

— Ага. Буду я их еще... кормить...

И вновь молчание — невыносимое, растягивающее секунды на часы, долгие гнетущие часы.

Те, которые ходили на уколы, сидели на «общей» койке, краснея от «никотинки». Оторвавшись от пуповины капельниц, они теряли и членство в этой маленькой группе. И все же молчание давило на них, они тоже страдали, хотели ее порвать. Но только хватало — робко пошутить: «Вот нашпиговали-то — сидеть больно». Никто не улыбался на эту шутку, даже они сами. Лишь изредка кто-нибудь пресно замечал: «Да, действительно...» Но им было легче. Отсидев свои пятнадцать длинных-предлинных минут, они исчезали — вырывались из вакуума в поток старческих голосов и дальше, на воздух, жмурясь от белого снега.

А дневной стационар оставался при своем...

Но вот ощущаешь, кончилась первая капельница — у полной женщины в очках. Она начинает ерзать. Она начинает краснеть, не в силах решить, что ей делать, ждать или бить кулаком в меловой утес стены. Дверь распаивается. Появляется медсестра. И тут — первое чудо — на халатно-белом ее лице... улыбка. Улыбка так слаба и неожиданна, что кажется полной тайн. На щеках — тихий румянец. Медсестра — явление столь незаметное и будто неживое — притягивает общий взгляд. Она необычайно учтива. Успокаивает, как ребенка: «Сейчас... Потерпите чуть-чуть...» Сдирая пластырь, заботливо спрашивает: «Больно?» И добавляет, вынимая иголку: «У Кольки руки волосатые. Пластырь тянешь — кричит...»

Она осеклась. Положила вату. Забросила прозрачный шнур за штырь стойки, взяла ее, понесла к двери.

— Кричит? — с запозданием спросила женщина в очках. Но медсестра уже исчезла, будто растворившись в коридоре.

Дверь оказалась распахнутой, в палату ворвались и запах хлорки, и голоса, как тихий рокот далеких волн. В коридоре, опираясь на костыли, стоял мужчина с изможденным лицом. Одет в тельняшку и затасканные трико. Пустая штанина завязана черным узлом. Из этого узла он выудил пачку сигарет; глядел на нее, не решаясь, курить ему или нет. Из рта вырывался пар.

Не прошло и пары минут, как медсестра показалась вновь, ведя под руку высокого мужчину, который еле волочил ноги. Медсестра посадила его на «общую» койку (сетка прогнулась, угрожающе заскрипела). Вышла, прикрыв за собой дверь.

Полная женщина оживилась — поднялась повыше и, заложив руку за голову, едким голосом спросила:

— Чего это ты, Коль, а?

— Уф-ф-ф... О-о... Видеть не могу... Аж с ног... — Голос был необычайно мягким, несмотря на легкую хрипотцу, что плохо вязалось с внешностью. Был он из тех, о ком говорят «крупный». Редкий черный волос отступал на лбу широкими залысинами. В массивном подбородке чувствовалась какая-то угроза, а глаза, поставленные так близко, что казались маленькими, сверкали тихим огоньком. Кожа красно-пепельного, как дубовая доска, цвета расходилась морщинами на небритых щеках.

— О, елки ж... — Он одним пальцем потянул вверх скомканный рукав пестрой кофты. — Уф-ф-ф...

— А чего ж вам колют? — с каким-то жаром спросила женщина с родинкой. На овечьем ее лице блеснуло выражение искреннего интереса.

— А я почем знаю. Была б моя воля... — Он хмыкнул. — Вот свиной колют. А я чем хуже? Наколют меня — обрасту мясом, тогда поглядите...

— А-а-а... — протянула женщина с родинкой, собираясь вновь окунуться в молчанье. Но полная не унималась:

— Чего ты, Коля, а?

Он прислонился спиной к стене, вытянул ноги и, придерживая «раненую» руку, заявил, оправдываясь:

— Видеть не могу... Как увижу, аж пелена. Голова кружится. Уф-ф-ф!.. — Он выдохнул, точно вынырнул из глубокого пруда. — Уф-ф-ф... Во дела какие! Не могу аж... Еще маленький помню... Вот когда кровь берут, палец давят — кровь нагоняют. А мне уже страшно. Я в слезы. Палец давят, а мне кажется, сейчас лопнет! Уже красный-прекрасный... Меня успокаивают: «Ой, да не плачь, еще не укололи...» А мне кажется, сейчас, сейчас лопнет! Как вишня. И все в крови. Мне уже плохо. А иголка?.. Мамочки, какие ж у них иголки!.. Шип... Вот шип стальной! И кажется, не просто уколуют — насквозь, до ногтя... Ой! Видеть не могу!.. Вроде и отворачиваюсь, а никак не отвернусь. Меня успокаивают, а мне еще хуже. «Сю-сю-сю»... А я визжу во всю глотку... А уколуют... так... прям пелена...

Он умолк. Сделал попытку заглянуть в щелку согнутой руки. Весь он как-то вытянулся, будто стараясь глядеть издали. Лицо удлинилось, побледнело. Женщина в очках прыснула. Та, что с родинкой, хихикнула. Мужчина с прилизанными волосами отстраненно заулыбался. В глазах их что-то заиграло. Казалось даже, лица просветлели, очистились от тучи мучения. Точно свежий воздух ворвался в стоячую мглу палаты. Не тот спертый, безвкусный воздух, который глотаешь, не замечая, — бодрящий ветерок, коим легко и сладко дышать. На большого Колю глядели, как на ребенка — с удивлением, умилением... превосходством. И улыбались. Даже уснувший — полноватый мужчина с двойным подбородком — улыбался во сне, точно и там ему сделалось легче дышать.

— Уф-ф-ф... — выдохнул Коля. — Это ж надо? Одни мучения! Ладно, пацану — чего ему там? Ну, поревет, поревет. Им, детям, полезно... А если... Боюсь ее... Хоть таблетку бы придумали — выпил и не боишься. Вот красота! А то ведь... Ладно пацаном. Или когда не видят... А то ведь стыдно. И ничего с собой не сделаешь... — Он потер подбородок серым от папирос пальцем. — В школе. В старших классах. Уж не знаю, на кой черт? Перед военкоматом, что ли... Согнали нас в один автобус. Прямо с уроков. Три класса — сейчас уж не помню... А, Бэ... Какая там? Вэ?..

— С утра А-Б-В было, — с охотой выручила женщина с родинкой.

— А-Б-В?.. Ага... — Он еще раз потер подбородок, выказывая шуточное недоверие. — А-Б-В?.. С утра?.. Ты на улицу-то погляди — везде А-Б-Ц... Зи дойчь? Ну, Вэ так Вэ, какая к черту разница. Короче говоря, долбаков полный автобус набился. Одни пацаны. Детей-то тогда было вон. Все здоровые детины. Автобус битком. Стоишь — плечом к плечу, и еще о чье-нибудь плечо затылок чешешь. Автобус по буграм из стороны в сторону — хоть держись, хоть не держись, один черт не упадешь. Еще курить сообразили — втихаря. На нас матюком. Трудовик ехал. Без ноги. Еще с войны. «Кто курит? Вашу наташу! Так вас и разедак!» А сам сидит. Ему в толчее не встать. Палкой трясет: «Приедем — бошки всем поотрываю!» А нам одно ржанье. Кто-нибудь крикнет: «Так это ж асфальт дымится, Сан Палыч!» И опять как табун дикий. Дураки — чего взять... Ну, привезли в больницу. Бумажки выдали, давай по кабинетам гонять...

Такое дело — компания. Одно ржанье. По поводу и без... Анекдоты какие-то... Друг над другом... А дело такое — своему на зуб попадешься, полгода подкалывать будут... А я как-то... Забыл, что ли... Про кровь... Самому весело... Разогнали — очередь туда, очередь сюда. У лаборатории коридорчик узенький. Эти баночки тоже... Шуток — вагон с тележкой. Я стою, от смеха живот болит. Весело... Плотно вокруг, что впереди, в кабинете, не видно. Зяблик Сашка впереди меня... Смотрю, выскакивает. Мы с ним друзья были. Палец ватой трет, кровь никак не остановит. Видно, капля темно-красная такая. Он мне палец прямо в нос, лыбится: «Во, блин, пулевое третьей степени». Я увидел — мамочки! — аж ком к горлу! Смотрю, глаз отвести не могу. Сашка: «Ты чего позеленел?» — «Да так», — говорю. А у самого ежом внутри. Точно иголки проглотил, все колет — от желудка до шеи. И чувствую — кровь от лица отходит... А очередь движется. Я вроде и не иду, а дверь все ближе. Чем ближе — мне хуже. Дверь открытая, тут тебе и стол и стул. Конвейер: садись — укол — пошел... Как во сне — уже сажусь. Все у меня трясется. Сел, руки на колени положил. Смотрю перед собой. Думаю: кровь увижу — все, конец, помру... Лаборантка: «Палец!» Я сажу, не пойму. Она: «Палец, палец давай!» За спиной смех... Она руку взяла, подняла над столом; не рука — крыло куриное, силы нет совсем. Смеху тут!.. Кто-то аж на стул облокотился, дышит прям в затылок. Мне от дыхания этого — внутри расплзается. Пот. Шея затекла. Голову еле-еле отвернул, этому говорю: «Не дыши. Богом прошу, не дыши!»... Аж не заметил, как уколола. Точно током ударило. «Все, — говорит, — вату держи, потом выкинешь»... Я встаю. Прямо вроде встаю. Встал, все нормально, ничего не кружится. Шаг... Смотрю — ноги! Елки-палки — мои!.. И потолок!.. Очухался от нашатыря. Настроение ужасное... Назад ехали — всем смешно. Если б мог, провалился бы. Прям сквозь автобус. И в землю — штопором... Вот такие вот дела!..

Он прервался. Разогнул руку и, полуотвернувшись, потер место укола красным кусочком ваты.

— Уф-ф-ф... — выдохнул сдавленно. Лицо исказилось, взгляд поднялся в потолок. Глаза еще слабо светилось, и теперь стало ясно: огонек этот — огонек озорства, мальчишеского задора. Казалось, один он, один этот взгляд, озонирует здешний воздух, делает его приятным, живым. Крошились гробовые плиты. Испарялось жженье мучительного молчанья. Исчезала неловкость, напряженная пульсация вен. Каждое движение, каждое слово этого Коли было столь простым и естественным, что какая-то легкость передавалась от него всем в палате. Было легко. Было приятно дышать. И улыбки играли на лицах от этой невероятной легкости, от присутствия настоящего, живого.

— Такое дело, кличка прицепилась... А там — выпускной. И школа жизни. Я в Средней Азии служил: пустыня, шляпа с полями. Школа жизни... Вернулся — мужик мужиком. Что там мне эта кровь — тьфу! У нас кровь — масло. Масло машинное. Мы ее, не жалея, проливали... мимо двигателя... А там — училище, работа... Как-то я не задумывался... Что это? Детское, как прыщи. Да еще здоровый был, карточка вот такая — тетрадка, двенадцать листов. В больницах не лежал, да и попробуй меня загони... Нет... вру! Один раз кто-то трепал: «Вот! Обследуйся! Надо обследоваться!» Хрен-с-два! Что я там не видел? Буду еще лежать, в потолок плевать, а там жизнь идти будет? Нет уж! Так дело не пойдет! А ложить будете — сбегу! В первый же день сбегу! «Ой, да, а вдруг! А вдруг!»

А если вдруг — уж лучше дома, на диване помирать. Или нет — под забором, чем в этом вот... санузле халатном... Здесь не то, что день, минуты быть нельзя! Это не ешь. То не пей. Тут не дыши. Послушать — жить страшно... Тут дышать нечем, воздуха нет. Охи-вздохи одни...

Полная женщина засмеялась в голос. Смех этот показался неуместным. Но из-за всеобщей легкости она не смутилась, и вот ее круглое лицо сияет улыбкой — приятной и искренней. И остальные заулыбались сильнее в ответ на это недоразумение.

— Да, ерунда. Одно слово — больница. На кой черт нужны? Так, здоровье гробить. Ну, ладно... А тут работа... второй год или третий. Женился. А там, такое дело... не помню уж, с какого... Не сам. То ли все тогда? То ли... Кровь из вены. Я с электричкой, с утра — в Бобров. Лето. Прохладно, тихо. На гору поднимаешься — асфальт аж блестит, свет желтый-прежелтый, как после дождя. В автобус сел — людей мало, все молчат... Замечали, как утро действует? Утром все по-другому — спокойно, хорошо. И люди другие. Доброта какая-то, мирные — на душе приятно. До больницы доехал — врачи только приходят. Людей мало... Сел... А я это... Уже плюнул — на кровь. Чего она? Я уж и забыл, и вспомнить стыдно — так, сопли детские — перерос. Жду спокойно. Еще люди подтягиваются. Я пропускаю — не к спеху. До автобуса далеко, на рынок еще успею, сапоги резиновые куплю. Даже мысли ни одной... Стариков трех пропустил, захожу. Кабинет здоровый, белый, как молоко. Тут шкафчик, напротив кушетка, бабулька сидит, вот как я, с ватой. У окна стол, пузырьки, колбочки. За столом медсестра. Я рукав закатываю, сажусь. Медсестра — повязка до самого носа, но видно — красивая, стройная, спинка, как палка. Я руку вперед, мышцами играю. А ей хоть бы что! Тут дверь хлопнула. Еще одна входит. Эту поманила; обе — за дверь. Я сижу. Никого. Бабулька моя уже смылась. Всюду стекло... Чувствую, пошевелюсь и чего-нибудь тут разобью... Смотрю, входит моя медсестра. С ней человек шесть, девчонки какие-то, почти школьницы. В халатах белых. Маски больничные на них... Медсестра на кушетку села, говорит: «Вот кровь надо взять. Приступайте». Они меня обступили, глядят во все глаза, с ноги на ногу переминаются. Я красный весь с головы до ног. Что делать, не знаю. Сердце в висках гремит. Вот блин, думаю, черт возьми, да что ж это такое?! Школьницы, елки зеленые, школьницы! Это что ж, выходит, они у меня кровь будут брать? Тренироваться будут?! Смотрю на них. Зубы сжал. Терпеть, думаю, терпеть! Тут одна жгут схватила, руку мне перетянула, а саму всю колотит. «Юль, — говорит, — коли». А все на одно лицо: худые, маленькие, щуплые, халаты одинаковые — как близнецы. Другая берет шприц. У меня во рту пересохло. «Работайте», — говорит. Я на нее смотрю: «Да, — говорю, — работаю. А как, собственно?..» Медсестра встала, над школьниками стоит, как курица над цыплятами. Маску сняла — страшная, как кочегарина теща. На меня сверху вниз: «Кулаком работайте!» Я давай сжимать-разжимать. А иголка все удлиняется... «Все, — говорит, — сжимайте». Мне бы, дураку, отвернуться или зажмуриться. Так нет, думаю, отвернусь, подумают — струсил. Маленький, что ли. Зубы сильнее сжал. И во все глаза — на шприц. Девчонка — раз! — иголку под кожу. Чуть не взвыл. Все поплыло. Медсестра: «Чего ты делаешь?! Не видишь, мимо! Вынай, по новой давай». Я мычу, как корова. Школьница иголку вынула — еще раз! У меня в ушах грохот. Медсестра заулыбалась: «Вот так бы! Эй ты, давай, следующая». Еще одна подходит, давай за штуку тянуть, кровь выкачивать... У меня вода в глазах. Терпеть, думаю, терпеть! В шприце кровь — половина, гус-

тая-густая. И будто черная. И ощущение такое в руке... Слышу сквозь плену: вокруг — шум, гам. Разглядел кое-как: дети бегают, медсестра матерится, с пола что-то поднимают. Я смотрю — елки зеленые! — поднимают школьницу мою, которая кровь выкачивала. Смотрю — рука. Из вены иголка торчит. Шприц никто не держит. А кровь все течет!.. У меня перед глазами поползло, поползло... И чернота. Очнулся: халаты мелькают. Присмотрелся — все там же, на стуле. Одно это «дите» мне руку держит, чтоб кровь не шла. Увидела, что я очухался, в сторону отскочила. Я руку согнул. Остальные на меня не смотрят, около кушетки возятся, «упавшую» обмахивают — медсестра, школьницы, тетки какие-то. Я по стенке, по стенке, чтоб никто не видел... В теле слабость, голова кружится, ноги, как два шланга. Мимо всех... До дома как добрался, не знаю. С матом-перематом, наверно. И все! С тех пор решил: кровь сдавать там, уколы какие — ни-ни! Это ж смерти подобно! Да что... еще раз не выдержу... Ой, блин!.. Что ж никак не остановится?..

Он еще раз глянул на согнутую руку, быстро отвернулся. Пружины скрипнули, словно хихикнув на своем железном языке. Где-то далеко хлопнула дверь, мимо кто-то прошагал (должно быть, повариха), громко стуча каблуками. Неожиданно выглянуло солнце, бросило косые желтые полосы на койки. Всего на мгновенье... Полосы тут же поблекли, оставив палату казенно-белой.

— И чего? — с жаждой в глазах спросила женщина с родинкой. Казалось, от нетерпенья у нее вот-вот волосы зашевелились на голове.

— Чего? — хмыкнул мужчина. — Чего-чего? Жить надо, а не по больницам шляться. Чего!.. Угораздило. Сейчас так, ерунда. А вот когда работал...

Он вдруг чихнул — так громко и неожиданно, что все вздрогнули и тут же засмеялись из-за этой оказии.

— Эх-х-е!!! О! Правда! — Вытер нос ребром ладони. Продолжил, улыбаясь с невольными слезами на глазах. — Тогда, помните, каждый год — день донора. Кровь сдавали. Сейчас уж нет... День донора есть, а доноров с гулькин нос. Что-нибудь взрывается, то ГЭСы, то АЭСы. А тогда все знали, вот день донора, и много сдавало. Отгул, кормежка и по сто пятьдесят червиков... Ну я, естественно... от этого дела... отстранялись... Самоотвод, так сказать, брал... Подшучивали. Юрка особенно. Он юморист, всегда как скажет — мы с ним еще в школе учились... Ну, я как-то, как-то... мимо этих дней... Один раз чуть не насильно утянули — дружки, блин. Пришлось набулькать за воротник — а все, после этого дела нельзя!.. А тут уже дни донора вяло, вяло... Времена такие, самим не до себя. Да тут уж — не помню — рвануло что-то где-то? Иль землетрясение. Короче, срочно нужна кровь!.. Про меня забыли, привыкли, что не езжу. А тут вдруг Юрка подкатывает: давай, мол, Коль, чего как маленький?.. У меня момент такой был, надоело все до чертиков. Усталость какая-то, ноги подкашиваются. Во, думаю, тема. Вот и отдых! И ведь для людей! Люди там страдают — что я, волосы седые... «Ладно, — говорю, — поехали!» Решили: следующим днем — как раз попадало: отгул и выходные, три дня отдыха. Человек восемь группа... Весь день летаю, про отдых думаю. Поллитры взял у бабки одной — за холодильник спрятал. Удочки починил. Думаю, на рыбалку съезжу, тысячу лет на рыбалке не был. Сало из погреба достал — в банке. Все приготовил. Спал, как ангел. От мысли, от одной мысли легче стало. Вот, думаю, отдохну, хоть раз в жизни!.. Утром собрались. Дождичек мелкий. Холодно. Лужи. Стоим, как дураки, носами шмыгаем... Оказалось,

кровь сдавать не тут в избушке на курьих ножках. «ПАЗик» подкатил. Залезли, автобус полупустой, мы да две старушки... Автобус трясет, картишки с сидений слетают. Бабульки в угол забились, как от угарных, соседям кости перетирают. Дождь прошел, разъяснилось. Бобров — улицы сырые, серые, как мыши. Довезли нас до больницы, выгрузили. Мы бегом лабораторию искать — с утра не жрамши, в животах урчит, кишки узлом. Юрка, как Сусанин — туда за ним, сюда за ним. Еле нашли. «Вот, — говорим. — Кровь сдавать. На благо Родины!» А помещенице, как новое — а может, не новое, не был-то ни разу — чисто вокруг. Порядок какой-то... противоестественный... На втором этаже. В углу... Тетка одна: «Так, по одному давайте»... По стенкам тут стулья, как из ДК, откидные. Диванчик маленький. Столик, как с нашей мебельной — ДВП с ножками. Юрка меня локтем: «Ну как, санаторий?» «Да, — говорю. — Только жрать не дают». Он меня опять в бок, лыбится: «Чего, первый пойдешь? Как Гагарин?» Все давай ржать. Меня злоба взяла! Вот, думаю, сволочи! «Ладно, пойду...» Встал, ноги стеклянные. А неприятно — ух-х-х! — аж в груди закололо! Я в затылке поскреб: «А сам-то? Мы за тобой по лестнице мотались. А как дело — за спинами. Депутат! Чего, бабайку испугался?» Все в смех. Дверь открывается, кто был впереди, уже выходит. Юра встал. «Ладно, — говорит. — Дыши носом. Последний раз спасаю». У меня гора с плеч — поживу пока. Сел. В голове стучит, мерзко так на душе — колет, мнет... Ага... Ребята — за анекдоты, и про политику — с шутками, чуть не с матом. В коридоре старушки, мамыши с детьми, хмурые все, как около покойника. А мы ржем. И они тоже — в улыбку, в улыбку... Я сижу, в ушах — словно барабан, слов не слышу — какое-то бухтение. Отвечаю невпопад. А улыбки — во рту сохнет, кажется, все — вот все! — на меня лыбятся... Юрка «отстрелялся», пошел в буфет столик занимать... Я себя успокаиваю — еще хуже. Лучше б первым пошел... Все, думаю, сейчас зайду. Выходят — я все сижу... Ладно, ладно, ведь не для себя. Я-то чего? Там кровь позарез нужна. Черт с ней, грохнусь, но ведь для дела, для людей... Смотрю, наши почти все. Выйдут, посидят и кто куда — кто в буфет, кто в нужник, будто еще и терпеть надо было... Я представил, каково это, когда вот так вот... операции, переливания, а крови нет. А я тут ломаюсь... Успокоился немного... А уже и один! Встал, ноги затекли. Захожу. Комната небольшая. Стол. Кушетка. Штука какая-то, пакет прозрачный висит. Каталка железная каким-то чертом... Медсестра в белом халатике. Я спокойно прямым шагом на эту кушетку — полулежа. Закатал рукав... Решил я железно — все будет нормально! Нормально — и точка!.. Медсестра за палец меня взяла — вроде из пальца кровь брать... Я на нее смотрю... Что-то... что-то, блин, не так!.. Так сосредоточился, аж не заметил, как кольнула... Гляжу на нее — жгутом руку перевязывает... Так-так-так! Маленькая, щуплая, очки на пол-лица. Волосы рыжие в хвосте... Так-так-так! Вспомнилось! Все эти школьницы вспомнились — как под дых двинули. «Так-так-так! — говорю. — Опять!» Она уставилась, глазами хлопает. Я вытянулся: «Узнала?! — Все у меня klokoчет. — Та-а-ак! Садисты!!!» Она рот разевает, глаза на пол-лица. «Та-а-ак... — говорю, — тренироваться не на ком?! Недоучки чертovy!» Она вскочила, встала посреди комнаты, как истукан. Руки опустила. Рот разевает, как рыба. И красная вся, точно помидор. «Чего молчишь?!» — От нервов голос у меня осип... Тут — бабах! — дверь хлопнула. Влетает какая-то баба. Здоровая. Халат зеленый. В руках тряпка. Хлобысь мне этой тряпкой по морде! Я очумел. Она, смотрю, тоже. Дышит, как паровоз. Я тоже. Сижу — она стоит. Смотрим друг на друга, как две собаки. И тиши-

на!.. Не знаю уж, сколько мы в эти гляделки играли. Щека горит, сердце прыгает. Тут она басом: «Ты чего?!» Я и ответить — язык не ворочается... «Ты чего устраиваешь, а?! — И тряпкой перед носом — кулак, как два моих. — Тебя чего, звали?! Ты чего тут?!» Я вроде и громко, а шепотом выходит: «Кровь... сдавать...» И вроде показываю на руку — она в жгуте. Баба сердито, как медведь: «А чего устраиваешь?! Тебя сюда звали?! Чего ты?! Кровь сдавать — сдавай! Дебош устраивать! Ишь ты! Ты у меня полетишь отсюда!» Я головой мотаю... «Успокоился?!» Киваю — да, мол, успокоился. Она развернулась, вышла... Я сглотнул. Чего делать, не знаю. Весь будто каменный, мышцы напряжены, голову ломит. Смотрю, медсестра рядом садится. Шприц берет... Мне как-то... Щеки у нее влажные, нижняя губа дрожит... Я отвернулся, в стенку взглядом... Короче говоря, взяла она у меня кровь — я и не почувствовал. Только напряжение — виски давило. Слышу, она еле-еле: «Готово». Я даже не понял, чего готово? Встал — она отвернулась. Я постоял немного. Уходить, у двери остановился... Чего сказать, как?.. «Ну, — говорю, — вы уж меня...» А чего? Чего дальше?.. Она чего-то там возится, будто не слышит. Ну, я и вышел... Вышел. Поганно на душе. Неудобно все-таки. И тут меня — бабах! — елки палки, кровь же я сдал! И ничего! Вот он, на ногах стою! Так радостно сделалось. Смотрю, дружков моих нет — в буфете должно быть. Вроде и посидеть надо, а я туда, к ним, как на крыльях... Тут — так! — что-то знакомое... Халат зеленый... Елки-палки, эта баба! Швабра. И она эту тряпку в ведро с водой сует!.. У меня все поплыло. К горлу подкатило. Я бегом — ноги подкашиваются — дверь, туалет... Как уж меня рвало!..

— Зарекалась ворона, — со смехом вставил мужчина с прилизанными волосами.

— Ага. Не то слово! — Коля потер «здоровой» рукой затылок. — Просидел я в туалете... То рвет, то перестанет. В глазах слезы. Все расплывается. Проморгаешься — ничего вроде; две минуты — опять. И сил нет. Выйду — опять схватит. Залезу назад чуть не на четвереньках... вниз головой... Пустота какая-то... Измучился — мама дорогая — никогда так не уставал! Еле-еле вылез. Кое-как вниз, к своим, до буфета. Точно сто лет шел... Прихожу, кореша мои за столом — уже поддатые, морды красные. Меня увидели, чуть не попадали... Юрка отдышался, слезы вытер: «Ну, ты даешь! Откуда такой вылез?.. А мы уж с ребятами все твое выпили. Думали, не вернешься». Я за дверь цепляюсь. Лечь бы сейчас, вздремнуть... «Ну, — Юрка говорит, — тебе только дай!» Тут опять — чуть не грохнулись. Это Ленка моя. Пьяного меня привозили домой, она так орала: «Тебе только дай». «Ладно, — Юрка, — давай быстрее, автобус сейчас отойдет». Они бегом. Я за ними — еле-еле. В автобус влезли — битком. Юрка меня за руку: «Садись, садись, вон место свободное». Я ему: «Да иди ты!» Поручень обхватил, как маму родную, обеими руками — вроде держусь... Тут вон старики — садиться стыдно. Ладони аж посинели. Так, думаю, три дня! Три дня! На рыбалку съезжу. И люди... Даже представилось: на кроватях обгорелые с головы до ног. Ничего, кровь в дело пойдет!.. Дружки еще смеются: «Тебе только дай!» Юрка им: «Ладно, лбы. Вам бы так! Вон корежит, а так — ничего, сдал. Через силу, а сдал... А вы ржете»... Я с поручнем в обнимку, глаза слипаются. Приеду, думаю, дрыхнуть. А завтра на рыбалку!.. Если б не эти мысли, наверное, и не доехал бы. До дома дошел. Дверь отпер. Туфли кое-как стянул. Сплю на ходу — пятками грохаю. Кровать. Грохнулся мешком — не раздеваясь, поверх одеяла. И как провалился... Проснулся — тьма кругом. Тихо. Вечер глухой, только холодильник дре-

безжит. Жена еще с работы не пришла. Лешка, видно, на улице бегает. Лежу на брюхе. Хотел пошевелиться — как в спину вступило! Я аж зажмурился! Пошевелиться никак не могу! Все, думаю, парализовало... Внутри перевернулось. Страх! Никогда я такого страха не испытывал. Один. Темнота. Шевелиться не могу. Парализовало!.. Паника волнами хлещет!.. Сколько лежал, не знаю — казалось, в аду побывал. Столько муки никогда не было... Тут, слышу, дверь открылась. Ленка моя с сумками ноги еле переставляет. Я уж и орать хочу — ни звука не идет... Чуть дернусь — болью окатывает... Вошла, свет включила, а я на кровати — тут как тут. Силы кое-как нашел: «Все, — говорю, — спина...» Она губы сжала, куда-то сбегала... Приходит. Рубашку с меня стянула. Боль адская. Давай спину чем-то растирать. Чувствую, запах какой-то... «Чего это?» — говорю. А она: «Самогон. За холодильником нашла». У меня аж слезы выступили. «Больно?» — спрашивает. «Да, — говорю, — очень»... Оказалось потом, в автобусе просквозило... Окошко раскрыто... Да и нервы... Короче, провалялся я свои выходные на пузе — встать не мог. А потом еще неделю, не разгибаясь... Вот такая вот рыбалка!

Дверь в палату распахнулась, будто специально дожидаясь, пока Николай окончит. Упрямым шагом вошла медсестра с белым подносом в руках. На подносе — шприц, вата. Но вместе с подносом внесла что-то еще, что-то забытое, утерянное — ощущение больницы. Все так же пахло хлоркой. По оконному стеклу мягко ступал снег, а стены были казенно-белыми. К рукам привязаны сосуды капельниц — их долгое время не замечали, заслушавшись, купаясь совсем в другом настроении. А тут — вот тебе! — одна уже кончилась. Не считали капли, не заметили, когда.

Медсестра нагнулась над мужчиной с прилизанными волосами. Сделалось шумно. Заскрипели пружины коек. Коля снова стал говорить, но шум все нарастал, комкая слова. И глядели уже не на него — на медсестру, точно дети, вернувшиеся в родное лоно. Не слышали. Или попросту не хотели слышать.

— Кровь... Как можно? Она ведь через сердце, через самое сердце. Может, в ней жизнь... А мы? Везде, во все пробирки, по всем углам, направо, налево. И все без толку. Просто так. «Проверить!» Ладно, для другого, жизнь спасти... А так, в пробирки, мертвым грузом... Ведь жизнь в ней!.. Больницы... Они... Жизни нет, воздуха нет. И здоровья... Кому тут здоровью нужно? Тут бумажка. За нее тебя и купят, и продадут. Одно вылечат, другое угробят. Лекарств море — чего лечить, придумают. Как трясина. Один врач одно скажет, другой — другое. Не вылечат, не надо им. Одни таблетки, потом — другие, третьи. Побочные эффекты, почки. И все заново, по кругу. Всю жизнь лекарства глотать. Кабала... Тут, чтоб лечиться, здоровье нужно, как у быка... Сюда — только помирать... Солнце не заглядывает... Здоровья нет. И жизни... А кровь... Может, жизнь в ней наша. Душа. А мы ее... то тут, то там — без дела.

Медсестра выпрямилась. Взяла поднос в одну руку, стойку — в другую. Скрипенье коек утихло, но Коля уже молчал. Медсестра вышла, ногой захлопнув за собой дверь.

Они... Они глядели на Колю с вернувшимися улыбками, точно ожидая: вот-вот снова начнет рассказывать. Но Коля молчал.

Тут дверь распахнулась, просунулся какой-то мужчина в солидном черном пальто и черной, как смоль, ушанке.

— Сидишь?! — сердито спросил он. — Прописаться решил?.. И брешет!.. И брешет, и брешет! Когда ж язык отвалится?.. Вставай, давай.

Он схватил Колю за здоровую руку, пытаясь оторвать его от койки. Коля вяло сопротивлялся:

— Ну, ладно тебе... Отстань!.. Еще не прошло...

— Знаю я твое «не прошло». Пошли! Там пулемет стынет!

Коля нехотя поднялся, подтянул одной рукой штаны. Сделал несколько шагов — робко, как ребенок. У дверей обернулся:

— Ну, давайте! Не болейте тут, а то увижу, болеете — как вернусь, надаю лещей... Ага... Ну все, бывайте!

И ушли.

Постояльцы пятой палаты еще улыбались.

— А кто ж это был-то? — спросила женщина с родинкой.

— Колюха Юрцов. На нашей улице живет, — ответила полная.

— Чего, пьет он?

— Да как сказать... Вроде и нет. Полгода, год не пьет, потом — как даст. Бывало, с кулаками к жене. А она такая — обратно ему. Один раз, помню, ходит он, морда вся в пятнах — точки какие-то. Оказалось, он с горячего — в крик, а она у плиты. И в морду ему — борщом... А так мирно вроде живут. Детей четырех воспитали. Кто где сейчас, кто в Воронеже, кто в Москве. Младший осенью в армию пошел...

Полная женщина умолкла.

Они лежали. Улыбки еще были на их лицах. Восковые улыбки.казалось, вместе с Колей исчезла и легкость, неподдельность, пульсация живой энергии. Воздух вновь сделался спертым. Из щелей, из-под коек выползло молчанье — изнурительное, невыносимое — вдавливало в матрацы, удущало. А они лежали. Кожа их в тусклом свете казалась желтой. Глаза — пустыми, бессмысленными; они уже не светились жизнью. Ненужные друг другу люди, связанные лишь общими ранами. Люди, у которых нет ничего своего, кроме этих ран, которые они готовы носить напоказ, с тайной гордостью. Безразличные ко всему. Неживые. В единственно доступном для них месте — здесь, где такие же, как они, в этой палате. Но все же среди своих — далеки друг от друга... невероятно далеки.

Полная вдруг спохватилась — кровь у нее давно уже перестала идти. Она встала. Стянула с койки простыню, сунула в пакет с бракованными сапогами. Надевая пальто, отчиталась:

— Все, побежала. Увидимся еще...

Слова будто ушли в пустоту — жадную, звенящую.

— Я... Мне вообще... — продолжила испуганным голосом. — Два раза... Прописали два раза капаться. Так я почаще... Раза три-четыре. Так все как-то... — Она не смогла окончить. Эта неловкость щипцами тянула из нее что-то заветное...

Борясь с собой, она поспешила выйти.

Дверь оказалась распахнутой. Палата вдруг наполнилась гомоном голосов, как порыв ветра, рвущийся отсюда, из этой темницы на волю, к летящему снегу, к низкому небу.

Я глядел на людей в палате, на их застывшие лица. Последняя ампула, думал я, последняя капельница. И все... Никогда не возвращаться. Быть там, в мире живых. Дышать сладким воздухом. И чтобы редкий день был похож на другой.

Полноватый мужчина вздрогнул, проснулся. Часто моргая, уставился на свою бутылку:

— Гляньте... Вроде кончилась у меня? Кажется, кончилась?..



***Владимир Валентинович Чернов** родился в 1981 году в селе Хреновое Бобровского района Воронежской области. Окончил Воронежскую государственную лесотехническую академию. Работал мастером леса, помощником лесничего. Печатался в журналах «Подъём», «Нева», литературном сборнике «Первая вежа». Лауреат Исаевской премии 2014 года, конкурса журнала «Север» «Северная звезда». Живет в селе Хреновое Воронежской области.*

Владимир Чернов

ХИРОМАНТИЯ

Рассказы

ПОМОЙКА

С господином Переделкиным Петром Петровичем происшествие одно приключилось. Жизненного характера. Оно ему жизнь, можно сказать, испортило, происшествие это. Судьбу вкось пустило. До суда довело и до нервного тика.

Переделкин этот очень был благонаправленный человек и культурный. В церковь хотя и не ходил, но грехи совершал в меру, по малым статьям. Никому никогда он не хамил и уж тем более рожицы не строил.

Жил себе спокойно, людей не тревожил. На своей узкой улице уважение имел.

И тут с ним такое нечто случилось — всей жизни переворот.

А началось все вот с чего.

Как-то раз скопился у Переделкина мусор. Как скопился? Обыкновенно скопился. Как всегда. Целое мусорное ведро. Объемом не больше среднего, как и у всех.

А в тот день дождь был. Слякотно на улице. К тому же что-то Переделкина мигрень с самого утра мучила.

И вот он картошку чистить взялся. А очистки кидать некуда. Ведро полное, через край валится. Мусорить-то Петр Петрович мимо ведра не терпел. От этого возникла, само собой, мысль: мусор выкинуть.

А дождь все припускает. Лужа перед порогом широкая и, видимо, глубокая. Грязь машинами намесило. До мусорного контейнера в калошах волочиться. Тем более контейнер украли. И ведро-то маленькое, небольшое. Из-за него тащиться неохота.

Надо сказать, усадьба Переделкина располагалась на углу улицы. И тут же на углу, перед проезжей частью куст терна рос. Мохнатый, очень разросшийся. Так что между переделкинским забором и кустом ямка образовалась. Там еще крапива была. Туда-то Переделкин из ведра мусор и запустил. Чтобы до мусорки не ходить.

Может он, конечно, пьяный был. Кто его знает? У него тогда запойная полоса в жизни чернела. От этого-то, возможно, и голова раскалывалась.

Минуло, однако, дня три. Идет Переделкин с пустым ведром от официальной мусорки. Он о той своей проделке забыл совершенно. И глядь в эти кусты: посмотрел нечаянно. И видит там всевозможный мусор в крапиве валяется.

«Не моя бутылка из-под кефира, — подумал Переделкин. — Я такой кефир не ем. Я его совсем не ем».

Присмотрелся. Там еще кое-что не из его рациона. Стаканчики от мороженого. Бумага какая-то.

«Вот, — думает, — что такое. Гады какие-то набросали».

И дальше пошел. Дела у него были по хозяйству неотложные. Забылось все. Но ненадолго.

Немного погодя замечает Переделкин прибавление мусора в крапиве. Не сказать, чтобы много его накопилось — куча небольшая, всю крапиву мусором примяло. Переделкин, само собой, шаг замедлил. Снял с ветки терна сырой памперс. «Не мое, — думает, — точно».

Тут-то негодование в нем и заклокотало.

«Что же это, — думает, — такое? Кто-то мне тут помойку устроил».

По сторонам смотрит. Соседей, естественно, подозревает. Ясное дело, кто же еще? Они. Вот и занавесочка напротив колыхнулась. Улица-то узкая — все видно. «Смотрят, наверное, — думает Переделкин, — ухмыляются».

И какой-то в нем зверь стал просыпаться. Хищник, или разведчик. Думает: «Поймаю гадов. Выслежу. Как же это так, мне тут свинячат под забором».

У кого ребенок маленький, к примеру, он знал. И портвейн кто любит пить. Но ведь не предъявишь без доказательств. И вот сидит Переделкин, ждет, караулит. Дырку в заборе просверлил. Воскресенье, с утра до вечера, просидел. Никого.

Утром на работу. Ба! Корпус от телевизора оплавленный. И еще кое-что из отходов соседского мусора.

«Ночью, гады, ворочают. Паразиты, — думает вслух. — Выслежу. Носом, носом в это самое!» — крикнул негромко. На всю улицу. Тетка какая-то прохаживая шарахнулась в сторону. Пакет к груди прижала. У Переделкина, известное дело, подозрения: «Ага, мусор шла вываливать. А тут я. Не дал ей».

Потерял он покой и сон. Все следит. А выследить не может. Некогда — работа. И спать хочется. Да и кушать надо хоть изредка.

А куча только растет.

Пришлось самосвал нанимать. Все это, чужое нехорошее, из-под собственного забора своими руками грузить. И деньги шоферу платить.

Сколько мороки. И, главное, ни одно соседское лицо не признается. Мимо туда-сюда шастали, пока он грузил. И никто не повинулся. А их ведь отходы-то жизнедеятельности.

Вывез. Все до фантика подобрал. Крапиву с корнями выдрал. И терн вырубил. Чистота и порядок. Чистый уголок. Хризантем с астрами только не хватает. И роз для благоухания.

«А что, — думает Переделкин, — и клумбу разведу. Всем назло. Облагорожу место жительства».

И слово-таки сдержал. Цветочков посеял. Очень, наверное, красивых, судя по картинкам на голландских пачках. День-деньской трудился. Лопатой копал, граблями разравнивал, лейкой поливал. Все делал, что у цветоводов полагается. К концу дня остался в уставшем положении и радостном состоянии от проделанной работы. С тем и спать лег.

Утром первым делом к клумбе. Полить, что подсохло за ночь, еще что-нибудь сделать, что молодому цветнику требуется.

Смотрит — вот это да! — несколько пакетов мусорных полнехоньких валяются посреди клумбы. Где анютины глазки должны по идее красоваться. Какая-то собака, в дополнение картины, в пакет с головой влезла. Переделкин в сердцах крикнул кое-что. Собака так и пустилась, завизжала, с пакетом на голове. Переделкин еще ногой топнул. Руки к небу воздел трагическим образом. Как в греческие времена. К богу возмездия воззвал. Хотя он и неверующий. Да тут черт-те во что поверишь.

Как это так? Вчера клумба была, а сегодня опять мусорная помойка. Хотел индивидуальный рай под забором, в уголке организовать. А тут — геенна на том месте. Нет, и правда, что за народ такой, эти люди?! Все они загадить норовят. И мусорят. И еще гордятся: я больше всех кучу навалил. Вместо того чтобы лопушком прикрыть.

Вот стоит Переделкин. Горе ощущает. И видит такое... что прямо дух ему защемило... Какие-то тимуровцы-переростки на тачке шкаф старый волокут. Тяжелый, тачка скрипит. И, самое главное, не с его улицы ребятки. Своих-то он вроде всех знал. Это какие-то с другой улицы, волокут что попало.

Подкатили и, не обращая внимания на Переделкина, свалили шкаф на место вчерашней клумбы. Шкаф громыхнул, покосился, но не развалился. Этот грохот и вывел Переделкина из оцепененья. Оно на него нашло. Он на процессию со шкафом молча смотрел. Рот только открыл и как-то так глазом моргал. Нервно так моргал, помимо собственного желания.

— Что же это такое?! — тут он завопил. Не выдержал. — Куда шкаф свалили?!

— Что ты пристал, дядя? — отвечает один, с наколкой. — На помойку. Не видишь, что ли?

— Куда вы шкаф свалили, подонки? — кричит вне себя Переделкин. — Какое тут место вашему хламу? Где тут помойка?

— Что ты нам орешь? — ему тоже поставленным голосом отвечают. — Помойки не видишь, дурак слепой. Сюда все население валит. Хе, помойка где, спрашивает.

— Где ж тут помойка? — Переделкина вдруг на слезы пробрало. Он как будто устал кричать. И жаловаться стал: — Тут цветочки у меня были. Вот тут вот гелихризум у меня... А вы что же тут кидаете отходы свои, изверги.

— Ты, дядя, с нами не ругайся, — говорят ему. — А то мы тебя в этот

шкаф упакуем. Он хоть и старый, но тебе в земле не все равно в чем лежать?

— Это что, — удивляется наш Переделкин, — вы мне угрожаете? Мне же мусор под забор валите и грозите зверским образом.

Тут на шум-гам народ собрался. Зеваки и прочие люди. Большею частью соседи, поблизости проживающие. Стоят, на скандал любуются.

А Переделкин не успокаивается.

— Где же тут помойка? — спрашивает, руками разводит.

— Да вот она, — говорят ему.

— Какая же это помойка? — не верит он. — Это вот мой забор. А это вот клумба должна тут быть, — объясняет он собравшимся дрожащим голосом. — Почему вы тут все, кто к этому причастны, бессовестно мусор мне, считай, что на голову вываливаете?

— А куда нам кидать? — говорит один сосед. — Тут валялось. А мы — куда и все.

Тут Переделкин разрыдался. Мычит и всхлипывает.

— Ну, что ты, Петр Петрович, — начал успокаивать другой сосед. — Ты же сам швырнул раз. Я в окно видел. Из ведра вывалил.

— Ага, сам начал. А мы виноваты, — засомневались окружающие.

— Как это я? Когда это? — Слезы по щекам Переделкин размазывает. В рассудительность входит.

— Как же когда? — говорит свидетель. — Как-то дождь был. Ну, раз кидает сам, значит, можно другим.

— Сам начал и нюни распустил. На жалость давит...

Примерно так кругом толкуют.

— И вообще, Переделкин, что за безобразие? — это один вступил, уличком их. — Что ты тут помойку посреди улицы развел? Нигде такого нет. Участкового на тебя надо вызвать.

— Правильно, — поддержали дружно, по-соседски. — Пусть его оштрафуют. Развел. Дышать нечем. Вонь. Никакого вида и благоустройства.

— Это дело я так не оставляю, — говорит уличком. — Я точно в милицию пойду. Пусть тебя суд разбирает. Ты нам всю статистику порядка портишь.

— Выселить его с улицы, — кричат отовсюду. — Морду набить за такое.

Переделкин стоит сам не свой. Красный ото лба до подбородка. Моргнуть боится.

Вот ведь как все обернулось. Кверху наоборот. Атмосфера над Переделкинским загустела. Да так здорово загустела, что будто бы в бок ему пинает.

Погалдели, как полагается. Уличком на прощание пальцем погрозил и бровями:

— Учтите, — говорит.

Переделкин тоже пошел восвояси. За стенами своей крепости он сильно раздумался: «Что-то, — думает, — не то получается. Как-то не так выходит. Значит, если я на себя, предположим, ведро с помоями опрокину, то потом и другие, кто хочет — давай на меня, фугуй. И я же виноват, что в помоях стою, обтекаю».

Мозгует так Переделкин, и на справедливость его разворачивает.

«А с другой стороны, — думает, — зачем я на себя помой вылью? Я тут, в таком случае, сам виноват. Так, что ли? И что тут удивляться? На себя-то никому опрокидывать неохота».

От рассуждений у Переделкина бессонницей весь сон отбило. Он маялся всю ночь. Страдал. Он же, Переделкин, очень порядочным человеком был. Его таким все представляли. И он сам себя уважал. И это с ним впервые в жизни — суд и полиция. Он-то в библиотеку по сей день ходит. По лесу гуляет, листики ножкой философски отшвыривает, Бродского цитирует. И тут — раз тебе. Судом грозят. С улицы выселить хотят. И помойка, правда что, воняет. А должна клумба благоухать. И вообще жизнь должна была быть, как прежде — хорошая, порядочная. Все по плану. Ведь ничто беды не предвещало.

Утро настает. Ни мудрости от него, ни свежести. Одно головокружение. И глаз карий подергивается.

«На работу, — думает, — пойду. Хоть там радость. Начальник за отчет похвалит».

Так и есть, после обеда директор вызывает. В кабинете у директора господин полицейский сидит, который на улице их кривенькой участковым служит. И сразу так он с прищуром к Переделкину подступает. При молчаливом согласии директора.

— Что же вы, — говорит, блестя кокардой, — гражданин Переделкин, от закона скрываетесь? Нигде вас не найдешь. Дома не сидите, когда надо. От служителей закона бегаете.

— У меня, — говорит Переделкин, побледневши, — рабочий день у меня...

— Вы, если врать, — говорит внутренний орган, — то так врите, чтобы я поверил. А так — ничего, не надо. Вы, — говорит строго, — по основному делу отвечайте, раз попались. На каком праве вы свалку посреди улицы устроили на вверенном мне участке? А? Я вас спрашиваю.

— Свалка?.. Я... — лепечет Переделкин. Трясется как осиновый лист.

— Дело это грозит вам в суд перейти, — продолжает орган. — Раз вы молчите и запираетесь. Мы на вас управу найдем, вы так и знайте. Никому не позволено помойку при свидетелях устраивать.

— Да, — говорит директор, — не ожидал я от тебя, Петр Петрович. Тридцать лет не ожидал. Тебе же три года до пенсии осталось, а ты такой оказался хулиган.

— У нас таких, знаете, сколько вот тут прошло. — Постучал орган по кожаной своей папке. — Под личиной интеллигенции такие статьи скрываются. Не то, что хулиганство... И как вы их, этих протокольных элементов, до ответственной должности допускаете?

— Да, — говорит сокрушенно директор, — тридцать лет на груди пригревал. Будем ставить вопрос ребром насчет соответствия занимаемой должности. Теперь-то вы нам глаза кое-где открыли. Все нам теперь насчет кое-каких личностей видно вблизи.

Такие мнения Переделкину о себе знать стало нестерпимо. Он первый раз о себе такое слышит. Слышит и ушам своим не верит.

А тут еще орган бумажку сует под руку.

— Распишитесь, — говорит, — вот здесь и здесь.

Переделкин, как был в шоке, так и роспись влепил, куда ему законным пальцем указали. И на рабочем месте сослуживцы на него как-то не так смотрят. Как на преступника. А то, что он тридцать лет приличным человеком был, это уже никого не касается. Со столов губные помады прячут. Мониторы отворачивают.

Дожил кое-как Переделкин до дома. А дома чем дальше, тем хуже. Под забором мусора прибавилось. Уже не под забором мусор, а над забо-

ром нависает. Стоит Переделкин, смотрит на мусор одним глазом. Другой-то очень дергается, через него плохо видно. Стоит Переделкин и ничего не думает. Просто так стоит себе.

Тут его кто-то за рукав дергает. Обернулся — незнакомый мальчик лет десяти. Наподобие пионера. Такой же примерной наружности. С синяком под глазом и без галстука. Посмотрел на него Переделкин без оптимизма. А тот ему:

— Дядя, где тут у вас Переделкина найти?

— А что, племянничек, тебе от него надо? — спрашивает Переделкин. И по привычке сердцем сжимается.

— Мне, — говорит настырный мальчик, — в стенгазету назначили статью написать о самой грязной усадьбе. Я Переделкина ищу. Он помойку вот эту развел. Я ее сфотографировал, теперь самого хочу снять.

— А интервью тебе не дать? — выпалил в сердцах Переделкин.

— Дать, — говорит мальчик. — Сейчас я блокнотик с ручкой достану.

— Можешь не суетиться, — убедительно начал Переделкин. — Так запоминай. Переделкин — это я. И я в то время, когда твоих папку с мамкой только проектировали, уже был почетным гражданином этой самой улицы. У меня усадьба всю жизнь была образцово-показательной. Про меня пионеры хорошие, поучительные статьи писали. Ясно тебе?

— Ясно, — говорит мальчик.

— Тридцать лет была лучшая усадьба, — продолжает Переделкин. — Грамоты есть. И тут на тебе — худшей стала. Понял?

— Понял, — говорит мальчик. — А откуда этот мусор тут? Около вас.

— Это, — Переделкин оглянулся по сторонам и сказал доверительно, — все кому не лень наглým образом вокруг меня кидают. Вот видишь, какое безобразие получилось. Без моей воли и согласия.

Так рассказал Переделкин всю правду юному репортеру и пошел домой. Дома он очень удивлялся и думал. О том думал, что будет судиться. И если что, до Страсбургского суда дойдет. Лишь бы его достоинство восстановили. То есть мусорку экспертизой признали не его. И человека чистоплотного нрава в нем через суд доказали. «А еще, — думает, — я их всех заставлю извинение просить».

На этом пока все. Пока, потому что неизвестно, чем дело кончится. Его-то, Переделкина, свидетели видели, как он мусор вываливал. А он, кого видел, и тех не знает. И все против него обернулось. Трудно, очень трудно будет ему доказать в суде, что он не грязнее всех. И вообще тут одно то, что порядочному человеку доказывать свою невиновность придется — это уже само по себе какое разочарование на всю оставшуюся жизнь.

Так что, вот такая свистопляска с человеком произошла.

Но будем надеяться на лучшее. И мусор выкидывать куда положено. Лишь бы от своего дома подальше.

ХИРОМАНТИЯ

Оленька Босолаптева очень хотела выйти замуж.

Однако нет тут ничего удивительного. Ни, тем более, чего-нибудь позорного. Хочет девушка замуж, ведь ей двадцать шесть лет уже минуло. И все ее подружки штампы в паспорте имеют. Сестра младшая, и та на сносях, ждет мужа из Вооруженных сил. Что уж тут говорить. У одной Оленьки на той паспортной страничке и в душе никаких мужчин не

числится. В душе-то они, конечно, были. Но все больше в виде бесплотных духов. Принцев и тому подобных голливудских белозубых красавцев.

Это ведь так сейчас модно считать, что женщина в нановек — сильное существо. Что ей карьера мерещится, и кресло в офисе дороже семейного четырехконфорочного очага. Какая-нибудь журналистка по таким нормам жить предпочитает, и все ее подружки такого же женского рода. И она делает выводы о всей женской половине государства по этому своему окружению.

И еще прибавит феминистка курносая: мужики плохие стали. Нет хороших мужиков. Хотя, если они ни к чему, и замуж выходить не хочешь, то, само собой, мужчины все плохие. Были бы позарез, не то бы пела сладким женским голоском.

И вот они, эта пара сотен любительниц карьеры, тусуются в московских клубах и, насмотревшись мужского стриптиза, создают через СМИ общественное мнение. А в то же время большинство прекрасных представительниц отечественного человечества живут очень просто. И очень простого счастья себе хотят. Семьи, детей и мужа, само собой, как это полагается. Как и тридцать, и пятьдесят, и сто лет назад, живут. В лирическом плане, имеется в виду, не в хозрасчетном. Поймите правильно.

Так вот, захотела Оленька Босолаптева замужем оказаться. Для нее это стало, как Индия для Колумба — райской землей, полной сокровищ. И все это несмотря на удачную карьеру. Оленька сначала уборщицей в большом магазине полы мыла, потом продавщицей стала на кассе.

Основной причиной, которую Оленька винила в своем одиночестве, была ее лицезвая внешность — фасад. Так-то она была при всех лучших особенностях женского телосложения. Талия и все, что сверху и снизу от нее, имеется. Особенно, если мини-юбочку наденет и какой-нибудь обтягивающий стать топик. Но вот личность в свете дня и лампочки не совсем молодым людям нравилась. Они все больше поэтому в ликероводочный отдел ходили, тогда как Оленька в кондитерском работала.

Скорее всего, она психологически ошибалась и зря комплексы по скулам ночами размазывала. Это насчет внешности. Ну, нос маловат, и лицо слишком веснушками забрызгано и вытянуто как-то снизу вверх... Но эти вещи строго личного вкуса. А на вкус и цвет — согласия нет.

Может быть, причина в переписи населения прячется. Ведь в их городке мужского начала на пять тысяч меньше, чем женского обнаружено. При пятидесяти тысячах общей численности. И все, может быть, от этого. И как Оленька коротко ни одевайся, эти пять отсутствующих тысяч на нее и приходятся. Никто на нее не клюет. И даже поплавки не шевелятся. Такая вот сюжетная ее линия, то есть судьба. Хоть в петлю лезть бедной девушке.

Но в один прекрасный момент решила Ольга сентиментально не страдать, а сесть за весла своей судьбы самой и грести против стремительного течения. И погребла она в среду к удачливой местной гадалке. Чтобы та ей пробила фарватер к островам тихого семейного благополучия.

Это когда-то там, в темных царствах прошлого, гадалки весьма еретичным образом предсказывали. За что жгли их почем зря, чаще, чем сейчас шашлыки. Тогда в ходу были всякие мышинные хвосты, лягушачьи крылышки и подобные биологические добавки. В общем, предрассудки.

Сейчас же — обернитесь кругом — все иначе, потому как сотни лет прошли. Цивилизация кругом. Бетон, пластмасса и консерванты. И как в таких условиях могут быть тьма и предрассудки, если у нее, у гадалки,

ноутбук на столе, а не сова на шестке кукарекает. И со стены спутниковая тарелка в космос уставилась. Тут чепухи быть не может. В высоком веке живем, слава тебе, Интернет, средние давно пройдены.

Вот Босолаптева входит к гадалке. Красноватый полумрак. Таинственное благовоение. Трепет сердца, конечно. Содрогание нижних конечностей и потливость верхних...

Эта гламурная ведьма, в джинсах и с кольцом в пупке, провела доброкачественный сеанс. И все о прошлом Оленькином ей же самой рассказывает. Есть, мол, у тебя мать. И в школе училась. А еще продавщицей в кондитерском отделе единственного в городе супермаркета работаешь. Всю правду-матку ей режет. А потом только на этом сером фундаменте прошлого возвела розовое будущее. И как-то все это по руке вычислила. Не зря эта мудреная наука хиромантией зовется, а не какой-нибудь там химией.

Всех тех подробностей сеанса Оленька не запомнила. И шла домой, как подраненная птица, стремилась, не замечая луж. Несла под сердцем только одно. Предвзято нарисованный гадалкой портрет. Без прикрас.

— Выйдешь замуж ты обязательно, — так гадалка харизматично заявила скромной девушке. — И будет у тебя муж добрый, хороший, с короткой стрижкой и худенький. С газовой отраслью связанный. За полгода его найдешь. Еще через полгода свадьбу сыграете. И самое главное, звать его будут Максим.

Эти-то слова Оленька несла у самого сердца, нежно прижимая их твердой рукой к груди.

Полгода и год — такие сроки перед ней раскинулись коврами дорожками с вратами загса на конце. Очень короткими казались эти сроки и очень в то же время длинными. И все путалось в голове девушки. Мыслительный процесс терялся, как будто в тумане. Дуром плелись лианы грез.

Поначалу Босолаптева просто ждала своей участи. Сложила руки и взвешивая безучастно эклеры. Однако тревога ее все-таки обуревала. И кишечник сжимался, когда предстал перед ней редкий посетитель без волос на голове. Сначала она не форсировала события и, покраснев только немного, представляла сколько акций «Газпрома» должно быть у будущего ее суженого.

Но время шло как-то медленно. И Оленька решила его ускорить и взять за рога. Все-таки полгода, год — это не пожизненное одиночество. Счастье надо к себе приближать — подтягивать к себе, хотя бы и багром. Тем более, имеется счастья этого фоторобот. А в кондитерский отдел хозяин фоторобота что-то не заходит.

Активные действия были такого плана. Почаще гулять по центральным освещенным улицам в новых высоких сапожках. Стать завсегдатаем клубов и ритмичнее двигать телом под современные хиты. Позволять себе выпить чего-нибудь пьянящего для облегчения безнравственного сближения. Тушь, помада, маникюр — это само собой.

До этого Оленька ни разу не дефилировала от бедра по центральному проспекту имени Цюрупы и в клубы не ходила. Только из дома — на работу, с работы — домой. Вот весь ее жизненный маршрут последних лет семи. Но тут пришлось ей поступиться телесериалами и уйти с головой в ночную жизнь. Вкусить все эти горькие сладости молодежной субкультуры. Приятели взяли Оленьку в свою компанию. Это были товарищи по работе: пара продавщиц и толстый охранник Толик. Тянулись как-то ра-

бочие часы. А вечерами встречали распростертыми дверными проемами заведения развлекательного жанра.

Только писать можно все быстро и складно, и то, если ручку не зубами держать. А девушка-то натурально терзается и покоя не знает, расставляя свои очаровательные сети, как браконьер — пугаясь и трепеща. И лысых, по типу ксерокопии в сердце, было вдоволь. Знакомства заводились, разумеется. Веселые приставаания и лапания со стороны мужчин даже бывали.

Что ж тут скрывать. У писателя, как у врача. Иной раз ему и больше известно. Куда и когда мужчина к женщине дотрагивается и каким ликером ей баки заливает, это не всякому врачу расскажешь. А писатель все и так знает. Он, можно сказать, литературному персонажу что духовник.

И вот какой-нибудь лысый остряк, давая рукам волю, низким голосом шепчет что-нибудь Оленьке. Вроде того: поедем ко мне домой, у меня там все о'кей. И в таком духе. И Оленька, глубоко, томно дыша, полуприкрыв от сладости момента глазки, уже почти согласна ехать к этому доброму, худенькому, но из последних сил спрашивает:

— А где ты работаешь, Макс?

— Как где? — отвечает тот, чуя в вопросе подвох. — Слесарем в автомастерской.

Оленька, продолжая улыбаться кокетливо, откажется ехать к нему. И так же смеясь над его шутками, проведет вечер с ним до конца. Но провозжать себя строго запретит. И на этом произойдет между ними разрыв по ее инициативе. Еще спросит для статистики об акциях «Газпрома» — нет ли их у вас? Хотя откуда тут акции, в этом городишке? Здесь деньги-то не у каждого через две недели после пенсии бывают.

И похожие моменты часто происходят.

Заметит молодой человек Оленькину стройную особу. Хи-хи, ха-ха, коктейль «Мохито». Медленный танец. Но тут что-нибудь и не сходится. То имя не то, при других соответствиях. То профессия. Длинноволосых она и вовсе сразу отменяет взглядом и внимания на них — ноль. В голове как будто фэйсконтроль дежурит. Да и что говорить, тут судьба решает. Надо быть точной в выборе второй половины.

А время-то идет. От половины года день за днем убывает. И ведь, бывало, нравится ей парень. (Их-то теперь много стало вокруг вертеться). И так ущемит Оленьку что-то в груди, так закружит голову. Но тут же голосом Левитана в ушах гадалкина установка вызовет ее из ошибочного амурного плена. «Короткая стрижка. Газификация. Максим». И тает, тает греза. Как эскимо в микроволновой печи.

Вот так один парень — всем похож и заправщиком на АГЭС работает, но не Максим, а Ромка. И поэтому ему от ворот поворот через скрип сердца дает Оленька. Но тот навязчив и настойчив оказался. Охраннику Толику пришлось даже настырного проучить разок. Выйти с ним поговорить и в снегу повалить для охлаждения пыла. Долго потом Оленька думала об этом Ромке. Весь вечер он у нее из головы не выходил. Всю тусовку Оленька мимо удовольствия пропустила.

Но, против судьбы не пойдешь.

«Если мой муж именно будет лысый Максим, худой комплекции, то другой никакой мужем моим быть не может», — так думала Оленька: это уже, мол, факт на моем роду написанный.

В тот же раз, когда история с Ромкой произошла, девушки из компании попросили Толика Оленьку проводить. Чтобы от Ромки этого живой

пит ей был. На всякий случай. Мало ли что у этого Ромки на уме. Может, он поджидает Оленьку где-нибудь в темном углу, чтобы обесчестить.

Надо сказать, что этот охранник Толик и раньше вместе с Оленькой домой ходил. По пути им было. Не считая того, что Толик крюк в пару километров делал. Это, однако, его дело. Как любил говорить их бухгалтер: «Дело ваше, сопливый Яша».

Так что, никакие не провожания это были и, тем более, не свидания. Просто ходили коллеги одной дорожкой, в одно и то же время. Трепались о том о сем. По работе что-нибудь. Или чужие просчеты наивно осмеивали.

Вообще, конечно, тут духовник Оленькин дал маху. Простите, пожалуйста. Потому что не упомянул этого Толика раньше, как довольно значимое лицо. Он, этот пресловутый Толик, несмотря на свой пресный вид, какое-то внимание Оленьке оказывал. Незаметно так, тихой сапой. Вился постоянно рядом. Делал какие-то спирали вокруг кондитерского отдела. Спрашивал: «Все у вас в порядке?» Притом что в других отделах порядком сроду не интересовался. И продавцы кивали на него тайком и перемигивались, когда он на новый вираж к кондитерским изделиям заходил.

Но все-таки вины автора тут никакой нет. Оленька-то никакого внимания на Толика не обращала. Думала просто, что он любит сладкое. Округлая комплекция его об этом вятно говорила. Поэтому откуда же автор мог знать, если героиня не знает. Это потом стало известно кое-что. И то через третьи липкие руки. Да и мало как-то верилось в подобную пикантность.

Время сейчас такое. Суета. По сторонам обернуться некогда. А уж кто что видел, кому там какие амуры мерещатся — об этом спрашивать вовсе времени нет. Ну, облизывался Толик в кондитерском отделе. Так тут чего же удивительного? Там много кто облизывается. Видеокамера одна на весь отдел. Не уследишь за всеми. Кто же знал, что он, похотливый меланхолик, на продавщицу губы мочит?

Идут Оленька с Толиком домой. Сугробы нечищенные меряют. О чем-то болтают... Нет, Олька, что она за человек такой?! Ей сейчас скажи: тебя третий месяц чуть не каждый день парень провожает — так она глазки округлит. Какой парень? Что такое? Она же домой приходит и, как ни в чем не бывало, поужинает и спать заваливается, штукатурку с лица смывши. И уже не помнит о Толике. А ты, Босолаптева, в окошко хоть разок выгляни! Он, этот скромный юноша, под калиткой твоей частной квартиры когда и до получаса ботинок о ботинок стучит на холоде. Такое в нем что-то происходит...

Пришли. Толик говорит:

— Оля... разрешите кое-что сказать, — робко так приступает. Видно шатанье чувств-с.

— Спасибо, Толик, что проводил, — так она ему отвечает. У нее свои метанья. — Ты мой сегодня защитник, — добавляет холодно и в щеку пухлую опрометью целует. Чмокает бесчувственно.

— Я тебя люблю, Оля, — вот что за этим последовало. Такие грандиозные Толиковы слова.

Оленька ждала этих слов — ясно от кого. От худенького, лысого обладателя акций «Газпрома» Макса. Поэтому Толикову исповедь она приняла как какой-то голосовой спазм. Вроде как отрыжку. Не придала ей значения. А точнее — возмутилась. Как это кто-то, в ее планы не входя-

ший никаким боком, такие чистые слова мог произнести?! Как у этого обжоры язык так повернулся, не застрял в гландах?

Все это пронеслось в ней, как буря.

А Толик что-то там хрюкает. Вроде, что он давно ее заметил. Она ему два года как нравится. Только он стеснялся подходить. Хотя по натуре своей может и в рог кому съездить, как сегодня с этим прыщавым Ромкой. От таких, — говорит, — гадов я тебя буду всю жизнь оберегать. Куда попало лезть руками — не позволю.

Все это Оленька слышит и как будто не слышит. И только крикнула сдавленно: «Нет!» и бросилась в калитку.

Толик потоптался на морозе минут сорок и поплелся домой.

На следующий день Оленька решительно и хладнокровно дала Толику отставку. Растоптала его чувство. И надежду заодно. Какие только опостылевшие признанья ей не говорил. Дай мне, мол, шанс. Люди, бывает, сходятся, а потом только любиться взаимно начинают. Все у нас с тобой будет хорошо. Я тебя на руках буду носить и т.д. и т.п. — все по списку. А в списке отвращение к табаку и пьянству тоже значится и покладистость характера.

Однако Оленька всю эту лапшу, челку поправляя, наземь скидывает. Заявляет ему в качестве главного довода:

— Судьба моя, — говорит, — не в моих руках. С тобой я никак связана быть не могу. От судьбы, — говорит, — не уйдешь. От тебя никакого мне потепления. Один холодок напротив пупка.

Толик, слушая это, принял жалостливый вид. Сгорбился и засопел. На глазах кило на пять похудел от такой скуки. Хотел он дубинкой Оленьку оглушить и утащить в свою берлогу. Да спохватился.

— Я, — говорит Оленька тем временем, — принадлежу другому...

А какому другому?! Портрету, что ли, из головы? Где он — другой-то? Ты его в глаза видала?..

Через две недели Толик уволился. Что ему оставалось делать, если у его возлюбленной есть другой. И в клубы ходить перестал. Оленька его ни разу не видала. И вообще он из города свалил. Куда-то в Норильск. Охранники везде нужны. С такими-то кулачищами.

А с Оленькой что?

Нашла какого-то хилого в кожаной кепке. В последний день полугодия подвернулся сторож из райгаза. Некто Максимка Пропанюк. И через полгода свадьбу сыграли. Некуда было деваться — Оленька на пятом месяце беременности. Пришлось ей ради скорейшего осуществления будущего отдать этому любителю портвейна девичью честь. И все в итоге сложилось благополучно. И главное, Оленька теперь уже не Босолаптева, а Пропанюк.

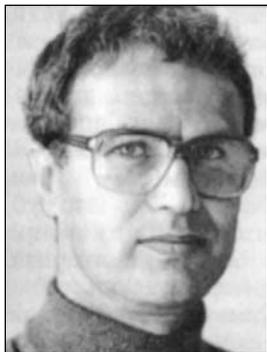
Рада, конечно.

Только муж ее немножко пьет. По чуть-чуть, но каждый день. Тут ничего не попишешь. На корячках Максимушка домой приползает.

Однако были посягатели на Пропанюкову идиллию. Кто-то несколько раз бил как следует Пропанюка. Даже козырек у кепки сломался. И неизвестные свидетели утверждают: била какая-то толстая детина.

И чтобы фразой о главной героине закончить, необходимо сказать следующее. Очень Оленька хорошо отзывалась о той гадалке, что ей счастья нагадала.

— Очень, — говорит радостно, — хорошо гадает. Честно и точно. А главное, берет недорого.



Виктор Мустафович Чекиров родился в 1939 году в слободе Калач Воронежской области. Окончил Воронежский государственный университет. Работал учителем, журналистом, главным редактором воронежской газеты «Молодой коммунар», собкором газеты «Комсомольская правда», главным редактором Центрально-Черноземного книжного издательства. В настоящее время — литературный консультант Воронежской организации Союза писателей России. Автор трех книг прозы и публицистики. Лауреат международного литературного конкурса «В единстве наша сила». Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Виктор Чекиров

КАК НАРИСОВАТЬ ПТИЦУ

Рассказ

1

Муки несправедливости изматывают его даже во сне, и он просыпается в приступе лютой тоски и отчаяния. «Моя голо-ва-а...» Его голова сейчас лопнет. Гулко гупает сердце, и в голову забивают сваи. С каждым ударом она вздрагивает больно и расширяется. А темень — черная, зловеющая — сама Преисподняя. Дурнота подступает. И напряжение неизбежного этого. «Сейчас прилетят птицы», — подумал с тоской, но испугаться не успел.

Под закрытыми веками ослепительно вспыхнуло, и темень Преисподней взорвалась, стала осыпаться, шурша сухим черным дождем. Невыносимо яркий свет хлынул, и неисчислимое количество крыльев захлопало, замельтешило — смотреть больно: яркий летний зной рябит слепящим течением реки, солнечные блики играют, пестрят черными пятнами перед глазами. Тошнит, и резкая боль во лбу, голова раскалывается...

Еще — белая вспышка, и бабушка сыпанула из миски размокшие корки хлеба. И туча голубей сорвалась, обрушилась с крыши, взорвала тишину и воздух страшным хлопаньем, шелестом, свистом крыльев — седые космы бабушки взметнуло,

треплет ветром, как серый дым из головы. Бабушка похожа на колдунью, только очень смешливую. Радостно щерит младенчески чистые, без единого зуба, десны и заливаётся девчоночьим смехом. А голуби облепили ее, мостятся на плечах, толкаются, вертятся, воркуют ей что-то в ухо и потешно разглядывают лицо, прицеливаются склонуть родинку на щеке, крупную, как смородина.

Бабушка уклоняется: «Та ну вас...», — а сама довольная, глаза блещут, растрепанные серые кудельки извиваются живыми змейками, она уже — веселая Медуза Горгона. Легонько отстраняет птиц рукой: «Ну, будет вам...», — и те всплескивают крыльями, сваливаются на землю. И сразу жадно хватают, хватают хлеб и мелко-мелко дергают головками, проглатывают не жуя.

А он Гулливером возвышается над птицами, копошащимися у его ног, и тоже исходит радостью — добрый, сильный, большой. Необъяснимо приятно кормить птиц, смотреть, как все они торопятся схватить раньше других и бегают за вездесущими воробьями, воровато шмыгающими между ними. Он любит голубей, но зачем они гоняют воробьев? Им тоже есть хочется. Приятно смотреть на счастливую бабушку, и как она смеется. Они встречаются взглядами и понимающе хохочут — весело им! Они делают божеское, как говорит бабушка, дело, и на душе у них хорошо.

Бабушку на улице зовут блажной и блаженной. Она на последней стадии человеческой доброты. Выше этого — только Милосердие Божие. Оно, говорят, выше справедливости.

— А выше справедливости, это как, бабушка? — Бабушка сразу перестает улыбаться, строго смотрит на внука: — А так. Ты достоин кары, а Бог милует...

— А так разве можно? Это ж несправедливо!

— Потому и выше справедливости. Бог — милосерд.

Еще полоснуло вспышкой, и прилетела птица с личиком его малыша. Внутри у него — так и оборвалось все. А малыш как-то странно смотрит на него, птичье лицо малыша скривилось — и он заплакал:

— Па, я не хотел, па... Я, правда, не хотел, па... — а сам так горько плачет. Он пытается успокоить парня, сказать ему, что и в мыслях никогда не держал обижаться на него, глядь, а того уже и след простыл. И вместо малыша на ветке — «единственная» его — сидит и чистит перышки... Прихорашивается — все такая же юркая, красивая и по-прежнему, кроме себя, никого не любит. Защебетала, щебетала...

— Ты замечательный, даже очень, и я тебя люблю, конечно... но понимаешь... этого недостаточно... У тебя золотое сердце, а у Эндрю — куча золота... это не одно и то же... а я хочу жить достойно... да, да, не смейся, время такое... знаю, знаю, я у Эндрю не одна — и что из того... время такое... Эндрю пентюх, конечно, а у тебя золотое сердце, и я тебя люблю, но я хочу жить достойно... хочу быть свободной... сорить деньгами, обалденно одеваться... да и раздеваться, не смейся... и раздеваться тоже... и отдаваться кому хочу... когда хочу... как хочу... ведь я этого достойна... Лореаль-Париж... конечно, лучше бы взять малыша с собой, но Эндрю так категоричен... а ты ведь любишь нашего мальчика, любишь...

И упорхнула, весело щебеча, полетела жить достойно, сорить деньгами, обалденно одеваться, раздеваться, отдаваться. «Не пережива-ай! — донеслось на прощание. — Пойми, я не виновата... время такое...»

Что верно, то верно. Время подлое. Востребованы алчные и продаж-

ные. Пришли бесчестные, бессовестные — пришли подлейшие из подлых предатели погубить Державу и назвали это злодеяние «Возрождением России». Пришли уменьшить, пришли рассеять и погубить народ великий, народ несговорчивый, народ, мешающий глобальным планам сильных мира сего, под видом улучшения жизни его. Это лишь в честных поединках (и по расхожему мнению) всегда побеждает сильнейший. А там, где предательство, там одерживает верх подлейший. Подлейшие и одурачили наивных и доверчивых: сначала обманули посулами, потом предали. Сделали бизнес на предательстве — «обычная коммерция, ничего личного!» Сам Генсек пример показал! (А партия, это ведь «ум, честь и совесть нашей эпохи»!) Дьявол Меченый подал сигнал, и слабые не устояли. («Сильные», как обычно, заняты сварам, что-то между собою делают, доказывают, кто из них самый сильный, и, конечно, разобщены и слабее слабых. Никто их не слышит и не слушает.)

Зато подлые и лукавые сообразили сразу: «Наше время пришло! Наше время пришло! Все продается... Продается мать и отец, и Родина, и Держава!.. Главное, не упустить момент!..»

Подлейшие договорились моментально — на полном ходу дернули стоп-кран — и с летящего на полном ходу, обгоняющего самое Время поезда «Русское Будущее» сорвало... полетело... повыбрасывало в разные стороны миллионы и миллионы обманутых, доверчивых, наивных, ничего не подозревавших «исторических оптимистов», абсолютно уверенных в своем завтрашнем дне и в «светлом будущем» страны...

Так случилось, так и сотворена была вселенская «катастрожка», мировой теракт века, крушение, столбняк для многих народов и держав. Не выдержали человеческие нервы, сердца, мозги. Поплатились и мертвые, и живые, и неродившиеся к тому времени, которые должны были родиться, но теперь уже никогда не будут.

Поплатились и они с мальчиком. Дьявольский, бесчеловечный умысел сработал. Ложь и Предательство возведены в культ, перевернули мир, и все понятия в нем стали виртуальными... Предательство стало нормой, хорошей статьей дохода, способом делать деньги, карьеру, «чтобы жить достойно». Его благоверная, не раздумывая, продала их вместе с малышом и сама продалась со всеми своими прелестями и потрохами... Его оскорбили — больнее невозможно оскорбить человека и мужчину... все пошло прахом...

Тут явилась мать, расстроенная, изболевшаяся за него. «Да прости ты их, сынок, прости за ради Христа!» — «Мама, зачем ты не родила меня с волчьим сердцем! Жил бы — горя не знал!» — «Что ты говоришь, сынок, бойся Бога!» — «Мама, на добрых воду возят... веревки из них выют...» — «На добрых мир держится, сыночек, без добрых они поедят друг друга...» — «А пока закусывают добрыми...» — «Такая цена добрым, сынок... обратная сторона медали — страдание...» — Мать скорбно смотрит на него: «Изведешься ты, измаешься, сыночек, погубишь себя... да прости ты их, проклятых, они получат свое...»

В мозгу снова вспыхнуло, блеснуло белым огнем, и они уже — с мальчиком. Отец приходит с работы поздно, и они с мальчиком рады друг другу. У мальчика, как у хорошей хозяйки, все готово: полы подметены, протерты, влажны. Плита гудит, в комнате тепло и вкусно пахнет. Большая зеленая кастрюля с борщом разогрета и отодвинута на край плиты, «чтобы не простыл». Картошка кипит, всплескивает через край — вовремя чищена и поставлена вариться, — отец все сразу подмечает и доволен

сыном. Мальчик молодец, все у него рассчитано, все готово к приходу отца. Отец приветствует парня сдержанно, и тот сдержанно отвечает. Родитель воспитывает сына настоящим мужчиной, а настоящий мужчина должен уметь все, все пережить, никогда не жаловаться и быть человеком. Быть мужчиной несладко, а не быть — позорно. Радуются мужчины тоже сдержанно. К словам прибегают в крайнем случае. Главное — поступок, дело. Держат слово, говорят мало. Когда слово ничего не значит, это уже катастрофа. А малыш — молодец. На нем дом, магазины, базар. Он варит, стирает, топит печь. Немногие столько умеют. Отец умывается молча. Смотрит, как сын молча накрывает на стол. Все хорошо, все в порядке. Ах, какой молодец у него сын! Он подавляет вздох и спохватывается: не заметил ли малыш? И хмурится, сердится на себя за невольную слабость. Они садятся за стол.

— Ну что у тебя, Андрей?

— Нормально, па... — отвечает сын и смотрит на отца. — А у тебя, па?

— Нормально.

Поговорили.

После обеда — очередь отца хозяйничать. Он моет посуду, варит борщ — опять на три дня. Сын делает уроки. Потом вместе смотрят «Новости», пьют чай, потом собираются спать. Ритуал отработан четко и соблюдается строго. «Андрей, пора...» — говорит отец. — «Сейчас, па...» Через некоторое время опять: «Андрей, пора...» — «Еще чуть-чуть, па...» И снова молчание. После третьего напоминания мальчик без разговоров собирает книжки, чистит зубы, стелет постель, ложится и кричит: «Па, иди!» Отец приходит, устраивается сбоку — и начинается. Оба забывают про кодекс чести настоящего мужчины, отец дает сыну волю. Пусть расслабится, побудет в своем возрасте.

— Па-а-а, — шепчет мальчик, обдавая ухо отца горячим дыханием, — а какая была моя мама?

— Хорошая.

— Хорошая-хорошая?

— Хорошая-хорошая.

— Самая-самая?

— Са-мая-самая...

— А еще какая?

— А еще красивая.

— Красивая-красивая?

— Красивая-красивая.

— А еще какая?

— А еще добрая.

И так без конца. Отец терпеливо сносит пытку. Мальчик уже не знает, что и спросить, и только глубоко вздыхает. Обычные дети так не вздыхают. Долго молчит, смотрит перед собой. О чем он думает? И снова пытка.

— Па, а где ее могила?

— В другом городе.

— Па, а давай съездим к моей маме!

— Давай.

— Да, ты все говоришь и говоришь, а мы все не едем и не едем...

— Обязательно съездим.

Сын благодарно обнимает ручонками шею отца. Так и засыпает. Отец

долго лежит, не двигаясь. Потом осторожно встает, укладывает спящего, укрывает одеялом и выходит во двор. Закуривает. Руки дрожат, затягивается жадно и по привычке за глубокой затяжкой прячет глубокий вздох. Даже от самого себя прячет.

Однажды сын влетел в комнату, и отец понял: случилось ужасное.

— Ты что, Андрей?

— Надо поговорить!

И пристально разглядывает ботинок. Отец тоже глянул на его ботинок. Сын не желает смотреть ему в глаза, такого еще не было.

— Давай поговорим... — как можно спокойнее ответил.

— Как мужчина с мужчиной! — произнес твердо, с вызовом, резко поднял голову, смотрит прямо в глаза. Отец почувствовал себя виноватым.

— Да что с тобой! — потянулся было обнять сына, но тот уклонился.

— Это правда?.. правда?.. что мама... моя мама?!.. — выкрикнул жалко, резанул по живому.

«Вот оно...» Он ждал этого вопроса и не подготовился, думал — не скоро еще... Стараясь изо всех сил не выдать себя, глянул на сына — голые нервы, весь ожидание и вопрос, и надежда. Неестественно бледен, губы бескровно сжаты. Отец нахмурился (голубчик ты мой, родненький...) Чтобы не расчувствоваться, не расплакаться самому (настоящий мужчина!), от жалости к мальчику, сказал (хотел сказать...) твердо:

— Она умерла-а — но голос, голос не его.

— Ты вре-е-ешь!!! — отчаянно закричал малыш, и в крике, и на лице — такая беда! — не под силу и взрослому. — Настоящие мужчины никогда не врут!!!!... Ты говорил! Говорил? А сам... а сам... — Он давился словами, обидой. — А сам все врал, думал, я маленький, не понимаю... а я... а я все-все понимаю... — И зарыдал так отчаянно от того, что все понимает, все-все...

И вдруг — как вспомнил что-то — развернулся, выставил обе руки перед собой — побежал, толкнул дверь, бросился на улицу в одной рубашке.

— Андрей! Сы-но-о-к! — вне себя, не сдерживаясь, закричал отец («настоящий мужчина»), а ноги не сдвинулись с места, каменные, и он внимательно, бессмысленно рассматривает зияющую пустоту растворенной настежь двери — еле оторвал наконец от пола неимоверно тяжелые ноги, кинулся за сыном.

Но тот как сквозь землю провалился сразу.

Ночевать он не вернулся. Отец обошел всех друзей и знакомых — «нет», «не был», «не видели», «не приходил»... Он простоял у калитки до утра, ничего не соображая, зная только одно — зима, а сын без пальто, без шапки, в одной рубашке — с мальчиком беда, а он столбом стоит и ничем... ничем... ничем...

Утром к нему прилетели птицы. Их было так много, они так жутко хлопали крыльями, подняли такой шум в голове и жуткий ветер, «а он без пальто, без шапки — в одной рубашке, заоченел весь», а ветер леденит лицо, волосы, сердце... и везде птицы..., в голове, птицы... очень много птиц — кружатся, летают и кружатся — вместе с его головой... садятся на плетень, на крышу, на крыльцо... и на деревьях кружатся птицы... и сам он кружится, и земля кружится вместе с домом, с плетнем, с деревьями, птицами... очень много птиц... птиц в его голове...

Голова его все-таки лопнула.

И неестественно огромное Солнце выкатилось во все небо, и озарило всю землю внизу последним неестественно зеленым светом. А земля — одна сплошная могила.

Во все горизонты кругом — могилы, могилы без крестов, без ухода. Ни церквушки, ни синагоги, ни мечети. Все население Земли — в земле: предки и потомки, соратники и противники, праведники и прохиндеи, друзья и враги, олигархи, бомжи — сограждане всех стран всего мира, сами того не желая, — все оказались земляками, все улеглись рядышком, никогда не были так близки, так терпимы. Все перехитрили друг друга и сами себя. И все вознаграждены одинаково справедливо — всем одна цена. Уравниловка.

И гнетущее молчание могил. И слепой — зеленый! — дождь хлынул ливнем. Свет солнца — зеленый, и ливень — зеленый. И вот уже вместо ливня густое месиво зеленых бумажек... зеленые птицы плавают, кружатся — зелеными сотенными, тысячными. Миллиарды долларов, украденных у живых, возвращаются мертвым. Засыпают могилы ворохами блестящей, новенькой, зеленой листвы, как осенью на кладбище... вся земля — кладбище, и листва не желтая, а зеленая. Ветер шевелит ее, вздымает на воздух, носит — никому не нужные бумажки...

А Рыжий Дьявол исхитрился-таки отключить и Светило. («Вот он — закат солнца вручную...») Или само оно лопнуло перегоревшей лампочкой от стыда за неимоверную жадность и тупость человеческую. Мрак непроницаемый закрыл небо и землю со всеми горизонтами — чернее черного. И раскаленный докрасна — толстый зигзаг молнии — перегоревшая спираль солнца остывает, тускнеет во мраке и совсем погасла. Тьма крошечная. И молчание могил на дне ее. Достойный памятник бездарным и кровожадным. А как можно было жить красиво! На прекрасной — единственной, неповторимой Земле! — было всего предостаточно для всех! Для сущего рая на Земле! Неимоверная жадность власть имущих погубила все. Жадность и тупость.

Он нашел себя на полу возле дивана — в холодном липком поту — совершенно без сил. Черная глухая бездна. Кажется, здесь он уже был. Рассвета не будет. Солнце не взойдет. Время кончилось. Все революции, контр-революции, перевороты, все обещания, все благие намерения партий, генсеков, президентов и президентиков, заявления ТАСС, решения Организации Объединенных Наций — все обернулось обманом и ложью, все выродилось в злейшую карикатуру, пародию на человека и человечество — ни справедливости на земле не осталось, ни капли жалости и сострадания. Все превратили в сплошную боль и отчаяние. Все испоганили, исковеркали, испохабили. Над всем надсмеялись.

И никто, никто не поможет! В целом мире — никто. Югославии не помогли. Ираку не помогли — никому не помогут, себе не помогут, и им не поможет никто. Конец света. «Закат солнца вручную»...

Вот когда он вспомнил о Боге. Эх, если бы верить! Какое это счастье — верить искренне, безоговорочно, безраздельно! «Умный больно!» — голос бабушки с того света. «Бабулечка, родненькая... Царство тебе небесное! Умоли Бога своего — сил нету жить!» И догадка страшная — «возжадет веры безбожник, и возопит, и не дастся ему». Какое страшное возмездие! Захочешь верить — и не сможешь. Диалектика. А тоска — хоть кри-

ком кричи. Простить, забыть, развязаться рад бы, но как? За себя еще ладно, а за мальчика — не вправе. О, Господи, никогда не думал, как легко простить...

В темноте он увидел голову. Затравленные глаза светятся, горят, как у загнанного волка. Догадался не сразу — его голова, «на черном блюде» — не Иоанна. «Глядит с тоской в окрестный мрак». Где он слышал это? Гримаса боли и отвращения. С нею он и в гроб ляжет. С брезгливым презрением к гнусному их «социуму». Кровожадному, продажному, как они сами. Сгондили позорное свое «время Правды» — курам на смех, людям на погибель. Все продали, предали и гребут деньги лопатой. Нормальному человеку в нем места нет. Он и в гробу не простит. И под закрытыми веками застынет его презрение.

Лучше бы его убило под Ржевом, был бы смысл и оправдание. А теперь его спишут на реформы. Уже списали, живого. Он — Б/С. Отпущен в отпуск на выживание — без срока, без содержания. Это и есть «самоликвидация». Не выжил — сам виноват. Ловкий «демократический» трюк. Из его отпуска таких, как он, не возвращается по миллиону в год — уже второе десятилетие подряд. Хорошо отлаженный конвейер по миллиону в год сплавляет в мир иной не выживших «по собственной вине»... Единственное безостановочное производство «новой России» — с круглосуточным циклом. Да еще МЧС трудится круглые сутки — одни катастрофы, крушения, аварии, пожары, горят леса, школы, дети... безостановочно гибнут люди — убийства, смерти и смерти... «гробы импортные похоронные — круглосуточно!» «Если у вас горе, все вопросы решит похоронное бюро — круглосуточно!» И еще круглосуточно «требуются девушки». Остальное все стоит, ржавеет, порушено — «самоликвидировано». Можно давать Нобелевскую премию за отлично спланированную, отлично организованную грандиозную сплошную самоликвидацию Державы с ее мощнейшим производством и «естественной убылью населения» — по миллиону ежегодно — «до полной самоликвидации». Проект блестяще осуществляется. Следующий этап — самоликвидация России и русских. А он строил, жизни не жалел. Теперь таких «заслуженных строителей» — на конвейер. Тихо, мирно, по миллиону в год без лишнего шума, никто не возмущается. Приговоренные заживо терпеливо ждут своей очереди. И очередь хорошо продвигается. Международная «демократическая» до мозга костей общечеловечность приветствует «естественную убыль» Державы с населением... Только бы не прилетели птицы... еще раз он не выдержит.

В темноте объявился, повис в воздухе белый листок. Он закрыл глаза, прочитал:

«Когда же прилетит к вам птица (если только она прилетит), храните молчание, ждите, чтобы птица в клетку влетела. И когда в клетку влетит, тихо кистью дверцу закройте...» Жак Превер. «Как нарисовать птицу». Никакого Жака Превера он знать не знает. Но вспомнил одного контуженного генерала. Тот после ранения шпарил наизусть — видел перед закрытыми глазами! — десятками страниц из прочитанных когда-то и давно забытых книг. Может, и с его мозгами что-то такое...

А птицу он не нарисовал. Птички нынче предпочитают клетки золотые. Время, говорят, такое. А у него, говорят, золотое только сердце. Это, говорят, не одно и то же. Да, не нарисовал, ну и что теперь... И, надо признать, сам попался вместо птицы. Клетка захлопнулась.

А кто нарисовал? Пушкин? Вспомнив Пушкина, он даже застонал и

согнулся от жуткой боли в паху. Нет, Пушкин не нарисовал. Кто же? Лермонтов? «Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах легким столбом еще вился на краю обрыва». Так кто же все-таки? Толстой? Достоевский? Гоголь? А может, Грибоедов? Похоже, даже и они, гении, проиграли в жизни. Человек по-прежнему проклят? Что-то Отец не больно спешит простить человека, хотя Сын давно искупил первородный грех. И что же, судьба Пушкина, Лермонтова, Грибоедова — судьба России? Беспутные потомки великих предков окончательно промотают, погубят ее и сами сгинут бесславно? Оставшиеся без Бога, убившие царя... кому теперь заботиться о народе? А конец, видимо, близок... по миллиону в год сколько лет подряд, такого еще не бывало.

Мысли его путались. Нет, он не простит — ни миру, где не нашлось ему места, ни «единственной» своей, оскорбившей его так, что и на том свете не забудет. Жажда справедливого возмездия опять перехватила ему дыхание. Опять он собрался объяснять кому-то, как велика его обида, — и в гробу не простит! Но кто-то невесомо прислонил ладонь к губам его, и жажда возмездия отпустила. Стало легко и радостно. Теплая сладостная волна невыразимым блаженством переполнила — он почувствовал присутствие Его. И заторопился, заторопился сердцем, боясь — не успеет, не до-слушают:

«Я знаю, Господи... знаю... Да, да... Милосердие Твое выше справедливости! — И вдруг вскочил, как тогда перед бабушкой. — Но, Господи, это же против логики... против моего народа... один он еще и прощает... Это окончательно расточит, погубит его...»

«Это логика Божья! — ответили в сознании его. — Логика спасения мира. Истина в последней инстанции. Высшая мудрость, которую придется постичь человеку. Иначе — кровная месть, нескончаемая кровь за кровь, гибель всеобщая... народ твой не оставлен будет...»

Он открыл глаза. На него глядело Милосердие Божие — Глаза Его! Такими глазами смотрела на него мать в детстве, когда он просыпался и ревел спросонок. Когда приходил домой с шишками, синяками, страшными мальчишескими обидами. Глаза матери вылечивали от всех бед и обид. С ними всегда было хорошо. Без них он и сейчас — сирота.

«Господи! — зашептал он слова, которыми молила Бога бабушка. — Спаси и помилуй ненавидящие и обидающие мя, и творящая ми напасти, и не остави их погибнуть мене ради грешнаго... а меня неразумного, Господи, в вечных Твоих селениях со святыми упокой... — Он передохнул. — Господи! Какое блаженство прощать, Господи...» — Выдохнул последним невыразимо сладостным вздохом. И выдохнул, освобождаясь от всех земных тягот и всех бед, и всех обид, оскорблений, страданий. Выдохнул — как сто пудов с плеч.

И освободившаяся от невероятного груза душа отлетела легко и без боли. Обычное его всегдашнее выражение брезгливой раздражительности сменилось полнотой умиротворенности, и на лице проступила улыбка. С нею и лежать ему — до трубы Архангела...





Людмила Ивановна Володина родилась в Воронеже. Окончила авиационный факультет Воронежского политехнического института. Работала на оборонных предприятиях города. В настоящее время — менеджер Воронежского государственного театра оперы и балета. Публиковалась в журналах «Воронеж», «Веста», «Москва», «Подъём». Автор сборников рассказов «Когда жизнь — анекдот», «Страшная месь». Живет в Воронеже.

Людмила Володина

ХОЛОДИЛЬНИК

Рассказ

Что только не случается в такой удивительной и загадочной человеческой обители, как театр!.. Даже то, что среди нормальных людей в принципе произойти не может! А вот с артистами, пожалуйста вам, иной раз такие страсти-мордасти закрутятся — жуть!.. Потому что люди они особенные и, как бы это выразиться помягче, не совсем от мира сего. Вот, к примеру, откроет обычный человек случайно чужой холодильник, увидит там что-нибудь вкусненькое, и не будет совать туда свои хищные лапы. Потому что знает: чужое. А ежели артист откроет?.. А вот если артист — то тут, дорогие мои, такое светопредставление может начаться, что и вообразить трудно!

Вот что недавно рассказал мне мой товарищ, рабочий сцены одного провинциального театра...

А дело было так.

В кабинете заместителя директора по хозяйственной части, а проще сказать — завхоза, затеяли ремонт. Помещение размещалось на первом этаже, как раз напротив боковой двери, ведущей прямоиком на сцену, точнее, на ее задворки. Между ними пролегал узкий коридорчик.

Небольшой, старый, с облупившейся краской холодильник строители выволакивали втроем, тихо матеря хозяина за то, что не удосужился его разгрузить сам. Ну, да ладно.

Вынесли из одной двери и лихо втоптали в распахнутую другую, дабы не громоздить этот ящик на проходе. И поволокли подалее от глаз, чуть ли не к середине задника сцены, именуемого арьером. Вытерли пот с лица и перекрестились: больше тяжелых вещей в кабинете не было.

Ребята, монтировщики сцены и бутафор, уже часа полтора как колдовали над декорациями. Перед тем как опустить «горизонт» — занавесь, разделяющую сценическое пространство и арьерсцену, заглянули в «шпаргалку», так называемую «выписку». И поднесли еще реквизит: небольшой столик, два обшарпанных стула, настенные часы; водрузили бутафорский буфет. Чуть влево сдвинули холодильник — согласно местоположению на плане. Вот теперь, кажется, все. Еще раз сверили список с расставленной на сцене бутафорией и облегченно вздохнули. Теперь только осталось реквизитору перед спектаклем разложить, где следует, всякую необходимую мелочевку и — вперед! — дело за артистами.

Обстановка квартиры, где вечером будет вершиться действие спектакля, смотрелась вполне натурально. Вот только женский портрет в грузной золотой раме на стене был намазан художником кое-как, но мастера знали, что вечером, благодаря умелой работе «светлячков», как на театральном жаргоне ласково называли осветителей сцены, он будет смотреться вполне прилично.

К спектаклю актер Рубинкин, исполняющий роль веселого, охочего до выпивки приятеля главного героя, которого звали Эдуард, опаздывал. Даже поесть дома не успел. К тому же намечалась получка, а на носу выходные. А еще переодеваться, гримироваться... Ведь сегодня премьера!

...А вот ответь-ка мне, любезный читатель, в чем, по-твоему, суть события, именуемого интригующим словом «премьера»? Скажешь, это есть первый показ зрителю новой театральной работы? И будешь прав. Только на самом деле все гораздо сложнее и запутаннее! Потому что Премьера... — это как рождение долгожданного младенца, это как апофеоз любви к родному театру, к профессии, будь она не ладна, это феерический выброс коллективной творческой энергии... Ну, и так далее. Чего только стоят первые зрительские аплодисменты, мокрые платочки у глаз и восторженные крики «браво»! Это животворящий бальзам на нежную, трепетную душу актера, истерзанную долгими, изнурительными репетициями с кровопийцем-режиссером!

Сотрудницам бухгалтерии, что располагалась в светлом, уютном помещении третьего этажа по соседству с кабинетом директора, до чертиков надоело нытье артистов по поводу задержки зарплаты, и одна, понаходчивей, прикрепила к входной двери записку: *«Вход в бухгалтерию платный — 100 рублей с носа. Любезно просим».*

За три последующих дня ни одна актерская душа их не побеспокоила. А на четвертый было вывешено другое объявление: *«Сегодня бухгалтерия добрая. Главбух».*

Очередь в кассу представляла собой бесформенную жужжащую толпу и напоминала вечерний променад по коридору пациентов сумасшедшего дома. Важные от осознания собственной значимости и величия своего таланта, актеры разогревались, распевались, разминались. Кто-то выкрикивал броские реплики, не имеющие никакого отношения к предстоящей получке; кто-то с хрипловатым гарканьем откашливался, тщетно пытаясь добиться желаемой чистоты голоса; кто-то, манерно заламывая руки и за-

катывая глаза, твердил, как безумный: «Я люблю вас, я люблю вас!..» Иной в радостном предвкушении зарплаты и предстоящей попойки игриво напевал: «Меня сегодня муза посетила, немного посидела и ушла...» Ну, и ко всему прочему — живенько, по людской цепочке, разносились артистические сплетни. Словом, артисты время даром не теряли.

Рубинкин, получив наконец свои кровные, поспешил, почти побежал в гримерную.

Из памяти автоматически, как с диска, считывался вызубренный текст.

Реплика партнеру — слегка обиженно:

— У тебя, Эдуард, как всегда, — шаром покати. Первейшего друга и то угостить нечем!

Ответ:

— Ох, и прав ты, Кешенька, в холодильнике моем уж точно можно шары катать.

— Жениться тебе пора, друг мой, жениться. Иначе какую, голодная смерть.... Что, даже пивка не найдется для лучшего друга, а, Эдичек?

Далее Эдуард, хозяин дома — ленивый, безалаберный холостяк (а играет его дружок Рубинкина актер Калистратов — неотразимый красавец и душка, баловень актрис, заимевший, кстати, недавно любовную связь с женой завхоза!) — как бы в подтверждение своих слов широким жестом распахивает старенький холодильник, демонстрируя его первоизданную чистоту.

Рубинкин ахает, охает и, удрученный увиденным, бросив пару реплик партнеру, покидает негостеприимный дом — то есть удаляется в кулисы.

Появляется возлюбленная нашего холостяка. По невероятному стечению обстоятельств героиню играет актриса — дражайшая супруга нашего завхоза (впрочем, как уже говорилось, в театральной жизни и не такое бывает!).

Далее следуют обниманцы, прижиманцы, громозвучные чмоки-чмоки, печальные вздохи по поводу пустого холодильника и недвусмысленные намеки незамужней дамы на отсутствие в доме хозяйки.

Кстати, не раз предупреждал Рубинкин своего любвеобильного дружка, чтоб тот поостерегся: макушка у пожилого, тщедушного и некрасивого завхоза, похоже, уже начала чесаться от пробивающихся сквозь жиденькую шевелюру рогов. Скоро уж видны станут!

Торопливо напяливая парик перед зеркалом, Рубинкин заметил, как в гримуборную просунулась голова завхоза, остановила взгляд на затылке Калистратова, зловеще усмехнулась и также неожиданно исчезла. «Не к добру», — успел подумать Рубинкин.

И оказался прав.

В конце первого действия в опустевшую гримерку на цыпочках вошел завхоз и лихорадочно, неловкими руками принялся рыться в ящиках гримировального стола Калистратова, видимо, ища улики против своей жены. От волнения опрокинул баночку с темной жидкостью. Оказалась морилка, которой артисты протирают кожу, чтобы сделать ее темной. Принялся судорожно смахивать ее со столика обратно в банку. Затем, забывшись, вытер вспотевшее лицо испачканными ладонями.

Но то, что искал, все же нашел. Это была записка, написанная спешной рукой жены на маленьком клочке, оторванном от афиши: «Жду вечером после спектакля. Целую в правое ушко».

Сначала все шло хорошо.

Первое действие отыграли блестяще, без помарок. Второе начиналось с визита выпивохы Виккентия к своему приятелю-холостяку.

И далее по сценарию актеры обмениваются заученными фразами. По ходу действия хозяин демонстративно распахивает холодильник... — и о, ужас! Перед ним полки, доверху заваленные продуктами!

«Ни фига себе, — оторопело думает он. — Вот так фортель!» — и переводит растерянный взгляд на Рубинкина.

Монтировщик, наблюдавший за спектаклем из кулис, похолодел: «Откуда жратва-то?!.. — и сердце мгновенно забилося с удвоенной силой. — Все, нам крадец! Какая ж с.. сволочь удружила?!» До мозгов этого совсем не мозговитого и простодушного парня так и не доехало, что холодильник-то не тот-с, не из реквизиторской!

Только парень плохо знал артистов. Ведь артист — он всегда Артист!

Между тем недоумение на лицах закадычных друзей постепенно сменялось другим выражением, каким отсвечивает физиономия любого мужика в преддверии знатной, тем паче дармовой, выпивки, — то бишь, глуповато-блаженным.

— Ах, лукавая бестия! — нарушил затянувшееся молчание гость, с трудом отрывая сладострастный взгляд от волнующего гастрономического натюрморта, и шутливо погрозил другу пальцем. — Нет у него ничего, понимаешь... Разыграл, брат, разыграл.

— Так угощайся, мой друг! — подыгрывая партнеру, с пылким пафосом произнес Эдуард, выражая радость от якобы удавшегося розыгрыша и извлекая холодную бутылку из холодильника. — Коньяк, пять звездочек... Армения... — патетично, будто декламируя стихи Бродского, считывал он с этикетки.

Достав из буфета рюмочки, выпили; крикнули. Еще разлили. Выпили, крикнули.

Закусили. На порозовевших физиономиях актеров заиграло, запело, замурлыкало неподдельное блаженство, понятное каждому из сидящих в зале мужчин. Сопереживая и от души радуясь за своих героев, вся мужская аудитория дружно, в лад с артистами совершала глотательные движения и даже, как уверяли позже некоторые, ощущала вкус коньяка!

Актеры, задействованные в спектакле и ожидавшие в кулисах своего выхода, поняли, что там, на сцене, что-то явно пошло не так — врез сценарию. Рубинкину давно было пора выметаться из квартиры друга, а тот и не думает! Мало того, оба, с довольными рожами и по-барски развалившись на стульях, несут какую-то вопиющую отсебятину, едят и пьют. И точно не воду!

— Запоют же щас, черти, — в ужасе прошептал кто-то из актерской братии, стоявший ближе других к сцене.

Какие чувства в этот момент испытывал режиссер, ревниво наблюдавший за игрой подопечных из директорской ложи, просто не поддается описанию! Если бы можно было прокрутить его мысли на экране, все увидели бы кровавейший триллер, где страшного вурдалака, жуткого убийцу, разделяющего по частям своих жертв (Голливуд отдыхает), играет

сам режиссер. Что тут скажешь — зверюгой был, зверюгой и остался... Ну, а кто выступает в роли жертв, думаю, можно не пояснять.

И как часто у нас бывает, в критической ситуации положение спасает женщина! Потому что она и «коня на скаку...» и... ну, дальше вы знаете. Так что, дико волнуясь, набрав в грудь побольше воздуха — для храбрости, и пробормотав: «Господи, пронеси», — из кулисы выскакивает очаровательная подружка Эдика (она же — и возлюбленная самого красавчика Калистратова!), вмиг оценивает обстановку и принимает единственно верное решение. «Ах, — очень натурально восклицает она, — что я вижу! Полный холодильник!». — И ревниво: — Кто же, кто же наготовил вам все это — уж не женились ли вы, уважаемый Эдуард Павлович?»

Обнимает красавца-любовника. А тот, прилично разогретый спиртным, с осовевшими глазками, страстно прижимает подругу к себе: мц-мц, мце-мце, — да прямо в губы, да прямо по-настоящему!

Вот тут-то, уважаемые, и нарисовался перед почтенной публикой обесчещенный муж и оскорбленный хозяин поруганного холодильника!

Лицо и ладони его были черными, как у эфиопа. Лишь глаза светились и пылали гневом и яростью!

Публика пришла в волнение, с восхищением взирая на живописный персонаж.

Кстати, заметим, что всего лишь минуту назад дошлые зрители первого ряда партера засекали странные трассирующие... нет, не пули, — скорей искры, как от костра, неожиданно метнувшиеся из левой кулисы в сторону размякших и порозовевших от крепкого коньяка и доброго закуса актёров. Дело в том, что, торопясь в свой кабинет, завхоз устремился по боковому проходу, пролегающему через кулисы, и удумал задержаться на минутку, чтобы хоть глазком взглянуть, что же происходит на сцене?.. Эх, напрасно он это затеял... Конечно, какой-нибудь там ученый физик, скептик-сухарь в очках, может и не поверит в такое физическое явление, как пылающие искры из разъяренных очей рогатого театрального завхоза. Да и пусть себе не верит. Мы-то с вами знаем, что здесь, в Театре, возможно любое физическое явление, даже самое невероятное, даже вроде упомянутой материализации завхозовских дум в видимые глазу искры!

Итак, перед завхозом открылась ужасающая картина. На его глазах с вопиющей наглостью и быстротой, вызвавшими справедливое возмущение хозяина, опустошалось содержимое ЕГО холодильника — этой святости и предмета особой гордости, регулярно, со знанием дела пополняемого изысканными деликатесами и спиртным отменного качества. Предназначалось все это для особо важных случаев, как-то: гастролей именитых звезд эстрады, приезда инспектора или какой-нибудь шишки из Минкультуры и т.п.

Это безобразное, если не сказать, кощунственное зрелище и стало последней, роковой каплей для несчастного. «Мало что к жене клеится, он еще и коньяк мой армянский, презентованный, жрет, упырь!» А уж когда со сцены послышалось смачное, взрывающее душу вчасосное «мц-ц», завхоз с кличем: «Убью лицедея!» ринулся на сцену.

Сцепив костлявые пальцы на шее Эдички-Калистратова, сидевшего к нему спиной и ни о чем таком не подозревавшего, завхоз стал зверски душить его, издавая звуки, напоминающие воинственные кличи кипплинговского Маугли. Затем, продолжая сжимать ненавистную шею одной рукой, стал одновременно... И тут никто — ни артисты, ни зрители —

так и не въехали, для чего этот свирепый мавр принялся с азартом откручивать у страдальца правое ухо! И лишь после того, как Калистратов завопил — громко, по-бабьи, — продолжил душить его.

Зрительный зал гудел!

— Бабу души, бабу! — раздался смелый голос с галерки.

— Дездемону хватай, Дездемону! — участливо подсказывали зрители верхних ярусов...

Да-а, друзья, сейчас не то, что в стародавние времена, в эпоху, так сказать, раннего империализма, когда затюканный тяжким, непосильным трудом народ и про Шекспира-то не слыхивал... Сейчас у нас каждая собака про Отелло и Дездемону знает! Образованные пошли, дьяволы.

Публика была в уверенности, что продолжает смотреть очередную захватывающую сцену спектакля и сможет по достоинству оценить талант безвестного дебютанта, который сыграл чувства своего героя настолько выразительно и самозабвенно, что все предыдущие Отеллы могут с чистой совестью уйти на пенсию. Правда, наш герой, заплутав в вихре собственных эмоций, перепутал партнера — так, верно, думал зритель — и поступил, как бы это сказать... немножечко по-русски. То есть, следуя святоотеческой традиции, принялся вместо неверной жены, как это и положено у добропорядочных мавров, душить сначала ее любовника. Только для справедливости заметим, что в отличие от Калистратова шекспировский Кассио — якобы любовник Дездемоны — в чужой холодильник не лазил!

А тем временем красавчик Калистратов, поваленный вместе со стулом на пол, с искаженным лиловым лицом, уже хрипел и задыхался абсолютно по-настоящему, ничуть не уступая дебютанту в актерском мастерстве, и задохнулся бы — ей Богу! — да к счастью дали занавес...

Да-а, так не сыграл бы и великий Качалов!

Зал разразился овациями! Жаль только, зрителю не позволили досмотреть сцену до логического конца, а то он непременно бы номинировал обоих актеров (одного, разумеется, посмертно) на какой-нибудь «Оскар», или там «Золотую маску».

Да, и вот еще что... Вы, конечно, слыхали о существовании таких загадочных метафизических явлений, как телепатия, ясновидение и тому подобное. Физиков-очкариков снова просим не беспокоиться и добровольно устраниться от обсуждения опасной темы, слишком вредной для их ученой психики, и без того истерзанной точными научными расчетами и изъеденной неудавшимися физическими опытами.

Для начала поясним, что Калистратов был холост, только будучи Эдиком. А став артистом Калистратовым, он был очень даже не холост, а совсем наоборот, очень даже женат. Супруга его была женщина видная, в том числе и издалека, — то бишь, на зависть всем, плотного телосложения, крепкого здоровья и не в меру задиристая.

У госпожи Калистратовой, инкогнито явившейся к мужу на премьеру с пышным букетом роз, вдруг неслыханным образом вспыхнул тихо дремавший до сей поры дар ясновидения. Ах, если бы не театр, не премьеры, этот замечательный дар скорей всего так бы и не проснулся!

Так что же это за явление такое — ясновидение? Объясняем: ясновидение — это когда жена, с умилением глядя на хмельного и расслабленно-счастливого супруга, обжимающего у всех на виду чужую бабу, вдруг видит, как на экране, знакомое во всех подробностях лицо своего благоверного, каким оно предстанет ее взору уже следующим утром: с большу-

щим, на пол-лица, синюшным фингалом вокруг заплывшего глаза, — хотя нет, лучше с двумя этими самыми... фингаласами, — и с прилипшими к расцарапаным щекам и распухшему «римскому» носу — неизменной гордости его обладателя — лепестками роз.

Физиков-материалистов, вопреки моим предостережениям не побоившихся примкнуть к обсуждению вопроса о ясновидении, призываю к хладнокровию, так как вынужден объявить, что все предсказанное нашей прорицательницей сбылось-таки, черт его дери! Тютелька в тютельку! Вплоть до второго фингала.

Вскоре стало известно, что после данного происшествия в дирекцию театра поступила анонимная записка с рационализаторским предложением: категорически запретить любые визиты родственников, особенно жен, на театральные премьеры, дабы не создавать впредь беспрецедентные ситуации, а также предписать всяческим театральным завхозам — под угрозой смертной казни! — не шастать через кулисы во время спектакля. Имя анонима так и осталось тайной.

Вот такая, друзья мои, случилась в провинциальном театре необыкновенная история... А если у вас возникли сомнения в достоверности случившегося, то спросите об этом у моего приятеля, монтировщика сцены, — он вам все эти факты непременно подтвердит.





Дмитрий Александрович Чугунов родился в 1971 году в Воронеже. Окончил филологический факультет, факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Доктор филологических наук. Стихи и рассказы публиковались в журнале «Подъём», коллективном сборнике «Первая вежа», двухтомной антологии поэзии ВГУ «Земная колыбель». Автор нескольких поэтических сборников. Живет в Воронеже.

Дмитрий Чугунов

СТРОКИ НА ЛЕВОЙ РУКЕ

Лирические миниатюры

ДУША ТОСКУЕТ

Я и художник сидим на лавочке во дворе воскресной школы и болтаем. Жалуются мне на разное. Даже не то, чтобы жалуются, а просто рассказывает о всяком, чего я еще не вполне понимаю. Ему за тридцать, а я на целых двенадцать лет младше. Он уже давно известен в городе, хотя и невольно променял в последнее время выставки на заказную работу в домах новых русских, на все это конвейерное изготовление икон из бересты, расписывание гостиных в венецианском стиле... Художник, сын художника... Отец упрекает его в забвении себя прежнего. Жене нужны только деньги от него. Есть дочка любимая, но она становится все больше и больше похожей на мать...

Мы сидим и болтаем. Одна из учениц его художественного отделения влюблена в художника. Ищет его внимания, всегда идет до трамвайной остановки вместе с нами после занятий. Она хорошая. И он хороший.

Художник боится этого чувства. Зачем он ей, такой старый, спрашивает меня. Разница в восемнадцать лет. А мне кажется, что они могли бы быть вместе.

Что это за жизнь, когда вместо дома предпочитаешь напиваться и ночевать в мастерской...

Проводив ее до остановки, мы идем в ближайший гастроном. Заказываем себе по сто граммов и, сидя на пластмассовых стульях за пластмассовым столиком, опять говорим о жизни, о вдохновении, о любви... И так — почти каждое воскресенье. Душа тоскует у него.

В конце мая воскресная школа отправляется в паломническую поездку. Старинные монастыри в соседней области. Все вместе прикладываемся к открытым по случаю праздника мощам. Потом дети пьют чай в трапезной. Потом идем на источник. Пока остальные купаются, мы поднимаемся на ближайшую гору и заходим в женский скит. Ухоженные огороды, цветники, аккуратно посыпанные гравием дорожки. По-особенному тихо. «Да вот же она, вот, смотри!» — шепчет художник и тянет меня за рукав. Мимо нас проходит молодая монахиня. Мы случайно стоим на узкой дорожке так, что пройти, не встретившись взглядом, просто невозможно. И монахиня поднимает глаза, чтобы попросить нас отшагнуть в сторону. И я понимаю, что есть самое прекрасное в этом скиту.

«Матушка, — смущаясь, говорит художник, — можно ваш портрет написать?»

Всегда большой, он странно робеет. Он словно бы мечту свою увидел. И я его понимаю.

«Спросите у матери-игуменьи», — тихо отвечает монахиня и проходит мимо, все так же опустив голову. Закутанная в черное, она удаляется, а мне все видятся ее глаза — это настоящее потрясение всех чувств, я понимаю художника. Он тоже молчит.

Эту монахиню я встречаю потом всего лишь раз. Случайно, приехав вместе со знакомым на источник, текущий под монастырской горой. Больше я уже не вижу ее.

Однажды спрашиваю у художника, написал ли он ее портрет. Художник разводит руками: мать-игуменья не дала благословенья. Он несколько попыток сделал, уговаривая ее. Обещал и портрет ее самой написать, и у митрополита даже спрашивал, которому берестяную икону дарил на день тезоименитства, думая, что тот на настоятельницу повлияет... «Суета все это», — сказала ему мать-игуменья. Не с теми мыслями будет он портрет писать. Не стоит соблазн множить.

А я вот помню ее глаза до сих пор. Двенадцать лет уже прошло. И художника я теперь куда лучше понимаю. Написать портрет я не смогу, но вот хотя бы просто увидеть ее...

САМОЕ ВАЖНОЕ СЛОВО

У нашей соседки мать заболела. И пришлось ей забрать старушку к себе. Бабулька была живенькая, энергичная, только с головой у нее что-то случилось. Может быть, от одиночества деревенского, когда все разъехались по чужим городам и весям, может — от природы ей уготовано было. Проходя однажды мимо Наташиных дверей, я услышал, как изнутри кто-то скребется, словно замок пытается открыть и не может. По наивности остановившись, я еще поговорил с незнакомым голосом несколько минут, просившим выпустить его. Это и была незнакомая нам бабулька. В «хрущевках» ведь как живут... Строили их в шестидесятые чаще всего с помощью организаций, и заселялись в них люди, хорошо знавшие друг друга по месту своей работы. И жили одной родственной общиной.

И знали, кто кому сват, брат, сын... А тут новый голос невидимого человека.

Вечером я встретил Наташу и спросил у нее, кто там «на волю» стремился. Она смутилась немного и рассказала. «Бабулька» ее никак не может осознать, что у дочери живет, все время порывается уйти, будто от чужих людей. Вот и приходится Наташе дверь на ключ запирать, когда на работу идти.

Грустно, конечно. Однако делать было нечего, и Наташа старалась, как могла. Гуляла с матерью, будучи дома, терпеливо напоминала ей, кто есть кто, с кем «бабулька» ныне живет. И так — год, другой...

Потом старуха слегла, чтобы уже не вставать. Наташа — женщина сильная. Не сдавалась. Ухаживала, кормила, в ванну на себе таскала. И так — год, другой...

Вот однажды в этой ванной комнате и случился у них потоп. Уж не помню причины, но только залили они немного соседа снизу. Петр Сергеевич поднялся к ним со своего этажа сразу, как увидел, что с потолка закапало. Мужик он был незлобивый, не ругаться отправился, а помочь, если потребуется, краны там поменять или трубы проверить. Наташа ему и погорилась на свою долю. Он послушал терпеливо, а сам тем временем помог ей с водой справиться.

Это я к чему все рассказываю? Недели не прошло, как померла бабулька. Крышка от гроба в подъезде появилась, потом исчезла. Все и узнали, что теперь Наташе можно спокойно вздохнуть.

— А знаешь, почему она так долго не умирала? — вдруг спросил меня Петр Сергеевич при встрече.

Я, разумеется, отрицательно покачал головой. Откуда?

И он рассказал. Он ведь тогда и в комнату к Наташе заглянул, не только в ванной возился. Заглянул, а там бабулька в креслице за столом сидит. Перед ней в тарелочке и творожок свежий, и еще что-то... Дочь хорошо заботилась. А он посмотрел на это и говорит: «Наташа, ничего ты не понимаешь!» — «Как так не понимаю? — удивилась она. — Плохо ухаживаю?» — «Да что этот творожок? — сказал он. — Ей другой пищи надо. Она сама не разговаривает, сказать не может, а душа-то у нее исповеди и причастия просит».

Наташа прислушалась. И ведь как вышло! Позвонила священнику по номеру, который для нее Петр Сергеевич в церкви спросил, пригласила. Батюшка приехал, причастил старушку. А на следующий день та и отошла в мир иной. И ведь долго до того лежала — немая и бездвижная, а тут сразу.

— Думаешь, совпадение? — спросил он меня. — Я тебе тогда еще случай расскажу.

Жил у нас во дворе Сашка. Мужик здоровенный, заведовал пунктом приема стеклотары. Ну и водочкой левой приторговывал. Те, кто у него «столовались», никогда не жаловались, хвалили даже, что отравленный товар не продает. Да, не магазинная, самостоятельно сварганенная из ворованного спирта, но ведь не отравишься.

И вот Сашку этого в конце концов паралич разбил. Лег пластом в своей квартире и затих. Лежит и мучится. И снова — год, другой...

А Петр Сергеевич, пока пить не бросил, к нему забегал частенько за этим делом. Потом, по старой памяти, просто так заглядывал. Вот и в этот раз зашел. Сашка тоже говорить не мог. Общался лишь по буквам, на бумаге нарисованным, на которые он пальцем указывал поочередно. Петр

Сергеевич и ему говорит: «Может, брат, причаститься тебе?» Жена Сашки, как услышала, так руками замахала. И без того денег нет, так священнику ведь платить еще придется! Петр Сергеевич только цыкнул на нее: мол, молчи, дура, я сам заплачу, если тебе жалко. Глядит на Сашку — приглашать? Тот кивает согласно.

Пригласил.

— И что же ты думаешь? — спрашивает меня сосед. — Причастился он, а спустя сорок дней умер. Спустя именно *сорок* дней! Уж не скажу, как *там*, а тут вот вроде как еще дополнительные дни ему назначились.

Сосед любит всякую символику искать — в датах, в поступках... Однако ведь и правда — словно ждали они самого важного для себя, терпеливо ждали. Год, другой... Не хотели умирать, не причастившись. А как дождались, так и ушли облегченно.

МАСТЕРСКОЕ ВОЖДЕНИЕ

Когда он купил себе иномарку, мы некоторое время посмеивались: уж так вдохновенно он расписывал ее достоинства. Разумеется, не обошлось и без сравнения с «тазиками гаечек и болтиков» и прочих подобных пассажи.

— ABS, о, ABS! — поэтично выпевал он чарующие сочетания букв. Выплескивал свою радость в рассказах о том, как... что... и если бы... и вообще, лучше машины не придумать.

— Да ну? — иронично хмыкали некоторые.

— Ну конечно! — начинал горячиться он. — Впереди грузовик вдруг резко тормозит, а я понимаю, что машину несет на него, и никак не увернуться. Асфальт мокрый. Если бы не абээска, я бы тут с вами не сидел, так и впечатался бы в него. Или вообще бы закрутило и в кювет выбросило. Сто двадцать, не шутка...

— А зачем гонять по мокрой дороге на ста двадцати? Поезжай восемьдесят, и никакая абээска тебе не потребуется. Ум нужен, а не «а-бэ-эс».

Слыша такие реплики, он погружался в волнующее состояние мудреца, которому приходится объяснять элементарные вещи нерадивому школьнику. Звучали слова «совок», «машина для людей», «наслаждение», «мастерство»... В общем, все как обычно. Подобных диалогов бывает в нашей жизни великое множество.

Пока все спорили, я вышел на балкон покурить. Там уже стоял Пашка, который в споре не участвовал, будучи нелюбителем сотрясать воздух.

— Серега — мастер, — с непередаваемой интонацией сказал он, махнув сигаретой в сторону комнаты. — И раньше гонял, а теперь-то уж...

— Да ну, — я постарался скопировать его тон, — он теперь будет своей абээс наслаждаться, куда ему гонять...

— Гонять... тормозить... был у меня случай, — сказал Пашка.

Он потушил сигарету и, ожидая, пока я докурю, стал рассказывать.

Он тогда пошел на прогулку с дочкой. Она маленькая была, года три-четыре. Любознательная, как все дети, открытая. Смотрят малыши на мир вокруг ясными глазами и верят, что он хороший. А весна наступила, по дорогам ручьи бегут. Где ледок еще лежит, где вода талая... Соорудили они вдвоем из бумаги белый кораблик.

— А кто на нем поплывет? Принц, да? — спрашивает дочка. Верит, что папа все знает и что уж точно поможет герою путь к принцессе найти.

— Конечно, принц!

Спустили они корабль на воду, и побежал он стремительно куда-то вперед, между льдистых берегов, мимо завалов из веточек и мокрых сигаретных пачек, через запруды и озера с разноцветной переливчатой гладью... А они вслед за ним побежали вприпрыжку, за руки взявшись.

И вот добежали вместе с ручейком до большой дороги. Поток там уже большой, настоящая «волга» получается. Самое то — в дальние края за принцессами плыть. И уж хотел Пашка повернуться да к «верховьям» идти, как вдруг дочка его заволновалась и показывает: кораблик несет прямоком под колеса большого грузовика. Почтовый, за посылками приехал, и как раз собирался заворачивать. Колеса так грозно надвигаются, а капитан бумажного кораблика задремал, наверное. Ему бы свернуть, в другой поток суденышко направить, а он... Еще несколько секунд и...

«Папа, а как же принц?» — дочка рукой машет, на кораблик показывает, а у самой слезы на глаза наворачиваются. Он и растерялся. Не будешь же под колеса грузовика прыгать!

В общем, пока он думал, «ГАЗ» этот вдруг остановился. Кораблик принесло уже вплотную к нему. Белеет он у огромного колеса, трепещет на водной ряби и — ни взад, ни вперед. Что тут делать? А машина стоит на месте.

— Совсем остановилась?

— Ты не поверишь, — сказал Пашка. — Я на водителя взгляд поднимаю, а он из кабины высовывается и мне показывает: лезь давай за нашим кораблем! Спасать-то надо его.

— А ты?

— Так и полез я туда. Достал, дяде-водителю мы потом радостно помахали и «спасибо» сказали.

— Остался принц в живых, значит!

— А как же иначе? И знаешь, вот такое вождение я с тех пор называю для себя мастерским. А все прочее — фигня.

О ПРАВЕДНИКАХ И ЛЬВАХ

И будешь ты «владычествовать над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею...» Как хорошо сказано. Как много потеряно.

А затем только праведники зверями обладали. Преподобный Герасим, живший на Иордане, льва приручил. Огромный зверь пришел в монастырь и стал сопровождать мирного и безобидного зверя — осла, который воду доставлял в обитель. Палестина — страна знойного солнца. Однажды лев заснул, а арабы, проезжавшие мимо караваном, увидели осла и увели его с собой. Лев, проснувшись, стал искать осла, но, конечно, безуспешно. Герасим немало огорчился, увидев льва возвращавшимся в одиночестве. Другой человек сказал, что лев, вероятно, сам же осла и растерзал. И Герасим заставил страшного зверя носить воду в обитель вместо осла, что тот безропотно делал. И лишь много времени спустя снова встретились лев и караван, вместе с которым шел по пустыне украденный осел. Купцы, завидев хищника, разбежались, а лев вместе с ослом возвратились в обитель.

А Франциск Ассизский дружил с волком. А Сергей Радонежский — с медведем...

Иногда я прохожу мимо маленького зеленого домика. Он в стороне от моего обычного пути на остановку. Но все-таки — случается прогули-

ваться в тех местах. Почти всегда вижу там пожилую женщину. Она выходит на крыльцо и кормит голубей. Птицы слетаются к ней, зная, когда у них будет и «завтрак», и «обед», и «ужин».

Я прохожу мимо и думаю о праведниках и львах, о тихих женщинах и мирных птицах... А сам ведь и голубей никогда не кормил. Не умею. Не знаю, как это.

СВЯТАЯ ПРАВОТА

Мальчик был странным. Разговаривать он начал годика в четыре, а до этого только мычал и пальцами показывал. Соседи злословили по-всякому, хотя на людях не показывали виду. Да впрочем, зла эта семья никому не делала. Бабка Малинова большей частью дома сидела, сама Нюся работала целыми днями, а Витенька оставался на попечение судьбы. Отца у мальчика не было, а почему, уже и подзабылось.

Во дворовые игры его не пускали. Женщины боялись, что резвые дети его толкнут, обидят, дразнить будут «немтырем» или еще как похуже. Так он и сидел дома с бабушкой, а если и выходил гулять, то далеко от скамеечки перед подъездом не отшагивал.

Учился неплохо, хотя совершенно безлико, незаметно. Сейчас даже и не упомнится, кем он был в школе: «хорошистом» ли, «отличником». Надо отдать должное, мужское начало в нем в меру своего разума Малиновы воспитывали. Однажды я зашел к ним по какой-то надобности, так Витенька показал мне радиоприбор, собранный самостоятельно. Мастерить что-нибудь он продолжал и потом. И обои клеить умел, и потолок декоративной плиткой забирать.

В институт после школы он не поступал. Бабка Малинова к тому времени уже умерла, а Нюся рассудила, что институтские профессии не прокормят. «Мне кормилец нужен, — говорила она, — я вот его кормила сколько, а стану старенькой, так он будет меня кормить. Так ведь и должно быть». И святая правота чувствовалась в ее словах.

Витенька сделался поваром. Окончил кулинарный техникум и начал искать работу. Годик там поработал, годик тут. Когда я встречал их на пути к остановке, Нюся жаловалась: «Нет хорошей работы, нет нигде... Сколько платят — копейки, а сидеть там требуется целый день!» Витенька возвышался рядом с ней, полный, начавший нездорово грузнеть. Он все больше отмалчивался, если мы беседовали с его матерью. Впрочем, был он всякий раз приветлив, с какой-то готовностью (иначе и не сказать) здоровался при встрече, четко произнося слово приветствия.

— А девушка у него есть? — задал я однажды риторический вопрос. Соседка Маргарита хмыкнула и протестно сказала:

— А то сам не знаешь!

Да, с девушкой мы его никогда не видели. Если и встречали, то только с матерью. Они по обыкновению шли с рыночка у остановки, рядышком, разговаривая о чем-то, Витенька нес сумки, а Нюся, переваливаясь с ноги на ногу по-утиному, плыла рядом. Довольно симпатичная она была в молодости, наверное, но вот ноги ее имели такую странную особенность.

— Да он и сам, Витенька, на инвалидности, наверное, — судачила соседка. — А то бы на что они жили вдвоем? Он ведь, кажется, так и не устроился никуда, а на одну ее зарплату проживешь разве?! Если вот только пенсия его...

Любят люди обсуждать друг друга.

А вообще-то жизнь бежала дальше по своим дорожкам, в нашем подъезде кто-то умирал, а кто-то рождался, в старых квартирах появлялись новые жильцы, менялись квартиранты... Витенька еще больше погружел, а Нюся пару раз попадала в больницу, у нее вдруг стали отказывать ноги. Всем подъездом собирали им немного денег. Подлечившись, Нюся теперь везде ходила с палочкой. Я по-прежнему встречал их по дороге на остановку — эту неразлучную пару, ее, ковыляющую по-утиному, и Витеньку, несшего сумки с продуктами. Они представлялись мне, да и не только мне, наверное, уже какой-то неотъемлемой частью утреннего пейзажа.

...Недавно я возвращался с лесной пробежки. На окраине нашего микрорайона, у высотных домов, выстроенных вот только что, обнаружил Нюсю и Витеньку. Они сидели на лавочке, Нюся что-то увлеченно рассказывала, а Витенька слушал. Я подошел и поздоровался.

— Спортом занимаешься? Молодец! — сказала Нюся.

— А вы какими судьбами здесь? — с удивлением спросил я.

— А мы на могилку ходили, — сказала Нюся, и Витенька кивнул.

Я вопросительно поднял брови. Видя, что я ничего не понял, Нюся грустно пояснила:

— У нас ведь котик жил, помнишь? Ласковый такой, умный. А недавно умер. Мы его тут похоронили. Знаешь, тут ведь кладбище для животных есть, рядышком совсем, в лесу. Мы его там закопали. Мы еще скромно сделали, а то там такие украшенные могилки есть! Ну, вот теперь каждую субботу ходим, навещаем его. Убрать там надо, веточки смести.

Витенька с правильной готовностью кивал головой, сидя рядом.

Мы еще немного поговорили, и я заторопился домой.

ГРУСТНОЕ НЕСОЗВУЧИЕ

Мир расширяется, распахивает свои просторы и делается вместе с тем отчего-то беднее, невзрачнее. Это как если бы ты сидел у окна, смотрел на сырой осенний двор и думал о том, что весь день у тебя свободен, что нет ни забот, ни тревог и что ты волен пойти или поехать куда-нибудь... Как если бы, глядя из окна, ты забавлялся смешными движениями людей, прыгавших через лужи, удивлялся неведомо откуда приехавшему трактору, начавшему месить грязь на газоне под окнами... Как если бы... наблюдал, размышлял, пытался переживать... но ничего не мог бы сделать с внутренним безразличием к происходящему. И знал бы, что книга, купленная вчера, так и будет лежать на случайном месте, а прочитанное письмо сотрется из памяти, а желание встречи с друзьями так и останется мимолетным желанием. Грустное несозвучие — огромной фразы «я могу» и скромного «мне хочется».

В распаханном мире нет места мелочам. Один уезжает в огромный Париж, другой — на далекие-далекие Мальдивы. Кто-то погружается в необъятный человеческий аквариум столицы, иной же держит в своих руках нити множества судеб, и эти нити звенят, трепещут, своим присутствием настигают его даже дома, когда нельзя оторваться от электронной почты и телефонных переговоров...

Я сижу в офисе старинного друга — уже бывшего одноклассника? уже просто знакомого? — и пытаюсь не очень мешать ему. Он радуется тому, что жизнь бурлит и переливается вокруг него, а я радуюсь за него, раду-

юсь тому, что он счастлив. На моих глазах он заканчивает какие-то переговоры, очевидно, важные, потому что облегченно откидывается на спинку своего офисного начальственного кресла и шумно вздыхает. Оборачивается ко мне, подмигивает и тянется к скрытому в шкафу холодильнику. Достает оттуда две банки пива. Можно расслабиться. Если получится, если не будет снова звонить телефон, если секретарша не будет связываться с ним по селектору.

А мне вспоминается, как мы были студентами. Играли в карты у меня на кухне, пили это же самое пиво. Он всех предупредил, чтобы мы не сминали и не выбрасывали пустые банки. Все удивились, когда он прополоскал их под водой и аккуратно сложил в пакет. Посыпались шутки, а он раскрыл свою задумку...

Мир ведь распаивает себя перед нами не только сейчас. И в прошлом было, и в будущем будет. Мы жили тогда в эпоху разваливающихся государств, в эпоху странных потерь души и стремительных обретений бытового комфорта. Появлялись новые вещи, новые возможности. Из этих пустых баночек из-под пива он хотел сделать себе... дециметровую антенну для телевизора. Чего только русские умельцы не придумают! Мы ошеломленно смотрели на пустые жестянки и... завидовали? удивлялись? надеялись повторить?

Вот о таких мелочах мы и мечтали. И они радовали нас, негромко, непафосно. Мы не грустили.

СТРОКИ НА ЛЕВОЙ РУКЕ

У этой девочки родственники живут в Хорватии.

Одна из двоюродных сестер отца на заре перестройки вышла замуж за иностранца и уехала на Запад. Конечно, Социалистическая Федеративная Республика Югославия формально вроде бы и не относилась к «западу», но на деле... Совершенно другой мир.

Девочка была тогда еще маленькой и в подобные тонкости не вдавалась. Просто иногда в школьных разговорах упоминала, что у нее «там» тетя живет. Жить «там» по советским меркам было чем-то необычным. Все знали, что Высоцкий запросто летает в Париж к своей жене, ну так то — Высоцкий. Даже он уезжал и возвращался, а вот у этой девочки...

Потом все стали ездить за границу. Ничего особенного. Кто-то ездил туда, кто-то выживал в лихие годы здесь. Семья девочки не шикавала, но и бедности откровенной смогла избежать. Даже позволяла себе посмеиваться над наивной заботой зарубежных родственников, предлагавших принять в помощь продуктовые посылки — было и такое в середине девяностых.

Недавно девочка с мамой ездила в гости к ним. Разглядываю фотографии с ее странички в социальной сети. Вот средневековые улочки небольших городов на Адриатике. Скользкий после дождя булыжник вместо асфальта. Сумасшедшие и веселые итальянцы, то тут, то там появляющиеся в кадре. Море. Мачты рыбацких шхун в порту. Городские стены и башни... Она гуляет, радуется розам на улицах, закатам и расцветам.

А еще — Плитвицкие озера. Из окна автобуса видны то море, то деревушки, прилепившиеся к склонам гор. Море, горы, небо... Ехать еще долго. Мама рядом задремала. Девушка достает шариковую ручку. А бу-

маги почему-то нет в сумочке: ни записной книжки, ни какого-нибудь старого музейного билета или квитанции из отеля. И тогда она начинает писать родившиеся строки прямо на левой руке.

Слева сидит степенная пара немцев. Она ловит их изумленные взгляды, но ей все равно.

РОЛЬ ДЛЯ ОДНОГО АКТЕРА

Ранним серым утром я спешу на остановку. Ночной сумрак только-только начинает прятаться в углы зданий, кроны деревьев. Дворы наши — гулкие, истоптанные дорожками. Я срезаю путь и шагаю от подъезда напрямик, мимо густых кустов, сушилок для белья, деревянных столиков. Мимо котельной, мимо мусорных баков рядом с ней. Между ними копошится чья-то фигура.

Человек в поношенном пальто копается при помощи палки в баках. Отбирает что-то, складывает в пластиковый пакет. Завидев меня, отворачивается, чтобы я не различил его лица. Мне делается стыдно, отчаянно неудобно, потому что я слышу, как он деловито, озабоченно бормочет себе под нос что-то, словно бы у него тут важное дело, словно бы он исполняет чье-то нужное поручение. И я пробегаю поскорее мимо, а взгляд сам собой выхватывает детали: стоптанные башмаки, два наполненных пакета, стоящих чуть поодаль, за другим баком...

Мужчина не молод. Когда-то он был пионером и собирал макулатуру и металлолом. Как все. Даже я собирал, застал еще излет прежних времен. А теперь вот... Он собирает разные тряпочки и кусочки выброшенной еды, и сам же для себя каждый день исполняет роль в спектакле для одного актера. Словно бы он кому-то нужен. Словно бы он выполняет чье-то поручение...

КОМУ ГРЕХИ ОТПУСКАТЬ

*О чем же это, Господи?
Да все о Тебе...*

Николай рассказывает. Он — докладчик.

Мы сидим после службы в молодежном отделе. Воскресенье, скоро пост, осталась еще неделька — и наступит наше преображение к чему-то. Это чувствуется, это слышится, ощущается, это разлито в воздухе, в улыбках, в словах. У меня с самого утра — легкая душа. И шел в храм, по морозцу, по поскрипывающему снежку, и затем стоял во дворе — все так. И солнце наполняет собой: снимаешь шапочку, чтобы перекреститься перед входом, а и холода не замечаешь. Поет все.

Отец Димитрий тоже улыбочив. Из них с Николаем дуэт получается. Николай сухо вато рассказывает, фактами сыплет, а отец Димитрий, не удержавшись, просит прощения и вторгается в высокое повествование со своими примерами, воспоминаниями, ассоциациями. И так славно выходит!

И ведь такие истории! Непридуманнные, глубокие. И уже давным-давно отошли от заявленной темы, и ниточка ассоциаций ведет нас все дальше. И хорошо так — сидеть на лавочке у стены, слушать, смотреть в чужие ясные глаза.

К отцу Димитрию однажды в храм старенькая бабушка пришла. Ска-

зала, что хочет исповедаться именно в этом храме. Он удивился, почему же, ведь тяжело ей было по косогорам местным лезть со своими слабыми ногами! А бабушка плачет: только в этом храме. Оказалось, что она раньше работала здесь. Не служила, а работала, когда молодой была. Стояли станки швейные, где-то склад был, где-то умывальники разные. Она идет по трапезной части (а алтарную еще восстанавливать и восстанавливать) и показывает: вот здесь это было, а там — то. Плачет: прости, батюшка, молодые были, глупые, комсомольцы все. Случалось, и танцы устраивали, и выпивали здесь...

А недавно дедушку одного отпевал. Абсолютного атеиста. Всю жизнь прожил человек и даже перед смертью ничего не захотел. «Да как же так?» — слышится от кого-то из нас. «Да, атеист, — кивает головой отец Димитрий. — Только вот крещеный он был в детстве».

Мы думаем, каждый о своем. А он продолжает. Как же так? Так ведь не он сам решает, кому грехи отпускать и кому прощение давать. Это Бог прощает и отпускает по милосердию своему. А он — всего лишь священник.

ПО ДРУГИМ ТРОПАМ

Матф. 18:3

Весна разливается. Март. По ночам еще морозец, дороги скованы остатками ледяного дыхания зимы, но днем — ликующее солнце растапливает все, и мутные, коричневые потоки бегут по асфальту. Снег испещрен проплешинами, черными точками, какими-то опавшими ветками. Деревья стоят голые, но отчетливо ощущается в них народившееся дыхание жизни, которая вот-вот, уже совсем скоро выплеснется зеленью листьев и ароматами будущих цветов.

У меня под окнами — ручьи и отраженное в них солнце. Люди, проходящие мимо, перепрыгивают через лужи, стараются не запачкать обувь в грязи, которой так много случается по весне. Молодые мамы, бабушки гуляют с малышами. Те никуда не торопятся, в отличие от взрослых. И ходят совсем по другим тропам, нежели взрослые.

В одной стороне — продуктовый магазин, в другой — новостройки. Я улыбаюсь, наблюдая: один, второй, третий малыш движется вперед исключительно по бегущей воде. Мама, бабушки недовольно останавливаются, укоризненно обращаются к чаду — радостно шлепающему, бегущему, замечтавшемуся перед своим корабликом... А может быть, и не замечтавшемуся, а просто так замершему, потому что в этот момент незнакомая кошка тоже приостановилась перед ручьем, подняла лапку, которой угодила в мокрое и холодное, и никак не может решиться, прыгнуть ли ей на другой «берег» или не прыгать. И так интересно все, что можно остановиться прямо посреди лужи!

А взрослые ворчат, перекладывая свои сумки из руки в руку. Пугают грядущими страшными простудами. Обещают поставить в угол или лишить мультиков. Ругаются.

Смешные они, несправедливые. Когда-то ведь тоже бегали по весенней воде, а теперь почему-то думают, что нет в этом занятии ничего интересного. Хорошо, что дети не верят им. Они-то ведь знают, где искать настоящие, магические, волшебные пространства жизни.

ОН СПИТ, И ОН СВОБОДЕН

Я возвращался домой со спортивной пробежки, а он лежал на самом краю лесной тропинки, вольготно раскинувшись на спине, закинув одну руку за голову, а вторую вытянув вдоль тела, в ней он крепко держал холщовую сумку. Клетчатая непритязательная рубашка, обычные серые брюки. Проходя мимо, я заглянул в лицо его, круглое и слегка розоватое, на котором поселилась блаженная улыбка. Глаза были закрыты, человек безмятежно спал.

А мне вспомнилось... «Бежал и наконец, устав, прилег между высоких трав...» А еще вспомнилось: «Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула — по-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений...»

Мцыри, Ассоль...

Трава ли сделалась другой в наши времена? Или сюжеты жизни — иными? Мы смотрим на спящего и думаем первым делом: эка его развезло. А не лучше ли он нас? Он спит, и он свободен, а мы умеем только осуждать.





Борис Владимирович Подгайный родился в 1964 году в поселке Воля Новоусманского района Воронежской области. Окончил филологический факультет Воронежского государственного университета. Журналист. Главный редактор газеты «Воронежский курьер». Публиковался в сборниках «Земная колыбель», «Есть город в России...», альманахе «Ямская слобода», в журнале «Подъём». Автор книги прозы «Двенадцать историй». Живет в Воронеже.

Борис Подгайный

ВАНО-ДОРОГОЙ

Рассказы

Когда возник вариант с Ваном, определенный опыт общения с мастерами у Кашинцева уже имелся. Один Серега чего стоил! А до того были Александр с Никитой, Бек с его командой, еще один Александр (оконщик) и Саша с Рашидом (по теплу и воде). Да, еще стяжку делала комплексная бригада, которую перехватили с шестого этажа.

Начинали-то еще в конце марта, а сейчас уже август на носу. И конца-краю каникулы не предвидится. Ленюк напрочь сорвала свое привычное колоратурное soprano и изъяснялась с очередным подрядчиком прокуренно-пропитым баском бывшего прораба абсолютно по-прорабски, не стесняясь в выражениях. А Витя, добравшись в двенадцатом часу ночи до постели (какой, к лешему, телевизор!), успевал содрогнуться тому, что и во сне увидит все те же занесенные цементной пылью ступеньки, по которым завтра после работы надо будет опять с очередным мешочком строительной смеси (хорошо, если 20 кг, хуже, если 30) — топ-топ, топают малыш... Ступенька за ступенькой, пять пролетов — передых. Пот растер, пылюку выхаркал — и топ-топ, опять пять пролетов... На двенадцатый этаж — без лифта. «Малыш, ты же хуже собаки».

Лифт в доме был, даже два. Но домоуправцы отрезали категорически: «Пока

отделочные работы не завершатся, лифты не подключим. Песком и цементом технику позабудьте, перегрузками искорежите, вам же самим потом хуже будет. Грузчиков нанимайте, пусть носят».

Грузчиков, ха! А сколько они за подъем дерут! И потом из-за двух-трех мешков они мараться не будут, им масштабы подавай. Ленок, мудрая женщина, сразу сказала, что грузчики домоуправцам отстегивают, не иначе. Но не судиться же с ними: и времени на разборки нет, и еще жить да жить с той же компанией; будут еще поводы отношения выяснять.

Нет, конечно, когда крупногабаритные изделия, гипсокартонные или стекло-магниево-бетонные плиты, например, — в одиночку тут никак. Приходилось прибегнуть к услугам. Ленок названивала по нескольким номерам, выясняла, у кого дешевле. И мешки с цементом — они по 50 кг как-никак — поднимали централизованно Бек и его команда за отдельный, ежу понятный, гонорар. Витя попробовал, было, один такой мешочек на двенадцатый затащить — нет, здоровье дороже, позвоночник не железный. А узбекам этим хоть бы хны! Витя, вывалив язык на плечо, сидел между пролетами и диву давался, с какой нереальной легкостью сбегает вниз мальчишка-узбек, только что дотащивший на своих тщедушных закорках все 50 кг на двенадцатый. Летит прямо да напеваает что-то свое, а в самом весу — не больше пятидесяти.

Газосиликатные блоки, к счастью, удалось перекупить у соседа с девятого этажа, с ним и перетаскали. Он, специалист по IT-технологиям, с дуру интеллектуального ума вдвое больше закупил, чем ему нужно. А Кашинцевым как раз на две стеночки хватило. С остальными перегородками решили не заморачиваться, поставили гипсокартон или стекло-магний. С тепло- и звукоизоляцией.

Ну а уж все прочие мешки, трубы, шланги, коробки, рулоны Витя — топ-топ — конкретно на своем горбу. Включая упаковки ламината и плитки. Слава Богу, «семерочка» не подводила. Пыхтела, чихала, бедная, но тащила. Приходилось ведь как: закупаешь на складе — в выходной — партию ламината того же; в несколько рейсов ее — к маме; потом по будням, после работы перевозишь с маминой квартиры на новую. Несколько дней уходит; да, долго, хлопотно, не семь, а семьдесят семь потов сойдет, в легких — сплошная пыль, но куда деваться. Взаялся за гуж — цель оправдывает средства.

* * *

Дом, в котором супруги Кашинцевы присмотрели себе квартиру, был построен так же, как строится сейчас большинство домов: на сленге торговцев недвижимостью такое состояние жилплощади именуется «черновой отделкой». А на деле означает, что в квартире есть в лучшем случае стены, окна, двери, что коммуникации к ней подведены. Как правило, и такую «отделку» все равно нужно менять, потому что «отделано»-то в расчете вовсе не на прочность, надежность и долгие годы беззаботной эксплуатации, а на снисходительность и добросердечность приемных комиссий. Но стоит «черновая» ощущаться дешевле, чем «под ключ». Да ведь и «под ключ» строят так, что только тронь — рассыплется. Так зачем платить больше, если потом все равно переделывать?

В квартирке, которую Кашинцевы присмотрели, даже стяжки на полу не было, а стены — только между квартирами. И несущие колонны, общие для всех этажей. Батареи отопления просто лежат под окнами,

трубы по полу тянутся. Но, с другой стороны, метраж подходящий и большой простор для фантазии: что тебе на отведенных метрах заблагорассудится, то и воплощай.

А воплощать Кашинцевым было просто необходимо. Митька, сынуля, подрастает: в школу ему осенью, хотелось бы, чтоб ходил все одиннадцать в одну и ту же. В маминой двухкомнатной хрущевке (кухня — 8 кв. м) они и так друг у друга на головах, а Митьке для самоидентификации требуется расширение жизненного пространства, включая место не только для велосипеда, но и для компьютера. К тому же Ленок наследство какое-никакое получила после бабушки, вечная ей память: та же хрущевка, только однокомнатная. Можно все это на трехкомнатную поменять, но с теми же гнилыми трубами и крохотными комнатенками. А если новая, так под ипотеку, иначе не хватит. Ипотечкой, конечно, всех запугали, но ведь люди они еще молодые, авось... Главное, именно сейчас надо что-то предпринять: цены растут, жилье ветшает, Митьке в школу...

Конечно, Кашинцевы немало вариантов рассмотрели, в том числе и «под ключ». Но и по цене (с учетом ремонта), и по инфраструктуре (торговых заведений рядом немало, и школа — на будущее — имеется) тут, получается, самый приемлемый. И планировочка как-то удачно складывалась: есть место и под зал (он же спальня), и под детскую для сынули (приличных размеров), и маме комнатку изящную можно выгородить, и ванная с туалетом — раздельно. А кухня-то получается — при всех раскладах — никак не меньше 20 кв. м!

— Ой, как я давно о просторной кухне мечтаю, — шептала Кашинцеву перед сном жена. Витя, конечно, соглашался: кухня для женщины — немаловажно. Да и самому приятно было представить все семейство за просторным столом в окружении всяких там шкафчиков и полочек, не нависающих над тобой, не бьющих тебя дверцами-створками по спине или лбу, а функционально расположенных, стильных — кухонный дизайн сейчас далеко шагнул, такие навороты понапридумывали!

К тому же Кашинцева сам дом впечатлил. С детских лет Витя считал, что чем больше дом, тем лучше. Двухэтажный лучше одноэтажного, пятиэтажный двухэтажного, девятиэтажка — вообще красота: там лифт. Когда стали расти по городу двенадцати — и шестнадцатизэтажные, Виктору приятно было, проходя или проезжая мимо, поглядывать на них, задрав голову. Чем выше дома в городе, тем он основательней, уверенней в своих силах. Если тут и там — многоэтажки, значит, людям хочется в них жить, значит, город создает им возможности жить в новых домах, растить наследников, обеспечивая будущее свое и наследников, а значит, и города. Чем выше к небу дом, тем лучше вид на город.

А с Витиной лоджии, с двенадцатого этажа, вид — что надо. В ближней округе — девятиэтажки, уже недорослики, правее — скверик небольшой, деревья под тобой качаются, еще правее — рынок, и вещевои, и продовольственный, удобно, недалеко. Потом кольцо проспекта с потоками игрушечных машинок, потом опять дома, большие и малые, а ближе к горизонту снова зелень, там частный сектор, а за ним уже и город заканчивается: вдоль горизонта — сплошная лесополоса. Что надо вид: преимущества городской жизни с прелестями природы — как на ладони. Да и двенадцать — число счастливое.

К середине июля все такие прелести Кашинцевым давно уже были глубоко по барабану. Справиться бы до осени — Митьку в ближнюю школу уже записали. И прописались уже (исключая маму) по этому недоделанному адресу. В отпуска (ха-ха, отпуска!) уже сходили: Леночка в мае, Витя в июне. А воз и ныне там. Нет-нет, дело-то, дело-то движется, до кафеля в ванной и керамогранита на кухне дошло уже. Но как же все медленно-енно... И с такой нервотрепкой! Наследство давно высосано. Высасываются сейчас немудреные общесемейные сбережения, дальше надо где-то что-то у кого-то занимать — кто даст и как, непонятно. И еще мастера эти, так растак!..

Огромный дом в июле рычал, стонал и грохотал — истошным визгом дрелей, тупым долбежом молотков и кувалд, бормашинами «болгарок», кромсающих плитку и располовинивающих сознание. По квартирам, площадкам и пролетам металась взбесившиеся сквозняки, но, несмотря на все свое неистовство, все равно не могли вытянуть пыль, духоту, запахи краски, клея, истекающих потом тел и просачивающейся во все щели мочи.

Домоправители Кашинцевых предупредили категорически:

— Первым делом поставьте унитаз, хоть самую плохонькую раздолбайку. Иначе мастера ваши будут по углам мочиться. Что для нашего дома неприемлемо.

Кашинцевы так и сделали. Благо, временный унитаз нашелся у соседей с одиннадцатого, Вики и Максима. Они в подъезд первыми въехали — не повезло ребятам, Вика еще и на сносях, но жить на съемной накладней.

Так что с унитазом у Кашинцевых с самого начала все по уму было. Но у других-то — нет, невзирая на категоричность домомучителей. И когда с тринадцатого стало просачиваться, Кашинцевым пришлось пережить немало приятных минут, разъясняя тамошним работягам и собственникам квартиры правила личной гигиены и человеческого общежития. Те-то, в конце концов, вняли. Но в подъезде — семь десятков квартир, всех не проймешь. Так что, спускаясь с двенадцатого, Вите то и дело приходилось, безглаголиво морщась, каким-нибудь подручным материалом зажав, выносить на свалку баклажки, понятно, с чем, трогательно расставленные изнемогшими трудягами по бокам лестничных клеток.

В общем, Ваночка был не первый и не последний. Поначалу-то к Леше обратились, бывшему коллеге Вити. Они вместе в одной конторе работали, но по разным направлениям, а потом Алексей ушел в ремонтно-строительный бизнес. Ясно, что первым делом — к нему: худо ли — бедно, но знакомый человек, авось запросит по-божески. Привлекало то, что у Лешки — комплексный подход: от начала до конца создания из дерьма конфетки — все в его руках. В том смысле, что работают отдельные бригады, по направлениям, а все расчеты — с Алексеем. Лешка походил по пустынной тогда еще жилплощади, покачал головой, лукаво поусмехался и сказал:

— Готовьте, короче, чемоданы денег.

Чемоданы-то у Кашинцевых были, но... Короче, комплекс Лешкиных услуг решили не использовать, ограничились Сашей с Рашидом (отопление, водоснабжение, сантехника), которые сразу внесли ясность:

— Мы вам нужны и на начальном этапе, и на завершающем. Каче-

ство гарантируем. Но, если напрямую, гарантируем больше. Да вам и дешевле выйdet.

— Напрямую, — шептала Ленок по ночам, прижавшись к Витиной щеке, — и нужно. Когда глаза в глаза договариваешься, без всяких контор, — существенная экономия.

После начального этапа — с заменой ерундовых труб и батарей на продвинутые биметаллические — стали осматриваться и оглядываться: кто, где, какие услуги предлагает, сколько берет. Ленок часами и днями названивала по различным объявлениям. Заодно приглядывались к бригадам, уже работающим на доме.

Варианты были разнообразны. На пятнадцатом, к примеру, и вовсе солдатики квартиру отделявали — подполковнику местного гарнизона. Понятно, что для Кашинцевых не вариант, просто, к слову. Кое-кто сам, если руки на месте, ковырялся. Были бригады, которые Ленок напрочь отсекала: рвачи или халтурщики. В процессе изучения внимание сконцентрировалось на двух командах: Бека с другими узбеками и армянской триады Микаэл — Армен — Гамлет. И та, и другая гарантировали сдачу объекта «под ключ»: от и до. Но у Микаэла с сыном Арменом и племянником Гамлетом уже была пара квартир, почти доведенных до ума. Есть, где показать товар лицом. А бригада Бека занималась пока стенами да полами, какие они мастера на дальнейших этапах, было еще неясно.

Тут, к счастью, удалось договориться с Александром и Никитой. Александр (стены, перегородки) — двоюродный брат Ленки, свой человек, плохо не сделает, много не запросит. Никита (электропроводка) — его товарищ.

Ну, а насчет дальнейшей отделки сторговались уже с Беком. Запросил он поначалу приемлемо, но с первых же часов работы принялся талдычить:

— Что за цина, нету таких цин, убиток, ти понимаешь?

Остальные члены команды ничего не говорили. Точнее говорили, но на своем: то ли по поводу «убитка» сетуют, то ли просто издеваются.

— Дай-ка мне свою «корочку», — сказала как-то Ленок. «Корочка» у Вити была солидная, красного цвета, хотя к правоохранительным органам он, само собой, никакого отношения.

— Зачем?

— Бек меня вчера спрашивает, где я работаю. Так я сказала, что в МВД. У них же, небось, с миграционной службой проблемы. Вот я твою «корочку» завтра — невзначай — из сумочки и достану.

И достала. Сначала Бек и его команда стали просто пропадать, а когда Ленок все-таки ловила его по сотовому, Бек со всем своим узбекским красноречием заверял, что «ти понимаешь, болии важнии обехти», но клялся, пророка, впрочем, не упоминая, что «чють пожи все доделаим». Потом — опять недели нервотрепки — пришел. «Вот ети, да, — говорит, — дашпаклюйм», а потом у его команды — другой «обехт», в другом районе, в другом городе, «скарый всиво», даже на другой планете. Был Бек, да нет его. Впрочем, получил-то он только за то, что сделал.

Микаэл с Арменом зашли. «Эй, смотри, а, криво-косо, зачем, хозяйка, средства-нервы тратишь? У нас — хо-хо, любой твой каприз, качество — э-ей, сама видишь...»

Каприз-то любой, но деньги-то кровные. Короче, опять не сторговались.

— Достали уже шабашники, — постанывала, прижавшись к Витиному плечу, жена. — Все: на плитку будем заключать договор с официальной фирмой. Чтобы четкие расценки, чтобы было с кого спросить.

Заключили официально. Пришел представитель фирмы, подписали бумажки: в такой-то срок — плитка и в ванной, и в туалете, и на кухне, и на лоджии. С надлежащим качеством, предоплата — половина суммы, остальное — по готовности, при отсутствии претензий.

— А вот и Сергей, мастер экстра-класса — отрекомендовал представитель. Сергей был деловит, но обходителен.

— Толчок есть? — оценил он непрезентабельное устройство. — Вот и славно. С туалета и начнем, если не возражаете. Знаете, — вроде бы даже извинился, — я во время работы курю много, мне бы баночку или пепельницу... И вообще, мусор-то во что собирать?

— Ой, — падала Ленок на постель, — я никакая не расистка, но что плиточник — наш, местный, как-то спокойнее. И официально все, по договору, без нытья, «понимайшь». Недешево, да, но ответственность, и качество, и оплата по прейскуранту...

Сергея — на следующий день он попросил Кашинцевых величать его именно так — начал ретиво. Три четверти стенки в туалете выложил. И сказал Кашинцевым сердобольно:

— Да что вы каждый день сюда таскаетесь? Вымотались ведь уже. Отдохните, все ж понятно, не волнуйтесь вы, все будет хорошо. Вот закончу — пару дней — туалет, сам вам позвоню. И дальнейшее определим.

Пару дней Кашинцевы блаженствовали. На третий позвонили Сергею. «Абонент недоступен». Когда приехали на квартиру, увидели те же три четверти одной стенки в туалете, кучу испорченной плитки на полу, заботливо поставленные в целлофановый пакет четыре опорожненных бутылки водки, две банки из-под кабачковой икры и три пластиковых стаканчика. На безнадежно испорченном затушенными бычками подоконнике стояла банка с горкой окурков. Не вместившиеся в банку обсмоктанные фильтры валялись вперемешку с осколками еще нескольких бутылок, банок и ни на что уже не годной плитки, а по всей территории отпечатались следы ботинок или штиблет, щедро сдобренные остатками классической закуси. Зато следов трех мешков плиточного клея не обнаружилось никаких.

Представитель фирмы был неподдельно взволнован и возмущен:

— Да что вы?! Да быть не может! Конечно, конечно, все выясним, вы не волнуйтесь, вы только не переживайте, все по договору, мы гарантируем...

В общем, продолжались такие вот переговоры с фирмой недели полторы-две. Можно, конечно, сказать точнее, но вспоминать не хочется. Как-то принципиальная Ленок дозвонилась-таки до Сереги. Тот, икая и заикаясь, поведал нечто невразумительное, дескать, поехали с друзьями на свадьбу, но пришлось задержаться, потому что, сами знаете, как оно бывает, но все будет сделано в срок...

— Срок тебе прокуратура определит, — хрипела остервеневшая Ленок, — ублюдок недоношенный!

После чего «абонент» умолк навсегда. А по официальной версии фирмы, дело было так: Сергею end Co задержали доблестные правоохранительные органы за избиение некой дамы, видимо, собутыльницы. Так разза-

доренные плиточники смогли не только скрыться, избегнув справедливого наказания, но и нанесли стражам порядка многочисленные травмы. После чего — к гадалке не ходи — светят им всем вполне реальные сроки. Серега сейчас, вероятнее всего, в бегах и, как ни крути, ломать отрезанный. Но фирма тут ни при чем, фирма гарантирует...

— Туалет нам доделайте, никакой же другой мастер не возьмется, — шипела Ленок.

— Океюшки, доделаем без булды, в счет предоплаты, — гарантировал представитель. И разницу возместить обещал. Ну, только за вычетом мешков с клеем, ведь был он или нет, поймите нас правильно, — недоказуемо.

Вот так Ваню у Кашинцевых и возник.

* * *

— Прошу любить и жаловать, — представил его жизнерадостный представитель, — Ваню, мастер экстра-класса.

— Экстра? — испепелила его Ленок.

Представитель дипломатично промолчал. Было из-за чего. Серега-недоделок, понятно, дело прошлое. Но и этот-то — Ваню — был страшен, как черт. Кудри смоляные, как проволока, брови в пол-лба, глазенки под ними маленькие и колючие, злобные какие-то, складки по щекам впалым — как борозды. И не брит дня три, наверно. Хотя, быть может, такую щетину ни один станок не возьмет. Армянин, говорит. А нос, кстати говоря, никакой не армянский, а... как у Кинг-Конга нос. И весь какой-то не то, чтобы «черный», а черный натурально. И сутулый, и нелюдимый, и... неприятный, в общем, тип. Разбойник с большой дороги. Но куда деваться?

— Значит, так: нам — только в туалете, — весомо напомнил Витя.

— Ну да, ну да, о чем речь, — покорно встрепенулся представитель, — разницу, само собой, возместим.

Когда определяли фронт работ, Ваню помалкивал, головою провололочной только кивал, мол, плавали, знаем, что вы мне лапшу вешаете. Ладонью по плитке, выложенной предшественником, провел, отошел, со стороны посмотрел — «э-э, не так». И еще сказал:

— Не люблю от других, э, доделывать.

Да кто ж тебя, родимый, спрашивает в такой-то ситуации? А зубы у него желтые, прокуренные, но крупные, как у жеребца. Удила такими зубами закусывать или орехи грызть, грецкие, со скорлупой.

— Нет, — откинулась на подушки Ленок, — ты уж, Витюш, с ним сам давай, я его, черта, боюсь...

— Ничего, Ленок, прорвемся, — приобнял жену Кашинцев.

На следующее утро Ваню пришел вовремя, как договаривались, Витя еще и на работу не опоздал.

Естественно, как бывалый наниматель, Витя несколько раз объяснил, что и как требуется: где темная плитка должна быть, где светлая, где узорчик. Ваню слушал покорно, но явно снисходительно. Хозяин — барин, но мастер-то — бог, такой у него был вид. И хотя такой вид был практически у всех мастеров (за исключением Сереги, и то поначалу), Витя почувствовал, что сейчас снисходительность небожителя раздражает его больше, чем обычно. А Ваню возьми да ляпни:

— Витя-джан, не волнуйся, все хорошо будет!

И улыбается во все свои желтые лошадиные зубы. Улыбка до ушей, гляделки, как щелочки.

— Пара дней — отдохай, э, не волнуйся — сам позвоню!

— Приеду, — скрежетнул зубами Витя, — вечером сегодня приеду. И каждый день буду приезжать.

И приезжал, в недоделанной квартире всегда найдется, чем заняться. Заодно и к Вану присматривался, хотя и видел, что ему пристальный хозяйский надзор, скажем так, не по нраву. Но нам, знаете ли, начхать на ваши настроения, нам главное, чтобы дело шло.

Оно и шло. Нельзя сказать, чтобы работал Вано очень уж быстро, но в целом, пожалуй, ответственно. Над составом клея колдовал, вымерял всякие там углы и ракурсы, подолгу цокал языком, прежде чем вести очередной рядок. И то — спешка в таком деле ни к чему, главное — точность и изящество. Конечно, бранил работу предшественника, но какой мастер не бранит? А плитку расходовал экономно, напрасно не корезил, и мешки с сухим клеем необъяснимо не исчезали.

Со временем выяснилось, что Вано — даже говорун. Байки его сводились, в основном, к былым строительно-отделочным подвигам. Причем не в Армении — о родине Вано не рассказывал ничего — а в различных городах и весях нашего отечества. «Здесь, Витя-джан, работа что — тьфу — плевая, э», а вот в Липецке, дескать, он в одной школе так все «рекиации» обустроил, что директор ему премию сверх положенного по договору выписал. И очень сильно благодарил: «Жаль, Вано-джан, тебя отпустить, когда надо — опять позову».

— Эй, — скалил желтые зубы Вано, — «когда надо», не скоро надо, так сделано — первый класс школу закончит, ты на пенсию выйдешь — а моя работа, как новенькая, будет.

И директор школы плакал от умиления и восхищения. Или работал Вано в «катеджи» одного генерала, к которому попал по рекомендации тоже «кру-утого такого» человека.

— Вано-дорогой, зачем ты генералу? У него и без тебя есть, кому плитку класть.

— Э, Витя-джан, том-то и дело, — подмигивал щелочкой Вано. — «Все у меня есть, — говорит, — никого не хочу — тебя хочу». А когда работу принимал, «Вано», — говорит, — мог бы, звезды погон тебе отдал бы или орден своей груди...»

У них как-то сразу повелось: «Витя-джан» и «Вано-дорогой». «Насчет «дорогой», это ты на стоимость работ намекаешь?» — спросила как-то Ленок. «Ни на что я не намекаю, — пожал плечами Витя, — просто уважение: если я — «джан», то он — «дорогой».

Объекты в байках становились все круче, чуть ли не до стратегических ядерных баз и кремлевских резиденций дело дошло, но слушать было забавно. И улыбка Вано казалась уже вполне даже обаятельной. Нормальный мужик, никакой не разбойник, ну, любит прибрехнуть, так с байками легче работается. Главное, чтобы дело шло, а оно шло. И вроде бы, шло неплохо.

Когда нужно было решать, кому и как дальше плиточными делами у Кашинцевых заниматься, Витя и предложил:

— От добра добра... давай и дальше с Ваном.

— Я, Витя, с той фирмой дел иметь не хочу, — передернулась Ленок.

— А если без фирмы?

— А он согласится?

— Давай потолкую.

Вот и сделал Витя предложение: фронт работ есть — ванная, кухня, лоджия. Но зачем тебе, дорогой, на фирму работать, отстегивать что-то? Давай договоримся, и все твое. Только темп работ не снижать. А потом — у нас тут, вон, какой дом громадный, всем хорошие плиточники нужны, я тебя соседям порекомендую. Ты на одном нашем доме озолотишься, а сколько таких еще строится. Земля слухами полнится, а слух о твоём мастерстве пойдет по всей округе великой. Зачем нам фирма, дорогой, она для таких козлов, как Серега, а ты-то — мастер...

Вано посмотрел на Витю. Витя изобразил радостного китайского болванчика. Вовсе у Вано глаза не колючие — нормальные глаза, добрые, человечьи.

— Витя-джан, если вечером работать буду?

— По вечерам? По три часа в день, что ли?

— Не-е, не понял: вечером пришел, утром ушел — всю ночь работаю.

— А спать когда?

— Э, Витя-джан, не волнуйся! Тебе все сделаю — выплусь. Хорошо будет.

* * *

— И ты согласился? — сипела Ленок.

— Ну, согласился, он нам навстречу, мы ему.

— За-амечательно! — проклочотала небесам Ленок. — Он весь день будет на фирму впахивать, а потом к нам на ночевку. Что он там нарабатывает?

— Ленок, я же первый предложил...

— Что ты предложил — приходите к нам ночевать? Может, нам и прописать его сразу?

— Ну, зачем, зачем... Давай попробуем, а? К тому же по выходным он весь наш.

— Какие там, на фирме, выходные?

— Слушай, ну чем рискуем? Чуть что не так — до свидания, никаких обязательств! Нам решать...

— Вот ты и решил, — хмыкнула Ленок и губы надула.

Начал Вано рьяно. И были, действительно, выходные дни, так что обошлось без ночной работы. Все равно отработал Вано оба дня часов по четырнадцать, дотемна. И бело-фиолетовые, с рисунком из орхидей, плитки вдоль стен уже позволяли представить грядущее великолепие ванной.

Дальше пару дней тоже шло сносно. Вано приходил около семи вечера, уходил в седьмом часу утра — свой ключ у него, понятно. Никаких следов ночных оргий замечено не было, и никаких признаков какого-либо подобию лежанки. А старенький электрочайник и плиту на одну конфорку Кашинцевы давно уже на квартиру привезли. Мастерам тоже кушать надо, пусть пользуются. Вано — не скажешь, чтобы с ног валился — такой, какой и был: и черный, и тощий, и борозды по щекам. И улыбка та же, лошадиная. Ну, может, курил побольше да на кофе налегал. Но плитка размножилась практически по всей уже ванной, изгибы орхидей вились от пола до потолка, и «болгарка» Вано орала всеми своими нервы раздражающими децибелами.

В отсутствие Вано заходили обаяшка Микаэл, скромняга Армен и прекраснотушный Гамлет. Кстати, отношения их с Вано были весьма

прохладными с самого начала. Зная, как трепетно относятся южане друг к другу вдали от родины, Витя даже удивился, было, но потом решил, что конкуренция есть конкуренция. В любой точке земного шара.

— Видишь, — подзывал Микаэл хозяев.

— Что?

— Что-что, стенка криво пошла, видишь?

— И что?

— Что-что, плохо, хо-хо, что ж хорошего...

Такие визиты были неприятны. Тем более, что Микаэл, судя по всему, был прав. Получалось, что Ваню халтурит, что ли. Не кардинально, не убийственно, но все же. Сам же он все списывал на изначальную кривизну стен.

— Витя-джан, как эти строят — руки отрывать! Могут клеить больше класть, но больше — не лучше, есть предел, есть, э, тех-хнология, э...

Технология технологией, но у его земляков в соседней квартирке получалось все же ровнее. Так завязались-то уже с Ваню, как отказывать? Тем паче, что запрашивал Микаэл больше. И вообще, вся троица нарывалась на излишне панибратские, с точки зрения Вити, отношения. Хохотунчик Микаэл не раз уже предлагал посидеть за бутылочкой «хо-хо, на-астоящего» армянского коньяка, шутейно как бы и уважительно, но все же... Застенчивый Армен как-то справился у Ленки, нет ли у нее подходящей подружки: «я же хороший парень?» — «Хороший». — «Так познакомь меня с кем-нибудь»... А благородный Гамлет, на Витин-то взгляд, проявлял по отношению к Ленке вовсе уж излишние галантности и джентльментство. Тут не в словах дело, а во взорах, и в повороте головы, и в осанке... И потом, Ваню уже работает, за малыми минусами — нормально.

А в один прекрасный день, точнее, вечер, пришел Максим с одиннадцатого.

— Вить, — говорит, — я все понимаю, но и ты пойми: Вика на седьмом месяце, я с работы в десятом часу добираюсь, только упасть бы... А когда «болгарка» всю ночь по мозгам — какой сон? Ну, днем, святое дело, ну до одиннадцати хотя бы — вопросов никаких!

Тоже неприятно. И с соседями ссориться не годится, и отбиваться: мол, не только у нас «болгарка» по ночам, и...

— Короче, Ваню-дорогой, пойми меня правильно: ночная работа не подходит, — Витя прошелся по комнате, обогнув выщербленный табурет со злосчастной «болгаркой». — Что будем делать?

— Витя-джан, — поскреб щетину Ваню. — Так давай: пару дней я на фирме решаю. Делаю там, заканчиваю. Потом там дела нет, я твой весь. Когда там дело будет — э, скажу, заболел. Тебе все сделаю, тогда там.

Ну, так, так так.

* * *

Пару дней подождали, потом Ваню действительно появился, приступил к дальнейшей работе. Уже в дневное время. Лили дожди — и пришел он в довольно щегольской, даже излишне, блестящей кожаной куртке, то ли турецкой, то ли китайской. Излишне, кстати, и теплой, по августовским-то погодным условиям. Ванную закончил — кухня и лоджия на очереди.

Но тут — опять нюансы. «Болгарки» у него нет. Та, которой пользовался, собственность фирмы, выясняется. Витя, куда деваться, — к Ми-

казлу на поклон. Под обязательство непременно посидеть за бутылкой «хо-хо, на-астоящего» договорились. Ладно.

Но дальше-то что?! Кафель на полу в кухне выложить — чего проще? А тут у Ваню стала проявляться непонятная, не замеченная прежде Кашинцевыми тупость. Кухня большая, плитки много, в партии, которую закупили, некоторые плитки — одной марки — чуть светлее, чем прочие.

— Ваню-дорогой, — говорит Витя, — ты те, что светлее, по краям выложи, мы их потом мебелью заставим, видно не будет.

— Как скажешь, Витя-джан, так и сделаем, любой каприз...

А приходишь проверять, — вот они, более светлые, выложены на самом видном месте, да вперемешку с более темными! Ну, хоть бы рисунок какой-нибудь из этого образовывался — нет, абы как наляпал!

— Э, Витя-джан, принципиально, да?

Принципиально! А на лоджии?! Там керамогранит с полосками, полочки должны быть вдоль, друг к другу, ряд за рядом! Чего проще? А у тебя что? Здесь вдоль, тут поперек, там опять поперек, тут вообще... Ваню-дорогой, как можно, куда ты смотришь?

Несколько свежевыложенных плиток Витя лично отодрал — переделывай! Переделал. Но там, где уже схватилось, так и осталось. Не криминально, конечно, кто не знает, и не заметит. Или решит, что так и задумано. Но знающий человек сразу скажет — халтура.

И все это под байки о том, что он такому-то «бо-ольшому человеку камин изразец выкладывал, гроб жизни благодарен, там, э, работа, да — а тут что, Витя-джан»... Тут — мой дом, не олигарха, не генерала, не президента, мне тут жить, и детям моим, и внукам; хочу, чтобы вдоль было, вдоль, а не поперек, понимаешь, дорогой?

Все, вроде бы, понимает, глаза добрые, человечьи, красные от пыли, клея да курица, и улыбка лошадиная во все зубы!

И тупит, конкретно тупит.

* * *

— Витя-джан, — говорит как-то, — аванс прошу.

— Был аванс, Ваню-дорогой, после ванной был.

— Ванна — когда, э? Теперь уже лоджия...

— Ну и сколько?

— Пять тысяч, Витя-джан, больше не надо.

— Пять... Я ж их не рисую. Ну, допустим...

— Витя-джан, просьба, э: вот этот адрес отправь.

И бумажку дает. А на ней написано: «Армения. Город Чаренцаван. Вартамян Анаит Араратовна». И все.

— Жена, да. Сбербанк сходи, отправь — по-человечески.

— Зачем я пойду? Давай, деньги дам, сам отправишь.

— Не-не, прошу, мне долго, тебе просто — забежал, отдал, туда-сюда...

— Да не отправят так. Для банка номер счета нужен, сберкнижки там или карточки. Для почты — индекс, улица, дом...

— Не, Витя-джан, но-ормально. Когда на фирме был, они отправляли, вопросов нет, по-человечески...

Ну, сходил Витя в банк, ну, завернули его там с той бумажкой, конечно. Понятное дело, реквизитов недостаточно. Ну, пережил несколько неприятных минут. Неприятно, когда на тебя, как на дебила, смотрят.

— Ваню-дорогой, давай сам. Ну, нет у твоей жены сберкнижки, на почту сходи, отправь переводом, хоть до востребования.

— Не нужно, не нужно ничего, — и борозды по щетине непаханой.

Ну, не нужно, так не нужно, нечего тупить. К генералам своим обращайся. Но на карте Витя посмотрел: есть такой город в Армении? Есть, на полпути от Еревана до озера Севан.

* * *

Последний неприятный аккорд — история с розетками. Пришел Никита розетки на плитку устанавливать.

— Под ваши розетки, — говорит, — не квадратные нужны отверстия, а круглые. Мы же с вами обговаривали.

Обговаривали, действительно. И с Ваню обговаривали — неоднократно! Но — не уследил Витя.

— Куда ты-то смотрел, — стонала Леночка, — у нас все розетки — в одном стиле. Нам, что сейчас, новые на всю квартиру закупать или плитки выколупывать?

Витя вынул — внутренне — и свою промашку осознавая, и на жену раздражаясь, и на Ваню-дорогого, и на всю эту ситуацию с затянувшейся отделкой, требующей новых переделок и отстежек...

— Витя-джан, — пытался приладить круглое в квадратное Ваню, — здесь замажем, здесь поправим — хорошо будет.

— А почему, дорогой, сразу нельзя было сделать, как договаривались?

— Резец, Витя-джан, нужен такой, понимаешь... А у меня нет.

— А почему, Ваню-джан, ты сразу не сказал?! Кто мастер — ты или я?

— Витя-дорогой, не горячись, вот тут замажу...

А как не горячиться? И нечего на меня смотреть, как Ленин на буржуазию.

Короче, гиря до полу дошла. Короче, сказал Витя: «Все на этом, Ваню, не обижайся, дорогой, но все расчеты мы заканчиваем. Сами будем думать, как дальше, уж извини, без тебя».

И была нехорошая пауза. И кинг-конговские ноздри Ваню усиленно раздувались. И надбровные дуги вросли в переносицу. И борозды вдоль щек затянулись бурьяном. Витя на всякий случай отошел в противоположный угол кухни.

Но ничего страшного не произошло. Рассчитались — щадяще для обеих сторон — и Ваню ушел, накинув свою щегольскую курточку и вернув «болгарку» Микаэлу, перебравшемуся уже на шестнадцатый этаж.

* * *

С командой Микаэла и довели все до ума. Разобрались и с розетками, и с плиткой, которая поперек, да и много с чем еще, если честно. Сторговались — ничего, щадяще.

К сентябрю въехать в новое жилище было, само собой, нереально. Въехали к Рождеству — католическому, чтобы уж за Новый год-то чокнуться, как полагается: где встретишь, там и проведешь. Получилось, слава Богу.

А еще до Нового года получилось-таки посидеть со всей троицей за бутылочкой «на-астоящего». Отмечали и завершение отделки, и получе-

ние Михаэлом российского гражданства, и заодно — поступление Армена на факультет психологии педуниверситета. «Факультет невест», — подчеркнул Витя. «Хо-хо», — одобрительно постучал по животу Микаэла. Гамлет галантно подливал коньячку Ленку, а та все подкладывала ему кусочки приобретенного специально к торжеству торта «Эстерхази». Впрочем, все было в пределах разумного. И маме троица понравилась, особенно весельчак Михаэла. Да и тосты были хорошие: и за завершение эпопеи с отделкой и переездом; и за счастье в новом доме, стоять ему, вам на радость, века и века; и за то, чтобы лифты в нем исправно работали, а дрели с «болгарками», как можно быстрее, замолчали; и за «особнячок», в котором у Михаэла сотоварищи вскоре фронт работ намечается; и за гражданство, и за студенчество, и — «за перспективу». Расстались душевно, предполагая и дальнейшее, впрочем, не слишком назойливое знакомство.

А как-то в феврале уже, да, пожалуй, в феврале, вышел Витя покурить на лестничную клетку. Дымить в квартире, даже на лоджии, — сразу так решили — ни в коем случае. И дым, и вонь, и Митьке, сынуле, — пример отвратительный. Вышел поздно уже, час двенадцатый-первый, у телевизора засиделся — там, у окошка, под батареей, у него баночка специальная для бычков. С водичкой, чтоб не тлели.

Лампочки на площадке еще не горят, все экономят домоуправцы. Витя щелкнул зажигалкой и попятился. Под батареей лежало, скрючившись, тело в легкой, не по теперешним морозам, щегольской курточке.

— Витя-джан, привет, как дела?

— Ваню-дорогой, ты как тут?

— Нормально, э, Витя-джан. Автобус опоздал, извини.

— На автобус?

— Автобус, э, до десяти. Следующий — утро.

Закурили.

— Как, Витя-джан, живете?

— Ну, мы неплохо, нормально, да. Как у тебя?

— Все-все хорошо, э. Автобус опоздал, вот...

— А тебе куда?

Ваню назвал поселок, пригородный, конечно, но добраться туда в такое время и впрямь проблематично.

— А если на такси?

— Такси, Витя-джан, рублей семьсот, не меньше.

— Ну да, — затянулся Витя, — ну да...

— Витя-джан, не волнуйся, я тут тихонько. Утро пять-полшестого уйду.

Нехорошо как-то получалось. Что он тут, под батареей, как бомж... С другой стороны, в квартиру его приглашать, что ли, и постель стелить? И где стелить — на полу? Витя сунул окурок в баночку.

— Подожди, Ваню-дорогой, подожди, — и вернулся в квартиру.

А что «подожди» -то? В своих карманах денег ни шиша. Есть три общесемейных тысячи до полочки, но когда она еще? Есть ипотека, которую еще четверть века выплачивать, есть кредит на кухню, есть и другие долги, образовавшиеся в процессе ремонта, въезда-переезда, закупки мебели и утвари. Но есть еще и скрючившийся под батареей центрального отопления человек. Как быть-то? И те три тысячи — в трех бумажках, сдачу ведь не будешь просить.

Витя прислушался. В квартире тихо. Спят уже и мама, и Митька, и

Ленок. Витя на цыпочках зашел в комнату, открыл дверцу шкафа, нащупал на полочке одну тысячу из трех и вернулся к Ваню.

— Вот, дорогой, на такси. Отдашь, когда сможешь.

Ваню не просто встал, а вскочил — совсем сутулый, почти горбатый, смотрит куда-то в угол. Купюру не просто взял, а выхватил. И ушел. Быстро ушел, почти убежал. Нет, может, и сказал что-то — сквозь зубы — но получилось как-то совсем не так, как Витя рассчитывал. Нет, не надо никаких благодарностей и излияний, мужик мужика выручил — все нормально, с кем не бывает, понятно все. Но как-то очень уж быстро. И... в глаза-то посмотри... И... и Ленку завтра как объяснять?

Уснуть было трудно. Что он так, в самом деле? Рассчитались с ним по-божески, нормально рассчитались, с учетом всего, что он понаделал. Никаких особых санкций за брак не предъявляли. И сейчас я его выручил, ведь выручил — куковал бы скукоженный под батареей в своей куртишке... Хотя бы спросил: «А ты-то, джан, как? Какие у тебя финансовые обстоятельства?» Витя, конечно, распространяться бы не стал, но сказал бы что-нибудь по-мужски веское. Мол, нормально все, дорогой, не бери в голову, я-то справлюсь, а тебе сейчас нужней, что я, не понимаю, между нами, мужиками, когда сможешь...

Объяснение с Ленком прошло на удивление гладко. Только и сказала:

— На две тысячи не дотянем, надо опять занимать.

И еще — на Витину фразу о том, что, вот, помог человеку, доброе, вроде бы, дело — улыбнулась весьма саркастически.

Ничего, подзаянли — выкрутились. Неприятный осадок от истории с купюрой быстро развеялся. Осталось осознание правильного, небольшого, но доброго поступка. Что Ваню тысячу не вернет — понятно. Отчего, кстати, еще приятней. Витя даже, не сдержавшись, рассказал однажды об инциденте с тысячей сослуживцам в курилке. О неприятной реакции Ваню, впрочем, умолчал.

* * *

А уже где-то по весне, когда в недоделанных квартирах подъезда вновь зазвучали жизнеутверждающие трели дрелей да «болгарок», приснился Вите кошмар. Лезет Ваню в образе Кинг-Конга на их восемнадцатизатяжку, зубами желтыми скрежещет, антенны спутникового телевидения и ящики кондиционеров вырывает, черными когтями борозды по наружной плитке продирает, лоджии со стеклопакетами обрушивает. Лезет, гад, снизу вверх, все выше и выше, ноздри кровожадно раздувая. Вот уже у IT-шника с девятого все газосиликаты скovyрнул, вот уже и у Макса с Викой все их внутреннее убранство повывернул (хорошо еще, кошмар кошмаром, но и в нем они ушли с новорожденным гулять куда подальше). И вот уже до двенадцатого добирается, до Кашинцевых. И Витя высовывается из кухонного окна с огнеметом наперевес и шандарахает прямо в напольную жарю, и шандарахает! А Кинг-Конгу хоть бы хны, скалится во все желтые и ползет...

Тут Витя проснулся. Кошмары хороши тем, что просыпаешься вовремя, еще до неизбежного.

Проснулся Витя и осознал, какая же он сволочь. Ждать от человека признательности за тысячу вшивую, когда ты его, по сути, куска хлеба лишил! Кто, если не ты? Кто ему молочные реки с кисельными берегами обещал? А потом кинул? В той мелкой фирме у него, беспаспортного,

небось, или незарегистрированного, хоть какой-то приработок был. А ты — «давай на вольные хлеба, все тип-топ, золотая жила»... Дрянь ты, Витя. Искуситель. Не Мефистофель, конечно, но мелкий бес. От того, может быть, и особенно погано, что мелкий. Крупные по-крупному и наворачивают. А мелкие пакостят исподтишка, быть может, неосознанно. Но гадко.

«Я не хотел!» — взвился Витя в постели. Выбежал он из дома (в лифте съехал), не завтракая, Ленка ни о чем не предупредив. Врубил «семерочку», слава Богу, не подвела, — и помчался по утреннему городу, по залитым весенней слякотью улицам в тот самый пригород, который Ваню называл.

Гнал, гнал — раннее утро выходного, на дорогах пусто — до самого поселка. Когда доехал, сбавил скорость: а, собственно, куда? Стояли дома — похуже, получше. Росли деревья — некоторые с первой листвою, большинство — без. Витя остановился. Пожилые, изборожденные морщинами забот и ожиданий женщины шли к остановке общественного транспорта. Угрюмые женщины, которых ожидал полный забот и не оправдывающихся надежд день. Ленивый кот, утомленно вытянув спину перед Витиной «семеркой», перешел дорогу. Перед чьим-то забором сидел вислоухий щенок, черный, зараза, и крупный, лапы увесистые, шерсть, как проволока, и ноздри весьма приличные. Сидел, грыз какой-то скукожившийся от ненастий мосол. И на Витю посматривал.

«Хорошо бы, — подумал Витя, — нам собаку завести. Митька будет только «за». Вот только что Ленка с мамой скажут?»

И поехал обратно.





Светлана Владимировна Еремеева родилась в городе Волжском Волгоградской области. Окончила Борисоглебский педагогический институт. Работает в Новохоперской районной газете. Публиковалась в журнале «Подъём», областной прессе. Живет в городе Новохоперске Воронежской области.

Светлана Еремеева

ПРОЧЕРК

Рассказы

Э тот документ лежал в шкафу в разноцветной, склеенной из новогодних и восьмимартовских открыток шкатулке. Мишка раньше даже не подозревал о его существовании и жил себе без забот. А вчера учительница Вера Сергеевна велела всем принести в школу свои свидетельства о рождении.

Мать выдала Мишке синюю книжицу, наказала не испачкать и ушла на ферму кормить телят.

А Мишка открыл свой документ. На одной его стороне было указано, какого числа и месяца Мишка родился. На другой вверху было написано слово «родители» с двоеточием. Внизу была вписана мать. А посередине между «родителями» и «матерью» в графе «отец» стоял жирный неровный прочерк.

Мишка остолбенел. К мысли, что у него нет отца, он уже привык и даже не спрашивал мать, куда он подевался. Вернее, однажды он как-то спросил у нее. Но у мамки сделались такие жалкие глаза и сразу полились такие крупные слезы, что Мишка выбежал во двор и больше ни о каком отце не заикался. Ну его! У матери и так глаза на мокром месте, чуть что — уткнется в угол между печкой и койкой и

плачет. Да еще приговаривает при этом разные несчастные слова, от которых Мишке становится так жалко мамку, что он сам начинает глотать слезы. Обычно Мишка, чтобы успокоить мать, стоит рядом, гладит ее по волосам и прислушивается. Если между рыданиями мамка начинает всхлипывать, значит, пора: Мишка обнимает мать крепко-крепко. «Задушишь, сынок», — материна улыбка проглядывает на мокром от слез лице, как радуга на льющем дожде небе. Мишка радуется: мамкиному горю конец.

И все же хоть решил Мишка никакими расспросами матери не документать, но одно дело — просто знать, что отца нет, и совсем другое — принести в школу документ с жирным прочерком.

Мишка представил, как завтра их 3 «Б» перед уроками будет болтать и валять дурака и кто-нибудь обязательно вспомнит про свидетельство и достанет его из портфеля. А потом и все станут хвастать друг перед другом своими документами. А что он покажет? Мишке стало так неловко и стыдно, что он даже не обрадовался своему любимому другу Тольке Пахомову. Тот влетел в комнату, как жар-птица, — щеки красные, мокрый вихор из-под шапки торчит причудливым узором.

— Ты чего дома сидишь, давай на горку. Саночки бегут — как по маслицу!

На горке Мишка немного забылся. Но все равно свербила его неприятная мысль о прочерке. Особенно, когда показался Толькин отец — дядя Ленья.

— Папка с работы идет, — как очумелый, закричал Толька и бросился к своему двухметровому батяне. Тот сгреб сына в охапку и подкинул чуть не до неба. Потом проделал то же самое с Мишкой. Ох, здорово!

Но еще больше друзья обрадовались, когда увидели возвращающегося со смены дядьку Гудка. То-то будет потеха! Веселее и добрее мужика во всем поселке нет. Никто больше него не знает разных прибауток и смешных присказок — недаром что Гудок. В зарплату всю окрестную детвору обязательно конфетами угостит. А с мальчишками любит возиться! И в снежки играть будет, и в сугроб подбросит, и санки так подтолкнет, что летишь аж до старой водокачки. У дядьки Гудка где-то далеко живет уже взрослая дочь, но Мишка еще ни разу не видел, чтобы она приезжала домой. Тетка Лиза ругает мужа балдой, а сама выходит ко двору и с охоткой смотрит, как он возится с ребятей.

Вот и сейчас тетка Лиза наблюдает за ними около своего дома, а на горке — дым коромыслом. В снежной каше мелькнули то Толькины щеки, то Мишкина ушанка, то щербатая улыбка дядьки Гудка. Всю свою беду позабыл Мишка в веселой суматохе.

А дома снова вспомнил. Нехотя поел борща и посмотрел на мать. Та сидела и вязала ему носки. Мишка уже открыл рот, чтобы осторожно завести разговор о свидетельстве, как услышал, что мамка запела. Начинала она всегда с грустных песен. Потом либо перейдет на веселые, либо — тихо заплачет. Ничего она про прочерк не решит. Самому надо. Мишка потихоньку достал из портфеля свое свидетельство и размашисто, прямо по злополучному прочерку, большими буквами вписал: **ДЯДЬКА ГУДОК**. Потом засунул документ в кармашек на портфеле и пошел спать.

...Через два дня мать виновато вздыхала в кабинете ЗАГСа. А строгая женщина с накрашенным сердечком на губах что-то говорила ей о халатности и требующемся на выдачу дубликата времени.

ГАРНУЛЯ

Изредка, перед ранней зарей, ей виделся сон. Во сне шел декабрьский снег, и все вокруг было из ажурной белой шерсти. Около куста запыленной калины стояли двое. Девушка срывала рдяные кисти и с наслаждением грызла замороженные ягоды. Они были горькие, сладкие и снежно-холодные. А ее спутник смеялся и целовал ее окрашенные калиной пальцы. И такое огромное невиданное счастье поднимало ее во сне, что, проснувшись, она еще несколько секунд качалась на нем, как на облаке.

...На старом кладбище маленькой железнодорожной станции с могильной фотографии на засохшие заросли амброзии вокруг смотрит женщина небывалой красоты. Красота блестящая во всех чертах ее лица и в печально-светлом взгляде. Сила прекрасного облика такова, что перед могилкой останавливаются практически все. Кто не знал покойницу — просто кладет конфетку. Кто узнает, всплескивает руками: «Да это же Гарнуля!»

Еще каких-то тридцать лет назад эта женщина была известной личностью в поселке. Без спившейся красавицы не обходилась ни одна веселая попойка, ни один более-менее звонкий скандал.

Слухи про Гарнулю ходили разные. Никто точно не знал, кто подарил ей такое звучное, гарное прозвище, но называли ее в поселке только так. Одни говорили, что когда-то у нее был очень хороший муж — офицер. Что он увез ее не то в Польшу, не то в Чехословакию. Там разбился на машине. Она в это время была на сносях и от этой вести родила мертвое дитя. А кто говорил, что девочка родилась живой, но, пожив несколько дней, умерла.

Гарнуля потом жила в каком-то большом городе, снова выходила замуж (опять же, по слухам, и не раз). А лет в сорок вернулась в опустевший после смерти матери домик, стоявший прямо напротив железнодорожного вокзала, и зажила разом весело и горько.

Сама о себе Гарнуля ничего не рассказывала. А особо пытливых могла и припечатать таким словом, что любопытной бабенке оставалось только качать головой.

По поселку Гарнуля ходила в синей, чисто выстиранной фуфайке и в белом ажурном платке. В этом наряде она была похожа на артистку, которую загримировали для роли сельской труженицы. Вместе с другими станционными бабами она выходила к поездам торговать семечками и пивом. У Гарнули всегда покупали охотно. После торговли она с товарками шла в придорожную столовую. Часто угощала. Выпивали сначала для сугрева, следом — для веселья, а потом, наконец, и чтоб унять тоску. В хмурое предвечерье, под стук колес пронесившихся мимо станции поездов, на улице раздавалось хрипкое пение:

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло,
Только мне не плачется, на душе светло,
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие, под соседний стог...

Это Гарнуля возвращалась домой. Начинаясь запой. Дня три-четыре она не выходила из дома. Туда-сюда ухлестывали только ее визгливо-крикливые подружки. Потом она их разгоняла, отстирывала свою фуфайку и шла к поезду.

Однажды какой-то, на вид интеллигентный, пассажир, увидев ее все еще красивое лицо, взял да и слез с поезда. Вот так просто: купил у нее две бутылки пива, пошел в свое купе, схватил чемодан и вышел. Потом они с Гарнулей сидели в пустом зале ожидания. Она что-то тихо сказала ему, и он поплелся к железнодорожным кассам. Одна из торговок хотела было поднять неудачливого кавалера на смех, но Гарнуля так цыкнула на нее, что та собрала свои семечки и отошла подальше.

Обычно баб-пьяниц презирают. Гарнулю в поселке тоже не почитали, но жалели ее красоту. А она чувствовала это и вскипала такой злостью, что в ее черноте тонуло все. Будучи под хмельком, Гарнуля особенно не любила женский пол. Встречаться с ней на улице в это время было опасно: правду-матку она резала такими кусками, что «чертовы сплетницы» могли и подавиться.

Единственная, кто пользовался ее расположением даже в запое, была поселковая сумасшедшая Валя Лебедь. Эта Лебедь и зимой, и летом ходила по поселку с распущенными волосами без чулок, но в сапогах. Ее долговязая прямая фигура часто становилась объектом насмешек. Про Валу в поселке говорили, что в молодости она была вполне нормальной, училась в медучилище. До такого состояния ее довел бывший возлюбленный, который в порыве ревности долго бил ее головой о стену.

Стоило только кому-нибудь обидеть Лебеда, как Гарнуля бросалась ей на помощь. «Иди, Валюха, не бойся», — говорила она, провожая длинную трясущуюся Лебедь и показывая улюлюкающим мальчишкам кулаки.

А вечером соседи вновь слушали про «сядем в копна свежие, под соседний стог». Иногда Гарнуля уже и оседала — не в стог, а прямо на дороге. Бывало, что и засыпала на улице. Катилась она под горку, щедрой горстью раздавая дни и годы за минуты призрачного душевного покоя. Потом минуты становились секундами, а потом уже и они куда-то проваливались, и не оставалось ничего.

...Как-то весенним вечером Гарнуля уныло сидела около своего дома на покосившейся облезлой лавочке. Мимо нее, видно, что с поезда, проходил незнакомый пожилой мужчина в нарядном светлом костюме и с дорожной сумкой через плечо.

Он подошел к Гарнуле. Поздоровался. Этот человек давным-давно не был в родных местах, и ему хотелось с кем-нибудь поговорить, чтобы поделиться своей радостью. Он ликовал от того, что через тридцать лет приехал на родину, что он наконец-то видит этот маленький обшарпанный вокзал и застывшую на углу плакучую иву. Его сердце пело о том, что скоро он встретит своего брата и вечером, на застолье, признается ему, что хоть он и многого добился в жизни, но уже давно не был так счастлив, как сегодня.

Мужчина начал о чем-то справляться у Гарнули. Та охотно отвечала. Но вдруг он пристально посмотрел на нее и спросил:

— Извините, ради Бога, вас не Ларисой зовут?

— Нинка я.

— Обознался, значит. Была во времена моей юности одна замечательная девушка. Удивительно красивая и добрая. Однажды Васька Жупан меня за клубом с компанией избил и велел никому ко мне не подходить. Говорит, пусть видит, кто здесь хозяин. Одна она не побоялась. Кровь мне платком своим вытерла. Платок ландышами пах. Помогла встать. Интересно, где она теперь...

— Что жалеешь, что не охмурил тогда? Не отблагодарил, — внезапно грубо и хрипло выговорила Гарнуля собеседнику и неприятно захохотала.

Он встал и пошел дальше.

А Гарнуля продолжала хохотать, пока ее смех не перешел в вой. Ей хотелось догнать приезжего и сказать, что он ошибся. Что она вытерла ему лицо не платком, а своим новым шарфиком, в тон розовому платью. Но Лариса никуда не побежала. Незачем было...





Иван Васильевич Быков родился в 1952 году в селе Пуятино Липецкой области. Окончил Липецкий государственный педагогический институт. Работал учителем в школах Воронежской и Липецкой областей. Лауреат конкурса «Добрая лира». Печатался в центральных и областных газетах, коллективных сборниках. Автор книг для детей «Мышиное семейство Монти-Морих», «Догадливый кот — урожайный год», «Враль и герой Мишка Орлов» и других. Член Союза писателей России. Живет в городе Нововоронеже.

Иван Быков

ПРИШЛА КУМА В ГОСТИ

Рассказ

Могучий грузчик Серега по прозвищу Самсон-бес был просто истерзан женской домашней половиной. Мать, жена и дочь требовали от него, чтобы он приносил колбасу и зарплату. Шел на работу и всю дорогу громко возмущался.

— Бабы съели с потрохами, Колюх... — жаловался он, великаном возвышаясь над сутулящимся дружком. — А что — и съедать, раз работаю на мясе. Дочери, видишь, срочно понадобились серебристая сумка, серебристое платье и такие же босоножки, а на комбинате заварушка, денег не дают. Пронести же грамм стало невозможно — прежнюю охрану поменяли, чужих поставили, а они хуже волков. Жена, представляешь, давеча отказалась накормить!!!

Николай, семена следом, согласно кивал головой и посмеивался. Он оценивал обстановку по-своему. Свергнутой каким-то, сразу и не поймешь, но все мужики выразительно обзывали его — «бационерным» обществом — начальник был судом восстановлен и собирался, как рассказывала всезнающая соседка, пробраться к себе в кабинет, чтобы хоть печать выкрасть. Народ пронюхал и бушевал по этому поводу, а у его друга Самсона от этого страдал

желудок, и он слабел. Он болел оттого, что не мог приволочь в дом задок от поросенка или килограмма полтора «варенки».

— Мне по барабану, какое начальство! Этот... с растительной фамилией или тот, какого без мата не выговоришь, — бубнил Серега, выкатив глаза, будто с большого бодуна. — Мне колбасы шмат нужен, усек, Васек! Я жрать должен!

Николай Аврора работал технологом в колбасном цехе. Про его мать, учительницу Клавдию Петровну, была сложена частушка:

А ты маленькая,
Головастенькая.
Отчего же ты мала?
Придавила голова!

Сын уродился в мать. Был головастым — воспитан, но старался держаться проще.

— Принесу, — пообещал, — а через проходную — сам. Соображай, Бес!

Серега полной грудью вдохнул приятный запах паленой шерсти.

— Ладно, определись. Волоки «Докторской», — подмигнул самоуверенно.

Ближе к вечеру они стояли за убойным цехом под раскидистым кленом, ветки которого касались колючей проволоки, курчавившейся над стеной. У Сереги дергался левый глаз, а челюсти непрерывно жевали — полкуска варенки он должен съесть.

— А про эту проходную не слыхал, революционный деятель? Гы-гы! Я тоже не слыхал, да добрые люди подсказали. Из-за густой листвы камера не просматривает, что под кленом деется. Щас Аврора даст залп, и моя кобра будить, как временное правительство, низвергнута, усек, Васек! Я подниму сук вверх, а ты кидай. Там, за стеной, камень, точнее, — плита ребром. Это ориентир. Вокруг лебеда, — найдем...

А в это время Николая Аврору уже минут десять искали работники от профкома: он рисовал плакаты, и сейчас, к приезду телевидения, нужно было изобразить что-нибудь яркое и гневное.

Серега потерял Колюху надолго. Пора уходить, а того нет. На проходной сказали, что такой-то ушел часа два назад.

«Вот, шелкопер, даже не предупредил», — удивился Серега и поспешил на выход, забыв снять пиратскую шапочку.

За воротами варилась на жаре и роптала толпа, в основном состоящая из женщин. Визгливо выступала тетя Паша, взмахивала пухлыми руками:

— А что мы при нем имели — ничего! Даже доступ в Красный уголок, и тот закрыл. Никаких тебе премий, никаких тебе путевок...

Богатырская грудь Самсона вдохнула пахнущий потом и пылью воздух, желая заржать, а руки зачесались, вот бы схватить тетку за жирный курдюк.

— Когда я выступаю, — передразнил, хмыкнув, — то никакая стая меня не перелая. — Он закрылся рукой от кинокамеры. — Ничего с мясокомбината не выношу. И в «жюль-шоу» не надо показывать, не так поймай.

— А у вас есть что сказать? — подпорхнула к нему белокурая красавица с микрофоном.

Серега просиял: вот это фортель, как делового, интервьюируют. Ко-

нечно, микрофон не кусок колбасы, напрасно суют его в зубы — сытым не будешь, разве что потешишься. Ну, раз красавица Самсона просит, разве может он отказать. Говорил густым басом:

— Я это... труженик... и причем честный... правда! Вкальваю, пока растантохи вон... права качают! Они и на работе их качают, и дома. Начальство и бабы кого хошь с ума сведуть. В футболе как? Хренового судью — на мыло. Вот и наше начальство на колбасу пора! А колбасу из начальства нашего бабам раздать. И всем будет хорошо!

Его правду-матку оценили, рука с микрофоном так и застыла у толстого носа.

— Представьтесь, пожалуйста!

— Надо работать, а они развыступались! Развели шалман, в натуре! Я по справедливости, поняла? Хотя, — толстый нос Самсона зашевелился, глаза заморгали, а голос взревел, — мне начхать! — на всякий случай микрофон нырнул вбок. — Зовуть меня... гм...

Прическа белокурой корреспондентки напомнила ему копну свежей соломки. Заговорил важно:

— Я знаменитый инженер! Самсон Бесов. Изобретаю машину-корову. Чоб вот так, — он приобнял девушку, провел лапищей по ее белокурой прическе, — взял охапчик соломки, киднул спереди, а с другой стороны ломтец колбаски или стаканчик молока заполучил...

Бронзовое личико улыбнулось. Худышки-плечи дернулись кверху...

— Скажите, изобретатель, а вы чью сторону...

Сергея увидел дружбана в окружении воинственного бабья и понял, что тот пропадает. Дробные женщины трясли руками, плакатами, гневно краснели потными лицами и калгачили, как стая галок.

Он накрыл пятерней микрофон и, шагнув в сторону, взревел:

— Пошли отсель, братка!

Подскочила профсоюзная дама, «душечка-подушечка Машка с пышными трудоднями».

— А ты почему не митингуешь? — спросила, щуря и без того крохотные глазки.

— Налей сначала, накорми, — отмахнулся Бес. — А то на голодное брюхо на всякую брехню не хватает духа. Аврор, пошли!

...Они долго лазили по пышно разросшейся лебеде и полыни. Самсон матерился, его лапищи в колесо согнули здоровенную арматуру.

— На полторашник шмат тянул, сучий потрох! Кого-то благодетельствовали.

— Килограмм и восемьсот грамм. А может, в яму улетела?

— Да что она — с крыльями что ли?

Обследовали трубу, притоптали крапиву в яме, но переброшенной колбасы не нашли.

— Бомж небось подобрал, сучий потрох!

— Вполне мог, — согласился обескураженный Колюха. В среду в бане был, мужики жаловались: куры из гаражей пропадают. Ребятки, видно, промышляют...

Расстались дружки у киоска, который розовел недалеко от гаражей. Вздохматив и без того косматую голову, Серега вздохнул: «Эх, пивца бы. Но раз с колбасой облом вышел, то теперь дома и на пачку «Примы» копейки не дадут».

Со стороны «китайской стены» — очень длинного дома — дул горя-

чий ветерок, белой метелью летел тополевыи пух. Аврора шел, согнувшись в три погибели, так как сильно сутулился. Он спешил домой.

На следующий день удалось приготовить палку копченой колбасы и два килограмма «Адмиралтейской» — «варенки». Колюха принес из дома и специально надел зеленую рубашку, чтобы ее цвет сливался с цветом листьев дерева и делал его незаметным.

Бес, как говорится, силен. Серега так потрянул толстый сук росшего у комбинатской стены клена, что свернул его. Колюха метнул оба «куса» удачно и долго хохотал над могучим Самсоном. Бес не обижался.

— Выйдешь первым, сразу суды, к камню, точнее к плите, — сопел сверху Серега. — Моя кобра, как почуеть колбасу, так и подобрееет, усек, Васек? В среду баня, хоть пузырик водчонки возьму. Не, ты как хошь, а мне эта колбаса во как нужна!

Двух часов не прошло, а вот забыл Бес про дружбу. Вышел за ворота — и задичал, набросился волком. Он нашел Колюху, лазающим по яме, и резко потрянул сзади.

— Опять колбаску съел? — пошутил угрюмо.

— Ты смеешься, — вырвался дружок.

— Смеялся мерин, зубов не разжимая, ухмылка у него кривая, — продолжал угрюмо шутить Серега, недобро кусая полопавшиеся губы. — Где она, где колбаса?

— Ищу минут двадцать. Я ее, как дротик, сюда метнул, — Аврора поднялся с колен, — и вот, нет нигде.

Серега покачал понимающе головой.

— Нету, и не жди, не будя. Ты же на полчаса раньше ушел, усек, Васек...

— Ну и что из этого?

— Отдай хоть половину, сучий потрох!

Сильно задетый за живое, Колюха все слова проглотил от возмущения. Хватает наглости у обалдую наговаривать за какую-то колбасу. Да она давно уже не лезет в горло ни ему, ни матери. Хотел по-дружески помочь, и вот — благодарность. Недаром говорят: не делай людям добра и не получишь зла.

— Да ты, Серег, в своем уме?

А Бес, как прозрел. Ловко его раскрутили. Место показал головастику, бесплатную проходную можно сказать, а он... Наверняка дома опять будут жевать колбаску и над ним посмеиваться.

— Не верить, как можно? — роптал Колюха. — Говорю, не увидел.

«Я душу словно наизнанку вывернул, — вскипал в Сереге Самсон, — а он такую западлянку устроил».

— Что, зеленая муха, жужжишь в ухо: не разглядел, не разглядел... — темно что ли? Могу подсветить?...

Колюха не успел ответить. Удар опрокинул его в лебеду.

— С фонарем легче искать, — уходя, оглянулся Серега, — найдешь колбасу в собственном холодильнике, понял? Найдешь, сучий потрох, и подавишься!

Колюха едва не рыдал. Он долго сидел в яме, среди помятой лебеды и крапивы, привалившись спиной к колючей плите, не в силах пошевелиться. Ветерок оведал горящий огнем глаз. Вот это благодарность!

От обиды он пошел не к остановке, а в противоположную сторону — к кладбищу, там искать утешения.

«Этой дорогой понесут меня хоронить, — остановился у поворота,

мутными глазами оглядывая уходящую к крестам и могилам полосу свежего асфальта. — Время подходящее, так что я готов, осталось сдохнуть».

Постоял и поплелся дальше, минуя «зловещий» поворот. Вечерело, оранжевый, с желтой каймой закат висел над темнеющими соснами. Вяло тишиной и покоем. И в небе, и на земле было хорошо, только в душе все еще вскипала обида, а в побитом глазу бревном стряла палка колбасы:

«Нет, — остановился на другом повороте в сторону лесничества, на серой пыльной дороге, — здесь меня понесут хоронить, среди сосен. В глазу случится гангрена, и на поминках у тебя, чумовой Серега, колбаса застрянет в горле...».

Бедолага прошел поворот и обессиленно присел у поросшего серебристым полынком бугра, склонил гудящую голову на грудь. Теперь недели две придется ходить в темных очках. В цеху женщины обсмеют, скажут, «мамошка наклепала». Скажут, хотя у него нет ни жены, ни любовницы. Неподалеку не то мяукала кошкой, не то взлаивала щенком какая-то «брошенная животина». И так отчаянно, что Колюхе стало ее жальче себя. Кошка, видимо, от страха на дерево забралась и орет.

— Мы оба одинаковые, никто нам не может помочь, — надув губы, бормотал, склоняя голову на грудь, Колюха. — Хоть тоже впору замякнуть.

Из серого мрака темных, покрытых иглами ветвей бесшумно вылетела пестрого окраса птица и, сделав круг, закачалась на острой макушке сосенки. Обиженный доктор колбасных дел отвлекся от горьких дум.

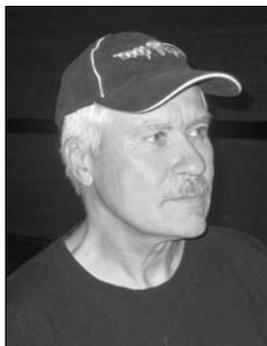
«Что за ягодка в смородиновом киселе?» — залюбовался на красное небо и на тупоголовый силуэт совы. А «ягодка» тревожно замяукала. Чудеса!

Вдруг край правого глаза уловил движение внизу, в траве. Колюха медленно повернул голову, взгляделся. Из-за кучи песка мелькнули две песочного цвета спинки, приподнялись и исчезли пушистые, похожие на беличьи хвосты глинисто-песчаной расцветки. Потом с другой стороны кучи на него с любопытством глянула сначала одна, а потом вторая, а потом еще две настороженные мордочки щенков с торчащими в разные стороны большими ушами. Он опешил. Это же... Но ведь... Сердце взволнованно заколотилось... Но ведь это... Прямо у дороги, можно сказать, посреди города — лисята. Да такого быть не может, но вот же они... — рыжики-бармаярыжики в черных носках... с глазами хитрыми и любопытными... Запершило горло, он кашлянул, и зверьки исчезли.

В Колюхе разом проснулся мальчишка-исследователь. Нор было две. Они вели внутрь канализационных коммуникаций. У второй норы валялись испачканные в песок обрывки колбасной обертки.

— От «Докторской» и «Адмиралтейской», — определил безошибочно технолог и расхохотался. Он смеялся так, что слезы лились из его глаз, смывая и боль, и горечь, и обиду, гоготал гусем, стуча кулаками по песку и по траве. Он упал на спину, засучил ногами, не в силах остановиться. — Хитра рыжая кума, хитра!.. Не, Серега упадет, когда лисят увидит. Сначала не поверит, а потом сам колбасы им припрет. Раз уж пришла кума, скажет, не забоялась, то вот твоим шустрикам от Самсона-беса презент.

Глаз прошел, обида забылась, все это казалось такой ерундой. Он шел и улыбался, распираемый своим открытием, а вслед ему жалобно мяукал небольшой воробьиный сычик.



Александр Михайлович Андреев родился в 1954 году в селе Горячие Ключи Курльского района Сахалинской области. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. Работал преподавателем, мастером производственного обучения. Печатался в журнале «Подъём» и воронежской периодике. Живет в Воронеже.

Александр Андреев

ПАМЯТНИК

Рассказ

*На Дону, на Замостье,
Тлеют белые кости,
Там, где степи шумят, широки.
Помнят псы — атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.*

Из песни времен
Гражданской войны

Война, пришедшая в эти места в сентябре 1939 года, после непродолжительной остановки покати-лась дальше на Восток, увязла там надолго, и через четыре года вернулась в эти края еще более мощно и разрушительно, чем началась. Тогда, в начале, мало кто сомневался в скорой победе немецкой армии над «неумелыми и бессильными» русскими дивизиями. Но за разгромом не последовало капитуляции, и у Сталина оказались достаточно крепкие нервы, чтобы вести себя так, словно ничего не произошло — даже когда немцы оказались в 20 километрах от Москвы.

А там — не Дед Мороз и не Пресвятая Богородица, а только воля народа и его вождя остановили доселе непобедимые армии врага и обратили их в бегство. Слава товарищу Сталину!

Такие, или примерно такие, мысли проносились в голове молодого майора А.,

который на правах коменданта города принимал инспекцию Первого Украинского фронта в лице генерал-майора Н. После стремительного наступления от Луцка через Владимир-Волынский, через польскую границу в направлении на Сандомир, с форсированием еще неглубокой и узкой Вислы, нашими войсками был занят небольшой плацдарм с расположенным на нем городком Замостье. Здесь командира дивизиона тяжелых гаубиц майора А. попросили задержаться и принять командование этим населенным пунктом. Наступление Красной Армии к концу августа 1944 года было закончено, и командование решило создать здесь базу отдыха и реабилитации воинских сил, немало растраченных за это наступление, и ждать приказа о следующем, которое было так же неизбежно, как неизвестна его дата.

Здесь было хорошо отдыхать и набираться сил. Городок достался Красной Армии почти без потерь, так как вермахт стремительно отступил за Вислу и только у Сандомира оказал ожесточенное сопротивление, впрочем, не помешавшее нашей армии захватить удобный плацдарм. Бои закончились, и было ясно, что в этом году наступления более не будет — настолько велики были потери.

«И все же это хорошо, — думал майор, — год мы заканчиваем впервые за войну на вражеской территории, вся страна освобождена, кроме Курляндии, но это ерунда, а на следующий год мы или помиримся с немцами на наших условиях, или двинем дальше — до Одера, а то и до Берлина.

Примерно о том же думал и генерал, приехавший проверить хозяйство майора — как он закрепился на этой чужой земле, насколько хорошо будут стоять здесь войска, набираясь сил в ожидании последующего приказа, сможет ли этот 27-летний майор создать нормальные условия для наших войск, не будет ли осложнений с местным населением, которое, как он помнил, далеко не с восторгом относилось к русским.

Он уже бывал здесь однажды, в такие же августовские дни — в 1920 году, в составе Первой Конной Армии Буденного, смелым ударом захватившей Замостье и готовой наступать дальше, нести мировую революцию в глубь Европы под лозунгом «Дашь Варшаву — дай Берлин!». Но Тухачевский был разбит под Варшавой, и пришел приказ повернуть на восток, против более удобных противников — своих соотечественников. Махно и Врангель, в отличие от поляков, оказались Первой Конной Армии вполне по зубам. А о Замостье генерал помнил из-за совпадения — свой первый бой он принял также под Замостью, но другим, на левом берегу Дона, под Богучаром, где была разгромлена банда Васьки Карася, донского казака, который после отхода деникинцев решил воевать своими небольшими силами и, после непродолжительных успехов, был наголову разбит частями Первой Конной. Не забыть об этом помогала и известная песня «На дону, на Замостье...». Да, польские паны тогда надолго запомнили силу клинков Буденного. Молодой, красивый, усатый командарм смело бросился в бой у Замостья, где было тогда порублено несколько тысяч шляхетской конницы — тоже весьма хорошие рубаки, но их было слишком мало. И генерал с некоторым волнением ехал в этот памятный ему польский городок.

«Равняйся, смирно! — майор четко отдал команду построенному для встречи взводу и, взяв под козырек, пошел строевым шагом навстречу вышедшему из машины проверяющему. Генералу понравился этот старательный, подтянутый офицер, чьи команды точно выполнял взвод.

Он молча взял под козырек, скомандовал:

— Дайте вольно! — и жестом пригласил майора в свой «Виллис».

Они медленно ехали по расположению наших войск, где все было в порядке. Майор доложил, что солдаты расположены в удобном месте на лагерной стоянке, что офицеры стоят на постое у местных обывателей, что товарищу генералу приготовлены банька, стол и хороший ночлег в очень приличном месте. Можно было, убедившись, что все нормально, и отдохнуть с дороги, но генералу неожиданно вспомнились эти места двадцать четыре года назад — дым, разрывы снарядов, треск выстрелов, как следствие неожиданно сильного сопротивления польских войск — и так же неожиданно для самого себя генерал предложил:

— Майор, а не прогуляться ли нам по... Замостью?

Они проехали по тихим улочкам среди обывательских домиков — красивых, аккуратных и чистеньких, словно польская паненка на танцах — видно было, что бои не коснулись городка ни в 1939-м, ни в 1944-м годах, в отличие от 1920-го, но с тех пор ничего не изменилось... — стоп, а это что?

Генерал резко привстал с сиденья и ошеломленно посмотрел вперед. На площади, куда они выехали, возвышался памятник. Сильный, тяжелый конь вздыбился под не менее сильной рукой всадника — мощного, плотного пана, левой рукой натянувшего поводья, а правой взметнувшего над собой саблю. Усы пана грозно топорщились, конфедератка была сбита на затылок в азарте боя, и генералу тут же вспомнилась лихая атака польских жолнеров, где они все полегли, больше под огнем картечи и «Максимов», чем под шашками красных казаков.

Это воспоминание взволновало и одновременно разозлило генерала. Он дал команду шоферу подъехать ближе и увидел надпись на пьедестале.

— Что там написано, майор? — резко спросил он.

— Что они могут написать, — пожал плечами майор, «Доблестным польским жолнежам, значит, солдатам, загинувшим вид банд Буденного», — спокойно перевел майор, не понимая, что так расстроило приезжее начальство.

— Что! Да как ты... вы... майор. Я... я удивляюсь вам! Да как вы могли оставить это... этот плевок в лицо нашей доблестной армии! — генерал аж задохнулся от возмущения.

— Вот что, майор, или вы тотчас же уберете это... чучело, или... Я вам такую характеристику выдам, что... Штрафбат вам родным домом покажется! — генерал, казалось, был охвачен припадком. — Вы поняли меня?

— Так точно, товарищ генерал!

Ответ майора был четким, вежливым, но чуть равнодушным, как если бы он шел навстречу желанию капризного дитяти, которое чем бы ни тешилось. Правда, памятник ему нравился. Он уже не раз успел сфотографироваться рядом с ним — один, с друзьями-офицерами, и даже с пани Ленкой, у которой в доме квартировал.

— Прикажете убрать?

— Конечно, майор! — прорычал генерал, решив показать этому либерально настроенному офицеру свой характер. — Даю вам десять минут!

— Вполне хватило бы и пяти, товарищ генерал, — спокойно ответил майор и, не оборачиваясь, скомандовал своему ординарцу-татарину:

— Ахмет! Два человека и ящик тола сюда, и через пять минут чтобы ничего здесь не было!

Они вышли из машины, которая тут же понеслась куда-то, вскоре вернулась, начальство вежливо попросило отойти подальше, затем — грохот взрыва, летящие обломки и облако пыли. Когда оно рассеялось, на месте прежнего памятника осталось ровное место.

— Ваш приказ выполнен, товарищ генерал!

Оба задумались. Генерал успокоился и теперь думал о необоримой силе Красной Армии, которой никто и ничего в мире не может противостоять, и что майора, пожалуй, все же нужно поощрить... впрочем, надо еще поглядеть, что за ночевку и баньку он приготовил. А майор думал о другом. Он думал об оставшейся в тылу семье — жене, дочке и матери жены, чье происхождение из буржуазной Прибалтики было постоянной головной болью и угрозой всей его карьере, не считая того, что отец жены два года отсидел в лагерях — потом, правда, был реабилитирован — все это знали, но не придавали вроде бы никакого значения — ведь товарищ Сталин лично объявил благодарность майору А. в прошлом году за Курскую дугу, и его пока остерегались трогать — но неизвестно, как бы среагировало начальство на его отказ взрывать чужой памятник — между прочим, братскую могилу.

— Ваш приказ выполнен, товарищ генерал! — повторил майор.

Тот кивнул молча и показал в сторону машины.

Вечером, довольный и распаренный, за накрытым столом генерал завел с майором душевный разговор.

— Не бойсь, майор, — благодушно сказал он. — Доволен я твоим комендантством — так и доложу! А знаешь, почему? Не за боевую и прочую подготовку — я и так знал, что она на высоте, а вот баньку ты организовал высший класс! В Томашевичах мне ва-а-анну приготовили, представляешь? Мне, русскому человеку! Я в ней поскользнулся и чуть рожу не разбил — себе, конечно, а не тому коменданту, хоть и стоило. А ты — молоток, уважил старика! Но главное не это, а... он чуть помедлил — угадай! С трех раз, ну?

— Догадываюсь, — сдержанно кивнул майор. — Памятник?

— Еще раз молоток! — усмехнулся генерал. — Лихо ты пана с его сабелькой уделал! Хоть и засомневался было я, ты уж прости. Пойми ты, весь этот местный гонор надо давить беспощадно, в землю втаптывать! А то ишь, «вид банд Буденного»... Зря, что ли, мы здесь кровь проливали — и тогда, и сейчас? Вот у тебя брат в июне сорок первого куда делся?

— Пропал без вести, — ответил майор.

— Правильно, да не все ты знаешь! — нахмурился генерал. — Немцы его и еще троих наших захватили. Что было потом, мы не знаем, зато известно, кто их сдал: местный куркуль — поляк. Вот так! Не жалея их!

И после паузы продолжил:

— Я, брат, все про тебя знаю. И про жену с дочкой, что тебя ждут, и про тестя твоего, врага народа... да не горячись, знаю я — реабилитировали его. Ежов, подлец, наломал дров — ну, да Лаврентий с ним разобрался... и про твой подвиги знаю — Поньри, Днепр, благодарность от Верховного — уважаю! И про Ленку твою здешнюю тоже знаю! — хитро прищурился он. — Ничего, ничего, молодец, так с ними и надо! Мы теперь здесь хозяева, навечно! Верно?

— Так точно, товарищ генерал! — четко ответил майор и встал из-за стола.

— Разрешите идти? Завтра по плану у меня с утра занятия с офицерами по теории стрельб, — пояснил он.

— Надоел я тебе? — усмехнулся генерал. — Ладно уж, ступай... бог войны! — захохотал он, явно довольный собой.

— Есть!

Майор не пошел на свою квартиру, а решил заночевать в палатке для младшего комсостава. Но сон почему-то не шел к нему. Казалось, все обошлось, проверка прошла успешно, и можно теперь спокойно заниматься своим делом, но что-то неприятное осталось после разговора с генералом... Да, есть среди поляков враги, но есть и Армия Людова, и Войско Польское, которые воюют против немцев. Понравился бы им сегодняшней взрыв? Да и немцы — пусть враги, но как они умеют воевать! И не все наши генералы такие, как этот. Вон товарищ Конев, генерал армии, под Курсунь-Шевченковым убитого немецкого генерала Штеммермана приказал похоронить со всеми воинскими почестями! Вот как надо делать, а не глумиться над убитыми и над их могилами, ведь и наши могилы есть, и еще наверняка будут, в чужой земле — и здесь, в Польше, и в Румынии, будут и в Германии — ведь мы хотим, чтобы их уважали... и, засыпая, он пытался представить, что же будет после войны.





Валерий Иванович Богушев родился в 1958 году в Калининграде. Окончил Воронежский политехнический институт. Работал инженером геологоразведочной экспедиции на Крайнем Севере, инженером-конструктором новых моделей электронной техники. Автор книги рассказов «Хозяин Вселенной», романа «Путешествие в несбывшееся». Публиковался в литературных изданиях Воронежа, Москвы, Сарова, Хабаровска. Живет в Воронеже.

Валерий Богушев

«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ...»

Рассказы

Он поставил свой «МАЗ» в гараж и зашел в бухгалтерию.
— Здравствуйте, можно у вас справку о зарплате получить? Хочу ссуду в банке взять.

— Да, конечно, — взглянув на него, приветливо сказала девушка, сидевшая за компьютером. — Фамилия, имя, отчество?

— Бережков Павел Алексеевич.

Девушка была самая обыкновенная, со светлыми волосами до плеч и серыми глазами. Она пощелкала клавиатурой, распечатала справку на принтере и вышла подписать у главного, улыбнувшись и мелькнув под коротким свитером полоской смуглого живота. Из джинсов сзади выглядывала тонкая полоска трусиков, как бы приглашая дорисовать в воображении все скрытое от взгляда. «Надо же, до чего дошло», — мысленно усмехнулся Бережков. Во времена его молодости такая откровенность никому и не снилась...

Павел Алексеевич стоял и ждал. Монитор был включен, и по зеленому полю проплывала на разных уровнях набранная крупными красными буквами одна и та же фраза: «Я тебя люблю!»

— Интересно, кто этот счастливчик? — кивнув на экран, пошутил Бережков, когда девушка вернулась.

Она улыбнулась, сказав, что просто так развлекается, и торопливо закрыла

фразу, вызвав из глубин компьютерной памяти какую-то скучную бухгалтерскую таблицу.

— Недавно работае у нас? — спросил Павел Алексеевич.

Она охотно рассказала, что окончила юридический техникум, учится заочно на экономическом и боится, что ее не оставят после испытательного срока из-за учебы.

— Все будет хорошо, — успокоил ее Бережков.

Спустя два месяца он увидел ее на новогодней корпоративной вечеринке в кафешке.

Она, запыхавшаяся и сияющая, вернулась с танца за свой столик, где он с электриком Дмитрием Александровичем, высоким и прикольным мужчиной за сорок, успел познакомиться и выпить за любовь с двумя ее подругами. Садясь, она словно нарочно задержалась в наклоне так, что в вырезе блузки стала видна ее грудь, и с улыбкой назвала свое имя, показавшееся ему таким соблазнительным, похожим на тающий во рту кусочек шоколада, — «Даша».

— Ну как, удалось взять ссуду? — спросила она.

— Уже и потратить успели. Купили машину.

Снова выпили и вышли покурить в закутке перед входом в кафе. Потом опять сидели за столиком, допивали вино «за вас и за нас».

— Ты кого выбираешь? — спросил вполголоса Дмитрий Александрович?

— На танец?

— На танец и вообще. Думаешь, девушки нас для танцев за свой столик пригласили?

— А для чего еще? Мы им в отцы годимся...

— Ну, Алексеич... отстал от жизни... Ладно, я выбираю Анжелу. Не возражаешь?

— Да нет...

А когда они с Дашей остались вдвоем за столиком, она сама позвала его танцевать. Это был быстрый танец, но она не примкнула ни к одному из кружков.

— «...Я скучаю по тебе», — подпевала она нежно и озорно колокольчиковым голосом. Ее серые лучащиеся глаза смотрели зовуще и ласково. Пожалуй, может быть, и не влюбленно, но влюбляюще — это точно! Даша словно приглашала в мир молодости, полной надежд и радостного многообразия выбора. Она гипнотизировала взглядом, и он не мог оторваться от чуть пьяных, озорных, невинных, соблазняющих глаз в ободке обведенных тушью ресниц. В этот миг он чувствовал себя счастливым и готов был простить судьбе все предыдущие несправедливости — от равнодушия девушек в юности, когда больше всего хотелось нежности, до еще не зарубцевавшихся в памяти нескольких лет всеобщего развала. Он ощущал сейчас только упоение от ее близости, от осознания того, что чем-то ее привлекает. Чем может нравиться молоденькой девушке выдавший виды мужчина? Влечет ли их недоступный и многообразный опыт разочарований и любви, поражений и побед, который отражается в чертах лица, манере разговора и жестах? Или манят блески золотой пыльцы навсегда исчезнувшего времени? Или предчувствие предстоящего? А, может, она сейчас опьянена вином и весельем, и ей хочется любить всех...

Танец закончился, но она не ушла, осталась с ним. Началась новая зажигательная песенка.

А он вспомнил, что другая гибкая и грациозная девушка, не отрывая

от него взгляда, подпевала точно так же много лет назад на дискотеке в автодорожном техникуме:

Кто тебе сказал, кто придумал,
Что тебя я не люблю?

И где теперь та сладкоголосая, сводившая всех с ума студентка?!

Песня еще не закончилась, когда Даша увлекла Бережкова в укромный уголок за раздевалкой. Он ощутил ее долгий поцелуй и горячее щекотное дыхание в ухо:

— Поехали ко мне.

— К тебе? А это удобно?

— Да ты не волнуйся. Мы с подругой квартиру снимаем. Она на все праздники уехала домой в деревню...

Они стали встречаться. Не часто, но зато сколько радости доставляли и ему, и ей эти тайные короткие свидания. Взгляд у Павла Алексеевича стал светиться уверенностью и бодростью, как в молодости, а Даша однажды призналась, что в его объятиях чувствовала себя так спокойно и сладко, как ни с одним из прежних молодых людей.

— И много у тебя их было? — спросил Бережков, простодушно усмехаясь, скрывая неожиданное чувство ревности.

— Какая тебе разница? Я всем им предпочла тебя.

Она не заметила, как обычная и не первая для нее интрижка захватила ее. Если назначенное свидание почему-то срывалось, Даша не находила себе места...

И наконец, она не смогла делить ставшего ей любимым мужчину с кем бы то ни было, и поставила ультиматум: или я, или жена. Судьба давала Павлу Алексеевичу шанс все начать сначала. Но, кроме жены, был еще сын, который через год заканчивал школу. После мучительных и тяжелых раздумий Бережков выбрал семью...

Он болезненно переживал разлуку. Тянуло зайти в бухгалтерию, просто увидеть Дашу, поговорить, но он сдерживал себя.

В первую субботу августа у него был день рождения. С утра давило беспокойное чувство, — как-то незаметно стукнуло уже сорок шесть... То и дело звонил телефон...

— Да, слушаю, — сказал он, в очередной раз сняв трубку.

— Павел, милый... поздравляю тебя и желаю, чтобы все у тебя было хорошо, — это была Даша.

— Спасибо, — настороженно ответил Бережков, и, убедившись, что жена гремит на кухне посудой, добавил уже другим голосом. — Мне очень приятно, Даша... Не ожидал... Я думал, ты меня совсем забыла.

— Никогда. Месяц назад на работе случайно увидела в окно, как ты курил в беседке, грустный такой, и всю ночь до трех часов плакала. Со мной ни разу такого не было. Я хочу, чтобы ты знал, я ни о чем не жалею.

— Я тоже. Мне было очень хорошо с тобой... Видел тебя как-то с парнем на улице. Ты... с ним встречаешься?

— Да. Отбила у одной барышни, — в ее голосе прозвучали грустные нотки. — У нас все серьезно. Раньше и не думала об этом, а теперь очень хочу семью. Ребенка.

— Желаю тебе счастья.

— Спасибо. Целую, целую, целую...

Он повесил трубку.

— Кто звонил? — спросила жена.
— С работы...
— Молодцы, не забыли. Давай на стол накрывать. Скоро гости придут.
— Да, пора, — машинально ответил он и раскурил горчащую сигарету...

ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ В ПОЛНОЛУНИЕ...

Однажды зимой, в полнолуние, ему, как прежде, захотелось свободы, безумств — воли. Во время прогулки по заснеженным, искрящимся лунным светом улицам неожиданно и легко пришло решение не возвращаться домой. Что-то неодолимо тянуло туда, где радость, риск и перво-бытная страсть. Раньше, в молодости, он мог удариться в загул на трое суток кряду, теперь хватило и одной ночи. Он явился под утро, едва живой, дрожа от холода и не в силах извлечь из себя ни одного звука. Несколько раз настойчиво царапнулся лапой в дверь. Его впустили.

— Батюшки! Где же тебя носило! — воскликнула хозяйка. Вся шкура от длинных ушей до обрубка хвоста в мелких сосульках, репьях и снегу. Он долго пил воду из миски, подкреплялся завтраком, затем в позе сфинкса выкусывал репья с комьями снега и аккуратно складывал около себя. Время от времени перебирался на новое место, оставлял на полу колючки и натаившие лужицы. Он так намерзся, преданно следуя за прекрасной незнакомкой, что не может унять дрожь весь день, но, кажется, очень доволен, и умными, умиротворенными, невиноватыми глазами поглядывает вокруг.

К лету Виконт стал больше есть и спать, отчего заметно раздался в боках. Студенты с баночным пивом в руках, встретившиеся ему однажды жарким днем, подняли на смех его несоразмерную фигуру на тонких и грязных после посещения лужи ногах. С достоинством миновав веселую компанию, спаниель оглянулся и укоризненно полаял ей вслед, будто хотел сказать:

— Ничего. Вот доживете до моих лет...

Теперь он с трудом, хотя и по-прежнему охотно, преодолевал многокилометровые переходы с железнодорожной станции на дачу по тенистым лесным песчаным дорогам. Не пропускал ни одной лужи, лакая на ходу из нее или ложась на самой середине охладиться. Состарившись, он едва попевал за хозяевами, понуро труся следом с высунутым розовым языком. То ли было в молодости, когда он метеором, с отдаленным звонким лаем, сливавшимся с эхом, обегал окрестные заросли в погоне за какой-нибудь мелкой птичкой, которая, словно дразня его, перелетала с ветки на ветку.

В середине августа, почувствовав недомогание, Виконт с утра ничего не ел и не пил, с трудом передвигался по квартире и все спал в излюбленной позе, положив голову меж вытянутых передних лап.

С наступлением темноты совсем ослаб, не мог подняться даже с чужой помощью, ноги не слушались его и разъезжались в разные стороны. От вечерней прогулки пришлось отказаться. Затем, когда все в доме улеглось, ему стало совсем невмоготу. Он, не переставая, жалобно поскуливал о том, как ему невыносимо плохо наедине с болью и как страшно, не простившись, покинуть хозяев, надевавшихся, что все обойдется. Он звал на помощь. Ему было жалко себя и хозяев, которые еще не знали, каково

это расстаться навсегда с тем, кто с трепетной радостью и восторженно-радушным повизгиванием по вечерам встречается у порога каждого живущего в этой большой многокомнатной конуре... Наконец, почуяв неладное, кто-то подошел к нему и начал поглаживать и бормотать ласковые слова. Пес сразу перестал скулить, дышал тяжело и хрипло.

После полуночи его завернули, как ребенка, в старую болоньевую куртку и понесли к ветеринару.

— Хорошо, если доживет до утра, — сказала только что разбуженная молодая женщина в домашнем халате, осмотрев пса на освещенной веранде. — Собака старая. Когда-нибудь это должно было случиться. Я сделаю несколько уколов, только для успокоения совести...

На обратном пути собачье сердце перестало биться... И через месяц домочадцы все никак не могли привыкнуть, что никто не путается у них под ногами, не спит по очереди на всех креслах и кроватях, не спешит на стук чайной ложки о стакан, чтобы успеть выклянчить кусочек печенья и не ворует носки, тетрадки, платки, деньги и спички, требуя взамен какой-нибудь вкусный выкуп.

— Давайте заведем щенка, — просили дети-старшеклассники.

— Разве что дворняжку — с сомнением говорила мать. — Они не болеют. И очень умные. Одна женщина на работе рассказывала, что они взяли к себе жить дворнягу. Так она у них самостоятельно выходит гулять по утрам. А потом стала куда-то исчезать до вечера. Выяснилось, что она ждет на остановке трамвай, потом садится в него, едет пару остановок до рынка и целый день там промышляет.

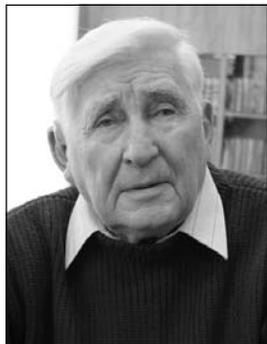
— Надо же... Нет, и не уговаривайте, больше никаких животных, — непреклонно заявлял глава семьи, человек не сентиментальный.

Но и ему последнее время приходила в голову поразительная мысль, что у него был один-единственный друг, и тот — четвероногий. Сколько с ним исхожено грибных мест! В его обществе никогда не бывало скучно, хотя он не умел поддерживать разговор. Просто бежит рядом, петляя по шуршащей листве и увлеченно расшифровывая книгу звериных следов и едва уловимых запахов... За весь свой собачий век никого не предал, не сделал даже мелкой пакости, на которые так падки люди, испорченные погоней за хищниками избытка.

Как-то осенним вечером глава семьи возвращался с работы. Недалеко от дома заметил на мокром после только что прошедшего дождя пустыре собачью стаю. Когда поравнялся с ней, глазам не поверил — среди обычных дворняг резвился необыкновенно красивый вислоухий щенок месяцев шести от роду, — с тремя большими шоколадными пятнами на серовато-белой спине и мелкой россыпью точек на ногах, словно цветная копия черно-белого Виконта. А вот та шустрая собака — темно-коричневая, с рыжими подпалинами — наверное, и была прекрасной незнакомкой старого спаниеля, когда он исчез на всю ночь во время прогулки однажды в полнолуние минувшей зимой... Человек остановился в изумлении, и сказал, поманив щенка:

— Ну, хорош! Где же ты до сих пор скрывался? Тебя-то нам как раз и не хватает.





Яков Федорович Кравченко родился в 1929 году в городе Острогожске Центрально-Черноземной области. Окончил Воронежский государственный медицинский институт. В течение 35 лет работал хирургом. Почетный гражданин Острогожска. Автор многих книг прозы. По книге «Ночь на кордоне» снят художественный фильм. Член Союза писателей России. Живет в городе Острогожске Воронежской области.

Яков Кравченко

ЦЫГАНОЧКА

Рассказы

Однажды в субботу вечером у Подвальневых, как всегда, играли в лото. Играли трое: сама хозяйка, у которой, несмотря на возраст, волосы были пышные и лицо еще сохраняло следы былой привлекательности, ее сестра Александра, приехавшая из Воронежа. Из мужчин играл Глотов Валентин, инженер газопровода, чисто выбритый и безупречно одетый. В качестве накрывашек использовали войлочные пыжи 12-го калибра. Игра шла бойко, весело, все шутили, смеялись, рассказывали забавные анекдоты. Если кому выпадал выигрыш, вспыхивал такой шумный восторг, будто тот выиграл миллион, хотя выиграть миллион, играя по десять копеек, совсем уж мудрено. И так игра продолжалась до одиннадцати часов. Постепенно интерес к игре ослаб, карты смешали, бочонки убрали в мешочек, выпили по чашечке чая с тортом, на который хозяйка была большая мастерица. После чая стали рассказывать различные истории и небылицы. Хозяйка, между прочим, рассказала историю, которая долго волновала жителей города.

«Вскоре после войны, — начала рассказывать хозяйка, — в городе осела кучка бродячих цыган. Мужики занимались кузнечным делом, паяли кастрюли и радиаторы. Женщины промышляли на базаре. Какие помоложе, подучившись, работали

на швейной фабрике. В ту же пору в городе жил один паршивый человек, некто Олег Клопов, имевший к двадцати годам две судимости. Отсидев второй срок, он вернулся в город и работал таксистом.

Однажды, по возвращении из рейса, он забыл запереть дверь, в комнату вошла молодая цыганка, почти девчушка, с неумытым личиком. Оглядев комнату большими выпуклыми и блестящими глазами, она, молча, притаилась у двери. Предчувствуя забавное приключение, Олег сам спросил ее: «Ты зачем, цыганочка, пришла? Что тебе нужно?» Она шагнула к нему и, протянув руку, сказала: «Позолоти ручку, погадаю». «Ты уже умеешь гадать?» — усмехнулся Олег. «Умею». «Ну, тогда гадай». — И он протянул ей руку. Ася, как назвала себя после цыганка, стала водить тонким коричневым пальцем по его грубой, в мозолях ладони, от прикосновения ее пальца он чувствовал в ладони легкое покалывание, словно в пальце был электрический заряд и из него в ладонь проскакивали невидимые искорки. «Ты умный человек, — гадала Ася, — но держать себя в руках не умеешь. У тебя много денег, но мало радости. У тебя счастье под ногами, но ты его не замечаешь. Ты будешь большой-большой начальник, но злые люди перекроют тебе дорогу.

Прервав гадание, цыганка быстро пробежала по комнатам, и Олег зорко проследил, чтобы она чего не утащила.

Вернувшись, она продолжала: «Не пей водку на закате солнца, остерегайся русоволосых женщин. Давай всем займы, но сам не бери в долг, потому что должники всегда несчастные люди».

Искоса поглядывая на цыганку, Олег думал: «А ведь она красивая». Неожиданно подойдя к нему вплотную, она так заглянула ему в глаза своими глазницами, что у него мурашки по спине пробежали, и он почувствовал что-то вроде суеверного страха. Он вдруг стал понимать, что цыганка пришла к нему не для того, чтобы предсказывать судьбу, не для того, чтобы утащить какую-нибудь вещь, а для того, чтобы утащить его самого. Если это действительно было так, то, надо думать, Ася в этом здорово преуспела, потому что Олег неожиданно почувствовал к ней непреодолимое влечение. «Ну, что ж, цыганочка, — сказал он, — хватит, наверное, ты и так столько мне наговорила, что я, пожалуй, не засну»...

Вынув через минуту из-под подушки деньги, дал ей сто рублей, затем, открыв холодильник, накормил ночную гостью, а потом взял за руку, провел в спальню, уложил в постель, и она не противилась тому, что после этого произошло.

Так они прожили вдвоем как муж и жена четыре года. Но жизнь у них не заладилась. Она любила его, души в нем не чаяла, а он не только не любил ее, а даже ненавидел и проклинал тот день, когда женился на ней — цыганке, людям на смех. Она ухаживала за ним, как за маленьким ребенком, а в ответ получала лишь упреки и оскорбления.

Она мало видела его. Целыми днями он в рейсах, на ночь уходил к своей первой жене. Под утро возвращался пьяный, устраивал скандал и нещадно избивал ее. Она ни разу не вскрикнула, чтоб не услышали соседи, молча переносила побои, но люди все равно знали.

Утром, собираясь на работу, на швейную фабрику, она долго перед зеркалом припудривала синяки под глазами. Она была отменная работница, у нее был хороший вкус, она элегантно одевалась, и мужики, оглядываясь на нее, не могли догадаться, что она цыганка. Бабы, жалая Асю, говорили ей: «Как ты живешь с этим извергом? Что вас связывает? Детей у вас нет, бросила бы его. С твоей красотой можно любого

мужика захомутать». Опустив голову, Ася говорила: «Цыганки мужей не бросают».

Однажды Клопов сказал ей: «Цыган в дом не пускай. Повторять не буду». Ася закрыла платком глаза и заплакала. А потом случилось невероятное происшествие. Однажды, вернувшись из рейса раньше обычного, Олег обнаружил в доме целую кучу чумазных цыганят, которые шустро бегали по комнатам, лазили под кроватями, выворачивали карманы в пиджаках. Олег грозно посмотрел на Асю: «Ты это что, в самом деле? Издеваешься надо мной? Я же тебе говорил». Под его пронзительным взглядом Ася затрепетала, как осиновый лист. Продолжая так же смотреть на нее, он медленно пошел к ней. Когда он был на расстоянии одного шага от нее, Ася сжалась в комок, ожидая удара. Но удара не последовало. Олег, молча, подошел к двери, распахнул ее ногой и негромко сказал: «Пошла вон! Чтоб духу твоего тут не было».

Ася всю ночь просидела в подъезде в одной кофтенке, а к утру ушла. Вернее, не ушла, а исчезла. Была и нет. Последний раз ее заметили на рынке в молочном ряду, а потом уже никто нигде ее больше не видел. Пожилые женщины говорили, что она сделала так, как делают все обиженные жены — ушла к матери. А где и у каких цыган ее мать, никто не знал. Асе сочувствовали, ее любили в городе, без упоминания о ней не обходились уличные новости, но потом в суете обычной жизни стали вспоминать все реже и реже, потом и вовсе забыли. Между тем прошел слух, что рабочие кожзавода, возвращаясь со второй смены, видели на берегу озера молодую женщину, которая на глазах у всех вошла в воду по колено, а потом, не раздеваясь, поплыла к середине озера, где глубина до восьми метров. Все так и решили — утонула. Озеро прочесали сетями, позже приглашали водолазов, но ничего не нашли. Не всплыло тело и на четвертый день, как бывает в таких случаях с телами утонувших.

В милиции против Асиной фамилии появилась запись: «Без вести пропавшая».

В том году осень была ранняя и холодная. Уже в середине ноября озеро, излюбленное место городских рыболовов, покрылось тонким блестящим, как зеркало, льдом, который угрожающе прогибался и потрескивал под тяжестью человека. Но, как известно, рыбаки народ смелый. Однажды на берегу водоема появился молодой парень с чемоданчиком и пешней. Выкурив сигарету и оглядевшись по сторонам, он взял чемоданчик, пешню и осторожно ощупывая ногами лед, прошел к середине озера. Поставив чемоданчик на лед, взял в руки пешню, высоко поднял ее, размахнулся, но не ударил. А не ударил потому, что прямо под своими ногами через прозрачный лед увидел голову молодой женщины с цыганскими серьгами в ушах.

Асю похоронили за городом, на возвышенном и глухом месте. Ни оградки, ни гробницы, ни креста ей не поставили, зато круглый год на могиле цыганочки лежали живые цветы.

РАСПЛАТА

В конце войны прибыл из госпиталя по выздоровлении майор Некрылов Федор Иванович, человек добрый, словоохотливый. Он много рассказывал молодым солдатам о войне. Однажды он рассказал историю, которую я полностью записал с его слов.

В Великую Отечественную войну, — начал свой рассказ Федор Ива-

нович, — я служил в автомобильных войсках. Солдаты подобрались у нас в основном из-под Воронежа и Белгорода. Это были ребята хорошо обученные, дисциплинированные, грамотные. Служить с ними было одно удовольствие. Портил нам жизнь лишь старшина Егор Ключев. Здоровенный, сильный, волосатый, грубый. Характером, коротко сказать: хам, негодяй, подлец и бабник. В то же время в части служила регулировщицей девушка Оля, и было ей не то 16, не то 17 лет. Красавицей она не была. Но очень мила внешне, отличалась добрым и ласковым характером. Всем старалась угодить, как-нибудь помочь и услужить. Одному пуговицу пришьет, другому носки постирает, третьему — выменяет на сахар пачку махорки. Все солдаты ее любили и называли сестренкой. Бывало, кто-нибудь кричит: «Сестренка! Иди к нам чай пить». Или: «Сестренка! Захвати мое письмо на почту».

Егор, как только увидел Олю, вонзил в нее свой хищный взгляд и не давал ей проходу. Солдаты заволновались и решили, во что бы то ни стало, уберечь регулировщицу от похотливого старшины. Один из них прямо сказал Ключеву: «Отстань от Оли, а не то хуже будет». — «Под носом сначала вытри, а потом учи», — грубо оборвал солдата Егор.

Солдаты сговорились, выследили, когда старшина выходил из уборной, накинули ему на голову шинель и прилично отдубасили. Егор жаловаться не стал, затаил в душе злобу и, глядя исподлобья на солдат, говорил: «Ну, голубчики, я вам устрою, я вам покажу!»

Сослуживцы спокойно пересмеивались: «Ну, что он нам покажет? Что грозит?» Но они не знали, на что был способен Егор.

В январе сорок третьего года наша часть застряла где-то под Минском. Погодка была еще та: сугробы по грудь, мороз под сорок, ветер срывал шапки и уносил варежки. В это время пришло пополнение. Откуда-то из саратовских степей прибыл полк солдат — не то казахов, не то калмыков, которые плохо говорили по-русски. Вояками они еще не были, но едоками были хорошими. Кухня не стала справляться со своими обязанностями, и в помощь работникам пищеблока отрядили несколько солдат. И надо же такому случиться: вместе с Егором на кухню попала Оля. Егор ни на шаг не отходил от нее. Выбрав момент, когда Оля одна выходила из кухни, схватил ее и затащил в кладовку. Через час он привел Олю в столовую, посадил за стол и поставил перед ней котелок, полный горячего борща. «Ешь, Оленька! Кушай!» Но Оле было не до еды. Низко опустив голову, Оля подсаливала борщ слезами и к еде не притронулась.

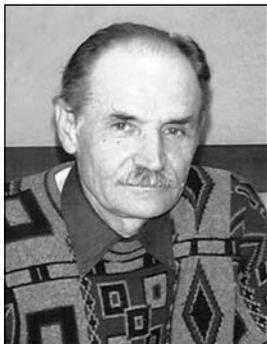
А утром Оля в полушубке, в меховых рукавицах уже стояла на перекрестке и регулировала движение. В руках у нее был красный флажок. На шее автомат. Каждой машине она флажком указывала направление. В то строгое военное время никто не мог ослушаться регулировщицу. Даже генерал и начальник штаба, проезжая, улыгнулись молоденькой регулировщице, сделали ей «под козырек» и поехали туда, куда Оля указала флажком. К концу дня, выбираясь из сугроба, загудела большегрузная машина. Тут я упустил один момент, о котором нужно упомянуть. Егор сражался наравне со всеми, но в бою он так ловко прятался за спины солдат, что, бывало, кончится бой, на снегу остаются убитые и раненые, а Егору хоть бы царапина. Егор бил себя в грудь кулаком и хвастался: «Меня Бог бережет!» Так вот, — продолжил рассказ майор. — Вскоре к перекрестку подошла большегрузная машина, за рулем которой сидел старшина. Егор посигналил, чтобы привлечь внимание регулировщицы, но сигналить не нужно было. Оля издали узнала машину своего обидчика.

Когда машина выруливала на шоссе, она сделала ей отмашку направо. Егор ехидно ухмыльнулся и сказал: «Шалишь, девочка! Шалишь!» И круто повернул в обратную сторону. Оля вскинула автомат, дала короткую очередь, и на этот раз Бог не спас Егора. На следующий день его без обычных солдатских почестей закопали в кювете обочь дороги. А Оле командир перед строем выразил благодарность за четкое выполнение приказа.

Прошло время. Окончилась война, люди стали забывать о многом, что было связано с нею. Но Оля не могла забыть фронтovou обиду, что щемящей занозой сидела в ее сердце на протяжении многих лет. Однажды она разыскала тот кювет, присела около него на корточки и на асфальте мелом начертила крестик, в память о том месте, где ее обесчестили и где она застрелила человека.

Вскоре Оля вышла замуж за старшего лейтенанта, переведенного к нам из другой части. И, как я слышал позже, прожила с ним долгую, счастливую жизнь.





Виктор Васильевич Беликов родился в 1940 году в селе Новопостояловка Россошанского района. Поэт, прозаик, переводчик, краевед. Окончил филологический факультет Воронежского государственного университета. Работал учителем в школе, ответственным секретарем районной газеты. Автор книг «Тепло и боль земного бытия», «Охоты чудные мгновения» и др. Член Союза писателей России. Живет в Россоши.

Виктор Беликов

И В ЛИХОЛЕТЬЕ СВЕТИЛО СОЛНЦЕ

Рассказы о детстве

СТАРАЯ МАШИНКА

Старая, с облупленной краской на боках, швейная машинка была едва ли не единственным богатством в семье Мельниковых в то послевоенное время.

В долгие зимние вечера, когда завывала в печной трубе вьюга, мать, сокрушенно махнув рукой, говорила:

— Сегодня пусть Краля не гневается, — за соломой не пойду. Вишь, как разгулялась метель-то! Лучше сошью тебе, Митька, бурки.

Митька и Нюська рады-радешеньки, чуть не до потолка готовы прыгать. Мамка целый вечер будет с ними! Не придется переживать: вдруг заблудится, вдруг нападут на нее волки — всякое в голову лезет. Дрожи на печке в долгом ожидании при каждом стуке ветра в дверь да в оконницы.

Почти всегда вечерами мать уходила с соседкой тетей Наташей на раздобытки: то за хворостом в лес, то за соломой для Крали. Уже в конце января скудный запас кукурузной былки и листьев кончался, оставалось тайком ночами хоть по вязанке брать солому из колхозных скирд. Боязно попасться на глаза объездчику или кому-нибудь из колхозного начальства.

Под суд угодишь, не поглядят, что у тебя дети малые, что муж на фронте пропал без вести. Оно-то вроде и понятно, дозволю, так все растащат, а ведь колхозную худобу тоже кормить надо. По весне и ей соломенные крыши сараев шли в корм. Мать это знала, но обдерганная ветрами, спрятанная подальше от посторонних глаз ночная вязанка была единственным спасением для коровы, а значит, и для семьи.

Мать возвращалась потная, волосы прилипали ко лбу. Озябшими негнуцимыми пальцами долго расстегивала латаную-перелатаную стеганку. В тяжелые подшитые валенки всегда набивался снег, перемешанный с половой. Митька и Нюся помогали ей снимать валенки, спешили расстегивать петельки на телогрейке. Раздевшись, мать окунала окоченевшие руки в котелок с холодной водой, чтобы «отошли зашпоры», чтобы негнувшиеся пальцы вновь зашевелились и потеплели. Иногда мать плакала, причитала — в кого она такая несчастная уродилась, сетовала даже на отца, улыбающегося на фотографии в коричневой рамке, висящей в простенке над сундуком.

— Тебе-то что теперь? Отмучился. А мне оставил двоих на шею. Каково с ними одной!

Успокоившись, тихо вздыхала перед фотографией, как перед иконой:

— Ты уж прости, Василий. Трудно мне.

Особенно горько плакала и жаловалась она на судьбу в тот вечер, когда ее и тетю Наташу поймал объездчик. Заставил нести вязанки назад, к скирде, а сам ехал сзади в санях, грозил отдать под суд. Всю ночь мать не сомкнула глаз, переживала, а наутро ходили они с соседкой проситься, молить, чтоб не выдавал, носили бутылку самогона. Смилоstinился.

В особо вьюжные вечера мать все же не решалась уходить в поле: недолго заблудиться и замерзнуть. Да и волками тогда пугали ребятишек не для острастки. Стаями хищники забредали в деревню по ночам, загрызали собак, продирали дыры в плетневых стенках сараев и резали овец, коз прямо в хлевах.

Когда мать оставалась дома, Митька и Нюся радостно вызывались помогать ей в домашних хлопотах и, конечно, больше мешали. Но мать не сердилась, глядя на них, веселела. Она ставила на стол швейную машинку, снимала с нее старый облупленный футляр и начинала колдовать с матерчатými лоскутами. Блестящий круг махового колеса отбрасывал на стены и потолок прыгающие зайчики. Даже не верилось, что эти зайчики — отсвет подслеповатой самодельной лампы-каганца из медной гильзы. Дети во все глаза глядели, как ловко мать заправляла верхнюю нитку, как быстро и аккуратно наматывала нижнюю на маленькую шпульку — блестящую металлическую катушку.

Это был самый интересный для Митьки момент, потому что ему доверялось крутить сверкающее колесо за ручку, на которую была надета медная патронная гильза без донышка. Митька с наслаждением крутил, воображая, что заводит «универсал», единственный в селе трактор, мотор которого подолгу, с остервенением матерясь, запускал каждое утро дядька Митро, поминая всех богов, крыс и даже хромую ногу тетки Махоры, которая ни к трактору, ни к трактористу никакого отношения не имела и мирно жила себе на краю деревни.

До обидного быстро наматывались нитки на шпульку, она становилась пузатой, и мать останавливала Митьку, ладонью тормозила колесико.

— Только раскрутился, — жалел Митька и, довольный, шмыгал носом.

Руки матери сноровисто мелькали над старьем, выкраивая из барахла нехитрые обновки. Ножницы приятно вжикали, вырисовывая развернутый рукав или бурок.

Распарывать старые швы поручалось ребятам. Митька держал, а сестра, как старшая, осторожно перерезала нитки большим кухонным ножом, грубо выкованным в сельской кузне из трофейной каски. Случалось, что помощники пороли не там, где нужно, а то и портили материал. Тогда они разом сваливали вину друг на друга.

Мать не ругалась, только ворчала: в такие вечера у нее всегда было хорошее настроение. Шила и пела протяжные русские и украинские песни негромким, чистым и высоким голосом.

— Мамка, спой ту, где «ехали казаки со службы домой», — просил Митька. И она охотно пела, успевая при этом строчить, кроить и вновь строчить. Мерный стрекот машинки не мешал пению.

Нема жита — мушка зъила,
Нема сына — пушка вбила, —

жалостливо выводила мать, и сердце у Митьки сжималось. Жалко было и жита, которое посеяли на камне, и убитого сына, и плачущую по нему мать.

Сразу приходила на память бабушка Варя, которая точно так же плачет по своему сыну — дяде Ване. Уже три года прошло, как на дядю Ваню получена «казенная бумага». В письме сообщалось, что старшина Иван Руденко погиб в боях и похоронен возле Балаклеи. Бумага не оставляла никаких надежд, но бабушка ей не верила. Мало ли ошибок случается? Друг — живой?

На опушке леса
Старый дуб стоит.
А под этим дубом
Партизан лежит, —

подпевали матери свою любимую песню Митька и Нюся. И слезы разом сверкали в глазах певцов. Вспоминалось и об отце, и о дяде Ване — обо всех погибших в этой страшной войне.

Нюся просила что-нибудь веселое, и мать, сначала не очень охотно, а затем все больше увлекаясь, пела шутивную украинскую песню о незадачливом женихе, выскивающем причину, чтобы отказаться от нелюбой невесты. Митька закатывался со смеху. Смеялась и Нюся. Сдержанно улыбалась и мать.

Когда не пелось, мать что-нибудь рассказывала о далекой старине, о которой она сама слышала от своей бабушки, о веселом и добром дедушке Трофиме, а чаще всего — об отце Митьки и Нюси. Слушая ее, Митька видел отца то заядлым охотником с двустволкой за плечами, с гончим псом Пилотом на поводу, то забиякой-парубком, то представлял, как отец, отправляясь на войну, несет их с Нюськой на руках за село.

— Эту машинку Вася подарил мне, когда родился Шура, — вспоминала мать. — Очень радовался первенькому.

Шура, старший брат Нюси и Митьки, умер, не прожив и года. Митька жалел, что нет у него старшего брата, который бы всегда заступился, меньше бы пришлось глотать злых слез от незаслуженных подзатыльников.

— Машинку купили с рук, подержанную, но не прогадали — как но-

вая, — рассказывала мать. — Послужила она хорошо. Когда пришли немцы, я закопала ее вместе с отцовым ружьем на огороде. Закутала в промасленное тряпье. Сохранилась, не тронула ржа... Только краска малость облезла. — Мать любовно, как живое существо, гладила машинку шершавой ладонью.

В семье берегли машинку, прятали ее в деревянный футляр, накрывали одеялом. Когда матери дома не было, Митька садился иногда верхом на футляр, представляя себя лихим кавалеристом, или же вертел колесо-руль обеими руками, фырчал, пускал пузыри: в те минуты он вез домой полную машину белых булок и сладких петушков на палочках. Узнав, что машинка — подарок отца, Митька и Нюся уже никогда не трогали ее без матери.

Однажды к Мельниковым пришел низенький мордатый человек в зеленом пальто с желтыми пуговицами. Рябой, бельмо на глазу — за это в селе его прозвали Полотняным Глазом. Он был налоговым агентом, и его приход ничего приятного не сулил. Не обрадовались агенту и в доме Мельниковых. Он тыкал коротким пальцем в бумаги, орал о какой-то недоимке, о займе. Мать отвечала, что сейчас ей нечем платить, пенсии за мужа едва хватало на соль, спички и керосин. Полотняный Глаз начал кричать еще громче и вдруг, заметив швейную машинку, злорадно смолк. Снял фанерный футляр, осмотрел, ощупал ее и заявил:

— Конфисковывается!

Мать бросилась к машинке, вцепилась руками в ящик, но агент грубо оттолкнул ее, взял футляр под руку и вышел, захлопнув дверь ногой. Мать выскочила за ним во двор, заплакала и снова вцепилась в машинку. Полотняный Глаз ругался, мать причитала, просила смилостивиться. Митька, видя, что мать обижают, швырнул обломок кирпича и попал Полотняному Глазу в колено. Тот схватился свободной рукой за ногу, едва не выронив машинку:

— Ты что же это делаешь, гаденыш?

Агент погнался было за Митькой, да разве его догонишь? Сосед Мельниковых дядька Якуша, инвалид войны, тоже припрыгал сюда на костылях.

— Сирот грабишь! Кто тебе дал такое право? Отдай счас же назад! — Он сжал костыль так, что пальцы побелели. Лицо у него побагровело. А шрам на щеке стал синим. Дышал Якуша тяжело, со свистом.

— Но-но. Ты не очень-то! У самого должок. Доберемся и до тебя! — И, зло выругавшись, агент ушел, прихрамывая, и унес-таки подмышкой самую дорогую для Мельниковых вещь.

— Цепной кобель, а не человек. Вишь, как выслуживается! — буркнул сосед и, сочувственно махнув рукой, поскрипел костылями домой.

Оглушенные такой потерей, Мельниковы долго стояли посреди двора. Дети прижались к матери, а она все плакала.

— От немцев берегла, так свои... забрали, — всхлипывала и по-детски размазывала слезы кулаком.

...Целых два месяца стояла швейная машинка Мельниковых в сельском магазинчике, на ней была приклеена бумажка, где указывалась цена. Но сельчане отворачивались от нее. И когда тракторист из МТС заикнулся было купить машинку, старая бабка София сказала ему:

— Не бери греха на душу, не отнимай у сирот последнего, сынок.

Тракторист смутился, спрятал деньги в карман, потоптался у прилавка и вышел из магазина.

Дядька Якуша, подвыпив, снова ругался с Полотняным Глазом, даже намахнулся на него костылем. Агент пожаловался, и дядьку Якушу вызвали в райцентр. Он нацепил все свои медали и мрачно обещал кое-кому прочистить мозги. Говорил матери:

— Не переживай, соседка. Вернут машинку. Нет у этого остолопа права измываться над людьми. Я найду правду.

Митька не знает, что там было, в каких кабинетах дядька Якуша искал эту самую правду. И помогло ли это? Скорее всего — нет. Просто люди не хотели брать чужое. Не вскоре, но все же Полотняный Глаз встретил на улице мать и сердито буркнул, что она может забрать из магазина свою рухлядь.

Так вот и вернулась к Мельниковым старая швейная машинка, отцов подарок. Она стала им еще дороже, не раз потом коротали они долгие зимние вечера под ее веселый стрекот.

КРУГ ЗАБОТ

Хорошо, что у Митьки есть старшая сестра Нюся. Не настолько уж она и старше, чтобы держать над ним верх. Митька ее несколько не боится и не признает в ней командира. Хорошо, что все заботы по дому лежат прежде всего на сестре. Утром мать, уходя на работу, обстоятельно говорит Нюсе, что надо им обоим сделать за сегодняшний день. Но раз наказывает дочери, значит, она и отвечает за порядок в доме, а с Митьки какой спрос?

— Опять я, да я, — протестует Нюся. — А Митька? Пусть он гусей гоняет с огорода и рвет траву для Крали, а то только гулять горазд да трескать за столом!

— А ты его заставляй, ты же старшая, — советует мать.

— Его заставишь! Опять куда-нибудь повеется с Бульбой да Николой. Еще и лепешки им таскает! — ябедничает Нюська.

— Я ему повеюсь, я потаскаю! — грозит мать. — Я его обдеру как сидорову козу вечером. Пусть только попробует!

До вечера еще далеко, мать забудет. Митька натягивает на голову ватное одеяло, под которым он спал и летом, плотно зажмуривает глаза, притворяясь, что дрыхнет и ничегошеньки не слышит. Нюська, рассердившись, стягивает с него одеяло и щекочет за пятку. Тут уж хоть кто не выдержит. Митька бросается с кулаками за Нюской — и новый день начинается.

Хорошо летом! В бездонной небесной синеве заливаются жаворонки. Надрывается в сарае курица, снесшая яйцо, а вместе с ней кричит и петух. Митьке даже смешно, как они дружно возвещают всех о тепленьком яйце, оно, пожалуй, и не стоит того, чтобы так орать на весь белый свет.

Митька бы не прочь отведать свеженького яичка, но оно на строгом учете: куриные яйца нужно сдавать в поставку, за них да за коровье масло мать ведет скудный домашний денежный оборот. Потому утром она щупает сидящих на насесте сонных кур, определяя, которая с яйцом, а по вечерам проверяет: все ли куры снеслись в сарае. Попадают такие мудрые, норвят угнездиться то в бурьяне, то под непролазным кустом густой сирени. Хорошо если у своего двора, а когда у соседей — быть скандалу!

Телок Букет и поросенок Васька растут на налог и на заем. Митька уже знает, что налог платится за огород, за вишни и яблони, за корову,

за все хозяйство. Есть корова — сдавай молоко в закуп, колешь выкормленного поросенка — сдай шкуру и часть мяса, держишь кур — сдай яйца. А как же иначе? Фронт и город кормить надо. Добровольно не сдашь — все равно заставят. Сады почти сплошь повырубили, особенно яблони. В оккупацию немцы похозяйничали. А потом стали под корень сводить сады и сами: чтобы меньше налога платить, чтобы в лютую стужу хоть ненадолго отогреться у печки. Только в колхозном саду и можно было отведать яблока, если удавалось обхитрить или разжалобить сторожа. Вишен, правда, оставалось много — и дома, и в заброшенных ничейных садах. Как только они поспевали, Митька и все его друзья-приятели ходили перепачканные вишневым соком.

Два года подряд выдались засушливыми. Хлеба выгорели. На картошку тоже был неурожай. Люди голодали. В колхозе почти ничего не могли выдать на трудодни. После хлебопоставки амбары стояли пустыми. Колхозникам на трудодни выдавали ячмень, горох и даже чечевицу вперемешку с соей. Родовались и этому. Жаль, выдавали очень мало.

Митька помнит, как по весне по селу побрели побирушки, прося милостыню. Это были больше старики и дети, худые, грязные, в страшных лохмотьях, в дырявых сапогах или ватных бурках с калошами, склеенными из автомобильных камер. Просились обогреться. Когда их впускали, они сушили свои насквозь промокшие лохмотья и портянки, рассказывали правдивые и выдуманные страшные истории о своей судьбе и долго благодарили, поминая Христа, если им наливали какой-нибудь горячей похлебки или совали в сумки пару картофелин и кусок лепешки со своего скудного стола.

А потом пошли с сумой не только чужие, но и кое-кто из деревенских. Голод заставлял забыть стыд. Стало случаться воровство. Все обзавелись замками: запирались и избы, и сараи, и погреба. Митька помнит, как было взбудоражено все село: Алешка Китычка, вернувшись с войны по ранению, убил свою тещу обухом топора. Жила она в соседнем хуторе, была жадновата, и денежки у нее водились. Алешка позарился на тещино богатство. Деньги то ли нашел, то ли нет, а хату облил керосином и поджег.

Сам уехал домой. Но его на следующий же день разыскала милиция, он и сознался во всем. Эта история долго волновала страшную жестокостью всех — и взрослых, и детей. Митька, Бульба и даже Нюська не раз играли в «Алешку и его тещу».

А однажды к Мельниковым забрался вор. Забрался среди бела дня, когда обедали. Мать услышала вдруг, что на чердаке кто-то возится. Сначала подумала: куры. Поднялась на чердак и поймала воришку. Это был Иван Устинов с соседней улицы. Он пронюхал, что у Мельниковых на чердаке есть позапрошлогдние груши в брезентовой сумке, и решил стащить, чтобы хоть чем-нибудь набить пустой желудок. Было тогда Ивану лет тринадцать-четырнадцать, стыда пришлось принять из-за тех груш.

В голодное время у Мельниковых сохранились запасы кукурузы, желуди выручали. В те засушливые лета в степных дубравах желудей уродилось много. Собирали для свиней, а они сгодились на свой обеденный стол. В голодную весну желуди поджаривали на плите, в духовке, а потом толкли в снаряжных гильзах, ступах. Муку подмешивали в хлеб, а то пекли и чисто желудевые лепешки. Они выходили шоколадного цвета, терпкие на вкус, скулы от горечи сводило. Но с похлебкой, со сметаной на голодный желудок шли за милую душу. Митьке они нравились больше, чем лепешки из прогорклой залежалой ячменной муки. После

них жгло во рту, будто от полыни. А вот кукурузные лепешки — еда что надо! Белизной радовали и на вкус были сладковатые.

Мельницу в селе немцы сожгли, поэтому мололи зерно самодельными меленками: большими, с деревянными жерновами, и маленькими из чугунных гильз и жестяных терок. Деревянные были редкостью, делались они из толстого вербового комля, в жернов и в днище вбивались железные осколки — насечки. Зерно засыпалось в отверстие посередине, а сбоку из желобка вытекала стружкой мука. Вращать эту мельницу стоило немалых сил. Зато дело шло быстро, и мука молотась помельче. У Мельниковых была терка. Представляла она собой закрепленный на доске деревянный стержень, обтянутый теркой — толстой жестью с часто набитыми пупырышками — дырами. На стержень надевался кожух — тоже жестяная терка, но острыми пупырышками внутрь. Поперек кожуха вставлялся железный стержень — ручка. Засыпали сверху подсушенное зерно или горсть кукурузы и двигали кожух вправо-влево. Кукуруза перетиралась в крупу. Если требовалась мука, крупу еще раз перетирали.

Мукомольная работа не из легких, но Нюся и Митька должны были ежедневно перетирать кукурузные зерна. Митька старался увильнуть, но сестра его не упускала из виду, заставляла трудиться. Терли поочередно по несколько горстей. Толкли и пшено в чугунной гильзе из снаряда времен гражданской войны.

Толкли стальным шкворнем-прутом. Сто двадцать раз должен был ударить Митька и столько же — Нюся. И если просо хорошо просушено, то после трехсот ударов шелуха с него слетала. Считала Нюся, Митька арифметику еще не осилил. Ему казалось, что сестра плузует. Он спорил и норовил удрать из дому. К концу работы рука немела, шкворень казался страшно тяжелым и опускался неровно, стучался о края, иногда опрокидывая ступу-снаряд. Тогда Нюся начинала ругаться, точно подражая матери. Но и у самой руки начинали тоже уставать, дрожали, неподъемный шкворень тюкал невпопад. Капли пота текли по лицу.

Забот у ребятшек хватало на весь долгий летний день. Нужно было уследить, чтобы чужие гуси не залезли в огород, а то пощиплют все. Митька особенно стерег морковку и горох. Он любил полакомиться молоденьким сладким горохом. Даже стручки жевал — они тоже сладкие, пока зеленые.

Старались не прозевать, когда пригонят на обед стадо. Мельниковы жили возле выгона, и шkodливые коровы направлялись напрямик к ним в огород. Ограды не было никакой — ее давно пожгли. Чуть прозевал — не оберешься беды. Норовистая корова обязательно похватает верхушки кукурузы, посрывает шляпки подсолнухов, истопчет картофельную былку. И то лишь бы раз забралась — потом не отобьешься.

Огород вытянулся от подворья узкой и длинной полосой. Митька отбегает в дальний конец и щелкает там самодельным кнудом, а Нюся стережет возле двора. Как только коровы минуют огород, она тут же загоняет Кралю домой и набрасывает ей на рога веревку. Краля тянется к траве, которую ей положили в ясли Нюся и Митька, через каких-то двадцать минут от зеленой охалки остается одно воспоминание.

Ненасытная прорва! Митьке казалось, что травы так много нарвали, хватит и на вечер, чтобы после обеда ее не дергать, не жечь руки. Куда там! Снова придется брать мешок и ползать на коленках по огороду — рвать щерицу, крепкий, будто сталистый провод, вьюнок с бело-лиловыми граммофончиками, брызжущий липким соком широколистный молочай или колючий осот.

Куда быстрее и легче рвать лесную траву. Лег на поляну животом и стриги себе подчистую целые пучки обеими руками. Но там лесник гоняет. Травы хватало на выгонах, в огороде. Бурьяны стоят такие дремучие, что можно с головой в них скрыться. Соберется веселая компания — и началась игра то в разведчики, то просто в прятки.

Залезет Митька в татарник или в чертополох, затаится, терпит, когда колючки вонзаются в голое тело, но зато найти его нелегко: пролез Бульба рядышком, хоть рукой его хватай — не заметил. Вырывается Митька из засады и стремглав летит на кон, спешит «застукаться».

Бульба страшно боялся коров. У них была зловредная бодливая телка, и бедному Ивану не раз доставалось от нее. Свалит, проклятухая, придавит лбом к земле и толчет. Иван с перепугу — орать. Сколько раз приходилось Митьке его выручать. Хватит он палкой между рожек телку, та головой закрутит, заревет — и за Митькой. Но Митьку ей не догнать. Он же не Бульба. Тот вечно запутается то в полах собственного зипуна, то в тыквенной былке. Видно, от страха так получалось. Бегал неплохо, но от своей телки ноги спасали редко. Хорошо еще, что рога у нее были маленькие и торчали в разные стороны, а то Ивану уже давно бы лежать в больнице. Когда осенью проклятую телку продали, Иван даже повеселел.

Из всех домашних забот Митьке больше всего нравилось взбивать масло из топленых сливок. Сливки долго собирали, когда скапливалось на полный горшок, мать доставала из-за печки скалку — «копыстку». Начиналась однообразная, но приятная работа: вращай копысткой в горшке до тех пор, пока сливки сначала загустеют, затем пустят сыворотку, и, наконец, масло из крупинок собьется в один желтый мягкий ком.

Приятно время от времени запустить палец в горшок или пройтись по его краям, подцепить сливок — и в рот, а то и лизнуть копыстку. Конечно, Нюска тут же прикрикнет, чтобы не жрал, а то она все мамке расскажет. Но это она больше для порядка кричит, а сама тоже лижет скалку, когда взбивает масло. Тогда покрикивает Митька, чтобы и ему попало лакомства. По окончании трудов всегда позволялось вознаграждать себя. Намазывали по ломтю хлеба свежим мягким маслом, солили сверху крупной немолотой солью и не спеша уминали кусок, рассматривая, как отпечатываются верхние зубы в масле.

Но все это было попозже, не в тот голодный год.

Митька помнит, как однажды собрались они с Нюсей взбивать масло, а тут приехал в село старьевщик. Весть о нем, конечно же, сразу разнеслась ребятней по дворам. Тащили сюда старое тряпье, кости, мальчишки цеплялись за телегу, чтобы рассмотреть, что хранится в заветном сундучке у однорукого рябого старьевщика. А там чего только не было! Глиняные свистульки, петушки, блестящие булавки, брошки, серьги, был даже складной ножичек с костяной ручкой.

Глаза разбегались. О ножичке нечего и мечтать: за него надо было собрать чуть ли не телегу ветоши. Где ее наберешь? А вот свистун Митьке был по карману, можно выменять. Нюсе же приглянулась фаянсовая головка куклы. Туловище можно и самой сшить, руки, ноги — тоже. Митька с Нюсей кинулись рыться в доме по всем углам, закуткам. Нашли старую-престарую фуфайку, из которой вата вылезла клоками, истертую до дыр грязную дерюгу и медный гнутый тазик. В обмен на хлам старьевщик дал куклу, а свистун хотел «зажилить» — требовал еще тряпок. Убитое лицо Митьки, навернувшиеся слезы, вот-вот готовые брызнуть из

глаз, разжалобили его, он махнул единственной рукой и подал глиняный свисток с надбитой головкой. Митька схватил его, зажал в кулаке: вдруг старьевщик раздумает — и помчался домой. Опробовав, успокоился: ничего, что у петушка не было головки, зато он свистел здорово. Рада была и Нюся.

Когда они, довольные удачным обменом, зашли в хату, радость мгновенно сменилась ужасом и отчаянием. Непоседливый поросенок Васька выпрыгнул из загородки, сунул свое рыло по самые уши в горшок со сливками и чавкал, давился от жадности. На негодующие крики Нюси и Митьки он поднял свое перепачканное в сливках рыло и недоуменно посмотрел на них. А когда Митька огрел его копысткой по спине, он завизжал, как недорезанный, опрокинул горшок и шмыгнул в открытую дверь во двор. Заплаканная Нюся помчалась за ним вслед.

— Переймай его, а то убежит, — успела крикнуть она брату. Митька помчался наперерез поросенку, тот весело хрюкнул, соглашаясь играть в догонялки, вскинул розовым задом и галопом помчался по грядкам.

Нюсе все же удалось перехитрить Ваську. Поросянок, устав бегать, завозился в рыхлой земле, подрыл своим пяточком куст картошки и аппетитно зачавкал. Нюська потихоньку подкралась и, стремительно прыгнув, ухватила его за заднюю ногу. Поросянок так рванулся с перепугу, что поволок за собой и Нюську. Тут на помощь подоспел Митька, ухватил поросенка за другую заднюю ногу. Вдвоем и потащили Ваську в хату. Поросянок вырывался изо всех сил, дрыгал зажатými ногами и голосил на всю деревню.

Водворив его в загородку, Нюся и Митька собрали остатки сливок в помойное ведро. Сестра стала подновлять коровьим кизяком земляной пол в хате, размазывая по лицу чистой тыльной стороной ладони злые слезы. У Митьки тоже на душе скребли кошки. Сколько масла пропало! И что теперь говорить мамке? Ох, она и расстроится!

А на столе неприкаянно лежал надбитый глиняный свисток, и головка куклы таращила на весь белый свет свои голубые пустые глаза.

СОЛНЦЕВОРОТ

Зимы в те годы были лютые, многоснежные. В феврале хата Мельниковых, как и другие хатенки, полностью по самую стреху крыши утопала в сугробах. Митька и Иван проделывали в сугробах траншеи, строили блиндажи и окопы.

Навсегда запомнились Митьке банные дни. Когда мать объявляла, что сегодня будут купаться, у Митьки заранее синела кожа и вскакивали прыпышки.

Купались в чанке — половинке трофейной железной бочки. Воду трудно было нагреть такой топкой, потому в жар закладывали железки, чаще всего такие же пустотелые снаряды, в каких толкли просо. Когда железки раскалялись докрасна, мать подцепляла их рогачом-ухватом и опускала в чанок с водой. Что тут начиналось! Все шипело, гремело, снаряд катался по чанку, стучал о дно и стенки. Пар валил, как из паровоза. Мать тут же накрывала чанок одеялом. Когда вода нагревалась, Митька и Нюська поодиночке, а то и вместе залезали в чан под одеяло. Вода была горячая, а уши мерзли, пар шел изо рта. Вылезать не хотелось, а когда мать вынимала их из чанка, тело покрывалось «гусиной кожей». Но это пока обсохнешь. Зато потом так хорошо!

...Боже, а какие весны были в далекие годы! Дружные, солнечные, с буйным половодьем. Как-то враз, за два-три дня снег набирался водой, становился рыхлым, ноздреватым. В обед под ослепительными лучами он таял, источая ручейки во все концы, дорога по улице превращалась в бурный поток.

Для Митьки и Нюси перебраться через улицу к друзьям-соседям было непросто: в ботинках нечего было и пробовать, а сапоги тоже текли отчаянно. А так хочется пропускать воду в ручейках, проталкивая льдинки и водянистый снег, который постоянно делал затор в малых ручейках, но бессилён был сделать это в середине потока. Там вода текла бурно, пенясь, шумя, ворочая вымытые подсолнуховые пни, кирпичи и даже целехонькие мины, которых было тогда везде много. Митька и Нюся, как и вся детвора деревни, мастерили кораблики из трофейных топографических карт, немецких денег или еще из каких клочков бумаги и пускали в потоки, а то и просто щепочки. И каждый переживал, чтобы его кораблик доплыл до главного потока, а там его понесет. Изредка мелькнет угловое суденышко в ревистом потоке — и все, понесло, понесло его с глаз долой. Если же кораблик застревал, горячий «мореплаватель»-капитан лез в воду, рискуя искупаться. Что и случалось почти постоянно. Детство плохо видит последствия, потому так много бед случается. Все в детстве невероятно умны, сильны и отважны. Так кажется, во всяком случае...

Порой бывали самонадеянными и взрослые. Помнит Митька, как было взбудоражено село в одну из весен. Могучим половодьем в один и тот же день, но в разных ярах унесло на санях деда Санюху и молодуху из соседнего села Ксеньку. И тот, и другая пытались на волах переехать на другую сторону разлившегося потока, но просчитались. Понесло и сани и волов. Дед Санюха смог снять ярмо с дышла, и волы вплавь вынесли его, мокрого, на берег.

С Ксенькой получилось хуже: волы утопи, а ее на полузатопленных санях сняли за пятнадцать километров, почти у города. Месяца четыре провалялась в постели, едва не тронулась умом, но выжила...

...Летом забот поболее, но и для затей времени предостаточно...

— Митька, Иван, айда к Федору Зуеву воробьев драть! — так раза два за лето звал хлопцев Митькин двоюродный брат Гришка.

Это был заклятый враг воробьев. Из рогатки он стрелял, как снайпер из винтовки, и бедные пичуги падали, подсеченные рублеными пулями или камешками, пущенными из праща-рогатки. Страсть у Гришки была удивительная. Он мог и был всегда готов достать любое гнездо.

Колодцы в деревне срубовые, в щелях этих срубов умудрялись вить гнезда воробьи. Стоило Гришке услышать попискивание птенцов в глубине колодца или увидеть выглядывающие перья или солому между плахами сруба, он тут же, не раздумывая, лез, если поблизости не было взрослых.

На стреме оставлял Митьку, Ивана или любого, кто был рядом. Лез отважно. Неважно, была ли в колодце вода или нет, глубока ли он был или мелок, широк или узок — ничто не могло остановить Гришку. Цепляясь руками за сруб, протискивая пальцы босых ног между бревнами, раскорячиваясь на всю ширину колодца или прижимаясь в углу, Гришка добирался до гнезда, выкручивал специальной рогулькой все его содержимое, вышвыривал наверх голых воробьят или яйца, выбирался на свет

божий и возбужденно делился переживаниями, как он чуть не сорвался, как страшно ему было. Забава была, действительно, опасной. Раза два Гришку вытаскивали из воды, мать нещадно ругала и била его за этих воробьев, но страсть была сильнее. И в глазах Митьки и его друзей Гришка выглядел героически.

В черные для этих пичуг дни, когда Гришку специально приглашали к Федору Зуеву и деду Митру, жившим по соседству, бывало настоящее воробьиное побоище.

Соломенные стрехи длинных хат, которые тогда строились под одну крышу с сараями, были многоэтажным воробьиным общежитием. Гришка ставил длинную лестницу — и начиналось избиение. По двору и саду летели пух, перья, пищали голопузые желторотики-воробьята, истощно орали десятки, а то и сотни воробьев. Митька с Иваном держали большую кошелку, Гришка бросал в нее выданные целиком воробьиные гнезда со всем содержимым, коты обжирались дармовой добычей, а безногий и беззубый Федор Зуев, оперши культю на перекладину костыля, другим тыкал под стреху, показывая гнезда.

— Это вам за поклеванные вишни, за соняшники, — злорадствовал он, и в глазах его прыгали отблески собственного бесшабашного детства.

...Когда Гришка и Митька через много лет, будучи уже взрослыми, со жгучим стыдом вспоминали это варварство, истребитель воробьев, неловко улыбаясь и поеживаясь, удивлялся своей былой безжалостности.

— Темный мы народ были, Митька, — вздыхал он, — да и жизнь была жестокой.

Еще один летний день глубоко запал в душу Митьки. Собралась братва со всего их крайка и отправилась красть бахчу в соседнем совхозе. Расстояние не близкое, до трех километров будет. Предприятие удалось. Шумная ватага босоногих сорванцов налетела на неохраемый край бахчи, снося все подряд, разбивая зеленые еще арбузы и дыни, выхватывая покрупнее.

И тут по полевой дороге загремели дрожки объездчика. Налетчики ринулись в ближайший лесок, бросая по пути наворованные арбузы. Вместе со всеми влетели в крапиву и Иван с Митькой. Бульба неловко повернул ногу и захромал. Митька не мог его бросить, помогал и тормошил. Когда объездчик укатил, хлопцы вернулись подобрать оброненные арбузы, а Митька и Иван поплелись домой, медленно и удрученно.

Вся братва обогнала их и вдруг, зашумев и загикав, бросилась со всех ног домой. Митька и Иван взглянули вдаль, к яру, и похолодели: огромный волчище тащил на горбу зарезанного им ягненка. Хлопчики, испугавшись, побежали прочь, вовсе не к дому. Долго потом отлеживались в бурьяне.

Солнце село, стало быстро темнеть. Иван хромал все сильнее и раскис, стал плакать. Добрались до скирды, взобрались на прискирдок, отдыхали и слушали, как в селе, до которого оставался еще добрый километр, мычали вернувшиеся с пастбища коровы, лаяли собаки.

Поковыляли потихоньку. И тут, на их счастье, проезжал на дрожках председатель колхоза. Узнав, чьи они и что с ними стряслось, он усадил их на дрожки и, как панов, подвез к самому дому Ивана.

Их уже искали и не на шутку встревожились. Было что рассказать им, единственным «мужикам» в их домах, рисуя все в героических красках под испуганные ойканья девчонок и матерей...

ЖАТВА

Наконец-то дождались настоящего урожая. Наступило время жатвы. Митька и Иван часто бегали к колхозной кузне, любили смотреть, как кузнец дядька Роман, кряжистый, сильный, надевал кожаный фартук, долго рылся в разных железках, выбирал наконец подходящую, совал ее в раскаленные уголья. Мышцы так и перекачивались под его прокопченной рубашкой. Крепкий был мужик. Ни война, ни трехлетняя каторга в фашистских концлагерях не сломили его. Домой вернулся — кости да кожа. Потом отошел, налился прежней силой. И только голос потерял совсем. Слушая его хриплый, натужный говорок, трудно было представить, что до войны он был лучшим певцом в деревне и часто, подвыпив с Митькиным отцом, будили спящую деревню разухабистым пением. Митьку дядя Роман всегда встречал приветливо, никогда не прогонял: видно, Митька напоминал ему пропавшего на войне друга.

Молотобоец Санька, парнишка лет шестнадцати, дергал за рычаг кузнечных мехов. Они скрипели, воздух вырывался в «горно» (так мужики называли кузнечную топку), железо раскалялось добела. Дядька Роман клещами вынимал его, клал на наковальню и, держа левой рукой длинные кузнечные клещи, ворочал туда-сюда заготовку, а правой рукой постукивал небольшим молотком, подавая команды Саньке, куда и как бить. Санька, голый до пояса, потный и красный, грохал молотом по железяке. Она плющилась, искры летели во все стороны.

У Митьки и Ивана дух захватывало от восторга и зависти. Хотелось и себе вот так же грохать молотом или подавать команды молоточком. Но об этом нечего было и думать. Молот Митька едва оторвал одной рукой от земли, двумя даже пробовал стукнуть по наковальне, но приходилось брать молот не за середину рукоятки, а почти у самой его увесистой головки. Да и наковальня слишком высоко, на уровне Митькиных плеч. Разве это дело? Оставалось хлопцам только издали наблюдать.

...Железо постепенно сминалось, принимало нужную форму, темнело. Наконец его или снова совали в «горно», или опускали в бочку с водой. Тогда оно шипело, кузницу заволакивало паром. И через минуту-другую готовая поделка, звеня, летела в угол.

Хлопцам интересно было узнать, что же выходит из-под рук дядьки Романа. Он ковал и лемеха для плугов, и подковы, и шины для тележных колес, и «занозы», «притыки» для воловьих ярм, делал тяпки и ножи из старых кос и даже из солдатских касок.

Особенно много работы было у кузнецов перед жатвой. Перебирались заново старые косарки (так назывались в селе пароконные косилки-лобогрейки), самоскидки, ремонтировались телеги, арбы, перетягивались колеса. Женщины несли в кузницу косы и даже серпы. Все это ремонтировалось, клепалось, точилось. Плотники приделывали к косам особые грабли, которые позволяли подрезанный хлеб сразу укладывать в валки.

И жатва начиналась. Загон обкашивали всегда вручную опытные косари. Потом поле делили пополам. На одной половине косили косарками и самоскидками, которые таскали самые выносливые лошади. Эти косилки и сами по себе были тяжелыми, да и хлеб сваливать было нелегко. Работали на косилке по двое. Один правил лошадьми, следил за правильным подъемом косогона, второй сбрасывал вилами срезанный хлеб. Недаром этот агрегат назывался лобогрейкой. Пот с людей лился ручьями, рубахи буквально прилипали, насквозь промокшие. А без рубах тоже

плохо: колючки из осота так и впивались в тело. Было жарко, пыльно, косилки пронзительно стрекотали. Они довольно часто забивались или ломались, так что нередко вручную заканчивали косить даже раньше.

Косами работали по-разному. Женщины не всегда свободно владели ими, у многих они были просто никудышными. Некоторые жали серпами, хотя это было, пожалуй, еще труднее: надо было постоянно нагибаться, обхватывать пучок ржаных или пшеничных стеблей, ловко подрезать серпом, класть в сноп — и все сначала. Но среди косарей были и удивительные мастера своего дела, не только мужчины, но и женщины. Митька с Иваном смотрели, разинув рты, как ловко укладывали скошенный хлеб своими косами-граблями подружки — вдовы Клава и Поля, подзадоривая идущих чуть впереди мужиков.

— Пятки береги! — весело покрикивали они, широко, по-мужски занося косы, и мужики, отшучиваясь, «берегли пятки», нажимая всюю, чтобы не отстать, не опозориться перед женщинами.

Вслед за косарями начинали свою работу вязальщицы. Они граблями ровняли скошенные, чуть подсохшие валки, ловко крутили соломенные перевясла, охватывали ими приготовленные «кулики», стягивали, придавив коленом и скрутив перевяслом, ставили готовый сноп «на попа» или просто клали на землю. Ребята постарше стаскивали снопы, а кто-нибудь из взрослых укладывал их «в кресты» или в суслоны вверх колосьями, прикрывая сверху последним снопом, распущенным колосьями вниз, чтобы дожди хорошо стекали и меньше бы мочили хлеб. Митька и Иван тоже помогали. Они крутили перевясла вместе с сестрами Нюсей, Дусей и Ниной. Однако скоро их работу забраковали, тогда они стали таскать снопы. Они поначалу казались легкими, и Митька с Иваном хватали сразу по два, но с каждым разом снопы тяжелели, стерня немилосердно колола босые пятки. Колючки сухого осота вонзались даже в их заду-белую кожу, приходилось все чаще садиться на землю, слюнявить черные пятки, отыскивать мелкие, но болезненные занозы и выдергивать их длинными черными ногтями.

А солнце жгло невыносимо. Без конца хотелось пить. Чем чаще ребята бегали к бочке с водой, тем чаще тянуло к ней, тем обильнее лился пот, тем тяжелее становились снопы. Наконец Иван и Митька падали спинами на валки и долго лежали, глядя в небо и не шевелясь.

...Помнит Митька, как однажды всполошились все, закричали, зашумели, застучали в косы. Оказывается, здоровенный волчина среди бела дня поймал на краю села гусака и, неся его в зубах, медленной рысцой пробегал мимо поля, где работали десятки людей. Это было невиданной наглостью даже для тех, осмелевших в войну волков, совершавших дерзкие налеты зимними ночами на деревенские хлевы, продиравших соломенные крыши и плетневые стены сараев и резавших скот прямо в хлевах. Но то было зимой и ночью, а это летом и среди бела дня. Мужики с вилами и косами помчались за серым разбойником. Ванета вскочил на лошадь и, оглушительно свистя, поскакал ему наперерез. Волк остановился, положил гусака, бросился в сторону лошади и лягнул зубами. Испуганная лошадь шарахнулась в сторону. Ванета едва не слетел с нее, но удержался и поскакал назад, смеясь и ругаясь. А волк схватил свою добычу и так же рысью скрылся в некошеной ржи. Лишь по расходящейся полосе в ржаном массиве можно было видеть его путь к ближнему лесу.

Долго еще не могли успокоиться жители села, ругались, вспоминали все, что каждый знал или слышал о волках. Истинные рассказы перепле-

тались с вымыслом. Разговоров хватило чуть ли не на полдня. Митька первый раз в жизни увидел тогда волка так близко и был потрясен его силой, дерзостью, умом. И наглостью тоже. Они вспоминали с Иваном, как волки зимой взяли в конуре собаку Лайку у их дружка Николы и сожрали за огородами, оставив одну голову с открытыми застывшими глазами. Митька и Иван тогда холодели от ужаса, представляя, что и им несдобровать, попадись они этим кровожадинам.

Дети, да и женщины как-то непроизвольно стали держаться поближе друг к другу, пока не забылось все в кипучем ритме коллективной работы. А над всей этой людской суетой синело бескрайнее небо, плыли легкие облака, мелькали крыльями кобчики, высматривая в стерне потревоженных кузнечиков и перепелок. До вечера еще было бесконечно далеко.

ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ

Когда снопы подсыхали в суслонах, их перевозили на арбах и укладывали в скирды. Это доверялось самым опытным скирдоправам, потому что хорошо уложить снопы — дело непростое. Надо так сложить скирду, чтобы ветры не растрепали и дожди не погноили хлеб. Ведь лежать ему в скирдах приходилось иной раз до середины зимы. Рук не хватало, и порой случалось, что хлеб, предназначенный на трудодни и семена, молотили позже, когда уже убиралась свекла. Но это бывало, когда непогода мешала, когда осень выпадала дождливой. Обычно же хлеб молотили сразу после уборки, в первую очередь тот, который нужно было сдать государству.

Веселое это было дело — молотьба! В первый день обмолота даже школьники на время бросали главную свою работу — сбор колосков, сбегались поглядеть. Всех охватывало какое-то праздничное настроение. Все возбужденно галдели, шутили, ругались, но беззлобно, весело. Кричали, чтобы перекрыть рокот старенького «универсала» и грохот молотилки, которую он вращал. Митька со всеми ребятами во все глаза глядел, как вращался тяжелый маховик, как бежали, перекрещиваясь, широкие ремни трансмиссии, как вертелись зубчатые колеса и колесики в молотилке, как тряслись решета, немилосердно гремя и скрипя.

Взрослые постоянно гнали ребятишек подальше от ремней, решет, чтоб не попал кто в беду. А до беды недолго. Зазеваешься — враз потянет ремнями, замотает в шестеренки, оторвет руки-ноги, а то и насмерть ушибет. Тут зевать нельзя. Взрослые и то опасливо поглядывали на огромные ремни.

Работа кипела. Снопы подавали на полку молотилки. Там стояли два человека. Один быстро разрезал лезвием косы или длинным ножом перевясла, второй совал растрепавшиеся снопы в темную пасть молотилки, в которой вращался барабан и подавал все внутрь. Молотилка похожа была на какое-то ненасытное чудовище. Внутри нее все тряслось, грохотало. Пыль стояла облаком. Сзади молотилки падала солома, которую вилами отбрасывали подальше несколько человек, выстроившись в цепочку. Зерно текло по желобку в подставляемые деревянные ящики, а солова выходила сбоку в подвешенный мешок или на землю. Один человек следил, чтобы солова не забивала ход, выгребал ее оттуда. Старенькая молотилка часто «давилась», снопы не лезли, застревали в пасти. Тогда все глохло. Тракторист сбрасывал ремни трансмиссии или совсем глушил «уни-

версал», доморощенный механик Ефим Ефимович, курносый, долговязый и невероятно грязный, ругаясь, залезал молотилке в пасть или в чрево и долго возился там, освобождая барабан от накрутившейся соломы или устраняя другие неполадки. Тогда все валились на свежую, пахучую солому отдыхать.

Но когда все ладилось, любо было смотреть на людей, на их дружную, слаженную работу. Взлетали на вытянутых руках золотые снопы, сияли на солнце стальные зубья вил, сверкали белозубые улыбки на пропыленных лицах мужчин. Женщины завязывали рты и носы уголками платочков, спасаясь от пыли. Работали ловко, радостно, с шуточками. То и дело доносились визг, смех: то спустят девчата и молодки какого-нибудь парня со скирды вниз головой, то обольют какую-нибудь озорницу из ведра холодной водой, и та так завизжит, что у Митьки аж мурашки по спине побегут, будто это его самого водой окатили.

Старики и старухи покрикивают на молодых, но больше для виду, им тоже радостно в этом празднике общего труда. О ребятишках что и говорить! Носятся туда-сюда, кувыркаются в золотистой соломе, жуют свежее зерно, носят в трофейных котелках и алюминиевых кружках воду старшим, осаждают возчиков зерна, чтобы покатали до тока и назад. Хорошо, если на лошадях: на обратном пути обязательно рысью покатают, а то и вожжи дадут подержать. На волах тоже ничего, но уж очень медленно они ползут. Иногда душа не выдерживает: вскакиваешь с брички и мчишься вперед, оставляя далеко позади телегу с этими рогатыми слюнявыми тихоходами. А на зерне ехать хорошо! Разляжешься, зароешь руки-ноги в теплое зерно и едешь, блаженствуешь, закрыв глаза. Лежишь, пока вдруг не покажется, что едешь не вперед, а назад... А то сидишь и покрикиваешь грозно: «Цоб-цабэ!» — подгоняешь волов, но они на твои грозные крики — ноль внимания.

Любил Митька время обмолота. Школьников вскоре уводили на сбор колосков. Митька и Иван тоже помогали своим сестрам собирать эти колоски, но до чего ж трудная это работа. Пока насобираешь полную противогазную сумку усатых колючих колосков, начнет разламывать спину, ноги горят, наколотые стерней и осотом, во рту все пересыхает — языка не повернешь. В глазах рябит, колоски кажутся серыми цветинистыми гусеницами, затаившимися среди стерни. Хорошо, если поятится Ванета на конных граблях. Подцепишься к нему, ухватишься за железное сиденье и сидишь на ребристой станине, свесив босые ноги. Они далеко не достают до земли. Сидеть жестко, неловко, трясет невероятно, зато катаешься. Ванета, троюродный брат Митьки, парень лет пятнадцати, смешно покрикивает на лошадей, лихо свистит, железным рычагом поднимает и опускает грабли. Митька было попробовал раз поднять их, но даже не стронул. Зато опустил в другой раз так, что и сам слетел вслед за рычагом, чуть не попал в зубья граблей.

Конечно, Ванета заругался, треснул Митьку по затылку и наладил от себя подальше. Обидно было Митьке, да что поделаешь — сам виноват. Поревел немного и побрел снова колоски собирать.

Взрослые всегда гоняют ребят, ругаются, но те делают свое. Катались на пустой сетке и Митька с Иваном, один раз даже со скирды слетели: не успели соскочить вовремя. Ничего, даже не ушиблись. Зато и весело ж было! Взрослые тоже порой озоровали. То какая бабенка заезвается, и ее накроет соломой — тогда визга и крика не оберешься, то иного парня девчата и молодухи запеленают в сетку и спускают медлен-

но, натягивая свободный конец каната и дурашливо напевая что-нибудь колыбельное. Но когда шло завершение кладки, тут уж шуточки прекращались. Опытные скирдоправы зорко следили за укладкой каждого навильня, утапывали, оглаживали скирду граблями, чтобы она была гладкой, крутобокой, чтобы дожди скатывались с нее, не портили корм. Митька и Иван подолгу потом любовались на золотые округлые скирды, словно это они сами так ловко их сложили. И даже озоровали на скирдах редко, понимая, что нельзя: растолчешь, наделаешь дыр, и дожди враз погубят солому.

ГОРЬКИЕ УРОКИ

И все-таки жизнь постепенно налаживалась. В колхозе прибавлялось скота: волов, коров, откуда-то пригнали выбракованных трофейных лошадей. Это были красивые желтые дончаки (так в селе называли рысаков) и соловые ардены — немецкие тяжеловозы. Было и две пары мулов. Но последних в селе не любили и за их норовистость, и за лень, и просто за то, что они «итальяшки». Конечно, скотина не виновата, но уж очень много горя принесли их бывшие хозяева. Мужики брали мулов неохотно, и приходилось с ними валандаться вдовам и девушкам. Кричит, ругается голосистая бабенка, стегает мула хворостиной, а он только задом вскидывает и хвостом мелет, а сам ни с места. Со стороны смотреть — смех один, а ездовому слезы: много ли поработаешь на таком тягле. Зато дончаков любили все — и взрослые, и особенно мальчишки. Хлопцы, гонявшие коней на водопой и в ночное, даже спорили, кому на какого коня садиться. Рысаки были покалеченные, для тяжелой крестьянской работы не очень годные, но их жалели и никогда не били. Да и попробовал бы кто ударить. Вмиг понесет бешеным галопом, расшибет и телегу, порвет постромки и самого ездового вывалит, а то и покалечит.

Лошадей брали мужики, а девушкам и молодкам доставались мулы и волы. На волах надежнее. Они хоть и ленивы, и непослушны, но не расшибут. Митька любил кататься с тетей Катей на арбе, когда начиналось скирдование. Свесив ноги, ухватишься за ребрины арбы обеими руками и смотришь, как под ногами медленно проплывает пыльная дорога, как пыль оседает на серые лопухи и колючки. Сидеть жестко, трясет, но это пустяки. Зато на соломе ехать — одно блаженство! Сидишь, Бог знает как высоко — и страшновато, и дух замирает от восторга. Чуть накренишься арба под косогором, и кажется, что свалишься сейчас с такой высоты, накроет тебя соломой. Но все обходится, и вновь ты гордо озираешь землю с вышины и сам себе кажешься сильнее, значительнее...

Постепенно вернулись домой уцелевшие на войне мужики, а также те, кто побывал в плену. Ждать отца уже было нечего, и Митька с Нюсей смирились. Смирилась с этим и мать. За отца стали давать пенсию. Маленькую, конечно, но все же это была помощь.

Сейчас иногда Митьке кажется странным, как это он уцелел в те годы. Не менее десятка раз бывал он на волосок от смерти. Мать рассказывала, как, еще несмышленишем он едва не замерз в хате на лежанке. Митька еще плохо понимал край, поэтому, уходя из дому, мать привязывала его на лежанке к вбитому в потолок колечку. Митька под присмотром Нюски ползал и не падал с высокой лежанки.

Но однажды в зимний день соседский козел заглянул в низенькое оконце и стал обгрызать раму. Пугливая Нюська, усмотрев в нем черта, в

ужасе выбила верхнее стекло в окне напротив лежанки, выскочила на улицу, добежала босиком по снегу к соседям. Взрослых и у соседей никого не оказалось, она заигралась и забыла о Митьке. Когда мать пришла из леса с вязанкой дров к вечеру, она увидела, что вьюга дует в окно, а на лежанке, занесенный снегом, сидит на привязи посиневший Митька и уже не плачет, а хрипит сорванным голосом. Митька тогда впервые застудил легкие, провалялся в жару, но выжил.

После жестоких боев повсюду валялись мины, гранаты, снаряды. Сколько пацанов погибло и покалечилось тогда! Но Митьке повезло, да и Нюська всячески пресекала его саперные поползновения. Но не все же время Нюська рядом. Митька с Бульбой привязывали к стабилизаторам новеньких мин веревочки-поводья, садились верхом и сползали на минах в ярк. Как эти мины не взорвались — уму не постижимо. Но тогда им здорово влетело: Иван Зюба, парень, живший рядом с Бульбой, увидел их проделки и крепко наkostenял обоим по шеям, да еще и матерям рассказал. Те уполномочили пороть своих «минеров» в любой момент, если он захватит их на месте преступления. Он это охотно и делал, однако Бульбу это не спасло...

Митька помнит, как однажды они, мальчишки, собравшись большой ватагой, взрывали красненькую итальянскую гранату. Кидали ее об землю прямо себе под ноги, били кирпичами — она не хотела взрываться. Шурка Сулин пробил ее насквозь зубцом от косогона и победно нес над головой, а хлопцы шли рядом и дурачились. И все-таки она взорвалась. В лесу лежало зубчатое заднее колесо «универсала». Тертеха швырял снова и снова эту гранату о колесо, а пацаны стояли по другую сторону колеса и подавали советы Тертехе, как кидать. После третьего или четвертого броска граната вдруг ахнула, зашелестели осколки. Все отшатнулись, а потом стали хохотать. Никто не пострадал, только у Тертехи штаны исполосовало, да в бедро вошло два маленьких осколка. Вся взрывная волна пошла в его сторону. Митьке в руку попал крохотный осколок. Митька сразу его и не заметил, а потом промолчал, чтобы не попало от матери. Так тот и остался в нем, как напоминание о тех временах. Даже удивительно, как дешево тогда все отделались. Один Тертеха ревел, да и то не столько от боли, сколько от досады за рваные штаны да от предчувствия неминуемой порки. Митьке везло. Трижды он находился рядом со взрывом, и трижды он выходил невредимым.

Бульба погиб на следующее лето. Митька тогда уже лежал в постели, надолго закованный в гипс. Иван ходил к нему по десять раз на день, помогал осуществлять бесчисленные Митькины выдумки: то протягивал ниточный телефон из спичечного коробка и пустой катушки, то ловил синекрылых и краснокрылых кобылок. Митька и Иван выкапывали в земле ямку, накрывали ее осколком стекла, пускали туда кузнечиков и часами следили, как они прыгали, стучаясь о стекло.

Митька хорошо знал, что у Бульбы спрятаны боеприпасы. У него было две «лимонки», пять итальянских гранат, десятки патронов, в том числе с трассирующими пулями. Мин и снарядов Иван не трогал, но говорил, что есть у него на примете порядочная мина, что из нее можно бы добыть немало тола. Зачем он ему был нужен — неведомо, но он был одержим желанием выдолбить из мины тол. Той же миной его и разнесло. Как всегда, он пас гусят в бурьянах, недалеко от нее. Когда перед обедом утробно охнула земля возле шляха, Митька, лежа во дворе под навесом, сразу с ужасом подумал об Иване, о его мине. И вскоре все на их крайке засуе-

тились. Мимо двора Мельниковых бежали к шляху люди, где кричали и тужили сестры Ивана Дуня и Нина и их бабка Оксана. Потрясенная увиденным, прибежала Нюся и зашлась в истеричном плаче. Митька тоже ревел во весь голос, чувствуя и себя в чем-то виноватым в гибели друга. Привезли с поля тетку Феклу, мать Ивана, и ее дикий крик и причитания навсегда застыли в сердце у Митьки. Ивану оторвало руки и ногу, выбило глаза, но он еще был жив, когда к нему подбежали. На месте взрыва зияла воронка. Это, действительно, была та большая немецкая мина, из которой Ивану так хотелось добыть тол.

...Смерть Ивана Бульбы заставила Митьку впервые всерьез взглянуть на себя, на свое поведение как бы со стороны. Сколько глупостей он уже успел натворить за свою короткую жизнь! Он дважды тонул. Летом его вытащили из воды старшие девчата, когда он уже и пузыри перестал пускать. Он помнит, как шагал по дну пруда вслед за девчатами, помнит, как оступись со скользкого глиняного уступа в дне и как долго глотал потом серую противную воду. А как вытащили, как «откачивали» — этого не помнит. Зимой он влетел в прорубь. Был декабрь. Лед на пруду был еще тонкий, но их, пацанов, держал свободно, только прогибался и тенькал, когда бежали по нему цепочкой, взявшись за руки. Мать с соседкой поехали в лес за хворостом, а Митьку не взяли, хотя он слезно просился. Тогда он со зла ляпнул, что пойдет и утонется в пруду. Конечно же, он и не думал этого делать, но так уж случилось, что едва не утоп. Разлетелись его сапоги на скользких, выглаженных подошвах, поздно заметил он полынью, не успел притормозить и очутился в воде. Пальтишко его из трофейной итальянской шинели надулось пузырярем, и это, быть может, спасло, помогло удержаться на воде. Митька ухватился зубами и пальцами за тонкие края льда и тихонько выл, боясь раскрыть рот. Он чувствовал, как его медленно тянет вперед, под лед, но думал о том, как бы не стянуло с него сапоги, а то мать будет ругаться. И он сгибал ступни ног, чтобы не потерять обувку. Дружки, с которыми он вместе катался, испугались и убежали. Хорошо, что бабка Дуня увидела, как он влетел в прорубь, и начала кричать, звать на помощь. Первым попытался спасти Митьку бригадир Павел Тихонович, но лед возле полыньи был слабым, трещал, и тот не рискнул подойти. Тогда Наташа, девчонка лет шестнадцати, жившая возле пруда, подползла к полынье, ухватила Митьку за шиворот. Павел Тихонович держал Наташу за ногу. Так вдвоем они и вытащили Митьку.

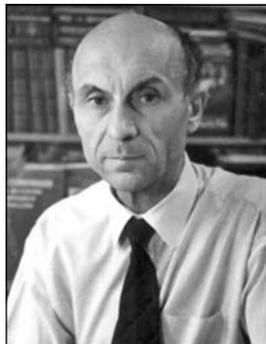
Скорехонько отнесли его в хату к Наташе, раздели, растерли шерстяным носком, сунули на теплую лежанку, дали ему Володькины штаны. Володька, брат Наташи, был старше Митьки, и штаны доходили Митьке подмышки. Пояса не было, поэтому Митька одной рукой держал штаны, а другой бренькал струнами балалайки, которая висела на стене.

Таким его и застала мать, когда влетела в избу. Она не знала, что делать: то ли пороть Митьку, то ли целовать от радости, что он жив. Она плакала и упрекала сына, что он ее не жалеет, не понимает, как ей тяжело. Тогда у Митьки было нехорошо на душе, но по-настоящему он впервые задумался и о матери, и о своем поведении не тогда и даже не после того, как надолго, на годы залег в постель (все эти зимние купанья, падения с деревьев и драки ему даром не прошли), а лишь после гибели Ивана. Эта гибель друга все перевернула в душе Митьки, как бы сдернула пелену с его глаз, заставила думать о других. Жизнь Митьки делала новый поворот — его надолго увозили из дома в больницы. Кончалось дет-

ство, нелегкое, полуголодное, но вместе с тем такое дорогое и незабываемое. Кончалось оно, как страшная сказка, в которой уже явственно чувствуется добрый конец.

Везли Митьку на волах по раскисшему осеннему грейдеру в городскую больницу, и он смотрел, как проплывают мимо совсем маленькие дубки полезательной полосы. Митька помнит, как сажали желуди вдоль дороги, как медленно, очень медленно поднимались эти степные дубочки, тянулись своими резными листиками в небо. Некоторые погибли от палящих лучей солнца и обжигающих морозов, сминались колесами и копытами, но остальные крепили, пускали глубокие корни в землю и там, в глубине, искали живительные соки, чтобы, спустя годы и годы, подняться, наконец, могучей семьей под родными небесами, надежно прикрыв путь суховеям и ледяющим зимним ветрам, защитив поля. Митька потом всегда с каким-то теплым чувством встречался с этими дубками, ровесниками своего знойного и обжигающего детства, и ему кажется, что и сам он, и все его друзья-приятели тоже вросли глубокими корнями в родную землю. И их, кого жизнь не баловала, гнули и давили всякие невзгоды, и кого надежно прикрыли в черные годы крылья мозолистых материнских ладоней, не свалить теперь никакими бурями и не убить зноем и холодом, ибо сила их здесь, в этой родной и любимой навек земле.





Виктор Викторович Будаков родился в 1940 году в селе Нижний Карабут Россошанского района. Окончил историко-филологический факультет Воронежского государственного педагогического института. Прозаик, поэт, эссеист. Лауреат литературных премий и.м. И.А. Бунина, и.м. А.Т. Твардовского, и.м. Ф.И. Тютчева «Русский путь». Основатель и редактор книжной серии «Отчий край». Почетный профессор Воронежского государственного педагогического университета. Заслуженный работник культуры РФ. Автор более 30 книг прозы и поэзии. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Виктор Будаков

ВОЛНЫ

Рассказы

Три раза в неделю проплывал мимо нашего Нижнего Колодезя большой пассажирский пароход. То есть он, наверное, не был большим, — где развернуться на Дону большому судну? — но в детстве ведь все укрупнено: и хата, и река, и слеза...

Пароход причаливал к пристани в соседнем селе, ненадолго останавливаясь там, мимо нашей же слободы, проплывал как недостижимость и загадка, всякий раз удивляя и волнуя нас зримою силой перемалывающих воду колес.

Разве выпустит из широкой трубы клубами черный дым, так и тот относит на другой берег.

Как только пароход равнялся с нашей убогой пристанью, мы с разбегу бросались в воду. И шла нам навстречу размашистая широкая волна. И бедовые наши головы — Петька, два Ивана, Колька да Толик, да я — качались на гребнях, взлетая и опускаясь с ними. Брызгались, смеялись, весело кричали бог знает о чем. И хотя было немного жутковато от глубины и неизвестности под нами, но мир выступал в солнечной его доброте, и эти часы были лучшие часы нашего скудного послевоенного детства.

Волны постепенно успокаивались. Чуть зеленоватые гребни их напомина-

ли, быть может, иные волны: молодых хлебов в древних полях. И каким-то образом через эти волны мы чувствовали себя таинственно соприсчисленными многому на земле: прекрасной нашей реке, деревьям по ее берегам, небу с отраженными в воде облаками, близким полям, далекому морю.

Петька, два Ивана, Колька да Толик, — где вы?

Но во сне иногда видишь, как донская бело-зеленая волна качает, стремительно несет веселые детские головки.

Петька, два Ивана, да Колька, да Толик, да я...

Да ведь сны — это те же волны.

КРЕСТ И АЛОЕ СОЛНЦЕ

На рисунке было всего три цвета: черный, красный и белый. На тетрадном листке бомбардировщик, накренясь, пронзал солнце. Черный самолет, бело-черный крест на его сигароподобном брюхе и три черные капли, тяжелеющие по мере того, как они приближались к земле. Крест, такой пронзительно-черный, что само солнце было бессильно здесь со своим алым полыханьем; сразу чувствовалось, что этот крест никогда не был и не станет красным милосердным крестом.

Наш дальний родственник, художник, безвыездно живший на Дальнем Востоке, нечаянно заглянувший в родные края, подошел к окну, чтобы получше разглядеть этот скупой рисунок, последний в принесенной Толиком кипе. Художник долго рассматривал его, будто было в нем невесть что такое, наконец, проговорил: «Какое настроение! Резкость... экспрессия. И как верно: контраст непримиримых цветов!»

Нам, сверстникам-друзьям, гораздо больше нравились другие его рисунки, где было больше близкой нам жизни: овраг, заросший лозами, или белые хаты над синей рекой, или зимний лес, опушка, заяц у одинокой березы. Но художник рассудил иначе. «Если не возражаешь, — обратился он к Толику, — этот я прихвачу с собой. И эти...» Он взял еще два листа, самые, пожалуй, странные. На одном — весенняя река, ледоход, на сизой льдине растет и зябнет яблоня, красная от яблок, на другом — посередине реки танцуют лисицы. «Не возражаешь? Будет выставка в городе, думаю, что твои рисунки понравятся».

Толик лишь пожал плечами, да так по-взрослому получилось, будто он на этих выставках бывал-перебывал! А сам стоял — тоненький, веснушчатый. Такой же, как мы. Да не такой! И этот его дар рисовать уже уводил его от нас...

ГРАНАТЫ НА ЗЕМЛЯНИЧНОЙ ПОЛЯНЕ

Опушки недалеко от слободы Черноклена-леса зелено дымились сильными травами, перевозданные, задичалые. На них густо разрослись земляничники, ягоды — пропасть. Удивляться ягодному изобилию было нечего: не до земляники народу, переживавшему лихолетные времена. И, может быть, мы были первые здесь «лукошники» с той поры, как война началась, как закончилась. Наши матери — спорые руки — сразу же принялись собирать ягоду в корзинки, мы же ели-наедались, пригоршнями бросая ее в рот; соковитая, пахучая. И чем больше мы рвали земляники, тем, казалось, больше становилось ее: пятнистый красно-зеленый земляничник стлался до дальних берез на опушке, да и там, наверное, не

кончался. Земля, за месяцы войны измученная взрывами, чуждыми ей металлом, порохом и толом, теперь с жадной удесятеренной силой исцелялась. И этот земляничник был первым вестником возрожденной жизни: ведь еще многие по окраю леса деревья не отошли от войны, иные были выкорчеваны, другие, опаленные, надломленные, тянули ввысь нагие ветви, а ягодный скос у леса будто молчаливо свидетельствовал, что война та — тяжкая боль, тяжкий сон, навсегда ушедшее прошлое, его нет... Есть только эти алые земляничины.

Но приманчивой россыпью, приманчивей, чем земляничины, чуть взблеснули в траве бело-красные крыльчатые веселые, как игрушки, гранаты. На детские возгласы поспешили матери. Тревожным полукружьем постояли. «Надо сказать председателю, чтоб вызвал саперов», — порешили они; а нас увели подальше от гибельных, в веселой упаковке, игрушек. Подальше... и никто не догадался, не почувствовал, что в Толиковой плетенке, на дне ее, прикрытая травой и рубашкой, уже лежала притаенная радужно-красная смерть; Толик первым обнаружил гранаты в траве, и спрятал одну из них. Нам он ничего не сказал.

Вечером в левадном кустарнике раздался взрыв. Несильный, как бы хлопущечный, был он почти не слышен за мычанием коров, возвращавшихся с пастбища.

И за сорок без малого лет эхо и прогорклый дымок того взрыва истаяли, бесследно растворились в мире.

Но сухими вечерами на вербяном комле у своего дома подолгу сидит молчаливый слепец и время от времени что-то вычерчивает тонкой палкой, что-то рисует на пыльной земле.

И думаешь: почему так? Почему случай, перст судьбы, рок выбрал именно его, самого одаренного из нас? Почему именно глаза поразил у него? Без ног — тоже не радость — он все-таки смог бы рисовать.

Кто вытачивал, кто красил для него эту зловещую гостью? Может, тоже художник, призванный под знамя со свастикой?

О, земляничная поляна, прекрасная проклятая земляничная поляна, где на короткий миг и на всю жизнь — свет и тьма!

НЕ ОДНА ВО ПОЛЕ ДОРОЖЕНЬКА...

Из глубины наплывает первое впечатление большой дороги. Раздольное, чуть волнистое срединнорусское поле — ни конца, ни края. Чистыми волнами взмывают поспевающие хлеба, редкие терновники темными каплями плавают в них. На горизонте синеют перелески, неподалеку от лога-лещинника, по непаханному склону которого мы с матерью пасем овец, белеет цепочка деревенских мазанок.

А через все поле, через лога и увалы, тянется старинный большак — прадедовская дорога. Неподалеку к ней примыкают четыре — в соседние деревни — проселка, образуя что-то вроде длиннопалой ладони. Телеграфные столбы вдоль большака — как задумчивые стражи.

Уже несколько месяцев кряду эта дорога — дорога возвращений. Бывает, промчится выдавшая виды полуторка, мелькнут солдатские пилотки; бывает, не торопясь проскрипит арба-подвода — на ней возница и солдат, а то и двое в гимнастерках. Чаще, однако, пешие. Один пройдет, еще один, еще...

В тот воскресный день их возвращалось так много, что могло пред-

ставиться да и представлялось моему благодарному ребячьему сознанию: все возвращаются в дома свои...

(Через четверть века в родном селе буду стоять у мемориальной плиты с именами погибших. Две роты невернувшихся, погибших.)

Поле казалось бесконечным, и были другие дороги, и по ним текли человеческая беда и надежда.

Не одна во поле дороженька...

БРАТЬЯ

Река — подо льдом, и она не остановит две молодые толпы, жаждущие помериться силами. Человек пятьдесят лихих и крепких от одной слободы, чуть поменьше от другой. Тугие январские снега отражают свет месяца, и оттого светло: вправду, хоть иголки собирай. Но не до иголок! Нам, малышне, с крутого берега видно, как сходятся две стены. Две рати. Так они сходились неделю назад, месяц назад, что-то есть в этом от старинных побоищ: медленно, потом все быстрее, и вдруг крики, лязг, треск...

А после — кровь на снегу, рассеченные брови и губы, синяки под глазами; правда, дрались только на кулаки, в руках ничего железного, но ведь иной и кулак тяжелее гири; таков был у нашего вожака Бодая, ударит — долго пострадавшему лежать на снегу.

Боязно нам, у каждого из нас, взирающих с крутобережья на ожидаемое ледовое сближение, сердце вот-вот выскочит из груди: сейчас они начнут резкое сближение, и кто кого? Кто победит?

И вдруг — не как прежде. Две стены перестают двигаться, до нас доносятся голоса, то ли вопрошающие, то ли выясняющие, договаривающиеся, и по три человека отделяются от своих и встречаются на ничейном пространстве. Среди них Бодай и Шах, наш и тусторонний предводители. О чем-то долго говорят.

Потом расходятся; и тут же сходятся две толпы, и ни крика, ни ругани, ни треска; разворачиваясь, единой лавой текут, поднимаются вверх, мимо нас текут — и вот они уже в нашей слободе. Смех, оживленные голоса. Потом в эти сильные голоса вплетаются девичьи... Да, право, из-за девчат ли эти драки? Вон их сколько — всем невест достанет!

Вспоминаю тот зимний час замирения, думаю: что же все-таки произошло тогда?

Надоело им? Или жестокий угар, оставленный недавней войной, развеялся? Повзрослели? Поняли, что не чужие, что — братья?

ТОНКАЯ РЯБИНА

Не всякий раз, но часто, возвращаясь с работы домой, в окраинный городской квартал, составленный из многоэтажных, вразброс, железобетонных зданий, похожих, быть может, на серые отроги горного хребта, вспоминаю я далекую теперь деревеньку в полевом краю; это воспоминание рождает не сам железобетонный массив, а те тонкие рябины, что опоясывают его весь, да еще растут перед окнами у каждого дома, хрупкие сами по себе и еще, более хрупкие на неприветном фоне тяжелых холодно-зернистых стен; я замедляю шаг, признательный неизвестно кому и чему: может, домоуправу-поэту (как еще назвать человека, который сумел высадить эти нежные деревца с шаровидными кронами?), может,

обстоятельствам (ничего, кроме рябины, в каком-нибудь Зелентресте не оказалось), признательный и своей памяти.

...В деревушке той, впрочем, не было ни одной рябины. Стоял послевоенный весенний вечерний час, и — что ж? — смуглое деревце это странным образом возникло, затрепетало узорчатыми мерцающими листьями; был праздник Победы, и на подворье моей родственницы тетки Ольги — в хате не разместились — за праздничный стол собралась чуть ли не вся деревня, человек пятьдесят, и вот что бросилось в глаза: кроме нас с отцом, забредших из соседней слободы, не было здесь ни одного мужчины. Даже среди детей одни лишь девочки.

Все женщины оказались мне тогда немолодыми и как бы на одно лицо «тетками», хотя иные из них, верно, были и молодые, и красивые, и, будь я несколькими годами старше, я бы это почувствовал вернее, а так... Вспоминать теперь, какую она была, с какими — серыми или карими — глазами, «тетка» Мария, чей голос, задушевно-пленительный, и повел:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина?..

И женщины, сколько было их, подхватили песню, грустнее и краше которой я уже не слышал; они пели так, что сама загадочная песенная рябина словно бы обретала образ прекрасной женщины; я будто чувствовал ее дыхание, и казалось, она сейчас откроется взору. В то же время и в каждой из певших словно бы присутствовал и образ рябины...

Мне только позже стала понятной потрясающая проникновенность того пения. Ведь каждая пела о своей судьбе: в деревню, отдавшую фронту полсотни мужчин, не вернулся ни один.

Видно, сиротине
Век одной качаться...

Гораздо позже, думая о том, как много у нашего народа песен, столь чутко выражающих его душевную жизнь, что их никогда не устаешь слушать, потому что все, что есть сильного и подлинного в нашем народе: доброта, открытость, ширь-размах, воля, тоска, согоревание, сострадание, радость, печаль, удаль, — есть и в них, думал я неизменно и о судьбе песни-рябины.

Или тот, кто создал ее, предчувствовал, что будет в серединной России деревенька, в которой после войны не останется мужчин, а лишь молодые вдовы?

Когда я приезжал в последний раз в родные места, деревеньки той уже не увидел. Бугорки глин, сотлевшие бревна в бурьянах, яблоневые пни — вот и все. Но часто, возвращаясь с работы домой и видя тонкие рябиновые деревца меж панельными глыбами, слышу, как давным-давно в вечерний час женщины-рябины поют свою чистую поминальную песнь.

ГОРЬКИЕ КОЛОСЬЯ

«Хобот!» — отрывисто крикнул Колька; и два Ивана, Петька и я кинулись бежать врассыпную, но все в сторону Белого яра, глубокого яра, до которого простиралось ржаное поле. Иссушенная стерня остро колола, пот застил глаза, но лучше так, чем вновь изведать короткий хлыст полевого сторожа; сколь он горяч и крут, испытал каждый из нас; Хобот за триста шагов, а уже чувствуешь его режущий короткий замах. Мы с

Колькой, в невидяще-ошалелом беге вновь оказавшись вместе, скатились в глубоченный овраг, распарывая кто рубашку, кто одни-единственные штаны, больно ушибаясь, сдирая о камни и бурьяны кожу, но не плача от боли и обиды. Миг — и затаились на дне оврага в вымытой дождевыми и вешними водами выемке, над которой нависал густо росший шиповник.

Через короткое время над нами, казалось, над всем белым светом понеслась головоломная разбойная ругань. Что мы могли противопоставить ему, сильному своей властью объездчику, бегавшему пешком быстрее конного, двужильному, с длинным носом, таким длинно-несуразным, что именно ему он был обязан своим чудным прозвищем: Хобот? Он был еще с детства однорук, но мускульно-жесткой рукой он мог все, подчас то, чего не могли двурукие: косил траву, пилил и строгал, греб ведром, возился на пасеке, расставлял силки, охотился на зайца и даже на волка; этой же рукой он и взгривал нас, когда мы попадались ему на колосках. И что были мы перед его железной силой, которой боялись даже взрослые? Самое обидное, что рожь на этом поле была скошена и убрана нашими матерями, а редкие оставшиеся колосья — что с них? — выпади один дождь, и они почернеют. А так — все лишняя пригоршня хлеба в бесхлебном дому.

С четверть часа выстоял Хобот на кромке оврага, и не на миг не утихал поток его брани и угроз. Наконец ушел. Но мы еще долго были не в силах подняться, придавленные к земле не столько страхом, сколько обидой и унижением. А когда взобрались наверх, Хобот вышагивал далеко на увале. «Гранатой бы его, гада!»

В наших холщовых сумках колосья не скрыли и донышка, но собирать их дальше мы уже не могли. Пусть не было на этот раз хлыста, но унижение оттого, что мы прятались... Почему? Что дурного совершили мы? Через многие годы при встрече мой друг сознается, что ему несколько раз снилось одно и то же — как он убегает от Хобота. И всякий раз он просыпался от страха и стыда.

И я думаю. Наверное, мы были бы сильнее, и добрее, и талантливее, если б не тот Хоботов хлыст. Ведь что за жребии: в каждом селе выискивался в ту пору свой Хобот, добровольный палач детства, малых и взрослых, «оберегавший» землю от тех, кто был рожден на ней и оставлял на ней пот и кровь.

ФИЛИНЕНОК

Филиненок еще ничего не умел в этом мире — ни летать, ни охотиться, ни защищаться, и, выдернутый из гнезда злодейской рукой Васьки Чугунка, как бы в оправдание своей фамилии и впрямь пребывавшего вечно в грязи и саже, ничего не мог понять: зачем ему связали ноги, зачем швырнули на дно оврага, зачем причинили жестокую боль — Васька первым же, острым и увесистым камнем не промахнулся. Затем стал швырять камни один за другим. Колька и я — что мы могли поделать? Чугунок на несколько лет старше, сильней, не раз уже мы бывали им биты. Самое обидное и опасное заключалось в том, что он не признавал никаких правил честной драки: не задумываясь, бил всем, что попадалось под руку — палкой, камнем, болтом, куском железа.

Филиненок — надо же! — оказался слишком горд, чтобы засуетиться и потеряться в страхе, но боль была болью, и в наивное устрашение сво-

его мучителя он время от времени приподымал крылья, хлопал ими, сипло хоркал; но потом замолчал и грустными немигающими глазами глядел близоруко вверх; на голове, чуть запрокинутой, веером расходились опаловые перышки, и такая была беззащитность в этом светло-буром живом комке...

— Перестань! — крикнул Колька.

— Оставь, а то... — Но не успел я досказать, как огромный, с голову, ком высохше-твердой земли, поднятый Васькиными руками, обрушился на птицу.

Одновременно, не сговариваясь, мы кинулись на Ваську, обида, праведный гнев придали нам силы, и на этот раз схлопотал и он, но все-таки больше досталось нам: минуту спустя и Колька, и я смазывали с лица кровь, а Чугунок, вооруженный камнями, угрожающе обещал:

— Убирайтесь, а то и с вас чучел понаделаю!

Месяц спустя, узнал: убитого филиненка Чугунок употребил на чучело и выгодно сбыв в районе. На вырученные деньги он раздобыл ремень с увесистой бляхой, нож с выбрасывающимся жалом и все лето задирался, ища ссоры со сверстниками, всякий раз восклицая: «Этого не хочешь?» — и делал вид, что расстегивает ремень.

Теперь, годы спустя, когда многое повидал на веку, видел, как умирает человек, как гибнут люди — трата невосполнимая, — теперь, когда ко многому почти привык, нет-нет да и вспомню я того филиненка с грустными непонимающими глазами.

ГЛУБОКОЕ ЭХО КОЛОДЦА

Колодец стар, как твоя слобода; черен, замшел его сруб, иные венцы подгнили, давно бы пора заменить, да никто теперь уже не заменит: с того дня, как в нем погиб двадцати лет горемыка Егорка Блаженный, погиб и сам колодец: покинут людьми. Лишь воробьи как ни в чем не бывало гнездятся в щелях меж венцами, никакой кот им здесь не страшен.

Вода была: пить — не выпить и не напиться, недаром из такой глубины ее извлекали, что ворот крутишь, крутишь — устанешь: ведро вниз летело долгие секунды. Впрочем, нет ни ворота, ни ведра, затравенело теряется некогда до глянца битая тропка, и лишь изредка ребята, играя в жмурки, наведаются сюда. Кто-нибудь заглянет в темный зев колодца и не увидит прежнего блеска далекой воды: перья и воробьиный помет скрывают ее от праздного взгляда. «Ау!» — крикнет кто-нибудь. И, угрюмо, больно ударяясь о венцы сруба, о меловые стены, пойдет по колодцу эхо, пытаясь вырваться на волю. И не вырвется. Мрачно затихнет. Нет, не сродни это эхо полевому, лесному, — в тех много солнца, лукавства, широкости. Это же — как угроза!

И, слушая его, начинаешь по-детски верить бабушкиному слову, что это душа Егорки блуждает в колодезной полутьме, и некуда ей деться, и не вырваться ей отсюда.

Никто не знает, что случилось с ним, нечаянно ли оскользнулся, или что-то замерцало ему там, в глубине, и сила сумасшедшая низринула его вниз, но считают, что так ему на роду написано было. Дед его утонул в озере, отец погиб в войну на эсминце; вода была их семейным несчастьем.

«Ау!» — крикнет кто-нибудь, и оживает неприкаянная душа, и угрюмо мечется, ударяясь о колодезные стены...

ПЧЕЛКА-МОХНАТКА

Едва закончился урок родной речи, как я, давясь слезами, оставил класс, не зная, куда мне деться, сбежать, провалиться от великой несправедливости в мире. И что толку в школьном сидении (впереди еще было два урока), когда пчелка-мохнатка уснула навеки? Белый свет мне был не мил, оттого что она «уснула навеки». А еще час назад ничто не предвещало беды, урок был как урок: после проверки домашних заданий учительница по заведенному правилу стала читать новое. Звучал рассказ о пчелке-мохнатке, о том, как она мирно собирала мед для своей семьи, как ей жилось хорошо среди своих подруг на пасеке до той поры, пока не появился злой разрушитель захожий Мишка-Топтыгин. Бесстрашно кинулась пчелка-мохнатка на незваного гостя, вонзила в него свое жало, а дальше — я знал, что будет дальше, и все же не ожидал, что концовка рассказа так меня потрясет. Здесь все, наверное, заключалось в этих жалостных словах: «уснула навеки...»

Когда отец — учитель у старшекласников — двумя часами спустя вернулся из школы, он застал меня все еще не отошедшим от горя.

— Что с тобой?

— Пчелка-мохнатка, — заикаясь, пролепетал я, — уснула навеки, — и вновь залился слезами.

Отец стал меня утешать: «Не расстраивайся... не расстраивайся. Ведь прогнали же Мишку-злодея? Прогнали. Вот что главное. Пчелка погибла не зря, понимаешь? А в этом мире где жизнь, там и смерть. Вон погляди, сколько их, неживых пчелок, у колодца?..»

Это я знал. Видел, как много их плавало без признаков жизни в застойной воде в приколодезном корыте. Бывало, поят коня или коров, с размаху опрокинут ведро в корыто, и закружились, как золотые точки, опрокинутые навзничь пчелки, беспомощно ища опоры. Подашь прутик одной, другой, третьей — ухватятся; их тут же на сухое; обсохнут — и вновь за труды свои... Но ведь это когда успеешь. Все чаще, подойдешь к колодцу, а их там... как на пчелином кладбище. Огорчался и тогда, но чтоб так...

И долго у меня еще навертывались слезы, едва вспоминал я трогательную повесть о пчелке-мохнатке.

По взрослости обретаешь жесткость и в деле, и в слове. И, прочитав ныне что-нибудь наподобие «уснуть навеки», разве поморщишься от сентиментальности написанного.

...Но как же часто хочется в тот мир невозвратного детства, где слова исторгали чистые слезы. Впрочем, любые слова можно написать и сказать по-разному. И если услышанное в твоём детстве слово трогало до слез, какое счастье, что оно явилось и светило тебе на заре жизни.

КЛЕН КУДРЯВЫЙ

Учительница, подойдя к окну, которое застил высокий старый клен, говорила: «И у дерева своя судьба. Вот клен... Кто-то его сажал, кто-то оставил на нем зарубки... Может, собирался срубить в холодную зиму? Или, может, знак какой? Клен, скажете, эка невидаль. Но у него все свое — и ветки, и корни, и листва».

Старая учительница, мать пятерых сыновей, на миг умолкает, невидящими глазами обводит класс, будто — отведя стены — ищет далекое... Ни один из пятерых не вернулся с войны; затем продолжает: «Видите,

какая тугая земля — меловая. Лопатой не укопать. А корни, как ножи, вспарывают грунт. Завтра у вас выходной. Вам задание: напишите о дереве. Хоть о клене, хоть о березе или ясене в лесу...»

Все воскресенье пробыл я в приречном леске, ватажась шумно со сверстниками среди светлокорых осин и ясеней, взлезал на вязы и дубы, пугая сорок, в палой листве дубняка искал патроны. С утра до вечера видел листья, ветви, корни. Но о дереве так ничего и не написал.

На другой день учительница попросила представить написанное. Мне показывать было нечего. Она не стала меня корить, да лучше б отругала: было стыдно... Мысленно я пообещался исполнить наказ учительницы. Но начались летние каникулы. Не написал и осенью.

Прожив жизнь, понимаешь: дерево — загадка... И смуглый осокорь на приречном холме, и белая береза, одинокой свечой мерцающая в темном ельнике, и нагая ольха у озера... И у каждого дерева — своя судьба. Видел, как они пробивают надгробия, как гнездятся на крепостных стенах, как годами мокнут в воде, видел: стоят, исхлестанные артогнем, обугленные молниями, возрастающие на куполах забытых соборов, жаждущие и не могущие ни спуститься на землю, ни дотянуться до неба.

Слушаю песню про клен зеленый, клен кудрявый и вижу клен у школьного окна, которого давно уже нет и который, однако, живет вместе с памятью о первой учительнице, у которой воевало пять сыновей и ни один не вернулся с войны.

СТИХИ В ХОЛОДНОМ КЛАССЕ

Когда человек, невесть откуда взявшись, на слободской улице вдруг начинает размахивать руками и разговаривать сам с собою, как тут любопытствующему простодушию не удивиться: да все ли у него дома? Да ведь и дома самого не было; в гражданскую войну пропали отец и мать, оставив семилетнему сыну первое знание — чуткую любовь к отечественной словесности да еще умение играть на рояле. Темный рояль сгорел, как и вся крохотная усадьба, в которой и был он наряду с тремя шкапами книг главной ценностью.

Когда невесть откуда взявшийся человек открыл дверь нашего класса, мы обо всем этом, разумеется, не знали, но уже слышали про странности нашего нового учителя, что среди зимы сменил замерзшую в поле учительницу; вот черточка как для разгадки: у бедной нашей учительницы вечно зябли руки и она боялась большого снега, словно предчувствуя свою судьбу; Дмитрий Игоревич, напротив, не боялся «ни хлада, ни мраза», расхаживая от квартиры до школы и в самом выстуженном классе в одном свитере, в то время как нам и тепло одетым было не жарко. Был он высок, чуть сгорблен, глаза иконные: огромные, темные, но излучающие свет.

Он у нас учительствовал с месяц, и странное и хорошее было его учительствование. Спрашивал он мало. Больше рассказывал. Подолгу не открывал классный журнал и вдруг за одно лишь внимание выставлял всем сплошь примерные оценки. Знал он, казалось нам, обо всем на свете и разговаривал с нами как равный с равными и, как малое дитя, огорчался тому, что мы так мало знаем. С десяток привычных имен, даже того меньше: Пушкин, Толстой, Некрасов.

«А Кольцов? Слышали о нем?» — спросил однажды учитель уже в самом конце урока родной речи. Ответом ему было наше молчание-припоминание, переросшее в незнание. «Ну что ж вы... — огорчился учитель, —

ведь он наш земляк. Босыми ногами, как и вы, ходил по мокрой траве...» Следующим и последним уроком было пение, но — какое там пение? — учитель, войдя в класс и выждав, пока мы уgomонились, вдруг начал:

В края дальние пойдет молодец: что вниз по-Дону по набережью, хороши стоят там слободушки! Степь раздольная далеко вокруг...

Он читал задушевно и сильно, с каждым словом все более проникаясь чтением, и что-то, наверное, в каждом из нас стронулось, даже озарилось сиянием того каждому из нас знакомого летнего дня, когда на приречный луг, брызжущий синим, красным, желтым, выходят с отточенными косами слободские косари. Отодвинулся, стал несуществующим класс с проморженными, сизыми от зернистого снега стенами, а «понадвинулась» степь, жаркая и пахучая, с травами выше нас...

Учитель прочитал стихи и вновь начал их — теперь уже петь. В пении голос его был глуше, но еще задушевнее, и постепенно мы заслушались, и никто не заметил, как вошли завуч и с ним еще двое незнакомых. Увидев, Дмитрий Игоревич оборвал себя, и на лице его выразилось недоумение, что за непрошенные гости?

— У нас урок пения? — не здороваясь, спросил завуч, сухой старик с желто-зелеными, никогда не улыбающимися глазами. — Почему ж тогда ваши ученики не поют?

— Рассказывал о Кольцове, а что за Кольцов без песни? — доброжелательно и просто ответил Дмитрий Игоревич.

— Кольцов? Откуда Кольцов? Что у вас сегодня по программе?

— По программе?... — Какой-то миг Дмитрий Игоревич казался растерянным.

— Придется вам отпустить их пораньше. Сейчас отпустите! — сказал тоном приказа вовсе не завуч, а один из незнакомых, тоже, как завуч, сухопарый, с темными волосами и глазами.

— Ну что ж, — учитель будто спотнулся на слове, но спокойствие уже вернулось к нему, — на время, ребята, мы с вами расстанемся. Вы только... не пропадите. И мы с вами еще споем. В поле, на косовице!

И вот много лет спустя в притемненном сияющем театральном зале идет торжественное чествование памяти народного поэта-земляка, и слова «великий», «гениальный», «проникновенный» к делу и бездельно слетают с уст хвалящих. Кто-то называет число положенных на музыку кольцовских стихов.

Но знаю, среди множества других уже не зазвучит «неучтенная» песня моего учителя. Поет хор, и медленно, необозримо меня уносит в недалекий, увы, далекий край, где степи и луга детства, где травы по пояс, где мы так и не побывали с учителем.

...И слышится голос его, из невозвратных глубин вызванный силой моей воли, любви и признательности.

ВО САДУ ЦВЕТУЩЕМ

Глухой мокрой осенью, возвращаясь из соседней деревни, завернул я в старый усадебный сад, черневший недалеко от дороги, на пологом косогоре. Не знаю, почему я решил на этот крюк: сад дважды в войну был полем боев, столь ожесточенных, что уже и после войны смерть не хоте-

ла уходить отсюда, таясь в неразорвавшихся минах, гранатах, патронных обоймах; дважды здесь подрывались колхозные телята; и хотя потом саперная команда «пропахала» все окрест, но старшие постоянно наказывали нам держаться от сада подальше.

И вот в первый раз медленно брел я меж задичалых яблонь и груш, меж кустов терновника и сирени, по бурой палой листве, то и дело останавливаясь. На бугорках, смутно вычерчивавших основание разоренной усадьбы, в бурьянах, в палой листве на каждом шагу попадались осколки, гильзы, ржавый искореженный металл. Иные стволы были будто срублены, лишь черные огрызки; из одного торчал, величиной с ладонь, осколок. Но не это меня поразило. В размытом водой овраге я резко увидел, будто ожегя: кости, много костей и чуть в стороне два человеческих черепа...

Мне уже минуло двенадцать лет, иными словами, я уже был в той предотроческой поре, когда чувствуешь еще острее, чем в раннем детстве, и спрашиваешь уже не только других, но и себя. Кто они были? Двое наших? Или пришельцев? Отступавших или наступавших? Или то были наш воин и чужой, схватившиеся в единоборстве? Эти кости вымыты весенними водами, но разве здесь им место?..

Так случилось, что я вновь побывал в том саду лишь годы спустя. Было самое начало мая, и сад стоял в цвету. Боже мой, как же он бессмертно цвел, какой белый звон гудел вокруг! Правда, пни — пасынки войны — чернели в бурьянах, как несуразно толстые грифельные стержни, но что до них было этому воскресшему саду, цветшему так яростно?

В празднично гудящем сновании пчел, опыляющих белые деревья, в торжественном гуле майских жуков и шмелей, в свадебных празднествах божьих коровок — во всем начиналось новое, рождалась жизнь новая!

Но те черепа... Обелиск на братской могиле был почти невидим в зарослях сирени, тоже зацветающей.

И как же не благодарить Божий мир, если сад воскресше цвел, переборов тлен, отраву тола, жестокие осколочные порезы, не столь давнюю здесь человеческую ненависть?!

«Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы...»

ПИСЬМА ЖИВЫХ И ПОГИБШИХ

Война. Фронт и тыл. Шли в города и деревни письма, и бывало тех писем на день — как солдат на войне. Эшелоны конвертов — разноугольных, сразу все объясняющих форм. Если в три угла конверт — значит: жив! Если в четыре, казенный — значит: похоронка! Страшные четырехугольники, острые, как бритвы, углы! Хотя, случалось, и они — в горькую радость: казенное письмо-извещение из госпиталя: приезжай, забирай калеку!

Почтальон-письмоносец был как Харон, как Гонец, как всеильный Вестник. А почтальонами-письмоносками-то были сплошь женщины, чаще девчухи; взрослевшие от двора ко двору, за один обход деревни, потому что в сумке была непомерная тяжесть скорби и укромная ноша надежды.

— Много ль беды несешь, дочка? — спрашивал у молоденькой пись-

моноски старик; он потерял уже двоих, а война еще не кончилась, и третий сын воевал, если только еще воевал...

— Радость несуду, дедушка, радость!

И уже знала она каждую кочку и выбоину на дороге от почты в соседнем селе до деревни, и знала, как родную, каждую хату, и в каждой хате — у кого какие глаза. Потому что часто не выходило разговаривать иначе — как на языке глаз.

А сердце было молодое, а сумка тяжелая...

А оттуда, с Колымы, письма не приходили вовсе: без права переписки.

БАНДЕРОЛЬ ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ

Четверть века спустя после того, как он оборонял Севастополь, оттуда пришла крохотная, из фанерных дощечек бандероль. Раскрыл ее и увидел полуистлевшие документы своей молодости — комсомольский билет, воинскую книжку да клочок источенного сыростью письма, ничего не разобрать, кроме двух не окончательно выцветших слов «... тянется ночь...»

То была последняя ночь обороны, и он уже не мог отправить написанного письма, он даже с жесткой солдатской ясностью подумал, что последняя ночь обороны — его последняя ночь вообще, когда увидел в предутреннем мраке молчаливо и угрюмо стывшие на взгорье немецкие танки, первый миг настолько расплывчатые, что их можно было принять за возы с сеном. Но откуда здесь было взяться им? Танки, да не просто вразброс, но в строгом соответствии с геометрией обхватов, котлов и колец, железная дуга, концы которой едва не упирались в море. Но как удалось приблизиться им так тихо и так близко? И как безнаказанно и казняще стоят, будто зная, что у обороняющихся уже нет ни противотанковых ружей, ни гранат, а в полку остались считанные калеки, отрезанные от своих с земли, с неба и с моря. Самое противоестественное заключалось в том, что в танках ничем — ни единым звуком — не выдавалось присутствие наступающих, будто немцы, спеша заняться иными участками, покинули свои машины в уверенности, что те управятся и сами... Что-то психологически сламывающее было в этой молчаливой недвижимой железной дуге.

На миг ему остро, до крика захотелось оказаться далеко по ту сторону от железной дуги, очутиться в родном селе, с высокой кручи взглянуть на зеленый в желтых вспышках одуванчиков луг, увидеть семью, сына. Но тут же пришло и отрезвление и спокойствие. Только было жаль, что сын никогда не узнает, как он двести с лишним ночей и дней оборонял его и таких же малых, как он, защищал Севастополь, родное село, полевой край, и, наконец, всю Россию здесь, на этих безрадостных, выжженных огнем и солнцем приморских холмах. Не узнает сын, раз эти танки... их железная дуга...

Но и у жизни своя дуга! И еще выпало ему освободить Севастополь, и не только Севастополь: он вернулся в сорок пятом в родное село, и было у него одних лишь медалей «За освобождение...» да «За взятие...» пять. И сын узнал о том, как сражался Севастополь! Может, узнает и внук. Он еще крохотный, но что ж... У жизни своя дуга!

ВЕТКИ КРАСНАЯ И БЕЛАЯ

Две деревни располагаются рядом. Одна называется Красная Ветка, другая — Белая Ветка. Почему Белая? Почему Красная? Никто не знает. Не знает и сухой старик, с которым беседует любопытствующий гость. Они сидят на бревне у самого берега реки, разделяющей деревни. Деревушки — как родные сестры, как близнецы: лес — за околицами, вербы по-над берегами, а в деревнях избы с зелеными да синими ставнями, почти сплошь закрытыми.

— Почему Красная, говоришь, и почему Белая? — переспрашивает старик и разъясняет: — Лет двести назад я бы тебе, пожалуй, сказал. Лет двести нашим Веткам. Крепкий корень был. И народ крепкий, умелый: лукошки да всякую утварь изгововлял — на три губернии славилась. В отходы хаживали, учили, учились разному ремеслу. А потом перестали ходить. Да и как? Легче в рай было попасть, чем паспорт выхлопотать. А на nive бьешься, бьешься, а за труды палочки на трудодень получаешь... Земля родная будто неродной стала... А потом стали паспорта и нашим выдавать, и кинулись — кто покрепче да помоложе — то ли за длинным рублем, то ли за длинным счастьем подальше от дому. Квартиры им в городе не больно дают, все больше по общежитиям, оттого или еще отчего детей мало рожают, а пьют много. Так что неперспективные, надо ж такое придумать, наши деревни не в город переселяются, а просто помирают. А кто ж хлеб убирать будет? Молодые куда-то подевались, ну а мы скоро помрем. Да вы там и без нас разберетесь, чего-нибудь искусственное создадите...

Старик улыбается вдруг, и улыбка у него хорошая и грустная.

У самого берега куст лозы, схваченный багровой осенью, белым морозцем, и вперемежку — ветка белая, ветка красная.

ДО БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ

У муромской дороженьки стояли три сосны,
Прощался со мной милый до будущей весны...

В вечерний час первого послевоенного июня во дворе нашего дома, под цветшими акациями, собрались соседки, и пела девочка, может, пяти, может, семи лет, а ее держал за руку пожилой солдат в пропаленной на рукавах гимнастерке.

Девочкин голос был чистый и такой неизъяснимо волнующий, что женщины не могли удержаться от слез, казалось бы, за войну повыплаканных до слезинки...

Лицо ее, милое, нежное, с высоким лбом, было сплошь иссечено осколочными оспинами, погубившими ее глаза.

Ее сверстник, я не мог тогда понять жуткого смысла всего этого: слепая девочка поет такое, что петь впору взрослой девушке, уже испытывавшей и любовь и горечь измены. Что была ее песня? Благодарность за наш приют-ночлег и скудные хлеб-соль? Или это была печаль ребенка, в глазах которого никогда не отразится зеленое поле, синяя речка?

Наутро они ушли, две пораненные судьбы: солдат, потерявший семью, и девочка с пшеничными волосами, спасенная им.

...Но, уйдя долгой дорогой, они странным образом остались в памяти. В беззаботные дни, когда выпадает довольство, утешный час, вспом-

нится вдруг девочка, поющая взрослое, и тогда торопишься уйти с какой-нибудь веселой вечеринки, будто само твое присутствие, веселье может принести боль далекой девочке, которая, держась за руку неродного-родного отца, все еще в твоей памяти идет по белу свету, не видя его...

Четверть века я не был здесь. Шел полем, с трудом узнавая когда-то исхоженные места; узнав же — радовался, будто заново рождаясь.

Вот лог-лещинник и увал, за которым моя слобода двумя ветками-улицами упирается в донской берег. Вот деревушка... не мазанки теперь, а крепкие домины. Но почему же не слышны человеческие голоса? Шел вдоль деревушки, и становилось понятным — почему: закрытые окна и двери чернели, белели скрестьями приколоченных досок. Загадал желанье — лишь бы встретилась живая душа.

Когда я уже потерял надежду, калитка последнего дома открылась, и девушка в ситцевом платице скорым шагом направилась к колодцу — у самой околицы.

Подошел. Поздоровался. Попросил напиться. Россыпь конопушек на нежном лице напомнила вдруг детство — слепую девочку, поющую «У муромской дороженьки...»

Огромные синие глаза юной незнакомки сияли, словно вобрали в себя весь свет небесный.

— Вы живете здесь?

— Нет, отдыхаем с мамой.

Уже почти верил, что она — дочь той далекой, из послевоенного детства девочки, словно влившей в огромные глаза дочери всю свою страстную жажду видеть.

Захотелось вдруг рассказать о том, как на детской дороге встрети-лась мне когда-то девочка, как она была похожа на нее... Девочка, которую война жестоко хлестнула по лицу тяжелой веткой взрыва. И сказал только:

— Спасибо. Счастливого отдыха!

— А вам счастливой дороги, — улыбнулась она. — Счастливой дороги! — прокричала она вдогон, наверное, радуясь редкому путнику, солнцу, голубому небу, зеленой траве у колодца.

ИВАНОВА УЛИЦА

У пятерых друзей, живших на дальней сельской улице, почти одновременно, весной, незадолго до войны родились сыновья, и всем им дали одинаковые имена: Иваны! Отцы ушли на фронт. И все пятеро не вернулись. Но пятеро Ваняток подрастали на одной улице, росли несмотря ни на что... ведь какая тогда была жизнь: ни хлеба, ни одежды, ни обуви... пять маленьких детских ртов хотят есть, просят есть, пять юных померкших вдов отчаянно бились с нуждой, с бедою-судьбою. И хаты их покосилась, и сады вымерзли, а те яблони, что не одолел мороз, одолели топоры-налоги. А после измороженной убойной зимы — сухое, как гарь, лето; и снова — без хлеба, и снова — с нуждой, и казалось, лихолетью конца-края не будет.

Но настали иные дни, и заколосились щедрообильные хлеба, и выросли крепкие яблони, а главное, выросли сыновья тех пятерых, что с войны не вернулись. Выросли, поженились и выстроили в ряд и лад небывало приглядные, просторные дома, с голубыми верандами, с оцинкованны-

ми, в перламутровых пятнышках крышами. И казалось, хорошо живут под этими крышами, всего там вдосталь, и не будет износу этим домам, и никогда в них не стихнет детский смех, детский шалостный крик. Но прошли и годы не годы, семь лет — как семь дней, и поразъехались кто куда. Один Иван с семьей — на дальнюю станцию, где устроился на авторемонтный завод, другой — в северный зауральский городок, где прежде служил, третий — на Дальний Восток, а у четвертого — так и вовсе распалась семья, пропил он ее и пропил дом свой. Лишь один из Иванов, прозванный в детстве Главный, остался в селе.

Обрюзгший, остарелый, держась за калитку, стоит он, не выходя со двора, словно не зная, куда себя деть. Трудно, невысказанно узнать в этом медведе того юркого, смешливого и смышленного, что был в детстве ребячьим предводителем; куда подевалась его стать?

Перед ним в красных татарниках полыхает ящеричный пустырь. Там, где была дорога, непробудные бурьянные заросли, крапива и лебеда. Куда же подевалась рать сверстников, кто бы мог скосить, извести бурьяны и проторить тропинки к домам с оцинкованными крышами, там грубые перекрестья досок опечатали двери и окна? Но какая рать, ежели его единственная дочь уехала из села, надеясь в городе заполучить и деньги, и мужа, и счастье.

А брошенные дома — как памятники несбывшимся надеждам и незаметным, несчастным судьбам, унесенным и разбросанным по миру странными и страшными ветрами. Дети покинули родину, которую деды, отцы их до последнего вздоха пытались отстоять, уберечь.

Лебеда и крапива — как лес. Да битый щебень в лебеде и крапиве, да ящерицы и пауки. Кто-то скажет: что за печаль — эта умолкшая деревенская улица перед жребием всесветно славных древних городов, от которых мало что сохранилось, кроме предания! Пусть так. Но зачем же тогда были неизмеримые страдания наших бабок и матерей, гибель наших дедов и отцов? Зачем? Чтобы на родине вымахал победный сорняк?

КРИК НА ЛЕВАДЕ

И он, сильный, никогда ничего не боявшийся, с беспощадно трезвой ясностью почувствовал вдруг, что ему не выбраться. Отяжелевший, коченеющий, он барахтался в неглубоком, ему по пояс овражке, в болотисто вязкой грязи, и не было ничего ужасней и нелепей, потому что овражек отделял луг от огородов, сразу за которыми тянулись подворья и дома, среди других и его, недавно отстроенный, под оцинкованной крышей с веселыми петухами по углам. Помереть в сотнях метров от дома?! Ни про что сгинуть! Его же две войны не сразили! В танке горел, в болоте мокнул и мерз. После войны его в тракторе приподымало на воздух тяжелой миной. Друзья, смеясь, называли его заговоренным. И теперь это слово «заговоренный» металось в его подсознании, и металась редкие огни, возносясь и срываясь вниз при каждом его рывке освободиться. Все-таки ни к чему он много вышел и зря он затеял — через луг; и, подумав так, он напрягся в последнем отчаянном усилии. Но жадная грязь не отпустила его, и тогда он, никогда ничего не боявшийся, выдохнул долгий жутковатый крик, который услышала вышедшая на двор соседка-старуха и который почудился ей криком совы.

СТАРУХИНЫ СТРАХИ

Во всем селе не найти второй такой хаты — ветхозаветной, долу глядящей, под соломенной крышей, на которой пышно угнездилась лебеда. И слева и справа по улице — многокомнатные, опоясанные верандами дома, а здесь будто иной век, будто нежилая хата. Но в хате живая душа есть. Максимовне восемьдесят восемь лет. Она уже редко выходит на свет божий, все больше — в старых стенах.

Сын соседа, приехав в отпуск к отцу, за обедом расспрашивает про село и среди прочего: «А как Максимовна? Как ее жизнь?» — «Какая там жизнь! Не спит, не ест, все думает: если будут воры лезть, то в какое окно выпрыгивать...» — «Ну, скажешь!» — засмеялся сын. А время спустя пошел проведать Максимовну, не раз в детстве покрывавшую его шалости.

Было восемь часов вечера, по-ноябрьски темно, но свет в хате не горел. Он постучал. «Кто?» — сторожко и тяжело спросила старуха. Узнав, обрадованная, включила свет. Из крохотной передней он прошел в крохотную горницу. Огляделся. Все как год назад, когда он навещал ее. Малышки-окошки, на подоконнике — ровно разложенные открытки, странно видеть их здесь: первый космический спутник, первый космонавт, ракета на старте. И на стене — открытки, все больше цветы: сирень, флоксы, хризантемы; в простенке — зеркало в гирлянде из бумажных цветов; поверху плакат — портрет стройной, всеми надеждами юности озаренной девушки. Образ в рушниках. На земляном полу — дорожки. Темный прабабушкин сундук. Какой здесь век? Хотя... радио, электричество. Да и эти «космические» открытки.

— Чего ж радио молчит? И что в потемках сидите?

— Боюсь, Алеша. Боюсь, что не увижу и не услышу, ежели ко мне недобрые люди придут. Оттого и света не зажигаю. Думаю, станут заглядывать в окно, я их прежде увижу. А со светом они меня увидят раньше.

— Да кто ж придет?

— Ой, Алеша, мало ли кто. Сейчас пьют крепко. А выпивка денег требует. Я бы все до копейки отдала, но как быть: бежать или не бежать? В какое окно выпрыгивать: от сада или от вашего дома? Моя знакомая в соседней деревне — так у той и ружье есть на случай, если кто ночью ползет в окно. И охотничий билет есть.

Гость вынимает подарки: пряники, конфеты, книгу сказок.

— За сказки спасибо, Алеша. Ты знаешь, как я люблю читать. За прошлую зиму и «Вечера на хуторе близ Диканьки», и «Дубровского» прочитала, спасибо маме твоей — приносит из библиотеки.

— В очках читаете?

— Без очков. С очками хуже. А без очков все вижу. Если б не боялась, читала б всю ночь, а так... Чуть стемнеет — ложисься, света не зажигаешь, все стережешь глазами окна. Горюю, что нескладно хата стоит: окна во двор, а не на улицу. То бы я видела, вдруг кто ко мне заворачивает, калитку открывает...

Ночь. Зрячая старуха зорко всматривается, не появится ли кто в окне. Восемьдесят восемь лет. Вокруг ее прожитой жизни — кладбище. Не только муж, братья и сестры, но уже и младшее поколение — сыновья, дочери, племянники — покоятся в земле. Сколько пережито! Старший брат поднят на вилы в девятнадцатом; младший прятался в старом доме, не

спрятался: тоже убили. Дом сгорел в войну. Муж измок в болотах. Сын разбился в самолете, внук — на мотоцикле. Но не об этом думает старуха по ночам, зорко всматриваясь в ночь.

А утром: «Боже, где ж моя смерть?»

СПАСИБО, МОИ РОДНЫЕ!

В летний послеобеденный час сидят на завалинке, в тени, неспешно, тихо беседуют, вспоминают прожитое. Дедушка в холщовой рубашке, подпоясанной широким ремнем. Волосы на голове седые и борода седая, глаза, некогда, будто Дон, синие, — выцветшие... А бабушка в белом с темными горошинами платочке, дробненькая, чистая, как на картинке. Поглядишь — хоть в красный угол их: беззащитное, милое, искреннее во всем их облике. Это единственный их час отдыха за долгий день. От зари до ночи бабушка в хлопотах: убирает в доме, рвет траву-полынь и устилает ею пол в хате, подметает подворье, таскает воду, стряпает у летней печки, моет посуду, выпалывает бурьян на огороде, сушит вишни, — тысяча забот, некогда присесть. Не меньше их и у дедушки: вечно пилит, строгают, чинит грабли, тяпки, коромысла для «рядка» — всей улицы, рубит, — косит, подновляет ветхий плетень, засыпает овраг, правит мосток на леваде.

Изо дня в день неизбывные крестьянские заботы, в каждодневной круговерти лишь этот малый час отдыха-не отдыха, когда не ложатся под ремать, а вот так сидят, неспешно перебирают вчерашнее, сегодняшнее. Чаще же вспоминают.

Они поженились еще в начале века, а стоит на дворе середина его! Сколько прожито вместе и как! Отец говорит, что они, сколько ни живут, ни разу не поссорились. Да бывает ли так? Даже в песне, даже в сказке люди ссорятся, а наяву — дня не проходит, чтоб сосед дед Демьян перед бабкой Ириной костылем не размахивал. Да чего там — какую хату ни возьми, даже самую согласную, нет-нет да и загорится брань, как солома в грубке, так и вспыхнет.

Наедине спрашиваю бабушку: «Правда, вы никогда не ссорились с дедушкой?» — «Ссорились, детка, — помолчав, отвечает бабушка. — Два раза ой как ссорились! Перед самой германской дедушка твой на старосту накричал на сходе. Тот староста худой был человек. И властный, в силе. Я и упрекать, зачем ты с ним связываешься? На его стороне сила». — «А на моей правда, — говорит дедушка». — «Я баба, — говорю, — и то знаю, что от правды твоей жита в доме не прибавится». Ну дедушка и хлопнул дверь. А другой раз, на свадьбе племянницы, он, до водки не охочий, на радостях напился так, что два дня отхаживали. Его жаль, детей жаль, их у нас уже четверо было, самый меньший еще в зыбке лежал. Еле отходили. Радоваться бы, а я его (ему и без того белый свет не мил) извожу, на детей показываю: «Ты же их чуть сиротами по миру не пустил, окаянная душа!»

«Окаянная душа» — единственное и самое страшное бабушкино ругательство. Летает коршун над огородами, высматривая цыплят, — «окаянная душа», коза забрела на капустные грядки — тоже «окаянная душа», мороз побил рассаду — «окаянная душа».

Сидят на завалинке, неспешно, тихо беседуют.

Два дома построили. Четверых кровных вырастили. Да четверых чужих в войну от голода выходили. Сколько раз сеяли и пожинали рожь, да возвращали сады, да чистили колодцы!

Нигде не бывали, кроме отчего уезда, ничего не видели, кроме этого:

село да поле, поле да село, но сколько же в них было такого, что надо было бы взять и мне (да Бог не дал), что согдилось бы во все дни. Их уход я ощутил как обрыв. Что-то невосполнимое обрывалось в моей связи не только с ними, но и с прошлыми веками моей родины.

В детстве, глядя на них, неспешно, тихо беседующих на завалинке, думал: вырасту и раздобуду билет в самый лучший санаторий, где дедушку и бабушку излечат от всех хворей и где будут они жить вечно (думал, что есть такой санаторий и все дело лишь в билете).

Стою на косогоре, и бурьянные стебли жестко чиркают о ветхие скошенные кресты, о крепкие каменные пирамидки. И среди этого печального уголья два бугорка в отцветших цветах, два склоненных куста шиповника.

Мир вам, мои родные!

МАТЕРИНСКИЕ РУКИ

Давнее. Склоняясь над прорубью, мать полощет белье.

Берег обрывист, глубина — сразу у берега, да такая, что саженный шест не достает дна; лед — метровый, январский, странный по окраске: сизый-не сизый, зеленый-не зеленый. И — прорубь! как глубокое вздрагивающее око. Или рана навылет. Или темная бадья с темной водой; впрочем, вода в проруби лишь на погляд темная, а так — чиста до хрустального звона, прозрачными струями стекает с отжимаемых сорочек.

Руки у матери сизые, насквозь схваченные стужей. Кажется, их уже ничем не согреть, не выдернуть из студенной воды, из ледяной неволи: окунает и полощет, окунает и полощет. Но мальчик-сын даже и не думает, и не верит, что материнским рукам холодно: они всегда такие горячие, когда мать обнимает его перед сном!

Прорубь и страшит, и притягивает. Что там, под ледяным панцирем? Сонные рыбы? Несчастные утопленники? Неразорвавшиеся в войну снаряды? Осколки?.. Для русалок уже и места не остается. Не здесь искать подводное царство, в каком побывал Садко, древнерусский веселый купец. Но почему же так притягивает?

Красные, замученные материнские руки полощут, полощут. Это они его пальтецо, какое он измазал в чернила и грязь, полощут; его штанишки, сорочки, его маечки.

Жаль только, что боль и благодарное признание придут поздно, — когда он уже сам будет взрослым, будет иметь сына, и приснится ему сон...

Сын, солдат, несущий службу на южной границе, вернее, воюющий за границей, вне родины и не за родину, появляется вдруг дома — под ночь и на мгновение; сняв свою фотографию со стены, уходит, успевая сказать: «Позвони по телефону НОЛЬ-ТРИ!» Когда отец набирает номер, раздается глухой леденящий подземный голос: «Да, слушает прорубь».

«К чему бы сон?» — просыпаясь, в холодном страхе думает отец. — Вон что творится на южной границе. Зачем там сын?»

Южная граница. Северная граница. Западная граница. Восточная граница. И сколько ни стоит мир — гибнут сыновья и скорбят отцы.

«Великая моя родина... бедная моя родина... несчастная!»

ИЗРАНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Погожее, ласковое лето — все лето, которого он так ждал в надежде отдохнуть, оказалось кинутым в котлован: ушло на большой фундамент маленького дачного-садового домика. «Канцерогенный особняк» — сараюшко три на шесть, с шиферным верхом и шиферными, изнутри стекловатными стенами — мог бы долго и безутратно стоять на четырех дубовых комлях, но он с чего-то вообразил, что нужен добротный фундамент.

Время, время... Как случилось, что он кинул его в ров. Ему и прежде выпадала возможность приобрести дачный дом, но он отказывался, боясь, что дача станет пожирать его время. Он опасался всего, что бы могло отнимать его время, — он думал написать ни больше ни меньше «Историю обманутого человечества», он и от машины отказался, за бесценно продан, когда увидел, что и она время отбирает. А теперь — или поддался общему наваждению? Люди словно забыли о евангельской мудрости насчет сырых и нагих, насчет скромности, насчет того, что не гордыней и не золотыми богатствами богат человек, отказались от векового миростроения народа и что им пословица «Трудом праведным не наживешь палат каменных», если так приманивает беструдное и стремительное богатенье!

Незатейливый этот шиферный курень, отнюдь не способствовавший здоровому долголетию, приобрел он в спешке и единственно из-за того, чтоб не увязать в строительстве. Но именно — увяз. Сначала он с немалыми мытарствами завез кирпич, песок и щебень, затем наспех, словно его кто подталкивал сзади, разметил границы фундамента под шиферный свой курень и взялся за лопату. Да с каким рвением! Словно надеялся, что таким образом, когда-то крестьянский внук, вновь возвращается к земле. Не раз слышав, что фундамент следует закладывать поглубже, чтоб он не «плавал», он явно перестарался: выкопал ров в полроста человеческого, и такой ширины, что можно было бы уложить все четыре кита. И столько туда ухнуло песка, щебня, битого кирпича, цемента, всяческого лома, что на таком фундаменте впору было бы возводить мощный замок.

Пригородное поле, со всех сторон окруженное лесками, было веками спокойной, мало чем тревожимой пядью земли. А тут — фундамент: одним звучанием как бы вдавливают!

Под осень на высокий кирпичный цоколь взгромоздился канцерогенный особняк — сараюшко три на шесть, несуразно тянувшийся вверх, как жираф на известной картине известного художника-авангардиста.

Дальше сложилось так, что долгие месяцы он был в отъезде, а когда вернулся и вновь попал на свой садовый участок, не узнал окрестного. Целый город вырос здесь. Были и сараюшки наподобие им поставленного, но чаще вздымались двух-трехэтажные домины, тяжелые, как рыцари в латах. Вот тогда он и подумал, что еще одна пядь земли перестала быть почвой и здоровой землей. И он среди тех, кто сделал ее такой. Право, для того, чтобы разбить сад, не требуется столько бетона.

Невольно ему вспомнилась концовка одной зарубежной повести: вырастали дома, больницы и тюрьмы, а их не хватало, и вырастали новые дома, больницы и тюрьмы, а их не хватало, и вырастали новые дома, больницы и тюрьмы...

Он знал, что подобных «садовых домиков» — многоэтажных домин, разворотивших землю и словно бы похваляющихся друг перед другом своей безвкусной сановитостью, — хоть пруд пруди и по берегам рек, и в

пригородных степных балках и лесках. Что ж, время сметает время. Время убивается временем.

Тучи птиц кружили над израненной землей, отданной человеку, машине и камню. Прислушаться — словно бы зывали: «Опомнитесь! Не о том заботитесь!»

Но откуда неразумной птице знать, почему человек строит часто не самое лучшее? Рушит часто не самое худшее? И во всем не ведает ни меры, ни уёму-удержу?

Дает жизнь камню, убивая свою жизнь.

ОТЧИЙ ДОМ

Какой там дом? Так себе... четыре угла, белая мазанка под соломенной крышей, хатенка в две низенькие комнатки, да узенькие сенцы, да наугольная открытая верандочка.

Хата строилась в тот год, как фронт откатился от Дона, оставив после себя выжженные села, вырубленные леса: не было ни дерева, ни кирпича, ни гвоздя, и можно представить, каково досталось дедушке возвести этот кров! Здесь уж было не до удобств: тепло, да и ладно. Впрочем, это взрослые говаривали «вернуться негде», а мне хата казалась просторной и своими окнами открывавшей простор. Именно простор. В северное окно видать огород, долгий, изрезанный белыми оврагами выгон, на выгоне длинный, как барак, овечий хлев, печально примечательный и памятный тем, что однажды ночью в него забрались волки и, выбив двери, гнали овец до самого леса; в южные окна — вид еще более широкий и дальний: затравенелая, в калачиках и лебеде улица, сухие плетни, редкие хаты, ничем не хвелящиеся друг перед другом; за улицей — левады в густых терновниках, картофеле и кукурузе, а дальше — дорога, уводящая в ближние хутора, дальние села, в районный городок и вообще, может быть, во все концы света.

По этой дороге возвратился мой отец, и я его воспринял не исподволь, как бывает в мирном и ничем не омраченном младенчестве, но вдруг, внезапно, как ослепительный взрыв, — он явился в звоне поблескивающих орденов и медалей, внося в дом запах пшенично-дымных, выжженных пространств моей родины и дождливых польских равнин и пороховую гарь поверженной чужой столицы. Возвратился, как былинный воитель, высокий, сильный — та самая знаменитая косая сажень в плечах: едва вошел в дом, как тут и ощутил, что хата и впрямь мала, сразу стало тесно и как будто не хватало тех трех и вправду крохотных окошек, хоть бери топор да прорубай еще одно. Впрочем, и тем крохотным спасибо за их распахнутость, за молчаливое приглашение в большой мир, за вечернюю звезду и месяц, ронявший на пол зыбкие кресты — тени от окон. Как хорошо и неясно думалось и мечталось в поздневечерние часы после отцовского рассказа про Тараса Бульбу или маминых сказок, когда светил в изголовье ласковый месяц: и успокаивал, и волновал.

Все было в этом доме — и свет, и тьма, и праздники и, чаще, будние и трудные дни, хлеб желудевый, налоги, стылые зимние часы. И сволок — главная несущая балка — шел по потолку через обе комнаты, и в нем оставался крюк, на котором в незапамятные дни колыхалась моя зыбка; этот подгоревший, но не сгоревший сволок дедушка перенес из старого дома, и он словно являл собою продолжаемость и несгораемость жизни.

Чувствовалось, что и отцу по душе эта балка; ведь она была вестью о старом, прежнем доме, да еще какая: зыбка сына раскачивалась на ней.

А по утрам время от времени появлялись, поднимаясь вверх, все новые засечки на дверном косяке: я расту! Да ведь возрастало не только тело, возрастала душа, наполняясь радостью и болью при виде всего, что окружало меня: эти хаты, эти левады, Дон, а дальше... весь мир. Каждый день я уходил из дому и каждый день возвращался, благодарно засыпая на привычном месте, на деревянной, с резной спинкой кровати у окна. И думал, что так будет всегда. Не знал я, что этого дома не станет, и не знал, что, утраченный, несуществующий, он станет для меня еще живее и дороже.

И вдруг через тридцать лет, застигнутый именно на чувстве — еще живее и дороже, услышал я напористое, четкое, жесткое: «Мой адрес — не дом и не улица...» И, как обычно бывает при захватных набегах моды, на той же неделе меня снова настиг все тот же ритм, и я не без досады подумал, что, небось, расстукивает он уже и на моей детской улице.

...Дом, село, город, страна, мир — широта земная и ширь человеческая. Но узок, безнадежно узок человек, если он в бегах по восходящей спирали, с одной ступени на другую, забудет о родном доме и не вернется к нему, хотя бы даже сожженному или разрушенному.

Плыл, ехал, летел по огромной стране. Взглянешь на карту — пять тысяч верст до тугого маленького кружка «Воронеж», а оттуда — еще двести километров, где твоя малая родина.

Плыл, ехал, летел, куда ни забрасывала судьба. Пересекал границы, проезжал европейскими, азиатскими землями.

Со временем (так жизнь идет) человечество станет единой страной, единым домом. Но и тогда останется капелька малая — родина малая. И воспоминание о родине отчей, национальной не стает, не уйдет.

Взглянешь на карту, где, подобно синему зрачку птицы, мерцает знакомый кружок, и будто увидишь дорогой тебе город, откуда всего лишь двести километров до самого дорогого для тебя уголка придонской земли. И, уплывая, уезжая, улетающая дальше от малой родины, мысленно начинаешь возвратное путешествие. И вот уже районный городок Россошь, весь в садах, с бело-голубой колокольней, затем сизый шлях через долгие немые поля, затем зеленый яр с тихими купами верб, дорога на подъем и... и с забытого увала — белые хаты, белые косогоры и река твоего детства. Дон. Он синий, он сизый, он серый... И ты купаешься, взмываешь на его беспечальной волне, а потом возвращаешься в отчий дом. Его давно уже нет. И все же он есть... Темнеют зарубки на дверном косяке и под сенью акаций дремлет окошко, в которое ты заглядывал на звезды.

И ты все меньше, все беспомощней. Теряется, ускользает нить. И вот точка. И вот... тебя еще нет в мире.





Ирина Сергеевна Турбина родилась в Воронеже. Окончила факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Работает преподавателем в школе иностранных языков. Участница Воронежских областных совещаний молодых литераторов (2008, 2010). Публиковалась в журнале «Подъём». Живет в Воронеже.

Ирина Турбина

ТРИ ДЖОКЕРА

Рассказы

Мальчик неглуп — хорошо. В меру ленив — хорошо, что в меру. С характером — палка о двух концах. Каким из них это повернется к ней? Проблемы с языком есть. Упираются они во второе и вполне исправимы с помощью первого — замечательно! Приятная и гостеприимная бабушка — безусловный плюс при любых раскладах. Заплатили за два месяца вперед — «чтобы не сбежала»?

В общем, пока все не так плохо. А там — жизнь покажет.

Примерно такие мысли крутились в голове у Ирины Сергеевны, молодого преподавателя английского языка, когда она возвращалась домой после первой встречи с учеником.

Мальчика ей посередине года подбросили для «репетиторства». Какое-то время она раздумывала, но, взвесив все вышеперечисленные «за» и «против», согласилась.

Репетиторство было для нее не только заработком с «живыми» деньгами, но, своего рода, игрой, для которой школа, с четкими, прописанными правилами, места не оставляла. Занятие же на дому давало возможность придумать свои «правила игры». Ира называла это «Игрой с джокерами».

Джокером она считала необходимость и умение в сложной, критической ситуации с учеником найти неожиданный выход из положения. Неожиданный для ученика — тогда он точно сработает.

Чем меньше «джокеров» ей приходилось «использовать», чем быстрее ученик начинал «играть» по ее правилам, тем было интересней.

По всему вытекало, что с новым учеником ей только так играть-заниматься и придется. Что ж, карты в руки!

Джокер первый

Звали его Артем, и был он футболистом. Всем своим ученикам Ира давала негласные прозвища. С этим даже голову ломать не пришлось: всемирно известный футболист смотрел на нее со всех стен комнаты Артема. Так мальчик превратился в Бекхэма.

«Будет делать успехи, — думала Ира, — переименую в Бэтмэна. Но тут уж придется постараться!»

Как раз этого ученик делать не хотел — оказался ленив не в меру.

— ... я понимаю, что нам нужен текст пересказать. Но сначала его стоило перевести. Чтобы мы на уроке-то время не тратили! Почему не перевел?

— Я пробовал...

— И?..

— Да он сло-о-ожный, этот текст! Ни одного слова в словаре нет! Ваще!

— Что ты говоришь?! — брови вопросительно-удивленно поползли вверх. — Вообще ни одного?

— Ну я вам говорю! — Мальчик доверительно наклоняется к преподавателю. — Дают, ваще, тексты, да? И че с ними делать? Нереально просто сделать домашнюю работу.

— А-а-а... вот мы куда пришли. Значит, ты предлагаешь ничего не делать? То есть прости, неправильная формулировка. Ты *не можешь* выполнить домашнее задание, так как в словаре *НИ ОДНОГО* нужного слова. Ай-я-я-я-яй! Как же это словари-то такие выпускают?

— Да ваще... — Артем театрально наклонил голову, показывая тем самым свое бессилие изменить что-то в этом несправедливом мире неправильных словарей.

Пауза тянулась. Дело не двигалось. Ира решила, что, пожалуй, хватит.

— Артем, скажи, я похожа на дуру?

Мальчик поднял на преподавателя глаза, пытаясь угадать, куда она клонит.

— Нет, честно. У меня на лбу ничего такого не написано, типа: «Ирина Сергеевна — дура. Говори любую чушь. Поверит?»

Левой рукой она приподняла челку: убедись, мол, дорогой. Мальчик молчал.

— Что-нибудь такое есть? — повторила она.

— Н-нет, — тихо ответил ученик.

— Ну, слава Богу! А я уже заволновалась, — она показательно громко выдохнула.

— Ну а если так, что ж ты мне глупости такие рассказываешь? По-краснел бы хоть, для очистки совести. Быстро словарь в руки — и переводить! — она слегка отклонилась назад — полюбоваться на результат своего педагогического выступления.

Но ученик оказался «продвинутым юзером» и так легко сдавать свои позиции не собирался.

Взглянув на текст и выбрав слово для перевода, он открыл словарь на первой попавшейся странице, быстро пробежал ее глазами и тут же закрыл.

— Я же вам говорил, что нет, нет там этого слова.

— Какого слова? — Ира не знала: смеяться ей или плакать.

— Ну, какое нужно.

— А какое нужно?

— Ну, это... какое я смотрел...

— А ес-ли еще-о-о раз пос-мот-реть? — растягивая предложение, предложила на всякий случай.

— Как хотите. Только вряд ли оно там появится, — со скептической миной на лице мальчик нехотя полез в словарь.

«Наглец, каких мало», — подумала Ира, разглядывая профиль ученика. Бабушка сказала: «Если что — сразу к отцу — отца он боится». Но не будем же мы заниматься на троих: я, Бекхэм и отец с ремнем. Нет, отца оставим на крайний случай. А сейчас нужно срочно что-то придумать. Иначе авторитету своему, Ира, будешь писать красивую эпитафию».

— Нету! — подвел Бэкхэм итог новым поискам. — А я вам говорил!

Ира прищурила глаз и улыбнулась:

— Спорим, что есть? — и протянула руку.

— На что? — мальчик сразу заинтересовался.

— Да-а-а... — она сделала вид, что задумалась. — Хоть на домашнюю работу. Выиграешь ты — я ничего не задам. Выиграю я — получишь дополнительное задание к обычному.

Артем задумался.

«Давай, давай, дорогой! — мысленно подгоняла Ира, — соглашайся!»

— Ага... ну вы же всегда что-нибудь задаете. А если я выиграю — вообще ничего не зададите?

— Да. А если проиграешь...

— Я выиграю!

— Посмотрим. По рукам?

— По рукам!

— Лезь в словарь! Ты понимаешь, надеюсь, что я твои поиски проверю?

Понимал или нет, но впервые в жизни Артем полез в словарь с живым интересом...

В тот день он получил восемь дополнительных заданий. Потому только, что в определенный момент Ира спор прекратила и просто заставила его искать слова.

На следующее занятие, когда количество проигранных заданий дошло до 50-ти, Ира решила с Артемом поговорить. Азарт ученика ее пугал.

— Артем, такими темпами мы и до ста дойдем. Как будешь долг возвращать? Когда собираешься все упражнения делать?

— А давайте вы в следующий раз все упражнения поставите, а я... ну блин, че-нить выучу...

— Дом заложу, бабушку... о, куда мы с тобой пришли! Позанимались английским, перевели текст!

Артем, неужели ты не понимаешь, что я спорю... потому что *точно* знаю — *точно!* — что в словаре В.К. Мюллера на... сколько там...

«180.000 слов и словосочетаний» не может не быть лексики учебника 7-го класса общеобразовательной школы. Ну, по крайней мере, в 95% случаев она есть. Иначе я просто не стала бы спорить.

— А вдруг нет? Вон не было много раз...

— Три раза. Из 60-ти с плюсом.

Ученик молчал. Ибо крыть тут было нечем.

— Ладно. — Ира на секунду задумалась. — Давай по-другому. Как ты думаешь, зачем я с тобой спорю?

Мальчик резко поднял голову.

«Не ожидал такого вопроса. Будем и дальше по-взрослому». Про себя отметила Ира.

— Невежливо не отвечать на заданный вопрос.

— Ну... не знаю, — он колебался, — чтобы упражнений мне больше задать.

Ира не удержалась от смешка. Вот тебе и по-взрослому! Но пересилила себя и продолжила в начатом ключе.

— Не говори глупостей! Я прихожу тебя учить, чтобы был результат. Чтобы ты умнее становился. Но никак не бессмыслицей заниматься. Мы же определили, что я не дура. Давай уж примем это за аксиому. Ты хоть что такое аксиома-то, знаешь?

Мальчик обиженно пробубнил:

— Аксиома — что не требует доказательств. Я тоже не дурак.

В этот раз Ира смешок сдержала — в голосе мальчика впервые звучали пусть и обиженные, но серьезные ноты.

— С дураком бы заниматься не стала. Уж поверь мне.

Итак, мы с тобой — два умных взрослых человека. Можем поговорить серьезно и на чистоту. Меня, мой друг, не устраивает, как ты готовишься к нашим занятиям. Это, Артем, балаган, а не урок. Шапито на дому. А я, понимаешь ли, учитель, а не клоун. Цирк — не мой профиль. Поэтому выхода у нас с тобой два. Ты начинаешь *нормально* готовиться, и мы продолжаем сотрудничать. Или все остается по-прежнему. В этом случае наше сегодняшнее занятие — последнее. Я, знаешь ли, хочу, чтобы мой труд уважали. А от тебя я этого не вижу. В общем, решай.

В наступившей тишине Ира обдумывала сказанное. Честно говоря, сказать она собралась другое. Но так уж вышло! Сказанного не воротишь, что верно, то верно!

Пауза затянулась. И, видимо, не в ее пользу. Что ж, рискнуть стоило! Но доигрывать нужно до конца. Тем более, если сама же игру и затеяла.

Она встала и потянулась за сумкой.

— Не надо, чтоб последнее. Я буду... нормально готовиться.

— Насколько можно твоему обещанию верить?

— Ну... я постараюсь. Стопудово! То есть, честно!

— Думаю, «стопудовому постараюсь» можно верить, — Ира улыбнулась. — А как же нам со словарями быть?

— Может, мне его выучить? Тогда ничего в нем искать не придется.

Ира посмотрела на ученика. Все вышесказанное было произнесено с вдумчивым выражением на лице.

— Артем, — от сдерживаемого смеха она чуть не поперхнулась, на глазах выступили слезы. Говорить серьезно становилось все труднее. Собрав последние силы, Ира все-таки закончила. — Б-боюсь, тогда наши занятия даже к твоей пенсии не закончатся. А это не совсем входит в мои планы.

— И все-таки словарь — это зло!
— Да хоть сто раз! Но без него ты в английском далеко не уйдешь!
Первый джокер сыграл.

Джокер второй

Итак, работа со словарем со скрипом, но возобновилась. Время от времени они все-таки спорили, но постоянные проигрыши и, как результат, неиссякаемый поток упражнений, Артема явно утомили. Одна лень победила другую.

Ира подумала было, что это будет первая в ее практике «игра в один джокер».

Новые нотки в симфонию их занятий внесла история США. А именно тот ее период, когда в стране свирепствовал рабовладельческий строй и люди ценились дешевле вещи. Позиция Артема по этому вопросу была проста и сводилась к следующему:

— Ха! Так этим неграм и надо! Ра-ботай, негр! Солнце — высоко!

Фраза словно хлестнула учителя. В характере ученика открывались новые горизонты. С неприятными пейзажами.

— Ты действительно так думаешь?

— Ну да! Пусть работают. Они же *не-эгры*, ну, лохи! — говоря это, Артем гонял по столу ручку. Было понятно, что говорил он, не особо задумываясь. Так, в голову пришло, вот и брякнул.

«Нет, — поправила она себя, — некоторые слова даже «брякать» нельзя. Все большие гадости начинаются именно с маленького «бряканья»».

Глубоко вздохнув, она повернула голову к ученику и улыбнулась. Знай Артем своего учителя подольше, он понял бы, что ничего хорошего ему *эта* улыбка не предвещала. Но для него все только начиналось.

— Значит, ты считаешь, — начала она елейным голоском, — что рабство, то есть превращение одного человека в полную собственность другого — допустимо? Мм-м-м-м... Как интере-е-е-есно! Получается, если я заберу тебя к себе на дачу и заставлю там вкалывать, ты против не будешь? Замеча-а-а-тельно! — голос ее постепенно повышался, и Артем уже почувствовал, что «запахло жареным». — А идея мне нравится! Только, дорогой мой, учти: работать придется с утра до вечера. Есть — мало. Ты ведь раб, тебе и есть-то особо не положено. Так, лишь бы не умер. Если будешь плохо работать — я найду огромный кнут, и буду тебя стегать — чтобы не ленился. А как надоест — продам. Как старую ненужную вещь — с паршивого раба хоть обувь окупить!

Артем внимательно слушал, прикидывая, куда учительница клонит.

Он уже заметил, что по тону Ирины Сергеевны трудно определить, шутит она или нет. Пока что ему чисто интуитивно удавалось угадывать. Вот и сейчас, прикинув, он решил, что она, пожалуй, прикалывается.

Поэтому весело продолжил:

— Не, я лучше в компьютер поиграю. И это... у меня сборы на каникулах!

— Нет, Артем! Сборы — для хозяев! Тем более — компьютер! Ты же будешь — вещь. Одна вещь не может играть в другую. Вещь должна знать свое место. Место компьютера — на моем столе, мое — на сборах, а твое будет — в хижине, в лохмотьях, на коврик на полу.

Что из предложенного больше всего оскорбило Артема, не ответил бы

и он сам. Но возразить захотелось. И обязательно привести какой-нибудь аргумент в свою пользу.

— Я — НЕ НЕГР! Так что нечего!

— А чем ты лучше, скажи, пожалуйста?

Вот это, по мнению Артема, было вообще нечестно. Ну как на такой вопрос ответить? Чем-чем? Да всем!

Озвучивать, правда, свое возмущение он не стал. Просто обиженно сжал губы, давая тем самым понять, что вопрос был не просто риторическим, а откровенно глупым.

Если что в данный момент интересовало Иру меньше всего, так это его «обида».

— Ни один человек, запомни — ни один! — НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВОМ ДРУГОГО! — Ира говорила, попутно обдумывая ситуацию.

«Ни фига, — подумала она, — так до него не докричишься! Но как? Как ему объяснить такие простые вещи? Где найти слова?»

Идея пришла вдруг и даже заставила улыбнуться — настолько казалась естественной и единственно правильной в этом случае. Книга! Слова уже есть, продуманные, выстраданные, собранные автором в роман. «Хижина дяди Тома» — вот что ей нужно.

Артем уже понял, что реакции на его «обиду» не будет. Но помалкивал и краем глаза поглядывал на учительницу. При таком раскладе, думал он, может, до словаря сегодня и дело не дойдет!

— Я принесу тебе книгу, — первой заговорила она. — Составлю список вопросов. Будешь самостоятельно читать и отвечать. А на уроках будем вместе обсуждать. Книга называется «Хижина дяди Тома».

Глагол «ужаснуться» в очень малой степени раскрывает чувства, охватившие мальчика после Ириных слов. Напугали его отнюдь не словосочетания «список вопросов», «самостоятельно читать» и «вместе обсуждать». А два простых слова: «книга» и «читать».

Реакция была незамедлительной.

— Невозможно! Я че, ботán, книги читать? — в его голосе слышалась немалая обида! — Да их уже никто давно не читает! Не!!! Это ваще нерально!

Толково аргументировать позицию не получалось, отчего он еще больше сердился и краснел.

— Давайте я лучше словарь посмотрю! Блин! Ну, в играх компьютерных — там тоже слова есть! А книги зрение, между прочим, портят! У нас в классе есть один ботán, вот он их читает и в очках ходит! А мне нельзя очки — как я по воротам бить буду?!

— Что ты говоришь! Зрение портят? Не слышала. Зато точно знаю, что если книги не читать — мозг высыхает и становится размером с грецкий орех. Как же ты по полю со звоном в голове бегать будешь?

— Ха! — Артем ликовал. — Ни фига он не высыхает и не звенит! Я бы услышал!

Так Ира узнала, что за все свои 13 лет он *не прочитал ни одной книги*.

Самое время, подумала Ира, для второго джокера.

— Так, дорогой мой! Это — бесполезный разговор! Значит, я щас говорю с бабушкой, они с папой изымают у тебя все диски. Ну, чтоб компьютер тебе читать не мешал. А, как только дочитаешь, будешь опять искать в своем «S.T.A.L.K.E.R.e» знакомые слова. Мальчик ты умный, значит, случится это скоро.

Артем с открытым ртом смотрел на учительницу. Только что она сообщила ему, что *больше никогда в жизни он не сможет играть в компьютер*. Жизнь заканчивалась, так и не начавшись.

Джокер третий

— ...а книга как поживает?

Артем поджал губы и глубоко вздохнул.

— Никак.

— Что значит — «никак»? Ты прочитал?

— Листик.

— Сколько?!

— Листик. Ну, это нереально, то, что вы задали! Мне этот кусочек года два читать. А всю книжку — лет... — он сузил глаза, подсчитывая — десять. Не меньше. А у нас с вами еще англи-и-ийский. Нереально. Понимаете?

Ира смотрела на ученика, и даже думать сил не было. Слово «листик» отбило все мысли и желания. В голове было пусто и тоскливо.

Так — так — так. Спокойно, Ира, спокойно. Мысли придут. Главное — что-нибудь делать. Что-ни-будь де-лать.

— Листик, говоришь? Что ж, открывай книгу. Посмотрим, что ты там прочитал.

Артем полными удивления глазами взглянул на Иру. Приоткрыл было рот, но промолчал. Достал книгу и положил перед преподавателем.

— Показывай, показывай, что ты... осилил. Ага... Почему не читал вступление? Три абзаца об авторе легли тяжким грузом на юные плечи? «Заморозки сбили воробья»?

— Это... неинтересно. Зачем читать про автора? — Артем неуверенно, но оборонялся.

— Зачем читать про автора? Замечательный вопрос. Скажи мне, милый друг... Как... зовут человека, который написал эту книгу?

Ответа на этот вопрос Артем не знал. Быстрым движением он закрыл книгу и посмотрел на обложку. Останавливать его Ира не стала. Она уже знала, *как закончит этот маневр*.

— Гарриет Бичер Стоу.

Ответной реплики не последовало. Ира смотрела не на ученика, а в окно. Как будто его ответ ей уже был неинтересен. Артем ждал. Он не понимал причины невнимания учителя. От этого ждать было особенно неприятно.

Ира досчитала до десяти — как раз женщина за окном зашла в подъезд — и повернулась к ученику. Теперь она была готова продолжить.

— Да. Гарриет Бичер Стоу. Совершенно верно. Читать ты умеешь. Это радует. А вот скажи мне, Гарриет — это мужчина или женщина?

И он, и она понимали, что ответа на этот вопрос Артем не знает. В голове мальчика мелькнуло, что вариантов не так много и можно ткнуть пальцем в небо. И есть возможность прямого попадания. Но... в случае промаха он сам себя завалит. Тогда точно не отвертеться. Лучше промолчать.

Так в нем, впервые *осознанно*, разум одержал победу над азартом. Узнай Ира об этом, она была бы просто счастлива. Но в тот момент ее волновал другой, не менее актуальный вопрос.

— Гарриет Бичер Стоу — это, дорогой мой, женщина. Жившая в XIX веке. Как раз в то время, когда в США вовсю процветало рабовладе-

ние. Она же была убежденной противницей рабства и написала об этом роман. Впервые он был опубликован в 1852 году. Переведен на 20 языков. *Эта* книга издана в 1960-м году. И на тот момент, то есть всего 40 лет назад — когда родился твой папа — негры еще не являлись полноправными членами общества в США. Вот, Артем, зачем читать про автора.

Она вздохнула и расправила плечи.

— Поехали дальше. О чем говорится в тех двух страницах, которые ты прочитал?

«Попал», — мелькнуло в голове мальчика. Но додумать эту мысль он не успел. Ира начала задавать четкие вопросы, на которые Артем пытался давать хоть какие-нибудь ответы.

— В каком штате происходит действие в первой главе?

— Кто такой мистер Шелби?

— Как зовут его собеседника?

— Почему мы не можем назвать его джентльменом?

— Зачем он приехал к мистеру Шелби?

Артем с трудом вспоминал прочитанное. Там и правда, шла речь о каких-то двух мужиках. Одного, точно, звали Шелби. А второго... Да бог его знает, как того мужика звали! У них имена дебилные, их не запомнишь ни фига. Он и читал через силу, чтобы от него отделались. Думал — прокатит. А тут вон как все обернулось. Вспоминай теперь про этого собеседника. Мы еще, оказывается, *не можем назвать его джентльменом!* Это еще почему?

— Я тебя слушаю.

— Ну, я не помню.

— Артем, книга у тебя под носом. Ты говоришь, что читал. Ищи.

Час от часу не легче! Артем листал туда-сюда прочитанный им лист. Но ответа ни на один из заданных вопросов не видел. Он вообще ничего путного там не видел.

Ира остановила его мечущуюся руку на первой странице.

— Смотри внимательно. Второй абзац.

Он пробежал глазами текст и озвучил первое, что показалось ему более-менее похожим на правильный ответ.

— «...он был невысокого роста, плотный», — подумал секунду и для точности добавил, — «с грубыми чертами лица»!

Мальчик победоносно взглянул на учительницу. На ее лице он увидел холодное спокойствие.

— Нет, Артем. Не поэтому. Надо не угадывать, а нужные слова искать. Вот такие, например, — она стала водить по книге пальцем, озвучивая нужное.

— «...развязный тон выдавал в нем человека низкого звания», «на... цепочке... связка больших разноцветных брелков» и вот, самое главное, «речь... была уснащена грубыми словечками». Ты можешь назвать такого человека «джентльменом»?

— Нет.

— Вот и автор не может. И пишет об этом. А кому-то просто лень сесть и прочитать. Да, Артем? Всю неделю в компьютер играл? Две страницы прочитал и те не помнит, о чем. Деградируем, дорогой мой? На следующий урок принести бананы? Будем осваивать окрестные деревья? Назад к предкам — обезьянам?

В голове у Артема звенело. Мысли кружились, и ни одну не удавалось «поймать». Было жутко стыдно. За что именно, определить не полу-

чалось. Вспомнились обезьяны из цирка, которые выхватывали друг у друга еду и прыгали с тумбы на тумбу. Стало совсем противно.

Ира тем временем что-то писала на маленьких блокнотных листах.

— Значит так, — заговорила она, и Артему сразу полегчало — ему вдруг показалось, что он разучился понимать человеческую речь. — Вот семь листов — на каждом написан день недели. Сегодня понедельник. Начинаешь читать с того места, где закончил в прошлый раз. Доходишь до надписи «вторник» — можешь остановиться. На сегодня норму прочитал. И так далее. Мы с тобой увидимся ровно через неделю. Все семь глав должны быть прочитаны. Осознанно прочитаны.

— Это вы меня про все *так* будете спрашивать?!

— Можешь даже не сомневаться.

Она подумала и добавила.

— Да, и... я обещала, что каждая непрочитанная часть «Дяди Тома» — дополнительная книга? Обещала. На следующее занятие я тебе ее принесу. Вопросы есть?

— Нет, — в конкурсе на самую унылую интонацию эта заняла бы первое место.

— Замечательно. Тогда перейдем, наконец, к английскому. What is your home task, dear¹?

«По-па-дóс!» — подумал Артем. И это была последняя в тот день мысль не по теме.

«Третий джокер», — пронеслось у Иры в голове. — «И, помяните мое слово, не последний!»

БЕГИ! — УДАРЬ! — БЕГИ!

*Каждый выживший является таковым в результате
быстрой и профессиональной работы Спасателей.
И остается благодаря заботе Главнейшего. Посему любая
человеческая жизнь считается наивысшей драгоценностью
и объявляется собственностью Государства.*

(Из Правил Игры)

Мутный стоял, широко расставив ноги и плотно сложив руки на груди. Завороженно глядя на часы.

Струйка песка неумолимо стремилась вниз.

Осталось три переворота.

Три раза по пять. Совсем немного. Через 15 минут все закончится. Щуплый не прибежит, и они все потеряют. Мать умрет. Малая тоже. И Барон. Хотя, он, наверно, уже мертв. Они просчитались. Поставили все — и проиграли. Так бывает. Такое может случиться с каждым. А случилось с ними. Почему?

Он помотал головой. «Надо же — рассуждает, как сопляк: почему, да почему? Потому что... Потому что такая жизнь. Никаких иллюзий. Все по-взрослому...»

Мутный усмехнулся. «Странно, — пронеслось у него в голове, — я говорю, как те, из рассказа Щуплого. Ведь и не знал, что живу особенно — «по-взрослому». Чудно это. Раньше все было ясно. Непонятно, но просто: живем и живем. Щуплый как-то по-другому про это сказал: вы...

¹ Что тебе задали на дом, дорогой? (англ.)

выживаем. Какая разница? Он обещал объяснить. Говорит, что раньше, до Аварии, меня называли бы...»

Из раздумий его вывел гадкий смешок Гудявого.

— Ты думай, думай. Как на Гнилом рынке за копейки продавать себя будешь. Чтобы ма-а-аму спасти. Решил, что всех обманул, да? Привел задохлого в стайеры и уже вы-иг-рал? — последние слова он противно растянул. — Долбан ты тошнотный, а не игрок!

Мутный глубоко, через ноздри, втянул воздух.

— Не гуди без дела, — процедил он. — Раз я на него поставил — вернется. Не скрипи заранее! Еще раз долбаном назовешь — с ноги дам в нос. Капли свои ты продал! Новые будут не скоро. А к тому времени, если не вся кровь из тебя выйдет, тебя самого собаки сожрут.

Со злости Гудявый пнул бочку. Быстро опомнился и, резко сняв сапог, посмотрел на палец: не рассек ли. Палец был в порядке, и он облегченно вздохнул.

Поймав на себе усмешливый взгляд Мутного, с ненавистью скривил губы. Захотелось ударить. Повалить на землю и бить, бить, бить. Чтобы все вокруг было в его мутной, красной крови. Бить и смотреть на искаженное ужасом лицо. Бить по лицу. Чтобы отовсюду кровь. Чтобы точно — смерть.

Но оба понимали — сейчас не время. Трудно просчитать финал.

«Слишком бесстрашен Мутный. Он будет драться до конца, даже убежденный в проигрыше. Чересчур осторожен Гудявый — никогда не нападет без полной уверенности в победе. Лучше потом, из-за угла. И — чтобы уже наверняка».

И тот, и другой все прекрасно понимали. Никаких иллюзий. Все по-взрослому.

Мутный горько усмехнулся. Гудявый надел сапоги. Ослабился, глядя на песочные часы:

— Один переворот, дружо-о-ок, — сладковатым голосом пропел он.

Мутный хрустнул суставами, думая ответить. Но тут из-за поворота, спотыкаясь, выбежал человек. Весь в пыли, он и не бежал, а плелся, шкандыбал на одной ноге, подволакивая другую, безжизненную, окровавленную. Задыхаясь, торопился изо всех сил. На финише, рядом с бочкой, рухнул на землю.

— Я... я... — дыхание его перехватило, и он глотал ртом воздух, — я... успел?

— Успел, сволочь! — почти с уважением прошипел Гудявый и, глядя на полуголового, окровавленного бегуна, уже громко и властно — своим помощникам: — Платите по ставкам. Он выиграл!

— Что ж, заработал — бери. У меня все честно, — обратился он к Мутному.

Тот оторопело смотрел на еле дышащего бегуна. Вздрыгнул, перевел взгляд на Гудявого.

— Ты че эт? От радости про деньги забыл? Так я и себе могу оставить.

Сжав губы, забрал выигрыш, положил в карман. Гудявый презрительно хмыкнул и пошел подсчитывать прибыль от Игры. Как бы ни развивались события, букмекеры свое получали всегда.

Мутный присел над еле дышащим стайером.

— Что со Щуплым? Почему прибежал ты?

Бегун открыл глаза и, словно не видя, посмотрел на собеседника. Дышал тяжело, с противной хрипотцой.

— Он... они его сожрали. Собаки. Я... не смог бы. Нога. Упал. Разорвали бы... меня. Он... камень в жожака. Отвлек. И... руки порезал... чтобы те — на кровь... умный... сука. А мне — «Нырй! В пруд». Чтобы кровь смыть. Я... слышу, как он кричит. А они... его... рвут. Он... меня... спас!

Вдруг задышал часто и прерывисто. Схватил Мутного за руку и быстро, скороговоркой:

— Малую. Малую не брось! Слышишь, Малую... Ма-а-а...

Барон попытался вздохнуть, но не смог. Весь задрожал и упал. Умер.

Мутный сел рядом, не снимая руки покойного со своей. Пытаясь не закричать, он дышал через рот. От слез в глазах щипало. Он плакал в первый раз.

Во внутреннем правом кармане лежали деньги. Теперь мама будет жить. И Малая. А Барон и Щуплый не будут. Это и есть жизнь. Никаких иллюзий. Все по-взрослому...

* * *

Одна ампула с каплями рассчитана на 12 дней прямого воздействия. Принимать следует путем заглатывания.

В течение 5 часов после не принимать пищу, чтобы содержимое капсулы было полностью усвоено организмом.

Передавать капсулы другим лицам строго запрещено и карается Спасателями изъятием жизни в пользу БПЭ (Более Полезных Элементов).

(Из Правил Игры)

Сколько Мутный себя помнит, он всегда работал. Всегда работали: Мать, друзья, соседи. Работали много. Бабушка сказала бы: «До кровавого пота». Но это только раньше, до Аварии, так могли сказать. Сейчас до крови нельзя. Сейчас ничего дороже крови у людей нет. Все надежды на нее, и все горести — в ней.

Самое страшное — пораниться до крови. Она больше не свертывается. Струится без остановок, пока не умрешь. Раз потекла — конец. Возможностей умереть масса: грязь в рану попадет, зверье прибежит. Или просто вся вытечет.

Но так было только в самом начале. Мать рассказывала, до Аварии, все было иначе: кровь всегда загустевала, и рана затягивалась. Раниться можно было сколько угодно. Иной раз порежешься — и внимания не обратишь. После Аварии люди не сразу заметили изменения. От мелких царапин многие погибли, не понимая, отчего и почему.

Потом появились Спасатели. Они стали выдавать ампулы с каплями, от которых кровь при повреждении сворачивалась. Правда, долго и болезненно, но выбирать не приходилось. Если кто терял ампулы или менял на что, а потом калечился, ему уже истекать кровью не давали: Спасатели забирали его, и он исчезал. Навсегда. В народе говорили, что из таких кровь выцеживали, чтобы делать новые целебные капли.

Когда речь идет не о тебе и твоих близких, всегда все легко и понятно. Но вот у твоей матери украли капли. Твой друг. Зашел попросить воды и стащил. Это был день выдачи, и Мать еще не успела принять. Она обычно пила на ночь, чтобы потом спокойно лежать — от них жутко болит голова. Друг наверняка знал, где Мать хранит капли. Она застала его на

месте преступления и попыталась отобрать свои ампулы, но он оттолкнул. И вроде в доме все углы давно круглые, и мебель обернута тряпками, а за что-то ведь зацепилась. Или кожа у старого человека теперь тоньше? Рана небольшая, но без капель — смертельная.

...Мутный взбесился от ярости, когда узнал. Хотел найти уroda и... Мать остановила. Испугалась за сына.

— Сыночек, капли уже не вернуть. Что лишний раз связываться?

Она умолчала о том, что увидела в глазах вора. Готовность на все. Он бы убил ее, сопротивляйся она яростней. Нет. Сына пускать нельзя.

Они сидели на кухне. Он держал Мать за руку. На тряпочке, которой наскоро перевязали царапину у локтя, проступила кровь. Это отрезвило его. Мать надо спасать. Надо что-то придумать.

А что, что можно сделать?! Эх, были бы у него капли! Но свои он выпил еще там, на выдате. Чтобы ему подождать? А теперь...

На Гнилом рынке можно купить суррогат. Раствор схож с настоящим. На время поможет. Продержаться до следующей капсулы точно. Только денег таких у них не было. Суррогат делают вне закона, и стоит он дорого. Стало быть, задача — срочно найти деньги.

Вдруг мысль, как молния — Игра! Поставить на кон все. И... кто знает?

«Беги—ударь—беги». Но в народе ее называли просто «Игра». Правила — в названии. Добежать до разрушенного храма в старой части города. Залезть наверх. Ударить в колокол. И убежать. Живым, конечно. Самое сложное — не погибнуть на любом из трех этапов. Старый город кишит собаками. Злые и голодные, они реагируют на малейшее движение. Если упасть и пойдет кровь — все: за дурманящим и пьянящим запахом они будут гнаться, пока не догонят.

«Дома», на жилой, защищенной территории, свора может привлечь внимание Спасателей. В Старый Город Спасатели не суются — много зверья. Здесь же легко собак отгонят. Но коли выследят бегуна, будут судить. За то, что подверг свою жизнь, а главное — кровь! — опасности. Спасатель обладает Правом Наказания. То есть он на месте решит, что делать с виновным: «работы» или «смерть»? В Своде Правил оба этих акта возмездия именовались «очистительными» — человек как бы «освобождался» от проступка. На деле всегда было проще. Провинившегося просто уводили. Слово «работы» означало, что однажды он может вернуться; «смерть» — уже никогда.

Но тебе, игроку, и не нужно рисковать жизнью. Бежит стайер, на которого ты поставишь. Угадаешь — куш твой, нет — теряешь ставку. Правда, бегун, скорее всего, потеряет жизнь, но кого это волнует? Участников предоставляет банда. Хотя ты можешь привести стайера сам. Только кто захочет умирать?

Бегуны жили богато. Потому что недолго. Каждый из них в начале месяца получал определенную сумму вне зависимости от того, будет игра или нет. Все понимали, что если будет — для них она, скорее всего, последняя. Бери от жизни все, пока живой.

В случае победы стайер получает двойной оклад плюс барыш с того, что на него поставили зрители. Проигрывает — теряет все.

Неудачники сразу шли на Гнилой рынок, чтобы «засколькo-низа-сколькo» продать свою кровь. Но там даже жизнь — бросовый товар.

Играли и богачи, и бедняки. Первых на Игру приводила скука. Вторых — бедность. Чтобы осилить ставку, средний работяга должен был принести все, что накопил. И того могло не хватить. Хочешь много и сразу — рискуй. Рискуешь чужой жизнью — плати.

Организацией Игры занимались разные банды. Сделал ставку и жди дня два-три, пока они все подготовят. Потом сами найдут тебя и сообщат о начале. Еще немного времени, чтобы раздать зрителям бинокли. За плату, конечно. Зрители сами займут места для обозрения получше — крыши домов, столбы, деревья. Самое важное — они тоже могут сделать ставку. Конечно, не такую, как ты. Просто попытают удачу и, может, немного подзаработают. Развлекуха и барыш. Все просто.

Правилами строго воспрещалось в Игру вмешиваться. В случае нарушения все тут же останавливалось и ставки обнулялись. Банды и пальцем не пошевелят, чтобы найти виновника — люди сами разыщут и накажут.

Мутный провел ладонями по лицу. Мысли бежали в голове. Игра — это выход. Деньги на ставку у него есть — жили они экономно. Только времени нет — три, даже два дня Мать не выдержит. Играть надо завтра.

Можно обратиться к Гудявому. Тот готов играть в день ставки. Только как угадать со стайером? Выбрать, чтобы точно выиграть? Да и Гудявый... Они с ним до ломоты в костях друг друга ненавидят. С того станется подставить своего же вскормленного стайера, лишь бы Мутный проиграл. Нет. Гадать нельзя. «Ударить один раз и точно», — так учил отец.

Мутный сел на стул и крепко сжал голову руками. Думать, думать. Мать в соседней комнате тяжело вздохнула.

* * *

*«Участие в играх, запрещенных Наивысшим,
карается неограниченным сроком «очистительных» работ.
При наличии доказательств о возможном
вреде крови, наказание — смерть».*

(Из Правил Игры)

Он наткнулся на них случайно, когда в тот же вечер возвращался с Гнилого рынка.

Денег на суррогат не хватило. Он так и думал, но решил попробовать. И стайера не нашел. Идти к Гудявому и положиться на судьбу? А потом, проиграв, сторговать жизнь за лекарство? Но нет гарантии, что Мать его получит.

Он обессиленно прислонился к стене. Рядом стояли два рыжих дрища. Тот, что слева, что-то говорил надрывным шепотом. Второй вроде и не слушал. Согласно кивал, покачивая странный сверток на руках.

Дрищей звали Щуплый и Барон. Они были близнецами. Оба худые, но Щуплый — заморыш, а Барон — худой, жилистый. В свертке — их полугодовалая сестра. Родителей по доносу соседей неделю назад увели на «очистительные работы». Соседи быстро разобрали скарб, а близнецов выгнали на улицу. Им страшно, и они уже второй день ничего не ели. А еще Малая странно хрипит. Не кричит уже даже, а хрипит. Они боятся, что умрет. Хотели поставить в Игре. Барон может бежать — он выносливый. Только денег нет. А без них нет и Игры.

Мутный не помнил, как привел их к себе. Все время по дороге к дому и потом, когда те ели, в его голове что-то вертелось. Мысль. Важная. Только не спугнуть. Он молчал и старался не концентрироваться на ней, пока время не пришло.

Мать отнесла девочку в спальню. Та сильно простудилась. Нужны были лекарства. Но денег... Вот! Мутный даже вскрикнул. Неясная мысль воплотилась в идею.

Он повернулся к близнецам. Согласятся? Жить хочется всем. А тут...

Затея была проста. Стайером объявят Щуплого. Мутный поставит на него все свои деньги. Это привлечет людей. Они решат, что бегун, на которого так рассчитывают, не может быть плох. Заподозрят хитрость и сами себя убедят, что тот хорош. Многие должны повестись. Это удвоит ставку. Задача Щуплого — добежать до границы Старого Города через заброшенный парк. Он стоит на возвышенности, и пока Щуплый там, его не разглядят даже в бинокль. В парке его сменяет Барон. Он побежит дальше. Его цель — ударить в колокол и любой ценой вернуться к брату. За ночь Мутный понаставит капканов и ловушек — все меньше зверья будет. Это запрещено, но надо рискнуть. Главное — оторваться от собак. Когда Барон прибежит — спрячется в пруду. Собаки потеряют его след. Запаха Щуплого они не знают, он сможет спокойно финишировать. Зверье в итоге уйдет, не привлекая внимания Спасателей. Барона они заберут ночью, когда все немножко успокоится. В случае успеха — деньги пополам.

Братья молча переглянулись. Долго смотрели друг другу в глаза. Потом одновременно кивнули — согласились.

И тут Щуплый, который раньше все время молчал, немного заикаясь, произнес:

— Зн-наете, я читал в старых к-книгах, чт-то до Аварии собаки были л-ласковыми и за-защищали людей. А мы не д-должны работать...

Смачная затрещина от брата не дала ему закончить.

— Опять сказками людям головы морочишь!

Щуплый грустно улыбнулся.

— Зря ты так. Я правду говорю. Меня бабушка зачем читать учила, хоть и запрещают всем? Чтобы понимать. Ведь мы с вами — дети! Нам только 12. До Аварии мы бы даже не работали. Нам положено учиться и играть. Просто так играть. Ну, помогать родителям иногда. А сейчас мы с самого начала живем, как взрослые, и...

Его как прорвало. Он просто не мог остановиться, выкладывая все то, что нашел в старых книгах и газетах. От воодушевления даже заикаться перестал.

— ...это — не ложь. Раз так когда-то было, то когда-нибудь обязательно вернется. Тогда и пригодятся мои знания. Людям важно знать, *как* может быть. Всем важно: и детям, и взрослым. Особенно детям: им же менять будущее. Да и вообще... Представляешь — играть и не умереть — здорово!

Брат смотрел на него как на ненормального. Мутный не знал, что и думать — разрывался от сумятицы в душе. Он вдруг почувствовал, что больше всего на свете хочет, чтобы слова Щуплого оказались правдой. Мама говорила: «То, что было однажды, обязательно повторится во второй раз». А вдруг?

Тут ему стало жутко стыдно. Слушает бредни какого-то дрища, а Мать умирает в соседней комнате. Враз помрачнев, отрезал:

— Ладно, нюни. Дети, взрослые... завтра нужно выжить. Выживешь — все и расскажешь. Спать.

Встал и выключил свет.



Наталья Владимировна Каширина родилась в Воронеже. Окончила факультет психологии Воронежского государственного педагогического университета, член литературного клуба «Молодые» при областной юношеской библиотеке им. В. Кубанева. Публиковалась в журналах «Молодой Воронеж», «Подъём». Участница Воронежского областного совещания молодых литераторов в 2010 году.

Наталья Каширина

БАБОЧКА

Рассказ

Привет! — звонкий голосок принадлежал девочке лет десяти в синем платьице чуть выше колена. Ее темно-русые волосы были завязаны в высокий, так называемый «конский», хвост. А обращалась она к мальчику, одетому, что не удивительно, в залатанные штаны и в такую же, побывавшую во многих передрыгах, рубашку, которая успела порваться на коротком рукаве, видимо, при неудачном преодолении какой-нибудь колючей ограды.

— Привет. Я — Коля, а тебя как зовут?

— Я — Лиза, — ответила девочка и добавила, улыбнувшись, — какие у тебя глаза — прозрачные-прозрачные.

Коля гордо выпрямился и еще раз посмотрел на нее (немного свысока, хотя дети были одинакового роста) своими серо-голубыми глазами. Они действительно были почти бесцветные, подернутые легкой дымкой, глубокие, как весеннее высокое небо и блестящие, будто от непросохших обильных слез.

— Они у меня папины.

— А кто твой папа? — девочка навострила ушки, моргнула и с любопытством приготовилась слушать.

— Он инженер. И любит путешествовать. Он знает все. Про животных и лес, про костры и речки и про рыбу тоже. Мы

с ним ходили в походы и на рыбалку. И однажды я поймал во-от такую щуку, — Коля вытянул вбок руку, но длина показалась ему небольшой и тогда, с видом знатока, он раскинул обе руки, показывая величину добычи.

Коля сквозь сон услышал чужие голоса и проснулся. Из-под двери высовывался краешек белой тонкой простыни, но это был всего лишь свет, который протискивался в комнату из коридора вместе с разговором взрослых. Мальчик сел на кровати, свесив ноги, потер кулачками глаза и прислушался. Он уже решил осторожно пойти приоткрыть дверь. Ему было очень интересно, кто пришел в гости так поздно. И хотя ощущение тревоги прокралось в сон и теперь скулило в нем, Коля не придавал этому особого значения. При попытке осуществить свой план, он был застигнут врасплох — мама услышала скрип половицы и бросилась к двери с фразой, сказанной, скорее по привычке: «Почему ты не спишь?». Ответа не последовало. Мальчик взволнованно переводил взгляд с одного высокого мужчины в кожанке на другого. Тусклые темные отблески с примесью желтизны падающего света лениво и недвижно лежали на плечах и рукавах незнакомцев.

— Пройдемте с нами, — Коля не понял, кто из них сказал это, до того они были похожи, до того одинаковы. Мальчик рванулся к отцу и крепко обнял его. Тот смущенно расставил руки и медленно, сдержанно произнес: «Коля, что с тобой?». Голос чуть вибрировал. Он поцеловал сына в лоб и непослушными руками попытался высвободиться из детских объятий. Мать стояла поодаль у полуоткрытой двери, в которой теперь стягом полыхал свет. Она подошла сзади и за плечи мягко отстранила сына.

Отец ушел за людьми в черном. Входная дверь оставалась распахнутой еще некоторое время, потом Коля закрыл ее.

Сон не шел. Они сидели на кухне. Друг напротив друга. Мать и сын. Почему-то он знал, что не надо задавать вопросов.

— Шел бы ты спать, Коля. Завтра трудный день.

«Она сама заговорила об этом», — подумал мальчик. — Почему?

— Тебе какое-то время надо будет пожить в другом месте. Ладно? Молчание.

— Коля, ты поймешь. Потом. Позже. Просто это не для тебя... Оно не должно быть для тебя... Ты будешь другим и у тебя будет другой мир...

На следующий день мать отправляла сына к родственникам. На перроне многолюдного вокзала долго обнимала, поправляла воротничок рубашки, который и так был хорошо отутюжен и лежал ровно. Но она не плакала. А потом посадила его на поезд, и только тогда в окно он увидел, как по ее щекам катятся слезы. Она не стирала их, а только махала рукой сыну и шептала (он понял это по движению губ): «Колюшка, Колюшка». Мама всегда называла его так, и он любил больше всего на свете этот голос и это слово. Коля дал себе обещание, что не оставит ее, выйдет из поезда на следующей же станции и вернется домой пешком, как угодно, но вернется домой, что бы ни случилось.

Мальчик сидел у окна и смотрел на мелькающие перед глазами деревья, он чувствовал, что с каждым километром пути его тоска становится острее. Он не мог дожидаться остановки, корил себя за то, что не смог пройти по вагонам и выйти из поезда сразу же, чтобы мать не увидела. Просто в момент расставания она смотрела на него с перрона и будто сковала взглядом.

Коля опустил руку в карман и сжал в кулаке деньги: свои сбережения и те, что получил в дорогу. Так он и выскочил из вагона на какой-то станции, название которой ему было безразлично. Свежий воздух взбудрил его. Не зная еще, как будет добираться обратно, мальчик был рад только тому, что он все же ближе к дому, чем прогремевший мимо состав и все люди в нем. Коля, не долго думая, взял билет на поезд, отходящий через двадцать минут, которая шла мимо его родного города. Ему предлагали брать прямой, но мальчик не мог ждать, он был уверен, что доберется раньше, он был полон желаний, надежд и радости оттого, что чувствовал себя самостоятельным и взрослым. В оставшееся время он купил самое большое мороженое, что было в буфете, выбежал из здания вокзала, потому как боялся ненароком пропустить свой заветный поезд. Он с наслаждением ел холодный пломбир, причмокивал от удовольствия и разглядывал людей вокруг. Провожающие, встречающие были одинаковы; на самом деле, все люди казались ему похожими на тех, что увели папу. Но сейчас настроение было приподнятое, поэтому Коля не задумывался над этой закономерностью, а больше смотрел на молодых людей, которые при встрече светились радостью, смеялись, громко и взволнованно разговаривали тут же на перроне и обнимались. Им чужда была скрытность, неприветливость, опасливость и, в то же время, суровость, серьезность облика вечно спешащего, замученного работой и заботами, не замечающего ничего вокруг себя человека. Ход мыслей маленького странника прервал подошедший поезд, в который он весело запрыгнул, держа в ладошке уже чуть мятый проездной билет.

Ближе к вечеру Коля плутал по окраинам, расспрашивая прохожих о том, как добраться до своего города. Темнело и становилось страшно ходить по незнакомым улицам. Если бы мальчика спросили, почему он едва не отпрыгнул в сторону от молодой, хорошо одетой женщины, он не смог бы этого объяснить — только мышцы внезапно напряглись, и сердце резко ухнуло куда-то вниз. Коля, чтобы не бояться, одну руку оставил в кармане, а другой крепко держал небольшой рюкзачок, что висел на плечах. Незаметно опустились сумерки, он жался к стенам домов и ориентировался по вереницам фонарей, что лучше всего освещали главные улицы маленького городка. Почти на всех дверях магазинов висело малообещающее и грозное «Закррито». Мальчик предусмотрительно купил днем буханку свежего хлеба и теперь медленно шел куда-то вперед, задумчиво дожевывая оставшиеся полбуханки.

— Здорово, дружок, — раздался грубый бас почти над самым ухом, и паренек рванул без оглядки через дорогу, потом свернул направо, потом налево, потом... со всего размаху влетел в какого-то высокого человека и резко отпрянул. Сильные руки взяли его за плечи и спокойный, чуть насмешливый голос заставил Колю поднять испуганное лицо.

— Дружок, — совсем другая интонация, и мальчик притих, успокоился, — ты что это? На таран меня взять хотел? — ребенок сглотнул подступивший к горлу ком. — Почему ты один так поздно бродишь? Заблудился? — Только сейчас Коля заметил, что перед ним стоит военный.

— Я... Мне нужно попасть в город N, — мальчику было приятно, что на плечах лежали добрые, огрубевшие мужские ладони, от них по всему телу разливалась уверенность и тепло, а страх исчезал.

— Ты гордый парнишка, — он засмеялся. — Правильно, сам должен со страхом справляться. На то он и существует, чтобы его преодолевать. Так что же мы с тобой будем делать? А? Молчишь? Если ты мне веришь,

я готов тебя приютить на ночь. Только завтра я уезжаю отсюда. Но тебе ведь некуда идти?

— Откуда вы знаете?

— Эх... По глазам можно все узнать о человеке. Так веришь, что я не причиню тебе вреда? Настаивать не буду. Думай. Представь, что это твое главное решение, хотя бы на сегодняшний день. Я не буду мешать.

Странно... Военный отошел на шаг от мальчика. А тот смотрел сначала на руки, потом на лицо, а потом в глаза этому человеку. И почувствовал... Ответ «да» уже крутился на языке...

Потом они уже шли по хорошо освещенному тротуару, который теперь казался красивым, воздух посвежевшим; приятно было вдыхать сладковатую прохладу. Мальчик вкратце рассказал свою историю Михаилу Федоровичу, который попросил называть его просто «дядей Мишей». Собеседник нахмурился и вздохнул, но тут же резво и весело сказал, хлопнув себя ладонью по колену:

— Как же так! Ты, наверное, голодный, а мы тут гуляем. Ну-ка рысью марш.

Дядя Миша широко шагал, да так, что Коле приходилось действительно догонять его трусцой.

В однокомнатной небольшой, но чистенькой квартирке новый знакомый быстро соорудил макароны по-флотски, которые тот час же были съедены. За чаем с сухарями разговор был продолжен:

— А почему вы мне сказали посмотреть на вас повнимательней и подумать?

— Всегда можно отличить хорошего человека от плохого, точно так же, как можно сразу с точностью сказать: доверяешь ли ты кому-то или нет, даже если знаком с человеком всего пару минут.

— Как же это так? — Коля грыз очередной сухарь. Мальчик не хотел макать его в чай — так было неинтересно. Нежели когда неподатливый черствый край приходилось вертеть то так, то сяк, пытаясь его укусить, потихоньку сжимая зубы.

— Открою тебе большую тайну: человека выдают глаза — они всегда говорят правду. Есть люди, которые умеют контролировать свой взгляд, но если очень внимательно следить за ними, узнаешь все.

— Неправда. Ну, как же так. Совсем-совсем все?

Дядя Миша весело фыркнул. В уголках его поблескивающих глаз под густыми бровями много маленьких складочек тянулось к скулам: «Да, только никто еще не умеет понимать это «все» по глазам людей. Сложно».

— А, ну, тогда хорошо.

— Да, хорошо. Вот что ты почувствовал, когда смотрел на меня?

— Я не знаю, просто вдруг понял, что вам можно доверять.

— Видишь, значит, и ты уже кое-что умеешь, да? Еще подучишься и будешь людей сразу различать.

Внезапно он сменил тему.

— Мы не решили, как поступим завтра.

— Да...

— У меня есть предложение: я уезжаю, но через день-два вернусь. Пока ты побудешь в детдоме в этом городе. Он тут рядом. Потом вместе найдем твою маму. Одному тебе лучше не бродить.

— Зачем это? Я могу к ней вернуться завтра же! — он недоумевал.

— Она подумает, что ты ее не послушался.

— Все равно не понимаю.

— Если мама отправила тебя к родственникам, значит, у нее важные дела. Может, ее не будет дома. Что ты тогда один будешь делать?

— У меня там соседи, мальчишки. Попрошусь остаться пока у них.

— По-моему, это неприлично.

— А как же вы? Я же у вас?

— Я сам предложил. Согласен? Поверь мне, так будет лучше. Всего пара дней. Я знаю преподавателя в детдоме. Она тебя приютит.

Устав за день, маленький странник уснул прямо в кресле; Михаил Федорович перенес его на кровать и накрыл одеялом, сам же еще долго сидел на кухне и курил.

Следующим утром Колю снова куда-то вели и передавали из рук в руки. Милая женщина средних лет, учительница рисования, Надежда Викторовна приходилась дяде Мише троюродной сестрой. Она была невысокого роста, худенькая, во всем сером и с русой косой. Долго она уговаривала заведующую детским домом, сухую и недобрую Зою Ивановну взять «славного заблудившегося мальчика на пару-тройку дней». Та, в конечном счете, вытянула губы в узкую полоску, тихо и строго сказала: «Под вашу ответственность».

Два следующих дня показались Коле пыткой. Утром, вставая с кровати, он думал, когда за ним придут; за завтраком, обедом, играми, занятиями, ужином, перед сном — мысли были те же. На третий день мальчик сбежал. Он сам не понял, как это получилось. Куда-то пошли на прогулку. Был какой-то забор. И вот уже парнишка, не растающий с рюкзаком, перемахнул через него и помчался бегом, куда глаза глядят. Опять какое-то время он бродил в одиночестве по городку, потом узнал, на чем можно доехать. К вечеру был дома. Родные улицы приняли его. Пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, он замер во дворе, вглядываясь в освещенное окно своей квартиры. Но... что это за тени? Коля все понял. Понял все. Он без сил опустился на асфальт, уткнулся носом в руки. Глаза щипало, их жгли слезы, но не катились по щекам, хотелось плакать, но не получалось, никак не получалось. От этого становилось все больнее. Так просидел он под своим окном, не поднимая на него взгляд. Потом ушел в подъезд другого дома и там, на пятом, последнем этаже провел ночь, вздрагивая от каждого шороха, слушая свое дыхание и стук сердца.

На следующий день Коля возвратился в детдом. Бледный, покусывающий губы, он постучал в тяжелую деревянную дверь, — ему открыла Зоя Ивановна и сразу захлопнула, окатив беглеца волной негодования и теплого, пропахшего кашей, воздуха. Мальчик продолжал стоять, не двигаясь. Прошло несколько минут, и вышла Надежда Викторовна. Она взяла Колю за руку и повела внутрь. Из глубины коридора прогремело: «Под вашу ответственность! Но третьего раза я не допущу ни для него, ни для вас», — и черная худощавая фигура скрылась за углом.

Надежда Викторовна повела питомца в столовую и поставила перед ним тарелку постного супа и ломоть хлеба. Обед уже закончился, настал тихий час, поэтому в помещениях было пусто и веяло дремой... Очень тихо... Мальчик безо всякого выражения на лице смотрел на переливающиеся, блестящие капли масла, медленно плывшие около краев. С вогнутой ложки на мальчика глядело искаженное, перевернутое и узкое отражение его детского лица: «Там другие люди. Другая семья». Женщина, сидящая напротив, закусила губу изнутри и молчала, потом прикрыла глаза и вздохнула: «Ешь, сейчас тебе нужно есть».

Коля взял ложку и положил внезапно отяжелевшую руку на стол, продолжая смотреть в пол и как будто сквозь него.

— Пожалуйста, Коля.

Он ел холодный суп и думал о том, что часто видел, как Надежда Викторовна кусает губы, но только сейчас понял, почему. Ей нельзя было ничего говорить, просто не нужно. Она старалась сохранять тишину и надежду, такую хрупкую, что ничего не стоило ее разбить. Но допустить этого она не могла. Партизан чужих тайн; для нее было пыткой видеть детей, которые становились взрослыми слишком рано, жестоко и жестко, одним махом, от одного глотка воздуха свободы, после первой же попытки сбежать домой. А она грешила, не говоря правду, молчала. Но Коля понял и другое, нечто, потрясшее его. Так, он не надеялся увидеть дома маму и узнать, что все в порядке — он слепо верил в это, в то, что все осталось прежним. И уверенность была непоколебимой, он сам создал для себя мир лжи и жил в нем. Без надежды...

— Он приходил.

Коля вздрогнул и внезапно зарыдал. Он чувствовал, что становится легче. Все скопившиеся за несколько дней слезы он слизывал с губ и все-таки был рад только тому, что не научился плакать, и это было хорошо.

— Он попробует вернуться. Дождись.

Между тем, в детском доме происходили разные события. Так, Коля узнал, что веснушчатая, светловолосая, с чуть вздернутым носиком девочка Женья часто плакала и утешить ее могла только Надежда Викторовна — «самая», как называли ее детдомовцы.

Еще мальчик сдружился с Петькой Кузнечиком, у которого были непослушные курчавые волосы. Он знал все про всех, был всегда в самом центре событий, за что и получил свое прозвище. Единственное: он не знал историю Жени, и как только ни пытался выведать это, ему не удавалось, поэтому было жутко интересно.

Новенький мало общался с другими детьми, но Кузнечик стал ему настоящим другом. Двое ребят любили читать и просили Надежду Викторовну принести им книги о приключениях. Она, втихаря, носила им толстые старые тома Жюль Верна, Фенимора Купера, В. Скотта из своей домашней библиотеки, которая чудом уцелела в эти смутные времена. (Об этом знал только Петька, а также о том, что книги, не входящие в программу уроков литературы, читать было строго запрещено.) Но мальчишки никогда не подводили «самую». На прогулке они любили разговаривать между собой, когда все остальные были заняты играми, а Надежда Викторовна сидела на лавочке, вязала и слушала ребят, восторженно, захлеб повествующих о таинственных островах, индейцах, воздушных шарах и подводной лодке под началом капитана Немо. Они спорили, додумывая свои продолжения приключений, мыслили себя моряками и путешественниками, каждый раз заверяли «самую», что обязательно возьмут ее с собой и увезут как можно дальше отсюда, невзирая на недобрую примету мореплавателей. Женщина улыбалась и отвечала, что, конечно, поедет с ними, когда они соберутся странствовать, но прежде хорошенько выучат географию.

Однажды, во время одного из таких разговоров, Коля увидел бегущую в здание детдома плачущую Женю. «Сейчас вернусь» — мальчик направился за ней. Они не были друзьями, но иногда девочка играла с ним и Петькой. Поэтому узнала об их увлеченности и просила рассказать о пи-

ратах и индейцах (но больше ей нравились пираты). Когда она слушала, выражение лица становилось мечтательным, и можно было с точностью сказать, что сейчас она берет на бордаж испанский галеон, надрывает горло от крика и соленый ветер треплет ее волосы, стоящей у штурвала, отдающей приказы. Иногда она даже вступала в споры между мальчишками — и тогда приходила Зоя Ивановна, ругала их за шум и разгоняла по комнатам. И только через некоторое время троица вновь собиралась где-нибудь в коридоре, срывающимся, шипящим шепотом продолжая доказывать друг другу, что до Африки можно дойти пешком, а в брошенных термитниках действительно случается пережить дождь. Коле нравилось, что Женя никогда не обижалась и, если бывала не права, признавала это.

Сейчас он нашел ее за выступом в коридоре. Она уткнулась в холодную, шершавую, крашеную светлым стену, плакала. И не слышала шагов мальчика, вздрогнула и обернулась, когда он тронул ее за плечо: «Отчего ты плачешь?»

— Они, — всхлипы мешали говорить, поэтому она пыталась их подавить, — громко стучали в дверь. Всех перебудили. Открыл папа. Они схватили его и потащили за собой. Мама начала у них спрашивать, почему они ворвались в дом и даже не сказали ни слова. А они, они сказали, чтобы она «за-за», — на Женю опять нахлынула волна рыданий, но окончание слова она почти выкрикнула, четко, без запинки: «за-ткнулась». Тогда папа прикрикнул на них за грубость, но они скрутили ему руки так, что его лицо перекошилось, папа застонал. Ему было очень больно. Папочка! Мама подбежала к нему. Один ее ударил, — Женя зарыдала сильнее, — она упала. Я смотрела из-за двери. Они меня не видели, но я побежала к маме. А папа закричал так страшно: «Женя, нет, иди в комнату!», что я испугалась и побежала обратно в свою комнату, и тряслась там от страха... Папу вытолкали за дверь, и другие пришли и потащили маму. Мне было холодно, замерзли ноги, и угол стола больно колотил спину. Но я боялась, так боялась вылезти и закрыть дверь входную и в комнату, а холодно было еще из-за нее. В коридоре было тоже холодно. Потом пришла Зоя Ивановна, но ее обогнала Надежда Викторовна и сказала, что сама заберет девочку. Она попросила выйти из-под стола. А я, я послушалась. Она добрая. Спросила, что я хочу взять из дома. Я сказала. И оделась. И она повела меня за руку. Сюда.

Женя почти перестала плакать, вытерла слезы. И тут, сам не понимая, почему, Коля подошел совсем близко и поцеловал ее, как папа целовал маму. Девочка ответила, но спустя несколько секунд мягко оттолкнула его; лицо ее пылало, она тяжело дышала, прикусила губу, чтобы не улыбнуться и, шмыгая носом, побежала в комнату. Мальчик прижал руку к губам и думал, почему он так сделал, но не мог понять. Ясно было одно — с этих пор Женя перестала рыдать. Вместо этого она подходила к Коле: «Мне хочется плакать». И двое поодиночке приходили в условленное место. Эти встречи не давали ощущать одиночество, заменяли родительское внимание; дети чувствовали себя нужными друг другу и видели в этом утешение, отдохновение от горестных мыслей.

Так в ожидании шли дни, за ними недели. Грянул июнь, громом среди ясного неба — война. Дети мало понимали происходящее. А где-то далеко, сначала на границе, потом стремительно приближаясь, грохотали взрывы, пули пробивали груди, мундиры, ребра и кости солдат, погряз-

ших в трясине обстрелов и бомбардировок и погибавших в них без вести, без следа. Теперь народ слушал утром, днем и ночью шипение радио...

Ребята из детдома поняли, что такое война лишь тогда, когда Зоя Ивановна сухо сказала, что завтра их эвакуируют.

В этот последний день пришло письмо, что дядя Миша ранен и сейчас находится в городе П*. Надежда Викторовна переживала и беспокоилась. Но нежная улыбка появлялась на ее лице под пеленой блестящих слез, когда воспитанники по очереди подходили и утешали ее, по-детски, немного неуклюже, но очень мило и трогательно.

Утро началось с беготни. Все тревожно что-то искали, пересчитывали детей, собирали кое-какие вещи. В такой сутолоке Коля предпочел посидеть во дворе на скамеечке. Чудесный летний день оставался таким, несмотря на изменившиеся улицы и вещавшее с каждого столба радио. Прохладный ветерок, солнце и голубое-голубое небо, а по нему белый мягкий слон плыл на восток. Внизу сидел мальчик и думал, что он похож на этого слона — спешит и не знает, куда и зачем... Тихонько подошла Женя, села рядом.

— Мы на поезде. Говорят, нас везут далеко.

— Видишь? Вон там слон. Белый. Большой. Слева.

— Правда, — Женя высоко задрала подбородок и слегка щурилась от яркого света. — А вон хобот. Такой длинный, он кольцом завернут вверх.

— Да. А хвост метелкой. — Коля засмеялся.

— Ноги — тумбочки, — подхватила Женя.

— Смотри, смотри! Крылья появляются. Гляди!

Медленно плывущие облака меняли форму...

— И ноги тоньше стали. Совсем спички! Интересно: как он ходит на них?!

— Он летает. Вон какие перья у него на спине. Даже вьются, как шерсть барашков, — мальчик продолжал смеяться.

— И вообще, он какой-то лохматый.

— Ух, ты. Мамонт. Клыки. Видишь? Я — мамонт.

— Тогда я — птичка. Во-он там, — Женя показала на небольшую тучку с длинным клювом. — Только кто это? Пеликан?

— Сама не знаешь, кто. Что-то слишком быстро летишь и мимо меня.

— Это потому, что ты слишком большой и неповоротливый, хоть и крылатый.

— Ну, конечно... Зато сильный.

Дети продолжали болтать и смотреть на небо. Спустя несколько минут их уже позвали. Потом на вокзале долго пытались собрать детдомовцев в кучу, не раз пересчитывали. В этой суматохе Коля потерялся где-то в самом центре толпы. Шел он вместе с Петькой и Женей, потом вдруг кто-то потянул их вправо, тут же стена людских спин загородила дорогу, мелькнули знакомые лица и исчезли. Мальчик рванулся в одну сторону, в другую с криком: «Петя! Женя!» — нигде не прорваться, а до железнодорожных путей было еще далеко, номера поезда он не знал, да и не преодолел бы оцепление из рук, ног, чемоданов и рюкзаков. А, может, он и не хотел уезжать, ведь шальная мысль вчера посетила его — поехать и найти дядю Мишу в городе П*, просто быть с ним. Война виделась пареньку совсем не такой, какой являлась на самом деле, да и жизнь изменила свой цвет и форму с тех пор, как увели отца.

Коля не видел плачущую Надежду Викторовну, безуспешно ищущую его на перроне; Кузнечика и девочку, которые просили отпустить их по-

искать потерявшегося. Они уверяли, что найдут вмиг и вернуться, но им не разрешили — всех завели в вагоны. А «самая» стояла до последнего, звала и высматривала того, кто уже не мог ее слышать, того, потерянно-го для нее навсегда.

Он стремительно удалялся в противоположную сторону, навстречу необъяснимо-неизвестному, огромному — навстречу войне, в вагоне с солдатами. От этой шумной компании мальчик забился в угол и там, в тени, уснул. Парнишку разбудили за час до станции. Здесь впервые его обуял страх; волна дрожи окатила с ног до головы. Он ясно осознал, что один в незнакомой стороне и шансов найти кого-либо практически нет. Коря себя за глупость, он спустился на очередной перрон и пошел куда глаза глядят. На улицах были люди, хотя их должны были давно эвакуировать.

После долгих расспросов мальчик добрался до госпиталя. Назвавшись сыном Надежды Викторовны, спросил про дядю Мишу. Медбрат удивился, но передал какой-то листок и письмо, прибавил: «Прямо в руки маме». Коля развернул бумагу и пробежал глазами по тексту быстро — там была одна строчка, потом еще раз и еще; вскрикнул и побежал к двери. Вдогонку ему что-то кричали, но он не слышал, он бежал за больничные стены, в лес, не смотря под ноги, через камни и листья, траву и ветки, через поваленные деревья. Все дальше и дальше, сильно сжав в кулаке тугое и мятое письмо. Нога зацепилась за кривую корягу, и мальчик упал. Боль от удара была не сильной, но она дала волю слезам, хлынувшим из светлых глаз. Он стирал их со скул тыльной стороной руки, сотрясаясь от рыданий. От глубоких, резких и громких вдохов-выдохов содрогалась грудная клетка и живот. Казалось, что Коля хлебает воздух, но не может проглотить его. Упругие толчки кислорода тремоло колотили кровь, разгоряченная, она прилиwała к лицу. Ребенок захлебывался, и лающий сухой кашель сопровождал слезы и выворачивал наизнанку.

Трясущимися руками между приступами всхлипов мальчик разорвал конверт, зная, что никогда больше не увидит Надежду Викторовну. Едва разбирая почерк, скорее по смыслу, читал:

«Здравствуй, дорогая Наденька. Меня уже не будет, когда ты получишь это письмо. Просить тебя вытерпеть и это — безумие. Но ты сильная, Надя. Мне уже ничего не нужно, единственное, я бы хотел прекращения войн. Это не под силу даже тебе. Поэтому прошу тебя присмотреть за Колей. Он слишком быстр в действиях и не знает, что творит. Один в войну он погибнет.

Надя, прощай! Вечно любящий тебя брат».

Перед глазами всплыл другой текст: «*Михаил Федорович В* скончался в 8 часов утра 13.08.1941 года от смертельной раны*».

Он внезапно осознал, что не сможет найти Надежду Викторовну, что сейчас война, в которой он — один и погибнет оттого, что не знает, что делает. Очередной всхлип, и заломило в висках, широко раскрытые глаза на мгновение потеряли зрячесть, когда же она вернулась, Коля вынужден был схватиться за березу, чтобы не упасть. Перед взором все качалось в мутном мареве не только от обильных слез. Мальчик вжался щекой в пятнистую запыленную кору и обнял ствол обеими руками. Из раскрытой ладони на землю летел желтоватый листок бумаги.

«Мама звала меня Колюшкой. Знаешь, почему? Есть такая маленькая рыбка, забавная. Зеленовато-коричневая, темненькая, а плавники и хвост почти прозрачные. И большие такие глаза».

Этими словами закончился сон. Коля раскрыл глаза и зажмурился, потому что в лицо бил остренький луч солнца. Мальчик сел в кровати, спустил ноги с ее края, потянулся и босиком побежал по полу. Утро начиналось как обычно: вот уже несколько месяцев странник жил в маленькой деревеньке у доброй женщины — Нины И. Ее сестра уехала к мужу в город, а через несколько дней грянула война. Ни отец, ни мать четырехлетнего Никиты не вернулись. Приемной матерью стала Нина И. Раньше с нею жил родной сын, но пропал однажды бесследно. И с тех пор ходили слухи, что она носит в лес партизанам передачи. Для Коли это долгое время тоже были только слухи, пока однажды Нина И. не вывихнула ногу и не попросила мальчика отнести небольшой сверток на поляну перед лесом и дождаться, пока его окликнут по имени.

На двор вышел декабрь. Запахло зимой — свежо, морозно. По заснеженным домам скакало солнце, на земле голубели тени. И слепящие отблески ставших серебряными лучей вышивали по воздуху гладью, скользя и ложась друг на друга. Коля кутался в старую одежду сына Нины И. и переминался с ноги на ногу на пороге, усиленно и со страхом соображая, как незамеченным пробраться до околицы. А там до леса уже рукой подать...

Пошел снег. Крупные хлопья медленно опускались с неба, словно на подвязанных к нему веревочках. «Так, если высоко-высоко схватить эту нить в кулак и стянуть с нее в ладонь все снежинки, наберется горсть — враз для снежка». Таким хотел видеть сейчас мир Коля; и прыгнул в завешанный белоснежным тюлем воздух.

...Мальчик дошел до условленного места, остановился и принялся смотреть по сторонам. Он вздрогнул и обернулся на молодой, с легкой хрипотцой голос:

— Так вот ты какой — Коля!

Это был сын Нины И. — они были похожи, как две капли воды. Он поблагодарил вестника и велел передать, что в ближайшую неделю приходить не надо.

Через некоторое время Коля уже играл с ребятами в снежки. А Нина И. с грустью смотрела на них из окна.

В войну ей жилось не совсем плохо: в погребе хранились лекарства, которые хозяйка обменивала у односельчан на продукты, а иногда даже лечила — насколько позволяли ей знания в этой области как медсестры.

Не прошло и недели, как ночью громкий стук в дверь испугал и разбудил всех в избе Нины И. Она открыла дверь, и немцы ворвались в комнату, несколько из них, захлопнув за собой дверь, выволокли детей на улицу. От испуга и неожиданности у тех пропал голос.

Кто выдал немцам Нину И., было неизвестно. Вся деревня наполнилась слухами. Но только одно окно горело в доме неподалеку.

Коля рвался из солдатских рук, но получил оплеуху, от которой потерял сознание. Когда же очнулся от холода, — не понял, где находится. Маленькие ручонки обхватили его, голова Никитки лежала у него на груди, — паренек дрожал. Коля крепче прижал его к себе и стал осматриваться. В окружающей темноте начали вырисовываться нечеткие контуры предметов. Высоко вверху через выбитое окно просачивалось немного лунного и отраженного от снега света. Лежали мальчишки на досках,

видимо, заменяющих кровать. По замерзшей в некоторых местах от растаявшего снега одежде тек пронизывающий холод и просачивался сквозь нее; за ледяной волной накатывалась дрожь, начинали стучать зубы.

С жутким скрипом открылась дверь, теплый воздух плеснул в лицо детям, а за ним полетело одеяло, брошенное с порога, пропахшее гадкой и грязной, вонючей и кислой теплотой.

...После холодной и тяжелой ночи, Никитка плакал, жуя черствую горбушку, означавшую завтрак. Светило солнце, но смотреть по сторонам было противно... Коля лежал с закрытыми глазами, сжав зубы. Хотел забыться сном — холод не давал это сделать. Поэтому он погрузился в воспоминания...

— Что ты делаешь? — Коля недоумевавшая смотрел на своего сокамерника. Никитка нашел на полу в пыли и грязи кусочек мягкого кирпича и теперь старательно, высоко для его роста, отчего пришлось встать на носочки, выводил очертания крыльев бабочки. Малыш высунул кончик языка и сосредоточенно жмурил то один, то другой глаз. Крылья получались неровными, он их постоянно выравнивал, дорисовывая с каждой стороны, тем самым они еще больше разнились по величине.

Сердце Коли сжалось и застучало сильнее, а в глазах защипало. Он подошел: «Хочешь, я тебе помогу?»

— Второй мел, — Никитка разжал кулачок и протянул маленький кусочек, который занимал всего-то половину ладони, но тем самым и представлял ценность. — Нарисуй мне бабочку. Вот тут. У нее белые точки по бокам, такие большие, и в них еще две точки — черные. Но мел один. Пусть они будут похожие. А бабочка большая.

Коля стал рисовать. Удивительно, он не вспомнил Надежду Викторовну и ее уроки ИЗО; папу, который однажды поймал бабочку в банку и принес сыну. Мальчик ощутил себя на опушке леса, с Никиткой и перед ними на траве — рыжевато-коричневого, пятнистого махаона. Запах леса будто щекотал ребятам нос. И пели звонкие птицы, и тень опускалась на плечи прохладой и свежестью. «Нет, — подумал Коля, — Никитка не со мной, он на лугу. Его бабочка луговая».

Следующим утром грубые руки тормозили ребят. Никитка еще не успел хорошенько проснуться, испуганно и сонно озирался по сторонам. Поэтому Коля крепко взял его за руку и повел за военным, как старший брат. Он знал, куда их ведут. Просто знал, и до того это было безразлично. Но при мысли, что Никитка не увидит света завтрашнего утра и через час — два будет смотреть в беспроглядное и безнадежное чрево земли, его коробило. В отчаянии мелькали в его голове мысли, убегали и не возвращались. Инстинкт оказался единственным, работающим безотказно и быстро.

Когда мальчишек вывели на улицу, в яркую действительность из барака, младший тихонько запищал, изо всех сил сожмутив глаза, прикрывал их ручонкой, а старший щурился из-под рукава грязной куртки. «Забор!» — Коля радостно вздрогнул и затрепетал от счастья. Внизу забора был лаз (видимо, его не успели заделать). В этом месте сетка оторвалась от стержня, на который крепилась, и образовала щель, пролезть в которую взрослому было невозможно, зато ребенок мог прошмыгнуть там. А за забором, за забором посадки.

Коля сам не помнил, в какой момент подхватил малыша и рванулся вперед. Он только слышал за спиной лающий, кажушийся неестествен-

ным смех. Оставалось не больше пяти метров, когда Коля поскользнулся, и грянул выстрел. Звука мальчик не услышал — почувствовал свист, сначала в спине, где лопатки, а потом в груди, режущий уши свист, закладывающий уши.

Младшему повезло: руки, державшие его, разомкнулись чуть раньше — и Никитка сам уже помчался к сетке, в ужасе обернувшись на выстрел. Но задыхающийся крик «Беги!», сорвавшийся на хрипящий, немеющий шепот, погнал его вперед.

А Коля падал ничком на землю, жадно глотая ртом воздух, которого не хватало, все небо впереди и вверху было для него, а воздуха не хватало. Будто кто-то не хотел делиться им, и мальчик задыхался. Последнее, что оставило свой глубокий, рваный след в сознании — это пряный запах влажной почвы, смешавшейся с запахом резкой, завывающей боли. А та пахла кровью.

«Мама, это мой мир тоже! Я в нем родился. И я за него в ответе!»...

— Привет, Коля, — она протянула ему руку — девочка в синем платье чуть выше колена. — Ты изменился. Но у тебя такие же глаза. Я узнала — прозрачные-прозрачные.

— Да.

Держась за руки, они пошли по высокой траве цветущего луга; под ногами росли ромашки и клевер. С большого цветка вспорхнула бабочка. И часто-часто затрепетала бархатными крылышками, с которых на детей зряче смотрели круглые бардовые глаза. Как ленивый и легкий осенний лист в момент смерти, она плавно передвигалась в золотистом воздухе, волнами перемещаясь все дальше и дальше.

— Бабочка! Она мне что-то напоминает. Но я никак не могу вспомнить... Это было давно... — Коля остановился, но Лиза потянула его в сторону: «Жарко... Ты хочешь пить? Тут недалеко есть ручей. В нем вода всегда ледяная, она сладкая — очень вкусная. Пойдем, я тебя отведу».





Надежда Митрофановна Середина родилась в Воронеже. Окончила филологический факультет Воронежского государственного педагогического института и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Автор более двадцати книг прозы и многочисленных публикаций в газетах и журналах. Лауреат премии журнала «Мир женщины». Член Союза писателей России. Живет в Московской области.

Надежда Середина

МЕДОВЫЙ СПАС

Быличка

Ветер срывает листву и кружится с ней по саду, как сумасшедший. Стриж бросился со свистом вниз и, неожиданно, резко взмыл над деревьями, утонул в синеве. Август — лето на исходе. Пчелы, с ветром споря, летят в лес, последний взяток взять — детке в зиму.

Сергея пчеловодству учился у лекаря Костика. Мед — лекарство, не забава. Приезжали за их медом издалека, знали и пасеку и пчеловода.

— Муравей не по себе ношу тащит, да никто «спасиба» ему не скажет, а пчела по искорке носит, да Богу и людям угождает, — говорит Даша, угощаясь сладким янтарным душистым медом из разнотравья.

— Пчела трудится, для Бога свеча пригодится.

— Лесной мед, а лес — в небо дыра. В меде душа леса.

— Куплю три банки. Дочке повезу, в Москву, там такого меда нет, — вздыхает Даша.

На пасеку приходят все, у Сереге улья рядом с домом, далеко шагать не надо.

— В Русской Православной Церкви в этот день было крещение Руси. — Важно, почтено смотрит на всех Сергея, говорит медленно, задушевно. — 988 год. Сколько дней-то промелькнуло! А отмечается со

времен Ивана Грозного. Освящали воду, мед. Пчеловоды несли в церковь освящать первые вырезанные соты. С этого дня благословляется вкушение. Первый Спас — «мокрый Спас» в честь малого водосвятия.

— С Медовым Спасом. С Маковым Спасом. Маккавей. — Параша угощает маканцами, мачниками и блинами с маком. В специальной посуде для растирания мака она приготовила маковое молочко, маково-медовую массу, в нее обмакивали блины.

— Пчелы перестают закладывать детку. — Даша ест мед со свежими огурцами. — С первого Спаса ешьте мед.

Обступили пасеку с чашками, а Егорка и просто с сорванными поблизости листьями лопуха. Приходили получить свою ребячью долю.

Первый Спас — лакомка. Дай долго жить, Божьих пчел водить, Божьих пчел водить, ярый воск топить!

Даша взяла мед и пошла к своему саду-огороду. Стоит она посреди сада, прямая, как корабельная сосна, с опущенными руками. Мужики ломают избу. Вот решила съехать к дочери, а душа места не находит. Жалко дом. И то правда, продать дом надо было, чтоб не тянул назад — дочка не близко живет. Из Москвы не наездишься. Время пройдет, полегчает. Много о чем раньше грустилось — нынче забылось. Дом купил молодой хозяин. Тоскуй — не тоскуй — останется одно печицо от дома. Печищ в деревне видимо-невидимо. На печицо по ночам домовые приходят, плачут, стонут, соседей пугают. Если хозяйка домового не возьмет с собой в новый дом, то домовый схоронится на печицо. Где же ему еще и быть? Нашла хозяйка под овинном металлическую икону-складню, вышла на улицу, встала перед домом.

— Домовой, домовой, не оставайся тут, а иди со мной. — Даша стоит перед домом с иконой, прямая, высокая, не согнутая ни землей, ни людьми.

Маша подошла, сутулит ее черная стеганая безрукавка.

— Сегодня Медовый Спас ведь... А у меня горе, — горится Даша.

— Так ведь сама продала! — Маша одергивает безрукавку.

— Не знала, что ломать будут. Думала, жизнь будет продолжаться.

— Знала — не знала. Теперь это не твое, а чужое. Не смотри!

— Легко сказать, хоть бы домового взять. Не идет.

— Не выходит? — смотрит голубоглазое, сочувственно Маша. — А ты хлеб возьми. — Протянула круглую буханку. — Хлебом-то скорее выманишь.

Смотрит Маша на соседку, отчего время Дарью не гнет, прямая, высокая, худая, как в девках была, так и осталась.

— Спас, посвященный Спасителю, Иисусу Христу, «Предысхождение, вынос, честных древ честного и животворящего Креста Господня». — А мы тут с тобой, Дарья, про домовиков говорим, грех. — Из-за жары в августе Константинополь страдал. Верующие выносили из храма святой Софии для освящения города от эпидемий частицу креста, на котором был распят Иисус.

— В нашей деревне Спас справляли без пышностей — в эту пору не до гуляний: и косить, и пахать, и сеять. Август — каторга. Господи, помоги. — Перекрестилась Даша, скрестив персты. Любуясь, как с иконы детскими глазами смотрела на нее Казанская Божья Матушка.

— А бояре да князья гуляли и по деревням, и по всей Москве, — рассказывала Маша. — Устраивалась «иордань». Это такой навес над водой на четырех изукрашенных столбах с золоченым крестом. На помосте два

«места» — государево (в виде пятиглавого храма) и патриаршее. Их огораживали раззолоченной решеткой, помост застилала алым сукном. Царское место было покрыто резьбой, на пяти точеных столбцах, стоящих на пяти золотых яблоках, и задергивалось изнутри занавесью. Под колокольный звон являлись царь с боярами. И крестный ход. Начиналось освящение воды. У всех зажженные свечи. Читали молитвы. Потом царь сходил в воду. В этот день народу запрещалось подавать самодержцу челобитные. — Домовой, домовой, иди со мной. Ох! Жила бедно, а стала собираться в дорогу, тряпья набралось до черта. Все жалко: и тканые половички, и ступу, и кошелку, и паличку. Куда иконку-то ставить, если паличку не взять?

А мужики все кидали и кидали с крыши доски, уже и стропила обнажились, как скелет. Пыль, грохот. Так ударились одна доска оземь, что подпрыгнула, отскочила и застонала. Словно дым, взвилась древесная труха.

— Ох! — не выдержала Даша и кинулась к дому. — Матушка! Избушка! Как же жалко тебя! Как живое существо!

— Уйди! — прохрипел мужик с похмелья. — Не подходи! Зашибу!

Доску скинул. Взвилась доска и перед Дашей упала, как подбитая птица. Затряслась, изогнулась, треснула пополам, щепы, словно кости, торчали.

— Ох! — Даша крикнула и нагнулась.

— Что? Попало? В глаз? — испугалась Маша.

— Ох! — Даша руку на сердце положила. — Кольнуло!

— Ты сядь, сядь, я сейчас водички принесу.

— Смотри! Выбежит — не прозевать! Глазки у него маленькие, сверкают.

— Гляжу, да не вижу. Да не крестись ты! А то сгинет.

— Иде он?

— Вон! Маленький такой, по локоть. Твой домовик?

— Что-то я не слышу. Иде? Он, прежде чем показаться из печи, всегда запищит. Что-то я не вижу.

— Может, это на печи цыплаки пищали?

— Какие цыплаки?! Клужку я не сажала!

— Вон смотри! — Даша руками машет, как веслами. — Бежит!

— Выскочил! Идет?

— Маленький, как пигмей. Зови, зови!

— Домой, домовой, не оставайся тут, а иди со мной! — Даша рукой машет, приманивает.

— Это кот за кошкой. — Маша потянула безрукавку вниз.

— Шишок не простит. Я его кочергой била на Крещение. — Даша сжала руки на груди. — Случалось это весной, встала я раным-ранехонько, на самой заре; зашла в баню — сидит Шишок. Закричала, схватила кочергу, кинула в домового — и перешибла ему ногу; свалился домовый с полки на деревянный пол. А на другой день одна баба сломала ногу.

Подошла Параша и сразу смекнула:

— Домовика вызываете?

— Хитро вызвать домового.

— Перехитрим!

— Мужик силой берет, а баба хитростью, — сочувствует Параша. — С луны свалился, из печи вылез, из-под земли встал. И вот слышу я, будто мне говорит голос: «Пришейте к подушке куриную голову. Готово? Хо-

рошо, теперь вызовите врача. Приехал? Замечательно! А теперь попробуй-те объяснить ему, зачем вы это все сделали».

— Параша, у человека горе, а ты все ха-ха да хи-хи! — прервала Маша.

— А мне сын, Ваня, приснился. Как я заругаюсь на него, а он мне анекдот. Он мне все своими анекдотами отвечал.

— Домового разве перехитришь? Домовой он лукавее бабы, хитрее мужика.

— Молодой?

— Да он и молодой и немолодой одинаковый. Они не стареются, русалки да домовые. Не зашибли бы его доской! — Дарья подняла руку, словно защищаясь. — Вишь, как раскидывают крышу-то! Стропила летят!

— Все как после пожара, узлы, узелки, кошелки, мешки... Чертова пропасть всякого скарба. Поживу как-нибудь недельку-другую, пока машину дочь пришлет из Москвы.

Мужики слезли с крыши, попросили похмелиться. Строить не ломать. Душа играет, поет, когда строишь; и плачет, когда ломаешь. Мужики слезы водкой высушивают, душа от водки боли не чувствует, не болит.

Когда Даша строила этот дом, жизнь была другая, радостная, победная, послевоенная. Жили надеждой на хорошую жизнь. Молодые были, и черти им были не черти. В старину в деревне домашние черти были у всех, как теперь телевизоры. Домовые в их деревне, сказывали, были двух родов: одни по роду были добрыми, другие — злыми и завистливыми. Чтоб домовый был добрый, его задабривали: какой стороной его к себе повернешь, таким он и будет. Обидишь домового — обозлится; бросишь — отомстит.

— А рожки-то у него были? — глаза у Маши, как синий горох на платке.

— Рожки? Рожки у Шишка маленькие, их так запросто не увидишь. Я видала, когда он себя окроплял кармазином.

— Опрыскивал, — поправила Маша.

— Вот цепляешься к словам, как пестроумный Шишок! — рассердилась Даша. — Я сказала — ты поняла — что еще?!

— Видела твоего Шишка, он ясти глину и печину, и кирпич грызти от зависти и злости! — смеется Параша.

— Я голодом и собаку не морила, а домовый в доме хозяин — чего хочет, то и кушает. Не кричи — домовый шуму и ругани боится, — шепчет Даша. — Спрячется, не выйдет.

— Печа — вся забота его была. Кому что сделать: кому добро, кому зло.

— Ишь, какой пестроумный! Батюшка домовый, выходи за мной, — уговаривает Даша. — Шишок, Шишок, я тебя в город беру. Пойдем со мной.

— Смотри! Выбег!

— Вижу, — обомлела Даша.

— Кого?

— Живаго черта...

— Смотри! Пилмей! Мал-то, с локоток.

— Хромает. Зашибли. Господи. — Перекрестилась спешно Даша.

— Не крестись, Шишок креста и молитвы боится. Сгинет.

Бежит Шишок, соседки за ним. Он за омшаник, и они за омшаник. Он — к овину. И они туда.

— Вот леший! — остановилась Маша. — Чего ему поклоны бить: набегаются — сам придет.

— Шишок не леший. Он свой, домашний. Напугали его, теперь не вернется! — кручинилась Даша. — Как я без него в Москву поеду?

Дом без крыши, как человек без головы. Согнулись плечи Дарьи, как подрубленные стропила. Теперь надо ехать к дочке в город, под ее, дочернее, командование. Две хозяйки в доме не бывает. Как ей теперь себя ломать — под дочь прилаживать.

— Было б об чем горевать! — успокаивает Маша.

— Как же? — подняла грустные глаза Даша.

— К чему деревенский черт в Москве? Там своих чертей до черта! Твой пискленок, Шишок, в тесто насыпал пачины, кулич курам пришлось от-
дать.

— Хорошо тут у нас летом, и зимой тут хорошо: вьюга вьюжит, а Шишок печину грызет да пищит.

— А помнишь, как вода в ведре у печи замерзла, а у тебя — силов нету встать, с кровати подняться, печь истопить.

— Видно, и правду говорят, что под старость новый дом не строят, а старый не ломают. Люди без крыльев, а ангелы о шести крылах, и то им тяжело бывает. — Посмотрела на птиц, как молодые стрижи выросли за лето, весело звинькают, облетываясь.

— Пост Успенский в честь Матери Божия Слова. — Маша любила читать жития Святых и пересказывать их как былички, на свой лад. — Узнавши Свое преставление, подвизалась и постилась за нас. Будучи святой и непорочной, Она не имела нужды в посте. Так особенно Она молилась, умилоствление и ходатайство за нас. От здешней жизни к будущей — путь через молитву. Блаженная душа чрез Божественного духа соединилась с сыном.

— Сегодня отварила картошечку, полила ее маслом. И приготовила салат из помидоров и перца, добавила чесночку, — говорила о своем Параша.

— Устанавливался строгий Успенский пост. Собирались на сиротские и вдовьи помочи. Всем миром помогали бедным. Работали за угощение. Ты — за себя, мы — за тебя, а Спас — за всех за нас!

— Это приятное раздражение плоти. А Человек дорог у Господа. А весь мир ему покорен. Сам Сын Божий сошел с небес на землю для спасения нас от вечных мучений, для примирения нас с Богом. Всякие плоды отданы нам, разные пития для услаждения его вкуса, — но не для пристрастия. У христианина есть наслаждения великие, духовные, божественные; этим-то наслаждениям надо подчинять всегда плотские, умерять или совсем прекращать их, когда они препятствуют наслаждениям духовным.

Начинающийся Успенский пост строг, позволяет угощаться только медом и квасом. Успенский пост установлен в честь Божией Матери, Ее славного Успения. По своей строгости Успенский пост приближается к Великому посту. Но, тем не менее, этот пост считается самым легким и приятным, т.к. к этому времени есть много свежих овощей.

Сгорает лето, выцветает лес.

14 августа



Сергей Прокофьевич Пылёв родился в 1948 году в городе Коростень Житомирской области. Окончил отделение журналистики Воронежского государственного университета. Работал журналистом в воронежских изданиях, главным редактором журнала «Воронеж: Время. События. Люди», заместителем председателя правления Воронежской организации Союза писателей СССР. Автор восьми книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Сергей Пылёв

РАЗЖАЛОВАННЫЙ

Рассказ

1

Второй день «старики» хозввода и все «старики» полка не залеживались по утрам. Несмотря на мороз с ветерком, они выходили, вернее, выбегали, как и полагалось, на физзарядку.

Выбежав из казармы, «старики» не спешили, как обычно, в теплую каморку сапожника Куликова или ко мне в клубную библиотеку. Они делали зарядку, и делали ее как следует.

Второй вечер «старики» не засиживались у телевизора, а шли вместе со всеми на прогулку перед отбоем: строем и с песней.

Второй день, как в нашу часть прибыла комиссия из округа. Мы это чувствовали даже своими желудками: повара старались. А повара у нас были что надо. И не только повара. Кого зря не призовут слушать в лучший полк правительственной связи. А мы какой год подтверждали это на каждой проверке. Первое место и переходящее знамя раз от раза оставалось за нами. Такое положение вещей, в конце концов, стало традицией, которую уже никто бы не рискнул нарушить.

Командир хозввода прапорщик Криворучко, обычно перепоручавший нас своему заму сержанту Деризееву, сейчас

«мамкой» не отходил от нас: мы навели образцовый порядок в оружейке и в своих тумбочках, вымыли с мылом полы в казарме. Потом еще и на- румянили их, — от души натерли красной, дегтярно пахнущей мастикой.

Наши неприглядного вида расхожие шинели и шапки были срочно заменены на новые. Даже свиная загородного подсобного хозяйства каптерщик переобмундировал. Тем не менее, им было строго-настрого запрещено приезжать в часть, пока там сидит комиссия.

В свинаях у нас ходили два земляка, которые так и не смогли запомнить ни строчки из воинских Уставов и ни строчки из нового гимна Рос- сии. По большому счету, еще многое чего они не смогли или не захотели запомнить из нехитрой солдатской науки. Правда, свиньи у нас все рав- но были ухоженные, крепкие, наедавшие по пуду в месяц. При всем при том они отличались просто-таки собачьей прытью и злостью. Это были от- личные беконные свиньи.

Надо сказать, прапорщик Криворучко спрятал свинаях от комиссии не только из-за их странной беспамятности. Даже после бани эти парни не теряли свой профессиональный специфический запах. И никакой оде- колон не мог им помочь. Через этот аромат свинаях ни разу не были на вечерах в части. Однако никто из них за все годы так и не подал рапорт о переводе.

Недавно я приезжал к ним забрать библиотечные книги. Свинаях жили в тесной и жарко натопленной комнатке. Глянув на ее стены, я понял, куда деваются из журналов фотографии с обнаженкой. Это был настоящий сексуальный иконостас, в котором на самом видном месте демонстрировала свои фотогеничные груди Мэрилин Монро. За стеной комнаты густо и как-то усердно сопели свиньи. Земляки сдали мне фло- беровскую «Госпожу Бовари» и сказки Корольковой. Из тех книг, ко- торые я прихватил сюда, они выбрали рассказы Мопассана и «Декаме- рон». Этих авторов они однозначно и с удовольствием предпочли Фрид- риху Незнанскому и Борису Акунину. Я не сомневался. Что-что, а эстетические солдатские пристрастия были мне вполне понятны. Тем не менее, в придачу ко всему этому я записал им обоим в формуляры брошюру с Конституцией. Майор Капитанов, зам бати по воспитатель- ной работе, распорядился, чтобы она была занесена во все читательские карточки. Ожидалось, что комиссия может поинтересоваться ее попу- лярностью. Кое-кому я записал Конституцию дважды. Вполне возмож- но, что эти люди решили перечитать Основной Закон еще раз как мож- но внимательней, чтобы с ее помощью безошибочно ориентироваться по жизни.

2

После вечерней поверки я разобрал постель. Правильнее было бы ска- зать, что я ее разрушил. В самом деле, заправленная утром под бдитель- ным руководством прапорщика и помкомвзвода сержанта Деризеева, она была настоящим произведением казарменного искусства. Из двух просты- ней, серого байкового одеяла, тощего матраца и плоской ватной подуш- ки мне удалось сложить геометрическую комбинацию самых строгих ли- ний. Это был почти кубизм. Это был солдатский кубизм. Комбинация не отличалась сложностью, но производила впечатление своей обтекаемос- тью и подтянутостью, словно постель лежала, вытянувшись по команде «смирно!».

— Батальон! Отбой!! — энергично крикнул дневальный из глубины коридора.

— Взвод!! Отбой! — в ответ ему отозвался во всю мощь своего командирского голоса сержант Деризеев.

Погас свет. В комнате досуга замолчал телевизор. Но какое-то время понизу казармы еще тянулся шепоток. Это переговаривались «старики», которые по неписаному «стариковскому» закону спали исключительно на нижних ярусах, с повышенным чувством собственного достоинства глотая сыпавшуюся сверху из-под вертлявого молодняка матрасную труху. Я не понимал, что это за удовольствие, но они спали только вниз, и это считалось одной из их привилегий. Мне она была непонятна, наверное, потому, что я пока не стал в свою очередь «стариком».

Лично мне еще полгода предстояло спать у них над головами. Возможно, по истечении этого срока все для меня объяснится само собой и станет на свои места.

С первого дня инспекторской проверки солдаты спали в галифе, мы так, на случай «тревоги». Самые нерасторопные по приказу Криворучко спали еще и в гимнастерках. В свою очередь сержант Деризеев научил нас класть на ночь портянки в сапоги особым манером. Прыгая по тревоге с верхнего яруса, достаточно было попасть ногами в голенища, чтобы сразу же обуться. Портянки как бы сами собой пеленали ноги, экономя драгоценные секунды, и делали это очень даже неплохо, если правильно исполнить над портянками магический ритуал сержанта.

— Библиотека, подъем!.. — вдруг раздался возле меня вкрадчивый голос прапорщика.

Приземляясь в темноте, я не промахнулся и воткнул ноги в раструбы сапог, оправдав старания сержанта. И вот уже на мне гимнастерка. Она лежала под рукой. И ремень тоже. Все мое нехитрое обмундирование лежало на своих местах в определенном порядке. Мы неплохо умели одеваться в полной темноте, целыми днями тренируясь с завязанными глазами. И это сейчас очень помогло.

Я вертелся волчком, вдохновенно чувствуя, что опережаю норматив. Правда, не намного, секунды на две-три. Но и это хорошо, если учесть, что обычно я отставал. Но сейчас меня как прорвало. Как-никак инспекторская проверка. Из округа.

Но на последнем этапе меня предательски подвела шапка. Она вдруг скатилась с головы, и я не знал, где ее теперь искать.

— Не суетись, — сказал Криворучко, зажигая фонарь.

Шапка лежала у меня под ногами. Правда, это была не моя шапка. Я схватил впопыхах чужую. Моя же преспокойно отдыхала на тумбочке. Кстати, и мой подписанный изнутри номером военного билета ремень тоже висел на своем обычном месте.

Я переступил с ноги на ногу. Сапоги, кажется, были мои. Точно, мои. Хотя иногда в темноте со второго яруса приземляются и в соседские. Иногда это случается даже при свете.

Я уныло надел свою шапку, перепоясался своим ремнем, напряженно ожидая, что сейчас мне скамандуют «отбой!». Потом через миг повторят «подъем!». И я обязательно сделаю все как следует. Я выложусь. Когда-нибудь это же должно у меня получиться не хуже, чем у «стариков».

Вместо «отбоя» прапорщик неожиданно сказал:

— У тебя в библиотеке «Гамлет» есть?

— Шекспира?.. — тупо переспросил я.

— Откуда мне знать!

Криворучко поднес фонарь к какой-то бумажке.

— Да, «Гамлет» Шекспира, — прочитал он. — Этот Гамлет вдруг потребовался членам комиссии! Они из-за него заспорили среди ночи. Схватились не на шутку! Мол, Гамлет был гомик или не был? Быть или не быть, так сказать. В общем, иди открывай свою богадельню! Они желают доподлинно выяснить его сексуальную ориентацию! А то перестреляются, сволочи!

— Товарищ прапорщик, «Гамлета» у меня в библиотеке нет... — тоскливо сказал я.

Криворучко погасил фонарь и снова включил. И снова погасил. Мы долго стояли в темноте.

— Я кино «Гамлет» видел, — вздохнул прапорщик. — Со Смоктуновским. А читать никогда не читал. Не приходилось. А ты?

— Читал, — чуть ли не виновато сказал я.

— Внимательно?

— Как обычно...

— Наизусть, значит, не помнишь?

— Нет.

— Тогда иди и доставай им этого «Гамлета» где хочешь!

— Прямо сейчас?

— А ты как думал, господин библиотекарь? Или тебе ничего не стоит подвести товарищей? Им твой Шекспир так может по итогам проверки аукнуться! Одним словом, полчаса в твоём распоряжении.

— Все библиотеки давно закрыты...

— Норматив уяснил?

— Так точно.

— Машина сейчас будет. Поезжай куда хочешь.

Действительно, меня уже ждала у подъезда казармы батина «волжанка». Я назвал адрес Нины. Мы с ней третий месяц как познакомились. Она работала медсестрой в госпитале. Это была, наверное, самая неопытная, самая ленивая и самая красивая медсестра. По крайней мере, когда я лежал в госпитале с аппендицитом, она до синяков исколола мне руки иглой капельницы. Глянцевые лиловые синяки долго не сходили. Нина искренне переживала, что она такая неумеха и причиняет мне боль.

Я назвал ее адрес, хотя был уверен, что у нее нет «Гамлета». Есть люди, у которых этой книги просто не может быть. Нина, на мой взгляд, принадлежала именно к таким. И все-таки я назвал ее адрес. Я был уверен, что нигде уже не достану Шекспира и, само собой, понесу наказание. По крайней мере, на какое-то время увольнения мне обязательно ограничат. Я решил упредить эти меры и как бы про запас встретиться с Ниной.

Дверь ее подъезда вмерзла в лед, но втиснуться было можно. И я втиснулся.

Внизу у почтовых ящиков стояла Нина и целовалась с каким-то парнем. Заметив меня, она судорожно оттолкнула его и сердито засмеялась:

— Ты ничего не видел! Ты ничего не мог видеть! Тут видеть нечего! Все это чепуха!..

Она еще раз оттолкнула парня. И сделала это достаточно сильно. Он чуть было не упал.

Я покраснел и вдруг ни с того ни с сего спросил Нину насчет «Гамлета». Вместо того чтобы поскорей убраться, я глупейшим образом вылез с этим Шекспиром.

— Чего-чего?! — напряглась она. — Не врублюсь! Какой Гамлет?
— У меня есть эта книга, — сказал парень, несколько странно глядя на меня.

— Едем! — как можно деловитой сказал я.

Я сказал это так, чтобы ни у кого не было сомнений: у людей в военной форме есть веские стратегические основания иметь повышенный интерес к Шекспиру в первом часу ночи. Вопрос государственного уровня. Иначе говоря, подгнило что-то в Датском королевстве...

— Я не рядом живу... — поскущел парень.

— Я с машиной. Командир полка дал мне свою «волжанку».

— А что такая спешка?

Наверное, Нина все-таки недостаточно сильно оттолкнула его. Он еще явно надеялся на продолжение этого randevу.

— Типа военная тайна, — безжалостно сказал я.

Мне даже понравилось, как я это основательно произнес: небрежно и в то же время себе на уме. По крайней мере, Нина чуть было не заплакала. Хотя очень может быть, что для этого у нее были какие-то свои причины.

Мы с парнем сели в «Волгу» и покатали так быстро и нагло, как только это могут делать молодые военные водители. Да еще за полночь. Да еще с крутым стерео. Он меня и этого парня, которому так-таки обломилась свиданка, буквально задавил Крисом Ри. Вообще у него хватало кассет с отвальными хитами. Некоторые были очень даже ничего. Столбовая музыка.

Не знаю, разобрались или нет члены комиссии хотя бы под утро с сексуальной ориентацией Гамлета, но прапорщик вдохновенно пообещал мне десятидневный отпуск. Только это было слишком хорошо, чтобы воплотиться в жизнь. Тем более вскоре. И это действительно не состоялось.

3

Наш полк правительственной связи стоял в городе, и здешние призывники нередко попадали служить в него. Это, конечно, запрещалось какими-то там циркулярами, но они все равно попадали, — в основном попадали парни крутых родителей. Даже если они не имели связей в правительстве, им было по силам определить ребенка в полк правительственной связи. И «ребенки» шли в наш элитный полк. Образцово-показательный, лучший полк среди всех полков в своем роде. Само собой, дедовщиной у нас даже не пахло. Более того, все здесь напоминало что-то вроде солдатского санатория.

Скажем, хоззвонковскому ефрейтору Мирошниченко мама вообще сделала так, что он из окна казармы и вообще из любой точки части мог видеть окна своего родного коттеджа. Его красивая мама часто выходила из этого коттеджа на балкон и подолгу махала ему рукой. Ефрейтор не раз просил ее не делать этого, но маме было трудно сдержаться.

Служил на своей родной улице и рядовой Золотарев, хотя он был далеко не сын родителей, которые могут повлиять на выбор части. До армии Золотарев успел устроиться разнорабочим в художественную мастерскую и между делом научился ваять какие-никакие скульптуры из гипса и цемента.

К тому времени, когда его отловили с милицией за уклонение от призыва, майор Капитанов, замкомполка по воспитательной работе, проник-

ся идеей поставить у ворот части памятник воину-герою чеченских кампаний. Полк не имел никакого отношения ни к первой, ни ко второй кавказской войне, но памятник был нужен Капитанову в сугубо воспитательных целях. Он хотел, чтобы мы постоянно видели перед собой вдохновляющий пример.

Полгода Золотарев делал эскизы, но Капитанов мрачно браковал их один за другим. Так продолжалось до тех пор, пока младший сержант по какому-то наитию не придал лицу скульптурного воина сходство с лицом Президента. Капитанов восторженно понял, что это то самое. Хотя, учитывая, что мы полк правительственной связи, наверное, логичней было бы придать скульптуре сходство с премьер-министром. Но майора уже замкнуло.

С тех пор Золотарев еще полгода старательно готовил в подвале цементную форму. Когда готовил, когда и просто спал. Чаще всего, конечно, спал. Честно говоря, это получалось у него лучше всего. Он так часто тренировался в этом смачном деле, что еще ни разу не держал в руках автомат.

Поэтому в то утро, которое комиссия назначила нам для контрольных стрельб, хоззвзодовский фельдшер, не мешкая, обнаружил у Золотарева острое респираторное заболевание. И небритого, сонного «Родена» надежно спрятали в санчасти.

— Кто еще чувствует недомогание? — на всякий случай бдительно пригляделся к нам прапорщик.

— Я! — улыбнулся «старик» Куликов.

— Не слышу! — тоже улыбнулся Криворучко.

— Я чувствую недомогание, — вдруг тихо сказал ефрейтор Мирошниченко.

Прапорщик тоскливо покосился на него. Мирошниченко вздохнул и покраснел. Кто-то хмыкнул в строю.

— Человеку не по себе, а их разбирает! — поморщился Криворучко и приказал, — ступай, мальчик, в санчасть. Койка найдется.

Остальные расхватили из пирамид автоматы, и бросились на выход, наставив друг другу шишек. По всем пяти этажам казармы бежали вниз солдаты, прапорщики и офицеры. И все с оружием. И у каждого в подмышке боевые патроны. Когда вот так со всех ног бежит вооруженная толпа, то невольно становится не по себе, даже если ты бежишь вместе с ней.

На балконе дома напротив нашей казармы в морозном сумеречном тумане стояла в шубке красивая мама ефрейтора Мирошниченко и махала рукой. Она думала, что машет сыну. За туманом ей было плохо видно, кто есть кто.

Мы построились вдоль борта хоззвзодовского ЗИЛа. Деризеев доложил прапорщику о нашей готовности к стрельбам. Криворучко улыбнулся, как улыбаются разве что только на морозе: в пол-улыбки. Мы все-таки нравились ему. И он нравился сам себе. Это были те редкие минуты, за которые прапорщику нравилась военная служба.

— Вспышка справа! — вдруг услышал я знакомое отвратительное словосочетание и уже покачнулся, чтобы броситься ничком на снег.

Вокруг многие так и посыпались один за другим. И эти «многие» были хоззвзодовские «глобусы» и «черпаки» — молодежь, одним словом. Я как застыл, напряженно сдерживая тупое желание кинуться мордой в сугроб за компанию с ними. Но что-то неуловимое все-таки тормозило меня. Оно было достаточно благоразумное «что-то», как я вскоре убедился.

«Старики» стояли как ни в чем не бывало. Магическая сила «вспышки справа» на них никак не подействовала. Они ее словно не заметили. Пропустили мимо ушей. Думаю, что с таким же безразличием они проигнорировали бы сейчас и «вспышку слева». И вообще все вспышки со всех сторон света. Дело в том, что хоззвзодовскую молодежь уложил на снег не прапорщик Криворучко и не сержант Деризеев.

Мимо нашего строя катил бухту «старик» из кабельного батальона и между делом оттянулся от души. У него был хорошо поставленный командирский голос. Просто-таки талант пропал.

Но странное дело, даже поняв все это, я еще несколько долгих секунд боролся с инстинктивным желанием грохнуться на снег перед всем взводом. Это было мерзкое желание. Я запоздало пошатнулся, но опять-таки устоял.

— Вспышка сзади! — вдруг с некоторой как бы даже обидой крикнул Криворучко, опустив голову и не глядя на нас.

Взвод колыхнулся. Первым из строя вывалился сапожник Куликов. За ним азартно распластались остальные. Это был еще тот бросок. И он удался всем.

Мы лежали, сопя в снег, и многие улыбались. Что-то замечательно-мальчишеское было в том, как мы дружно пропахали снег и теперь нюхали его пресный аромат. От снега пахло холодным металлом.

— Голос командира надо знать! — вдумчиво сказал над нами прапорщик Криворучко.

Пока мы ехали на стрельбище, многие заснули. По крайней мере, глаза были закрыты почти у всех. Мы словно ехали не в кузове армейского ЗИЛа, а в коллективной люльке.

Наконец колонна по окружной дороге без помех обошла город и с зажженными фарами торжественно и медленно спустилась к понтонному, грубо обледенелому мосту через Дон. Когда очередная машина тяжело накатывалась на понтоны, из-под них выхлестывала темная и какая-то мертвая зимняя вода.

Наконец колонна вышла в поле и, распахивая снег рубцами протекторов, повернула в сторону стрельбища. Его устроили несколько лет назад в заброшенном котловане. Когда-то здесь был карьер, в котором добывали глину и песок. Как видно, всего этого здесь добыли очень много: котлован был глубок и размашист. Невольно казалось, что люди в конце концов прекратили здесь работать потому, что испугались сделанного ими с землей. Они разворотили ее, как разве что неопытный студент-медик может разворотить в анатомичке чье-то тело. Земля же ото всего этого до сих пор была точно в шоке. Но когда он, наконец, пройдет, она, превозмогая боль, напряжется и сомкнет стены котлована. Рана затянется. Как видно, опасаясь этого, люди и ушли отсюда.

Колонна осторожно съехала на дно карьера. Когда опускаешься глубоко вниз, то почти так же захватывает дух, как и тогда, когда поднимаешься высоко вверх.

Сигнальная ракета звездно зависла над котлованом, судорожно горя неестественным химическим огнем. Жесткий звук первого залпа показался просто-таки оглушительным.

Обычно я стрелял плохо. И если на утреннем построении прапорщик не отправил меня в санчасть, значит, он верил, что на этот раз я все же справлюсь и всажу все пули точно в цель. Я решил во что бы то ни стало не подвести его и нетерпеливо ждал, когда настанет моя очередь.

Когда сержант Деризеев, наконец, выкрикнул мою фамилию, у меня невольно онемели виски. Я тупо и безнадежно поглядел на него. Все, чему меня учили: как вдавить большим пальцем в магазин под загибы боковых стенок три боевые патрона, как подойти к огневому рубежу и лечь на живот, слегка раскинув ноги носками наружу, — тотчас провально забылось. Еще меня учили плотно вдавить в плечо затыльник приклада, оборвать дыхание и, прицелясь, чутко потянуть на себя пальцем спусковой крючок — это тоже забылось. Я, кажется, забыл и свою фамилию.

Сержант твердым командирским голосом повторил ее.

— Я! — вдруг бодро откликнулся «старик» Куликов.

Пока я судорожно соображал, что к чему, он как ни в чем не бывало вышел вперед и четко, чуть ли не браво, шагнул на огневой рубеж. Я оторопело взглянул на прапорщика и понял, что мне надо стоять. Так задумано. Что это сейчас моя самая главная боевая задача.

Куликов стрелял за меня и получил оценку «отлично». Потом он еще раз выходил из строя и уже стрелял за себя. И за себя у нашего сапожника получилось не хуже. Он стрелял, как гвозди в подошву заколачивал.

Последняя пуля, пробив мишень, попала в рельс на другом конце котлована. Но еще столько дикой силы было в ней, что она не упала там же сплюснутым комком металла, а вертикально срикошетила. Пуля азартно рванулась в далекое небо, резко прозвучав. Она неслась с протяжным, вибрирующим визгом. Все мы невольно напряглись, услышав этот злой, скребущий звук. На излете пуля хищно взвыла, как одинокий затравленный волк.

После стрельбы мы чистили в казарме оружие, я — автомат Куликова. И хотя справился с этим заданием последним, но справился. Как-никак Куликов стрелял не только за меня и нагар в его стволе оказался еще тот.

Потом мы смотрели телевизор в комнате досуга. Мультфильмы. Про охотников за привидениями. В принципе, мы бы смотрели любые. Я заметил, что солдаты почему-то больше всего любят не триллеры или эротику, а именно мультфильмы. И я тоже больше всего любил эти мультипульты. Ведь я тоже был солдат, хотя Куликов и стрелял за меня.

4

Стрельбы нам комиссия зачла на «отлично». В лучшем полку, само собой, должны стрелять лучше всех. Теперь оставалось показать комиссии свое мастерство на учениях.

Чтобы гарантированно показать самые высокие результаты, полк еще за три дня до учений начал загружаться на машины. Комиссия делала вид, что не замечает этого. Тем более что это, от греха подальше, делалось за замками. Запертые в ангарах, «старички» укладывали в кузова палатки, печки, дощатые настилы и кабельные бухты, а молодые солдаты, прикрывая их, упорно отработывали возле ворот строевые упражнения.

Чтобы срочно пополнить запасы провизии, меня и Куликова срочно послали в наше подсобное хозяйство. Там мы полдня загоняли свиней по доскам в кузов ЗИЛа. Шли они очень даже неохотно, как видно, догадываясь, куда ведет их эта дорога. Так что мы, в конце концов, взялись за ремни. Подгоняя свиней, стегали их бляхами направо и налево. Свиньи угрюмо шарахались и то и дело сбивали нас с ног. Когда тебя таранит такая свинья, как наша, то без разницы — молодой ты солдат или «старик»

в законе. Нам с Куликовым досталось наравне. Свиньи были тяжелые, как танки, и броню их тугого сала не брали ни бляхи солдатских ремней, ни кирзовые сапоги с подковами. Кстати, подковы у Куликова были особенные: в темноте из-под его сапог на асфальте шикарно разлетались длинные рассыпчатые искры.

В общем, свиньи раздраженно визжали, и мы тоже визжали и кричали на них ничуть не слабее.

Наконец последняя свинья артистически взбежала по доске в кузов с Куликовым на спине. При этом она, несмотря на свой чугунный вес, аккуратно процокала копытцами, что твоя козочка.

Только по дороге эта продвинутая свинья, внезапным напором порушив дощатую перегородку, на полном ходу, как заправский каскадер, прыгнула через борт. При этом она на прощание зыркнула на нас своими бледно-голубыми глазками. Только разве что не улыбнулась.

Мы зажмурились. Это было все равно, что на дорогу упала бы двухсоткилограммовая бомба, только начиненная мясом и салом.

Мощно перевернувшись на асфальте пару раз и крикнув совсем по-человечески, свинья поднялась как ни в чем не бывало. Более того, падение, на наш взгляд, пошло ей на пользу. Свинья стала смиренная и послушная. Пока Куликов слезал, она как ни в чем не бывало нюхала снег.

Похлопывая в ладоши, он погнал ее в сторону части. Никаких проблем у него с ней по дороге уже не было. Для Куликова это стало чем-то вроде прогулки. И для нее тоже.

В эту ночь мы ждали тревогу. Ночь, особенно зимняя и морозная, самое подходящее время, чтобы солдат сполна почувствовал, что такое тревога, даже если она учебная. А более морозную и ветродуйную ночь, чем эта, трудно было придумать. Зима на переломе постаралась.

После отбоя я долго не спал. Я очень хотел спать, но, как мог, отогнал от себя сон. Я лежал, судорожно ожидая сигнал тревоги.

Недавно мы были в карауле. И не успел я, сменившись с поста, заснуть, как сержанту Деризееву вдруг захотелось проверить нашу боевую готовность.

«Караул!! В ружье!!!» — от души заорал он в тесной караулке.

Я лихорадочно вскочил с топчана. Сон был еще во мне. Он благодатно гулял по закоулкам моего подсознания. Вернее, сон был, как мешок на моей голове. И вот с этим мешком на голове я вдруг куда-то бросился, что-то пытался сделать, пронзенный командирским криком сержанта, точно ударом тока вольт под триста с гаком. Я метался по караулке, ничего не видя. Я словно играл в жмурки, когда тебе приходится кого-то ловить с завязанными глазами. Разница состояла в том, что я играл с автоматом в руках.

Кто-то кинулся мне под ноги, кто-то повис на спине. Меня свалили, отобрав оружие. А тот самый мешок все еще оставался на голове. И я все еще кого-то ловил. Я спал, когда вскочил с топчана, и спал, когда меня оседлали товарищи по оружию.

В общем, я хорошо запомнил эту тревогу в караулке и лежал сейчас на краю сна, как на краю пропасти.

— Сынок, а сынок, вставай... — вдруг тихо, по-домашнему сказал у меня над ухом прапорщик Криворучко, будто отец будил сына порыбачить на зорьке.

— Сейчас... — отозвался я тоже далеко не солдатским голосом и, наконец, благополучно заснул.

— Вставай! — четче повторил прапорщик и пошел дальше от кровати к кровати, поднимая взвод.

Мы одевались, как уже давно не одевались здесь. Мы делали это враскачку и активно позевывая. Куликов одевался лежа. Но как ни медленно мы одевались в этот раз, все равно скоро все были готовы.

Нас повзводно повели в оружейку.

— Тебе автомат не получать. Ты остаешься, — вдруг сказал мне Деризеев.

По его голосу чувствовалось, что он лучше меня помнит, как я недавно заполошно метался по караулке, как за меня стрелял Куликов, и еще помнит обо мне многое из того, что я за собой и не знаю.

И он с удовлетворением повторил:

— Ты с нами не едешь.

Хоззвод, не спеша, построился в полутемном коридоре.

— Тревога будет объявлена через шесть минут, — сказал Криворучко тоном человека, посвященного в тайное тайных. — Но как ревун заверещит — сразу не выбегать! А то задницы надеру! У подъезда стоит комиссия с секундомерами. Все должно выглядеть достоверно! А господину библиотекарю я приношу перед строем свои извинения: я разбудил его по ошибке. Он остается в части по приказу майора Капитанова.

Я разделся и лег. Я, было, лег в галифе, как мы и спали все эти дни в ожидании тревоги, но тотчас спохватился и снял их.

Через шесть минут в паутинно-зыбком сумраке ночной казармы напротив дневального на стене замигала красная лампа. Все невольно встрепенулись, хорошо зная, что сейчас последует за этими предупредительными алыми сполохами.

Через несколько секунд включился зуммер тревоги. Он заверещал, как взбесившийся трансформатор. Разве что только искры из него не сыпались.

И вот уже топот сапог сотряс казарму.

Скоро я остался один, если не считать дневального. Когда со стороны гаражей донесся сдержанный гул моторов, мы с ним оба уже благополучно спали.

Не зажигая фар, колонна проехала через ночной город, на пустынных перекрестках которого сейчас стояли военные регулировщики в белых касках, со святящимися жезлами в руках.

Само собой, полк развернулся на марше, перекрыв нормативы. Перекрыв в разумных пределах.

Утром дневальный не подал команду «Подъем!», и я проспал завтрак, и проспал обед. Я спал впрок. Я запасался сном, как медведь запасается на зиму жиром.

Я, наверное, поставил бы рекорд сна для книги Гиннеса, найдись у меня в тумбочке хоть что-то поесть. Не нашлось. Хотя обычно там всегда валялись буфетные конфеты или печенье, в худшем случае кусок хлеба из столовой. Но мы, ожидая комиссию из округа, навели образцовый порядок в казарме.

Я едва дождался ужин и пошел в столовую. Мне было непривычно идти одному.

Как никогда ел я в полупустой столовой. Повара не скупилась на добавку. Жаль, что есть впрок я не умел.

Перед отбоем меня нашел помощник дежурного по части и, покосившись на мою неприбранную постель, передал распоряжение подполков-

ника Великолепова: с завтрашнего дня готовиться к митингу в честь открытия памятника. От солдат должны были выступить пять человек. Мне поручалось подготовить им тексты. О реформах в армии и их роли в борьбе с террористами.

На следующее утро после завтрака эти солдаты уже ждали меня возле библиотеки. Только было их не пятеро, а почему-то семеро. С запасом. Целое отделение выступавших. Само собой, никто из них не был ни в одной горячей точке. Правительственной связи там пока что заняться нечем. Тем более из хронически передового полка.

Весь день мы с ребятами смотрели по виду фильма: «Мусульманин», «Блок-пост», а по телеку новости. Новости, как всегда, были не из веселых. Правда, не на всех каналах. На некоторых они уже тоже стали образцово-показательные, как и наш полк.

Назавтра ребята репетировали мои тексты, чтобы читать их с трибуны без запинок, на одном дыхании. Но без запинок ни у кого не получалось. Нельзя хорошо написать о том, чего ты не видел, а, тем более, писать об этом теми словами, с которыми не совсем согласен. Но такова традиция, которую не мы создали и не нам ломать. Если каждый будет говорить то, что лично он думает, то мы можем, в итоге, черт знает до чего договориться. Ибо, по большому счету, мы говоруну еще те.

Нашу «великолепную семерку» теперь водил в столовую строем ефрейтор Курносенков. Между прочим, у него был отличный, каллиграфический почерк, и он многим в полку писал любовные письма. Совсем недавно Курносенков служил штабным писарем, носил сержантские лычки. Но из-за истории с выстрелом в караулке батя разжаловал его и перевел в банщики.

С полгода назад Курносенков был разводящим и проглядел, как два солдата поспорили, кто быстрее передернет затвор «калаша». Один из споривших оказался тогдашним библиотекарем части.

Когда они решили проверить свою солдатскую сноровку, я спал далеко от этих мест на пересылочном пункте. Я мечтал о ВДВ и хотел попасть в Чечню. Это было глупое (учитывая, что там на самом деле происходит), но нормальное юношеское желание. Все мои гормоны работали в этом направлении. Судьба же работала в другом, и пока я досматривал последние гражданские сны, за сотню километров от меня в караулке образцово-показательного полка правительственной связи раздалась короткая очередь.

Взявшись спорить, те двое забыли разрядить автомат. Зацепить случайно спусковую скобу не составило труда. Две новенькие, монетно блестящие пули разнесли библиотекаря живот. Его товарищ завыл и бросился к нему. Он хотел помочь, но не знал как. И все-таки он с воплями пытался что-то сделать. В госпиталь их отвезли обоих, решив, что ранены и тот и другой: настолько они были в крови.

Не найдя, кем заменить библиотекаря, Капитанов связался с пересылочным пунктом, где в то время был в «купцах» прапорщик Криво ручко.

Нас построили, и он простодушно задал вопрос:

— Кто любит книги?

Все мы помнили анекдот, когда на вопрос «кто любит музыку?» трое солдат сделали шаг вперед и получили приказ нести рояль на девятый этаж.

Иначе говоря, на призыв прапорщика никто не отозвался. Никто,

кроме меня. Может быть, и на самом деле среди нас не было никого другого, кто бы любил книги. Год от года их любили все меньше. Особенно те книги, которые еще можно так называть.

— Образование? — чуть ли не нежно сказал Криворучко.

— Высшее.

— Молодец... — улыбнулся он.

Чувствовалось, что ему, тем не менее, на всякий случай хочется проэкзаменовывать меня, но он не знает, как это сделать. Прапорщику никак не удавалось хоть что-нибудь вспомнить из того, чему его когда-то учили на уроках литературы.

— Кто написал «Муму»? — вдруг сурово спросил Криворучко.

Я сказал. Наверное, даже если бы я назвал не Тургенева, а Гоголя, то мне все равно было бы не миновать своей солдатской судьбы.

И я не миновал ее.

Меня отдали прапорщику, вычеркнув из чеченской команды. Хотя это несколько задержало ее формирование, но моему «купцу» не отказали. На пересыльном пункте знали, какую часть он представляет. Лучшую из лучших. А ту самую чеченскую команду через год при наступлении «вертушки» накрыли всей своей огневой мощью. Мало никому не показалось. Само собой, все произошло по ошибке.

Вечером на дверях столовой висел «боевой листок», написанный красивым, изысканным почерком Курносенкова. Просто-таки византийской вязью. Наш полк с рекордными результатами развернулся на боевом марше. Мы перекрыли нормативы почти на семьдесят процентов.

«А если бы в самом деле война? Большая, настоящая война?..» — уныло подумал я.

Перед сном я написал Нине, чтобы она пришла. Я написал, что наш полк пока на учениях: нет ни сержанта, ни прапорщика, — так что никто не помешает нам побыть на КПП вместе столько, сколько надо, чтобы выяснить отношения.

Я так и не дождался ее. Наверное, она их сама для себя уже однозначно выяснила.

5

А через несколько дней наши вернулись.

Ефрейтор Мирошниченко зашел в библиотеку поменять книги и как бы между прочим сказал, что по итогам учений многим присвоят очередные звания.

— Тебе светят сержантские лычки! — подмигнул он.

— Откуда ты знаешь? — покраснел я.

— Мать сказала. Ты будешь в приказе!

В пятницу на общеполковом построении, действительно, зачитали этот самый приказ.

Его читал, вернее, выкрикивал задорным голосом наш молодой начальник штаба капитан Горяинов. После учений у него было обветренное, словно аллергическое лицо и как-то по-мальчишески обмороженные уши. Мне нравилось, как недавно на стрельбах он стрелял из «калаша», держа его в вытянутой руке, словно какой-нибудь пистолетишко. При всем при том мишень была иссечена пулями более чем кучно.

И сейчас так же кучно сыпались на нас лычки. Только в хоззведе

Деризеев, Золотарев и Мирошниченко стали старшими сержантами, а оба свинаря младшими.

Хмурясь на морозе, я ждал, когда назовут и меня.

Горяинов бодро докричал приказ. Меня в нем не оказалось.

— Тебя, значит, объявят позже. После открытия памятника, — шепнул мне Мирошниченко.

С вечера мы усиленно готовились к строевому смотру. Старший сержант Золотарев на всех парах заканчивал памятник. И к утру так-таки успел.

К подъему памятник стоял у ворот части, накрытый белым покрывалом, словно саваном. Саван подергивался на ветру, и, казалось, что под ним нетерпеливо переминается с ноги на ногу живой человек.

Утром в день смотра мы проснулись по сигналу рожка: зуммерящему, хрипловатому и какому-то пронзительно военному.

Одевались неторопливо, с оглядом. В итоге все мы выглядели так, как выглядят солдаты разве что перед увольнением в город Восьмого марта. Мы отлично выглядели. Хотя восьмимартовского настроения нам явно не хватало.

После праздничного завтрака с макаронами по-флотски мы выстроились на плацу.

Наш батя, подполковник Великолепов, был старше и грузней своих офицеров. И это всегда было заметно. Всегда, но только не сегодня.

Он вышел к нам легким лейтенантским шагом с парадным выражением своего смуглого, старого лица и с какой-то вдохновенной стройностью спины и плеч. Ярко лежали погоны на его полковничьей шинели.

Он повидался с нами и поздравил нас. Молодцевато и радостно.

Батя любил всех нас. И мы любили его.

— Ур-а-а!! — трижды накатом отозвались мы ему. И это получилось у нас как никогда хорошо. Офицеры заулыбались. Мы от души прокричали на морозе полагавшееся нам по уставу «ура». Мы столько вложили в него, что, смолкнув, невольно почувствовали себя как бы несколько даже полегчавшими. Как будто это «ура» накапливалось в нас день ото дня неким грузом, и мы, наконец, выкрикнув «ура», теперь избавились от него.

Под вынос Знамени оркестр заиграл «Встречный марш». А потом раскатилась отрывистая барабанная дробь. В конце концов, барабаны загудели воинственно-сурово и храбро. И под эти гордые, даже отчаянные звуки нас развели по плацу. Каждый встал отдельно от других. Прапорщик Криворучко стоял далеко. И все остальные прапорщички. Офицеры стояли еще дальше от нас.

Барабаны старались. Я невольно волновался, слушая их строгую звучную дробь. С каждой минутой она становилась все громче и отчетливей. И волнение все поднималось. Нельзя без волнения слышать хрип рожка сигналиста или рассыпчатый гул барабана, если на тебе солдатская шинель.

Члены комиссии подошли к нам. Они спрашивали, мы отвечали. Никто не слышал, что говорили члены комиссии, и что мы отвечали им. Все стояли достаточно далеко друг от друга в разомкнутом строю. К тому же барабанная дробь тревожно и звучно роилась над нами.

— Жалобы, заявления есть? — поравнялся со мной незнакомый капитан. Может быть, даже тот самый, которому среди ночи вдруг потребовался «Гамлет».

Барабан, кажется, еще прибавил в своем напоре.

— Жалобы, заявления есть? — повторил капитан.

— Нет, — сказал я.

Как видно, это самое «нет» сказали и все остальные. Через минуту начальник штаба скомандовал сомкнуть ряды.

Мы стали лицом к памятнику.

С него стянули саван и погасили, как парашют на ветру. Мы увидели цементного солдата. Он шел в атаку. Он как бы шел в атаку и на террористов, и на все то дерьмо, которое мешают людям жить.

Майор Капитанов произнес нечто малопонятное про выдающиеся дела нашей армии. При всем при том он, против обыкновения, был короток. И, прежде всего, именно это послужило причиной бодрых аплодисментов в его адрес.

Вслед за ним к микрофону подходили ребята, которым я писал тексты. Все они выдали свои речи без запинки. Им тоже дружно аплодировали. Особенно члены комиссии из округа.

Ребята сказали, и оркестр заиграл «Егерский марш». Мы мощно грянули строевым шагом мимо памятника.

Вблизи я увидел, что он, в общем-то, мало похож на Президента. У него было скорее лицо автора.

После праздничного обеда помкомвзвода Деризеев раздавал увольнительные. Мне на это раз не повезло. Как раз на мне у старшего сержанта закончились бланки. Я снова остался в казарме один, и весь вечер смотрел телевизор в комнате досуга.

Как раз шли мульти-пульти, когда туда заглянул старший лейтенант Попов. Мы редко его видели и мало что про него знали. Но и того, что мы все-таки знали, уже было для всех нас достаточно. Мы знали, что старлей — наш особист. Хотя своей невоенной, нежно полнеющей фигурой и каким-то застенчивым выражением лица он скорее напоминал «партизана»-запасника, которого военкомат на месяц-другой вдруг оторвал от семьи и одел в шинель.

— Что за передача? — улыбнулся старлей.

— «Дисней-клуб»! — привстал я.

— Мультки?

— Так точно.

— Я заметил, что все солдаты их любят. Кстати, ты почему не в увольнении?

— Я с ним пролетел, как фанера над Парижем.

— Прощтрафился?

— Увольнительные на мне закончились.

— А тебя, наверное, девушка ждала?

— Нет, не ждала.

— Тогда ничего страшного!

— Я тоже так думаю.

— А вообще-то девушка есть?

— Вроде есть... — вяло сказал я. — А вроде и нет.

— С девушками всегда так! — усмехнулся старлей и подал мне руку.

При этом он посмотрел на меня с таким видом, словно из нашего необязательного и малозначительного разговора, тем не менее, узнал обо мне что-то очень существенное. Чего я даже не знал сам о себе. А он без особого труда взял да и прочитал это между моих будто бы ничего не значащих слов.

Назавтра был банный день, и мы после зарядки выбивали свои матрацы, подушки и одеяла. Мы выбивали их ремнями. Это была порка наших солдатских постелей. Как молодой боец, я выбивал две: свою и «старика» Куликова. Я только расправился с первым матрацем, когда дневальный передал, что меня вызывает майор Капитанов.

Я пошел в штаб. По дороге мне встретился Криворучко и, ласково выпучив глаза, приказал бежать со всех ног.

Я побежал.

Кабинет Капитанова был распахнут, но его самого там не оказалось.

Я долго стоял у дверей, то и дело отдавая честь шмыгавшим мимо офицерам и прапорщикам. Обычно прапорщикам мы честь не отдавали, но иное дело здесь, в штабе. Здесь, само собой, все должно быть по уставу.

Прошел какой-то сержант, и я отдал честь и ему. Окажись на его месте ефрейтор с его сиротски одинокой и тощей нашивкой на погонах, я сделал бы то же самое, четко приложив ладонь к шапке. Представляю, как бы он на это отреагировал. Ефрейторы не очень-то избалованы приветствиями со стороны младших по званию. Он мог бы даже решить, что я его разыгрываю. Но это личное дело ефрейтора думать то или иное, а я бы сделал все, что положено, при его приближении.

Одним словом, я только тем и был занят, что отдавал честь налево и направо. В штабе было больше людей, чем я мог подумать. Может быть, даже больше, чем надо.

В конце концов, мне пришла в голову рационализаторская мысль безотрывно держать ладонь у шапки. Это могло значительно сократить холостые движения моей солдатской руки. Но реализовать свое «ноу-хау» я не успел.

Увидев меня и поняв мое положение, наш хоззвондовский писарь в два счета выяснил, что Капитанов, оказывается, куда-то срочно отъехал. Я с чистой совестью направился в столовую, так как по своему желудку с точностью до минуты чувствовал, что уже подошло время завтрака.

«Чай не жуют!»

У дверей штаба я просто-таки со «стариковской» ловкостью пристроился к какому-то чужому взводу.

После короткого перекура, полагавшегося после еды, нас повели в клуб.

— Кино будет? — крикнул «старик» Куликов.

— Разговоры в строю! — неожиданно строго оборвал его помкомвзвода.

От столовой до клуба дорога шла мимо санчасти. Я вспомнил, как недавно лежал здесь целую неделю. Меня лечили вначале от отравления, потом от гастрита, а еще несколько дней — от холецистита. Меня лечили, а мне становилось все хуже. Это, само собой, раздражало начальника санчасти и наших хоззвондовских фельдшеров.

Я же, притерпевшись к боли, с утра до вечера читал томик Солженицына. На больничной койке меня почему-то потянуло именно на его прозу. Она была для меня чем-то вроде лекарства. Я до сих пор помню даже шрифт той книги, и цвет обложки, и плохую бумагу страниц, и какая классная была книга. Я тогда решил, что когда-нибудь, уже став «стариком», устрою себе неделю в санчасти. Нет, даже недели полторы. И тогда

обязательно еще раз перечитаю «Матренин двор». И «Один день Ивана Денисовича». И «Раковый корпус». Вне всякого сомнения, что в этой обойме для большого чтения у меня будет «Евангелие». Я наберу отличных книг и начитаюсь досыта. В отместку за все мульти-пульти, которые мне пришлось пересмотреть в казарме. Я просто-таки опухну от чтения.

Кстати, в конце концов выяснилось, что у меня гнойный аппендицит, и меня увезли в госпиталь срочно резать живот и полоскать кишки, уже основательно затронутые перитонитом.

Я тогда мог умереть, но выжил, наверное, не в последнюю очередь потому, что сполна наглотался так нужных мне душелекарственных книг.

До клуба мы шли строем и были заправскими солдатами, отчетливо печатавшими шаг, но в клубе по скамейкам рассаживались уже как дети. Мы напирали друг на друга, толкались и смеялись, хотя, в общем-то, смеяться было нечему. Кое-кто нарочно портил воздух, и без того уже испорченный нашими подмышками и кирзовыми сапогами.

На сцене перед белым парусом экрана стояла фанерная трибуна и стол, официально украшенный малиновой бархатной скатертью. Был еще и графин, но почему-то пустой.

Когда в зале затихли, из-за кулис солидно вышел батя Великолепов, за ним резво вышагнул начштаба, а уже потом показались бдительно-угрюмый майор Капитанов и почему-то Криворучко. Между прочим, наш вечный прапорщик что-то тоже выглядел далеко не весело.

Великолепов появился в полковничьих погонах, Горяинов в майорских. Мы зааплодировали, открыв новые звезды на посолднневших командирских плечах, как астрономы открывают новые звезды на небе.

Батя поздравил всех с отличными итогами проверки. В ответ мы долго, азартно терзали свои ладони. Мы просто-таки зашлись в аплодисментах, как заходятся в смехе. В конце концов, нас пришлось успокаивать, и на многих подействовали только подзатыльники. Наши младшие командиры отлично справились с этим.

И когда так-таки удалось загасить наши неистощимые аплодисменты, майор Капитанов вдруг пригласил меня на сцену.

Я встал. У меня онемели виски, как онемели они недавно на стрельбище у огневого рубежа. Я решил, что сейчас всему полку объявят о присвоении мне звания сержанта. В крайнем случае, ефрейтора. Одним словом, того самого звания, которое должны были объявить в общем списке тогда, на плацу. Вот для чего это помпезное собрание.

Я растерялся. Мне по-настоящему стало не по себе.

Я судорожно вышел на сцену и повернулся лицом к залу. Капитанов вошел на трибуну, словно занял боевую позицию.

— Товарищи! — строго сказал он. — Когда все воины части вдохновенно добивались высоких результатов в ходе учений, среди нас нашелся один отщепенец. Он своим гнусным проступком едва не перечеркнул ваш ратный труд во имя светлого будущего нашей великой Родины!

Капитанов на мгновение пронизательно задумался, словно вглядываясь в это лучезарное будущее и энергетически подпитываясь от него:

— В своем письме к девушке этот шпионский пособник преступно сообщил, что наш полк выехал на учения! Но вы все знаете, какая особая роль отводится нам в деле обороны страны! Особенно сейчас, когда армии НАТО уже возле наших границ!

Капитанов нервно посмотрел на меня:

— Я уверен, что мы все как один потребуем отдать этого человека под суд военного трибунала! Подобные факты не должны оставаться безнаказанными!

Зал классически безмолвствовал, вторя финалу одной пушкинской драмы. Тоже, кстати, из смутного времени.

Как ни странно, но я после этих его слов даже успокоился. Любое наказание было для меня сейчас лучше, чем присвоение звания по итогам учений. Таких учений, какие только что благополучно закончились в нашей образцово-показательной части. В общем, я успокоился настолько, насколько можно успокоиться в моем положении.

— И все-таки мы не станем ломать судьбу этому парню... — вдруг подал свой неторопливый голос батя. — Учитывая успешное завершение инспекторской проверки. И то, что по ее итогам ему присвоено звание сержанта. Ограничимся на первый раз малой кровью: разжалуем его к едрене-фене в рядовые... И отправим для дальнейшего прохождения службы на подсобное хозяйство.

Как там ни крути, но в любом случае я действительно был виноват.

— Есть! — сказал я и едва не заплакал.

И заплакал бы, но у меня в моем солдатском арсенале был один надежный, проверенный способ, как с этим справиться. Надо начать напевать. И чем сильнее тянет пустить слезу, тем бодрей должна быть мелодия.

В моем случае лучше всего мог подойти какой-нибудь марш. Хорошим маршем можно остановить даже рыдания. Но только это ни в коем случае не должен быть очень хороший марш «Прощание славянки». Любой другой, но не этот. «Прощание славянки» ну никак не годится для борьбы с подкатившими слезами. Я обычно в подобной ситуации напеваю марш авиаторов. Тот, в котором говорится, что мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Он и выручил меня сейчас.

Потом начштаба выступил с докладом о бдительности. И в связи с моим преступным головоуятием, и в связи с участвовавшими попытками продажи западным спецслужбам наших государственных секретов. При всем при том его карающий доклад прозвучал достаточно оптимистично: хоть что-то секретное у нас, оказывается, еще имеется. Еще не все мы толкнули по дешевке за бугор.

7

Я скоро освоился на новом месте. Даже специальную литературу читаю. Тем не менее, мне здесь пока доверяют только чистить свинарник.

День ото дня наши попрыгуны рекордно набирают вес на остатках солдатской «кирзухи». Они мне уже чем-то симпатичны, и я, как заправский фермер, знаю каждую по имени.

С Ниной я так и не увиделся. Хотя теперь об этом и говорить нечего. Даже если она в конце концов вспомнит обо мне и захочет встретиться, это уже ничего не поправит. Я буду упорно избегать ее. И не потому, что у «советских собственная гордость». Известно, почему земляки-свинары никогда не приезжали в часть на вечера. И вообще редко приезжали. Тот же крепкий дух подсобного хозяйства отныне ореолом витает и надо мной. Но запах дерьма не самый худший запах в жизни. Особенно, если благодаря этому дерьму кто-то сыт и хотя бы минуту-другую доволен.

Недавно я узнал, что мне скоро пришлют напарника. Станем вместе осваивать новую профессию, чтобы не прервалась связующая нить времени. Этим моим напарником будет бывший сержант рядовой Золотарев.

Меня он вполне устраивает. Лучшего и не надо. Я уже приглядел место, где он поставит памятник нашим многострадальным свиньям. Они этого заслуживают.

Одним словом, я осваиваюсь здесь всерьез и надолго. И все больше открываю здравые выгоды своего нового положения.





Михаил Иванович Фёдоров родился в 1953 году в Вологде. Окончил Высшую школу КГБ, юридический факультет Воронежского государственного университета, сценарный факультет Всесоюзного института кинематографии. Автор нескольких книг остросюжетной прозы и многочисленных журнальных публикаций. Лауреат премий журналов «Сура», «Полиция России». Член Воронежской областной коллегии адвокатов, руководитель адвокатской конторы. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Михаил Фёдоров

СНЕГУРОЧКА

Рассказ

1

Его размеренный отдых в Железноводске омрачило известие: жена позвонила в Киев и узнала, что ее матери плохо — и вот уехала, оставив его одного. Теперь он неприкаянно ходил по квартире, где еще недавно был не один, жалел, что не сорвался вместе с женой — она его отговорила:

— Отдохни, у тебя впереди трудная работа (в Воронеже ждала адвокатская практика). Пей водичку. И спи...

— Да уж... водичку... спи...

В комнате, снятой в доме напротив памятника бывшему вождю, чего-то не хватало — может, жены, но и чего-то другого. Накануне он наконец-то выбрал время дописать давно задуманную повесть, и теперь у него гулко звенело в голове. Героиня повести еще вовсе владела его сознанием, просясь в свободную жизнь. Но этой свободной жизни как бы и не было: повесть была прописана вчерне, еще неизвестно, сколько потребовалось бы для доработки, когда ее опубликуют и опубликуют ли вообще. И он остро почувствовал, что ему не хватает...

Этой зимой на курорте без удержу валил снег, дули штормовые ветры — скорость достигала двадцати метров в секунду, мороз кутал во все теплое приехавших

на юг людей и гнал по домам. Но после ветров, когда край погружался в заиндевелый покой, любой мог восхититься стволами исполинских деревьев, укрытых белой накидкой с подветренной стороны — в средней полосе России такое не наблюдалось; ледышками с веточек, которые флажками тянулись параллельно земле; кронами лиственных пород, что походили на шапки черкесов, хвойных — на платья танцовщиц. Ему доставляло огромную радость пройти мимо низких ветвей, чтобы по щеке скользнуло краем холодной лапы, обдало снегом брови и ресницы, и потом запрокинуть голову и вглядываться в белокурую высь, наслаждаясь всем нерукотворным, парящим, воздушным. И вот, когда он в очередной раз опустил взгляд на тропу вокруг горы — а он пропадал на ней часами — мимо проплыла такая же снежная, как и все вокруг, шапочка, мелькнуло черной курточкой с песцовой опушкой.

— Снегурочка...

— Снегурочка? — шапочка повернулась.

Его улыбка и ее недоумение были настолько искренни, что они как-то разом рассмеялись.

— А что? Вы только посмотрите на себя... — дыхнул теплым воздухом.

— Дед Мороз!

Он, может, на самом деле походил на новогоднего дедушку: в куртке с капюшоном, весь осыпан снегом после блужданий под изогнутыми от снежного веса низкими кронами. Она направлялась к источнику минеральной воды, и он повернул за «снегурочкой».

Как уж получилось, что за тридцать минут хождения вокруг горы Железной он успел рассказать ей, что написал на трехстах страницах повести, объяснить вряд ли мог. Слишком много событий коснулось героини: шестнадцатилетней гимназисткой влюбилась в белогвардейского полковника, пришедшего в Воронеж со Шкуро... Это было в 1919-м году... Бросилась за ним с отступающим с полком... Перенесла тяготы походной жизни... Спаслась при эвакуации в Новороссийске... Воевала в Таврии... Снова отступала — уже до Ялты... Осталась с полком и любимым в Крыму (У Врангеля на кораблях не нашлось места для полка, а бросить солдат полковник не мог...) Пробивалась в Польшу... Попалась большевикам... Потеряла след полковника... Сгоряча вышла замуж за другого... Но снова появился он... Забыв про мужа, рвалась к любимому...

Он все это успел рассказать до того момента, когда протянул ей руку и ощутил косточки тоненьких в пушистой варежке: по заледенелым ступенькам она стала спускаться к нежно голубевшему в царстве снега, похожему на башенку, источнику минеральной воды.

Когда шли обратно, он дополнял еще некоторые подробности, которые упустил при первом рассказе... Она вроде молчала... А он и не ждал от нее ничего, кроме внимания, упиваясь пересказом написанного... Единственное, что между его слов проскочило о спутнице, так это то, что родилась в Каспийске, училась в Пятигорске, уже десять лет живет в Коврове... Он кивал ей головой, а сам восхищался верностью своей героини, которая могла поразить любого человека.

— Вы тоже гуляете по терренкуру? — спросил, когда она хотела вернуться на длинную лестницу к санаторию.

Ее ресницы со снежинками опустились в ответ.

— А когда пойдете перед обедом?

Она задумалась:

— ... Днем вряд ли, провожаю подругу... А вот перед ужином... Часа в четыре...

— А если я здесь вас встречу?..

— Как хотите, — ответила, несколько задерживая ножку в коричневом сапожке над запорошенной ступенью.

С этой минуты он снова хотел встретиться с незнакомкой, сопереживать прелести заповедного уголка с этой Коврово-каспийской, как хотите, так и назовите, снегурочкой, наполнять свои чувства присутствием хрупкого существа, в некотором смысле как бы его героиней, гнать неуместную после отъезда жены тоску. И уже с четырех часов, даже на десять минут раньше, своей крупной фигурой возвысился над кромкой изгороди у лестницы к санаторию. Представлял, как из глубины выплывет знакомая вязаная шапочка, как озарится лицо с яркими точечками каких-то бархатистых глаз, как над стоечкой шеи, окутанной мягкой шерстью шарфа, зардеет румянец, и как их снова унесет в снежное море, как в повести шестнадцатилетнюю гимназистку поглотил бушующий океан.

Вокруг кутались озябшие отдыхающие, выплывавшие с низовья лестницы — песцовые шапки, платки, фуражки с отворотами, капюшоны, но снежной шапочки не появлялось. «Задерживается, снегурочкам свойственно опаздывать. Прихорашивается у зеркала». По дорожке проехала машина, из которой вывалила шумная компания — но без нее. Под ручку прошли бабули, которых в другой бы раз и не заметил. «А, может, уехала с подружкой?» В нем смешивались радость от возможной близкой встречи с некой горчинкой от невнимания к нему. Его заставляли ждать: десять минут, тридцать... Прошел час, а ему все казалось, что снегурочка вот-вот вылетит с лестничного пролета. Но, когда ноги уже не согревались от переминовения, а под его курткой поселился ознобный холодок, он направился к источнику один, вглядываясь в уже окутавшую дорожку мглу, которую в некоторых местах осветило фонарями.

«Что ж, может задержаться, и задержалась. Хотя тебе-то что? Ну, не вышло со слушательницей. Не обрелось снегурочки для прогулок деда мороза. И тем лучше. Этих снегурочек в одном Железноводске, не говоря уже о Воронеже».

И некая легкость, что не придется расстраиваться при расставании, что-то мучительное говорить, привела к источнику. С таким же чувством заторопился в столовую на ужин, далее на квартиру, и, наконец, улегся в кровать, которая еще не остыла от жены.

2

Утром привычно спешил к источнику: взгляд невольно блуждал по терренкуру и на кого-то на скакивал. Но теперь, как бы того не желал, не мог спокойно гулять вокруг горы и радоваться окружившему торжеству. Все как бы связало с другим, отяготило существованием снегурочки, которая, по сути, ему была как бы и ни к чему, но которая неизбежно присутствовала где-то и могла появиться из-за любого поворота. Он продумывал, что скажет ей: «Почему не пришла?» Упрекнет. Но такое казалось излишним. А что если увидит с другим? Поздоровается ли? А если одну? И его посещали неутешительные мысли: а если простудилась, провожая подругу?.. Хотя, конечно, могла бы и предупредить, чтобы не маячил дедушка мороз у крутой лестницы. Попив минеральной воды, вывернул

с источника на терренкур, который кишел от потока курортников. В скоплении людей искал белую шапочку и курточку с опушкой — она, не она? Ошибался, но второй такой фигурки в белой шапочке и курточке с опушкой не попадалось.

За склоном выпрямился отрезок дорожки, который снова изогнулся у беседки, что приветливо зазывала проходящих под навес на засыпанные зернистой россыпью скамьи. Он остро ощутил, казалось, покинувшее его чувство одиночества. Дорожка вилась вдоль огромной горы. И тогда, когда он уже разуверился во встрече с ковровчанкой, из морозного марева забрезжило белой шапочкой, опушкой на курточке. У него сильно стукнуло в сердце, что даже не смог сразу сообразить, что делать: развернуться и проводить ее до источника, пройти молча мимо.

— Утро доброе, — проговорил, не в силах скрыть счастливую улыбку.

Она как бы остановилась, и как бы нет.

Не услышав от нее еще слова, выпалил:

— Вы, вы... А вы днем во сколько идете на источник?..

— Я?..

Это «я», какое-то испуганное, прерывистое, он потом повторял про себя всю дорогу вокруг горы — обдало холодком.

— Это может быть полдвенадцатого... Чутьку раньше...

— Можно я встречу? — спросил, уже забыв ожидание с часовым блужданием на пяточке у лестницы.

Она как-то пожала плечом — ее сапожки готовы были тронуться дальше, и вместе с тем не двигались, чего-то ожидая. Может, она хотела ему что-то сказать, может, он что-то, но этих слов уже не прозвучало.

— Боюсь опоздать на завтрак, — произнес первое пришедшее в голову.

Он питался в другом санатории и заспешил по скрипящей под ногами тропе.

«Пусть теперь сама подождет, — едко отозвалось в душе, но сразу сменилось другим. — Я приду, приду и в половине двенадцатого... И чутьку раньше».

В половине двенадцатого? Что ж, была и половина двенадцатого, когда он вновь облокотился о покрытую ледовой коркой изгородь лестницы. Было и без двадцати двенадцать, и без пятнадцати, и без пяти, когда он уже до тонкостей разглядел затоптанную тропу, кусты самшита в снежных комьях, сугробы, которые росли от лопаты бойкого чистильщика.

«Она что, надо мной смеется? Или с ней что-то на этот раз произошло? Но я даже не удосужился при утренней встрече спросить, почему не пришла... Или обиделась, что не проводил до источника?.. Или спутала и пошла другой дорожкой?»

Сколько вопросов смешалось в голове.

Потянуло ветерком — глаза укололо снежной россыпью. О голову рассыпался снежный комок, упавший с раскидистой кроны. Он тронулся с места и теперь невольно обращал внимание на то, что мало бы заинтересовало его прежде: на кошек, одичало прячущихся в снег, на машину, дымившую в стороне от дороги газами, на обводные трубы с минеральной водой к санаториям.

— Ковровская снегурочка!.. Каспийская!..

Вокруг ног кружило поземку, из-за поворотов в лицо ударяло сбивавшей упругой волной. Согнулся, идя против шквального ветра, устремившего с горных ущелий свои потоки.

«Где же моя читательница? Спутница?»

Из звенящего ветра вдруг звучно ответилось: «Вот она я!»

И перед ним с вихрем свернулось в огромное полотно снежное платье и волчком устремилось вверх.

Снегурочка!

«Да, это я — твоя снегурочка!» — ответило эхо.

Платье куда-то несло. На вершину горы. На другую...

Закрывая от колких снежинок глаза, лицо от укулов, он двигался, куда глаза глядят, сбиваясь с пути и упираясь в склон, клонясь к другой кромке дороги над обрывом и замирая над бездной.

Ему казалось, что Снегурочка взмыла ввысь и кинулась на север в березовый край, где спрятался город с ковровым названием, обмахнула своим снежным плащом березовые рощи и повернула на юг, к морю. Неслась мимо порта с покосившимся планшетом на морском вокзале «КаспийскЪ», почему-то с «Ъ» на конце слова, свернула в горы, где обдала ветром деревья, облепленные снежной кисеей, как сережками березы. А потом ее занесло в Цемесскую бухту, далее в Крым, оттуда к Днепру... Метелями кружила по местам родившейся в прикаспийском городке незнакомки, его героини, бежавшей с полковником. В одеждах той и другой, и вместе с тем в отличных, с косами под цвет волос ковровчанки, с глазами, что у гимназистки. И переступая по струящейся под ногами тропе он вдруг почувствовал, что и ковровская незнакомка, и его героиня, и его жена — это проявление Снегурочки, неразделимой на части, неотделимой одна от другой. Снегурочки, столь норовистой, как ковровчанка, столь кроткой, как жена, столь возвышенной, как героиня повести...

Вокруг гудел ветер, трещали деревья, срывало сучья в снежную круговерть.

С этого дня отдыхающих поражал гулявший вокруг горы мужчина со счастливым лицом, улыбавшийся каждому проявлению природы. Может, он встречал приметную вязаную шапочку, но проходил мимо: той, первозданной уже не было, а его переполняла шапочка его Снегурочки, навеивая содержание новых повестей... Он так бы и кружил вокруг горы по терренкуру, если бы его не вызвали телеграммами домой вернувшаяся из Киева жена и заждавшиеся коллеги.





О СЛАБОМ МУЖЧИНЕ И ВЕРНОМ ЖЕНСКОМ СЕРДЦЕ

Воронежская проза на страницах журнала «Подъём»

Нет литературы провинциальной и столичной, есть ЛИТЕРАТУРА. Вот о ней-то и следует говорить. А в литературе, в том числе и в воронежской прозе, происходит то, что и всегда — возникают новые темы, новые герои просятся на писательское перо, появляются новые имена, выходят в свет новые произведения уже известных писателей. Короче, как сказал однажды герой А. Твардовского, «идет, как надо, жизнь». И в нашем случае это жизнь литературы.

Чем же она живет сегодня? Как смотрятся на общем фоне произведения воронежских прозаиков, хотя бы те, что собраны под этой обложкой? Сразу обозначу свою позицию. Я не стремлюсь в кратком очерке дать целостный портрет воронежской прозы, к тому же опираясь всего лишь на те тексты, что опубликованы на страницах журнала «Подъём» в 2009-2014 годах. Хочу поговорить о заметных, с моей точки зрения, процессах, которые происходят в современной русской литературе, в общем-то, независимо от места ее прописки. И участники предлагаемого сборника — мои собеседники, своими произведениями участвующие в этом диалоге.

* * *

Как известно, лицо журнала определяет проза. Именно на прозу ориентируется читатель, выбирая тот или иной номер журнала, роман или повесть чаще, нежели стихи, рекомендует почитать друзьям и знакомым. Думаю, что в таком «потребительском» отношении нет ничего снижающего роль печатного издания в общественном сознании. Просто это данность, с которой нельзя не считаться. К тому же в русской читательской традиции «толстый» литературно-художественный журнал всегда был реальным отражением «живой жизни», привычным местом встречи писателя и его читателя-современника. Заметьте, не потомка, пришедшего через десятилетия к литературному памятнику в библиотечном хранилище и уже с готовыми оценками, а того, кто живет здесь и сейчас, для кого свежий, только что вышедший из печати журнал и интересен, и актуален.

Та книга, которую, вы, читатель, держите в руках, отмечена именно такой новизной. Она сохраняет на своих страницах прожитые нами годы такими, какими они увидены авторами журнала «Подъём», журнала, имеющего уже почти вековую историю и продолжающего свою миссию сохранения культуры русского Черноземья в наши дни.

Авторский корпус в публикациях обозреваемого периода был представлен прозаиками разных поколений. В их числе — и профессиональные литераторы, члены творческих писательских союзов, и те, кто только собирается ими стать, сель-

ские и городские жители разного жизненного опыта, разных социальных слоев — в целом такие же, как и их герои, жители российской глубинки. В этом смысле «подъёмовскую» прозу 2009-2014 годов можно считать в известной степени «замером» тем, настроений и даже сюжетов обычной жизни, которая нас всех окружает. Это общая характеристика текстов, вошедших в сборник. Каковы времена, таковы и сюжеты, ими рожденные.

Начнем наш разговор с того, что у журнала «Подъём» есть своя читательская аудитория, и она скорее «возрастная», нежели молодежная, «тусовочно-гламурная». Оттого и проза его, о какой мы сегодня говорим, тяготеет не к взрыву и эпатажу, как свойственно молодежным изданиям, а к итогам и размышлениям. Сюжеты, которые предлагают авторы, включают массу узнаваемых бытовых подробностей сегодняшнего дня, воспоминаний, апеллируют к опыту читателя постарше, стремясь задержать и опредметить ушедшее для тех, кто помоложе.

В прозе журнала «Подъём» обладают высокой частотностью сюжеты, которые ориентированы на изображение человеческих отношений (их можно обозначить как семейно-бытовые, т.к. на ценности такого рода они опираются) и на изображение нашего недавнего прошлого. Воспоминаниями такие произведения назвать трудно, т.к. они, как правило, выходят за рамки частного случая и апеллируют в итоге к уже имеющемуся у читателя пониманию тех или иных событий нашей общей истории.

Несколько слов о сюжетах, условно говоря, семейно-бытовых. Неизменно трогают читательское сердце истории, в которых героями являются *он* и *она*, в силу разных причин не закончившихся желанным *happy-end*'ом. Нередко выбор сюжета такого типа и автору, и издателю диктует желание вызвать интерес читателя: внешняя легкость узнавания изображенной ситуации. Ее кажущееся равенство житейским обстоятельствам воспринимается «коммерческой» мотивацией выбора, это нельзя сбрасывать со счетов. Но видимая доступность житейского материала таит в себе существенные опасности: именно в таких сюжетах трудно избежать повторов и банальностей, штампованных решений.

Наиболее распространенным сюжетом на тему *он* и *она* в прозе журнала я назвала бы сюжет о слабом мужчине и верном женском сердце. При внешней проницательности моего определения этот сюжет имеет право на жизнь и находит своего читателя. Мне же в нем не хватает авторского *понимания* того, что стоит за этой сюжетной моделью в нашей реальности. Попытаюсь объяснить свою позицию.

И в нашей жизни, и в литературных отражениях семейно-бытовых конфликтов, на мой взгляд, сложилось немало общих мест, характерных для современной прозы в целом. В ней, как и в тех сюжетах, что предлагает проза журнала «Подъём», действие, как правило, происходит в городе. Скорее даже не в городе, и не в селе, а в том, не имеющем четкого определения месте проживания нашего современника, которое выпукло обозначено в рассказе Сергея Чернова «Другая жизнь»: «Здесь был другой мир, врезанный в тело села. Бетонные коробки, составившиеся раньше срока, хотели склониться — великаны, измученные дождями и временем... Но жизнь не знала усталости. Гулливеры-пятиэтажки были обмотаны бельевыми нитками, приколоты иголками антенн. В их нутрах пахло табачным дымом. Другая жизнь — толкливая, резкая — бурлила, выбивая подчас окна и двери».

В таком ни городе, ни селе живут действительно «другие», нежели раньше, мужчины и женщины. «Толкливая» жизнь значительно их изменила, дискредитировала тех и других, но в первую очередь мужчин, которые перестают ощущать себя хозяевами своего жилища, не знают, чем себя занять: обратили внимание, что в приведенной цитате «гулливеры-пятиэтажки» «обмотаны бельевыми веревками» и «приколоты иголками антенн»? Сохранятся ли в этом безбытном пейза-

же ясноглазые аленушки из сказок и прочие трогательные красавицы былых времен? Недолго протянут даже знаменитые некрасовские умелицы останавливать «коня на скаку».

Пишу я это не для того, чтобы позабавить читателя стилистической остротой повествования, а для осознания самой сути проблемы. Жесткий, бьющий в глаза быт не оставляет места для тургеневских героинь или очаровательных золушек, и не столь уж много и сказочных принцев обнаруживает современная жизнь. Она ли в этом виновата? И какими могут быть герои любовно-бытовых сюжетов? Не потому ли они так редки в современной прозе, тяготеющей к реализму?

Отвечая на этот вопрос, скажу, что в «подъёмовской» прозе истекшего периода почти нет произведений, замещающих этот сюжет социально-политическим анализом. Не берусь судить, достоинство ли это или недостаток, но отмечу: совсем недавние годы изобиловали произведениями, в которых ставились «вечные» русские вопросы, требующие немедленного ответа и решения — «Кто виноват?» и «Что делать?». Они пошли на убыль, словно иллюстрируя дискутируемую сегодня в критике проблему кризиса литературоцентризма. С одной стороны, общество сегодня вполне осознало, что не литературе решать такого рода задачи, подменяя социологию и политику. А с другой, современная литература должна ответить на главный вопрос: «В каком мире мы живем?», имея в виду не его политическое устройство, а пытаясь поразмышлять над качеством тех перемен, которые произошли в конце XX столетия, в первую очередь — с самим человеком. И литература, в том числе и воронежская проза, о которой идет речь, пытается решить именно эту задачу.

Едва ли не все авторы, включенные в этот сборник, констатируют если не катастрофическое, то весьма прискорбное состояние нашего общего житья-бытья. Начиная с быта, который мы почему-то сами не можем (или не хотим?) обустроить. Тема, прямо скажем, весьма почтенного возраста. Еще в 1960-е годы герой молодой В. Токаревой предлагал выкрасить все углы заводских цехов, где он работал, в белый цвет, на том простом основании, что психологически трудно плюнуть в чистый угол. Ситуация вроде бы и иронически поданная, но, как оказалось, далеко не изжитая. Читайте рассказ В. Чернова «Помойка» и поймете, сколь непросты наши дела на мусорно-помоечном фронте. И за авторской иронией встанет наша привычная демагогия, наша общая похожесть на героя рассказа, вполне разрешающего себе неблагоприятный поступок, когда его никто не видит. Так о помойке ли речь?

Катастрофичность современной картины мира в сборнике «подъёмовской» прозы оценивается двояко — обращением к прошлому (собственному или литературному) и попыткой дать варианты современных решений. Первый обозначу повестью Ю.Д. Гончарова (1923—2013) «Париж, господа поручики и бутылка русской сорокаградусной бутурлиновской водки». Ее вы найдете в этой книге, и для меня это повод сказать слова прощания недавно ушедшему писателю-фронтовику, постоянному автору журнала «Подъем».

Мастерски написанная, в меру ироничная, полнозвучная повесть Ю.Д. Гончарова уже названием намечает главные сюжетные узлы, по которым предстоит пройти читателю. Начало сюжета обозначено расхожей фразой «Париж стоит мессы», которую не без иронии напоминает автор, рассказывая о поездке группы советских писателей в легендарную европейскую столицу. По ходу сюжета читатель узнает немало точных и забавных подробностей, характеризующих не столько конкретную поездку, сколько позднесоветские годы, на наших глазах становящиеся источником анекдотов и легенд. «Господа поручики» — а это привет из первых постсоветских лет, окрашенный в тона надрывно-сентиментального шансона, развитие сюжета. Именно на встрече с несостоявшимися «поручиками» ло-

мается, казалось бы, заготовленное течение повествования. Читателю предстоит познакомиться с двумя русскими людьми, вне родины прожившими свою жизнь и сегодня радующимися тому, что удалось получить место муниципальных уборщиков улиц, а, следовательно, и гарантированную пенсию. Нестандартные «господа-поручики» нестандартно разворачивают часть сюжета, обозначенную бутылкой «русской сорокаградусной бутурлиновской водки». Водку, как известно, все выезжавшие за рубеж советские граждане использовали в качестве недостающей валюты. В повествовании Ю. Гончарова вместо водки «срабатывает» название места, где она произведена, — Бутурлиновка. Уборщик улиц в ночном Париже припомнит из своего детства поездку в Бутурлиновку и ее легенду — дьякона бутурлиновского собора, обладавшего замечательным, прямо-таки шалыпинской мощи басом... И был этот знаменитый бас, как оказалось, родным дедом автобиографического героя, отцом его матери. Неожиданная читателем встреча, словно вольтова дуга, освещает бытовую, пусть и затейливо выписанную ситуацию, иным светом.

Несостоявшиеся «господа-поручики» плачут над пустой бутылкой. «О чем плакали они, два русских старика, два парижских подметальщика с метлами в руках, номерными муниципальными бляхами на своих казенных дворничьих фартуках, было понятно. Но мы-то... почему тоже не могли удержаться от слез? Просто заодно со стариками? Потому что чужие искренние слезы заразительны? Да нет, так бы я не ответил тогда, не отвечу и сейчас. Было в наших слезах что-то не вполне сознаваемое нами, и еще более трудно выразимое в словах».

Для этого и существует литература, ради этого писатель садится за стол, дает жизнь своим героям — одарить читателя не переводимым в слова переживанием, новым знанием о мире. Именно такое эмоциональное открытие, возвращающее цельность миру, веру в его разумное устройство, ищет в книге современный читатель. Ю. Гончаров, казалось бы, незамысловато изложивший обстоятельства и подробности своей поездки в Париж, в конце повести выводит читателя к человеческой и важной мысли, за которую заплачено десятилетиями ожесточения и конфронтации: у нас одна история, одна память. И в начале XX века мы переживаем, как и герои повести Ю. Гончарова, «горестное сожаление, что так несчастливо сложилась наша отечественная история», но «ничто несправедливое не стоит на земле прочно, где-то в скрытых глубинах зреют новые неотвратимые перемены совсем обратного свойства».

Прямо скажем, современная литература, не только воронежская проза, нечасто балует своего читателя столь четкими и ясными формулировками. Поколение фронтовика Ю.Д. Гончарова заплатило за эту ясность мысли, за гражданскую неуступчивость немалую цену. Долгие послевоенные годы литература и читатель находились под обаянием и во власти этого поколения. В значительной мере до сего дня в его опыте нуждается поколение детей войны. В «подъёмовской» прозе вы прочтаете рассказы В. Беликова о нелегком военном и послевоенном детстве под общим названием «И в лихолетье светило солнце». В значительной мере они спорят со многими текстами его ровесников, для которых война и ее невзгоды стали неизживаемой трагедией. И причина, которая позволяет автору на равных основаниях видеть в прошлом и «Веселое время» уборки урожая, и «Горькие уроки» войны, одна: «...их, кого жизнь не баловала, гнули и давили всякие невзгоды, и кого *надежно прикрыли в черные годы крылья мозолистых материнских ладоней*, не свалить теперь никакими бурями и не убить зноем и холодом, ибо сила их здесь, в этой родной и любимой навек земле».

Подчеркнутые мною строки — не дань сентиментальности уже немолодого человека, вспоминающего «нелегкое, полуголодное, но вместе с тем такое дорогое и незабываемое» детство. «Крылья мозолистых материнских ладоней» апелляция

к «старинным старухам» (В. Распутин), героиням «деревенской» прозы 1970-х, тем, кто в годы своей молодости в Великой войне сохранил не только жизнь своих сыновей, но научил их брать жизненную ношу на себя, быть защитниками нашей общей жизни.

Другим источником концептуальных решений в современной литературе, помимо уроков «ближней истории», является сама литература. Эту мысль давно осваивают и литературоведение, и критика. Но в данном случае речь идет не о привычных «традициях и новаторстве», относящихся в своем большинстве к поэтике, а о содержательных несовпадениях с известными решениями. Например, в рассказе А. Ягодкина «Гравитация» («Подъём», № 5, 2013) сюжет построен как игра с читателем, где герой играет загадочного влюбленного. Гравитация как предмет научных занятий ни при чем, да и сюжет о любви с первого взгляда оказывается весьма искренне разыгранным.

Что же тут нового, удивится читатель, — игра исконно лежит в основе всякого искусства. Соглашусь, но лишь отчасти. Сюжетное построение «Гравитации» к тому же можно разложить на составляющие, соотносимые с теми или иными узнаваемыми источниками. Меня же привлекает финальная фраза, которая оставляет за пределами текста рассказа новое и, возможно, непредсказуемое развитие и сюжета, и авторской мысли. Герой, отвечая на уловленные женой перемены в нем самом, а не в разыгранном сюжете, говорит: «Я прежний. Ничего не случилось. Мы латаем действительность. Идем на вторую попытку».

Перед нами типичный «открытый финал», столь принятый в современной литературе постмодернизма, к которой А. Ягодкин имеет малое касательство. Но более перспективна для меня намеченная героем попытка «латать действительность», исправляя в *будущем* ошибки прошлого, что выглядит заявкой на нетривиальное решение.

Более последовательна связь поэтики и новых смысловых решений в рассказе А. Бунеева «Фонтан» («Подъём», № 4, 2014). Словесная ткань повествования не скрывает запланированного автором несовпадения слов и действий героев, смещения пространственно-временных планов, отчетливого стремления представить абсурд происходящего как обыденность. В двоящейся на глазах читателя реальности чиновник немалого ранга Степан Парамонович (обратим внимание на значимость имени!) идет через водяной поток от прорвавшейся трубы, неся туфли от Гуччи в руках, потом, зачерпнув рукой, пьет воду из этой же лужи, совершает ряд других не менее загадочных действий, словно давая работу своему помощнику, задача которого — непредсказуемые поступки шефа переводить в прагматические и доступные деловому сознанию формулы. Рассказ А. Бунеева творит на глазах читателя миф о современности, апеллируя, как это свойственно мифопоэтике, к опыту не только литературы, но культуры в целом. Создание целостной картины мира принципиально не входит в авторскую задачу, это очевидно. Перед нами — интеллектуальное созерцание, литературная рефлексия по поводу современного апокалипсиса. Герой А. Бунеева реализует себя в выходе к миру, который, с точки зрения автора, абсурден, но это не абсурд отчаяния. И автор, и герой словно бы в ожидании того, когда распавшиеся пазлы соберутся в единую картину. Такой литературный апокалипсис, стык времен и пространств, на котором герой должен ответить на вопросы, поступающие из мира, утратившего привычную ясность, ставшего далеким и непонятным, несмотря на обилие конкретно названных деталей, вроде обуви от Гуччи. Быт на наших глазах оборачивается бытием, вовлекает нас в свои метаморфозы. Как говорит А. Бунеев в другом своем рассказе, «Надо только постараться понять прочитанное, услышанное и увиденное» («De Mortuis...»). Правда, для этого придется этот мир, в котором смещены пространственные границы, перепутаны верх и низ, где остановилось время, где

реальность заменена реконструкцией мифа о реальности, все-таки населить теми героями, какие «толкливо» живут в «гулливерах-пятиэтажках», вызывая устойчивое неприятие современников.

Живут, как герои Б. Подгайного, в подробностях буден («Вано-дорогой»), в полном параличе воли, отдаваясь даже не во власть страстей, но собственных слабостей («Пиво за ларьком»). Б. Подгайного, пожалуй, одного из немногих, включенных в прозаическую подборку «Подъёма», можно отнести к авторам, последовательно и любовно, рельефно вылепливающим характер. Одна из фирменных особенностей текста Подгайного — интонация, диктующая ритм жизни героя. Она то и лепит того, кого по формальным признакам и героем-то (от «героический») назвать трудно. Наиболее выразителен в этом отношении персонаж рассказа «Пиво за ларьком». Игорь Андреевич, бодро шедший на работу в начале рассказа, твердо уверенный в прочности семейного счастья («Веточка и Огуречик — как-то сразу у них повелось — мило, забавно, трогательно: по-родному, по-домашнему. Веточка и Огуречик — только друг для друга, только для своих, святая святых, таинство. И уже навсегда, пока что-то там не разлучит нас — запатентовано»), сам кажется цитатой из хорошо известного текста. Мысли героя, легко восстанавливающие круг его интересов, движутся по кругу, складываясь в самостоятельный сюжет, реальность которого опровергается названием и единственной финальной фразой «от автора»: «Через полгода он спился окончательно и стал совершенно никчемным».

Казалось бы, тривиальный сюжет, ничтожный герой, но рассказ написан не для того, чтобы заклеить Игоря Андреевича. Б. Подгайный не морализирует, не поучает в рассказе «Пиво за ларьком», как он не обличал героев рассказа «Вано-дорогой», персонажей горестного анекдота на тему ремонта квартиры. Рельефно выписанные герои для Б. Подгайного не иллюстрация той или иной идеи, не часть картины мира, которую он сейчас ими и с их помощью пишет. Для него это люди, которые живут рядом с ним, а для читателя — жизнь, ставшая литературой.

* * *

Закончить свой разговор о «подъёмовской» прозе 2009-2014 годов я хотела бы возвращением к той мысли, которой и начала его, — нет провинциальной литературы, есть коллективный поиск ответов на вопросы, которые принято называть «вечными». «Вечные» же они оттого, что обращены к постоянно меняющемуся миру, к его самому загадочному обитателю — человеку, о котором великий наш земляк Андрей Платонов сказал однажды: «...нигде человеку конца не найдешь и масштабной карты души его составить нельзя. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью, и поэтому каждый день для него — сотворение мира. Этим люди и держатся» («Сокровенный человек»).

Этим держится и литература, — продолжим платоновскую мысль, — которая творится человеком и для человека, чтобы читатель, ведомый писателем, вместе с героем прошел нелегкий путь познания себя самого и своего времени, в нем отразившемся.

Тамара НИКОНОВА,
доктор филологических наук

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Наталья МОЛОВЦЕВА. Берега вечности	3
Валерий БАРАБАШОВ. Наследный крест	35
Александр БУНЕЕВ. Завтра, вчера, всегда. Роман	92
Аркадий МАКАРОВ. Павлина Сергеевна	201
Виктор НИКИТИН. Жизнь в другую сторону	215
Иван ЕВСЕЕНКО. Затаив дыхание...	280
Александр ЯГОДКИН. Бег с бабочками	320
Сергей ВАСИЛЬЕВ (Дубянский). Максимально приближенное к боевому	374
Леонид ЮЖАНИНОВ. Лебедь белая	423
Юрий ГОНЧАРОВ. Париж, господа поручики и бутылка русской, сорокаградусной бутурлиновской водки	439

РАССКАЗЫ

Валерий ТИХОНОВ. Нет зверя опасней	484
Валерий БУБЕЛЬНИК. Покровские рассказы	498
Сергей ЧЕРНОВ. Живая кровь	510
Владимир ЧЕРНОВ. Хиромантия	526
Виктор ЧЕКИРОВ. Как нарисовать птицу	537
Людмила ВОЛОДИНА. Холодильник	545
Дмитрий ЧУГУНОВ. Строки на левой руке. Лирические миниатюры	552
Борис ПОДГАЙНЫЙ. Вано-дорогой	563
Светлана ЕРЕМЕЕВА. Прочерк	578
Иван БЫКОВ. Пришла кума в гости	583
Александр АНДРЕЕВ. Памятник	588
Валерий БОГУШЕВ. «Я тебя люблю...»	593
Яков КРАВЧЕНКО. Цыганочка	598
Виктор БЕЛИКОВ. И в лихолетье светило солнце. Рассказы о детстве ...	603
Виктор БУДАКОВ. Волны	622
Ирина ТУРБИНА. Три джокера	643
Наталья КАШИРИНА. Бабочка	657
Надежда СЕРЕДИНА. Медовый Спас. Быличка	669
Сергей ПЫЛЁВ. Разжалованный	674
Михаил ФЁДОРОВ. Снегурочка	692

Тамара НИКОНОВА. О слабом мужчине и верном женском сердце. Воронежская проза на страницах журнала «Подъём»	697
--	-----

Литературно-художественное издание

СОВРЕМЕННАЯ ВОРОНЕЖСКАЯ ПРОЗА

*По страницам журнала «Подъём»
2009-2014 годов*

Руководитель издательского проекта *И.А. Щёлоков*

Составитель *В.Д. Лютый*

Редактор *В.Е. Новохатский*

Корректор *Л.В. Кобелева*

Компьютерная верстка *И.К. Вовчаренко*

Подписано в печать 08.09.15. Формат 70x100^{1/16}.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 56,76.
Тираж 400 экз. Заказ 856.

ГБУК ВО «Журнал «Подъём».
394036, г. Воронеж, пр. Революции, За.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ООО «Тамбовский полиграфический союз»
392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14А
Тел. 8(4752) 53-26-27
E-mail: info@tps68.ru
www.tps68.ru